



Илья эренбург

9

ИЛЛЯ
ЭРЕНБУРГ

ТОМ ДЕВЯТЫЙ



**Издательство
«Художественная
литература»
Москва 1967**

Собрание
сочинений
в девяти
томах



ИМЛЯ

Издательство
«Художественная
литература»
Москва 1967

ТОМ ДЕВЯТЫЙ

ЭРЕНБУРГ

Люди,

годы,

жизнь

Книги

четвертая,

пятая, шестая

Из новых стихов

Р 2
Э 76

Х у д о ж н и к
Ф. З В А Р С К И Й

7—3—2
Подп. изд.

Книга
четвертая



В 1933 году я познакомился и вскоре подружился с американским кинорежиссером Люисом Майльстоуном. Это очень толстый и добрый человек. Подростком, еще до первой мировой войны, он уехал из Бессарабии в Америку — искать счастье; бедствовал, голодал, был чернорабочим, приказчиком, бродячим фотографом, а в итоге стал кинорежиссером. Фильм «На Западном фронте без перемен» принес ему славу и деньги, но он остался простым, веселым, или, как сказал бы Бабель, жовиальным. Он любил все русское, не забыл красочного южного говора, радовался, когда ему давали стопочку и селедку. Приехав на несколько недель в Советский Союз, он сразу подружился с нашими режиссерами, говорил: «Да какой я Люис Майльстоун? Я — Леня Мильштейн из Кишинева...»

Как-то он рассказал мне, что, когда Америка решила воевать, военнослужащих опросили, хотят ли они ехать в Европу или остаться в Соединенных Штатах; составили два списка. Майльстоун был среди желающих уехать на фронт, но послали только тех, кто хотел остаться дома. Смеясь, Майльстоун добавил: «В общем, так всегда бывает в жизни...» Он был веселым пессимистом: «В Голливуде нельзя делать того, что хочешь. А может быть, не только в Голливуде...»

Он решил поставить фильм по моему старому роману «Жизнь и гибель Николая Курбова». Я его отговаривал: книга мне не нравилась, да и смешно было в 1933 году показывать романтического коммуниста, ужаснувшегося перед стихией нап. Майльстоун обязательно хотел, чтобы я написал сценарий, предлагал изменить фэбулу, показать строительство, пятилетку: «Пусть американцы посмотрят, на что способны русские...»

Я сильно сомневался в своих способностях: я не драматург и вряд ли смогу написать приличный сценарий, да и крошечка из нескольких книг мне казалась нелепой. Но мне нравился Майльстоун, и я согласился попробовать написать сценарий вместе с ним.

Он меня пригласил в английский курортный городок, где он занимался тяжелым делом — худел. Весил он сто килограммов и каждый год в течение трех недель ничего не ел,

теряя килограммов двадцать; потом, конечно, набрасывался на еду и вскоре выглядел по-прежнему. Для голодания он выбирал комфортабельную гостиницу с дурным рестораном, чтобы меньше завидовать людям, которые продолжали обедать и ужинать.

Он лежал и худел, а я сидел рядом, ел невкусную еду и писал. Майльстоун изумительно ощущал ритм картины, говорил: «Здесь нужно перебить... Может быть, пошел дождь? Или из дому выходит старушка с кошелкой?..»

У меня не сохранилось текста сценария; я его помню смутно; кажется, он представлял помесь Голливуда и революции, отдельных находок Майльстоуна и кинорутин, мелодраму, приправленную иронией двух взрослых людей.

Мы успели исписать толстый блокнот. Майльстоун похудел, костюм на нем висел, и наконец-то мы поехали в Париж. На Монпарнасе Майльстоун познакомился с художником Натаном Альтманом и предложил ему сделать рисунки для декораций и костюмов.

Пессимизм Майльстоуна оказался обоснованным. Владелец «Колумбии» Кон, прочитав сценарий, сказал: «Слишком много социального и слишком мало сексуального. Не такое теперь время, чтобы швырять деньги на ветер...»

Майльстоун был, разумеется, огорчен: он потерял на этом около года, но добился, чтобы «Колумбия» уплатила гонорары Альтману и мне.

(Незадолго до второй мировой войны я видел в Париже Майльстоуна. Он не похудел, но помрачнел. В годы войны он сделал в Голливуде фильм о советских людях: хотел, чем мог, помочь нам. Когда я приехал в Соединенные Штаты, я с ним говорил по телефону, он меня звал в Голливуд; но я поехал на юг. Не знаю, что он делал в послевоенные годы и сколько раз его заставляли делать то, чего он не хотел.)

Мы с Альтманом обрадовались нечаянным деньгам. Газеты тогда были переполнены рассказами о двух счастливицах, выигравших в государственной лотерее по пяти миллионов франков; один был угольщиком, другой булочником. Хотя наше богатство было несравненно скромнее, мы себя называли угольщиком и булочником. Мы решили пышно встретить 1934 год.

На улице Эколь-де-медесин помещался маленький польский ресторан, куда мы иногда ходили, стосковавшись по рус-

ской кухне. Хозяева были приветливыми, и польско-советские конфликты, частые в те годы, не отражались на качестве бигоса или пончиков. В ночь под Новый год поляк закрыл свой ресторан и переехал на улицу Котантен. В нашей квартире были две комнаты, мы раскрыли двери, поставили в ряд десяток столиков, привезенных из ресторана. При входе красовалась надпись, нарисованная Альтманом: «Угольщик и булочник вас приветствуют».

По старым фотографиям я вижу, что к тому времени я сильно пополнил; однако я не стал добродушным, как Майльстоун, напротив, рвался в бой, штурмовал и ветряные мельницы, и некоторых вполне реальных мельников, задевал шпиков и Поля Валери, обрушивался на сюрреализм и на русскую живопись прошлого века, дразнил гусей, писал чуть ли не ежедневно различные памфлеты, посылал боевые корреспонденции в «Известия» — словом, вел себя скорее как молодой поэт, нежели как солидный сорокатрехлетний прозаик.

Мне казалось, что в 1933 году Европа коснулась дна и теперь выплывает на поверхность. За несколько дней до встречи Нового года газеты сообщили, что лейпцигским судьей пришлось оправдать Димитрова. Это было капитуляцией Гитлера перед общественным мнением. Я часто встречался с немецкими эмигрантами; они говорили, что не сегодня-завтра фашистский режим рухнет — так им хотелось, так хотелось и мне, и я считал, что 1934 год будет для Гитлера роковым.

Изуверство, жестокость гитлеровцев рождали непримиримость, жажду мести. Помню, как в «Клозери де лиля» глава первого революционного правительства Венгрии граф Карольи, человек редкой доброты, говорил мне: «Знаете, о чем я мечтаю? Хорошее летнее утро. Я иду на веранду. Пью кофе. А на каждом дереве висит фашист...» Я слушал и улыбался.

Мне запомнился один из первых антифашистских митингов в Париже; выступали профессор Лавжевен, Андре Жид, Вайян-Кутюрье, Мальро, Андре Жид произнес проповедь — доказывал, что только коммунизм может победить зло, пил часто воду, поблескивали стеклышки очков. Рабочие, сидевшие в зале, никогда не читали его книг, но знали, что перед ними знаменитый писатель, и когда Жид сказал: «Я гляжу с надеждой на Москву», — радостно загудели. Мальро говорил непонятно; его лицо перекашивал нервный тик; вдруг он

остановился, поднял кулак и крикнул: «Если будет война, наше место в рядах Красной Армии». Зал восторженно загремел.

Все это может показаться удивительным. Вместе со временем менялись и люди, и менялись они по-разному. Когда человек умирает, мы лучше видим единство его пестрых, порой противоречивых годов, а пока он жив, сегодняшний день застилает вчерашний.

В 1933 году Поль Элюар был непримиримым последователем сюрреализма; вряд ли кто-нибудь тогда мог предвидеть, что его стихи будут повторять партизаны в маки. Ланжевен как-то с печальной улыбкой сказал, что Жюлио-Кюри не понимает всей опасности фашизма.

Андре Мальро теперь министр в правительстве де Голля. А в течение восьми лет в Париже, в Испании я видел его неизменно рядом; он был моим близким другом. Некоторые авторы воспоминаний стараются очернить своих былых друзей; это мне не по душе. Я предупредил читателей, что, говоря о живых людях, буду связан и о многом промолчу. Все же я не могу рассказать о тридцатых годах, не называя Мальро.

В 1933 году вышел его роман «Условия человеческого существования»; я писал о нем: «Путь в прошлое обогатил Мальро не одной коллекцией скульптуры; он загромоздил его сознание той усложненностью, той обязательной глубиной, теми хитрейшими противоречиями, которыми изобилует всякая культура, пережившая свой полдень и обреченная на смерть». Я видел, однако, что Мальро идет к живой жизни, и обрадовался, когда писатели весьма консервативные присудили ему Гонкуровскую премию: на жюри подействовала обстановка — Франция шла налево.

Мальро познакомил меня со многими молодыми писателями — с Кассу, Авелином, Низаном, Даби. С одним из его последователей я подружился — с Гийу. Год или два спустя вышла его книга «Черная кровь» — один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Он был учителем в бретонском городе Сен-Брие и не походил на парижских литераторов — простой, скромный, без обязательного желания пофилософствовать или усложнить. (Недавно я неожиданно встретил Гийу в Риме; мы с нежностью вспомнили давние годы.)

Встречался я и с немецкими писателями; познакомился с Брехтом, добрым и лукавым. Он говорил о смерти, о поста-

новках Мейерхольда, о милых пустяках. Бывший матрос Турек заверял меня, что не пройдет и года, как Гитлера бросят в Шпрее; он мне нравился своим оптимизмом, и я ему подарил трубку. Толлер влюблялся, отчаивался, строил планы и театральные пьес, и освобождения Германии; казалось, что у него в карманах колоды и он все строит, строит карточные домики. Мне понравилась сразу Анна Зегерс, взбалмошная, очень живая, близорукая, но все замечавшая, рассеянная, но великолепно помнившая каждое оброненное слово.

Мы встречались, спорили, гадали, что будет дальше. Одни клялись, что вскоре фашизм рухнет в Германии, другие уверяли, что коричневая чума перекинется во Францию.

Впрочем, цвета менялись, и чума во Франции была лазурной. Несколько раз я видел демонстрации «Французской солидарности»; молодые фашисты в голубых рубашках маршировали и подымали руку вверх, приветствуя своего фюрера. Замелькали воззвания «Боевых крестов», «Патриотической молодежи». В отличие от Германии, среди фашистов было мало рабочих, и я с усмешкой поглядывал на маменькиных сынков, которые клялись перебить всех коммунистов.

Я собирался весной в Москву. Съезд советских писателей должен был собраться летом. Я волновался, как девушка перед первым балом; вот соберутся все писатели, и начнется откровенный, серьезный разговор об искусстве; это, наверно, будет большим событием...

В 1933 году я прочитал «Поднятую целину», последние поэмы Багрицкого, «Охранную грамоту» Пастернака, новые рассказы Бабеля, стихи Сельвинского и Заболоцкого. Мне казалось, что наша литература набирает высоту.

В 1933 году многие французские писатели повернулись с надеждой к коммунистам; вероятно, это было продиктовано ужасом и гневом, которые охватывали миллионы людей, когда они читали про сожженные фашистами книги, про казни, погромы. Под воззванием Ассоциации революционных писателей среди других стояли подписи Жионо и Дрие ля Рошелля.

С Жионо я познакомился в конце двадцатых годов; он был мечтательным, тихо улыбался, писал поэтичные романы о сельской жизни. В 1933 году вместе со многими другими он проклинал фашизм. Потом я с ним долго не встречался и удивился, прочитав его статью, где он писал, что нужно прими-

риться с Гитлером. Потом он примирился и с режимом оккупации; это меня уже не удивило.

Дрие ля Рошелль был куда значительнее — талантливый, по-своему искренний, но с душевной червоточиной. Мы вместе выступали в Доме культуры, где собиралась антифашистская интеллигенция, дружески беседовали. Я вернулся в Париж после одной из поездок и в дверях кафе на бульваре Сен-Жермен увидал Дрие. Он поспешно отвернулся. Мне дали его последнюю книгу; в ней были странные признания: «Мы будем сражаться против всех. Это и есть фашизм... Свобода исчерпана. Человек должен погрузиться в свои темные глубины. Это говорю я — интеллигент и вечный свобододолюбец...» Он обольстился фашизмом, когда гитлеровцы оккупировали Францию, сотрудничал с ними и застрелился в 1944 году, увидев, что его ставка бита.

На наши собрания приходил одаренный эссеист, бретонец, сын рабочего, Геенно. У меня сохранилась подаренная им книга «Дневник сорокалетнего»; я ее сейчас раскрыл: «К концу войны на Востоке показалось большое зарево. Его отсвет помогает нам жить... Мы не последовали его примеру. Битва не расширилась. Мы видим, как меркнут и тонут в болоте Запада искры того пожара. Но все равно эта битва, этот пример — вот почти вся наша надежда, вся наша радость...»

Теперь Геенно — академик. Недавно он приезжал в Москву, пришел ко мне. Во многом наши пути разошлись, но мы с нежностью вспоминали середину тридцатых годов.

В конце 1933 года французские фашисты приподняли голову. Париж гудел, как растревоженный пчельник. Люди спорили до хрипоты в кафе, в вагонах метро, на углах улиц. Расскальвались семьи. Чем-то это напоминало Москву лета 1917 года.

Даже монпарнасские художники начали интересоваться политикой.

Впервые в жизни я пристрастился к коробке радиоприемника.

К. А. Федин в одной статье вспоминал о вечере, проведенном у меня на улице Котантен, когда Мальро его расспрашивал о Советском Союзе и когда Константин Александрович поспорил с Леонгардом Франком. Спорили мы часто и в «Куполе», и у меня дома.

Порой я встречался с Андре Шамсоном; он был пылким южанином, милым и добродушным, но на словах казнил всех подозреваемых в фашизме, называл себя «якобинцем». Теперь и он академик; раз в пять или десять лет мы встречаемся и мирно вспоминаем прошлое.

В бар «Куполь» приходили С. Б. Членов, Эльза Юрьевна, Арагон, Деснос, Роже Вайян, Рене Кревель, другие бывшие и настоящие сюрреалисты. У Рене Кревеля были глаза добрые и затравленные: он мучительно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Я пытался его успокоить, но безуспешно.

Иногда меня приглашал к себе в поместье Фезандери издатель еженедельников «Вю» и «Лю» неистовый Вожелъ. Он был снобом не по программе, а по природе — сам этого не замечал. Восхищался Советским Союзом, ездил в Москву с А. А. Игнатьевым, приглашал к себе коммунистов, но несколько растерялся, когда его дочь Мари-Клод вышла замуж за Вайяна-Кутюрье. В Фезандери всегда шли несмолкавшие споры, сильнее всех кричал Вожелъ, мягкий в жизни и свирепый в отъездах.

Незачем скрывать, что я радовался своему успеху: вопреки мрачным предсказаниям, «День второй» печатался в Москве. Может быть, это влияло на мои оценки различных событий? В жизни я часто видел, как в суждения людей вмешиваются сугубо личные дела, успехи или неудачи в работе, даже состояние здоровья.

Так или иначе, я смотрел на будущее с доверием.

В конце декабря я получил телеграмму из Москвы: «Вышла замуж Бориса Лапина фамилия адрес прежние поздравляю Новым годом Ирина». С Б. М. Лапиным я познакомился за год до этого; он мне понравился редким сочетанием любви к книгам с любовью к трудным и опасным приключениям; понравилась мне и его книга. Телеграмма, однако, меня удивила: никогда Ирина не писала о Лапине. Слова о фамилии и адресе мне показались забавными — были в этом и характер Ирины, и характер эпохи.

Мы вышли за счастье Ирины. Встреча Нового года удалась не только потому, что польский повар накормил нас чудесным ужином: почти все, а народу собралось много, были в хорошем настроении, и веселились мы до утра.

Мне было почти сорок три года; не так уж это молодо, но, видимо, еще зелено. Я верил в близкий крах фашизма, в торжество справедливости, в расцвет искусства. Минувшие годы казались мне чересчур длинными канунами, и книгу статей, написанных в 1932—1933 годах, я озаглавил «Затянувшаяся развязка». Ничего в свое оправдание не скажу — я разделял иллюзии многих и уж никак не мог себе представить, что состарюсь, а развязки не увижу.

2

С И. А. Ильфом и Е. П. Петровым я познакомился в Москве в 1932 году, но подружился с ними год спустя, когда они приехали в Париж. В те времена заграничные поездки наших писателей изобиловали непредвиденными приключениями. До Италии Ильф и Петров добрались на советском военном корабле, собирались на нем же вернуться, но вместо этого поехали в Вену, надеясь получить там гонорар за перевод «Двенадцати стульев». С трудом они вырвали у переводчика немного денег и отправились в Париж.

У меня была знакомая дама, по происхождению русская, работавшая в эфемерной кинофирме, женщина очень добрая; я ее убедил, что никто не может написать лучший сценарий кинокомедии, нежели Ильф и Петров, и они получили аванс.

Разумеется, я их тотчас посвятил в историю угольщика и булочника, выигравших в лотерею. Они каждый день спрашивали: «Ну что нового в газетах о наших миллионерах?» И когда дошло дело до сценария, Петров сказал: «Начало есть — бедный человек выигрывает пять миллионов...»

Они сидели в гостинице и прилежно писали, а вечером приходили в «Куполь». Там мы придумывали различные комические ситуации; кроме двух авторов сценария, в поисках «гагов» участвовали Савич, художник Альтман, польский архитектор Сеньор и я.

Кинокомедия погорела: как Ильф и Петров ни старались, сценарий не свидетельствовал об отменном знании французской жизни. Но цель была достигнута: они пожили в Париже. Да и я на этом выиграл: узнал двух чудесных людей.

В воспоминаниях сливаются два имени: был «Ильфпетров». А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович, застенчивый, молчаливый, шутил редко, но зло и, как многие писатели, смешившие миллионы людей, от Гоголя до Зощенко, был печальным. В Париже он разыскал своего брата, художника, давно уехавшего из Одессы, тот старался посвятить Ильфа в странности современного искусства. Ильфу нравились душевный беспорядок, разор. А Петров любил уют; он легко сходился с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа; мог часами смешить людей и сам при этом смеялся. Это был на редкость добрый человек; он хотел, чтобы людям лучше жилось, подмечал все, что может облегчить или украсить их жизнь. Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось, чтобы все было лучше, чем на самом деле. Он говорил об одном заведомом подлеце: «Да, может, это и не так? Мало ли что рассказывают...» За полгода до того, как гитлеровцы напали на нас, Петрова послали в Германию. Вернувшись, он нас успокаивал: «Немцам осточертела война...»

Нет, Ильф и Петров не были сиамскими близнецами, но они писали вместе, вместе бродили по свету, жили душа в душу. Они как бы дополняли один другого — едкая сатира Ильфа была хорошей приправой к юмору Петрова.

Ильф, несмотря на то что он предпочтительно молчал, как-то заслонял Петрова, и Евгения Петровича я узнал по-настоящему много позднее — во время войны.

Я думаю о судьбе советских сатириков — Зощенко, Кольцова, Эрдмана. Ильфу и Петрову неизменно везло. Читатели их полюбили сразу после первого романа. Врагов у них было мало. Да и «прорабатывали» их редко. Они побывали за границей, изъездили Америку; написали о своей поездке веселую и вместе с тем умную книгу — умели видеть. Об Америке они писали в 1936 году, и это тоже было удачей: все, что мы именуем «культом личности», мало благоприятствовало сатире.

Оба умерли рано. Ильф заболел в Америке туберкулезом и скончался весной 1937 года, в возрасте тридцати девяти лет. Петрову было тридцать восемь лет, когда он погиб в прифронтовой полосе при авиационной катастрофе.

Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку: «Репертуар исчерпан» или «Ягода сходит». А прочитав его записные

книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на дорогу. Он умер в чине Чехонте, а он как-то сказал мне: «Хорошо бы написать один рассказ вроде «Крыжовника» или «Душечки»...» Он был не только сатириком, но и поэтом (в ранней молодости он писал стихи, но не в этом дело — его записи в дневнике перенасыщены подлинной поэзией, лаконичной и сдержанной).

«Как теперь нам писать? — сказал мне Ильф во время последнего пребывания в Париже. — «Великие комбинаторы» изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилии и адрес — это «уродливое явление». А напишешь рассказ, сразу загалдят: «Обобщаете, нетипическое явление, клевета...»»

Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел. «А стоит ли вообще писать роман? Женя, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибся и что в Сибири растут пальмы...»

Все же Ильф оставил среди множества записей план фантастического романа. В приволжском городе неизвестно почему решили построить киногород в «древнегреческом роде, однако со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции — одну в Афины, другую в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть». Люди, поехавшие в Голливуд, получили страховую премию после гибели одного из членов экспедиции и спились. «Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно-пьяные хари. Ловили их молокане, по поручению представителя Амкино мистера Эйберсона». В Афинах командированным пришлось плохо: драмы быстро иссякли. Две экспедиции встречаются в Париже в публичном доме «Сфинкс» и в страхе возвращаются домой, боясь расплаты. Но о них все забыли, да и никто больше не собирается строить киногород...

Романа они не написали. Ильф знал, что он умирает. Он записал в книжке: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло».

Евгений Петрович писал после смерти Ильфа: «На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на ма-

пинке, густо, через одну строчку) — выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно».

Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза. Он сумел выразить ненависть к пошлости, ужас перед ней: «Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерш, неторопливый обмен мыслями канцелярских сотрульников: «А на третье был компот из вишен». «Мы молча сидели под остафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась часа два. Вдруг на дороге показалась отдыхающая с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились. Где вы его купили? Сколько он стоит?» «Зеленый с золотом карандаш назывался «Копир-учет». Ух, как скучно!» «Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, папшеты для неврастеников». «Край непуганых идиотов». «Это были гордые дети маленьких ответственных работников». «— Бога нет! — А сыр есть? — грустно спросил учитель». Он писал о среде, которую хорошо знал: «Композиторы ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге». «В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов».

Записные книжки Ильфа чем-то напоминают записные книжки Чехова. Но «Душечки» или «Крыжовника» Ильф так и не написал: не успел, может быть, по скромности не решился.

Евгений Петрович тяжело переживал потерю: он не только горевал о самом близком друге — он понимал, что автор, которого звали Ильфпетров, умер. Когда мы с ним встретились в 1940 году после долгой разлуки, с необычной для него тоской он сказал: «Я должен все начинать сначала...»

Что он написал бы? Трудно гадать. У него был большой талант, был свой душевный облик. Он не успел себя показать — началась война.

Он выполнял неблагодарную работу. Во главе Совинформбюро, которое занималось распространением информации за границей, стоял С. А. Лозовский. Положение наше было тяжелым, многие союзники нас отпевали. Нужно было рассказать американцам правду. Лозовский знал, что мало кто из наших писателей или журналистов понимает психологию американцев,

сможет для них писать без цитат и штампов. Так Петров стал военным корреспондентом большого газетного агентства НАНА (того самого, которое послало Хемингуэя в Испанию). Евгений Петрович мужественно и терпеливо выполнял эту работу; он писал также для «Известий» и «Красной звезды».

Мы жили в гостинице «Москва»; была первая военная зима. 5 февраля погас свет, остановились лифты. Как раз в ту ночь вернулся из-под Сухиничей Евгений Петрович, контуженный воздушной волной. Он скрыл от попутчиков свое состояние; едва дополз по лестнице до десятого этажа. Я пришел к нему на второй день; он с трудом говорил. Вызвали врача. А он лежа писал про бои.

В июне 1942 года в очень скверное время мы сидели в той же гостинице, в номере К. А. Уманского. Пришел адмирал И. С. Исаков. Петров начал просить помочь ему пробраться в осажденный Севастополь. Иван Степанович его отговаривал. Петров настаивал. Несколько дней спустя он пробрался в Севастополь. Там он попал под отчаянную бомбежку. Он возвращался на эсминце «Ташкент», немецкая бомба попала в корабль; было много жертв. Петров добрался до Новороссийска. Там он ехал в машине; произошла авария, и снова Евгений Петрович остался невредимым. Он начал писать очерк о Севастополе, торопился в Москву. Самолет летел низко, как летали тогда в прифронтовой полосе, и ударился о верхушку холма. Смерть долго гонялась за Петровым, наконец его настигла.

(Вскоре после этого был тяжело ранен И. С. Исаков, а потом при авиационной катастрофе в Мексике погиб К. А. Уманский.)

В литературной среде Ильф и Петров выделялись: были они хорошими людьми, не заносились, не играли в классиков, не старались пробить себе дорогу всеми правдами и неправдами. Они брались за любую работу, даже самую черную, много сил положили на газетные фельетоны; это их красит: им хотелось побороть равнодушие, грубость, чванство. Хорошие люди, лучше не скажешь. Хорошие писатели — в очень трудное время люди улыбались, читая их книги. Милый плут Остап Бендер веселил, да и продолжает веселить миллионы читателей. А я, не будучи избалован дружбой моих товарищей по ремеслу, добавлю об Илье Арнольдовиче и Евгении Петровиче: хорошие были друзья.

Как-то в 1931 или в 1932 году я обедал с Мерлем в марсельском ресторане. За соседним столиком сидел красивый брюнет, похожий на аргентинского танцора; он ухаживал за дамой; когда бродячая продавщица цветов протянула даме розу, он швырнул кредитку и чересчур громко сказал: «Сдачи не нужно». Мерль наклонился ко мне: «Это Александр, один из самых талантливых жуликов Парижа. Кстати, он ваш соотечественник...» Я не стал расспрашивать: мало ли в Париже талантливых жуликов всевозможного происхождения.

А в январе 1934 года я увидел во всех газетах фотографии пышного брюнета. Александр Стависский действительно родился в Киеве, на Слободке. Журналисты называли его «красавцем Сашей». Выяснилось, что красавец нахал за короткий срок шестьсот пятьдесят миллионов франков. Газеты сообщали, что у него в прошлом три судимости, что он пользовался доверием дипломатов и состоял на службе у полиции, а чеки он раздавал небрежно, как розы, не только депутатам, но даже некоторым министрам.

Началась газетная перебранка: правые заверяли, что Стависский подкупал радикалов, радикалы отвечали, что чеки перепали и друзьям Тардье.

Неожиданно красавец Саша застрелился. Газеты расписывали трогательные подробности; жулик походил на Вертера. Мелодрама длилась недолго; оказалось, что Стависского застрелил агент полиции Вуа. Полиция боялась, что припертый к стенке Саша начнет откровенничать, а в афере были замешаны слишком видные люди.

Все происходившее напоминало приключения Остапа Бендера. Следствие, например, установило, что крупные взятки получил депутат Боннор. Не помню, к какой партии он принадлежал, но в предвыборном воззвании он писал: «Моя программа — довольно политических принципов! Прежде всего честность!»

Финансовые скандалы были повседневным бытом Франции; каждый год раскрывалась какая-нибудь грандиозная афера: Устрик, Пере, Багдад, «Нгоко-Санга». Ну еще один... Я никак не думал, что прекрасный Саша откроет новую страницу истории.

Правые газеты усиленно занялись моралью: объяснялось это политическими расчетами — у власти стояло правительство «левого картеля». Министр иностранных дел Поль Бонкур был сторонником сближения с Советским Союзом. Что касается различных фашистских организаций, то они вдохновлялись примером Германии; скандальная афера, в которой были замешаны депутаты и некоторые министры, помогала кампании против парламентаризма — за «здоровое государство с твердой властью».

Разразился очередной министерский кризис; он мало что изменил: большинство в парламенте принадлежало радикалам и социалистам. Новый премьер Даладье, расхрабрившись, решил сместить префекта полиции всемогущего Кьяппа, который покровительствовал фашистским организациям. Кьяпп, несмотря на низкий рост, страдал манией величия, он был корсиканцем, и ему, видимо, хотелось стать Наполеоном. Узнав, что он смещен, он сказал, что в случае надобности «выйдет на улицу».

Действительно, два дня спустя, 6 февраля, я увидел на рядной площади Конкорд фашистский мятеж. Сторонники «Боевых крестов», «Французской солидарности», «Патриотической молодежи» пытались прорваться через мост к зданию парламента, где заседали перепуганные депутаты.

«Марсельеза» фашистов прерывалась улюлюканием. Полицейские, среди которых было много корсиканцев, вели себя непривычно мягко: многие из них были преданны своему начальнику и земляку Кьяппу, к тому же перед ними были рабочие в кепках, а хорошо одетые молодые люди. Фашисты жгли автобусы, опрокидывали в Тюльерийском саду статуи нимф, резали ноги лошадей республиканской гвардии лезвиями бритв. Иногда раздавались выстрелы. Подросли уголовники, начали громить магазины. К утру все устали и разошлись по домам.

Радикалы любили называть себя «якобинцами»: однако эти «якобинцы» трусили; Даладье подал в отставку. Началась обычная парламентская суетня, и новый кабинет состряпал правый Думерг, включив в него различных добропорядочных французов, в том числе Петена и Лаваяля.

Все это казалось обычным, но изменились времена. Коммунисты призвали рабочих 9 февраля выступить против фашистов. Ночь была туманная. Я пошел к Восточному вокзалу:

говорили, что там происходят стычки между рабочими и полицией. Рядом со мной шел пожилой рабочий; он попросил у меня прикурить, сказал: «Вот безобразия!..» В это время из тумана вынырнула машина с полицейскими; один соскочил и ударил рабочего дубинкой по голове.

На узкой улице строили баррикаду; тащили бочки, столы, ручные тележки; пели «Интернационал». Я попробовал пройти дальше. Начали стрелять. Ничего не было видно. Когда я добежал до угла, никого не было; я увидел только кровь на тротуаре.

Уже светало, когда я пробирался к отделению телеграфа в здании биржи, которое было открыто всю ночь: хотел передать поскорее корреспонденцию о происшедшем. Несколько раз меня останавливали, обыскивали.

Это было в пятницу; два последующих дня многие решили: различным профсоюзам — тем, что шли за коммунистами, и тем, во главе которых стояли социалисты, — удалось прийти к соглашению: на 12 февраля была назначена всеобщая забастовка. Рабочие организации призывали всех собраться на площади Насьон.

Газеты накануне писали, что забастовка неминуемо провалится; однако на следующий день ни одна из них не вышла: печатники забастовали. Жизнь замерла: не шли автобусы, закрылись магазины, не работала почта; даже учителя примкнули к забастовке.

Я пошел на площадь Насьон. Это была первая всенародная демонстрация в Париже, и она меня поразила сочетанием суровой уверенности с неизменным весельем парижской толпы. Сотни грузовиков с полицией, с гвардейцами стояли на соседних улицах. А на площади люди шутили, пели. Кто-то решил украсить статую Республики красным флажком; статуя большая и на высоком цоколе: сразу образовалась пирамида из человеческих тел. Демонстранты ласково приветствовали иностранцев — беженцев из Италии, Польши, Германии. Я вспомнил бесновавшихся фашистов на площади Конкорд. Два мира...

Двенадцатое февраля стало для Франции большой датой. Кажется, ничего не произошло, и на следующее утро Париж выглядел как прежде. Фашистская демонстрация 6 февраля свалила правительство, а теперь все министры оставались на своих постах. Но именно 12 февраля многое изменило: не состав кабинета — Францию. Как-то сразу заглохли догадки,

когда фашисты снова выступят и кого они прочтут в фюреры. Все поняли, что сила у народа. 12 февраля было первой черновой репетицией Народного фронта, который два года спустя потряс Францию.

Весь день я бродил по улицам довольный, возбужденный, вечером написал статью и отнес на телеграф. А на следующий день пришла телеграмма от редакции: в Вене начались вооруженные столкновения рабочих с полицией; я должен срочно запросить австрийскую визу и как можно скорее выехать.

Двенадцатое февраля меня окрылило; я видел повсюду победы. Вслед за Парижем — Вена... Видимо, приближается тот «последний и решительный», о котором пели парижские рабочие в туманную ночь. Обидно, что человеку с советским паспортом нельзя стрелять: остается выполнять работу военного корреспондента...

4

Я понимал, что австрийцы въездной визы мне не дадут, и решил прибегнуть к хитрости: сказал, что еду в Москву через Вену и прошу транзитную визу. А про себя думал: «Останусь в Вене столько, сколько будет нужно; да еще неизвестно, кто победит...» Австрийцы, однако, тянули два дня с выдачей транзитной визы.

Когда я приехал в Вену, падали большие хлопья снега, как будто стараясь прикрыть свежие раны; чернели дыры домов, разбитых артиллерией хеймвера. Во Флоридсдорфе пахло гарью. Из окон выглядывали клочья простынь, носовые платки — белые флажки капитуляции. Среди щепня я увидел небуранный труп женщины. Хеймверовцы останавливали прохожих, некоторых тщательно обыскивали. Все это походило на Пресню в декабре 1905 года.

Один журналист мне рассказал, что накануне, когда еще шли бои, судили рабочего Мюнхрайтера; он был тяжело ранен, и в здание суда его принесли на носилках. Три часа спустя его повесили. За первым смертным приговором последовали другие.

Я попытался разыскать знакомых, расспрашивал; все были запуганы, неохотно отвечали. Я узнал, что многим шугбундовцам удалось добраться до чехословацкой границы.

После победы в Париже я увидел в Вене поражение. Я не знал, в какую эпоху мы вступаем, и разгром шувбундовцев меня поразил.

Я вспомнил, что, когда в 1928 году я был в Вене, я получил приглашение осмотреть рабочие дома; приглашение было на красивой бумаге, с гербом столицы и подписано бургомистром, социал-демократом. Меня сопровождал один из муниципальных советников, тоже социал-демократ. Я увидел прекрасные дома со скверами, со спортивными площадками, с просторными читальнями. Заметив мое восхищение, провожатый обрадовался. Он пригласил меня в кафе, где сидели рабочие, изучавшие десяток газет различного направления. Помню, там я поделился с любезным австрийцем моими сомнениями: «Дома изумительные! Но не кажется ли вам, что вы строите их на чужой земле?..» Мой собеседник начал мне объяснять, что социализм победит мирным путем — ведь на последних выборах в Вене семьдесят процентов избирателей голосовали за социал-демократов...

Теперь эти чудесные дома, названные именами Маркса, Энгельса, Гете, Либкнехта, чернели, продырявленные снарядами...

Я услышал выстрел: хеймверовец упал. Это было последним слабым раскатом прошедшей грозы. На Ринге кафе были заполнены элегантными посетителями. Расклеивали театральные афиши: «Бал в Савойе», «Девушка с темпераментом», «Мы хотим мечтать».

Я уехал в Братиславу и там нашел шувбундовцев. Один из них сказал, что спас многие документы. Это был социал-демократ, рабочий. Он долго мне рассказывал о трагических событиях, показывал протоколы заседаний, предшествовавших февральским дням, донесения районных начальников. Он сказал: «Мне все равно, что вы коммунист. Я читал ваши книги. Напишите правду. Пусть все знают, что мы не трусили. Конечно, оказались предатели, как Корбель, но таких было немного. Ужасно, что наши лидеры слишком долго колебались!.. Это хорошие люди, я с ними проработал двенадцать лет. Но когда начался бой, они растерялись...»

Я внимательно прочитал документы, записал рассказы рядовых участников боев. Можно было бы сесть за работу, но мне сказали, что в Брно находится один из руководителей

шущбунда Юлиус Дейч. Я поехал в Брно. Дейч хмурился; потом стал рассказывать. Он возмущался тем, что Дольфус и Фей спровоцировали восстание. Меня поразили разлад между политическим оппортунизмом его рассуждений и характером человека — жестким, скорее неуступчивым. Он вел себя лучше, чем думал. (Его дальнейшая судьба также изобиловала противоречиями: он был в Испании во время гражданской войны; его произвели в генералы, и социал-демократы на него дулись — он слыл «левым». Да и потом он часто ссорился со своими товарищами, его исключали из партии, снова принимали.)

Я увидел человека, подавленного событиями; его обиды мне многое объяснили.

Брно расположен поблизости от австрийской границы. Все время приходили люди, удравшие от расправы, рассказывали про виселицы, про казармы, куда загнали три тысячи рабочих. В газете я прочитал, что среди других «марксистских организаций» распущен «Союз владельцев маленьких садилов и кролиководов». Это было смешно, но я не улыбнулся.

В Брно я написал очерки для «Известий», получилаcь небольшая книга, и в газете они печатались с продолжением.

Мне хотелось не только описать события, но и постараться понять происшедшее. Рабочие Австрии были хорошо организованы. Может быть, потому, что коммунисты были куда слабее, чем в Германии, австрийские социал-демократы выглядели иначе, чем их немецкие товарищи; они, например, создали боевые дружины — шущбунд, скрыли от властей винтовки, пулеметы. Почему же все решилось в два-три дня?..

В нашей печати социал-демократов тогда именовали «социал-фашистами»; это было хлестко, но неубедительно. Конечно, среди немецких социал-демократов нашлись предатели, быстро приспособившиеся к режиму нацистов. Но социал-демократы не были фашистами; это было ясно любому человеку, знакомому с жизнью Запада. Фашисты не боялись социал-демократов, но социал-демократы смертельно боялись фашистов, и если они не решились выступить против фашизма, то только потому, что не менее фашистов боялись коммунистов, пытались стать «третьей силой», а на самом деле теряли всякую силу, вели рабочих от капитуляции к капитуляции.

Венские события для меня были поучительными. Я увидел некоторых австрийских социал-демократов, людей вполне че-

стных, лично смелых, но политически малодушных, сделавших против своей воли все, чтобы обеспечить победу канцлера Дольфуса и вождя хеймверовцев князя Штаремберга.

В начале февраля вице-канцлер Австрии Фей заявил: «В течение ближайшей недели мы очистим Австрию от марксистов». Что сделали в ответ руководители социал-демократов? Они уговаривали депутатов левого крыла христианско-социальной партии присоединиться к протесту. А полиция тем временем арестовывала одного за другим районных руководителей шувбунда. Всеобщую забастовку откладывали со дня на день. Когда рабочие Линца отказались сдать винтовки и вступили в бой, в Линц пришла телеграмма из Вены, где шла речь о здоровье тети Эммы: это был условный язык — Вена предлагала снова отложить выступление. Только когда рабочие Флоридсдорфа забастовали и вытащили припрятанное оружие, руководители шувбунда разослали телеграмму «Карл заболел», это означало, что всеобщая забастовка объявлена.

Я писал в «Известиях»: «Социал-демократические лидеры правы, заверяя, что бой был принят ими против воли. Они хотели сохранить не оружие, но погоны — право в фашистском государстве именоваться социал-демократами, и в этом праве Дольфус им отказал. Тогда перед социал-демократами осталось на выбор: либо пасть ниц, как сделали их германские братья, либо защищаться. Я знаю, что многие социал-демократы проявили в февральские дни подлинное мужество. Они не боялись смерти. Но победы они боялись...» Редакция газеты несколько смутила эти строки, но они были напечатаны.

Венские события заставили меня задуматься не только над политической беспомощностью руководителей социал-демократов, я спрашивал себя, как им удалось привить части рабочего класса благодушие, даже благонамеренность. Рабочие-печатники Вены не забастовали. Трудно их заподозрить в неосознанности. Они понимали, что канцлер Дольфус не сулит им счастья, но, сочувствуя шувбундовцам, они набирали и печатали газеты, где их товарищи назывались «наильниками», «убийцами», «наемными агентами»; печатники знали, что это неправда, но, не веря в успех сопротивления, они боялись потерять заработок, а зарабатывали они неплохо. Отказались примкнуть к забастовке и железнодорожники; это дало

возможность правительству перебрасывать военные отряды, подавить сопротивление в провинции. В вооруженной борьбе в первый день приняло участие около двадцати тысяч рабочих, во второй и третий день сопротивлялись семь-восемь тысяч. Это меня не удивило; так бывало в истории не раз. Поразительно другое: всеобщая забастовка сразу же провалилась, и сражавшиеся шувбундовцы оказались без тыла.

Я понял, что победа Гитлера не была одиноким, изолированным событием. Рабочий класс был повсюду разъединен, измучен страхом перед безработицей, сбит с толку, ему надоели и посулы, и газетная перебранка. Я спрашивал себя, что же будет дальше — Париж или Вена, отпор или капитуляция.

Тысяча девятьсот тридцать четвертый год, который я встретил с такими надеждами, становился годом разуверений. Замелькали фашистские мятежи, перевороты — от Латвии до Испании. Осенью горняки Астурии попытались повернуть ход событий, но были разбиты.

Я не могу сказать, что австрийская буржуазия радовалась в феврале 1934 года победе хеймверовцев. Конечно, она была довольна, что шувбундовцы разбиты, в то же время она побаивалась фашизма. Ей наивно хотелось вернуть далекое прошлое — беззаботность, легкомыслие габсбургских лет, остроумные фельетоны, вышучивающие режим, министерские кризисы, опереточных военных на Ринге. Век, однако, не церемонился. В феврале канцлер Дольфус разгромил рабочих и провозгласил новую конституцию, которая пахла солдатней Берлина и ладаном Ватикана. Я видел Дольфуса в Вене; он походил на карлика, его мог бы хорошо написать Веласкес. Он удовлетворенно улыбался. Вскоре он поехал в Италию, подписал договор с Муссолини — хотел спасти Австрию от Гитлера. А в июле его убил сторонник фюрера. Когда два года спустя я снова оказался в Вене, победители февраля выглядели довольно плачевно. Князь Штаремберг занялся физкультурой, бывший вице-канцлер Фей служил в паровой компании. Канцлером был осторожнейший Шушник; он знал, что нельзя гнать ни господ бога, ни Гитлера. Когда в марте 1938 года гитлеровцы ворвались в Австрию, Шушник предложил австрийцам не оказывать сопротивления. Нацисты все же посадили его в концлагерь. Веселым венским бюргерам пришлось умирать за великую Германию на Дону и на Волге. Такова была развязка трагедии, начавшейся в феврале 1934 года.

Пробраться из Чехословакии в Париж оказалось нелегко. Когда я приехал в Прагу, еще белел снег. Скверы успели зазеленеть. Незвал написал десяток стихотворений и в различных «каварнях» доказывал мне, что сюрреализм Бретона мало чем отличается от социалистического реализма.

Я познакомился с Чапек. Некоторые левые критики нападали на него: время грозное, а он пишлет о собачках. Чапек внешне походил на посетителя лондонского клуба: был вежлив, сдержан; но я сразу почувствовал за этой маской горечь. Час спустя Чапек сказал: «Прежде говорили о старом человеке, что он горбится под тяжестью лет. Мы можем сказать — под тяжестью веков... Надвигается эпоха воинствующей глупости...»

Майерова рассказывала мне смешные истории из жизни Гашека. Прошло всего шестнадцать лет с конца войны, а времена Швейка уже казались идиллическими.

Гоффмейстер начал рисовать меня на память — с трубкой и без трубки, с чемоданом и без чемодана; последнее, признаться, меня пугало: я из суеверия не распаковывал чемодана, хотя друзья давно перестали спрашивать, когда я собираюсь в путь. Ко мне привыкли. А я не мог привыкнуть к своему положению; как я ни люблю Прагу, я мечтал из нее выбраться.

Мои статьи появились в «Известиях» до того, как я обратился к австрийцам с просьбой о транзитной визе; мне отказали. Отказали и немцы. Самолет Прага — Париж приземлялся в Нюрнберге, требовалась транзитная виза.

Герцфельде перенес в Прагу издательство «Малик». Увидев у него мои книги, изданные в Берлине, я удивился, почему их не сожгли. Оказалось, что нацисты продают за границу запрещенные книги, продают со скидкой. Костры им понадобились для демонстрации чистоты побуждений и непримиримости, а чешскими кронами они не гнушались.

В издательстве бывало много народу: часть немецких литераторов перекочевала в Прагу. Один из них рассказал мне, что в немецком посольстве работает ставленник фон Папена, который обожает литературу, собирает запретные книги, переплел в роскошный переплет «Хулио Хуренито»; может быть, он расщедрится и выдаст мне транзитную визу.

Я пошел вторично в немецкое посольство. Библиофил был высоким, белобрысым, с осанкой военного, но с близорукими и поэтому скорее добродушными глазами. Принял он меня любезно, хвалил мои книги, но визу дать отказался: «Я не хочу инцидентов». Я не понял, о каких инцидентах он говорит, и стал заверять, что, находясь на аэродроме Нюрнберга, не раскрою рта. Дипломат усмехнулся: «Инцидент может произойти не по вашей вине. Вы, видимо, недостаточно осведомлены... Прочитайте статьи Ильи Эренбурга о Германии».

Я хотел проехать через Венгрию и Югославию. Венгерское посольство запросило Будапешт; я заплатил за длинную телеграмму. Ответ был коротким. Секретарь посольства позвонил мне в гостиницу: «Вам придется выбрать другой маршрут».

Меня пригласил к себе министр иностранных дел Чехословакии Эдуард Бенеш. В очень большом кабинете я увидел маленького, чрезвычайно живого человека. Он сначала заговорил о литературе, потом, улыбаясь, сказал: «Я знаю, что вы любите Словакию и критикуете наше отношение к словацкой культуре». Бенеш стал мне доказывать, что правительственная политика не так уж плоха. Я знал, что происходят переговоры между Москвой и Прагой и что лучше всего промолчать, но не выдержал, начал спорить.

Наконец Бенеш сказал: «Может быть, я могу быть вам в чем-либо полезен?» Я поспешно ответил: «Да! Помогите мне покинуть вашу прекрасную страну. Мне нужно проехать в Париж, я пропустил все сроки...» Я рассказал о злключениях с транзитными визами. Бенеш подвел меня к карте Европы, висевшей на стене: «Теперь вы на себе почувствовали, что мы окружены. Чехословакия в смертельной опасности».

Подумав, Бенеш сказал, что попытается получить для меня румынскую транзитную визу, в случае успеха я смогу поехать через Румынию — Югославию — Италию. Я еще раз поглядел на карту и улыбнулся: нужно на запад, а поеду на восток... Привередничать, однако, не приходилось, и я поблагодарил Бенеша.

Действительно, два дня спустя меня пригласили в румынское посольство. Все долго разглядывали меня, а еще дольше мой паспорт — никогда прежде они не видели советского паспорта. (Это было до установления дипломатических отношений.)

Путь оказался долгим. Мне пришлось заночевать в румынском городе Орадя. Я с любопытством глядел на ободранных, но лихих извозчиков, которые катали расфуфыренных дам, на

босых крестьян, на изысканных полицейских, а журналисты с не меньшим любопытством разглядывали меня — советский паспорт казался им первой ласточкой. Из Орадя на куцем неторопливом поезде я добрался до города Тимишоара и там увидел две примечательные личности — министра народного просвещения Ангелеску и фюрера местных немецких колонистов Фабрициуса. Министр говорил о «великой Румынии», фюрер — о «великой Германии».

При выезде из Румынии меня обыскали, отобрали вечное перо как контрабанду, но, узнав, что я писатель, повздыхали и вернули. Югославский таможенник, к моему удивлению, попросил у меня автограф и сказал, что ему нравится моя книга «Тринадцать трубок». Оказалось, что он русский и попал в Югославию с остатками врангелевской армии, а теперь тоскует по родине. Поезд сопровождала вооруженная охрана. Одни уверяли, что поезда взрывают хорватские сепаратисты, усташи, другие говорили, что динамитчики действуют по указанию белградской полиции.

В Триесте я разыскал одну знакомую, жену врача; она долго рассказывала о глупости и униженности жизни под властью дуче. Провожая меня, она спросила у начальника станции, когда должен отойти поезд, и подняла по-фашистски руку, потом сказала: «Простите мне этот жест. Приходится...»

Я приехал в Венецию. Перрон вокзала был устлан малиновыми ковриками; по ним торжественно прошел австрийский канцлер Дольфус. На площади Святого Марка был парад чернорубашечников. Громкоговорители передавали речь Муссолини: «Фашистская и пролетарская Италия, вперед!..» Чернорубашечники радостно кричали и действительно шли вперед — по площади, блестящей после весеннего дождя.

В Милане меня пригласил к себе издатель, незадолго до этого выпустивший итальянский перевод «Дня второго». Книга была снабжена предисловием, в котором говорилось, что роман изобилует ошибочными суждениями, автор, например, прославляет коммунизм; но итальянский читатель сумеет отличить зерно от красной шелухи — «День второй» прославляет труд, а всем известно, что только фашистская Италия сумела обеспечить свободу и счастье трудящихся. Закрыв все двери, издатель начал объяснять полусшепотом, что без предисловия нельзя было напечатать книгу. Пришла его дочь, студентка, и громко сказала: «Когда я вижу на стенах «дуче, дуче», мне хочется кричать от стыда...»

Во Францию я вернулся с невеселыми впечатлениями: фашисты или полуфашисты быстро превратили Европу в непроходимые джунгли. На границах повыврубили деревья, вместо них поднялись заросли колючей проволоки. Обыскивали путешественников, искали газеты и револьверы, валюту и бомбы. Хорватские фашисты нападали на своих сербских единомышленников. В Румынии «железная гвардия» громила лавчонки и грозила мадьярам, а в Венгрии приверженцы Хорти убивали крестьян и клялись, что завоюют Трансильванию. Итальянские чернорубашечники кричали об австрийском Тироле, о французской Савойе. Фашистская чума пересекала границы без виз.

Описывая путешествие по европейским джунглям, я говорю: «Проезжому кажется, что в Европе — война. Кто с кем воюет — сказать трудно. По всей вероятности, все и со всеми».

Перед моими глазами вставали картины поражения: Флоридсдорф, белые тряпки, обугленные фасады, хеймверовцы...

Однако то, что я увидел во Франции, меня снова приподняло. За время моего отсутствия родились сотни «Комитетов бдительности». Крестьяне приходили в города с охотничьими ружьями, спрашивали, где фашисты. Я пошел на один из бесчисленных митингов в рабочем районе Итали; у людей было такое настроение, что скажи им: «Вот фашисты», — они пошли бы на танки с голыми руками.

Профессор Ланжевен и Ален организовали «Комитет бдительности», куда входили писатели, ученые, профессора; были среди них люди, еще недавно отказывавшиеся от участия в политической жизни, — Роже Мартен дю Гар, Бенда, Леон-Поль Фарг, много других.

Жан-Ришар Блок пришел веселый, возбужденный, говорил, что февральские дни преобразили Францию, дело идет к революции.

В начале июня я отправился в Москву; снова мне пришлось поразмыслить над маршрутом; я выбрал морской путь: Лондон — Ленинград. Со мною поехал Мальро — у него было много планов: «Межрабпом» хотел сделать фильм по его роману, и Мальро рассчитывал поговорить о постановке с Довженко, потом он начал писать роман о борьбе за нефть и собирался съездить в Баку.

Советский пароход шел по Кильскому каналу. Я жадно разглядывал берег: вот фашистская Германия... На берегу стояли

торговцы с большими сачками — предлагали пассажирам шоколад, сигары, одеколон.

Вдруг я увидел стоявшего на берегу рабочего; он поднял кулак — салютовал советскому флагу. Трудно описать, как мне хотелось тогда верить, да и не мне одному. Я тоже поднял кулак — приветствовал не только смелого человека, но и ту революцию, которая не пришла ни через год, ни через десять лет.

Увидеть истину прежде, чем ее видят другие, лестно, даже если за это ругают. А вот ошибаться куда легче со всеми.

6

В Москве у меня квартиры не было. Люба поехала к матери в Ленинград, а я с помощью «Известий» получил номер в гостинице «Националь». Комната была маленькой, неприглядной, брали за нее дорого, но выбора не было.

Как-то утром я заказал чай; официант выслушал меня и вскоре вернулся без подноса: чая я не получу, с сегодняшнего дня ресторан отпускает только на валюту. Я рассердился, но смолчал, попросил принести кипяток и чайник для заварки — у меня были чай и сахар. Официант снова пришел с пустыми руками: «И кипятка не дали, говорят, советским не отпускаем...»

Я решил пойти к директору гостиницы. Лестница была заставлена цветами в горшках. Стояли, выстроенные в шеренги, коридорные в ярко-зеленых рубашках, горничные в шуршавших лифах, с пышными наколками; по команде они кланялись, поворачивались налево, направо, улыбались, снова кланялись. Это напоминало репетицию фильма из быта старого купечества.

Я проник в ресторан и увидел его преобразенным: там предполагали торговать солонками с резными петушками, скверными иконами суздальских богомазов и васнецовскими богатырями на ларчиках, на брошках, на блюдах. Музыканты репетировали «Вниз по матушке по Волге...».

Директор объяснил, что я должен немедленно очистить номер: через час из Ленинграда прибудет большая группа американских туристов.

Я задержался, чтобы поглядеть на знатных путешественников; это были очень богатые люди; коридорные задыхались, волоча тяжелые чемоданы. Горничные, помня урок, кокетливо улыбались, и туристы снисходительно кивали головой. Я заговорил с одним; он оказался крупным биржевым маклером из Буэнос-Айреса. Он рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву, но сейчас он окончательно успокоился: гостиница как гостиница: «Конечно, победнее, зато чувствуется русский дух. Я ведь бывал в Париже, там чудесный ресторан «Тройка»...»

(Я сердился, но не удивлялся. Незадолго до этого происшествия я был в Иванове. Зашел в ресторан. Зал загромождали пыльные пальмы. На столиках лежали грязные скатерти с засохшими следами вчерашних соусов и позавчерашних борщей. Я сел за столик, который выглядел чище. Официантка закричала: «Вы что, не видите?.. Это для иностранцев...» Оказалось, в местном текстильном институте учатся два молодых турка. К ним относились с почтением и обед им подавали на чистой скатерти.)

Я пошел в редакцию, попросил пишущую машинку и написал статью, которую озаглавил «Откровенный разговор». Я описал все, что увидел в гостинице «Националь», и сказал, что глупо выдавать Советскую страну за старый русский трактир с вышколенной челядью и бутафорским надрывом. «Будь я вашим гидом, граждане интуристы, я показал бы вам не прошлое, а настоящее моей страны. Я не кривил бы душой, не скрыл бы от вас многих злых сказок. Я не говорил бы вам: «Посмотрите направо — там старая церквушка» только потому, что налево стоит очередь... В нашей стране еще вдоволь нужды, косности, невежества: мы ведь только начинаем жить... Вы своими глазами видели скверную сказку одной гостиницы, по ней вы можете понять, как трудно нам освободиться от жестокого наследства, которое оставило нам прошлое. Кроме сказки о коридорных в зеленых рубашках, я мог бы вам рассказать немало дурных сказок. У нас много говорят об уважении к человеку, но уважать человека у нас далеко еще не все научились... Я рассказал вам о дурных сказках, теперь разрешите припомнить несколько прекрасных сказок...» Я рассказывал о строителях Кузнецка, о крестьянах в доме отдыха, о литературном кружке на заводе «Шарикоподшипник». Я знал капиталистический мир; там жгли и хлопок и книги, безработные валялись под мостами, фашисты устраивали погромы; сло-

вом, стыдиться нашей бедности перед сотней американских богачей было не только гнусно, но и глупо.

Напомню дату: июнь 1934 года. Людям жилось тяжело, но по сравнению с двумя предшествующими годами чувствовалось облегчение. Культ личности уже сказывался в статьях, в стихах, в портретах, в чересчур пронзительном «ура», которое приподымало утихавшие аплодисменты. Это порой оскорбляло мой вкус, но никак не совесть — разве мог я предвидеть, как развернутся события? Люди в то лето много спорили, мечтали о будущем. Скванности еще не было, и редактор «Известий» Бухарин напечатал мою статью.

Я получил много писем: читатели благодарили за то, что я напомнил о достоинстве советского человека. А надо мной нависала туча. Корреспонденты иностранных газет сообщили о моей статье. «Таймс» писала, что советский писатель раскрыл, как «Интурист» «обманывает иностранных туристов». Руководители «Интуриста» утверждали, что несколько англичан и французов, собиравшихся посетить Советский Союз, после моей статьи отказались от поездки и что я нанес государству материальный ущерб. Бухарин меня защищал. Я не знал о различных телефонных звонках — был возле Архангельска на лесозаготовках. Подоспели другие события, и про мою статью, к счастью, забыли.

Если я рассказал об этом комическом и не очень значительном эпизоде, то отнюдь не для того, чтобы рассмешить читателя. Вспомнив нелепый маскарад в «Национале», я сам над многим задумался.

Впервые я вспомнил о коридорных, низко кланявшихся интуристам, в 1947 году, когда один из тогдашних руководителей Союза писателей сказал мне, что задачей нашей литературы на долгие годы является борьба против низкопоклонства и раболепства. Я долго расспрашивал: мне хотелось верить, что речь идет об унижительном поведении некоторых людей, вроде описанного мной работника «Интуриста», о преклонении московских модниц перед заграничным барахлом, о немногочисленных, но все еще существовавших людях, для которых мир денег, свободной конкуренции, авантюр оставался привлекательным. Нет, товарищ, со мной беседовавший, объяснил мне, что необходимо бороться против низкопоклонства перед учеными, писателями и художниками Запада.

Я никак не мог понять, что значит «Запад»: для меня страны Западной Европы и Америки не были выкрашены в один цвет: Жолио-Кюри жил в другом мире, чем Бидо, профессор Бернал не походил на Мак-Артура, Хемингуэй явно отличался от президента Трумэна. «Запад»?.. Но разве Маркс не родился в Трире, разве Октябрьской революции не предшествовали июньские дни 1848-го, Парижская коммуна, борьба рабочих в различных странах Запада?

Вскоре я увидел, к чему свелась борьба против низкоклонства и раболепства. Руководители пищевой промышленности переименовали сыр камамбер в «закусочный», а ленинградское кафе «Норд» в «Север». Одна газета заверяла, что дворцы Версаля были подражанием дворцам, построенным Петром Великим. Большая советская энциклопедия напечатала статью «Авиация», в которой доказывалось, что западноевропейские ученые и конструкторы внесли чрезвычайно слабый вклад в дело развития воздухоплавания. Фразу в моей статье о том, что Эдуар Мане был большим мастером XIX века, редактор зачеркнул: «Это, Илья Григорьевич, чистейшее низкоклонство».

В 1949 году во время Первого конгресса сторонников мира, собравшегося в Париже, французы потребовали, чтобы я устроил пресс-конференцию. Один журналист спросил меня, как я отношусь к статье, напечатанной в советской газете, где Мольер назван слабым драматургом, что особенно ясно, когда смотришь пьесы Островского. Журналист держал в руке русскую газету, но я не мог разглядеть какую. Я ответил, что не знаю, верен ли перевод, я такой статьи не читал; если она действительно была напечатана, то это показывает, что ее автор не очень сведущ в литературе, да и не блещет умом. «Мы говорим, что уничтожили в нашей стране эксплуататоров, это правда. Но мы никогда не утверждали, что уничтожили дураков...» Журналисты рассмеялись и стали более внимательно слушать ответы о «холодной войне», о политике Трумэна, о задачах сторонников мира. А я был весь в поту — гадал, какую газету он процитировал. Когда пресс-конференция закончилась, журналист, поставивший каверзный вопрос, подошел, показал газету. Я облегченно вздохнул: «Вечерка»...

С тех пор многое изменилось, но подлинное раболепство, низкоклонство — не то, о котором писали критики в 1947 году, а то, что вдохновило в 1934 году инструктора «Интуриста»,

еще не исчезло. Недалеко от дома, где я живу, в городе Истра стоит небольшой бюст Чехова (Антон Павлович работал в земской больнице Вознесенска — так называлась до 1929 года Истра). Памятник поставили в 1954 году. Несколько лет спустя он оброс репейником, крапивой, чертополохом. Напрасно я уговаривал местные власти расчистить место вокруг памятника, посадить цветы. Ко мне приехали две француженки, корреспондентки «Юманите»; одна из них говорит по-русски. По дороге они остановились в Истре, начали фотографировать памятник Чехову. Работник райсовета удивился: «Выходит, что во Франции Чехова знают...» Француженка ответила: «Конечно. Но я думала, что его знают и в Советском Союзе», — она показала на заросли крапивы. На следующий день я увидел вокруг памятника аютины глазки.

Комплекс неполноценности часто связан с комплексом превосходства, и человек, не уверенный в себе, сплошь да рядом держится надменно. Наш народ не только первым пошел по трудному пути строительства нового общества, в некоторых областях науки он оказался впереди других. Конечно, у нас много непроезжих дорог, коммунальных квартир, дурной живописи, недостатков в том или ином предмете обихода; стыдиться этого перед иностранцами не приходится; стыдиться нужно перед собой, стыдиться и бороться за повышение жизненного уровня. Никого не принизит уважение к культуре других стран, в том числе и тех, где еще царят доживающие свой век порядки. Народы этих стран живы; они не только давали в прошлом, они дают и поныне больших ученых, писателей, художников. Раблепствовать могут люди, еще не освободившиеся от психики раба. А чувство собственного достоинства не имеет ничего общего с чванством полураба, полуазнайки.

7

Я писал, что готовился к съезду советских писателей, как девушка к первому балу. Может быть, многие из моих наивных надежд и не осуществились, но съезд остался в моей памяти как большой диковинный праздник. Стены Колонного зала были украшены портретами великих предшественников — Шекспира, Толстого, Мольера, Гоголя, Сервантеса, Гейне,

Пушкина, Бальзака и других. Передо мной был Гейне — молодой, мечтательный и, разумеется, насмешливый; я машинально повторял:

Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно.
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства — все было прекрасно...

Начало я вспоминаю с улыбкой: неожиданно оркестр стал исполнять оглушающие туши, как будто должны были последовать тосты.

Съезд продолжался пятнадцать дней, и каждое утро мы спешили в Колонный зал, а у входа толпились москвичи, желавшие посмотреть на писателей. К трем часам дня, когда объявляли обеденный перерыв, толпа была такой плотной, что мы с трудом пробивались. Тогда еще не было моды на автографы, люди смотрели, узнавали некоторых, приветствовали. Гости каждый день менялись, и на съезде побывало двадцать пять тысяч москвичей.

Приходили различные делегации: Красной Армии и пионеров — «База курносых», работниц «Трехгорки» и строителей метро, колхозников Узбекистана и московских учителей, актеров и бывших политкаторжан. Железнодорожники выстраивались под сигнальный свисток; пионеры дули в трубы; колхозницы приносили огромные корзины с фруктами, с овощами; узбеки привезли Горькому халат и тубетейку, матросы — модель катера. Все это было патетично, наивно, трогательно и походило на необычайный карнавал; привыкшие к трудным часам у рабочего стола, мы вдруг оказались на площади, засыпаемые розами, астрами, георгинами, настурциями — всеми цветами ранней московской осени.

Я раскрыл книгу, ставшую теперь редкостью, — стенографический отчет съезда, просмотрел список делегатов; редкостью стали и участники Первого съезда писателей — из семисот осталось в живых, может быть, полсотни. Прошло тридцать лет, да и годы были нелегкими.

Я председательствовал на заседании, когда выступил участник Парижской коммуны Гюстав Инар; ему было восемьдесят шесть лет.

Делегации, приходившие, чтобы приветствовать съезд, были героями ненаписанных романов. Помню высокую крепкую жен-

щину, колхозницу из Московской области; она говорила: «У меня самой муж. Я четвертый год — председателем колхоза. Вы знаете, ведь председателя колхоза можно приравнять к директору фабрики, а муж — рядовой колхозник. Но он терпения набрался. Ему дают наряд — изволь его выполнить. Если не так делаешь, то я на правлении скажу. Не справишься — трудодней не дам. Если еще не справишься — из колхоза выгоню. Покажу пример остальным мужчинам: скажут — расправилась с мужем, и нам не легче будет...» Рядом стоял мужчина невысокого роста и пугливо ежился.

Все делегации «предъявляли счет»: текстильщицы хотели романа о ткачихах, железнодорожники говорили, что писатели пренебрегают проблемами транспорта, шахтеры просили изобразить Донбасс, изобретатели настаивали на героях-изобретателях. (Люди не всегда представляют, что именно им нужно. Некоторые писатели поспешили погасить задолженность; появились сотни производственных романов. А читатели тем временем росли. Тридцать лет не прошли бесследно... Библиотекари говорят, что железнодорожники зачитываются рассказами Чехова, горняки любят «Петра» А. Толстого, ткачихи плачут над «Анной Карениной», изобретателям нравятся романы, где нет никаких изобретений, от «Тихого Дона» до «Старика и моря».)

Старый ашуг Сулейман Стальский вместо речи решил продекламировать, вернее, спеть стихи о съезде:

Приветный знак ашугу дан,
И вот я, Стальский Сулейман,
На славный съезд певцов пришел.

А. М. Горький вытер платком глаза. Я не раз видел в глазах Алексея Максимовича слезы умиления, Андерсен-Нексе, когда его обступили пионеры, тоже прослезился.

Б. Л. Пастернак сидел в президиуме и все время восхищенно улыбался. Когда пришла делегация метростроевцев, он вскочил — хотел взять у одной из девушек тяжелый инструмент; она рассмеялась, рассмеялся и зал. А Пастернак, выступая, начал объяснять: «И когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном

смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку».

Переполненный зал напоминал театр: встречали овацией любимых писателей; восхищались удачными речами. Олеша потряс поэтической исповедью, Вишневский и Безыменский — страстными митинговыми речами, Кольцов и Бабель сумели рассмешить.

Кажется, все говорили искренне, хотя иногда содержание речей и не совпадало с душевным состоянием того или иного писателя. Ю. К. Олеша рассказал, как он воскрес, освободившись от недавних сомнений: «Ко мне вдруг неизвестно почему вернулась молодость. Я вижу молодую кожу рук, на мне майка, я стал молод — мне шестнадцать лет. Ничего не надо. Все сомнения, все страдания прошли. Я стал молод. Вся жизнь впереди». Может быть, в тот же самый день, может быть, на-завтра или через неделю я с ним обедал, и он печально говорил: «Я больше не могу писать. Если я напишу: «Была плохая погода», — мне скажут, что погода была хорошей для хлопка»... Олеша был очень талантлив, книга «Зависть», написанная в 1927 году, выдержала испытание временем. Да и отрывистые записи последних лет показывают большую писательскую силу. Но молодость к нему не вернулась; это было иллюзией, сном на празднике...

А. М. Горький внимательно слушал речи. Ему хотелось, чтобы съезд принял деловые решения. Алексей Максимович предлагал многое: «Историю фабрик и заводов», книгу «День мира», историю гражданской войны, историю различных городов, литературные школы, коллективную работу, журнал, посвященный профессиональному обучению начинающих авторов. Некоторые из его проектов потом были осуществлены. Но съезд не был, да и не мог быть деловым: он превратился в крупную политическую демонстрацию. Из Германии доходил дым костров, на которых фашисты жгли книги. Все помнили недавние события: фашистский путч в Париже, разгром шувбунда. Присутствие революционных зарубежных писателей расширяло стены Колонного зала; мы смутно ощущали приближение войны.

Горький пригласил на свою дачу иностранных гостей и некоторых советских писателей. Помню страшный рассказ китайской писательницы, она сказала, что молодой писатель Ли Вэй-сэн был живым закопан в землю. Японский гость расска-

зал на съезде, как полиция истязала и убила писателя Кобаяси. Мы восторженно встретили Бределя — он просидел больше года в фашистском концлагере. Он говорил о судьбе Людвиг Ренна, Осецкого. Можно ли было спокойно это слушать? Для того чтобы воссоздать настроение тех дней, скажу, что такой далекий от политики человек, как Пастернак, в своей речи, вспомнив приветствие представителя Красной Армии, говорившего о защите родины, сказал: «Вы открывали переливы вашего собственного голоса в словах курсанта Ильичева».

Я говорил, что историю нельзя переписать заново. В одной из резолюций съезд приветствовал присутствовавших: Андерсена-Нексе, Мальро, Жан-Ришара Блока, Якуба Кадри, Бределя, Пливье, Ху Лань-чи, Арагона, Бехера, Амабель Эллис — и слал приветы отсутствовавшим: Ромену Роллану, Жиду, Барбюсу, Бернарду Шоу, Драйзеру, Эптону Синклеру, Генриху Манну, Лу Синю (сохраняю порядок резолюции). Некоторые из перечисленных писателей при разных обстоятельствах, в разное время, да и по-разному отошли от идей, которые разделяли в 1934 году; но я сейчас говорю не об их дальнейшей судьбе, а о съезде.

Андерсен-Нексе просил советских писателей быть шире: «Вы должны дать массам идеалы не только для борьбы и для труда, но и для часов тишины, когда человек остается наедине с самим собой... Художник должен давать приют всем, даже прокаженным, он должен обладать материнским сердцем, чтобы выступить в защиту слабых и неудачливых, в защиту всех, кто, все равно по каким причинам, не может поспеть за нами».

В докладе Радек упомянул о некоторых колебаниях Жан-Ришара Блока. В своей речи Блок говорил о необходимости широкого антифашистского фронта: «Товарищ Радек, если вы будете упорствовать в осуждении, если вы будете проявлять недоверие, то я лично должен вас предупредить, что это только толкнет широкие массы Запада в сторону фашизма». Арагон, молодой и вдохновенный, откинув голову назад, говорил о наследстве «Рембо и Золя, Сезанна и Курбе».

Мальро выступил дважды. Первый раз он говорил о роли литературы: «Америка нам показала, что, выражая мощную цивилизацию, люди еще не создают мощной литературы и что фотография великой эпохи — это еще не великая литература... Вы, похожие друг на друга и все различные, как зерна, вы здесь кладете начало той культуре, которая даст новых

Шекспиров. Только чтобы не задохлись Шекспиры под грузом самых наипрекрасных фотографий».

Второй раз он попросил слово, чтобы напомнить о своей политической позиции: «Если бы я думал, что политика стоит ниже литературы, я не провел бы кампании во Франции вместе с Андре Жидом в защиту товарища Димитрова, не ездил бы в Берлин по поручению Комитета защиты Димитрова и, наконец, не был бы здесь». Мальро страдал нервным тиком. Радек решил, что Мальро морщится от дискуссии: «У него часто скривлялось лицо, когда он считал, что вопрос поставлен чересчур резко». Он поспешил успокоить Мальро, но вылечить его от тика, конечно, не смог.

Выступали мои старые друзья: Толлер, Незвал, Новомеский. Рафаэль Альберти держался очень скромно и даже не попал в список знатных гостей.

О чем же мы говорили в течение пятнадцати дней? Пушкиных и Гоголей среди нас как будто не было, но многие были уже не зернами, а деревьями или кустарником. Алексей Толстой не походил на Серафимовича, Бабель на Панферова, Демьян Бедный на Асеева, и политические декларации неизменно перемежались с литературными спорами. Громче других шумели поэты, которых взволновал доклад Бухарина. Когда впервые было произнесено имя Маяковского, зал восторженно зааплодировал. Однако и здесь не было единогласия. В заключительном слове А. М. Горький, назвав Маяковского «влиятельным и оригинальным поэтом», сказал, что ему свойствен «гиперболизм», который плохо влияет на некоторых молодых поэтов. Спорили о праве лирики на существование, о том, устарели или нет агитки, о романтизме, о доходчивости, о многом другом.

Настоящие писатели всегда стремились выразить не себя, а через себя мысли и чувства современников. Работа писателя протекает, однако, не в цеху, не на сцене, а в комнате с закрытыми дверями. Можно научить начинающего автора преодолеть литературную неграмотность, безвкусицу, научить его читать, но научить его стать новым Горьким, Блоком или Маяковским невозможно. Даже большой мастер не может обучить другого мастера: различные ключи подходят к различным замкам. Стендаль попробовал прислушаться к советам Бальзака и чуть было не погубил «Пармскую обитель», но вовремя спохватился и отказался переделать роман. Тургенев, стараясь ис-

править некоторые стихотворения Тютчева, страдавшие, по его мнению, ошибками, нещадно их исковеркал.

Писатели порой (не очень часто) говорят друг с другом о литературных проблемах; эти беседы или споры помогают осмыслить многое. Но можно ли спорить о мастерстве в огромном зале, среди тушей и оваций? Не думаю. Да и назначение съезда было другим. Читатели увидели, что мы с ними, что есть у нас общая цель. Мы, в свою очередь, поняли, как заинтересованы в нашей работе миллионы людей; это заставило нас еще серьезней призадуматься над ответственностью писателя. Съезд собрался накануне чрезвычайно трудного десятилетия. Мы видели звериный оскал фашизма. Как бы ни были велики наши художественные раздоры, порой связанная с ними неприязнь, мы показали тем, кто хотел это понять, что боевая выручка для нас — не абстрактное понятие. Это дал съезд, и большего, я думаю, он дать не мог.

Все же по наивности или по свойствам характера я, как и некоторые другие, ввязался в литературный спор. Я, например, осмелился усомниться в полезности коллективных работ писателей. Алексей Максимович, отвечая мне, сказал, что я так говорю «по недоразумению, по незнакомству с их техническим смыслом».

Горький потом сказал мне: «Вы против коллективной работы, потому что думаете о писателях грамотных. Наверно, мало читаете, что теперь печатают. Разве я предлагаю Бабелю писать вместе с Панферовым? Бабель писать умеет, у него свои темы. Да я могу назвать и других — Тынянова, Леонова, Федина. А молодые... Они не только не умеют писать, не знают, как подступиться...» Признаюсь, Алексей Максимович меня не убедил. Я думал прежде всего о нем самом: он научился писать, нашел свои темы, никто ему ничего не разжевывал. Да и в 1934 году я видел писателей, прошедших трудную школу жизни и нашедших свой путь. В книгах наших великих предшественников они находили те уроки, которых напрасно было ждать от бригадиров литературных бригад или от профессоров проектировавшегося Литературного института. Обидно мне другое — что с Горьким я познакомился слишком поздно. Дважды я с ним беседовал, часто на него глядел во время съезда. Меня поражала в нем прирожденная талантливость, она чувствовалась в любом его жесте. Выступая с докладом, он вдруг закашлялся, приступ был долгим, и зал

замер: все знали, что Алексей Максимович болен. Его раздражал резкий свет прожекторов. Когда мы ужинали у него на даче, он вдруг встал и с виноватой усмешкой сказал, что просит его простить — устал, должен лечь. Бабель, хорошо знавший Алексея Максимовича, говорил мне: «Ему плохо. После смерти Максима он сдал. Не тот Горький...» Наверно, он был прав, а «того» Горького мне увидеть не удалось.

Я выступил с длинной речью. Приведу из нее несколько отрывков.

«Можно ли упрекать писателя за его необщедоступность? Романсы под гармошку даются куда легче, нежели Бетховен... Каждый истинный художник стремится к простоте, но простота простоте рознь. Простота «Моцарта и Сальери» — не простота крыловских басен. Есть простота, которая требует для своего понимания подготовки. Мы вправе гордиться, что некоторые из наших романов уже доступны миллионам. В этом мы далеко обогнали капиталистическое общество. Но одновременно мы должны лелеять, беречь те формы нашей литературы, которые сегодня еще кажутся уделом интеллигенции и верхушки рабочего класса, но которые завтра, в свою очередь, станут достоянием миллионов. Простота — не примитивизм. Это синтез, а не лепет. Мне приходится напомнить об этом только потому, что провинциализм еще частично присущ нашей литературе. Нашей стране теперь принадлежит гегемония... А часто в наших книжках чувствуется спесь и одновременно приниженность захолустья...»

«Великие писатели прошлого века оставили нам опыт... Но изучение этого опыта у нас подменяется имитацией. Так начинается эпигонство, так появляются романы или рассказы, слепо подражающие манере старой натуралистической повести... Под видом необходимости борьбы с формализмом у нас часто проводится культ самой реакционной художественной формы... Рабочий справедливо протестует против дома-казармы... Но разве это значит, что можно вытащить лжеклассический портал, прибавить немного ампира, немного барокко, немного старого Замоскворечья и выдать все это за архитектурный стиль нового великого класса?.. Кому придет в голову рассматривать историю живописи только как голую смену тематики? Голландские мастера XVII века писали яблоки, Сезанн тоже писал яблоки, но они писали яблоки по-разному, и все дело в том, как они писали яблоки...»

«Вместо серьезного литературного разбора мы видим красную и черную доски, на которые заносятся авторы, причем воистину сказочно легкость, с которой их с одной доски переносят на другую. Нельзя, как у нас говорят, поднимать на щит писателя, чтобы тотчас сбрасывать его вниз. Это не физкультура. Нельзя допустить, чтобы литературный разбор произведений автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о распределении благ не должен находиться в зависимости от литературной критики. Нельзя, наконец, рассматривать неудачи и срывы художника как преступления, а удачи как реабилитацию».

Обычно, вспоминая прошлое, я удивляюсь, как я мог то-то написать, так-то поступить, с трудом себя узнаю на выцветших фотографиях. Речь на съезде писателей меня удивила другим: мне показалось, что это цитаты из моей недавней статьи. А с тех пор прошло тридцать лет. Мир изменился до неузнаваемости. На съезде О. Ю. Шмидт рассказал мне о замечательных перспективах авиации: в ближайшие годы нашим летчикам удастся перелететь через Северный полюс. Я слушал его, как мага. Мог ли кто-нибудь тогда представить себе, что двадцать семь лет спустя советский летчик спокойно уснет в космическом пространстве, кружась без конца вокруг нашей планеты?

Я тогда был вихрастым, задористым; высох, полысел, да и помягчел. И вот я повторяю в статьях, в этой книге мысли, высказанные в 1934 году. Может быть, я выжил из ума, напоминаю старика, который рассказывает как злободневную новость, что на Тверской возле дома генерал-губернатора околоточный его незаслуженно обидел? Вряд ли. От такого старика люди убегают, а на меня порой и накидываются. К сожалению, я, видимо, не доживу до того дня, когда вопросы, поднятые мною на съезде, устареют...

В 1934 году, после «Дня второго», мое имя стояло на красной доске, и никто меня не обижал. Время было вообще хорошее, и мы все думали, что в 1937 году, когда должен по уставу собраться Второй съезд писателей, у нас будет рай. На съезде выступил О. Ю. Шмидт. Он рассказал с горькой иронией об одном из фильмов, посвященных эпопее челюскинцев: «И вот слышен чей-то голос, подозрительно похожий на голос начальника экспедиции, хотя я этого совершенно не говорил. И вот этот начальник все время кричит: «Вперед! Быстрей! Еще

быстрей! Вперед, вперед!» Не такими методами мы руководили. Наше руководство, наша работа не нуждаются в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждаются в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы». Мы дружно аплодировали умной речи. Отто Юльевич был хорошим ученым; оракулом он не был.

Выбрали правление, одобрили устав. Горький объявил съезд закрытым. На следующий день у входа в Колонный зал неистовствовали дворники с метлами. Праздник кончился.

8

Еще до съезда писателей я поехал с Ириной на север. Мы побывали в Архангельске, Холмогорах, Усть-Пинеге, Котласе, Сольвычегодске, Сыктывкаре, Великом Устюге, Нюксенице, Тотме, Вологде. Плыли на пароходах, носивших гордые имена: «Лютый», «Марксист», «Массовик», «Крепыш». Пароходы шли медленно; люди рассказывали долгие истории, спорили, мечтали, пели, сквернословили. На остановках пассажиры покупали молоко, чернику, купались, заводили знакомства, женщины стирали белье. Берега были зелеными и загадочными; казалось, пароход, удивленно вскрикивая, врывается в вековую дрему природы. Изредка показывалось человеческое жилье — кондовые двухэтажные избы. По реке медленно плыли огромные стволы — лес шел по тихой Сухоне, по капризной Вычегде, по широкой Двине — вниз к морю. Ночи были светлыми, и порой от красоты захватывало дух. Я впервые увидел русский север, он меня сразу покорила нежностью и суровостью, древним искусством и молодостью рослых молчаливых людей.

Я побывал на запанях, где люди, стоя на плотках, баграми подбирали стволы сосен и елей. Запань порой скрипела, — казалось, сейчас она поддастся и лес вырвется к морю; но люди работали день и ночь. Стволы вязали; буксиры везли плоты в Архангельск; там дерево грузили на суда — английские, норвежские, шведские. Это была валюта, на нее покупали оборудование заводов.

Я подолгу разговаривал с рабочими, с юношами и девушками, недавно приехавшими из деревень. Не только лес растет неровно, но и люди. Я видел рабочих, которые на досуге

сидели над учебниками математики, читали стихи, мучительно переживали трагедию немецких коммунистов; видел равнодушных, ловкачей, мошенников.

Конечно, я радовался, глядя на новые поселки вокруг Архангельска, на щетинную фабрику в Великом Устюге, на тракторы; но больше всего меня поражал рост сознания. Человеческие взаимоотношения начинали усложняться, углубляться. Я встречал на лесозаготовках, на запанях, в порту людей с широким кругозором, с богатой духовной жизнью — не вечно улыбающихся ударников с Доски почета, а сложных, внутренне взрослых людей, и как бы ни был жесток быт, как бы ни возмущали меня уже появившиеся к тому времени равнодушные администраторы, занятые только цифрами (порой воображаемыми), я радовался: видел, как растет наше общество.

Недавно, просматривая старые комплекты «Красной нови», я случайно попал на такие строки: «Эренбург видит мир в контрастах. Это свойство его глаза». Автор говорил как раз о моем восприятии севера в 1934 году. Я задумался: правда ли, что у меня особые глаза, с которыми нужно идти если не к глазнику, то к психиатру? Я читаю старые записи, стараюсь восстановить в памяти лето 1934 года, не так уж давно это было, все же не вчера. Да, я часто восхищался, часто и сердился, хмурился, веселел. Однако, разговаривая с другими людьми, я видел, что и они одно хвалят, другое ругают. Дело, пожалуй, не в моих глазах, а в эпохе — на контрасты она не скупилась.

Москва тогда впервые узнала горячку строительства; она пахла известкой, и от этого было весело на душе. Я видел, как строили первую очередь метро, и радовался вместе со всеми москвичами. Выросли огромные заводы вокруг Симонова монастыря. Я не узнавал многих хорошо мне знакомых улиц; вместо кривых домишек — леса, щебень, пустыри. Ночью над городом стоял оранжевый туман, впервые захолустная Москва моего детства выглядела столицей.

А рядом можно было увидеть, как сносили памятники старины: Китай-город, Сухареву башню, Красные ворота. Уничтожали зеленое кольцо Зубовского, Смоленского, Новинского бульваров с вековыми деревьями. Трудно объяснить, почему семнадцать лет спустя после революции происходило разрушение множества сокровищ, и не стихийно — организованно.

Помню разговор с И. Э. Грабарем. Он рассказывал, что многие архитекторы протестовали против сноса Красных ворот, писали в докладной записке, что эта арка не мешает уличному движению,— все равно машинам придется объезжать площадь, и там, где находятся Красные ворота, поставят милиционера; доводы не подействовали.

На севере я увидел, с каким иступлением люди разрушали то, что стоило сохранить. Еще можно было найти немало деревянных церквей шестнадцатого — семнадцатого веков, в которых сказался творческий гений русского народа. В таких церквях хранили картошку, сено, и, простоявшие триста — четыреста лет, они сгорали одна за другой. Когда я был в Архангельске, там с величайшими усилиями взрывали прекрасное здание таможни петровского времени. (В стене нашли ларец, а в ларце деревянную Венеру; «куклу» поломали.) Я видел, как по кирпичикам разбирали одну из старейших церквей Великого Устюга; мне объяснили: «Баню строим». В другой церкви сушили белье, а под рубашками сидели Христы. На севере была распространена деревянная раскрашенная скульптура барокко; чаще всего мастера изображали Христа в темнице. (В испанском городе Вальядолид я видел скульптуру, очень похожую на великоустюжскую.) Мы привыкли видеть Христа в одиночку, а на складе я увидел целый симпозиум Христов; у некоторых были отбиты руки, ноги; они сидели и о чем-то мрачно думали.

Места, где я побывал тем летом, сыграли видную роль в развитии русского искусства: Великий Устюг, София в Вологде, шатровые деревянные церкви, строгановские иконы; старины, песни, заговоры, прибаутки; народное творчество — глиняные бело-черные игрушки, вологодские кружева, резьба по кости, чернь на серебре. Здесь не было южной цветистости — все выглядело ясным, строгим.

Вологодским кружевницам предложили вместо традиционных узоров — «честянка», «мизгиречек», «речка», «медведка», — изображать тракторы. В Великом Устюге я познакомился со старым мастером, специалистом по черни Чирковым. Он долго мне рассказывал, как сначала ему отвечали, что чернь никому не нужна, потом пришли из горсовета: «Раскрой твой секрет». Напрасно Чирков объяснял, что никакого секрета нет, дело не в производственной технике, а в мастерстве, в фантазии. Организовали артель и начали изготавливать безвкусные

браслеты. (Я рассказал Горькому о судьбе Чиркова, рассказал про резчика по кости Гурьева, про вятскую крестьянку Мезрину, которой сказали, что у глиняных гусар нужно убрать погоны, про земляка Алексея Максимовича Мазина, расписывавшего скамьи, табуреты, стены. Горький огорчился, попросил меня все записать, вытирал глаза. Чиркова вызвали в Москву, но артель продолжала изготавливать те же браслеты. Потом Чирков умер.)

Тысяча девятьсот тридцать четвертый был годом героики. Погибли отважные люди, поднявшиеся в стратосферу. Летчики спасли челюскинцев. Никогда не забуду, как их встречала Москва: солнце, прозрачные транспаранты, цветы и какое-то всеобщее умиление — другого слова не подберу — перед мужеством, перед братством.

Один из челюскинцев рассказал мне, что у них на льдине был томик Пушкина; они читали стихи вслух, и это всех приподымало. Мог ли писатель слушать такие признания без глубокого волнения?

В клубе «Красный лес» комсомолец декламировал стихи Тютчева. Я невольно вспомнил строку Фета: «К зырянам Тютчев не придет». А было это в Сыктывкаре — в столице коми, которых прежде звали зырянами.

К одним приходил трудный Тютчев. От других уходили обыкновенные человеческие чувства. Проводили партийную чистку. На собрании обсуждали работу Краснова (фамилия, как и последующие, вымышленная). Его сослуживец Смирнов сказал: «А между прочим, товарищ Краснов живет с женой Шелгунова...» Шелгунов присутствовал на собрании; он налил в стакан воду, но не выпил. Краснов начал оправдываться: «Она сама лезла...» Его перевели из членов в кандидаты.

В Тотьме устраивали курорт для страдающих нервными заболеваниями. Клуб поместили в церкви, и под потускневшей богородицей висел плакат: «Здоровое тело необходимо для выполнения второй пятилетки». Церковное кладбище разрыли. Я видел человеческие останки. Заведующий, с глазами идеально пустыми, гладил свои свисавшие щеки и равнодушно отвечал: «Уберем, до всего руки не доходят. А начнут гонять мяч и замечать не будут...»

Газетные критики еще одобрительно отзывались о новой опере Шостаковича «Катерина Измайлова». На премьере

«Дамы с камелиями» Мейерхольду устроили овацию. Мне показали поэму «Торжество земледелия» Заболоцкого; стихи меня удивили, потом прельстили; я их долго повторял про себя. В Москве я провел несколько вечеров с А. П. Довженко; он был, как всегда, взволнован, страстен, терзался над «Аэроградом». А ему ставили в пример фильм «Встречный», в котором сусальные ударники одерживали легкие победы. Выставки уже были заполнены огромными холстами, напоминавшими раскрашенные фотографии: Сталин на трибуне, Сталин на скамейке, «Заседание сельсовета», «Митинг в литейном цеху». Рядом с гостиницей «Националь» построили дом в ложноклассическом духе; о нем говорили: «Вот это наш, советский стиль, никаких формалистических выкрутасов...» В Мосторге продавали вазоны, кошечек, сов, которых я видел в детстве на комодах купеческих домов. Из окон вырывалась модная песенка «У самовара я и моя Маша». Маш было куда больше, чем самоваров, но Маша у самовара правилась и членам коллегий, и председателям горсоветов, и делопроизводителям: вкусы дореволюционного мещанства казались им канонами красоты.

Контрастов в жизни было куда больше, чем в моих книгах, не потому, что я хотел умолчать о гигантском бурьяне, о чертополохе, похожем на баобаб, о крапиве, не выполотой, а выхоленной. Я говорил и о сорняках; они меня сердили, но не удивляли. А удивляло меня другое — первые побеги нового сознания, подростки, раскрывавшие книгу жизни и захваченные лихорадкой строительства не только фабрик или домов; но и своего сознания. Давно я уехал с севера, кругом были не зеленые леса, а серый Париж, поблескивавший под осенними дождями, а я все видел юношей и девушек, которые на далекой запади говорили о дружбе, о горестях любви, о борьбе за лес, за страну, за счастье.

Полгода спустя я написал повесть «Не перевода дыхания», действие которой разворачивалось на севере.

Критики приняли мою повесть куда более благожелательно, чем предшествующие книги. А мне она кажется неудавшейся: я вложил в нее многое из того, что не поместилось в «Дне втором», и, не замечая этого, повторял самого себя.

Все же для меня повесть была полезной: в ней наброски героев, к которым я впоследствии не раз возвращался. Ботаник Лясс, жизнерадостный, умный, ворчливый, — первый чер-

новик профессора Дюма из «Падения Парижа» и доктора Крылова из «Бури». Неудачливая актриса Лидия Николаевна, которая находит утешение в эфемерном успехе, стала потом Жаннетой, Валеи. Непризнанный художник Кузмин, жаждущий совместить современность со своим пониманием искусства, — родной брат француза Андре и героя «Оттепели» Сабурова.

Был еще один персонаж в повести, который выдавал мою тревогу; он проходит по книге беглой тенью — это немец Штрем. Он приехал в Архангельск с подозрительными поручениями. Жизнь его мало привлекала, он был поглощен мыслями о смерти. Выпив в архангельском ресторане с шведским капитаном, он бубнил: «Это серьезная штука — смерть. Собственно говоря, это единственная реальность... Зимой я познакомился в Берлине с одним журналистом. Он сейчас занимает высокий пост. Он позвал меня к себе. Жена, уют, второго такого добряка не сыщешь... Вот он мне и рассказал, как он шестнадцать человек ухлопал — раз-два. Это вовсе не садизм. Но подумайте, над своей жизнью мы не властны... А если ты распоряжаешься чужой жизнью — «расстрелять», — как-то сразу растешь в своих глазах. Получается суррогат бессмертия...»

Монологи Штрема не были анекдотом, болтовней, кабацким самохвальством, за ними стояла страшная жизнь огромной цивилизованной страны. Перечитав «Не переводя дыхания», я вижу, что, если говорить о сюжете повести, Штрем попал в книгу случайно, без паспорта и без прописки. Его облик не дорисован, его самоубийство ничем не оправдано, кроме желаний автора поскорее убрать со сцены противного человека, а с ним и мир, который порождает таких людей. Почему немец Штрем попал в Архангельск, почему ночью в городском сквере беседовал с милой растерянной актрисой? Да только потому, что я не мог освободиться от мыслей о Штреме. Книга писателя почти никогда не ограничивается рамками сюжета. В повести о жизни на запани, о любви комсомольцев, о горе молодой женщины, потерявшей сразу и ребенка и веру в мужа, проступало нечто другое: мысли и переживания автора, берлинские костры, на которых жгли книги, парижская ночь фашистского мятежа, развалины Флоридсдорфа, тревога за будущее. Я еще не мог многое предвидеть, но уже понимал, что сосуществовать с фашизмом невозможно. Вот те контрасты, которые мне казались цестерпимыми.

Жан-Ришар Блок сказал на съезде, что догматической узостью легко оттолкнуть колеблющихся. Многие писатели Запада не понимали метода социалистического реализма; но методы фашизма были понятны всем: он сулил книгам костры, авторам — концлагеря. Во время съезда мы не раз говорили, что нужно попытаться создать антифашистский фронт писателей.

Я поехал в Париж снова кружным путем: на советском пароходе доплыл до Пирея. Ехали со мною греческие писатели Глинос и Костас Варналис. Мы подружились. Варналис соединил в себе боевой задор с мягкостью, мечтательностью. В Салониках греческая полиция не разрешила Глиносу и Варналису сойти на берег — их должны были обыскать в Пирее. Все в Греции говорили о надвигающемся фашизме. Повсюду можно было увидеть немцев, которые вели себя как инструктора. «Они нас хотят сожрать», — говорил Варналис. Год спустя его арестовали.

Из Афин мы поехали в Бриндизи и пересекли Италию; снова я услышал вой чернорубашечников.

Газеты сообщали, как наемники-марокканцы усмиряют астурийских горняков. Я уж не мог относиться к Испании как к одной из стран Европы, вспоминал ее гордых и добрых людей; в тоске спрашивал себя: неужели и таких поставят на колени?..

С ревом неслись продавцы газет по парижским улицам: в Марселе убили короля Югославии и французского министра иностранных дел Барту. Короля я не знал, да и не понимал, кто и почему его убил. А с Барту я как-то встретился на обеде иностранной прессы; он удивил меня молодостью мыслей — ему ведь было за семьдесят, — с блеском говорил о Мирабо, Дантоне, Сен-Жюсте. Был он страстным библиофилом, я не раз его видел на набережных Сены возле ларьков букинистов. Немецкие фашисты его ненавидели: Барту, хотя был он человеком правых убеждений, отстаивал необходимость сближения с Советским Союзом, пакт безопасности, который смог бы остановить Гитлера. Убийство Барту все поняли как один из симптомов наступления фашизма.

Помню большой митинг в зале «Мютюалитэ», посвященный съезду советских писателей. В президиуме сидели Вайян-

Кутюрье, Андре Жид, Мальро, Виоллис, рабочие-коммунисты. В зале были люди, тоже давно сделавшие свой выбор; они скандировали: «Советы повсюду!» Виоллис, которая сидела рядом со мной, шепнула: «Советские писатели должны показать, что готовы в борьбе против фашизма сотрудничать со всеми...»

Был у меня разговор с Жан-Ришаром Блоком. Он говорил, что пришел к коммунизму извилистым путем, что сейчас нужно объединиться вокруг самого насущного — борьбы против фашизма, иначе писатели-коммунисты окажутся изолированными.

Я написал в Москву длинное письмо, рассказывал о настроениях западных писателей, об идее антифашистского объединения.

Сейчас может показаться странным, почему я придавал такое значение писателям, — многое изменилось за четверть века, в том числе и роль литературы, ее место в жизни миллионов людей. На съезде советских писателей О. Ю. Шмидт, рассказав об успехах астрономии и физики, добавил: «Писатель — счастливый человек. Я ему глубоко завидую. Ученому надо долго и кропотливо продумывать, тогда как у писателей, как говорят, бывает «озарение». В тот самый год, когда мы встретились в Колонном зале с нашими читателями, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри открыли искусственную радиоактивность; начиналась эпоха ядерной физики. Я (как, наверно, большинство писателей) не имел об этом никакого представления.

Четверть века спустя сотни миллионов людей то с надеждой, то с ужасом начали следить за работой ученых. Поэт Слуцкий написал шутливые строки: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне...» Лирики читали и не улыбались.

Между двумя мировыми войнами общественная роль ученых была ограничена. В представлении миллионов людей ученый был человеком, который сидит в своей лаборатории и смотрит не то с пренебрежением, не то с испугом на встревоженные улицы. Ученые мало что делали для того, чтобы рассеять эту легенду. Ланжевен был исключением. Воевали против фашизма статьи Горького, обращения Ромена Роллана, речи Барбюса. Писатели еще пользовались огромным авторитетом. Помню, как в рабочем предместье Парижа Вилльжюйф одной из улиц присвоили имя Горького. На церемонию пришли тысячи рабочих. Вайян-Кутюрье объявил, что предо-

ставляет слово Андре Жида. Рабочие, наверно никогда не читавшие книг Жида, устроили ему такую овацию, что он растерялся. Я привел пример самого парадоксального преклонения перед званием «писатель». Может быть, отчасти почтение к писателям в 1934 году было процентами на капитал, заработанный литературой сто лет назад, когда жили Пушкин, Гюго, Бальзак, Гоголь, Стендаль, Гейне, Мицкевич, Диккенс, Лермонтов.

С тех пор многое изменилось. После Хиросимы ученые поняли свою ответственность. Во главе движения сторонников мира стал Жолио-Кюри. Международными совещаниями ученых, желающих предотвратить ядерную войну, люди интересуются куда больше, чем конгрессами пэн-клубов. Не знаю, стали ли забывать писатели о своей роли «учителей жизни» или ученики запросились в другие классы, но сейчас мне кажется преувеличением то значение, которое придавал я (да и не только я — ответственные политические деятели) антифашистскому объединению писателей.

Разгадка происшедшей перемены скорее всего не в успехах науки, разумеется бесспорных, и не в потускнении литературы, тоже очевидном, а в событиях, не имеющих прямого отношения к вопросу о праве поэзии на существование, — в угрозе атомной войны. Ни лирики, ни физики не решают вопросов мира и войны, но по характеру своей работы лирики могут только способствовать обогащению духовной жизни читателей, а физики способны и улучшить условия жизни, и усовершенствовать орудия смерти. Спираль — одна из распространенных форм развития и живых организмов, и человеческого общества; наверно, лирики будут в «почете», когда люди смогут снова спокойно глядеть на небо — и на луну физиков, обследованную людьми, и на луну влюбленных, которым перестанет угрожать луна физиков. Это размышления о настоящем и будущем, а заговорил я о значении писателей в прошлом не для того, чтобы лишний раз вздохнуть. Мне хочется сделать понятным последующее. Я сидел на улице Котантен и писал пятую или шестую главу повести «Не переводя дыхания», когда мне позвонил наш новый посол В. П. Потемкин и попросил зайти к нему — дело срочное. Владимир Петрович сказал, что в связи с моим письмом о настроениях западных писателей меня просят приехать в Москву — со мною хочет поговорить Сталин.

В Москву я приехал в ноябре; погода была препротивная, валил мокрый снег, но настроение у меня было хорошее. Ирину я нашел веселой. Раньше она мне не говорила, что занялась литературой — написала книгу «Записки французской школьницы». А теперь как бы вскользь сказала, что вещь напечатана в альманахе, который редактировал Горький, и скоро выйдет отдельным изданием. Я прочитал «Записки» за ночь. Читал я, понятно, с особым интересом: Ирина описывала свои школьные годы, первые сердечные бури. Я узнавал ее подруг, мальчишек, которые иногда приходили к нам, и открывал многое, мне неизвестное, — Ирина была скрытной.

В ожидании встречи со Сталиным я проводил вечера со старыми друзьями. Ко мне приходили и молодые писатели — Лапин, Славин, Левин, Габрилович. Братья Васильевы показали мне «Чапаева». Я часто бывал у Всеволода Эмильевича; он не сдавался, рассказывал о постановке «Горе уму». Настроение у всех было хорошее. Говорили, что на предстоящей сессии Советов будет обсуждаться проект новой конституции. Ноябрь казался маем, и я на все глядел радужно.

Как-то я отправился в «Известия», зашел к Бухарину, на нем лица не было, он едва выговорил: «Несчастье! Убили Кирова»... Все были подавлены — Кирова любили. К горю примешивалась тревога: кто, почему, что будет дальше?.. Я заметил, что большим испытаниям почти всегда предшествуют недели или месяцы безмятежного счастья — и в жизни отдельного человека, и в истории народов. Может быть, так кажется потом, когда люди вспоминают о канунах беды? Конечно, никто из нас не догадывался, что начинается новая эпоха, но все примолкли, насторожились.

Несколько дней спустя заведующий отделом культуры ЦК А. И. Стецкий сказал мне, что ввиду событий намеченная встреча в ближайшее время не может состояться; меня не хотят зря задерживать. Алексей Иванович попросил меня продиктовать стенографистке мои соображения о возможности объединения писателей, готовых бороться против фашизма.

В Париже я успел написать еще несколько глав повести.

Я разговаривал с Мальро, с Вайяном-Кутюрье, с Жидом, с Жан-Ришаром Блоком, с Муссином, с Геенно. После долгих споров группа французских писателей решила созвать весной или в самом начале лета международный конгресс. Писатели — не рабочие: объединить их очень трудно. Андре

Жид предлагал одно, Генрих Манн другое, Фейхтвангер третье. Сюрреалисты кричали, что коммунисты стали бонзами и что надо сорвать конгресс. Писатели, близкие к троцкистам,— Шарль Плинье, Маделен Паз — предупреждали, что выступят — «разоблачат» Советский Союз. Барбюс опасался, что конгресс по своему политическому диапазону будет чересчур широким и не сможет принять никаких решений. Мартен дю Гар и английские писатели Форстер, Хаксли, напротив, считали, что конгресс будет чересчур узким и что дадут выступить только коммунистам. Потребовалось много терпения, сдержанности, такта, чтобы примирить, казалось бы, непримиримые позиции.

Впрочем, все трудности встали перед нами в начале 1935 года. А приехав из Москвы, я едва успел оглядеться, как пришла телеграмма от редакции: в Сааре плебисцит, я должен туда выехать. Я оставил на столе недописанную главу повести и позвонил Мальро: не смогу присутствовать на очередном заседании подготовительной группы.

Ночью в вагоне я мечтал, или, как говорил когда-то рыжий Ромка, строил «рабочие гипотезы». Конгресс заставит колеблющихся выбрать путь борьбы. Уж не так силен фашизм, как кажется, — он держится на всеобщем оцепенении! Может быть, в Сааре немцы проголосуют против Гитлера?..

Вдруг я вспомнил тревожный вечер в редакции «Известий». Кто убил Кирова?..

В купе было натоплено. Я с трудом опустил окно. Ворвался дым — желтый, густой, едкий.

10

Я приехал в Саарбрюккен вечером. Сквозь туман мерцали площадки иллюминации. На главной улице в витрине большой колбасной красовалась свастика из сосисок; прохожие смотрели и восхищенно улыбались. Хозяйка гостиницы, толстая, апоплексическая женщина, кричала в коридоре: «Не забывайте, что я немка!» На улице громкоговорители передавали военные песни: «Мы идем, раз-два...» Я плохо спал. Ночью стреляли; я приоткрыл дверь, и коридорный, собиравший для чистки выставленные ботинки, объяснил: «Наверно, убрали

еще одного предателя...» Утром хозяйка мне сказала: «Вы должны сейчас же очистить комнату. Я вам сдала ее по ошибке. Я — немка, сударь! Понимаете?..»

Я все понял; но, может быть, молодому читателю непонятно, что же тогда происходило в Сааре. Напомню. В 1919 году, составляя Версальский договор, союзники долго спорили о Саарском бассейне. Клемансо хотел, чтобы саарский уголь достался Франции. Вильсон возражал. Помирились на том, что пятнадцать лет спустя в Сааре будет устроен плебисцит, жители сами решат, присоединять ли их округ к Германии или нет. До прихода к власти Гитлера все было ясно: в Сааре живут немцы, — следовательно, они выскажутся за присоединение.

Фашистский террор заставил некоторых призадуматься. Перед избирателями был поставлен вопрос, хотят ли они присоединения к Германии или статус-кво, то есть сохранения автономного управления и экономического союза с Францией. Кроме незначительной партии автономистов, только коммунисты призывали голосовать за статус-кво. Приехав в Саар, я сразу понял, что огромное большинство выскажется за присоединение: нацисты играли на патриотизме. Плакаты, песни, флаги вслед за хозяйкой гостиницы, где я провел первую ночь, повторяли: «Мы — немцы, наше место в Германии!»

«Свободное волеизъявление» походило на трагический фарс. В теории всем была предоставлена свобода слова, собраний, печати. Английские солдаты должны были гарантировать порядок. На деле фашисты срывали собрания коммунистов. Ни в одном киоске я не смог купить газет, высказывавшихся против присоединения: продавщицы испуганно отвечали: «Они предупредили, что сожгут киоск...» Людей убивали из-за угла. Даже мне прислали анонимное письмо со свастикой: если я тотчас не уберусь из Саара, для меня найдется «хорошая немецкая пуля».

Подлинный хозяин Саарского бассейна, Герман Рехлинг сулил послушным премиальные, ослушникам — голодную смерть. Безработных, не желавших записаться в «Германский фронт», тотчас лишали пособий.

(Теперь, читая в западной печати о том, что германский вопрос можно разрешить «свободными выборами», я вспоминаю плебисцит в Сааре...)

В деревне Пикард я увидел смешной эпизод несмешной кампании. Там были два быка, узаконенные в качестве производителей. Один считался лучшим, и бедный крестьянин в известной степени жил за счет своего быка. Этого крестьянина заподозрили в политической неблагонадежности, и бык был объявлен «быком статус-кво». Никто не смел случать его с честной арийской коровой.

Помог мне попасть и в деревню Пикарди в другие закоулки Саара немецкий писатель Густав Реглер. Я с ним познакомился в Париже, потом мы встречались в Москве во время съезда писателей. Был он человеком нервным, впечатлительным. Сарарские фашисты грозились, что его убьют. Он смело выступал повсюду, рассказывал про террор в Германии. Он повел меня в дома шахтеров, где я услышал правдивые рассказы о происходящем.

Еще до плебисцита я написал для газеты очерки и последний из них кончил словами: «Битва может быть проиграна. Война — никогда».

Битва была проиграна. Я уже знал, что до победы предстоит немало поражений, и не пал духом.

Вернувшись в Париж, я дописал повесть, пошел на собрание подготовительной группы, и тут снова пришлось уехать: в Женеве должна была собраться Чрезвычайная сессия Совета Лиги наций.

Швейцарцы тянули с визой. Наконец советник посольства показал мне телеграмму из Берна; я переписал ее: «Советскому гражданину Илье Эренбургу разрешается десятидневное пребывание в Швейцарии в качестве корреспондента газеты «Известия» на Чрезвычайной сессии Совета Лиги наций при условии, что названный Илья Эренбург будет воздерживаться от всего способного нарушить внутреннее спокойствие Швейцарии или омрачить ее добрые отношения с соседними государствами». Дипломат объяснил мне, что, находясь на швейцарской территории, я не должен говорить или писать что-либо направленное против Германии — того требует швейцарский нейтралитет.

Что же, нейтралитет (как, впрочем, и все на свете) можно понимать по-разному. Незадолго до моего приезда в Швейцарию агенты Гитлера похитили в Базеле немецкого эмигранта-антифашиста Якоба и увезли его в Германию. Швейцарские власти сделали вид, что ничего особенного не произошло.

Я увидел Женеву, переполненную гитлеровцами; никаких подписок с них не брали; у них были в Швейцарии свои газеты, и они преспокойно писали, что «для удаления злокачественной опухоли коммунизма необходимо прибегнуть к хирургии и начинать с России».

Теперь я привык к различным международным конференциям и знаю, что они чрезвычайно напоминают судилище, описанное в «Рейнке-лисе». Тогда же я был новичком и многому удивлялся. Лига наций была черновиком ООН; американцы в ней не участвовали, и господами положения считались англичане и французы. Германия еще в 1933 году вышла из Лиги наций, но перед Гитлером пасовали все. В датском Шлезвиге я видел, как датчане боятся немецких дивизий. А в Женеве представитель Дании долго доказывал, что политика Гитлера пример миролюбия; этот адвокат фашизма к тому же был социал-демократом. Переговоры шли за кулисами — в различных загородных ресторанах. Немцы обещали Испании торговый договор, и Лерус вдруг почувствовал нежность к третьему рейху. Португальцам и чилийцам сулили различные подачки. Тревогу, охватившую мир, хотели усыпить параграфами, сносками, комментариями.

Выступил М. М. Литвинов; говорил он спокойно и с виду походил на толстого добродушного семьянина. Он напомнил дипломатам, что аппетит приходит во время еды и что нельзя полагаться на улыбки Гитлера: «Вряд ли могут быть приняты во внимание какие-либо обещания воинственного гражданина шадить некоторые кварталы города и оставлять за собой и за своим оружием право на действие в остальных кварталах...»

В кафе «Бавария», где собирались журналисты, корреспондент «Фигаро» кричал: «Эмиль Бюре сошел с ума! Почему Франция должна бояться германской армии? Ведь и ребенку ясно, что Гитлер двинется на Украину...»

В витрине немецкого бюро путешествий, находившегося недалеко от «Баварии», висела большая карта Европы, на ней Эльзас и Лотарингия входили в границы Германии.

Весна была холодной, ненастной; но газеты писали, что летом во Франции ожидается куда больше туристов, чем в предшествующие годы: «Мир торжествует...» Германия продолжала вооружаться. Лига наций рассматривала различные планы разоружения. Французы толковали о предстоящих каникулах.

Я поехал в бельгийский город Эйпен, принадлежавший до 1918 года Германии. Снова мытарили с визой. В Бельгии тогда было коалиционное правительство, в него входили социалисты Вандервельде, Спаак. Еще недавно Спаак считался «красным». Я помнил, как он потрясал кулаками на собрании шахтеров в Боринаже. Перегримировался он с быстротой, которой позавидовал бы любой актер Мейерхольда. Он стал крупной политической фигурой в послевоенной Европе. Я его видел в Брюсселе в 1950 году; несмотря на тучность, он держался неистово. Он защищал идеи, как он говорил, «умеренные»; но защищал их неумеренно. Я таких людей побаиваюсь: они способны поджечь мир только потому, что считают себя хорошими пожарниками. Вандервельде был человеком прошлого столетия и не пробовал угнаться за Спааком; ему тогда было семьдесят лет. Он написал статью о моей повести «День второй». Не знаю, что на него подействовало — мой стиль или стиль Гитлера, но в статье были неожиданные признания: «Так, несмотря на все, этот народ идет по грязи, по снегу к звездам. Самая законная из всех революций дала ему веру и надежду — чудодейственное обновление всей социальной жизни». Однако идеи министра Вандервельде никак не отражались на будничной политике: в Эйпене я увидел картину, похожую на Саар. Нацисты приезжали на трамвае из Дортмунда или Дюссельдорфа; никаких виз от них не требовали. Вели они себя бесцеремонно. Выходила газета «Эйпенер дейтунг»; там писали, что немцы скоро освободят город. Я зашел в книжный магазин, принадлежавший Гирецу, местному фюреру. Он вежливо улыбнулся и предложил мне сочинения Розенберга.

Когда я был в Эйпене, туда прибежал немецкий коммунист, которому удалось выбраться из концлагеря. Эйпенская полиция его арестовала, грозилась выдать гитлеровцам. Его выслали четыре дня спустя во Францию. Я отвез его до границы — он был в тяжелом душевном состоянии, несвязно отвечал на вопросы пограничников.

Опять Париж. Писатели, разговоры о конгрессе. Мальро доволен — Бенда обещал выступить. Уолдо Фрэнк прислал из Америки длинное письмо; он приедет на конгресс. Джойс пришлет приветствие...

Парижане обсуждали, где лучше провести летние месяцы — на нормандском побережье или в Савойе. Все казалось обычным. Но я не мог забыть о том, что делается по ту сторону Рейна.

Я поехал в Эльзас и увидел знакомую картину: гитлеровцы, ухмыляясь, говорили о «близком освобождении», «автономисты», вдохновленные Сааром, требовали плебисцита, люди вздыхали, ежились, запасались посулами местных фашистов спасти их в час «освобождения». Вечером на глухой улице я встретил десяток парней, они горланили «Вахт ам Рейн».

Я писал тогда: «Последние месяцы я занят изнурительным занятием: езжу по различным областям, находящимся в непосредственном соседстве с Германией... Можно долго глядеть на змею и остаться в своем уме: если змея проглатывает кролика — это, в конечном счете, обед. Но нельзя долго глядеть на кролика: остановившиеся глаза способны заразить безумием даже человека с воловьими нервами...»

Осенью 1961 года в Риме состоялась встреча «Круглого стола». Мы пытались убедить наших западных коллег, что нельзя вооружать вчерашних эсэсовцев. В один из вечеров итальянские друзья показали нам документальный фильм — историю фашизма. Дуче на балконе подымал руку и фиглярствовал, как дурной захолустный актер. Умирали люди в Абиссинии. Рушились дома Мадрида. Несли мертвых детей. По улицам Праги маршировали нацисты. Гитлер, узнав, что Франция капитулировала, хлопал себя по животу. Русские пленные умирали в концлагерях. Еврейских девушек вели в газовые камеры... Потом была победа, и вот снова на экране буянят недобитые фашисты, снова умирает итальянский подросток. Сказка все еще не досказана. Я глядел на экран и вдруг подумал: да ведь это история моей жизни! Сорок лет прошли под знаком зверств, войн, погромов, концлагерей. Пушкин когда-то писал: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв...» Наверно, и тогда это было только мечтой: Рылеева повесили, Кюхля изнывал в ссылке. Да и сам Пушкин умер рано навязанной ему смертью. Но хоть помечтать он мог...

Весной 1935 года я меньше всего думал о «сладких звуках». Мы тратили дни и ночи на подготовку конгресса. Жизнь казалась идиллической, но жить по-прежнему я не мог: воздух стал другим. Еще не было ни мобилизаций, ни учебных тревог, ни пробных затемнений. А война уже была. Теперь я знаю, что война всегда приходит задолго до начала представления, приходит она со служебного входа и терпеливо ждет в темной передней.

Часто в моей тесной квартире на улице Котантен собирались французские писатели, занятые подготовкой конгресса: Андре Жид, Жан-Ришар Блок, Мальро, Муссинак, Низан, Рене Блек.

У меня был пес Бузу, ласковый и лукавый, помесь спаниеля со скотч-террьером; на выставку его не взяли бы, но он был умницей — самостоятельно ходил в мясную лавку, где продавали конину, и там исполнял цирковые пируэты. Бузу любил Андре Жида, любил не бескорыстно: Андре Жид брал печенье и начинал длинную тираду, размахивая рукой; Бузу подпрыгивал и выхватывал лакомство. Андре Жид, не замечая происшедшего, брал другое печенье; так повторялось раз десять.

В те годы я часто встречал Андре Жида, бывал у него на улице Ванн, видел его на литературных собраниях, на рабочих митингах. Когда мы оставались вдвоем, он почти всегда говорил о себе. Казалось, я мог бы его хорошо узнать, но я его не узнал: он оставался для меня человеком с другой планеты.

Когда он увлекся политикой и объявил себя сторонником коммунизма, мне это показалось победой: Андре Жид был кумиром западной интеллигенции. Я радовался его участию в борьбе против фашизма; но даже в то время я добавлял, что до шестидесяти лет Андре Жид «не видел перед собой ничего другого, кроме отсветов собственной страсти». В 1933 году я писал о его романе: «Конечно, никого не может взволновать судьба героев романа «Фальшивомонетки». Но существуют ли эти герои? Это роман о романе и о романисте, отнюдь не о людях... Это книга о книге: жизни в пустыне не оказалось».

Я не был одинок в моем восторге перед «обращением» Андре Жида. На московском съезде писателей Горький сказал: «Ромен Роллан, Андре Жид имеют законнейшее право именовать себя «инженерами душ», а Луи Арагон кончил свою речь словами: «Мне остается передать вам приветствие от нашего большого друга — Андре Жида». Год спустя на Парижском антифашистском конгрессе никого так не приветствовали, как Жида.

В 1936 году Андре Жид приехал в Советский Союз, всем безоговорочно восхищался, а вернувшись в Париж, все столь

же безоговорочно осудил. Не знаю, что с ним произошло: чужая душа — потемки. В 1937 году, будучи в Испании, я прочитал его статью — он обвинял республиканские власти в насилии. Я не выдержал и в сердцах назвал его «стариком со злобой ренегата и с нечистой совестью». Теперь все это далеко позади. Я хочу попытаться спокойно задуматься над человеком, которого я встретил на своем жизненном пути. Конечно, я ошибался и когда прославлял его приход к коммунизму, и когда называл его ренегатом: порхание мотылька я принимал за чертеж архитектора. Не раз в этой книге я признавался в различных заблуждениях: слишком часто считал свои желания действительностью.

Может ли человек, прожив шестьдесят лет в пустыне, интересуясь только собой, вдруг переродиться, стать человеколюбом, защитником социальной справедливости? Андре Жид не раз говорил мне, что для человека нет радости, когда вокруг него горе; эти слова меня трогали. Он говорил искренне, и в нем было обаяние. Все же я мог поверить в глубину, в длительность политических страстей Андре Жида только потому, что мне очень хотелось верить. Я не задумывался над его путем. В годы первой мировой войны он восхитился, когда его друг стал воинствующим католиком: «Ты меня опередил!» Пятнадцать лет спустя он повсюду повторял, что религия — злейший враг человека. Он походил на проповедника; у него были умные глаза, тонкие выразительные руки; его окружали книги, рукописи; он всегда носил в кармане маленький том Гете или Монтеня; говорил, что изучает Маркса. А основной его чертой было величайшее легкомыслие. Одни восторгались его смелостью; другие, напротив, упрекали его в чрезмерной осторожности; а мотылек летит на огонь не потому, что он смел, и улетает от человека не потому, что осторожен, он не герой и не шкурник, он только мотылек.

Я не хочу, чтобы меня превратно поняли: говоря о мотыльке, я отнюдь не пытаюсь преуменьшить талант или ум Жида. Однажды в своем дневнике он записал: «Я сомневаюсь, что бабочка после того, как она отложит яички, испытывает много удовольствия в жизни. Она порхает туда, сюда, подчиняясь ароматам, ветерку, своим желаниям...» Жиду, когда он это писал, было семьдесят два года; он считал, что сделал свое. Может быть, случайно он заговорил в дневнике о бабочке; не знаю; но образ удачен, — он был грандиозной ночной бабочкой

с той редчайшей окраской, которая ослепляет и дотошного энтомолога, и мальчишку с сачком. (Жид рассказывал, что любил ловить ярких бабочек.)

Сколько я ни встречался с Андре Жидом, он всякий раз говорил о своем здоровье: боится простудиться, теперь грипп, не может пообедать в этом «бистро» — печень, печень... В огромном мире Андре Жид, встречая множество людей, замечал только одного — Андре Жида. Когда он умирал, в квартире на улице Ванн был его старый друг Роже Мартен дю Гар, который оставил «Записи об Андре Жиде», написанные с любовью, в них я нашел подтверждение моих куда более беглых наблюдений: «Он живет, погруженный в самого себя, озабоченный своими мелкими горестями...», «Он еще более сосредоточен на самом себе...»

О чем бы он ни писал — о Ницше или о Достоевском, о вымышленных героях или о близких друзьях, о гомосексуализме или о разгроме Франции, — он видел себя, собой восхищался или ужасался.

У него был превосходный язык — ясный, точный и в то же время своеобразный. Может быть, его успеху способствовал стиль — он ведь выступил, когда всем опостытели нарочитые туманности эпигонов символизма; другие подражали Малларме, а Жида прельстил Монтень.

Блистательный стилист, писатель большой эрудиции — все это бесспорно, и все же трудно себе представить, что между двумя мировыми войнами многие считали Жида учителем, совестью эпохи, чуть ли не пророком.

Его всегда увлекали редкостные казусы. В конце двадцатых годов он начал редактировать серию книг, посвященных различным преступлениям; смутно помню одну из книг этой коллекции — рассказ о женщине, замурованной своими близкими.

Всем известно, что на свете существуют люди, сексуальная жизнь которых является исключением. Андре Жид сделал из патологического казуса боевую программу. Он пошел на разрыв со многими друзьями, на неприятности, на газетную шумиху.

Незадолго до своей поездки в Советский Союз он пригласил меня к себе: «Меня, наверно, примет Сталин. Я решил поставить перед ним вопрос об отношении к моим единомышленникам...» Хотя я знал особенности Жида, я не сразу понял,

о чем он собирается говорить Сталину. Он объяснил: «Я хочу поставить вопрос о правовом положении педерастов...» Я едва удержался от улыбки; стал его вежливо отговаривать, но он стоял на своем. Он был протестантом, даже пуританином не только по формации, но и по характеру, и вот он стал фанатичным моралистом аморальности.

Нет, не только стилем он привлекал читателей, но и беспощадностью духовного эксгибиционизма — самообнажения. Он очень поверхностно критиковал недостатки не только советского общества, которое увидел мимоходом, в качестве знатного туриста, но и хорошо ему знакомой буржуазной среды; зато, преклоняясь перед собой, он себя не щадил.

Летом 1936 года, будучи в Москве, он говорил студентам: «Так как здоровье мое слабое и я не могу надеяться на долгую жизнь, я был согласен оставить эту землю, не узнав успеха. Я охотно рассматривал себя как писателя, к которому известность приходит только после смерти, как это было со Стендалем, Бодлером, Китсом или Рембо... Молодежь новой России, теперь вы понимаете, почему я обращаюсь к вам, я ждал именно вас, для вас я писал новую книгу...» Как странно это перечитывать! Андре Жид узнал долголетье: он умер в восемьдесят два года. Да он и не принадлежал к тем авторам, которых открывают потомки, — его читали и почитали при жизни. Шведская королевская академия присудила «аморалисту» Нобелевскую премию. А теперь и во Франции читатели редко возвращаются к его книгам. Он видел себя пирамидой, а был он, несмотря на талант, на мастерство, на художественную смелость, только однодневкой, бившейся в мутное стекло...

Я говорил, что время все ставит на свое место. А я вспоминаю, как Андре Жид сидел у меня и говорил о «коммунистическом братстве», пока Бузу поглощал печенье, и мне становится почему-то жалко Жида. Он был очень одинок; его чтители, и никто, кажется, его не любил. Любил ли он кого-нибудь? После смерти были изданы некоторые страницы его дневника, которые при жизни он не хотел публиковать. Он писал, что любил свою жену. Женился он в молодости на кроткой, богобоязненной девушке и, женись, знал о своем извращении. Жена его жила отдельно в деревне, он писал ей письма о своей любви. Однажды ему понадобились для первой книги мемуаров письма к жене, и он узнал, что жена их сожгла. Он

записал в дневнике: «В течение целой недели я плакал с утра до ночи... Я себя сравнивал с Эдипом...» Я не сомневаюсь в искренности этих слез; он плакал не над предметом любви, но над своими признаниями — это был человек, который, если припомнить стихи Брюсова, «с беспечального детства» искал «сочетания слов». Пожалуй, никто не мог рассказать о нем злее, чем он сам.

При жизни он опубликовал дневники первых военных лет. Есть там страшные страницы; 5 сентября 1940 года, вскоре после оккупации гитлеровцами Франции, он писал: «Приспособиться к вчерашнему врагу не трусость, а мудрость... Тот, кто сопротивляется неизбежному, попадает в западню; зачем биться о решетки клетки? Для того чтобы меньше страдать от узости тюремной камеры, лучше оставаться посередине». Три недели спустя он себя утешал: «Если завтра, чего я опасуюсь, нас лишат свободы мысли или, по меньшей мере, свободы выражения мысли, я постараюсь себя убедить, что искусство, мысль потеряют от этого меньше, чем от чрезмерной свободы. Угнетение не может принизить лучших; что касается остальных, то это несущественно. Да здравствует подавленная мысль!»

Я убежден, что в 1930—1935 годы он искренне увлекался коммунизмом. Ему было холодно на свете, и его привлекла теплота рабочих митингов; как бродяга, он грелся у чужого костра. Помню его выступление на уличном митинге в предместье Вилльжюиф; он поднял кулак и застенчиво улыбнулся. Он никого не хотел обмануть, разве что самого себя.

В 1934 году Роже Мартен дю Гар после беседы с Жидом записал: «Какая неосторожность придавать столько значения присоединению человека, который по своей природе не годен для твердых убеждений, который всегда не там, где, казалось, он твердо осел накануне! Несмотря на искреннюю добрую волю, я сильно опасуюсь, что вскоре его новые друзья в нем разочаруются...» Мартен дю Гар хорошо знал Жида. А я поверил... Говорю это спокойно, без горечи: время — хороший врач.

А в 1935 году Андре Жид часто приходил ко мне; мы вместе готовили антифашистский конгресс писателей. Было бы глупым малодушием, восстанавливая те годы, вырезать из них тень шестидесятишестилетнего мотылька в крылатке, то с «Капиталом», то с томиком Эврипида в руке.

На московском съезде писателей я был рядовым участником; парижский конгресс я подготавливал. Сознание своей ответственности для меня было новым, и я волновался, как подросток. До последнего дня мы боялись, что все сорвется; писателей с именем отговаривали: конгресс — затея коммунистов; участники восстановят против себя не только критиков, издателей, редакторов, но и читателей.

Мы готовили конгресс по-кустарному — почти без денег, без помещения, не было ни секретаря, ни машинисток, приходилось самим переписывать, звонить по телефону, уговаривать, мирить. Больше всех работали Жан-Ришар Блок, Мальро, Гийу, Рене, Блек, Мусинак.

В своем выступлении на конгрессе М. Е. Кольцов напомнил, что первая международная встреча писателей состоялась тоже в Париже — в 1878 году. Михаил Ефимович добавил, что теперь русские писатели могут разговаривать с их западными собратьями по-другому — за их спиной больше нет ни каторги, ни всеобщей неграмотности, ни салтыковских помпадуров.

На писательской встрече, о которой упомянул Кольцов, присутствовали Гюго и Тургенев. Таких писателей на нашем конгрессе не было, но, кажется, их не было в 1935 году на свете. А нам удалось собрать наиболее читаемых и почитаемых: Генриха Манна, Андре Жида, А. Толстого, Барбюса, Хаксли, Брехта, Мальро, Бабеля, Арагона, Андерсена-Нексе, Пастернака, Толлера, Анну Зегерс. Конгресс приветствовали Хемингуэй, Драйзер, Джойс. В президиум Ассоциации, которую конгресс создал, вошли Ромен Роллан, Горький, Томас Манн, Бернард Шоу, Сельма Лагерлеф, Андре Жид, Генрих Манн, Синклер Льюис, Валье Инклан, Барбюс.

Конгресс был очень пестрым: рядом с либеральным эссеистом Бенда сидел Вайян-Кутюрье, после скептического английского романиста Форстера выступал неистовый Арагон, испанский индивидуалист Эухенио д'Орс беседовал с Бехером, семидесятилетний немецкий критик Альфред Керр говорил о значении культурного наследия молоденькому Корнейчуку, друг и единомышленник Кафки Макс Брод обсуждал проект резолюции с Щербаковым, а в буфете Галактион Табидзе пил коньяк за здоровье растроганной Карин Михаэлис.

Конгресс продолжался пять дней, и неизменно огромный зал «Мютюалитэ» был переполнен; громкоговорители передавали речи в вестибюль; люди на улице стояли и слушали. Газетам, сначала решившим замолчать конгресс, пришлось уделить ему немало места. Даже Гитлер не выдержал и в гневе заявил: «Большевиствующие писатели — это убийцы культуры!»

Мне невольно вспоминается другой конгресс — тринадцать лет спустя во Вроцлаве; там не было парижской пестроты, а немногочисленные либералы или социалисты все время обижались, язвили, грозили покинуть заседание. Парижский конгресс назывался «В защиту культуры», вроцлавский — «В защиту мира». Конечно, фашизм пугал всех, но и война в 1948 году не была отвлеченным понятием.

Политическая обстановка в 1935 году благоприятствовала успеху нашей инициативы. Во Франции рождался Народный фронт. Один из организаторов конгресса, Андре Шамсон, был радикал-социалистом, занимал пост директора Версальского музея, и он с восторгом говорил о Советском Союзе, жал руку Вайяну-Кутюрю. Это не могло никого удивить: три недели спустя на площади Бастилии я увидел, как Даладьё обнимал Тореза. Фашизм наступал. Просматривая в дни конгресса газеты, мы узнавали, что пятнадцать тысяч фашистов прошли по улицам Алжира, а над ними кружили фашистские самолеты, и что очередной «вождь» воскликнул: «Клянусь, не пройдет и месяца, как мы захватим власть во Франции!..» В Германии рубили головы строптивым. Хиль Роблес расправлялся с испанскими вольнодумцами. Италия открыто готовилась к нападению на Абиссинию. Это бесспорно, и я ни на минуту не забываю, что после второй мировой войны положение было куда более сложным — страх перед коммунизмом возрос, а в Америке еще только начиналась «охота за ведьмами». Все же, мне кажется, дело не только в этом.

Во Вроцлаве не было писателя Хаксли, но туда приехал его брат, биолог Юлиан Хаксли; право же, он был настроен ничуть не «правее», чем Олдос Хаксли в 1935 году, но с ним иначе разговаривали, ему казалось, что он попал по ошибке в чужой дом.

Во Вроцлаве я встретил очень мало участников парижского конгресса: Андерсен-Нексе, Бенда, Мархвица, Стоянов, Корнейчук, я — вот, кажется, все. Эссеист Бенда, неистовый

рационалист, как-то сказал мне: «Видите, я все-таки приехал. Но я больше ничего не понимаю... Скажите, что стало с Бабелем, с Кольцовым? Я спрашиваю, мне не отвечают... Выступал ваш товарищ, он назвал Сартра и О'Нейля «шакалами». Разве это справедливо, разве это попросту разумно? И почему мы должны аплодировать каждый раз, когда произносят имя Сталина? Я против войны. Я против политики Соединенных Штатов. Я ищу объединения, а мне предлагают присоединение... Но мне семьдесят восемь лет — для начальной школы это поздновато...»

Вернусь к парижскому конгрессу. Может быть, в известной степени его успеху содействовало поведение советских писателей. Трудно было пять дней подряд только и делать, что проклинать фашизм. Выступавшие говорили также о роли писателя в обществе, о традициях и новаторстве, о национальной основе культуры и общечеловеческих ценностях. Разумеется, всех интересовал советский опыт. Мне запомнились некоторые выступления наших писателей. Речь Кольцова была живой, веселой; он говорил о значении сатиры в советском обществе: «Нашего читателя возмущает администратор, который, искажая принципы социализма, уравнивает всех людей на один фасон, заставляет их есть, надевать на себя, говорить, думать одно и то же». Лахути рассказал, что задолго до желтой звезды, придуманной немецкими расистами, в дореволюционной Бухаре евреи должны были подпоясываться «нахи ланат» — «поясом проклятья» и что теперь все народы Советского Союза объединяет «нахи вахдат» — «пояс братства».

Конгресс уже работал, когда приехали Бабель и Пастернак. Исаак Эммануилович речи не написал, а непринужденно, с юмором рассказал на хорошем французском языке о любви советских людей к литературе. С Борисом Леонидовичем было труднее. Он сказал мне, что страдает бессонницей, врач установил психастению, он находился в доме отдыха, когда ему объявили, что он должен ехать в Париж. Он написал проект речи — главным образом о своей болезни. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэзии. Наспех мы перевели на французский язык одно его стихотворение. Зал восторженно аплодировал.

Николай Семенович Тихонов, худой и вдохновенный, говорил о поэзии: «Маяковский! Вот мастер советской оды, сатиры, буффонского и комедийного стихового театра...

Багрицкий! Вот стих пламенный и простой. Стих убедительного образа, глубина настоящего волнения. Охотник, рыболов, партизан — он любил природу... Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических достижений!»

(В очередном очерке для «Известий» у меня была такая фраза: «Когда Тихонов перешел к оценке поэзии Пастернака, зал стоя, долгими аплодисментами приветствовал поэта, который доказал, что высокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги». Полгода спустя один московский литератор, который, по его же словам, любил «капать» на товарищев, объявил, что я в Париже, приветствуя Пастернака, будто бы сказал, что «совесть только у него одного». Эта басня понравилась, и «Комсомольская правда» осудила не Тихонова, не участников парижского конгресса, аплодировавших Пастернаку, а меня. Во французской печати появилась заметка: «Москва дезавуирует Эренбурга». Я писал Щербакову, Кольцову — просил опровергнуть сплетню, но безуспешно. Французские писатели меня спрашивали: в чем дело? Это было четверть века назад — еще до 1937 года, и я наивно думал, что на все вопросы можно ответить.)

На Западе говорили (да и поныне говорят), что вся наша литература — агитка. В своем выступлении я сказал: «Мы прожили трудные годы — наши дни были окопами. Чувства людей не меняются сразу. Наша агитационная литература связана с памятью о прошлом. Зная, что враги могут напасть на нашу страну, мы создали Красную Армию. Но как бы ни было совершенно ее оружие, мы никогда не станем выдавать пушки за образцы советской культуры. Пушки имеются и у фашистов. Но у них не может быть наших красноармейцев. Агитационная литература — это военное снаряжение, она родилась в арсеналах буржуазии. Твердя о «чистом искусстве», буржуазия проклинала писателей-отщепенцев и баловала прирученных. Не «проклятые поэты», а прирученные создали служебную литературу. Настоящее бескорыстное искусство, стремящееся не к сохранению социальной иерархии, а к развитию человека, мыслимо только в новом обществе... Мы пришли сюда с гордостью не за себя, а за наших читателей...»

Два старейших писателя — Генрих Манн и Андре Жид, — сидевшие в президиуме, встали и подошли, чтобы пожать мне руку; это, конечно, относилось к советским читателям. Я разволновался и что-то пробубнил.

Мне то и дело приходилось уходить из зала: было много кропотливой работы. Возвращаясь на свое место, я неизменно слышал дружественные, а то и восторженные слова о советском обществе — они исходили от различных писателей Запада: от Шамсона, католика Мунье, Манна, Жида, Геенно и других.

Были патетические минуты. Неожиданно на эстраде появился человек в черных очках, с наспех приклеенной черной бородой; это был немецкий коммунист, работавший в подполье. Романтику любят не только юноши; и зал неистовствовал; Андре Жид, переведивший речь подпольщика на французский язык, сбивался от волнения.

Стояли на редкость знойные дни — духота, грозы. В переполненном зале трудно было дышать, и не было ни минуты передышки. Ночью приходилось переводить выступления, писать отчеты для «Известий», а то утешать литератора, которому не дали слова.

В моем описании все выглядит строже, да и скучнее, чем было на самом деле. Мы жили в десяти планах. В коридоре во время дебатов Марина Цветаева читала стихи Пастернаку. Почему-то полночи мы проспорили в маленьком кафе о социалистическом реализме; с нами сидел А. С. Щербаков, он боролся со сном и вдруг сказал: «Ну зачем спорить? Ведь все сказано в уставе...» Лахути поднес Андре Жиду таджикский халат, тибетейку, и, увидав автора «Коридана» в неприличном одеянии, мы вдруг поняли, что он должен сидеть в чайхане и примеривать вечность, а не выступать на митингах. Бабель с увлечением рассказывал Андре Триоле о необычайном жеребце. Галактион Табидзе кушил редкие издания Бодлера и Рембо; по-французски он не читал, но любовно гладил страницы. Брехт и Мальро говорили о том, может ли войти смерть в жизнь. В маленьком баре возле «Мютюалитэ», куда мы забегали, чтобы выпить ледяной лимонад, влюбленные целовались; а громкоговоритель передавал, что сейчас выступит драматург Ленорман; и я с завистью глядел на парочку, глядел и думал, что мой дядюшка Лева, антрепренер бродячего цирка, любил говорить: «Не так живи, как хочется, а так, как бог велит!..»

В кулуарах вдруг стало тихо: сейчас выступают сюрреалисты — они решили сорвать конгресс...

Накануне открытия конгресса мы узнали о самоубийстве молодого писателя-сюрреалиста Рене Кревеля. Я с ним иногда встречался, знал, что он болезненно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Рассказывали: отравился, оставил короткую записку: «Все мне опротивело...»

Потом от его друзей — от Клауса Манна, от Муссиака — я узнал, что, сам о том не подозревая, сыграл в этой трагической истории некоторую роль. Я написал резкую статью о сюрреалистах. Мы сидели ночью в кафе, я вышел, чтобы раздобыть пакет табака. Когда я переходил улицу, подошли два сюрреалиста, один из них ударил меня по лицу. Вместо того, чтобы ответить тем же, я глупо спросил: в чем дело?.. Все это было в нравах сюрреалистов, и вот вздорная история стала последней каплей для Рене Кревеля. Конечно, капля не чаша, но мне тяжело об этом вспоминать.

На конгрессе Арагон прочитал речь Кревеля. Все встали. Ему было всего тридцать пять лет. Вот и выходит, что писатели даже на конгрессе не обошлись без самоубийства...

Элюар потребовал слова. Зал всполошился: начинается!.. Кто-то истошно кричал. Муссиак, который председательствовал, спокойно предоставил слово Элюару, бывшему тогда правоверным сюрреалистом. Элюар прочитал речь, написанную Бретоном; в ней, разумеется, имелись нападки на конгресс — для сюрреалистов мы были консерваторами, академиками, чинушами. Но полчаса спустя журналисты разочарованно отправились в буфет — все кончилось благополучно: мы понимали, что беда не в Бретоне, а в Гитлере.

Мне запомнилась речь английского романиста Форстера. Он говорил: «Будь я моложе и смелее, я, может быть, стал бы коммунистом... Если разразится новая война, то писатели, верные принципам либерализма и индивидуализма, вроде Хаксли и меня, будут попросту сметены. Мы ничего не можем против этого сделать, мы будем ржавыми иглками класть заплаты, пока не разразится катастрофа». (И молодой Хаксли и пожилой Форстер пережили вторую мировую войну. А если «ржавые иглки» теперь в меньшем спросе, то знатоки уверяют, что дело не столько в сдвигах сознания, сколько в конкуренции телевидения.)

Речь Кольцова была, разумеется, куда оптимистичнее. Обращаясь к фашистам, он вспомнил французскую поговорку: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Кольцов не увидел развязки. Фашистов действительно разбили, но 9 мая 1945 года мы не смеялись. Помню женщину на Красной площади, она тихо показывала всем фотографию ее сына, погибшего на Волге.

(Я прервал работу над этой главой почти на месяц: Рим, Варшава, Лондон; встречи, заседания, конференция — разрушение, ядерные бомбы, Бонн, реваншисты... Передо мною были не писатели, а самые различные люди — американский сенатор, лейбористы, физики, итальянские депутаты, Жюль Мок, священники, профсоюзники. Конечно, мне хочется дописать эту книгу, но если можно убедить хотя бы десяток людей, что нет другого выхода, как уничтожить все бомбы, распустить все армии, то бог с ней, с книгой, — куда важнее судьба подростков: перед ними их люди, их годы, их жизнь.)

Создали Ассоциацию писателей, выбрали секретариат; из советских в него вошли Кольцов и я. Михаил Ефимович сказал мне: «Поскольку секретариат будет находиться в Париже, работать придется вам». Ласково, но и насмешливо хмыкнув, он добавил: «Ругать будут тоже вас...»

О том, как меня ругали, я уже упоминал. Да и в работе не было недостатка. Мы устраивали митинги, лекции, диспуты — в Париже, в провинции. Время благоприятствовало: это был медовый месяц Народного фронта. Я выступал с докладами в Париже, в Лилле, в Гренобле.

На парижском конгрессе не было крупных писателей Чехословакии. Я побывал в Праге, встретился с Чапеком. Он много говорил о фашистской угрозе, согласился войти в президиум Ассоциации. Работал он тогда над романом «Война с саламандрами». Усмехаясь, он говорил: «Вы, наверно, слышали пражский анекдот: в солнечный день Чапек идет по Пришкопу с раскрытым зонтиком и на недоуменный вопрос встречного отвечает: «В Лондоне сейчас дождь». Я, правда, многое люблю в английских нравах, мне, например, нравится, что лондонцы не толкаются, в метро или в автобусе не наваливаются один на другого. Вероятно, это связано с тем, что я люблю мечты прошлого века. А мы живем в другую эпоху, общество теснит человека, один народ наваливается на другой...»

Секретарем Союза чешских писателей был тогда поэт Гора; он предложил включить в нашу Ассоциацию чешский союз. Я был на съезде писателей Словакии, они тоже вошли в Ассоциацию.

В Испании с нами были почти все молодые писатели: Лорка, Альберти, Бергамин. Я встретился с моим давним приятелем Гомес де ля Серна, который чурался политики; мне удалось уговорить его войти в Ассоциацию.

В июне 1936 года в Лондоне состоялся пленум секретариата. Мы были настроены радужно; обсуждали всевозможные проекты: создание международных литературных премий, бюро для переводов на различные языки лучших произведений и так далее. Особенно страстно обсуждался проект создания энциклопедии, которая, по замыслу Бенда, Мальро, Блока, должна была стать тем, чем была энциклопедия Дидро, Вольтера, Монтескье для людей второй половины XVIII века.

Неожиданно на наше собрание пришел Герберт Уэллс. Я с ним познакомился летом 1934 года на даче М. М. Литвинова. Беседа с Максимом Максимовичем, с Эйзенштейном, со мной, он говорил, что многое у нас ему понравилось, и это, видимо, его раздражало — он не любил, чтобы действительность шла вразрез с его прогнозами. Он многое умел предугадывать, был дальноворким: если Андрей Белый говорил в 1919 году об атомной бомбе, это было предчувствием поэта, а когда Уэллс в 1914 году описал применение в будущей войне атомного оружия, это можно назвать научным прогнозом. Он дорожил логикой и к диалектике относился подозрительно. На даче у Литвинова, разговаривая с дочкой Максима Максимовича, озорной девочкой Таней, он вдруг становился естественным, даже добрым.

Войдя в зал заседаний, Уэллс положил шляпу на стол и тотчас вылил на нас ушат холодной воды: трезво разъяснил, что мы не Дидро и не Вольтеры, что у нас нет денег и что мы вообще живем утопиями. Он рассказал анекдот о трех портных, которые вздумали выступать от имени Великобританской империи. Кончив говорить, он взял шляпу и вышел из зала.

Конечно, в своем скептицизме он был прав: мы не составили и первого тома энциклопедии, не учредили литературных премий. Мы даже ничего не сделали для поощрения переводов. Бергамин предложил созвать Второй Международный конгресс в Мадриде в 1937 году; это предложение приняли.

Мы не знали, что через три недели в Испании начнется страшная, разрушительная война. Но из всех наших решений мы осуществили только одно: Второй конгресс действительно собрался в 1937 году в Мадриде, и мы заседали, обстреливаемые фашистской артиллерией.

Ассоциация сделала свое дело: она помогла писателям, да и многим читателям, понять, что начинается новая эпоха — не книг, а бомб.

13

Ранней осенью 1935 года я писал в «Известиях» о Франции и Париже: «Я долго думал: почему сейчас так печальна эта земля? Ее красота только оттеняет печаль. Прекрасны старые вязы или ясени среди поляны. С яблонь падают красные яблоки. На берегу океана рыбаки чинят голубые тонкие сети. Черные коровы задумчиво окунают свои морды в траву, зеленую, как детство. Белые крестьянские домики обвиты глициниями... «Жизнь так коротка» — это поет под моим окном застенчивый неуклюжий подросток. Он вырос из своего костюма, а нового ему не сшили. Он пришел на эту землю слишком поздно: все романы написаны, все пустыри распаханы, заняты все места — от кресла сенатора до ящика, в котором роется мусорщик. Он может только петь натоцк «Жизнь так коротка»... Их много, они родились, как все, учились ходить, хлопали в ладоши, сосали леденцы и глядели на жизнь голубыми доверчивыми глазами. Потом оказалось, что они выросли зря... Ночью в Париже, вдыхая соленый запах моря, кажется, слышишь скрип снастей... Кружится голова: черна ночь Европы. Грусть веков скопилась на маленьком отрезке земли, как в шкапулке с письмами молодости. Но даже эта грусть связана с жизнью. Ранним утром над сизым Парижем кричат дрозды и сирены заводов; они как будто повторяют: «Тебя ждут высокие дела, борьба, будущее!..»

О судьбе Франции, Парижа я думал и в небольшой мастерской, загроможденной холстами, рухлядью с «блошиного рынка» (так зовут парижскую толкучку), кувшинами, глядя на пейзажи Р. Р. Фалька. Парижей много: мы знаем омытый светлыми дождями, сияющий Париж импрессионистов; легкий и нежный Париж Марке; идиллический и захолустный Париж

Утрилло. А Париж Фалька — тяжелый, сумеречный, серый, сизый, фиолетовый, это Париж трагических канунов, обреченный и взбудораженный, отпетый и живой. Фальк проработал в Париже всего девять лет, но он понял этот большой, сложный, казалось бы, чужой ему город.

Я познакомился с Робертом Рафаиловичем в начале тридцатых годов, а особенно часто мы встречались и подолгу беседовали в последний период его жизни. Но вот я рассказываю о нем, отрываясь от событий 1935 года: тогда я впервые почувствовал всю силу его живописного голоса. Он вытаскивал из закоулков мастерской десятки холстов, высокий, худой, с печальным, даже унылым лицом, которое порой освещала легкая стыдливая улыбка, и я, восхищаясь живописью, по-новому видел окружающий меня мир — людей, эпоху, пестрое чередование событий, неразборчивую стенограмму века.

(Когда я писал роман «Падение Парижа», на стене передо мной висел парижский пейзаж Фалька. Часто, оставляя рукопись, и глядел на него — дома, дым, небо. Может быть, я не написал бы некоторых страниц, если бы не холст Роберта Рафаиловича.)

Я признавался в этой книге, что жил в десяти планах, разбрасывался, торопился; я валил все на эпоху, а может быть, виноват был я. Ведь Фальк — мой современник (он был всего на три года старше меня), а он работал сосредоточенно, упрямо, фанатично. Шестнадцатилетним подростком он уже сидел, восхищенный, у подмосковного прудика и писал первые пейзажи. Он работал до самой смерти, иступленно, мучительно, уничтожая холсты, в десятый раз замазывая; соскребал краски, нараставшие, как струья, и снова писал; в пятый, в десятый раз возвращался к той же модели, к тому же натюрморту. Он работал и когда его выставляли, и когда перед ним закрылись все двери; работал, не думая, выставят ли его холсты, — говорил не потому, что перед ним был набитый людьми зал, а потому, что у него было много что сказать.

Есть художники, которые легко, быстро пишут, — я говорю сейчас не о халтурщиках, а о подлинных художниках; они пишут потому, что, как говорил Роберт Рафаилович, у них «хорошо поставлены глаза». Кто не встречал человека, который охотно рассказывает только потому, что умеет связно и образно говорить. Древние греки восхищенно отзывались об ораторском даре Демосфена, а он по природе был косноязычен. Фальк

в каждой работе преодолевал живописное косноязычие. Но его трудолюбие не похоже на пот Брюсова, назвавшего свою мечту «волоом»: мечта Фалька была ретивой, и он стремился ее обуздать, подчинить законам искусства, своим мыслям. Он любил стихи Баратынского о скульпторе:

Глубокий взор вперив на камень,
Художник Нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.
Но, бесконечно вожделенный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

Пожалуй, он напоминал одного из своих наиболее любимых предшественников — Сезанна — невероятной работоспособностью, тяжестью, сочетанием мягкости с неуживчивостью, отшельничеством. Но Роберт Рафаилович был человеком и другой эпохи, и другой земли. Он говорил о Сезанне: «Величайший художник! У него было абсолютное зрение... А если говорить о человеке, в нем были черствость, сухость, эти черты довольно часто встречаются у французов. Думаю, что эти душевные свойства окрасили и живопись Сезанна...»

Роберт Рафаилович знал традиции русской литературы, русской музыки, да и по природе он был человеческим, никогда не оставался холодным соглядатаем жизни — волновался, страдал, радовался.

Он любил Врубеля. Учителем Роберта Рафаиловича в Художественном училище был К. А. Коровин. (Фальк рассказывал, что в Париже встречался с Коровиным. Константин Алексеевичу было уже семьдесят пять лет, но он работал, искал и говорил Фальку: «Знаешь, кто теперь самый большой художник во Франции? Сутин!») Начал Фальк выставляться в группе «Бубновый валет» вместе с Кончаловским, Ларионовым, Лентуловым, Гончаровой, Малевичем, Машковым, Куприным, Рождественским, Шагалом. Распространено мнение, будто бубнововалетцы слепо подражали французам, а это было большое, вполне самостоятельное явление в русской живописи, которое еще до сих пор не нашло грамотного и честного исследователя.

Конечно, Фальк в то время отдал дань кубизму, порой несколько обобщал предметы, но его пейзажи не имели ничего общего с геометрией; они были выражением чувств молодого художника.

Фальк жадно присматривался к жизни. Как я говорил, в Париже он прожил всего девять лет и за это время сменил четырнадцать адресов, из одной мастерской или мансарды перебирался в другую; объяснял, что районы Парижа не похожи один на другой и что ему хотелось не только повидать, но и пожить в четырнадцати различных городах.

Он знал глухие переулки Москвы, пески и камни Средней Азии, различные русские города — охотно колесил. Отшельник в живописи, в жизни он был общительным, встречался со множеством людей, внимательно слушал споры, рассказы, исповеди.

Роберт Рафаилович любил труд преподавателя; учившиеся у него — и в двадцатые и в сороковые годы — говорят, что он делился с начинающими художниками не только опытом, но и находками, прозрением, вкладывал в уроки душу.

В отрочестве он мечтал стать музыкантом, всю жизнь обожал музыку. Он любил и поэзию — я часто говорил с ним о стихах; он сразу схватывал внутренний ритм стиха, может быть потому, что в живописи искал ритм.

Поль Сезанн, необычайно зоркий в своем ремесле, ничего не знал, кроме холста и красок. Общественные события его оставляли равнодушным. Много смеялись над Золя, который не понял своего школьного товарища, считал Поля неталантливым, да и не очень-то умным. Смеялись справедливо. Но можно добавить, что Сезанн тоже не понял Золя, перевернувшего построение романа, пробовал почитать и бросил — показалось скучным. А Фальк и многое знал, и многим интересовался. Париж на его холстах («не город, а пейзаж») был таким, каким он его и видел и понимал. В 1935 году он говорил: «Франция обречена. Трудно работать, не хватает воздуха. Пора домой...» Ему тогда жилось хорошо: его выставляли, критики много писали о нем, коллекционеры покупали его холсты. Но, равнодушный к деньгам, к славе, он остро воспринимал воздух эпохи, настроение окружающих. Он знал, что Франция не выстоит, твердо это знал, и когда, после падения Парижа, я вернулся в Москву, расспрашивал меня о деталях — самую историю он знал давно, и не только по сообщениям газет.

Он как-то сказал мне: «Я думаю о многом до того, как сажусь за работу, думаю о человеке, которого пишу, да и об эпохе, о пейзаже, о политических событиях, о стихах, о бабушкиных сказках, о вчерашней газете... Когда я пишу, я только гляжу, но я вижу многое иначе именно благодаря тому, что думал, продумал...» Импрессионисты говорили, что они изображают мир таким, каким они его видят. Пикассо как-то сказал, что он изображает мир таким, каким он его мыслит. Фальк видел так, как мыслил. Он не искал иллюзорного сходства, говорил, что не любит термина «изобразительное искусство» — предпочитает «пластическое искусство»: живопись для него была не изображением, но отображением, созданием реальности на холсте.

Фальк писал в одном из писем: «Произведения Сезанна не подобья жизни, а сама жизнь в прекрасных, драгоценных зрительно-пластических формах. Кубисты считают себя его преемниками. С моей точки зрения, они узурпаторы его искусства. Я не люблю, откровенно говоря, абстрактную живопись. Абстракция даже у самых талантливых художников ведет к схеме, к произволу, к случайности... Элементарно говоря, я — реалист... В моем понимании реализма мне особенно близок Сезанн. Из более поздних имен меня особенно притягивает Руо...»

Фальк недолюбливал декоративность в живописи; о таком художнике, как Матисс, он говорил с уважением, но и с холодом. Он искал раскрытия предметов, природы, человеческих характеров. Его портреты, особенно в последние годы, поражают глубиной: цветом он передает сущность модели, цвет создает не только формы, пространство, он также показывает «незримую сторону Луны» — писателю потребовались бы тома, чтобы подробно рассказать о своем герое, а Фальк этого достигает цветом; лицо, пиджак, руки, стена — на холсте клубок страстей, событий, дум, пластическая биография.

В 1946 или в 1947 году Фалька зачислили в «формалисты». Это было абсурдом, но в те годы трудно было чем-либо удивить. «Формалиста» решили поставить на колени; помню заявление одного из тогдашних руководителей Союза художников: «Фальк не понимает слов, мы его будем бить рублем...» Вот это изумило меня даже в то время: человек «рубля» не знал, с кем имеет дело. В жизни не встречал я художника столь безразличного к разным благам, к удобствам, к достатку.

Фальк сам варил горох или картошку; годами ходил в той же протертой куртке; одна рубашка была на нем, другая лежала в старом чемодане. В обыкновенной, прилично обставленной комнате он чувствовал себя неуютно, жил в запустении, а дожил только красками и кистями.

Его перестали выставлять. Денег не было. Он считался заживо похороненным. А он продолжал работать. Иногда в его мастерскую приходили любители живописи, молодые художники; он всех впускал, объяснял, стыдливо улыбался.

Он писал в 1954 году: «Только теперь, мне кажется, я созрел для настоящего понимания Сезанна... Как грустно и обидно! Прожил целую жизнь, а только теперь понял, как надо по-настоящему работать. Но нужных сил больше нет, их будет все меньше и меньше...» Эти слова показывают, как Фальк был требователен и суров к себе — до последнего часа.

Все больше и больше накапливалось холстов в длинной сумрачной мастерской возле Москвы-реки. Когда смотришь работы некоторых пожилых художников, невольно с грустью вспоминаешь свежесть, чистоту, яркость их молодости. А Фальк изумлял тем, что все время подымался — до самой смерти. (Как-то он сказал, что Коро написал лучшую свою работу в возрасте семидесяти шести лет. Роберт Рафаилович умер в семьдесят.) Он болел, осунулся, с трудом ходил и все же продолжал работать. Выставку, да и то крохотную, процеженную, в старом помещении МОСХа устроили, когда он уже лежал смертельно больной в госпитале. И в то же унылое помещение МОСХа, вскоре после выставки, привезли Фалька — в гробу. Люди стояли и плакали — знали, что потеряли.

Теперь выходят книги, которых ни за что не издали бы десять лет назад; строят современные дома. А холсты Фалька по-прежнему стоят, прислоненные лицом к стенке...

Четырнадцатого июля 1935 года, вскоре после конгресса писателей, Париж увидел небывалую демонстрацию: это был военный смотр Народного фронта. Весь день я бродил по улицам, иногда забегал в кафе — писал отчет, который должен был на следующий день пойти в «Известиях». Демонстрация началась

утром на площади Бастилии, и колонны шли к Венсенскому лесу, находящемуся всего в нескольких километрах от этой площади; столько, однако, было народу (газеты потом давали различные цифры, в зависимости от направления, — шестьсот — семьсот — восемьсот тысяч), что последние демонстранты дошли до заставы только к ночи. Лидеры еще недавно враждовавших партий шли рядом — Торез и Блюм, Даладьё и Кашен. Шли также ученые, писатели: Ланжевен, Перрен, Риве, Арагон, Мальро, Блок.

На Елисейских полях в тот день демонстрировали фашисты; они лихо маршировали, подымали руки, стараясь во всем походить на гитлеровцев; кричали: «Да здравствует де ля Рокк!» — так звали полковника, вождя «Боевых крестов».

«Де ля Рокка к стенке!» — скандировали люди на площади Бастилии. Скрытая гражданская война разгоралась. Мало кто интересовался правительством, во главе которого стоял юркий Лаваль; он подписывал соглашения с Муссолини, с Советским Союзом, хотел перехитрить и Народный фронт и де ля Рокка, отодвинуть хотя бы на год-другой развязку.

Мне казалось, что мирные времена далеко позади. Еще год назад утром я прежде всего читал письма; теперь я засовывал конверты в карман и, купив газету, здесь же на улице ее разворачивал. Радиоприемник поселился в моей комнате и заполнял ее голосами незнакомых людей, спешивших поделиться со мной тревожными вестями. Ночные часы у этой проклятой коробки были мучительными; речи Гитлера или Муссолини, отчеты о стычках с фашистами на улицах французских городов перебивались рекламой — радиовещание еще было в руках различных частных компаний; почему-то до сих пор помню песенку, прославлявшую целительные свойства «Бальдофлорина», забыл, от каких именно болезней он должен был исцелять, но меня это слово «Баль-до-флорин» между криком дуче: «Пролетарская и фашистская Италия, вперед!» — и описанием казни топором в Гамбурге выводило из себя.

Седьмого сентября Париж снова вышел на улицы: хоронили умершего в Москве Анри Барбюса. Похороны стали демонстрацией.

Конечно, сотни тысяч людей больше думали о предстоящих боях, чем о погибшем писателе: они знали, что Барбюс был смелым товарищем, коммунистом, автором книги о Сталине; сорокалетние помнили «Огонь», рассказавший о судьбе вер-

денского поколения. Барбюс был сложным человеком, нельзя от него отсечь ни стихов его молодости, ни зрелой тоски. Как-то он сказал мне с легкой усмешкой: «С капитализмом трудно бороться, а с самим собой еще труднее...» Однако он умел бороться и с собой. В одном из выступлений он сказал о судьбе «скромных знаменосцев», к которым причислял себя. В тот сентябрьский день он стал знаменем. Военных инвалидов везли в колясках. Женщины подымали к небу грудных детей. Из окон рабочих домов вылетали красные флажки, а где не было флагов, выставляли красные шторы или подушки. На гробу среди пышных южных цветов лежали осенние астры, георгины — цветы Подмосквья.

Мне запомнилась группа людей, которые несли полотнище: «Рабочие Лана не потерпят фашизма!» Скептик мог бы усмехнуться: Лан — небольшой город, в нем нет и двадцати тысяч жителей. Но в этом была своя правда: Франция переживала необычайный подъем, каждый верил, что будущее зависит и от него.

В феврале 1936 года «королевские молодчики» (так называли одну из крайне правых организаций) напали на Леона Блюма, избili его и почему-то в качестве трофеев уволокли шляпу и галстук.

Возмущенные демонстранты двинулись к Пантеону, где покоится прах Жореса, убитого одним из предшественников фашизма. Вокруг Пантеона собрались студенты, входившие в фашистские организации. Было много перебранок. Сотни тысяч рабочих, служащих, интеллигентов еще выше подымали красные флаги, сжимали кулаки.

В одной из колонн я увидел Марсея Кашена и подошел, чтобы поздороваться. Рабочие, стоявшие на набережной, кричали: «Здравствуй, Кашен! Они тебя не посмеют тронуть! Мы тебя отстоим!» Кашен махал рукой, смущенно улыбался.

(Однажды я встретил Кашена в кафе — это было в 1932 или 1933 году, — он сидел с Ланжевроном и художником Синьяком, рассказывал про свою встречу с Лениным. Я вдруг подумал: эти люди пришли в наш век издалека, все поняли и ничего не растеряли... Кашена любили: он как бы собой доказывал, что большая культура может уживаться с повседневной революционной борьбой и что коммунизм не означает ни душевной сухости, ни ограниченности, ни повадок кандидата в вожди.)

Я часто бывал на различных митингах, собраниях; требовали освобождения Тельмана, протестовали против расправ с горняками Астурии, против нападения Италии на Абиссинию, говорили о разном и вместе с тем об одном: нельзя прожить жизнь на одной земле с фашистами. Говорили опытные ораторы и подростки, Андре Жид, Ланжевен или Мальро и домашние хозяйки. На одном из собраний в горном бассейне Дофинэ, когда все уже было сказано и пересказано, старый рабочий с синими жилками на лице попросил слова; поднявшись на трибуну, он дрожащим старческим голосом зашел: «Вставай, проклятьем заклеянный...» Несколько лет спустя я писал о митингах 1935 года:

Надежду видел я, и, розы тоньше,
Как мягкий воск, послушная руке,
Она рождалась в кулаке поденщик
И стужком крови билась на дрове.

В душных залах, набитых незнакомыми мне людьми, я тоже подымал кулак, и в нем тоже билась, как бабочка, надежда тех месяцев. Для надежд было много оснований. Рабочие меня поражали своей зрелостью. Расскажу об одном эпизоде. В Лилле я познакомился с доктором, одним из организаторов общества дружбы «Франция — СССР». Он меня повез в поселок Ланнуа неподалеку от Рубэ; там была большая льнопрядильня. Союз предпринимателей ввиду продолжавшегося кризиса решил закрыть ряд фабрик и уничтожить оборудование. Рабочие и работницы отправили письмо Лавалю: «Господин председатель, мы считаем необходимым заявить вам, что мы не допустим уничтожения машин на фабрике Бутеми... Мы будем следить за тем, чтобы машины, являющиеся общим достоянием, сохранились в неприкосновенности». Я увидел рабочих, охранявших фабрику от ее владельцев. Мастер с седыми усами сказал мне: «Я читал в «Юманите», что Горький теперь пишет историю русских заводов. Расскажи ему, что мы живем при капитализме, машины принадлежат не нам, а мерзавцам, но мы их ни за что не отдадим, это — народное добро. По-моему, такой писатель, как Горький, может в своей книге отметить этот факт...»

На глазах происходило чудодейственное сближение партий, профсоюзов, людей. Передо мной пожелтевший номер

«Юманите» со списком тогдашних сотрудников ее литературного отдела: театральные режиссеры Жуве и Дюллен, художник Вламенк, писатели Жид, Мальро, Шамсон, Геенно, Жолио, Дюртен, Вильдрак, Кассу. Теперь мне это кажется неправдоподобным.

Рабочим удалось (ненадолго) заручиться поддержкой значительной части интеллигенции, крестьянства, мелкой буржуазии. Я увидел это в шахтерском поселке Ля Мюр возле Гренобля. Там была забастовка, длилась она долго — хозяева хотели взять горняков измором. Стаечный комитет помещался в здании мэрии; туда приходили крестьянки — брали детей шахтеров к себе. Был базарный день, и крестьяне привезли забастовщикам подарки: картошку, яйца, сало, гусей. На собрании местный парикмахер объявил, что будет бесплатно стричь и брить забастовщиков. Шахтеры в итоге выиграли забастовку.

Одновременно чуть ли не каждый день приходилось наблюдать, как быстро формируется другой лагерь. Может быть, не так уж много было во Франции фашистов, но они шумели, дрались, нападали из-за угла. Некоторые из них носили короткие усики и называли себя «насистами»; у других было изображение черепа на рукаве, и они себя звали «франсистами». Открыли в Париже «Синий дом» — в Берлине ведь имелся «Коричневый».

Германия ввела войска в прирейнскую демилитаризованную зону. Лига наций обсуждала этот поступок много месяцев и в итоге ничего не решила. Каждый вечер треклятый радиоприемник передавал хриплые выкрики: «Мемель наш! Страсбург наш! Брюнн (Брно) наш!» И вот не молодчики с подстриженными усиками, а добродетельные отцы семейств начали поговаривать, что мир куда дороже, чем какая-то Чехословакия, что Народный фронт приведет к войне, что пора унять левых «крикунов». Италия каждый день захватывала кусок Абиссинии; фашисты вели войну цинично, бомбили госпитали, пустили в ход отравляющие газы. Лига наций применила к Италии экономические санкции; по существу это осталось резолюцией; но фашисты в Париже каждую неделю устраивали демонстрации под лозунгом «Долой санкции!». Опять-таки средние французы со средним достатком, а их во Франции немало, говорили: «Зачем ссориться с Италией? Это наша латинская сестра. Муссолини поможет успокоить Гитлера...» А по радио

стоял вой: «Средиземное море наше! Корсика наша! Ницца наша!» На самом деле средние французы боялись победы Народного фронта, им мерещились потерянная рента, уплотнение квартир, колхозы.

Когда в кино показывали итальянские победы в Эфиопии, в рабочих районах публика отчаянно свистела, в буржуазных многие зрители аплодировали. Иногда в темном зале начиналась драка.

Спорили друг с другом незнакомые люди — в кафе, в метро, на улице. Раскалывались семьи, обрывались дружеские отношения.

Все говорили, что скоро будет война, и все требовали мира. Национальный фронт правых партий клялся, что не допустит войны. Народный фронт готовился к выборам с лозунгом «Мир. Хлеб. Свобода». Правые уверяли, что коммунисты хотят атаковать фашистские страны. Все перепуталось. «Патриотическая молодежь» цела «Марсельезу», требовала, чтобы воспитание шло в духе национальных традиций, и одновременно устраивала демонстрации с криками: «Долой санкции! Долой Англию! Дружба с Италией!» Англичане настаивали на применении санкций к Италии (они, однако, старались ничем не обидеть Гитлера), и писатель Анри Бери опубликовал памфлет в правой газете «Необходимо обратить англичан в рабство!». Рабочая молодежь предпочитала «Марсельезе» «Интернационал» и выступала против итальянских фашистов, против Гитлера, обличала «двести семейств», которые хотят предать Францию.

Однажды, раскрыв газету, я увидел обращение правых писателей, пытавшихся оправдать нападение фашистов на Абиссинию «культурной миссией Италии». Среди подписавшихся было имя одного писателя, моего друга двадцатых годов, человека, которого я не мог заподозрить в симпатии к чернорубашечникам. Я написал ему возмущенное письмо. В ответ он прислал длинное, запутанное и, наверно, искреннее письмо. Оно погибло с другими письмами, когда гитлеровцы оккупировали Париж. Сохранились только выдержки, которые я привел в газетной статье, не называя автора: «Я не знаю, что такое фашизм и каковы его цели. Вам это покажется невероятным, но вот уже три недели, как я не читаю газет. Мне за пятьдесят, и у меня больше нет убеждений, я говорю об искренних убеждениях, способных заставить человека пойти

на жертвы... Я меняю убеждения по двадцати раз в день...» Вместо того чтобы поехать к моему другу и заставить его в двадцать первый раз изменить свои убеждения, я рассердился. Это хороший писатель и хороший человек, но больше мы с ним не встречались.

Я жил в каком-то непрерывном возбуждении. Полгода спустя я написал маленькую книгу рассказов и озаглавил ее «Вне перемирия». Мне казалось, что существует некое негласное перемирие с фашизмом, и я думал о том, что судьбы людей, с которыми я был связан, не подпадают под условия этого перемирия. В статье для «Известий» я писал: «Поймут ли наши внуки, что значило жить в одно время с фашистами? Вряд ли на желтых полуистлевших листочках останутся гнев, стыд, страсть. Но, может быть, в высокий полдень другого века, полный солнца и зелени, ворвется на минуту молчание — это будет наш голос...»

Конечно, в конце 1935 года я не мог знать, что главные испытания впереди. Я только чувствовал, что развязка будет трагичной, и статью кончил словами: «Надежда мира — Красная Армия».

Во Франции в тот год стояла удивительная осень; гремели грозы, в садах вторично зацвели вишни. Я глядел на тщательно обработанные садики, на белые домики с черепичными крышами, на мир милый и хрупкий, может быть обреченный, глядел из окна вагона — газета дала мне отпуск, и я ехал в Москву.

15

Вскоре после моего приезда в Москву редакция дала мне билет на совещание рабочих-стахановцев. Я пришел за час до назначенного времени, а Большой зал Кремлевского дворца был уже заполнен. Люди разговаривали друг с другом вполголоса; никто не вставал с места. Это никак не походило на шумные митинги Парижа в набитых прокуренных залах. Я спрашивал соседей, где сидит Стаханов, знают ли они Кривоноса, Изотова, Виноградовых.

Вдруг все встали и начали неистово аплодировать: из боковой двери, которой я не видел, вышел Сталин, за ним шли члены Политбюро — их я встречал на даче Горького. Зал

аплодировал, кричал. Это продолжалось долго, может быть десять или пятнадцать минут. Сталин тоже хлопал в ладоши. Когда аплодисменты начали притихать, кто-то крикнул: «Великому Сталину ура!» — и все началось сначала. Наконец все сели, и тогда раздался отчаянный женский выкрик: «Сталину слава!» Мы вскочили и снова зааплодировали.

Когда все кончилось, я почувствовал, что у меня болят руки. Я впервые видел Сталина и не сводил с него глаз. Я знал его по сотням портретов, знал тужурку, усы, но я думал, что он куда выше ростом. Волосы у него были очень черные, лоб низкий, а глаза живые, выразительные. Иногда, несколько наклоняясь вправо или влево, он посмеивался, иногда сидел неподвижно, глядя в зал, но глаза продолжали ярко освещивать. Я поймал себя на том, что плохо слушаю — все время гляжу на Сталина. Оглянувшись, я увидел, что тем же заняты и другие.

Возвращаясь домой, я чувствовал неловкость. Конечно, Сталин — большой человек, но он коммунист, марксист; мы говорим о новой культуре, а смахиваем на поклонников шамана, которых я видел в Горной Шории... Тотчас я себя оборвал: наверно, я рассуждаю по-интеллигентски. Сколько раз я слышал, что мы, интеллигенты, ошибаемся, не понимаем требований времени! «Интеллигентик», «путаник», «гнилой либерал»... И все-таки непонятно: «мудрейший руководитель», «гениальный вождь народов», «любимый отец», «великий кормчий», «преобразователь мира», «кузнец счастья», «солнце»... Однако мне удалось убедить себя, что я не понимаю психологии массы, сужу обо всем как интеллигент, притом проживший полжизни в Париже.

На совещании Сталин сказал: «Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодородное дерево». Эти слова приподняли всех — ведь в Кремлевском дворце сидели не манекены, а люди, и они радовались, что к ним будут подходить бережно, любовно...

Прошло несколько дней. Я встретил живых, интересных людей. Долго разговаривал с ткачихой Дусей Виноградовой. Она оказалась умной и удивительно скромной; почести, аплодисменты, фотографии не вскружили ей головы. Я решил, что овации в Кремлевском зале — своеобразное выражение чувств, своего рода присяга. Ведь не коробит меня, что на парижских митингах люди стоят с поднятыми кулаками, без конца

скандируя: «Ле совье пар-ту!» Борьба против фашизма была настолько реальной, так меня захватывала, что я посмеялся над собой: до чего глупо было огорчаться!

Я встречался с писателями, художниками, режиссерами и невольно ввязался в спор — искусство оставалось для меня кровным делом, ввязался с горячностью, да и неуклюже: плохо разбирался в положении, снова принимал свои желания за действительность.

Побывав в клубе «Динамо», в университете, у тимириязевцев, в районных библиотеках, где происходили обсуждения моей повести, я писал: «Я слышал, что говорили о литературе рабочие, вузовцы, красноармейцы. Уровень наших читателей куда выше, чем это предполагают наши писатели». Мне казалось, что читатели выросли и что слишком часто мы им подсовываем книги для подростков. Вероятно, я несколько забегал вперед, но на читательских конференциях я встретил людей с глубокой внутренней жизнью, с большими требованиями.

Может быть, в моих словах сказалось и недовольство собой, повестью «Не переводя дыхания», которая была не только посвящена зеленой молодости, но и написана как-то зелено, упрощенно, будто автору не сорок четыре года, а вдвое меньше. Неловкость я испытывал и, читая книги некоторых моих сверстников, частенько думал, что пора нам писать для взрослых и по-взрослому.

В статье я выступил против обязательной «доходчивости» — слово тогда входило в обиход: «Наши читатели растут, как трава в сказках, — бурно и неожиданно. Надо стараться поднять читателя, даже самого отсталого, до уровня подлинной литературы, а не отменять подлинную литературу, говоря, что такой-то писатель непонятен такому-то читателю. Автор, который ориентируется на так называемого «среднего читателя», сплошь да рядом оказывается в дураках: пока он сидел и писал, читатель успел вырасти. Автор мечтал о доходчивости, о массовости, а читатель, взяв в руки его произведение, говорит: «Скучно, плоско, давно известно, шаблонно...» Секрет нашей удивительной страны в том, что у нас нельзя ставить на «сегодня»: тот, кто ставит на «сегодня», оказывается во «вчера». Надо ставить на «завтра».

«Известия» статью напечатали. Издательство «Советский писатель» решило переиздать мой старый роман «Хуренито». («Хуренито» действительно был переиздан, но не в 1935 году,

а в 1962.) Некоторые критики меня поругивали; я огрызался. Мне казалось, что спор о литературе, об искусстве только-только начинается.

Художники устроили диспут о портрете. Я пошел и выступил против академической живописи, против холстов, напоминающих фотографии, защищал право на искания нового живописного языка. Я сказал, что буржуа, когда он не понимает произведения искусства, неизменно винит художника, а рабочий говорит: «Нужно еще раз прийти — посмотреть получше...» (Эти слова я как-то подслушал в Музее западной живописи.) Некоторым художникам мои мысли не понравились; один выступил с разоблачением: «Эренбург так рассуждает потому, что его жена — ученица Пикассо». (Люба была польщена — она ведь никогда не училась у Пикассо.)

В Доме кино я сказал, что мне очень нравится «Чапаев», но этот фильм — завершение предшествующей блистательной эпохи советской кинематографии; я знаю смелость Эйзенштейна, Довженко и многого жду от этих художников. Газета «Кино» определила мои мысли как «старые заблуждения по новому поводу» и сердито меня одернула.

Я увидел новую постановку Мейерхольда и восхитился: Всеволод Эмильевич воистину обладал неиссякаемой фантазией. Комедия Грибоедова звучала как современная пьеса не только потому, что актеры по-новому читали стихи, но и по возрожденной свежести мыслей, чувств. Была немая сцена, которой нет в тексте: за длинным столом сидели расфуфыренные истуканы, и какая-то очередная грязная, может быть кровавая, сплетня гуляла вдоль стола. Я писал: «Мы ненавидим Фамусовых и Молчалиных. Они еще барахтаются в тине канцелярий, они переменили костюм и лексикон, но они остались столь же заносчивыми и угодливыми. Мы живем и работаем для того, чтобы вывести их из жизни, и мы не можем равнодушно слушать монологи Чацкого, с ним мы терзаемся, с ним ненавидим. Такова мощь подлинного искусства». Долго в моих ушах стояли слова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно...» Был еще только ноябрь 1935 года, и газета напечатала мою статью.

Дѣ чего я был тогда наивен! Я не знал, что многое зависит от вкусов, даже от настроения одного человека. Да и люди, хорошо это знавшие, не могли предвидеть, что приключится завтра.

Когда я был в Москве, И. В. Сталин объявил: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Все сразу заговорили о значении новаторства, о новых формах, о разрыве с рутинной.

Месяца два спустя я прочитал в «Правде» статью «Сумбур вместо музыки»: Сталин пошел на оперу Шостаковича «Катерина Измайлова», и музыка его рассердила. Срочно собрали композиторов, музыкантов, и все они осудили Шостаковича за «кривляние», даже за «цинизм».

С музыки легко перешли на литературу, живопись, театр, кино. Критики требовали «простоты и народности». Маяковского, конечно, продолжали восхвалять, но теперь уже по-другому — «простого и народного». (В одном из ранних футуристических стихотворений Маяковский просил парикмахера: «Будьте добры, причешите мне уши». Он, разумеется, не знал, что смогут причесать не только уши.) Началась кампания «против формализма, левацких уродств, вывертов»; кампания велась яростно, ей отводили много места.

Первой жертвой оказалась книга детских стихов Маршак с рисунками В. Лебедева — рисунки были объявлены «мазней», и книжку уничтожили. Архитекторы собрались, чтобы осудить «формалистов»; напали не только на Мельникова, построившего в 1924 году павильон на Парижской выставке, не только на конструктивистов — Леонидова, Гинзбурга, но и на «сочувствующих формализму» — на Веснина, Руднева. Еще хуже пришлось художникам; критики уверяли, что Лентулов не может нарисовать даже спичечную коробку, что Тышлер, Фонвин, Штеренберг — «пачкуны со злостными намерениями».

На собраниях театральных работников поносили Таирова и особенно Мейерхольда. Его покаяние было признано «туманным», «неискренним», начали поговаривать о закрытии театра. Киноработники взялись за Довженко и Эйзенштейна. Литературные критики вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Кирсанова, Олешу, но, как говорят французы, аппетит приходит во время еды, и вскоре в «формалистических вывертах» оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Вс. Иванов, Лидин, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабея, до Кукрыниксов. Нашелся человек, не лишенный воображения, который обвинил в формализме постановку пьесы «Волки и овцы» в Малом театре. В «Красной нови» появилась статья, призывающая в борьбе против формализма «биться за класси-

ческие рифмы, за классическую точную и стройную ритмику, за классическое правильное развитие сюжета».

Я думал, что спор начинается, а он кончился: его заменили сотни собраний с обязательным признанием своих формалистических ошибок, с обещаниями стать «простым и доходчивым», с хорошо знакомыми возгласами, за которыми следовало: «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию».

Меня много раз обвиняли в «барском отношении к читателям», обвиняли не читатели, а некоторые литераторы, принимавшие активное участие в очередной кампании. Что касается читателей, то и в те недели и позднее в часы сомнений, печали они неизменно меня поддерживали своим пониманием, зрелостью. Редактор «Литературной газеты» писал, что мое пренебрежение советскими людьми сказалось хотя бы в том, что я утверждал, будто не все рабочие могут понять все картины музеев. «Эта мысль, — писал редактор, — выражает уверенность писателя в том, что художник является носителем какой-то более тонкой, более сложной, более высокой культуры, чем та культура, которой обладает масса читателей». Я переписал эту фразу и задумался. Много раз в этой книге я писал о моих заблуждениях, но здесь я упорствую: я и теперь согласен с тем, что говорил четверть века назад.

Мне кажется, что место писателя, художника не в обозе, а в разведке. Люди развиваются неравномерно, и в нашем современном обществе имеются различные уровни культурного развития. «Массы читателей» не существует, даже если книга выходит массовым тиражом: читатели читают по-разному — бывают книги, в которых одно доступно всем, другое только некоторым. Одних посетителей Эрмитажа восхищает живопись Рембрандта, другие спрашивают, что тут изображено, и равнодушно идут дальше. Есть люди, которых ни за что не затащишь на концерт симфонической музыки. Все это общеизвестно, но об этом предпочитают умалчивать. А новые формы в искусстве всегда воспринимались медленно и вызвали раздражение. Можно привести множество примеров, начиная с драки на премьере пьесы Гюго, с поношения Курбе до гогота аудитории, когда Маяковский читал «Человека». Если писатель или художник не видит большего, чем арифметическая «масса», не старается сказать людям нечто новое, им еще неизвестное, то он вред ли кому-нибудь нужен.

Нападки на собраниях и в газетах на разных людей действовали по-разному. А. Н. Толстой, любивший спокойствие, решил на всякий случай покаяться и публично объявил, что написал формалистическую пьесу. Бабель говорил улыбаясь: «Через полгода формалистов оставят в покое — начнется какая-нибудь другая кампания». Мейерхольд томился и по десять раз перечитывал вздорную статейку, что-то подчеркивая. В тот мой приезд в Москву я часто встречался и подружился с А. П. Довженко. Он был большим художником, достаточно вспомнить его фильм «Земля», сделанный в 1930 году. Александр Петрович хорошо рассказывал — с украинским юмором и с мягкой украинской печалью. Все происходившее он воспринимал болезненно. Как-то он рассказал мне, что накануне его вызвал Сталин, показал ему «Чапаева» и все приговаривал: «Вот так нужно и вам...»

Меня несправедливые обвинения огорчали, порой выводили из себя, но я был в лучшем положении — шла борьба с фашизмом, и я находился на поле боя.

Вспоминая некоторые московские впечатления, все эти овации и огульные обвинения, я писал в «Книге для взрослых»: «Я знаю, что люди сложнее, что я сам сложнее, что жизнь не вчера началась и не завтра кончится, но иногда надо быть слепым, чтобы видеть». (О том же я говорил позднее в стихах:

Не зря я слепоту зову находкой.
Тоску зажать, как мертвого птенца,
Пройти своей привычною походкой
От детских клятв до точки — до конца.)

Работа над книгой меня захватила, хотя то и дело приходилось от нее отрываться — писать статьи для «Известий», выступать на различных собраниях, работать в Ассоциации писателей. «Книга для взрослых» была первым черновиком той книги, которую я теперь пишу. Я задумал нечто увлекательное и порочное: решил перемешать главы, в которых рассказывал о себе, о своей жизни, с другими, где персонажи повести раскрывали мне свои тайны, работали, боролись, любили, страдали. Я назвал замысел порочным; может быть, это неправильно — просто мне не хватило таланта и мастерства, чтобы герои повести выглядели действительно существующими,

а вследствие этого я сам порой казался условным литературным персонажем.

В книге много страниц было посвящено литературе, искусству; я тогда впервые задумался над тем, как рождаются книги или холсты. Я говорил о судьбе писателя: «Он весь облеплен чужими страстями, как репейником. Человеческое горе знает, к кому пристать. Даже бродячая собака не пристанет к каждому, она понюхает человека, а потом или отбежит в сторону, или пойдет вслед. Не все радости, не все горести пристают к писателю, только те, что должны к нему пристать... Гоголь умер среди мертвых душ; вокруг его изголовья толпились Плюшкины и Ноздревы. Он повторил в жизни то, что однажды ему показалось занятным и нелепым сном. Тему подарил ему Пушкин, героями его снабдила жизнь. Что он прибавил к этому, кроме своего дыхания, и почему за чужие судьбы он должен был расплачиваться юродством, немотой, убогой смертью?.. Неужели книги это только черновики, которые нам приходится набело переписывать в жизни?»

Больше всего я думал о борьбе, которая шла вокруг, о выbranном мною пути. «Справедливость — это слово как будто отлито из металла, в нем нет ни теплоты, ни снисхождения. Иногда мне кажется, что оно из чугуна, иногда оно теряет вес, становится оловом. Его нужно согреть своей страстью... Я сказал, что прежде не мог освободиться от своего прошлого. Я думаю, что человек ни от чего не освобождается, он растет вширь, как дерево: кольцо нарастает на кольцо. Теперь я вижу, отчего чугунная или оловянная справедливость казалась мне прежде холодной. Нужны были не только удачи, но и обвалы, вывихи, годы немоты».

Может быть, в 1935 году я слишком рано взялся за рассказ о своей жизни: недостаточно знал и людей, и самого себя, порой принимал временное, случайное за главное. В основном я и теперь согласен с автором «Книги для взрослых», но война в ней описана не ветераном, а человеком среднего возраста, среднего опыта, который едет в темной теплушке на фронт и рисует себе предстоящие битвы.

Многое в книге было, скорее, предчувствием, предвидением, нежели выводами из пережитого. Я сам не понимаю, как я мог весной 1936 года, до всего, что мне пришлось испытать в последующие годы, будучи нестарым и далеко не умудренным, написать такие строки: «Я пережил в жизни все, что пережило

большинство людей моего возраста: смерть близких, болезни, предательство, неудачи в работе, одиночество, стыд, пустоту. Есть борьба на улице с винтовками, в цехах, под землей, в воздухе, за пишущей машинкой. Я сейчас думаю о другой борьбе: в тишине, когда, не отрываясь, смотришь на лампочку или на буквы газеты, которой не читаешь, когда надо победить то, что сделала с тобой жизнь, заново родиться, жить, во что бы то ни стало жить».

Приподымая занавеску исповедальни, скажу, что книга «Люди, годы, жизнь» родилась только потому, что я сумел в старости осуществить сказанные мною давно слова — победить то, что сделала со мною жизнь, и если не родиться заново, то найти достаточно сил, чтобы идти в ногу с молодостью.

«Книгу для взрослых» сначала напечатали в журнале; потом решили выпустить отдельным изданием; издавали долго — шел 1937 год, когда забота о деревьях была предоставлена не садовникам, а лесорубам. Из книги изымали целые страницы с именами, ставшими неудобными. В том экземпляре, который у меня сохранился, один листок белее и короче других, его вклеили: нужно было изъять имя очередного вырубленного — Семена Борисовича Членова.

А писал я книгу в Париже в начале 1936 года, писал под шум демонстраций: борьба разгоралась. Теперь я твердо знал: что ни приключись, какими бы мучительными ни были сомнения (не в правоте идеи, а в разуме людей, стоявших на командном посту), нужно молчать, бороться, победить.

В конце марта я отослал рукопись в «Знамя». А седьмого апреля в испанском городе Овьедо я разговаривал с горняком Сильверьо Кастаньоном; он рассказывал о боях 1934 года, о погибших товарищах, о попытках. Бесконечно далекими казались мне и борьба с формализмом, и листочки рукописи, и парижская комната с книгами на полке, с трубками на стене. Кастаньон писал стихи и на суде удивил военных судей эрудицией: цитировал Маркса, Канта, Кальдерона, Гюго. Судьи одобрительно кивали головами, но приговорили горняка к смертной казни: он был председателем революционного комитета в шахтерском поселке Турон. Исполнение приговора, однако, откладывали с одного дня на другой. Я спросил Кастаньона, сколько времени он ждал смерти. Он ответил: «Пятнадцать месяцев. Только я ждал не смерти, а революции...» Потом он прочитал свои стихи и вдруг сказал, разводя руками: «Жизнь

у человека одна». Я внимательно посмотрел на него и увидел, до чего он молод — детское лицо...

Вернувшись в сырую, мрачную гостиницу, я долго не мог уснуть, ворочался, думал: нет, жизнь не одна — за одну приходится прожить не одну, не две жизни, а много; в этом, кажется, вся беда, но и все счастье.

16

Мне трудно сейчас описать Испанию в ту далекую весну: я пробыл в ней всего две недели, а потом в течение двух лет видел ее окровавленной, истерзанной, видел те кошмары войны, которые не снились Гойе; в распри земли вмешалось небо; крестьяне еще стреляли из охотничьих ружей, а Пикассо, создавая «Гернику», уже предчувствовал ядерное безумье.

Я вспоминаю огромные арены, предназначавшиеся для боя быков, заполненные десятками тысяч людей: рабочими в кепках, крестьянами в широких шляпах, женщинами, повязанными платками, гончарами, сапожниками, мастерицами, школьниками.

Я увидел на подмостках Рафаэля Альберти. Он никак не походил на Маяковского: у него был облик нежного мечтателя. Еще недавно он писал лирические стихи. Теперь он читал романсеро современности; стихи проносились по толпе, как ветер по купам деревьев, и люди, взволнованные, выбегали на улицу. У молодых социалистов были кумачовые рубашки, у комсомольцев — синие с красными галстуками. Отворачивались священники, старухи в ужасе крестились, буржуа пугливо озирались, фашисты стреляли из окон. Яркое солнце сменялось тяжелыми, лиловыми тучами.

То была необычная для Испании весна: чуть ли не каждый день падали шумные ливни, и рыжая земля Кастилии ослепляла зеленью. Бог ты мой, сколько я слышал радостных возгласов, замечательных проектов, клятв и проклятий! Помню, на рабочем митинге в астурийском поселке Мьерес старый шахтер с длинным узким лицом, приподняв рудничную лампу, сказал: «Три тысячи товарищей погибли, чтобы фашистов больше не было. Их и не будет. Будем мы. И ничего больше, испанцы!..»

В Овьедо я увидел развалины университета. Люди говорили, как старый шахтер: «Нет, это никогда не повторится!»

В поселке Сама Фернандо Родригес повел меня в Народный дом, там усмирители в 1934 году пытали и убивали повстанцев. На стенах были пятна выцветшей крови, сохранились имена расстрелянных, нацарапанные ногтем. Фернандо Родригес рассказывал: «Меня подвешивали за руки и тянули за ноги, они называли это «самолетом». Лили на голый живот кипяток, потом ледяную воду. Кололи... Все равно я не сказал, куда мы спрятали оружие».

Ко мне пришли ребята, дали старательно написанное письмо: «Овиедо, 22 апреля 1936 года. Товарищи, красные пионеры Овиедо поздравляют с днем Первого мая товарищей в Советском Союзе! Товарищи, мы готовимся ко второй битве, она скоро придет. Мы будем сражаться стойко и храбро. Привет и революция!»

Я стоял у окна и видел, как ребята, выйдя из гостиницы, распалились; для них все происходившее еще было игрой. Не знаю, что с ними стало, но осенью 1936 года я прочитал в фашистской газете: «В Овиедо дети, развращенные марксистскими учителями, кидались на офицеров».

В ту весну я познакомился с дочерью астурийского шахтера, с Долорес Ибаррури, которую рабочие прозвали Пасионарией. Она была крупным политическим деятелем и оставалась простой женщиной; были в ней все черты испанского характера — суровость, доброта, гордость, смелость и, что всего милее, человечность. Мне рассказали, как в Астурии она освободила заключенных: пришла с толпой рабочих, скомандовала солдатам «вольню», вошла в тюрьму и, когда все арестованные вышли на свободу, улыбаясь показала толпе большой ржавый ключ.

Дирекция «Сиудад линеаль», фирмы, владевшей трамваями Мадрида, отказалась принять на работу «смутьянов», уволенных осенью 1934 года. Тогда рабочие взяли в свои руки эксплуатацию трамваев. На вагонах стояли три буквы «УНР» — «Унион эрманос пролетариос» («Союз братьев-пролетариев»), — с этими словами рабочие в 1934 году шли на фашистов, на Иностранный легион, на обманутых генералами марокканцев. За исключением трех магических букв, трамваи выглядели, как прежде, — старенькие, обвешанные гроздьями веселых мальчишек. Цифра 8 — маршрут до квартала Куатро-каминос. И все-таки никто не знал, куда придет этот трамвай — в депо или на поле боя.

Когда я был в Мадриде, на рабочих напали фашисты. Тотчас началась всеобщая забастовка. Я жил в большой гостинице; ушли коридорные, лифтеры, официанты, судомойки. Хозяин мобилизовал свою многочисленную родню, приговаривал: «Мы отстаим интересы наших клиентов от этих треклятых бездельников. Прошу вас — перейдите на самообслуживание».

Потом я увидел грандиозную забастовку в Барселоне. Испанская буржуазия, ленивая, беспечная, растерялась. Один адвокат говорил мне: «Я даже не мог себе представить, что у рабочих такая сила! Если Европа не вмешается, мы будем зависеть от этих полуграмотных лодырей».

Правительство старалось успокоить всех. Крестьянам говорили, что Институт аграрной реформы быстро изменит их положение. Но институт не торопился. Есть в Испании выражение «маньяна пор ля маньяна» — «завтра утром», или, говоря по-русски, после дождичка в четверг. Крестьяне начали распахать огромные пустовавшие поместья различных графов и не графов. Они составляли акты. В деревнях Кастилии я видел много таких документов. У графа Романонеса, депутата кортесов, в одном из многочисленных поместий было шесть тысяч гектаров; крестьяне разоружили гвардейцев и составили акт о переходе земли во владение кооператива. В кухне они нашли окорок, картошку и представили в документе, что найденные продукты должны быть возвращены графу. Крестьяне деревни Гуадамус написали: «Мы заняли поместье, причем стража свидетельствует, что мы не обидели никого ни действием, ни словом». Крестьяне другой деревни, Полан, писали: «30 марта утром представители муниципального совета, совместно с представителями «Федерации тружеников земли», в присутствии персонала, обслуживавшего поместье, заняли Вентилосья, а именно 1992 га земли».

В Эскалоне, в Мальпике, в окрестностях Толедо я видел крестьян, восторженно повторявших: «Земля!» Старики верхом на осликах подымали кулаки, девушки несли козлят, парни ласкали старые, невзрачные винтовки.

Гражданская гвардия (жандармерия) в апреле выступила против правительства. Создали штурмовую гвардию, но и штурмовики подозрительно поглядывали на министров Народного фронта. Фашисты кричали: «Долой Асанью!»; Асанья был премьером, а потом президентом республики. Против фашистов шли рабочие. Казалось бы, гвардейцы должны разогнать

фашистов, выступающих против правительства, но они не осмеливались обидеть хорошо одетых кабальеро и отводили душу на рабочих.

Газета монархистов «АВС» открыто требовала интервенции: «Гитлер сказал, что он этого не допустит... Европа не захочет жить в большевистских клещах...» В этой же газете собирали пожертвования; я тогда выписал: «Поклонник Гитлера — 1 песета. За бога и Испанию — 10. Проснись, Испания! — 5. Национал-синдикалист — 10. Странник фаланги — 5».

Кортесы одобрили законопроект, согласно которому уволенные в отставку генералы, если они выступают против республики, лишаются пенсии. Военные презрительно усмехались: Народный фронт долго не продержится. Генералы Санхурхо, Франко, Мола не скрывали своих планов. Санхурхо говорил: «Испанию может спасти только хирургическая операция...» Священники и монахи призывали к борьбе за господина бога и за порядок. На стенах кто-то писал мелом: «Испания, проснись!» Вчерашние правители спокойно разгуливали по улицам Мадрида; я как-то увидел Хилу Роблеса, он пил кофе с молоком на террасе кафе. Во время пребывания его у власти двести тысяч фашистов получили разрешение носить оружие; никто не пытался это оружие отобрать.

Я разговаривал с социалистами, с президентом каталонского автономного правительства Компанисом, который до победы Народного фронта сидел в тюрьме. Все понимали опасность положения, но говорили, что должны соблюдать конституцию: нельзя ограничивать свободу.

Страшны были не плотный корректный кабальеро, которого звали Хилем Роблесом, не статьи в фашистских газетах, даже не проповеди бесноватых монахов. Страшно было другое: крестьяне восхищенно показывали старые охотничьи ружья, безоружные рабочие подымали кулаки. А сторонники фаланги постреливали. В церквах «случайно» находили пулеметы. Полиция, гвардия, армия относились к параграфам конституции куда менее почтительно, чем вновь назначенный министр внутренних дел Касарес Кирога, чем социалист Прието или пылкий Компанис.

Я должен был вернуться в Париж: на 26 апреля во Франции были назначены выборы, и редакция хотела, чтобы я был на месте. Уезжал я с грустью: все сильнее и сильнее влюблялся в Испанию. Я писал в статьях о фашистской опасности.

В старом номере «Юманите» я нашел заметку о моем докладе в парижском Доме культуры; я говорил, что испанские фашисты обязательно выступают. А в душе я не очень-то в это верил — не хотелось верить. (Слишком часто не только рядовые участники событий, вроде меня, но и крупные политические деятели принимали и принимают свои желания за трезвую оценку действительности; видимо, это в человеческой природе.)

Французам Пиренеи издавна казались стеной, за которой начинается другой континент. Когда на испанский престол взошел внук Людовика XIV, французский король будто бы в восторге воскликнул: «Пиренеев больше нет!» Пиренеи, однако, оставались. И вот в апреле 1936 года я их не заметил: люди так же подымали кулаки, на станциях можно было увидеть те же надписи «Смерть фашизму!», а в поезде перепуганные обыватели вели знакомые разговоры о том, что нужно «обуздать бездельников». «Френте популар» и «Фрон популер» звучали одинаково. Франция вдохновлялась примером Испании.

В воскресенье вечером с Савичем и с редактором «Лю» Путерманом мы стояли возле редакции газеты «Матэн». Толпа заполнила широкий бульвар. Все не сводило глаз с экрана: сейчас объявят первые результаты. «Морис Торез — избран». Аплодисменты, радостные крики. «Монмуссо... Даладье... Кот... Вайян-Кутюрье... Блюм...» Восторг. «Да здравствует Народный фронт!» Поют «Интернационал». Когда показывались имена избранных правых — Фландена, Скапини, Домманжа, — свистели. «Предателей к стенке!», «Долой фашизм!» Все это происходило не возле «Юманите», а перед зданием газеты, которая каждый день писала, что «Народный фронт — это конец Франции».

Газеты сообщали, что ничего еще не решено: в следующее воскресенье предстоит перебаллотировки. Снова вечер на улице, и снова возбужденная, радостная толпа. В полночь выяснилось, что Народному фронту обеспечено большинство. По бульварам шли люди, пели «Интернационал», обнимали друг друга, кричали: «Фашистов к стенке!»

Я радовался со всеми: после Испании — Франция! Теперь ясно, что Гитлеру не удастся поставить Европу на колени. Наше дело побеждает — революция переходит в наступление! Эти мысли еще не омрачались ни потерей близких и друзей, ни испытаниями, на пороге которых мы стояли. Весну 1936 года я вспоминаю как последнюю легкую весну моей жизни.

Несколько недель спустя во Франции начались массовые забастовки; рабочие бросали работу, но не уходили из цехов; служащие оставались в банках, в конторах, в магазинах. Буржуа с ужасом повторяли: «Это захватчики!..»

Париж был неузнаваем. Красные флаги реяли над синезымыми домами. Отовсюду вылетали звуки «Интернационала», «Карманьолы». На бирже бумаги падали. Богатые люди переправляли деньги за границу. Все повторяли — кто с надеждой, кто в ужасе: «Это революция!..»

Я запомнил витрину фешенебельного магазина на бульваре Капюсин; красotka из гипса в модном платье держала в руке плакат: «Служащие и рабочие забастовали — мы не хотим больше жить впроголодь!»

Проходили девушки с простынями — прохожие кидали деньги для семей забастовщиков.

На некоторых заводах предприниматели оказались упрямыми, и забастовки длились долго — две-три недели. Заводы были оцеплены полицией — боялись столкновений. Каждый день женщины приходили к воротам, приносили хлеб, колбасу, апельсины.

Дениз работала в труппе левых актеров. Их пригласили рабочие крупного металлургического завода, бастовавшие уже третью неделю. Я пошел на спектакль. Дениз повторяла монолог героини «Фуэнте овехуна». У нее были глаза лунатика и смутная улыбка. Когда я вышел на улицу, полицейский меня обыскал — нет ли на мне оружия. Я ничего не понимал и улыбался; мне хотелось быть не корреспондентом «Известий», а одним из рабочих, которых я только что видел.

Забастовки повсюду кончались победой. За один месяц рабочие Франции добились не только увеличения зарплаты, но и подлинного изменения социального законодательства — коллективных договоров, признания юридического статуса профсоюзов, платных отпусков.

Весну сменило жаркое лето. Опустели западные районы: люди с достатком уезжали в Швейцарию, в Бельгию, в Англию, в Италию: говорили, что хотят отдохнуть от «разнуздавшей черни». А на пляжах Нормандии или Бретани они могут оказаться рядом с рабочими: ведь теперь у «этих лодырей» платные отпуска!

Четырнадцатого июля свыше миллиона парижан участвовали в демонстрации. Шли углекопы севера с лампами, вино-

дела юга с бутафорскими гроздьями, рыбаки Бретани несли голубые сети. Сожгли чучела Гитлера и Муссолини. Даладьё по-прежнему обнимал коммунистов. Председатель совета министров Леон Блюм, типичный интеллигент XIX века, приветствуя рабочих, неумело подымал вверх маленький кулак. На шесте несли кепку рабочего с надписью: «Вот корона Франции!» Проплывали портреты Ленина, Сталина, Горького. Испанцам кричали: «Молодцы! Смерть фашистам!» Проходили рабочие-эмигранты — итальянцы, поляки, немцы; им аплодировали. (Я не подозревал, что многих из них вскоре увижу на рыжих камнях Кастилии.)

Конечно, демонстранты требовали роспуска фашистских организаций, кричали по-прежнему: «Де ля Рокка к стенке!» — но кричали весело, даже добродушно. В феврале на улицы вышел народ, готовый ринуться в бой, а демонстрация 14 июля была невиданным карнавалом.

Вечером, как всякий год, начались танцы — на площади Бастилии, на сотнях улиц и улочек — с традиционными китайскими фонариками, аккордеонами, кружкой пива или бутылкой лимонада, с поцелуями влюбленных. Рабочие постарше сидели, смотрели, как веселится молодежь. Я прислушивался к разговорам; толковали о том, где лучше провести отпуск, о дядюшке в лимузинской деревне, о домике на Луаре, о рыбной ловле, о горных прогулках, о песчаных пляжах для детворы. Слово «революция» уступило место другому — «каникулы». Легкая победа придала людям спокойствие, благодущие.

Теперь Париж не походил на Мадрид: у него не было позади ни астурийского восстания, ни пыток, тюрем, расстрелов. Не было также фанатического духовенства и бряцавших оружием генералов; французская буржуазия была куда просвещенней и хитрей: она рассчитывала взять Народный фронт измором. А победители смеялись и не слишком задумывались над будущим.

Я дописывал книгу коротеньких рассказов «Вне перемирия». Из Москвы приехала Ирина. В Париже было нестерпимо жарко; Люба и Ирина уехали в Бретань, я сказал им, что должен передать в газету отчет о демонстрации 14 июля и кончить книгу, потом приеду.

Помню душный летний вечер на улице Котантен. Я сидел, писал; отложил рукопись и включил радио. Леон Блюм совещался с министром просвещения... В Мадриде толпа штурмует

казармы Ля Монтанья... Барселона... Гостиница «Колумб»... Артиллерия... Генерал Аранда... Бои в районе Овиедо... Убитые, раненые...

Я вскочил. Нужно куда-то пойти!.. Поздно: двенадцать часов, никого не найду... Я не мог оставаться один в слишком тихой комнате.

А диктор спокойно сообщал, что на выставке роз в Кур-ля-Рен первая премия досталась розе «Мадам Мейянд»...

Для одних жизнь расколосась надвое 22 июня 1941 года, для других — 3 сентября 1939, для третьих — 18 июля 1936. В том, что я писал прежде о моей жизни, имеются, наверно, главы, далекие многим моим сверстникам: когда-то у нас были разные судьбы, разные темы. А с того вечера, о котором я рассказываю, моя жизнь начала чрезвычайно напоминать жизнь миллионов людей: небольшая вариация общей темы. Хорошо известные всем слова определяют десять недобрых лет: сообщения, опровержения, песни, слезы, сводки, воздушная тревога, отступление, наступление, побывки, минутные встречи на полустанках, разговоры о нотах, о тактике и стратегии, молчание о самом главном, эвакуации, госпитали, огромное всеобщее затемнение и, как воспоминание о прошлом, беглый свет карманного фонарика...

17

Я протомился в Париже несколько недель: передавал в «Известия» каждый день сообщения из Испании, напечатанные во французских газетах, ходил в испанское посольство, помогал первым добровольцам пробраться в Барселону. Сидел я в Париже только потому, что не получал от редакции ответа — могу ли я поехать в Испанию в качестве военного корреспондента. Мне повторяли лаконично и таинственно: «Согласовываем». Я еще не знал значения этого магического глагола, злился — не мог дольше ждать. Однажды, когда редакция позвонила на мою парижскую квартиру, чтобы проверить, почему я не посылаю больше телеграмм, Люба ответила: «Вы разве не знаете?.. Он в Испании».

Пикассо писал «Гернику» весной 1937 года. А за полгода до этого, в августе — сентябре 1936 года, Испания напоминала

полотна Делакруа: за Пиренеями тледа и на короткий срок вспыхнула романтика прошлого века,

Барселона — большой промышленный город, но ее рабочие издавна находились под влиянием синдикалистских профсоюзов СНТ и анархистов ФАИ (Федерация анархистов Иберии). Мелкая буржуазия, крестьянство, интеллигенция ненавидели испанскую военщину, которая попирала национальную гордость каталонцев. Средние буржуа, владельцы ресторанов или магазинов, мне говорили, что они предпочитают даже анархистов генералу Франко. Слово «свобода», давно обесцененное во многих странах Европы, здесь еще вдохновляло всех.

По главной улице Рамбле неслись грузовики, наспех обшитые листами железа; их почтительно называли «броневиками». Гарцевали кавалеристы в красно-черных рубашках, с охотничьими ружьями. На кузовах такси красовались надписи: «Мы едем в Уэску!» или «Возьмем Сарагоссу!» Анархисты уезжали на фронт с ящиками ручных гранат, с гитарами, с боевыми подругами. Модницы на невероятно высоких каблуках волочили тяжелые винтовки. Повсюду виднелись следы недавних боев: неразобранные баррикады, осколки стекла, гильзы. На местах, где погибли герои, отстоявшие город от фашистских мятежников, пылали яркие розы юга. Барселонцы несли дружинникам, уезжавшим на фронт, бурдюки с вином, окорока, одеяла, даже древние сабли. В гостинице «Колумб», которую в июле обстреливали из орудий, среди пыльных плюшевых пуфов валялись винтовки, и бойцы спали на пышных кроватях, напоминавших катафалки.

«Се-не-те — фэй» — эти слова можно было услышать повсюду: на Рамбле, на сотнях митингов, в реквизированных домах, где разместились различные комитеты, лиги, союзы — от «Сторонников мировой анархии» до «Воинствующих эсперантистов». На стенах пестрели плакаты: «Да здравствует организация борьбы с дисциплиной!» Пели «Интернационал», пели также гимн СНТ «Сыны народа». Больше всего было красно-черных флагов. Я спросил одного дружинника, почему анархисты выбрали эти два цвета; он ответил: «Красный — борьба, а черный — потому что человеческая мысль темна...»

Повсюду стреляли, трудно было понять, кто стреляет и в кого; но все относилось к этому спокойно; кафе и рестораны были переполнены. Город жил в веселой лихорадке.

Колонны и центурии, отправлявшиеся брать штурмом Уэску или Сарагосу, назывались «Чапаев», «Панчо Вилья», «Негусы», «Эфиопы», «Смелые черти», «Безбожники», «Бакунин». На собраниях говорили о перевоспитании человечества. Один оратор предлагал поставить памятники великим мыслителям мира — Сократу, Спартаку, Сервантесу, Реклю, Кропоткину, Ленину. Другой требовал сожжения денег, уничтожения тюрем и обязательности труда. Третий говорил, что необходимо послать десять наиболее благородных людей на крейсер «Уругвай», где находились арестованные руководители военного мятежа, и убедить фашистов войти в трудовую коммуны.

Главные казармы города были переименованы в «Казармы имени Бакунина». Взобравшись на крышу автобуса, агитаторы вопили: «Долой милитаризм! Все на фронт! Свобода всем! Смерть фашистам!»

Никто не знал, где республиканцы, где фашисты. Мы ехали по каменной рыже-розовой пустыне Арагона. Стоял нестерпимый зной: для меня это было первое испанское лето. Мой попутчик, каталонец Миравильес, спрашивал крестьян, можно ли проехать дальше. Одни говорили, что фашисты в соседней деревне, другие уверяли, будто наши освободили Уэску. Сразу свалилась южная ночь. Но небу текли зарницы. Вдалеке громыхали орудия. Вдруг машина остановилась: перед нами была баррикада. Кто-то закричал: «Пароль?» Мы не знали пароля. Миравильес вытащил из кобуры револьвер. Я спросил его, что случилось. Вместо ответа он дал мне другой револьвер. Мне стало страшно: вот мы и угодили в западню!.. Я взгляделся в мглу и увидел на скале людей с винтовками, они целились в нас. Я уже хотел было выстрелить, когда кто-то в темноте выругался: «Да ведь это наши!» Крестьяне обступили нас, рассказали, что караулят уже шестую ночь — им передали из Бухаралоса, что фашисты наступают. Мы спросили: «Где фронт?» Они развели руками: до Бухаралоса двенадцать километров, это точно, а кто там, один черт знает. Для них фронт был повсюду.

Не только крестьяне не знали, что происходит в соседней деревне, — в Барселоне никто не мог ответить на вопрос, в чьих руках Кордова, Малага, Бадахос, Толедо. Командир каждой колонны строил фантастические планы. Кто-то пустил утку — фашистов прогнали из Севильи. Каталонцы решили высадить десант на Майорке. Несколько дней спустя поползли

слухи, будто фашисты заняли Валенсию и продвигаются к Барселоне.

На одном из участков переднего края я увидел надпись: «Дальше не ходить — там фашисты». Бойцы преспокойно купались в речушке; один сторожил одежду и винтовки. Я спросил: «А если фашисты начнут атаку?» Они рассмеялись: «Днем мы не воюем — слишком жарко. У них, у подлецов, пруд, они сейчас там купаются. А вот погоди, через три часа такая трескотня начнется, что у тебя уши лопнут...»

Командир сказал мне, что скоро возьмут Уэску, ну, через неделю, самое большее. Я смотрел на город, он был рядом. «Что это за большое здание впереди?» — спросил я. «Сумасшедший дом. Там сидят отборные солдаты. Нужно прежде всего взять этот дом». (Я был возле Уэски год спустя и снова услышал, что нужно взять сумасшедший дом. Сколько людей погибло в боях за это здание!)

Один мой знакомый ехал в Мадрид, чтобы договориться о расширении прав правительства автономной Каталонии. Он предложил мне поехать с ним. Ехали мы долго: крестьяне повсюду перерезали дороги баррикадами, боясь нападения фашистов, и старательно изучали пропуска (у меня их было пять или шесть — от всевозможных организаций, включая, разумеется, СНТ). Баррикады выглядели живописно: бочки, мебель, вынесенная из богатых домов, опрокинутые подводы, деревянные статуи, украшавшие прежде церкви. У меня сохранилась фотография — три крестьянина с ружьями, а над ними ангел барокко с огромной виолончелью.

Повсюду я видел обугленные каркасы сожженных церквей. Узнав о фашистском мятеже, крестьяне первым делом поджигали церкви или монастыри. Один мне объяснил: «Знаешь, кто главный враг? Курас (священники) и монахи. Потом генералы, офицеры. Ну и, конечно, богачи... Помещика мы не тронули, только землю отобрали, пускай, сволочь, живет, как другие. Он и расписался, что не возражает. А вот кура залез на колокольню, хотел оттуда стрелять. Ну, мы его отправили прямо в рай...»

Мой попутчик жаловался на анархистов: «Да разве с ними можно договориться? Это честные парни, но у них анархия в голове. В Барселоне ко мне пришел один, требует: «Отмените все правила уличного движения. Почему я должен поворачивать направо, когда мне нужно налево? Это против принципа свободы!»

Увидав одну несожженную церковь, мой попутчик спросил крестьян: «Почему не сожгли?..» Когда мы отъехали от деревни, я ему сказал: «Не понимаю — зачем жечь? У них ни одного приличного дома нет. Можно устроить школу, клуб». Он рассердился: «А вы знаете, сколько мы от них натерпелись? Нет, уж лучше без клуба, только не видеть этого перед глазами!..»

В Мадриде анархистов было мало, но и Мадрид еще жил романтическими иллюзиями. Фашисты захватили Талаверу и находились в семидесяти — восьмидесяти километрах от столицы. А люди сидели на террасах кафе и до полуночи спорили: идти ли на Сарагосу, чтобы соединиться с каталонцами, или отбить у фашистов порты Андалузии.

Меня повезли в имение убежавшего фашиста. «Здесь мы устроили опытно-показательную детскую колонию». Одна энтузиастка долго доказывала, что педагоги пренебрегают воспитательным значением музыки. Мальчик лет семи-восьми рассказывал: «Папу связали, положили на дорогу, а потом по нему проехал грузовик...» Энтузиастка упорствовала: «А откуда взялись такие звери? Детей не воспитывали гармонично...» Я невольно усмехнулся: вспомнил Киев 1919 года и мою работу в секции эстетического воспитания мофективных детей: все, кажется, другое, и вдруг видишь — все повторяется...

В Мадриде писателям отдали особняк убежавшего аристократа; там была прекрасная библиотека — инкунабулы, редчайшие издания, рукописи испанских классиков. В особняке поэты Альберти, Маноло Альтолагире, Петере, Серрано Плаха, Эрнандес читали свои стихи. Там я познакомился с писателем Хосе Бергамином, левым католиком, человеком чистой души, печальным и спокойным. Мы с ним разговаривали о Сервантесе и о воздушной обороне, о коммунизме, о поэзии Кеведо. Там же я встретил Пабло Неруду — чилийского консула и поэта; он был молодым, шутил, проказничал. Помню озабоченного библиофила, который во время воздушной тревоги устанавливал в библиотеке сосуды с водой, чтобы чрезмерная сухость не повредила древних рукописей. Кто-то вполголоса говорил: «Они заняли Талаверу...»

В «Атенео» состоялся вечер памяти Максима Горького. Рафаэль Альберти сказал мне со слезами в голосе: «Подтвердилось... Они убили в Гренаде Гарсия Лорку...»

Была ночь первой воздушной тревоги. Потом другая ночь — я услышал взрывы, выбежал на улицу. Старая женщина при-

жимала к себе девочку. Когда рассвело, я пошел в квартал, который фашисты бомбили, и увидел то, что мне потом привидилось слишком часто видеть: разбитый дом, лестницу и где-то наверху повисшую детскую кровать.

Пабло Неруда писал: «И по улицам кровь детей текла просто, как кровь детей...»

Я поехал в Мальпику; там я был до войны, в апреле, и крестьяне меня узнали. Испанцы с трудом выговаривали мою фамилию, часто путали, и алькальде, подняв кулак, торжественно сказал: «Здравствуй, Гинденбург! Теперь мы можем показать тебе замок». В Мальпике находилась усадьба герцога Ориона, которую забрали крестьяне. Я прошел по большому старому дому. Алькальде нес медный подсвечник с огарком. Из темноты выплывали головы кабанов; статуи богоматери в расшитых золотых платяцах, медные кастрюли, пижамы, патефоны. Самой пышной была ванная комната, в ней почему-то стояли три кресла. Алькальде говорил: «Это, наверно, очень ценные вещи. Мы решили отдать замок писателям, пусть они здесь живут и пишут...» На околице стояли крестьяне с охотничьими ружьями. Фронт был близко. Вокруг дымили костры беженцев из Эстремадуры.

Два дня спустя я был снова в Мальпике с Альберти и Марией Тересой Леон — они везли на фронт газеты, листовки. Немецкие бомбардировщики бомбили позиции, дорогу. Дружинники не выдержали и побежали. На околице деревушки Доминго Перес толпились взволнованные крестьяне: «Видишь — удирают!..» Старый крестьянин сказал: «Вот все, что у нас есть», — и показал три охотничьих ружья. Мы увидели четырех бойцов, которые шагали в сторону Мадрида. Мария Тереса побежала за ними вдогонку; она быстро бежала на очень высоких каблучках; в руке у нее был крохотный револьвер. Девуртиры ей отдали винтовки; они были пристыжены. Старый крестьянин говорил: «Дай мне! Молодым жить хочется, а я не убегу...» Часа два спустя тридцать дружинников повернули в сторону неприятеля и окопались; у них был один пулемет, но фашистов оказалось немного, и наутро они отошли к Талавере.

Толедо был в руках республиканцев, но фашисты засели в древней крепости Алькасар. Сидели они там уже полтора месяца, и в городе установился своеобразный быт. На некоторых улицах висели надписи: «Опасно! Ходить без оружия запрещается!» Молока было мало, и, чтобы не стоять под огнем в

очереди, женщины с вечера ставили у дверей молочных лавок кувшины, банки или просто клали камешек; ни разу я не слышал пререканий. Фашисты время от времени открывали огонь по городу; а перед Алькасаром в соломенных креслах, в качалках, заслонившись зонтиками от палящего солнца, сидели дружинники и то лениво, то запальчиво стреляли из винтовок в толстенные крепостные стены. Порой батарея выпускала несколько снарядов. По улицам прогуливались жители города и гадали, куда попал снаряд — в фашистов или мимо.

Во время одной из первых вылазок фашисты взяли «заложников» — женщин, детей. В казарме дружинников я увидел на щите тридцать восемь фотографий: женщина с ребенком, старуха, два мальчика на деревянных осликах... Фашисты знали, что делают: не раз приходил из Мадрида приказ сделать подкоп и взорвать крепость, но дружинники думали о женщинах, о детях и отвечали: «Мы не фашисты...» Они наивно мечтали взять Алькасар измором. Когда сообщили, что правительственная авиация будет бомбить крепость и что дружинники должны отойти на сто метров, многие отказывались: «Нельзя — они убегут»; четырнадцать бойцов погибли от осколков бомб.

В древней столице Испании, в городе, облюбованном туристами, шел поединок между благородством народа и бесчеловечными законами войны. Жена фашистского коменданта Алькасара полковника Москардо жила в городе. Кольцов изумился: «И вы ее не арестовали?..» Авторитет советских людей был велик, но испанцы не дрогнули: «Женщину? Мы не фашисты...»

Я ходил по Толедо с моим приятелем, художником Фернандо Херасси. Он жил в Париже, писал пейзажи или натюрморты, вечером приходил в кафе «Дом». У него была жена, украинка из-под Львова, смешливая Стефа, пятилетний сын Тито. Фернандо говорил, что анархисты — безумцы, что нужно единое командование, дисциплина, порядок. Он издевался над «войной в кружевах», и вместе с тем я чувствовал, что он не может осудить великодушные дружинников, которые безбожно ругались, встречаясь, говорили вместо «здравствуйте» «привет и динамит» и которые на разговоры о том, что Алькасар скоро взорвут, возмущенно отвечали: «Да что ты несешь? Ведь там женщины, дети...»

Мадридское правительство хотело показать миру свое отличие от Франко, и, когда фашисты, засевшие в Алькасаре, по-

просили прислать к ним священника, было объявлено короткое перемирие.

Несколько фашистов вышли из крепости. Дружинники стояли близко, началась перебранка. Вот моя запись: «Бандиты! Мы за бога и за народ!» — «Бога можешь оставить себе, а за народ мы». — «Врешь! Мы за народ! Подлецы курят, а мы вторую неделю без табака». (Дружинник молча вынимает пачку сигарет. Лейтенант закуривает.) «Выписали священника? Видно, вам крышка...» — «Скоро придут наши, тогда мы вам покажем». — «Жди второго пришествия». — «Ждать уж недолго — ваши удирают как зайцы». — «Враки! А ты почему бороду отпустил? В рай захотелось?» — «Чем прикажешь бриться? Саблей?» (Другой дружинник достает из кармана пакетик с ножиками для бритвы и дает фашисту.)

В начале октября части генерала Варелы подошли к Толедо. Гарнизон Алькасара (там было свыше тысячи гвардейцев и кадет) вышел им навстречу. Мало кому из республиканцев удалось выбраться. Фашисты много писали о «героях Алькасара». Бесспорно, солдаты полковника Москардо проявили выдержку, смелость. Любая история любой войны изобилует примерами воинской добродетели. Бесспорно и другое: гражданская война не скупится на зверства. Однако если есть что-либо поучительное в истории Алькасара, то это битва двух миров: народа разгневанного, но глубоко человеческого, и военщины с ее безупречной дисциплиной и столь же безупречной бесчеловечностью. Победило не великодушие...

В Гвадарраме я видел пленных; среди них были солдаты, перепуганные и довольные тем, что вышли из опасной игры; были головорезы из Иностранного легиона. Больше других дружинники боялись марокканцев, которые были хорошими солдатами и ничего не понимали в происходящем.

На Арагонском фронте я побывал вместе с нашими кинооператорами Карменом и Макасевым в авиачасти «Красные крылья», командовал ею Альфонсо Рейес, человек грустный, молчаливый и решительный. Страшно было глядеть на аппараты — старые почтовые самолеты, которые гордо называли бомбардировщиками, каждый день они бомбили позиции фашистов. Когда мы были в части, приземлился самолет, обстрелянный немецкими истребителями. Механик (его звали «Красным чертом») был тяжело ранен, едва сдерживался, чтобы не

кричать от боли, но, увидав, что Кармен его снимает, весело заулыбался. На следующий день ему пришлось отнять ногу.

Фашисты продолжали продвигаться к Мадриду. Люди, однако, не помрачнели и по-прежнему верили в победу; все говорили, что если фашисты не захватили всю Испанию в июле, то их дело проиграно — народ против них.

Только в Наварре, в этой испанской Вандее, крестьяне поддерживали мятежников; там были сильны церковь и карлисты (сторонники одного из претендентов на испанский престол, потомка дона Карлоса). Но в Наварре было четыреста тысяч жителей, а в Испании без малого тридцать миллионов. Во всех областях, где мне привелось побывать в годы войны — в Каталонии, Новой Кастилии, Валенсии, Ламанче, Мурсии, Андалузии, Арагоне, — подавляющее большинство населения ненавидело фашистов.

Но рабочие умели работать у станков, крестьяне — пахать землю, врачи — лечить, учителя — учить, а на стороне Франко были кадровые военные, которые, хорошо или плохо, умели воевать. У фашистов оказались также крепкие части наемников — Иностраннный легион, марокканцы.

Уже в середине сентября Франко стал диктатором на всей территории, захваченной мятежниками, а 1 октября был провозглашен «вождем», «генералиссимусом» и главой государства. Он требовал безоговорочного подчинения. А республику отстаивали люди самых различных убеждений: коммунисты, каталонские автономисты, социалисты — левые и правые, буржуазные республиканцы, анархисты, баскские католики, «поумовцы», объединяла их только ненависть к фашизму. В 1936 году свобода была полной, как будто на дворе не война, а предвыборная кампания. Каталонцы и баски обличали «великодержавные навыки Мадрида», «поумовцы» требовали «углубления революции», правые социалисты во главе с Прието критиковали главу правительства левого социалиста Кабальеро, республиканцы косились на коммунистов, анархисты клялись, что разрушат ненавистное им государство.

Однако не только в отсутствии военных кадров, да и не в разладе между различными антифашистскими партиями таилась угроза. 25 июля Гитлер обещал представителю Франко военную помощь. 30 июля — за сто дней до того, как первые советские истребители показались в небе Мадрида, — итальянские бомбардировщики уже бомбили испанские города.

Во главе французского правительства стоял Леон Блюм, товарищ Ларго Кабальеро по Второму Интернационалу; но напрасно испанское правительство просило Францию пропустить через границу закупленное им вооружение. Леон Блюм провозгласил принцип невмешательства; его поддержала Англия. В Лондоне начал заседать Комитет по невмешательству. Италия и Германия продолжали отправлять в Испанию вооружение и людей. Франция установила на границе контроль. Вероятно, я повторяю общеизвестные истины. В Комитет по невмешательству входил И. М. Майский; он мне недавно говорил, что в своих мемуарах пишет об этом подробно — он ведь многое видел. Но я пишу историю моей жизни. Как же мне промолчать про лицемерие? Давнее имело, имеет продолжение: сколько раз мы читали благородные слова о невмешательстве, будь то в Греции, в Корее, в Конго или в Лаосе! После 1936 года я уже не удивлялся ни благородным речам заведомых убийц, ни крокодиловым слезам, ни человеческой трусости. Право же, Леон Блюм был куда приличнее покровителей Чомбе, но и он, насмерть перепуганный, привыкший жить не грозами века, а сложными запахами парламентской кухни, говорил одно, делал другое.

В Валенсии я встретил Мальро; он рассказал, что ему, видимо, удастся получить десяток военных самолетов: их приобрело испанское правительство, но французы наложили эмбарго. Он сказал, что хочет создать французскую эскадрилью — она будет бомбить фашистов, — познакомил меня с летчиками Гидесом и Понсом.

На земле шли бои. А в небе фашисты хозяйничали: «юнкерсы», «хейнкели», «савойи», «капрони», «фоккеры» — авиация двух сильных государств — Германии и Италии.

Я выступал на митингах, собирал материалы о фашистских зверствах для западной печати, писал анонимные брошюры и совсем забыл о моих обязанностях корреспондента «Известий». Да и трудно было их выполнять: телефонной связи с Москвой еще не было, а редакция, видимо, продолжала «согласовывать» и денег на телеграммы не переводила.

Пятого сентября, после двухнедельного перерыва, в «Известиях» было напечатано коротенькое сообщение: «Барбастро. 4 сентября. Сегодня ваш корреспондент присутствовал при обстреле населения Монт-Флорид семью трехмоторными самолетами «юнкерс», предоставленными мятежникам Германией».

Телеграмму я послал короткую — на длинную не хватило денег. Я впервые увидел обстрел людей с бреющего полета; крестьяне были на гумне, молотили; потом старая женщина громко плакала: убили ее сына. Крестьяне знали, что я корреспондент советской газеты, просили: «Напиши! Может быть, русские нам помогут...» Конечно, в тот день происходили события более значительные: корреспондент «Известий» сообщал из Лондона, что Сен-Себастьян отрезан (это было правдой), что республиканцы взяли Уэску (это было уткой); я же находился в деревне Монт-Флорид, и мне казалось, что необходимо срочно написать о том, как фашисты с помощью немецких самолетов убивают безоружных крестьян. Для военного корреспондента это, может быть, было наивно, но я думал не о газете — об Испании.

Я брлся в парикмахерской. Узнав, что я русский, парикмахер начал кричать: «Им помогают Гитлер, Муссолини. А у нас нет оружия!..» Его глаза сверкали, и, помахивая бритвой, он повторял: «Самолеты! Танки!» Я про себя посмеялся: чего доброго, он меня зарежет... А в общем было не смешно. Я помнил слова крестьян Монт-Флорид; да и повсюду люди повторяли: «Расскажи русским...» Я начал писать короткие корреспонденции и посылал их в «Известия» почтой — через Париж.

Месяц спустя, получив пачку газет, я расстроился: мои статьи были исковерканы. 26 сентября я писал в редакцию: «Я не буду спорить, правильно или неправильно мое освещение испанских событий, но я решительно протестую против купюр, совершенно искажающих смысл». С редакцией мне, разумеется, ничего не удалось поделать — все мои статьи лакировались и розовели. Я все же продолжал писать, писал я наспех — не в рабочем кабинете, а на фронтах; занимал меня не литературный стиль, а самолеты и танки, без которых испанцам не выстоять.

Альварес дель Вайо просил меня собирать документальные данные о зверствах фашистов — для прессы Запада. В Валенсии мне сказали, что с Майорки выбрался корреспондент правой газеты «Дейли мейл» Гаррат и что он ругает фашистов. Я разыскал его в английском консульстве. Он написал показания, рассказывал мне, что фашисты бомбили полевой госпиталь республиканцев: «Их летчики, приехав на Майорку, кричали: «Да здравствует Испания!» — но я много лет

здесь прожил, я сразу слышал иностранный выговор — они были итальянцами. Аппараты «капрони» были переброшены с Сардинии...» Гаррат несколько раз повторил, возмущенный: «Они убили мою лошадь...» Это был немолодой плотный англичанин с детскими глазами; корреспондент газеты, которая прославляла генерала Франко, он не мог понять, почему редакция не опубликовывает его корреспонденций.

Прошло уже почти два месяца с начала мятежа. Хотя сообщения были по-прежнему противоречивыми, я видел, что фашисты сильнее: они заняли Севилью, Кордову, потом Эстремадуру, Талаверу, теперь рвутся к Мадриду. Однако я твердо верил в победу. Были и утешительные известия: фашистов выгнали из Малаги, из Альбасете. Сопrotивление усиливалось, появлялись новые центурии, отряды, батальоны, колонны. Начали приезжать добровольцы из Франции — французы, итальянцы, немцы, поляки.

В Барселоне меня позвали в казармы имени Карла Маркса; там формировалась «Колонна 19 июля». На большом дворе построили бойцов. Одна центурия, или, говоря проще, рота, была названа «Центурия Ильи Эренбурга». Мне сказали, что я должен вручить дружинникам знамя и произнести речь. Я совершенно растерялся, чувствовал всю глупость положения, говорил, что я не политический деятель, не умею делать такие вещи. Пришлось все же держать знамя перед фотографами, что-то говорить. Помню, во мне были два чувства: умиление и стыд. Здесь же сновали продавцы лимонада, фруктов, конфет; один сунул мне в руку пригоршню леденцов: «Ешь, русский! Мы их расколотим...»

Чуть ли не на каждом крестьянском доме в Каталонии, в Арагоне было написано: «Мы идем за головой Кабанельяса!» (Во главе фашистского правительства стоял генерал Кабанельяса, Франко месяц спустя его убрал.)

Я видел старых крестьянок, которые приводили своих сыновей в казармы; когда им отвечали, что людей и так много, не хватает ружей, они повторяли: «Но он испанец, он не может сидеть дома...»

Приехала из Парижа жена Херасси, Стефа, рассказала, что отдала Тито в детскую колонию. Расставаясь с сыном, Стефа не выдержала, заплакала. Мальчик сказал: «Мама, иди! Я вернусь — вот так. А ты тоже не гляди. Хорошо?...» Стефа, улыбаясь, повторяла: «Он у меня испанец...»

Я сейчас подумал, почему, начав описывать годы испанской войны, я волнуюсь, часто откладываю листы рукописи и перед моими глазами проносятся рыжие скалы Арагона, обугленные дома Мадрида, петлистые горные дороги, люди, близкие, дорогие мне люди — я не знал даже имен многих из них, и все это как будто живое, сегодняшнее. А ведь прошло четверть века, и я пережил потом войну пострашнее. Многие я вспоминаю спокойно, а об Испании думаю с суеверной нежностью, с тоской. Пабло Неруда назвал свою книгу, написанную в первые месяцы гражданской войны, «Испания в сердце»; я люблю эти стихи, многие из них перевел на русский язык, но больше всего люблю название — лучше, кажется, не скажешь.

В Европе тридцатых годов, взбудораженной и приниженной, трудно было дышать. Фашизм наступал, и наступал безнаказанно. Каждое государство, да и каждый человек мечтали спастись в одиночку, спастись любой ценой, отмолчаться, откупиться. Годы чечевичной похлебки... И вот нашелся народ, который принял бой. Себя он не спас, не спас и Европы, но если для людей моего поколения остался смысл в словах «человеческое достоинство», то благодаря Испании. Она стала воздухом, ею дышали.

Кого только я не встречал в разбомбленных испанских городах! Одни приезжали на короткий срок, другие надолго; кто сражался, кто был военным корреспондентом, кто организовывал помощь населению. Пути многих потом разошлись, но прошлого не вычеркнешь. Тольятти и Ненни, Видали («майор Карлос») и Паччарди, Коча Попович и Козовский, Андре Мальро и Мате Залка («генерал Лукач»), Кольцов и Луи Фишер, Пабло Неруда и Хемингуэй, Ласло Райк и Людвиг Ренн, Реглер и Янек Барвинский, Лонго и Брантинг, Андерсен-Нексе и Буш, Шамсон и Алексей Толстой, Киш и Бенда, Сент-Экзюпери и Анна Зегерс, Жан-Ришар Блок и Спендер, Андре Виоллис и Гильен, Сикейрос и Дос-Пассос, Ральф Фокс и Толлер, Бодо Узэ и Бредель, Изабелла Блум и абиссинский рас Имру... Наверно, я многих не упомянул, мне просто хотелось показать, до чего различными были люди, жившие в те годы Испанией.

В 1943 году на КП возле Гомеля я увидел командующего армией генерала Батова. Мы говорили о предстоящем наступ-

лении. Вдруг кто-то крикнул: «Фриц!» — показались вражеские самолеты. А генерал и я смеялись: в Испании наши военные советники носили различные имена — Валуа, Лоти, Молино, Гришин, Григорович, Дуглас, Николас, Вольтер, Ксанти, Петрович. Павлу Ивановичу Батову почему-то досталась фамилия Фриц. И мы начали вспоминать Двенадцатую бригаду, друзей, Арагон, смерть Лукача (Павел Иванович был тогда ранен в ногу).

Я сижу на сессии Всемирного Совета Мира; очередной оратор с пылом доказывает, что мир лучше войны; а я вижу милого итальянца Скоти и вспоминаю дни Мадрида. В Кремлевском дворце оператор кинохроники снимает депутатов Верховного Совета; это Боря Макаеев, с ним мы ползли по камням возле Уэски. Я знаю, что на аэродроме Вильнюса увижу знакомое лицо — переводчика, бывшего в Испании (он потом занимался испанской литературой, но в годы «борьбы против космополитов» лишился работы и, как он говорит, «совершил вынужденную посадку» на аэродроме Вильнюса — переводит интуристам вопросы служащих таможни). Недавно во Флоренции ко мне пришел фоторепортер с немолодым итальянцем, который вместо визитной карточки вынул билет «Союза бывших добровольцев в Испании», и сразу мы забыли про фотографа, сели в кафе, начали припоминать далекие дни. Все мы, бывшие в Испании, с нею связаны, связаны и друг с другом. Видимо, не одними победами горд человек...

18

В первые месяцы испанской войны я уделял мало времени моим обязанностям корреспондента «Известий». Правда, в газете с августа по декабрь напечатано полсотни моих очерков, но писал я их быстро, говоря откровенно — мимоходом. Меня отталкивала роль наблюдателя, хотелось чем-то помочь испанцам.

Когда я приезжал в Испанию до войны, я чаще всего встречался с писателями или журналистами, они понимали по-французски. Теперь все время я был с рабочими, с бойцами и начал говорить по-испански, говорил плохо, но меня понимали.

В Мадрид приехал первый советский посол М. И. Розенберг. Я его знал по Парижу — он работал советником посольства. Это был человек маленького роста, с любезной и вместе с тем иронической улыбкой. С ним приехали советник посольства Л. Я. Гайкис, военный атташе Горев и его помощники Ратнер и Львович (Лоти). В Мадриде был и Кольцов, он занимался не только газетной работой, о характере его деятельности свидетельствуют очевидцы — Луи Фишер, Хемингуэй, да и книга «Испанский дневник».

Я часто бывал в Барселоне, на Арагонском фронте; там тогда не было ни одного советского человека (я говорю об августе — сентябре 1936 года). Когда я говорил с Розенбергом или с Кольцовым о Каталонии, они усмехались: что тут подедаешь — анархисты!.. Я, пожалуй, лучше их знал, как трудно договориться с анархистами, но для меня было ясно, что без Каталонии войны не выиграть. Баскония была отрезана, и единственным крупным промышленным центром оставалась Барселона с ее полуторамиллионным населением.

А в Барселоне шла борьба между рабочими организациями. Все ненавидели фашизм, и все рвались в бой, но Арагонский фронт можно было назвать фронтом только условно: различные колонны, не связанные одна с другой, время от времени пытались штурмовать Сарагоссу, Уэску или Теруэль; у них не было ни опытных командиров, ни вооружения, и вплоть до лета 1937 года генерал Франко не отправил в Арагон ни одной из своих резервных частей.

Во главе автономного каталонского правительства (Женералите) стоял Компанис, человек по природе мягкий и вместе с тем горячий, интеллигент, влюбленный в каталонскую культуру. Ему тогда было за пятьдесят; он знал тюрьмы, фашистский террор. Судьба его трагична: после поражения республики он уехал во Францию, там в 1940 году был обнаружен гестаповцами, выдан генералу Франко и расстрелян. Я его вспоминаю как человека чистого, удрученного политическими интригами и не только не жаждавшего власти, но принимавшего ее с тем же чувством, с каким солдат тащит на себе винтовки, брошенные другими во время отступления.

Компаниса поддерживала эскерра (левая) — партия, за которой шла мелкая буржуазия, интеллигенция и значительная часть крестьянства. Поддерживала правительство и ПСУК — Объединенная социалистическая партия Каталонии (главную

роль в ней играли коммунисты). Анархисты и близкая к ним профсоюзная организация СНТ не признавали власти Мадрида, требовали свержения каталонского правительства и замены его «Советами».

Еще в 1931 году я познакомился с одним из вождей ФАИ — Дуррути; знал и других анархистов — Гарсия Оливера, Лопеса, Васкеса, Эрреру. С Компанисом у меня установились хорошие отношения. Нужно было что-то сделать, а что — в точности я не знал. В Мадриде я спрашивал Хосе Диаса, в Барселоне разговаривал с руководителями ПСУК Коморера и другими; все отвечали, что с анархистами беда, что Каталония не помогает Мадриду, что сепаратисты подняли голову. А что делать, этого не знал никто. Был сентябрь 1936 года.

Я несколько раз беседовал о положении в Каталонии с М. И. Розенбергом и по его просьбе написал длинную телеграмму в Москву.

Марсея Израилевича давно нет в живых: он стал одной из жертв произвола. Людей повырубали, но некоторые документы сохранились, и недавно мне дали в архиве копии моих двух писем М. И. Розенбергу. Я приведу выдержки — они покажут не только мою тогдашнюю оценку событий, но и то, чем я занимался — по охоте, которая, как известно, пуце неволи.

Из письма от 17 сентября 1936: «В дополнение к сегодняшнему телефонному разговору. Компанис был в очень нервном состоянии. Я проговорил с ним больше двух часов, причем все время он жаловался на Мадрид. Его доводы: новое правительство ничего не изменило, Каталонию третируют как провинцию, отказались передать духовные школы в ведение Жене-ралите, требуют солдат, а оружия не дают, не дали ни одного самолета. Говорил, что получил от офицеров, командующих частями на фронте у Талаверы, письмо с просьбой отозвать их назад в Каталонию. Очень хотел бы, чтобы в Барселоне было советское консульство... Сказал, что советник по экономическим делам, которого они послали в Мадрид, должен изложить их претензии. Пока что ни Кабальеро, ни Прието не удосужились его принять. Указал, что если он не получит хлопка, то через три недели у них будет 100 тысяч безработных... Считает важным любой знак внимания Советского Союза к Каталонии... Министр просвещения Гассоль тоже упрекал Мадрид в пренебрежении Каталонией... Говорил с Гарсия

Оливером. Он был в неистовом состоянии. Непримирим. В то время как вождь мадридских синдикалистов Лопес говорил мне, что они не допускали и не допустят нападков на Советский Союз в газете «СНТ», Оливер заявил, что они «критикуют» и что Россия не союзник, так как подписала соглашение о невмешательстве. Дуррути на фронте многому научился, а Оливер — в Барселоне, и девять десятых бредовых анархистских идей в нем осталось. Он, например, против единого командования на Арагонском фронте: единое командование понадобится, лишь когда начнется общее наступление. При этой части разговора присутствовал Сандино, он высказался за единое командование. Мы коснулись вопроса о мобилизации и превращении милиции в армию. Дуррути носится с планом мобилизации (непонятно зачем — добровольцы есть, нет ружей). Оливер сказал, что согласен с Дуррути, так как «в тылу укрываются коммунисты и социалисты, они выживают из городов и деревень ФАИ». Здесь он был определенно в бредовом состоянии, мог меня застрелить.

Говорил с политкомиссаром ПСУК Труэбой (коммунистом). Он жаловался на ФАИ: не дают амуниции нашим. У коммунистов осталось по тридцать шесть патронов на человека. У анархистов большие запасы — полтора миллиона. У солдат полковника Вильяльбы тоже всего по сто патронов... В СНТ жаловались, что один из руководителей ПСУК Франсосо на митинге в Сан-Бой сказал, что каталонцам не следует давать ни одного ружья, так как ружья все равно попадут к анархистам.

За десять дней, которые я провел в Каталонии, отношения между Мадридом и Женералите с одной стороны, между коммунистами и анархистами с другой сильно обострились. Компанис колеблется: опереться ему на анархистов, которые согласны поддержать национальные, даже националистические требования эскерры, или на ПСУК для борьбы против ФАИ. Его окружение разделено, есть сторонники первого и второго решений. Если дела на Талаверском фронте ухудшатся, можно ждать выступления в ту или иную сторону. Необходимо улучшить отношения между ПСУК и СНТ и постараться сблизиться с Компанисом...

Сегодня — собрание каталонских писателей, встреча с Бергамином, который приехал со мной. Надеюсь, на интеллигентском фронте удастся объединить испанцев и каталонцев.

Завтра состоится митинг — десять тысяч человек, я выступлю от секретариата Международной ассоциации писателей. Так как это письмо вносит некоторые существенные исправления в то, что я передал для Москвы, пожалуйста, перешли-те и это...»

Из письма от 18 сентября: «Сегодня я снова долго разговаривал с Компанисом. Он был в более спокойном состоянии... Он предлагает создать автономное правительство так: половина эскерры, половина СНТ и УХТ... Оливера назвал «фанатиком»... Он знал, что я иду от него в СНТ, и очень интересовался, как ФАИ будет со мной разговаривать, просил сообщить ему результаты. Жаловался, что ФАИ настроена против русских, ведет антисоветскую пропаганду. Он — наш друг. Пароход, хотя бы с сахаром, может смягчить сердца.

В СНТ я говорил с Эррерой. Он много скромнее Оливера. Насчет прекращения антисоветских выпадов сразу согласился. Насчет «Советов» стоит на своем: мадридское правительство — партийное, марксистское. Надо создать действительно рабочее правительство и т. д. Все же в конце беседы, когда я указал ему на дипломатические последствия разрыва конституционной преемственности, он несколько отступил. Но здесь нагрянули всякие интернациональные анархисты, и я ушел. Интересно, что, нападая на мадридское правительство, Эррера привел те же факты, что вчера Компанис, — задержку двух вагонов, отказ снабжать Каталонию оружием и пр.

Сегодня в «Солидарида обрера» напечатано воззвание СНТ с призывом охранять мелких собственников, крестьян, лавочников. Факт положительный...

Миравильес сказал мне, что среди ФАИ уже раздаются разговоры об «отчаянной обороне Барселоны» и пр. Эррера среди прочего упрекал Мадрид за ликвидацию десанта на Майорке — теперь фашисты начнут бомбить Барселону...

Митинг прошел с подъемом. Большинство было из СНТ... Сейчас происходит заседание совета антифашистской милиции. Мне обещали провести примирительную линию в вопросе о реорганизации правительства Каталонии...

Р. С. В дополнение к телефонному разговору и письму. Хотя Оливер был непримирим, я узнал, что вечером он сказал в «Солидарида обрера» прекратить атаки против СССР. Действительно, сегодня в «С. о.» напечатаны две телеграммы из Москвы с благожелательными заголовками».

Вскоре после этого я поехал в Париж. Там-то меня и разыскал В. А. Антонов-Овсеенко. Он сразу мне сказал: «Вашу телеграмму обсуждали, согласились с вами. Я назначен консулом в Барселону. В Москве считают, что в интересах Испании сближение Каталонии с Мадридом. Мне говорили, что я должен попытаться урезонить анархистов, привлечь их к обороне, у них, черт побери, огромное влияние... Да вы это знаете лучше меня. Но вот инстанция согласилась, это замечательно! Теперь можно говорить по-другому...»

Владимира Александровича я знал с дореволюционных лет. Он бродил по Парижу, искал работу, жил впроголодь, но никогда не унывал, был задорным и в то же время мечтательным, в дырявых ботинках, в крылатке; помню его и в «Ротонде», где он играл в шахматы, и в типографии над полосами «Нашего слова», и на митингах, когда он призывал следовать за Лениным. В дни Октябрьской революции он показал, что то были не только слова. В 1926 году я приходил к нему в Праге, где он был полпредом. А потом потерял из виду.

Он постарел, главное — помрачнел; только глаза, когда он снимал очки, сохраняли детскую доверчивость. Я сразу подумал: хорошо, что для Барселоны выбрали именно его! Такой сможет повлиять на Дуррути, у него ведь ничего нет от дипломата или от сановника, скромный, простой, да и дышит еще бурями Октября, не забыл дореволюционного подполья.

Я оказался прав: Владимир Александрович быстро научился говорить по-каталонски, подружился и с Компанисом и с Дуррути, пользовался общей любовью. Несмотря на звание консула, он был настоящим советским послом в Каталонии. Он знал фронт, часто беседовал с командирами, хорошо разбирался в обстановке. Находил время, чтобы посылать телеграммы в «Известия», подписывал их «Зет». Каталонцам нравился его демократизм. Когда я приезжал в Барселону и мы оставались вдвоем, я видел, что ему тяжело. Может быть, он предпочитовал, что его ждет, не знаю. Он пробыл в Барселоне около года, а вернувшись в Москву, сразу исчез; исчезло и его имя из всех рассказов о штурме Зимнего дворца. Был он человеком чистой души, смелым, верным и погиб только потому, что лесорубы выполняли, перевыполняли какую-то дьявольскую норму.

Я хотел вернуться в Барселону с Антоновым-Овсеенко, чтобы сразу его познакомить с различными людьми, но при-

шлось задержаться в Париже на неделю, было важное дело — я покупал грузовик.

Еще из Мадрида я сообщил в Москву, что хочу оборудовать грузовик, работать на фронте с кинопередвижкой и типографией; просил мне помочь, прислать фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта». В Париже меня вызвали в банк — Союз писателей перевел сумму на покупку грузовика (не знаю, почему деньги отправили через эту организацию; добавлю шутя — может быть, хотели показать, что Союз действительно помогает писателям в осуществлении их творческих замыслов). С помощью французов я купил грузовик, достаточно сильный, чтобы проходить по разбитым фронтовым дорогам. Не помню, кто мне помог раздобыть аппарат для проекции фильмов, а печатную машину, как я об этом говорил, преподнес мне Эжен Мерль. Еще я нашел чудесный мультипликационный фильм: Микки-маус боролся с котом, побеждал и подымал над мышеловкой красное знамя — я уже знал, что без улыбки в Испании не проживешь.

Стефа согласилась со мною работать. Она говорила по-испански, как будто родилась не на Львовщине, а в Старой Кастилии. Она должна была переводить диалог фильмов и помогать в издании армейских газет. Официально грузовик находился в ведении Комиссариата по пропаганде Женеералите — так было написано на кузове. Общее внимание привлекали слова: «Печатня и кино». В Барселоне мы подыскивали шофера, механика и двух типографов, один из которых знал четыре языка.

В начале октября в Мадриде состоялось заседание секретариата Международной ассоциации писателей. Мы обратились к интеллигенции всего мира, протестовали против иностранной интервенции и против комедии «невмешательства». Под обращением стояли подписи многих испанских писателей: Антонио Мачадо, Альберти, Бергамина, других, а из иностранных — Кольцова, Мальро, Луи Фишера, Андре Виоллис и моя.

На дороге я встретил композитора Дурана, моего старого знакомого. Полгода назад мы с ним беседовали о Прокофьеве, Шостаковиче; смеясь, он говорил, что если «Леди Макбет» — «сумбур», то, значит, он любит именно «сумбур». Теперь ему было не до музыки. Он командовал отрядом в двести бойцов и возле Баргаса приостановил наступление фашистской колонны, которая двигалась на Мадрид с юга.

В Мадриде выли сирены. Я с трудом прошел по одной из улиц квартала Куатро Каминос — рухнувший дом завалил проход. Другой дом бомба разрезала, и комнаты казались театральными декорациями. Старуха вытащила из груды мусора большую фотографию молодоженов в раме, бережно прикрыла платком и куда-то унесла. Шел дождь. Было нестерпимо тоскливо, как всегда бывает, когда видишь мелкие безделки, окружавшие только что умершего человека.

Рима Кармен ходил с аппаратом и снимал бомбежки. В Париже мы решили смонтировать из его хроники фильм, я написал текст. «Они ищут... находят...» На экране матери находили среди развалин убитых детей. В зале многие плакали. А Мадриду были нужны не слезы — истребители...

В Барселоне по-прежнему шли споры; но анархисты стали сдержаннее. Забегу несколько вперед — в конце октября было подписано соглашение между ПСУК и УХТ с одной стороны и СНТ и ФАИ — с другой. Представители СНТ вошли в правительство, которое возглавлял Кабальеро. В жизни мне привелось повидать много неожиданного, порой парадоксального; но, прочитав, что Гарсия Оливер, который мне доказывал, что государство надо разрушить, как здание тюрьмы, назначен министром юстиции, я не выдержал и рассмеялся. А соглашение с анархистами мне казалось большой победой.

В Барселону пришел «Зырянин», привез продовольствие. Начали приходить суда с самолетами, танками, но всего было мало, наша помощь не могла сравниться с той, которую оказывали Франко итальянцы и немцы: дело решала география.

Я любовно поглядывал на грузовик, наконец-то прибывший из Франции, фотографировал его, как любимую женщину. Одна фотография сейчас передо мной — ее напечатали в альбоме. Обыкновенный грузовик, но тогда он мне казался удивительно красивым.

Коммунисты, да и Антонов-Овсеенко говорили: «Поезжайте обязательно на Арагонский фронт. Вы умеете разговаривать с анархистами. Там нет никого из наших — они всех выживают. А с вами они разговаривают. Вы можете их уронить...»

Я сильно сомневался в своих возможностях; к тому же я знал испанских анархистов. Но на войне маршрутов не выбирают, это не туризм. Мы со Стефой сели в разболтанную машину и медленно, вслед за грузовиком поехали в Барбастро.

«У вас в России настоящее государство, а мы за свободу, — сказал мне часовой в красно-черной рубашке, проверяя мой пропуск, — мы хотим установить свободный коммунизм».

«Коммунизмо либертарио» — эти слова до сих пор стоят в моих ушах: столько раз я их слышал как вызов, как присягу.

Желая объяснить порой необъяснимое поведение анархистов, некоторые говорили, что в их колоннах полным-полно бандитов. Слов нет, в ряды анархистов просачивались обыкновенные налетчики, завсегдатаи воровских притонов — партия, обладающая властью, всегда притягивает к себе не только честных, но и проходимцев; а объявить себя анархистом в те времена мог каждый. В сентябре 1936 года, когда я был в Валенсии, туда прикатила сотня дружинников из анархистской «Железной колонны», стоявшей под Теруэлем. Анархисты заявили, что потеряли в бою командира и не знают, что им делать. В Валенсии они нашли себе дело — сожгли судебные архивы и пытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить уголовников, среди которых, наверно, имелись их приятели.

Дело было, однако, не в уголовниках. Осенью 1936 года СНТ объединяла три четверти рабочих Каталонии. Руководители СНТ и ФАИ были рабочими и в огромном большинстве — честными людьми. Беда была в том, что, обличая догматизм, они сами были настоящими догматиками, пытались подогнать жизнь под свои теории.

Наиболее умные из них видели разрыв между увлекательными брошюрами и действительностью; приходилось на ходу, под бомбами и снарядами перестраивать то, что вчера им казалось бесспорным.

С Дуррути я познакомился в 1931 году, и он мне сразу понравился. Описать его не решился бы ни один писатель — уж слишком его жизнь напоминала приключенческий роман. Рабочий-металлист, он с ранней молодости отдал себя революционной борьбе, дрался на баррикадах, швырял бомбы, совершал налеты на банки, похищал судей, трижды был приговорен к смертной казни — в Испании, в Чили и в Аргентине, узнал десятки тюрем; восемь стран его высылали одна за другой. Когда в июле мятежники попытались захватить Барселону, Дуррути повел против них рабочих СНТ.

Еще в начале сентября, а может быть в конце августа, я поехал с Карменом и Макасеевым на КП Дуррути. Он тогда мечтал взять Сарагосу. КП находился на берегу Эбро. Я рассказал моим попутчикам, что знаком с Дуррути, и они рассчитывали на радушный прием. А Дуррути вынул из кармана револьвер и сказал, что, так как в статье об астурийском восстании я оклеветал анархистов, он меня сейчас пристрелит. Словами он не швырялся. «Твоя воля, — ответил я, — но странно ты понимаешь законы гостеприимства...» Конечно, Дуррути был анархистом, притом вспыльчивым, но он также был испанцем и смутился: «Хорошо, сейчас ты мой гость, но за статью ты свое получишь. Не здесь. В Барселоне...»

Поскольку в силу законов гостеприимства он не мог меня убить, он стал отчаянно ругаться, кричал, что Советский Союз не свободная коммуна, а самое что ни на есть настоящее государство, там уйма бюрократов, и его не случайно выслали из Москвы.

Кармен и Макасеев чувствовали, что происходит нечто недоброе, тем паче что неожиданное появление револьвера не нуждалось в переводе. А час спустя я им сказал: «Все в порядке, он нас приглашает поужинать».

За столиками сидели дружинники, некоторые в красно-черных рубашках, другие в синих комбинезонах, все с большими револьверами, ели, пили вино, смеялись; никто не обращал внимания ни на нас, ни на Дуррути. Один из дружинников разносил еду, кувшины с вином, рядом с тарелкой Дуррути он поставил бутылку минеральной воды. Я пошутил: «Вот ты говорил, что у тебя полное равенство, а все пьют вино, только тебе принесли минеральную воду». Я не мог себе представить, какое впечатление это произведет на Дуррути. Он вскочил, закричал: «Уберите! Дайте мне воды из колодца!» Он долго оправдывался: «Я их не просил. Они знают, что я не могу пить вино, и где-то раздобыли ящик с минеральной водой. Конечно, это безобразие, ты прав...» Мы молча ели, потом он неожиданно сказал: «Трудно все изменить сразу. Одно дело — принципы, другое — жизнь...»

Ночью мы с ним пошли осмотреть позиции. Стоял отчаянный шум — проходила колонна грузовиков. «Почему ты меня не спрашиваешь, зачем эти грузовики?» — сказал он. Я ответил, что не хочу расспрашивать о военных тайнах. Он засмеялся: «Какая же это тайна, если это знают все — завтра утром

мы перейдем Эбро, вот как!..» Несколько минут спустя он снова начал: «А ты не спрашиваешь, почему я решил форсировать реку?» — «Очевидно, так нужно,— сказал я,— тебе виднее, ты ведь командуешь колонной». Дуррути рассмеялся: «Дело не в стратегии. Вчера прибежал с фашистской территории мальчишка лет десяти, спрашивает: «Что же вы не наступаете? У нас в деревне все удивляются: неужели и Дуррути трусил?» Понимаешь, когда ребенок такое говорит — это весь народ спрашивает. Значит, нужно наступать. А стратегия приложится...» Я посмотрел на его веселое лицо и подумал: да ведь ты сам ребенок.

Потом я несколько раз бывал у Дуррути. В его колонне числилось десять тысяч бойцов. Дуррути продолжал твердо верить в свои идеи, но догматиком он не был, и ему приходилось что ни день идти на уступки действительности. Он первым из анархистов понял, что без дисциплины воевать нельзя; с горечью говорил: «Война — свинство, она разрушает не только дома, но и самые высокие принципы». Своим дружинникам он в этом не признавался.

Как-то несколько бойцов ушли с наблюдательного пункта. Их нашли в ближайшей деревне, где они мирно попивали вино. Дуррути бушевал: «Вы понимаете, что вы позорите честь колонны? Давайте ваши билеты СНТ». Провинившиеся спокойно достали из карманов профсоюзные билеты; это еще больше рассердило Дуррути. «Вы не анархисты, вы дерьмо! Я вас выгоню из колонны, отошлю домой». Вероятно, парни хотели именно этого и, вместо того чтобы запротестовать, ответили: «Ладно». — «А вы знаете, что на вас народная одежда? Снимайте портки!..» Дружинники спокойно разделись, Дуррути приказал отвести их в Барселону в одних трусах: «Пусть все видят, что это не анархисты, а самое что ни на есть дерьмо...»

Он понимал, что перед лицом фашистов нельзя спорить о принципах, высказался за соглашение с коммунистами, с партией эскерры, написал приветствие советским рабочим. Когда фашисты подошли к Мадриду, он решил, что его место на самом опасном участке: «Мы покажем, что анархисты умеют воевать...»

Я с ним разговаривал накануне его отъезда в Мадрид. Он был, как всегда, весел, бодр, верил в близкую победу, говорил: «Видишь, мы с тобой друзья. Значит, можно объединиться. Нужно объединиться. Когда победим, посмотрим... У каждого

народа свой характер, свои традиции. Испанцы не похожи ни на французов, ни на русских. Что-нибудь придумаем... А пока что нужно уничтожить фашистов...» В конце разговора он неожиданно расчувствовался: «Скажи, ты пережил разлад в себе — думаешь одно, а делаешь другое не от трусости, а от необходимости?..» Я ответил, что хорошо понимаю его; он меня на прощание похлопал по спине, как полагается в Испании, и я запомнил его глаза с их необычайным смешением железной воли и детской растерянности.

Дуррути недолго пробыл на Мадридском фронте, его убили 19 ноября 1936 года. Его смерть была большим ударом по всем силам республиканцев.

Не один Дуррути понял необходимость отказаться во имя победы от чистоты анархистских догм; многие руководители СНТ — ФАИ были вынуждены поступиться принципами. Уж на что был неистов Гарсия Оливер, говорил, что нужно немедленно уничтожить государство, а сделавшись министром, проводил реформы, вполне приемлемые для его либеральных коллег, — боролся против спекулянтов, расширил юридические права женщин, организовал трудовые колонии для фашистов. Анархист Лопес был министром торговли, Пейро — министром промышленности, и, разумеется, им пришлось отложить в сторону старые проекты организации независимых коммун. Министр здравоохранения анархистка Фредерика Монсени, выступая на митинге, доказывала, что не только правительство не может обойтись без анархистов, но и анархисты не могут обойтись без правительства. Однако у руководителей СНТ — ФАИ не было ни энергии, ни авторитета, ни редкостной душевной чистоты Дуррути. Не знаю, все ли из них искренне хотели урезонить своих приверженцев, некоторые бесспорно хотели, но это им редко удавалось. Десятки тысяч храбрых, испытанных в уличных боях рабочих были воспитаны на идеях анархистов и жаждали воплотить эти идеи в жизнь. Мы с нашим грузовиком ехали не к министрам в гости, а в прифронтовую полосу Арагона, где порядки наводили анархисты, оставшиеся верными старым принципам. Не раз вспоминал я выражение, родившееся у нас в годы гражданской войны, «власть на местах». С этой властью я хорошо познакомился.

О военном положении расскажу коротко; вот что я писал В. А. Антонову-Овсеенко 17 ноября 1936 года (это письмо тоже сохранилось в архиве): «Воинские части на Арагонском

фронте несколько подтянулись. Заметен большой порядок. Неудача недавнего наступления на Уэску мало отразилась на настроении дружинников. Кое-где имеются окопы, довольно примитивные. Единое командование до сих пор существует только на бумаге. В последние дни улучшилась связь; почти повсюду телефон связывает передовые позиции со штабом... Поскольку Дуррути теперь в Мадриде, его колонна потеряла половину боеспособности. В других анархистских колоннах дело обстоит много хуже; в особенности в колоннах «Красно-черная» и «Ортиса». Дивизия «Карл Маркс» по сравнению с другими частями остается образцовой... Со снаряжением дело обстоит плохо. У батальона, который стоит на юго-восток от Уэски, в Помпенилио, всего два пулемета, оба, после того как пропускают две ленты, становятся негодными, приходится их везти в тыл — 50 км от позиций. Мало снарядов. Ручные гранаты скверные. При всем этом настроение скорее бодрое...»

За месяц до этого картина была еще мрачнее. Как-то я попал на совещание командиров анархистской колонны. Мне сказали, что обсуждать будут важный вопрос: как взять Уэску. На столе лежала большая карта; однако никто на нее не глядел. Добрый час все обсуждали важную новость: в Барселоне со здания суда снят красно-черный флаг. «Это вызов,— кричал один из командиров,— нужно сейчас же послать сотню дружинников в Барселону! Мы на фронте, а буржуазия этим пользуется, и марксисты ей помогают!..» Мое внимание привлек высокий немолодой человек с военной выправкой. Пока спор шел о походе на Барселону, он молчал и заговорил, только когда один из анархистов вдруг сказал: «Хорошо, а как быть с Уэской?..» Молчаливый военный, которого звали Хименесом, начал объяснять план операции. Он водил пальцем по карте; другие не смотрели. Кто-то попытался поспорить: «Может быть, пойти напролом?..» Его осадили: «Хименес лучше тебя понимает...»

Когда совещание кончилось, Хименес подошел ко мне и представился: «Полковник Глиноедский». Имя я помнил: еще в Париже меня просили передать в испанское посольство, что полковник Глиноедский — русский эмигрант, член Французской коммунистической партии, хороший артиллерист — хочет сражаться на стороне республиканцев.

Рассказывали, будто в годы гражданской войны полковник В. К. Глиноедский под Уфой воевал против Чапаева. Не знаю,

правда ли это,— он со мною никогда не заговаривал о своем прошлом; знаю только, что он был в белой армии и в Париже стал рабочим. В Барселону он приехал одним из первых, еще не было интербригад. Он попал в батальон «Чапаева», поразил немногочисленных испанских офицеров, оставшихся верными правительству, своими военными знаниями: его перевели в штаб колонны.

Человеком он был на редкость привлекательным, смелым, требовательным, но и мягким. Прошел он нелегкий путь, это помогало ему терпеливо сносить чужие заблуждения. Он настаивал на том минимуме дисциплины, без которой невозможно было удержать занятые позиции. Два раза анархисты хотели его расстрелять за «восстановление порядков прошлого», но не расстреляли — привязались к нему, чувствовали, что он верный человек. А Глиноедский говорил мне: «Безобразие! Даже рассказать трудно... Но что с ними поделаешь? Дети! Вот хлебнут горя, тогда опомнятся...»

Анархисты были уверены, что Хименес приехал из Москвы и отрицает это по дипломатическим соображениям. Узнай они, что он был белым, они бы его тотчас расстреляли. В ноябре в Каталонию приехали военные действительно из Москвы, и все они говорили испанцам, что полковник Хименес — советский командир. Его авторитет рос, он стал советником Арагонского фронта. Советских военных испанцы, обожая конспирацию, называли «мексиканцами» или «гальегос» (жители Галисии); я помню, с какой гордостью анархисты говорили: «Наш гальего хоть и марксист, но молодец...»

Член Военного совета Арагонского фронта полковник Хименес как-то сидел со мной и расспрашивал про Россию, вспоминал детство. Я сказал ему: «Ну вот после войны сможете вернуться домой...» Он покачал головой: «Нет, стар я. Это, знаете, хуже всего — оказаться у себя дома чужим человеком...» Он помолчал и начал говорить о положении на фронте.

При последней встрече он мне показался очень усталым. Я не раз видел на войне, как люди от усталости становятся неосторожными, кажется, что их притягивает смерть. Член Военного совета, командующий артиллерией фронта пошел с десятком бойцов в разведку. Он был смертельно ранен. Сестра рассказывала, что в полевом госпитале он что-то говорил по-русски, никто его же не мог понять.

Полковника Хименеса хоронила вся Барселона. За гробом шли Компанис, Антонов-Овсеенко, представители правительства, армии, всех политических партий. Анархисты несли венок с красно-черной лентой: «Дорогому товарищу Хименесу».

Глиноедский был прав: разговаривая с анархистами, будь то их руководители — Дуррути, Васкес, Гарсия Оливер, будь то дружинники под Уэской, я и умилялся и злился: дети, точнее не скажешь, хотя некоторые были с проседью и все, разумеется, с оружием.

Анархистов я узнал по-настоящему на Арагонском фронте, когда мы в деревнях показывали фильмы, печатали однодневные газеты, ели в коммунальных столовых, ночевали то на командных пунктах, то в растерзанных домах священников, где размещались местные комитеты, то в крестьянских хижинах.

Много раз мне приходилось ехать по той же дороге из Барселоны на фронт мимо каталонских городов Игуалады, Тарреги, Лериды. В Тарреге было кафе с вывеской «Бар Кропоткина»; там завсегдатаи обсуждали политику Компаниса, организацию любительского спектакля, семейные скандалы. Каталония казалась изумрудной — с виноградниками, садами, огородами, — каждый клочок земли был любовью возделан. Деревни напоминали города: повсюду были кафе, клубы, по улицам прогуливались нарядные девушки. И вдруг все менялось: перед глазами вставала рыжая каменная пустыня Арагона. Здесь редко можно было увидеть три или четыре пыльные маслины. Летом было нестерпимо жарко, зимой дули ледяные ветры. По пустой извилистой дороге порой ехал крестьянин верхом на крохотном ослике. Голодные козы искали травинку, спрятавшуюся среди камней от палящего солнца. Деревни лепились на склонах голых гор; дома были того же цвета, что и горы, и повернуты к дороге глухими стенами, так что казались брошенными.

В Каталонии анархисты были несколько стеснены — не законами Женебралите, не сопротивлением эскерры или ПСУК, а уровнем жизни населения: каталонцы жили хорошо, и анархисты не всегда решались посягнуть на крепко налаженный быт. Нищий, отсталый Арагон открывал перед вдохновителями СНТ — ФАИ неограниченные возможности. Они приехали сюда, чтобы освободить от фашистов Сарагосу, Уэску, Теруэль. Но война затягивалась, фронт оставался почти неподвижным несмотря на неоднократные попытки продвинуться вперед.

Нашлись горячие головы, которые решили превратить ближайший тыл, городки и села Арагона, в рай «свободного коммунизма».

Арагонские крестьяне жили плохо, терять им было нечего, и вначале они спокойно отнеслись к организации сельских «коммун». Анархисты обобществляли все, вплоть до кур. Во многих деревнях у крестьян отбирали деньги, иногда даже сжигали их. Крестьянам выдавали пайки. Я видел сельские комитеты, которые, не заглядывая далеко вперед, обменяли несколько вагонов пшеницы на кофе, сахар, обувь. В одном селе я спросил комитетчика, что они будут делать в январе, когда иссякнут запасы хлеба. Он рассмеялся: «Да мы до этого расколотим фашистов...»

В некоторых селах анархисты выдавали доктору, учителю сахар, орехи, миндаль — прочитали в газете, что эти продукты необходимы для умственного труда. Были и такие деревни, где сельскую интеллигенцию вовсе лишили пайков, как тунеядцев. В селе Сеса у врача отобрали осла, и он не мог больше лечить больных в соседних деревушках; в аптеке не было лекарств; в комитете говорили, что «природа лечит лучше врача...».

Был я в городке Фрага; там десять тысяч жителей. Анархисты отобрали деньги и выдали жителям книжки с правом покупать в неделю товаров на столько-то песет. Кафе были открыты, но в них ничего не отпускали, просто можно было посидеть и уйти. Доктор мне рассказал, что хотел выписать из Барселоны медицинскую книгу; председатель комитета ему ответил: «Если ты докажешь, что книга нужна, мы ее напечатаем, у нас своя типография. А с Барселоной у нас нет торговых отношений...» В городе Пина деньги тоже отменили, установили сложнейшую систему карточек; имелись карточки на право стричься и бриться. Многие члены комитетов были искренними энтузиастами, но в экономике разбирались плохо. В большом селе Мембрилья (Ламанча) анархисты, отменив деньги, объявили, что каждая семья состоит в среднем из четырех с половиной человек и, следовательно, для упрощения делопроизводства будет получать продовольствие на четыре с половиной души.

В одном из городков Арагона комитет решил разобрать железную дорогу, утверждая, что жители ею мало пользуются и что дым паровозов отравляет воздух. Анархисты-фронтвики,

узнав об этом решении, всполошились — они должны были получать из тыла боеприпасы и продовольствие; пути не были разобраны.

Мы устраивали киносеансы и на площадях — белая стена служила экраном, и в чудом уцелевшей церкви, и в столовых. Анархисты обожали Чапаева. После первого вечера мы сняли конец фильма: молодые бойцы не могли примириться с гибелью Чапаева, говорили: «Зачем же воевать, если лучшие погибают?..» Стефа переводила текст; иногда ее перебивали возгласы: «Да здравствует Чапаев!» Помню, раз какой-то анархист крикнул: «Долой комиссара!» — и все зааплодировали. Лишний раз я понял, что искусство прежде всего апеллирует к сердцу: в картине Чапаев — герой, а Фурманов — резонер.

Все же фильм иногда приносил практические результаты: в одной части после сеанса решили быть впредь осторожнее и выставлять на ночь дозоры.

Крестьяне смотрели «Чапаева» другими глазами. Часто после сеанса они подходили ко мне, благодарили русского комиссара за то, что он запрещает отбирать свиней, просили написать ему о непорядках в их селе — для них фильм был хроникой, они были убеждены, что и Чапаев и Фурманов еще живут в Москве.

Фильм «Мы из Кронштадта» дружинники воспринимали своеобразно. Когда матрос с камнем на шее швырял в воду гитару, раздавался смех — зрители не могли поверить, что моряков кинут в воду. Когда из воды показывался единственный уцелевший, они одобрительно смеялись: знали заранее, что он спасется, и ожидали, когда же выплывут остальные. Сказывалась беспечность, которая еще жила в каталонцах осенью 1936 года. (Я написал об этом в одной из газетных статей и получил отповедь от тогдашнего руководителя Союза писателей Ставского: «Если мелкий буржуа смеется, то об этом и надо сказать. А разве пролетарии будут над этой картиной смеяться?»)

В газетах, которые мы печатали для анархистских колонн, мы старались, не вступая в полемику с принципами СНТ — ФАИ, объяснить на живых примерах, как важно согласовать действие колонны с другими частями, выполнять приказы своих командиров, не уходить с позиций, надеясь на бездействие противника, и так далее.

Тюрем анархисты не признавали, говорили, что нельзя лишать человека свободы; нужно его убедить; но они не были ни толстовцами, ни пацифистами и, видя, что человек не поддается убеждению, порой его расстреливали. В одном селе расстреляли крестьянина, который менял талоны для парикмахерской на кофе или сахар. Я возмутился, но один анархист мне серьезно ответил: «Ты что думаешь? Мы его пытались переубедить, три месяца с ним разговаривали, а он продолжал свои махинации. Это не человек, а торгаш!..»

Мне рассказывали, как в городе Барбастро анархисты закрыли публичный дом, произнесли несколько речей — говорили, что женщины отныне свободны и должны заняться полезным трудом: шить для бойцов рубашки. Пожилая проститутка вцепилась в одного из анархистов: «Я здесь пятнадцать лет работаю, а ты меня на улицу гонишь!..» Анархисты долго обсуждали, можно ли ее переубедить; наконец нашелся один, который за это взялся. Возможно, что эту историю придумали, но она звучала правдоподобно.

Описав В. А. Антонову-Овсеенку, как анархисты насаждают в Арагоне «свободный коммунизм», я добавлял: «Во всем этом больше невежества, нежели злой воли. Анархистов на местах можно переубедить. К сожалению, в ПСУК мало людей, которые понимают, как надо с ними разговаривать; сплошь да рядом работники ПСУК говорят: «Лучше фашисты, чем анархисты».

Я, видимо, заразился от анархистов — поверил, что людей легко переубедить. А это совсем не просто — переубеждает жизнь. Слова, даже самые разумные, слишком часто остаются словами. Дуррути быстро шагал; другие не хотели или не могли расстаться с иллюзиями, да и с традициями; требовалось время, а его не было: каждый день Франк получал от своих покровителей людей и вооружение.

На войне люди легко сходятся, и я дружил с анархистами. Хотя они должны были бы ругать Советский Союз, они понимали, что если кто-нибудь им помогает, то это наша страна. Спорить приходилось часто; но только раз в прифронтовой деревне один иступленный паренек начал грозить мне револьвером: «Раз тебя нельзя убедить...» Его вовремя уняли.

Многие из анархистов менялись на глазах; были и такие, что упорствовали; но даже их можно было образумить дру-

жеским словом, порой улыбкой. Они кричали, грозились — и быстро отходили. Многие из того, что они понаделали, следует объяснить незнанием. Я почти не встречал среди них кадровых военных, экономистов, агрономов, инженеров, это были барселонские рабочие; на интеллигенцию они поглядывали с опаской, хотя и преклонялись перед философией, наукой, искусством. Они могли поддаться панике, побежать от одной бомбы, могли и пойти в атаку, несмотря на сильный пулеметный огонь, — все зависело от настроения, от сотни случайностей. Во время фашистского террора тысячи из тех, кого я встречал в Арагоне, мужественно пошли на смерть, не отреклись. Как в любой партии, среди анархистов были добрые и злые, умные и дураки; но то, что меня в них привлекало, — это непосредственность и редкостная в наш век наивность.

Никогда в жизни меня не соблазнили теории анархистов: видимо, не хватало наивности; но после «Хулио Хуренито» некоторые критики окрестили меня «анархистом». Может быть, поэтому, а может быть, потому, что в статьях об Испании я настаивал на необходимости единого фронта, один наш писатель, приехавший в Мадрид на конгресс, сказал: «Поскребите хорошенько Эренбурга, и вы увидите анархиста». Было это в пригородном доме, куда коммунисты вечером пригласили советскую делегацию. Долорес Ибаррури рассмеялась: «Бывают и такие: поскребешь — окажется фашист...»

Почему я посвятил длинную главу испанским анархистам? Работа с агитмашиной заняла у меня всего три или четыре месяца. Да и не только к анархистам мы ездили — показывали фильмы и бойцам частей, которыми командовали коммунисты, побывали в интернациональных отрядах, печатали газеты на испанском, каталонском, немецком, французском языках. В декабре я поехал в Мадрид. Если я остановился на осени 1936 года в Арагоне, то только потому, что в длинной истории человеческих заблуждений это достаточно патетическая страница.

«Коммунизмо либертарио» — «свободный коммунизм», все анархисты о нем говорили и почти все в него верили, доказывали, и хорошо доказывали, что без свободы не может быть настоящего коммунизма. А те коммуны, которые они устроили в Арагоне, напоминали поселки перепуганных индейцев Парагвая, руководимых иезуитами, с одинаковой одеждой, одинаковой едой, одинаковыми молитвами. (Правда, иезуиты господ-

ствовали свыше ста лет и достигли совершенства: отец Муратори рассказывает, что, когда провинившегося парагвайца секли, он целовал руку своего мучителя и благодарил за удары.)

В старой записной книжке я нашел переписанные мною слова одного французского автора (не помню, кого именно): «Несчастье деспотизма не в том, что он не любит людей, а в том, что он их слишком любит и слишком мало им доверяет».

20

Трудно себе представить первый год испанской войны без М. Е. Кольцова. Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником. В своей книге «Испанский дневник» Михаил Ефимович туманно упоминает о работе вымышленного мексиканца Мигеля Мартинеса, который обладал большей свободой действий, нежели советский журналист.

Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него обузой, Кольцов быстро разбирался в сложной обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями. Познакомился я с ним еще в 1918 году в киевском «Хламе», потом встречал его в Москве, работал с ним над подготовкой парижского конгресса писателей, но по-настоящему разглядел и понял его позднее — в Испании.

Михаил Ефимович остался в моей памяти не только блистательным журналистом, умницей, шутником, но и концентратом различных добродетелей и душевного ущерба тридцатых годов.

«...Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», — писал Пушкин. Сто лет спустя эти слова казались нам злободневными. Кольцов в беседах со мной часто высказывал оценки вдоволь еретичные: ему, например, нравился Таиров, он хорошо отзывался о книгах многих западных писателей, высмеивал наших критиков: «любят порядок и почитают Домострой, хотя толком не знают, что это». Вместе с тем он пуще врагов боялся инакомыслящих друзей. В нем был постоянный разлад между общественным сознанием и собственной совестью.

К попыткам некоторых левых писателей Запада покритиковать хотя бы робко порядки сталинского времени Кольцов относился пренебрежительно, говорил: «Х что-то топорщится, я ему сказал, что у нас переводят его роман, наверно, успокоится», или «У меня спрашивал, почему Буденный ополчился на Бабеля, я не стал спорить, просто сказал, чтобы он приехал к нам отдохнуть в Крым. Поживет месяц хорошо — и забудет про «бабизм Бабеля». Однажды он с усмешкой добавил: «Z получил гонорар во франках. Вы увидите, он теперь поймет даже то, чего мы с вами не понимаем».

Он никого не старался погубить и плохо говорил только о погибших: такое было время. Ко мне он относился дружески, но слегка презрительно, любил с глазу на глаз поговорить по душам, пооткровенничать, но, когда шла речь о порядке дня двух конгрессов, не приглашал меня на совещания. Однажды он мне признался: «Вы редчайшая разновидность нашей фауны — нестреляный воробей». (В общем, он был прав — стреляным я стал позднее.)

Когда Второй конгресс кончился, я написал заявление: «Тов. Кольцову — Председателю советской делегации. Вы мне сообщили, что хотите снова выдвинуть меня в секретари Ассоциации писателей. Я прошу Вас вычеркнуть мое имя из списка и освободить меня от данной работы... Я не был согласен с поведением советской делегации в Испании, которая, на мой взгляд, должна была, с одной стороны, воздерживаться от всего, что ставило ее в привилегированное положение по отношению к другим делегациям, с другой — показать иностранцам пример товарищеской спайки, а не деления делегатов советских по рангам. Я не мог высказать мое мнение, так как никто меня о нем не спрашивал, и мои функции сводились к функциям переводчика... Как вы знаете, я очень занят испанской работой; помимо этого, хочу сейчас писать книгу, полагаю, что с большим успехом смогу приложить свои силы для победы общего дела, чем пребывая декоративным персонажем в секретариате...» Михаил Ефимович, прочитав заявление, хмыкнул: «Люди не выходят, людей выводят», — но обещал не обременять меня излишней работой.

История советской журналистики не знает более громкого имени, и слава его была заслуженной. Но, возведя публицистику на высоту, убедив читателей в том, что фельетон или очерк — искусство, он сам в это не верил. Не раз он говорил

мне насмешливо и печально: «Другие напишут романы. А что от меня останется? Газетные статьи — однодневки. Даже историку они не очень-то понадобятся, ведь в статьях мы показываем не то, что происходит в Испании, а то, что в Испании должно было бы произойти...» Он завидовал не только Хемингуэю, но и Реглеру: «Напечет роман в тридцать печатных листов...» Я понимаю горечь этих слов — я сам немало времени и сил отдал работе журналиста. Кольцов был прав — историку трудно положиться на его статьи (как и на мои статьи того времени) или даже на книгу «Испанский дневник»: она слишком окрашена временем, а рядового читателя куда больше растрогают воспоминания о Кольцове, чем его фельетоны, — он ищет всех тонов, расположенных между белым и черным, — а Михаил Ефимович был куда сложнее, чем его памфлеты или корреспонденции.

Он любил одесский анекдот о старом балигуле (извозчике), который ехидно спрашивает новичка, что тот будет делать, если в степи отвалится колесо и не окажется под рукой ни гвоздей, ни веревки. «А что же вы будете делать?» — спрашивает наконец пристыженный ученик; и старик отвечает: «Таки плохо». Михаил Ефимович часто хмыкал: «Таки плохо». А час спустя он приводил в чувство какого-либо испанского политика, убедительно доказывая ему, что победа обеспечена и, следовательно, незачем отчаиваться. К людям он относился недоверчиво; это звучало бы упреком, если бы я не добавил, что он относился недоверчиво и к себе — к своим чувствам, к своему таланту, да и к тому, что его ожидает.

Он пробыл в Испании немногим больше года, но что-то в нем изменилось, он стал человечнее, исчезло легкомыслие, он больше не носился с проектами опасных интервью или занятых журналов, да и глаза глядели мягче. Однако до конца он был не унылым, а веселым скептиком, и после беседы с ним неизменно оставалось двойное чувство: горько, но занятно — стоит жить, может быть, удастся увидеть, чем это все кончится...

Перемена, происшедшая с Кольцовым в Испании, объяснялась многим: ответственностью, которая лежала не столько на журналисте «Мих. Кольцове», сколько на «Мигеле Мартинесе», сознанием трудности, а с лета 1937 года невозможности победы разъединенной, плохо снабжаемой оружием республики, повседневным зрелищем бомбежек, голода, смерти. Однако не только это изменило Михаила Ефимовича, но и ме-

сяц, проведенный в Москве, вести, доходившие с родины. Михаил Ефимович помрачнел.

Недавно появился сборник воспоминаний «Михаил Кольцов, каким он был». Бесспорно, самые интересные страницы в сборнике написаны братом Кольцова карикатуристом Борисом Ефимовичем Ефимовым. В них рассказано, как железный круг сжимался вокруг смелого, веселого и еще влиятельного человека. За полтора года до развязки Кольцов, приехавший на короткий срок из Мадрида, докладывал Сталину и его ближайшим помощникам о положении в Испании. Когда Кольцов наконец-то замолк, Сталин неожиданно спросил, как его следует «величать» по-испански, «Мигуэль, что ли?». Еще больше изумил Кольцова вопрос Сталина, когда Михаил Ефимович уже шел к двери: «У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?» Кольцов ответил, что револьвер у него имеется. «Но вы не собираетесь из него застрелиться?» — спросил Сталин. Рассказывая об этом брату, Михаил Ефимович добавил, что он прочитал в глазах «хозяина»: «слишком прыток».

По словам Ефимова, лучше всех знавшего Кольцова, Михаил Ефимович до последней минуты «фанатически верил в мудрость Сталина».

Два месяца спустя после странного разговора о револьвере я шел с Михаилом Ефимовичем по пустой улочке Мадрида. Кругом были развалины домов, ни одного живого человека. Я спросил Кольцова, что произошло в действительности с Тухачевским. Он ответил: «Мне Сталин все объяснил — захотел стать Наполеончиком». Не знаю, подумал ли он в ту минуту, что он, Михаил Кольцов, беззаветно веривший в Сталина, тоже не защищен от обвинений, — «слишком прыток».

Когда в декабре 1937 года я приехал из Испании в Москву, я сразу пошел в «Правду». Михаил Ефимович сидел в роскошном кабинете недавно построенного здания. Увидев меня, он удивленно хмыкнул: «Зачем вы приехали?» Я сказал, что захотел отдохнуть, приехал на писательский пленум с Любой. Кольцов почти вскрикнул: «И Люба притащилась?..» Я рассказал ему про Теруэль, сказал, что видел перед отъездом его жену Лизу и Марию Остен. Зачем-то он повел меня в большую ванную комнату, примыкавшую к кабинету, и там не выдержал: «Вот вам свеженький анекдот. Двое москвичей встречаются. Один делится новостью: «Взяли Теруэль». Другой спрашивает: «А жену?» Михаил Ефимович улыбнулся:

«Смешно?» Я еще ничего не мог понять и мрачно ответил: «Нет».

В апрельский вечер я встретил его возле «Правды», сказал, что получил паспорт и скоро вернусь в Испанию. Он сказал: «Кланяйтесь моим, да и всем,— потом добавил: — А о том, что у нас, не болтайте — вам будет лучше. Да и всем — оттуда ничего нельзя понять...» Пожал руку, улыбнулся: «Впрочем, отсюда тоже трудно понять».

Я ответил Кольцову искренне: все было совсем не смешно. Конечно, никто не причислит Михаила Ефимовича к воробьям, а поскольку он однажды завел разговор о птицах, я назову его стреляным соколом. Мы расстались весной 1938 года, а в декабре стреляного сокола не стало. Было ему тогда всего сорок лет.

21

Люди привыкают ко всему: к чуме, к террору, к войне; и мадридцы быстро привыкли к бомбежкам, к голоду и холоду, к тому, что фашисты — в Каса-дель-Кампо, то есть в двух-трех километрах от густозаселенных кварталов, и что все это, видимо, надолго.

«Известия» тогда выходили в самое различное время: иногда в семь часов утра, иногда, если среди ночи поступали сообщения ТАССа, список награжденных или обвинительное заключение, в десять, а то и в полдень. Мадридские газеты продолжали выходить в шесть часов утра, как они выходили прежде, когда нужно было поспеть к утренним поездом. Поездов давно не было, а привычка осталась.

Из семи шоссе дорог, соединявших столицу со страной, шесть были захвачены фашистами. То вспыхивали, то затихали бои за седьмую дорогу, соединявшую Мадрид с Валенсией. Несколько километров этой дороги фашисты простреливали. Однажды мне пришлось выскочить из машины и пролежать в поле полчаса. Вблизи разорвалось несколько снарядов. На войне то хорошо, что редко бываешь один. Я не мог показать шоферу-испанцу, который лежал рядом, что мне не очень-то уютно, я ведь был «мексиканцем», а шофер старался мне показать, что он чувствует себя как дома, потому что он испанец.

На двадцать первом километре от Мадрида, возле Моргата-де-Тахунья, фашисты укрепились. Я там бывал несколько раз; проходя по глубоким окопам, можно было услышать, как фашистские солдаты где-то рядом переругиваются или поют. В течение многих месяцев шли бои за развалины дома, и я вспоминал знаменитый «дом паромщика», который в годы мировой войны несколько месяцев подряд значился в союзных и немецких сводках.

А в Мадриде продолжалась фантастическая и вместе с тем будничная жизнь. Тротуаров никто не подметал, валялся щебень, обрывки старых афиш, осколки бомб, битая посуда. Утром разводили костры, возле них грелись женщины и солдаты. Зимой в Мадриде холодно, и андалузцы или каталонцы зябли. Многие магазины были открыты; оставались товары, мало кому нужные в то время: хрустальные люстры, духи, старые романы, галстуки. Как-то раз я увидел в мебельном магазине молодого бойца и женщину, они приценивались к зеркальному шкафу и нежно глядели друг на друга; вероятно, они были молодоженами. В другой раз я встретил маляра с ведром краски и лесенкой — он шел белить стены.

А на улицах продавали самодельные зажигалки, карманные фонари. В некогда фешенебельных ресторанах бойцы восторженно ели горох — он был пшенной кашей Испании. Возле булочных стояли длинные очереди, и не раз люди, ожидавшие двести граммов хлеба, умирали от осколка бомбы или от снаряда. Трамвай доходил почти до окопов. Однажды я пошел рано утром на улицу Рафаэля Салилья. Пожарные выносили трупы; мне запомнилась девочка, похожая на разбитую куклу, и швейная машина с голубенькой материей, повисшая на балке.

Правительство уехало в Валенсию. В мадридских комитетах политических партий шли нескончаемые споры. Анархисты и троцкисты («поумовцы») настаивали на «углублении революции». Прието хотел, чтобы навели порядок, и обвинял своего товарища по партии Кабальеро в демагогии. Жизнь продолжалась...

Продолжалась она повсюду. Поэты издали сборник стихов, посвященных войне, собирались, обсуждали возрождение старой формы романсеро. Я познакомился с пожилой учительницей музыки, она рассказывала, что к ней приходят две ученицы, играют гаммы.

Театры были открыты, но спектакли начинались не в десять часов вечера, как прежде, а в шесть; играли все те же пьесы «Ты цыган, я цыганка» или «Ночь в Альгамбре». В кино показывали фильмы Чаплина; Морис Шевалье в картине «Соблазнитель» пел знакомые песенки. Девушки утирали глаза от скорби обманутой американки, а дружинники неистово аплодировали Лолите Гранатос.

Ко мне в холодный номер гостиницы приходили с фронта испанцы и бойцы интербригад; иногда у меня оказывались селедки, присланные из Одессы, или курица, завезенная из Валенсии. Мы молча ели, а потом начинали разговаривать о вещах, мало относившихся к положению на фронте. Студент-боец с жаром доказывал, что, хотя во всем мире читают «Дон-Кихота», никто, кроме испанцев, его не понимает, да и не может понять. Один серб принес мне толстую рукопись: он записал свои наблюдения о том, как реагируют различные животные на бомбежки. По его словам, кошки вели себя коварно, но разумно: услышав гул самолетов, они тотчас выпрыгивали в окно и неслись в поле, подальше от жилья. Собаки, наоборот, слепо верили во всемогущество человека, просились в дом, залезали под стол или под кровать. Свои записки серб писал в окопах, во время бомбежек, об этом он упомянул вскользь; его интересовала зоопсихология, и он расспрашивал об опытах Дурова. Француз из батальона «Парижская коммуна» читал мне свои стихи:

Небо огнями реклам расцветено —
Распродажа разодранных тел и Вечности..

Штаб помещался в центре Мадрида, в глубоком подвале министерства финансов. Подвал разделили на крохотные комнатухи; там работали, ели и спали. Стучали пишущие машинки. То и дело приходили и уходили военные. В одной из комнатухек, сгорбившись, сидел старый, больной и подавленный событиями человек — генерал Миаха. О нем тогда писали все газеты мира, а он печально глядел на меня и отвечал: «Да... да...» Вошел комбриг Горев с переводчицей Эммой Лазаревной Вольф, принес карту, долго говорил о положении в Университетском городке. Миаха внимательно слушал, тусклыми грустными глазами глядя на карту, и повторял: «Да... да...»

Владимир Ефимович Горев редко заглядывал в подвалы министерства — все время был на позициях. Ему не было и сорока лет, но он обладал большим военным опытом. Умный, сдержанный и вместе с тем чрезвычайно страстный, осмелюсь сказать — поэтичный, он покорял всех, мало сказать, что ему верили, — верили в его звезду. Полгода спустя испанцы научились воевать, у них были одаренные командиры — Модесто, Листер, да и другие, менее известные. А осенью 1936 года, пожалуй, кроме начальника генштаба полковника Рохо, среди командного состава республиканской армии было мало людей энергичных и в то же время обладавших военными знаниями. В ноябрьские дни Горев сыграл огромную роль, помог испанцам остановить фашистов в предместьях Мадрида.

Когда Франко начал операции на севере, Горев отправился с переводчицей Эммой в Басконию. Франко сосредоточил на севере крупные силы; немецкая авиация наносила массированные удары. Республиканцы четыре месяца защищались, отрезанные от основных сил, взятые в кольцо. Настала развязка. В Хихоне, который должен был со дня на день пасть, было двадцать шесть советских военных во главе с Горевым, среди них раненые, больные и Эмма.

В эскадрилье, созданной Мальро, в первые месяцы войны сражался веселый француз, прекрасный летчик Абель Гидес. Летом 1937 года он вернулся в Париж. Узнав, что советские товарищи не могут выбраться из окружения, Гидес раздобыл крохотный туристический самолет и полетел в Хихон. Горев хотел улететь последним. Гидес совершил три рейса, среди других спас Эмму, а когда он полетел в четвертый раз, его обстреляли фашистские истребители. Милый смелый Гидес погиб. А он только перед этим женился... Горев и несколько оставшихся с ним товарищей ушли с партизанами в горы. Их вывез советский самолет. Все это было чудом. Мы радовались — спасся Горев! А полгода спустя героя Мадрида оклеветали, и тут уже не могло быть никаких чудес. Горев погиб в Москве.

В подвале, кроме Горева, жили Ратнер и Львович, которого в Испании звали Лоти. Ратнер был разумным и скромным стратегом. Мне говорили, что потом он преподавал в одной из военных академий. Лоти пробыл в Испании долго, подружился с испанцами; был он печальным весельчаком, любил поэзию. Однажды в горячий мадридский вечер мы сидели на

камне перед разбитым домом, обливались потом, и он вспомнил разрозненные строки стихов — Лермонтова, Блока, Маяковского; вдруг встал и сказал:

«Красивое имя,
Высокая честь —
Мадридская волость
В Испании есть.

Значит, мне надо идти на КП. А вы знаете, что вы должны делать? Не болтаться под снарядами, а писать. У каждого свое ремесло... Писатель, а не пишет...»

Я встречал Лоти и в Двенадцатой бригаде у генерала Лукача и в «Гайлорде», потом в Валенсии. Был он на редкость храбрым, а других осаживал, говорил: «Испанцы не знают, что такое осторожность. Для любви это хорошо, а для войны не годится...» В 1946 году я встретил в Америке художника Фернандо Херасси, командира батальона Двенадцатой бригады, и его жену Стефу. Первое, о чем они меня спросили: «Что с Лоти?..» Я отвернулся и еле выговорил: «Погиб...»

В Испании я думал об одном: о победе. Но, понятно, я встречался с нашими, и хотя мы еще не знали, что означает 1937-й, порой на душе становилось смутно.

Корреспондент ТАССа М. С. Гельфанд, человек очень больной, писал длинные телеграммы и острил. Он сочинил смешную пьесу, читал ее избранным; героями были Кольцов, Кармен, Макасеев, Эренбург и он сам. Приходя в его номер, мы всегда смеялись. Один раз я увидел его грустным, он сидел над «Правдой». Никого в комнате не было. Вдруг он мне сказал: «А вы знаете, нам повезло... Собрание писателей, сидят и выявляют врагов народа... Давайте поедем в Карабанчель, там собираются взорвать дом. А о нашем разговоре забудьте...» Я выпросил у него несколько номеров относительно свежих газет. В Карабанчеле дом не взорвали, сказали, что саперы подвели. Зато мы попали под хорошую бомбежку. Ночью я прочитал газеты и подумал: действительно повезло — под бомбами куда легче, здесь, по крайней мере, знаешь, кто враг и кто свой...

Как-то Кольцов сообщил мне: «Наградили большую группу. В газете этого не будет... Поздравляю вас с боевым орденом Красной Звезды». Я его тоже поздравил; поздравил сей-

час же Кармена и Макаеева. Михаил Ефимович, помню, добавил: «Будете получать, кажется, десять рублей в месяц. От голода это вас не спасет. От проработки тоже...»

Я впервые в жизни получил орден, да еще такой, о котором не будет в газете. Не скрою — я обрадовался.

Я уезжал из Мадрида, снова возвращался и увидел первую победу республиканцев возле Гвадалахары. Фашисты рассчитывали с помощью танков прорваться в Мадрид. В районе Сигуэнсы они сосредоточили несколько итальянских дивизий, танки, авиацию. Битва кончилась для фашистов неожиданно: продвинувшись на несколько десятков километров, они были отброшены на исходные позиции, потеряв много людей и техники. Итальянцы сражались плохо, да и рассчитали неосторожно: были убеждены, что большие танковые соединения быстро выйдут на равнину, где смогут окружить противника; а после контратаки республиканцев итальянские танки очутились в узкой долине, где их нещадно бомбили наши летчики.

Я много раз ездил на Гвадалахарский фронт — с Кольцовым, с Хемингуэем, с Савичем; побывал в Паласио Ибарра — в развалинах старого помещичьего дома, из которого «гарибальдийцы» выкинули итальянских фашистов, в расщепленной бомбардировками Бриуэге. Было необычайно радостно идти по земле, освобожденной от фашистов, видеть итальянские надписи на стенах, брошенные пушки, ящики с гранатами, ладанки, письма. Я разговаривал с победителями — с солдатами частей, которыми командовали Листер, Кампесино, с бойцами Двенадцатой бригады, с генералом Лукачем, с Фернандо, с болгарами Петровым и Беловым. Разговаривал я и с пленными итальянцами. На дворе была короткая кастильская весна. Бойцы грелись на солнце. Небо порой покрывалось металлическими тучами, звенели ливни, и час спустя густая южная лазурь говорила о близком лете.

Для нас, переживавших в течение полугода одни лишь поражения, Гвадалахара была нечаянной радостью. Я думал, что позади не только зима, но и холод отступлений.

Среди пленных итальянцев было много горемык, которые охотно бросали оружие. Я увидел знакомых мне итальянских крестьян, добрых и миролюбивых; они проклинали офицеров, дуче, войну. Сапожник из Палермо рассказал мне, что помнит двадцатый год, — он тогда был мальчишкой, на улице стреляли, а в комнате отца висел портрет Ленина. Он был

неграмотным, но сразу понял, где свои, и, воспользовавшись суматохой, перебежал к «гарибальдийцам».

Попадались и настоящие фашисты, не столь жестокие, как их немецкие единоверцы, но чванливые, верившие в громкие фразы Муссолини. Я прочитал дневник одного итальянского офицера; незадолго до Гвадалахары он писал: «Все испанцы стоят друг друга. Я бы им всем дал касторки, даже этим шутам фалангистам, они знают одно — есть и пить за здравие Испании. Всерьез воюем только мы...»

В итальянской армии было много опереточного. Помню знамя батальона «Черные перья» с надписью: «Не блистаем, но жжем». В таком же стиле были выдержаны названия других батальонов: «Львы», «Волки», «Орлы», «Неукротимые», «Стрела», «Буря», «Ураган». Однако эти батальоны входили в бригады, дивизии. Из итальянского порта Гаэта непрерывно шли транспортные суда в Кадикс; подбрасывали людей, артиллерию, танки. Республиканцы нашли документы генерального штаба, телеграмму Муссолини, который писал генералу Манчини: «На борту «Пола», направляясь в Ливию, я получил донесение о большой битве, развернувшейся возле Гвадалахары. Я с бодростью слежу за эпизодами боя, глубоко убежденный, что храбрость и воинственный дух легионеров положат конец вражескому сопротивлению». Хотя настроение у меня было хорошее, я не разделял оптимизма некоторых, уже видевших республиканцев под Сарагоссой. Меня тревожила не мнимая храбрость итальянских легионеров, а трусость англичан и французов в Комитете по невмешательству. В статье о битве под Гвадалахарой я писал: «Не следует преуменьшать опасность — Италия только вступает в войну».

Продвижение республиканцев длилось недолго. В холодную ночь комбриг М. П. Петров, командовавший танковым соединением, поил меня горячим чаем. Это был коренастый и добродушный танкист. Он сокрушался: «Техники мало! Даже грузовиков не нашли, чтобы подбросить пехоту. Вот и завязли... Ну ничего, в конце концов мы их расколотим». (Я встретил генерала Петрова в августе 1941 года под Брянском. Он весело закричал: «Помнишь Бриуэгу?..» А время было невеселое. Его убили в бою вскоре после нашей встречи, так он и не увидел разгрома фашистов.)

В начале апреля республиканцы решили атаковать фашистов, укрепившихся в Каса-дель-Кампо. Я пошел в пять часов

утра на наблюдательный пункт, который находился в здании дворца. Окна комнаты выходили на запад. Мы видели, как бойцы выбегали из окопов и падали, как двинулись танки. Артиллерийская подготовка была сильной, но пулеметы не умолкали, и почти нигде республиканцам не удалось выбить фашистов из окопов.

Вечером нужно было передать в газету отчет о результатах операции. Я не знал, что сообщить, и решил описать час за часом все, что видел, не говоря вовсе о наступлении и статью озаглавив «День в Каса-дель-Кампо». В комнате, где мы находились, висела клетка с канарейкой. Фашисты выпустили несколько снарядов по дворцу. Когда орудия на минуту умолкали, канарейка пела: очевидно, грохот ее возбуждал. Я упомянул и про канарейку, хотя понимал, что такого рода наблюдения уместнее в романе, нежели в газетной корреспонденции. Редактор про канарейку выпустил, даже обиделся. Люба тогда была в Москве и пришла в редакцию, чтобы поговорить со мной по телефону. «В чем дело с канарейкой?» — спросила она. А я не мог ей объяснить, что в моей статье канарейка запела только потому, что наступление не удалось.

Как-то я слушал радиопередачу из Севильи. Фашисты говорили: «Вокруг Мадрида сосредоточены крупные советские силы, их численность доходит до восьмидесяти тысяч». Слушал и горько усмехался. Советских военных было мало; цифр я не знаю, но я бывал и в Алкала, где стояли наши танкисты, и на двух аэродромах — очень, очень мало! В различных частях было еще несколько десятков военных советников. Людей было немного, но воевали они хорошо и в критические дни приподняли дух испанцев. Когда в ноябре мадридцы впервые увидели над собой советские истребители (их окрестили «курносыми»), несмотря на воздушную тревогу, они стояли на улицах и аплодировали — им казалось, что теперь они ограждены от бомб.

Из командиров я встречал комдива Г. М. Штерна (его называли в Испании Григоровичем), Яна Берзина (Гришина), комкора авиации Я. В. Смушкевича (Дугласа), танкиста Д. Г. Павлова, П. И. Батова, Х. Д. Мамсурова (Ксанти), Г. Л. Туманяна и других. Это были разные люди, но все они по-настоящему любили Испанию. Многие из них погибли в годы произвола, а те, что уцелели, до сих пор с нежностью вспоминают испанских товарищей. Не видел я со стороны

людей, которых назвал, ни высокомерия, ни даже раздражительности, а она легко могла бы родиться: кадровые военные столкнулись с неразберихой, с анархистами, с наивными командирами, считавшими, что немецкие самолеты можно прогнать с помощью винтовок.

Познакомился я с советскими летчиками, танкистами; с некоторыми подружился; лучше понял и войну, и наших людей. Если четыре года спустя я смог работать в «Красной звезде», находил нужные слова, то помогли мне в этом, как и во многом другом, годы Испании.

В апреле в Мадрид приехала герцогиня Атольская, член английского парламента от консервативной партии. Ее поместили в той же гостинице, где жили Кармен, Савич, я. Пока она осматривала город, осколок немецкого снаряда угодил прямо в ее комнату. Журналисты спросили ее, не думает ли она поставить в парламенте вопрос о «невмешательстве». Она ответила, что обещала не делать никаких политических заявлений, но восхищается мужеством Мадрида и оплакивает невинные жертвы. Она не была одинокой: многие восхищались и оплакивали. А Гитлер и Муссолини делали свое дело.

Мою веру в победу поддерживал испанский характер. Во время одной из бомбежек Петров и я загоняли старую женщину в убежище; она не хотела идти, говорила: «Пусть они, негодяи, видят, что мы их не боимся!..»

22

Январь 1937 года я пробыл в Париже, а в начале февраля вернулся в Испанию. Я увез с собою О. Г. Савича.

Я не собираюсь посвятить эту главу портрету Савича, — я уже говорил, что мало рассказываю о живых. Говоря о себе, я то подымаю, то опускаю занавеску исповедальни — я волен выбирать; но, говоря о других, я связан: бог его знает, что можно рассказать, а о чем лучше промолчать? Савич мой добрый и старый друг. Черновики многих моих книг испещрены пометками Савича — он замечал немало погрешностей. Хотя в ранней молодости он был актером, он для меня неотделим от литературы. Он не только пишет или переводит, он страстный читатель, и, кажется, нет ни одного автора и в XIX веке,

и в советское время, которого он не прочитал бы. Я ему многим обязан. Но теперь я ограничиваю себя одним: хочу показать, какую роль могла сыграть Испания в жизни одного человека.

Познакомились мы давно — кажется, в 1922 году. Он моложе меня всего на пять лет, но тогда он казался мне подростком. В 1930 году он с молодой женой Алей поселился в Париже, и мы встречались почти каждый вечер. Раз в год перепуганный Савич отправлялся в советское консульство, чтобы продлить паспорта. Мы ездили с Савичами в Бретань, в Словакию, в Скандинавию. Савич показывал Париж Всеволоду Иванову, нашим поэтам, актерам театра Мейерхольда; он человек мягкий, благожелательный, спорить не любит, и всем он нравился. В конце двадцатых годов после нескольких сборников рассказов в Москве вышел его роман «Воображаемый собеседник», роман хороший, который понравился столь различным писателям, как Форш, Тынянов, Пастернак. В газетах его разругали, одно заглавие сердило критиков: хотя еще никто не говорил о новом толковании реализма, но воображать не полагалось. Савич продолжал писать, но второй роман не получался. Он помрачнел. Иногда он посылал очерки в «Комсомольскую правду», и они никак не напоминали объяснений с воображаемым собеседником, писал он про то и это, про футбол и про Барбюса, про мировой кризис и про рабочие танцульки. Мне казалось, что он не может найти ни своей темы, ни места в жизни. В 1935 году его жена Аля уехала в Москву. Савич должен был вскоре последовать за нею, но в январе 1937 года я застал его в Париже и легко уговорил посмотреть хотя бы одним глазом Испанию: «Сможешь написать для «Комсомолки» десять очерков...»

Хотя я хорошо знал Савича, я никогда не видел его перед опасностью смерти. В первый же вечер в Барселоне мы пошли поужинать в хороший ресторан «Остелерия дель соль». Мы мирно беседовали о старой испанской поэзии, когда раздался необычный грохот. Свет погас. На бомбежку это не походило, и я не сразу понял, что происходит. Оказалось, фашистский крейсер обстреливает город. На Параллели один анархист стрелял из револьвера в сторону моря — хотел потопить вражеский корабль. Савич был спокоен, шутил. Потом я видел его во время жестоких бомбежек, он поражал меня своей невозмутимостью, — и я понял, что он боится не смерти,

а житейских неприятностей: полицейских, таможенников, консулов.

Я повел Савича к В. А. Антонову-Овсеенко, и он сразу пришелся по душе Владимиру Александровичу. Я сказал, что должен съездить на Арагонский фронт, вернусь через неделю и тогда мы поедем в Валенсию и Мадрид. Владимир Александрович сказал Савичу: «А вы приходите к нам запросто...»

Вернувшись дней десять спустя, я не нашел Савича. Антонов-Овсеенко мне рассказал, что Савич ездил под Уэску, а потом с новым послом Л. Я. Гайкисом уехал в Валенсию. Я подумал: «Ну и Сава!» (так я всегда звал Савича).

Я остановился, как всегда, в гостинице «Виктория», где жили иностранные журналисты. Вечером позвонил Савич: «Приходи ко мне — я в «Метрополе». Я даже растерялся от изумления, но попросил Саву выписать мне пропуск: в «Метрополе» жили наши военные, там помещалось посольство, и проникнуть туда было нелегко.

Савича я нашел растерянным: «Я попал в дурацкое положение... Я обедал у Антонова-Овсеенко, когда приехал посол — он возвращался из Москвы в Валенсию. Я набрался храбрости: может быть, в его машине окажется местечко для меня. Он усадил меня рядом. А когда мы вошли в «Метрополь», он распорядился: «Номер для товарища...» Советские люди в Испании свято соблюдали конспирацию и никогда не спрашивали человека, кто он, откуда. Так бедный Савич оказался загадочным товарищем, которого посол встретил у Антонова-Овсеенко.

В «Метрополе» жила корреспондентка ТАССа Мирова, высокая, полная и энергичная женщина. Савич ее удивил своей начитанностью, эрудицией. Она предложила ему помочь ей в работе для ТАССа. Савич был запуган ситуацией, но согласился. Мирова относилась к нему покровительственно и вместе с тем с уважением, говорила: «Он похож на гравюру». Я поехал с Савичем в машине Мировой в Альбасете, где формировались интербригады. Потом в Валенсию приехал корреспондент ТАССа М. С. Гельфанд, и Мирова решила, воспользовавшись этим, побывать в Мадриде. Мы поехали вторым: Мирова, Савич и я. Это было в марте. Гельфанд остался в Валенсии: там находилось правительство.

Я упоминал, что бывал с Савичем на Гвадалахаре. В апреле я уехал к Теруэлю, а потом в Андалузию — шли бои во-

круг Пособланко. Гельфанд заболел и вернулся в Москву. Мирова его заменила. А Савич оставался в мадридском «Паласе», часто бывал на фронте, подружился с нашими военными — с Лоти, с Хаджи, встречался с испанцами, описывал бои и бомбежки. Он наслаждался жизнью: то место, о котором он тщетно мечтал в мирном Париже, оказалось в полуразрушенном голодном Мадриде.

Однако его ждали новые испытания. В мае Мирова вызвала его в Валенсию. Она была чем-то очень взволнована, сказала, что уезжает на несколько дней в Москву. Савич будет жить в ее комнате и выполнять обязанности корреспондента ТАССа.

Я был в Париже, когда мне позвонил Савич: «Мирова почему-то не возвращается. Может быть, ты попросишь Ирину выяснить, что с ней, когда она рассчитывает приехать». Я разговаривал с Ириной по телефону, спросил, что с Мировой. Ирина ответила, что в Москве чудесная погода. «Но что с Мировой?..» Ирина не ответила.

Вскоре я приехал в Валенсию, пошел к Савичу. Он сидел расстроенный среди дамских платьев, духов, кремов. «Что с Мировой?..» Я знал, что Мирова — жена ответственного работника, который занимался отправкой в Испанию военных советников, знал, что она серьезная женщина, знал также, что Ирина не станет говорить о погоде, когда я ее спрашиваю, что с Мировой. У меня были мрачные догадки, но что такое 1937-й, я тогда еще не знал.

Потом были наступление на Уэску, конгресс писателей, бои за Брюнете. Мы с Савичем видались редко. В ноябре я его нашел в Барселоне, куда переехало правительство. Он писал телеграммы или сидел у телефона — ждал, когда вызовет Москва. В декабре мы простились — я уехал в Москву.

Быть корреспондентом ТАССа очень легко и очень трудно. Полгода спустя я сосватал Савича с «Известиями», и появился новый корреспондент с испанским именем: Хосе Гарсия. Савич мог описывать людей, говорить о том, что его волновало, немного фантазировать, немного вспоминать милую его сердцу литературу — так писал Хосе Гарсия. А корреспондент ТАССа должен был описывать политическую и военную обстановку, борьбу внутри антифашистской коалиции, действия анархистов и поумовцев (испанских троцкистов), — словом, быть информатором. До Испании Савич куда больше увлекался

поэзией, чем политикой, и за свои обязанности он взялся с девственной чистотой мысли. После отъезда Кольцова, Кармена, моего он остался единственным советским корреспондентом в Испании. К нему приходили испанские коммунисты — побеседовать по душам, посоветоваться. Он говорил прекрасно по-испански, и посол Марченко поручал ему: «Побеседуйте с новым министром внутренних дел, это социалист, прощупайте, как он настроен, вам это удобней, чем мне, вы — журналист...» Не удивительно, что Савич видел многое глазами испанских коммунистов или работников посольства.

Однако, кроме политики, есть душа народа, его горе, его мужество и то подлинное презрение к смерти, которым всегда отличались испанцы. Кроме политических деятелей, у Савича были и другие собеседники — солдаты и поэты, крестьяне и шоферы. Он увидел то, что когда-то искал в воображаемом собеседнике. Мало сказать, что он полюбил Испанию, — полюбили ее все советские люди, в ней побывавшие, — Испания оказалась ему сродни.

Я не хочу тасовать годы и события, в последующих главах я упомяну о встречах с Савичем в 1938—1939 годы. А сейчас мне хочется рассказать о том, как сложилась судьба О. Г. Савича после Испании. Он начал переводить испанских поэтов от старого Хорхе Манрике до Мачадо, Хименеса и Рафаэля Альберти, переводил и поэтов Латинской Америки — Габриэль Мистраль, Пабло Неруду, Гильена. То место в жизни, которое он нашел весной 1937 года в Мадриде, осталось под ногами — испанская речь и поэтическая настроенность, укрепившаяся в нем за годы Испании.

23

Это было в марте 1937 года в Мадриде. Я жил в бывшей гостинице «Палас», превращенной в госпиталь. Кричали раненые, пахло карболкой. Здание не отапливалось. Еды было мало, и, как в Москве в 1920 году, засыпая, я часто мечтал о куске мяса.

Как-то под вечер я решил пойти в «Гайлорд», где жили наши советники, к Кольцову: там можно согреться и поесть досыта.

В комнатах, которые занимал Кольцов, как всегда, были люди, знакомые и незнакомые: «Гайлорд» соблазнял не меня одного. Я сразу увидел, что на столе большой окорок и бутылки. Михаил Ефимович хмыкнул: «Здесь Хемингуэй...» Я растерялся и сразу забыл про ветчину.

У каждого человека бывает свой любимый писатель, и объяснить, почему любишь такого-то писателя, а не другого, столь же трудно, как объяснить, почему любишь такую-то женщину. Из всех моих современников я больше всего любил Хемингуэя.

В 1931 году в Испании Толлер мне дал книгу неизвестного автора «И восходит солнце»: «Здесь, кажется, про Испанию, про бой быков, может быть, это вам поможет разобраться...» Я прочитал, раздобыл «Прощай, оружие!». Хемингуэй помог мне разобраться — не в бое быков, в жизни.

Вот почему я смутился, увидав рослого угрюмого человека, который сидел за столом и пил виски. Я начал ему объясняться в любви и, вероятно, делал это настолько неуклюже, что Хемингуэй все больше и больше хмурился. Откупорили вторую бутылку виски; оказалось, что бутылки принес он, и пил он больше всех.

Я спросил его, что он делает в Мадриде; он сказал, что приехал как корреспондент газетного агентства. Он говорил со мной по-испански, я — по-французски. «Вы должны передавать по телеграфу только очерки или также информацию?» — спросил я. Хемингуэй вскочил, схватил бутылку, замахнулся ею: «Я сразу понял, что ты надо мной смеешься!..» «Информация» по-французски «nouvelles», а по-испански «novelas» — романы. Бутылку кто-то перехватил; недоразумение выяснилось, и мы оба долго смеялись. Хемингуэй объяснил, почему он рассердился: критики его ругают за «телеграфный стиль» романов. Я рассмеялся: «Меня тоже — «рубленные фразы...» Он добавил: «Одно плохо, что ты не любишь виски. Вино — для удовольствия, а виски — горючее...»

Многие тогда удивлялись: а что действительно делает Хемингуэй в Мадриде? Конечно, он был привязан к Испании. Конечно, он ненавидел фашизм. Еще до испанской войны, когда итальянцы напали на Эфиопию, он открыто выступил против агрессии. Но почему он оставался в Мадриде? Сначала он работал с Ивенсом над фильмом; посылал изредка в Америку очерки. Жил он на Гран-Вия в гостинице «Флорида», недалеко от здания телефонной станции, по которому все

время была фашистская артиллерия. Гостиница была продырявлена прямым попаданием фугаски. Никого в ней не оставалось, кроме Хемингуэя. Он варил на сухом спирту кофе, ел апельсины, пил виски и писал пьесу о любви. У него был домик в настоящей Флориде, где он мог бы заниматься любимым делом — ловить рыбу, мог бы есть бифштексы и писать спокойно свою пьесу. В Мадриде он всегда бывал голодным, но это ему не мешало. Его звали в Америку; он сердито откладывал телеграммы: «Мне и здесь хорошо...» Он не мог расстаться с воздухом Мадрида. Писателя привлекали опасность, смерть, подвиги. А человек говорил прямо: «Нужно расколотить фашистов». Он увидел людей, которые не сдались, и ожил, помодел.

В «Гайлорде» Хемингуэй встречался с нашими военными. Ему нравился Хаджи, человек отчаянной смелости, который ходил во вражеский тыл (он был родом с Кавказа и мог легко сойти за испанца). Многие из того, что Хемингуэй рассказал в романе «По ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял со слов Хаджи. (Хорошо, что хоть Хаджи выжил! Я его как-то встретил и обрадовался.)

Я был с Хемингуэем у Гвадалахары. Он знал военное дело, быстро разобрался в операции. Помню, он долго глядел, как выносили из укрытий ручные гранаты итальянской армии — красные, похожие на крупную клубнику — и усмехался: «Побросали все... Узнаю...»

В первую мировую войну Хемингуэй сражался добровольцем на итало-австрийском фронте; он был тяжело ранен осколками снаряда. Увидав войну, он ее возненавидел. Ему нравилось, что итальянские солдаты охотно бросают винтовки. Герой его романа «Прощай, оружие!» Фред Генри мог только одобрить их. Шла жестокая, бессмысленная война: машинная цивилизация, переживая свое отрочество, пожирала ежедневно десятки тысяч людей. Хемингуэй был вместе с Фредом. Он (не Эрнест Хемингуэй, а Фред Генри) полюбил англичанку Кэтрин; любовь эта, как и в других романах Хемингуэя, — изумительный сплав чувственности и целомудрия. Фред распрощался с оружием: «Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир».

А у Гвадалахары, на Хараме, в Университетском городке Хемингуэй любовно оглядывал пулеметы интербригадовцев. Древние римляне говорили: «Времена меняются, и мы меняемся

вместе с ними». При одной из наших первых встреч Хемингуэй сказал мне: «Я не очень-то разбираюсь в политике, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю. Здесь люди сражаются за чистое дело».

Хемингуэй часто ездил на КП Двенадцатой бригады, которой командовал генерал Лукач — венгерский писатель Мате Залка. В годы первой мировой войны они сидели друг против друга в окопах двух враждовавших армий. Под Мадридом они дружески беседовали. «Война — пакость», — вздыхая, признавался веселый обычно Мате Залка. «И еще какая! — отвечал Хемингуэй, а минуту спустя продолжал: — Теперь, товарищ генерал, покажите мне, где артиллерия фашистов...» Они долго сидели над картой, испещренной цветными карандашами.

(У меня случайно сохранилась маленькая любительская фотография у Паласио Ибарра: Хемингуэй, Ивенс, Реглер и я. Хемингуэй еще молодой, худой, чуть улыбается.)

Как-то Хемингуэй сказал мне: «Формы, конечно, меняются. А вот темы... Ну о чем писали и пишут все писатели мира? Можно сосчитать по пальцам — любовь, смерть, труд, борьба. Все остальное сюда входит. Война, конечно. Даже море...»

В другой раз мы разговаривали о литературе в кафе на Пуэрта-дель-Соль. Это кафе чудом уцелело между двумя разбитыми домами. Подавали там только апельсиновый сок с ледяной водой. День был скорее холодным, и Хемингуэй вытащил из заднего кармана флягу, налил виски. «Мне кажется, — говорил он, — никогда писатель не может описать все. Есть, следовательно, два выхода — описывать бегло все дни, все мысли, все чувства или постараться передать общее в частном — в одной встрече, в одном коротком разговоре. Я пишу только о деталях, но стараюсь говорить о деталях детально». Я сказал ему, что во всех его произведениях меня больше всего поражает диалог — не понимаю, как он сделан. Хемингуэй усмехнулся: «Один американский критик уверяет, и всерьез, что у меня короткий диалог, потому что я перевожу фразы с испанского на английский...»

Диалог Хемингуэя так и остался для меня загадкой. Конечно, когда я читаю роман или рассказ, которые меня увлекают, я не думаю над тем, как они сделаны. Читает читатель, но потом писатель невольно начинает задумываться над тем, что связано с его ремеслом. Когда мне понятен прием, я могу сказать, что книга написана плохо, средне или хорошо, очень

хорошо, она может мне понравиться, но она меня не потрясает. А диалог в книгах Хемингуэя остается для меня загадкой. В искусстве, может быть, самое большое, когда не понимаешь, откуда сила. Почему я полвека повторяю про себя строки Блока:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла...

Нет здесь ни новой мысли, над которой задумаешься, ни непривычных слов. Так и с диалогом Хемингуэя: он прост и загадочен.

Л. Ю. Брик, когда к ней однажды пришли гости, сказала, что поставит магнитофон; потом мы услышали наш разговор, и стало неприятно — мы говорили длинными «литературными» фразами. Герои Хемингуэя говорят иначе: коротко, как бы незначительно, и вместе с тем каждое слово раскрывает душевное состояние человека. Когда мы читаем его романы или рассказы, нам кажется, что именно так говорят люди. А на самом деле это не подслушанные фразы, не стенографическая запись — это эссенция разговора, созданная художником. Можно понять американского критика, решившего, что по хемингуэевски говорят испанцы. Но Хемингуэй не переводил диалога с одного языка на другой — он его переводил с языка действительности на язык искусства.

Человек, случайно встретивший Хемингуэя, мог подумать, что он — представитель романтической богемы или образцовый дилетант: пьет, чудачит, колесит по миру, ловит рыбу в океане, охотится в Африке, знает все тонкости боя быков, неизвестно даже, когда он пишет. А Хемингуэй был работягой; уж на что развалины «Флориды» были неподходящим местом для писательского труда, он каждый день сидел и писал; говорил мне, что нужно работать упорно, не сдаваться: если страница окажется бледной, остановиться, снова ее написать, в пятый раз, в десятый...

Я многому научился у Хемингуэя. Мне кажется, что до него писатели рассказывали о людях, рассказывали порой блистательно. А Хемингуэй никогда не рассказывает о своих героях — он их показывает. В этом, может быть, объяснение того влияния, которое он оказал на писателей различных стран; не все, конечно, его любили, но почти все у него учились.

Он был моложе меня на восемь лет, и я удивился, когда он мне рассказал, как жил в Париже в начале двадцатых годов — точь-в-точь как я на восемь лет раньше; сидел за чашкой кофе в «Селекте» — рядом с «Ротондой» — и мечтал о лишнем рога-лике. Удивился я потому, что в 1922 году мне казалось, что героические времена Монпарнаса позади, что в «Селекте» сидят богатые американские туристы. А там сидел голодный Хемингуэй, писал стихи и думал над своим первым романом.

Вспоминая прошлое, мы узнали, что у нас были общие друзья: поэт Блез Сандрар, художник Паскин. Эти люди чем-то напоминали Хемингуэя; может быть, чрезмерно бурной жизнью, может быть, сосредоточенным вниманием к любви, к опасностям, к смерти.

Хемингуэй был человеком веселым, крепко привязанным к жизни; мог часами рассказывать о какой-то большой и редкой рыбе, которая проходит поблизости от берегов Флориды, о бое быков, о различных своих увлечениях. Однажды он неожиданно прервал рассказ о рыбной ловле: «А все-таки в жизни есть свой смысл... Я думаю сейчас о человеческом достоинстве. Позавчера возле Университетского городка убили американца. Он два раза приходил ко мне. Студент... Мы говорили бог знает о чем — о поэзии, потом о горячих сосисках. Я хотел познакомить тебя с ним. Он очень хорошо сказал: «Большого дерьма, чем война, не придумаешь. А вот здесь я понял, зачем я родился, — нужно отогнать их от Мадрида. Это — как дважды два...» — И, помолчав, Хемингуэй добавил: — Видишь, как получается, — хотел распрощаться с оружием, а не вышло...»

Он тогда писал: «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал». Это говорит один из героев Хемингуэя, но это повторял не раз и автор.

Запомнился еще один разговор. Хемингуэй сказал, что критики не то дураки, не то прикидываются дураками: «Я прочитал, что все мои герои неврастеники. А что на земле сволочная жизнь — это снимается со счета. В общем, они называют «неврастенией», когда человеку плохо. Бык на арене тоже неврастеник, на лугу он — здоровый парень, вот в чем дело...»

В конце 1937 года я возвращался из Теруэля в Барселону. У моря цвели апельсиновые деревья, а под Теруэлем, который расположен высоко, мы мерзли, чихали. Я приехал в Барсе-

лону продрогший, замученный и крепко уснул. Проснулся я оттого, что кто-то меня тряс: надо мной стоял Хемингуэй. «Ну что, возьмут Теруэль? — спросил он. — Я туда еду с Капой». В дверях стоял мой друг фотограф Капа (он погиб во время войны в Индокитае). Я ответил: «Не знаю. Началось хорошо... Но говорят, что фашисты подтягивают резервы». Я окончательно проснулся и в ужасе посмотрел на Хемингуэя — он был одет по-летнему. «Ты сошел с ума — там собачий холод!» Он засмеялся: «Топливо со мной», — и начал вытаскивать из разных карманов фляги с виски. Он был бодрым, улыбался: «Конечно, трудно... Но их все-таки расколотят...» Я дал ему имена испанских командиров, сказал, чтобы он нашел Григоровича: «Он тебе поможет». Мы распрощались на испанский лад — похлопали друг друга по спине. У Хемингуэя сохранилась фотография: я в постели, а он надо мной, и этот снимок был помещен в американской книге о его жизни.

Когда в июне 1938 года я вернулся в Испанию, Хемингуэя там уже не было. Запомнился он мне молодым и худым; я его не узнал, увидев десять лет спустя фотографию толстого дедушки с большой белой бородой.

Я с ним снова встретился в конце июля 1941 года. В Москве почти каждую ночь были воздушные тревоги; нас загоняли в убежище. Захотелось выспаться, и с Б. М. Лапиным мы решили провести ночь в Переделкине на пустовавшей даче Вишневского. Мне дали рукопись перевода романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Мы так и не выспались — с Борисом Матвеевичем всю ночь читали, передавая друг другу прочитанный лист. На следующий день Лапин должен был уехать под Киев, откуда он не вернулся. Громыкали зенитки, а мы все читали, читали. Роман был об Испании, о войне; и когда мы кончили, мы молча улыбнулись.

Это очень печальная книга, но в ней — вера в человека, любовь обреченная и высокая, героизм группы партизан во вражеском тылу, с которыми находится американский доброволец Роберт Джордан. В последних страницах книги — утверждение жизни, мужества, подвига. Роберт Джордан лежит на дороге с раздробленной ногой: он отослал своих товарищей. Он один. У него ручной пулемет. Он может застрелиться, но хочет, умирая, убить несколько фашистов. Хемингуэй прибег к внутреннему диалогу; вот короткий отрывок: «...Все шло так хорошо, когда ударил этот снаряд, — подумал он. — Но это еще

счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Коротковолновые передатчики — вот что нам нужно. Да, нам много чего нужно. Мне бы, например, хорошо бы иметь запасную ногу... Послушай, а может быть, все-таки сделать это, потому что, если я потеряю сознание, я не смогу справиться и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, всякие вопросы, и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо... Плохо ты с этим справляешься, Джордан, сказал он. Плохо справляешься. А кто с этим хорошо справляется? Не знаю, да и знать не хочу. Но ты — плохо. Именно ты — совсем плохо. Совсем плохо, совсем. По-моему, пора сделать это. А по-твоему? Нет, не пора. Потому что ты еще можешь делать дела. До тех пор, пока ты знаешь, что это ты должен делать дело. До тех пор, пока ты еще помнишь, что это ты должен ждать. Идите же! Пусть идут! Пусть идут! Ты думай о тех, которые ушли, сказал он. Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются по склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо... Я больше не могу ждать, сказал он. Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание... Но если дождешься и удержишь их хотя бы ненадолго или если тебе удастся убрать офицера, это может многое решить...» Внутренний диалог кончается: «Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу...»

Название романа Хемингуэй взял из стихов английского поэта XVII века Джона Донна и поставил эпиграфом: «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе; каждый человек есть часть материка, часть суши; и если волной смоеет в море береговой утес, меньше станет Европа, и также если смоеет край мыса или разрушит дом твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня; ибо я един со всем человечеством; а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе».

Эти стихи могут стоять эпиграфом ко всему, что написал Хемингуэй. Менялись времена, менялся и он, но неизменно в нем оставалось то ощущение связи одного человека со всеми, которое мы часто называем по-книжному «гуманизмом».

После смерти Хемингуэя я прочитал статью в одной американской газете: критик уверял, что гражданская война в

Испании была для писателя случайным эпизодом — между боем быков и охотой на носорогов. А это неправда. Хемингуэй не случайно оставался в осажденном Мадриде, не случайно во время второй мировой войны, будучи военным корреспондентом, вместо того чтобы сидеть в штабах, отправился к французским партизанам, не случайно приветствовал победу сторонников Фиделя Кастро. В его жизни была своя линия.

В августе 1942 года, в очень скверное время, я писал: «Хотелось бы встретить Хемингуэя после большой, всеевропейской Гвадалахары фашизма. Мы должны защитить жизнь — в этом призвание нашего злосчастливого поколения. А если не удастся мне, многим из нас увидеть своими глазами торжество жизни, то кто не вспомнит в последний час американца с разбитой ногой на кастильской дороге, маленький пулемет и большое сердце!»

Роман «По ком звонит колокол» многие поносили. Одно дело старик и море, другое — молодость и война за человеческое достоинство. Ругали роман разные люди и по-разному: одних возмутило, что Хемингуэй оправдывает войну и что, увлекшись временным, он забыл про искусство, другим не нравились описания отдельных эпизодов гражданской войны, третьим — страницы, посвященные Андре Марти. (Стоит писателю сказать нечто за пятьдесят лет или хотя бы за день до того, как это становится общеизвестной истиной, на него все обрушиваются. Но если бы писатели старательно переписывали аксиомы, то они были бы заправскими дармоедами.)

Когда я был весной 1946 года в Соединенных Штатах, я получил письмо от Хемингуэя; он звал меня к себе на Кубу; с нежностью вспоминал Испанию. Поехать на Кубу мне не удалось. Незадолго до смерти Хемингуэй мне передал привет: надеется, что скоро встретимся. Я тоже надеялся...

И вот короткая газетная телеграмма... Сколько раз сообщали о смерти Хемингуэя — и в 1944 году, и десять лет спустя, когда над Угандой разбился самолет, в котором он летел. Потом следовали опровержения. Теперь опровержения не было... Хемингуэй никогда не говорил мне о том, что его отец, врач, кончил жизнь самоубийством; об этом я узнал от общих друзей. Герой романа «По ком звонит колокол» в последнюю минуту думает: «Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится, но лучше бы не понадобилось. Я против этого. Не думать об этом». Хемингуэй решил вопрос иначе, не-

жели Роберт Джордан. Смерть как-то сразу вошла в его жизнь, и о нем можно сказать без натяжки: умер, как жил.

А я, оглядываясь на свой путь, вижу, что два писателя из числа тех, кого мне посчастливилось встретить, помогли мне не только освободиться от сентиментальности, от длинных рассуждений и кудрых перспектив, но и попросту дышать, работать, выстоять,— Бабель и Хемингуэй. Человеку моих лет можно в этом признаться...

24

Обязанности военного корреспондента, а может быть, и моя непоседливость заставляли меня все время кочевать. Один из шоферов, молодой Аугусто, ночью боялся заснуть у руля и просил: «Расскажи, какие дороги в Китае». Я ему говорил, что никогда в Китае не был; он скептически усмехался: «Удивительно! Я гляжу на тебя — не можешь две ночи подряд переночевать в одной комнате...»

Я просмотрел подшивку «Известий» за апрель 1937 года. 7-го я был возле Мората-де-Тахунья, где шли бои за «седьмую дорогу»; 9-го описывал атаку в Каса-дель-Кампо; 11-го писал про бомбежку Сагунто; 17-го сообщал из Валенсии о документах, найденных на немецком летчике; 21-го передавал из-под Теруэля об очередном наступлении; 26-го бродил по городу Пособланко на Южном фронте.

Да и разные у меня были занятия кроме газетной работы. В секретариате по пропаганде мне рассказали, что Франко мобилизовал молодых крестьян; нужно им объяснить, почему республиканцы воюют против фашистов; а листовок солдаты не подбирают — боятся.

Испанцы редко курят изготовленные на фабрике сигареты, предпочитают самокрутки. В республиканской Испании не было табака. У фашистов был табак, но не было папиросной бумаги, которая выдвигалась в Леванте; она поступала в продажу в виде маленьких книжечек. Я предложил на каждом десятке листочке напечатать то, что нужно, а книжечки с маркой старой солидной фирмы бросать в окопы противника. Дело оказалось сложным: пришлось самому ездить на фабрику, уговорить выполнить заказ.

Потом я видал перебежчиков с «пропуском» — листиком папиросной бумаги. Курить хотелось всем, и, хотя фашистские офицеры уверяли, будто бумага отравленная, «книжки» охотно подбирали.

Как-то в Валенсии, в гостинице «Виктория», где я обычно останавливался, ко мне подошел швейцарец, представитель Красного Креста. Он сказал, что в фашистской тюрьме находятся советские летчики, взятые в плен. Франкисты согласны их обменять на пленных немецких офицеров. Он дал мне список. Я сразу понял, что ни один из летчиков не назвал себя — фамилии были прозвищами, придуманными для Испании (почему-то часто выбирали отчества — Иванович, Михайлович, Петрович, и фамилии звучали, как сербские). Я тотчас передал список Г. М. Штерну.

Год спустя с сотрудником советского посольства я стоял возле моста, соединяющего французский пограничный город Андай (в наших газетах писали «Хендай») с испанским Ируном, захваченным в начале войны фашистами. Обмен произошел на мосту. Наши летчики выглядели ужасающе — измученные, изголодавшиеся, в лохмотьях. Мы их прежде всего накормили. Было это вечером, магазины давно позакрывались, а летчиков необходимо было одеть. Товарищи повели меня к владельцу магазина готового платья, который слыл «сочувствующим», объяснили ему, в чем дело; час спустя летчики могли сойти за иностранцев, возвращающихся с курорта. Они сдержанно, спокойно рассказывали о пережитом; только когда их провели в спальный вагон и они увидели постеленные койки, сверкающие простыни, один не выдержал — я увидел в его глазах слезы. Генерал Захаров, с которым я встречался в Испании, а потом на Белорусском фронте (он командовал авиационным соединением, куда входил французский полк «Нормандия — Неман»), недавно рассказал мне, что некоторые из этих летчиков живы, он знает, где они находятся. Я обрадовался: случайно я затесался в их судьбу.

Я не соблюдаю хронологической последовательности: в памяти клубок городов и дат; да я и не пытаюсь дать историю испанской войны; мне хочется рассказать о том, чем я жил и какой видел Испанию весной 1937 года.

Разные города жили по-разному. Мадрид был фронтом. Валенсия неожиданно стала столицей, искусственной и неправдоподобной, а Барселона оставалась Барселоной — большим горо-

дом, с буржуазией, с анархистами, с традициями баррикад и предательств, с сотнями баров на людной Параллели, с беспечностью и вместе с тем трагичностью. Появились карточки, очереди; но душа города не изменилась.

Я думал, что после февральского обстрела крейсером барселонцы насторожатся, одумаются. Но похоронили убитых, расчистили улицы — и жизнь потекла по-прежнему. Устроили Неделю войны: театры должны были ставить военные пьесы, по радио передавали антифашистские речи, на улицах пестрели плакаты «Все на фронт!». Пожалуй, это убедительнее всего говорило о легкомыслии Барселоны: тридцать пятую неделю ожесточенных боев и бомбежек объявили Неделей войны. Кончилась Неделя — и в театрах возобновили легкие комедии, а в витринах книжных магазинов вместо брошюр, изданных секретариатом пропаганды, снова появились романы, анархистские теоретические книги и сочинения, посвященные сексуальной проблеме.

Однако куда опаснее беззаботности были внутренние распри. Я был далеко от Каталонии, на Южном фронте, когда в Барселоне шли уличные бои между анархистами и штурмовой гвардией. Выдавать происшедшее только за провокацию так же наивно, как увлечение дореволюционных эсеров террором объяснять заданиями Азефа. Для анархистов государство было злом, и хотя в правительство Кабальеро входили представители СНТ, барселонская и арагонская вольница продолжала «углублять революцию». Когда в начале июня я снова увидел Барселону, я понял, что нет ни подлинного единства, ни доверия. Франко был далеко, и различные партии с опаской, порой с неприязнью поглядывали одна на другую. Каталонская буржуазия, вначале поддерживавшая Компаниса, была напугана и анархистами, и усилением власти центрального правительства. Рабочие, находившиеся под влиянием СНТ — ФАИ, считали, что коммунисты, объединившись с Прието, «предали революцию».

Правда, кое-где на Арагонском фронте колонны, став дивизиями, несколько подтянулись. Были в Барселоне рабочие, понимавшие, что прежде всего нужно разбить Франко. Помню собрание на заводе «Дженерал моторс»: решили работать по десяти часов в день, чтобы дать армии больше грузовиков; один старый синдикалист кричал: «Мало десять, нужно шестнадцать!..» Но куда чаще приходилось слышать ожесточенные

споры. Порой убивали из-за угла. Барселона, на вид веселая и беспечная, металась в лихорадке.

В Валенсии разместилось правительство, и город заполнили чиновники, беженцы из Мадрида, из городов, захваченных фашистами, дипломаты, журналисты. На площади Кастеллар висело давно вылинявшее полотнище: «Отсюда всего 150 километров до фронта!»

От Мадрида до фронта не было и пяти километров, но даже в Мадриде молодежь танцевала, суды разбирали дела о разводах, профсоюз официантов обсуждал новые ставки, и мальчишки выпрашивали у интербригадцев заграничные почтовые марки. А Валенсия, по испанским понятиям, была глубоким тылом. Не будь частых ночных тревог, а порой бомбежек да наплыва беженцев, можно было позабыть, что война в самом деле недалеко.

Бульвары были обсажены апельсиновыми деревьями, плоды валялись на земле. Стояли очереди за мясом, за молоком; апельсинов было слишком много, они гнили в порту, куда редко заглядывали иностранные суда. Кафе были переполнены; посетители гадали, где начнется наступление — под Мадридом, у Кордовы или на Арагонском фронте. Толковали и о других битвах — политические бури не притихали. Кабальеро вышел в отставку и обличал Прието. Помню, как все в Валенсии передавали последнюю новость: Кабальеро хотел выступить на митинге в Аликанте, но его задержали на дороге мотоциклисты. Председатель Арагонского комитета, непримиримый анархист Аскасо, отказался признать правительство Негрина. Асанья огорчился и молчал. Компанис говорил, но тоже огорчился. Каждый день в Валенсию приезжали командиры с различных фронтов, требовали оружия.

В одном из посольств Латинской Америки, куда пригласили журналистов, я увидел фашистов, вывезенных из Мадрида; какая-то дама повторяла: «Это такой ужас, такой ужас!»

В гостинице «Виктория», где я жил, иностранные журналисты пили коктейли, по вечерам играли в покер, жаловались на скуку.

Иногда устраивали митинги на площади. Иногда обнаруживали шпиона в «Виктории». Жара стояла несносная; с окрестных рисовых полей шла горячая сырость.

Зимой я часто встречался в Валенсии с Андре Мальро: его эскадрилья стояла неподалеку от города. Это человек, который

всегда живет одной страстью; я знал его в период увлечения Азией, потом Достоевским и Фолкнером, потом братством рабочих и революцией. В Валенсии он думал и говорил только о бомбежках фашистских позиций, а когда я заговаривал о литературе, дергался и замолкал. У французских добровольцев были старенькие, плохие самолеты, но, пока республиканцы не получили советской техники, эскадрилья, созданная Мальро, сильно им помогла. Однажды он рассказал мне эпизод, который потом описал в романе «Надежда» и сделал стержнем снятого им в Испании фильма. Из фашистской зоны пришел крестьянин, сказал, что покажет, где находится фашистский аэродром. Крестьянина французы взяли с собой; но он не мог с высоты распознать местность. Летчику пришлось лететь на малой высоте. На аэродром сбросили бомбы, но самолет обстреляли, механик был тяжело ранен. В Валенсии для Мальро это было не литературным сюжетом, а боевыми буднями: он воевал.

В «Метрополе» жили некоторые наши военные. Во всех соседних домах жители разводили кур. Ксанти (майор Хаджи) ложился спать поздно, и на заре его неизменно будили петухи. Он жаловался: «Черт знает что! Да не будь я советским, я бы перестрелял всех петухов...»

Я поехал снова в Альбасете. До войны это был захолустный город, торговавший шафраном и ножами; достопримечательностей в нем не было, и туристы здесь не останавливались. В Альбасете формировались интернациональные бригады. Город подвергся сильным налетам фашистской авиации и напоминал разбомбленные предместья Мадрида. Мне запомнились в музее Христос на кресте со свежей раной от осколка бомбы и среди развалин большого кафе клочок старой афиши «Сегодня бал в Капитолии».

Пока я ходил по городу, в гостиницу пришли два человека из штаба Марти, обыскали мою комнату и нашли несколько номеров французской газеты «Тан». Они меня ждали и повели в штаб. Там выяснилось, что я — корреспондент «Известий», и кто-то, гаркнув, что произошло «недоразумение», пошел докладывать начальнику.

Часа два я проговорил с Андре Марти; это был человек честный, но легко подозревавший других в предательстве, вспыльчивый и не раздумывавший над своими решениями.

После этого разговора у меня осталась горечь: он говорил, а порой и поступал, как человек, больной манией преследования.

Я утешился вечером с интербригадовцами. Здесь были испанцы, французы, немцы, итальянцы, поляки, сербы, англичане, негры, русские эмигранты. Пели и «Молодую гвардию», как в предместьях Парижа, и традиционное «Красное знамя» итальянцев, и печальную песенку Мадрида о Французском мосте и четырех генералах, и нашу про волочаевские дни, и болгарские с понятными словами, с незнакомой восточной мелодией, похожие на водоворот звуков, вспоминали далекие города, шутили, подбадривали друг друга.

Много лет спустя на первых конгрессах сторонников мира, когда молоденькие делегаты пели, подымали вверх пестрые платочки, неистово аплодировали, я вспоминал Испанию: их отцов или старших братьев я видел в Альбасете, многие из них погибли под Мадридом, под Уэской, на Хараме. Не верится даже, что в тридцатые годы нашего века могла подняться из народных глубин большая и одинокая волна братства, самопожертвования. Верность заверяли тогда не подписями, не речами, а своей кровью. О каждом из этих людей можно было бы написать необыкновенную книгу. А книг не написали: пришла вторая мировая война, и потоки крови смыли кровавые капли на камнях Кастилии или Арагона.

В конце апреля я поехал в Андалузию, где шли бои за кусок земли, который называли «Эстремадурским клином». От Мотриля до Дон-Бенито — сотни километров. Можно с равным правом сказать, что никакого фронта там не было и что фронт был повсюду.

В окрестностях Гренады вершины гор были заняты республиканцами или фашистами, а между ними в долинах крестьяне, привыкшие к выстрелам, как к грозам, пасли отары овец. Порой даже дороги не охранялись. Я видел бойца-анархиста, который взял в плен двух фашистских офицеров — они прикатили в машине, не зная, где находится противник (а это было у Адамуса возле Кордовы, то есть на самом оживленном секторе Южного фронта).

Фашисты старались прорваться к Альмадену: их соблазняла ртутная руда. Несмотря на бомбежки, на голод, горняки продолжали работать. Фашистам подбросили итальянскую дивизию «Голубые стрелы», и они подошли вплотную к Пособланко. Этот городок отчаянно бомбили; его крошила артиллерия.

Силы были слишком неравными. Но республиканцы удержали Пособланко. Ими командовал кадровый полковник Перес Салес, по-старомодному учтивый, с седой щетиной. Трудно разгадать людей по виду; я глядел на него и думал: вот ехал бы я в поезде, а напротив сидел бы такой человек, да разве я понял бы, на что он способен?.. Перес Салес говорил мне: «Я не коммунист, не анархист, я, знаете ли, самый обыкновенный испанец. Ну что я мог сделать? Застрелиться нечестно. Вот в том окопе мы отстреливались. Два пулемета... У них было девять батарей. Только не подумайте, что это хвастовство. Я вам говорю: другого выхода у нас не было. Я мало разбираюсь в политике, но я испанец, я люблю свободу...»

На выручку защитников Пособланко пришел батальон, который назывался «Батальоном имени Сталина»; он состоял из андалузцев, главным образом горняков Линареса, где добывают свинец. Командовал батальоном толстый веселый южанин Габриель Годой. Он рассказал мне, что с детства работал на рудниках; походил он на добродушного медведя и признался, что пишет стихи.

В Андалузии было мало порядка, но еще много нерастроченного жара. В Хаэне меня заставили рассказывать о Маяковском; началась бомбежка, никто не двинулся с места, продолжали жадно слушать.

А бомбили Хаэн сильно; там я увидел сцену, которую мучительно вспоминаю даже после последней войны, после всего, на что мы нагляделись. Осколок бомбы сорвал голову девочки. Мать сошла с ума — не хотела отдавать тело дочки, ползала по земле, искала голову, кричала: «Неправда! Она живая...»

На одной из улиц Хаэна я долго глядел на старого гончара, который делал кувшины. Кругом были развалины домов, а он спокойно мял глину.

В Пособланко бомба снесла крышу суконной фабрики. Станки уцелели, и в полупустом городе, разбитом снарядами, без крова, без хлеба, рабочие возобновили работы; изготовляли солдатские одеяла. Я постоял и подумал: все-таки они должны победить! Это против логики, против здравого смысла — армия Франко становится все сильнее, но нет, мысль не мирится с тем, что останутся напрасными такое мужество, такая душевная щедрость.

Я возвращался из Пособланко в Валенсию; путь был долгим, можно было о многом подумать. Шофер, веселый андалу-

зец, пел печальные фламенко. А я почему-то вспомнил село Буньоль в Леванте; там было семь тысяч душ. Это село приютило три тысячи беженцев — из Мадрида, Малаги, Эстремадуры. В каждом доме я видел чужих детей. В одном доме меня заставили остаться, поставили на стол миску с супом. «Сколько вас?» — спросил я хозяйку. «Шестеро, а теперь еще трое — из Мадрида». — «Справляетесь?» Она улыбнулась: «Справляемся. А не хватит, потерпим, гостей не обидим...»

Вот об этом я тоже думал — о благородстве. Нигде я не stalkивался со скаредностью, с желанием сохранить свое добро или, хуже того, разбогатеть на чужой беде. Кормили меня хорошо — я был русским. Кормили Аугусто — он из Мадрида. Но кормили еще и Пепе, и Кончиту, и Фернандо, не спрашивая, откуда они, говорили: «Время такое...»

Полковник Перес Салес сказал, что воюет за свободу; я так и не добился от него, о какой свободе он думал, вероятно о главной — достойно прожить, достойно умереть. Анархист Пепе, тот, что дополз до окопов фашистов и раскидал курительную бумагу с призывами, говорил мне, что воюет за новый мир. Все будут трудиться. «Твой земляк Бакунин правильно рассуждал — к черту ангелов, министров, генералов, полицейских! Без них будет лучше...» Шофер был коммунистом; он сказал мне, что умнее всех Хосе Диас; когда расколотят фашистов, люди пойдут учиться; а ему хочется научиться писать такие пьесы, чтобы все плакали и смеялись, даже старый Перес Салес...

Была короткая южная весна, и в долинах зеленела трава, краснели маки. Иногда горы напоззали на дорогу, иногда раскрывалась даль: домик, несколько зеленых дубов, речушка. Мы пересекали Ламанчу. Вот, наверно, на этом постоялом дворе заночевал Рыцарь Печального Образа...

Я думал о книге, которую люблю с детства. Конечно, «Дон-Кихот» переведен на все языки, он волнует людей за тысячи верст от Ламанчи; но написать эту книгу мог только испанец. Есть в ней чудесный сплав пафоса и сатиры, благородства и унижения, жестокой морали басен и самой высокой поэзии; и напрасно придумали, что толстяк Санчо Панса противопоставлен Дон-Кихоту, их не разделить никакими испытаниями. Я думал об этом, потому что видел не раз, как шли рядом навстречу смерти Дон-Кихот и Санчо.

«Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском... и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком». Я вспомнил и эти слова. Зря я спрашивал старого полковника, о какой свободе он думает; он ведь сказал, что он испанец, Дон-Кихот из Пособланко, Дон-Кихот в 1937 году...

25

В Сариньене я часто бывал еще в те времена, когда ездил с кинопередвижкой. Теперь здесь помещалась группа наших советников. За столом сидел низкий плотный человек, очень мрачный; перед ним лежала карта и номер «Правды». Я сказал, что должен передавать в «Известия» о ходе боев за Уэску. Он налил мне из кувшина холодного чая. «Такой жары, кажется, еще не было...» Показал на карте деревню Чемильяс. «Задача — перерезать дорогу на Хаку. Ясно?» Он помолчал и вдруг скороговоркой спросил: «Новости знаете? Тухачевский, Якир, Уборевич — к расстрелу. Враги народа...» Он бросил на пол недокуренную папиросу, тотчас закурил другую и, наклонившись низко к карте, стал насвистывать что-то залихватское. Лицо у него еще сильнее помрачнело. Он долго рассматривал карту и, кажется, забыл о моем присутствии; полчаса спустя, взглянув на меня, угрюмо сказал: «Так вы говорите, в «Известия»?.. А Кольцов где?.. Дорога на Хаку, вот здесь домбровцы — командует Херасси, здесь гарибальдийцы — Паччарди... Лукач вам все расскажет. Он, кажется, еще в Каспе. Пейте — в машине будет хуже...»

День был действительно на редкость знойным. Кругом пылали скалы: ни дерева, ни травинки — рыжая каменная пустыня. Я сидел рядом с водителем и по глупости высунул в оконце голую руку — машина шла быстро, казалось, что хоть руку обдувает ветерок. В Каспе Лукача не оказалось, сказали, что он далеко — в Игриесе. Рука распухла, и меня лихорадило. Игриес, с глиняными домиками на склоне голой горы, напоминал раскаленный аул. Там я в последний раз увидел генерала Лукача, или, говоря точнее, Мате Залку. Обидно, что я плохо

запомнил ту встречу: мне было не по себе, может быть от ожога, может быть и от разговора в Сариньене. Залка был усталым, признался, что у него мигрень; ругал меня: «Руку вы должны беречь: как-никак писатель...» Только прощаясь, он вдруг улыбнулся: «Скажите, вам не хочется на дачу? Ну на денек?..»

На следующий день я поехал из Барбастро в Игриес; там мне сказали, что КП Лукача в деревне Апиес. Мы ехали по дороге, которая петляла, несколько раз я спрашивал, туда ли мы едем; вдруг один боец, сам не свой, выкрикнул: «На нижней дороге... Снаряд... Генерала...» Я повернул назад; мы ехали долго. Каменный дом: здесь госпиталь. Сначала меня не пустили; потом пришел врач. «Лукач в безнадежном состоянии. Реглеру сделали переливание крови, его жизнь вне опасности, но ранение тяжелое. Шофер ранен в голову, он сидел рядом с генералом. Ваш соотечественник отделался легко — рана в ногу; его только что увезли...»

Я передал в «Известия», что Залка убит, Реглер ранен. На следующий день, разговаривая с редакцией, я спросил, напечатано ли мое сообщение о Реглере, — я знал, что его жена в Москве, и боялся, что до нее может прийти телеграмма, напечатанная в одной из мадридских газет, о смерти Реглера. Мне ответили: в «Правде» напечатано, что Реглер убит. «Мы не можем опровергать «Правду»...» Я связался по телефону с Кольцовым, который был в Валенсии. Михаил Ефимович хмыкнул: «Ну и дураки!.. Хорошо, сейчас передам. Кланяйтесь Реглеру... Мате жалко...»

На следующий день началось наступление. Я звонил по два раза в день: Чемильяс, Сан-Рамон, «хейнкели», «фиаты», воздушные бои, атаки, контратаки...

Наступление не удалось. Части, стоявшие вокруг Уэски, бездействовали. Бои шли только за дорогу на Хаку. Танки опоздали. У интербригадовцев потери были большие. Пять или шесть дней спустя все кончилось.

Я сейчас думаю не об Уэске — о генерале Лукаче. Рассказывая о людях, которых я знал, я начинаю рассказ с того дня, когда я их впервые увидел или когда случайное знакомство превратилось в нечто другое, когда они вошли в мою жизнь; а рассказ о Мате Залке я начал с его смерти; она меня погрязла.

Да и узнал я его незадолго до конца; все мои воспоминания относятся к марту — апрелю 1937 года: Бриуэга, различные КП, потом две деревни, где Двенадцатая бригада отдыхала (под бомбежками), — Фуэнтес и Меко, снова КП возле Мората-де-Тахунья, Мадрид и выжженная деревня Игриес.

В Советском Союзе я раза два или три видел Мате Залку; но мы здоровались, и всё, а общих друзей у нас не было. Мате Залку я не знал — встретил и полюбил генерала Лукача, венгра, защищавшего испанский народ, писателя, променявшего письменный стол на поле боя.

Конечно, когда я беседовал с Лукачем, я видел Мате Залку; хотя он много в жизни провоевал, он не стал военным; его подход к людям был продиктован участливостью, пониманием писателя, который знает куда лучше клубки страстей, нежели квадраты карты.

Я перечитал его роман «Добердо»; видно, что у Залки был настоящий дар, но его жизнь сложилась так, что в литературе он до конца чувствовал себя неуверенным дебютантом. Ему не было и восемнадцати лет, когда он выпустил книжицу рассказов. А отец готовил его для другой карьеры: до срока отдал в армию. Молодой Мате попал в военную школу, потом на фронт. В 1916 году он оказался в плену, послали его в лагерь, в далекий Хабаровск. После Октябрьской революции он составил отряд из бывших военнопленных и сражался на Дальнем Востоке за Советскую власть, воевал на Урале, на Украине, принял участие в освобождении Киева, в 1920 году участвовал в штурме Перекопа. Кончилась война, но Залка продолжал жить бурно, служил в продотрядах, писал агитационные рассказы; сблизился и подружился с Фурмановым; ходил на собрания рапповцев. Только в тридцатые годы он всерьез задумался над своей писательской работой и роман «Добердо» кончил за несколько недель до отъезда в Испанию. Залка родился писателем. Войны навязывала эпоха, а место в строю подсказывала совесть.

После победы у Гвадалахары и до операции у Мората-де-Тахунья (ее называли «разведкой боем», и она стоила многих жертв) в деревне Фуэнтес Мате Залка мне говорил: «Если меня не убьют, напишу лет через пять... «Добердо» — это все еще доказательства. А теперь и доказывать ни к чему — каждый камень доказывает. Надо только суметь показать человека, какой он на войне. И не сорвать голоса... Я не люблю крика...»

Когда Залка погиб, ему был сорок один год. Незадолго до смерти, в день своего рождения, он писал: «Думал о судьбе, о превратностях жизни, о прошедших годах и остался собой недоволен. Мало сделано. Мало успехов. Мало достигнуто». Снисходительный к другим, он был строг к себе. А на его писательском пути то и дело оказывались «превратности жизни».

Валенсия торжественно хоронила прославленного генерала Лукача, только несколько боевых друзей знали, что прощаются с Мате Залкой, с писателем, не написавшим той большой книги, о которой он мечтал.

Веселый, общительный, он любил тишину; чуть ли не всю жизнь слышал пальбу, спал, как он говорил, «держа ухо на земле», а умел слышать биение человеческого сердца; он громко жил, но говорил тихо.

Может быть, писательский дар помогал ему понять солдата? Его все любили, а командовал он людьми, у которых не было не только общего языка, но порой и общих идей; в частях, находившихся под его командованием, были польские шахтеры, итальянские эмигранты — коммунисты, социалисты, республиканцы, рабочие из красных предместий Парижа и французские антифашисты всех оттенков, виленские евреи, испанцы, ветераны первой мировой войны, зеленые подростки.

Я ездил в штаб Двенадцатой бригады и с Хемингуэем, и с Савичем, и один. Почему-то все мы любили бывать у Лукача, у его боевых друзей. Советником бригады был умный и душевный Фриц (я о нем упоминал). Непосредственными помощниками Лукача были двое болгар — порывистый, неуемный Петров (Козовский) и начальник штаба, тихий, скромный Белов (Луканов). Помню, в Фуэнтес они раздобыли козленка, и Петров жарил его на сухой лозе; вышел настоящий пир. Испанский художник, мой давний друг Фернандо Херасси работал сначала в штабе Залки, потом командовал батальоном. Был я в Меко со Стефой, которая приезжала повидать мужа. Адъютанта Залки Алешу Эйснера я тоже знал по Парижу. Его увезли из России, когда он был мальчиком: в Париже он писал стихи и произносил страстные коммунистические речи на любом перекрестке. В Испании он ездил на коне, обожал генерала Лукача, заводил литературные разговоры и с восхищением поглядывал на Хемингуэя. В Москву он приехал в скверное время и узнал на себе, что такое «культ личности». Отрезанный от мира, он душевно сохранился лучше многих,

и в 1955 году я увидел того же энтузиаста. Комиссаром бригады был Реглер; он тоже любил поговорить о литературе и все время что-то записывал в тетрадку. Залка смеялся: «Смотри, он уж обязательно роман напишет, и толстый...» Среди командиров батальонов помню Янека, французского социалиста Бернара, храброго и обаятельного Паччарди. Венгр Нибург всегда ходил чуть опираясь на палку. Так он пошел в атаку на следующий день после смерти Лукача и погиб.

Раненый Реглер, придя в сознание, сказал: «Идите к Лукачу, нужно спасти Лукача...» (От него скрыли, что генерал убит.) А два дня спустя среди бойцов я встретил щедедушного еврея, сына галицийского хасида, путавшего все языки Европы, четыре раза раненного под Мадридом; он всхлипывал: «Это был человек...»

В Мората-де-Тахунья Лукач был мрачен, говорил: «Это испанское Добердо». Нужно было прощупать противника, занять сильно укрепленные позиции и на завтра их оставить. Лукач волновался перед наступлением на Уэску: понимал, что вся тяжесть удара ляжет на интербригадовцев. Людей он берег, а себя нет и погиб оттого, что, торопясь на КП, поехал по обстреливаемой дороге, по которой запрещал ездить другим.

Хемингуэй, когда мы возвращались в Мадрид из Фуэнтес, сказал мне: «Я не знаю, какой он писатель, но я его слушаю, гляжу на него и все время улыбаюсь. Замечательный человек!..»

Лукач был веселым, всех умел развеселить — бойцов, крестьян, журналистов. Был у него свой номер: на зубах он выщелкивал различные арии; пел, и каких только песен он не знал! Однажды он при мне пошел танцевать с испанскими крестьянками, танцевал лихо и, вернувшись к нам, сказал: «Не забыл. Все-таки венгерский гусар...»

Он любил Венгрию; как-то сказал мне: «Жалко, что вы не видели пусты. Я здесь часто вспоминаю... Венгрия очень, очень зеленая...»

Его называли Матвеем Михайловичем; он долго прожил в Советском Союзе; там оставил жену, дочку, называл их «моим тылом»; любил нашу страну, рассказывал, как хорошо летом на Полтавщине, любил русский характер и все же оставался венгром — сказывалось это и в певучем выговоре слов, и в

поэтичности, и в душевной порывистости, которую он старался тщательно скрыть.

«Война — ужасная пакость» — это он не раз говорил; не было в нем никакого удалства, никакой воинственной позы. Вернувшись в Москву, я прочитал его письма жене, дочери. Он писал прямо, как на духу: «Теперь ночь, темно и сыро. На душе слегка неуютно. Но на войне бывают неуютные минуты...» «Твое и Талино письмо получил сегодня. Хожу праздничный, счастливый. Все спрашивают: «Что с вами вдруг? Как будто вы навеселе?» — «Ничего», — говорю я. Не хочу делиться счастьем ни с кем. Вот какой стал эгоист...» «В этот день у нас было удивительно тихо. В промежутках, когда людские голоса утихали, среди весенних кустов птичье пение делалось совершенно нестерпимым...» Не знаю, чего больше в таких признаниях — честности или мудрости.

Я писал, что испанская эпопея была последней волной; какая-то эпоха на ней кончилась. Я вижу комнату Лоти в «Гайлорде». Я зашел на минуту по делу. Лоти меня оставил поужинать. Было много народу: наши военные — Гришин (Я. Берзин, один из тех латышей, которые в первые месяцы революции охраняли Ленина), Григорович — Штерн, командир танковой части — высокий, крепкий Павлов, Мате Залка, привлекательный умный югослав Чопич, Янек. Мы были веселы, смеялись, а почему, не помню. (Из этих людей только я остался в живых. Залку убил вражеский снаряд. А других ни за что ни про что загубили свои.)

В Меко, пока Фернандо разговаривал со Стефой, мы с Залкой сидели на земле. Было уже тепло, все кругом зеленело. Залка говорил: «Вот у Фернандо маленький сын Тито, а мою дочку зовут Талочка, кончает школу. В общем, это глупо звучит, как в Художественном театре, но это же правда — небо все-таки будет в алмазах! Если в это не верить, трудно прожить день...» Мате Залка многого тогда не знал, как все мы. А теперь я думаю с печалью: он был прав, и «алмазы» — не глупая выдумка, алмазы будут, только все много дольше и много труднее...

По библейскому преданию, грешные Содом и Гоморра могли бы спастись, если бы там нашелся десяток праведников. Это верно по отношению ко всем городам и ко всем эпохам. Одним из таких праведников был Мате Залка, генерал Лукач, милый Матвей Михайлович.

Я знал, что наступление, которое должно было начаться в районе Брунете,— военная тайна, и никому об этом не рассказал. За неделю до начала боев шофер Аугусто сказал мне: «Что же ты едешь в Барселону? Прозеваешь представление. Свояк мне вчера сказал, что наши ударят на Брунете. Только смотри — это военная тайна...» Так бывало в Испании всегда: журналисты, телефонистки, интенданты, шоферы передавали «по секрету» приятелям о готовящейся операции. Вдруг кого-то судили за шпионаж. Болтать, однако, продолжали.

Казалось, я должен был радоваться: Ассоциация писателей, над созданием которой я потрудился, собирает конгресс в Мадриде, как было решено еще перед началом войны. Это приподымет испанцев. Да и на всех произведет впечатление — впервые писатели соберутся, чтобы договориться о защите культуры в трех километрах от фашистских окопов. А я, признаюсь, в душе злился: предстоящие военные операции занимали меня куда больше, чем конгресс.

Несмотря на неудачу боев под Уэской, я снова предавался мечтаниям. Арагонский фронт далеко, там много нестойких частей. Что ни говори, колонны анархистов, даже если их называют теперь дивизиями, мало пригодны для современной войны. Так говорили военные, и я им верил. (Один автор еще в 1955 году писал в своей книге воспоминаний, что наступление на Уэску сорвалось из-за смерти генерала Лукача, которого будто бы погубили анархисты и «поумовцы». Я знал, конечно, и тогда, что Мате Залка погиб не по вине анархистов, но провал наступления частично объяснял небоеспособностью многих воинских частей.) Другое дело Мадрид: здесь порядок, 11-я дивизия Листера, интербригадовцы, наши танки...

(Оглядываясь теперь на прошлое, я вижу, что первая половина 1937 года была решающей. После мартовской победы у Гвадалахары не только мы, в Испании, но и военные специалисты, писавшие в английских или французских газетах, считали, что армия Франко в опасности. Наше лобовое наступление в Каса-дель-Кампо не удалось. Италия и Германия продолжали подбрасывать людей и технику. Разыгралась междоусобная война в Каталонии. Кабальеро носился с планом

наступления на Южном фронте. Бои за Пеньярою вначале всех обнадежили; но вскоре фашистам удалось восстановить положение. Военные говорили, что напрасно было рассчитывать на Южный фронт, — там мало сил, плохие коммуникации. Сменилось правительство, был принят план наступления на Уэску. Месяц спустя командование решило прорвать вражеский фронт в районе Брунете. Всякий раз первые дни приносили успехи республиканцам; но Франко быстро подтягивал резервы; немецкая авиация, куда более многочисленная, чем наша, бомбила дороги, и очередное наступление выдыхалось.)

Я ехал в Барселону, чтобы встретить делегацию советских писателей, и думал о предстоящих боях за Брунете. Кольцов мне сказал: «Вы должны теперь думать только о конгрессе, вы — в секретариате; в общем, все это затеяли вы. А с меня хватит советской делегации...» Я ответил: «Хорошо», — и все-таки мало думал о конгрессе.

До Барселоны мне не пришлось доехать. Неподалеку от Валенсии, в курортном местечке Беникарло на берегу моря, я увидел в ресторане многих делегатов; они ели уху. В. П. Ставский вытирал салфеткой лицо и жаловался: «Жарища — умереть можно!.. А уха, знаете, у нас лучше...»

Судя по газетам того времени, конгресс удался. Конечно, крупных имен было меньше, чем на конгрессе 1935 года, — не всех соблазняли бомбы и снаряды. Многие писатели, получив приглашение, ответили, что обсуждать литературные проблемы в такой обстановке — ребячество, никому не нужная романтика. Мешала и полиция разных стран: Франс Элленс, например, хотел приехать, но бельгийцы ему не дали паспорта. Все же в Испании были писатели с именем: Антонио Мачадо, Андерсен-Нексе, А. Толстой, Жюльен Бенда, Мальро, Людвиг Ренн, Шамсон, Анна Зегерс, Спендер, Гильен, Фадеев, Бергамин и многие другие.

Кто-то шутя назвал конгресс «бродячим цирком». Мы начали в Валенсии 4 июля, выступали в Мадриде, снова в Валенсии, в Барселоне, а кончили в Париже две недели спустя. Состав участников менялся — в Валенсии выступал Альварес дель Вайо (он был и на конгрессе в Париже в 1935 году как эмигрант), но, будучи министром, не смог поехать с нами дальше. Людвиг Ренн появился только в Мадриде: он командовал частью и остался на фронте. В Париже выступали Генрих Манн, Арагон, Хьюз, Пабло Неруда. Кажется, имелся по-

рядок дня, но никто о нем не думал. Характер выступлений менялся в зависимости от обстановки.

В Мадриде, под обстрелом, конгресс напоминал митинг, а пестрые его участники на улицах города, храбрившиеся, но необстрелянные, производили впечатление знатных гостей, делегации английских парламентариев или американских квалеров.

В Валенсии, где находилось правительство, все было торжественно; нас приветствовал писатель Мануэль Асанья, он же президент Испанской республики; устроили банкет с тостами; минутами казалось, что никакой войны нет, а собрался очередной съезд пэн-клубов.

В Барселоне на эстраде сидел Компанис, а Микитенко рассказывал о расцвете национальной культуры в социалистическом обществе.

В Париже сняли театр Сен-Мартен; народу пришло очень много, кричали: «Долой невмешательство!» Но того подъема, который мы видели на конгрессе в 1935 году, больше не было. Народный фронт трещал. Многие из левых интеллигентов, хотя они и кричали с другими: «Долой невмешательство!» — слушая рассказы о Мадриде, о Гернике, про себя думали: «Все-таки хорошо, что у нас мир!» До Мюнхена было уже недалеко...

Речей было много. Мне запомнилось выступление Хосе Бергамина, очень худого, носатого, с темными печальными глазами. Я теперь взял газету, где цитировал его речь: «Слово хрупко, испанский народ называет одуванчик, цветок, жизнь которого зависит от вдоха, «человеческим словом». Хрупкость человеческих слов бесспорна... Слово не только сырье, над которым мы работаем, это наша связь с миром. Это — утверждение нашего одиночества и вместе с тем отрицание нашей отъединенности... Лопе де Вега сказал: «Кровь кричит о правде в немых книгах». Кровь кричит в нашем бессмертном Дон-Кихоте. Это вечное утверждение жизни против смерти. Вот почему испанский народ, верный гуманистическим традициям, принял этот бой...» Теперь я понимаю, почему меня взволновали слова Бергамина: он выразил то, о чем я смутно думал, пересекая Ламанчу.

Было много и других хороших речей; если они мне не запомнились, то виноваты в этом не ораторы. В жизни я часто выступал против сентенции древних римлян: «Среди оружия

музы молчат». Мне не нравилась и не нравится мораль этого изречения так, как ее обычно толкуют: когда на дворе буря, поэту лучше помолчать, выждать. Но сейчас я спрашиваю себя: не понимали ли древние римляне этих слов иначе? У них был богатый опыт, то и дело они воевали; может быть, они просто подметили, что голос поэта не покрывает шума войны, хотя в те времена не было не только атомных бомб, но и мушкетеров?.. Летом 1937 года в Мадриде речи писателей как-то не звучали. Восхищались мы другим. Пришли бойцы, принесли трофеи — знамя фашистского полка, только что захваченное в боях у Брунете. Привезли из госпиталя Реглера, он шел, опираясь на палку, не мог говорить стоя, попросил разрешения сесть, и зал встал из уважения к ране солдата. Реглер говорил: «Нет других проблем композиции, кроме проблемы единства в борьбе против фашистов». Это чувствовали в ту минуту все — и писатели, и бойцы, пришедшие нас приветствовать. Горячо встречали писателей, которые воевали: Мальро, Людвиг Ренна, молоденького испанского поэта Апарисио и других.

Выступления многих советских писателей удивили и встревожили испанцев, которые мне говорили: «Мы думали, что у вас на двадцатом году революции генералы с народом. А оказывается, у вас то же самое, что у нас...» Я старался успокоить испанцев, хотя сам ничего не понимал. Кажется, только А. Л. Барто, говоря о советских детях, не вспомнила про Тухачевского и Якира; другие, повышая голос, повторяли, что одни «враги народа» уничтожены, другие будут уничтожены. Я попытался спросить наших делегатов, почему они говорят об этом на конгрессе писателей, да еще в Мадриде; никто мне не ответил; а Михаил Ефимович хмыкнул: «Так нужно. А вы лучше не спрашивайте...»

Фашисты по радио издевались над конгрессом. Ночью, однако, они проявили к нему некоторый интерес: начали палить из орудий по центру Мадрида. Почти все делегаты отнеслись к этому спокойно; нашлись и такие, приехавшие из спокойных стран, которые перепугались; о них потом рассказывали смешные истории, но в общем обстрел был сильным, а на войне порой бывает страшно, особенно с непривычки.

Грохот стоял отчаянный, заснуть было невозможно. Я долго беседовал с Жюльеном Бенда. Ему тогда было семьдесят лет, но держался он бодро, весь день ходил, осматривал город, позиции, а когда ночью начался обстрел, сказал мне, что он

вообще спит мало, и не обращал никакого внимания на разрывы. Он говорил о конгрессе, считал, что мы правильно сделали, созвав его в Мадриде: «Сейчас главное — показать, что люди, которым дорога культура, на линии огня». Некоторые выступления он критиковал с легкой усмешкой: «Ваши друзья придадут чересчур много значения Андре Жиду. Он никогда не скрывал своего презрения к рационализму, он последовательно непоследователен. Вы поверили в его общественную ценность, сделали из него апостола, а теперь предаете его анафеме. Это смешно, особенно здесь — в Мадриде. Андре Жид — птичка, которая свила гнездо на «ничьей земле»; стрелять нужно, как стреляют фашисты, — по батареям противника...»

Наступление на Брунете началось 6 июля утром. Вечером В. В. Вишневский отвел меня в сторону. «Давайте поедем в Брунете! Возьмем Ставского, он просится. Мы — старые солдаты. А я для этого и приехал...»

Всеволод Витальевич был человеком чрезвычайно эмоциональным; чем-то он напоминал хорошего испанского анархиста. Когда он начинал говорить, он сам не знал, куда его занесет и чем он кончит. Он был прекрасным оратором, говорил лучше, чем писал; многие ленинградцы мне рассказывали, что в годы блокады его выступления по радио помогали людям. Иногда он приводил в ужас нашу аудиторию тех лет: люди боялись не только сказать, но и услышать что-нибудь идущее дальше положенного, а Вишневский, войдя в жар, не помнил об установках. Как-то у А. Я. Таирова, рассердившись на меня, он выхватил револьвер, точь-в-точь как Дуррути. Он ругал Запад, говорил, что он — матрос, простецкий, народный, и одновременно восхищался Джойсом, Пикассо. Фашистов он ненавидел и помог мне во время германо-советского пакта напечатать в «Знамени» первые части романа «Падение Парижа».

Я пошел к испанцам; они мне рассказали, что первый день прошел хорошо, заняли Брунете, сейчас идут бои за Вильянуэва-де-Каньяда. Положение, однако, неустойчивое, Брунете почти в мешке, фашисты могут перерезать дорогу; во всяком случае, делегатов, приехавших на конгресс, везти туда не стоит, пускай лучше поедут на Хараму или посмотрят Карбанчель.

Вернувшись, я сказал Вишневскому: «Ничего не выйдет — не советуют». Он совершенно потерял голову, кричал: «А я думал, что вы смелый человек...» Я рассердился и ответил, что

лично я поеду в Брунете, мне нужно передать в газету, что там происходит; у меня есть машина; испанцы меня просили не брать с собой писателей, приехавших на конгресс, но если он настаивает, то пожалуйста: завтра в пять утра поедем.

Жара в те дни стояла невыносимая. Я с ужасом вспоминаю ночи в комнате с закрытым черными шторами окном. Приходилось простаивать час, а то и два в душной кабинке и передавать в газету по телефону («не слышно — по буквам»), какие ораторы выступили на заседании и какие деревушки заняты республиканской армией.

На солнце тела убитых быстро загорали, темнели, и Ставский принимал всех мертвых за противников — у франкистов на этом секторе были батальоны марокканцев.

Я взял с собой фляжку. Ставский и Вишневский сразу выпили воду. Я уже знал, что лучше до захода солнца не пить — замучает жажда. Они действительно страдали и выпрашивали у бойцов глоток воды.

Когда мы шли в Брунете, я встретил знакомых командиров из батальона «Эдгар Андре»; они сказали, что дорогу сильно простреливают, лучше дальше не идти. Я ответил, что нам нужно обязательно в Брунете. «Только не задерживайтесь, — сказали они, — фашисты готовятся контратаковать».

Из Брунете фашистов выбили сразу, и в домах мы увидели накрытые столы, недоконченный обед. В помещении фаланги валялись листовки, плакаты, речи Геббельса, переведенные на испанский язык. Вишневский собирал «трофеи» — фашистские значки, флаги, раскиданные документы с печатями; просил меня переводить надписи на стенах; словом, мы замешкались. Когда мы шли в Вильянуэва, Ставский нашел фашистский шлем, надел на голову и обязательно захотел, чтобы я сфотографировал его и Вишневого.

Мы возвращались назад. Возле Вильянуэва-де-Каньяда дорогу сильно обстреливали. В. П. Ставский крикнул: «Ложитесь! Я говорю вам как старый солдат!..»

Вишневский полз и в восторге вскрикивал: «Ух! Ну, этот совсем близко! Черти, пристрелялись!..»

Когда мы вернулись в Мадрид, они стали рассказывать Фадееву, как мы замечательно съездили. А я пошел передавать отчет в газету.

За эту экскурсию мне влетело. Один из наших военных (кажется, это был Максимов) кричал: «Кто вам

дал право подвергать наших писателей опасности? Безобразия!..» Я смущенно заметил, что я тоже писатель. Это его не обезоружило. «Вы другое дело. Вы, Кольцов ездите по службе. А у нас есть указания делегатов ограждать...» Он вдруг переменял тон: «Ну что вы скажете? Здорово? Заняли кладбище Кихорны. Там Кампесино... Я там до шести часов был, посплю часа три и снова поеду — мне здесь с Григоровичем нужно поговорить. Сволочи, сейчас звонили — бомбят...»

Я написал накануне речь для конгресса, но решил не выступать и дал листок редактору «Мундо обреро»; в моей речи не было ничего ни об Андре Жиде, ни о том, как мы истребляем «врагов народа». Недавно мне прислали номер «Мундо обреро» от 8 июля. В нем напечатана статья, которую я дал газете под заглавием «Непроизнесенная речь». Над нею сводка: «Поселок Кихорна окружен нашими войсками. Дух наших бойцов превосходен. Некоторые перебежчики указывают, что противник подтягивает новые части, чтобы сдержать наше продвижение». В моей речи есть одна мысль, которая мне кажется и теперь правильной: «Мы вступили в эпоху действий. Кто знает, будут ли написаны задуманные многими из нас книги. На годы, если не на десятилетия, культура станет военно-полевой. Она может прятаться в убежища, где рано или поздно ее настигнет смерть. Она может перейти в наступление».

«Годы» — мало, «десятилетия», может быть, преувеличено: нам предстояло с того дня, как я написал эти строки, прожить на поле боя еще восемь лет. Да и потом настоящего мира не было.

А от «хрупких слов», как говорил Бергамин, писателю трудно отказаться: литература засасывает. Мальро уже весной кончил воевать: не было больше самолетов. Он начал писать роман об испанской войне — «Надежда». В Испании на фронтах стояло затишье. Людвиг Ренна послали в Соединенные Штаты, в Канаду, на Кубу — он выступал с докладами об испанской войне. Реглер делал то же самое в Южной Америке. Мальро собирал в Америке деньги для испанцев. Кольцов осенью вернулся в Москву и взялся за книгу «Испанский дневник».

Конгресс кончился, я уехал из Парижа на юг Франции в маленькую деревушку. Там было тихо, порой даже слишком тихо. Зеленели поля табака, и медленно сочилась река Лот.

Я написал повесть об испанской войне; вернее назвать эту книгу записями о событиях и людях.

Один из героев повести, немецкий эмигрант Вальтер, едет в Испанию, чтобы сражаться против фашистов. В окно вагона видно море. «Хорошо здесь,— думает он,— камни, рыбацкие сети, виноградники, тишина. Что человеку надо? Вздор! Много надо, очень много. Еще туннель. Вот и война!..» Повесть я назвал «Что человеку надо» — это мысли героя и автора между тишиной мирной жизни и начавшейся надолго войной.

Я мог оторваться на несколько месяцев от жизни военного корреспондента. Но уйти от войны я больше не мог; есть полевые бинокли, полевая почта, полевые госпитали; мое поколение получило в подарок долгие полевые годы.

27

Бомба упала близко, из окон посыпались осколки, и я услышал отчаянный женский крик; кажется, кричали многие, но один высокий голос покрывал все. Я растерянно оглянулся, страхнул с себя пыль и пошел в сторону крика. Бомба упала на большое кафе, наполненное посетителями. Потом мне сказали, что было пятьдесят восемь жертв. Женщина продолжала кричать: не знаю, ударила ли ее воздушная волна или убили кого-либо из близких,— она не отвечала. Четверть часа спустя приехали пожарные, санитары. Увезли раненых. Пожарные долго откапывали трупы. Я пошел в гостиницу; хотел было сообщить в газету, потом раздумал: редакция меня предупреждала, что почти все полосы посвящены предстоящим выборам в Верховный Совет; да и отрадного тут мало... Дня три спустя я передал очерк «Барселона перед боями», о бомбежках упомянул бегло; писал, что город готовится дать отпор фашистскому наступлению. Статью напечатали через день после выборов.

Из моих старых друзей и знакомых мало кто остался. Многие советники вернулись на родину. Не было больше и Антонова-Овсеенко. В домике на холме Тибидабо сидел Савич над кипами газет; к нему приходили испанцы; когда у него бывал кофе, маленькая, хрупкая, как будто вырезанная из слоновой кости Габриэлла угощала гостей. Почти напротив дома, где жил Савич, помещалось наше посольство. Л. Я. Гайкиса

давно отозвали в Москву. Его заменил поверенный в делах С. Г. Марченко (Т. Т. Мандалян).

Я остановился все в той же гостинице «Мажестик»; там жили некоторые наши советники, немецкий журналист Киш, Марта Гюисманс, Изабелла Блюм. Иногда среди ночи стучался коридорный: «Тревога! Идите в убежище!» Я знал, что он не отстанет, одевался и шел вниз в вестибюль, стоял там или выходил на улицу. Мы делали все, что делают люди при таких обстоятельствах: зябли, позевывали, старались убить время разговорами. Марта любила поаязвить, поспорить, все равно о чем — о живописи, о стратегии или о ПСУК. Киш шепотом спрашивал меня, правда ли, что Пильняк оказался японским шпионом, жаловался, что Третьяков не отвечает на письма. Изабелла угощала шоколадом, я его жадно проглатывал — еды было мало.

Мало было и работы: «Известия» отводили испанским делам все меньше и меньше места: разворачивались большие события в Китае; полосы были заняты конституцией, предстоящими или прошедшими выборами.

Меня пригласили на пленум писателей, посвященный Руставели, который должен был состояться в Тбилиси. Предложение было соблазнительным: увижу старых друзей — Тициана Табидзе и Паоло Яшвили; будут тамада, тосты, шашлыки. Да и давно я не был в Москве — два года, нужно посмотреть, что у нас делается. В буржуазных газетах пишут, будто много арестов, но это писали и раньше; наверное, как всегда, раздувают... «Мундо обреро» описывает праздник по случаю новой конституции, ее называют «Сталинской». Увижу Ирину, Лапина, Бабеля, Мейерхольда, всех друзей. Мне захотелось передохнуть, отвлечься, и я позвонил Любе в Париж, что двадцатого декабря заеду за ней — поедом в Москву на две недели.

Тут-то Марченко мне сказал: «Готовится серьезная операция под Теруэлем». (На этот раз о намеченном наступлении мало кто знал, и фашистов оно застало врасплох.)

Что делать? Я решил, что пробуду под Теруэлем до восемнадцатого — увижу первые дни боев. Я поехал в Валенсию. Там было необычайно тихо: правительство месяц назад переехало в Барселону, и город зажил мирной провинциальной жизнью, только что впроголодь. Я повидал кое-кого из испанских друзей. Было тепло, цвели в садах розы. На побережье изнемогали деревья, обвешанные золотом апельсинов.

Путь шел в гору. Вот уже исчезли сады. Подул свирепый ветер. Мы поднялись на тысячу метров. Стоял туман, лицо хлестала поземка.

Под Теруэлем было холодно, нестерпимо холодно для испанцев; кажется, мороз доходил до двенадцати градусов при сильном ветре. Камни покрывались слоем льда, люди падали и ползли вверх на четвереньках.

Ровно год назад — в декабре 1936 года — я побывал у Теруэля; тогда тоже было холодно; пытались взять город, который клином входил в территорию, занятую республиканцами, и ничего из этого не вышло.

Я сразу увидел, что на этот раз куда больше порядка. Дивизии выглядели лучше; даже в дивизии СНТ, которой командовал анархист Виванкос, не было живописной бестолочи забытых всеми «центурий».

Накануне наступления сорок республиканских бомбардировщиков бомбили вокзал, позиции фашистов, дорогу на Сарагосу. Это приподняло всех, и наступление началось удачно, в первый же день республиканцы продвинулись кое-где на восемь — десять километров.

Я был на КП испанской бригады. Никогда не забуду того дня. Даже в трагичной и щедрой на фантастику Испании я не видел подобной картины. Кругом были рыжие горы, и Теруэль с его башнями походил на средневековую крепость; а над ним висели свинцовые и фиолетовые тучи, раздираемые ветром. Туман прошел, свет был очень ярким, тени глубокими. Снова залет бомбардировщиков. Все вместе это было сочетанием исторической природы с современной военной техникой. Солдаты ползли по скалам, падали под пулеметным огнем, ползли другие. Ветер все крепчал; у Брунете все мечтали о тени, а здесь хотелось хоть на минуту залезть в дом, отогреться. Взяли деревню Сан-Блас. Подошли к шоссе; неприятель оказался окруженным: дорогу наши держали под пулеметным огнем.

Я передал по телефону очерк о боях за Теруэль, говорил об успехах, но, помня Бриуэгу, Брунете, осторожно предупреждал: «При иной ситуации мы могли бы сейчас заняться догадками о судьбе Теруэля... Однако сейчас вопрос идет не об овладении тем или иным политически значительным центром, а о стратегических заданиях. Если бои, которые сегодня начались, потревожат противника, подготовлявшего удар, то можно будет сказать, что достигнут крупный успех». Мне хотелось

верить, что Теруэль возьмут, но я боялся ввести в заблуждение читателей.

На второй день вечером я нашел Григоровича. Он только вернулся с наблюдательного пункта, продрог. Мы ели горячий суп, налитый в глиняные крестьянские миски. Григорович сказал, что завтра должны занять городское кладбище. А мне завтра нужно двигаться. Вот обида, не увижу развязки!..

«Григорий Михайлович, как, по-вашему,— возьмут Теруэль?» Он сказал, что южная группа отстала, все же дела идут неплохо; город должен пасть через несколько дней. Воздушная разведка, однако, установила, что Франко перебрасывает в Арагон дивизии, освободившиеся после ликвидации сопротивления в Астурии. «Видимо, Теруэль возьмем. А сможем ли удержать, не знаю. Мы подбрасываем горсточку, а немцы с итальянцами — охапку... Какой народ хороший! — И лицо Григоровича изменилось от ласковой улыбки. — Я человек военный, и военному здесь трудно, хлебнул горя, но народ замечательный!.. Наверно, скоро уеду. А вот Испании никогда не забуду. Мне Кольцов говорил, что они честные, а не в том дело, что жуликов мало, хотя это тоже правда. Честь, кажется, понятие устаревшее, то есть слово, правда? А здесь зайдешь в хату — он и грамоты не знает, но обязательно «честь», прямо рыцарь какой-то... Больно за них, очень больно!.. Вот вы напишите про все, не теперь, так через десять лет, вы и про наших скажите, вы ведь знаете — мы старались. Все наши Испанию полюбили, это многое объясняет...»

Зазвонил телефон. Григорович выругался; потом сказал мне: «Вот чего не люблю... Связь, кажется, обеспечили. А вот артиллеристы не знали, что пехота за Конкудом, начали бить по своим. К счастью, плохо стреляли, но впечатление отвратительное...»

Я сказал, что завтра уезжаю в Москву; вернусь через две недели; надеюсь его встретить в Теруэле. «Это хорошо, что едете. Увидите, как там, дома... До скорого!..»

Ночью в Барселоне я простился с Хемингуэем. «Да мы скоро увидимся,— сказал я,— ты ведь в январе будешь здесь?..» Больше я его не увидел.

На столе у Марченко лежала «Правда», я узнал, что Григорович выбран в Верховный Совет: «Чечено-Ингушская АССР — Штерн Григорий Михайлович». Марченко говорил: «Завидую — Новый год встретите дома... Ну, возвращайтесь поскорее, а то у нас один Савич остается...» Я весело сказал:

«До свиданья!» Мы и потом повторяли эти слова, хотя наступали годы, когда никто из нас при любом расставании не знал, что впереди. Честнее было бы говорить «прощай».

Я больше не увидел ни Григоровича, ни многих других «мексиканцев» или «гальегос»...

Мы ехали, минуя Германию, через Австрию. В Вене нужно было переехать с одного вокзала на другой. Город мне казался беспечным. Я не знал, что через три месяца в него войдут германские дивизии.

Где-то на вокзале я купил газету. «Республиканская армия взяла Теруэль». Я сидел в темном купе, и перед моими глазами вставали рыжий Арагон, Аугусто с его присказкой «опять тебя куда-то несет», молодые бойцы с поднятыми кулаками, кровь на мостовой Барселоны, смутная улыбка Григоровича — несвязные видения оставленного мною мира.

Вот и арка Негорелого. В вагон вошел молодой красивый пограничник. Я ему улыбнулся — с такими я дружил в Алкала-де-Энарес. Не вытерпел и сказал: «А Теруэль-то взяли...» Он тоже улыбнулся: «Вчера было в газете... Можете пройти в таможенный зал».

28

Мы приехали в Москву 24 декабря. На вокзале нас встретила Ирина. Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: «Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны». «Что это значит?» — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: «Я так рада, что вы приехали!..»

Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: «Ты что, ничего не знаешь?..»

Полночи она и Лапин рассказывали нам о событиях: лавина имен, и за каждым одно слово — «взяли».

«Микитенко? Но он ведь только что был в Испании, выступал на конгрессе...» — «Ну и что, — ответила Ирина, — бывает, накануне выступает или его статья в «Правде»...»

Я не мог успокоиться, при каждом имени спрашивал: «Но его-то почему?..» Борис Матвеевич пытался строить

догадки: Пильняк был в Японии, Третьяков часто встречался с иностранными писателями, Павел Васильев пил и болтал, Бруно Ясенский — поляк, польских коммунистов всех забрали, Артем Веселый был когда-то «перевальцем», жена художника Шухаева была знакома с племянником Гогоберидзе, Чаренца слишком любили в Армении, Наташа Столярова приехала недавно из Парижа. А Ирина на все отвечала: «Откуда я знаю? Никто этого не знает...» Борис Матвеевич, смущенно улыбаясь, посоветовал: «Не спрашивайте никого. А если начнут разговаривать, лучше не поддерживайте разговора...»

Ирина возмущалась: «Почему ты меня спрашивал по телефону про Мирову? Неужели ты не понял? Взяли ее мужа, она приехала, и ее тоже забрали...» Лапин добавил: «Теперь часто берут и жен, а детей отвозят в детдом...»

(Вскоре я узнал, что из «испанцев» пострадала не только Мирова, узнал о судьбе Антонова-Овсеенко, его жены, Розенберга, Горева, Гришина, да и многих других.)

Когда я сказал, что в Тбилиси мы увидим Паоло и Тициана, Борис Матвеевич изумился: «Вы и этого не знаете? Табидзе взяли, а Яшвили застрелился из ружья.»

На следующее утро я пошел в «Известия». Встретили меня хорошо, но я не увидел ни одного знакомого лица. Вопреки совету Лапина, я спрашивал, где такой-то. Кто отвечал «загрел», кто просто махал рукой; были и такие, что поспешно отходили.

В тот же вечер мы уехали в Тбилиси. Я захватил с собой декабрьские газеты. Мирные статьи о труде, о достигнутых успехах иногда перебивались восхвалениями «сталинского наркома» Ежова. Я увидел его фотографию — обыкновенное лицо, скорее симпатичное. Я не мог уснуть, все думал, думал, хотел понять то, что, по словам Ирины, никто понять не мог.

На пленуме говорили о поэзии Руставели. Выступил испанский писатель Пла-и-Бельтран, которого я знал по Валенсии; его горячо встретили.

На торжественном заседании в президиуме сидел Берия. Некоторые выступавшие его прославляли, и тогда все стоя аплодировали. Берия хлопал в ладоши и самодовольно улыбался. Я уже понимал, что при имени Сталина все аплодируют, а если это в конце речи, встают; но удивился — кто такой Берия? Я тихо спросил соседа-грузина, тот коротко ответил: «Большой человек».

Ночью Люба мне рассказала, что Нина — жена Табидзе — передала, чтобы мы ее не искали — не хочет нас подвести.

Я встретил много писателей, которых хорошо знал, — Федина, Тихонова, Леонова, Антокольского, Леонидзе, Вишневского. Был Исаакян, мне хотелось с ним поговорить, но не получилось, только после войны, когда он приезжал в Москву, я с ним однажды побеседовал по душам. Был исландский писатель Лакснесс, я тогда еще не читал его книг и не знал, что полюблю их. Были, как я и думал, банкеты, тосты, но незачем говорить о моем настроении: я все еще не мог опомниться. Новый год мы встретили у Леонидзе. Мы хотели развлечь милых, приветливых хозяев, а они старались развлечь или, точнее, отвлечь нас. Но не получалось: чокались, молча пили.

В Москву я возвращался с писателями. Меня позвал в свое купе Джамбул. С ним ехал его ученик и переводчик. Джамбул рассказывал, как сорок лет назад на свадьбе бая он победил всех акынов. Принесли кипяток, заварили чай. Джамбул взял свою домбру и начал что-то монотонно напевать. Ученик (Джамбул его называл «молодым», но ему было лет шестьдесят) объяснил, что Джамбул сочиняет стихи. Я попросил перепести, оказалось, что акын просто радовался предстоящему чаепитию. Потом он подошел к окну и снова запел; на этот раз переводчик сказал строки, которые меня тронули:

Вот рельсы, они прямо летят в чужие края,
Так летит и моя песня.

Кожа на лице Джамбула напоминала древний пергамент, а глаза были живыми — то лукавыми, то печальными. Ему тогда было девяносто два года.

Потом пришел А. А. Фадеев, принес несколько стихотворений Мандельштама, сказал, что, кажется, их удастся напечатать в «Новом мире»; вспоминал Мадрид, и глаза его, обычно холодные, улыбались.

Мы приехали в Москву. В редакции мне сказали, что собираются поставить вопрос о моем возвращении в Испанию, но теперь все требует времени — большие люди очень заняты, придется месяц-другой подождать.

Я прожил в Москве пять месяцев; и теперь я благодарен судьбе. Хорошо, что мне захотелось поехать в Москву, чтобы

развлечься и отдохнуть: есть в истории народа такие дни, которые нельзя понять даже по рассказам друзей, их нужно пережить.

Прежде всего расскажу, как я жил в то время. Я часто выступал в различных вузах, на заводах, в военных академиях: рассказывал про Испанию. Мне прислали стенограмму одного из таких вечеров в клубе автомобильного завода, там есть статистика — я сказал, что выступал с докладом об Испании уже в пятидесяти местах. Я видел, что слушавшие тяжело переживают трагедию испанского народа, и это меня ободряло. Передо мною были честные и смелые люди, преданные коммунизму; они напоминали наших летчиков, с которыми я встречался в Алкала-де-Энарес.

Писать я не мог; я написал только две статьи об Испании для «Известий» — одну в марте, после фашистских побед, другую в первомайский номер. Много раз в редакции мне предлагали написать статью о процессах, о «сталинском наркоме», сравнить «пятую колонну» в Испании с теми, кого тогда называли «врагами народа». Я отвечал, что не могу, — пишу только о том, что хорошо знаю, и не написал ни одной строки.

Я и теперь могу писать только о том, что видел: о своей жизни в Москве, о жизни пятидесяти, может быть, ста друзей и знакомых, с которыми тогда встречался; постараюсь показать быт да и душевное состояние мое, моих приятелей, главным образом писателей, художников.

Наша жизнь в то время была диковинной; о ней можно написать книги, и вряд ли я смогу обрисовать ее на нескольких страницах. Все тут было: надежда и отчаяние, легкомыслие и мужество, страх и достоинство, фатализм и верность идее. В кругу моих знакомых никто не был уверен в завтрашнем дне; у многих были наготове чемоданчики с двумя сменами теплого белья. Некоторые жильцы дома в Лаврушинском переулке попросили на ночь закрывать лифт, говорили, что он мешает спать: по ночам дом прислушивался к шумливым лифтам. Пришел как-то Бабель и с юмором, которого он никогда не терял, рассказывал, как ведут себя люди, которых назначают на различные посты: «Они садятся на самый краешек кресла...» В «Известиях» на дверях различных кабинетов висели дощечки, прежде проставляли фамилии заведующих отделами, теперь под стеклом ничего не было; курьерша объяс-

нила мне, что не стоит печатать: «Сегодня назначили, а завтра заберут...»

Мне хочется здесь вспомнить чудесного человека — Павла Людвиговича Лапинского. Я писал, что познакомился с ним в годы первой мировой войны. Мы жили в гостинице «Ницца». Тогда я был чересчур молод, чтобы разобраться в сложном характере Лапинского, но слушал с интересом его рассказы о Польше, об Америке. Когда он обличал «оборонцев», я не спорил: не знал, прав он или нет, но человек мне был мил. Порой судьба тасует карты, посылает человека на место мало соответствующее его душевному строю. Диего Ривера мог бы стать не художником, а героем революционной Мексики. Душевная структура П. Л. Лапинского была на редкость мягкой. Он сделался подпольщиком, публицистом, а, вероятно, ему было бы легче прожить жизнь с искусством. Я часто встречался с ним в тридцатые годы, и меня поражали его тонкость, отзывчивость. У него не было семьи, и прожил он жизнь одиноким холостяком. Когда я приходил в маленькую квартиру, заставленную книгами, мне становилось страшно: до чего он одинок! Вдова друга Лапинского Станислава Раевского недавно мне напомнила, как Павел Людвигович испугался, когда я сказал, что ему нужно завести собаку: животное может нарушить положенный распорядок. Маленькую таксу мраморного цвета он окрестил «Дездемоной» и страстно к ней привязался. Наверно, «Дездемона» неутешно выла, когда ее хозяина увезли незнакомые люди. В те нерадостные годы погибли многие мои друзья, товарищи по работе, и когда я шел по коридорам «Известий», мне казалось, что я иду по кладбищу.

А жизнь как будто продолжалась по-прежнему. Постановили организовать Клуб писателей и устраивать клубные дни. С. И. Кирсанов захотел и в этом показать себя новатором; он устроил в клубе выставку картин Кончаловского, Тышлера, Дейнеки, революционизировал даже кухню. Помню обед в честь приехавшего из Ленинграда М. М. Зощенко. Подали суп из консервированных крабов, и Кирсанов объяснял: «Суп биск из омаров». В зале зажгли камин, возле него подогревались бутылки кварели. Кто-то предложил выпить за Красную Звезду, которую мне накануне вручили в канцелярии Верховного Совета.

Когда все встали из-за стола, один достаточно известный, мало приятный мне литератор отвел меня в сторону и зашеп-

тал: «Слыхали последнюю новость? Арестовали Стецкого... Ужасные времена! Не знаешь, кому кадить, на кого капать...» Были и такие...

Однажды в клубе я встретил С. С. Прокофьева — он исполнил на рояле свои вещи. Он был печален, даже суров, сказал мне: «Теперь нужно работать. Только работать! В этом спасение...»

Многие писатели продолжали писать; Тынянов закончил первую часть «Пушкина», вышла новая книга стихов Заболоцкого. Другие признавались, что «не пишется».

В. Г. Лидин нас развлекал как всегда смешными историями. Раз он позвал нас ужинать, пришел молодой восторженный человек, показывал куклы — Кармен была сухой ведьмой, а два шара объяснялись друг другу в любви, — это был С. В. Образцов. В другой раз мы встретили у Лидина одного из четырех участников экспедиции на полюс — Э. Т. Кренкеля, молодого, скромного; он с юмором рассказывал про жизнь на льдине, про лайку, которая помогла им прогнать медведей, собиравшихся похитить продовольственные запасы. Все это было радостным и отдохновенным.

Бывали мы и у Таировых, у Евгения Петрова, у Леонова. К нам часто приходили Бабель, Тихонов, Фальк (он незадолго до этого вернулся из Парижа), Вишневский, Луговской, Тышлер, Федин, Кирсанов. У Лапина сидели его друзья — Хацревин, Славин, и мы ужинали все вместе. Иногда мы заводили литературные споры, говорили о новой театральной постановке, а то и сплетничали — люди ведь продолжали влюбляться, сходиться, разводиться; иногда я рассказывал об Испании — она мне казалась бесконечно далекой и близкой; а иногда как-то незаметно начинался разговор о том, о чем мы не хотели ни говорить, ни даже думать.

У Ирины была пуделиха Чука, толстая, ласковая и, как сказал бы Дуров, с прекрасными условными рефлексамии. Борис Матвеевич научил ее многим номерам: она приносила папиросы, спички, закрывала дверь столовой. Бывало, гость начнет говорить за ужином о том, кого посадили, а черная косматая Чука, мечтая о кружке колбасы, поспешно закрывает дверь. Это всех смешило — мы ведь и в то время любили посмеяться.

Некоторые из людей, которых я знал, старались жить замкнуто, встречались только с близкими; подозрительность,

опаска подтачивали человеческие отношения. Бабель говорил: «Теперь человек разговаривает откровенно только с женой — ночью, покрыв головы одеялом...» Меня, напротив, тянуло к людям. Чуть ли не каждый вечер к нам приходили друзья или мы ходили в гости.

Часто мы бывали у Мейерхольдов. В январе было опубликовано постановление о закрытии театра как «чуждого». Зинаида Николаевна переболела острым нервным расстройством. Всеволод Эмильевич держался мужественно, говорил о живописи, о поэзии, вспоминал Париж. Он продолжал работать: обдумывал постановку «Гамлета», хотя и не верил, что ему дадут ее осуществить. У Мейерхольдов я встречал П. П. Кончаловского — он тогда писал портрет Всеволода Эмильевича, пианиста Л. Н. Оборина, молодых энтузиастов, для которых Мейерхольд оставался учителем.

Попал я как-то на писательское собрание. Различные литераторы обвиняли В. П. Ставского в том, что он «недоглядел»: повсюду — в журналах, в Жургазе, в издательстве — сидят «враги народа». Владимир Петрович потел, вытирал все время лоб. Я вспомнил, как он стоял во вражеской каске возле Брунете, и подумал: здесь пожарче...

И. К. Луппол позвал нас пообедать — он жил, как мы, в Лаврушинском. Его жена говорила, что они недавно переехали, купили мебель, вот только лампы нет; она добавила: «Как-то не то настроение, чтобы покупать...» (Луппол продержался еще полтора года, потом его постигла участь многих.)

В. В. Вишневский кричал, что все писатели должны учиться военному делу, даже старики. Говорил он о перебежке, о рокадных дорогах, о прощупывании противника.

Я встречался, даже дружил с людьми мне далекими: у нас было чувство локтя, как у солдат на войне. Войны еще не было, но мы знали, что она неизбежна. Мы сидели в окопе, и артиллерия, как то случилось у Теруэля, стреляла по своим.

Григорович мне сказал, что батарея республиканцев, открывшая огонь по деревушке, занятой своими, не успела, к счастью, пристреляться. Ежов стрелял по площадям и снарядов не жалел. Говорю «Ежов», потому что тогда мне казалось, что все дело в нем.

В последней части этой книги я попытаюсь поделиться мыслями о И. В. Сталине, о всем том, что лежит камнем на

сердце каждого человека моего поколения. А сейчас ограничусь тем, что расскажу о моем понимании (вернее, непонимании) происходившего в то время, которое описываю. Я понимал, что людям приписывают злодеяния, которых они не совершали, да и не могли совершить, спрашивал и других и себя: зачем, почему? Никто мне не мог ответить. Мы ничего не понимали.

Я был на открытии сессии Верховного Совета — в редакции мне дали гостевой билет. Старейший депутат, восьмидесятилетний академик А. Н. Бах, в далеком прошлом народоволец, прочитал по бумажке речь и кончил ее, разумеется, именем Сталина. Раздался грохот рукоплесканий. Мне показалось, что старый ученый зашатался, как от воздушной волны. Я сидел высоко, вокруг меня были обыкновенные москвичи — рабочие, служащие, и они неистовствовали.

Да что говорить о москвичах; в далекой Андалузии я видел дружинников, которые шли на смерть с криками «Эсталин!» (так испанцы произносили имя Сталина). У нас много говорят о культе личности. К началу 1938 года правильнее применить просто слово «культ» в его первичном, религиозном значении. В представлении миллионов людей Сталин превратился в мифического полубога; все с трепетом повторяли его имя, верили, что он один может спасти Советское государство от нашествия и распада.

Мы думали (вероятно, потому, что нам хотелось так думать), что Сталин не знает о бессмысленной расправе с коммунистами, с советской интеллигенцией.

Всеволод Эмильевич говорил: «От Сталина скрывают...»

Ночью, гуляя с Чукой, я встретил в Лаврушинском переулке Пастернака; он размахивал руками среди сугробов: «Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину!..»

Да, не только я, очень многие считали, что зло исходит от маленького человека, которого звали «сталинским наркомом». Мы ведь видели, как арестовывают людей, никогда не примыкавших ни к какой оппозиции, верных приверженцев Сталина или честных беспартийных специалистов. Народ окрестил те годы «ежовщиной».

Кажется, умнее меня, да и многих других, был Бабель. Исаак Эммануилович знал жену Ежова еще до того времени, когда она вышла замуж. Он иногда ходил к ней в гости, понимал, что

это опасно, но ему хотелось, как он говорил, «разгадать загадку». Однажды, покачивая головой, он сказал мне: «Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем...» Ежова постигла судьба Ягоды. На его место пришел Берия, при нем погибли и Бабель, и Мейерхольд, и Кольцов, и многие другие неповинные люди.

Помню страшный день у Мейерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали монографии Ренуара, когда к Всеволоду Эмильевичу пришел один из его друзей, комкор И. П. Белов. Он был очень возбужден, не обращая внимания на то, что, кроме Мейерхольдов, в комнате Люба и я, начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных. Белов был членом Военной коллегии Верховного Суда. «Они вот так сидели — напротив нас, Уборевич смотрел мне в глаза...» Помню еще фразу Белова: «А завтра меня посадят на их место...» Потом он вдруг повернулся ко мне: «Успенского знаете? Не Глеба — Николая? Вот кто правду писал!» Он сбивчиво изложил содержание рассказа Успенского, какого — не помню, но очень жестокого, и вскоре ушел. Я поглядел на Всеволода Эмильевича; он сидел закрыв глаза и походил на подстреленную птицу. (Белова вскоре после этого арестовали.)

Не забуду и другой день, когда по радио передали, что будут судить убийц Горького и что в его убийстве принимали участие врачи. Прибежал Бабель, который при жизни Алексея Максимовича часто у него бывал, сел на кровать и показал рукой на лоб: сошли с ума! Мне дали билет на процесс; к этим дням я еще вернусь когда-нибудь.

В 1942 году я писал в одной из статей: «Фашизм задолго до того, как напасть на нашу страну, вмешался в нашу жизнь, искалечил судьбу многих...» Да и в то время, о котором рассказываю, я не мог отделить нашей беды от недобрых вестей, приходивших с Запада.

В конце февраля фашисты снова заняли Теруэль. Италия и Германия усилили свою помощь Франко. Иден попробовал поднять голос против открытого вмешательства Италии в испанскую войну; ему пришлось уйти в отставку, пришел Чемберлен, сторонник сближения с Гитлером и Муссолини. Начались массированные бомбежки Барселоны; в течение нескольких мартовских дней было убито четыре тысячи жителей. Накопив силы, фашисты прорвали фронт республиканцев в Арагоне. В той единственной статье, которую я написал за несколько ме-

сяцев, есть такие строки: «Ночью у себя в комнате я слушаю радиопередачу Барселоны. За окном — девятый этаж — огни большого города. Глухо доносится голос: «В районе Фраги мы отбили атаку...» Может быть, сейчас бомбят Барселону? Может быть, чернорубашечники снова атакуют «в районе Фраги»... Для меня Фрага была не абстрактным именем, а городом, где я часто бывал. Я видел перед собой улицы Барселоны и понимал, что война между нами и фашизмом началась. Сейчас она не на собраниях писателей, где обсуждают, кто дружил с Бруно Ясенским, а там — в Испании.

Я долго думал, что мне делать, и решил написать Сталину. Борис Матвеевич не решался меня отговаривать и все же сказал: «Стоит ли привлекать к себе внимание?..» Я написал, что был в Испании свыше года, мое место там, там я могу бороться.

Прошла неделя, две — ответа не было. Самое неприятное в таком положении — ждать, но ничего другого не оставалось. Наконец меня вызвал редактор «Известий» Я. Г. Селих; он сказал несколько торжественно: «Вы писали товарищу Сталину. Мне поручили переговорить с вами. Товарищ Сталин считает, что при теперешнем международном положении вам лучше остаться в Советском Союзе. У вас, наверно, в Париже вещи, книги? Мы можем устроить, чтобы ваша жена съездила и все привезла...»

Я пришел домой мрачный, лег и начал размышлять. Совет, переданный Селихом (если можно было назвать это советом), мне казался неправильным. Что я здесь буду делать? Тынянов пишет о Пушкине, Толстой — о Петре. Кармен снимает героические экспедиции, мечтает попасть в Китай. Кольцов причастен к высокой политике. А мне здесь сейчас делать нечего. Там я могу быть полезен: я ненавижу фашизм, знаю Запад. Мое место не в Лаврушинском...

Пролежав день, я встал и сказал: «Напишу снова Сталину...» Здесь даже Ирина дрогнула: «Ты сошел с ума! Что ж ты, хочешь Сталину жаловаться на Сталина?» Я угрюмо ответил: «Да». Я понимал, конечно, что поступаю глупо, что, скорее всего, после такого письма меня арестуют, и все же письмо отправил.

Ждать было еще труднее. Я мало надеялся на положительный ответ и знал, что больше ничего не смогу сделать, слушал радио, перечитывал Сервантеса, от волнения почти ничего не

ел. В последних числах апреля мне позвонили из редакции: «Можете идти оформляться, вам выдадут заграничные паспорта». Почему так случилось? Этого я не знаю.

Один молодой писатель, которому в 1938 году было пять лет, недавно сказал мне: «Можно вам задать вопрос? Скажите, как случилось, что вы уцелели?» Что я мог ему ответить? То, что я теперь написал: «Не знаю». Будь я человеком религиозным, я, наверно, сказал бы, что пути господа бога неисповедимы. Я говорил в самом начале этой книги, что жил в эпоху, когда судьба человека напоминала не шахматную партию, а лотерею.

Первого мая я был в комнате радиокомитета, выходявшей на Красную площадь; поэты читали стихи и комментировали демонстрацию; я говорил про Испанию. Я знал, что война будет шириться, охватит мир.

Настал день отъезда. На вокзал пришло много друзей; нам трудно было с ними расставаться. В Ленинграде, где мы задержались на несколько дней, были снова длинные беседы о происходящем и снова жар рук, неуверенное «До свиданья!..».

В Хельсинки была еще одна пересадка. Мы сидели с Любой на скамейке в сквере и молчали: не могли разговаривать даже друг с другом...

Мне было сорок семь лет, это возраст душевной зрелости. Я знал, что случилась беда, знал также, что ни я, ни мои друзья, ни весь наш народ никогда не отступятся от Октября, что ни преступления отдельных людей, ни многое, изуродовавшее нашу жизнь, не смогут заставить нас свернуть с трудного и большого пути. Были дни, когда мне не хотелось дольше жить, но и в такие дни я знал, что выбрал правильную дорогу.

После XX съезда партии я встречал за границей знакомых, друзей; некоторые из них спрашивали меня, да и самих себя, не нанесен ли роковой удар самой идее коммунизма. Чего-то они не понимают. Я — старый беспартийный писатель — знаю: идея оказалась настолько сильной, что нашлись коммунисты, которые сказали и нашему народу, и всему миру о прошлых преступлениях, об искажении и философии коммунизма и его принципов справедливости, солидарности, гуманизма. Наш народ наперекор всему продолжал строить, а несколько лет спустя отбил фашистское нашествие, достроил тот дом, в котором теперь живут, учатся, шумят, спорят юноши и девушки, не знавшие жестоких заблуждений прошлого.

А мы с Любой молча сидели на скамейке чахлого сквера. Я подумал, что молчать мне придется долго: в Испании люди борются, я не смогу ни с кем поделиться пережитым.

Нет, идее не был нанесен роковой удар. Удар был нанесен людям моего поколения. Одни погибли. Другие будут помнить до смерти о тех годах. Право же, их жизнь не была легкой.

29

Во Франции официально еще существовал Народный фронт, но теперь это была облупившаяся вывеска. Новое правительство возглавил Даладье, министерство иностранных дел он доверил Бонне, который громко говорил, что жаждет мира, и, понижая голос, добавлял, что необходимо договориться с Берлином и Римом.

Трагедия Франции началась давно, еще в 1936 году, когда Леон Блюм, испугавшись правых, отказался продать испанскому правительству вооружение. Это шло вразрез и с существовавшими договорами, и с интересами Франции, и с политическими убеждениями Блюма. Социалистический премьер любил Стендаля: в романах ему нравились характеры с сильными страстями; а у него самого характера не было. Он воскликнул: «Моя душа разрывается», — и заговорил о «невмешательстве». Разорвалась не только его душа, но и Франция.

В июне 1938 года многие французские политики понимали, что Муссолини не удовлетворится взятием Аддис-Абебы и Малаги, что для Гитлера Австрия только закуска, а Испания — рабочая репетиция. Но страна была разъединена. Противники Народного фронта, обозленные забастовками, поглядывали на фашистов с надеждой, как на опытных хирургов. А рядовые французы, многие из тех, что голосовали за Народный фронт, радовались, что они не в Вене и не в Барселоне, никто не бомбит, не заставляет по команде поднимать вверх руки, они могут на террасах больших кафе и маленьких рабочих баров пить зеленые, золотистые или малиновые аперитивы. Франция уже репетировала предстоящее отречение.

Я купил в вокзальном киоске кипу газет и книгу неизвестного мне автора Леона де Понсэна с соблазнительным заглавием «Секретная история испанской революции». Фашистская газета «Гренгуар» объявила конкурс: читатель, который угадает дату,

когда генерал Франко возьмет Барселону, получит пятьдесят тысяч франков. Из книги Леона де Понсэна я узнал, что коммунисты, социалисты и франкмасоны устроили заговор с целью отдать Испанию в руки евреев; Коминтерн для этого направил в Барселону Бела Куна, Вронского, Антонова-Овсеенко, Эренбурга, Кольцова, Миравильеса, Горева, Туполева, Примакова и других «преступников еврейского происхождения». Я подумал, что сумасшедшие есть повсюду, и задремал.

В пограничный испанский город Порт-Бу я приехал рано утром и попал сразу под бомбежку. Испания меня встретила кровью: на мостовой лежал убитый ребенок.

Я уехал из Испании в дни боев за Теруэль, когда еще все верили в победу. Вернувшись полгода спустя, я увидел другую картину. Конечно, я знал и в Москве, что фашисты одержали крупные победы, но одно дело читать о беде в газетах, другое — ее увидеть. Страшно, расставшись с любимым человеком, который работает, сердится, мечтает, ревнует, найти его подточенной жестокой, может быть смертельной, болезнью. Когда я уезжал, положение республиканцев было трудным, но даже нейтральные обозреватели гадали об исходе войны. Теперь я мучительно старался убедить себя, что еще не все предрешено и что чудо может спасти республику.

Возле Эбро пятидесятилетний испанец, живший долго в Париже (его звали Анхель Сапика), который пошел добровольцем в 1938 году, когда уже не оставалось места для иллюзий, говорил мне: «Смерть — это феномен, случай. Родиться, умереть — это не от нас зависит. Главное — прожить достойно, не презирая себя». Может быть, говоря это, он думал о другом — о том, что человеку хочется достойно умереть, сделать все, чтобы смерть не выглядела «случаем»?..

Я приехал в Барселону. Савич по-прежнему писал телеграммы, говорил, что его измотала работа — не может даже выбраться на фронт. Он спросил меня про свою жену, про Мирову, про некоторых военных советников. Я ответил, что Аля здорова, старается быть спокойной, а с Мировой плохо, да и со многими другими: «Трудно понять, почему каждый день забирают людей, ни в чем не повинных...» Савич удивленно на меня посмотрел: «Ты что — троцкистом стал?..» Он не был в Москве и многого не понимал.

Савич жил на горе. Я спустился в город. На площади Каталония по-прежнему старушка брала десять сантимов у про-

хожего, который садился на стул в сквере, и выдавала билетик. Десять сантимов стали микроскопической суммой; да и мало было в сквере людей — кругом чернели развалины домов. Но жизнь продолжалась... На той же площади старики сыпали крошки хлеба голубям. Все это могло показаться удивительным: паек был полтораста граммов хлеба, порой сто — где уж тут кормить голубей. Да и голуби могли бы улететь — редко выпадала ночь без бомбежки. Но я не удивлялся: уже задолго до этого я понял, что можно разворотить, изувечить, истоптать жизнь, и все-таки влюбленные будут целоваться, обмениваться клятвами, а старушки прибирать — комнату, тюремную камеру, больничную койку, кажется, даже свой собственный гроб.

На Рамбле по-прежнему продавали цветы. В театре шла премьера «Укрощение строптивой». Возле богатых особняков развели огородики: картошка, салат. В ресторане подавали вареные бобы без масла, но скатерти были чистые. А мыла не было.

Чистильщики ботинок хорошо зарабатывали — вакса была, и, верные своим привычкам, барселонцы радовались, глядя на сверкающую обувь.

Вышел очередной номер журнала «Филателист Барселоны». Я подсчитал в газете: работают двенадцать театров и пятьдесят четыре кинотеатра. В том же номере сообщалось, что вчера была сотая, следовательно юбилейная, бомбежка Барселоны.

Квартал рыбаков, веселая Барселонета, был снесен бомбами. Газеты каждый день помещали объявления в черных рамках: такой-то погиб при бомбежке. Как-то бомба упала на кладбище и разворотила могилы, другой раз на родильный дом — было много жертв, на собор XIII века, на рынок. «Известия» попросили меня присылать фотографии; я ходил и снимал развалины, солдат, которые вытаскивали из-под груды камней покалеченные тела. Привыкнуть можно ко всему, и я думал, какую диафрагму лучше поставить... Вероятно, я напоминал старушку, собиравшую деньги за стулья.

Республиканская Испания была разрезана на две части: фашистам удалось прорваться к побережью. Немцы прислали крупных специалистов: Испанию они рассматривали как превосходные маневры перед предстоящим завоеванием Европы. А в боях за выход к Левантскому побережью, помимо войск Франко, участвовали четыре итальянские дивизии.

Я поехал на фронт, который в газетах по привычке называли Арагонским, хотя фашисты успели захватить все города

и деревни Арагона — Барбастро, Фрагу, Сариньену, Пину, Каспе, — там, где я спорил, дружил и ссорился с неугомонными анархистами... Я добрался до пригорода Лериды. Город был в руках у фашистов, но республиканцам удалось удержаться в квартале, расположенном на другом берегу речки Сегре. Бог ты мой, сколько раз я приезжал в Лериду с Арагонского фронта! Тогда этот город казался глубоким тылом. Я шел в гостиницу «Палас», принимал ванну, гулял по городу, улицы были с аркадами, и вечером старинные фонари казались театральными. В кафе подавали вермут. За соседними столиками люди спорили, кто прав — ФАИ или ПСУК? А девушки, прогуливаясь мимо кафе, смеялись, их сопровождали восторженные взгляды как анархистов, так и социалистов. Теперь на том месте, где было кафе, — мешки с песком; дробь пулемета. Передо мною были узкие горбатые улицы, полуразрушенные дома набережной.

Почему-то я вспомнил старого кривого парикмахера: я у него стригся и брился, возвращаясь с фронта. Он балагурил, высмеивал генералов, анархистов, министров и гордо объявлял каждому: «Я умеренный анархист и непримиримый антифашист». Успел ли он уйти из города или погиб?..

Житель Лериды, перешлиപ്പый речку, рассказывал, что в городе осталось четыреста человек (было сорок тысяч): «Все ушли. Помнишь большой дом на площади Паэрия, рядом с «Паласом»? На нем написано красной краской: «Мы не хотим жить с убийцами». Это не солдаты написали, а кто-то из жильцов, когда уходили...»

Трудно объяснить, как удалось остановить фашистов на правом берегу узкой неглубокой реки. Осенью 1936 года их задержали на окраине Мадрида. Военные тогда объясняли, что город легко оборонять. Но здесь фашисты заняли город и вдруг натолкнулись на яростное сопротивление. Это бывало в Испании не раз и, видимо, связано не с особенностями рельефа, а с особенностями характера: люди сдавали почти без боя сто, двести километров, и вдруг подымались ярость, гнев, воля — враг не мог продвинуться на сто метров.

Я сидел с бойцами, когда осколок снаряда убил красивого смуглого бойца; его звали Куррито, он был андалузцем из Сьерра-Морены. Другой боец, портной, барселонец, который прежде все время шутил, долго стоял над убитым товарищем,

шевелил губами, видно было, что он сдерживает слезы; наконец он сказал: «А я ему рубашку обещал зашить...»

Осколок обломал ветку персикового дерева. Мы молча ели душистые плоды — в Лериде они поспевают рано. Барселонский портной сказал: «Куррито любил персики...»

В батальоне было довольно много добровольцев, записавшихся недавно, — пожилых людей, подростков. Политики говорили, что война подходит к концу; а вот эти пришли воевать... Вряд ли они рассчитывали на победу, но не хотели или не могли стоять в стороне. Я знал Испанию, и все же всякий день она меня удивляла.

Когда я возвращался в Барселону, бомбили дорогу. Мы пролежали полчаса в траве. Потом я увидел искромсанное поле пшеницы. Отчего-то это было нестерпимо больно, хотя я видел вещи пострашнее. Может быть, оттого, что, когда я был ребенком и ронял кусок хлеба, няня Вера Платоновна сердито говорила: «Поцелуй», — и я целовал лопоть.

В Барселоне я разговаривал с пленным немецким летчиком Куртом Кетнером, сыном бренденбургского архитектора. Он приехал в Испанию рано, в октябре 1936 года; он сразу сказал мне, что он лейтенант рейхсвера, летал на «хейнкеле-111». Когда я спросил его, почему он бомбил испанские города, он громко засмеялся: «Опять эти истории с «мухерес и ниньос»? (Он говорил по-немецки, но слова «женщины и дети» сказал по-испански.) Вадор! Недавно я видел после бомбежки облако дыма. Это, наверно, дымилась мухерес и ниньос».

Его нельзя было назвать невежественным; он прочитал немало книг, говорил о «философии истории», но мне он казался дикарем, смелым и злобным. Такие встречи помогли мне познакомиться с духовным миром, несложным, но своеобразным, офицеров и солдат, которых два года спустя я увидел марширующими по улицам Парижа, а в 1941-м у нас, в Белоруссии.

Трагический фарс «невмешательства» продолжался. Я видел, как в Сербере задержали несколько сот лопат, купленных для крестьян Каталонии. Я поехал в Андаи — хотел посмотреть, что происходит на границе между Францией и фашистской Испанией.

В Андае у меня были друзья, я об этом упоминал в рассказе об обмене летчиков. Эти друзья свели меня с ответственным служащим таможни, который ненавидел фашизм. Он мне показал документы о грузах, направлявшихся в фашистскую

Испанию. Конечно, Италия и Германия самолеты, танки, артиллерию, боеприпасы отправляли морем в порты Португалии, в Бильбао, в Кадикс; но для более невинных вещей они пользовались транзитом через Францию; так направлялись грузовики, мотоциклы, каучук, моторы, химические продукты для военной промышленности. Никакого контроля на границе между Францией и фашистской Испанией не было, несмотря на все заверения французского правительства.

«Известия» напечатали мою статью, и французская полиция возмутилась; оказалось, что я нарушаю принципы невмешательства. (Я все-таки был наивным: хотел кого-то пристыдить, раскрыть кому-то глаза — думал, что дело идет к Вердену, а дело шло к Мюнхену.)

Я должен рассказать об одной довольно глупой истории. Мне захотелось хотя бы на несколько часов очутиться в фашистской Испании, поглядеть, что там делается. Нечего было мечтать о фальшивых документах: в Ируне имелся советник-гестаповец. В Андае мне рассказали, что контрабандисты часто проносят в испанские пограничные деревушки различные товары. Я напал на одного из них; он был французским баском. Он сказал мне: «Ладно. Только имей в виду, что я политикой не занимаюсь. Я знаю, что фашисты — сволочь, но мне нужно кормить семью. Я тебя не выдам, но, если, не дай бог, нарвемся на пограничников, я прямо скажу, что ты чужой, пристал в дороге».

Мы перешли речку, потом начали подыматься. Я, признаться, волновался и раза два или три пережил страх; я даже не помню, что мой проводник — я звал его Жаком — тащил на себе. Наконец мы оказались в обыкновенной испанской деревушке, зашли в темный дом, где пахло оливковым маслом и чесноком. Жак привел туда Антонио. Антонио провел меня в другой дом. Сразу после того, как мы вернулись в Андай, я записал несложный разговор: «Хозяйка была старой и глухой. Антонио сказал мне: «Рекете убили ее сына. Вместе с Агирре. Там, где ты шел с Жаком,— возле Каса Роха. Он лежал и ругался. Она не знала. А когда она пришла, он был мертвый. Они ее оставили здесь, потому что она очень старая». Старуха глядела то на Антонио, то на меня. Антонио крикнул ей в ухо: «Они тебя здесь оставили, потому что ты очень старая». Она радостно закивала головой: «Да, да, очень старая»; потом она сжала острыми пальцами черный платок:

«Он не был старым, он еще был молодым», — и громко заплакала. Антонио поднес палец ко рту: гвардеец! Я поглядел в щель ставен. Никого... Антонио рассказывал: «Здесь все его боятся... Я был в Элисандо на ярмарке. Там тоже никто не раскроет рта. Боятся... Мне один прямо сказал: «Я только с женой говорю. И то боязно...» Я сам из Вильмедианы, маленькая деревушка, сто шестьдесят душ, но у нас голосовали за социалистов; рекете расстреляли двадцать девять человек».

Антонио привел еще четверых, сказал им: «Можете с ним разговаривать — это француз из наших...» Крестьяне осторожно рассказывали о реквизициях, о штрафах. Вскоре за мною пришел Жак и сказал, что пора идти.

Вернулись мы под утро; зашли в бар на вокзале; пили коньяк.

В общем, я ничего не увидел и мог бы написать о старухе без того, чтобы зря рисковать. Это было затеей двадцатилетнего юноши; я это понимал и, скорее, стыдился, нежели гордился. Ко всему, я побаивался, что меня отзовут: скажут, корреспонденту «Известий» не полагается идти на такие авантюры. Но все обошлось, и я вернулся в Барселону.

Наивным был не только я; многие политические деятели еще верили в изменение позиции Англии и Франции. Нужно вспомнить события лета 1938 года, тогда многое станет понятным. Гитлер что ни день угрожал Чехословакии. Фюрер судетских немцев Гейнлейн отправился в Лондон, но вернулся недовольный. Хотя Чемберлен был готов к уступкам, ему приходилось считаться с оппозицией не только лейбористов, но и многих влиятельных консерваторов. Во Франции картина была такой пестрой, что нелегко было разобраться: почти в каждой партии имелись сторонники отпора и сторонники капитуляции. Правый журналист Кериллис, еще недавно проклинавший испанских республиканцев, писал, что Гитлер покушается на Францию. Левая газета «Эвр», прежде выступавшая против Франко, стала рупором кругов, которые называли себя «сторонниками мира» и стояли за любые уступки Гитлеру. Все нервничали. Владельцы гостиниц на побережье или в Альпах жаловались: люди забывают, что на дворе летние каникулы!

Альварес дель Вайо всегда был (да и остался) оптимистом. Помню, в то лето он доказывал мне, что война между Германией и Францией с ее союзниками неминуема. «Французы найдут в Испании не только врагов, готовых их атаковать с

тыла, но и союзников». Он считал, что конец лета многое изменит в мире, повторял: «Наше дело — продержаться...»

Много писали, пишут и теперь о «чуде Мадрида», об осени 1936 года, когда испанский народ с помощью интербригад и советской техники остановил фашистскую армию. О последнем периоде написано куда меньше: разгром никогда не казался увлекательной темой. А я признаюсь: сопротивление во вторую половину 1938 года мне кажется еще большим чудом, чем оборона Мадрида в первую осень войны.

Пятнадцатого апреля 1938 года, когда войска Франко вышли к побережью и разрезали республиканскую Испанию на две части, исход войны был предрешен. Конечно, были и ошибки, и растерянность, и многое другое, но я пишу не историю войны, а книгу воспоминаний. Я думаю о том, что Каталония продержалась еще десять месяцев, Мадрид и того больше, и не могу побороть в себе волнение. Народы похожи на отдельных людей: их лучше понимаешь в дни глубокого несчастья.

В июне меня принял президент республики Асанья. Некоторые его называют «дезертиром», потому что он уехал во Францию в феврале 1939 года вместе с правительством. Конечно, президент республики должен был бы отправиться в Мадрид; но судьи не только слишком строги, они как бы не хотят понять, что Асанья был президентом воюющей Испании поневоле. Когда республика приняла вызов Франко и вступила в бой, переменили правительство. Его много раз меняли. А президента нельзя было переменить, он был символом преемственности, вывеской для буржуазных демократий Запада, флагом.

Мануэль Асанья стал политиком, скорее, по недоразумению; он писал романы, эссе, вместе со всей передовой интеллигенцией ненавидел монархию, диктатуру Примо де Риверы. Он был прежде всего дилетантом — и в литературе и в политике; чувствовал он себя хорошо не в резиденции президента, не на посту премьера, даже не в парламенте, а в литературном клубе «Атенеум», где затевал диалоги эрудитов, где происходили ночные нескончаемые беседы, которые испанцы называют «тертульями». Он мог бы блистательно поспорить с Эдуардом Эррио о барокко, о госпоже Рекамье, о всёчеловечности Кальдерона.

Никто не упрекнет его в трусости. Я был в Мадриде, когда 14 апреля 1936 года народ праздновал годовщину провозглашения республики. Асанья тогда занимал пост премьер-мини-

стра. Один фашист в него выстрелил. Началась паника. Асанья спокойно улыбался.

Все дальнейшее было для него непосильным испытанием: он был либеральным интеллигентом, и когда Кабальеро принес ему на подпись список нового правительства, куда входили четыре анархиста, он заупрямился, пытался спорить, доказывал, что люди, отрицающие государство, не могут стать министрами. Он спорил, а с ним не спорили — он оставался флагом.

Он принял меня как корреспондента советской газеты и сделал заявление; в нем были такие строки: «Вооруженное нападение на республику, которое было организовано и которое поддерживается тремя европейскими государствами, принуждает нас вести войну за независимость не только в политическом значении данного слова, но и в том, что является самым высоким, самым основным, более длительным, нежели структура, режим государства: борьба идет за свободу развития испанского духа. Речь идет не о том, будет ли в Европе одной республикой больше или меньше, не о том, сможет ли та или иная политическая партия отстаивать свою программу. Речь идет о том, сможет ли великий народ, прославленный в стольких областях, принимать самостоятельное участие в создании современной культуры, или он будет удушен. В этом мировое значение испанской трагедии, в этом причина и сила самообороны Испании».

Передав мне заявление, Асанья вдруг печально улыбнулся: «Теперь мы можем поговорить как два писателя...» Я думал, что он начнет беседу о литературе, но он сказал: «Я поставил в моем заявлении слово «трагедия»; может быть, для главы государства это неуместно, но другого слова я не нашел. Негрин, кажется, верит, что Испанию спасет мировая война. Наверно, война начнется. Но ее не начнут, пока не задуют Испанию... Вы знаете нашу литературу. Мы всегда стремились к общечеловеческим идеалам. Испанец создал «Дон-Кихота», его все оценили, и для всех он стал посмешищем. Нас жалеют и, жалея, посмеиваются... Испанию надолго посадят за решетку...»

Я встретился с барселонскими анархистами. Они ругали правительство, коммунистов, говорили, что Прието — прожженный политикан, что все происходящее каждый день подтверждает правоту анархистов, и вместе с тем с гордостью повторяли, что в советских газетах восторженно писали о командире

Сиприано Мера, а он — анархист. Они клялись, что СНТ — ФАИ будут сражаться до конца, жалели, что правительство мало делает для организации партизанской войны: «Каждый испанец создан для герильи...» Один из них проводил меня до гостиницы. По дороге началась тревога, завывли сирены, и мы застряли в подворотне какого-то склада. Анархист говорил: «Хорошо, сознательным я стал в тысяча девятьсот двадцать восьмом году, мне тогда было двадцать три года. Я был на фронте, ранен в грудь. Сегодня я попросил, чтобы меня послали на Эбро. Во-первых, я — анархист, это обязывает...» Он замолк, я спросил: «А во-вторых?» Он ответил не сразу, и голос у него был смущенный: «Во-вторых?.. Но что ты хочешь? Испанцем я был еще до того, как стал анархистом. Может быть, ты думаешь, что я не испанец? Я из Севильи — как твой Хосе, только он был булочником, а я парикмахером. Я больше испанец, чем подлец Франко! Ну, а как по-твоему, может настоящий анархист жить без Испании? По-моему, нет».

Испанским коммунистам было нелегко; все время они должны были что-то кому-то объяснять: анархистам — что такое дисциплина, без которой нельзя разбить фашистов, республиканцам — что такое революция, социалистам — что такое единство, а советским товарищам — что такое Испания.

Я встречался с Хосе Диасом, Долорес Ибаррури, Урибе, другими руководителями партии. Они помогали мне разобраться в положении. Но сейчас я хочу припомнить один разговор, не имеющий отношения к событиям.

Никогда я не любил боя быков, и мы не раз спорили с Хемингуэем. Мне казались отвратительными и распоротые животы старых лошадей, и стрелы, втыкаемые в одуревшего быка, и кровь на песке, а самое главное — обман: бык не знает правил игры — бежит прямо на врага, а тореро вовремя чуть отклоняется в сторону; все искусство состоит в том, чтобы вовремя отбежать, не слишком рано, иначе публика освищет, да и не слишком поздно — зверь может прободать живот не клячи, а любимца Испании. У Хосе Диаса выпал свободный час. Как настоящий андалузец, он любил бой быков и сказал мне: «Ты думаешь, что мы всегда с тореро? Вот уж нет, часто мы на стороне быка. Ничего ты в этом не понимаешь...»

Не знаю, почему я сейчас вспомнил этот разговор; наверно, поэт оттеснил летописца. Вернусь к событиям 1938 года. В конце июля началось наступление на Эбро — последняя по-

пытка республиканцев восстановить положение. Ночью солдаты в лодках переправились на правый берег, который был хорошо укреплен. Эбро — широкая река с быстрым течением. Наступающим удалось создать плацдарм, навести мосты, захватить городок Мора-да-Эбро, ряд деревень, создать угрозу для левого фланга фашистов. Началось долгое и кровопролитное сражение.

Я дважды был на правом берегу Эбро, видел различные бои. Фашистская авиация бомбила мосты почти непрерывно, и непрерывно понтонеры их снова наводили; у них была песенка:

Живут в пещере,
Черны, как негры,
И злы, как звери,
Понтонеры Эбро.

Они действительно жили в скалах, рассеченных бомбами. Когда я снимал мост, чтобы послать фотографию в «Известия», один понтонер сказал мне: «Только без выдержки, а то упадет бомба, и пропала твоя фотография...»

Здесь война выглядела иначе, чем у Гвадалахары или даже у Теруэля. На стороне Франко сражались одиннадцать дивизий. На трехкилометровом секторе фашисты сосредоточили сто семьдесят орудий. Долго бои шли за различные высоты Сьерра-Панолос, и я увидел, как может измениться абрис горы от длительного артиллерийского обстрела.

Я познакомился с командиром Мигелем Тагуэнья. Ему было двадцать пять лет, его называли комсомольцем. Он успел до войны кончить университет, занимался оптикой, готовил диссертацию, а вместо этого пришлось взять ружье. Он стал командиром корпуса. У него было еще по-детски припухлое лицо, но кадровые военные говорили о нем с уважением. Он сказал: «Дойдем до Гандесы...» И вопреки всему я начинал верить в возможность победы. На фронте было как-то спокойнее, чем в Барселоне. Я не думал о том, что делается в Европе, не думал даже о судьбе Валенсии — мои мысли были заняты высотой 544, как будто от того, в чьих руках окажется эта лысая, развороченная огнем макушка невысокой горы, зависел исход всей войны.

Армией командовал Хуан Модесто. Мы вспомнили начало войны; тогда Модесто набрал батальон имени Тельмана; я с ним

познакомился в тот самый день, когда они взяли в плен первого фашиста; Модесто радовался, как ребенок: «Ты понимаешь — взяли пленного! Конечно, лучше бы двух — можно было бы сказать «взяты трофеи и пленные». Он и на Эбро мне сказал, что вспоминает тот далекий день как самый счастливый. Он рассказал мне свою жизнь: он андалузец, работал на лесопилке, любил футбол, политикой не интересовался. Как-то доктор дал ему крохотную газету «Голос пролетария». Модесто прочитал и задумался. Вскоре он стал коммунистом. На Эбро его палатка была набита книгами: учился военной науке. Веселый человек, он всех заражал весельем. Мне рассказывали, что в марте, когда люди пали духом, он пел песни, шутил, рассказывал андалузские анекдоты, и все невольно улыбались. Мы заговорили о перспективах. Модесто не унывал: «Посмотри, какая у нас теперь армия!» Потом он вздохнул: «Вот авиации мало... Да ты не объясняй, я все понимаю... Но очень мало...»

(Недавно я встретил Модесто в Риме после долгой разлуки. Я обрадовался, как будто ступил на землю Испании. Он все тот же и таким же голосом, как на Эбро, сказал: «Посмотри, какая теперь в Испании молодежь!..»)

Я не терял надежды, хотя понимал, что надеяться не на что. Сердце часто в размоловке с рассудком: это супружеская пара, которая не может ни мирно сосуществовать, ни развестись. Что меня приподымало? Да все то же — мелкие приметы. Не было табака, и одинокий солдат на посту сказал мне: «У меня две сигареты, отдай одну первому товарищу, которого встретишь...» В Барселоне на площади Каталунья я как-то дал двум девочкам плитку шоколада, которую привез из Франции. Девочки позвали подруг и аккуратно разломали плитку на десять крохотных кусочков. В прифронтовой каталонской деревне Пуидж Верд я зашел в крестьянский дом и сразу увидел городских детей. Старик хозяин сказал мне: «В Испании теперь мало земли. Видишь, они из Фраги. Была у них земля, и отобрали...»

Это не сентиментальные истории, а быт Испании накануне развязки.

Летом, особенно осенью я часто уезжал во Францию: разворачивались события, от которых зависела судьба Европы на долгие годы. Я предложил Савичу писать для «Известий», когда

меня нет в Барселоне; он согласился, и газета обзавелась новым корреспондентом с красивым испанским именем Хосе Гарсия. Каждый раз, уезжая, я с тревогой оглядывался на испанского пограничника — стал суеверным. А вместе с тем я не только писал, но и чувствовал: есть еще надежда! Наперекор всему...

30

В четвертой части этой книги почти все главы связаны с политическими событиями, происходившими в Европе в 1934—1938 годы. Это естественно: события были значительными, и я не чувствовал себя зрителем. Я не могу оторвать свою биографию от приступов озноба, в которые эпоха бросала сотни миллионов людей. Рассказать про свою жизнь иначе — было бы неправдой.

Когда мне было двадцать лет, я думал о Кате, о картинах Мемлинга, о стихах Блока. Дни пахли туберозами, которые я покупал вместо того, чтобы пообедать. Я даже не знал, что стоит во главе французского правительства, хотя жил в Париже, не интересовался тем, что происходило в Агадире, хотя агадирский кризис грозил мировой войной, не раздумывал над аграрной реформой Столыпина, хотя продолжал считать себя революционером.

Четверть века спустя я не только писал в газетах, я чувствовал свою зависимость от того, что в этих газетах сообщалось. Обоняние диктует памяти навязчивые детали, и многие дни того времени связаны в моих воспоминаниях не с ароматом цветов, а с запахом печатной краски.

Я говорю об этом без радости и без сожаления: жить по-другому я не мог. Двадцатилетнему юноше казалось, что он свободно выбирает такую жизнь, какая ему по душе. К концу тридцатых годов я давно распрощался со многими иллюзиями, знал, что если и дана человеку возможность выбрать дорогу, то петли этой дороги зависят не от него.

Назвался груздем — полезай в кузов. Да, конечно. Но ведь и грузди в кузове не похожи один на другой. Я писал в предшествующих главах о борьбе Испании, о малодушии Влюма или Даладье, о крестьянах Каталонии, о немецких летчиках. Теперь мне хочется рассказать немного о себе.

Я говорил, что часто ездил во Францию, где назревали большие события; газета об этом просила, да и мне самому хотелось знать — будет война или нет.

Люба сняла домик в Баньюльсе, возле испанской границы. Там я отдыхал от бомбежек; приезжали Савич, друзья из Барселоны. В Баньюльс приехала из Парижа моя давняя приятельница — розовая смешливая Дуся. Приехал Мальро — он кончал съемки фильма об испанской войне.

В Париже было тревожно, и после испанской эпопеи нелегко было мириться с малодушием, скарденностью, привязанностью к тысячам бытовых услуг. Мало кто приходил на Монпарнас из моих старых друзей. Художники говорили уже не о фактуре холстов, а о судетских немцах и Чемберлене. Ирина писала редко, письма были пустыми, — впрочем, других я и не ждал. Новый посол Я. З. Суриц был человеком сердечным, но подружился я с ним по-настоящему много позднее — в послевоенные годы. Человеку, занимающему ответственный пост, трудно разговаривать: он должен уговаривать или отговаривать.

В 1938 году неожиданно для себя, после перерыва в пятнадцать лет, я начал писать стихи. Почему это произошло? Прежде всего, от горя и одиночества. В часы радости человек общителен, он делит свою радость, будь то с толпой на улице, будь то среди четырех стен, с дорогим для него существом. А в минуты самого высокого, полного счастья человек молчит, как будто боясь словом поторопить время, разрушить внутреннюю гармонию. Горе же требует слов, у него есть язык, только очень редко ему перепадают чужие уши. Кто знает, как мы были одиноки в те годы! Речей было много, пушки уже кое-где палили, радио не умолкало, а человеческий голос как будто оборвался. Мы не могли признаться во многом даже близким; только порой особенно крепко сжимали руки друзей — мы ведь все были участниками великого заговора молчания.

Я глубоко привязан к своей основной работе — к прозе; знаю ее радости и трудности. Это — путь в гору, с петлями, с обвалами, с одышкой, порой и с инфарктами. Это — слова, обращенные к людям, о людях; комната прозаика всегда переполнена невидимыми для посетителя героями, милыми или несносными, друзьями или недругами, прошенными и непрошенными, навязанными жизнью. Прозаик ищет для своей работы уединения, ему нужны рабочий стол, тишина, но, по правде

говоря, он живет и пишет на шумном, беспокойном перекрестке.

Поэт может сочинять стихи на улице, в автобусе, на скучном заседании, но в эти минуты он одинок. Никогда не вздумалось бы никакому прозаику, даже в давние времена, когда люди обожали мифологию, беседовать с музой. А поэты, включая и тех, которым никто не говорил в школе, что муза Эрато олицетворяет лирику и сжимает в руке лиру, вдруг да вспомнят про музу. Лирика напоминает дневник, и часто люди начинают рифмовать от одиночества. Тютчев писал:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

В стихах Тютчева затаенная мысль не была ложью. Есть у поэзии великая сила: рождаясь от одиночества, она разрушает преграды, существующие между людьми. Поэт беседует с воображаемой музой, ей исповедуется, часто не думая о судьбе зазвучавших в голове строк; а его признания становятся живой водой для множества людей. Стихи Тютчева были изданы его друзьями, и Иван Аксаков потом писал: «Тютчев при этом издании был, очевидно, сам в стороне; за него распоряжались, судили и рядили другие. Мы убеждены, что он даже и не заглянул в эту книжечку». А Л. Н. Толстой до смерти бормотал тютчевские строки, которые я привел.

До чего одинок, несчастен был Лермонтов! Свои лучшие стихи Верлен написал в тюрьме. Дневник Блока потрясает тоской одиночества. Можно было бы заполнить десятки страниц таким перечнем. Я отнюдь не хочу прославлять одиночество, но скажу, как Бергамин: одиночество — это не отъединение, не программа, не опостылевшая всем «башня из слоновой кости». Какая уж тут кость — тут беда! А беды на свете много...

Я снова взялся за стихи еще по одной причине. Повесть «Что человеку надо» я написал летом 1937 года — между Брунете и Теруэлем; за роман «Падение Парижа» сел осенью 1940 года. В течение трех лет я писал статьи, очерки, короткие сообщения о военных операциях или о политических событиях. Я писал и повторял написанное в телефонную трубку

или выстукивал русские слова латинским шрифтом на телеграфных бланках. Я невольно переставал думать о слове; мой язык беднел, становился стандартным, почти условным.

Хочу признаться в моей страсти. Думаю, никто меня не заподозрит в национализме; я много жил за границей, научился ценить гений других народов. Я не полиглот, но несколько языков понимаю, и вот я с ранней юности по сей день влюблен в русский язык. Мне кажется, что он как будто создан для поэзии. Каждый человек любит язык, на котором он говорит с младенчества, но я не только люблю русский язык, я перед ним преклоняюсь. Он обладает свободой, не существующей в других известных мне языках; от перестановки слов в фразе меняется смысл. Есть языки с музыкальным ударением на различных слогах, я осмелюсь сказать, что русский язык обладает лирическим ударением на том или ином слове. Свобода, отсутствие обязательного уточнения, рождающегося в западноевропейских языках от жесткости синтаксиса, отсутствие артиклей — все это предоставляет писателю безграничные возможности: перед ним не истощенные почвы былых веков, а постоянная целина.

Поэзия стала для меня трудным разреженным воздухом, очищением. Ощущая важность отдельного слова, я чувствовал и связь с прошлым, и реальность будущего, осязал детали жизни, и это помогало бороться с отчаянием.

Я сочинял стихи в машине или в поезде, в часы отдыха или на шумливом собрании, на улице, во фронтовых землянках. Записывал я их позднее; стихотворения были короткими, и я их знал на память.

Пятнадцатилетняя Анна Франк, прячась от фашистов, вела дневник и обращалась в нем к воображаемой подруге Китти (так она назвала подаренную ей тетрадку). Не знаю, кому я исповедовался; может быть, все той же музе — неприкаянной, покрытой грязью фронтовых дорог, оглохшей от бомбежек, не обнаруженной на писательских собраниях и воистину «беспаспортной».

Я писал стихи о различных событиях, которые до того описывал в газете и о которых упоминал в этой книге; писал, конечно, по-другому. Возле Мората-де-Тахунья бригада Лукача произвела разведку боем; это была трудная операция, стоившая многих жертв. Стихотворение «Разведка боем» я кончал словами:

А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные края.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость моя!

В отчете о попытке наступления в Каса-дель-Кампо я писал о канарейке, и редакция на меня рассердилась, в общем, справедливо. В стихах я вернулся к птичке:

Что здесь делают шкаф и скамейка,
Эти кресла в чехлах и комод?
Даже клетка, а в ней канарейка,
И, проклятая, громко поет...
Но не скрою — волнение пичуги
До меня на минуту дошло,
И тогда я припомнил в испуге
Бредовое мое ремесло:
Эта спазма, что схватит за горло,
Не отпустит она до утра,—
Сколько чувств доконала, затерла
Слов и звуков пустая игра!

Я писал о похоронах советского летчика в испанской деревне:

Под оливами могилу вырыв,
Положили на могиле камень.
На какой земле товарищ вырос?
Под какими плакал облаками?
И бойцы сутулились тоскливо,
Отвернувшись, сглатывали слезы.
Может быть, ему милей оливы
Простодушная печаль березы?

Писал я и о том, о чем не мог, не хотел никому рассказать, о том, что увидел и пережил в Москве. Приведу одно стихотворение 1938 года не потому, конечно, что придаю большое значение моим стихам, а потому, что в стихах легче выразить многое, нежели в прозе:

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась,
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума,
Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать,

Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол,
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал,
Чтоб капля за кашлей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то,
Какая-то видимость точной, срочной работы,
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули,
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

Писал я об эпохе, о бурном горном потоке, который потом становится широкой плавной рекой; пытался утешить себя:

Закончится и наше время
Среди лазоревых земель,
Где садовод лелеет семя
И мать качает колыбель,
Где летний день глубок и долог,
Где сердце тишиной полно
И где с руки усталый голубь
Клюет пшеничное зерно.

Может быть, это слабые стихи, не знаю; мне они до сих пор дороги как признания, и я не мог не уделить им места в книге о моей жизни. Мне кажется, что эта глава поможет читателю лучше понять автора. Французская пословица уверяет, будто дверь должна быть либо открыта, либо закрыта. Нет, занавеска исповедальни может быть одновременно и опущена и приподнята.

31

Известия из Парижа и Лондона волновали всех; испанские газеты уделяли полосы Чехословакии. На фронте Эбро бои затишли. Все ждали, чем кончится трагедия, которая разыгрывалась не на театре военных действий, а в закрытых для посторонних глаз министерских кабинетах.

Я приехал в Париж 23 сентября. День был душный, — казалось, разразится гроза. Я пошел в чехословацкое посольство к советнику Шафранеку, с которым иногда встречался. Он был мрачен, сказал мне: «Лично я ни на что больше не надеюсь...» Это был высокий, плотный, обычно невозмутимый человек; в тот день он не мог совладать с собой, его голос срывался, он повторял: «Сегодня очень жарко, правда?», налил воду

в стакан, и руки его дрожали. Под окнами стояли толпы: приходили делегации рабочих, профессора, писатели; все возмущались намечающимся предательством, выражали сочувствие Чехословакии.

Я пропустил телефонный звонок редакции: ходил по улицам рабочих кварталов. Повсюду слышались те же слова: «Чемберлен», «капитуляция», «Даладье», «фашизм». Люди были возбуждены. Один рабочий говорил: «Сволочи, неужели они не понимают, что, если отдать немцам чехов, они через месяц пойдут на нас? Вот уж кто предатели!..»

В богатых районах я увидел картину, памятную мне по 1914 году: прислуга грузила на машины элегантные чемоданы. Здесь было тихо, только какая-то дама кричала, видимо тутому на ухо, пожилому спутнику: «Ты опять не понимаешь?.. Этот сброд из Народного фронта хочет, чтобы Париж уничтожили, как Мадрид!..»

Я пошел в редакцию газеты «Ордр» к Эмилю Бюре, тучному, умному, несколько циничному в своих отзывах. Это был блистательный журналист, представитель старой Франции; он придерживался правых убеждений, считал, что Народный фронт — опасная затея, но, будучи патриотом, обличал капитулянтов. «Вы знаете, чего они боятся? Победы. Ведь воевать против немцев придется вместе с вами. Один депутат вчера мне сказал: «Военные сошли с ума — настаивают на сопротивлении, они не понимают, что это окрылит коммунистов». Я ему ответил: «Речь идет не о составе кабинета, а о судьбе Франции». Что вы хотите — мы выродились. Нужен Клемансо, а у нас Даладье, это Тартарен, только без фантазии. Я помню, как два года назад он подымал кулак и обнимал Тореза. Вы увидите — завтра он подымет руку и обнимет Гитлера...»

Я прочитал в «Эвр» статью Жионо, он писал, что «живой трус лучше мертвого храбреца».

Мне хотелось скорее вернуться в Барселону. А выйдя из дому на следующее утро, я увидел людей, которые читали расклеенное объявление о частичной мобилизации. Даладье заявил, что Франция выполнит свои обязательства и будет защищать Чехословакию.

(Блюм, когда Франко поднял мятеж, тоже сказал, что Франция поможет Испанской республике. Талейран говорил, что никогда не нужно следовать первому чувству — оно бывает благородным и, следовательно, глупым. Я не хочу, конечно,

сравнивать Талейрана, циничного и крупного политика, с людьми вроде Даладье, случайно оказавшимися у государственного руля, растерянными и недалевидными провинциалами.)

Мобилизованные шли на вокзалы; некоторые подымали кулаки, пели «Интернационал». На углах улиц прохожие останавливались, начинались споры. Один кричал: «Какое нам дело до чехов! Пускай большевики защищают Бенеша!..» Другой назвал его «фашистом». Полицейские вяло повторяли: «Расходитесь, пожалуйста, расходитесь!» У них был растерянный вид: они не знали, кого бить.

В Париже бастовали строительные рабочие. 25 сентября они прекратили забастовку, объявив, что не хотят мешать обороне Франции. Развозили песок — против зажигалок. Дороги на юг были заполнены машинами: буржуазия отбывала. Повсюду я слышал одно слово: «война»... Реквизировали автобусы. Женщины записывались на краткосрочные санитарные курсы. Некоторые магазины закрылись. Вечером Париж погрузился во тьму, и на минуту мне показалось, что я иду по улицам Барселоны.

Тридцатого сентября объявили о Мюнхенском соглашении. Зажглись фонари, и средние французы потеряли голову: им казалось, что они одержали победу. На Больших Бульварах в туманный вечер толпа ликовала; противно было смотреть. Люди поздравляли друг друга. Муниципалитет постановил называть одну из парижских улиц «Улицей 30 сентября».

Вечером мы с Путерманом ужинали в кафе «Куполь» на Монпарнасе. Я упоминал, что мой друг Путерман редактировал левый еженедельник «Лю»; он был уроженцем Бессарабии, боготворил Пушкина, собирал редкие книги, а сердце у него было совсем не книжное — горячее, страстное. Мы сидели подавленные происшедшим. За соседними столиками французы пили шампанское, пировали. Один из соседей вдруг заметил, что мы возмущены тостами, гоготом, карнавальным весельем, и спросил: «Мы вас, кажется, беспокоим?» Путерман ответил: «Да, сударь. Я — чехословак». Они притихли, а несколько минут спустя снова стали восторженно галдеть.

Я видел, как Даладье проехал по Елисейским полям. В его машину швыряли розы. Даладье улыбался. В парламенте социалисты, накануне осудившие Мюнхенское соглашение, проголосовали за правительство. Блюм писал: «Мое сердце разрывается между стыдом и чувством облегчения...» На бульваре

Капюсин я увидел над кинотеатром четыре флага, среди них немецкий со свастикой. Газеты объявили подписку на подарок «миротворцу Чемберлену». В эльзасском городе Кольмар четыре улицы были переименованы, одна получила название «Улица Адольфа Гитлера».

Я Э. Суриц сказал мне, что Даладьё — тряпка, Боннэ представлял сторонников капитуляции, Мандель резко возражал, но в последнюю минуту взял назад отставку.

Я заканчивал очередную корреспонденцию словами: «На Елисейских полях капитулянты приветствовали г. Даладьё. Как бы им не пришлось вскоре увидеть дивизии Гитлера, шагающие к Триумфальной арке». Редакция эту фразу выпустила; мне объяснили, что нужно повременить, — может быть, наступит похмелье; просили часто, подробно сообщать о событиях.

Одиннадцатого октября «Известия» обзавелись новым специальным корреспондентом — Полем Жосленом. Псевдоним я выбрал случайно, не думая, конечно, о герое Ламартина. Эренбург продолжал посылать длинные статьи, а Поль Жослен ежедневно передавал две-три заметки.

В октябре я поехал в Эльзас. Эльзасские фашисты, ободренные Мюнхеном, начали поговаривать о присоединении к рейху. Едва я приехал в Страсбург, как за мною пришел чиновник префектуры. Префект сразу меня спросил, не собираюсь ли я защищать отделение Эльзаса от Франции, как это сделал корреспондент «Дейли экспресс». Я рассмеялся, объяснил, что позиция Советского Союза никак не похожа на позицию лорда Бивербрука. Он обрадовался и сказал мне, что один крупный полицейский поможет мне собрать информацию о деятельности «автономистов» (так называла себя прогитлеровская партия).

Полицейский оказался находкой: во-первых, он не любил немцев, во-вторых, автономисты обидели его лично — назвали в своей газете «рогоносцем». Он показал мне интересные документы, найденные при обыске, список членов тайной организации, даже нарукавные повязки, чтобы в час действий заговорщики могли бы узнать друг друга. Он сказал мне, что все это известно правительству, но министр Шотан решил замолчать дело, боится обидеть Гитлера. Я повидал различных политических деятелей в Страсбурге, в рабочем городе Мюлузе.

Мои статьи не прошли бесследно; их цитировали газеты, выступавшие против капитулянтов; ими заинтересовалось и

правительство. Как я потом узнал, Шотан предложил выслать меня из Франции, Мандель возражал, и меня не выслали.

Я нашёл среди бумаг телефонограмму иностранному отделу «Известий»: «Прошу меня вызвать по телефону 25 октября в 12 часов по московскому времени для сверки. Пришлю отдельно телеграфом короткие интервью с различными политическими деятелями Эльзаса. 25 вечером уеду в Марсель».

В Марселе состоялся съезд радикальной партии, к ней принадлежали Даладье и большинство министров. Я помнил радикальную партию в прошлом, когда она представляла мелкую буржуазию, крестьянство южных областей, свободомыслящую интеллигенцию и когда она твердила о чистоте якобинских традиций. В Марселе о якобинцах не вспоминали, зато много и с жаром говорили о «коммунистической опасности», хотя официально еще существовал Народный фронт. Ораторы во всем обвиняли рабочих, называли их «лодырями», прославляли миролюбца Даладье. Правда, были и другие радикалы — Пьер Кот, Боссутру, им не нравилась политика Даладье, но я понимал, что таких скоро исключат из партии, если они сами из нее не уйдут.

Я говорил с Эдуардом Эррио. Он был подавлен, не решался порвать с Даладье, в своей речи он сказал, что Советский Союз готов был выполнить свои обязательства, что Франция потеряла союзников, что угроза войны возросла, а мне жаловался: «Французы потеряли голову. Мы забываем, что мы — великая держава. Не знаю, чем это кончится...»

Во время съезда произошел большой пожар; загорелась и гостиница, в которой жили делегаты. Оказалось, что у пожарных мало лестниц. Эррио, вспыхив, кричал: «Может быть, мне выписать пожарников из Лиона?..» Зрелище было почти нарочитым, каким-то предварительным показом надвигающейся катастрофы.

Вскоре в Нанте состоялся другой съезд — Всеобщей конфедерации труда; туда тоже поехали неразлучные друзья — Эренбург и Поль Жослен. Коммунисты призывали к борьбе; но и в Нанте нашлись сторонники капитуляции; один из них сказал: «Спасение Франции в том, чтобы перейти на положение второстепенной державы».

Все путалось. Стоял густой туман и над городами и в сознании. Газета «Эвр» уверяла, что она всегда отстаивала мир, начиная с того времени, когда печатала «Огонь» Барбюса; она

и не изменила своей позиции — нужно пойти на новые уступки Гитлеру и Муссолини, чтобы избежать войны. Были и такие «левые», которые, протестуя против роспуска ПОУМ в Испании, требовали запрещения коммунистической партии во Франции. Писатель Селин предлагал объединиться с Гитлером в священной войне «против евреев и калмыков» («калмыками» он, видимо, называл русских).

Меня пригласили в Сюртэ (французская охранка). Один из крупных чиновников вежливо спросил меня, не заметил ли я, что за мною следят. Я ответил, что, кажется, шпики иногда ходят за мной, но я привык, не обращаю внимания. Чиновник сказал, что за мной следят крайне правые террористы, вытащил полсотни фотографий и попросил опознать людей, которые меня преследуют. Я улыбнулся: узнать никого не могу, а за себя не боюсь. «Напрасно. Мы знаем, что организация, которая убила братьев Россели, решила вас ликвидировать». Я поблагодарил за участие и ушел. Мне почему-то казалось, что никто в меня стрелять не собирался, а Сюртэ понадеялась, что я испугаюсь и уеду из Франции. Моя газетная работа, встречи с политическими деятелями, памфлеты, да и обильная информация, которую посылал Поль Жюстен, не могли нравиться тогдашним правителям Франции. Однако недавно я нашел среди старых газетных вырезок отчет о судебном процессе, происходившем в Париже в 1947 году. Судили террористическую кучку «кагуляров», которые убили итальянских антифашистов братьев Россели. Один из подсудимых рассказал на суде, что ему поручили следить за мною. Приходится признаться, что я зря подозревал Сюртэ: хоть это бывает редко, охранники действительно пытались меня охранить.

Все шло как по расписанию. Правительство опубликовало чрезвычайные декреты, направленные против рабочих. На 30 ноября была назначена всеобщая забастовка. Правительство решило заменить забастовщиков солдатами. Водителей автобусов, которые не хотели работать, отвозили прямо в тюрьму. Забастовка провалилась. Даладьё мог выпить еще за одну победу — над рабочими. Слова «Народный фронт» отовсюду исчезли.

В Германии происходили грандиозные еврейские погромы. Несчастные люди пытались перейти границу, спастись во Франции. Пограничники их ловили, некоторых по приказу Парижа выдавали немцам.

В начале декабря вернулись из Испании французы-интербригадовцы; их встречали рабочие; встреча была трогательной и бесконечно печальной: пока интербригадовцы сражались у Гвадалахары, на Хараме, фашизм с черного хода прокрался в их дом.

Гражданская война во Франции началась в 1934 году; это была скрытая война, без пушек, но с атаками и контратаками, с жертвами, со взаимной ненавистью. Мюнхен не был случайностью: буржуазия шла на любые жертвы, лишь бы справиться с рабочими. А рабочие, озлобленные изменой, угрюмо молчали.

Я хорошо запомнил осень 1938 года. Жизнь внешне казалась прежней: люди работали, пили аперитивы, играли в карты, танцевали; но за всем этим были горечь, тревога, смятение. Я не мог смотреть вчуже — знал Францию, любил ее и видел, что она идет к гибели, как лунатик, с раскрытыми невидящими глазами, с сентиментальными песенками, с хризантемами, с паштетами, со сплетнями... Статью, написанную в конце ноября, я назвал «Грусть Франции» и в ней писал: «Я говорю не о нужде, даже не о горе — о той огромной грусти, которая опустилась на эту землю, — Мюнхен надломил Францию».

А Поль Жюслен аккуратно сообщал, как Жюль Ромен, позавтракав с Риббентропом, уверовал в будущее франко-немецкого союза или как владельцы военных заводов субсидируют пацифистскую пропаганду профсоюза школьных работников.

Пятого декабря я писал в Москву: «Хочу несколько освободиться от Жюслена, который вытесняет Эренбурга из жизни, устал, нет свободной минуты. Надеюсь, редакция это поймет...»

Начиналась зима; улицы пахли жареными каштанами; продрогшие влюбленные крепче прижимались друг к другу.

Несколько дней спустя мне удалось выбраться в Барселону. Не успев оглянуться, я уже кричал в телефонную трубку: «Наступление противника началось на всем фронте от Тремпа до Эбро...» Здесь люди еще боролись.

32

Вскоре после приезда в Барселону, — кажется, это было под Новый год, — я пошел к поэту Антонио Мачадо — привез ему из Франции кофе, сигареты. Он жил на окраине города в маленьком холодном доме со старой матерью; я там довольно часто бывал летом. Мачадо плохо выглядел, горбился; он редко

брился, и это еще больше его старило; ему было шестьдесят три года, а он с трудом ходил; только глаза были яркими, живыми. У меня сохранилась запись об этой последней встрече: «Мачадо читал отрывки из элегии Хорхе Манрике:

Наша жизнь — это реки,
А смерть — это море,
Берет оно столько рек,
Туда уходят навеки
Наша радость и горе,
Все, чем жил человек.

Потом он сказал о смерти: «Все дело в том, «как». Надо хорошо смеяться, хорошо писать стихи, хорошо жить и хорошо умереть». Он вдруг по-детски улыбнулся и добавил: «Если актер вошел в роль, то ему легко и уйти со сцены...»

Антонио Мачадо умер патетически, хотя он был самым скромным из всех поэтов, которых я встретил в жизни. Когда фашисты подошли к Барселоне, он взял с собою мать, и они вместе зашагали по страшным дорогам пограничной полосы. В изгнании Мачадо прожил всего три недели; скончался он в местечке Кольюрс; оттуда видны горы Испании. Мать пережила его на два дня. Мачадо не мог больше жить.

Теперь он признан всеми как самый большой поэт Испании нашего века. Его память чествуют академики франкистской Испании; ему посвящают стихи молодые испанские поэты. Он уже вне споров, да и вне событий; а рассказываю я о нем здесь потому, что для меня его образ неотделим от тех трагических дней, когда Испания покидала Испанию.

Познакомился я с ним в Мадриде в апреле 1936 года. Помню, с каким восхищением слушали его стихи Рафаэль Альберти, Неруда, десяток молодых писателей. Я сказал, что он был удивительно скромным, но этого мало. Чехов застенялся, когда Бунин назвал его поэтом, протестовал, доказывал, что он грубо пишет о грубой жизни. По-человечески Мачадо чем-то напоминал Антона Павловича; как-то он мне сказал: «Может быть, я и не поэт. Кеведо был поэтом, Ронсар, Верлен, Рубен Дарио. Я люблю поэзию, это правда...» Это не было кокетством, позой; в шестьдесят лет он конфузился, слыша восторженные признания. И добрым он был, как Чехов, снисходительным к чужим слабостям, старался оправдать желчных, обиженных судьбою критиков или злосчастных графоманов. Во всем он

видел крупицу добра или красоты. Его поэзия прежде всего человечна.

Он читал мне строфы Хорхе Манрике. Трудно найти испанского поэта, который не писал бы о смерти. Летом 1938 года в Барселоне мы разговаривали о положении на фронте, о поведении Франции, и Мачадо сказал: «Неправильно за границей думают, что испанцы — фаталисты, что они встречают смерть с резиньяцией. Нет, они умеют бороться против смерти».

Я видел, как последние годы он боролся против смерти. Его не смущали ни бомбежки, ни жизнь на привалах. Он не хотел уехать из Мадрида; его вывезли в Валенсию, как картины музея Прадо. Он писал в Мадриде, в Валенсии, в Барселоне, писал изумительные сонеты и чуть ли не каждый день писал статьи для фронтовой печати.

Однако к мыслям о смерти он возвращался неустанно, в этом, как во многом другом, он оставался испанцем. Он писал сонеты, элегии, белые стихи и стихи с рифмами, любил гномическую поэзию — короткие философские четверостишия; по большей части он их не рифмовал; согласно традиции романсеро, последние слова второй и четвертой строк имеют одну и ту же ударяемую гласную; это звучит еще тоньше, неуловимей, чем наши самые далекие ассонансы.

Ты говоришь — ничего не пропадает,
Но если ты разобьешь стакан,
Никто из него не напьется,
Больше никто, никогда.

Ты говоришь, что все остается.
Может быть, ты и прав.
Но только мы все теряем,
И все теряет нас.

Все проходит, и все остается.
А наше дело идти
По дороге шаг за шагом,
Дойти до моря, пройти.

Я часто вспоминаю и другие его четверостишия.

Разглядывая мой череп,
Новый Гамлет скажет:
«Красивая окаменелость
Маски карнавала».

Человеку в море
Четыре вещи совсем не нужны —
Весла, руль, якорь.
И страх по морю плыть.

Два боя ведет человек,
И каждый непокорен —
С богом воюет во сне,
Проснувшись, воюет с морем.

Наши часы — минуты,
Когда мы жаждем узнать,
И столетья, когда мы узнали
То, что можно узнать.

Хорошо, что мы знаем,—
Стакан для того, чтобы пить из стакана,
Плохо, что мы не знаем,
Для чего существует жажда.

Рубен Дарио писал о Мачадо: «Он пасет тысячу львов и тысячу козлят». В поэзии Мачадо необычное сочетание степной полыни и сладости лета, мудрости и простоты. Это — видения нищих сел возле Сории, камней Кастилии, человеческой беды, мужества, надежды, и всегда у него дорога «шаг за шагом», дорога в гору или под гору, трудная дорога Испании, человека.

Жизнь он прошел «шаг за шагом» с людьми и в одиночестве; никогда не был на сцене (хотя и написал со своим братом несколько пьес) — прожил на галерке жизни. Он был преподавателем сначала французского языка, потом испанской литературы. Жил в провинциальных городах в Сории, в Баэсе, в Сеговии, в различных испанских Царевококшайсках. Весной 1937 года, когда я вернулся из поездки на Южный фронт, я решил проведать Мачадо — он жил тогда неподалеку от Валенсии. Он расспрашивал меня о фашистах, которые сидели в Вирхен-де-ля-Кабеса, потом спросил, как мне понравилась Ламанча. Я записал некоторые его фразы: «Французский пейзаж легкий, господь бог писал его в годы зрелости, может быть даже в старости, все обдуманно, во всем чувство меры; немножко больше, немножко меньше — и все разлетится. А Испанию бог писал молодым, не обдумывал мазков, не знал даже, сколько камней нагромоздит один на другой. Я люблю «Степь» Чехова.

Мне почему-то кажется, что русские могут понять испанский пейзаж... Ламанча — все знают это слово — «Дон-Кихот». Но почему многие не понимают, что Альдонса — это Дульциней? Каждый испанец видит в здоровой, крепкой домовитой девке мечту, и каждый испанец твердо знает, что Дульцинейя умеет вести хозяйство, сплетничать и ставить метки на рубашках. Тургенев, когда он писал о Гамлете и Дон-Кихоте, не понял, что Альдонса и Дульцинейя слиты. Может быть, потому, что все его героини или чистые, небесные создания, или хищницы? Дон-Кихот и Санчо Панса не противопоставление, а два выражения одного лица. Разрыва у нас нет, но единство дается труднее любого противопоставления. Это и есть Ламанча, да и вся Испания...»

Я привел в дословном переводе поэтические сентенции Дон-Кихота — Санчо Пансы. Я не решаюсь перевести те сладкие и насмешливые строки, которые слагал Антонио Мачадо для Альдонсы — Дульцинейи: они настолько связаны с музыкой, что одно иначе звучащее слово — и пропадет очарование. Это роднит Мачадо с Блоком «Ночных часов». Да и был он для Испании тем, чем Блок для России.

«Шаг за шагом»... Его поведение в годы войны было предопределено всей его жизнью, здесь не было ни чуда, ни внезапного прозрения, ни перелома, только верность себе, Испании, веку. Многие люди, даже изучавшие иностранные языки, не понимают языка искусства. В Литературной энциклопедии один критик писал: «Мачадо — типичный представитель той части мелкобуржуазной интеллигенции, которая перед лицом наступающего капитализма стремится уйти в мир самоанализа и в мелкобуржуазном гуманизме пытается найти разрешение противоречий современности». Это было написано в 1934 году. А в 1954 году другой критик писал в Большой советской энциклопедии: «Сборник стихов «Поля Кастилии» (1912) проникнут любовью к родной земле и горестным раздумьем о судьбах испанского народа... В сборнике «Новые песни» (1924) поэт выступает против реакционного буржуазного искусства». Может быть, изменился Мачадо? Нет, оба критика пишут о его книгах, вышедших в 1912 и 1924 годах. Может быть, изменились критические навыки? Ничуть. Просто годы войны помогли людям, понимающим газетные сообщения и не понимающим поэзии, установить, какой ярлычок подходит для Мачадо.

Печально, что нужны обязательно бомбежки или концлагеря, чтобы поэты получали право на жительство...

Я многое в жизни растерял, а книги Мачадо с его надписями сберег, вывез их из Испании, потом из оккупированного немцами Парижа. Я иногда смотрю на почерк, на фотографию (я его снял в Барселоне), и человек сливается со строками стихов:

Ты на моем пути — вода иль жажда?
Скажи мне, нелюдимая подруга...

Он воевал вместе с народом. Помню, как на Эбро командир дивизии Тагуэнья читал бойцам приветствие Мачадо, и голос его дрожал от волнения: «Испания Сида, Испания 1808 года узнала в вас своих детей...» Когда мы расставались, Мачадо сказал: «Может быть, мы так и не научились воевать. Да и техники у нас мало... Но не нужно судить слишком строго испанцев. Вот и конец — не сегодня-завтра они захватят Барселону. Для стратегов, политиков, историков все будет ясно: войну мы проиграли. А по-человечески, не знаю... Может быть, выиграли...»

Он проводил меня до калитки; я оглянулся и увидел его, печального, сутулого, старого, как Испания, мудрого человека, нежного поэта, и глаза его увидел — очень глубокие, не отвечающие, но спрашивающие, бог весть кого, — увидел в последний раз... Завыла сирена. Началась очередная бомбежка.

33

Двадцать восьмого января — 5 февраля 1939 года, последняя неделя в Каталонии, развязка... Как об этом рассказать? Мы ведь столько перевидали с тех пор, столько пережили... Но в моей памяти живы те дни — рана не закрылась.

Двадцать восьмого января я приехал в Херону. Это был прежде небольшой старинный городок с живописными улочками, с аркадами, садами, древними камнями крепостных стен; и город кричал — не один человек, не сотня — весь город. В Хероне было прежде тридцать тысяч жителей. Теперь в ней находилось четыреста тысяч. Люди сидели, лежали, спали на площадях, на улицах, с мешками, корзинами, и почти непрерывно фашистские самолеты бомбили, расстреливали людей. Не было

больше ни республиканских истребителей, ни зенитной артиллерии. В тот день мне казалось, что ничего больше нет, кроме крика, крови и лопат на кладбище,— рыли братские могилы.

Тридцатого января командир дивизии, рослый костлявый испанец, говорил: «У нас нет лопат. Мы должны окопаться, но у нас нет лопат...» Дороги были забиты лавиной беженцев; шли городские жители; кто-то тащил кресло; бородатый почтенный человек, похожий на профессора, волочил перевязанные толстой веревкой огромные фолианты; крестьяне гнали овец, коз; девочки шли с куклами. Уходил народ. Теперь уж никто не писал на стенах о том, что люди не хотят жить с фашистами,— не до слов было, да и не знаю, думали ли уходившие о жизни, они шли вперед без лозунгов, без надежды, может быть, без мыслей.

Некоторые части продолжали сражаться, задерживая противника. Маленький городок Фигерас, расположенный в двадцати километрах от французской границы, на короткий срок стал столицей Испанской республики. В старой кузнице я увидел знакомого журналиста: там помещались редакция и типография барселонской газеты. Готовили номер. Человек с забинтованной головой в полутьме диктовал: «...успешно отражают атаки численно превосходящего противника...»

Я искал Савича и не мог его найти. Когда я был на главной площади, заваленной людьми, началась очередная бомбежка. Потом итальянские самолеты с бреющего полета расстреливали беженцев. Начальник штаба сказал мне: «Я должен дать сводку, а нет даже пишущей машинки». Ходили зловещие слухи: в пограничном Порт-Бу высадились итальянцы и отрезали Фигерас от Франции, французы не пропускают через границу даже женщин. В кафе перевязывали раненых.

«Кажется, вот где русские»,— сказал мне один командир, показав на здание школы. Но я увидел Негрина, Альвареса дель Вайо, других министров. Они сидели вокруг длинного стола на табуретках; лежали карты, папки с бумагами. Негрин сказал мне: «Мы должны выиграть время, чтобы обеспечить эвакуацию во Францию населения. Потом мы сможем перелететь в Мадрид...» Один из министров доказывал, что самое главное — вывести армию и технику: через Марсель можно будет переправить людей и вооружение в Валенсию, а там вместе с частями Центрального фронта перейти в наступление. Не все иллюзии были еще потеряны...

Мне сказали, что советские товарищи остановились в деревушке в восьми километрах от города. Пришлось потратить три часа, чтобы добраться до этой деревни. Ночи были холодными, и, чтобы согреться, беженцы разводили костры — жгли барахло, которое зачем-то волочили по дорогам. А бомбежки не стихали.

Я вошел в крестьянский дом и обомлел от счастья — пылал огромный камин; перед ним сидели Савич и Котов. Савич объяснил, что на грузовике зачем-то вывезли посольскую библиотеку, приходится жечь — не оставлять же фашистам русские книги. Человека, которого звали в Испании Котовым, я остерегался — он не был ни дипломатом, ни военным. Он бросал книги в огонь с явным удовольствием, приговаривал: «Кто тут? Каверин? Пожалуйста! Ольга Форш? Не знаю. А впрочем, там теплее...» Поразил меня Савич. Он настоящий книгопоклонник. Когда он приходит в гости, то вдруг, забывая всю свою учтивость, начинает листать книги на столе, не слушает даже разговора. А тут заразился и с азартом швырял в камин томики. Котов сказал: «Гмм... «День второй»... Придется уступить автору право на кремацию». Я кинул книжку в камин.

Пришли сотрудники посольства, рассказали мне, что при эвакуации Барселонцы забыли снять со здания герб и флаг; спохватились, кто-то сказал Савичу: «Может быть, вы снимете?..» Савич вернулся в Барселону, где шла стрельба на улицах, вместе со своим шофером, бравым Пепе, влез на крышу, снял герб и флаг. (Все-таки Савич странный человек: преспокойно вернулся в Барселону, когда в город входили фашисты, писал отчеты для ТАССа под бомбежками, сидел с Котовым, жег книги, шутил, а неделю спустя в Париже умирал от страха: у него не было разрешения полиции, ночью он прятался у Дуси, и даже веселенькая Дуся не смогла заставить его улыбнуться. Он показал мне телеграмму из пограничного французского городка: «Машина и я в вашем распоряжении Пепе» — и горько усмехнулся. Впрочем, может быть, ничего тут нет удивительного — все люди таковы.)

Нам сказали, что 1 февраля в Фигерасе состоится заседание кортесов. Мы с Савичем в темноте долго разыскивали, где вход в подвалы старинного замка. Итальянцы без усталости бомбили город. У входа стоял часовой в белых перчатках. Старичок неизвестно где достал потертый половик, постлал им лестницу, которая вела в подвал: «Неудобно, все-таки это кортесы...» Отвели скамьи для дипкорпуса, для журналистов. По просьбе рас-

порядителя я сел на дипломатическую скамью, чтобы она не пустовала; потом подошел кто-то из нашего посольства. Негрин был небритый, с глазами, воспаленными от бессонных ночей. Он говорил, что Англия и Франция предали республику, подвергли Каталонию блокаде. Французы не хотели принять тяжелораненых. Была в его речи такая фраза: «Франция пожалеет о том, что сделала...» Приняли обращение к народу: борьба продолжается; голосовали поименно, депутаты подымались один за другим и торжественно отвечали «да». У одного из них была наспех перевязана рука, кровь проступала сквозь марлю.

Я поехал ночью во французский город Перпиньян, чтобы передать о заседании кортесов в «Известия», и наутро вернулся.

Беженцы не могли идти по дорогам, они разлились, как река весной, заполнили скалистые уступы. Возле Пуигсерды лежал глубокий снег, дети в нем тонули. Близ перевала Арес я видел старух, которые ползали по обледеневшим скалам. Крестьяне резали овец, здесь же жарили, кормили солдат. Одна женщина родила в поле; мы кричали — звали врача. Пришел старик, специалист по болезням горла и носа, принял младенца и потом, отогреваясь у костра, вдруг сказал: «Мальчику повезло — он успел родиться на испанской земле...» Этот врач никак не походил на героя, роняющего исторические фразы, он был в зеленой женской кофте и протягивал к огню распухшие пальцы ревматика.

В пастушеском шалаше я увидел Альвареса дель Вайо; кто-то принес ему в миске теплый рыжеватый кофе. Глаза у него были такие печальные, что я отвернулся, а он, не теряя присутствия духа, говорил о грузовике с хлебом для солдат, о заградительном огне, об эвакуации раненых. (Это человек большой веры; раз в два-три года я его встречаю то в Париже, то в Москве, то в Женеве и всякий раз вспоминаю февральский день, министра иностранных дел в шалаше, с трагическими глазами и спокойным, ровным голосом.)

Где-то возле границы три дня спустя я стоял с Савичем на камне. Проходили нескончаемые толпы беженцев. Кричали ослики. Плакали дети. Прошел отряд бойцов, и солдат почему-то трубил в трубу. Бомбили. Один крестьянин взял горсть земли и завязал ее в большой красный платок.

Потом я написал стихи; в них были различные детали, о

которых я упоминаю в этой главе, но был еще тот второй план, то волнение, что можно выразить только в стихах:

В сырую ночь ветра точили скалы,
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.
Бойцы из боя выводили пушки.
Крестьяне гнали одуревший скот.
А детвора несла свои игрушки,
И был у куклы перекошен рот.
Рожали в поле, пеленали мукой
И дальше шли, чтоб стоя умереть.
Костры еще горели — пред разлукой,
Трубы еще не замирала медь.
Что может быть печальней и чудесней —
Рука еще сжимала горсть земли.
В ту ночь от слов освобождались песни,
И шли деревни, будто корабли.

На пограничных пунктах французы выставили не только жандармов, но и воинские части — сначала сенегалцев, потом французские батальоны. Испанские солдаты складывали оружие, их обыскивали; обыскивали и многих беженцев. В Пертюсе я видел, как по ошибке женщин отделили от их детей, они кричали, не хотели идти, а их гнали.

У меня была «куп филь» — карточка журналиста, выданная парижской префектурой. В Париже она не производила особого впечатления, но здесь оказалась чудотворной: меня свободно пропускали в Испанию и назад. Нужно было спасти от интернирования в лагеря многих товарищей — журналиста, уборщиц посольства, шофера, начинающего поэта, интербригадовцев. В течение нескольких дней я занимался только этим, даже не всегда успевал написать телеграмму в газету; предпочитал позвонить в Париж, где якобы находился Поль Жюстен.

Я нашел чудесных людей. Учитель из пограничного городка Пратс-дель-Молло почти круглые сутки дежурил на горном перевале: кормил беженцев горячим супом, давал хлеб. Сотни людей приносили ему продукты. Механик из Арль-сюр-Теш, владелец маленького гаража, на старой, разбитой машине все время ездил к перевалу Арес, подбирал измученных, замерзших беженцев, отвозил их в городок. На этом перевале жандармы бы-

ли сговорчивыми, и механик помог мне переправить через границу многих товарищей; обидно, что я не запомнил его имени.

Шестого февраля я в последний раз шел по испанской земле. Это было у горной деревни Компродон. Вокруг еще шли бои.

Французское правительство отдавало бесчеловечные приказы. А на местах люди действовали по-разному. Каждый день я видел и солидарность, доброту, участие, и откровенную низость. В городке Булю я разыскивал крестьянку с детьми — у меня были для нее письмо от мужа и деньги. Мэр, тучный, с тупым, равнодушным лицом, ответил мне: «Их здесь чересчур много...» А полицейский кричал: «Это не ваше дело! Уезжайте поскорее!..» Я ему напомнил о человеческих чувствах, он ответил, что чувства его не касаются. В городках Сен-Лоранде-Сердан, Пратс-дель-Молло, Арль-сюр-Теш жители кормили беженцев, прятали их от полиции. Некоторые эшелоны направляли в Лион, и мэр этого города Эдуард Эррио дежурил на вокзале, помогал накормить испанцев, разместить их в казармах, в школах. А во многих французских газетах каждый день писали, что надо оградить Францию от испанских «анархистов, коммунистов, убийц и насильников».

В Перпиньяне я еще летом подружился с хозяином старой, невзрачной гостиницы; там я останавливался, туда теперь привозил товарищей; все комнаты были заняты, приходилось спать в столовой, в конторе, где придется, но хозяин не объявлял полиции о приезжих, и никого там не забирали. А в городе шла охота. Испанки, никогда в жизни не носившие шляп, покупали маленькие модные шляпки, пудрились, румянились, чтобы не видно было горя и чтобы их приняли за француженок. В Баньюльсе рыбаки избивали репортера правой газеты, который издевался над побежденными. Да, разными были французы, я не хочу их скопом обвинять или оправдывать.

Испанцев французские власти разместили в концлагерях Аржелес и Сен-Сиприен. Давали одну буханку хлеба на шесть человек, протухшую воду, издевались. А Риббентропа в Париже чествовали... Впрочем, говоря о тех временах, лучше не вспоминать ни о справедливости, ни о Риббентропе — кто только его не обнимал!..

Мне передали записочку от поэта Эррере Петера, которого посадили в лагерь. Он писал, что за проволокой сидят многие из моих друзей. Я поехал в Париж. Арагон, Жан-Ришар Блок, Кассу, другие участники нашей Ассоциации вступились за ин-

тернированных писателей; через две-три недели удалось их освободить.

Негрин и другие министры улетели в Мадрид. Территория, еще занятая республиканскими войсками, теперь была в кольце. Англия и Франция признали генерала Франко законным правителем Испании. Республику блокировали — в Марселе задерживали суда, которые должны были доставить в Валенсию хлеб или картошку. Шестого марта в Мадриде командующий армией Центрального фронта полковник Касадо, с благословения свадебного генерала Миаха, произвел переворот, поставил на место Негрина кучку людей, решивших капитулировать. Однако развязкой испанской трагедии были не судороги обреченного Мадрида, а те зимние дни, когда армия Эбро в полном порядке, с оружием перешла французскую границу, надеясь, что ее перебросят в Валенсию. (Спасенное бойцами оружие французы передали генералу Франко.)

Гитлер, приободренный успехами, занял Прагу. Марина Цветаева в последний раз встретила со своим другом — рабочим столом, писала:

О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах;
Испания в крови!
О черная гора,
Затмившая весь свет;
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.

Мне трудно расстаться в этой книге с Испанией. Помню, как на перевале Арес испанский боец-автоматчик прощался с женой и двухлетним сыном, он попросил меня отвести их в надежное место, сказал: «Я не уйду — не верю, что французы нас отправят в Валенсию, они уже снюхались с Франко. А здесь можно уложить десяток-другой фашистов...» Я оглянулся; он лежал с автоматом, глядел не на нас — на юг, откуда могли показаться фашисты.

Возле дороги из Порт-Бу в Сербер лежала гряда винтовок, ручных пулеметов, шлемов, револьверов, даже ножей. Я увидел вдруг копьё и старинный шлем: видимо, вывозили экспонаты из небольшого каталонского музея, и сенегалец решил, что это оружие. Да, копьё и шлем Дон-Кихота были оружием, с ними

Испания тысячу дней, тысячу ночей защищалась от двух фашистских держав — Италии и Германии.

Семь месяцев спустя началась вторая мировая война, было много героизма, и в итоге фашизм разбили; но в новой эпохе уже не было места для копья и старомодного шлема, с которыми Рыцарь Печального Образа пытался отстоять человеческое достоинство.

34

Весной 1939 года Савич уехал в Москву. Мы поехали в Гавр, чтобы его проводить. На том же теплоходе уезжали в Советский Союз многие испанцы. Мы стояли на набережной; дул сильный ветер; снова перед глазами встала потерянная Испания. Я попросил Савича написать мне из Москвы; но долго не знал, что с ним, — люди тогда не любили писать за границу.

Каждый день я передавал в газету информацию за подписью Поля Жослена — пеструю и в то же время монотонную хроника событий: фашистский террор в Испании, агония Чехословакии, захват итальянцами Албании, лисьи ходы Боннэ или Лаваля, трусливое блеяние Блюма, бездарная провинциальная политика Даладье.

В середине апреля мои корреспонденции перестали печатать. Я вначале подумал, что, может быть, стал плохо писать, пытался объяснить с редакцией. Наконец мне сообщили через посольство, что до поры до времени «Известия» не смогут печатать ни Эренбурга, ни Поля Жослена; я остаюсь, однако, постоянным корреспондентом и буду получать, как прежде, зарплату.

Я ничего не понял, пошел к Сурицу. Яков Захарович на меня накричал: «От вас ничего не требуют, а вы волнуетесь!..» Он задумался. «Сегодня передали, что Максима Максимовича сняли. Назначен Молотов... Но это — между прочим, к вам это не имеет никакого отношения... Что вы огорчаетесь? Отдыхайте. Пишите роман. Теперь много интересных выставок...» (Суриц обожал живопись.)

Все же мое вынужденное безделье было связано с тем, что в газетах называют международной обстановкой. Поль Жослен по-прежнему обличал фашистов, а приближалась пора сложных дипломатических переговоров. Положение было неясным, и газета решила приберечь меня про запас. «Вы еще понадобится»

тесь», — говорил мне Суриц. К сожалению, он оказался прав: 23 июня 1941 года мне позвонили из редакции: «Напишите и для нас, вы ведь старый «известинец»...»

Англия и Франция заявляли, что хотят остановить агрессоров, договориться с Советским Союзом, но после Мюнхена трудно было поверить в добрые намерения Даладье и Чемберлена. С омерзением я вспоминаю то время. Люди сидели у приемников и даже те, что не знали немецкого языка, слушали выступления Гитлера — старались догадаться по интонациям, что им сулит завтрашний день. Франция напоминала гладкого, упитанного кролика, замороженного взглядом удава.

В мае в Париже была Международная антифашистская конференция. Я пошел, увидел много старых знакомых — Ланжевена, Кашена, Жан-Ришара Блока, Мальро, Арагона, Сесара Фалькона; познакомился с Фирлингером. Все были мрачно настроены, и речи казались повторением давно слышанного — подъема больше не было.

Однажды Фернандо Херасси привел ко мне молодого застенчивого писателя, с которым дружил. Звали его Жан-Полем Сартром. Он косил, и поэтому казалось, что он хитрит, но говорил он о своем отчаянии простодушно. Он подарил мне книгу «Стена»; рассказы были тоже об отчаянии. Много лет спустя я снова встретился с Сартром, узнал его и понял, что мои первые впечатления были верными: в нем редкое сочетание рассудочности, острого, даже едкого ума с детской наивностью, доверчивостью и чувствительностью.

Мне трудно связно говорить о том годе: воспоминания, как облака в горах, опускаются, давят, душат. В мае умер Иозеф Рот. Повесился Толлер. Приехал из Праги Роман Якобсон, рассказывал, что Незвал, когда они расставались, плакал, как ребенок. Многие немецкие писатели уехали в Америку. У Пабло Пикассо сидели ободранные, бездомные испанцы; Пабло впервые сказал мне: «Малыш, мне трудно работать — мы тонем в дерьме...» Внешне как будто ничего не изменилось. Начались летние каникулы; газеты сообщали, что в Довилле — «весь Париж», описывали приемы, купальные костюмы. Но все это казалось подделкой под прежнее.

Пока я был в Испании, меня увлекала, да и отвлекала от многих мыслей борьба. Теперь я остался один на один со своими раздумьями. Я часто думал, что в Москве легче: там все тебя понимают. В Париже меня угнетало одиночество.

О судьбе Кольцова я узнал еще в Барселоне — накануне развязки. В Париже ко мне приходила сначала Лиза, потом Мария Остен (Гросхенер). Обе ехали в Москву. Лиза плакала, говорила, что Михаил Ефимович, еще будучи в Испании, хвора́л: «Может быть, мне удастся передать ему лекарство...»

Дошли известия о судьбе Мейерхольда, Бабе́ля. Я терял самых близких друзей.

Приходя в посольство, я видел новые лица. Все те, кого я прежде знал — советник Гиршфельд, военный атташе Венцов, военно-воздушный атташе Васильченко, Семенов, да и многие другие, — исчезли. Никто не осмеливался даже вспоминать эти фамилии.

Как-то Суриц сказал мне: «Приходил Раскольников. Его вызвали в Москву, а он испугался, потерял голову. Спрашивал, что делать. Я сказал, что он должен сейчас же вернуться домой. Он произвел на меня тяжелое впечатление...» Два дня спустя Ф. Ф. Раскольников (он был тогда полпредом в Болгарии) пришел ко мне и тоже спрашивал, как ему быть. Я с ним встречался в Москве в двадцатые годы, когда он редактировал «Красную новь», он был веселым и непримиримым. Написал предисловие к одной из моих книг, ругал меня за колебания, половинчатость. Я помнил, какую роль он сыграл в дни Октября. А теперь он сидел у меня на улице Котантен, рослый, крепкий и похожий на обезумевшего ребенка; рассказал, что его вызвали в Москву, он поехал с молодой женой и грудным ребенком; в дороге жена плакала, и вдруг из Праги он поехал не в Москву, а в Париж. Он повторял: «Я не за себя боюсь — за жену. А она говорит: «Без тебя не останусь...» Я знавал некоторых невозвращенцев: Беседовского, Дмитриевского, это были перебежчики, люди морально нечистоплотные. Раскольников на них не походил; чувствовалось смятение, подлинное страдание. Он не послушался советов Сурица, остался во Франции, опубликовал открытое письмо Сталину, а полгода спустя умер.

Шли переговоры о военном соглашении между Советским Союзом, Англией и Францией. Западные державы тянули дело. Лейбористы в парламенте обличали Чемберлена. В наших газетах о переговорах почти не писали. Повсюду продолжались приготовления к войне.

Я не сел за роман, как мне советовал Яков Захарович: для того чтобы писать прозу, нужно не только увидеть нечто реальное, но и осмыслить его. А я тогда не мог разобраться в проис-

ходящем. Цель мне была ясна давно; но дороги стали такими запутанными, что порой трудно было понять, куда какая ведет. А в лирических стихах можно передать свои чувства, и я предпочел стихи. В 1940 году в Москве вышла маленькая книжица «Верность», в нее вошло много стихотворений, написанных мною летом 1939 года, среди них и то, по которому названа книга:

Верность — вместе под пули ходили,
Вместе верных друзей хоронили.
Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу,
Верность смерти и верность обидам.
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.

У меня больше не было той «видимости точной и срочной работы», которая освобождает человека от чересчур трудных раздумий. Где-то на полустанке жизни, между двумя войнами, не зная, что нам предстоит, я задумался над своей судьбой:

По тихим плитам крепостного плаца
Разводят пезнакомых часовых.
Сказать о возрасте? Уж сны не снятся,
А книжка — с адресами неживых.
Стоят, не шелохнутся часовые.
Друзья редеют, и молчит беда.
Из слов остались самые простые:
Забота, воздух, дерево, вода.

Меня тянуло к деревьям, к реке, к чему-то постоянному, и, сидя в сквере парижского пригорода, я не мог удержаться от признаний:

Я знаю, век, не изменить тебе,
Твоей суровой и большой судьбе,
Но на одну минуту мне позволю
Увидеть не тебя, а лакфиоль,
Увидеть не в бреду, а наяву
Больную, золотушную траву.

Сказывалась усталость: Москва, Испания — словом, все, о чем я писал. В августе я уехал на две недели в Жюльенá, это деревня виноделов в округе Божоле. С утра я уходил, шагал по

длинным дорогам, взбирался на холмы. Вокруг были виноградники и то здесь, то там одинокое старое дерево — вяз, клен или ясень. У деревьев я искал ответа на тысячи вопросов, которые меня преследовали. Критики порой называют такое поведение «бегством от жизни». Но ведь и Грамши в тюрьме жадно следил за бледными всходами фасоли; ведь и Залку незадолго до смерти утешало и терзало пение полевой птицы. Право же, человек не машина, и жизнь проходит не по железнодорожному расписанию.

В Жюльена я жил в маленькой гостинице. Хозяин был анархистом, образцово готовил петуха в вине, жарил бифштексы на сухой лозе, с утра напивался, бросал куски мяса моему псу Бузу, говорил: «Все так печально, что даже смешно...» Он рассказал обо мне своим клиентам, крестьянам-виноделам. Ко мне пришли двое — пожилой и молодой. Оказалось, что в Жюльена шесть виноделов-коммунистов. Меня водили по подвалам, угощали вином и, конечно, расспрашивали о Советском Союзе. Пожилой спросил: «Скажи, а ведь под Москвой вино лучше нашего?..» (Жюльена славилась винами.) Я нерешительно стал объяснять, что под Москвой нет виноградников, а вино у нас делают в Крыму, на Кавказе. Это его потрясло: он верил в Москву и любил свое дело. Подумав, он сказал: «Ну ничего, еще одна-две пятилетки — и под Москвой будут делать вино лучше, чем наше...» Он послал ящик вина Сталину. (В 1946 году я заехал в Жюльена. Молодой винодел меня узнал. Он был теперь мэром. «А старик жив?» — спросил я. Он повел меня к пепелищу: «Старик всем говорил: «Ничего, через год-два сюда придет Красная Армия». Немцы его расстреляли, а дом сожгли... А я был в маки и, видишь, — выжил...»)

Меня приободряли не только деревья, но и люди — вот такие виноделы. Если прибегнуть к ярлыкам критиков, то можно сказать, что мои стихи не были лишены оптимизма:

...Я знаю все — годов проломы, брещи,
Крутых дорог бесчисленные петли.
Нет, человека нелегко утешить!
И все же я скажу про дождь, про ветви.
Мы победим. За нас вся свежесть мира,
Все жилы, все побеги, все подростки,
Все это небо синее — на вырост,
Как мальчика веселая матроска...

В поезде я прочитал в «Пари суар», что какой-то француз сорока двух лет открыл на кухне газовый кран и оставил записку: «Газеты будут выходить, а люди жить теперь не могут».

Вскоре после того, как я вернулся в Париж, я услышал по радио, что в Москве подписано соглашение между Советским Союзом и Германией. Конечно, я не знал подробностей переговоров между представителями западных держав и Молотовым, но я понимал, что англичане и французы играли в покер, вели притом нечестную игру. Умом я понимал, что случилось неизбежное. А сердцем не мог принять... Суриц показал мне последний номер «Правды». Я увидел фотографию: Сталин, Молотов, фон Риббентроп и какой-то Гаус; все удовлетворенно улыбались. (Риббентропа я увидел шесть лет спустя в Нюрнберге; но там он не улыбался, предвидел, что его повесят.)

Да, я все понимал, но от этого не было легче. Когда-то старый бородатый Шарль Раппопорт, хорошо знавший Ленина, Плеханова, Жореса, Геда, Либкнехта, говорил: «Капитализм это заслужил, но мы этого не заслужили...»

В тот день я заболел болезнью, непонятной для медиков: в течение восьми месяцев я не мог есть, потерял около двадцати килограммов. Костюм на мне висел, и я напоминал пугало. Женщина-врач, работавшая в посольстве, сердилась: «Вы не вправе распоряжаться собой», — хотела, чтобы я пошел на рентген. Я не шел, знал, что со мною это произошло внезапно: прочитал газету, сел обедать и вдруг почувствовал, что не могу проглотить кусочек хлеба. (Болезнь прошла так же внезапно, как началась, — от шока: узнав, что немцы вторглись в Бельгию, я начал есть. Врач глубокомысленно сказал: «Спазматические явления...»)

А события разворачивались быстро. Советско-германский договор был опубликован 24 августа. 1 сентября Молотов заявил, что этот договор служит интересам всеобщего мира. Однако два дня спустя Гитлер начал вторую мировую войну.

Мы видели не раз, как кровопролитные бои начинались без каких-либо деклараций. В 1939 году объявление Францией войны не сопровождалось военными действиями. Все ждали бомбежек, наступления или отступления, но на фронте ничего не

происходило. Французы удивлялись: «дроль де герр» — «странная война».

Я хорошо помню первые недели этой «странной войны» — я тогда еще мог ходить по улицам. Проститутки поджидали клиентов, вооруженные противогАЗами. Оконные стекла оклеивали тонкими полосками бумаги, и некоторые домохозяйки щеголяли затейливыми узорами. Мне пришлось пойти в участок на регистрацию иностранцев. Владелец винного погреба бушевал: «Никогда я не отдам моего склада! Люди могут укрываться в метро, там хватит места для всех. А у меня запасы старого бургундского, это вам не дурацкая политика, это капитал!» Одна дама требовала, чтобы арестовали ее соседа: «Все знают, что он был в Испании, он воевал против генерала Франко. Я вам говорю, что это не француз, а настоящий предатель, коммунист, шпион!..» Чуть ли не каждую ночь устраивали пробные тревоги. Женщины показывались в элегантнЫх капотах, нарумяненные, напудренные, а бедная консьержка поливала пол убежища водой: так почему-то приказал районный инструктор.

Комедия вскоре всем надоела, и жизнь вошла в колею. Люди хорошо зарабатывали и охотно тратили деньги: мысль, что война может перестать быть «странной», делала расточительными даже заведомых скупердяев. Газеты писали, что солдаты на фронте умирают от скуки. Им посылали различные игры, полицейские романы, крепкие напитки, шелковые платочки с надписями «Где-то во Франции». «Странная война» играла в военную тайну: «Где ваш друг?» — «Не знаю. Я так боюсь за него! Он где-то во Франции...»

Морис Шевалье пел песенку «Париж остается Парижем», и это стало присказкой, программой, заклинанием. Газетные комментаторы писали о военных перспективах, как о предстоящих дивидендах огромного треста; подсчитывали резервы нефти, железа, алюминия; старались доказать, что союзники богаче, солиднее Германии и Италии. «Мы победим, потому что мы сильнее» — это можно было увидеть на любой стене рядом с рекламами электроприборов и аперитивов. Радио каждый день сообщало, сколько тонн вражеских товаров потоплено союзниками. О гибели Польши никто не вспоминал, хотя война была объявлена из-за угроз Гитлера полякам.

Немецкий летчик упал на французскую территорию. Его похоронили с воинскими почестями. Газеты в умилении описывали церемонию. Многие слушали радиопередачи из Штутгарта

на французском языке. Штутгартский диктор уверял, что побеждает Германия, потому что она сильнее. «Странная война», — улыбаясь, повторяли французы. Они не думали ни о потопленных судах, ни о резервах меди, ни о победе: жили, как жилось.

Все же шла война, и, следовательно, требовался противник. Его нашли в лице французских коммунистов. Закрыли «Юманите» и «Се суар». Запретили не только коммунистическую партию, но и сотни обществ, союзов, лиг, подозреваемых в сочувствии коммунизму. Шли массовые аресты. Парламент разрешил прокуратуре предать суду депутатов-коммунистов; их обвиняли в том, что они не желают предать анафеме Советский Союз. Это было предлогом; в действительности буржуазия мстила рабочим за страх, пережитый в 1936 году.

Еще недавно слово «фашизм» повторяли повсюду. Как по мановению жезла, оно исчезло из всех речей, из всех газет. Можно было подумать, что исчез и фашизм. Однако все понимали, что фашисты готовятся к решительному наступлению.

Утром к нам приходила на два часа Клеманс — убирала квартиру. Ее брат был коммунистом; он ей сказал: «Я не знаю, что думают русские. «Юманите» закрыли. Ответственные товарищи арестованы. Но я вижу, что Лаваль, Фланден и вся фашистская сволочь по-прежнему нападают на коммунистов. Значит, коммунисты правы...» Клеманс добавляла: «Мой брат говорит, что, если бы он раздобыл «Юма», он все понял бы...»

Я аккуратно читал московские газеты, но не могу сказать, что все понимал. Я помнил, как Боннэ и Чемберлен мечтали, что Гитлер пойдет на Украину; германо-советский пакт был, видимо, продиктован необходимостью. «Странная война» и преследования коммунистов показывали, что Даладьё не собирается воевать против Гитлера. Слова Молотова о «близоруких антифашистах» меня, однако, резнули. В ту зиму мне пришлось впервые обзавестись очками, но признать себя «близоруким» я не мог: свежи были картины испанской войны; фашизм оставался для меня главным врагом. Меня потрясла телеграмма Сталина Риббентропу, где говорилось о дружбе, скрепленной пролитой кровью. Раз десять я перечитал эту телеграмму, и, хотя верил в государственный гений Сталина, все во мне кипело. Это ли не кощунство! Можно ли сопоставлять кровь красноармейцев с кровью гитлеровцев? Да и как забыть о реках крови, пролитых фашистами в Испании, в Чехословакии, в Польше, в самой Германии?

Я не выдержал и, когда Я. Э. Суриц пришел меня проведать, заговорил о злополучной телеграмме. Он вначале отвечал формально, это — дипломатия, не нужно придавать значение поздравительным телеграммам. Но вдруг его прорвало, он вскочил: «Вся беда в том, что мы с вами люди старого поколения. Нас иначе воспитывали... Вот вы взволновались из-за телеграммы. Есть вещи похуже. Когда-нибудь мы сможем обо всем поговорить. А сейчас вам нужно подумать о себе, теперь не время болеть...»

В марте 1940 года Суриц внезапно уехал. Перед этим он лежал больной: у него было воспаление легких. На очередном собрании сотрудников посольства приняли приветственную телеграмму Сталину, в которой, как тогда было принято, осуждали франко-английских империалистов, развязавших войну против Германии. Сурицу принесли текст на подпись. Молодой неопытный сотрудник отнес телеграмму не шифровальщику посольства, а в почтовое отделение. На следующий день телеграмма была напечатана в парижских газетах. Для политиков, считавших, что нужно воевать не с фашистской Германией, а с Советским Союзом, это было нечаянной находкой. Французское правительство объявило Сурица «персона нон грата». Когда я пришел в посольство, мне сказали, что Яков Захарович уже уехал, — «вышла, так сказать, промашка...»

Я ослаб, быстро уставал, не мог работать. В ту зиму мало кто к нам приходил: некоторые из бывлых друзей считали, что я предал Францию, другие боялись полиции — за мною следили. Могу сосчитать на пальцах людей, которые меня навещали или звали к себе: Андре Мальро, Жан-Ришар Блок, летчик Понс, сражавшийся в Испании, Гильсумы, Вожель, Рафаэль Альберти, Херасси, доктор Симон и мой приятель Путерман, живший в соседнем доме.

С Путерманом тогда трудно было разговаривать; все его выводило из себя — Даладьё, германо-советский пакт, англичане, Финляндия, — у него обострилась гипертония. В один из последних вечеров он вдруг начал читать на память стихи Пушкина:

Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;
Страшиться возбудить слезами подозренье;
В наш век, вы знаете, и слезы преступленья...

Он умер три дня спустя. Полиция произвела обыск, когда он лежал мертвый. Вытравивали томики Пушкина... На похоро-

роны пришел Вожель. Я помнил его оживленным, снобом, представителем «всего Парижа». А он стоял на кладбище постаревший, печальный.

Зима была на редкость холодная: газеты сообщали, что снег выпал даже в Севилье. Шла советско-финская война, и газеты забыли, что есть на свете Германия. Многие политики требовали отправки экспедиционного корпуса в Финляндию. Марсель Деа, который еще недавно защищал Гитлера и пустил в ход хлесткую фразу о том, что не стоит «умирать за Данциг», теперь доказывал, что необходимо умереть за Хельсинки. В церкви Мадлен отслужили молебен за победу Маннергейма. Дамы вязали фуфайки для финских солдат. Даладье хотел показать, что он может воевать если не на Рейне, то у Выборга. Стояла предвоенная суматоха, когда неожиданно пришло сообщение о мирных переговорах между Финляндией и Москвой. Министры понегодовали и вернулись к прежним заботам.

Решили, что солдат слишком много, а фронт короткий; нужно отпустить молодых крестьян домой: да здравствует земледелец!

Продовольствия было достаточно, но министры хотели показать себя дальновидными и ввели невинные ограничения — были дни без пирожных, дни без говядины, дни без колбасных изделий.

Трудно сказать, на что надеялись французские генералы. Они свято верили в две линии — в линию Мажино и в линию Зигфрида. Даже я, человек глубоко штатский, знал, что в Испании исход сражений решали авиация и крупные танковые соединения; но французские генералы не любили новшеств; генерал де Голль был для них футуристом.

Я ждал выездной визы. В правой газете «Кандид» появилась противная заметка, посвященная мне. «Же сюи парту» спрашивала: «Почему Эренбург еще в Париже?..» Я сам поставил этот вопрос в префектуре, но там не отвечали, там допрашивали. Я лежал, томился, перечитывал Монтеня, Чехова, Библию.

В апреле Гитлер приступил к оккупации Норвегии и Дании. Новый премьер-министр решил послать немного солдат в Норвегию. В военных сводках появились названия далеких фьордов.

У меня сохранилась записная книжка с короткими записями за 1940 год. Приведу некоторые — они показывают и то, что происходило во Франции, и мое тогдашнее восприятие событий.

«9 апреля. Война в Скандинавии. Осло. Арестованы семнадцать коммунистов». «11 апреля. Улица Рояль. Витрины магазинов, клипсы-танки и клипсы-самолеты». «16 апреля. Нарвик. Арестованы пятьдесят четыре коммуниста». «17 апреля. Арестован некто Пейроль, глухонемой, за антинациональную агитацию». «23 апреля. Фернандо рассказал, что Реглера в концлагере избивали». «28 апреля. Отпускник на улице Арморик, пьяный, кричал: «Это не война, а надувательство!» «29 апреля. Эльза Юрьевна рассказала, как арестовали Муссинака». «30 апреля. «Эвр» сообщает, что арестовали рабочего за то, что он читал биографию Ленина». «1 мая. «Канар аншене» пишет: «Это первое спокойное Первое мая после 1918 года».

«Странная война»... Умирали люди — в Польше, в Финляндии, в Норвегии. Тонули суда, люди гибли среди рассерженного моря. Выли по ночам сирены. Но все это не походило ни на войну, ни на мир. Трагический фарс продолжался.

Франция репетировала капитуляцию. Миллионы людей в разных странах репетировали бомбежки, перебежки, пулеметный огонь, агонию. Но репетиции были тусклыми, вялыми; никто не знал своей роли, ораторы сбивались на чужой язык, стратеги сидели, как географы, над картами обоих полушарий, не решаясь произвести даже небольшую разведку. А может быть, так мне казалось, потому что я был обречен на полное бездействие болезнью, да и обстоятельствами? Не знаю. Когда человек счастлив, он может ничего не делать. А в беде необходима активность, какой бы иллюзорной она ни была.

36

Мы поздно засиделись у Жан-Ришара Блока. Он рассказал об аресте Муссинака, которого держат в тюрьме Сантэ. Режим как для уголовников, а Муссинак болен... Блок рассказал также, как везли арестованных коммунистов; на одном вокзале эшелон задержался. Из закрытых наглухо вагонов вдруг раздалась «Марсельеза». Солдаты, отправлявшиеся на фронт, изумились: им сказали, что везут предателей, шпионов. Жена Блока, Маргарита, печально улыбнулась.

Потом мы шли по затемненному городу. Я оступился и выругался: черт бы их всех побрал — воевать не воюют, а ногу сломать очень легко!..

Когда мы вернулись домой, началась тревога; она длилась долго. Мы не сошли в убежище: надоело. Да и войны нет... А спать не дал кот — неизвестно откуда он пришел, отчаянно мяукал, требовал, чтобы его пустили в дом.

Рано утром мы услышали ошеломляющие новости: немцы вошли в Голландию и Бельгию. Это было 10 мая. Пришел толстяк Понс, сказал: «Теперь начинается...» В «Пари суар» я увидел фотографии, напомнившие Испанию, — убитые дети.

В моей маленькой записной книжке значится: «11 мая, суббота. Марке». Помню, еще перед началом драматических событий Люс Гильсум нам сказала, что 11 мая нас ждет Марке; узнав, что я собираюсь подарить ему старую икону, он хочет отдарить своим холстом.

Рассказ о войне, о потопленных транспортах, о десантах парашютистов, о разгроме Франции я перебиваю главой, посвященной художнику Альберу Марке. Трудно передать, что происходило со всеми в тот день. Париж напоминал растревоженный улей; вчера еще беспечные, люди вдруг поняли, что игра кончена, начинается расплата. Встреча с любым другим художником или писателем была бы естественной. Но при чем тут Марке с его легкими, прозрачными пейзажами? Он и на холсте ни разу в жизни не пытался повысить голос, писал предпочтительно воду и был, по старому русскому определению, тише воды. Он писал Сену — в Париже и в Нормандии, с баржами или без, писал море, заблудившееся среди скал Стокгольма, каналы Венеции и каналы Голландии, большой Нил и малую Марну и снова Сену — на рассвете, в полдень, вечером, с деревьями зелеными или голыми, в дождь, под снегом. На его холстах почти всегда — вода, много воды.

(В XVI веке французский поэт Иоахим Дю Белле увидел развалины древнего Рима. В последующие столетия их раскрали, разобрали, а тогда, по описаниям путешественников, они подавляли величьем. Дю Белле писал про Рим:

...Он побеждал чужие города,
Себя он победил — судьба солдата.
И лишь несется, как неслась когда-то,
Большого Тибра желтая вода.
Что вечным мнилось, рухнуло, распалось.
Струя поспешная одна осталась.

Окна мастерской Марке выходили на Сену: мост, набережная с закрытыми ящиками букинистов. С женой Марке, Марсель, мы, разумеется, начали говорить о событиях: куда пойдут немцы, будут ли бельгийцы сопротивляться, обсуждали, строили догадки. Марке стоял у окна и глядел на Сену. Потом он повернулся к нам. Глаза у него были умные, чуть насмешливые и вместе с тем добрые. Он сказал: «Ничего не кончено...» О чем он думал? Об исходе сражения? О судьбе людей? В тот день я понял силу искусства. Все говорили о Рейно, о короле Леопольде, о Вейгане, о Кейтеле — я сейчас с трудом припомнил эти имена. Четверть века прошло, все, кажется, изменилось. А вода осталась — Сена, та, что пересекает Париж, и другая — на полотнах Марке.

Я говорил, что самым скромным поэтом, которого я встретил в жизни, был Антонио Мачадо. Я не видел художника скромнее, чем Альбер Марке. Слава ему претила. Когда его хотели сделать академиком, он чуть было не заболел, протестовал, умолял забыть о нем. Да и не пробовал он никого ниспровергать, не писал манифестов или деклараций. В молодости на несколько лет он примкнул к группе «диких», но не потому, что соблазнили их художественными канонами, — не хотел обидеть своего друга Матисса. Он не любил спорить, прятался от журналистов. При первом знакомстве сказал с виноватой улыбкой: «Вы меня простите... Я умею разговаривать только кистями...»

Он не заботился о судьбе своих картин, был равнодушен к различным житейским благам. В молодости он знал нужду, редко ел досыта. Матисс мне рассказывал, как они вместе работали на выставке 1900 года; смеясь, пояснял: «В общем, как маляры...» И Матисс мне еще говорил: «Большого бесребреника, чем Марке, я не знаю. У него рисунок твердый, порой острый, как у старых японцев... А сердце у него девушки из старинного романа, не только никого не обидит, а расстроится, что не дал себя как следует обидеть...»

В 1934 году Марке поехал с группой туристов в Советский Союз. (Он много путешествовал.) Когда он вернулся в Париж, его спрашивали, правда ли, что в Советском Союзе ад. Он отвечал, что мало разбирается в политике, никогда в жизни не голосовал: «А в России мне понравилось. Подумайте — большое государство, где деньги не решают судьбы человека! Разве это не замечательно?.. Потом, там, кажется, нет Академии худо-

жеств, во всяком случае, никто мне о ней не говорил...» (Академия художеств была восстановлена незадолго до того, как Марке приехал в Ленинград; но он увидел Неву, рабочих, школьников — академиков не успел заметить.)

Среди рабочих-коммунистов Парижа были участники кружков самодеятельности, любившие живопись Марке и преданные Советскому Союзу. Они собрали деньги и, когда Марке вернулся из России, пришли к нему: «Мы заплатим за дорогу, оплатим ваше содержание, поезжайте на несколько месяцев в Ленинград и напишите Неву...»

В 1946 году я снова увидел Марке. Он позвал нас 14 июля вечером — полюбоваться фейерверком над Сенной. Он постарел за годы войны, но был весел, угощал хорошим бордоским вином (уроженец Бордо, он знал толк в винах). Звезды ракет падали в черную реку. Марке сказал: «Вот вы говорите — вода... Нет, я люблю и другое. Например, деревья, звезды...» Он любил людей, но, будучи на редкость стыдливым, никогда об этом не говорил. Он вспомнил о нашей встрече в начале разгрома Франции: «За годы войны я многое понял. Правы коммунисты... Ужасно, что многие ничего не поняли, хотя все повернуть назад...» Он помолчал и вдруг повторил те слова, которые я хорошо запомнил из нашей встречи в 1940 году: «Ничего еще не кончено...»

Он был маленького роста, сухой, очень простой в обращении, ни внешность, ни словарь не выдавали его сущности. Говорил он картинными. Его живописный язык сдержан, прост и убедителен. Отойдя от пестроты, разбросанности, свойственных многим импрессионистам, он никогда не искал в жизни геометрии: он обобщал по-человечески — без циркуля, без обязательной логики — так, как обобщает поэзия или любовь. Его холсты поражают простотой изобразительных средств, трудны в своей простоте, искусны в сердечной безыскусности. Серое, синее, зеленое — и мир оживает. Он любил юг — Алжир, Марокко, Египет; но лучшие его пейзажи — северные; видимо, юг его самого поражал цветом, а в серой, стыдливой, сдержанной природе севера он находил цвета, которые поражают нас.

В 1940 году он попросил меня выбрать пейзаж, который мне особенно нравится. Я выбрал Сену, набережную, мост в серый денек. На стене клочок плаката «Левого блока» — 1924 год. В 1946 году Марке подарил мне другой пейзаж — Сена, пустая, почти голый холст.

Как я мог подумать, что больше его не увижу? Его жена написала про его последние дни. Марке оперировали в январе 1947 года. Операция не помогла; он слабел с каждым днем, знал, что умирает, и все же продолжал работать. Он написал еще восемь холстов — Сена... Он умер в июне.

Я пишу про годы, когда мало кто вспоминал об искусстве; люди умирали, не успев оглянуться. Но ведь умирали они за то, чтобы другие увидели реку, деревья, звезды, чтобы на ослепшую и оглохшую землю вернулось искусство. «Ничего еще не кончено...»

Марке любил поэзию, любил Бодлера, Лафорта, думаю, и Аполлинера. Глядя на его холсты, я порой про себя повторяю:

Проходят дни, за годом год.
Под мостом Мирабо Сена течет.
Бьют часы. Уходят года.
И то, что ушло, не придет никогда.
Уходит любовь. Проходят года.
А я остаюсь. Но течет вода...

Давно умер автор этих строк Аполлинер. Умер и Марке. «Течет вода...» Но вдруг мне чудятся в подслушанной на улице фразе старые стихи о мосте Мирабо, в зрачке прохожего мерещится серая Сена под окном мастерской Альбера Марке. Кто знает, может быть, что-нибудь остается от каждого из нас? Может быть, это и есть искусство?..

37

Двенадцатого мая — на следующий день после того, как я был у Марке, — рано утром за мною пришли полицейские и отвезли в префектуру. Сначала меня заперли в каталажке, где уже находилось человек тридцать: парижские рабочие, заподозренные в сочувствии к коммунистам, немецкие эмигранты, поляк, студент из Барселоны. Немецкий еврей мне сказал: «Знаете, за что меня арестовали? Мой брат сражался в Испании. Я не мог воевать — штурмовики мне переломили руку. Теперь они напши у меня письмо брата, он был в батальоне Тельмана. Шпик кричал: «Вы — коммунист, шпион!..» Да разве они с Гитлером

воюют?..» Пожилая французенка громко всхлипывала: «Откуда я знаю, с кем встречался Альфред? Это не мое дело. Я даже мужа не спрашиваю, с кем он встречается.. Я, кажется, не консьержка...»

Потом меня повели на верхний этаж, в комнату, где занимались высылкой иностранцев. Народу было много, и чиновники торопились: «Эренбург Илья? В трехдневный срок». Я попытался объяснить чиновнику, что давно жду выездной визы, но он меня оборвал: «Это не наше дело. Пройдите на второй этаж...»

Со мной приключилась неприятная история, которую я никак не мог распутать: весной 1939 года на мое имя перевели из Москвы гонорар испанским писателям — они собирались уехать, кто в Мексику, кто в Чили. Писателей было девять или десять, и это составило довольно крупную сумму. Когда я заявлял о моих доходах за истекший год, я, конечно, не проставил денег, переданных испанцам. В начале 1940 года полиция произвела налет на «Банк Северной Европы»; проверили переводы, конторские книги. Выяснилось, что я скрыл от налоговой инспекции гонорары испанским писателям и деньги на грузовик для Испании, приобретенный еще в 1936 году. С меня потребовали сумму, которой я никогда не держал в руках, заявили, что до ее выплаты меня не выпустят из Франции. На втором этаже чиновник сердито ответил: «Это меня не касается. Пройдите на третий этаж.. А пока вы не принесете справки о выплате налогов и штрафа, мы вам не поставим выездной визы». Я пошел снова к чиновнику, занимавшемуся высылками, простоял часа три в хвосте: «Меня не выпускают». — «Я вам сказал, что это не мое дело. 14 мая вы обязаны покинуть Францию».

Я уже говорил, что после болезни ослаб; мне казалось, что у меня ноги из ваты. Я едва добрался домой. Палили зенитки.

На следующий день немцы прорвали французскую оборону близ Седана и проникли во Францию. В Париже появились бельгийские беженцы с корзинами, узлами, перепуганные, заплаканные.

События разворачивались быстро. Капитулировала Голландия. Немцы заняли Брюссель. Исчезли автобусы — говорили, что их реквизируют: перебрасывают войска с линии Мажино на север. В Венсенском лесу рыли окопы. Богатые кварталы опустели. Полицейским, которые регулировали уличное движе-

ние, выдали винтовки. Я увидел бельгийские автомобили, продырявленные пулями.

Вдруг все облегченно вздохнули: распространился слух, что немцы повернули к побережью и собираются идти на Лондон. Рейно отправился в Нотр-Дам: отслужил молебен о победе союзников. Все ценности на бирже неожиданно поднялись, маклеры восторженно вопили. Жизнь продолжалась; рестораны и кафе были переполнены. Газеты писали о новой моде: дамские шляпы, похожие на военные пилотки. Радио сообщало о боях в районе Нарвика — за Полярным кругом.

Двадцать первого мая меня снова вызвали в префектуру и спросили, почему я не покинул Францию. Снова я ходил безрезультатно с одного этажа на другой. Началась тревога. Полицейские загнали нас в убежище под Консьержери. Туда же примчались чиновники префектуры. Рядом со мною оказался тот, что меня высылал. Он все время монотонно повторял: «Дерьмо... дерьмо... дерьмо...» Не знаю, к кому это относилось: к противоздушной обороне, к немцам или ко мне.

Премьер-министр произнес в парламенте речь, сказал, что была измена, виновники понесут наказание, Франция вместе с Англией остановит врага.

Вдруг мы узнали, что правительство решило послать в Москву Пьера Кота, чтобы «улучшить отношения с Советским Союзом». Наш поверенный в делах Н. Н. Иванов этому радовался. Он шепотом говорил мне, что Гитлер обязательно нападет на Советский Союз, хорошо бы на всякий случай договориться с союзниками. А я не верил, что Рейно может обуздать профашистов. В самом правительстве шла борьба. Вице-премьер Петен считал Рейно английским ставленником. Министр иностранных дел Бодуэн стоял за сближение с Муссолини. Министр внутренних дел Мандель, в прошлом друг и помощник Клемансо, хотел воевать с немцами всерьез, но у него были связаны руки: когда он попробовал арестовать пять журналистов, открыто выступавших за мир с Гитлером, поднялась газетная буря и задержанных освободили. Зато ежедневно продолжали арестовывать коммунистов.

Я лежал в полутемной комнате на улице Котантен. В ящиках, похожих на огромные гробы, были упакованы книги. В углах высились горы старых испанских газет, листовок Народного фронта, гитлеровских брошюр — материал для давних газетных корреспонденций.

Двадцать четвертого мая мне позвонил министр общественных работ де Монзи, с которым я прежде встречался. Де Монзи был одним из первых французов, посетивших Советский Союз. Он написал о своей поездке книгу и не раз отстаивал идею развития культурных и экономических связей с Советским Союзом. Однажды он председательствовал на вечере, где я должен был рассказать о советской литературе. Увидев меня, он пришел в ярость: «Кто вас просил постричься?» Оказалось, он собирался во вступительном слове процитировать слова Ленина об Илье Лохматом, я ему сорвал эффектный рассказ. Политически де Монзи был фигурой неясной, блокировался то с левыми, то с правыми, скорее капризничал, чем рассчитывал и подсчитывал. Он мне сказал по телефону: «Илья, нехорошо забывать старых друзей. Говорят, вы собираетесь в Россию. Как же вы не зашли со мною проститься?» Наши отношения не были настолько близкими, чтобы объяснить эти слова чувствами, и я понял — дело идет о политике. Де Монзи добавил, что хочет меня срочно видеть, — не могу ли я сейчас же зайти к нему в министерство на бульваре Сен-Жермен?

Де Монзи курил, как всегда, трубку, как всегда, попытался побалагурить, но быстро перешел к делу: «Петен, Бодуэн, да и некоторые другие хотят капитулировать. Рейно против, я уж не говорю о Манделе. Картина невеселая — наши военные готовились к длительной позиционной войне. А линия Мажино была талисманом, и только. У нас мало танков, а главное — мало самолетов. Положение критическое...» Я спросил, почему правительство продолжает войну против коммунистов, почему восстанавливает против себя рабочих — на военных заводах шпики чуть ли не больше, чем рабочих. Де Монзи не стал отмалчиваться, сказал, что тридцать тысяч коммунистов арестованы и что министр юстиции социалист Серроль отказывается перевести их на режим политических заключенных. Он добавил: «Я знаю Семара. Это коммунист, но он француз, патриот. Его арестовали. Я говорил о нем с Серролем, и безуспешно. Я вам прямо скажу: я куда больше доверяю Семару, чем Серролю...»

Мы помолчали. Де Монзи отложил трубку, встал и, не глядя на меня, сказал: «Если русские нам продадут самолеты, мы сможем выстоять. Неужели Советский Союз выиграет от разгрома Франции? Гитлер пойдет на вас... Мы просим об одном: продайте нам самолеты. Мы решили послать в Москву Пьера

Кота. Вы его знаете — это ваш друг. Не думайте, что все прошло легко, многие возражали... Но сейчас я говорю с вами не только от себя. Сообщите в Москву... Если нам не продадут самолетов, через месяц или два немцы займут всю Францию».

(Я невольно вспомнил лето 1936 года, когда представители испанского правительства повторяли в Париже: «Если Франция нам не продаст самолетов, мы погибнем».)

Прямо от де Монзи я пошел в посольство к Н. Н. Иванову, рассказал ему о беседе. Он посадил меня за стол: «Ваш долг сообщить. Пусть Москва решает. Но вы должны сейчас же написать...»

Прежде чем перейти к дальнейшим событиям, я должен рассказать о Николае Николаевиче Иванове. Он работал экономистом, когда неожиданно его послали в Париж, назначили секретарем, потом советником посольства. Это был хороший, честный человек; его неизменно выручала вера в людей. Попал он в Париж молодым, неопытным, а после отъезда Я. З. Сурица стал поверенным, то есть фактически послом. Он быстро начал говорить по-французски; много читал; просил меня рассказывать ему о писателях Франции, о театре; спрашивал, какие вина нужно заказывать с мясом, с рыбой, — словом, осваивал множество вещей, больших и малых.

Потом он последовал за французским правительством в Тур, Бордо, Клермон-Ферран. Я его встретил в начале июля в местечке Бурбуль возле Виши. В декабре 1940 года он вернулся в Москву, пришел ко мне, рассказывал о начале Сопrotивления, о судьбе французских писателей. Вскоре после этого я узнал, что его арестовали. Когда в 1954 году Н. Н. Иванова реабилитировали, ему показали приговор Особого совещания: в сентябре 1941 года Н. Н. Иванов был приговорен к пяти годам «за антигерманские настроения». Трудно себе это представить: гитлеровцы рвались к Москве, газеты писали о «псах-рыцарях», а какой-то чиновник ГБ спокойно оформлял дело, затеянное еще во времена германо-советского пакта; поставил номер и положил в папку, чтобы все сохранилось для потомства...

Николаю Николаевичу неизменно помогала его вера в торжество справедливости. Находясь в лагере, он узнал, что сотрудники ГБ расхитили его книги, картины, и, так как приговор не предусматривал конфискации имущества, подал жалобу прокурору; к изумлению лагерного начальства, он выиграл дело. При освобождении ему уплатили деньги за пропавшие

вещи. Хотя он не имел права проживать в крупных городах, он первым делом направился в Москву, пошел на Лубянку и начал спрашивать, почему его ни за что продержали пять лет в заключении. Он напал на сердобольного человека, который сказал: «Уезжайте. Я должен вас задержать, но я буду считать, что вы у меня не были...» Иванов сохранял оптимизм и веру; женился, работал, говорил, что счастлив. Он умер в 1965 году.

Возвращаюсь к майским дням в Париже. Через три дня после моей встречи с де Монзи рано утром позвонили. Пришли несколько полицейских; один показал мне ордер на арест, который исходил из кабинета вице-премьера маршала Петена.

Обыск продолжался несколько часов. Раскрыли ящики с книгами, рылись в брошенном хламе, даже вспороли подушку. Среди полицейских был один русский, другие его авали Николая. Он, видимо, собирал книги, потому что, увидев «Тысячу и одну ночь» в издании «Academia», обрадовался: «У меня как раз нет этого тома...» Старшего полицейского больше всего заинтересовали валявшиеся на полу испанские газеты и книжки с гитлеровскими песнями; он сказал удовлетворенно: «Улики налицо...»

Николай и один из французов остались в квартире, чтобы сторожить Любу. А меня повели по улице Котантен к машине. Соседи глядели изумленно; кто-то спросил, неужели я шпион. Полицейский ответил: «Заговор немцев и коммунистов». Он шел позади меня с револьвером, приговаривал: «Чуть что, выстрелю — попытка бегства...» В префектуре, куда доставили отобранные у меня пуды улики, вскоре начался допрос. «Вы сообщали по телефону, что все готово. Вы собирались выступить в пятницу, тридцать первого мая...» — «Я говорил нашему поверенному в делах, что у меня все готово к отъезду и что я жду его звонка. Он мне сказал, что надеется получить выездную визу в пятницу, тридцать первого мая». — «Вы пробуете упираться. Нам известно, что вы стояли во главе группы коммунистов, которая решила впустить немцев в Париж. Найденные у вас документы подтверждают, что вы были в тесной связи с агентами Германии».

Мне стало смешно, я сказал: «Это настолько нелепо, что годится только для «Канар аншене» (так назывался левый юмористический журнал). Полицейский вынул револьвер: «Мы не

собираемся больше церемониться с агентами Москвы и Берлина. Вы напрасно смеетесь — через четверть часа вы будете икать».

Разговор о том, что именно я буду делать через четверть часа, происходил уже вечером. Раздался телефонный звонок. Полицейский нехотя взял трубку, процедил «алло» и вдруг вскочил: «Я вас слушаю, господин министр...» Одновременно он ловким ударом выбросил меня из комнаты и закрыл дверь.

Вот что я узнал потом от Любы и Н. Н. Иванова. Двое полицейских, как я сказал, остались в моей квартире. Они не позволяли Любе подойти к телефону. Пришла Клеманс; ее тоже задержали. Она кричала: «Нужно арестовать бельгийского короля, а не мосье Эренбурга. Вы, может быть, не слышали радио? Бельгийский король снюхался с фашистами и капитулировал. А мосье Эренбург был в Испании, он ненавидит фашистов...» Потом она перешла к предметам более низменным: «Я должна выйти с собаками. Кто будет вытирать пол, если они напачкают, — вы или я?» Несколько минут спустя позвонили — вошел шофер нашего посольства. Оказалось, Николай Николаевич приехал за мной — хотел меня повезти в Булонский лес; Клеманс ему рассказала о происшедшем.

Николай Николаевич понял, что дело серьезное. По правилам, он должен был обратиться в министерство иностранных дел, но он знал, что там не встретит никакого сочувствия. Поразмыслив, он решил пренебречь дипломатическими правилами и поехал к министру внутренних дел Манделю, который, как я говорил, ненавидел немцев и стоял за сближение с Советским Союзом.

Мандель позвонил полицейскому следователю в ту самую минуту, когда допрос перешел с общих тем на игру с револьвером.

«Можете идти, вы свободны», — злобно сказал мне полицейский. Я ответил, что пешком не пойду — темно, транспорта нет, до улицы Котантен далеко, притом мне должны вернуть отобранные у меня книги, бумаги. Полицейский вышел из себя: «Вы еще хотите, чтобы мы вас катали?» Но он быстро совладал с собой: как-никак Мандель был его прямым начальником.

Через час обитатели улицы Котантен увидели, как «заговорщик» прикатил домой и как полицейские выгружали его книги. Они не удивились только потому, что в те дни никто ничему больше не удивлялся.

На следующее утро я пошел в булочную, когда позвонили, и Люба, открыв дверь, снова увидела полицейского в штатском, показавшего ей опознавательный значок. Люба вышла из себя: «Каждый день? Вы посмотрите, что вы вчера понаделали...» Квартира напоминала книжную лавку после погрома. Полицейский пытался что-то сказать, но Люба ему не давала. Наконец, воспользовавшись секундой передышки, он выпалил: «Но я пришел по поручению господина префекта принести извинения...» Манделя боялись. (Немцы знали, что его не запугать и не подкупить, они его убили.)

Впоследствии я узнал, что мой арест был связан с просьбой, переданной мне де Монзи. Петен боялся улучшения отношений с Советским Союзом. Мандель мог добиться моего освобождения, поскольку полиция подчинялась ему. Но изменить внешнюю политику Франции он не мог; и в тот самый день, когда шпик принес мне извинения префекта, правительство сообщило, что поездка Пьера Кота в Москву «откладывается».

Николай Николаевич Иванов спас мне жизнь: второй мой арест был произведен незадолго до развязки. О соблюдении законности тогда не приходилось мечтать, не раз приключалось то, что в полицейских протоколах именуется «убийством при попытке к бегству».

Двадцать шестого мая я был у Эмиля Бюре. Он рассказал, что Париж могли легко взять еще 16 мая. Теперь немцы идут на Амьен: хотят окружить французскую армию. «У нас нет самолетов», — повторял Бюре. Я встретил различных людей: Вожеля, Жан-Ришара Блока, Эльзу Юрьевну Триоле, бельгийского художника Мазереля; все были подавлены.

Американский посол Буллит молился в Нотр-Даме, опустился на колени, поднес статуе Жанны д'Арк розу от имени президента. Бюре говорил: «Нам нужны не молитвы, а самолеты». Католическая газета «Об» писала о «моторизованной Жанне д'Арк, которая спасет Францию».

Третьего июня немцы сильно бомбили Париж. Было много жертв, и я увидел картины, знакомые мне по Мадриду, Барселоне. Но гнева не было, только отчаяние. В толпе кто-то говорил: «Эту войну мы проиграли до первого выстрела...»

Начался исход парижан. Длинные вереницы машин, покрытых тюфяками, тянулись к заставам Итали, Орлеан. По ночам падали зенитки. Сводки были туманными. Радио продолжало рассказывать о потопленных немецких транспортах.

Все говорили, что немцы близко. Уехали Гильсумы, Фотинский, знакомые испанцы. Я не мог никуда уехать: в префектуре у меня отобрали все документы. Город пустел. Мы с Любой оставались одни в доме, из которого все уехали. На душе у меня было смутно. Уехал наконец Иванов, сказал, что в посольстве остаются некоторые сотрудники, он их попросил о нас позаботиться.

(Именно тогда в Москве пустили слух, будто я — «невозвращенец». Ирине пришлось пережить много тяжелого; Париж был отрезан, и повсюду ее спрашивали: «Правда ли, что ваш отец невозвращенец?»)

Девятого июня на магазинах, ресторанах, кафе появились надписи: «Временно закрыто». Президент республики принял Лаваля. Кто-то прибежал, рассказывал: «Купили машину, а горючего нет. Вот если бы достать лошадь!..» Немцы сообщали по радио, что взяли Руан и что судьба Парижа решится в ближайшие дни. Я попытался послушать Москву; диктор долго говорил, что «Франкфуртер цейтунг» весьма высоко оценивает сельскохозяйственную выставку в Москве. Пришла Клеманс, прощалась, плакала: «Какой позор!..» Возле вокзалов стояли громадные толпы. Уезжали на велосипедах. Газеты сообщали, что начинается процесс тридцати трех коммунистов.

Десятого июня фашистская Италия объявила войну Франции. Я ходил по саду нашего посольства и вдруг услышал радостные крики, песни: рядом помещалось итальянское посольство. Фашистские дипломаты решили не уезжать к себе — немцы близко; можно просидеть несколько дней в бесте. Они, не смущаясь, пели «джовинеццу».

Одиннадцатого июня распространился слух, будто Советский Союз объявил войну Германии. Все приободрились. Возле ворот нашего посольства собрались рабочие, кричали: «Да здравствует Советский Союз!» Несколько часов спустя последовало опровержение. Парижане уходили пешком. Старик с трудом толкал ручную тележку с подушками, девочкой и старой собачонкой, которая отчаянно выла. По бульвару Распай двигался нескончаемый поток беженцев. Напротив «Ротонды» незадолго до войны поставили памятник Бальзаку работы Родена; неистовый Бальзак как бы сходит с цоколя. Я долго стоял на этом перекрестке, здесь ведь прошла моя молодость, и вдруг мне показалось, что Бальзак тоже уходит со всеми.

Лавочник на углу улицы Котантен бросил лавочку, даже не закрыл двери, валялись бананы, жестянки с консервами. Люди уже не уезжали, не уходили, а убежали. 11 июня я долго искал какую-нибудь газету. Наконец вышла «Пари суар». На первой странице была фотография: старушка купает собаку в Сене, и крупным шрифтом подпись: «Париж остается Парижем». Но Париж напоминал брошенный впопыхах дом. Еще толпились десятки тысяч людей вокруг Лионского вокзала, хотя и говорили, что поезда передавали молебны и противоречивые призывы: то говорилось, что эвакуация населения обеспечена, то парижан уговаривали остаться у себя и сохранять спокойствие.

Тринадцатого июня я шел по улице Ассас. Не было ни одного человека — не Париж — Помпея... Пошел черный дождь (жгли нефть). На углу улицы Ренн молодая женщина обнимала хромого солдата. По ее лицу катились черные слезы. Я понимал, что прощаюсь со многим...

Потом я написал об этом стихи:

Умереть и то казалось легче.
Был здесь каждый камень мил и дорог.
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.
Падал черный дождь на черный город.
Женщина сказала пехотинцу
(Слезы черные из глаз катились):
«Погоди, любимый, мы простимся»,—
И глаза его остановились.
Я увидел этот взгляд унылый.
Было в городе черво и пусто.
Вместе с пехотинцем уходило
Темное, как человек, искусство.

Ночью раздался звонок. Я удивился: ведь власти уехали, а немцы еще не пришли. Оказалось, из посольства прислали машину: предлагают нам перебраться на улицу Греннель, там надежнее.

Нас поместили в маленькой комнате, где прежде ночевали дискурьеры. Утром очень низко пролетели самолеты с черными крестами. Мы вышли из посольства. Французский солдат кинулся ко мне, спросил, как пройти к Орлеанской заставе.

На улицах никого не было. Воняли мусорные ящики. Были брошенные собаки. Мы дошли до Авеню де Ман, и вдруг я увидел колонну немецких солдат. Они шли и на ходу что-то ели.

Я отвернулся, постоял молча у стенки. Нужно было пережить и это.

88

Время стирает много имен, забываются люди, выцветают годы, казавшиеся яркими, но некоторые картины остаются в памяти, как бы ни хотелось их забыть. Я вижу Париж в июне 1940 года; это был мертвый город, и его красота доводила меня до отчаяния; ни машины, ни суета магазинов, ни прохожие больше не заслоняли зданий — тело, с которого сбросили одежду, или, если угодно, скелет с суставами улиц. Строившийся в разные века, объединенный не замыслом водчего, не вкусами одной эпохи, а преемственностью, характером народа, Париж напоминал каменный лес, из которого ушли мохнатые и пернатые жители.

Редкие встречные были уродами, горбунами, безногими или безрукими инвалидами. В рабочих кварталах древние старухи на скамьях вязали; их острые пальцы переходили в длинные спицы.

Немцы дивились: не таким им представлялся «новый Вавилон». Они старательно ели в немногих открытых ресторанах и фотографировали друг друга на фоне собора Нотр-Дам или Эйфелевой башни.

Вскоре начали возвращаться беженцы: добравшись с великим трудом до Луары, они увидели на другом берегу немецкие войска. Париж оживал, но жизнь его была призрачной, неправдоподобной. Немцы покупали в мелких лавчонках сувениры, непристойные открытки, карманные словарики. В ресторанах появились надписи: «Здесь говорят по-немецки». Проститутки щебетали: «Майн зюссер...» Из щелей вылезли мелкие предатели. Начали выходить газеты. «Матэн» сообщила, что в Париже остался знаменитый префект Кьяпп с его друзьями и что немцы «оценили прелести французской кухни». Густав Эрве, в далеком прошлом анархист, а потом шовинист, возобновил издание «Виктуар» («Победа»). Продавцы газет выкрикивали: «Виктуар!» — и редкие прохожие вздра-

гивали. «Пари суар» подрядила писателя Пьера Ампа. Та же газета предлагала давать объявления на немецком языке «для оживления торговли». Объявлений было мало: «Ариец, ищу работы, согласен на все»; «Кончил два факультета, ищу место официанта или приказчика, в совершенстве говорю по-немецки»; «Составляю генеалогическое дерево, разыскиваю соответствующие документы». Я зашел в булочную на бульваре Сен-Жермен. Почтенная дама громко рассуждала: «Немцы научат наших рабочих работать, а не устраивать дурацкие забастовки». У магазинов появились хвосты. Новая газета «Ля Франс о травай» учила читателей: «В каждом из нас есть крупица еврейского духа, поэтому необходимо учинить внутренний душевный погром...» Часы переставили на час вперед; солнце еще не заходило, когда громкоговорители предупреждали: «Возвращайтесь домой!» Некоторые рестораны и кафе украсились объявлениями: «Арийская фирма. Вход евреям запрещен». В квартале, где жили евреи, выходцы из Восточной Европы, — на улице Розьер, метались в ужасе бородатые старики; немцы, забавляясь, их попугивали. Комендатура оберегала немецких солдат от возможного общения с «подозрительными элементами». При входе в кафе «Дом» на бульваре Монпарнас, куда до войны приходили художники, красовалось предупреждение: «Посещение этого кафе немецким военнослужащим воспрещается». Зато на дверях публичного дома «Сфинкс» я увидел другое объявление: «Открыто для отечественной и иностранной клиентуры». В большом мюзик-холле шло обозрение «Иммер Парис» — это было переводом на немецкий язык старой присказки «Париж остается Парижем».

Но Париж больше не был Парижем: происшедшее оказалось не одним из тех военных эпизодов, которые приключались в прошлом столетии, а катаклизмом.

После второй мировой войны смешно доказывать, что нельзя жить с фашистами на одной земле. А тогда мне приходилось ежечасно сдерживать себя. Я отводил душу в стихах:

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
Ночь навалилась, горяча.
Бензин и конская моча.
Не для того — камням молюсь —
Упал на камни Делеклюз.

Не для того тот город рос,
Не для того те годы гроз,
Цветов и звуков естество,
Не для того, не для того!..

Я кончал стихотворение признанием:

Глаза закрой и промолчи —
Идут чужие трубачи,
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!

Это было криком, но я не только кричал, я пытался понять значение происшедшего:

Часы не били. Стали звезды ближе.
Пустынен, дик, уму непостижим,
В забытом всеми, брошенном Париже
Уж цепенел необозримый Рим.

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришла А. А. Ахматова, расспрашивала про Париж. Она была в этом городе давно — до первой мировой войны, не знала подробностей его падения. В представлении некоторых критиков Анна Ахматова — «поэтесса интимных чувств с крохотным мирком». Анна Андреевна прочитала мне стихотворение, написанное ею после того, как она узнала о падении Парижа.

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке,—
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.
Так вот — над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.

В этих стихах поражает не только точность изображения того, чего Ахматова не видела, но и прозрение. Часто теперь я вижу ушедшую эпоху, «труп на весенней реке». Я ее знаю и не ошибусь; а для внуков она не то призрак, не то снесенный причал или перевернутая лодка.

Мы покупали в лавке колбасу или консервы, иногда обедали в ресторане, убедившись, что там нет немцев. Как-то раз я зашел в магазин, чтобы купить литр вина; хозяин мне сказал: «Возьмите старое бургундское, я его вам продам как разливное — лучше, чтобы вы его выпили, чем немцы». После нашего отъезда, наверно, обо мне говорили как о пьянице — в комнате дикпурьеров осталось полсотни пустых бутылок с патетическими этикетками.

Один из сотрудников посольства сказал мне, что должен проехать в «свободную зону», в город Брив, и предложил его сопровождать — он плохо говорил по-французски. Путь был таким: Жиен, Невер, Мулен, Клермон-Ферран, Руая, Бурбуль, Брив, Лимож, Орлеан. Я многое повидал: и развалины Жиена, и разбитый бомбами Орлеан, и кондитерскую в Руая, где «весь Париж» поглощал пирожные, охал, ахал и благословлял маршала. На берегах Луары еще валялись расплюсченные машины, солдатские шлемы, игрушки. Военнопленные хоронили убитых беженцев. Люди ночевали в парижских автобусах «Бастилия—Мадлен».

Правительство в тот самый день прибыло из Бордо в Клермон-Ферран. Я должен был узнать, где находится наше посольство. Мне сказали, что министры остановились в здании коллежа. Я увидел сторожа, старичка, похожего на Вольтера; он закричал: «Нет, слава богу, они не здесь. Кажется, в префектуре...» По коридорам префектуры носились ошалевшие сановники, нельзя было ничего добиться. Я заглянул в одну из комнат. Вдруг кто-то на меня кинулся: «Что вы здесь делаете?» Оказалось, это кабинет Лавалья.

Один из беженцев, ночевавший в поле, рассказал мне, что вместе с другими пытался убежать из Бордо в Испанию, но испанские пограничники их не пропустили. История не сродни классическому роману, она то пишет стихи на зауми, которых никто не может расшифровать, то переходит на древнейший жанр общедоступной притчи...

Я не раз в жизни пережил те чувства, которые вдохновляли Маяковского, когда он писал стихи о советском паспор-

те, — гордился, показывая мой паспорт злобным полицейским, гордился и когда меня арестовывали, высылали, отказывали в визах. Гордился тем, что я — советский, в 1936 году в Арагоне и десять лет спустя в расистских штатах Миссисипи, Алабаме. А вот в то (к счастью, недолгое) время, о котором я рассказываю, мне было очень трудно. Как-то возле нашего посольства остановились две женщины, судя по одежде — работницы, и салютовали гербу поднятыми кулаками: «Рот фронт». Полицейские их отогнали: подъехала машина со свастикой — гитлеровские офицеры решили нанести визит сотруднику посольства. Я все это видел в окно, и мне было не по себе. Думаю, читатели меня поймут.

Я перетащил в посольство мой приемник и каждый вечер слушал Лондон. 18 июня — через четыре дня после вступления немцев в Париж — впервые выступил де Голль, сказал, что война продолжается, призывал французов не подчиняться изменникам. Я слушал и радовался. Окно комнаты было открыто, и двое полицейских, дежурившие у ворот посольства, тоже слушали; один стоял вытянувшись по-военному, — не знаю, что он потом делал, может быть, рьяно служил немцам, но в ту минуту де Голль для него был начальником; второй скептически усмехался.

Тринадцатого июля в посольство пришла Анна Зегерс. За нею следили, ей грозила смерть. Она просила помочь ей пробраться в «свободную зону».

Вишняки застряли в Париже. Мы у них часто бывали. Мы старались шутить, вспоминали прошлое — Андрея Белого, Марину, Пастернака. Застряла и Дуся с больной матерью. Она больше не смеялась, говорила: «Так тихо, что страшно...» Я читал ей стихи Ронсара о полдне и счастье. Лето было на редкость холодным. Часто шли дожди.

В кафе я разговаривал с немецкими офицерами — они искали собеседников, а меня принимали за француза. Некоторые говорили, что прежде всего нужно расколотить англичан, но большинство повторяло: «Скоро мы почистим Россию...» Откровенно, с вполне понятной злобой они говорили о коммунистах, о Советском Союзе. Один, помню, сказал: «Сначала мы выкачаем из России нефть, а потом кровь...»

На площади Опера играл военный оркестр. Победители сидели в кафе де ля Пэ, загорали на солнце, пили коньяк, обсуждали дальнейшие походы. Париж для них был прекрасным домом отдыха с бесплатными путевками.

Наконец настал день отъезда. Погрузили нас ночью. Вместе с нами ехали шофер посольства, повар, делопроизводитель; всего было, кажется, семь или восемь советских граждан в поезде, набитом немецкими офицерами и солдатами. Один литератор, которому когда-то показали исправительно-трудовой лагерь, на вопрос, как он себя там чувствовал, ответил: «Как живая лисица, попавшая в магазин мехов». Так я чувствовал себя в том поезде.

Ехали мы долго — неделю. Я увидел развалины Дуэ, пустые города севера Франции, немецкие надписи. В Брюсселе пришлось задержаться. Мы переночевали в посольстве. Я поехал к Элленсу, мне сказали, что он успел выбраться. Брюссельцы угрюмо молчали.

Границу мы переехали ночью. Дважды была воздушная тревога. Поезд останавливался. Я мечтал: хоть бы англичане сбросили бомбу!.. Но полчаса спустя поезд шел дальше. На вокзале Мюнхен-Гладбах немки подавали победителям кофе и цветы. Потом был Берлин. Пришлось провести две ночи в гостинице. На ее двери значилось: «Евреям вход запрещен», но я ехал не как Эренбург, а как один из служащих посольства, моей фамилии в документах не было. А немцам нужны были советская нефть и многое другое, они не хотели пререкаться из-за мелочей.

У нас были припасены чай, сахар, галеты, сыр. Горничная, которая принесла кипяток, увидев сыр, спросила Любу, где мы достали такое лакомство. Люба ответила: «Привезли из Франции». Тогда немка воскликнула: «Счастливые французы!..» Это меня обрадовало: победители, только что захватившие Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Францию, завидуют французам!

Я видел их еще в 1932 году в Берлине накануне первой победы, следил за всем, что они делали, помнил Испанию. Я их снова увидел в Париже. Я многому научился. По своему характеру, да и по воспитанию я человек XIX века, я был склонен, скорее, к спорам, чем к оружию. Ненависть мне далась нелегко. Это чувство не красит человека, и гордиться им не приходится. Но мы жили в эпоху, когда обыкновенные молодые люди, порой с симпатичными лицами, с сентиментальными признаниями, с фотографиями любимых девушек, уверовав, что они — избранные, начали уничтожать неизбранных, и только настоящая, глубокая ненависть могла положить пре-

дел торжеству фашизма. Повторяю, это было нелегко. Часто я испытывал жалость, и, может быть, сильнее всего я ненавижу фашизм именно за то, что он научил меня ненавидеть не только абсурдную, бесчеловечную идею, но и ее носителей.

39

Я вернулся в Москву 29 июля 1940 года. Я был убежден, что вскоре немцы нападут на нас; перед моими глазами стояли ужасные картины исхода Барселоны и Парижа. А в Москве настроение было, скорее, спокойное. Газеты писали, что между Советским Союзом и Германией окрепли дружеские отношения.

Я написал В. М. Молотову, что хочу рассказать ему о положении во Франции, о том, что говорят немецкие офицеры и солдаты. Меня принял заместитель Молотова С. А. Лозовский. Его я знал еще по дореволюционному времени, встречал, когда он в Париже выступал на социал-демократических собраниях. Он слушал меня рассеянно, печально глядел в сторону. Я не выдержал: «Разве то, что я рассказываю, лишено всякого интереса?» Соломон Абрамович грустно улыбнулся: «Мне лично это интересно... Но вы ведь знаете, что у нас другая политика...» (Я все же оставался наивным — думал, что правдивая информация помогает определить политику: оказалось наоборот — требовалась информация, подтверждающая правильность выбранной политики.)

(С Лозовским я работал в годы войны, когда он был начальником Совинформбюро. Он остался в моей памяти человеком мягким, глубоко порядочным; он хорошо знал рабочий класс Запада; но никакой власти у него не было — по любому вопросу ему приходилось запрашивать Молотова или Щербакова. Как начальник Совинформбюро, он должен был руководить различными комитетами, созданными в начале войны, среди них и Еврейским антифашистским комитетом. Лозовский был арестован вместе с руководством этого комитета в конце 1948 года, осужден и расстрелян в возрасте семидесяти четырех лет, а потом посмертно реабилитирован.)

Я, естественно, искал людей, хорошо знавших и продолжавших ненавидеть фашистов; пришел П. Г. Богатырев, выбравшийся из Чехословакии, рассказывал о судьбе чешских

друзей; у Е. Ф. Усиевич я познакомился с В. Л. Василевской, она мне рассказала о поэте Броневском, приходили ко мне бывшие интербригадовцы — Белов, Петров, Балер, испанцы — Ла Каса, Альберто, Санчес Аркас. Перелистывая записную книжку, я вижу, кто бывал у нас в зиму 1940—1941 года: Кончаловский, Фальк, Штеренберг, Суриц, Толстой, Игнатьевы, Лидин, Эфрос, Олеша, Славин, Ахматова, Пастернак, Вишневский, Мартынов, Луговской. С ними мне было легко говорить.

Были и такие писатели, журналисты, которые считали, что я рассуждаю не как советский гражданин — слишком долго жил во Франции, привязался к ней, рисуя гитлеровцев, «сгущаю краски». Однажды я услышал даже такие слова (в то время диковинные): «Людам некоторой национальности не нравится наша внешняя политика. Это понятно. Но пускай они приберегут свои чувства для домашних...» Меня это поразило. Я еще не знал, что нам предстоит.

Помню разговор с академиком Л. С. Штерн. Мы говорили о зверствах гитлеровцев, об Испании, о Париже, о пакте. Лина Соломоновна сказала: «Один ответственный товарищ объяснил мне, что это — брак по расчету. Но я ему ответила, что от брака по расчету могут быть дети...» (Восемь лет спустя Л. С. Штерн на себе узнала правильность своего прогноза: ее арестовали вместе с другими деятелями Еврейского антифашистского комитета; к счастью, она не погибла.)

Однажды в театре я встретил Дугласа — так звали в Испании командира наших воздушных сил Я. В. Смушкевича. Он хромал, опирался на палку. Я сразу заметил на его груди две Звезды Героя. Мы вспомнили Испанию. Я радовался: не все погибли!.. Савич говорит, что видел Хаджи, Николаса. О Григоровиче я читал в газете. А вот Дуглас командует военновоздушными силами... Я думал, что опыт Испании поможет в надвигающейся войне. (Я. В. Смушкевича арестовали и расстреляли за две недели до того, как гитлеровцы напали на Советский Союз.)

Нужно было работать — писать, да и найти место, где меня осмелились бы напечатать. Я хотел описать все, что видел во Франции, показать, что быстрый разгром французской армии, капитуляция Петена объясняются моральной слабостью, страхом крупной буржуазии перед своим народом, а вовсе не чудодейственной силой рейхсвера. Ведь дело теперь не в Петене,

а в том, что скоро нам придется столкнуться с немецкой армией... Я пошел в «Известия» — семь лет я работал для этой газеты. Меня принял заведующий иностранным отделом, спросил, нет ли у меня претензий к бухгалтерии, потом откровенно сказал, что печатать меня они не будут.

В Гослитиздате мне рассказали, что моя книга об Испании не смогла выйти: задержала типография, а тут подоспел пакт — и набор рассыпали. Мне дали на память верстку.

Не помню, где я познакомился с Э. С. Шейнисом, работавшим в газете «Труд». Он объяснил, что я не должен ничего писать о немцах, а ругать французских предателей могу. Редакция попытается протолкнуть мои очерки. Действительно, после длительных переговоров, правок, купюр мои очерки были напечатаны в «Труде». Я несколько приободрился.

(Потом мне прислали брошюру, напечатанную в Женеве, — мои статьи из «Труда»: коммунисты их нелегально распространяли во Франции.)

Меня позвали на собрание московских писателей; оно было драматичным — оказалось, что Сталин пригласил группу писателей, назвал Авдеенко «врагом» и напал на пьесы Леонова «Метель» и Катаева «Домик». Мы должны были проголосовать за исключение Авдеенко из Союза. Различные литераторы, соревнуясь друг с другом, поносили Леонова и Катаева. Я сидел и дивился: надвигается война, неужели Сталин так уверен в нашей мощи, что может отдавать свое время литературной критике? Все мне было непонятно; я терзался, и не было мудрого Бабеля, к которому я когда-то приходил за объяснениями...

Я писал стихи: о Париже, о войне, о верности, о смерти:

...Будет день, и прорастет она —
Из костей, как всходят семена, —
От сетей, где севера треска,
До Сахары праздного песка,
Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,
Зашагают ноги без сапог,
Зашагают сапоги без ног,
Зашагают горя города.
Выплывут утопшие суда,
И на вахту встанет без часов
Тень товарища и облаков...

Вишневский редактировал журнал «Знамя». Он взял мои стихи, отобрал те, где не было ничего о будущем, и хотел напечатать в ближайшем номере. Вскоре он сказал, что стихи задерживают в НКИДе; лучше всего мне самому пойти туда, поговорить.

Заведующего отделом печати НКИДа Н. Г. Пальгунова я знал по Парижу, где он работал корреспондентом ТАССа. Николай Григорьевич меня дружески принял и сразу сказал, что стихи, где речь идет о падении Парижа, можно печатать. Смущали его лирические стихотворения. Он долго перечитывал:

...Кончен бой. Над горем и над славой
В знойный полдень голубеет явор...

Спрашивал: «Скажите откровенно, кого вы подразумеваете под явором?» Я клялся, что явор — дерево, разновидность клена, что у Пушкина тоже есть явор. Я видел, что Пальгунов мне не очень-то верит. Он сказал: «Вы понимаете, какая на мне ответственность?..» В итоге он согласился пропустить и лирику.

Я осмелел и послал в издательство рукопись сборника стихов «Верность».

По ночам я слушал передачи из Лондона на французском языке; помню позывные, похожие на короткий стук в дверь. Новости были невеселыми: немцы сильно бомбили Лондон. В одну из ночей я написал стихотворение, в котором признавался, что судьба Лондона мне близка:

Не туманами, что ткали Парки,
И не парами в зеленом парке,
Не длиной, а он длиннее сплина,
Не трезубцем моря властелина,
Город тот мне горьким горем дорог,
По ночам я вижу черный город,
Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь чужих уродливых развалин...

Я дал стихотворение Вишневскому. Он сказал: «Про Лондон никому не читайте, — и тотчас добавил: — Сталин лучше нас понимает...»

Ко мне пришел поэт, прочитал свои стихи и сразу меня восхитил: это был Леонид Мартынов. Он расспрашивал про войну, про Париж, говорил «н-да» и что-то добавлял о погоде: «Зима была суровая...» Его стихи казались явлением природы — шумливым летним дождем или токованием птицы. Мы проговорили полночи о силлабическом стихосложении — Мартынов шевелил губами: искал новую музыку.

Шестнадцатого сентября я сел за роман «Падение Парижа». Пожалуй, из всего, что я написал, эта книга больше всего напоминает традиционный роман, хотя и в ней я не отказался от избытка персонажей, быстрого монтажа. Писал я ее с увлечением. Теперь я перечитал роман; как будто мне удалось передать предвоенные годы Франции, то, что я где-то назвал загнанной внутрь гражданской войной. Но одни персонажи мне кажутся живыми, объемными, другие — плакатными, поверхностными. В чем я сорвался? Да в том, в чем и до «Падения Парижа» и после него срывались многие мои сверстники: показывая людей, всецело поглощенных политической борьбой, будь то коммунисты Мишо и Дениз, будь то фашист Бретейль, я не нашел достаточного количества цветов, часто клал белые и черные мазки. Видимо, даже ненавидя плакатную литературу и высмеивая чересчур ретивых критиков, я все же поддался известному упрощению. Напротив, естественными выглядят другие герои повествования — актриса Жаннет, симпатичный, умный и делающий глупости капиталист Дессер, наивный инженер Пьер, продажный политикан Тесса, художник Андре, наконец, один из предтеч многих героев послевоенной французской литературы, сентиментальный циник Люсьен.

(Двадцать первого июня 1941 года я кончал тридцать девятую главу последней части; оставалось написать семь коротких глав. Началась война; мне было не до романа. Во время эвакуации из Москвы исчезла рукопись третьей части. Вернуться к роману я не мог и решил, что он останется недооконченным. В декабре, однако, мне сообщили, что один из рабочих типографии, где печаталось «Знамя», подобрал разбросанные листы. В конце января, когда на фронте наступило затишье, я дописал последние главы, и роман был напечатан весной 1942 года. Тотчас вышел английский перевод, и, судя по случайно сохранившейся газетной статье, в метро Лондона,

во время воздушных атак, можно было часто увидеть читателей и читательниц с моим романом.)

В. В. Вишневский, когда мы встречались, неизменно говорил о надвигающейся войне. Теперь опубликованы отрывки из его дневника. В декабре 1940 года он писал: «Ненависть к прусской казарме, к фашизму, к «новому порядку» — у нас в крови... Мы пишем в условиях военных ограничений, видимых и невидимых. Хотелось бы говорить о враге, подымать ярость против того, что творится в распятой Европе. Надо пока молчать...» Вишневский взял у меня рукопись первой части «Падения Парижа», сказал, что попытается ее «протащить». Два месяца спустя, как раз в тот день, когда мне исполнилось пятьдесят лет, он пришел с хорошей вестью: первую часть разрешили, но придется пойти на купюры. Хотя речь шла о Париже 1935—1937 годов и немцев там не было, надо было убрать слово «фашизм». В тексте описывалась парижская демонстрация, цензор хотел, чтобы вместо возгласа: «Долой фашистов!» — я поставил: «Долой реакционеров!» Я отказывался, торговался.

Денег у меня не было, и я начал выступать с чтением отрывков из романа. Слушали меня хорошо, но и здесь пришлось столкнуться с трудностями.

Однажды я читал главы романа в Доме кино. В перерыве мне сказали, что пришел советник германского посольства, который хочет меня послушать. Я запротестовал: «Не буду при нем читать...» Меня уговаривали. Девушка, сотрудница ВОКСа, изумлялась: «Ну как можно так?.. Понятно, что его заинтересовала тема... Он вообще очень культурный человек, любит литературу... Потом, что скажут там?» И она показала рукой на потолок. Я отвечал, что вечер закрытый и что, если в зал войдет фашист, я уйду. Германскому дипломату сказали, что вечер кончился, и я дочитал отрывки.

О моих чтениях пошли толки. Мой творческий вечер отменили. Я попытался попасть на прием к секретарю Союза писателей А. А. Фадееву, но это оказалось безнадежным. Я писал статьи, чтобы получить немного денег; писал для «30 дней», «Вокруг света», «Глобуса», «Ленинградской правды», «Московского комсомольца»; почти все мои статьи браковались, в любой строке редакторы видели намеки на фашистов, которых остряки называли «заклятыми друзьями».

Как я сказал, в ту зиму мне исполнилось пятьдесят лет. Нет худа без добра: мое шаткое положение избавило меня от лицемерных поздравлений и от адресов в дерматиновых пацках. Пришли друзья. Лазин, смущенно улыбаясь, наливал в рюмки ликеры из Львова, которыми москвичи тогда увлекались. Пастернак прислал мне письмо: «...Нам было столько лет, когда мы встретились, сколько с тех пор прошло. Сбережем, что осталось из растрченных сил!..» Я часто в ту зиму хворал, но мне хотелось не беречь силы, а скорее их растратить: слишком тяжелой была передышка.

Известия становились все тревожнее. С начала марта Лондон говорил, что Гитлер готовится захватить Балканы. Наши газеты оставались невозмутимо спокойными. Я пошел на доклад о международном положении; лектор обстоятельно рассказывал о хищной природе английского империализма; я ждал, что он скажет о Германии; но он о ней вовсе не упомянул.

Как-то я зашел в кафе «Метрополь». За соседним столиком сидели немцы. Они пили и горланили. Я быстро ушел.

Иногда я ходил в театр, вздыхал, когда бедная Эмма Бовари металась среди шума карнавала, — Алиса Коонен умела потрясать зрителей. Пошел на выставку С. Д. Лебедевой, мне понравились бегун, голова калмычки. На другой выставке я обрадовался краскам Осьмеркина.

Апрель был беспокойным. 6-го я услышал по радио о падении немцев на Югославию и Грецию. 9-го немцы взяли Салоники, 13-го — Белград.

Четырнадцатого апреля я встретил Вишневского; он мрачно сказал: «О вашем романе разные суждения. Мы не сдаем... Но насчет второй части ничего не могу сказать...» Вторая часть относилась к событиям 1937—1938 годов; немцы еще не появлялись. «Кто ругает? За что?» Всеволод Витальевич ничего не ответил.

Я знал, что в Москву должен приехать Жан-Ришар Блок: его предполагали вывезти из Франции с группой советских служащих. Я просил иностранную комиссию Союза писателей предупредить меня: хотел встретить. В комиссии, однако, решили, что человеку в моем положении лучше с иностранцами не встречаться. Я все же случайно узнал, что Блоки приезжают 18 апреля. Мы пришли с Любой на вокзал. Жан-Ришар и Маргарита плохо выглядели, постарели, но доверчиво улыбались друзьям, свободе, Москве. Полдня они мне рассказывали

о жизни во Франции: среди писателей мало кто сотрудничает с немцами; «Нуфель ревию ффрансез» — жалкая подделка; люди не верят газетам, в маленьких городах в часы, когда лондонское радио передает по-французски, улицы пустеют; Ланжевен держится замечательно; Арагон написал хорошие стихи...

Двадцатого апреля я узнал, что вторую часть «Падения Парижа» не пропустили. Я пришел в скверное настроение, но решил писать дальше.

Двадцать четвертого апреля я сидел и писал четырнадцатую главу третьей части, когда мне позвонили из секретариата Сталина, сказали, чтобы я набрал такой-то номер: «С вами будет разговаривать товарищ Сталин».

Ирина поспешно увела своих пуделей, которые не ко времени начали играть и лаять.

Сталин сказал, что прочел начало моего романа, нашел его интересным; хочет прислать мне рукопись — перевод книги Андре Симона, — это может мне пригодиться. Я поблагодарил и сказал, что книгу Симона читал в оригинале. (Эта книга потом вышла в русском переводе под названием «Они предали Францию», что касается автора — Симона-Катца, то его казнили в Праге незадолго до смерти Сталина.)

Сталин спросил меня, собираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над которой работаю, — война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые недели оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части, — ведь мне не позволяют даже по отношению к французам, даже в диалоге употреблять слово «фашисты». Сталин пошутил: «А вы пишете, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть...»

Люба, Ирина ждали в нетерпении: «Что он сказал?..» Липо у меня было мрачное: «Скоро война...» Я, конечно, добавил, что с романом все в порядке. Но я сразу понял, что дело не в литературе; Сталин знает, что о таком звонке будут говорить повсюду, — хотел предупредить.

(Видимо, в конце апреля Сталин был встревожен. Да и трудно было после захвата Югославии полагаться, что Гитлера остановит пакт. Однако прошло два месяца, и нападение все же застало нас врасплох. Вину ввалили на некоторых военных; среди них был танкист, которого я не раз встречал в Алкала и у Гвадалахары, генерал армии Д. Г. Павлов; его расстреляли.)

Я пошел в «Знамя», рассказал про телефонный звонок. Вишневецкий просиял, признался, что его сильно ругали в ЦК. При мне Вишневецкому позвонил тот самый товарищ, который его ругал, сказал, что «произошло недоразумение».

Различные редакции звонили, просили отрывки из романа.

Я встретился с Фадеевым. Александр Александрович был человеком крупным и сложным; я узнал его в послевоенные годы. А в 1941 году он был для меня начальством, и разговаривал он со мною не как писатель, а как секретарь Союза писателей, объяснил, что не знал, как может измениться международная обстановка (привожу записанную тогда его фразу: «С моей стороны это было политической перестраховкой в хорошем смысле этого слова»).

Вскоре после этого разговора в Клубе писателей был вечер армянской поэзии. Председатель Фадеев, увидя меня, сказал: «Просим Эренбурга в президиум».

Я познакомился с прекрасным поэтом Аветиком Исаакяном. Фадеев на вечере сказал о нем, что «солнечная Армения дала ему счастье» и что он «перестроил свою лиру». Исаакян расспрашивал меня о трагедии Франции (он долго прожил в этой стране, и говорили мы по-французски). Он спросил, читал ли я перевод его поэмы «Абул-Ал-Маари»; я сказал, что читал по-французски один отрывок. Он задумался: «Нужно уметь уходить — это самое важное. Вот вы рассказали о том, как уходил Париж. Но и этого мало... Я недавно много думал о Толстом — он тоже ушел...» Нас прервали. Я глядел на его лицо и не мог наглядеться: вот уж не «солнечное» — старое, не старостью человека, а веками истории, горя, камней, крови... Да и нельзя перестроить лиру.

Для меня это было короткой вылазкой: рыба нырнула в воду.

В мае я ездил в Харьков, Киев, Ленинград. Встретился со многими старыми друзьями — с Лизой Полонской, Тывяновым, Каверинным, Ушаковым, О. Д. Форш. Познакомился в Харькове с молодым студентом, который писал стихи, — Борисом Слуцким. В киевской гостинице «Континенталь» танцевали. За нашим столиком сидел молодой поляк; он рассказывал о немцах в Варшаве. Софья Григорьевна Долматовская заплакала. В Ленинграде в «Европейской гостинице» пьяные немцы кричали «гох!». Я выступал в Выборгском Доме культуры; меня закидали вопросами: правда ли, что немцы собираются нарушить договор, или это английская провокация.

Немцы заняли Грецию. Сталин стал председателем Совнаркома. Гесс приземлился в Англии: предлагал мир. Черчилль заявил, что самые трудные испытания впереди.

Вот записи тех дней. «21 мая. Звонили из ПУРа: «Напишите о немцах, но так, чтобы это выглядело, как план вашего романа, для «военнослужащих». Шейнис звонил: статью в «Труде» задерживают. Все говорят о войне. 23 мая. Бои на Крите. Инструктор райкома: «Незачем паниковать. Немцы соображают...» 2 июня. Англичане оставили Крит. 3 июня. В «30 днях» сняли мою статью. Лондон сообщает, что из Москвы выслали греческое посольство. 5 июня. Вечером была Анна Андреевна: «Не нужно ничему удивляться». 11 июня. Ж.-Р. Блок: «Заказали статьи, но не печатают». 7 июня. С Качаловым и Москвиным: «Что же стало с Францией? Мы ничего не знаем». 9 июня. Толстой сказал, что получил письмо от Бунина. «Немцы способны на все...» 10 июня. Суриц: «Самое опасное — это духовная демобилизация». 11 июня. Вечер в НКВДе. «Почему вы не обличаете в романе английский империализм?» 12 июня. Радио, выступление американского журналиста Дюранти: немцы сосредоточивают на востоке около сотни дивизий. 13 июня. Опровержение ТАССа. Вечером читал в Генеральном штабе. 14 июня. Лондонское радио настаивает: немцы сконцентрировали на советской границе огромные силы. Читал у пограничников. «Вот пели «Если завтра война», а что делали?.. Грохоту слишком много...» 17 июня. Кармен показывал фильм о Китае. Похоже всюду, только китайцы не убежали, а уплывали по реке. Читал политрукам, спрашивали, правда ли, что звонил Сталин. «Нужно сделать некоторые выводы...» 18 июня. У Пальгунова, долгие переговоры. Пакт Германии с Турцией. 19 июня. Лондон сообщает, что немцы усиливают подготовку в Финляндии. Выступал для летчиков гражданского флота. Один послал записку: «У нас часто встречается несложное, но оригинальное устройство ума». 20 июня. Жара. Из «Труда» звонили: «Слишком остро». 21 июня. Читал на заводе. Председатель сказал: «Мы не остров, мы гигантский материк мира». Записка: «Хочется материться, когда слышишь такое»...

Двадцать первого июня прошел сильный дождь. Люба собиралась в воскресенье поехать за город — снять дачу.

Двадцать второго июня рано утром нас разбудил звонок В. А. Мильман: немцы объявили войну, бомбили советские города. Мы сидели у приемника, ждали, что выступит Сталин.

Вместо него выступил Молотов, волновался. Меня удивили слова о вероломном нападении. Вероломство предопределяет нарушение обязательств чести или хотя бы простой честности. Трудно причислить Гитлера к людям, имеющим какое-либо представление о порядочности. Что можно было ждать от фашистов?..

Мы долго сидели у приемника. Выступил Гитлер. Выступил Черчилль. А Москва передавала веселые, залихватские песни, которые меньше всего соответствовали настроению людей. Не приготовили ни речей, ни статей; играли песни...

Потом за мною приехали — повезли в «Труд», в «Красную звезду», на радио. Я написал первую военную статью. Позвонили из ПУРа, просили зайти в понедельник в восемь часов утра, спросили: «У вас есть воинское звание?», я ответил, что звания нет, но есть призвание: поеду, куда пошлют, буду делать, что прикажут.

Поздно вечером на Ордынке я увидел парочку. Молодая женщина плакала. Мужчина ей говорил: «Да ты не убивайся! Слышишь, Леля, я тебе говорю: не убивайся!..»

Это был самый длинный день в году, и он длился очень долго — почти четыре года, день больших испытаний, большого мужества, большой беды, когда советский народ показал свою духовную силу.

Книга

пятая



Годы, о которых мне предстоит рассказать, врезались в память каждого. Им посвящены прекрасные повествования Некрасова, Казакевича, Гроссмана, Пановой, Берггольц, Бека (этот список, конечно, далеко не полный). Пусть читателя не удивит, что о некоторых важных событиях я упомяну вкратце или вовсе промолчу: нет нужды повторять то, что уже хорошо сказано другими.

Я говорил, что в мирное время у каждого человека свой путь, свои радости и горести, а война не только все рядит в одежду защитного цвета, она не терпит и душевного многообразия, перед нею отступают и возраст, и особенности характера, и биография. В годы войны я думал и чувствовал, как все мои соотечественники.

Мне неохота повторять и себя, но боюсь — это неизбежно. В длинном романе «Буря» много встреч, бесед, картин, переживаний связано с воспоминаниями автора. Я помню два ржевских дома, их окрестили «полковник» и «подполковник», на них часто глядела одна из героинь романа Рая, я видел Осипа в Минске, когда взрывались здания, заминированные немцами, я был с Сергеем в Вильнюсе на кладбище Рос и, как доктор Крылов, в Щиграх я ночевал у молодой женщины, которая жила с немецким офицером. Мне хотелось бы не столько восстановить события, сколько попытаться взглянуть на них сегодняшними глазами.

Передо мной встают первые месяцы войны. Потом люди привыкли ко всему, сложился военный быт, а летом, осенью 1941 года города метались, скрипели, рушились, как деревья. Все было внове и непонятно — призывные пункты, расставания, задорные песни, слезы, дежурства на крышах, зловещие слухи, слово «окружение», страшное, как чума или мор, длинные эшелоны, дороги, забитые беженцами, нарастающая тревога. В моей записной книжке — даты и города: 27 июня — Минск, 1 июля — Рига, 10 июля — Остров, 14 июля — Псков, 17 июля — Витебск, 20 июля — Смоленск, 14 августа — Кривой Рог, 20 августа — Новгород, Гомель, Херсон, 26 августа — Днепропетровск, 1 сентября — Гатчина, Каховка, 13 сентября —

Чернигов, Ромны, 20 сентября — Киев... (Я записывал то, что узнавал в «Красной звезде»; сводки по большей части говорили о «направлении».) За три месяца мы потеряли территорию много большую, чем вся Франция. Теперь это страницы истории, а тогда это было смертельным томлением. Затаив дыхание, мы ждали очередную сводку. Радиоприемники вскоре отбрали, остались «тарелки», и дважды в день «тарелка» с хрипом сообщала, что отделение сержанта Васильева уничтожило три вражеских танка, что пленные говорят о моральном разложении немецкой армии, что греческие или голландские патриоты приветствуют Красную Армию и что мы отходим, все отходим и отходим.

«Какие новости?» — спрашивал я в редакции Карпова. Он отвечал: «Направление Вяземское, но Вязьму уже оставили». Понять что-либо было невозможно, оставалось верить, и вместе с другими я верил — наперекор сводкам, беженцам и женщинам с узлами, заполнившим московские улицы.

Я встречал много людей — и старых друзей, и незнакомых, которые приходили в редакцию «Красной звезды», бывал в военных госпиталях, на аэродромах, ездил на фронт, беседовал с генералами и солдатами. Я помнил первую мировую войну, пережил Испанию, видел разгром Франции, казалось, был ко многому подготовлен, но, признаюсь, порой мною овладевало отчаяние. А люди помоложе недоуменно спрашивали: «В чем дело?..» Им ведь говорили, что если враг сунет свое рыло в наш огород, то получит сокрушительный удар, что война будет протекать на чужой территории, и вот они увидели, как фашисты почти без остановки промчались от Бреста до Смоленска. В сводках повторялись те же слова: «превосходящие силы противника» — они должны были многое объяснить, но они не объясняли главного: почему же у немцев больше самолетов и танков?

Третьего июля рано утром мы слушали речь Сталина; он, видимо, волновался — слышно было, как он пил воду, да и начал он непривычно, назвал нас «братьями и сестрами», «друзьями». Сталин объяснял военные неудачи внезапностью нападения, говорил о «вероломстве» Гитлера. Одновременно он повторил, что благодаря германо-советскому пакту мы выиграли время и смогли подготовиться к обороне. Все слушали молча. Днем я ходил по городу. В Москве было жарко. Люди разговаривали на бульварах, в скверах, возле подъездов. На

Пушкинской площади в витрине «Известий» висела большая карта. Москвичи мрачно смотрели на нее, потом расходились по домам.

Кто знает, сколько было в каждом из нас недоумения, горечи, тревоги! Но нам было не до исторических оценок — фашисты рвались к Москве!

По переулкам Замоскворечья шагали ополченцы, шагали нестройно — с одышкой, с гириями годов и недугов. Впрочем, в те дни мало кто думал о военной исправке.

Как другие, я переживал тревогу и, как другие, событиями был освобожден от сомнений. Никогда в жизни я так много не работал, писал по три-четыре статьи в день; сидел в Лаврушинском и стучал на машинке, вечером шел в «Красную звезду», писал статью в номер, читал немецкие документы, радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями. О «Красной звезде» я расскажу дальше, сейчас я только хочу передать мое состояние. Я доказывал, что мы победим. В победу я верил не потому, что рассчитывал на наши ресурсы или на второй фронт, но потому, что очень хотел верить — другого выхода ни у меня, ни у моих соотечественников тогда не было.

Начали приходиться телеграммы из-за границы; различные газеты предлагали мне писать для них: «Дейли геральд», «Нью-Йорк пост», «Ля Франс», шведские газеты, американское агентство Юнайтед Пресс. Приходилось менять не только словарь — для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы. Чуть ли не ежедневно я выступал по радио — и для советских слушателей, и для французов, чехов, поляков, норвежцев, югославов.

Лозовский сказал мне, что Сталин придает большое значение работе для Америки и Англии. Совинформбюро начало устраивать радиомитинги главным образом для Америки — славянские, еврейские, женские, молодежные. На еврейском митинге выступил и я. Говорили С. М. Михоэлс, С. М. Эйзенштейн, Перец Маркиш, Д. Бергельсон, архитектор Б. М. Иофан, а также П. Л. Капица и другие. (Некоторых из выступавших или подписавших обращение восемь лет спустя арестовали только потому, что они входили в Еврейский антифашистский комитет.)

В тот самый день ко мне пришел мой давний друг, польский поэт Броневский — его незадолго до этого выпустили из

тюрьмы. Он был мрачен, рассказывал, что пережил и передумал в заключении, многим возмущался. Я говорил ему, что теперь нужно разбить фашистов, он усмехался: «Я это понял раньше тебя...» Он говорил, что его судьба сидеть в тюрьме, он это знает. Если разобьют немцев и освободят Польшу, то его там посадят. Но пусть посадят в польскую тюрьму — не потому, что там лучше, а потому, что он поляк...

Броневский был страстным и честным коммунистом. Я с ним встретился впервые в Варшаве при Пилсудском и подумал сразу: вот настоящий интернационалист!.. Что-то в мире изменилось, я еще не мог тогда этого сформулировать, но смутно чувствовал и понимал Броневского. Мы выросли на идеях XIX века, ненавидели национальную ограниченность, верили, что границы доживают свой век. В годы первой мировой войны все происходившее меня ошеломяло. Я искал разгадки у Декарта. А история никогда не посещала класс логики. В Испании я понимал горе народа, но там была гражданская война; подвиг интербригадцев как бы продолжал Коммуну, Домбровского, Гарибальди. И вдруг я почувствовал, что есть очень важное и ценное — земля. Я сидел на московском бульваре. Рядом сидела женщина с ребенком, некрасивая, печальная, с бесконечно знакомыми мне чертами, она говорила: «Петенька, не шали, пожалей меня!..» Я понял, что она родная, что за Петеньку можно умереть. Идеи идеями, но есть и это...

В конце июля начались бомбежки Москвы. После Мадрида и Барселоны они мне казались слабыми — противовоздушная оборона работала хорошо. Но для москвичей они были вновь. У людей разные характеры, и они по-разному себя вели: одни были спокойны, другие с непривычки пугались, некоторые тащили в убежище мешки с барахлом. Обычно бомбежки заставляли меня в «Красной звезде». В подвале особняка на Малой Дмитровке мы продолжали работать (шутя мы называли этот погреб «презрением к смерти»). Когда я выходил рано утром и шел по улице Горького, я радовался: все дома на месте! Архитектура этих домов мне никогда не нравилась, но я глядел на них с нежностью, как на близких людей, выпешедших живыми из боя.

Как-то раз я вернулся ночью из редакции. Меня не хотели пропустить в Лаврушинский — наш дом был оцеплен. Работали пожарники. Я испугался: что с Любой, Ириной? Вскоре

я нашел их в переулке,— оказалось, небольшая бомба попала в наш корпус, и всех удалили из дома.

Двадцать шестого июля бомбежка застала меня у себя; я писал статью. Поэт Сельвинский был контужен воздушной волной; помню его крик. Бомба разорвалась близко — на Якиманке.

Однажды я был на пресс-конференции: С. А. Лозовский показывал иностранным корреспондентам немецкие документы о подготовке химической войны. Завыли сирены, и я оказался в убежище с американским писателем Колдуэллом и его женой. Мы разговорились; несколько часов прошли незаметно. Когда дали отбой, я пошел домой с Е. П. Петровым. Мы шли по Никольской, видели, как из-под обломков дома вытаскивали тела убитых. Вдалеке рыжели отсветы пожаров.

Еще в первые дни войны Лозовский собрал писателей, говорил о важности газетной работы. Некоторые тогда ему сказали, что нужно отказаться от штампов, предоставить писателям возможность говорить с читателями своим голосом. Лозовский многое понимал, но у него были ограниченные возможности: решал А. С. Щербаков. В моей записной книжке несколько строк посвящены длинному и трудному разговору с Александром Сергеевичем. (Это было 3 сентября.) Когда я сказал, что штампованные статьи люди читают равнодушно, Щербаков ответил: «Зажирили до войны...» Потом разговор перешел на союзников. Щербаков сказал, что я должен ежедневно писать для Запада. Я заметил, что мои статьи в Совинформбюро режут или вовсе задерживают. Он рассердился: «А вы не оригинальничайте...»

В другое время такой разговор меня обескуражил бы, но я продолжал работать: мне было не до сомнений. Наверно, такие минуты переживали тогда многие — одни в тылу, другие на фронте, сталкиваясь с беспорядком, ограниченностью, несправедливостью. Никто, однако, не останавливался на наших пороках, не прерывал своей работы, борьбы; жертвовали все и всем. Горше времени, кажется, не придумаешь, а люди, его пережившие, вспоминают о нем с гордостью.

Писатели долго (разумеется, не по своей воле) обходили первые месяцы войны молчанием, начиная повествование с контрнаступления в декабре 1941 года. А между тем все было решено именно в первые месяцы, тогда народ показал свою душевную силу.

Конечно, были растерянность и паника; много раз я слышал жесткое слово «доигрались»... Я был в деревне Афонино на Брянском фронте — ее на короткий срок отбили у немцев. Колхозница поила водой бойцов и серьезно им доказывала, что сопротивляться глупо: у немцев порядок, приехали на машинах, аккуратно одеты, даже солдаты получают шоколад. Кто-то из солдат выругался. Были и такие, что сочувственно вздыхали.

В октябре хлеб стоял неубранный. Эвакуация часто проходила беспорядочно. Немецкие танки прорывались в бреши, неслись на восток. Порой местные власти беспечно отвечали: «Нечего панику разводить», — а несколько часов спустя уезжали. Аппарат был громоздким, с «винтиками» и «колесиками»; в мирное время он, плохо ли, хорошо ли, работал, а осенью 1941 года требовалось другое: инициатива, чувство личной ответственности, гражданское вдохновение.

Помню речь Сталина в ноябре 1941 года. Меня резанули слова о «перепуганных интеллигентах». Конечно, были и среди интеллигенции люди растерявшиеся, но уж никак не больше, чем в других слоях населения. Не знаю, почему Сталин еще раз выбрал нашу интеллигенцию как козла отпущения. Интеллигенция была с народом, сражалась на фронте, работала в санбатах, на военных заводах. Напомню о писателях: с первого дня почти все делали, что могли. Гайдар, Крымов, Лапин, Хащевин, Петров, Ставский, Уткин, Вишневский, Гроссман, Симонов, Твардовский, Кирсанов, Сурков, Лидин, Габрилович, многие другие сразу уехали на фронт. Все мы хлебнули горя не только потому, что армия Гитлера была действительно сильной, но и потому, что видели, как тяжело сказались на обороне предвоенные годы: бахвальство, фимиам и окрики, бюрократизм, а главное, страшные потери, нанесенные до войны командному составу Красной Армии, да и всем «интеллигентам».

Я просмотрел комплекты старых газет, с июля по ноябрь 1941 года, — имя Сталина почти не упоминалось, впервые за долгие годы не было ни его портретов, ни восторженных эпитетов; дым близких разрывов прогнал дым камильниц. (Значит, и Сталин понял, что ему нужно потесниться.) Одни знали, что защищают Октябрьскую революцию от тупого, жестокого фашизма, другие думали о родном домике, но народ

держался, сражался, и вместе с народом шла в бой советская интеллигенция.

Иностранцы ломали себе голову: хотели разгадать, откуда у русских столько выдержки. Были такие, что отделивались по шпаргалке: «русским мистицизмом», «долготерпением», «фатализмом Востока». После контрнаступления под Москвой один американский журналист говорил мне: «Никакой загадки тут нет — вас спасли размеры территории». На первый взгляд это казалось убедительным, но меня не убедило. Я помнил, как в Испании фашисты, почти не останавливаясь, прошли от Кадикса до предместий Мадрида и неожиданно для себя натолкнулись на яростное сопротивление. Будь Москва ближе к Бресту, декабрь мог бы приключиться в сентябре или в октябре.

Помню беседу с Колдуэллом во время бомбежки. Он спрашивал, хотел понять, говорил, что, видимо, сильна привязанность к родной земле. Я ему отвечал, что мы привязаны и к русской земле, и к советскому строю, хотя жилось нам трудно. (О всех трудностях Колдуэллу я тогда не мог сказать — мешала гордость. Но наши люди многое знали и шли на смерть не потому, что им приказывали: когда смерть рядом, одной дисциплины мало — нужно самопожертвование.)

С точки зрения военного историка первые месяцы выглядят достаточно мрачно; небольшие успехи наших войск у Ельни, у Брянска не могли уравновесить немецких побед, захвата врагом огромной территории, окружения наших крупных соединений. Но я не терял надежды. Под Брянском я увидел наши слабые и сильные стороны; было много беспорядка, хромала связь; немецкие танки безнаказанно прорывались вперед, да и в небе противник был куда сильнее. Но люди сражались, даже зная, что они обречены, и немцы несли большие потери.

Под Брянском я познакомился с генералом Еременко. Он беседовал с пополнением — необстрелянными юнцами, говорил хорошо, по-человечески, признавался, что сначала всем страшно, нужно взять себя в руки; рассказал бойцам, что в детстве он был пастухом.

Там же я встретил одного из «испанцев» — танкиста генерала Петрова. Он усмехнулся: «Помнишь?.. Та же картина... Только здесь, думаю, выстоим...» Мы сидели в избе. Измож-

денная крестьянка цыкала на ребенка: «Тише — генерал думает...»

По дорогам скрипели повозки. Немцы пикировали, и снова я увидел мать, которая голосила над убитым мальчиком. Было много горя, очень много, но, как это ни странно, люди в те месяцы были добрее друг к другу. Я ничего не хочу идеализировать, это суцая правда: люди, которые в мирное время ругались между собой в коммунальных квартирах из-за отодвинутой кастрюли или у прилавков из-за отреза на костюм, теперь делились ломтем хлеба, помогали нести детей.

На Волге я видел пожилого машиниста; он вел состав семьдесят два часа подряд, рассказывал, что, когда одолевал сон, останавливал поезд и тер лицо снегом. Он удивился моему удивлению: «А как же?.. Теперь иначе нельзя...» Ко мне в «Красную звезду» пришла старая еврейка из Винницы, рассказала, как ей удалось уйти, она прошла сто километров пешком; потом ее взяли на грузовик, и вот она несла чужого ребенка — родителей немцы убили. Из Орла вывозили музей Тургенева, и директор музея на всех станциях молил, чтобы не отцепили вагон с музейными экспонатами. Люди сердились: «Да кому нужна этакая рухлядь?» — в вагоне стоял старый, продырявленный диван; директор в сотый раз объяснял, что это диван-«самосон», так его прозвал Иван Сергеевич. Люди смягчались: «Вези...» Все это я рассказываю несвязно. Я написал «Бурю», там был план, сюжет; а сейчас, когда я вспоминаю те месяцы, слезы подступают к горлу: уж очень тяжело было людям, право, они этого не заслужили.

Немцы быстро продвигались к Москве. Одна маленькая девочка сказала матери: «Мамочка, да роди ты меня обратно!..»

«Красную звезду» перевели в подвал театра Красной Армии, сказали, что там спокойнее — под землей. Кругом театра были ямы, даже рвы; а ночи были темными; я упал, расшибся, статью в номер все же написал.

Что скрывать — настроение было отвратительное. Но людям необходимо посмеяться, и однажды нас развеселил П. Г. Богатырев, ученый-славист. Я с ним подружился еще в Праге в двадцатые годы. Он разбирался куда лучше в старом чешском фольклоре, нежели в карте военных операций. Он ходил громко, как еж, — топ-топ. Пришел утром чрезвычайно веселый, сказал, что немцев скоро разобьют. Люба спросила,

откуда у него такие радужные сведения. Петр Григорьевич объяснил: «Я ехал к вам, и кто-то — не просто, а военный — сказал, что армия Гудеряна подходит к Москве. Много танков. Значит, немцев прогонят». Богатырев решил, что Гудерян — армянин. Мы долго смеялись, а Петр Григорьевич помрачнел: «Но в таком случае здесь нет ничего смешного...»

К середине октября в нашем доме в Лаврушинском переулке мало кто остался. Я не хотел уезжать. Вдруг позвонил Е. П. Петров: приказ Щербакова эвакуировать Информбюро и группу писателей, которая при нем состоит. В суматохе первых месяцев меня забыли ввести в штаты. Редактор «Красной звезды» считал меня своим. А Щербаков говорил, что я должен работать для заграницы, важнее всего, чтобы я посылал статьи через Информбюро. Щербаков был секретарем ЦК, и спорить с ним не приходилось.

На Казанском вокзале происходило бог весть что. Впрочем, чума — повсюду чума, а я уже видел Барселону и Париж. У меня пропал ручной чемоданчик с рукописью последней части «Падения Парижа». Потом я огорчился, а тогда думал о чем угодно, только не о литературе, горевал, что пропала бритва, — как я буду бриться?.. Повезли нас в пригородном вагоне; было очень тесно — трудно повернуться, а ехали мы до Куйбышева пять дней. Состав был длинный; в спальном вагоне разместились дипломаты, в другом вагоне — работники Коминтерна (среди них Долорес, Раймонда Гюйо). На остановках дипломаты штурмовали буфеты. Жена Ярославского, глядя на неубранный хлеб, то плакала, то ругалась. Петров пробовал острить, но даже у него ничего не выходило. Афиногенов вслух доказывал самому себе, что все в порядке. На какой-то заваленной беженцами станции мы услышали сводку: враг прорвал линию обороны и приближается к Москве.

В Куйбышеве мы переночевали у редактора газеты «Волжская коммуна», потом несколько дней прожили в общежитии «Гранд-отеля», оттуда нас выселили: англичане потребовали места для горничных посольства.

Меня приютил на ночь Я. З. Суриц. Мы почти до утра проговорили. Он не мог удержаться, говорил, что Сталина предупреждали много раз о готовящемся нападении, что он не знает, как живет страна, а его обманывают. Потом Яков Захарович вынул из чемодана рисунок Родена, прислонил его к спинке

кровати и, забыв про все на свете, требовал, чтобы я восхищался.

Я писал статьи в коридоре здания, где разместились Наркоминдел и Совинформбюро, — машинку ставил на ящик.

Потом мы получили жилье. В соседней комнате жили приехавшие с фронта Гроссман и Габрилович. Я поставил машинку на чемодан и продолжал стучать.

Иностранные корреспонденты изводили меня жалобами: почему их не пускают на фронт, почему привезли в Куйбышев и говорят, что нужно помечать телеграммы Москвой?.. Они жили в «Гранд-отеле», много пили, порой угощали Петрова и меня виски или водкой. Они считали, что через месяц-другой Гитлер завоюет всю Россию, утешали себя и нас тем, что борьба будет продолжаться в Египте или в Индии. Когда пришли известия о нападении японцев на Пирл-Харбор, американцы в «Гранд-отеле» подрались с японскими журналистами. Афиногенова вызвали в Москву, там он сразу погиб при бомбежке. Мы не знали, как рассказать об этом его жене Джени.

Уманский описывал Америку, и от его рассказов становилось неуютно. Литвинов перед отъездом в Вашингтон за ужином добродушно сказал мне: «Боюсь, будет плохо...» — почему, он не объяснил: все-таки он был куда больше дипломатом, чем Суриц: умел вовремя замолкать.

В начале декабря я был возле Саратова на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков. Приехал Сикорский, его сопровождал Вышинский. Не знаю, почему для такой okazji выбрали именно Вышинского. Может быть, потому, что он был польского происхождения? А я вспоминал его на процессе в роли прокурора... Он чокался с Сикорским и сладко улыбался. Среди поляков было много людей угрюмых, озлобленных пережитым; некоторые не могли удержаться — признавались, что нас ненавидят. Я понимал, что эти не смогут перешагнуть через прошлое. Сикорский и Вышинский называли друг друга «союзниками», а за любезными словами чувствовалась неприязнь.

В Саратове играл МХАТ. Ставили «Три сестры». Вершинин на сцене говорил: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной...» Все слушали и вздыхали.

Я настаивал, чтобы мне разрешили вернуться в Москву.

Лозовский отвечал: «Через неделю все прояснится. Пока что нужно работать...»

Я сидел и писал по пяти статей в день.

Редактор «Красной звезды» генерал Ортенберг (он же Вадимов) сразу решил меня прикрепить к своей газете; говорил, что фронтовикам нравятся мои статьи. Однажды, это было еще в июле, он сказал, что я должен написать передовую. Я попытался возразить: вот этого я не умею. Он ответил: «На войне нужно все уметь». Два часа спустя я принес ему статью; он начал читать и рассмеялся, а смеялся он очень редко, да и не было в статье ничего веселого. «Какая же это передовица? С первой фразы видно, кто написал...» Оказалось, что передовые нужно писать так, чтобы все слова были привычными. Ортенберг подписал под статьей мое имя: «Пойдет на третьей полосе...»

Может быть, фронтовикам понравились мои короткие статьи именно потому, что они не походили на передовицы. А может быть, потому, что мне порой удавалось выразить частицу того, что люди тогда чувствовали. Обычно война приносит с собой ножницы цензора; а у нас в первые полтора года войны писатели чувствовали себя куда свободнее, чем прежде.

Вот несколько фраз из моих статей того времени. «Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть только одна мысль — выстоять». «Вероятно, мы сможем исправить наши недостатки, но и со всеми нашими недостатками мы выстоим. Может быть, врагу удастся еще глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней. Мы перевели дыхание на другой счет. Мы смело глядим вперед: там горе и там победа...». «Многие у нас привыкли к тому, что за них кто-то думает. Теперь не такое время. Теперь каждый должен взять на себя всю тяжесть ответственности... Не говори, что кто-то за тебя думает. Не рассчитывай, что тебя спасет другой...». «Плохо ли, хорошо ли, но мы жили у себя дома. Немцы несут гибель всем...». «Мы многого не понимали. У нас были седые люди с душой младенца. Теперь у нас и дети все понимают. Мы выросли на сто лет...»

Не знаю, почему А. С. Щербаков обвинил меня в оригинальничании. По фразам, которые я переписал, видно, что в моих статьях не было никаких оригинальных мыслей. А фрон-

товики их читали, видимо, с охотой: каждый день я получал много писем от солдат и офицеров.

Я писал тогда в газете «Литература и искусство»: «Придет время для «Войны и мира». Теперь у нас война без кавычек — не роман, а жизнь... Писатель должен уметь писать не только для веков, но и для короткой минуты, если в эту минуту решается судьба его народа...»

В мирное время каждому писателю хочется, как и композитору, услышать нечто еще невнятное другим. Это не всегда удается, чаще писатель оказывается в роли музыканта, облюбовавшего тот или иной инструмент. Бывают, однако, времена, когда писатель только инструмент — труба или свирель, которую находят на дороге и которая звенит потому, что в нее врывается дыхание других.

2

Шестнадцатого сентября в редакции я прочитал очерк Б. Лапина и З. Хацревина, переданный из Киева по телефону. Они писали, что немцы подошли вплотную к городу, но киевляне не унывают: «Как всегда многолюден и шумен Крещатик. По утрам его поливают из шлангов, моют, скребут... Начались занятия в школах... Во всех переулках баррикады... Очередь у кассы цирка...» Четыре дня спустя по Крещатику шагали немцы.

Лапин и Хацревин уехали на фронт еще в июне. В августе они приехали в Москву. Хацревин заболел. Редакция «Красной звезды» торопила, и через неделю они снова уехали в Киев. В начале сентября Лапин позвонил из Киева, шутил, говорил, что скоро, наверно, увидимся...

В 1932 году я познакомился со многими молодыми писателями: Лапиным, Славиним, Борисом Левиным, Габриловичем, Хацревиным. Мы говорили о новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин подарил мне свою книгу «Тихоокеанский дневник», она мне понравилась свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор: с виду он походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу, юрту, барак пограничника.

Все книги Лапина были поисками нового жанра: фантастику он выдавал за историческую хронику, очерки писал как новеллы, старался стереть грань между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой автора: Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников, а любил он больше всего поэзию.

Я рассказал в одной из предшествующих частей этой книги, как Ирина мне сообщила, что вышла замуж за Лапина. Я был в Испании, когда нам дали квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке. Мы прожили вместе полгода в 1937 — 1938-м, потом последний предвоенный год. Это немного, но время было такое, что люди, кажется, в один присест съедали пуд соли. Я узнал и полюбил Бориса Матвеевича.

Когда началась революция, Лапину было двенадцать лет. Отец его был врачом и, отправившись на фронт гражданской войны, взял сына с собой (мать уехала за границу). Семнадцатилетним подростком Лапин выпустил сборник стихов, задорных и сумасбродных, в них были и возраст автора, и противоречия эпохи. Он увлекался старыми немецкими романтиками и китайской революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии. Вскоре он перешел на прозу, но стихи продолжали притягивать его к себе. В различные книги он включал свои стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских заклинаний, японских танок, американских песенок.

У Ирины сохранился старый документ: «Предъявитель сего удостоверения действительно является товарищем Бури, сыном Мустафа-Куля, туземцем Аджаристанского вилайета, который явился в 1927 году 11-го мая по приказу Советского государства для производства всеобщей переписи и в течение девяти дней нанес на бумагу все население Язгуломской общины, а теперь возвращается своим путем, для чего товарищу Бури, сыну Мустафа-Куля, и выдано настоящее удостоверение». Товарищ Бури, сын Мустафа-Куля был двадцатидвухлетним Борисом Матвеевичем Лапиным, который то верхом, то на арбе продвигался по селениям Памира в ватном цветном халате и в афганских остроносых туфлях. Он изучал таджикский язык и забыл о Гофмане, увлеченный древней персидской поэзией.

Год спустя Лапин отправился на Чукотку, поступил на службу в пушную факторию; жил среди чукчей, изучал их язык; чукчи звали его ласково «тиндлияккой», что означало

«очкастенький». Он побывал на Аляске, на Курильских островах; вернулся в Москву, написал книгу и мог бы превратиться в нормального столичного литератора. Но он искал любую возможность, чтобы повидать новые земли и новых людей. Он отправился с экспедицией геоботаников в Среднюю Азию и с экспедицией археологов в Крым; нанялся штурманом на пароход «Чичерин», увидел Турцию, Александрию. Дважды его посылали в Монголию. В 1939 году он вместе с Хацревиным работал военным корреспондентом «Красной звезды» на Халхин-Голе.

Этот перечень путешествий и профессий может сбить с толку — он похож на послужной список любителя походов. Однако меньше всего Лапин напоминал туриста, падкого на экзотику. Он входил в будничную жизнь Памира или Чукотки, выполнял любую работу, быстро начинал говорить на языке местных жителей, находил в их характере, в их обычаях нечто ему милое и родное.

Языки ему давались легко, в нем жила страсть лингвиста. Он читал на немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера; знал сотни китайских иероглифов. Перед войной по вечерам мы сидели в соседних комнатах и слушали радио. Иногда я возвращался поздно домой, заходил к нему, чтобы спросить, какие новости передавали из Лондона. Оказывалось, что он увлекся и слушал передачи на языках, которых не знал; радовался, что многое понял из сообщения на сербском языке или на норвежском. Его увлекали корни слов, в этом он тоже оставался поэтом.

При всех навыках бродячей жизни он был очень трудолюбив. Я вижу его за рабочим столом, над белым листом он мог просидеть несколько часов, чтобы найти точное сравнение, нужное слово. Иногда он писал сценарий или очерк вместе со своим другом Хацревиным, которого мы шутливо звали Хацем. Хацревин написал хорошую книгу «Тегеран», у него была фантазия, а мешала ему лень. Он ложился на кровать, иногда говорил «не то» или «здесь нужно дать пейзаж». Лапин прилежно писал.

Борис Матвеевич принадлежал к первому поколению интеллигенции, сложившемуся уже в советское время. Многие из того, что меня удивляло, восхищало или отталкивало, ему казалось естественным. Настал 1937 год. Моим сверстникам — Мандельштаму, Паустовскому, Пастернаку, Федину, Бабелю —

было за сорок; мы многое успели написать, а главное, продумать. Лапина и писателей его поколения события настигли врасплох; начинали подумывать о зрелых книгах. Им было куда труднее, чем нам — старшим, они только-только распрощались с молодостью.

Борис Матвеевич был человеком мужественным. Помню, генерал Вадимов, ругая некоторых сотрудников газёты, говорил: «Вот за Лапина и Хацревина я спокоен — эти не будут отсиживаться в штабах, я их видел у Халхин-Гола...» Да, Борис Матвеевич любил опасность. Но когда в 1937 году начали бесследно исчезать друзья, товарищи, знакомые, он душевно сжался. Был он любознательным, общительным, и новая наука далась ему с трудом: он научился не спрашивать и не отвечать. Он и прежде разговаривал негромко, а в то время начал говорить еще тише. Порой он шутил с Ириной, со мной, а когда снимал очки, я видел в его глазах грусть и недоумение.

Однажды — это было в начале 1938 года — я зашел в его комнату. Он писал. Почему-то мы заговорили о литературе, о том, что теперь делать писателям. Борис Матвеевич, улыбаясь, говорил: «Я пишу о пустыне Гоби... Когда я писал «Тихоокеанский дневник», «Подвиг», я выбирал темы — писал, как жил. Теперь иначе... Мне очень хотелось бы написать про другую пустыню, но это невозможно... А нужно работать — иначе еще труднее...»

Время, о котором я говорю, было для Лапина особенно тяжелым: он страдал от перерождения человеческих взаимоотношений. Он был человеком на редкость верным; больше всего его ранило недоверие, пренебрежение дружбой, стремление некоторых (тщетное) спастись любой ценой.

Почти каждый вечер к Лапину приходил Хацревин, человек обаятельный и странный. Он был внешне привлекательным, нравился женщинам, но боялся их, жил бобылем. Меня в нем поражали мягкость, мечтательность и мнительность. Почему-то он скрывал от всех, даже от Бориса Матвеевича, что болен эпилепсией. В августе Лапин уговаривал его остаться на месяц-другой в Москве, но Хацревин хотел скорее вернуться на фронт.

Я рассказывал, как в один из последних вечеров мы читали в Переделкине роман Хемингуэя. Вдали лаяли зенитки. Иногда мы откладывали листы рукописи, и Борис Матвеевич рассказывал про все, что видел на фронте, про геройство, бес-

порядок, отвагу, растерянность — ему ведь пришлось пережить отступление первых недель. Почему-то мы вспомнили тридцать седьмой. Лапин сказал: «Знаете, все-таки теперь легче — все как-то стало на место...» Мы снова читали. Поглядев на него, я подумал, что, сам того не замечая, к нему привязался. А когда мы возвращались в Москву, он сказал: «Вот кончится война, наверно, многие напишут настоящие книги. Как Хемингуэй...»

Той книги, о которой он мечтал, он написать не смог.

Лапин и Хацревин вместе с армией ушли из Киева в Дарницу, дошли до Борисполя. Немцы окружили наши части. Некоторым удалось выйти из окружения. От них мы потом узнали про судьбу Лапина и Хацревина. Нельзя было терять ни минуты, а Хацревин лежал — у него был очередной припадок. Лапин не захотел оставить друга. «Скорее! Немцы близко!» — сказал ему один корреспондент. Борис Матвеевич ответил: «У меня револьвер...» Это последние его слова, которые до меня дошли.

Ирина долго надеялась на чудо. Во время войны неизбежно рождаются мифы: приходили люди, которые якобы видели Лапина то на одном, то на другом фронте.

Перед отъездом в Киев Борис Матвеевич переписал начисто свои старые стихи. Может быть, и возле Борисполя он еще слушал звучание слов, недописанные строфы — он был поэтом, стыдливый, не выдававший своих чувств «очкастенький», как говорили чукчи, снисходительный ко всем, только не к себе. Мне вспомнились сейчас строки таджикского поэта X века Рудаки, переведенные очень давно Лапиным: «...И много пустынь разбито под пышный цветущий сад, и часто увидишь пустыню, где сад золотой был...»

Девятого мая 1945 года был праздник; пустыня войны кончилась. Но в жизни почти каждого из нас была новая пустыня, та, что никогда не зазеленеет, — память о близких...

3

Разговаривая с бойцами в первые месяцы войны, я то испытывал гордость, то доходил до отчаяния. Конечно, мы были вправе гордиться тем, что советские учителя воспитывали детей и подростков в духе братства. Но мы сдавали за городом

город, а я не раз слышал от красноармейцев, что солдат противника пригнали к нам капиталисты и помещики, что, кроме Германии Гитлера, существует другая Германия, что если рассказать немецким рабочим и крестьянам правду, то они бросят оружие. Многие в это искренне верили, другие охотно к этому прислушивались — немцы стремительно продвигались вперед, а человеку всегда хочется на что-то надеяться.

Люди, защищавшие Смоленск или Брянск, повторяли то, что слышали сначала в школе, потом на собраниях, что читали в газетах: рабочий класс Германии силен, это передовая индустриальная страна, правда, фашисты, поддерживаемые магнатами Рура и социал-предателями, захватили власть, но немецкий народ против них, он продолжает бороться. «Конечно, — говорили красноармейцы, — офицеры — фашисты, наверное, и среди солдат попадаются люди, сбитые с толку, но миллионы солдат идут в наступление только потому, что им грозит расстрел». Наша армия в первые месяцы не знала подлинной ненависти к немецкой армии.

На второй день войны меня вызвали в ПУР и попросили написать листовку для немецких солдат, говорили, что фашистская армия держится на обмане и на железной дисциплине. Тогда и многие командиры еще возлагали надежды на листовки и громкоговорители.

Листовок было много, казалось бы убедительных, а немцы продолжали продвигаться вперед.

Может быть, и я разделял бы иллюзии многих, если бы в предвоенные годы жил в Москве и слушал доклады о международном положении. Но я помнил Берлин 1932 года, рабочих на фашистских собраниях, в Испании я разговаривал с немецкими летчиками, пробыл полтора месяца в оккупированном Париже. Я не верил в громкоговорители и листовки.

Редкие пленные (главным образом танкисты), которых я видел в первые месяцы войны, держались самоуверенно, считали, что с ними приключилась неприятность, но что не сегодня-завтра их освободят наступающие части. Один даже предложил командиру полка сдаться на милость Гитлера: «Я гарантирую всем вашим солдатам жизнь и хорошее содержание в лагере для военнопленных. А к рождеству война кончится, и вы вернетесь домой». Среди этих военнопленных были рабочие. Правда, после неудачи под Москвой я впервые

услышал от перепуганных пленных «Гитлер капут», но летом 1942 года, когда немцы двинулись на Кавказ, они снова уверовали в свою непобедимость. На допросах пленные держались осторожно — боялись и русских и своих товарищей. А если и попадались солдаты, искренне ругавшие Гитлера, то это были главным образом крестьяне из глухих деревень Баварии, католики, отцы семейств. Настоящий перелом начался только после Сталинграда, да и то до лета 1944 года сотни миллионов листовок приносили мизерное количество перебежчиков.

В начале войны у наших бойцов не только не было ненависти к врагу, в них жило некоторое уважение к немцам, связанное с преклонением перед внешней культурой. Это тоже было результатом воспитания. В двадцатые и тридцатые годы любой советский школьник знал, каковы показатели культуры того или иного народа — густота железнодорожных сетей, количество автомашин, наличие передовой индустрии, распространенность образования, социальная гигиена. Во всем этом Германия занимала одно из первых мест. В вещевых мешках пленных красноармейцы находили книги и тетради для дневников, усовершенствованные бритвы, а в карманах фотографии, замысловатые зажигалки, самопишущие ручки. «Культура!» — восхищенно и в то же время печально говорили мне красноармейцы, пензенские колхозники, показывая немецкую зажигалку, похожую на крохотный револьвер.

Помню тяжелый разговор на переднем крае с артиллеристами. Командир батареи получил приказ открыть огонь по шоссе. Бойцы не двинулись с места. Я вышел из себя. Один мне ответил: «Нельзя только и делать, что палить по дороге, а потом отходить, нужно подпустить немцев поближе, попытаться объяснить им, что пора образумиться, восстать против Гитлера, и мы им в этом поможем». Другие сочувственно подкакивали. Молодой и на вид смысленный паренек говорил: «А в кого мы стреляем? В рабочих и крестьян. Они считают, что мы против них, мы им не даем выхода...»

Конечно, самым страшным было в те месяцы превосходство немецкой военной техники: красноармейцы с «бутылками» шли на танки. Но меня не менее страшили благодушные, наивность, растерянность.

Я помнил «странную войну» — торжественные похороны немецкого летчика, рев громкоговорителей... Война — страш-

ное, ненавистное дело, но не мы ее начали, а враг был силен и жесток. Я знал, что мой долг показать подлинное лицо фашистского солдата, который отменной ручкой записывает в красивую тетрадку кровожадный, суеверный вздор о своем расовом превосходстве, вещи бесстыдные и свирепые, способные смутить любого дикаря. Я должен был предупредить наших бойцов, что тщетно рассчитывать на классовую солидарность немецких рабочих, на то, что у солдат Гитлера заговорит совесть, не время искать в наступающей вражеской армии «добрых немцев», отдавая на смерть наши города и села. Я писал: «Убей немца!»

В статье, которую я назвал «Оправдание ненависти» и которая была написана в очень трудное время — летом 1942 года, я говорил: «Эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных младенцев в последнее слово государственной мудрости. Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь мы поняли, что на одной земле нам с фашистами не жить... Конечно, среди немцев имеются добрые и злые люди, но дело не в душевных качествах того или иного гитлеровца... Они убивают потому, что уверовали, что на земле достойны жить только люди немецкой крови... Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью к родине, к человеку, к человечеству. В этом сила нашей ненависти, в этом и ее оправдание. Сталкиваясь с гитлеровцами, мы видим, как слепая злоба опустошила душу Германии. Мы далеки от подобной злобы. Мы ненавидим каждого гитлеровца за то, что он — представитель человеконенавистнического начала, за то, что он — убежденный палач и принципиальный грабитель, за слезы вдов, за омраченное детство сирот, за тоскливые караваны беженцев, за вытоптанные поля, за уничтожение миллионов жизней. Мы сражаемся не против людей, а против автоматов, которые выглядят, как люди. Наша ненависть еще сильнее от того, что с виду они похожи на человека, что они могут смеяться, могут гладить собаку или коня, что в своих дневниках они занимаются самоанализом, что они загримированы под людей, под культурных европейцев... Не о мести мечтают наши люди. Не для того мы воспитали

наших юношей, чтобы они снизились до гитлеровских расплат. Никогда не станут красноармейцы убивать немецких детей, жечь дом Гете в Веймаре или библиотеку Марбурга. Месть — это расплата той же монетой, разговор на том же языке. Но у нас нет общего языка с фашистами... Мы радуемся многообразию и сложности жизни, своеобразию народов и людей. Для всех найдется место на земле. Будет жить и немецкий народ, очистившись от страшных преступлений гитлеровского десятилетия. Но есть предел и у широты: я не хочу сейчас ни говорить, ни думать о грядущем счастье Германии, освобожденной от Гитлера, — мысли и слова неуместны, да и не искренни, пока на нашей земле бесчинствуют миллионы немцев...»

Я прочитывал ежедневно немецкие газеты, военные приказы, дневники и письма немецких солдат: мне нужно было показать духовное убожество фашистов, показать точно, документально.

На войне человеку хочется порой улыбнуться, и я не только обличал солдат Гитлера, я над ними и посмеивался. Кажется, одним из первых я пустил в ход прозвище «фриц». Вот название некоторых коротких статей (я писал каждый день): «Фриц-философ», «Фриц-нарцисс», «Фриц-блудодей», «Фриц в Шмоленгсе», «Фриц-мистик», «Фриц-литератор» и так далее — десятки, сотни.

Впервые я увидел ненависть к врагу, когда наши части при контрнаступлении под Москвой заняли сожженные немцами деревни. У головешек грелись женщины, дети. Красноармейцы ругались или злобно молчали. Один со мной разговорился, сказал, что ничего не может понять — он считал, что города бомбят потому, что там начальство, казармы, газеты. Но зачем немцы жгут избы? Ведь там бабы, дети. А на дворе стужа... В Волоколамске я долго глядел на виселицу, сооруженную фашистами. Глядели на нее и бойцы... Так рождалось новое чувство, и это предрешило многое.

Война, начатая фашистской Германией, не походила на прежние войны: она не только губила и калечила тела, она искажала душевный мир людей и народов. Гитлеровцам удалось внушить миллионам немцев пренебрежение к людям другого происхождения, лишить солдат моральных тормозов, превратить аккуратных, честных, работающих обывателей в «факельщиков», сжигающих деревни, устраивающих охоту на

стариков и детей. Прежде в любой армии встречались садисты или мародеры — война не школа морали. Но Гитлер вовлек в массовые зверства не только эсэсовцев, гестаповцев, профессиональных или самодеятельных палачей, а всю свою армию, связал десятки миллионов немцев круговой порукой. Я вспомнил одного белобрысого, на вид добродушного немца; до войны он работал мастером в Дюссельдорфе, у него там была семья; он бросил русского младенца в колодец, потому что страдал бессонницей, принял несколько таблеток люминала, а ребенок не давал ему уснуть. Я держал в руках мыло со штампом «чисто еврейское мыло» — его изготовляли из трупов расстрелянных. Да что вспоминать — это описано в тысячах книг.

Русский человек добродушен, его нужно очень обидеть, чтобы он расвирипел; в гневе он страшен, но быстро отходит. Однажды я ехал на «виллисе» к переднему краю — меня попросили среди пленных отыскать эльзасцев. Шофер был белорусом; незадолго до этого он узнал, что его семью убили немцы. Навстречу вели партию пленных. Шофер схватил автомат, я едва успел его удержать. Я долго разговаривал с пленными. Когда мы ехали назад на КП, шофер попросил у меня табаку. С табаком тогда было плохо, накануне раздобыв в штабе дивизии две пачки, я одну отдал водителю. «Где же твой табак?..» Он молчал. Наконец ему пришлось признаться: «Пока вы разговаривали с вашими французами, фрицы меня обступили. Я спросил, есть ли среди них шоферы. Двое шоферов было, я им дал закурить. Здесь все начали клявчить... Одно из двух — или пускай их всех убивают, а если нельзя, так курить-то человеку нужно...» Это было в 1943 году, а год спустя возле Минска в Тростянце, где гитлеровцы убивали женщин, детей, я снова убедился в отзывчивости наших людей. Наши солдаты злобно ругались, говорили, что не нужно никого брать в плен. Рядом в лесочке держалась группа немцев. Привели одного пленного пехотинца. Майор попросил меня быть переводчиком. Когда пленного спросили, много ли солдат в лесу, он ответил, что ему трудно говорить — его мучает жажда. Ему принесли в кружке воды. Он поморщился, сказал, что кружка грязная, и вытер носовым платком края. Меня это разозлило: когда человека мучает жажда, он не привередничает. А солдаты, вначале кричавшие, что нечего с ним разговаривать, пристрелить зверя, успели

отойти, и полчаса спустя один принес пленному миску супа: «Жри, сволочь!»

(Да и я так вел себя: много раз, видя пленных, боявшихся, что их убьют, писал на клочках бумаги, что они эльзасцы или что они «хорошие немцы», и подписывался — словом, ненавидя фашизм, спасал разоруженных фашистов. Думаю, что любой человек при подобных обстоятельствах поступил бы так же.)

Геббельсу нужно было пугало, и он распространил легенду о еврее Илье Эренбурге, который жаждет уничтожить немецкий народ.

У меня сохранились вырезки из немецких газет, радиоперехваты, листовки. Гитлеровцы часто писали обо мне, говорили, что я толстый, косой, с кривым носом, что я очень кровожаден, что в Испании я похитил музейные ценности на пятнадцать миллионов марок и продал их в Швейцарии, что меня обслуживает тот же биржевой маклер, что и голландскую королеву Вильгельмину, что мои капиталы размещены в бразильских банках, что мой каждый день бываю у Сталина и составил для него план уничтожения Европы, назвав его «Трест Д. Е.», что я хочу превратить в пустыни земли, лежащие между Одером и Рейном, что я призываю насиловать немок и убивать немецких детей.

В приказе от 1 января 1945 года меня удостоил внимания сам Гитлер: «Сталинский придворный лакей Илья Эренбург заявляет, что немецкий народ должен быть уничтожен».

Пропаганда сделала свое дело: немцы меня считали исчадием ада. В начале 1945 года я был в городе Восточной Пруссии Бартенштейне, накануне занятом нашими частями. Советский комендант попросил меня пойти в немецкий госпиталь и объяснить, что ничто не угрожает ни немецкому медицинскому персоналу, ни раненым. Я долго успокаивал главного врача: наконец он сказал: «Хорошо, но вот Илья Эренбург...» Мне надоело с ним разговаривать, и я ответил: «Не бойтесь, Ильи Эренбурга здесь нет — он в Москве». Врач несколько успокоился.

Все это было смешно и отвратительно. Немцев, которые вторглись в нашу страну, я ненавидел не потому, что они жили «между Одером и Рейном», не потому, что они говорили на том же языке, на котором писал один из наиболее мне близких поэтов — Гейне, а потому, что они были фашистами. Еще в детстве я столкнулся с расовой и национальной спесью,

немало в жизни страдал от нее, верил в братство народов и вдруг увидел рождение фашизма. В утопическом романе «Трест Д. Е.», на который часто ссылался Геббельс, Европа гибнет от безумия европейских фашистов, поддерживаемых жадными американскими бизнесменами. Конечно, во многом я ошибся: когда я писал эту книгу, в Руре стояли французские оккупанты и еще теплилась надежда на революцию в Германии. В романе Германию, Польшу и часть Советского Союза разоряет Франция, во главе которой стоит фашист Брандево. Фигуры танца оказались другими: Франция, Польша и часть Советского Союза были разорены немецкими фашистами, а Брандево оказался Гитлером.

Я расскажу об одной истории, связанной со мной, но выходящей за пределы частной биографии. В 1944 году командующий армейской группой «Норд», желая приподнять своих солдат, обескураженных отступлением, писал в приказе: «Илья Эренбург призывает азиатские народы «пить кровь» немецких женщин. Илья Эренбург требует, чтобы азиатские народы насильствовали немецких женщин: «Берите белокурых женщин — это ваша добыча!» Илья Эренбург будит низменные инстинкты степи. Подлостью было бы отступить, ибо немецкие солдаты теперь защищают своих жен». Узнав об этом приказе, я тотчас написал в «Красной звезде»: «Когда-то немцы подделывали документы государственной важности. Они докатились до того, что подделывают мои статьи. Цитаты, которые немецкий генерал приписывает мне, выдают автора».

Легенда, созданная гитлеровским генералом, пережила и крах третьего рейха, и Нюрнбергский процесс, и многое другое.

Недавно Киндлер, издатель немецкого перевода моей книги «Люди, годы, жизнь», проживающий в Мюнхене, передал мне забавные фотодокументы. Оказалось, некто Юрген Торвальд в 1950 году опубликовал в Штутгарте историю войны, в которой писал: «В течение трех лет Илья Эренбург свободно, открыто, полный ненависти, говорил красноармейцам, что немецкие женщины будут их военной добычей». Оказалось также, что Юрген Торвальд — не кто иной, как Гейнц Богарц, который в 1941 году выпустил книгу, восхвалявшую Гитлера, и посвятил ее военному преступнику адмиралу Редеру.

В 1962 году мюнхенская газета «Зольдатеңейтунг» начала кампанию против издания в Западной Германии моей книги.

Разумеется, газета припомнила о мнимой листовке с призывом насилловать немок; грозила издателю, называла меня «величайшим в мировой истории преступником». Некоторые писатели, как, например, Эрнст Юнгер, поддержали фашистский листок. Другие, однако, возмутились. Киндлер доказал, что Торвальд повторил ложь Геббельса; и все же до сих пор реваншисты продолжают повторять: «Мемуары убийцы и насильника».

Повторяю — дело не во мне. Но среди пятидесяти миллионов жертв второй мировой войны нет одной — фашизма. Он пережил май 1945 года, поболел, похандрил, но выжил.

В годы войны я повторял изо дня в день: мы должны прийти в Германию, чтобы уничтожить фашизм. Я боялся, что все жертвы, подвиг советского народа, отвага партизан Польши, Югославии, Франции, горе и гордость Лондона, печи Освенцима, реки крови — все это может остаться бенгальским огнем победы, эпизодом истории, если снова возьмет верх низкая, нечистая политика.

Я писал в 1944 году: «Французский писатель Жорж Бернанос, воинствующий католик, с негодованием отвергая попытки некоторых демократов заступиться за фашизм, пишет в «Ля марсейез»: «До войны значительная часть общественного мнения в Англии, в Америке, во Франции оправдывала, поддерживала, восхваляла фашизм. Я повторяю — не только допускала фашизм, но ему способствовала в надежде, скажу глупой, контролировать эту чуму, использовать ее против своих соперников и конкурентов... Мюнхен не был просто глупостью. Мюнхен был подлой развязкой спекулянтской затеи...» К сожалению, и поныне имеются люди, которые хотят сохранить заразу «про запас», только несколько разбавив бульон, в котором разводятся чумные бактерии... Мы должны помнить: фашизм родился от жадности и тупости одних, от коварства и трусости других. Если человечество хочет покончить с кровавым кошмаром этих лет, то оно должно покончить с фашизмом. Если фашизм оставят где-нибудь на развод, то через десять или двадцать лет снова прольются реки крови... Фашизм — страшная раковая опухоль, ее нельзя лечить на минеральных водах, ее нужно удалить. Я не верю в доброе сердце людей, которые плачут над палачами, эти мнимые добряки готовят смерть миллионам невинных».

Я смотрю на старые газетные листы, и мне становится не по себе. Ведь все произошло именно так, как мне мерещилось. Оставили на развод фашистов. Оставили про запас кадры рейхсвера. Хотят дать германской армии ядерное оружие; поддерживают лихорадку реванша; продолжается то, что покойный Бернанос назвал «спекулянтской затеей», — только на зеленом сукне уже не классические «бочки с порохом», не танки и бомбардировщики, а ракеты и водородные бомбы. Право же, совесть не может с этим помириться!

Я забежал на двадцать лет вперед. Нужно вернуться к первой военной зиме. Мы ехали по Варшавскому шоссе к Малоярославцу, вокруг которого еще шли бои; ехали мимо сожженных деревень. Кругом лежали, а порой стояли, прислонившись к дереву, убитые немцы. Была сильная стужа, солнце казалось розоватым замерзшим ступком, снег синел. На морозе лица мертвых румянились, мнились живыми. Офицер, который ехал со мной, восторженно восклицал: «Видите, сколько набили! Эти в Москву не придут...» И — не скрою — я тоже радовался.

Могут сказать: нехорошее, недоброе чувство. Да, конечно. Как и другим, ненависть мне далась нелегко, это ужасное чувство — оно вымораживает душу. Я это знал и в годы войны, когда писал: «Европа мечтала о стратосфере, теперь она должна жить как крот в бомбоубежищах и землянках. По воле Гитлера и присных настало затемнение века. Мы ненавидим немцев не только за то, что они низко и подло убивают наших детей, мы их ненавидим и за то, что мы должны их убивать, что из всех слов, которыми богат человек, у нас осталось «Убей!». Мы ненавидим немцев за то, что они обворовали жизнь». Я писал это в газетной статье, но мог бы написать в дневнике или в письме к близкому человеку. Молодые вряд ли поймут, что мы пережили. Годы всеобщего затемнения, годы ненависти, обкраденная, изуродованная жизнь...

4

Шли быстро, хотя снег был глубоким. Среди почерневших сугробов торчал указательный столб «Покровское»; а села не было — его сожгли немецкие факельщики. Может быть, красноармейцам казалось, что, прибавив шагу, они не дадут сжечь

деревню, спасут людей. Ведь в Белоусове не только все избы уцелели, а немцы побросали, убегая, свои вещи, в Балабанове, застигнутые ночью врасплох, они повыскакивали из домов в кальсонах.

Усталые красноармейцы ожесточенно врезались заступами в промерзшую насквозь землю: вырывали трупы немецких солдат, погребенных на площади Малоярославца.

Немцы заботливо хоронили своих (пожалуй, это единственное, чему я у них завидовал). Я видел потом много кладбищ с выстроенными шеренгами березовыми крестами, с аккуратно выписанными именами. А в первый год войны они почему-то хоронили своих убитых на площадях русских городов. Может быть, так было легче, а может быть, хотели показать, что пришли надолго. Красноармейцев это возмущало. От недавнего благодушия мало что осталось — шла война даже с мертвыми

Колхозники тоже были разъярены. А один старик мне сказал: «Я думал, немец образованный, нас-то не тронет, а он, паразит, корову у меня забрал, всю посуду опоганил — ноги мыл, мать его!.. Вчера четверо пришли: просят в избу — замерзли. Бабы прибежали, забили насмерть...»

Стояли на редкость сильные морозы, а красноармейцы-сибиряки ругались: «Вот бы мороз настоящий, они бы мигом окоchuрились...» Один украинец рассказывал: «Как я увидел, что немец драпает, сердце у меня заиграло...»

Победа всем показалась неожиданной. Колхозницы признавались: «Вот уже не думали, что наши вернутся...» Солдаты курили найденные в брошенном штабе болгарские сигареты и мечтали: «До весны управимся...»

Генерал Голубев, усмехаясь, говорил: «Я две академии кончил. А эта — третья, посерьезнее». Он рассказывал, что побывал в окружении и вышел — в генеральской форме, но в лаптях. Говорил, что его армии сильно помогли рабочие Подольска: завод эвакуировали, а старики остались, продолжали изготавливать боеприпасы для минометов.

Все было для меня внове: песни, перцовка, обжигавшая нёбо, какая-то Машенька — не то связистка, не то жена командира, долгие разговоры о прошлом и будущем. У всех развязались языки; ругали бюрократов; один офицер сердито говорил: «У нас прокурор чем хвастал? Количеством приговоров — перевыполнял норму»; другой задумчиво сказал: «Хороших людей губили...» И, однако, все понимали, что защища-

ют не только свою хату, но и Советское государство, милое им, несмотря на обиды, на изъяны, понимали, что именно советские рабочие в Подольске помогли армии, что слова «наше дело правое» не один из очередных лозунгов, а сущая правда. Народ голосовал — без агитаторов и не бюллетенями — кровью.

Во мне мешались два чувства: первая победа и мне вскружила голову, но я пытался себя урезонить — немецкая армия еще очень сильна, война только начинается. Трудно, однако, было трезво размышлять: ведь немцы еще недавно заверяли, что рождество они встретят в Москве, и вот их гонят на запад!.. Да и вид пленных приободрял: замерзшие, с головами, замотанными в платки, в тряпье, перепуганные, хныкавшие, они напоминали наполеоновских солдат двенадцатого года, изображенных одним из передвижников, разумеется, с сосулькой под носом.

Взяли Медынь, начали говорить о Вязьме, даже о Смоленске. Всем хотелось верить, что наступил перелом. Верил и я (пророка из меня не вышло)... В день зимнего солнцеворота я писал: «Солнце — на лето, зима — на мороз, война — на победу...»

Да, еще в январе мне казалось, что наше наступление не остановится. 18 января я был у генерала Говорова. Он сразу мне понравился. В этой части книги мне придется не раз говорить о встречах с генералами. Как и писатели, да и как люди любой профессии, генералы были разными — новаторами или рутинерами, умными или ограниченными, скромными или чванливыми. Л. А. Говоров был настоящим артиллеристом, то есть человеком точного расчета, ясной и трезвой мысли. Он рассказал мне, что учился в Петроградском политехническом институте кораблестроения; шла первая мировая война, и в 1917 году молоденького прапорщика отправили на фронт. Он очень любил Ленинград, и было в нем что-то от классического ленинградца — сдержанность, хорошо скрытая страсть. Он говорил, что в битве за Москву основную роль сыграла артиллерия: в его 5-й армии он не мог рассчитывать на пехоту — потери были большими, а пополнение задерживалось; развил целую теорию: при перенасыщенности в современной войне автоматическим оружием артиллерия не может ограничиться подавлением огневых точек, а должна участвовать во всех фазах битвы. Он не только говорил с увлечением, он и меня увлек. Хотя военное дело — скорее искусство, чем точная наука.

оно зависит от техники, и самые передовые концепции быстро устаревают. (Есть, впрочем, вид искусства, тоже зависящий от техники,— кинематограф; скульптура Акрополя нам кажется непревзойденной, а немые фильмы смотришь с усмешкой.) Леонид Александрович, конечно, не мог в 1942 году предвидеть эру ядерного оружия. Рассказываю я об этом теперь, только чтоб передать облик человека: в холодной избе возле Можайска я увидел не бравого вояку, а, скорее, математика или инженера, хорошего русского интеллигента. (Потом я иногда встречал Леонида Александровича на фронте, в Москве, в Ленинграде; помню вечер в мае 1945 года — мы говорили о красоте белых ночей, о поэзии, об игле Адмиралтейства.) При всей своей сдержанности, даже склонности к скепсису, Говоров, как и другие, был приподнят удачами, говорил: «Пожалуй, через недельку Можайск возьмем...» А Можайск взяли несколько часов спустя. Генерал Орлов не послушался своего начальника и ночью ворвался в город. Говоров смеялся: «Победителей не судят...»

Снова я увидел сожженные села — Семеновское, Бородино, взорванные дома. Солдаты торопились, но немецкие могилы в центре города не остались на месте. Крепчал мороз — минус тридцать пять, крепчала и злоба. Пожилая женщина пустыми глазами глядела на солдат, на снег, на белесое небо; ее муж был учителем математики, ему было шестьдесят два года. Он шел по улице и вынул из кармана носовой платок; его расстреляли за попытку сигнализировать русским. На стене я прочел приказы о «нормализации жизни», о том, что за содействие партизанам и за укрытие евреев жители города будут повешены. На следующий день я добрался до Бородина. Немцы, уходя, подожгли музей, и он еще горел. За два дня дивизия прошла около двадцати километров. Генерал Орлов шутил: «Скоро ко мне приедете...» (Он был из Белоруссии.) Ночью один майор раздобыл водку, колбасы, и мы пировали. Майор, загибая большие заскорузлые пальцы, считал: «До Гжатска шестнадцать километров. Можем дойти в два дня...» Но до Гжатска оказалось четыреста тридцать дней — предстояло страшное лето 1942 года. Тогда мы об этом не знали.

(Я не был одинок в своих надеждах. В. С. Гроссман, бывший тогда корреспондентом «Красной звезды» на Юго-Западном фронте, писал мне: «Люди точно стали иными — живыми, инициативными, смелыми. Дороги усеяны сотнями немецких

машин, брошенными пушками, тучи штабных бумаг и писем носят ветром по степи, всюду валяются трупы немцев. Это, конечно, еще не отступление наполеоновских войск, но симптомы возможности этого отступления чувствуются. Это чудо, прекрасное чудо! Население освобожденных деревень кипит ненавистью к немцам. Я говорил с сотнями крестьян, стариков, старух, они готовы погибнуть сами, сжечь свои дома, лишь бы погибли немцы. Произошел огромный перелом — народ словно вдруг проснулся... Конечно, это не конец, это начало конца. Хочу думать, что так и есть, много оснований так думать». Василий Семенович обычно был очень осторожен в выводах, но и он не предвидел последующих испытаний.)

А. С. Щербаков с насмешкой мне сказал: «А вы критиковали нашу печать, говорили, что москвичи нервничают. Золотой народ!» Москва действительно теряла свой облик прифронтного города. Правда, ночью патрули останавливали на каждые ста шагах, приходилось держать пропуск в рукавице; но «ежи» с улиц убрали; прохожих стало больше. Открылась даже выставка пейзажей; в помещении было холодно, и люди любовались живописью в шинелях или тулупах...

Люди вспоминали о своих должностях, да и о своих привычках. Редактор «Известий» позвонил мне ночью: «Вы написали, что Риббентроп разъезжал по столицам и его повсюду принимали как джентльмена. Это можно понять как намек — он ведь и к нам приезжал. Переделайте...» Ночью в «Правде» я присутствовал при длительном разговоре о стихотворении Симонова «Жди меня»; редактор и еще один ответственный товарищ хотели изменить слова «желтые дожди»: дождь не может быть желтым. Мне из всего стихотворения понравились именно «желтые дожди», я их отстаивал, как мог, ссылаясь и на глинистую почву, и на Маяковского. Под утро редактор решил рискнуть, и дожди остались желтыми. В «Красной звезде» как-то ночью начался переполох: «Увлечлись войной, а про даты забыли! Завтра пятая годовщина смерти Орджоникидзе...»

В Клубе писателей было очень холодно, но туда приходили пить водку, закусывали солеными грибами. Многие писатели были в военной форме — от фронта до Москвы можно было доехать за три-четыре часа. Помню там Петрова, Симонова, Светлова, Алигер, Гехта, Габриловича, Катаева, Фадеева, Лидина, Суркова, Ставского, Славина. Однажды членов президи-

ума угостили солониной; потом началось заседание. В некоторых речах уже сказался новый стиль, который пышно расцвел шесть-семь лет спустя. Л. Н. Сейфуллина не выдержала: «Мой отец был обрусевшим татаринном, мать русской, всегда я себя чувствовала русской, но, когда я слышу такие слова, мне хочется сказать, что я татарка...» Когда мы уходили, я обнял Лидию Николаевну.

(В жизни много случайного, чуть ли не каждый день в течение долгих лет встречаешь людей далеких, да и немилых, а тех, к кому тянешься, видишь очень редко. С Л. Н. Сейфуллиной мне привелось побеседовать по-настоящему три или четыре раза, а была она мне мила своей редкостной честностью. Я помню ее молодой — в Москве, в Париже. Маленькая, огромные глаза, чуть насмешливая улыбка — было в ней большое обаяние.

В двадцатые годы книги Сейфуллиной сыграли крупную роль в становлении советской литературы. Меня они привлекали искренностью — никогда Лидия Николаевна не знала того, что в писательской среде называли «двойной бухгалтерией». Пуще всего она боялась лжи. Ее любили люди, непохожие друг на друга, — Маяковский, Бабель, Фурманов, Есенин, Светлов, Лидин. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что никакие литературные школы или направления не могут породить длительные дружбы. Лидия Николаевна была чрезвычайно скромной, она вскоре была оттиснута, ее не замечали, точнее, старались не заметить. Правдивость — это не литературное направление, и совесть не художественный метод. Сейфуллина была всего на два года старше меня, и я поверил в правдивость ее ранних книг, но в те времена они были мне далеки. А к Лидии Николаевне я сохранил до конца любовь за ее душевные качества.

В последний раз я встретил ее в Союзе писателей возле вешалки; разговор был коротким, и все же, как и при былых встречах, мы оба обрадовались. Она хворала, с трудом ходила, но в душе оставалась той же. Умерла она в апреле 1954 года, и, проживи еще полгода, она узнала бы о реабилитации своего друга И. Э. Бабеля... А в моей памяти она осталась — порой шутливая, даже озорная, порой возмущенная, с той обостренной совестью, которую мы, вспоминая литературу прошлого века, называем «русской».)

В один из вечеров ко мне пришел поэт Долматовский. Он попал в окружение, видел зверства немцев и говорил: «Мне кажется, что я покойник или что прежней жизни не было...» Ему удалось убежать. Он прочитал мне стихи о воде: как он мечтал, когда не давали пить, о глотке воды. Рассказывал, как добрался до нашей части; его сердечно встретили, а потом отвели в штаб и долго допрашивали. Нужно было доказать, что он это он, а окружение это окружение. Он просидел у меня до четырех часов утра. Я заснул и сразу проснулся от собственного крика: мне приснилось, что меня допрашивают и я не могу доказать, что я это я; а кто меня допрашивал — не помню.

Из Ленинграда приехал исхудавший Тихонов. Он часами рассказывал о всех ужасах блокады, не мог остановиться, говорил о героизме людей, о дистрофии, о том, как съели всех собак, как в морозных, нетопленных квартирах лежат умершие — у живых нет сил их вынести, похоронить.

Я познакомился с Маргаритой Алигер. Она мне прочитала печальные стихи — пламя свечи, голубая и розовая Калуга... У нее на фронте погиб муж. Она походила на маленькую птичку, и голос у нее был тонкий, но я в ней почувствовал большую внутреннюю силу. (С той поры прошло почти четверть века, и многие из тех, с которыми я встречался в трудные годы войны, выпали из моего зрения — одним слишком хотелось мнимой славы, другие преждевременно состарились и превратились в чтимые многими окаменелости былой эпохи. А с Маргаритой Иосифовной я подружился. Помню обед на правительственной даче в 1957 году, когда ее незаслуженно поносили, ее голос был еле слышен, как голос маленькой пичуги среди урагана, но она стойко отвечала. Бог ты мой, насколько это важнее, чем все славословия и даже чем поэтические вечера в Лужниках, — сохранить свое достоинство, не дать ветру задуть крохотный светильник!)

В начале февраля приехали из Куйбышева Люба и Ирина. Ортенберг подписал приказ о Лапине и Хацреvine — «пропали без вести». Ирина держалась мужественно, только глаза ее выдавали — я иногда отворачивался.

Казалось, все должны погибнуть от бомбы или от снаряда и что естественная смерть неестественна. А в конце декабря умер художник Лисицкий. В марте я узнал о смерти Хосе Диаса.

Жизнь продолжалась. Стало плохо с продовольствием; все начали говорить о пайках, талонах. В январе в гостинице «Москва» еще можно было получить еду; как-то мы обедали с Лидиным, и он сказал: «Мы еще эту печенку вспомним»; действительно, через месяц все изменилось. Я получал в ЦДРИ один обед, его ели почти всегда трое, а то и четверо.

В Москву вернулись из Куйбышева иностранные корреспонденты. Некоторые ко мне приходили — Шапиро, Хендлер, Шампенуа, Верт. Все они жаждали новостей, рвались на фронт, обижались, ворчали. Я продолжал писать статьи для заграничной печати — для Юнайтед Пресс, для «Марсейез», для английских и шведских газет.

Почти каждый день мне приходилось выступать — то в госпиталях для раненых, то на аэродромах, то у зенитчиков или у аэростатчиков. Я видел много горя и много мужества. Народ как-то сразу вырос, люди сражались, трудились, умирали с сознанием, что гибнут не зря: тростник мыслит.

Было и другое. Лидин с первого месяца войны был на фронте, много писал в газетах, и вот одна статья («Враг») кого-то рассердила. Я ее перечитал несколько раз, но так и не понял, что в ней предосудительного. Владимир Германович ходил к редактору «Известий», писал Щербакову, но ничего не добился; его перестали печатать. Рассердились и на Е. Петрова за невиннейшую статью «Трофейная овчарка». К. А. Уманский говорил: «Скучно! Немцы в Гжатске. Идет переброска дивизий из Франции. Мне поручили написать ноту о зверствах. А тут открывают второй фронт — наступление на Женю Петрова...»

Но бог с ними — с начетчиками, перестраховщиками и помпадурями, — в годы войны у нас была другая забота, и мы о них старались не думать. Каждый день я получал десятки писем с фронта, из тыла от читателей. Мне хочется привести здесь письма от женщин — о наших женщинах в годы войны мало написано, а они воистину строили победу. Вот письмо от колхозницы Калининской области: «От Семеновой Елизаветы Ивановны. Обида на сурового врага. Когда появился к нам в Козицино враг, у меня, у Семеновой, первой взяли корову. Потом у меня взяли гусей. Я стала не давать, дали мне по щеке. И затопотал он на месте: «Уйди!» Дети увидели, что дали мне по щеке, и закричали: «Уйди! Пускай враг жрет». На другой

день ко мне пришли, брали последнюю овцу. Я стала плакать, не давать. Германский тогда затоптал ногами и закричал: «Уйди, матка!» Когда я обернулась назад, он выстрелил. Я от ужаса упала в снег. А последнюю овцу все-таки взял. Когда они от нас отступали, сожгли мой хутор, сожгли все мое крестьянское имущество, и осталась я без средств с троими детьми в чужой постройке. Два сына в Красной Армии — Круглов Алексей Егорыч, Круглов Георгий Егорыч. Сыновья мои, если вы живы, бейте врага без пощады! А мы будем вам помогать, чем только можем».

Вот отрывки из письма сибирской крестьянки, которое мне переслал красноармеец Дедов: «Здравствуй, любимый братец Митроша! Шлю тебе чистосердечный привет и желаю всего хорошего в ваших победах над злейшим врагом. Первым долгом я хочу сообщить о том, что Филя героически погиб в борьбе с немецкими фашистами... Когда пришло извещение о том, что он погиб, папу вызвали в милицию. Когда он пришел домой, он сильно заплакал. Мама спрашивает: «О чем плачешь?» Он не говорит, но когда сказал, что Филю убили, то мама сразу обмерла. Мы очень плакали целые два дня. Теперь мы его не увидим и не услышим голоса. Он нас веселил, все писал: «Папа, мама, о сыне не беспокойтесь, я живу прекрасно, и здоровье мое хорошее...» Митроша, деньги от тебя получили, очень большое спасибо. Но за Филю, Митроша, отомсти немцам, за своего братца. Будь героем!.. Митроша, очень нам сейчас скучновато, пропиши, где ты сейчас находишься... Мы недавно получили письма от Тани и Наташи, пишут, что живут пока ничего. Наташа бригадиром в колхозе. Но теперь напишу о своей жизни. Живем сейчас плохо, хлеба нет, есть совершенно ничего. Из колхоза дадут 9 кгр. на 7 человек на 5 дней. На нашу семью на один день, а остальные живи как хочешь. Но все ничего. Все переживем. У нас сейчас берут девушек на фронт. Митроша, я бы с удовольствием пошла, отомстила бы за своего любимого братца, он погиб за счастье народа...»

Вот отрывки из письма О. Хитровой: «Часто слышишь, что теперь война и поэтому скоро и нам конец и поэтому не стоит делать хорошо. А разве это верно? По-моему, как раз наоборот. Раз война, то надо делать все еще лучше. А если уж раньше смерти умрешь, то победы не увидишь... Я работаю на дорожных работах. Спрашиваем прораба, какие задания, а он не говорит, вообще на все смотрит спустя рукава. А зачем это? Ведь

от такого подхода никакое дело не выйдет. Я в начале войны тоже было поддавалась такому настроению, услышу плохую сводку с утра — и весь день все из рук валится. А теперь душой скрепилась. Услышу сводку — плохо, а я себе говорю — назло убирать буду, и шить буду, и штаны красноармейцу постираю, да и заштопаю. Не хочу умирать раньше смерти! Если у нас где-нибудь шпион, пусть увидит, что мы держимся...»

Вот отрывки из письма руководителя кафедры западной литературы Киевского университета, эвакуированной в село Котельниково, Эдды Халифман: «...Затем наступил день, когда надо было оставить дом. Каждый член моей семьи имел рюкзак, только я «по негожести», как говорят в Котельникове, была от него освобождена. Перед самым уходом я снова вошла в свою комнату, сожгла фотографии близких, письма, подошла к книжным полкам, взяла в руки свои работы — вот лексикология французского языка, работала над ней год, вот история французского литературного языка XIX века — два года, небольшой спецкурс введения в романское языкознание — четыре года работы, поглядела, полистала и положила снова на полку. Ушла с пустыми руками. Мы оставили позади Киев, вы знаете, что это значит... Где-то в пути мы повстречали эшелон с земляками, среди них был вагон с детьми и работниками испанского детдома. Некоторые из работников преподавали у нас на факультете, а дети приходили к нам на елку. Восемилетний Октавио объяснял моей трехлетней племяннице Наташе, что скоро наши летчики прогонят фашистов и тогда Наташа вернется в Киев, а он уедет в Бильбао. Привезли нас в Котельниково. Там Наташа увидела верблюдов не в зоо, а в степи. Много было страшного. Потеряла здесь отца. Пришли известия с фронта о гибели близких. Временами мне казалось, что сердце не выдержит. Выдерживает. Оказалось, что если горе, страдания сочетаются с жгучей ненавистью, то становишься крепким, хочешь, как шутливо говорят мои друзья фронтовики, «выдержат рентгеновское просвечивание войной»... Нелегко приходится — новая среда, новое окружение требуют новых норм поведения. Как ни странно, оказалось сложным переключиться с университетской работы на работу секретаря поселкового Совета. Здесь все проще, обнаженнее, и в этом сложность обстановки... Чтобы выдержать просвечивание, чтобы после войны честно смотреть в глаза товарищам, приходится мобилизовать все свои внутренние ресурсы...»

Я и теперь разволновался, перечитав грудку писем, тогда они меня поддерживали. Я тоже знал, что нужно выдержать «рентгеновское просвечивание войной»...

Жил я в гостинице «Москва» (моя квартира была повреждена при бомбежке), жил как в раю, или, вернее, как в «Князьем дворе» в 1920 году,— тепло, светло. Воспользовавшись передышкой на фронте, я в феврале дописал последние главы «Падения Парижа». Каждый день я встречал друзей, которые жили в гостинице,— Петрова, Сурица, Уманского. Иногда мы заговаривали о будущем. Петров, как всегда, был оптимистом, считал, что весной союзники откроют второй фронт, немцев разобьют, а после победы у нас многое переменится. Суриц сердился: «Люди не так легко меняются,— и, понизив голос, добавлял:— Он тоже не изменился...» Уманский говорил, что союзники начнут воевать, когда немцы истощатся в боях с нами, а насчет послевоенных перспектив молчал или нехотя говорил: «Лучше ждать худшего»...

К концу января стало ясно, что наше наступление приостановлено. 23 января я поехал с Павленко в штаб Западного фронта. Командующий генерал Жуков рассказал нам, как протекало наступление; битва за Москву закончена; может быть, на некоторых участках удастся несколько продвинуться вперед, но немцы укрепились и до весны, видимо, война будет носить позиционный характер. Потом неожиданно для меня генерал заговорил о роли Сталина, говорил он без привычных трафаретов — «гениального стратега» не было, да и в тоне не чувствовалось обожания; поэтому его слова на меня действовали. Он повторял: «У этого человека железные нервы!..» Рассказывал, что много раз говорил Сталину: необходимо попытаться отбросить противника, иначе немцы прорвутся в Москву; дважды в день разговаривал по прямому проводу. Сталин неизменно отвечал: нужно подождать — через три дня будет такая-то дивизия, через пять дней пододвинут противотанковые орудия. (У Сталина была записная книжка, и там значились части и техника, которые перебрасывали к Москве.) Только когда Жуков сказал, что немцы устанавливают тяжелую артиллерию и собираются обстрелять Москву, Сталин разрешил начать операцию. Вернувшись в Москву, я все это записал.

Я не военный специалист, да и нет у меня данных, чтобы судить о стратегическом даре Сталина. Еще семь-восемь лет тому назад наши историки приписывали победу над Германией

прежде всего его «гениальности». Большая советская энциклопедия в статье о Великой Отечественной войне дает цветную репродукцию плохой картины, изображающей Сталина над военными картами; в хронологии событий, где приведены почти шестьсот важнейших, сто относятся не к военным операциям, а к выступлениям Сталина, награждениям его различными орденами, его приветствиям и приемам. Что касается военных операций, то, судя по той же энциклопедии, в 1944 году противнику были нанесены «десять сталинских ударов». Приложена фотография: «Телеграфный аппарат, по которому И. В. Сталин вел переговоры с фронтом». Аппарат я себе представляю, а вот что говорил Сталин по ВЧ различным командующим, я не знаю. Конечно, при жизни Сталина его роль в победе над Германией непомерно преувеличивалась. Но рассказ командующего Западным фронтом звучит правдоподобно. Мы все знаем, что Сталин остался в Москве, выступил 7 ноября, сказал, что врага остановят.

(Успехи нашей армии под Москвой подняли за границей авторитет Сталина. А наши солдаты в него свято верили. На стенах берлинских развалин я видел его портреты, вырезанные из газет или из «Огонька». Снова припомню слова Твардовского: «Тут ни убавить, ни прибавить...»)

Говорят, что нужно уметь умереть вовремя. Кто знает, умри Сталин в 1945 году, может быть, война заслонила бы многое; люди надолго сохранили бы иллюзии, что миллионы невинных погибли от Ягоды, Ежова, Берии, и в памяти участников войны остался бы образ Сталина в солдатской шинели — трудные дни битвы за Москву. Пушкин говорил, что возвышающий обман дороже «тмы низких истин». Однако бывают обманы, которые принижают человека, и я часто благодарю судьбу за то, что дожил до наших дней и услышал жестокую правду.)

В декабре 1941 Гитлер утверждал, что немцы отошли от Москвы по доброй воле, желая перезимовать на более удобных позициях, что если и вышла заминка, то виноваты в этом редкостные морозы, что летом наступление возобновится. Последнее оказалось правдой, но в слова о добровольном «сокращении линии фронта» не поверили даже самые наивные немцы. Под Москвой фашистской Германии был нанесен тяжелый удар, не столько ее боеспособности, сколько ее престижу. Конечно, вместе со многими я преувеличивал масштабы наших успехов, и очень скоро мне пришлось увидеть свою ошибку: наступило

страшное лето 1942 года, когда немцы в течение двух-трех месяцев дошли до Волги, до Северного Кавказа. Однако битва под Москвой не была военным эпизодом, она многое предредила.

Никто не упрекнет немецких солдат в отсутствии храбрости; техника у рейхсвера была высокая, командный состав обладал военными знаниями, опытом. Все это бесспорно, но в зиму 1941/42 года обозначилась слабая сторона фашистской армии — она оказалась пригодной только для наступления, она вдохновлялась сознанием своего превосходства, и стоило солдатам Гитлера натолкнуться на подлинное сопротивление, как они душевно дрогнули. Битва под Москвой была для Германии первой примеркой разгрома.

5

Я сейчас задумался над этой книгой; я пишу предпоследнюю часть, приближаюсь, следовательно, к концу. Читатель может спросить, почему пережитые мною годы часто выглядят черными, а люди, с которыми я встречался, описаны любовно, показаны их хорошие стороны. Конечно, я встречался и с доносчиками, корыстными перебежчиками, карьеристами, но я с ними не дружил — не потому, что был особенно зорким, просто судьба смилостивилась. Были и у меня разочарования, порой я если и не дружил, то водился с людьми, которые потом оказывались мелкими, бессердечными, но я предпочитаю, вспоминая многое, рассказывать не о них, а об обстоятельствах, вызвавших душевное принижение многих, не хочу судить, тем паче что не убежден в своем беспристрастии.

Все же я дошел в воспоминаниях до короткой встречи с человеком, который причинил людям много зла, и не могу эту главу опустить.

Пятого марта 1942 года я поехал на фронт по Волоколамскому шоссе. Впервые я увидел развалины Истры, Ново-Иерусалимского монастыря: все было сожжено или взорвано немцами. Вот уже двенадцать лет, как я живу возле Нового Иерусалима. Истра отстроилась, но порой, проезжая мимо новых домов, парка, памятника Чехову, я вижу снег и черноту далекого морозного дня, пустоту, смерть.

Я проехал через Волоколамск. Возле Лудиной горы в избе помещался КП генерала А. А. Власова. Он меня изумил прежде

всего ростом — метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами — говорил он образно, порой нарочито грубо и вместе с тем сердечно. У меня было двойное чувство: я любовался и меня в то же время корбило — было что-то актерское в оборотах речи, интонациях, жестах. Вечером, когда Власов начал длинную беседу со мной, я понял истоки его поведения: часа два он говорил о Суворове, и в моей записной книжке среди другого я отметил: «Говорит о Суворове как о человеке, с которым прожил годы».

На следующий день солдаты говорили со мною о генерале, хвалили его: «простой», «храбрый», «ранили старшину, он его закутал в свою бурку», «ругаться мастер»...

Война была в то время позиционной. Шли бесконечные бои за Безымянную высоту, за деревню Петушки. От деревни давно ничего не осталось. Атаковали холмик, брали, потом отдавали. Когда я сидел с Власовым в блиндаже, немцы открыли шквальный огонь. Он рассказывал о больших потерях обеих сторон.

Потом я увидел расщепленный лес, он казался мертвым. Снег был еще белым, даже голубоватым, но на солнце млея и чуть поникал. Час спустя все загудело. Наши пошли в атаку. Танки очистили от немцев ложбинку.

Мы прошли в блиндаж; видимо, там жили немецкие офицеры: стояли две никелированные кровати, валялись иллюстрированные еженедельники с портретами Гитлера и киноактрис. Боец нашел банку голландского какао. Санитары выносили раненых. Власов говорил: «А до Петушков не дошли... Треклятые Петушки!.. Впрочем, так нужно — прогрызаем их оборону...»

Мы поехали назад. Машина забуксовала. Стоял сильный мороз. На КП девушка, которую звали Марусей, развела уют: стол был покрыт скатеркой, горела лампа с зеленым абажуром и водка была в графинчике. Мне приготовили постель. До трех часов утра мы проговорили; вернее, говорил Власов — рассказывал, рассуждал. Кое-что из его рассказов я записал. Он был под Киевом, попал в окружение; на беду, простудился, не мог идти, солдаты его вынесли на руках. Он говорил, что после этого на него косились. «Но тут позвонил товарищ Сталин, спросил, как мое здоровье, и сразу все переменялось». Несколько раз в разговоре он возвращался к Сталину. «Товарищ Сталин мне доверил армию. Мы ведь пришли сюда от Красной

Поляны — начали чуть ли не с последних домов Москвы, шестьдесят километров отмахали без остановки. Товарищ Сталин меня вызвал, благодарил... Многое он критиковал: «Воспитывали плохо. Я спрашиваю красноармейца, кто командует его батальоном, он отвечает «рыженский», даже фамилии не знает. Не воспитали уважения. Вот Суворов умел себя поставить...» Желая что-либо похвалить, повторял: «Культурно, хорошо». Рассказывая о повешенной немцами девушке, выругался: «Мы до них доберемся...» Вскоре после этого сказал: «У них есть чему поучиться. Видали в блиндаже кровати? Из города вытащили. Культура. У них каждый солдат уважает своего командира, не ответит «рыженский»...» Говоря о военных операциях, добавлял: «Я солдатам говорю, не хочу вас жалеть, хочу вас сберечь. Это они понимают...»

Среди ночи он разнервничался: немцы осветили небо ракетами. «На самолетах пополнение подбрасывают. Завтра, наверно, возьмут назад ложбинку...» Часто он вставлял в рассуждения поговорки, прибаутки, были такие, каких я раньше не знал; одну запомнил: «У всякого Федорки свои отговорки». Еще он говорил, что главное — верность; он об этом думал в окружении. «Выстоим — верность поддержит...»

Рано утром Власова вызвали по ВЧ. Он вернулся взволнованный: «Товарищ Сталин оказал мне большое доверие...» Власов получил новое назначение. Мгновенно вынесли его вещи. Изба опустела. Сборами командовала Маруся в ватнике. Власов взял меня в свою машину — поехал на передний край протиться с бойцами. Там под минометным огнем мы с ним расстались. Он уехал в Москву, а меня удержали военные: «Победаем...» В Москву я вернулся ночью. Надрывались зенитки. А я думал о Власове. Мне он показался интересным человеком, честолобивым, но смелым; тронули его слова о верности. В статье, посвященной боям за Безымянную высоту, я коротко описал командующего армией.

Полковник Карпов мне сказал, что Власову поручили командование 2-й ударной армией, которая попытается прорвать блокаду Ленинграда, и я подумал: что ж, выбор неплохой...

Четыре месяца спустя, а именно 16 июля, немцы сообщили, что взяли в плен крупного советского командира; он прятался в избе, был одет как солдат, но, увидев немцев, закричал, что он генерал, и, приведенный в штаб, доказал, что действительно является командующим Особой армией генералом Власовым.

Потом один советский офицер, выбравшийся из окружения, рассказал мне, что Власов был легко ранен в ногу, он шел по обочине, опираясь на палку, и ругался.

Прошел еще месяц, и немцы передали, что генерал Власов образовывает из военнопленных армию, которая будет сражаться «на стороне Германии — за установление в России нового порядка и национал-социалистического строя».

Мне принесли листовку, подобранную на фронте, она у меня сохранилась. В ней идет речь обо мне: «Жидовская собака Эренбург кипятится», подписана листовка «Власовцы». Я вспомнил, как рослый генерал в бурке полгода назад при прощании меня трижды поцеловал, и выругался (правда, не цветисто — я не Власов).

Конечно, чужая душа потемки; все же я осмелюсь изложить мои догадки. Власов не Брут и не князь Курбский, мне кажется, все было гораздо проще. Власов хотел выполнить порученное ему задание; он знал, что его снова поздравит Сталин, он получит еще один орден, возвысится, поразит всех своим искусством перебивать цитаты из Маркса суворовскими прибаутками. Вышло иначе: немцы были сильнее, армия снова попала в окружение. Власов, желая спастись, переоделся. Увидев немцев, он испугался: простого солдата могли прикончить на месте. Оказавшись в плену, он начал думать, что ему делать. Он знал хорошо политграмоту, восхищался Сталиным, но убеждений у него не было — было честолюбие. Он понимал, что его военная карьера кончена. Если победит Советский Союз, его в лучшем случае разжалуют. Значит, остается одно: принять предложение немцев и сделать все, чтобы победила Германия. Тогда он будет главнокомандующим или военным министром оборонной России под покровительством победившего Гитлера. Разумеется, Власов никогда никому так не говорил, он заявлял по радио, что давно возненавидел советский строй, что он жаждет «освободить Россию от большевиков», но ведь он сам привел мне пословицу: «У всякого Федорки свои отговорки»...

Власову удалось набрать из военнопленных несколько дивизий. Одни пошли измученные голодом, другие потому, что боялись своих. В боях власовцы оказались нестойкими, и немцы ими пользовались главным образом для подавления партизанского движения. Когда после войны я приехал во Францию, жители Лимузена рассказывали о жестоких расправах власов-

цев с населением. Плохие люди есть повсюду, это не зависит ни от политического строя, ни от воспитания.

В июле 1942 года, когда Власов решил служить врагам своей родины, три пулеметчика и санитарка Вера Степановна Бадина защищали бугорок возле хутора Большой Должик. Их окружил батальон, они отстреливались. Немцы открыли артиллерийский огонь. Снаряд убил двух пулеметчиков, третий и санитарка были тяжело ранены. Немцы сразу пристрелили пулеметчика Напивкова, а девушке, обливавшейся кровью, грозили пистолетом — хотели, чтоб она попросила пощады. Вера Бадина действительно попросила у немецкого офицера, но не пощады, а револьвер, чтобы застрелиться. Ей было двадцать девять лет.

А в тот самый день, когда мне принесли листовку власовцев, я получил письмо с припиской: «Найдено у сержанта Мальцева Якова Ильича, убитого под Сталинградом». Вот что писал Мальцев: «Дорогой Илья Григорьевич! Убедительно прошу вас обработать мое корявое послание и напечатать в газете. Старшина Лычкин Иван Георгиевич жив. Его хотели представить к высокой награде, но батальон, в котором мы находились, погиб. Завтра или послезавтра я иду в бой. Может быть, придется погибнуть. В последние минуты до боли в душе хочется, чтобы народ узнал о геройском подвиге старшины Лычкина». Сержант рассказывал, как в августе 1941 года батальон попал в окружение; несколько человек струсили, убежали к немцам, других убили; живых осталось трое, и Лычкин их вывел из окружения, подбил немецкий танк, взял в плен двух немцев. Я тогда выполнил посмертную волю Мальцева. Идя в бой и, видимо, понимая, что его ждет смерть, он в последнюю ночь думал не о себе, а о своем боевом друге.

Я сейчас говорю не о фашизме, а о людях.

Можно ли ответить на вопрос: что такое человек, на что он способен? Да на все, решительно на все. Может низко пасть, как пал Власов, может и подняться так высоко, что об этом не расскажешь. Я часто думаю о том, как различны люди, выросшие на одной земле, ходившие в те же школы, повторявшие те же слова. Именно поэтому я решил рассказать о Власове. (Все о нем давно позабыли, даже его подручные, вовремя убежавшие в американскую зону оккупации. Они ведь теперь прославляют не национал-социализм, а «свободный мир», им неудобно вспоминать о том, что они были власовцами.)

Птицы летают, рептилии ползают. А человек не только всеядное существо, он воистину всеуш — он и парит высоко, и умеет пресмыкаться; это известно всем, а привыкнуть к этому нельзя, это всякий раз поражает не только ребенка, но и старого человека, казалось бы давно потерявшего дар удивления.

6

Передо мной маленькая фотография: редакция «Красной звезды» ночью. Я принес очередную статью, за столом капитан Копылев, рядом стоит Моран; лампа освещает газетную полосу.

Я проработал в «Красной звезде» с первых дней войны до апреля 1945-го — с ней связаны годы моей жизни. В течение долгого времени эта газета полнее и ярче других освещала фронтовые дела. Помню, как седой от пыли, измученный солдат (та пехота, что шагает) упрямо повторял: «Нет, ты мне дай «Звездочку»...» У меня сохранилось письмо от женщины из Томска: «Я вас очень прошу, дайте мне возможность хотя бы иногда читать «Красную звезду». Я знаю, что не имею на это никакого права, но у меня три сына на фронте, четвертый погиб в первые дни...» В октябре 1941 года в Куйбышеве произошла драка между двумя американскими журналистами из-за свежего номера «Красной звезды». Конечно, вполне естественно, что в годы войны газета армии привлекает к себе внимание, но успех «Красной звезды» создали люди.

В 1941—1943 годы газету редактировал Д. И. Ортенберг-Вадимов. Он был талантливым газетчиком, хотя, насколько я помню, сам ничего не писал. Он не шадил ни себя, ни других. Я был с ним под Брянском. В полевом госпитале лежал раненый корреспондент газеты Р. Д. Моран. Мы пошли его проведать. Ортенберг спросил: «Как вас ранило?» Моран ответил: «Миномет...» Ортенберг удовлетворенно улыбнулся: «Молодец!» О том, что он не боялся ни бомб, ни пулеметного огня, не стоит говорить — он был человеком достаточно обстрелянным. Но и на редакторском посту он показал себя смелым. В сороковые годы на газетном жаргоне существовало выражение «ловить блох»: после того, как все статьи были выправлены и одобрены, редактор тщательно перечитывал полосу, выискивая слово, а то и запятую, которые могут кому-нибудь на-

верху не понравиться. Так вот генерал Вадимов если и «ловил блох», то без лупы; часто пропускал то, что зарезал бы другой. Конечно, я знал, что, когда он говорил «переписать на хорошей бумаге», это означало, что он сомневается, хочет послать статью Сталину, но это приключалось не часто. Однажды Ортенберг получил военный очерк от Авдеенко, который незадолго до войны по приказу Сталина был исключен из Союза писателей. Ортенберг послал Сталину очерк с сопроводительным письмом — писал, что Авдеенко «боевыми действиями искушил свою вину». Очерк был напечатан. Раза два или три мои статьи переписывались на хорошей бумаге. Пожаловаться на Ортенберга я не могу; порой он на меня сердился и все же статью печатал. Однажды он вызвал Морана (наиболее эрудированного сотрудника газеты) проверить, действительно ли существовали эринии; пожалуй, он был прав — фронтовики не обязаны были знать греческую мифологию, он протестовал также против «рептилий», против ссылки на Тютчева, протестовал и, однако, печатал. Копылев мне недавно рассказал, что, случайно узнав, что мы с Любой получаем один тощий обед из ЦДРИ, доложил об этом редактору. Генерал Вадимов сначала не поверил, потом рассвирепел и отправился ни более ни менее как к начальнику тыла Красной Армии генерал-лейтенанту Хрулеву с просьбой зачислить меня на военное довольствие. Из всех сотрудников газеты Ортенберг больше всего любил Симонова: вероятно, киплингские нотки, которые проскальзывали в очерках и стихах молодого Симонова, отвечали его наклонностям.

В конце июля 1943 года я вернулся в Москву из-под Орла. Генерал Вадимов меня расспрашивал о положении на фронте; сказал, что только что получено сообщение об отставке Муссолини. Я заметил, что он нервничает. Часа два спустя я пошел к нему с написанной статьей. Кабинет был пуст. Копылев объяснил: «Умчался... Сейчас звонил, спрашивал, все ли в порядке... В общем, его сняли. Щербаков его не выносит...»

Вадимов вскоре уехал на фронт, в армию генерала Москаленко. Я послал ему сборник своих статей; он написал в ответ: «Вы, вероятно, и сами не предполагаете, какое огромное значение имеет крепкая дружеская рука, протянутая в дни жестоких бур!»

Недели две спустя я увидел в редакции спокойного, очень вежливого генерала — это был Н. А. Таленский, новый редак-

тор «Красной звезды». Я с ним проработал год, и ни разу у нас не было столкновений. Когда он ушел, я хлебнул горя, к счастью, это было незадолго до конца войны. А с генералом Таленским я ездил в 1962 году в Брюссель на совещание «Круглого стола», посвященное разоружению, и снова подумал, как легко работать с этим человеком.

Когда выпадал свободный час, я разговаривал с Мораном о поэзии. Не знаю, как он попал в военную газету. Любил он поэзию и теперь переводит стихи, да и пишет свои, а тогда частенько писал передовицы — Вадимов шагал, чуть прихрамывая, по кабинету и объяснял, что именно Моран должен написать. Моран был милым и чрезвычайно скромным. Когда кончилась война, он пошел работать в «Известия», его арестовали как «космополита», и я снова его увидел только в 1955 году.

Работал в редакции М. Р. Галактионов, человек с военным образованием, почему-то впавший в немилость и не имевший военного звания. С ним обращались как с мальчишкой, хотя он был моим сверстником, покрикивали на него. И неожиданно все переменялось, кто-то наверху вспомнил, что был такой Галактионов, и я увидел Михаила Романовича в генеральском мундире. С ним начали разговаривать учтиво. А он по-прежнему тихо, аккуратно выполнял свою работу. В 1946 году я поехал с ним в Америку, и о нем, о его судьбе напишу в последней части этой книги.

Ортенберг сумел прикрепить к газете хороших писателей. В. Гроссман просидел в Сталинграде самые трудные месяцы, там он написал очерки «Направление главного удара» и «Глазами Чехова», которые мне кажутся до сих пор замечательными. Мне запомнились очерки Симонова о Северном фронте. Е. Петров в начале войны писал для «Известий», но последние, севастопольские очерки появились в «Красной звезде». Среди военных корреспондентов газеты были и другие писатели — Павленко, Сурков, Габрилович. Полковник Карпов умел уговорить А. Н. Толстого сесть и сразу написать статью. Что касается меня, то я часто выполнял обычную редакционную работу — составлял информационные заметки, переводил сообщения из иностранных газет — словом, делал, что мог.

Мне хочется припомнить военных корреспондентов газеты. Их работа была тяжелой и неблагодарной: приходилось писать наспех, между двумя бомбежками, часто при свете коп-

тилки, потом «проталкивать» статью, то есть умолять связистов передать ее по проводу, разыскивать оказию, информация порой устаревала, и Вадимов или Карпов швыряли телеграмму в корзину.

Корнейчук в пьесе «Фронт» вывел противного журналиста Крикуна. (На беду, в редакции одной из фронтовых газет оказался журналист с фамилией Крикун. Он мне говорил, что над ним все начали смеяться.) Конечно, попадались среди военных корреспондентов люди, похожие на героя комедии, но не так уж часто. Меня скорее поражала скромность большинства военных корреспондентов. Случайно у меня сохранилось письмо С. Борзенко. «Одновременно с этой запиской я послал в редакцию «Красной звезды» очерк о последнем бое нашей гвардейской дивизии. Я участвовал в этом бою и старался правдиво описать все, что видел. Очень прошу вас, возьмите этот очерк, прочтите его и, если он вам понравится, скажите свое мнение редактору. Там дело со снегом, пусть это вас не смущает — сегодня 30 марта, а мороз у нас 20 градусов». С. Борзенко стал Героем Советского Союза, о его геройстве узнали все.

Но кто помнит тишайшего Льва Иша, этого чернорабочего газеты, который не писал, а правил чужие статьи? Однажды, это было осенью 1941 года, он сидел над корреспонденцией с Западного фронта и вдруг вскрикнул — в статье рассказывалось, что в Ельне немцы зверски убили его отца. Иш настоял, чтобы его отправили на фронт военным корреспондентом. Он писал статьи и терзался. В 1942 году он писал из осажденного Севастополя: «...Я с завистью вижу, как другие стреляют в немцев и могут это делать не раз в месяц, а каждый день...» (Лев Иш много раз ходил в разведку.) Настала развязка; на мысу сражались последние защитники Севастополя; среди них был Лев Иш, и погиб он в бою.

Я читал в редакции статьи полковника Донского. Осенью 1943 года в Слободке — напротив все еще занятого немцами Киева — я встретился с полковником Донским. Его настоящая фамилия была Олендер. Статьи его были хорошим, спокойным разбором военных операций, он многому научил молодых командиров. А мы заговорили не о войне — о жизни, об искусстве. Олендер декламировал Блока, Багрицкого. Потом мы толковали о верности, о белых хатах, о разлуке. Олендер походил на романтического юношу, и я ему сказал: «Будь я моложе, будь вы старше, а главное, будь век другим, мы бы сидели с

вами в какой-нибудь «Ротонде» и говорили бы не о рокадной дороге, не о понтонах, а совсем о другом, вот как сегодня...» Мы расстались будто старые друзья, а пробыли вместе всего несколько часов. В 1944 году Олендер погиб как солдат — от пули.

На Днепре я встречал Гроссмана, Долматовского, на Соже — Симонова, у Можайска — Ставского, в Белоруссии — Твардовского, в Вильнюсе — Павленко. Мы не успевали поспорить о литературе — нам было не до этого.

Я вспоминаю конец сороковых годов... Трудно себе представить, что во время войны мы жили как бойцы одной роты. Я просмотрел папку с письмами военных лет. Конечно, я понимаю, что мне писали мои старые друзья — А. Я. Таиров, П. П. Кончаловский, А. Н. Толстой, А. А. Ахматова, А. А. Игнатъев. Но много писем от писателей, которых я до того не знал и с которыми после войны очень редко встречался. Тогда у нас был общий враг; мы хорошо знали, что такое немецкие танки или немецкие автоматчики. Я перечитал сейчас одно из писем тех лет. Молодой поэт писал мне с фронта: «...Чего, например, стоят все эти стишки или что-либо в этом роде? Чего стоят бесконечные варианты «Синего платочка»? Неужели так и не подымеется смелый, авторитетный голос в защиту русской поэзии против пошлости, с которой, как с грязью на солдатских сапогах, мы рискуем дойти до самой победы? Но пошлость хоть плавает на поверхности, с ней легче воевать, а что делать с бесконечным потоком стихов пустых, трескучих и бездумных, в которых при титаническом труде не обнаружишь и тени собственной оригинальной мысли? Ими, такими стихами, забиты сплошь и рядом журналы». Далее автор письма просил меня прочитать посылаемые им стихи и объяснял, почему он обращается ко мне: «Почему именно к вам? Говорю без лести, под честное слово — потому, что всегда, в том числе в самые трудные минуты, ваш голос был с нами, потому что вы пользуетесь доверием фронтовиков. Кроме того, ваш авторитет и любовь к русской литературе гарантируют прямоту и резкость суждений — лучшие качества в критике...» Письмо было подписано Н. Грибачевым.

Признаюсь, меня в те годы мало огорчали даже трескучие стихи. (Мне это самому странно. Вероятно, голос войны все заглушал.) Просматривая уцелевшие записные книжки, я на-

хожу военные новости, адреса полевой почты, имена немецких пленных, с которыми я разговаривал. У меня появилось много новых друзей не писателей, даже не журналистов — артиллеристов, летчиков, саперов. Я переписывался со многими фронтовиками, о некоторых из них попытаюсь дальше рассказать.

Генерал П. И. Батов в воспоминаниях о Сталинградской битве рассказывает, как его часть захватила «Двенадцать заповедей» — инструкцию, подписанную Гитлером, как немцы должны обращаться с русскими. П. И. Батов пишет: «Политработники 65-й армии использовали «заповеди» в беседах с бойцами. Помнится, у чеботарцев беседу проводил лично командир полка. Гневный смех. Резолюция: «1. Клянемся бить фашистов беспощадно и первыми выйти к Волге. 2. Послать «заповеди» товарищу Эренбургу и просить раздраконить фрицев через «Красную звезду». Таких заказов я получал сотни. Я писал о фрицах, писал о войне, о наших людях.

Одну из моих статей 1942 года я озаглавил «Жить одним!». Прожить жизнь одним очень трудно, это доступно только революционеру в подполье, верующему в катакомбах да еще, может быть, ученому. Человек — сложное существо: не птица и не рыба, он живет в различных стихиях, живет разным и поразному. Но, видимо, почти каждому приходится хотя бы раз в жизни оказаться отлученным от самого себя, от привычных раздумий и сомнений, от круга друзей, от своей внутренней темы. Так было со мной в 1941—1945 годы — в годы «Красной звезды»...

7

Это был один из первых весенних дней. Утром в дверь моей комнаты постучали. Я увидел высокого грустноглазого юношу в гимнастерке. Ко мне приходили много фронтовиков — просили написать о погибших товарищах, о подвигах роты, принесли отобранные у пленных тетрадки, спрашивали, почему затишье и кто начнет наступать — мы или немцы.

Я сказал юноше: «Садитесь!» Он сел и тотчас встал: «Я вам почитаю стихи». Я приготовился к очередному испытанию — кто тогда не сочинял стихов о танках, о фашистских зверствах, о Гастелло или о партизанах.

Молодой человек читал очень громко, как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где режут орудия. Я повторил: «Еще... еще...»

Потом мне говорили: «Вы открыли поэта». Нет, в это утро Семен Гудзенко мне открыл многое из того, что я смутно чувствовал. А ему было всего двадцать лет; он не знал, куда деть длинные руки, и сконфуженно улыбался.

Одно из первых стихотворений, которое он мне прочитал, теперь хорошо известно:

Когда на смерть идут — поют,
а перед этим

можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки...

Сейчас настанет мой черед.
За мной одним

идет охота.

Будь проклят

сорок первый год —

ты, вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.

Разрыв —

и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо...

Бой был короткий.

А потом

глушили водку ледяную,

и выковыривал ножом

из-под ногтей

я кровь чужую.

Я видел первую мировую войну, пережил Испанию, знал много романов и стихов о битвах, об окопах, о жизни в обнимку со смертью — романтически приподнятых или разоблачительных — Стендаля и Толстого, Гюго и Киплинга, Дениса Давыдова и Маяковского, Золя и Хемингуэя. В 1941 году нашими поэтами было написано немало хороших стихотворений. Они не глядели на войну со стороны; многим из них ежедневно грозила гибель, но никто не выковыривал ножом из-под ногтей вражескую кровь. Штык оставался штыком, лира — ли-

рой. Может быть, это придавало даже самым удачным стихам тех поэтов, которых я знал до войны, несколько литературный характер. А Гудзенко не нужно было ничего доказывать, никого убеждать. На войну он пошел солдатом-добровольцем; сражался во вражеском тылу, был ранен. Сухиничи — Думиничи — Людиново были для него не строкой в блокноте сотрудника московской или армейской газеты, а буднями. (При первом знакомстве он мне сказал: «Я читал, что вы ездили к Рокоссовскому и были в Маклаках. Вот там меня ранили. Конечно, до вашего приезда...»)

В то утро он мне прочитал и «Балладу о дружбе». Слово «баллада» еще шло от традиционной романтики, а стихи были совсем не романтичными. Боец знает: один из двух должен погибнуть, выполняя задание, — он или его друг.

Мне дьявольски хотелось жить,—
пусть даже врозь,
пусть не дружить.

Ну, хорошо,
пусть мне идти,
пусть он останется в живых...

Я сказал, что Гудзенко мне многое открыл. Война, которую мы переживали, была жестокой, ужасающей, и вместе с тем мы твердо знали, что нужно разбить фашистов. Нам не подходили ни былые честные проклятия, ни новые столь же честные восхваления: «На сажень человеческого мяса нашинковано»... Нет, изменились не только масштабы, но и восприятие. «Священная война»? Не те слова! И вот я услышал стихи Гудзенко...

В то утро я ни о чем его не спрашивал — слушал стихи; узнал только, что он киевлянин, что у него есть мать, что он учился в ИФЛИ и слышал мои стихи о Париже в сороковом году.

(Гудзенко мне показался поэтом с головы до ног, подростком, еще не научившимся думать вне поэзии. А он тогда записал в своей записной книжке: «Вчера был у нас Илья Эренбург. Он, как почти всякий поэт, очень далек от глубоких социальных корней...» Так часто бывает при первой встрече: мы не знали друг друга и рисовали собеседника, руководствуясь своей собственной душевной настроенностью.)

Я читал стихи Гудзенко всем — Толстому, Сейфуллиной, Петрову, Гроссману, Сурицу, Уманскому, Морану; звонил в

Оттуда он прислал мне свои стихи о Сталинграде, и одно меня снова поразило, как открытие:

...И наконец-то
с третьим эшеленом
сюда пришла
сплошная тишина.
Она лежит,
неслыханно большая,
на гильзах
и на битых кирпичах,
таким сердцебиеньем оглушая,
что с ходу засыпаешь
сгоряча.

В сентябре 1943 года он мне писал: «Собираюсь на Украину. Киев не дает покоя. Вероятно, скоро там буду. О тыле больше писать здесь не могу. Снова пишу о фронте. Что получится?»

В ноябре Гудзенко пришел ко мне, радовался, что едет на фронт, скоро увидит Киев, и вместе с тем по его лицу вдруг пробежала тень, как от одинокого облака. Почему-то я пометил в записной книжке: «Гудзенко спрашивал, зачем ввели раздельное обучение, вводит форму, рассказал, как обидели еврея-киевлянина. За год он очень повзрослел».

Гудзенко шел с армией на запад. Стоит ли напоминать, что высокая поэзия всегда рождалась в часы испытаний? В 1942 году Гудзенко писал:

Каждый помнит по-своему, иначе,
и Сухиничи, и Думиничи,
и лесную тропу на Людиново —
обожженное, нелюдимое.

В 1945 году изменились не только названия городов, где шли бои, изменилась и душевная настроенность. Гудзенко прислушивался не к биению сердца, а к звонким словам, к рифмам:

Занят Деж,
занят Клуж.
Занят Кымпелунг.
...Нет надежд.
Только глушь.
Плачѣт нибелунг.

Незадолго до победы он писал мне: «Война на нашем участке еще настоящая. Все повторяется. Недавно попал под сильную бомбежку у переправы через Мораву... Лежал долго там и томительно. Умирать в 1945 году очень не хочется...»

Кончилась война. Выживших демобилизовали. Я увидел Семена в пиджаке. Но в душе он все еще донашивал старую, вылинявшую гимнастерку. Конечно, менялись сюжеты стихов — он описывал села Закарпатской Украины, колхозы, жизнь мирного гарнизона. Он знал, что это большие дела большой столицы, но что «у каждого поэта есть провинция», признавался:

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная, одна,
суровая моя и откровенная,
далекая провинция —
Война...

Есть в его книжке такая запись: «Читал на станкозаводе имени Орджоникидзе... Слушали... Мне самому от своих стихов было скучно...»

Существует много повестей, фильмов, стихов о ностальгии солдата, возвращенного к мирной жизни. Гудзенко об этом не писал, но о чем бы он ни писал, в его стихах ностальгия фронтовика. Внешне все выглядело хорошо: он нашел счастье или его иллюзию, громко говорил, часто улыбался, ездил по стране, много работал, слыл примерным оптимистом. (Я вспоминаю его юношеское признание: «Вечные спутники счастья — сорок сомнений и грусть».) Как-то мимоходом он сказал мне: «Я научился писать, а пишу хуже. Впрочем, это понятно...» Я не возразил, а может быть, он ждал возражений, не знаю.

Он казался здоровым, возмужал, даже потяжелел. В 1946 году он писал:

Мы не от старости умрем,—
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

Это напоминало обычную армейскую песенку. А в 1952-м мне рассказали, что Гудзенко болен — последствия военной

контузии, сделали трепанацию, врачи не знают, выживет ли он. Я вдруг вспомнил кружку с рыжим ромом...

Борясь со смертью, Гудзенко написал три стихотворения. Он снова набрал высоту, как в ранних стихах 1942 года. Он умирал в родной и далекой провинции, умирал, как умирали его однополчане.

До чего мне жить теперь охота,
будто вновь с войны вернулся я!

За несколько месяцев до болезни он пришел ко мне. Мы долго разговаривали, а разговора не вышло; может быть, потому, что с ним пришел его друг, поэт, может быть, виноват был я; да и время было не очень-то благоприятное для душевных бесед. Два или три дня спустя он забежал ко мне на минутку, будто бы забыл надписать книгу, постоял, поулыбался и, уже прощаясь, сказал: «Многое не так получилось... Но мы еще увидимся, поговорим...» Больше я его не видел.

Да, многое не так получилось, как мы думали в 1942 году. Настала эпоха атомной бомбы. Никто не знал, что будет завтра. Арестовывали невинных — снова и снова стреляли по своим. А Гудзенко умер в зимний месяц — февраль, в очень зимний, холодный, темный февраль 1953 года — незадолго до первой оттепели.

Для меня он остался поэтом того поколения, которое начало жизнь у Сухиничей, у Ржева, под Сталинградом. Многие его сверстники не вернулись с войны. Я смутно помню молодых поэтов, читавших накануне войны свои стихи, — Кульчицкого, Когана. Потом я прочитал их стихи; они погибли слишком рано, и лучшее написано ими до войны. А Гудзенко сумел заговорить среди шума битв, сказал многое за себя и за других. В стихотворении, которое он назвал «Мое поколение», навязчиво повторяется строка:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели...

Когда Гудзенко писал эти стихи, он мечтал, что его сверстники вернутся домой с победой и узнают всю меру счастья. В 1951 году он сказал мне в темной передней: «Многое не так получилось...»

А Гудзенко до слез жалко. Я его запомнил очень молодым, таким, каким он был в далекое утро 1942 года, когда на короткий срок поднялся, увидел и сказал...

Десятого марта 1942 года мне позвонил представитель сражающейся Франции Роже Гарро. Мне нужно было угостить его обедом, это было нелегко. После долгих переговоров директор «Метрополя» согласился предоставить крохотный номер. (Умывальник стыдливо прикрыли скатеркой.) По тому времени обед был прекрасный; дали водку. Гарро оказался подвижным французом, небольшого роста, но с темпераментом. Он рассказывал, как трудно де Голлю в Лондоне: для англичан он эмигрант, и только. Гарро строил планы: почему бы не создать в Советском Союзе французских дивизий? Можно начать с авиации. О положении во Франции он отзывался, скорее, мрачно: «Возмущаются немцами почти все, но, что вы хотите, люди держатся за деньги, за место, лучше других ведут себя рабочие...» Себя он неизменно называл «якобинцем».

Гарро пригласил меня провести с ним вечер. Среди гостей были французский генерал Пети, журналист Шампенуа, турецкий консул и настоятель московской католической церкви отец Брон. Гарро неистовствовал: «Вы увидите, что англичане и американцы купят по дешевке немецкие заводы и начнут защищать «бедную Германию». Для них война — это партия в крикет...»

Я рассказывал о том, что видел на фронте, и отец Брон возмущался фашистскими зверствами. Вскоре после этого А. С. Щербаков сказал мне, что немцы направили на Восточный фронт словацкие части: «Напишите для них листовку — вы ведь бывали в Словакии...» Я сразу подумал о Броне: среди словацких крестьян было много верующих, и на них должно было подействовать обращение католического священника. Я пошел к отцу Брону, который жил тогда в комфортабельном флигеле американского посольства (дипломаты еще находились в Куйбышеве). Брон мне долго объяснял, что святой отец любит терпимость и что с Ватиканом нельзя шутить. Мы говорили о догматах церкви, о положении на фронте, о де Голле. Листовку Брон написал, но после этого начал требовать от меня горячего для своей машины. Я обратился в учреждение, распределявшее бензин, мне ответили, что Брон получает больше положенного. Отец Брон писал, что ему приходится очень много передвигаться, чтобы причащать умирающих, а получив

отказ, начал мне угрожать не муками на том свете, а тривиальным скандалом.

В апреле, когда я получил за «Падение Парижа» Сталинскую премию, Гарро мне передал поздравительную телеграмму де Голля. А генерал Пети прислал длиннущий трут для зажигалки: всю войну, в отличие от отца Брона, я мог не беспокоиться о бензине.

Генерал Пети был начальником военной миссии, товарищем де Голля по военному училищу, верующим католиком. Он меня сразу подкупил искренностью, прямотой и большой скромностью. Он видел, как сражается советский народ, понял его и полюбил, говорил мне, что вернулся во Францию другим человеком. После войны его назначили военным вице-губернатором Парижа; я был у него во Дворце инвалидов. На этом посту он, однако, остался недолго — не скрывал своих чувств к Советскому Союзу, ко вчерашним партизанам, а это уже было не по времени. Недавно, когда я был в Париже, оасовцы подложили взрывчатку в его квартиру. Улыбаясь, он мимоходом сказал: «Вчера меня пластиковали...»

В моей записной книжке я нашел некоторые фразы Гарро: «Второй фронт отложен — возврат мюнхеномании», «Англичане и до войны проводили уик-энд в Дьеппе — увеселительная прогулка, а мы поверили», «Вы воюете у Сталинграда, а они обучают будущих комиссаров для стран, которые надеются когда-нибудь освободить от немцев и в свою очередь оккупировать»...

Двадцать восьмого сентября 1942 года Советское правительство признало Национальный комитет сражающейся Франции как единственную организацию, имеющую право выступать от лица французского народа. Гарро меня обнимал. Он выступил по радио со страстной речью: «Сейчас становится все более ясно, что будущее Европы зависит от взаимного доверья между СССР и Францией, которая вернет себе престиж и величье». В ресторане «Арагви» Гарро восклицал: «Мы должны повесить всех генералов вермахта, это не военные, а преступники!..»

В декабре 1944 года в Москву приехал де Голль, его сопровождали генерал Жюэн и министр иностранных дел Бидо. Переговоры о франко-советском пакте зашли в тупик: де Голль не хотел признать новое польское правительство («Люблинский комитет»). Меня пригласили на обед во французское посольство. Дам не было, и рядом с де Голлем сидели С. А. Ло-

зовский и я. Де Голль почти все время разговаривал со мной. Он был в дурном настроении и жаловался на холод москвичей. Потом мне рассказали, что перед обедом его повели в метро, посещение которого входило в программу всех иностранных гостей. Метро менее всего могло заинтересовать де Голля — он ведь человек XVII века, а тогда не было ни фашизма, ни метро, ни других новшеств. Вагоны были переполнены, и для французов очистили детскую площадку. Пассажиры громко высказывали возмущение. А генерал де Голль вздумал обратиться к ним с приветствием. Услышав, что высокий француз — генерал де Голль, роптавшие испугались: будут неприятности. В вагоне воцарилась тишина, и только один старичок, вспомнив гимназический урок, дребезжащим голосом произнес «мерси». Де Голль рассердился и добрый час на обеде во французском посольстве говорил со мной о характере московской толпы. Для меня он был человеком Сопротивления, и я старался его уверить в любви советских людей к Франции.

Генерал Жюэн показался мне бравым военным. На «Жизели», пока танцевала Уланова, он дремал, говорил: «Я думал, что у вас, по крайней мере, нет всей этой чепухи с привидениями...» На следующий день он увидел Ансамбль Красной Армии. Когда начали плясать вприсядку, он вскочил и радостно крикнул: «Наконец-то казаки!» Кажется, только это ему и понравилось. Меня не удивило, что потом он солидаризировался с ОАС.

Бидо пил водку и злился. Подошла последняя, решающая ночь. Французов пригласили в Кремль. Бидо для храбрости опорожнил графинчик водки. За ужином Сталин, увидев, что де Голль пьет только боржом, стал угощать Бидо, которого вскоре пришлось отвезти домой. Де Голль уехал в посольство, Молотов и Гарро договаривались о спорных формулировках пакта. Гарро мне рассказывал, что под утро он поехал за Бидо, который лежал с головой, обмотанной мокрым полотенцем: «Господин министр, наденьте брюки, — мы договорились, вам нужно подписать документы».

В 1942 году все было просто и ясно. В Лондоне тогда выходила французская газета «Марсейез», издавал ее Киллиси. Он просил меня присылать статьи, что я и делал. В октябре редактор «Марсейез» ответил мне газетной статьей: «Больше года Россия почти одна несет тяжесть войны против немецкой армии. Эренбург просматривал нашу газету, несомненно искал

ответа на свои обращения. Сегодня мы можем ему ответить... Французские рабочие отказываются работать в Германии. Я знаю, что меня упрекнут за сравнение упрямого отказа французского рабочего с мужеством защитника Сталинграда. Но вы, Эренбург, знаете, что нужна повседневная решимость, когда рядом плачут голодные дети, решимость для забастовок под пулеметами...»

Война рождает то, что мы называли «чувством локтя». У меня в гостинице «Москва», на Кропоткинской набережной у генерала Пети, во французском посольстве собирались люди, которых трудно назвать единомышленниками, — Морис Торез, Гарро, Жан-Ришар Блок, генерал Пети, советник посольства Шмитлейн, Шампенуа, Горс, Катала. Мы дружески беседовали. В 1944 году я привез из Вильнюса несколько бутылок старого бургундского — мне их дали танкисты, разочарованно говоря: «Илья пьет крепко, а любит квас...» На бутылках значилось по-немецки: «Только для вермахта. Продажа запрещена». Я позвал к себе московских французоз. Гарро чокался с Торезом «за победу»; вино мы пили с особенным удовольствием — оно ведь предназначалось для немецких офицеров.

В конце 1942 года, в очень тяжелые дни, в Советский Союз приехала первая группа французских летчиков — эскадрилья «Нормандия». Французоз поместили возле Иванова, там они должны были освоить наши истребители. Я поехал к ним вместе с Шампенуа; мы повезли подарок — патефон и пластинки. Приехали мы как раз к сочельнику, который во Франции празднуют все, как у нас Новый год. По случаю праздника освободили из-под ареста одного провинившегося. Его история нас развеселила: в ивановском цирке девушка сунула французскому летчику записку — назначала свидание. «Нормандия» стояла в десяти километрах от города. Кругом были сугробы. Французоз, не привыкшие к таким зимам, зябли. Но летчик, получивший записку, решил попытать счастья и добраться до девушки по указанному ею адресу. Он сбился, потонул в сугробах, его вытащили, и комендант эскадрильи посадил его на семь суток под арест. Освобожденный весело говорил: «Все равно я ее найду...» Французозам устроили пышный ужин. Все вышли, расчувствовались и начали петь хором фривольные песни. Мотив был печален, и одна из подавальщиц мне шепнула: «Молятся... Убьют их, да еще на чужбине...»

Действительно, из первой группы летчиков, прибывшей еще до Сталинградской победы, мало кто уцелел. Погиб майор Тюлян, маленький, веселый, которого летчики дружески звали «Тютю». Генерал Захаров после гибели капитана Литтольфа, командира эскадрильи, настаивал, чтоб Тюлян не рисковал собой: «Вы — командир, не имеете права...» Но Тюлян погиб летом 1943 года под Орлом. Погиб замечательный человек Лефевр, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Возле Витебска весной 1944 года его самолет загорелся. Обожженный, он был доставлен в Москву. Помню, в военном госпитале в Сокольниках врач хмуро говорил: «Положение очень тяжелое»... Мы его похоронили на Немецком кладбище (по странной иронии судьбы, рядом была братская могила французов, погибших при походе Наполеона на Россию). Санитарка плакала. Погибли капитан Литтольф, лейтенанты Тедеско, Дервилль, де Сейн, Дени, Жуар, Дюран, Фуко, много других. Два Героя Советского Союза уцелели: Альбер, в прошлом рабочий завода Рено, и аристократ — виконт де ла Пуап. (Один из его предков был генералом Французской революции, сражался против шуанов, а потом в Италии против Суворова.) «Нормандия» стала «Нормандия — Неман», на ее боевом счету было триста сбитых самолетов. В нашем небе сражались девятью пять французских летчиков, из них в живых осталось тридцать шесть...

Я навещал летчиков «Нормандии» возле Орла, потом около Минска; встречал их в Москве, в Туле, в Париже, и мне хочется сказать, что они были хорошими товарищами, не унывали, легко приспособились к жизни на чужбине. Наши летчики, механики, переводчики их полюбили. Могу ли я забыть, как лейтенант де Сейн погиб, потому что не хотел спастись и оставить советского механика? Могу ли позабыть, как советские бойцы спасли в заливе Фришгафф лейтенанта де Жоффра? Тогда о дружбе народов говорили не на конференциях... Кровь оказалась вязкой.

Двадцать второго августа 1944 года, вернувшись с фронта в Москву, я прочитал в редакции сообщения о восстании в Париже. Рано утром мне позвонил Гарро: «Париж победил...» Я пошел во французское посольство. Там были генерал Пети, Гарро, Шампенуа, сотрудники посольства, несколько старых женщин. Маленький патефон беспрерывно исполнял «Марсельезу». Мы от волнения ничего не могли сказать. У Жан-

Ришара Блока в глазах были слезы. Потом мы пили: за Францию, за Красную Армию, за партизан, за Парижский комитет освобождения. Я спросил Гарро, кто это полковник Роль, — в одной из телеграмм говорилось, что он руководил уличными боями. Гарро восхищенно ответил: «Кажется, это не настоящая фамилия. Я слышал, что он рабочий, коммунист. Во всяком случае, он герой!»

Правительство де Голля наградило меня крестом офицера Почетного легиона. Новый посол генерал Катру торжественно прикрепил крест к моей груди, обнял меня и сказал, что Франция никогда не забудет тех, кто остался ей верен в черные годы.

Летом 1946 года я был в Париже, там устроили торжественный вечер. Зал Плейель (тот самый, где три года спустя собрался Первый конгресс сторонников мира) был переполнен. В президиуме сидели Эдуар Эррио, Ланжевен, Торез, генерал Пети. Ждали председателя Совета министров Бидо. Он опаздывал, публика нервничала, и вечер начали без него. Когда я выступал, в зал вошел Бидо, сопровождаемый двумя «фликами» (так зовут французы полицейских в форме или в гражданской одежде). Председатель прислал мне записку. Бидо хочет сразу выступить — он торопится. Я шел от микрофона к столу, а Бидо шел мне навстречу. Он хотел со мной поздороваться, но зашатался; я его вовремя поддержал; в зале, наверно, думали, что мы обнимаемся... Все же он произнес речь, восхваляя меня...

Весной 1950 года, когда Бидо снова возглавил правительство, мне нужно было поехать из Брюсселя в Женеву, я попросил у французов транзитную визу. Мне отказали. На парижском аэродроме пришлось менять самолет. «Флик» зорко глядел, чтоб я не улизнул, проводил меня на борт швейцарского самолета; видимо, ему показалось, что я иду недостаточно быстро, и он меня подтолкнул, как будто я не офицер Почетного легиона, а воришка, которого ведут в каталажку.

Вот я дошел и до наших дней. Как известно, генералы бывшего рейхсвера на французской земле обучают военной науке детей тех самых солдат, которых я видел в Париже, захваченном немцами. (Гарро когда-то мечтал, что всех генералов Гитлера повесят; говорят, он теперь изменился; я его не встречал.) Недавно возле Реймса состоялся парад — французские солдаты маршировали рядом с немецкими.

Когда я был мальчиком, танцевали кадрили — джаза еще не было; в этом танце много фигур, и время от времени кто-то восклицал: «Кавалеры меняют дам!» В моей жизни мне пришлось увидеть достаточно фигур кровавой кадрили. В 1912 году русские газеты писали о единстве славян, об освободительной войне против тиранической Турции. Сербь, болгары и греки разбили турок, подписали мирный договор, а месяц спустя недавние союзники подрались между собой; началась война между Болгарией — с одной стороны, Сербией и Грецией — с другой. Турция, в свою очередь, напала на болгар. Я тогда был молод и удивлялся. Потом я ко всему привык. В 1915 году Италия, входившая в Тройственный союз, начала войну против своих вчерашних союзников. Французские газеты восхищались пылом Д'Аннунцио и Муссолини. За Италией на четверть века укрепилось прозвище «латинская сестра». В 1940 году «сестра» напала на Францию. Все это непонятно или слишком хорошо понятно.

Почему же телеграмма о франко-немецком параде меня обидела? Ведь я знаю, что дипломатия и мораль не состоят в родстве. На обыкновенного человека неизменно производят впечатление, казалось бы, несущественные детали; я об этом упоминал, рассказывая об одной злополучной телеграмме, посланной в декабре 1940 года Риббентропу. Я вспомнил Реймс в годы первой мировой войны, искалеченный собор, школу в винном погребе; вспомнил рассказы о партизане, уроженце Реймса, расстрелянном в 1943 году; и мне стало не по себе. Может быть, это наивно, но мне кажется, что у мертвых есть свои права, что кровь не вино на политическом банкете, что совесть не всегда в ладу с расчетом и что азбуку морали куда труднее изменить, чем направление внешней политики.

Конечно, мои чувства к Франции не могли перемениться от зигзагов того или иного французского правительства. В одном моем стихотворении есть такие строки:

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью, и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнешь из жизни.
А жил я там, где, сер и сед,
Подобен каменному бору,
И голубой и в пепле лет,

Стоит, шумит великий город...
Прости, что жил я в том лесу,
Что все я пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

В другом стихотворении имеется горькое признание:

Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?

Но это сказано в сердцах — я не мог, да и не могу отнестись к Франции как к чужой мне стране; слишком долго прожил в Париже, слишком многому там научился. В моих рассуждениях я часто несправедлив, и читатель это легко поймет.

Недавно пионеры Орла написали мне, что обнаружили в области могилы двух французских летчиков. Я вспомнил веселых и смелых французов, наполнивших смехом, песнями, арго Бельвилля или Менильмонтана березовый лесок, где летом 1943 года располагалась эскадрилья.

Я знаю, что забвение — закон жизни, это репетиция смерти. Обидно другое — как под влиянием событий невольно деформируются человеческие взаимоотношения. Говоря это, я думаю о некоторых людях, которых считал друзьями. Кажется, будто идешь сам по себе, а это иллюзия: шагаешь, и командует взводный, которого в торжественные минуты именуют «временем» или «историей»: «Налево! Направо! Поворот кругом! Шагом марш!» Потом остается вежливо отмечать: с таким-то больше не встречался, наши пути разошлись...

9

После долгой и суровой войны все радовались весне. Мы нежились на солнце и гадали, что нам сулит лето. Вспоминаю Думиничи. До войны там был завод, на котором изготовляли ванны. Городок сожгли. Среди щебня на солнце сверкали ванны — все, что оставалось от Думиничей. Немолодой сержант с седой щетиной на щеках лениво философствовал: «Санитария! А ему, гаду, что? Ему лишь бы поломать... Сходил бы я сейчас

в баньку! Только, я думаю, этому конца не будет, наверно, еще год провоюем. Говорят, у нас теперь танки замечательные. Вот вы напишите, да покрепче. Люди очень переживают... Вчера политрук говорил: «Да если он, нахал, сунется, мы его так тряхнем, что он свою фразу не узнает». А кто его знает, что он еще придумал? Очень людей жалко. У нас Осипова, паразит, убил. В газете про него было... Вы мне объясните, почему он, гад, людей убивает?..»

В Сухиничах я познакомился с генералом Рокоссовским. После битвы под Москвой его имя все выделяли; да и внешность у него была привлекательная. Кажется, он был самым учтивым генералом из всех, которых я когда-либо встречал. Я знал, что жизнь его была нелегкой. Поэтесса О. Ф. Берггольц мне рассказывала, что, когда ее арестовали, в соседней камере сидел Рокоссовский. В Сухиничах он был ранен, осколок снаряда задел печень. Рокоссовский ничего почти не мог есть, езда в машине, резкие движения причиняли ему боль; об этом мало кто догадывался — Константин Константинович отличался редкостным самообладанием. Разумеется, я спросил его, что будет дальше. Он спокойно ответил, что напрасно немцы все валят на русскую зиму, зима их, скорее, выручила — приостановила наше наступление. Может быть, он это говорил, чтобы приободрить других, может быть, так думал, — если шахматист не знает замыслов партнера, то фигуры на доске он все-таки видит, а командиру приходится основываться на данных разведки, иногда не соответствующих действительности.

Два месяца спустя я слышал от военных: «Зря мы силы разбрасывали — Юхнов, Сухиничи... А к обороне не подготовились». У меня нет здесь своего мнения. В математике трудно разобраться, нужна подготовка, но если поймешь, то ясно, что это именно так, а не иначе. Другое дело история — любое событие можно истолковать по-разному. Музу геометрии и астрономии Уранию художники изображали с циркулем, а музу истории Клио с рукописью и пером. В сборнике русских пословиц, собранных Далем сто лет назад, несколько страниц посвящены искусству вымысла; есть там и такая поговорка: «Черт ли писал, что Захар комиссар».

Восемнадцатого мая в сводке говорилось о наших больших успехах на Харьковском направлении. Я сидел, писал статью, когда пришел полковник Карпов и, загадочно усмехаясь, ска-

зал: «О Харьковском направлении не пишете — есть указания...» Неделю спустя немцы сообщили, что на юг от Харькова окружены три советские армии. 5 июня мне позвонил Щербаков: «Пишите за границу о втором фронте»... Молотов вылетел в Лондон. 10 июня немцы начали крупное наступление на Южном фронте.

Началось горькое лето 1942 года. В сводках появились новые названия фронтов: Воронежский, Донской, Сталинградский, Закавказский. Страшно было подумать, что бюргер из Дюссельдорфа прогуливается по Пятигорску, что марбургские бурши дивятся пескам Калмыкии. Все казалось неправдоподобным.

Я сидел и писал, писал ежедневно в «Красную звезду», писал для «Правды», для ПУРа, в английские и американские газеты. Я хотел поехать на фронт, редакция меня не отпускала.

В газету приходили военные, рассказывали об отступлении. Помню полковника, который угрюмо повторял: «Такого драпа еще не было...»

Отступление казалось более страшным, чем год назад: тогда можно было объяснить происходящее внезапностью нападения. Офицеры, политработники, красноармейцы слали мне письма, полные тревоги и раздумий. Не про все я тогда знал, да и не про все из того, что знал, мог написать; все же мне удалось летом 1942 года сказать долю правды — никогда не напечатали бы такие признания ни за три года до этого, ни три года спустя. Вот отрывок из статьи в «Правде»: «Помню, несколько лет назад я зашел в одно учреждение и ушибся о стол. Секретарь меня успокоил: «Об этот стол все расшибаются». Я спросил: «Почему не переставите?» Он ответил: «Заведующий не распорядился. Переставлю — вдруг с меня спросят: «Почему это ты придумал, что это означает?» Стоит и стоит — так спокойней...» У нас у всех синяки от этого символического стола, от косности, перестраховки, равнодушия». А вот из статьи в «Красной звезде»: «Кто сейчас расскажет, как люди думают на переднем крае — напряженно, лихорадочно, настойчиво. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему в десятилетке их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители... Война — большое испытание и для народов и для людей. Много на войне передумано, пересмотрено, переоценено... По-другому люди будут

и трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину и внутреннюю свободу...»

На фронте было много бестолочи и много потрясавшего меня героизма. Немцы приближались к Сталинграду, а Красная Армия приближалась к победе, но мы тогда этого не знали. Меня, как и всех моих соотечественников, в то лето поддерживало ожесточение.

Москва была одновременно и глубоким тылом, и наблюдательным пунктом на переднем крае. Немцы сидели по-прежнему в Гжатске, но на этом участке они атаковать не пытались, и Москва не знала лихорадки минувшей осени. Какой-то шутник сочинил стишки:

Жил-был у бабушки серенький козлик,
Сказка-то сказкой, а немцы-то возле...

На улицах было много народу, стояли очереди, шли переполненные трамваи. Люди хмурились, молчали. Все знали, что немцы захватили пшеницу Кубани, нефть Майкопа, хотят отрезать Москву от Урала, Сибири. В газетах появилось старое предупреждение французских якобинцев: «Отечество в опасности!»

У меня сохранилась записная книжка того лета; записи коротки и несвязны — даты событий, чьи-то фразы, лоскутки жизни.

Из Керчи приехал Сельвинский, говорил: «Бойцы научились, генералы нет», — рассказывал о панике, о немецких зверствах — загнали в катакомбы сначала евреев, потом военнопленных. Темин привез из Севастополя фотографии — агония города: развалины, памятник Ленину, убитые дети, матрос в окровавленной тельняшке.

Пришло сообщение о смерти Петрова. Я пошел к Катаеву, у него был Ставский. Мы сидели и молчали.

Я спросил английского посла Керра, когда же откроют второй фронт. Вместо ответа он начал меня допрашивать, какой формы трубка Сталина, — он хочет привезти ему из Лондона самую лучшую трубку. Я сказал, что не знаю, какую трубку курит Сталин, я с ним не встречаюсь, да это и не важно — пора открыть второй фронт. Керр деликатно улыбнулся и замолк.

Я сидел в своем номере, когда в коридоре раздались крики. Я выбежал в коридор и узнал, что с верхнего этажа в пролет лестницы упал поэт Янка Купала.

Прибежал в возмущении корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро — цензура ему вычеркнула фразу: «от Воронежа до Дона восемь километров».

Женщина продавала картошку — сорок пять рублей за килограмм. Ее убили. Кусочек сахара стоил десять рублей. В Москве жила француженка Аннет, вышедшая замуж за советского архитектора. У нее был грудной ребенок. Муж был далеко. Однажды она позвонила и, задыхаясь от волнения, сообщила: «Ванечка приехал, привез бутылку масла...»

Двадцать шестого июля был книжный базар. Писатели надписывали свои книги. Одна женщина запротестовала: «Почему вы ему поставили дату, а мне нет?» Никто не улыбнулся.

А. Н. Толстой пыхтел в трубку, говорил: «Немцев все-таки расколотят. А что будет после войны? Люди теперь не те...»

Двадцать девятого июля был опубликован указ об учреждении новых орденов — Суворова, Кутузова, Александра Невского. В тот же день по ротам читали приказ Сталина; в нем шла речь не об орденах, а об оставлении без приказа Ростова и Новочеркасска, о беспорядке, панике; так дальше продолжаться не может, время опомниться: «Ни шагу назад!..» Никогда прежде Сталин не говорил с такой откровенностью, и впечатление было огромное. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» сказал мне: «Отец обращается к детям и говорит: «Мы разорены, мы должны теперь жить по-другому...» Слово «отец» он произнес без иронии и без восхищения — как справку.

Немцы, однако, продолжали идти вперед к Северному Кавказу.

Приехал генерал Говоров, рассказал, что был у Сталина, настаивал на эвакуации гражданского населения из Ленинграда.

В редакции я прочитал, что футурист Маринетти отправился в Россию — хочет посмотреть, как фашисты перевоспитывают мужиков. Я вспомнил давние стихи Маринетти: «Мое сердце из красного сахара».

Я получил дневник секретаря полевой полиции 626-й группы Фридриха Шмидта. Вот его запись от 25 февраля: «Коммунистка Екатерина Скороедова за несколько дней до атаки русских на Буденовку знала об этом. Она отрицательно отзывалась о русских, которые с нами сотрудничают. Ее расстреляли в 12.00... Старик Савелий Петрович Степаненко и его жена из Самсоновки были также расстреляны... Уничтожил

также четырехлетний ребенок любовницы Горавилина. Около 16.00 ко мне привели четырех восемнадцатилетних девушек, которые перешли по льду из Ейска. Нагайка их сделала более послушными. Все четверо студентки и красотики...» Я напечатал дневник и получил письмо старшины из Буденовки, который знал расстрелянных.

Мне прислали «Народный календарь, спутник сельского хозяйства», его издали на русском языке немцы для захваченных областей. Каждый день тогда я прочитывал страшные документы — о зверствах, садизме, о стремлении фашистов не только разорить, но и унижить наш народ. Что по сравнению с приказами Гитлера какой-то дурацкий календарь? Но так порой бывает — возмущает деталь; я разозлился, выписал «памятные даты»: «Январь. 12-е — рождение Геринга и Розенберга, 29-е — рождение Чехова. Февраль. 10-е — смерть Пушкина, 23-е — смерть Хорста Весселя, 24-е — годовщина провозглашения Гитлером программы национал-социалистической партии, 26-е — смерть Шевченки» и так далее. Я вдруг припоминал и ругался: «Геринг и Чехов! Хорошо!..»

Пятнадцатого августа было собрание писателей. Председательствующий говорил, что время трудное, нужно подтянуться, не скулить и не пить. В тот день немцы заняли Элисту.

Казах Аскар Лехеров писал мне с фронта: «Что такое жизнь? Это очень большой вопрос. Потому что каждый хочет жить, но смерть раз в жизни неизбежна. А тогда надо умереть как герой...»

Немцы дошли до Моздока. Каждый день кто-нибудь из моих знакомых получал извещение о гибели отца, сына, мужа. Я несколько раз ездил на фронт. Дороги чинили измученные женщины. На заводах работали дети и в перерывах затевали игры. Все мешалось — геройство и оцепенение, духовный рост и жестокий быт.

С начала немецкого наступления все гадали, когда же союзники откроют второй фронт. Уманский мне говорил: «Не рассчитывайте — никакого второго фронта не будет...» Я писал резкие статьи в «Ньюс кроникл», «Ивнинг стандарт», «Дейли геральд», говорил, что думают наши о бездействии союзников. Газеты печатали статьи, даже благодарили меня, но ничего, конечно, не менялось. Правда, член парламента консерватор Дэвисон, обратившись с запросом к министру информации, сослался на одну из моих корреспонденций, но английские

министры, даже информации, в совершенстве обладают искусством оставлять неуместные вопросы без ответа.

Я часто встречался с иностранными корреспондентами. Леланд Стоу был оптимистом, говорил: «Скоро будет десант во Франции или в Голландии», — оптимизм у него был прирожденным, как у Е. П. Петрова, который, уезжая в Севастополь, сказал мне: «Наверно, второй фронт откроют через неделю-другую...» Хиндус и Верт, напротив, были скептиками. Об иностранных корреспондентах я расскажу позднее, помню несколько смешных историй, а в то лето нам было не до смеха... И если мы порой смеялись, то невесело: открывая американские консервы, именовавшиеся «тушенкой», фронтовики злобно приговаривали: «Ну, откроем-ка второй фронт»...

В Лондоне и Нью-Йорке были грандиозные митинги: простые люди требовали второго фронта. 12 августа в Москву приехал Черчилль. Мы волновались: договорятся или нет? Прибежал Шапиро: «Гарриман недоволен результатами». Я рассказал об этом Уманскому. Константин Александрович усмехнулся: «А кто доволен? Разве что Петен?» Коммюнике было туманным.

Только Черчилль уехал, как пришло сообщение о высадке англичан в Дьеппе. Люди на улицах собирались, радостно обсуждали: «Теперь немцы скиснут!..» Меня спрашивали, где Дьепп. Я был настроен, скорее, скептически, но вечером в редакции все говорили, что это начало больших операций, Сталин убедил Черчилля, немцам придется сразу убрать несколько дивизий с нашего фронта. Ортенберг позвонил Молотову: нужно ли посвятить высадке в Дьеппе передовицу.

Иллюзии длились недолго: десант в Дьеппе оказался небольшим рейдом. Может быть, английское правительство захотело несколько успокоить общественное мнение? В редакции Моран декламировал стихи Полежаева:

Британский лорд
Свободой горд,
Упрям и тверд,
Как патриот.
Он любит честь —
Он любит есть
И после сесть
На пароход...

Не знаю, как отнеслись к экскурсии в Дьепп рядовые англичане, но у нас люди возмущались — им казалось, что их обманули. На войне исчезают многие хорошие чувства; часто я ловил себя на том, что огрубел. Но одно высокое чувство, связанное с самоотверженностью, расцветает именно в военные годы; в газетах его называли «боевой выручкой». Постепенно на нас переставали действовать рассказы о снайпере, у которого на боевом счету полсотни немцев, или о пехотинце, уничтожившем «бутылками» пять танков, — можно приглядеться и к отваге. Но одно неизменно волновало и меня и людей, с которыми я встречался, — самопожертвование, смерть солдата, решившего спасти товарища и принявшего на себя удар. К этому нельзя привыкнуть — каждый раз это потрясает, кажется чудом, и, как бы ни было трудно, начинаешь снова доверять жизни.

Есть дипломатия, она доступна специалистам. Есть то, что называется внешней политикой, — она может быть понятной всем, но, будучи связанной с расчетом, со стратегией или тактикой, она апеллирует к разуму. Есть и нечто другое — совесть. Ее опасно оскорбить. Поскольку я рассказываю о пережитом, я не могу умолчать о том, что мы пережили в то окаянное лето. Конечно, я понимаю, почему союзники начали военные операции летом 1944 года, а не 1942. Уилки, а позднее Иден говорили мне, что к десанту они не были достаточно подготовлены и не хотели «лишних жертв». Армия Гитлера, по их мнению, должна была сноситься на нашем фронте. «Лишние жертвы» достались нам. Понять подобный расчет можно — не такие уж это сложные выкладки, а вот забыть о происшедшем трудно — почти у каждого из нас оно связано с личным горем.

10

В сентябре Ортенберг разрешил мне поехать ко Ржеву, где начиная с августа шли ожесточенные бои. В истории войны об этих боях говорится: «Наступательные действия в районе Ржева, угрожавшие немецкому плацдарму группы «Центр», находившейся под командой генерал-полковника Моделя, и сковывавшие крупные силы противника, тем самым содействовали обороне Сталинграда». В летописи многих советских семей Ржев связан с потерей близкого человека — бои были очень

кровопролитными. Мне не удалось побывать у Сталинграда, и о битве на Волге я знаю только по очеркам Гроссмана, по роману Некрасова да по рассказам друзей. Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок.

Зарядили дожди; вопреки утверждению редактора «Правды», они казались желтыми, даже рыжими. Что может быть тоскливее в осеннюю пору, чем тверские болота с грязным небом, с пестрой лихорадочной листвой, с засасывающей хлябью дорог! Машины буксовали, и с отчаянными криками «раз» их пытались столкнуть с места. Кое-где дорога была устлана срубленными деревьями, и замызганные «виллисы» подпрыгивали, как раненые птицы. Ехали ко Ржеву долго. Вместо Торжка, Старицы, сожженных немецкой авиацией, чернели обугленные корпуса пустых домов. В деревнях женщины копали картошку и сжимали картофелины, как камешки золотосной породы.

С одного из бугров можно было разглядеть Ржев; от него мало что оставалось, хотя издали он казался обыкновенным живым городом. Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев; все время я видел два жилых корпуса — тот, что повыше, солдаты называли «полковником», второй — «подполковником». Часть пригородного лесочка была полем боя; изуродованные снарядами и минами деревья казались колыями, натканными в беспорядке. Земля была изрезана окопами; как волдыри, взбухали блиндажи. Одна воронка переходила в другую.

Узбеки в маскировочных халатах, высокие, красивые, казались актерами загадочной феерии, а роспись халатов напоминала абстрактную живопись.

В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа, бои шли за крохотный клочок земли, поросший колючей проволокой, нафаршированный осколками снарядов, битым стеклом, жестянками из-под консервов, калом. Несколько раз я слышал немецкие песни, отдельные слова — враги копошились рядом в таких же окопах. Глушили басы орудий, неистовствовали минометы, а потом вдруг в тишине двух-трех минут слышалась дробь пулеметов.

Люди жили в такой тесной близости не только с немцами, но и со смертью, что ничего больше не замечали; создался быт — толки о том, когда же начнут выдавать сто граммов, обсуждение, за что получила медаль Варя, перекочевавшая в землянку командира батальона. При робком свете коптилок солдаты ругались, писали письма домой, искали вшей (их называли «автоматчиками»), заводили длинные разговоры о том, что будет, когда кончится война. О смерти никто не хотел говорить — предпочитали вспоминать или загадывать. Когда взвивались ракеты, кто-нибудь спокойно ругался: «Развесил, гад! Сейчас начнет...» Два часа спустя другой сплевывал: «Вот паразит! Это он пикирует...» В штабе раздавали ордена награжденным, составляли списки пропавших без вести. В санбатах переливали кровь, отрезали руки, ноги; санитар жаловался: «И часа поспать не дают...» Связистки, эти неизменные героини всех военных рассказов, Маруси, Кати, Наташи, повторяли: «Ока, дай мне Звезду». По наивной конспирации полки, батальоны именовались в телефонных разговорах «хозяйствами». Командир кричал Оле или Вере: «Да что вы, вашу мать, мешаете!..» Девушки вспоминали выпускной вечер, первую любовь — почти все, которых я встречал, на фронт пришли сразу со школьной скамьи; они часто пугливо ежились — слишком много кругом мужчин с жадными глазами. В редакции дивизионной газеты майор диктовал: «Подвиг старшины Кузьмичева. По заданию командования...» Потом он делился новостями с приятелем — инструктором по партучету: «Говорят, Мехлиса снимут, вот это будет номер!..»

За всем этим было, однако, не безразличие, не мелочность будней, а ожесточение. Войне шел второй год, и она давно перестала казаться внезапной катастрофой, она возмужала, и хотя все знали, что на юге происходит страшные события, что немцы дошли до Волги, жила уверенность, что война надолго, что одним суждено погибнуть, может быть, через год, может быть, через час, а те, что чудом уцелеют, увидят победу. Каждому казалось, что он-то обязательно выживет, и каждый суеверно старался об этом не только не говорить, но и не думать.

Порой все как-то притихало; порой бои разгорались. Полковнику Гавалевскому удалось прогнать противника с северного берега Волги. В течение восьми месяцев немцы укрепили свои позиции, хорошо оборудовали минные поля. Младший

лейтенант Рашевский повел роту в атаку до срока, нарушил приказ. В этой роте были бойцы разных национальностей — русские, узбеки, татары, евреи, башкиры. Рашевский был ранен, но остался в строю. Татарин Ибрагим Багаутдинов говорил: «Маленько их пощекотали...» У колхозника Шумского в оккупированной немцами деревне остались родители, жена, сестры. «Стариков жалко,— повторял он,— вот где у меня скребет...» У него было мягкое русское лицо, с расплывчатыми чертами, а чувствовалось, что его изводит тоска, он тихо повторял: «Бить их!..»

Помню бледное лицо Даниила Алексеевича Прыткова, в прошлом уральского сталевара. Он воевал исступленно. Я узнал, что у него на Урале старая мать и что немцы убили его товарища. Прытков полз ночью к немецким позициям и возвращался с трофеями — приносил автоматы, снайперские винтовки. Он говорил подполковнику Самосенко: «Товарищ начальник, дайте мне отечественный автомат! У меня немецких шестнадцать штук было — роздал, противно мне из них стрелять...» Подполковник говорил: «Да ты отдохни денек...» Прытков отказывался: «А кто наступать будет?..» Он жил одним. После контузии он стал плохо слышать, прикладывал к уху ручные часы: «Оглух!.. Ничего — там услышу!..» (Где «там» — я так и не понял.) Он повторял: «Гады!.. Гады!..» А глаза горели, шевелились губы, чувствовался душевный подъем.

Солдат Илья Горев мне сказал: «От них сердце сохнет...» И впрямь, когда я теперь думаю о наших чувствах того времени, я вижу: мы жили в такой ненависти к фашистам, в такой тоске и тревоге, что можно было сравнить сердце каждого с землей в засуху, растрескавшейся, горячей, выжженной. Лето 1942 года...

Старшина Беляков был немолодым тихим колхозником. Он со мной разговорился, жаловался, что жене трудно — трое детей, она болезненная, колхоз бедный, и до войны жили плохо, а теперь еще хуже. Пока другие шутили, спорили, делились военными новостями, он сидел молча, иногда закуривал и долго кашлял, только раз вышел из себя, когда ему рассказала женщина, что немцы, уходя, пристрелили корову: «Совести у них нет! Что солдат, что ребенок — для них все одно. Да таких убить мало. А что с ними делать?..» Он замолк, на-

сыпал самосада в клочок газеты (читать не любил) и тихо добавил: «Вот, говорили, магазины у них хорошие, товаров много. А вы объясните, душа у такого есть?..»

Над Мишей Савченко все посмеивались, он писал стихи о любви и посвящал их различным особам — то Светлане, то Лечке. Я записал рассмеившие меня строки:

На фронте нет ни розы, ни Пегаса,
Но фриц наставил много всюду мин.
А я до наступательного часа
С тобой, любовь! С тобой влечу в Берлин!

Он обижался, что ни одно из его произведений не было напечатано в дивизионной газете: «Там признают одни шаблоны. Напиши я про гвардейскую честь, сейчас же тиснут...» И вот этот Миша, когда немцы атаквали, подбил танк. Генерал Чанчибадзе вручил ему Красную Звезду, обнял. Миша подымал и без того высоко расположенные тоненькие брови: «А что я, дам танку дорогу?..» Он посвятил стихи об ордене связистке Груше, но их не напечатали.

Еще я вспомнил маленького еврея-парикмахера, кажется, его звали Фегелем, имя в записной книжке стерлось. В отличие от других парикмахеров, он стриг и брил молча. Никто не понимал, как он пошел за «языком» и дотащил на себе рослого немца; да и он не умел объяснить: «Скучно стало. Ну, и вспомнил разное...» Я не стал допытываться, что он вспомнил; наверно, у него остались в оккупации близкие — он был минчанином. Я только спросил: «Страшно вам было?» Он пожал плечами: «Я когда полз, ничего не чувствовал. А может быть, чувствовал, но забыл. Вот теперь вспомню — и страшно...»

С американским журналистом Леландом Стоу мы были у генерала П. Г. Чанчибадзе, порывистого, веселого грузина. В ту ночь немцы вели сильный минометный огонь, а Порфирий Георгиевич, невозмутимый, произносил цветистые тосты, хотел уложить американца. Леланд Стоу — смелый человек, он был на различных войнах: в Испании, в Норвегии, в Ливии; пить он умел, но не выдержал: «Больше не могу». Тогда генерал налил себе полный стакан, а журналисту чуточку на доньшке и сказал мне: «Вы ему переведите — вот так наши воюют, а так воюют американцы...» Стоу рассмеялся: «В первый раз я радуюсь, что мы плохо воюем...» На следующую

ночь по дороге в штаб армии мы увидели избу, долго стучались. Наконец раздался перепуганный женский голос: «Кто там?» — «Свои». Женщина нас впустила, недоверчиво осмотрела. «Я уж думала, не хрицы ли...» (Она говорила вместо «фрицы» — «хрицы».) Услышав, что мы говорим друг с другом не по-русски, она заплакала: «Хрицы!..» Я объяснил, что со мной американец. Женщина сказала: «Чего они сидят у себя? Что нам, подыхать всем?..» Я перевел ее слова Стоу, и он отвернулся: это был не тамада... Проснулся ребенок, заплакал, и женщина его баюкала.

Под Ржевом неожиданно я встретил «испанку» — Эмму Лазаревну Вольф. Она работала по контрпропаганде. Мы вспомнили Мадрид. Все это уже было, и нам казалось, что так всегда будет: полевой телефон, минометы, смерть. Только вот подрос ее сын; она рассказала, что он воюет у Ржева. Да еще не было на свете милого Горева, защитника Мадрида. Трудно было примириться с мыслью, что его убили свои...

«У меня был товарищ, замечательный командир, отличился в финскую войну, а его посадили за месяц до того, как немцы напали», — рассказывал мне генерал А. И. Зыгин, человек смелый и хороший. Было это в темную звездную ночь на тихом участке фронта. Мы сидели в палатке на берегу. (Алексей Иванович шутил: «Домик на Волге».) Он размышлял вслух: «Дотянем до конца, тогда все будет по-другому... А то пакости много. Вот напечатали в «Правде» пьесу «Фронт». Все правильно. Только почему поздно спохватились? Сколько невинных загубили! А подхалимов на высокие места расставили. Страха навели. Я на переднем крае не боюсь, а тогда, как все, — труса праздновал... Как по-вашему — Сталин знает хотя бы одну десятую? Я думаю, ничего он не знает, обманывали его, говорили: подготовка блестящая... Теперь-то он не может не видеть... Говорит он правильно. Но кто должен выполнять? Все те же...»

Мысли генерала Зыгина тогда разделяли многие. Мне хочется быть точным, я боюсь каждый раз, что теперешние оценки могут повлиять на изложение прошлого. Приведу отрывки из письма, написанного мне в сентябре 1942 года фронтовиком капитаном Шестопалом, оно у меня сохранилось: «У меня пропали жена, ребенок (говорю, как о вещи, «пропали» — люди в оккупированных краях пропадают хуже вещей). Мою милую голубоглазую Украину распяли паскудные немцы... Никогда

я так не дрожал за судьбу своего отечества, как теперь... Только и слышишь, что отошли на новые рубежи, что враг теснит наши войска... Когда мы кончим войну, помоем руки и сядем судить, кто что сделал для того, чтобы спасти страну, вспомним тех, кого нужно вспомнить и кого следует жестоко высечь за дерзавость или жульничество... Возможно, печать старалась учить общество на хороших примерах, а получалось, что в нашей социальной жизни ни сучка, ни задоринки. Дорого нам обходится эта дидактика! Сталин бьет в набат. Газеты не преминут сейчас же поднять шумиху, сделать из этого очередную кампанию. Успокоить себя и других прежде даже, чем кончится «историческая» кампания. Они ведь кричали: «Не забывают мудрых исторических слов сверхгениальнейшего (это обязательно, хотя в этом меньше всего надобности) Сталина. Но наша граница на замке, ее надежно защищают верные часовые и т. д.». Это же самоубийство!.. В общем, многое мы делали плохо и за это сейчас отдуваемся. Я думаю, что не только мы немцам мозги вставим, но и некоторым нашим. Война нас многому научит...»

Алексей Иванович Зыгин погиб в 1943 году. Не знаю, дожил ли капитан М. Шестопал до наших дней. Да и о многих других мне ничего не известно. Я писал в те годы:

Слов мы боимся, и все же прощай!
Если судьба нас сведет невзначай,
Может, не сразу узнаю я, кто
Серый прохожий в дорожном пальто...
Странно устроен любой человек:
Страстно клянется, что любит навек,
И забывает, когда и кому...
Но не изменит и он одному:
Слову скупому, горячей руке,
Ржевскому лесу и ржевской тоске...

Маленькая разодранная записная книжка; многое стерлось, трудно разобрать свои каракули. Но вот четкая запись чужой рукой: «Передать жене Кокорина, что он жив и воюет» — и номер московского телефона. Не знаю, что стало с Кокориним, даже не помню, где его встретил, кажется, в редакции армейской газеты, а наверно, говорили мы по душам — у ржевского леса...

Еще осенью 1941 года я начал писать для шведской газеты «Гетеборгс хандельстиднинг», а год спустя узнал от А. М. Коллонтай, которая была нашим послом в Швеции, что некоторые мои статьи вывели из себя обычно спокойных, даже флегматичных северян. Но прежде всего мне хочется рассказать об Александре Михайловне.

Впервые я ее увидел в Париже в 1909 году, на докладе, или, как тогда говорили, на реферате. Она показалась мне красивой, одета была не так, как обычно одевались русские эмигрантки, желавшие подчеркнуть свое пренебрежение к женственности; да и говорила о том, что должно было увлечь восемнадцатилетнего юношу, — личное счастье, для которого создан человек, невысказанно без всеобщего счастья.

А познакомился я с Александрой Михайловной только двадцать лет спустя в Осло, где она была полпредом.

Хотя ей было под шестьдесят, я едва поспевал за ней, когда она взбегала на крутые скалы. Молодость сказывалась и в манере поспорить, и в мечтаниях — было это в 1929 году, когда еще легко было и спорить и мечтать. Меня поразила ее популярность — многие встречные с ней здоровались; мы зашли в кафе, музыканты ее узнали и стали исполнять в ее честь русские песни. Политические деятели говорили о ней с почтением, а поэты и художники в волнении ждали, что она скажет о выставке или о книге.

Александра Михайловна в беседах со мной иногда вспоминала свое прошлое. Она была дочерью генерала Домонтовича, ее мать родилась в Финляндии. Александре Михайловне было восемнадцать лет, когда она вышла замуж за инженера Коллонтая, от которого вскоре ушла: семейное благополучие не пришлось ей по душе. Она увлеклась революционными идеями, ездила за границу, стала социал-демократкой, встречалась с Лениным, Плехановым, Розой Люксембург, Лафаргами. В 1908 году царские власти привлекли ее к ответственности: нашли в ее брошюре, посвященной Финляндии, призыв к восстанию. Коллонтай пришлось уехать за границу. (Финны не забыли, что она боролась за независимость Финляндии, и это облегчило личные контакты в марте 1940 года, когда начались переговоры о мире. Я был в Сальтшебадене на даче у шведского

актера Карла Гергарда; он рассказал мне, как ночью у него встретились представители финского правительства и Коллонтай. «Другой такой умницы я не встречал,— восклицал он,— обычно твердые убеждения исключают широту, терпимость, а госпожа Коллонтай обладала огромным тактом...»)

В 1914 году немцы посадили Коллонтай в тюрьму за антимилитаристические выступления. Потом она уехала в Швецию, и нейтральное, казалось бы миролюбивое, правительство Швеции ее тоже арестовало и выслало. Коллонтай пришлось уехать в Канаду.

У Александры Михайловны хранилась статья, напечатанная в газете шведских левых социал-демократов в июле 1917 года, где говорилось, что друзья проводили товарища Коллонтай, которая уехала в Петроград, в тюрьму Керенского. Действительно, на границе ее ждал комиссар Временного правительства князь Белосельский, он сразу отправил ее в женскую каторжную тюрьму. После Октябрьской революции Коллонтай назначили наркомом государственного призрения, она создавала ясли, отвоевывала для детей молоко, готовила декреты об охране материнства. Проект первого советского закона о браке был написан Александрой Михайловной, в нем, конечно, не было ни «матерей-одиночек», ни «внебрачных детей». С 1922 года по 1946-й Коллонтай представляла Советский Союз в Норвегии, Мексике, Швеции.

Почему я увлекся послужным списком, биографией, казалось бы, достаточно известного политического деятеля? Шестидесять лет Коллонтай отдала борьбе за торжество социалистического общества, а о ней мало что написано, меньше, чем о многих ничем не примечательных должностных лицах...

Меня подкупал естественный демократизм Александры Михайловны. Она свободно, оставаясь самой собой, беседовала и с чопорным шведским королем, и с горняками. Познакомив меня с домашней работницей, она сказала: «Это мой личный секретарь». Обедали в посольстве все вместе — сотрудники, шоферы, работница. Коллонтай обладала даром воспитывать, и много молодых людей, работавших под ее руководством, обязаны ей своим духовным развитием.

В 1929 году она мне говорила о том, что нужна современная форма в искусстве, ее увлекали работы молодых норвежцев и мексиканцев, ей нравился Ван-Гог. В 1933 году мы разговорились о литературе. Александра Михайловна удивлялась:

«Прислали мне два новых романа. Ну зачем эти пай-мальчики? После Толстого, Достоевского, Чехова...»

В мае 1938 года, возвращаясь через Стокгольм из Москвы в Испанию, я нашел Александру Михайловну постаревшей, печальной. Она пригласила на обед посла республиканской Испании Паленсию, оживилась, когда Паленсия рассказывала о новых командирах, выросших в боях: «Я тоже считаю, что еще ничего не потеряно...» Потом Паленсия ушла. Александра Михайловна спросила: «Как дома?» И поспешно добавила: «Можете не отвечать — я знаю...» Когда мы расставались, она сказала: «Желаю вам сил, теперь их нужно вдвойне, не только потому, что вы скоро будете в Барселоне, а и потому, что были недавно в Москве...»

У меня сохранилось несколько писем от Александры Михайловны, которые я получил во время войны, писала она о моих статьях и мельком упоминала о себе: «Работаю я очень много, и дела большие», — такой у нее был характер.

Я бывал у Александры Михайловны в последние годы ее жизни. Она была частично парализована, но продолжала работать. С нею советовались сотрудники МИДа. Она писала мемуары для будущих историков — хотела рассказать то, что ей пришлось увидеть и пережить. Умерла она восьмидесяти лет от роду.

Теперь нужно вернуться от большого сердца к мелкой политике. Швеция, как известно, во второй мировой войне оставалась нейтральной; однако правительство разрешило Гитлеру провозить через шведскую территорию войска и боевое снаряжение. Одним шведам это нравилось, другие с этим скрепя сердце мирились, третьи возмущались.

Газета «Гетеборгс хандельстиднинг» была настроена просоюзнически и предложила мне присылать ей статьи из Москвы. Я понимал, что положение Швеции трудное, и старался писать как можно деликатнее. Все же мои статьи вызвали возмущение немцев. ДНБ (Германское информационное бюро) сообщило, что на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел предупредил шведов, что «статьи Эренбурга в гетеборгской газете несовместимы с нейтралитетом и могут иметь для Швеции неприятные последствия».

Некоторые шведские газеты поддержали Риббентропа — «Стокгольмс тиднинген», «Гетеборгс морген», «Афтонбладет» и другие. Особенно образно выражалась «Дагспостен»: «Эрен-

бург побил все рекорды интеллектуального садизма. Незачем критиковать эту свинскую ложь и доказывать, что Эренбург пытается приписать немцам то, что обычно совершают красноармейцы».

Господин Тегнер, редактор распространенной спортивной газеты «Идротсбладет», бушевал, как будто он на матче футбола. Мои статьи, по словам различных болельщиков Гитлера, были связаны с потоплением в Балтийском море шведских судов, с замыслами русских захватить Стокгольм и с другими ужасающими вещами.

Статьи, которые печатала гетеборгская газета, попадали в нелегальную печать Норвегии и Дании. Это, разумеется, раздражало немцев, и «Франкфуртер цейтунг» писала, что «все разумные шведы протестуют против гостеприимства, оказываемого кровожадному московскому провокатору». Газета ссылалась на путешественника Свена Хедина, который говорил о «свирепости русского медведя» и восхвалял одного шведа, записавшегося в немецкую дивизию.

Выступил и человек, занимавший ответственный пост, начальник почты и телеграфа Андерс Эрне. Он опубликовал статью «Илья Эренбург в Швеции», в которой писал: «Получается попытка завоевать Швецию изнутри для включения ее в состав СССР». Это было в июле 1942 года, когда наша армия в донских степях истекала кровью.

В начале 1943 года в шведском журнале «Фольксвил्यान» было напечатано следующее: «Мы опубликовали комментарии Ильи Эренбурга к последней речи Гитлера. Мы опустили ряд мест, чтобы в статье не было ничего оскорбительного для главы германского государства. Статья не встретила возражений со стороны органа, контролирующего печать. Однако на следующий день состоялось заседание кабинета, который решил конфисковать все номера со статьей Эренбурга. Мы считаем это настоящим перегибом».

Редактор «Гетеборгс хандельстиднинг» профессор Сегерстедт мне сообщил, что, хотя из-за цензуры ему приходится порой делать купюры в моих статьях, он меня сердечно благодарит и рад указать, что получает много одобрительных писем от читателей газеты; А. М. Коллонтай писала мне: «Вы ведь знаете, как в Швеции вас ценят и любят...»

В Москве я иногда бывал у посла Норвегии Андворда. Он был человеком приветливым, уютным. Мы с ним вспоми-

нали норвежских друзей. Он знал о полемике в шведской печати и говорил мне: «Не обращайтесь внимания на директора почты. Он директор, и только, а письма пишут обыкновенные шведы. Это хорошие люди. Они знают о судьбе Норвегии, им больно, а иногда и стыдно...»

Пять лет спустя после конца войны я попал в Швецию. Был я и в Гетеборге, и в газете «Гетеборгс хандельстиднинг» (не было там уже профессора Сегерстедта) напечатали весьма нелюбезную заметку о сотруднике военных лет. Я не удивился: я уже задолго до этого понял, что там, где все решает политика, память — обременительный предрассудок.

Зато я встретил в Швеции людей, которые поддерживали нас в трудные годы. Я ближе познакомился с Георгом Брантингом, которого встречал в Испании, с Меером, со многими другими. Я понял, что норвежский посол был прав: в Швеции оказалось много хороших людей. Все они с нежностью вспоминали А. М. Коллонтай.

Что же получается? Жизнь чужой страны напоминает темный театральный зал; освещают только сцену. А на сцене появляются актеры, исчезают — все зависит от событий, от конъюнктуры, от капризного характера режиссера, которого именуют историей. Когда Гитлер подходил к Волге, когда он был в Египте и прокладывал путь к Индии, в шведском театре шла дурная постановка дурной пьесы. Вскоре ее сняли с афиши: красноармейцы развязали шведам языки. А в зале? В зале сидят рядовые зрители, они могут хлопать или свистеть, но вставлять свои реплики не в их возможностях. А когда порой они врываются на сцену, то трещат не только декорации, трещит и театр...

12

Сообщение о конце Сталинградской битвы застало меня в пути: вместе с фотокорреспондентом «Красной звезды» С. И. Лоскутовым я ехал в Касторную. Настроение у меня было приподнятое: ясно, что произошел перелом, прежде приходилось верить в победу наперекор всему, а теперь для сомнений нет места — победа обеспечена.

Морозы стояли сильные, начинался февраль с длинными метелями, с поземкой, которая хлещет лицо. А когда мы до-

брались до Касторной, был холодный ясный вечер. Луна обливала зеленоватым мертвым светом снежное поле, трупы, искромсанные снарядами, расплющенные танками. Мы постояли и ушли в избу.

Утром я долго бродил вокруг Касторной. Немецкие дивизии, отходившие от Воронежа, попали тут в западню, и мало кому известное село стало сразу знаменитым. Перевернутые грузовики, затерявшиеся в сугробах малолитражки, «опели», «ситроены», «фиаты», на которых когда-то молодожены ездили к морю, итальянские автобусы с вырванными боками, штабные бумаги, куски туловищ, походные кухни, голова в шлеме, бутылки шампанского, портфели, оторванные руки, пишущие машинки, пулеметы, парижская куколка-амулет с длиннущими ресницами и голая пятка, как будто проросшая сквозь снег.

Зрелище убитого поражает даже на войне — невольно задумываешься: откуда он родом, зачем пришел, кого оставил, и в этом чувстве — нечто человеческое. Но в Касторной не могла даже возникнуть мысль о судьбе отдельного солдата. На час показалось зимнее солнце, и в его свете трупы напоминали восковые фигуры паноптикума, а снежное поле с ломом, с расчлененными телами, с черными дырами — макет давно исчезнувшего мира.

Лейтенант дал мне хлебнуть коньяку. Мы сидели в темной избе, нагретой людьми. Все говорили наперебой. Лейтенант рассказывал, как за один день они прошли по снежной степи тридцать километров. «Бью и с ног валюсь — засыпаю...» Я запомнил молодого капитана Тищенко. Все перемешалось, и он оказался окруженным немцами. «Ну что тут поделаешь? Окружили-то мы их, а я гляжу — кругом фрицы... Даже не знаю, как это мне в голову пришло, наверно, с перепугу, схватил одного за руку, говорю: «Молодец, что сдаешься, гут, очень гут...» А они руки подняли...»

У меня записано: «Старшина Корявцев попал в ледяную воду. Командир роты говорил: «Иди в дом — простынешь». А старшина отвечал: «Мне и не холодно — злоба отогревает...»

У солдата Неймарка рука была перевязана. До войны он работал бухгалтером в Чернигове. Грязный, небритый — седая щетина. Он усмехался: «Говорят, «еврейское счастье», а вы посмотрите — мне действительно повезло: три пальца оторвало, а два осталось, и те, что надо, — могу продолжать. Я вам признаюсь: есть желание дойти до Чернигова...»

Я записал также длинный разговор с немецким разведчиком, офицером из штаба 13-го корпуса Отто Зинскером. Это был немолодой и неглупый человек. Вначале он мне сказал: «Я не ослеплен величием Гитлера, но я и не хочу его винить — он стоит того, чего он стоит. Ему удалось пробудить в немцах национальную гордость — это его заслуга. Плохо только, что нацисты часто мешают старым, опытным командирам... Конечно, искоренение коммунизма или ликвидация евреев входят в программу партии. Политика меня не интересует, а жалеть население противника военному человеку не приходится — война есть война. Но видите ли, насилия, грабежи способны развратить любую армию, даже немецкую. Впрочем, и это не главное...» Он замолчал и только час спустя, отогревшись, выкурив несколько сигарет, разоткровенничался: «Вы думаете, наша разведка не знала о ваших резервах? Да у генерала Штрома были не только номера ваших дивизий, но и данные о составе, о материальной части. Это старая история!.. Когда разведка сообщила о русских дивизиях возле Котельникова, дальше командующего армией это не пошло. Генерал фон Зальмут сказал, что в главной квартире не любят получать подобную информацию: опасно доложить фюреру — имя генерала окажется связанным с неприятностью. Есть, оказывается, закон ассоциаций... Следовательно, службу информации можно переименовать: мы занимаемся скорей дезинформацией. Генерал Штром обманывает генерала фон Зальмута, тот — генерала Кейтеля, Кейтель — фюрера. Цепочка, на ней Германию тащат в пропасть...»

Мы пробирались дальше, и в Щигры попали через несколько часов после того, как в город ворвались наши части. Приехали мы поздно вечером, долго стучались в дома, никто не отвечал. Наконец нас впустили. Сергей Иванович Лоскутов устроился у симпатичных стариков, а меня провели в комнату, где жила молодая женщина с сыном лет шести или семи. Мальчик проснулся, раскапризничался, требовал варенья. Мать взяла его к себе в постель, а я спал на диванчике. При тусклом свете лампочки я разглядел хозяйку — хорошее русское лицо, печальное, усталое. Мне было неловко, что я ее испугал; я сказал, что теперь ужасы позади, она отдохнет, успокоится. Она заплакала: вот уже полтора года, как она ничего не знает о своем муже; он летчик, последнее письмо она получила в начале войны; спрашивала меня, как его разыскать, — номер по-

левой почты, конечно, изменился, а она даже не знает, в какой он был части. Потом я уснул и проснулся от капризного голоса мальчика, который снова вспомнил про варенье. Я наконец-то увидел предмет его вожделений — консервную банку с французской надписью. Хозяйка меня угостила завтраком, объяснила: «У нас много всего — немцы побросали, а мы вечером подобрали...» Я спросил, как держались немцы. Она сказала: «Сами знаете — разве это люди? Я, к счастью, с ними не сталкивалась. Они разместились в хороших домах, а у меня, сами видите, конура. Сюда ни один немец не приходил...» Мальчик ее перебил: «Мама, дядя Отто каждый день приходил, он со мной играл, с тобой играл». Женщина густо покраснела: «Не выдумывай глупостей!..» Мальчик упрямо повторял: «Я не придумываю. Дядя Отто обещал принести домик из шоколада...» Женщина поглядела на меня перепуганная. Я сказал: «Не бойтесь, я не расскажу», — и вышел. (Эта сцена мне запомнилась; в романе «Буря» доктор Крылов ночует в маленьком городке и слышит рассказ мальчика о «дяде Отто».)

Полковник мне сказал, что задержали предателя — «полицая». В маленькой комнате сидел человек лет тридцати пяти. Он приподнял голову и поглядел на меня тусклыми, водянистыми глазами. У него был большой кадык. Он рассказал мне, что немцы открыли в Щиграх «курсы для полицейских». Там он учился. В общем, он не сделал ничего плохого. Он только написал коменданту Паулингу благодарственный адрес от выпускников. Теперь это припомнили. «Безмозглость... Я никогда не отличался практичностью...» Он начал всхлипывать: «Струсил, а теперь свои бьют...» Минуту спустя он вдруг осмелел: «Нет, вы скажите, что я сделал плохого? Почему на мне вымещают злобу? Сказали «курсы» — я и пошел. Я в свое время десятилетку кончил, мечтал дальше учиться, а не удалось. Можете людей спросить — я до войны выполнял ответственную работу, ни одного взыскания. Нужно учесть обстоятельства. Я первый радуюсь, что вернулись наши. Почему же на меня накинулись? Я не в Москве был, не моя вина, если здесь командовали немцы...»

В городке оставались деревянные домики: хорошие дома немцы, перед тем как уйти, сожгли. В городском парке я увидел немецкое кладбище — длинные вереницы крестов. Люди рассказывали о пережитом: партизаны взорвали мост, немцы тогда расстреляли пятьдесят заложников, а весной на площа-

ди повесили шесть женщин — за связь с партизанами. Когда их вели на казнь, люди плакали. Одна из женщин, увидев нарумяненную девицу, крикнула: «Стыдно быть немецкой подстилкой...» (В «Буре» я привел песенку, сложенную тогда в одном из оккупированных городов:

Вы прически сделали под немецких куколок,
Красками намазались, вертитесь юлой,
А вернутся соколы — не помогут локоны,
И пройдет с презрением парень молодой.)

Замучили братьев Русановых...

Полковник сказал, что наши быстро продвигаются к Курску, дня через два-три, наверное, освободят город. Мы поехали по указанному маршруту и в Косарже попали под сильную бомбежку, лежали на снегу; а когда встали, поле было в больших черных пятнах.

Началась сильная вьюга. Водитель ругался, каждые сто шагов останавливался, мы выходили, пытались угадать, куда ехать, — дорога исчезла. Проехали мы десять, может быть, пятнадцать километров, потом машина завязла. Начало смеркаться — было четыре часа. Еды у нас не было, мы мерзли. Мотор заглох. Одет я был, скорее, плохо: шинель, сапоги, перчатки вместо рукавиц. Настала ночь. Вначале я страдал от холода, а потом как-то сразу стало тепло, даже уютно. Сергей Иванович ругался, говорил, что, как только рассветет, пойдет искать жилье. А водитель и я молчали. Я не спал, но дремал, и мне было удивительно хорошо; в общем, я замерзал.

Несколько раз в жизни я примерял смерть. Самое неприятное — задохнуться. Однажды мы летели в бурю через Альпы — Корнейчук, В. Л. Василевская, Фадеев и я. Маленький самолет поднялся на высоту четыре тысячи метров. Фадеев продолжал читать. Я увидел лицо Корнейчука и испугался — оно было зеленоватым. Я раскрывал рот и чувствовал, что дышать нечем. Когда проводница принесла подушку с кислородом, у меня не было сил, чтобы вдохнуть. Это было отвратительно.

А вот ночь между Косаржей и Золотухином я вспоминаю с нежностью. Чего только мне не мерещилось! Кажется, в жизни я не испытывал такого блаженства. Шофер мне потом рассказал, что он тоже замерзал и тоже видел хорошие сны. А Сергей Иванович не хотел примириться с судьбой, хотел

нас спасти. Чуть рассвело, он сказал: «Иду». Я ответил, что это глупо; поглядел — он тонул в сугробах, а я снова вернулся к своим мечтаниям. Смутно помню, как подъехали сани. Меня выволокли, покрыли тулупом. Сергей Иванович улыбался.

Майор дал мне стакан водки; я выпил и не почувствовал даже, что это водка. Майор покачал головой и налил еще полстакана. Конечно, выпей я столько, да еще натошак, в обычном состоянии я лежал бы под столом; а тут мы закусили и час спустя с офицерами артиллерийского батальона, сидя над картой, обсуждали, как добраться до Курска. Нашу машину дотянули до Золотухина, а оттуда по железнодорожному пути мы отправились в Курск.

(Летом 1962-го после заседания подготовительного комитета Конгресса за разоружение, на котором представитель Кении объяснил пацифистам, что мао-мао не племя, а партия, мой сосед Н. И. Базанов, скромный и вполне миролюбивый человек, неожиданно спросил меня, помню ли я, как меня отогревали артиллеристы возле Золотухина. Я и до того встречал Николая Ивановича, но не подозревал, что это тот самый майор, который лечил меня водкой в далекое февральское утро.)

Мне передали папку, на ней значится: «О пребывании на фронте Ильи Эренбурга. В деле подшито и пронумеровано 35 листов. Начато 5 февраля 1943 года, кончено 20 февраля 1943 года». В папке — сначала телеграммы, подписанные мной и майором Лоскутовым: «Прибыли в Топаз, выезжаем в части», «Прибыли в «Прожектор», «Выехали в хозяйство Черняховского». Телеграммы адресованы в «Бархат» — так называлась Москва. «Прожектор», «Закал», «Топаз», «Кадмий» — были штабами различных армий. После 6 февраля мы не подавали признаков жизни, и генерал Вадимов всполошился, он слал телеграммы начальнику политуправления Брянского фронта генералу Пигурнову, генералам Черняховскому, Пухову, корреспондентам «Красной звезды» — полковнику Крайнову и майору Смирнову, вызывал их по прямому проводу. Майор Смирнов резонно отвечал: «Очевидно, Эренбург застрял в пути, вот уже четыре дня сильная метель, дороги для проезда непригодны». Но генерал Вадимов требовал, чтобы меня немедленно разыскали, он даже всполошил Любу и успокоился, только получив телеграмму: «Прибыли Курск штаб 60 армии».

В Курске я сел за статью — впервые с начала войны в течение трех недель мое имя не появлялось в газете.

Немцы пробыли в Курске пятнадцать месяцев, там я увидел, что такое «новый порядок», о котором писали «Курские известия», выходявшие при оккупантах. Я разглядывал людей то оцепеневших, то возбужденных и говоривших без умолку. Были среди них и герои, и трусы, и мещане, приспособившиеся к мародерству, к спекуляции, к стрельбе, к попойкам. Из рассказов вставала картина лихорадочной, бессвязной, да и бессмысленной жизни. В зале, где заседала городская управа, висел портрет Гитлера. Городским головой был назначен некто Смялковский; я просмотрел его доклады коменданту города генералу Марселлу; голова трусил, юлил, старался доказать, что он предан фюреру.

Открыли несколько предприятий — трикотажную фабрику, кожевенный завод, мельницу. Процветали комиссионные магазины, но душой города был базар. Там торговали сахаром, лекарствами, украденными у немцев итальянскими чулками, самогоном. Один дворник стал богатым человеком — он донес, что в подвале прячутся две старухи-еврейки, вошел в доверие гестаповцев, получил хорошую квартиру и жил припеваючи. Один врач торговал на базаре сульфазолом, выпив, он говорил: «А все-таки я не жалею, что остался. Конечно, немцы — бандиты. Но разве я мог себе представить, что можно каждый вечер пить французский коньяк и дарить девочкам чулки?..»

Я познакомился с девушкой, бывшей студенткой пединститута, которая, расплакавшись, мне выложила все: «Я вам доверяю: я читала ваш роман про любовь, не помню названия, какая-то французенка... Не знаю, было ли это с моей стороны любовью или просто увлеклась с тоски. Но он не приставал, только целовал руку. Он очень хорошо играл на рояле, говорил про чувства. Никогда раньше я не слыхала таких слов. Вот и растрогалась... А теперь — расплата...» Она жадно глядела на меня — искала сочувствия. Я молчал. Много лет спустя я увидел фильм «Хиросима — моя любовь»: молоденькая французенка во время оккупации влюбилась в немецкого солдата; немцев прогнали, над девушкой издеваются, бьют ей голову, она похожа на затравленного зверька. Актриса играла хорошо, и мне было жалко героиню фильма. Я долго думал о «странностях любви». Почему же не наш-

лось во мне жалости к молодой курянке? Все было слишком свежо. Как раз до этого я разговаривал с учительницей Козуб; ее отправили рыть рвы, и немецкий офицер бил ее по лицу. Я видел другую учительницу — Привалову, немцы убили ее сына. Я разговаривал с единственным евреем, который выжил. Он лежал в тифозной палате, и сиделки сказали немцам, что он умер. А других убили в предместье Щетники. Грудных детей ударяли головой о камень. Я чувствовал, что все во мне окаменело. Конечно, немец, в которого влюбилась студентка, мог испытывать угрызения совести, даже терзаться, кто его знает? Но мне тогда было не до «странностей любви».

Встретив студентку пединститута Зою Емельянову, которая доставляла партизанам оружие, я обрадовался ей, как живой воде; записал: «Зоя — вот комсомолка!» (Потом я иногда получал от нее письма, мы разговаривали не больше часа, а она осталась в моей памяти человеком, душевно близким.)

Я повидал и других смелых, благородных людей, но не скрою: мне было тяжело. Я знал, что население узнало всю меру страданий — нельзя сравнить порядки фашистов в оккупированных городах Франции, Голландии, Бельгии с теми, которые царили в захваченных гитлеровцами областях Советского Союза. Несмотря на расправы, люди оставались неукротимыми, и, может быть, именно поэтому приметы благополучия казались невыносимыми. Мы все дышали тоской, обидой, гневом. Вот идет модница. Откуда у нее этот свитер? Чем торговал тот румяный рыжеусый гражданин? Яичным порошком или сапогами, снятыми с повешенных? Потом я видел много освобожденных городов, видел и слезы радости, и могилы героев, и угодливые улыбочки приспособившихся. Я понял, что жизнь при оккупации была призрачной. Молодых мужчин почти не было — они сражались в нашей армии. Непокорных убивали или отсылали на работы в Германию. «Снятое молоко не бывает густым», — сказала мне старая женщина в Орле. (Она скромно промолчала, что прятала в подвале своего домика раненого красноармейца — об этом потом мне рассказали в горсовете.) Курск я особенно хорошо запомнил потому, что он был первым освобожденным городом, который я увидел.

В Курске я познакомился с генералом И. Д. Черняховским. Он поразил меня молодостью; ему было тридцать шесть

лет; порывистый, веселый, высокий, он выглядел еще моложе. При первой же беседе он показался мне непохожим на других генералов. Он рассказал, что немцы теперь жалуются на «парадоксальное положение» — «русские ударяют с запада, и мы порой вынуждены прорываться на восток». Иван Данилович говорил: «В общем, они забыли свою же теорию «клетей». Мы у них кое-чему научились...» Будучи танкистом, он, однако, говорил: «Танки кажутся теперь началом новой военной эры, а это, скорее, конец. Не знаю, откуда придут новшества, но я, скорее, верю в утопический роман Уэллса, чем в размышления де Голля, Гудериана или наших танкистов. Учишься, учишься, а потом видишь, как жизнь опрокидывает непреложные истины...» При следующей встрече он заговорил о роли случайности: «Я не знаю, какую роль сыграл на сморк Наполеона во время решающей битвы. Об этом слишком много писали... Но случайного много, и оно изменяет данные. Это как с ролью личности в истории,— конечно, решает экономика, база, но при всем этом может подвернуться Наполеон, а может и не подвернуться...»

Несколько месяцев спустя, когда я его снова встретил возле Глухова, он говорил о Сталине: «Вот вам диалектика — не теория, а живой пример. Понять его невозможно. Остается верить. Никогда я не представлял себе, что вместо точных инструментов, вместо строгого анализа окажется такой клубок противоречий...»

Судя по приведенным мною словам, Черняховский должен был быть мрачным, а он был весел тем неизбынным весельем, которым одаривает природа своих любимцев. Он и в Курске смеялся, шутил. Вдруг вскочил, начал декламировать:

Нас водила молодость
В сабельный поход...

Смеялся: «Если разобраться, глупо, а совсем не глупо, умнее любого курса истории... Багрицкий, говорят, любил птиц. Но вы знаете, в Умани один старичок мне когда-то рассказывал, что царь Давид писал псалмы и кланялся лягушкам за то, что лягушки удивительно квакают — тоже поэзия...»

На войне Черняховскому неизменно сопутствовала удача. Конечно, он блестяще знал военную науку, но для победы этого мало. Он был смелым, не ждал приказов, и в трудные минуты счастливая звезда его выручала. В начале войны он

командовал танковым корпусом, а весной 1944 года его назначили командующим Третьим Белорусским фронтом. Он первый вошел в Германию. В феврале 1945 года я был в Восточной Пруссии, в городке Барнштейне. Черняховский позвонил в штаб армии, звал меня к себе: «Скорее приезжайте, дело идет к шапочному разбору...» Три дня спустя он был убит.

Других генералов я встречал потом в Верховном Совете, на приемах, на парадах. Кто умер в своей кровати, кто вышел на пенсию, кто еще служит. А Иван Данилович остался в моей памяти молодым; под аккомпанемент орудий он повторял романтические стихи или делился умными и горькими наблюдениями...

Вернусь к марту 1943 года. Наступила длительная передышка (бои на Курской дуге вспыхнули четыре месяца спустя). Газеты были заполнены списками награжденных, фотографиями новых погон и орденов, статьями о традициях гвардии, поздравительными телеграммами. По пути в Москву я заночевал в избе где-то возле Ефремова. На печи сидел солдат, разувшись, он бубнил: «Идти да идти... Ноги по колено оттопаем... А письмо я вчера получил, бог ты мой!..» Я заснул, так и не дослушав, о чем было письмо. Впрочем, кто из нас тогда не писал или не получал таких писем?..

13

С К. А. Уманским я подружился в начале 1942 года. Он жил в той же гостинице «Москва», что я, и мы встречались чуть ли не каждый день (вернее сказать, каждую ночь; я поздно приезжал из «Красной звезды» — в два, иногда в три часа ночи. Константин Александрович в то же время возвращался из Наркоминдела: Сталин любил работать ночью, и ответственные работники знали, что он может позвонить, потребовать материалы, справку). В июне 1943 года К. А. Уманский уехал в Мексику, и больше я его не видел. Полтора года, казалось бы, небольшой срок, но время было трудное, и хотя соль отпускали по карточкам, я могу сказать, что мы с ним съели положенный пуд.

Я сейчас задумался: почему я мало рассказываю о политических деятелях, с которыми по воле или по неволе встре-

чался; я ведь жил в эпоху, когда политика вмешивалась в судьбу любого человека, и часто газетные сообщения волновали меня куда больше, чем книги или картины. Скорее всего, я недостаточно знал различных людей, с которыми жизнь меня сталкивала. Многие предопределяет профессия, если она не вынужденная, не случайная. Конечно, у меня есть своя стихия, свои пристрастия, свое ремесло: но по самому характеру своей работы писатели редко бывают узкими профессионалами: они должны разбираться в душевном мире различных людей. Капитан Дрейфус был ограниченным специалистом: он так и не понял, почему за него заступился «штафирка» Эмиль Золя. Для Михайловского Чехов был непонятен, а Чехов хорошо понимал народников или либералов.

С Уманским я сблизился, потому что он не походил на большинство людей его круга. Он редко говорил мне о своем прошлом — время было малоподходящим для воспоминаний. А между тем наши пути порой скрещивались, вероятно, мы встречались, но время стерло память о беглых встречах. Вряд ли дипломаты в Вашингтоне знали, что советник посольства СССР, а впоследствии посол, удивлявший всех своей молодостью и политической осведомленностью, в 1920 году написал по-немецки книгу, посвященную не Версальскому договору и не дипломатической блокаде, а живописи художников, привлекавших к себе внимание в первые годы революции, — Лентулова, Машкова, Кончаловского, Сарьяна, Розановой, Малевича, Шагала и других. Константину Александровичу тогда было восемнадцать лет. Его книгу, озаглавленную «Новое русское искусство», выпустило крупное берлинское издательство. Он увлекался конструктивизмом, и, наверно, когда я издавал с Лисицким журнал «Вещь», я встречал молодого энтузиаста. Потом Уманский много лет был корреспондентом ТАССа в различных столицах Западной Европы, и не мог я с ним не сталкиваться. Когда я начал работать в «Известиях», он был заведующим отделом печати Наркоминдела, дружил с Кольцовым, не сомневаюсь, что я его встречал, — в Куйбышеве осенью 1941 года мне его лицо показалось знакомым.

Конечно, мы часто говорили о Рузвельте, Черчилле, об американских изоляционистах, о втором фронте, но мы говорили и о множестве других вещей. Кроме своего дела, Константин Александрович любил поэзию, музыку, живопись, все его увлекало — и симфонии Шостаковича, и концерты

Рахманинова, и грибоедовская Москва, и живопись Помпей, и первый лепет «мыслящих машин». В его номере на пятом этаже гостиницы «Москва» я встречал адмирала Исакова, писателя Е. Петрова, дипломата Штейна, актера Михоэлса, летчика Чухновского. С разными людьми он разговаривал о разном — не из вежливости: ему хотелось больше узнать, разглядеть все грани жизни.

Говорят, что эрудиция связана с памятью; теперь на Западе в моде состязания — человеку ставят публично неожиданные вопросы: в котором году родился Пипин Короткий, какие диалоги написал Платон, что такое векторное и тензорное исчисление и так далее. Редкие удачники получают большие призы, а проваливающихся провожают смехом. Люди, удачно отвечающие на все вопросы, обладают феноменальной механической памятью, но это не означает, что их можно назвать просвещенными. Память у Константина Александровича была редкостная, но запоминал он то, что его заинтересовало; в его голове был не каталог, а текст. Он блистательно говорил по-английски, по-немецки, по-французски; вручая верительные грамоты президенту Мексиканской республики, он сказал: «Через полгода я буду говорить по-испански», — и выполнил обещание, поражал мексиканцев безупречным испанским языком. Разумеется, знание языка нужно для дипломатической работы. (Хотя в конце сороковых годов на пост посла частенько назначали человека, который не владел языком страны, где должен был работать, очевидно считая, что чем меньше он будет говорить с иностранцами, тем лучше.) Но Уманский не только потому быстро овладевал языками, что отдавался своей работе, нет, ему хотелось свободно беседовать с Пабло Нерудой, с Жан-Ришаром Блоком, с Анной Зегерс, читать в подлиннике Поля Валери, Брехта, Мачадо.

Он ненавидел чиновный дух, а приходилось ему слишком часто им дышать, вернее, в нем задыхаться. Иногда он не выдерживал, говорил: «Снова неприятности: я предложил отступить от шаблона — и влетело...», «Пуще всего боятся «новшеств», инициативы...» Он рассказывал мне, как попытался в Америке изменить характер информации, ничего не вышло. «Мы не понимаем, чем мы вправе гордиться, скрываем лучшее, заносчивы, как неуклюжие подростки, и при этом боимся — вдруг какой-нибудь шустрый иностранец пронюхает, что в Миргороде нет стиральных машин».

Об американцах он говорил: «Способные дети. Порой умиляешься, порой невыносимо... Европа разорена, американцы после победы будут командовать. Тот, кто платит музыкантам, заказывает танцы... Конечно, Гитлер не нравится рядовому американцу: зачем жесть, если можно купить? Вот его логика. А расизмом вы его не возмутите... Не судите об американской политике по Рузвельту, он на десять голов выше своей партии...»

Как-то он сказал мне: «Моего «босса» рассердило, что мне не нравятся дома на улице Горького, — должны нравиться...» В другой раз мы заговорили о Пикассо (Константин Александрович его очень любил); он сказал: «Я как-то упомянул его имя, на меня гаркнули, он, дескать, шарлатан, издевается над капиталистами, живет за счет скандала... Почитайте такому товарищу стихи Шекспира по-английски, он скажет: «Галиматзя, сумбур вместо поэзии...» Помните слова Сталина об опере Шостаковича?.. А еще есть Жданов... Причем их вкусы обязательны для всех...»

Случайно у меня сохранилось несколько писем из Мехико. В одном Уманский, говоря о новом после Мексика в Москве Бассольсе, просит: «Вам стоит уделить ему время и не дать ему «скиснуть» в атмосфере московского дип-инкоровского корпуса. Не сомневаюсь, что беседы с ним на латиноамериканские, европейские и прочие темы доставят вам то же истинное удовольствие, какими они были для меня на очаровательной родине вашего Хулио Хуренито». В другом он пишет: «Посылаю вам каталог-монографию Пикассо в связи с недавней выставкой здесь его картин. Кстати, американская таможня задержала на несколько месяцев его холсты, отправленные сюда из США, считая, что они, возможно, содержат нечто вроде тайного кода».

Мне всегда казалось, что Уманский родился под счастливой звездой. Редчайший случай — человека, которому было тридцать семь лет, назначили на ответственный пост посла в Соединенных Штатах. Он пробыл в Америке самые горькие годы — с 1936 по 1940-й. Может быть, это его спасло. Ведь на посту заведующего отделом печати его сменил Е. А. Гнедин, человек умный, знающий, автор книги памфлетов, и Гнедина посадили. Евгений Александрович вернулся в Москву только после оттепели. А Уманский уцелел, и его послали в Мексику. Он радовался: новый мир, новые люди —

он был на редкость любознателен. Там он сможет проявить некоторую инициативу. (Действительно, он пробыл в Мексике полтора года, и мексиканцы в один голос говорят, что он сделал очень много, пользовался большой популярностью, государственные деятели прислушивались к его суждениям.)

И вдруг все изменилось: с неба ушла звезда. В июне 1943 года жизнь Константина Александровича надломилась из-за трагической и нелепейшей случайности. У него была дочь Нина, подросток, школьница. Она должна была уехать в Мексику вместе с родителями. Подросток, товарищ по школе, в нее влюбился; узнав, что Нина уезжает, он после бурного объяснения застрелил ее и покончил с собой. Уманский обожал свою дочь; только на ней держалась его семейная жизнь. (Я знал, что есть у него в жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой».) И вот неожиданно разыгралась драма...

Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне. Он едва мог говорить, сидел, опустив голову, прикрыв лицо руками.

Несколько дней спустя он уехал в Мексику. Его жена, Раиса Михайловна, уезжала почти в бессознательном состоянии.

Год спустя Уманский писал мне: «...Пережитое мною горе меня основательно подкосило. Р. М.— инвалид, и состояние наше намного хуже, чем в тот день, когда я с вами прощался. Как всегда, вы были умницей и дали мне некоторые правильные советы, которых я — увы — не послушался»... Я перечитал теперь это письмо и напрасно пытался припомнить, какие советы я мог давать человеку, на которого свалилась беда. Вероятно, пытался его успокоить, обнадежить, не помню.

В январе 1945 года самолет стартовал с аэродрома Мехико. Пришедшие проводить Уманских видели катастрофу. Константину Александровичу было сорок два года.

На траурном собрании в Мехико, посвященном Уманскому, выступили не только политики или дипломаты, но и самый крупный писатель Мексики Альфонсо Рейес, актриса Долорес де Рио; одна мексиканская поэтесса издала «Оду Константину Уманскому». Видно, люди искусства и там почувствовали в нем своего...

Может быть, и об Уманском следует сказать, что он умер вовремя? Это звучит кощунством, но если я представляю себе

его в 1962 году, то уж никак не в 1952-м. По возрасту он был чересчур молод для плеяды советских дипломатов, которых называли «литвиновскими», но по формации, конечно, принадлежал к ним. Одни из них погибли еще в 1937 году, а случайно выжившие оказались не у дел, как ближайший друг Уманского Б. Е. Штейн, или были отправлены Берией далече, как Е. В. Рубинин. На приемах в Мехико Уманский должен был облачаться в нововведенную форму. Я его в ней не представляю. Еще меньше я его представляю в 1949 году — в эпоху борьбы с космополитизмом. Впрочем, напрасно гадать, что с ним случилось бы дальше: в дело вмешалась судьба — несчастный случай или диверсия — отказал мотор, отказала любимица Константина Александровича — жизнь.

14

Говорят: глубокая ночь, глубокая осень; вспоминая 1943 год, мне хочется сказать: глубокая война. Мир уже забылся и еще не мерещился. В тот год все переменялось — началось освобождение нашей земли от захватчиков. В начале июля на Курской дуге немцы попытались перейти в наступление. Их остановили, потом отбросили. Две недели спустя возле Карачева я увидел указательный столб: «До Берлина 1958 километров». Было это в сердце России, немцы еще удерживали Орел, а какой-то весельчак уже подсчитал, сколько остается пройти его батальону.

Читателя может удивить, даже рассердить, почему я столь коротко пишу о важнейших годах в мировой истории и моей жизни. Но я предупреждал, что не покушаюсь на труд летописца. Название этой книги я понимаю так: люди и годы — это жизнь, моя жизнь, одна из очень многих. Годы войны были длинными. Никогда ни до того, ни после я не встречал столько людей. Порой в течение одного дня я беседовал с десятками людей, которых прежде не знал, в блиндаже или на лесной лужайке выслушивал смешные истории, долгие рассказы, душевные признания. Я хорошо помню отдельные лица, фразы, хаты, развалины, но не помню, кто мне сказал: «Злоба сердце выгрызла»; не помню, где хоронили ночью убитого офицера и кто тогда говорил: «Старший лейтенант вой-

дет с нами в Киев»; не помню, в каком городишке, сожженном дотла, я, вдруг отчаявшись, молил девочку с жиденькой косичкой: «Да ты не плачь, не то я заплачу...» Сожженные села, разбитые города, обрубки деревьев, завязшие в тине машины, санбаты, наспех вырытые могилы — все это сливается в одно: стояла глубокая война.

Если бы я писал сейчас роман или повесть, то у меня хватило бы воображения, чтобы показать отдельных людей, окрестить их, разместить в Брянских лесах или на другом берегу Десны, но я дал себе слово в этой книге ничего не придумывать, даже если связный вымысел может показаться правдоподобнее разрозненных страниц действительности. Сплошь да рядом о людях, выполнявших роль статистов, я говорю обстоятельнее, чем о героях, и малопримечательные эпизоды занимают в книге больше места, нежели патетические события, — ничего не подделаешь, я ограничен памятью, а у памяти свои законы, человек не знает, почему ему запомнилось одно и почему он запомнил другое. Есть мемуары, в которых на помощь автору приходит беллетрист, заполняя бреши увлекательными новеллами, есть и другие — автор прочитывает много книг, старается объективно установить, чем жили люди в описываемые им годы, дать верную картину эпохи. А я говорю только о том, что запомнил.

(У меня сохранилось несколько записных книжек военных лет, но записи беглые, скудные: был там-то, говорил с тем-то, вереницы имен, названия деревень, номера вражеских дивизий, отдельные фразы.)

В июле 1943 года я был под Орлом. Лето стояло изумительное, с частыми шумными ливнями. Трава была ярко-зеленой, никогда, кажется, не видел я столько полевых цветов. В лесной гуще прятались наши танки; порой я набредал на подбитые немецкие — новинки того сезона «тигры», «фердинанды». Штаб генерала И. Х. Баграмяна помещался в построенном немцами поселке с березовыми верандами и беседками. Кругом было много деревень, сожженных еще прошлым летом за связь с партизанами; все заросло бурьяном, и только свежие надписи «Михайловка» или «Бутырки» напоминали, что здесь жили люди. В книжке названия: Льгово, Кудрявец, Стайки, Бояновичи, Пеневичи, Хвастовичи...

Осенью я увидел Украину: Глухов, Клишки, Чаплеевка, Обтов, Короп, Понорница, Коробковка, Щорс, Городня, Доб-

рянка; кусок Белоруссии: Марковичи, Грабовка, Васильевка, Горностаевка, Тереховка, Тереха; снова Украина: Красиловка, Козелец, Остер, Летки, Бровары, Богдановичи, Семиполки; правый берег Днепра: Жары, Лютеж...

Почему я переписал эти названия? Для меня они звучат, как стихи: в них и прошлое, и скромная, стыдливая красота, да и связаны они с подвигом многих, положивших свою жизнь за то, чтобы освободить старые, насиженные, надышанные гнезда, которые в сводках именовались «населенными пунктами».

Под Орлом командир батальона майор Харченко позвал меня обедать. Это был смуглый человек с большущими усами. Он рассказывал, как его старая мать пряталась среди развалин Сталинграда; хитро подмигивая, объяснял предстоящую операцию: «А мы их в клещи, мы теперь ученые...» Младший лейтенант Ионсян говорил: «Он, подлец, до Кавказа дошел, ко мне в гости навязывался — я ведь бакинец. А я вам откровенно скажу: я его и тогда презирал...» Танкист Красцов мне сказал: «Галей ее зовут. Вот фото — ничего особенного, а по моему, исключительная. Может быть, она про меня забыла — не знаю. Я из Пскова, говорили, будто успела выбраться, а как ее найдешь?.. Я вам говорю, вы писатель, значит, должны понять. Что я такое? Обыкновенный человек, член партии, до войны работал зоотехником. А я теперь все понял. Скорей всего, убьют, воюю с начала, два раза был ранен — выкарабкался. В общем, это не главное... У меня такое в голове, что смешно сказать, будто я не Красцов Степан, а Пушкин или Есенин...»

Что стало с этими людьми? С молоденьким автоматчиком Митей Буйловым? Вернулся ли с войны лейтенант Плавник? Жив ли сапер Ефимов, который первым переплыл Сож?

Возле Орла я встретил генерала Федюнькина. Не знаю, как дальше сложилась жизнь Ивана Федоровича. В Броварах вместе с В. С. Гроссманом мы просидели полночи у генерала С. С. Мартиросяна. Он поразил нас человечностью, гуманизмом, необычайным благородством мыслей и чувств. Мы возвращались в темноте; приднепровские пески, освещаемые фарами, казались снегом. В небе висели яркие ракеты. Василий Семенович говорил: «Вот идешь и попадаешь на такого человека...» В мирное время видишь человека изо дня в день и ничего о нем не знаешь: у каждого свое дело, свой дом,

своя скорлупа. А на войне все путается: люди раскрывают душу, встретил человека и сразу потерял. (Генерал Мартиросян в 1963 году написал мне, что он вышел в отставку и живет в Ереване.)

Иногда я получаю неожиданно письма от старых фронтовиков, с которыми встречался или переписывался в годы войны. В августе 1942 года, по просьбе танкистов-комсомольцев, командир первого батальона Четвертой гвардейской бригады полковник Бибииков зачислил меня «почетным красноармейцем» в один из экипажей. Отсюда пошла моя дружба с танкистами-тацинцами, особенно со старшиной И. В. Чмилем и лейтенантом А. М. Баренбоймом. Встречался я с тацинцами в Белоруссии, был у командира корпуса генерала А. С. Бурдейного, он меня познакомил со многими бойцами, бывали тацинцы и у меня в Москве. Сохранились некоторые письма. В 1942 году И. В. Чмиль писал: «Я еще молод, год рождения 1918, родом я из славной и любимой Полтавщины, с белыми хатами и зелеными садами. Не раз смерть заглядывала в мои веселые глаза, но я не трусил. Подумаешь — и обидно становится: как мы жили счастливо и весело! У меня были четыре сестренки, все меньше меня. У меня были папаша и мамаша. У меня была любимая девушка...» Иван Васильевич провоевал до конца, был восемь раз контужен, несколько раз выбирался из горевших танков — словом, хлебнул горя. После войны он женился, учился в техникуме, теперь он в городе Шауляй сотрудник горфинотдела, жена его Антонина Васильевна работает на эпидемстанции. У них трое детей: Игорь, Виктор и Наташа. В 1956 году он писал мне: «...Да, никому не хочется снова пережить ужасы войны — обжились мы, все отстроили, семьи заимели, привыкли к мирной, счастливой жизни. Игорь уже ходит в первый класс. И все же есть в мире черные силы. Неужто мне еще придется сесть ва рычаг Т-34?..»

А. М. Баренбойм работает в Одессе. Как-то я получил от него письмо, он просил заступиться за парнишку, поэта, попавшего в беду. И. В. Чмиль мне написал: «Я думал, что вам известно, что Александр Баренбойм погиб. Он был настоящим воином, был золотой человек. Погиб он в феврале или марте 1944 года между Смоленском и Оршей». Я ответил Ивану Васильевичу, что Баренбойм жив, послал адрес и получил вскоре письмо: «Саша — это любимец и герой всего

нашего корпуса, любимец всего личного состава. Оказалось чудо: он был тогда тяжело ранен и чуть не отдал душу богу, он выжил и в нашу часть не вернулся, и мы считали, что он погиб...» Мне трудно объяснить, почему меня так радуют письма Ивана Васильевича и Александра Менделевича; ведь встречался я с ними редко, но вот их судьба меня волнует больше, чем судьба многих людей, с которыми мне приходилось встречаться слишком часто.

Обрадовался я и письму снайпера Г. Н. Хандогина, с которым я переписывался в военное время. До войны Гавриил Никифорович бил в тайге пушного зверя. Теперь он работает на строительстве пилорамщиком. «Стала болеть раненая нога. А работать надо. У меня четыре иждивенца... В первые годы после войны еще ходил в тайгу охотиться на медведей, добывал соболя, белку, а сейчас не могу. Да и ружье подаренное утопил в реке, сам еле выбрался... Очень хотелось бы встретиться с вами в мирной обстановке, дома, среди семьи. Вот если бы вы приехали ко мне в гости...»

Вернусь к 1943 году. Стояла теплая осень, с грибами, с паутиной в лесу, с ясным далеким небом. Все, казалось, настраивало на мир, на любованиe. А приходилось видеть страшное. В Белоруссии немцы, отступая, аккуратно жгли села, убивали скот. У обочин валялись мертвые коровы со вздувшимися животами. Пахло гарью.

В селе Богдановичи остался только старик. Он сидел на солнце. Я попытался заговорить, он не отвечал. На земле лежали буханки хлеба, кусок сала,— видно, солдаты положили. Старик сидел и глядел в одну точку.

В Козельце женщина рассказывала: «Сколько Шуре было? Двенадцать годов. Она у Луши меньшая. Лушу застрелили, а Шура просила немца: «Дяденька, не убивай! Я жить хочу. Пошли лучше в Германию». Он ее сначала оставил, даже колбасы дал, а потом не выдержал — застрелил...» В маленьком Козельце гитлеровцы расстреляли восемьсот шестьдесят человек.

Возле Триполья, на дороге в Обухов, я видел яр и дощечку: «Здесь 1 июля 1943 года немецкими палачами замучено и расстреляно 700 человек — стариков, женщин, матерей с детьми. Среди них Мария Билых с пятью детьми и 65-летней матерью и Горбаха Дуня с двумя сыновьями».

Житель Пирятина П. Л. Чепуренко рассказывал, как его

пригнали рыть яму. Гитлеровцы убили тысячу шестьсот евреев. Чепуренко вдруг услышал — его окликали. Среди трупов был Рудерман, ездовой валечной фабрики: лицо у него было в крови, один глаз вытек, он просил: «Добей меня!..» «Живыми зарывали, земля ходила», — рассказывала женщина.

Я видел предателя-старосту. Он держался спокойно. Из-за него убили женщину с грудным ребенком. Он мне сказал: «Зря народ волнуется. Сами сказали: «Иди в старосты». А что я плохого сделал? Давал характеристики, и только. Пальцем никого не тронул...»

Лошадей не было. Пахали на коровах. Возле Васильевки корова тащила лес. Колхозница причитала: «Ослепла коровушка! Не может она... Идет, а не видит. Да и я надорвалась, гляжу и не вижу. Да разве можно так жить?» У коровы были очень ясные, спокойные глаза, а на спине большая плешь.

«Теперь легче будет — наша берет, — рассуждал старик, — на покрова малина — это на жизнь...» На правом берегу Днепра крестьянка крестила солдат, грузовики, орудия: «Пять часов стою, а все идут, идут. Немой-то гуторил, что у русских ничего...»

Я сидел ночью у Сожа. Немцы бомбили мост — восемь прямых попаданий. Саперы не прекращали работы. Санитары уносили раненых, убитых. Все выглядело скромно, серо, работали с топорами, с пилами, с молотками. Я вспомнил понтонеров Эбро: там было много романтики, песен, шуток. Видимо, это в характере народа. Русские очень любят театр, а в жизни не терпят ничего театрального, не верят оратору, который говорит красноречиво, стыдятся патетичного: даже смерть представляют буднично. Говорили саперы о работе, о том, что для моста лучше всего бочки, что вода холодная, нужно вбить сваи, «а тут немец пугается, мешает».

В Чернигове было тихо. На земле валялись каштаны, похожие на полированные камешки, и я вспомнил, как ребенком в Киеве играл с такими «камешками». Разрушенный дом, осталась только мемориальная доска: здесь помещалась гостиница «Царьград», где останавливался Пушкин, жил Шевченко. Я думал о красоте старых церквей, о мире. Вдруг начали бомбить. Убили девочку.

В Васильевке из шестисот дворов уцелели тридцать. Крестьяне прятались в лесу. Фашисты поймали тридцать семь человек и убили, убили глубокого старика С. К. Полонского и

тринадцатилетнего Адама Филимонова. Жена одного из расстрелянных говорила: «Ты напиши — жить мы не сможем — душа не выдержит...» «Факельщики» жгли за селом село, клали солому, не жалели горючего — жгли не от злобы, а деловито — выполняли приказ. Сожгли Тереховку. Колхозницы поймали одного «факельщика» — он залез в скирд, — закололи вилами.

У одного старосты нашли список расстрелянных, в списке: «Музалевская Римма Николаевна трех лет, Давыдов Виктор Михайлович одного года».

Повесили предателя. Он висел очень длинный, бороду тербил ветер. Женщина подбежала к нему, вцепилась в бороду, хотела вырвать — и вдруг закричала. До сих пор слышу этот крик... В Корючкове священник пошел к немцам с крестом — просил пощадить село. Его расстреляли вместе с попадшей.

Вот еще рассказ, записанный в книжечке: «Она, конечно, чужая, одни говорили, будто еврейка, другие — что с партизанами дружила, одним словом, немцы повели ее на площадь. А у нее дите, и она дите хотела укрыть. Ее, конечно, застрелили, а дите живое, ползает. Мы просили: «Дай дите». А один немец молодой выбежал, схватил и головкой о камень...»

Глухов, Козелец немцы, уходя, не успели сжечь, сожгли потом с воздуха.

Я радовался, видя чудом уцелевшую деревню. Помню, как семидесятилетний колхозник Иллистратов строил хату. Его дом сожгли. Я спросил его, не слишком ли тяжела работа. Он улыбнулся: «Ничего, дострою... Это не для себя. Мне-то помирать пора. А тут вот солдатики. Мужьев у них поубивали, а жить нужно...»

Белел песок. Фотокорреспондент Кнорринг снимал понтоны. А в воде фыркал от удовольствия солдат: «Дождался — днепровская вода, такой другой нет...» Вечером мне рассказали, что он погиб — только мы отъехали от берега, как начали бомбить переправу.

Боюсь, эти несвязные картины мало что скажут читателю. Люди постарше прошли дороги войны, видели, помнят. А молодые знают по десятку романов. Да я и не собираюсь воссоздавать облик войны. В 1943 году я раза два или три ходил на собрание московских писателей. Тогда требовали «монументальных полотен»: искусство должно было подавлять размерами. Лет пять спустя начали строить высотные здания, а во

время войны было не до строительства, и вот писателям предлагали срочно изготовить литературные небоскребы. Многие писатели хмурились и молчали.

Мне казалось, что в те годы нужно было не создавать литературу, а ее отстоять — язык, народ, землю. Я продолжал заниматься неблагодарной работой — каждый день писал несколько статей. В записной книжке у меня помечено, что в октябре я написал восемь статей для заграницы, шесть для московских газет, семнадцать для фронтовых. Я не мог не писать, приходили бойцы, говорили: «Почему про Осипова нет? Когда паром затонул, он выручил». «Напишите про Хакимова — может, родные прочитают». «Товарищ Илья, расскажи про снайпера Смирнова, он вырежет, матери пошлет».

Враг был еще очень силен. Нужно было показать, что он душевно надломлен, что контратаки у Житомира — случайный эпизод, что никакие «тигры» не спасут Гитлера. Изю дня в день продолжал я писать о зверствах фашистов: того требовали не только бойцы, но и совесть.

Желтые, полуистлевшие листы газет. Я могу по ним восстановить отдельные боевые эпизоды, припомнить, где я был, но в них нет ничего о моей личной жизни: я писал о том, чем жили тогда все — о горе народа, о ненависти к фашистам, о мужестве.

Дневника я не вел, но порой писал стихи, короткие и непохожие на мои статьи: в стихах я разговаривал с собой. До лета 1943 года мы жили в ожесточении, было не до раздумий. Стихи снова стали для меня дневником, как в Испании. Сейчас, сопоставляя то или иное стихотворение с короткой заметкой в книжечке, с отдельной фразой в статье, я вспоминаю, о чем думал, вспоминаю тоску, отчаяние, надежды.

Вспоминаю, как ехал из Васильевки в Тереховку. Еще тлели головни; бродила женщина; мы ее окликнули, она не ответила. Потом мы заночевали в хате. Я подложил под голову шинель, она пахла дымом...

Я запомню, как последний дар,
Этот сердце ледящий жар,
Эту ночь, похожую на день,
И средь пепла горестную тень.
Запах гари едок, как беда,
Не отвяжется он никогда,

Он со мной, как щепел деревень,
Как белесая больная тень,
Как тифозной бредовой беды
Красные и черные скирды,
Как огрызок вымерший луны
Средь чужой и новой тишины.

Мне было за пятьдесят; я невольно вспоминал первую мировую войну, Испанию. Было что-то нестерпимое в повторности и картин и чувств.

...Мой век был шумным, люди быстро гасли,
А выпадала тихая весна —
Она пугала видимостью счастья,
Как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулеметчик
Лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это все еще хлопочет
Ограбленная молодость моя?..

1943-й не походил на 1941-й — понемногу все становилось привычным: разбитые города, развороченная жизнь, потеря близких. Но если можно ко всему присмотреться, даже к войне, сердце не мирится с всеобщим горем. Кто из нас не мечтал тогда увидеть другое?

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалею на свой удел,
Я бы только увидеть хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

Я писал в этой книге, как немцы, отступая, подпиливали или рубили плодовые деревья; я это видел в 1916 году в Пикардии и снова увидел в 1943 году на Украине:

Был час один — душа ослабла;
Я видел Глухова сады
И срубленных врагами яблонь
Еще незрелые плоды.

Дрожали листья. Было пусто.
Мы постояли и ушли.
Прости, великое искусство,
Мы и тебя не сберегли.

Много лет спустя редактор моей книги, дойдя до этого восьмистишия, уговаривал меня изменить последнюю строку: «Почему «и»? Хорошо, не сберегли искусство, но сберегли другое...» Да, но и много, очень много потеряли. Почему я вспомнил про искусство? Да потому, что яблоню нужно вывести, вырастить, это не дичок, потому что думал не только о развалинах Новгорода, но и о молодых поэтах, погибших на фронте, потому что для меня искусство связано с подлинным счастьем, с тем высшим миром, где даже печаль светла.

Кто знает, как мы ненавидели войну! А другого не было: фашисты несли с собой дикость, зверства, культ силы, смерть. Народ мужественно сражался, но мы твердо знали, что люди рождались не для того, чтобы взрывать танки и гибнуть под бомбами, знали, что враг навязал нам ужасающее затемнение. Я писал (это было вскоре после того, как я увидел виселицу, бородатого предателя):

Скажи, здесь тоже жизнь была,
Дома в горячей зелени?
Молчат и небо, и зола,
И картузы расстрелянных.
И лишь повешенный суров,
Как некий важный маятник,
Отмеривая ход часов,
Без усталости качается...

Точнее всего я передал свое душевное состояние в стихотворении, видимо связанном с причитаниями колхозницы над коровой:

По рытвинам, среди мусора и пепла,
Корова тащит лес. Она ослепла.
В ее глазах вся наша темнота.
Переменились формы и цвета.
Пойми — мне жаль не слов — слова заменят,
Мне жаль былых высоких заблуждений.
Бывает свет сухих и трезвых дней,
С ним надо жить, он темноты темней.

В Козельце я видел маленького мальчика, среди развалин он играл в песочек — хотел что-то вылепить. На его лице были то напряжение, то слабая, туманная улыбка. Я долго стоял возле него. Никогда люди не смотрели, кажется, с такой жадной нежностью на детей, как в годы войны, глядели и не могли наглядеться. Может быть, потому, что всем хотелось заглянуть в будущее и ни у кого не было уверенности, что он дотянет хотя бы до завтрашнего дня.

Неделю я просидел в сожженном селе Летки. До войны там делали стулья из камыша. Камыш шумел, а людей не было. Там я вспомнил мальчика на площади Козельца:

Были липы, люди, купола.
Мусор. Битое стекло. Зола.
Но смотри — среди разбитых плит
Уж младенец выполз и сидит,
И сжимает слабая рука
Горсть сырого теплого песка.
Что он вылепит? Какие сны?
А года чернеют, сожжены.
Вот и вечер. Нам идти пора.
Грустная и страстная игра.

Вернусь к строке, приведенной выше: мне казалось, что я освободился от того, что назвал «высокими заблуждениями». Это было еще одним заблуждением. Конечно, я не мог тогда предвидеть ни Хиросимы, ни водородных бомб, ни судьбы многих честнейших людей, о которой написал А. Солженицын, ни «убийц в белых халатах». Но разве это мерещилось малышу в Козельце, когда он смутно улыбался? Нет, не он это вылепил. Теперь ему должно быть двадцать два или двадцать три года. Он не помнит, как горел его дом, не пережил горьких послевоенных лет. Его жизнь должна быть другой. А сын Чмиля, Игорь Иванович, которому нет и пятнадцати лет... Тащить на гору камень, чтоб он оттуда скатывался? Нет, с этим не мирится совесть! И если мне скажут, что это самое наивное из всех заблуждений, я отвечу, что без таких заблуждений нет живой жизни — человек со всем может расстаться, только не с надеждой.

Седьмого ноября 1945 года нарком иностранных дел устроил в особняке на Спиридоновке пышный прием; собрались члены правительства, дипломатический корпус, генералы, писатели, актеры, журналисты — словом, все те, кого парикмахер Клуба писателей называл «тузами и пишками». Оглядев зал, П. П. Кончаловский шепнул мне: «Напоминает холст Эдгара Мане»... Советские дипломаты были одеты в только что придуманные мундиры. Военные атташе различных посольств сверкали золотом. Груды генералов изнемогали от орденов. Гарро неистово размахивал фалдами фрака и, выпив несколько бокалов шампанского, стал рассказывать об интригах англичан в Алжире: «К счастью, мне удалось сразу повидать Молотова. Мы умеем отличать подлинных друзей от фальшивых...» Английский посол Керр, забыв о присущей ему чопорности, со всеми чокался «за победу», пил водку и вскоре стал походить, скорее, на советского писателя, чем на британского дипломата. С. А. Лозовский обнимал генерала Пети: «Я во Франции был рабочим, я знаю вашу страну. Мы их расколотим». «On va battre les Fritzs à Minsk et à Biarritz» («Фрицев побьют в Минске и в Биаррице»). Генерал прослезился. А. Н. Толстой явился во фраке и по-барски благодушно дразнил одного из американских дипломатов: «Конечно, Италия красивая страна, но ведь и Париж стоит мессы»... И. С. Козловский сидел на полу и пел старинные романсы. Маргарита Алигер, испуганно поглядывая на посланника Эфиопии, блиставшего позументами, сказала: «Илья Григорьевич, а вы помните сорок первый?..» Американский журналист Шапиро говорил: «Впервые за восемь лет я чувствую себя в Москве хорошо. Вот что значит союз!..»

Положение казалось обнадеживающим. Во время приема грохотали пушки: освобожден Киев. Союзники были удовлетворены своими операциями в Италии. В конце октября закончилось Московское совещание министров иностранных дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Англии. О чем говорили министры, мы, конечно, не знали, но опубликованные декларации подчеркивали крепость антигитлеровской коалиции. 6 ноября Сталин сказал, что бои в Италии, бомбежки

немецких городов, поставка в Советский Союз вооружения и сырья «все же нечто вроде второго фронта».

Я знал, однако, что высадка союзников в Сицилии и на юге Италии совсем не то, что было обещано в 1942 году. Когда в редакции «Красной звезды» кто-то спросил, не дать ли географическую справку о Сицилии, редактор возмутился: «Совершенно ни к чему...» После сообщения, что второй фронт снова откладывается на год, были отозваны Литвинов из Вашингтона, Майский из Лондона. В редакции я читал телеграммы ТАССа, не предназначенные для опубликования, и понимал, что англичане раздражены формированием в Советском Союзе польских дивизий, американцы встревожены настроениями греческих партизан — дружба дружбой, а политика политикой.

Газеты сообщили, что на Тегеранском совещании достигнуто полное согласие о целях войны; в день рождения Черчилля ему поднесли пирог с шестьюдесятью девятью свечами — по числу прожитых лет. (На праздничном пироге прибавились всего две свечи, когда Черчилль начал готовиться к речи в Фултоне, с которой пошла «холодная война».) Мы, конечно, не знали будущего. Но я начал гадать, как будет выглядеть мир после победы. Прежде я не мог себе позволить раздумий: мы жили одним — остановить врага. А начиная с того августовского дня, когда в небе Москвы вспыхнули звезды первого салюта, я начал присматриваться, задумываться.

Еще летом из Лондона вернулся И. М. Майский. Я обрадовался подаркам — лезвиям для бритвы, записной книжке, вечной ручке, но рассказы Ивана Михайловича меня огорчили. Он восхищался мужеством жителей Лондона во время сильных бомбежек, говорил, однако, что союзники считают, будто они недостаточно подготовлены для второго фронта, и добавлял, что они не заинтересованы в быстром разгроме Гитлера — боятся Красной Армии. Майский рассказывал мне, что с де Голлем англичане не считаются.

В конце года С. М. Михоэлс, который ездил с поэтом Фефером в Америку, рассказывал писателям о своих впечатлениях. По его словам, американцы заражены расизмом, преклоняются перед машинной цивилизацией и не так уж далеки от гитлеровских идей. Михоэлс, как и Майский, говорил, что союзники отнюдь не восхищены победами Красной Армии.

(Я вспомнил шутку английского корреспондента Александра Верта, который иногда приходил ко мне. Верт родился в

Петербурге, прекрасно говорит по-русски, человек он нервный и остроумный. Мой пес Бузу, шотландский терьер, в начале войны был контужен воздушной волной и смертельно боялся салютов, считал, что грохот орудий связан с неприятностями; как только радио передавало позывные, он начинал неистово выть. На такую сцену однажды попал Верт и сказал: «Теперь я вижу, что это действительно английская собака — боится советских побед.»)

В ноябре я был на ужине в английском посольстве. Посол Керр держался чрезвычайно светски, спрашивал Любу: «Вы, конечно, прустиянка?» — и добавлял: «Я ведь сноб». Советник посольства Бальфур тем временем говорил со мной о политике, защищал невмешательство во время испанской войны, оправдывал Мюнхен и под конец признался, что уважает Салазара.

В декабре меня пригласил к себе посол Соединенных Штатов Гарриман. Я тогда еще не знал американских нравов, меня удивили и невкусная еда, и простота, порой переходящая в фамильярность, и то, что дочь посла положила ноги на столик, на котором нам сервировали кофе. Кроме меня, Гарриман пригласил генерала, который начал с литературы, похвалил Честертона, сказал о себе, что он ирландец и католик, а потом принялся расспрашивать о том, что обычно называют «военной тайной». Я понял, что ценитель литературы — разведчик, и быстро его оборвал: «Я не военный, а писатель, вернемся лучше к Честертону».

О вечере у Гарримана я рассказал Лозовскому; он нахмурился: «Лучше, когда вас приглашают в посольства, спрашивайте... А к американцам вообще не стоит ходить».

Я получил письмо от вице-президента Соединенных Штатов Уоллеса; он сообщил, что изучает наш язык и захотел мне написать первое письмо по-русски, говорил о добрых чувствах к советскому народу; его слова меня тронули непосредственностью, даже детскостью.

Совинформбюро по-прежнему требовало, чтобы я писал для заграницы о том, что мы верны нашим союзникам, но пора наконец-то открыть второй фронт. Я продолжал писать для «Красной звезды», «Правды», для фронтовых газет. Работать, однако, стало труднее: что-то изменилось. Я это почувствовал на себе.

Летом Совинформбюро попросило меня написать обращение к американским евреям о зверствах гитлеровцев, о необходи-

мости как можно скорее разбить третий рейх. Один из помощников А. С. Щербакова — Кондаков — забраковал мой текст, сказал, что незачем упоминать о подвигах евреев, солдат Красной Армии: «Это бахвальство». Я написал Щербакову. Александр Сергеевич меня принял в ПУРе. Разговор был длинным и тяжелым. Щербаков сказал, что Кондаков «переусердствовал», но в моей статье нужно кое-что снять. Я возражал. Щербаков рассердился и перевел разговор на другую тему — похвалил мои статьи и вместе с тем покриковал: «Солдаты хотят услышать о Суворове, а вы цитируете Гейне...» Потом я заговорил о судьбе Лидина: с первых дней войны он стал военным корреспондентом. Почему-то его отослали в армейскую газету и ничего не печатают. Щербаков загадочно ответил: «Не умеет писать для народа». (Потом я узнал, что одна из корреспонденций Лидина рассердила Сталина.) А Щербаков усмехался: «Вы многого не понимаете...» Я огрызнулся и в конце концов сказал: «Теперь война, немцы еще сильны, — значит, я буду писать в газетах, пока вы не поступите со мной, как с Лидиным». Я встал и попрощался. Александр Сергеевич вдруг улыбнулся: «Что вы будете делать после победы?» Я ответил, что не знаю, не задумывался над этим. «А я знаю, — сказал Щербаков, — буду трое суток подряд спать». Я поглядел на него: у него было одутловатое, бледное, усталое лицо.

Должна была выйти моя книга «Сто писем» — статьи и письма, полученные от фронтовиков; мне казалось, что в этих письмах раскрывается душа народа. Книгу набрали, сверстали и вдруг запретили. Я спрашивал почему, мне не отвечали; наконец один из работников издательства многозначительно сказал: «Теперь не сорок первый...»

Сельвинский написал хорошие стихи о России. Он показал себя храбрым, работал во фронтовой печати, но какие-то строки не понравились Сталину, и Сельвинского обругали. «Правда» обрушилась на Платонова: «Выкрутасы вместо простоты». Устроили собрание писателей, осудили (разумеется, единодушно) книгу Федина о Горьком, осудили также Сельвинского и Зоценко. Новая газетная статья пополнила ряды «вредителей», она была посвящена К. И. Чуковскому, написавшему сказку для детей «Бармалей»: «Пошлые выверты К. Чуковского вызывают отвращение». Е. Шварц, писатель, на мой взгляд, обладавший высоким даром поэтической сатиры, написал пьесу «Дракон»; он предугадал будущее: рыцарь Ланселот освободил город от

дракона, а вернувшись некоторое время спустя в этот город, увидел, что жители горюют о «милом Дракоше», который дышал огнем так, что можно было приготовить без печи глазунью. «Литература и искусство» писала: «Шварц сочинил пасквиль на героическую борьбу народа с гитлеризмом». Обличали Паустовского: в сценарии о жизни Лермонтова он осмелился сказать, что поэта тяготил мундир николаевской армии. Все это напоминало тридцатые годы. А немцы еще сидели в Орше и обстреливали из орудий Ленинград...

В «Красной звезде» работал полковник Кружков. Я запомнил ночь на 11 ноября 1943 года — в редакцию пришли сотрудники ГБ, срезали с груди полковника ленточки орденов и увезли его. Час спустя приехал генерал Таленский, спросил Копылева, прочитал ли Кружков передовицу. «Кружкова арестовали...» Редактор ничего не мог вымолвить от волнения. Недавно я встретил П. П. Кружкова, который, разумеется, реабилитирован.

Газеты одобрительно отзывались о лекции одного историка, прославившего опричнину. С. М. Эйзенштейн, по указанию Сталина, работал над фильмом, посвященным Ивану Грозному. (Вторая часть фильма разгневала Сталина, просмотрев, он коротко сказал: «Смыть».)

В конце 1943 года в Магадане вышло издание «Падения Парижа» с рисунками анонимного художника. Рисунки мне понравились, по некоторым деталям было видно, что художник знает Париж. Я, конечно, понимал, почему не указана его фамилия, но написал в издательство восторженное письмо, надеясь этим облегчить положение автора рисунков. Год спустя ко мне пришла жена художника Шребера, рассказала, что он рижанин, действительно жил в Париже, учился у мастера плаката Колена, в 1935 году вернулся в Советский Союз, а в 1937 году был арестован, работал на рудниках, теперь делает плакаты.

Каждый день приносил нововведения. В городских десятилетках ввели раздельное обучение мальчиков и девочек. Один педагог доказывал, что мальчиков надо сызмалства обучать военному искусству, а девочек рукоделию. (Вскоре после смерти Сталина раздельное обучение было отменено.) Ввели форменную одежду для дипломатов, потом для юристов, для железнодорожников. Один мой приятель шутя уверял, что скоро придумают мундиры для поэтов, на погонах будут одна, две

или три лиры — в зависимости от присвоенного звания. Мы смеялись, но смех был невеселым.

Напечатали текст нового гимна. Я вспомнил «Интернационал» и задумался.

Успел понемногу сложиться быт военных лет. Жилось людям трудно, и для того, чтобы продержаться, нужно было незаметное, будничное геройство. Я с тоской глядел на женщин, которые тащили тяжелые балки, строили дороги. На заводах работали дети, в свободные минуты они играли, как играют все дети мира. Продовольствия было в обрез, и люди сокрушались: «Опять не отоварили по карточкам крупу...» Спекулянты продавали сахар по две, а то и по три тысячи рублей за килограмм. Во многих домах было холодно — подтапливали только так, чтобы не лопнули трубы. В Москву вернулись театры, и на спектаклях бывало много народу: хотели развлечься, да и отогреться. В антрактах говорили о сводках, о том, что капитан Сергеев завел на фронте боевую подругу, что Маша перестала писать мужу и сошлась с хромым музыкантом, говорили, конечно, и о том, что в распределителе выдали кислое повидло, а масла вообще не будет.

В ноябре Шостакович прислал мне записку — просил прослушать его Восьмую симфонию. Я вернулся с исполнения потрясенный: вдруг раздался голос древнего хора греческих трагедий. Есть в музыке огромное преимущество: она может, не упоминая ни о чем, сказать все.

В 1943 году впервые показали те тучи, которые пять лет спустя нависли над нами. Но враг еще стоял на нашей земле. Народ стойко воевал, и была в его подвиге такая сила, что можно было жить честно, громко, не обращая внимания на многое. Я твердо верил, что после победы все сразу изменится. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне приходится то и дело признаваться в наивности, в слепоте. Это легче, чем в свое время было верить, порой наперекор всему. Видимо, человек устроен так, что неизменно принимает свои желания за действительность и часто, как лунатик, делает шаг в пустоту, разбивается или просыпается с переломанными костями.

Я вспоминаю беседы на фронте и в тылу, перечитываю письма, — кажется, все тогда думали, что после победы люди узнают настоящий мир, счастье. Конечно, мы знали, что страна разорена, обнищала, придется много работать, золотые горы нам не снились. Но мы верили, что победа принесет справед-

ливость, что восторжествует человеческое достоинство. Никто тогда не представлял себе, что через три года после конца войны американцы будут грозить нам атомной бомбой и что Берия снова откроет огонь по своим. Пусть мы многого не предугадали, но с нежностью, да и с гордостью я вспоминаю мечты тех лет.

Как бы ни была страшна и жестока война, она остается в наших воспоминаниях не падением, а взлетом: высоко, очень высоко поднялся наш народ, и об этом говорят не славословия «гениальнейшему полководцу», не саженные батальные полотна, даже не ордена, а память о невернувшихся, неиссякающие слезы — эта живая вода народной совести.

16

В декабре 1943 года умер Ю. Н. Тынянов. Познакомился я с ним еще в двадцатые годы, когда он был одним из вдохновителей «Опояза» — вместе с Б. М. Эйхенбаумом, В. М. Жирмуновским и В. Б. Шкловским. Он начал с того, что не создавал литературу, а изучал ее, но изучал настолько вдохновенно, неожиданно, что его книга «Архаисты и новаторы» остается и поворотом в литературоведении, и книгой художника.

Юрий Николаевич во время первых встреч меня смущал: я был самоучкой с огромными провалами в познаниях, которые может дать средняя школа, писал романы с грубейшими ошибками и словесными, и школьными (в «Хулио Хуренито» спутал Этну с Везувием). Вместе с тем я был задорен, искал новую форму романа, отрицал то, что защищал годом раньше, и вот Тынянов, этот воистину «петербуржец» (в старом значении этого слова), неизменно учтивый, даже в злых репликах, — меня стеснял, порой страшил.

Вспоминаю один разговор: Тынянов говорил, что время литературных школ миновало — новатор может быть архаистом, и к Пастернаку ближе всего Мандельштам. Меня рассердило, что Юрий Николаевич повторял: «синкопический пеон» — я тогда не знал, что это значит, и постыдился признаться.

Весной 1936 года Юрий Николаевич приехал в Париж — больной, его подкашивала редкая и страшная болезнь: рассеянный склероз. Я глядел на Тынянова другими глазами: передо

мной был не литературовед, но автор книг, которые были большими событиями в моей жизни. Я не сразу решился написать о нем в книге воспоминаний: я ведь писал не о книгах, а о людях, но потом решил, что нельзя промолчать о человеке, произведения которого мне помогли многое понять.

Мы иначе относимся к книгам наших современников, чем к произведениям классиков, герои романов часто в нашем сознании сливаются с обликом автора. Поэзия в полвека, когда я искал, думал, писал, казалась, да и кажется, мне более значительной, чем проза, требующая большего отступа, но в советское время было написано немало значительных романов и рассказов. Я встречался со многими писателями, известными еще до революции, — с М. Горьким, Буниным, А. Ремизовым, Андреем Белым, А. Н. Толстым, Е. Замятиным, с людьми моего поколения — Фединым, Паустовским, Бабелем, Тыняновым, Зощенко, Вс. Ивановым, Катаевым, Олешой, Леоновым, с теми, кто родился уже в XX веке, — Фадеевым, Шолоховым, Каверинным, Гроссманом. Гейне писал, что каждый человек — это мир, и надгробные памятники высятся над развалинами исчезнувших миров. Задолго до него английский поэт Дод напомнил о связи таких миров: колокол звонит не только по усопшему, но и по тебе. Я любил одни книги, был холоден к другим, но все, что делали мои современники, было связано с моей жизнью. Я не говорю об И. Э. Бабеле — он был моим другом, и я часто вспоминаю о нем, как о своем учителе, но учился я и на книгах других современников. Разобраться в эпохе мне помог Тынянов.

Эти слова могут удивить — Тынянов ведь писал исторические романы и рассказы, причем выбирал эпохи мрачные: Николая Первого, Павла, конец Петра. Он превосходно знал историю и никогда не пытался вразрез правде приписать прошлому что-либо от современного. Он был человеком сдержанным не только в жизни, — садясь за рабочий стол, он умел владеть собой, может быть, поэтому его книги казались некоторым суховатыми. Однако никогда не было крупного и притом честного автора, который мог бы хорошо писать о событиях, лежащих вне его душевного мира, о людях ему далеких и чуждых.

В романе «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянов писал: «Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их. У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для

смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы».

Юрий Николаевич любил шутить, говорить о пустяках, стойко боролся против болезни, но был он человеком очень грустным, и грусть Грибоедова была для него не страницей истории. Он родился в один год с Бабелем и Пильняком, которые умерли в углах наименее удобных. Тынянов ненадолго их пережил, хотя умер он на своей кровати.

«Подпоручик Кижэ» и «Восковая персона» были нам глубоко понятны. В то же самое время, зная только «Кюхлю», я писал о приключениях злосчастного Лазика Ройтшванеца, которого события носили по миру, из города в город, из страны в страну. Однажды ему предложили заняться кролиководством — это было модное в ту пору занятие. Ему послали пару кроликов, но только их выпустили из корзины, как собака их загрызла. Бедный Лазик тотчас написал о своей очередной неудаче, но в ответ пришел запрос, сколько крольчат принесли производители. Лазик понял, что есть люди, для которых всего важнее статистика, и начал подсчитывать, сколько кроликов могло бы быть у него, не будь зловредной собаки. Когда цифра стала внушительной, приехало начальство. Он повторил: «Я же вам писал, что парочку сразу загрызла собака», — но гости отмахивались: «Где же кролики?» Подпоручик Кижэ был куда счастливее — он родился от описки писаря — «подпоручики же», но никто не осмелился признаться в этом Павлу. Царь приказал отправить подпоручика Кижэ в Сибирь. Его не было, но он был, и конвойные гнали его по Владимирке. Павел его помиловал, приказал жениться на придворной фрейлине. В церкви жениха не было, но невесту обвенчали. Павел произвел его в генералы, и вот однажды он позвал его во дворец. Павлу сказали, что генерал Кижэ заболел, в несколько дней он умер. Пустой гроб торжественно хоронили.

Восковая персона была изображением Петра, снабженная пружинами, она могла передвигаться. Ее отправили в кунсткамеру, пружины сломались, и бедная восковая персона оказалась среди различных «натуралий» — младенцев-уродов в спирту.

Тынянов прекрасно знал историю, он умнее многих других разгадывал некоторые черты современности, но то, что мы называем «политическими событиями», его мало волновало. Он приехал в Париж в весну, когда рождался Народный фронт.

Я был наивен, ходил на митинги, верил, что теперь фашизму будет нанесен смертельный удар. Юрий Николаевич не спорил, он отвечал «возможно». Он попал в город, который хорошо знал по романам, документам, планам, гравюрам. Ему хотелось побродить по Пале-Рояль, как то делал В. Л. Пушкин, найти место, где выступал с докладом Кюхельбекер, он вспоминал А. И. Тургенева и Вяземского, читал карту вин, как давно знакомый текст: «Мозт... Кликко... Ньюи...»

Он и в Париже, где можно бросать окурки на пол, сомневаться в таблице умножения и плевать на все авторитеты, оставался сдержанным — боялся выдать свое незнание быта, осторожно расспрашивал, как вести себя в кафе. Были в нем мягкость, обаяние, которые всех разоружали.

Потом он сел за «Пушкина». Эта книга, по его словам, должна была ответить на многие трудные вопросы, показать, как разум, гений, гармония победили муштру и невежество. Однажды я спросил его: «А стихи после польского восстания, возмущившие Мицкевича?» Он кивнул головой: «И это...»

Вспоминаю нашу последнюю встречу тревожной весной 1941-го, за три недели до начала войны. Тынянов жил тогда в Пушкино, в писательском доме творчества, на бывшей даче А. Н. Толстого. В саду цвели нарциссы и тюльпаны. Мебель в гостиной была из красного дерева, на стенах висели картины. Все казалось мирным. Юрий Николаевич ласково улыбался. А говорили мы, разумеется, о войне. Помню, Тынянов, сказал: «Может быть, в Германии отвратительного вида революция?..» Он все же был воспитан на логике прошлого века: ему представлялось невозможным оглушение большой цивилизованной страны.

А «Пушкина» он не написал, закончил только начало — детство, отрочество поэта. Юрий Николаевич умер, не дожив до пятидесяти лет, а в последние годы болезнь мешала ему работать. Свою разгадку Пушкина он унес в могилу.

Я часто вспоминал и вспоминаю прекрасный рассказ о мнимо-малолетнем и, увы, вполне совершеннолетнем Витушишникове, который умел одно — бить в барабан. Я порой себя чувствовал именно таким недорослем, и за это тоже спасибо Тынянову.

Я был на его похоронах. После Сталинградской победы многое менялось на глазах. Звание и форма определяли положение человека. Тынянов был не ко двору и не ко времени. Газеты

даже не сообщили о его смерти. Гроб стоял в маленькой комнате на Тверском бульваре, и веночки были из бумажных цветов — попроще, поскорее.

Я стоял у гроба и думал: мы хороним одного из самых умных писателей наших двадцатых годов...

17

Для простых смертных все выглядело пристойно: на театрах военных действий шли бои с общим противником, а главы правительств антигитлеровской коалиции обменивались поздравительными телеграммами. На самом деле все было куда сложнее, за кулисами шла борьба.

Американцы предпочли де Голлю адмирала Дарлана, а когда адмирала убили — генерала Жиро. Де Голль предпочитал себя. Во Франции многие из его сторонников не хотели договориться с партизанами-франтирёрами. В Италии союзники поддерживали бывшего вице-короля Абиссинии маршала Вадольо, а партизаны клялись повесить всех фашистских лидеров, в том числе и Вадольо. Англичане поставляли оружие генералу Михайловичу, в Каире существовало королевское правительство Югославии, а народно-освободительной армией командовал коммунист Тито. В том же Каире находилось греческое правительство правого толка, но в самой Греции с оккупантами боролся левый ЭАМ. В Лондоне нашло пристанище польское правительство; Советский Союз порвал с ним дипломатические отношения; возник Союз польских патриотов; в лесах Польши имелись отряды правых — Армии крайовой и левых — Гвардии людовой. Обо всем этом газеты упоминали вскользь, порой иносказательно.

Разумеется, я не был посвящен в секреты дипломатов, но по характеру своей работы кое-что знал: меня приглашали на приемы, приходилось бывать в различных посольствах, чуть ли не каждый день ко мне приходили иностранные журналисты. Я не собираюсь описывать историю взаимоотношений между союзниками, да я ее и не знаю. Мне хочется просто рассказать о некоторых беглых встречах, об эпизодах скорее забавных, нежели значительных.

Английский посол Керр однажды спросил меня, почему я не люблю англичан. Я запротестовал и шутя начал перечислять

все, что мне нравится в Англии, — и Хартию вольностей, и пейзажи Тернера, и зелень лондонских парков. После этого Керр, представляя меня своим соотечественникам, неизменно говорил: «А вот господин Эренбург, который признает в Англии только трубки, газон и терьеров...» Керр был хорошо воспитанным скептиком, но не позволял себе говорить то, что думал; только однажды на каком-то скучном приеме после разговора о поэзии он признался: «В Москве я полюбил многообразие. Мы любим всегда то, чего лишены, не правда ли?..»

В октябре 1944 года в Москву приехали Черчилль и Иден. Не знаю, как отразилась эта поездка на англо-советских отношениях, но она неожиданно выручила из беды старого токаря Янкелевича, которого А. Н. Толстой называл «мастером трубочных дел». Янкелевич изготавливал замысловатые трубки и продавал их любителям. Его арестовали, кажется, именно за незаконную торговлю трубками. Алексей Николаевич попытался за него заступиться, но безуспешно. Наркоминдел решил поднести Черчиллю подарок — старинный ларец с потайными отделениями и хитроумными запорами. Шкатулка оказалась поврежденной, никто не мог ее исправить. Тогда кто-то вспомнил про старика Янкелевича. Он мог поблагодарить судьбу или Черчилля. А вот директору фабрики «Ява» приезд английского премьера принес только хлопоты: от него потребовали срочно изготовить первосортные сигары. На приеме Черчилль взял сигару и закурил: сигара зашипела, из нее посыпались искры, как будто это ракета. Черчилль улыбнулся. У него было лицо старого бульдога, а глаза утомленные, даже сонные, оживавшие от насмешливой улыбки. Меня ему представили. Он попробовал улыбнуться: «Поздравляю. Вас в особенности...» С чем он меня поздравлял, я не знал, но, в свою очередь, улыбнулся и поздравил его, тоже не зная с чем.

Короткий разговор с Иденом был куда интереснее. Иден сразу сказал мне: «Вы, кажется, не очень любите англичан?..» Я решил, что Керр успел ему рассказать о газоне и собаках, но спросил, почему Иден так думает. Он ответил: «Мне говорили, что вы очень любите Францию». Это было настолько неожиданно со стороны опытного дипломата, что я растерялся и лишь минуту спустя спросил: «Но разве любовь к Франции связана с неприязнью к Англии?» Вероятно, в моем голосе почувствовалось раздражение; Иден поспешно улыбнулся: «Это шутка.

Конечно, мы все союзники, и лично я очень люблю французов...»

Впрочем, другие бывали еще откровеннее. Гарриман, например, говорил: «С Францией будет трудно — там больше предателей, чем повсюду». Английский корреспондент Уинтертон признавался: «Лучше без французов...» Уилки доверительно сказал мне: «Роль Франции как великой державы кончена навсегда, не в наших интересах вернуть ей прежнее место».

Естественно, что французы — посол Гарро, советник Шмитлейн, молодой Горс, генерал Пети — частенько говорили о том, что не доверяют американцам и англичанам: боялись, что западные союзники постараются поставить снова на ноги побежденную Германию. Как-то вечером мы собрались у генерала Пети; были Торез, Жан-Ришар Блок, Гарро, и Гарро начал вспоминать прошлое: после первой мировой войны, будучи офицером, он повидал оккупацию Прирейнской области; рассказывал, как союзники восхищались порядком, организацией, как влюблялись в немок; никто не сомневался, что мир обеспечен; а в Мюнхене Людендорф уже призывал к реваншу. И Гарро с пафосом убеждал Тореза: «У нас теперь одна надежда — русские не допустят повторения!..»

В декабре 1943 года я возвращался из Харькова, где судили немцев, уличенных в массовых убийствах жителей. В купе сидел А. Н. Толстой. Пришел американский журналист Стивенс. Заговорили о будущем. Вдруг кто-то трахнул бедного Стивенса по голове — на верхней полке лежал французский журналист Шампенуа. Он не мог терпеть разговоров о том, что предпочтителен «мягкий мир», к тому же успел выпить пол-литра.

(С Шампенуа я подружился. Прежде он был корреспондентом телеграфного агентства Гавас, но когда посол Бержери — в прошлом ультралевоый — по указанию Виши покинул Москву, Шампенуа остался у нас, писал во французских газетах, выходящих в Лондоне. После войны он попробовал вернуться на родину, но оказалось, что он привязался к Москве. Он умеет по-русски выпить, по-русски проговорить полночи обо всем и ни о чем, о вздоре и о самом главном. Это человек, лишенный и честолюбия, и житейской смекалки, в минуту душевной нежности он балагурит или ругается, пишет стихи — для себя, нигде их не печатает.)

Мне кажется, что не только американцы, но и англичане, с которыми я встречался, чего-то не понимали — их страны не

знали фашистской оккупации. Я не говорю о политиках или дипломатах — у тех были свои расчеты; но многие офицеры, журналисты считали, что рассказы о гитлеровских зверствах преувеличены; армия Гитлера в их представлении смешивалась с армией Вильгельма. Вот почему куда легче было разговаривать с людьми из оккупированных стран.

Вряд ли норвежский посол Андворт восхищался советской системой, но он знал горе своей страны и видел, что по-настоящему сражается только Красная Армия. Иногда он приглашал нас к себе. Он был сибаритом, любил хорошее французское вино. Мы сидели у камина; Андворт вспоминал Норвегию, общих друзей, говорил: «Надеюсь, что «фау» образумят англичан. Они хотят с гитлеровцами поступить по-джентльменски, как будто это матч. А сегодня я снова получил известия о расправе с нашими студентами. Вы правы — микстуры не помогут, нужна хирургия...»

Среди дипломатов мне особенно полюбился Рене Блюм, он представлял самую маленькую страну — Люксембург, но у него было большое сердце. В 1944 году на фронте возле Минска к нам пришел перебежчик. Полковник сказал мне: «Фриц говорит, будто он не немец и не француз, а что-то вроде люксембуржца...» Меня провели к перебежчику. Это был молодой паренек-крестьянин. Он попросил у меня бумаги: «Хочу написать письмо...» Я думал, что он хочет известить своих близких и наивно считает, что письмо до них дойдет. Но он написал: «Ее высочеству великой герцогине Люксембурга. Извещаю вас, что я выполнил мой долг и перешел на сторону Красной Армии...» Когда я передал это письмо Рене Блюму, тот прослезился; он был левым социалистом, но письмо к герцогине его растрогало. Он полюбил нашу страну, научился говорить по-русски, ходил на лекции, доклады. (Раз я увидел его в толпе студентов, прорвавшихся в Политехнический, — чуть было его не задушили.) Дочь Блюма училась в Московском университете. Был он скромным, учтивым, что-то в нем оставалось от прошлого века, как и в его Люксембурге. Несколько лет назад я побывал у него в гостях. Он — председатель Общества дружбы с Советским Союзом; выступает на митингах; все его знают, уважают. Вечером за бутылкой вина мы вспомнили военное время.

Бывал я часто у посла Чехословакии Фирлингера. С ним было легко говорить: он понимал, что такое фашизм. Понимала это и его жена, милая, очень живая француженка.

Когда в Москву приезжал Бенеш, я встретил его на приеме. Он припомнил наш давний разговор: «Я уже знал, что Чехословакия обречена...» Потом он добавил: «Для нас единственное спасение — в тесном союзе с вашей страной. Чехи могут держиваться разных политических убеждений, но в одном они бесспорно сойдутся — Советский Союз нас не только освободит от немцев, он позволит нам жить без постоянного страха за будущее».

Ко мне приходили югославы — один из командиров партизанской армии Терзич, скульптор Августинчич, который работал над проектом памятника и много рисовал. Мне нравились его работы — сочетание монументальности с движением, нравился и человек — он был художником и бойцом, ничем не поступался, жил в разных планах, оставаясь самим собой. Югославам дали несколько домов в Серебряном Бору. Там я встретил партизан и партизанок. Они жили на подмосковных дачах, как в горах Боснии, — чувствовался демократизм, прямота. Мне с ними было хорошо.

Иностранные корреспонденты приходили ко мне в надежде узнать что-нибудь о военном положении; я им иногда давал немецкие дневники или письма. В свою очередь, они рассказывали о сложных ходах дипломатии. Среди инкоров были видные журналисты — Стоу, Верт, Хиндус. Осенью 1942 года я взял Леланда Стоу с собой под Ржев. Он знал войну — был в Испании, в Китае, показал себя храбрым и наблюдательным; написал хорошие очерки. В 1946 году я побывал у него в одноэтажном домике неподалеку от Нью-Йорка. Начиналась «холодная война». Кругом были нарядные коттеджи. Цвели розы. Люди благоденствовали. А Стоу был печален. Он говорил: «Помните Ржев? Там мне было спокойней. Можно прожить без комфорта, без надежды труднее...»

Конечно, инкорам было нелегко: в газетах было больше статей, чем сообщений; цензура не дремала, у журналистов имелся свой противник — заведующий отделом печати. После пресс-конференции каждый старался обогнать других и первым прорваться к окошку телеграфа. Бывали драки; однажды американский корреспондент проколол крышку на машине конкурента, чтобы тот не поспел на телеграф.

Корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро хорошо к нам относился, но ныл: от него требуют сенсаций, а на фронт его не пускают, непонятно, что передавать. И вот произошло событие,

окончательно его подкосившее: Сталин ответил на вопросы, поставленные корреспондентом Ассошиэйтед Пресс Кессиди. Шапиро прибежал ко мне потрясенный: «Я тоже посылал вопросы... Ассошиэйтед Пресс правее, чем Юнайтед... Почему Сталин решил меня погубить?..» Успокоить его было невозможно, он и слышать не хотел, что Кессиди просто повезло — его вопросы пришли именно в тот день, когда Сталин решил нечто сообщить. В виде «утешительного приза» отдел печати МИДа разрешил Шапиро поехать на Сталинградский фронт. Вернувшись в Москву, он мне сказал: «Конечно, то, что я увидел, замечательно. Теперь я еще лучше понимаю, почему вы настаиваете на втором фронте. Но с точки зрения Юнайтед Пресс это не может сравниться с тем, что получил Кессиди. Я до сих пор не могу понять, почему Сталин предпочитает Ассошиэйтед Пресс?..» А Кессиди ходил именинником, показывал всем подпись Сталина под ответами на вопросы и ухитрился получить в «Арагви» четыре бутылки вина: «Мне пишет Сталин...»

Были среди американских корреспондентов и противные. Помню, ко мне пришел один развязный субъект и положил на стол фунт сахара. В комнату вошла Люба и, не зная, кто у меня, спросила: «Вы что, продаете сахар?..» Я потребовал, чтобы американец забрал свои дары. Несколько дней спустя я рассказал о нем Толстому. Алексей Николаевич захохотал: «Он принес этот сахар мне, а я, дурак, растерялся, понимаешь? Решил сразу отдарить, ничего у меня под рукой не было, я отдал самопишущую ручку «ваттермана». Взял, подлец...» Мы долго смеялись. (Конечно, мы тогда не знали, что будут означать для всей Европы два слова «американская помощь»...)

О сахаре можно было забыть; но имелись вещи посерьезнее — раздоры между участниками антигитлеровской коалиции сказывались все яснее. Начиналось лето 1944 года. Салюты, возвещавшие победы, стали для москвичей будничным явлением. Союзники высадились в Нормандии. Развязка приближалась.

Первого июля я поехал на Третий Белорусский фронт, которым командовал генерал Черняховский. Возле Борисова, на правом берегу Березины, я увидел пленных французов из «легиона», организованного изменником Дорио. Реку Березину знают по названию все французы: в 1812 году русские почти окружили армию Наполеона и только части удалось переправиться через Березину благодаря храбрости саперов, которыми

командовал генерал Эбе (о генерале я знал потому, что часто в Париже проходил по улице, названной его именем). А «легионеры» застряли на Березине: они были трусливыми, но жадными наемниками, их остановили чемоданы — не хотели расстаться с награбленным барахлом. Меня попросили с ними поговорить. Один уверял, что несчастно влюбился и решил умереть «все равно как», другой описывал нужду, лишения — «в минуту слабости согласился», третий ссылаясь на «загадочные пути судьбы», четвертый приговаривал: «Я глубоко штатский человек. В Париже у меня маленький ресторан «А ля флёр де лис». Клиенты всегда меня хвалили. В кулинарии я не ошибался. Другое дело политика...» «Легионеров» поместили вместе с немецкими пленными, среди которых оказалось много эльзасцев. Потом мне рассказали, что эльзасцы ночью избили «легионеров».

Я побывал у летчиков «Нормандии». Французы рассказали, что, когда шли бои за Борисов, над Березиной погиб летчик Гастон. В течение трех лет он пытался выбраться из Франции, чтобы сражаться в небе; каждый раз его задерживали, наконец его посадили в каторжную тюрьму в Порт-Лиоте в Северной Африке. Когда американцы его освободили, он решил уехать в Советский Союз, чтобы сражаться в полку «Нормандия». Над Березиной было его боевое крещение, и вот он погиб... Я рассказал летчикам о владельце ресторана «Цветок лилии», они посмеялись, один сказал с презрением: «Не думайте, что таких много. Это наши «власовцы»...» Я улыбнулся: твердо верил во Францию.

Да, не скрою, я верил в замечательное будущее — иначе слишком трудно было бы жить. Я говорил себе: решат дело не дипломаты, не политиканы, а народы — они-то хлебнули горя. Значит, фашизм будет похоронен навеки.

А инкоров я встретил где-то между Борисовом и Минском. Они были счастливы и потому, что видели победу союзной армии, и потому, что набрали интересный материал для передач. Особенно радовался корреспондент «Таймса» — он взял в плен троих солдат. Попавшие в окружение немцы искали, кому бы сдать, и, увидев штатского в хорошем костюме, решили, что лучшей оказии им не найти. Двенадцатилетний мальчик Алеша Сверчук, тот пригнал пятьдесят два пленных. Но корреспондент «Таймса», естественно, радовался.

Скажу откровенно: в Москве меня могли печалить телеграммы из-за границы, а возле Минска я не думал о том, как решится греческий вопрос, признают ли американцы Тито, что скажет Иден о поляках. Я думал: как пробраться в Минск — вокруг бродили немецкие дивизии.

18

В Минск я попал 4 июля. Танкисты накануне прорвались в город и тотчас ушли дальше на запад. В южных кварталах еще шла стрельба. Я поглядел на длинную улицу и обрадовался: почти все дома невредимы; четверть часа спустя раздались взрывы, и домов не стало.

Весь день работали саперы — вытаскивали мины; успели спасти большой Дом правительства, некоторые другие дома. Однако, бродя по городу, я повсюду видел развалины. Как же я радовался победе! За два дня до этого я был у генерала Черняховского; он мне сказал: «Теперь мы не гоним противника — мы его окружаем». Я знал, что крупные немецкие силы остались на восток от Минска, поэтому трудно было проехать в город — на шоссе неожиданно выходили немцы, открывали минометный огонь. «Попали они в хороший котел», — сказал мне один танкист, и я подумал, что война подходит к концу, улыбнулся. Но больно было смотреть на развалины Минска. Это не Новгород, не Киев, не Ленинград — это город, который много раз жгли, разрушали; в нем не было памятников старины, прекрасной архитектуры. Но бывают минуты, когда забываешь об искусстве. Я думал не об эстетической ценности разрушенных, взорванных или сожженных домов, а о том, что люди работали, мучились, строили, и вот — щебень, обгоревшие развалины. Зрелище разрушенного жилья, разоренных человеческих гнезд мучительно, и всегда потрясает какая-нибудь мелочь — просиженное кресло, следы на уцелевшей стене от долго висевшей картины или фотографии, поломанная деревянная лошадка.

(Лет семь или восемь спустя, отправляясь на очередную сессию Всемирного Совета Мира, я застрял в Минске — погода была нелетная. Меня выручил П. У. Бровка — повез к себе. Он показал мне заново отстроенный город. Конечно, дома были пышными и некрасивыми, как все, что строилось у нас в конце сороковых годов, но я искренне восхищался: люди ужинают,

спорят, ревнуют; наверно, вон в той квартире есть дети и там спокойно спит деревянная лошадка.)

Бродя по разрушенному Минску, я вдруг подумал: мне повезло, хоть в Минск я не опоздал! Генерал Вадимов мне не давал свободы. Однажды, еще в начале войны, я с ним ездил на фронт к Брянску, и он почему-то решил, что я способен на глупое лихачество, внушил своим подчиненным, что за мной следует присматривать. Осенью 1943 года «Красная звезда» послала К. Симонова и меня на Украину. Я поехал на правый берег Днепра. Заместитель редактора полковник Карпов послал телеграмму члену Военного совета 13-й армии генералу Козлову (копию мне недавно дали): «У вас находится Илья Эренбург, в целях безопасности прошу сделать так, чтобы далеко за переправу он не уезжал». А вот в Минск я добрался вовремя; да и потом ездил куда хотел — мне удалось исчезнуть; в редакции не знали, где я, и не было генерала Вадимова, который, наверно, снова предпринял бы розыски.

Черняховский был прав: Минск наши армии окружили, в котел попало около ста тысяч немцев. Наши войска быстро продвигались к Барановичам, к Вильнюсу, а немцы, отходившие от Могилева, все еще мечтали прорваться в Минск. На этом фронте немцы были еще недобитые, и многие дивизии упорно сопротивлялись, наступали, пытались прорвать кольцо. Как-то я мирно ужинал у командира батальона, майора, в прошлом ленинградского профсоюзника. Батальону дали передохнуть после жестоких боев на Березине, и майор, угощая меня трофейным шампанским, рассуждал: «Фрицы у вас замечательно получают, наверно, долго наблюдали. А вот, скажем, когда вы роман пишете, как вы разыскиваете, кого описать? Я часто думал, откуда писатель знает, что у человека на сердце? Рассказывают, что ли? Или приходится выдумывать?..» Я не успел ответить — раздалась дробь пулеметов: огонь открыл немецкий полк, пытающийся прорваться на запад.

Я поехал на запад, в Раков, в Ивенец, и, вернувшись в Минск, снова услышал пальбу: окруженные немцы, изголодавшись, напали на хлебный завод.

Я был на Могилевском шоссе, когда начали обстреливать дорогу. Пленные уверяли, что в лесу батальон, там же бродит немецкий генерал с минометом и говорит: «Я немец, а не дерьмо...» Один немецкий майор, который, помахивая носовым платком, вышел из леса на дорогу, сказал мне: «Конечно, в

данный момент преимущество на вашей стороне — Германия вынуждена сражаться на двух фронтах. Но вы должны признать, что танковые прорывы, охваты — достижение немецкой стратегии, вы идете по нашим стопам...» Я ответил, что я не военный, а как человек штатский признаю приоритет немцев: войну начали они и долго к ней готовились, только гордиться этим вряд ли приходится.

Обер-лейтенант в Вильнюсе, на кладбище Рос (там был сборный пункт для пленных), говорил: «Я на Восточном фронте с самого начала. В сорок первом мы шли вперед, не обращая внимания, что вы остаетесь позади. Теперь все перевернулось. Мы пробовали защищать Минск, когда вы уже подходили к Вильно. Здесь мы три дня удерживали несколько домов, а ваш офицер говорит, что вы возле Немана. Теперь вы идете вперед, как будто нас не существует». Он помолчал и неожиданно добавил: «Я себя спрашиваю, действительно ли мы существуем?..» Среди барочных херувимов и замшелых бюстов цвели чайные розы. Вдруг раздался отчаянный крик — смертельно раненная ворона упала комком к ногам немецкого офицера. Он закрыл лицо руками и сидел неподвижный, как статуя.

Тацинцев я встретил у границы Литвы: они были усталыми до смерти. Полковник Лосик, командир бригады, рассказывал, как взяли Минск: «Мы не по дорогам шли — лесом, болотами, смешно сказать — где только заяц бегаёт. Когда мы третьего числа ворвались в Минск, немцев там было больше, чем наших, но они растерялись...»

Стояли очень жаркие дни, дождя давно не было, и плотные тучи удушающей пыли обволакивали дорогу. Сотни машин, распыляющих, перевернутых, загоравшихся, загромождали путь. Старшина Белькевич говорил: «Я-то спешил, у меня в Минске сестренка оставалась, Таня, семнадцать годов... Убили, то есть, буквально накануне — второго числа — соседи видели... — Он вытер рукавом лицо; пот, смешавшись с пылью, образовал маску. — Пыль-то какая!.. — Потом тихо добавил: — Как мы вошли в город, отпросился домой, бежал. А сестренки нет...» И такая была в его голосе тоска, что я ничего не мог вымолвить. Ко всему можно привыкнуть — к тоске, к беде, к одиночеству, только не к чужому горю; много раз я это чувствовал в те годы.

А что я видел на всем пути от Орши до Вильнюса? Сколько развалин, сожженных сел, сколько я выслушал ужасающих

рассказов! В Ракове я пошел к настоятелю собора ксендзу Ганусевичу. Он сидел, старый, тихий, среди молитвенников и выцветших фотографий. Он видел, как гитлеровцы подожгли дом. В отчаянии женщина выбросила из окна младенца; подбежал «факельщик», деловито, как головешку, подобрал ребенка и кинул в огонь. Священник качал головой: «Я не мог себе представить, что на земле существуют столь бессердечные люди. Из Клебани увезли старого ксендза, он болел, не мог ходить, они его замучили. В Дорах собрали всех в православную церковь и сожгли. В Першай убили двух ксендзов. В Писании сказано: «Он открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути». Я старый человек, но как будут жить после этого молодые?..»

Я ночевал у артиллеристов. Мы пили скверный венгерский ром. Все размечтались о будущем. Вдруг капитан Сергеев сказал: «Письмо пришло от жены Яблочкина, пишет, что жить ей теперь незачем — осталась одна, хочет попрощаться с товарищами Паши...» Все примолкли; вскоре уснули. Мне не спалось, я встал, пробрался к коптилке и записал в книжечку слова старого ксендза.

На следующий день, вернувшись в Минск и проехав по Могилевскому шоссе, я увидел Тростянец. Там гитлеровцы закапывали в землю евреев — минских и привезенных из Праги, Вены. Обреченных привозили в душегубках (машины, в которых людей удушали газом, гитлеровцы называли «геваген»; машины усовершенствовались — кузов опрокидывался, сбрасывал тела удушенных; новые машины именовались «текнипваген»). Незадолго до разгрома немецкое командование приказало выкопать трупы, облить горючим и сжечь. Повсюду виднелись обугленные кости. Убегая, гитлеровцы хотели сжечь последнюю партию убитых; трупы были сложены, как дрова. Я увидел обугленные женские тела, маленькую девочку, сотни трупов. Неподалеку валялись дамские сумки, детская обувь, документы. Я тогда еще не знал ни о Майданеке, ни о Треблинке, ни об Освенциме. Я стоял и не мог двинуться с места, напрасно водитель меня окликал. Трудно об этом писать — нет слов.

Наши солдаты, штурмовавшие на Могилевском шоссе окруженных немцев, видели Тростянец. Кажется, нигде война не

была такой жестокой. Вечером вокруг шоссе валялись трупы врагов. Жара не спадала, и стоял сильный смрад.

Я говорил с командующим пехотной дивизией генерал-лейтенантом Оксером. Когда его взяли в плен, он был одет как солдат, а час спустя предъявил удостоверение и потребовал, чтобы его направили в лагерь для офицеров. В отличие от других пленных, он мне сказал, что идеи, которые вдохновляют вермахт, живы и рано или поздно восторжествуют. Я спросил его о Тростянце, он ответил: «Почему вы меня об этом спрашиваете? Я лично детей не убивал. Мы проиграли сражение, а на побежденных все валят. Немецкая армия всегда отличалась дисциплинированностью, и я воспитывал моих солдат в духе чести...» — «А почему вы переоделись?» — «Не хотел унижить звание — немецкие генералы не сдаются». Он с наслаждением выкурил сигарету и сказал: «Мы оказались в положении маленького народа — против нас огромные государства: Россия и Америка. Это поединок Давида с двумя Голиафами...» У него был благообразный облик профессора. Потом я встретил его имя в списке военных преступников.

Другие генералы держали себя осторожнее. Командующий корпусом генерал Гельвицер с почтением поглядывал на молодого Черняховского. Иван Данилович сказал с усмешкой: «У Воронежа вы воевали лучше...» Гельвицер ответил: «Все происшедшее падает не на армию, а на Гитлера, он не слушал опытных генералов, окружил себя выскочками...» Гельвицер подписал обращение, которое две недели спустя было напечатано в советских газетах: часть немецких генералов, оказавшихся в плену, выступила против фюрера. Незадолго до того в Германии кучка офицеров пыталась выступить против Гитлера; это придавало декларации пленных генералов некоторую убедительность. В чем генералы обвиняли Гитлера? Отнюдь не в том, что он начал войну, прикарманивал страну за страной, организовал массовое истребление населения, зону пустыни, лагеря смерти. Нет, кадровые генералы ставили Гитлеру в вину другое — он неумело воевал, довел вермахт до поражения. Генералы предлагали немецким командирам убрать Гитлера и добиться мира до того, как военные действия перебьются на территорию Германии. О штабелях удушенных в Тростянце они не говорили...

Передо мной номер «Зольдатенцейтунг», я гляжу на портрет военного в мундире: генералу танковых войск фон Заукену.

кавалеру ордена железного креста с дубовыми листьями и бриллиантами, исполнилось семьдесят лет. Газета рассказывает о жизни юбиляра. В годы первой мировой войны он сражался во Франции и в России. В 1939 году он завоевывал Польшу, примчался в Париж, потом был под Москвой, у Орла. А в июле 1944 года генерал фон Зауцен, командир 39-го танкового корпуса, пытался удержать Борисов... Я ничего не могу с собой поделывать: я помню. Помню в разрушенном Борисове трупы советских пленных — гитлеровцы их перебили за два дня до того, как оставили город; помню рассказ Василия Везелова, который чудом выкарабкался из-под трупов; помню Разуваевку, где фашисты убили десять тысяч евреев — стариков, женщин, грудных детей. Не знаю, помнит ли это юбиляр. Да и не в нем дело. «Зольдатенцейтунг» в том же номере призывает немцев вернуть Силезию, Мемель, Данциг, Судетскую область. Значит, снова?.. С этим не мирятся ни разум, ни совесть.

В июле Третий Белорусский фронт продвигался на запад настолько быстро, что авиация часто отставала. Генерал Глаголев, старый солдат — он воевал в первую мировую войну, — говорил: «Вы про пехоту не забывайте. В двенадцать дней прошли почти четыреста километров. У пехотинца теперь свой мотор — сердце, человек падает, а все-таки идет. Мне вчера один солдат сказал: «Осерчали...» Видят, что немцы понаделали, и торопятся — кончать пора...»

Картины менялись, и картина оставалась той же: по-разному говорили в Смоленской области и на границе Литвы, но все рассказывали одно и то же. Мелькали останки городов: чернели дымоходы сожженных сел. Кажется, в Ольшанах я видел дощечку «Фрайхайтплац» («площадь Свободы»). Кажется, в Красном, а может быть, в тех же Ольшанах фабрикант Рихард Садовски заставлял прохожих сходить с тротуара, поднимать руку, восклицать: «Хайль!» Алексей Петрович Малько (я записал имя) рассказал, как немцы сожгли его дочек Лену и Глашу, это было в деревне Брусы. Возле Сморгони бойцы нашли в поле девочку четырех или пяти лет, и она рассказала, что ее зовут Дора и что «немцы сыпали маме песочек в рот, а мама кричала». Старый поляк в Радошковичах рассказывал, что два года назад немцы сожгли тысячу двести евреев; портной, когда немец приказал: «Танцуй!» — плюнул и крикнул: «Убивай скорей, ты свое еще получишь!..» Проехал я мимо одной деревни, дома были целыми и пустыми,—

не знаю, убили ли жителей или угнали, а может быть, люди убежали в лес.

Все выглядело, как год назад возле Глухова или Чернигова; но война была другой. 12 июля под вечер я увидел первые дома Вильнюса; отовсюду стреляли, и незнакомый мне майор закричал: «Ложись!..» В этот день наши танкисты были уже далеко — прошли полпути к Каунасу; а в лесах к востоку от Минска еще бродили группы немцев, не знавших, что от них до немецкой армии куда дальше, чем от советских танкистов до границы Германии.

Где-то возле Молодечно я заночевал у маршала П. А. Ротмистрова. Павел Алексеевич объяснял: «Прошлым летом танки играли другую роль, тогда противника выдавливали, а теперь мы его окружаем и уничтожаем, вырываемся вперед. В нашу эпоху без техники нельзя. Без головы, разумеется, тоже. Люди у нас умные, только долго раскачивались — мало места для инициативы. Вот после войны, надо надеяться, будем жить разумней». Мне понравился маршал: молодой, живой, разбирается не в одних военных операциях, но и во многом другом — в политике наших союзников, в литературе, даже в различных сортах рейнвейна. Раза два или три после войны я встречал Павла Алексеевича и убедился, что он человек смелый не только на поле боя, но и (это, может быть, еще труднее) в будничной гражданской жизни.

Никогда раньше я не был в Вильнюсе. Немцы не успели его сжечь, и было это необычайно — дома, барочные костелы, узкие старые улицы. Редко вылезет старушка из подвала и тотчас спрячется. Несут раненых. Ведут на кладбище Рос пленных. Солдат мало — они выбивают немцев из пригородной рощи. Вчера немцы еще удерживали центр города, старую тюрьму Лукишки. Да и сейчас в городе немцы прячутся, постреливают из автоматов.

Генерал Крылов сидел над картой, глаза у него были красные от бессонных ночей. Увидав меня, он покачал головой: «Зря ходите — они из окон стреляют. Конечно, я понимаю, что вам интересно, но все-таки...»

На КП я увидел писателя Павленко. Познакомился я с ним еще в 1926 году — я был проездом в Стамбуле, и он мне показывал святую Софию. Встречались мы очень редко; он был хорошим рассказчиком, я охотно слушал неправдоподобные истории, но, как это часто бывает в человеческих отношениях,

когда мы годами не видались, я о нем не вспоминал. Мы пошли вместе по городу. Немцы побросали на большой площади сотни машин, и чего только в них не было — и кинокамеры, и французские ликеры, и детективные романы, и туалетная бумага. У Остробрамских ворот женщины на коленях молились богоматери. Пошли мы к костелу святой Анны. Павленко рассказал — Наполеон жалел, что не может увезти костел в Париж. Прошли к дому, где жил Мицкевич. Кое-где лежали тела убитых горожан; помню старика с острой серебряной бородкой, похожего на ученого прошлого века; рядом лежала палка с белым набалдашником. Павленко внимательно рассматривал и набалдашник, и статуи костела, и немецкий радиоприемник; вдруг он сказал: «Дождь... Давайте-ка пойдем — у меня бутылка французского коньяка...»

Потом я ходил один. Ко мне подошел старшина, попросил документы, прочитав, рассмеелся: «Вот на кого напал. Я ваши статьи читаю, ни одной, кажется, не пропустил. Знаете, какая у меня к вам будет просьба? Скажите вы, чтобы каждый день в газете сообщали, сколько километров до Германии. А то спрашиваю — никто толком не знает, одни говорят — сто, другие — полтора. Ну, если нельзя в московских, пусть в армейских печатают. Я думаю, к праздникам кончим. У меня мать в Бийске, пишет, что ждет со дня на день, болеет, боится, что не дотянет...»

Я встретил группу партизан-евреев, они помогали очищать подвалы и чердаки от фашистов. Я разговорился с двумя девушками — Рахилью Мендельсон и Эммой Горфинкель. Они рассказали, что были в гетто. Немцы чуть ли не каждый день отправляли партию в Понары — там убивали. Живые должны были работать, их посылали под конвоем. В гетто была подпольная организация Сопротивления, ее участники жгли склады, закладывали мины, убивали гитлеровцев. Готовился массовый побег. Во главе организации стоял виленский рабочий, коммунист Виттенберг. Гитлеровцы о нем пронюхали и потребовали, чтоб он явился, не то уничтожат все гетто. Виттенберг сказал товарищам: «Вы сможете работать и без меня. Не хочу, чтобы из-за меня всех убили...» Его замучили. Пятистам заключенным удалось бежать; они сражались в отрядах «За победу», «Мстители», «Смерть фашизму». Рахиль и Эмма до войны были студентками, любили литературу. Теперь у них в руках были не книги, а ручные гранаты. Они весело смеялись; у меня сохранилась фотография: я с группой партизан.

На следующий день был приказ об освобождении Вильнюса: немцы в роще начали сдаваться. Я снова бродил по улицам, разговаривал с жителями; выглядели люди страшно — просидели пять дней в подвалах, часто без еды, даже без воды; но почти все улыбались — самое горькое было позади. Трупов на улицах больше не было. Солдаты выносили из немецких машин барахло. Говорили, что будут выдавать хлеб.

Я ужинал с военными. Потом майор провел меня в брошенную квартиру. По всему было видно, что здесь жили не немцы: в стеклянной банке я нашел сухари из черного хлеба, а в старинной шкатулке, где когда-то, наверно, хранили фамильные драгоценности, окурки сигарет. На стенах висели фотографии — группа гимназисток, дама с наколкой, молодой человек в польской военной форме. Под столом валялась открытка с видом Ниццы. На полке стояли книги — польские и французские. Майор мне оставил большую свечу, и я решил почитать французский роман. Прочитал страниц двадцать или тридцать — и бросил. Какое мне дело, что герой не может решиться бросить жену и переехать к возлюбленной? Я попытался уснуть, но сон не шел. И вдруг мне стало невыносимо тоскливо. Ведь мучился человек в этом романе из-за тонкостей любви. Может быть, они встретились в Ницце. Герой чеховского рассказа встретил даму с собачкой в Ялте. Счастья не было, но не закапывали живьем, не сажали в душегубки. Не жили в постоянном соседстве со смертью, как теперь. Наверно, жена майора ждет не дождется письма от него. Ужасна война, даже теперь, когда близка победа! А может быть, именно оттого, что победа близка, можно задуматься, затосковать?..

Я приподнял ковер, которым майор завесил окно. Светало, утро было пасмурным. Время от времени раздавались выстрелы. Из дома, что напротив, выбежала кошка и пронзительно закричала. Я лег и уснул.

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришел Жан-Ришар Блок. Он был взволнован событиями. Я рассказал ему о минском котле, о боях в Вильнюсе, о летчиках «Нормандии». В свою очередь, он поделился новостями: «Судя по радиоперехватам,

партизаны начинают занимать города в Дофинэ, в Лимузене,— и, суеверно понизив голос, добавил: — Кажется, мы сможем скоро вернуться во Францию...»

Россия рано вошла в мир Жан-Ришара; говоря это, я думаю не только о книгах Льва Толстого, которые долго были вехами на его пути, я вспоминаю также послание французских студентов к русским после 9 января 1905 года, подписей было много, а текст написал студент Сорбонны, двадцатилетний Ж.-Р. Блок. Он восторженно встретил рождение Советской республики. Впервые он увидел нашу страну в 1934 году, когда его пригласили на съезд советских писателей; он пробыл у нас полгода, потом рассказывал на различных собраниях о своих впечатлениях. Конечно, это были рассказы доброжелательного туриста, который увидел то, что может увидеть турист в любой стране,— достопримечательности, образцово-показательную жизнь.

Вторично он приехал в Москву весной 1941 года, приехал с женой из оккупированной Франции и прожил в Советском Союзе трудные годы войны. Он узнал людей и привязался к ним. Пережил эвакуацию. А. Н. Толстой рассказывал мне, как осенью 1941 года, проезжая через Казань, он разыскал Блока, который снимал комнату в татарской семье; комната была подвальной. Жан-Ришар утешал хозяйку, муж ее был на фронте: «Скоро немцев расколотят...» «Да что ее,— добавлял, смеясь, Алексей Николаевич,— он и меня развеселил. Настроение у меня было отвратительное — сводки, хлеб не убран, люди повесили нос — словом, пакость, а француз-то наш спокойно мне объясняет, что Гитлер обречен, это как дважды два. Мороз ужасный, он, бедняга, не привык, пьет чай без сахара и улыбается...»

Два-три раза в неделю Блок обращался по радио к своим соотечественникам: рассказывал о мужестве Красной Армии, старался приободрить французов. Были у него в Москве друзья, всех не перечислить, назову Лидию Бах, Игнатьевых, Толстого. Никогда Блоки ни на что не жаловались. Однажды Жан-Ришар захворал; пришел врач и ужаснулся, мне позволили: «Истощение на почве длительного недоедания...» А не простудись он, мы не узнали бы, что Блоки живут впроголодь.

Жан-Ришар мучительно переживал вынужденную разлуку с родиной. Теперь слышишь голос человека из космоса. А в те

годы был грохот бомб и молчание; Блок не знал, что делается во Франции. Не знал он и что стало с его близкими — с матерью, с детьми. Но тоску, тревогу он умел скрывать, как никто: окружающие видели неизменно бодрого, веселого человека. В 1944 году ему исполнилось шестьдесят лет, выглядел он моложе, может быть, потому, что жил в постоянном напряжении. Очень худой, среднего роста, с резко обрисованными чертами лица, он походил на старый портрет Монтеские, который когда-то висел в моей комнате. Глаза его не уставая улыбались, и только при одной из последних наших встреч в Париже он позволил себе шутку: «Бывают эпохи, когда человеку необходимо обзавестись двумя парами глаз — для других и для себя...»

Два или три часа мы проговорили о положении на фронте. Потом он неожиданно сказал: «Мне перевели новый указ о браке...» Увидев мой огорченный вид, он начал меня успокаивать: «Теперь война, не стоит об этом задумываться...»

Я знал, что многое его озадачивало, тревожило. Указ, о котором он вскользь упомянул, я прочитал где-то под Минском; кругом стреляли, я засунул газету в карман и, как Блок, сказал себе: не нужно об этом думать. У войны свои законы: стоит человеку усомниться, как он выбывает из строя. Конечно, указ, о котором упомянул Жан-Ришар Блок, меня огорчил, но я жил тогда одним — разгромом фашизма, все остальное мне казалось второстепенным.

Я не случайно упомянул об одной фразе, оброненной Блоком в августе 1944 года: он был рожден поэтом и мыслителем, а война слишком часто вмешивалась в его жизнь, и люди видели солдата со штыком или с пером.

Он был всего на семь лет старше меня, но это многое предопределило. Я едва осмотрелся в жизни, как разразилась первая мировая война, и с нею началась новая эпоха. А Жан-Ришар успел и написать хороший роман «...и компания», и вобрать в себя воздух прошлого столетия, успел сложиться. Он рано увлекся социализмом, и для него это было связано не с подпольем, не с провокаторами и «провалами», не с тюрьмой, а с благородными речами Жореса, с верой в разум, в прогресс. Я приезжал во Флоренцию зеленым юношей, духовно неприкаянный, всегда голодный и восхищенный красотой чужого мира. А во Флоренции жил Жан-Ришар, профессор французского института, отец троих детей, эрудит и гуманист;

искусством кватроченто он любовался не как воришка, прокрадшийся в богатый дом, а как законный наследник.

Может быть, именно поэтому первая мировая война была для него катастрофой,— он должен был решить, что ему делать. О том, как он пережил те годы, я знаю не только по его переписке с Роменом Ролланом, но и по его рассказам. В первой части этой книги я писал, что капрал Жан-Ришар осмелился поспорить с человеком, которого не только почитал, но и обожал. Вернее сказать, Блок спорил с самим собой — он знал, что Роллан из своего швейцарского далека рассуждает правильно; но знал и другое — немцы вторглись во Францию, нужно не раздумывать, а сражаться. Он сражался, был трижды ранен — на Марне, в Шампани и у Вердена, последнее ранение было тяжелым, долго опасались, что он потеряет зрение. Чашу он выпил до дна. Ромен Роллан любил Блока, но поведение его осуждал: считал, что молодой Жан-Ришар, подобно многим, культивирует в себе слепоту. А дело было не в любви к слепоте, но в тех законах войны, которые тридцать лет спустя продиктовали Блоку слова: «Теперь не стоит над этим задумываться». Накануне второй мировой войны Блок, редактор коммунистической газеты, писал Ромену Роллану про роман Барбюса «Огонь»: «Он создал произведение захватывающее, но не долговечное. Он удовлетворился замечательным показом декорации и силуэтов. Но он не показал, почему миллионы людей оставались там, а это — главное».

Двадцатые годы, первая половина тридцатых были для Блока, как и для многих его современников, периодом затишья, передышки. Мыслящему тростнику история разрешила на краткий срок не только сгибаться, но и мыслить. В этот период писатели писали. Писал и Жан-Ришар — романы, рассказы, пьесы для театра, стихи. Я никак не хочу отрицать ценности его романов или пьес; но в те годы было немало и добротных романов, и увлекательных пьес, и мастерски написанных стихов. Была, однако, область литературы, в которой Блок достиг совершенства, область, издавна облюбованная французами, — эссе.

Кажется, другие народы, более одаренные поэтической настроенностью и менее увлеченные поэзией мысли, считали эссе второстепенным жанром, предпочитая ему литературную критику или художественную публицистику. А французы от Монтеня до Сартра, от Стендаля до Жан-Ришара Блока видели

в эссе возможность объединить обостренную чувствительность художника и разум. Из всего, что написано Блоком, мне особенно дорога книга «Судьба века». Она вышла в свет в 1931 году, и удивительно, что эссе, часто посвященные не только искусству, но и политике, не устарели. Перечитав их недавно, я убедился, что вопросы, которые мучили Блока тридцать лет назад, стоят передо мной, когда я пишу эту книгу.

В предисловии автор «Судьбы века» говорил: «Я не обращаюсь к политикам. Беседа со мной, они потеряли бы время. Они это хорошо знают. Я обращаюсь к людям моей породы, к людям, обладающим ремеслом. У нас есть ремесло, и мы работаем внутри этого ремесла, в его сердце. Мое ремесло связано со словом, со знанием веса, объема, плотности слов, их точного применения. И как бы это ни было смехотворно для многих, я считаю наше ремесло самым прекрасным...» Может показаться, что книга посвящена проблемам литературы, а в ней, пожалуй, меньше всего страниц, связанных с судьбой романа или поэзии. Блок пытался предугадать судьбу человека, вступающего в новую эру. Он не был равнодушным арбитром; задолго до этого выбрал себе место, вступил в партию он много позднее, но называл себя и тогда коммунистом. В конце двадцатых годов он предвидел предстоящее затемнение: «Снова рабочий Калибан и музыкант Марсий — хранители подлинной культуры. Им нужно быть зоркими, потому что мы видим начало второго средневековья. Подымается волна нового нашествия... Эти новые варвары уже обосновались у нас. Они управляют нашей промышленностью, нашей экономикой, и Америка их щедро снабжает теориями, лозунгами, идеалами».

Говоря о новом веке, о том, что его отличает от революционной романтики прошлого, Блок так определял современного человека: «Социальная революция ему больше не кажется мессианской мечтой, это одно из неизвестных его личного уравнения. Он начинает считать, что предпочтительнее оказаться в лагере возможных победителей». Он говорил, что для человека 1930 года характерно преувеличение роли личности. Он видел связь между социальными проблемами века и невиданной страстью к спорту. До Гитлера, до многого другого он предостерегал: «Итак, мы идем к чудовищному воскресению пещерного человека, покрытого амулетами, но освещенного электричеством... Восемнадцать лет назад я написал рассказ «Ересь усовершенствованных ванн», эта ересь становится

религией...» И далее: «Мы идем к диктатуре всемогущей полиции — я имею в виду полицию дорог, полицию тел, полицию душ». Он говорил также о развитии точных наук и техники — без возмущения, но и без самообольщения. Я вспомнил об этой книге, конечно, не для того, чтобы в нескольких цитатах объяснить ее содержание, — мне хотелось показать Жан-Ришара Блока таким, каким молодые читатели его не знают.

В жизни Блока, как и в жизни многих других, Испания означала объявление войны. На этот раз никто его не призвал. Да и был он в Испании недолго — видел только самое начало. Но Блок понял, что передышка кончена: «Мне тоже хочется писать о женщине, о любви, мне хочется выразить в словах, так, как это не выражали прежде, свист иволги и душу танцовщицы. Я испытываю потребность быть простым человеком, наивно счастливым среди щедрот мира. И вот я слышу свист снарядов, крики раненых, мои товарищи отступают под самолетами, перед танками, и у меня во рту горечь этого отступления...» Для раздумий больше не было места.

Начиная с той поры Жан-Ришар снова жил как солдат. Год спустя в Париже начала выходить газета «Се суар»; ее редакторами были Блок и Арагон. Жан-Ришар писал не о свисте иволги, а о «невмешательстве», о Мюнхене, о трусости, о предательстве. Осенью 1939 года правительство запретило выход «Се суар». Вскоре на процессе депутатов-коммунистов Блок вместе с Ланжевенном и Валлоном выступили в защиту обвиняемых. Когда немцы подошли к Парижу, он пытался уйти пешком к себе в Пуатье — это не близко, и немецкие танки его опередили. Он начал писать для подпольной прессы. В начале 1941 года был арестован его сын Мишель; полиция пришла и за Жан-Ришаром, случайно его не оказалось дома. Он перешел на нелегальное положение и весной 1941 года приехал в Москву. О советских годах я рассказывал. Блоки вернулись в Париж в январе 1945 года. Жан-Ришар узнал, что его мать, восьмидесятишестилетнюю старуху, гитлеровцы сожгли в Освенциме; дочь Франс увезли в Гамбург и там казнили. Начала выходить «Се суар», и Жан-Ришар продолжал писать статьи. Его выбрали в Национальную ассамблею. Он почти каждый день выступал на митингах — надвигалась реакция. Он составил книгу статей «Москва — Париж», правил корректуру, и в марте 1947 года скоропостижно скончался.

Вероятно, такая биография довольно обычна для подпольщика, солдата, коммуниста. Но для писателя она исключительна, а я уже говорил, что Жан-Ришар был прежде всего художником. В Москве на Первом съезде писателей он напомнил, в чем призвание людей того ремесла, которое казалось ему самым прекрасным: «Писатель не только официальный прославитель законченных дел. Будь это так, он играл бы несколько смешную роль и вскоре удостоился бы иронического звания «инспектора законченных работ». Он превратился бы в общественного паразита; таковые имелись при дворах старых королей, их работа заключалась в прославлении... К счастью, у писателей есть другое назначение!» В той же речи Блок выступил против канонизации лжеклассических форм, которая обозначилась в речи Жданова: «Какова бы ни была структура общества, всегда будут художники, пользующиеся существующими формами, и другие, ищущие новых форм. Среди летчиков есть пилоты исполнительные и смелые, которые ведут серийные машины, и есть другие — летчики-испытатели. Неизбежно, да и необходимо, чтобы существовали писатели для миллиона читателей, для ста тысяч и для пяти тысяч». Блоку хотелось быть летчиком-испытателем, сказать то, чего не говорили до него, но у войны свои законы; он писал о том, о чем писали многие: что Мюнхен — измена, что нельзя жить под игмом фашизма, что американское золото хочет заменить германский булат. Он был бунтарем, а приходилось соблюдать военную дисциплину. Он это делал с улыбкой и, только оставаясь сам с собой, «заменял» глаза образцового солдата и оптимиста на свои — на глаза обреченного художника.

Я не помню, когда с ним познакомился, кажется, в 1926 или в 1927-м. Мы встречались тогда не очень часто, но разговаривали подолгу и откровенно. У меня сохранился экземпляр «Судьбы века» с надписью Жан-Ришара, — по ней я вижу, что в 1932 году он меня считал своим другом. Потом наши отношения стали еще более тесными. Нас сблизила и общая работа: подготовка антифашистского конгресса, защита Испании, борьба против наступающего фашизма. В начале 1940 года, когда я болел, сидел один на улице Котантен, Блоки меня навещали, поддерживали. А во время войны в Москве мы встречались часто. Помню утро, когда пришло первое известие о восстании в Париже. Я тотчас побежал к Блокам. Жан-Ришар ничего не мог сказать от волнения, только обнял меня. Что

нас сближало? Да то, о чем мы редко говорили: общность судьбы.

Жан-Ришар писал: «Нужно ли говорить, что Советский Союз не рай и что там можно встретить не только праведников...» Он не был слепцом. В книгу «Москва — Париж» он включил статью «Илья Эренбург — наш друг». Я ее сейчас перечитал и нашел эпизод, который я сам позабыл. В 1944 году, говоря о вандализме фашистов, я перечислял некоторые разрушенные памятники искусства и под конец упомянул о холстах Пикассо, изрезанных молодыми фашистами. Блок писал: «Восемьдесят три русских художника академического направления подписали протест против бесстыдства — как можно ставить рядом с сокровищами национального искусства, «чудовища Пикассо!» Конечно, это мелочь, но это сердило Блока. Сердило и многое иное. Если, однако, он мог разобраться в одном, то вынужден был верить на слово в другом. О том, что Пикассо — большой художник, он знал, и переубедить его было невозможно. Как-то услышал в трамвае разговор о том, что «евреи предпочитают фронту Ташкент». Он спокойно сказал, что во время процесса Дрейфуса был школьником и давал пощечины будущим фашистам. Он видел чванливых бюрократов, взяточников; несколько раз говорил мне, что есть семьи фронтовиков, которым не оказывают помощи. Но откуда он мог знать, что Тухачевский был не предателем, а жертвой? Блок был солдатом, армией командовал Сталин, и солдат не мог усомниться в разуме и совести командира. Он поверил в версию «пятой колонны». Он начал писать биографию Сталина. Он ведь знал, что война продолжается...

Чем он утешался в часы, когда ему становилось неважно? Иногда писал стихи. Иногда переводил стихи. Во время первой мировой войны, раненный, в полевом госпитале, он начал переводить Гете. В годы второй мировой войны он переводил вторую часть «Фауста». Этим многое сказано.

Конечно, доброта — природное свойство, и, наверно, процент добрых и злых тот же среди людей различных убеждений; но мне думается, что доброта среди фашистов была скорее недостатком, уродством, нежели добродетелью. Как должен был себя чувствовать добрый эсэсовец в Освенциме? Никого не удивит, что капиталист, попирающий своих конкурентов, человек злой. Но слова «он был злым коммунистом» не только

режут слух, они оскорбляют совесть. Так вот, Жан-Ришар был человеком редкой доброты.

Даже самый страстный противник детерминизма не станет утверждать, что человек свободно выбирает эпоху. Ж.-Р. Блок писал: «Теперь время для военных корреспондентов, а не для писателей, для солдат, а не для историков, для действий, а не для размышлений по поводу действий». В этих словах не только трагедия Блока, в них также объяснение и оправдание нашего поколения.

20

Приехал в Москву на короткую побывку Василий Семенович Гроссман. Мы просидели до трех часов утра, он рассказывал о фронте, мы гадали, как сложится жизнь после победы. Гроссман сказал: «Я теперь во многом сомневаюсь. Но не в победе. Пожалуй, это самое главное...»

Война раскалывала семьи, разводила довоенных друзей, и война завязывала новые узлы. С Василием Семеновичем я подружился в первые месяцы войны. До этого я знал только его книги. Помню, как в Париже я прочитал напечатанный в «Литературной газете» один из его первых рассказов — «Четыре дня». Вероятно, он мне понравился не только потому, что был хорошо написан, но и потому, что в манере письма я почувствовал нечто от Бабеля. Потом я начал читать «Степана Кольчугина», он показался мне «классическим», а я еще не умел радоваться успеху произведения, написанного в чуждой мне манере.

Война отодвинула в сторону литературные распри. Кажется, обо всем мы говорили с Гроссманом, но меньше всего о форме или языке романа.

Я нашел в старой записной книжке такие строки: «17 ноября 1941. Немцы передают, что взяли Керчь, начали наступление на Москву и Ростов. Утром в колхозе. Бессарабская девушка-свинарка, в беличьей шубке. Аэродром без охраны. Районный центр Кинель. На вокзале толстяк обглаживает курицу, показывает удостоверение — эвакуируется в Уфу. «А почему здесь сидите?» — «Простыл». Потом тихо: «Они и в Уфу придут». В Куйбышев приехали Гроссман и Шкапская. Приехали на саях. Гроссман говорит: «Все в голове перепуталось».

Нам как раз тогда отвели квартиру; в ней разместились Гроссман и Габрилович. Начались бесконечные ночные разговоры — днем мы сидели и писали. Василий Семенович прожил в Куйбышеве две недели; потом пришел приказ от редактора «Красной звезды», и он улетел на Южный фронт. Я вскоре уехал в Москву. Он много рассказывал и о растерянности и о сопротивлении — отдельные части дрались стойко, а хлеб не убран. Рассказывал о Ясной Поляне. Начал повесть «Народ бессмертен», когда я потом ее прочитал, многие страницы мне показались хорошо знакомыми.

Разные у нас были не только литературные приемы или восприятие живописи (Василий Семенович любил то, что мне казалось неприемлемым), но и характеры разные — нас сделали в разных цехах, из разного материала. Молодой польский писатель Федецкий как-то сказал, что я «минималист»: от людей да и от лет требую малого. Может быть, это верно — человеку трудно взглянуть на себя со стороны. Нужно, конечно, сделать оговорку: в гимназические годы я в восторге повторял слова одного из героев Ибсена: «Все или ничего!»; очевидно, «минималистами» люди становятся с годами. Однако возраст не все, и Василий Семенович оставался «максималистом» в пятьдесят лет. Нельзя понять его судьбы, не оговорив прежде всего его суровой требовательности к другим и к себе.

В литературе учителем Гроссмана был Лев Толстой. Василий Семенович описывал героев тщательно, обстоятельно, длинными фразами, не страшась множества придаточных предложений (Фадееву это было близко, и он долго, страстно защищал роман «За правое дело»). Повествование Гроссман прерывал долгими размышлениями. После войны я как-то сказал ему, что он все уже доказал мыслями, чувствами, поведением героев, авторское отступление только ослабляет силу главы. Он рассердился: «То, что вы называете «отступление», для меня главное, это наступление...» Я не стал спорить: я считал его крупным и честным художником, который вправе писать так, как ему хочется. Он нашел себя в годы войны, написанные прежде книги были только поисками своей темы и своего языка.

Он был доподлинным интернационалистом и часто меня упрекал за то, что, описывая зверства оккупантов, я говорю «немцы», а не «гитлеровцы» или «фашисты»: «Нельзя отнести эпидемию чумы к национальному характеру. Карл Либкнехт

был тоже немцем...» (Только однажды он вышел из себя. Это было в сожженном немцами селе Летки — мы ждали наступления на Киев. Я разговаривал с пленным — одним из «факельщиков». Со мною были Гроссман и немецкий писатель-эмигрант, которого Василий Семенович знал. Гроссман все время молчал. Когда мы ушли, он сказал мне: «Может быть, вы и правы...» Я удивился, чем поразил его пленный, — он отвечал, как тысячи других. Василий Семенович сказал, что дело не в пленном, а вот его знакомый все время старался найти оправдание для «факельщиков».)

Гроссман с огромным уважением относился к истории, обычаям, литературе всех народов Советского Союза. О Ленине он говорил с благоговением. Большевики, вышедшие из подполья, для него были безупречными героями. Я был на пятнадцать лет старше его и некоторых людей, которыми он восхищался, встречал в эмиграции. Однажды я сказал: «Не понимаю, чем вы в товарищах восхищаетесь?» Василий Семенович сердито ответил: «Вы многого не понимаете. Для вас жизнь — это поэма, и чем запутанней, тем лучше. А жизнь — это притча».

Говорят, есть люди, которые рождаются под счастливой звездой. Таким баловнем судьбы можно, например, назвать Пабло Неруду. А вот звезда, под которой родился Гроссман, была звездой несчастья. Мне рассказывали, будто его повесть «Народ бессмертен» из списка представленных на премию вычеркнул Сталин. Не знаю, правда ли это, но Сталин должен был не любить Гроссмана, как не любил он Платонова, — за все пристрастия Василия Семеновича, за его любовь к Ленину, за подлинный интернационализм, да и за стремление не только описывать, но попытаться истолковать различные притчи жизни.

Гроссман оказался в Сталинграде в конце лета. Он написал оттуда ряд очерков, которые мне кажутся самыми убедительными и яркими из всех наших очерков военных лет. Почему генерал Ортенберг приказал Гроссману отправиться в Элисту и послал в Сталинград Симонова? Последнее — по любви к молодому и талантливому писателю, это понятно. Но почему Гроссману не дали увидеть развязку? Этого я до сих пор не понимаю. Месяцы в Сталинграде и все, что с ними связано, запали в душу Гроссмана, как самое важное. Писали об этом многие другие, но только Некрасов, который был офицером-

сапером, и Гроссман, которого сталинградцы считали не журналистом, а своим боевым товарищем, смогли передать весь трагизм и все величие духа участников Сталинградской битвы.

Первая часть романа Гроссмана «За правое дело» была напечатана в 1952 году, а в феврале 1953 года в «Правде» появилась статья одного писателя, напоминавшая не критику романа, а обвинительное заключение. В редакции мне говорили, что Сталину прочитали отрывки романа и что он возмутился. Это неровный роман, в нем все достоинства и все недостатки Гроссмана: есть люди, почти насильно выведенные на сцену, длинные рассуждения, но есть и главы потрясающей силы. Я никогда не забуду ночь перед переправой на правый берег Волги и подростка-офицера, который перебирает вещицы в вещевом мешке; это мог показать только большой писатель.

В 1946 году была первая репетиция: Гроссман опубликовал пьесу, написанную им еще до войны, «Если верить пифагорейцам». Один критик тотчас же опубликовал статью «Вредная пьеса». Ругать Гроссмана было беспроблемной лотереей.

Характер у него был трудный: чрезвычайно добрый и верный друг, он вдруг, посмеиваясь, говорил пятидесятилетней женщине: «А вы за последний месяц очень постарели...» Я знал эту его черту, и, когда он вдруг замечал: «Вы что-то стали очень плохо писать», — я не обижался. В послевоенные годы до смерти Сталина он часто приходил ко мне, а потом вдруг исчез. Как я ни старался, не могу вспомнить, на что он обиделся, не помнит и Люба. Вероятно, это было пустяком, и не в нем нужно искать объяснения. Однажды я его встретил в Союзе писателей, пробовал объясниться, он, посмеиваясь, отвечал: «А зачем мне приходиться? У вас свои дела, у меня свои». Потом он как-то позвонил, сказал Любе, что у него ко мне «дело», пришел, сидел долго, но разговора не вышло. Все это не похоже на обычные дружеские отношения. Очевидно, нас связывали война и горькие послевоенные годы. А потом все оборвалось, и вдруг проступили два человека, непохожие друг на друга, каждый со своей судьбой.

Василий Семенович продолжал работать. Были у него с продолжением романа большие огорчения, о которых мне трудно рассказать. Жил он замкнуто и умер летом 1964 года. Похороны его были горькими, с живыми слезами. Пришли те, кто должен был прийти, и никто не пришел из тех, кто был не мил Гроссману. Я увидел военных корреспондентов «Крас-

ной звезды» — пришли все оставшиеся в живых. Я глядел на Василия Семеновича в гробу и терзался: почему я пришел к мертвому, а не к живому? Думаю, что многих мучила та же мысль: почему не поддержали, не согрели? Вспомнились годы войны. Он был стойким солдатом, а судьба оказалась к нему особенно немилостивой. Эта старая история: судьба, видимо, не любит максималистов.

21

В конце 1943 года, вместе с В. С. Гроссманом, я начал работать над сборником документов, который мы условно называли «Черной книгой». Мы решили собрать дневники, частные письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей того поголовного уничтожения евреев, которое гитлеровцы осуществляли на оккупированной территории. К работе мы привлекли писателей Вс. Иванова, Антокольского, Каверина, Сейфуллину, Переца Маркиша, Алигер и других. Мне присылали материалы журналисты, работавшие в армейских и дивизионных газетах, назову здесь некоторых: капитан Петровский (газета «Конногвардеец»), В. Соболев («Вперед на врага»), Т. Старцев («Знамя Родины»), А. Левада («Советский всин»), С. Улановский («Сталинский воин»), капитан Сергеев («Вперед»), корреспонденты «Красной звезды» Корзинкин, Гехтман, работники военной юстиции полковник Мельниченко, старший лейтенант Павлов, сотни фронтовиков.

Немало времени, сил, сердца я отдал работе над «Черной книгой». Порой, когда я читал пересланный мне дневник или слушал рассказ очевидцев, мне казалось, что я в гетто, сегодня «акция» и меня гонят к оврагу или рву.

У меня сохранилась часть писем, дневников, записей. Я перечитал их и, хотя прошло двадцать лет, снова испытал ужас, смертельную тоску. Не понимаю, как мы это пережили и как хватило сил жить. Не о смерти я говорю, даже не о массовых убийствах, а о сознании, что нечто подобное могли совершать люди в середине XX века, жители цивилизованной страны.

Один из узников рижского гетто писал в своих записках, что в том же бараке находился известный историк С. М. Дубнов, которому тогда исполнилось семьдесят один год. Среди комендантов гетто был Йоганн Зиберт, человек, когда-то учившийся

в Гейдельбергском университете. Дубнов читал в Гейдельберге до первой мировой войны лекции по истории Древнего Востока. Зиберт, узнав, что в гетто находится его бывший учитель, пришел к нему и долго смеялся: «В молодости я был настолько глуп, что ходил на ваши лекции. Какой вздор вы нам рассказывали! Хотели, чтобы мы размякли и поверили в торжество гуманизма. Смешно!..» Иоганн Зиберт не отказал себе в удовольствии лично присутствовать при убийстве Дубнова. Вот это страшнее всего. Значит, мало всеобщей грамотности, университетских аудиторий, высоко развитой техники, чтобы оградить людей от одичания.

Я мечтал издать «Черную книгу» и теперь приведу несколько страниц из нее не для того, чтобы помучить себя и читателей, — нужно помнить о том, что было, в этом одна из порук, что люди не допустят повторения.

Эвакуация в западных областях проходила беспорядочно и в трудных условиях. Здоровые мужчины были далеко — сражались. В самом начале войны немцы захватили Белоруссию, Украину, Литву, Латвию — земли, где издавна жило много евреев. В некоторых городах, как Вильнюс, Рига, Минск, гитлеровцы убивали евреев постепенно, в течение двух-трех лет. Молодым иногда удавалось бежать из гетто, и они воевали в партизанских отрядах. В других городах, как в Киеве или Харькове, все евреи были убиты вскоре после прихода немцев. Из десятков тысяч спаслись десятки; одних прятали местные жители, другим удалось перейти линию фронта. Немало городов и местечек, где никто не спасся. Часто после освобождения города русский или украинец сообщал своему земляку-еврею, бывшему на фронте, о судьбе его семьи.

Вот письмо учительницы поселка Борзна (Черниговская область) В. С. Семеновой Я. М. Росновскому: «...18 июня 1942 г. глубокой ночью, когда все спали, пришли в еврейские дома, забрали всех — 104 человека и повезли к селу Шаповаловка, где был противотанковый ров. Глубокого старика Уркина спросили перед тем, как застрелить: «Хочешь жить, старик?» Он ответил: «Хотел бы увидеть, чем все это кончится». Двадцатидвухлетняя Нина Кренхауз умерла с годовалой девочкой на руках. Учительница Раиса Белая (дочь переплетчика) видела, как расстреляли ее шестнадцатилетнего сына Мишу, сестру Маню с детьми (младшему было несколько месяцев), она уже не понимала ничего и только волновалась, что потеряла очки...»

Письмо лейтенанту Выпиху от Соколовой из Артемовска: «...В их число попали и ваши близкие родственники — мать, Бетя, Роза и Софочка. Их загнали в карьеры Военстроя и замуровали заживо. Надо еще вам передать слова Софочки, она плакала, говорила: «Почему наших так долго нет? Когда придут, расскажите». А мать ваша говорила, что одного хотела бы — увидеть перед смертью сыновей...»

Герой Советского Союза, младший лейтенант Кравцов писал тестю о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялгушкино (Винницкая область):

«...20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они сэкономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали землей много живых. А маленьких детей, перед тем как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили и мою крохотную Нюсенку. А других детей, и среди них мою Адусю, столкнули в яму и закидали землей. Две могилы, в них полторы тысячи убитых. Нет больше у меня никого...»

Город Хмельник (Винницкая область) был захвачен немцами 18 июля 1941 года. Из десяти тысяч евреев здесь спаслись относительно многие — двести шестьдесят, часть сражалась в партизанских отрядах. Спасся и А. К. Беккер, который прислал мне описание того, что пережил; там были такие строки: «...Сколько я ни умолял разрешить мне идти вместе с семьей, чтобы жене было легче вести детей на смерть, ничего, кроме ударов прикладами, не вышло... Погнали в сосновый лес за три километра от города, там уже были приготовлены ямы. Все растеряли друг друга. Ребенок четырех лет Шайм — отца у него не было, а мать убили раньше — шел, как взрослый, в колонне... У ямы людей поставили в ряд, заставили раздеться и детей раздеть догола, так стоять при страшном морозе, а затем сойти в яму. Дети кричали: «Мама, зачем ты меня раздеваешь? На улице очень холодно...»

Розовая школьная тетрадь; это дневник студентки Сарры Глейх. Изумительно, что она бегло, порой бессвязно, изо дня в день записывала все. По первым записям видно, что она 17 сентября, через месяц после того, как эвакуировалась из Харькова в Мариуполь, где жили ее родители, поступила на работу в контору связи. 1 сентября сестры Фаня и Рая, жены военнослужащих, ходили в военкомат, просили их эвакуировать; им ответили, что «эвакуация не предвидится раньше

весны». 8 октября она пишет: «Начальник конторы Мельников утром сказал мне, что завтра эвакуируемся, нужно подготовить документы, можно взять семью, значит, отъезд обеспечен...» В тот же вечер она продолжает: «В 12 часов дня в город вошли немцы, город отдан без боя...» Через много страниц запись: «19 октября. Завтра в 7 часов утра мы должны оставить наше последнее пристанище в городе...» «20 октября... Нас гнали к траншеям, которые были вырыты для обороны города. В этих траншеях нашли смерть 9000 еврейского населения. Велели раздеться до сорочки, гнали по краям траншеи, но края уже не было — все было заполнено трупами, в каждой седой женщине мне казалось, что я вижу маму. Один раз мне показалось, что старик с обнаженным мозгом — мой папа, но подойти ближе не удалось. Мы начали прощаться, все поцеловались. Фаня все не верила, что это конец: «Неужели я никогда не увижу солнца?» А Владя спрашивал: «Мы будем купаться? Зачем мы разделись? Идем, мама, домой, здесь нехорошо». Фаня взяла его на руки, ему было трудно идти. Бася шептала: «Владя, тебя-то за что?» Фаня обернулась, ответила: «С ним я умираю спокойно, знаю, что не оставляю сироту». Я не выдержала, схватила за голову и начала дико кричать. Мне кажется, что Фаня еще успела обернуться и сказать: «Тише, Сарра». На этом все обрывается. Когда я пришла в себя, были уже сумерки, трупы, лежавшие на мне, вздрагивали, это немцы стреляли, уходя, чтобы раненые не могли уйти, так я поняла из разговора немцев, они боялись, что много недобитых, и они не ошиблись. Было много заживо погребенных. Кричали маленькие дети, которых матери несли на руках, а стреляли нам в спину, и малыши падали невредимые, а на них валялись трупы... Я начала выбираться из-под трупов, встала, оглянулась. Раненые копошились, стонали. Я начала звать Фаню. Оказался рядом Грудзинский. Он был ранен в обе ноги, попытался встать и упал. Какой-то старческий голос напевал «лайтенах», это было ужасно...» Сарра Глейх 27 ноября, после месяца блужданий в степи, узнала, что наши войска в пяти километрах от Большого Лога, куда она пришла, ей удалось добраться до отряда красноармейцев.

Письмо двадцатилетней Буси, которая жила в Краматорске, оно датировано августом 1943 года и начинается словами: «Милые мои, дорогие тетуски!» Это письмо показывает, что переживали те немногие, которым удалось спастись; может

быть, это было еще страшнее, чем ожидание смерти. (Да и Буся пишет: «Я сейчас думаю над бедным цензором, который прочитает это письмо, а пусть знает, что «жизнь — замечательная штука», как сказал Киров, и в то же время жизнь не стоит и копейки, совсем не страшно знать, что тебя через несколько минут не будет...».) Она рассказывает тетушкам о 20 января 1942 года: «...Мороз 30 градусов. По улице идут женщины с вещами. Их подгоняют полицейские. Потом сажают в машины, везут к противотанковому рву. Среди них были и Мина, и Гриша с семьей, и семья Шнейдера, жены братьев Браиловских с детьми, был Рейзен с Полиной, он хоть перед смертью настоял на своем — в могилу она пошла с ним, а не с Кузнецовым. Хватит! Я хочу только знать, не презираете ли вы меня за то, что я оставила Мину? Оправдываться не буду. Я сказала маме: «Ты как хочешь, а я бегу». Как я могла сказать такое маме? Очевидно, в такие минуты не рассуждаешь. Она пошла со мной, несколько раз порывалась вернуться — с другими на казнь, заговорила о долге. Я как сейчас помню, осмотрелась — дома закрыты наглухо, никто не пустит обогреваться. Пусть замерзнем, пусть поймают, повесят, только не иди самой!.. Судите меня сами, и если признаете виновной, пусть будет по-вашему, не считайте меня больше «любимой племянницей». Это будет ужасно, но я буду знать, что это правильное суждение, и я это перенесу, как вынесла многое, как, наверно, вынесу еще много неожиданного и страшного».

Я спрашивал себя не раз, что чувствовали немецкие солдаты, видя, как убивали беззащитное население, или узнав о расправах от своих товарищей. Вероятно, были такие, что ужасались происходящим, но молчали от страха, да и нужно было жить — идти в бой, шутить, пить и петать на отдыхе — лучше было не думать о растерзанных детях. Мне известен, однако, случай, когда немецкий солдат спас женщину с детьми; было это в Днепропетровске в 1941 году; обреченные ждали, когда их погонят ко рву. Тогда к Б. Тартаковской подошел солдат и тихонько сказал: «Я вас сейчас отсюда выведу»; он добавил: «Кто знает, что еще случится с нами...»

За укрывательство евреев немцы вешали или расстреливали; и все же нашлось немало советских людей, которые, рискуя жизнью, прятали у себя евреев. М. М. Файштог, которой удалось убежать из Евпатории, писала мне: «Некоторые из тех, кого я считала друзьями, струсили, отшатнулись, а спас

меня незнакомый мне человек Н. И. Харенко». Так в жизни бывает часто — цену человеку узнаешь в трудный час. Во всех письмах, дневниках, воспоминаниях спасшихся — имена русских, белорусов, украинцев, литовцев, латышей, которые помогли человеку уйти от смерти. Есть в Днепропетровской области село Благодатное, в нем бухгалтер колхоза П. С. Зиренко скрывал тридцать две души — семь еврейских семейств из Донбасса. Конечно, колхозники догадывались, кто в хатах, но на вопросы немцев или «полицаев» отвечали: «Здепшие».

В часы больших испытаний — все проверяется: и душевная чистота, и смелость, и любовь. Гитлеровцы повсюду объявляли, что при смешанных браках «эвакуации» (так они называли массовые казни) подлежат только лица еврейского происхождения и дети, у которых отец или мать евреи. В документах «Черной книги» я нашел несколько рассказов о том, как русская жена или русский муж шли на смерть, говоря, что они — евреи.

Я возвращаюсь к мысли, которая меня преследует, когда я вспоминаю прошлое: человек способен на все. Однажды ко мне в редакцию «Красной звезды» пришел высокий, крепкий человек, офицер морской пехоты Семен Мазур. Он рассказал мне необычную историю. В битве под Киевом он был ранен, попал в окружение и, переодевшись, пришел в Киев, где жила его жена. Дома никого не оказалось; он пошел к сестре жены; та испугалась, начала уговаривать его покинуть город. Он ответил, что попытается добраться до своих, но хочет повидать жену и ребенка. Когда он подходил к своему дому, жена его увидела и закричала: «Держите жида!..» Какие-то прохожие оглянулись, но прошла колонна грузовиков, и Мазуру удалось скрыться. Он побрел на восток, дошел до Таганрога. Там его спрятала русская женщина — К. Е. Кравченко. Незалеченная рана дала осложнение. Мазура отвезли в больницу. Русский врач Упрямец, узнав, что Мазур еврей, снабдил его паспортом одного из умерших. Мазур снова пошел на восток. Кравченко немцы арестовали, выдали ее. Упрямец спас многих, а летом 1943 года немцы его расстреляли. Мазур перешел линию фронта на Дону, сражался под Сталинградом, получил орден, был снова ранен. Он сидел напротив меня и требовал, чтобы я ему объяснил, почему его спасли чужие люди и хотела выдать врагу жена. Я отвечал, что не знаю, как они жили вместе. Мазур говорил, что жили хо-

рошо, когда он уезжал на фронт, жена плакала, он успел получить от нее несколько писем. Я повторял: «Вы ее знаете. Откуда мне знать, почему она так поступила?..» Он стукнул кулаком по столу: «Вы обязаны знать — вы ведь писатель!»

Теперь я должен рассказать о другой чете. Это было в местечке Монастырщина, Смоленской области. Исаак Розенберг, служащий загса, был тяжело ранен в бою неподалеку от Монастырщины; ночью он дополз до своего дома. Жена Наталья Емельяновна спрятала мужа в подполье под печкой. У них было двое маленьких детей; матери удалось их спасти — она заявила немцам, что это дети не от Розенберга, а от первого мужа. От детей она скрыла, что в доме прячется отец, — боялась, что они проговорятся. Розенберг ночью выходил из подполья, выпрямлялся, ел. Однажды четырехлетняя девочка увидела в щель чьи-то глаза и в страхе крикнула: «Мама, кто там?» Мать спокойно сказала: «Разве ты не видишь, что это крыса, у нас много крыс...» Розенберг на обрывках немецких газет вел дневник, записывал, что рассказывала ему жена, свои ощущения. Одна из страниц дневника посвящена кашлю — он простудился, его душил кашель, но он сдерживался, писал: «Я никогда не думал, что может быть еще такая свобода — кашлянуть...» Наталья Емельяновна заболела сыпняком. Детей взяли соседи, а она терзалась — муж умрет с голода. Она вернулась домой через две недели и нашла мужа ослабевшим, но живым.

В сентябре 1943 года наши войска подошли к Монастырщине. Немцы оказывали сильное сопротивление, они прогнали жителей местечка, и Наталья Емельяновна с детьми убежала в лес. Она вернулась, когда увидела первых красноармейцев. Дома не было, еще дымилась зола, чернела печь. Исаак Розенберг задохся от дыма. Он прожил под печкой двадцать шесть месяцев и умер за два дня до освобождения. Наталья Емельяновна сидела у печи, и в руке у нее была газета — кусок дневника.

Работая над «Черной книгой», я все время удивлялся — то бесчеловечности, то благородству. Я глядел на развалины, на обугленные человеческие кости, на немецкие склады с детской обувью, с губной помадой, выслушивал людей, искалеченных навсегда пережитым, читал предсмертные письма, написанные на старых квитанциях, на клочке газеты, на немецкой листовке, и все яснее понимал, что ничего не понимаю,

да и не пойму, хотя, по словам Семена Мазура, я должен, как писатель, все понимать. В местечке Сорочинцы жила врач-гинеколог Любовь Михайловна Лангман; она пользовалась любовью населения, и крестьянки ее прятали от немцев. С нею была дочь одиннадцати лет. Однажды к ней пришли и сказали, что у жены старосты трудные роды. Любовь Михайловна пошла, спасла роженицу и младенца. Староста ее поблагодарил и донес немцам. Когда ее с дочкой вели на расстрел, она сказала: «Не убивайте ребенка...» А потом прижала дочь к себе: «Стреляйте! Не хочу, чтобы она жила с вами...» Не знаю, что меня больше потрясло — поведение врача или старосты...

«Черная книга» была закончена в начале 1944 года. Я поместил в «Знамени» несколько отрывков. Наконец книгу отпечатали. Когда в конце 1948 года закрыли Еврейский антифашистский комитет, книгу уничтожили.

В 1956 году один из прокуроров, занятых реабилитацией невинных людей, приговоренных Особым совещанием за мнимые преступления, пришел ко мне со следующим вопросом: «Скажите, что такое «Черная книга»? В десятках приговоров упоминается эта книга, в одном называется ваше имя».

Я объяснил, чем должна была быть «Черная книга». Прокурор горько вздохнул и пожал мне руку.

В начале 1965 года ленинградский журнал «Звезда» напечатал дневник четырнадцатилетней девочки Маши Роликитис, заточенной в гетто Вильнюса, потом отправленной в лагеря смерти и чудом уцелевшей. Дневник снабжен предисловием поэта Эдуардаса Межелайтиса; он пишет: «Чтобы этого больше не повторилось...» О том же думали двадцать лет назад Василий Семенович Гроссман и автор этой книги воспоминаний.

22

В этой книге я пытаюсь рассказать о людях, которых я встретил в жизни и — одних лучше, других хуже — узнал. Сейчас мне хочется рассказать о девушке, которой я никогда не видел.

Вскоре после моего возвращения из Вильнюса ко мне в гостиницу «Москва» пришла В. В. Константинова, преподавательница, жившая в Кашине; она рассказала, что ее дочь

Ина была партизанкой и погибла в марте месяце. Вера Васильевна попросила меня прочитать дневник Ины. Я положил школьные тетрадки в ящик стола и вспомнил о них только два месяца спустя — было много газетной работы. Начав читать дневник, я не мог от него оторваться.

Дневник начинался с 1938 года — Ине тогда было четырнадцать лет; она записывала свою жизнь в течение четырех лет; это раннее утро жизни. Читая, я невольно вспоминал мои школьные годы: похоже и не то, детство оставалось детством, но изменилась эпоха.

После войны мне захотелось навестить Константиновых. Я побывал в Кашине. Это небольшой город Калининской области; там мало заводов, большая базарная площадь, старые церквушки, деревянные домики. В одном из таких домиков жили Константиновы; и Александр Павлович и Вера Васильевна были педагогами; кроме Ины, у них была вторая дочь — Рена, младшая.

Ина с детства много читала, но она любила и проказы, игры в «свадьбу», в «бутылку-указку», в «американку», танцы, любила кататься на коньках, ухаживала за кошками, за щенками, работала в саду. Отличницей она не была и часто угрызалась, получая плохие отметки («Математика мне всю жизнь портит»), старалась наверстать потерянное. Ничего в ней не было болезненного, экзальтированного, исключительного.

У нее была подруга детства Люся, с нею Ина делилась всем и, когда родители увезли Люсю в Магадан, страдала, что некому поверить свои тайны. Однако она отнюдь не была замкнутой, дружила со многими, всегда находила в товарищах хорошие стороны. Она училась в восьмом «А», попала в девятый «Б» и сразу подружилась с Таней и Леной. В детстве, куда она часто ходила, ей нравились Валя Амбражунас и Оля Руманова. «Вообще мне в этом году везет на людей. Максим с Федором, Аленка, Таня Волкова — все чудные, славные, хорошие. Вот жаль только, что Люся уехала». «Лидочка Кожина. Какая она прелесть. Идеальная девушка. Красивая, умная, отлично учится, прекрасный товарищ». «Подружилась с Кларой Калининной». Когда началась война, Ина пошла в санитарную дружину, работала в госпитале. «Ростовчанин Заславский, молодой, ранен в ногу, плечо и голову. Славный он человек и патриот». В школу поступили новые

ученики: «Москвич Женя Никифоров и Рэм Меньшиков, ленинградец. Чудесные, милые ребята». «Саша Куликов, кажется, останется у нас. Хорошо бы! По-моему, он прекрасный мальчик, умный, начитанный». В ноябре 1941 года — эвакуация. Ина попадает в далекий город, в чужую школу; два месяца спустя ей уже жалко расставаться с новыми друзьями — с Людой, Геркой, Галей, Вовкой. В июне 1942 года Ина становится партизанкой; ее посылают в тыл врага. Она говорит о первом своем начальнике: «Каких чудесных людей ставит судьба на моем пути! Он умный, чуткий, тонкий!» О комиссаре Абрамове: «Удивительно интересный человек, такой образованный и тоже... тонкий (это мое выражение, я-то его хорошо понимаю)». Вот ее товарищи по партизанскому отряду: «Гриша Шевачев. Высокий, худой, еврейского типа мальчик... славный парень. Игорь Глинский. Чудесный мальчишка... поразительное чувство юмора. Умный, начитанный... Макаша Березкин. Ну, прелесть!.. Всегда весел, всегда улыбается. Не отказывается ни от какого дела...» Потом она пишет сестре: «Зоя была моей лучшей подругой. Замечательная девушка! И она погибла моей героической смертью. Именно героической. Погибло много замечательных людей. Самыми близкими я считаю Зою, комбрига Арбузова, радиста Геньку, Игоря Глинского и Гришу Шевачева. И вот из них остался только Игорь». В отряде был пятнадцатилетний Вадик Никоненко. Девушки удивленно спрашивали Ину: «О чем ты с ним разговариваешь?» Она отвечала: «А он такой интересный...»

Она была веселой, прыскала, как и полагается девчонке. «У Феде Германа на щеке были две замечательные кляксы. Я как их увидела, так уж успокоиться не могла, чуть не до слез хохотала... И вдруг меня вызывают. Я даже не знаю, что и отвечать. Кое-как по подсказкам ответила и получила «хорошо». Но среди ответа вдруг меня такой смех разобрал, я не удержалась и фыркнула на весь класс. Так нехорошо получилось...» «Сегодня был в пионердоме вечер, посвященный 35-летию какой-то стачки... Сначала танцевала девочка в шелковых панталонах. Затем сел на стол и провалился какой-то десятиклассник. Потом кто-то снаружи разбил стекло, и Питанов через окно стал ловить разбойника. Хохотали немимоверно...»

Ина читала много и беспорядочно. В пятнадцать лет она записывает: «Взяла Шиллера «Статьи по эстетике»... Жаль

только, что я там некоторые вещи не понимаю. Нужно прочитать Канта, Гегеля и других философов, а затем уже и эту книгу». Философией, кажется, она не увлекалась. Как многие ее сверстницы, восхищалась «Мартином Иденom», плакала над «Оводом». Ее волновали самые несхожие авторы — Мамин-Сибиряк и Гайдар, Шпильгаген и Ю. Герман, Вербицкая и Андре Жид. Ина любила стихи. В шестнадцать лет ей нравился Надсон, и она отрицала Маяковского — знала его только по школьным хрестоматиям. Потом она узнала и полюбила другого Маяковского, повесила его портрет в своей комнате. Она писала, что Гейне так хорош, что мирит ее с немецким языком. Она часто повторяла стихи Блока; в старой «Ниве» нашла его ранние стихи.

Она увидела в московском музее картины старых итальянцев. «Картины современных художников, на которых физиономия не отличается от помидора и темы которых однообразны, как песчаные холмы, никогда нельзя назвать живописью. Это мазня. Современные скульптуры, в которых красота заменена динамичностью и «выразительностью», нельзя причислить к произведениям благородного искусства. Никогда не появится «Джиоконда», фрески итальянских мастеров... Никто не напишет «Божественной комедии» и «Анны Карениной». Мир теряет самое лучшее — красоту...»

В шестнадцать лет ей казалось, что виноваты в этом вкусы народа. Год спустя над этой фразой она надписала: «Неправда!», над осуждением Маяковского: «Заблуждение!»

А любовь к красоте оставалась, ее Ина никогда не считала заблуждением.

Подростки часто мечтают стать актрисами или писателями. Ина хотела учиться в юридическом институте. Потом, будучи партизанкой, она переменяла планы и в 1944 году просила мать послать документы в авиастроительный институт. Я ее не вижу ни прокурором, ни авиаконструктором, но хорошо, что ее не тянуло ни в театральное училище, ни в литературный институт, хотя, разумеется, она участвовала в школьных спектаклях и, влюбляясь, тайно писала стихи.

Влюблялась она часто, страстно и каждый раз считала — «вот это настоящая любовь». В пятнадцать лет она влюбилась в товарища по школе: «Мне стоит огромных усилий воли не сесть на скамью, откуда видно его... Я люблюсь им

только тогда, когда он проходит мимо по коридору. Но если я замечаю на себе его взгляд, то делаю гримасу презрения. Зачем? Неужели это правда бессознательная тактика Жюльена Сореля? Не может быть! Ведь он действовал из гордости, а я люблю...»

Левушка уехал, Ина о нем тосковала. «Мама говорит, что я не его люблю, а идеал, который я создала... По-моему, нет. Ведь я вижу все его недостатки, знаю все плохие стороны и все-таки люблю. Люблю все в нем, даже недостатки». Прошло три месяца, и Ина в страхе спрашивала себя: «Я не понимаю — неужели можно любить несколько раз и всегда одинаково сильно? Только разница в том, как любить. Левочку мне хотелось чувствовать около себя, хотелось держать его руки, целовать его. А этот... Нет, совсем не то. С этим я больше всего в жизни хотела бы быть друзьями, знать, что он меня любит...» Николай, по ее словам, был к ней равнодушен. «Я танцевала с ним! Вдруг подходит он ко мне, и я пошла танцевать с ним. Я все время путалась, сбивалась, пролепетала что-то, что я не умею, и все... Я все-таки стараюсь показать, что он мне совершенно безразличен, и кажется, выходит...»

Ина узнала ревность: «Опять он провожал ее домой!» Она сердилась на себя: «В любви надо быть гордой, и если ему нравится другая, так я не хочу быть пайщиком». Но вскоре после этого поняла, что не все в жизни подчинено разуму: «Очевидно, это чувство сильнее гордости и самолюбия. Да и могут ли они существовать вместе с любовью? Нет, никогда!»

В 1940 году она подружилась с двумя одноклассниками, воспитанниками детдома — Максимом Пирушко и Федей Германом. «Они рассказали о том, как арестовали их родителей, причем так спокойно, что можно подумать, что это случилось не с ними. У Максима сначала взяли отца, а затем в поезде мать. Он даже не простился с ней. У Федей сначала мать, потом отца. Теперь обе матери в Караганде, а где отцы — неизвестно. Они, оказывается, как мы, когда особенно есть о чем поговорить, когда сильные переживания, уходят куда-нибудь, где никто не мешает, и говорят обо всем». Ине в 1937 году было тринадцать лет; беда обошла ее родителей. Мир девочки узок, а для Максима и Федей аресты невинных были будничным явлением, бытом. Легко понять, как это всполошило Ину, которую больше всего возмущала несправедливость. Федей

стал ее лучшим другом. Она часто ходила в детдом. Федя показал ей фотографии отца, матери, сестры. «Вчера они сказали мне самую неприятную вещь — пришел приказ из наркомата, чтобы воспитанников детдомов старше четырнадцати лет отправлять в ремесленные училища. Значит, скоро они уедут...» Она пишет дальше: «Вчера был вечер в детдоме, посвященный Дню Конституции... Когда я прихожу туда, то для меня это действительно праздник. Только там мне по-настоящему хорошо и весело... Я танцевала немножко... Но больше сидели в углу с Федей и разговаривали. Он был какой-то грустный. Как он говорит, потому что вспоминал, как три года тому назад в эти дни были арестованы его родители. На наше «tête-à-tête» обратили внимание учителя, и сегодня со мной мама говорила об этом... Думаю, что это только дружба, не больше. Но эта дружба мне очень дорога и незаменима...» «Сейчас Федя мне сказал, что у него 19 марта умерла мама. Боже мой, как это тяжело и как трудно пережить!..»

В дневнике Ины меня поражают душевная взыскательность, честность, прямота. Еще ученицей седьмого класса она ненавидела «подлиз». Она была комсомолка, входила в совет Осоавиахима. Осенью 1940 года она писала: «В нехорошее, темное, неясное время начала я эту тетрадь. Сегодня живем так, а что будет завтра — неизвестно...» Ина болезненно относилась к любой фальши; в дневнике она размышляет над несоответствием между различными трудностями, связанными с надвигавшейся войной, и неискренними, чересчур радужными речами, которые раздавались на собраниях в Кашине: «Ведь это ложь!.. Ну зачем это?.. Люси нет, и не с кем поговорить на эту тему...» В шестнадцать лет она умела думать, умела взглянуть правде в глаза и три года спустя погибла, сражаясь за правду.

В дневнике Ины много обычного, сближающего его с дневниками девочек ее возраста; есть и не столь обычное. Может быть, любовь к искусству, к поэзии придавала ей особую душевную настроенность? В четырнадцать лет она писала: «Сейчас очень тихий, не по-январски мягкий вечер. Все кажется особенно хорошим, все покрыто розовато-кремовым светом. Скоро зайдет солнце. Все должно было бы быть легким, приятным, но нет этого. Наоборот, появляется какая-то тоска. Отчего? Кажется, нет никаких видимых причин, но... Вот это «но» и мешает. Людям без него легче. Например, Лиза, Нюра —

они живут настоящим, реальным миром, а я не могу. Для меня гораздо важнее мечта, фантазия. Что же делать, если я не могу жить в исключительно романтических условиях, например, в Италии или хотя бы на Дальнем Востоке, а живу в каком-то затхлом городишке, где никаких событий...» Полгода спустя она вернулась к раздумьям о своем характере: «Я имею двойную душу. Первое «я» появляется по вечерам. Это «я» живет только будущим — мечтами. Эта душа, грустная, тоскливая, покидает меня иногда. И тогда я становлюсь современной девочкой. Тогда меня интересуют злободневные вопросы... Трудно будет мне жить с такими противоположными наклонностями в душе. Это как бы два разных человека...»

О смерти Ина впервые подумала, прочитав «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева: «Какая это жуткая вещь — чувствовать неизбежность, близость смерти! Я пробовала представить себя на их месте, но ничего не вышло. То мне казалось, что я буду спокойно ждать конца и даже не думать о нем, то казалось, что я буду кого-то умолять, бесцельно метаться».

В Кашине покончил с собой один педагог. Ина была потрясена, хотя почти не знала самоубийцы: «Какой ужас! Сейчас узнала, что отравился В. В. Жигарев, учитель из техникума... Неужели не было другого выхода? Значит, не было. Как жутко сознавать безвыходность положения, видеть смерть неизбежную и близкую!»

«Луна... Снег... И тишина, тишина. Как в сказке. Когда-нибудь в такую же ночь я пойду в лес. И наступит сказка... Как мелко все то, о чем мы плачем, чему радуемся! Как бедна и прозаична наша жизнь! Есть только одно действительное событие в жизни каждого, одно, стоящее того, чтобы перед ним преклониться, — смерть, шаг в неизвестное и несуществующее».

Май 1941 года был в жизни Ины счастливым: «Мы случайно сели рядом с Мишей Ушаковым и случайно разговорились. И... и я, что называется, по уши!.. Ну можно ли выразить все чувства, которые внезапно возникают в такие минуты?..» «Он иногда даже странным кажется, но я люблю в нем и эту странность...» «Мы все время сидели рядом с Мишей. Провозгласили нас женихом и невестой и кричали нам «горько». Опять целовались...» «Как хорошо жить, когда за спиной у тебя шестнадцать лет и девять классов, яркое солнце

и хорошие отметки, большая дружба и светлая любовь, а впереди... А впереди жизнь!» Миша читал Ине стихи Фофанова:

Все тает, надежды и годы...
И память о милом когда-то,
Как лед пробужденной природы,
Растает... уйдет без возврата.

Но могли ли эти печальные строки смутить семнадцатилетних влюбленных?

Двадцать второе июня 1941. «Еще вчера все было так спокойно, так тихо, а сегодня... Боже мой!..»

Бомбежки, расставание с друзьями, тревога за Москву, за родину. «Даже воздух стал другим. Что-то будет... На фронт — это мечта! Разбить фашистов!» В дневнике Ины нет деклараций. Она любила людей, доверяла им, и это помогало ей пережить испытания: «Нет, с такими людьми не пропадет наша страна, не может пропасть!»

Она отнюдь не романтизировала войну; когда умерли двое раненых в госпитале, где она работала, она написала: «Во имя чего отдали они жизнь? Во имя чего теряют жизнь сотни тысяч других молодых, смелых? Кто ответит на этот вопрос?»

Вернувшись из эвакуации в Кашин, Ина узнала, что Миша Ушаков умер от раны, полученной в бою. Она поняла (а может быть, убедила себя), что Миша был ее большой, настоящей, единственной любовью. Она подала заявление в райвоенкомат, просила отправить ее на фронт, говорила, что кончила курсы сандружинниц и «неплохо стреляет». Ответа долго не было. Ина ходила в школу, увлекалась молодыми людьми, плакала тихонько по Мише, спрашивала себя: «Когда же кончится эта проклятая война?», старалась развлечься: «Иногда танцуем под патефон. Мама называет это легкомыслием, она не может понять, как мы сейчас можем думать о развлечениях. А на самом деле хоть на минуту хочется забыться от всех ужасов... И так скупы наши развлечения, что на них не следовало бы и обижаться. Да и скоро они кончатся...»

Развлечения действительно скоро кончились: в июне 1942 года Ину послали в тыл врага. Она уехала, не сказав ничего родителям, написала из Калинина: «Я знаю — это подлость по отношению к вам, но ведь так было лучше. Я все равно не выдержала бы маминых слез...»

Сражалась она хорошо, об этом рассказывают уцелевшие товарищи; ходила в разведку, участвовала и в боях с карательными отрядами, и в «заданиях» — взрывали мосты, нападали на склады. Я не стану говорить о ее боевой жизни: героизм был в те годы буднями многих. Я переписывал отрывки из школьных дневников, чтобы показать истоки этого героизма. Многие предприняли взыскательность к себе, прямота, честность.

Однажды Ину послали как разведчицу собрать сведения о немецком гарнизоне. Когда она шла назад, гитлеровцы ее задержали. Офицер бил девушку по лицу, потом начал жечь сигарой ее руку. Ина молчала. За полгода до начала войны ей вырывали зуб: «Я так плакала, и сама не знаю, когда и как это кончилось. Казалось, что если боль увеличится хоть на йоту, то я сойду с ума». А когда фашист ее пытал, она молчала: «Я думала только об одном — как бы не показать свою слабость».

Она писала матери нежные, простые письма: «Иногда ночью вдруг проснусь от того, что живо-живо представится, что ты сидишь у меня на кровати, как когда-то дома. И мне так хорошо, так тепло. Проснусь — и нет никого, и все пусто». «Мне теперь все время вспоминается домашнее, прошлогоднее. И Мишу жаль так, как, пожалуй, в прошлый год не жалела, потому что теперь я по-настоящему оценила жизнь». «Вы все-таки считаете меня чуть ли не героем. Напрасно. Я всего только советский человек».

Отец Ины, Александр Павлович, был направлен во вражеский тыл. Он встретил Ину и рассказывал мне, что, когда он назвал ее девочкой, она запротестовала: «Папа, я уже не девочка, я разведчица Второй Калининской партизанской бригады». Однако, узнав, что у отца в вещевом мешке сласти, Ина попросила: «Дай сладенького...»

Партизанка оставалась самой собой. В письме к школьной подруге Лене она рассказывала: «Безумно влюбилась в одного товарища, и он любил. А потом он погиб. Думала, с ума сойду. Ты ведь знаешь мой характер...»

Портрет Ины был бы не полным, если бы я опустил одну запись в ее дневнике. Она, как я говорил, участвовала в боях, стреляла из автомата; это казалось ей легким. Она записала в дневник, как расстреливали предателя-старосту: «Держался он твердо. Ни слова не сказал. Только концы пальцев чуть

дрожали. И умер он спокойно. Стреляла в него Зойка. И рука не дрогнула. Молодец! А мне было чего-то жутко. Чувствовала себя отвратительно».

В ночь на 4 марта 1944 года несколько партизан спали в лесной землянке. Перед рассветом часовой разбудил их: «Немцы!» Ина поняла, что всем уйти не удастся. Она крикнула товарищам: «Уходите!» — и, встав на колени, стала стрелять из автомата. Она погибла в том снежном лесу, под звездами, о котором писала три года назад. Ей не было и двадцати лет.

Я написал об Ине вскоре после того, как прочитал ее дневник. После войны дневник издали — чуть приглаженный: не хотели, чтобы героиня говорила об изнанке жизни, а это яснее показывает ее верность, душевное мужество. В этом, как и во многом другом, она была — повторяю ее слова — «советским человеком»: она многим до войны возмущалась, а в трудный час пошла защищать советскую землю.

Я дал дневник Ины Э. Ю. Триоле, она его перевела на французский язык. Вышли переводы и в других странах.

В 1958 году при автомобильной катастрофе погибла мать Ины. А отец живет в том же деревянном домике с Реной, со внуком, мальчик уже ходит в школу. Недавно я видел Александра Павловича, и, конечно, мы снова говорили об Ине. Мне кажется, что я ее знаю лучше, чем некоторых людей, с которыми прожил долгие годы, не только потому, что она умела хорошо исповедоваться в дневнике, но и потому, что мне душевно близка эта девочка или девушка, с которой я встретился только после ее смерти. Прежде открывали материки, острова, скоро, наверно, начнут открывать планеты, но для писателя во все времена было и будет самым важным открытие человеческого сердца. Вот почему я включил рассказ об Ине Константиновой в книгу, посвященную моей жизни: Ина помогла мне многое еще раз проверить в трудное время, когда война вытаптывала в человеке все, что мы обычно называем человеческим.

Мне кажется, что короткая жизнь Ины помогает понять, почему советские люди выдержали испытание и победили. Это исповедь поколения, которое было скошено раньше, чем успело всколоситься. И вместе с тем, как это ни звучит странно, рассказывая о некоторых сторонах душевной жизни Ины, я говорю и о себе.

В 1944 году один из военных корреспондентов «Красной звезды» писал обо мне: «На забрызганном грязью «виллисе» ехал по прифронтовой полосе немолодой, предельно штатский человек в мешковатом коричневом пальто, в меховой штатской шапке, с сигарой. Он неторопливо ходил по передовым позициям, несколько сутулясь, разговаривая тихим голосом и ни секунды не стараясь скрывать то обстоятельство, что он глубоко штатский человек».

Когда в конце января я сказал генералу Таленскому, что хочу поехать в Восточную Пруссию, он улыбнулся: «Только придется вам надеть форму, а то, чего доброго, вас примут за фрица». Звания у меня не было, и новенькая офицерская шинель без погон выглядела на мне, пожалуй, еще смешнее, чем мешковатое коричневое пальто. Впрочем, об этом я подумал только тогда, когда немцы начали меня упорно именовать «господином комиссаром».

Наши войска быстро продвигались на запад, оставляя позади островки, в которых держались окруженные гитлеровцы. В городе Бартенштейн еще горели дома; рядом были немецкие позиции. Я встретил генерала Чанчибадзе; он усмехался: «Это не Ржев...» Говорил, что солдаты рвутся вперед, жаловался: мало снарядов. (Немцы продержались в том «котле» еще два месяца.) В Эльбинге, когда я туда попал, продолжались уличные бои. Враг порой поспешно отступал, порой отчаянно сопротивлялся. Мины были заложены повсюду — в зданиях школ, в крестьянских амбарах, в магазинах обуви. Генерал кричал в телефон: «Слушай, прибавь огонька — он, черт, огрызается...» А солдат рассказывал о товарище: «Говорил: «Фрицы выдохлись», — а дня не прошло — я его притащил в санбат, посмотрели и говорят: «Поздно...»

Все понимали, что дело идет к концу, но никто не был уверен, что до него доживет. В начале февраля погода резко изменилась — пришла ранняя весна, на солнце было тепло, в брошенных садах зацветали подснежники, лиловые крокусы. Близость развязки делала смерть особенно нелепой и страшной.

От мысли, что мы продвигаемся в глубь Германии, у меня кружилась голова. Я столько писал об этом, когда гитлеровцы были на Волге, а теперь я ехал по хорошей, гладкой

дороге, обсаженной липами, глядел на старый замок, на ратушу, на магазины с немецкими вывесками, и все не верилось: неужели мы в Германии? Как-то повстречался я со старыми друзьями — тадинцами. Мы долго, улыбаясь, бессмысленно повторяли: «Вот, значит, где...»

Почти у каждого было свое горе: погибли два брата, сожгли дом и угнали сестер в Германию, убили мать в Полтаве, всю семью замучили в Гомеле — ненависть была живой, не успевшей притихнуть. Бог ты мой, если бы перед нами оказались Гитлер или Гиммлер, министры, гестаповцы, палачи!.. Но на дорогах жалобно скрипели телеги, металась без толку старые немки, плакали дети, потерявшие матерей, и в сердце подымалась жалость. Я помнил, конечно, что немцы не жалели наших, все помнил, но одно дело фашизм, рейх, Германия, другое — старик в нелепой тирольской шляпе с перышком, который бежит по развороченной улице и машет клочком протыни.

В Растенбурге красноармеец яростно колот штыком девушку из папье-маше, стоящую в витрине разгромленного магазина. Кукла кокетливо улыбалась, а он колот, колот. Я сказал: «Брось! Немцы смотрят...» Он ответил: «Гады! Жену замучили...» — он был белорусом.

В том же Растенбурге комендантом города назначили майора Розенфельда. Гитлеровцы убили его семью, а он делал все, чтобы оградить население немецкого города. Он оставил меня ночевать. В доме богатого фашиста на стене висела любительская фотография: дочь хозяина подносит букет Гитлеру. Местные жители рассказывали, что в этом доме останавливался фюрер, когда приезжал в Восточную Пруссию. Майор Розенфельд горевал, что его оторвали от полка, но работал чуть ли не круглые сутки. При мне к коменданту привели маленькую девочку — родители погибли. Майор ласково и печально глядел на нее, может быть, вспоминал свою дочку. Сколько раз он, наверно, повторял про себя слова о «священной мести», а в Растенбурге понял, что это была абстракция и что рана в его сердце не заживет.

Радость победы и здесь смешивалась с той печалью, которая неизменно рождается, когда видишь войну — не на полотне баталиста, не на экране, а под носом: расщепленные дома, пух от перин, беженцы, узлы, недоенные коровы, а чей-то долгий пронзительный визг застревает надолго в ушах.

Некоторые города были разбиты артиллерией; в Крейцбурге уцелела только тюрьма; среди развалин Велау я не нашел ни одного немца: все убежали. Другие города уцелели; в Растенбурге жители очищали улицы от обломков мебели, разломанных телег. В Эльбинге оказалось шестьдесят тысяч человек — треть населения осталась.

Восточная Пруссия издавна считалась самой реакционной частью Германии. Здесь было мало заводов, мало рабочих; зажиточные крестьяне голосовали за Гинденбурга, потом дружно кричали «хайль Гитлер». Помещики были подлинными зубрами, любая либеральная побрякушка казалась им оскорблением родовой чести. В городах жили коммерсанты, чиновники и адвокаты, врачи, нотариусы, люди интеллигентских профессий, которых трудно причислить к интеллигенции. Дома были чистыми, благоустроенными, с мещанским уютом, с рогами оленей в столовой, с вышитыми сентенциями о том, что «порядок в доме — порядок в государстве» или что «трудись — и увидишь сладкие сны». В кухне стояли фаянсовые банки с надписями «соль», «перец», «тмин», «кофе». На полке красовались книги: Библия, стихи Уланда, иногда том Гете, доставшиеся в наследство, и десяток новых изданий — «Майн кампф», «Поход на Польшу», «Расовая гигиена», «Наша верная Пруссия». В таких городах, как Растенбург, Летцен, Тапиау, не было городских библиотек. В Бартенштейне мне сказали, что здание музея невредимо. Я всполошил коменданта: «Сейчас же поставьте охрану». Пошел в музей, и стало не по себе: кроме чучел животных, там были весьма однообразные экспонаты — огромный портрет Гинденбурга, карта военных действий в 1914 году, трофей — погоны русского офицера, фотография разрушенной Варшавы, портреты местных благотворителей.

Наши солдаты разглядывали обстановку. Один, помню, усмехнулся: «В такой берлоге можно жить». Другой выругался: «Сволочи, жили хорошо, чего они к нам полезли? Ты посмотри, ведь полотенца наши», — он показал на вышитые украинские полотенца в нарядной кухне.

Я ужинал в Эльбинге у командира корпуса генерала Г. И. Анисимова, когда прибежал лейтенант: «Разрешите доложить?» Лейтенант сказал, что в одном из подвалов обнаружены тридцать — сорок человек, которые отказываются выйти наружу, кричат, что они швейцарцы, и требуют, чтобы их оставили в покое. Недоразумение вскоре выяснилось — к генералу при-

вели человека в костюме, перепачканном углем, давно не бритого, который представился: «Карл Бренденберг, вице-консул Швейцарии». Оказалось, в Эльбинге проживало довольно много швейцарцев, они здесь обосновались как специалисты по изготовлению сыров. Генерал приказал напоить и накормить голодного вице-консула, а потом вывести всех швейцарских граждан из подвала. Меня удивило, что охранный грамота, которую нейтральный сыровар предъявил, была написана на русском языке и выдана швейцарским правительством осенью 1944 года. Вице-консул объяснил: «В Берне предвидели события.— И, чуть усмехнувшись, добавил: — В Берне, но не в Эльбинге...»

Генеральный викарий жаловался мне, что при Гитлере немцы растеряли веру (о том же говорили и два пастора). Мне же казалось, что они просто сменили предмет культа. Непогрешимость папы перестала интересовать католиков, зато они свято верили в непогрешимость фюрера. Вторжение Красной Армии в Восточную Пруссию застало жителей врасплох: они верили не только Гитлеру, но и его помощникам, а гаулейтер Эрих Кох еще в начале января писал: «Русские никогда не прорвутся в глубь Восточной Пруссии — за четыре месяца мы вырыли окопы и рвы общим протяжением 22 875 километров». Цифра успокаивала. В Либштадте я нашел незаконченное «свидетельство об арийском происхождении» — 12 января некто Шеллер, решив жениться, заполнил анкету о своих предках, но не успел представить справку об одном из дедов: 26 января в Либштадт вошли советские танки.

В 1944 году я часто спрашивал себя: что произойдет, когда Красная Армия войдет в Германию? Ведь Гитлеру удалось убедить не отдельных изуверов, а миллионы своих соотечественников, что они — избранная нация, что плутократы и коммунисты, объединившись, лишают талантливых и трудолюбивых немцев жизненного пространства и что на Германии лежит великая миссия установить в Европе новый порядок. Я помнил некоторые разговоры с пленными, дневники, которые поражали не только жестокостью, но и культом силы, смерти, помесью вульгарного ницшеанства и воскресших суеверий. Я ждал, что население встретит Красную Армию отчаянным сопротивлением. Повсюду я видел надписи, сделанные накануне прихода наших войск, проклятия, призывы к борьбе: «Растенбург всегда будет немецким!», «Эльбинг не сдастся!»,

«Граждане Тапиау помнят о Гинденбурге. Смерть русским!» Я прочитал листовку, в которой почему-то упоминались традиции «вервольфов»; я спросил капитана, занятого пропагандой среди войск противника и, следовательно, хорошо знавшего немецкий язык, что такое «вервольф»; он ответил: «Фамилия генерала; кажется, он сражался в Ливии...» Я решил проверить, заглянул в толковый словарь и прочитал: «В древних германских сагах вервольф обладает сверхъестественной силой, он облачен в волчью шкуру, живет в дубовых лесах и нападает на людей, уничтожая все живое». В Растенбурге я нашел школьную тетрадку, какой-то мальчик написал: «Клянусь быть вервольфом и убивать русских!» Но в том же Растенбурге не только подростки или старики, но и застрывшие жители призывного возраста вели себя как пай-дети. Гитлеровцы изготовили маленькие кинжалы с надписью на клинке: «Все для Германии». В инструкции говорилось, что эти кинжалы помогут немецким патриотам бороться с красными захватчиками. Я взял такой кинжал, он мне служил консервным ножом. А про заколотых красноармейцев я не слышал. Все это было разговорами, фантазией Геббельса, злощезей фашистской романтикой. Конечно, среди гражданского населения были не только безобидные старики и ребята, были и волки, но, в отличие от мифических вервольфов, они предпочитали временно нарядиться в овечью шкуру и аккуратно выполняли любой приказ советского коменданта.

Я побывал в десятках городов, разговаривал с разными людьми: с врачами, нотариусами, учителями, крестьянами, трактирщиками, портными, лавочниками, токарями, пивоварами, ювелирами, агрономами, пасторами, даже с одним специалистом по изготовлению генеалогических деревьев. Я искал ответа у католика-викария, у профессора Марбургского университета, у стариков, у школьников — хотел понять, как они относятся к идее «народа господ», к мечте о завоевании Индии, к личности Гитлера, к печам Освенцима. Повсюду я слышал то же самое: «Мы ни при чем...» Один говорил, что он никогда не интересовался политикой, война была бедствием, Гитлера поддерживали только эсэсовцы; другой уверял, что на последних выборах в 1933 году он голосовал за социал-демократов; третий клялся, что был связан со своим шурином, который коммунист и участвует в Ганновере в подпольной организации. Возле Эльбинга, в селе Хоэнвальд, один немец

поднял кулак, приветствуя «господина комиссара»: «Рот фронт!» В его доме нашли альбом любительских фотографий: вешают русских, возле виселицы доска с крупной надписью: «Я хотел зажечь лесопилку, подсобник партизанов»; еврейские женщины со звездами на груди ждут в вагоне расстрела. Находка не заставила мнимого «ротфронтиста» примолкнуть, он продолжал говорить о своей борьбе против нацистов: «Эти фото оставил неизвестный штурмовик, который, наверно, приходил к моему брату, мой брат был очень наивным, его убили на Восточном фронте, а я воевал в Голландии, во Франции, в Италии — в России я не был. Можете мне поверить: в душе я коммунист...»

Конечно, среди сотен людей, с которыми я беседовал, были и такие, что говорили искренне, но я не мог отличить их от других — все повторяли одно и то же. Я в ответ вежливо улыбался. Пожалуй, наиболее искренним мне показался пожилой немец, который возвращался с запада в Прейсиш-Эйлау, он сказал: «Герр Шталин хат гезигт, их гее нах хаузе» («Господин Сталин победил, я иду домой»).

Люди, с которыми я разговаривал, вначале отвечали, что они ничего не знали об Освенциме, о «факельщиках», о сожженных деревнях, о массовом уничтожении евреев; потом, видя, что ничто непосредственно им не угрожает, признавались, что отпускники о многом рассказывали и осуждали Гитлера, эсэсовцев, гестапо.

Третий рейх, еще недавно казавшийся незыблемым, рухнул сразу, все (на некоторое время) схоронилось, залезло в щели — упрощенное нищестанство и разговоры о превосходстве немцев, об исторической миссии Германии. Я видел только желание спасти свое добро да привычку пунктуально выполнять приказы. Все почтительно здоровались, старались улыбнуться. В районе Мазурских озер моя машина завязла: откуда-то прибежали немцы, вытащили машину, наперебой объясняли, как лучше проехать дальше. В Эльбинге еще стреляли, а корректный упитанный бюргер проявил инициативу — принес складную лесенку и переставил на больших часах стрелку на два вперед: «Они идут замечательно, сейчас три часа двенадцать минут по московскому времени...»

Комендантом города назначили строевого офицера, и, конечно, он не был специально подготовлен для такого рода должности. Расклеивали стереотипное объявление — правила.

Один наш комендант, смеясь, говорил: «Я и не прочитал, что там написано, а они изучили от первой буквы до последней — что можно, чего нельзя. Часа не прошло, как начали приходить: один спрашивает, может ли забраться на крышу и залатать дыру, другой — куда ему доставить русскую работницу, она лежит больная, третий ябедничает на соседа...»

В Эльбинге я увидел необычайную очередь: тысячи жителей города жаждали проникнуть в тюрьму. Я обратился к одному, на вид самому миролюбивому: «Зачем вам здесь стоять на холоду? Покажите мне город, вы, наверное, знаете, в каких кварталах еще стреляют...» Он вначале сетовал — потерял свое место в очереди, говорил, что тюрьма теперь самое безопасное место: русские, наверно, поставят охрану и можно будет спокойно переждать; он несколько успокоился, только когда я обещал вечером его доставить в тюрьму. Это был вагоновожатый трамвая. Я его не спрашивал о Гитлере — знал, что он ответит. Он рассказал, что его дом сгорел, он едва успел выскочить в одном пиджаке. День был холодный. Мы проходили мимо магазина готового платья, на улице валялись пальто, плащи, костюмы. Я сказал, чтобы он взял себе пальто. Он испугался: «Что вы, господин комиссар! Это ведь трофеи русских...» Я предложил ему выдать письменное удостоверение; подумав, он спросил: «А у вас есть печать, господин комиссар? Без печати это не документ, на слово никто не поверит».

По Растенбургу меня водил мальчик Вася, которого немцы пригнали из Гродно. Он рассказал, что работал в доме богатого немца, на груди у него была бирка, все на него кричали. Теперь он шел рядом со мной, и встречные немцы учтиво его приветствовали: «Добрый день, господин Вася!»

Позднее в западногерманской печати много писали о «русских зверствах», стремясь объяснить приниженное поведение жителей естественным ужасом. По правде сказать, я боялся, что после всего учиненного оккупантами в нашей стране красноармейцы начнут сводить счеты. В десятках статей я повторял, что мы не должны, да и не можем мстить — мы ведь советские люди, а не фашисты. Много раз я видел, как наши солдаты, хмураясь, молча проходили мимо беженцев. Патрули ограждали жителей. Конечно, были случаи насилия, грабежа — в любой армии имеются уголовники, хулиганы, пьяницы; но наше командование боролось с актами насилия. Не произволом русских солдат следует объяснить угодливость граждан-

ского населения, а растерянностью: мечта рухнула, дисциплина отпала, и люди, привыкшие шагать по команде, заматались, как стадо испуганных овец. Я радовался победе, близкому концу войны. А глядеть вокруг было тяжело, и не знаю, что меня больше стесняло — развалины городов, метель из пуха на дорогах или приниженность, покорность жителей. В те дни я почувствовал, что круговая порука связывает свирепых эсэсовцев и мирную госпожу Мюллер из Растенбурга, которая никого не убивала, а только получила дешевую прислугу — Настю из Орла.

Глядя на улыбки обывателей Растенбурга или Эльбинга, я не чувствовал злорадства, во мне смешивались брезгливость с жалостью, и это порой отравляло то большое счастье, которое я испытывал, видя наших солдат, прошедших с боем от Волги до устья Вислы. Отдыхал я, беседуя с освобожденными людьми — с советскими девушками, с гражданами и солдатами поработанных Гитлером стран. В Бартенштейне мне довелось быть свидетелем редкостной встречи: один боец, смоляк, среди освобожденных советских женщин нашел свою сестру с двумя детьми — одиннадцати и девяти лет. Еще недавно эта женщина рыла те рвы, которыми хвастал Эрих Кох. Она ничего не могла вымолвить, только плакала: «Вася!.. Васенька!..» А старший мальчик восхищенно разглядывал две медали на груди дяди Васи.

Кого только не привелось мне встретить! Среди освобожденных были люди разных стран, разных профессий: французы-военнопленные, бельгийцы, югославы, англичане, несколько американцев, студент из Афин, голландские актеры, чешский профессор, австралиец-фермер, польские девушки, священники, экипаж норвежского парусника. Все кричали, шутили, не знали, как выразить свою радость.

Французы раздобыли немецкие велосипеды и катили на восток — им хотелось поскорее вернуться домой. Среди них всегда находился человек, умевший хорошо стряпать, и зарезав барана, они устраивали пир, приглашали наших солдат, пели, балагурили, смешили даже невозмутимых англичан.

В плену все научились немного говорить по-немецки, бельгиец рассказывал чеху, что он пережил, а югославы и англичане обсуждали, как теперь быть с Германией. Здесь было куда легче договориться, чем на Ялтинской или Потсдамской конференции: люди понимали друг друга.

В Эльбинге, в бараках, где содержались военнопленные; я видел правила, напечатанные на десяти языках. В районе Мазурских озер французы должны были рубить лес и строить военные укрепления. В имении фон Дингофа работали французы, русские, поляки — сто пять душ. Железнодорожник Чудовский из Днепропетровска подружился с марокканцем, научил его немного говорить по-русски. В маленьком захолустном Бартенштейне каждая семья, имеющая троих детей, получала работницу — русскую или польку. Одна фермерша мне говорила, что она жила скромно, у нее работали только одна украинка и один итальянец; за них она вносила шестьдесят марок в «арбейтсамт». Теперь это известно всем, а тогда это меня потрясло: воскресили рабство античного мира, но вместо Эврипида — Бальдур фон Ширах, а вместо Акрополя — Освенцим.

Француз, военный врач, рассказал, что неподалеку от их лагеря был другой, где держали советских военнопленных. Началась эпидемия тифа. Гитлеровский врач говорил: «Лечить их нечего, все равно умрут...» Каждый день зарывали умерших. «Я видел, — говорил француз, — как вместе с трупами зарывали еще живых, вспомнить не могу без ужаса...»

В Бартенштейне наши саперы нашли в кухне тетрадку — это был дневник русской девушки. Тетрадку я увез. В ней были простые и поэтому убедительные записи: «26 сентября. Воспользовалась тем, что ее нет, и навела радио на Москву. Харьков наш! Я потом весь день плакала от радости. Говорю себе: дура, ведь наша берет, и плачу, плачу. Вспомнила Петю. Где он теперь, жив ли? Может быть, забыл меня? Все равно, лишь бы жил! Я знаю, что мне не дожить до свободы. Но теперь я наверно знаю, что наши победят... 11 ноября. Мой день рождения. Вспомнила, как приходили Таня и Ниночка. Мы пили чай с пирожными, спорили о книгах. Таня расхваливала своего И. Думала ли я, что буду выносить ее ночные горшки и выслушивать насмешки!..»

Не знаю, как звали девушку, не знаю, дожила ли она до свободы, что с нею приключилось потом, но я не мог без восхищения глядеть на людей, воистину освобождающих человеческие души, и невыносимо грустно было думать о погибших в киевском окружении, под Ржевом, у Сталинграда.

В Гутштадте я заночевал, утром собирался поехать дальше. Командующий дивизией уговаривал меня, чтобы я задержался,

пообедал. Он сказал, что мне необходимо посмотреть на старинный монастырь. Я уступил. Вместо монастыря я увидел развалины: по монастырю была артиллерия. На земле валялась груда книг — маленьких, в кожаных или пергаментных переплетах, я видел такие в других городах: молитвенники, псалтыри, Библии, труды отцов церкви. Я хотел было уйти, как, сам не знаю почему, наклонился и поднял маленькую книжечку. Я обомлел — первое собрание стихов Ронсара, изданное в Париже в 1579 году! Второй том, третий, четвертый... Стихи одного из друзей Ронсара — Реми Белло. Томик произведений Лукиана во французском переводе. (Лукиана я потом подарил Я. З. Сурицу, а Ронсара и Белло берегу.) На первой странице отметка: такой-то купил там-то, заплатил столько-то. В XVI веке монахов, которые чрезмерно любили женщин и вино, посылали в отдаленные монастыри, на окраину католического мира. Естественно, что человек, которому нравились стихи Ронсара и сатиры Лукиана, не был аскетом. Вероятно, когда провинившийся монах умер в забытом всеми Гутштадте, его книги попали в монастырскую библиотеку — немцы не разобрали, что это за книги; в них никто не заглядывал, и они изумительно сохранились.

В машине я раскрыл томик Ронсара и снова обомлел — раскрыл как раз на той поэме, отрывки из которой вставил в «Падение Парижа» — их читает Жаннет Дессеру:

Признает даже смерть твои владенья,
Любви не выдержит земля,
Увидим вместе мы корабль забвенья
И Елисейские поля...

Все было несовместимо: развалины, танки, санбат и Ронсар, любовь, Елисейские поля — не парижские, другие, те, о которых писал Пушкин: «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах...»

Две недели спустя, возвращаясь в Москву, в Вильнюсе я рассказывал Ю. И. Палецкису про швейцарского вице-консула. Мы смеялись, повторяли друг другу: «Теперь скоро конец!..»

Потом я проехал через разрушенный Минск. Знакомая дорога — сожженные села, Борисов. Кожевенный завод, где гитлеровцы убивали... Снег еще милосердно прикрывал сожженную, изрытую землю, ржавую проволоку, пустые гильзы, кости.

Я вдруг удивился: вот и победа, почему же к радости при­мешивается печаль? Раньше этого не бывало. Видимо, бли­зость конца позволяет задуматься. Я вспомнил о томиках Рон­сара. В 1940 году в Париже я писал:

Не раз в те громкие, большие годы,
Под шум войны, средь нищества природы,
Я перечитывал стихи Ронсара.

Короткое стихотворение кончалось словами:

Как это просто все! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно...

В памяти встали пять лет, прошедшие после той весны, — потери, тоска, надежды. Кажется, подходит время, когда можно будет дышать, когда все любимые уснут без тревоги за тонкую нить человеческой жизни. Может быть, станет доступным и другое — радость, подснежники, искусство?.. Я больше не ду­мал о Растенбурге или Эльбинге — думал о жизни.

24

Во вступлении к моей книге я писал четыре года назад: «Не­которые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них идет речь о живых людях или о событиях, которые не стали достоянием истории»; многое из того, что пережито мною в военные годы, я опускаю. Расскажу теперь о послед­них неделях войны.

Вокруг Кенигсберга, на подступах к Берлину, в Венгрии шли кровопролитные бои. Почти каждый вечер в Москве гро­мыхали салюты; они были трех классов — первый из трехсот двадцати четырех орудий двадцать четыре залпа, а третий из ста двадцати четырех двенадцать залпов. Москвичи к ним при­выкли — бывали вечера, когда небо три-четыре раза обряжа­лось ракетами. «За что салют?» — спрашивала в фойе театра девушка подругу, та отвечала: «Маленький — за какой-то вен­герский город...» Но если люди успели привыкнуть к победам, то страстно, мучительно они ожидали Победу. Ждали письма с фронта от близкого человека, терзались еще больше, чем в

предшествующие годы. Наступали те последние четверть часа, которые кажутся вечностью.

В марте генерал Таленский покинул «Красную звезду». С новым редактором мне было нелегко. Я утешал себя мыслью, что газетной работе подходит конец, скоро можно будет сесть за книгу. Пока что я продолжал писать статьи для «Красной звезды», для «Правды», для еженедельника «Война и рабочий класс».

Еще осенью 1944 года я получил письмо из Англии, от леди Гибб. Ею руководили религиозные чувства, она призывала меня предоставить богу покарать фашистских преступников и не взывать к чувству мести. Я напечатал это письмо в «Красной звезде» с моим ответом, писал, что чувство мести мне чуждо, что солдаты Красной Армии, овладевая городами Трансильвании, в которых было много немецких семейств, не убивали безоружных, что мы хотим справедливости, уничтожения фашизма, подлинного мира и поэтому не можем предоставить господу богу судить гитлеровских злодеев. Я напоминал, что, когда слепые политики отдали Чехословакию в руки фашистских палачей, их именовали «ангелами мира», на самом деле они были глупыми хитрецами и хитрыми глупцами.

Я получил много писем от фронтовиков, возмущенных обращением леди Гибб. (Кажется, еще больше писем получила леди — мне потом рассказывали, что почтальоны в небольшом городе, где она проживала, были подавлены лавиной русских писем.) Между тем леди Гибб случайно оказалась в центре внимания: дело было, конечно, не в ней; начиналась борьба между людьми, решившими уничтожить фашизм, и вчерашними «мюнхенцами», сторонниками «мягкого мира». Не сердобольные христиане, а вдоволь циничные политики восставали против решения Ялтинской конференции отдать под суд военных преступников, разоружить Германию и заставить немцев участвовать в восстановлении разрушенных ими городов. Как это ни звучит парадоксально, но уже в конце 1944 года, когда немцы контратаковали в Эльзасе и в Арденнах, нашлись американцы и англичане, озабоченные тем, чтобы оставить Германию, «способной преградить путь коммунизму», хотя бы часть ее военной силы.

Брэйсфорд, автор книги, изданной в Англии в 1944 году, предлагал прежде всего помочь немцам восстановить города Германии, отказавшись от каких-либо репараций, обязать чехо-

словаков обеспечить равноправие судетским немцам, а вопрос о том, должна ли Австрия составлять часть Германии, решить плебисцитом. Различные телеграммы ТАССа выводили меня из себя. В Америке открыли довольно необычную школу: военнопленные немцы готовились к карьере полицейских в оккупированной Германии; по словам американских газет, слушатели этой школы соглашались на замену фашистского режима демократическим, но настаивали, чтобы американцы финансировали восстановление немецких городов, разрушенных союзной авиацией.

Начиная с февраля 1945 года Гитлер начал спешно перебрасывать дивизии с Западного фронта на Восточный. Вполне понятно, что из двух зол гитлеровцы выбирали меньшее. Они успели убедиться, что союзники, занимая немецкие города, снисходительно относятся ко вчерашним нацистам. В Рейнской области сплошь да рядом на посту бургомистра оставался гитлеровец. Газета «Дейли телеграф» осудила английского офицера, позволившего итальянским и русским пленным уйти из имения немецкого помещика: «Такие меры разваливают сельское хозяйство Германии». В различные экономические органы, создаваемые союзниками, включались крупные промышленники Рура, представители треста «ИГ». Видный американский публицист обнародовал книгу, где впервые провозглашал «атлантическую общность».

Бог ты мой, я никак не дипломат, да и не политик — литература мне всегда была понятнее и ближе сложной политической игры. Если я писал о том, что некоторые западные политики хотят оставить впрок микробы фашизма, то только потому, что помнил Испанию, Мюнхен, знал, какими жертвами оплачена победа над гитлеровской Германией.

Я продолжал писать, что мы пришли в Германию не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы вырвать фашизм с корнем. Вспоминая отдельные случаи насилия в городах Восточной Пруссии, возмущившие нас всех, я привел в «Красной звезде» письмо, полученное мною от офицера В. А. Курилко: «...Немцы думают, что мы будем делать на их земле то, что они делали на нашей. Эти палачи не могут понять величия советского воина. Мы будем суровы, но справедливы, и никогда, никогда наши люди не унижат себя...» Я писал дальше: «Я видел, как русские солдаты спасали немецких детей, мы не стыдимся этого, мы этим гордимся... Советский воин не

тронет немецкой женщины... Он пришел в Германию не за добычей, не за барахлом, не за наложницами...»

«Холодная война» еще находилась в засекреченном инкубаторе, и многие люди на Западе говорили, что нужно понять резоны народа, понесшего больше всего жертв. В марте 1945 года «Нью-Йорк геральд трибюн» писала: «То, как Эренбург в последнее время подвел итоги военного положения, стоит многословных трудов пятидесяти конгрессменов, двадцати комментаторов и дюжины политических экспертов... Это не кабинетная стратегия, а конкретная тактика; это прямой жестокий характер войны, в которую немцы вовлекли мир. Никто из нас этого не хотел. Русские, заключившие в 1939 году пакт о ненападении, этого не хотели. Мистер Чемберлен, который со сложенным зонтиком прибыл в Роденсберг, этого не хотел. Поляки, французы, англичане, американцы этого не хотели, но немцы настояли на своем и теперь получают то, что они затеяли. Только те, что знают, какова эта война, способны обеспечить при победе мир для нашей истерзанной цивилизации».

Одиннадцатого апреля «Красная звезда» напечатала мою статью «Хватит!», мало чем отличавшуюся от предшествующих. Рассказывая, что Маннгейм сдался союзникам по телефону, а в Бранденбурге продолжаются тяжелые бои, я говорил, что фашисты куда более страшатся советской оккупации, чем англо-американской. «Хватит!» относилось к тем политическим кругам Запада, которые после первой мировой войны сделали ставку на сохранение и развитие германского милитаризма.

Двенадцатого апреля умер Рузвельт. Это было тяжелой потерей. Теперь у нас перспектива времени, и мы видим, что Рузвельт принадлежал к тем немногочисленным государственным деятелям Америки, которые хотели обновить климат мира и сохранить добрые отношения с Советским Союзом. Москва убралась траурными флагами. Все гадали, что будет делать новый президент Трумэн.

Семнадцатого апреля я был в Славянском комитете на ужине в честь маршала Тито. Ко мне подсел Г. Ф. Александров, спрашивал, не устал ли я, лестно отзывался о моей газетной работе. На следующий день, раскрыв «Правду», я увидел большой заголовок «Товарищ Эренбург упрощает», статья была подписана Г. Александровым. (Я, конечно, сразу понял, что Александров выступил не по своему почину и что накануне не

рассказал мне об этом потому, что испытывал некоторую неловкость; может быть, поэтому он и расхваливал мои статьи.)

Г. Ф. Александров упрекал меня в том, что я не замечаю расслоения немецкого народа, говорю, что в Германии некому капитулировать, что все немцы ответственны за преступную войну, наконец, что я объясняю переброску немецких дивизий с запада на восток страхом немцев перед Красной Армией, в то время как это — провокация, маневр Гитлера, попытка посеять недоверие между участниками антигитлеровской коалиции.

Конечно, я не рассказывал бы обо всем этом, если бы писал историю эпохи, но я пишу книгу о своей жизни и не могу промолчать об эпизоде, который причинил мне много трудных часов.

Я еще раз оказался наивным, а мне было пятьдесят четыре года: я не могу сослаться на молодость, неопытность; видимо, такого рода наивность лежит в моем характере. Я понимал, почему появилась статья Александра: нужно было попытаться сломить сопротивление немцев, обещав рядовым исполнителям гитлеровских приказов безнаказанность, нужно было также напомнить союзникам, что мы дорожим сплоченностью коалиции. Я соглашался и с тем и с другим — хотел, как все, чтобы последний акт трагедии не принес лишних жертв и чтобы близкий конец войны стал подлинным миром. Меня огорчало другое: почему мне приписали не мои мысли, почему нужно было осудить меня для того, чтобы успокоить немцев? Теперь, когда горечь тех дней давно забыта, я вижу, что в расчете была своя логика. Геббельс меня изображал как исчадие ада, и статья Александра могла оказаться правильным ходом в шахматной партии. Моя наивность была в том, что я считал человека не деревяной пешкой.

«Красная звезда», разумеется, перепечатала статью Александра. Редактор со мною разговаривал сурово, как с солдатом-штрафником. В редакцию посыпались запросы с фронта, почему нет статей Эренбурга; об этом толковали и за границей. Мне предложили написать статью о боях за Берлин. Я знал, что статью редактор пошлет в ЦК, тому же Г. Ф. Александру, и предпочел это сделать сам. Копия письма Георгию Федоровичу у меня сохранилась: «...Иной читатель, прочитав Вашу статью, сможет сделать вывод, будто я призывал к поголовному истреблению немецкого народа. Между тем я, разумеется, никогда к этому не призывал, и это мне приписыва-

ла фашистская немецкая пропаганда. Я не могу написать хотя бы одну строку, не разъяснив так или иначе этого недоразумения. Как Вы увидите, я сделал это не в форме возражения, а приведя цитату из моей прежней статьи. Здесь затронута моя совесть писателя и интернационалиста, которому отвратительна расовая теория...» Ответа я не получил.

Только 10 мая — на следующий день после Победы — «Правда» поместила мою статью «Утро мира». Я уже понимал, что мне не дадут оправдаться, и для людей, обладающих памятью, вставил без кавычек цитаты из моих статей — о том, что нам чуждо чувство мести и что для немецкого народа найдется место под солнцем, когда он очистится от фашизма.

К сожалению, статья Г. Александрова не произвела должного впечатления на немцев. Они были деморализованы задолго до этой статьи, но имелись еще боеспособные дивизии, которые продолжали упорно сопротивляться. Что касается союзников, то некоторые из них в первую минуту всполошились: уж не попытаются ли русские перетащить немцев на свою сторону? Впрочем, они быстро успокоились — понимали, что реки крови не бутылка чернил и что одна статья не изменит ни отношения советского народа к гитлеровцам, ни страха немецких бюргеров перед коммунизмом. Конечно, солдаты и офицеры союзных армий были настолько потрясены зрелищем Равенсбрука или Бухенвальда, что фашистским главарям не приходилось рассчитывать на пощаду, но промышленники Рура, генералы рейхсвера, крупные чиновники третьего рейха, гитлеровцы не очень приметные, те, что поспешно жгли партийные билеты, понимали, где они найдут влиятельных защитников.

Пожалуй, наиболее сильное впечатление статья Г. Александрова произвела на наших фронтовиков. Никогда в жизни я не получал столько приветственных писем. На улице незнакомые люди жали мне руку (не скрою: я этого побаивался и старался поменьше бывать на людях).

Фронтовики присылали мне в утешение подарки; об одном расскажу. Это было поломанное охотничье ружье, которое льежские оружейники поднесли в год VII республиканской эры консулу Бонапарту. Ружье было красивым, с монограммой республики, с барельефным портретом молодого Наполеона, с изображенной чернью на серебре морской битвой против англичан. Надпись «Свобода морей!» напоминала о борьбе революционной Франции против блокады. Но как мне ни

правилось ружье, еще больше обрадовало меня письмо от солдат, которые его нашли на прусской дороге и прислали мне. В нем были добрые слова о моих статьях трудного времени, сердечность, ласка.

Пришел Суриц, сказал: «Зря огорчаетесь. Это не против вас, просто в его нравах. Узнаю почерк...» В общем, он оказался прав. Несколько недель меня не печатали, потом все забылось, и теперь о статье Г. Александра вспоминают только реваншисты из «Зольдатенцейтунг».

А вот вопросы, которые меня волновали в последние месяцы войны, увы, не устарели. Приветствуя в апреле 1945 года союзных солдат, гитлеровцы знали, что они делают, — требовалось крылышко, под которым можно укрыться, отдышаться, переждать, чтобы потом, выйдя на свет божий, снова заговорить о «красной опасности», о «защите Запада», об «исторической миссии Германии». На моем столе свежие газеты — сообщения о маневрах германской армии, о демонстрации судетских немцев, о выступлении военного министра Штрауса. Тяжело читать. Тяжело и вспоминать. Сказку про белого бычка можно не слушать. Но я пишу эту книгу в Новом Иерусалиме, рядом — братская могила, давно заросшая травой. Сегодня светлый осенний день; впервые идут в заново отстроенную школу важные малыши. Я не могу не думать о том, что их ждет.

25

В конце апреля сводка Совинформбюро сообщила, что в западном предместье Берлина войсками Первого Украинского фронта освобожден из немецкого плена Эдуар Эррио. Два дня спустя мне позвонили: «Эррио спрашивает, в Москве ли вы, он хотел бы вас повидать».

Эррио обнял меня: «Малыш, это было нелегко!..» Рассказывая о пережитом, он взволновался и вдруг перешел на «ты».

Я с ним познакомился в середине двадцатых годов. Встречались мы редко — в посольстве у В. С. Довгалевского, в палате депутатов, в Лионе, в Марселе во время съезда радикальной партии, раза два или три вместе обедали. Он охотно рассказывал, я охотно слушал; я чувствовал что он ко мне расположен, но смешно было говорить о дружбе: между нами

были два десятка лет, позволившие ему называть меня «малышом», да и жили мы в различных мирах — для премьер-министра, председателя парламента, мэра Лиона литература была отдыхом, а для меня политика являлась, скорее, военной службой, чем страстью или профессией.

У него было одно из тех лиц, которые остаются в памяти: большая голова, жесткие волосы, выпуклый лоб, мясистые щеки — все это напоминало работу современного скульптора, пуще всего боящегося пригладить ком глины. А голубые глаза ласково мерцали. До войны карикатуристы изображали Эррио с огромнейшим животом. Родился он в Шампани, но полвека прожил в Лионе, который славится тонкой кухней, любил вкусно поесть, не заботясь о своей талии. Я нашел его сильно похудевшим, пиджак на нем висел. Хотя немцы обращались с ним куда лучше, чем с обычными арестованными, приехав в Москву, он все время хотел есть. Когда его пригласили в ВОКС, он спросил меня шепотом: «Как вы думаете, нам дадут перекусить?..»

Улыбаясь, он рассказал мне, как его освободили красноармейцы: «Вошел ваш офицер, солдаты. Я закричал: «Франсуа! Эдуар Эррио!» И можете себе представить, он знал мое имя, пожал руку, смеялся, повторял «Эррио» на русский лад...» (Эррио постарался произнести свою фамилию с ударением на первом слогe.) Он говорил, что видел панику, понимал: не сегодня-завтра наступит развязка — убьют или освободят. «Но хорошо, что меня освободили ваши — ведь вся моя политическая биография связана с идеей франко-советской дружбы. Вы-то это знаете... А я начинаю думать о биографии — нужно, чтобы все увязалось...»

Он долго рассказывал, что пережил после разгрома Франции. Многие из того, что он говорил, я знал, но мне было интересно, как это воспринимает Эррио. Я увидел, что не ошибался, считая его одним из самых ярких представителей Франции прошлого века, той, что продержалась до первой мировой войны. Дело не только в возрасте, но и в идеях, в характере, в привычках. Конечно, как политический деятель он должен был проиграть — со своей отсталой стратегией, с устаревшим оружием, со словами, вышедшими из обихода, но именно эти анахронизмы меня к нему притягивали.

Кажется, на следующий день ему показали в маленьком просмотровом зале ВОКСа военную кинохронику. Он восхи-

ценно смотрел на наши танки, продвигавшиеся по немецким дорогам. Потом на экране появились трупы, печи Освенцима, тюки с женскими волосами, подготовленные для отправки в Германию. Я переводил: «Шесть тонн женских волос», — и вдруг увидел, что Эррио закрыл глаза, по его щеке катились слезы. Когда мы вышли из зала, он сказал: «Я об этом не знал... Мне, видимо, время умереть — я ничего не понимаю... Вы знаете, почему я увлекся политикой? Из-за Дрейфуса. Я был преподавателем, мечтал о литературной работе. И вдруг «Дело». Одного человека неправильно осудили только потому, что он был евреем, и вся Франция расколслась. Мне было двадцать шесть лет, я кричал до хрипоты. Золя, Жорес, Анатолий Франс... Шли телеграммы — Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, все протестовали... Одного невинного послали на Чертов остров!.. Скажите, вы понимаете, что произошло с человечеством? Я лично ничего не понимаю. «Шесть тонн женских волос...» Я знаю, что это — нацисты, немцы, но ведь это наши современники, соседи. У них был Бетховен...»

Немцев он не любил, говорил: «Больше всего меня удивляет их коварство. Даже больше, чем жестокость. Я говорил с Штреземаном, и в течение четверти часа он трижды мне солгал. Он мечтал об одном — после короткой передышки отыграться, восстановить первенство «великой Германии». Однако нелюбовь к немцам у Эррио не связывалась с расизмом или шовинизмом: он обожал старую немецкую музыку, помогал антифашистским немецким беженцам. Это может звучать удивительно, даже чудовищно — для человека, который часто стоял во главе правительства большой державы в середине XX века, еще имели первостепенное значение вопросы вполне старомодные, например, «сдержанное данное слово», «спасти честь». «Нужно платить долги Америке — мы ведь дали слово». «Англичане допускают перевооружение Германии, где же их обещания?», «Мы обманули чехов, это пятно на чести Франции», «Бельгийский король, сын «короля-рыцаря», поступил недостойно: капитулировал, не запросив союзников». «Нельзя сложить оружие — мы связаны договором с Англией».

В трагические дни июля 1940 года Эррио поддерживал проект отъезда правительства в Алжир, где можно будет организовать сопротивление. Одновременно он показал всю свою слабость: просил, чтобы его Лион объявили открытым городом. Говоря, что Петен коварнее немцев, Эррио все же взывал к

его чувству справедливости. Собрали Национальную ассамблею, депутатам было предложено отречься от себя и похоронить республику. На первом заседании председательствовал Эррио, в своей речи он сказал: «Наш народ, переживающий великую беду, объединился вокруг маршала Петена, имя которого вызывает общее благоговение...» Рассказывая мне о том времени, он признавался: «Это было одной из самых больших ошибок в моей жизни. Конечно, я знал, что Петен ненавидит Республику, но мне казалось, что в нем есть понятие чести и он не осмелится поднять руку на свободу...» Эррио не протестовал против капитуляции. Он примирился с передачей всей власти Петену. Но он не мог принять обвинений, выдвинутых против депутатов, которые уехали в Алжир: «Они повиновались долгу, чести...» Профашистские депутаты возмущенно прерывали его, и, вспоминая об этом, Эррио мне говорил: «Настоящие каннибалы!..» (То же слово вырвалось у Золя, когда сиятельная чернь во время дела Дрейфуса улюлюкала под его окнами.) В начале июня 1941 года Эррио потребовал от Петена, чтобы тот оградил достоинство Франции: помилуйте, немцы лишают депутатов Эльзаса и Лотарингии права называть себя членами французского парламента! В августе 1942 года, когда Германия казалась непобедимой, когда ее войска дошли до Волги, до Северного Кавказа, до границ Египта, Эррио выступил трижды: он протестовал против расстрела немцами заложников, ссылаясь на Гаагскую конвенцию; возмущался преследованиями французских евреев; наконец, вернул свой орден Почетного легиона после того, как такие же ордена были выданы двум изменникам, сражавшимся в России на стороне Германии. Эррио арестовали, а осенью 1944 года передали гитлеровцам, которые отправили его в Германию.

Если подойти к этим противоречивым поступкам как к политике крупного государственного деятеля, то останется только развести руками. Да, конечно, Эррио был одним из лидеров радикалов — этой чрезвычайно пестрой, рыхлой партии, объединявшей бедных крестьян Юга и крупных дельцов, свободлюбивых учителей и полуфашистов, называвших себя «младорадикалами», и все же удивительно, как столь противоречивый человек, смелый и растерянный, образованный и наивный, мог в течение многих лет возглавлять правительство великой державы. Но если вспомнить, что Эррио сформировался в про-

плом столетия, что он был автором книг, посвященных госпоже Рекамье, философу Филону Александрийскому и молодой Советской Республике, что он мог в перерыве между двумя заседаниями Совета министров беседовать с русским писателем о Декарте или о вкусах советской молодежи, что каждую неделю он лично принимал в мэрии Лиона всех просителей, терпеливо выслушивая их жалобы, что он гордился знакомством не с королями, не с магнатами промышленности, а с Горьким и с Эйнштейном, то многое в его биографии станет понятным.

После второй мировой войны правые упрекали Эррио за то, что он якшался с «красными», а левые говорили о его неблагодарности: «Он забыл, как танцевал от радости, когда его освободили советские солдаты». Эррио ничего не забывал, просто он оставался самим собой — непоследовательным в политике и верным в своих привязанностях. Весной 1954 года я был у него в Лионе. Среди прочего мы заговорили о советском искусстве. Я сказал ему, что считаю обращение французского правительства с Улановой и другими артистами московского балета позорным: их пригласили на гастроли и вдруг запретили выступать, ссылаясь на события в Индокитае. Эррио внимательно слушал, подошел к письменному столу и написал здесь же письмо, адресованное мне: «Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам, как я сожалею об инциденте с балетом и как я его осуждаю. Злая судьба как бы чинит все препятствия франко-русскому сближению, которого я, как старый демократ, страстно желаю. Я заверяю Вас, что большинство французов в этом согласны со мною». Он дал мне листок: «Можете напечатать...»

Вскоре после этого болезнь Эррио обострилась — он не мог передвигаться. В августе 1954 года Национальное собрание должно было ратифицировать договор о «Европейском оборонительном сообществе», говоря проще — о согласии Франции на ремилитаризацию Западной Германии. Эррио приехал на заседание палаты; он не смог подняться на трибуну и выступал, сидя в кресле. Он резко осудил внешнюю политику Франции, сказал, что залог европейской безопасности во франко-советском сближении, и обратился к депутатам с предостережением: «Видите ли, дорогие коллеги, вы не найдете мира, если будете его искать на дорогах войны».

В 1956 году в Лионе состоялось совещание представителей различных миролюбивых организаций, посвященное опасности возрождения германского милитаризма. Мы заседали в каби-

нете Эррио. Его здоровье ухудшалось с каждым месяцем; он все же захотел приветствовать нас. Он шел с трудом, его поддерживали. Он сказал о том, что нужно бороться за мир; что оружие в руках боннского правительства — угроза всей Европе; он выглядел слабым, дряхлым, но глаза по-прежнему ласково мерцали, и голос был молодым, звонким. Больше я его не видел.

В Москве в 1945 году он хотел побеседовать с одним из руководителей советской политики. Отношения между союзниками были, скорее, натянутыми. Состав французского посольства успел перемениться. Французские дипломаты сказали Эррио: «Русские справлялись, когда вы предполагаете уехать,— это больше, чем намек...» Видимо, кому-то хотелось рассорить Эррио с его советскими друзьями.

У него тогда не было трубочного табака. Я долго искал, наконец раздобыл несколько пачек «золотого руна», позвонил Эррио, но мне ответили, что он «неожиданно уехал». Я послал табак вдогонку и вскоре получил письмо: «Ваш табак я получил в Тегеране. По моим расчетам, его хватит до конца моей жизни. Я очень сожалею, что пришлось уехать, не простившись с вами, что не удалось провести вместе исторический День Победы, не удалось завершить должно пребывание в Москве. Но в десять часов вечера мне сказали, что я должен вылететь в четыре часа утра».

Он дожил до восьмидесяти пяти лет и умер за год до конца Четвертой республики. Его пристрастия и отталкивания не менялись. Он не любил военщину, клерикалов, пруссаков, шовинистов, антисемитов, не любил коварства, мюзик-холлов и строгой диеты; а любил он традиции якобинцев, Лион, Декарта, русских, Бетховена, красноречье, популярность и вино «божоле».

В 1954 году, когда я был у него, он вдруг заговорил о поэзии, рассказал, как в молодости встретил старого, спившегося Верлена, который хлопотал о пособии. «Вы любите Вийона,— сказал он,— а знаете ли вы стихи лионской поэтессы шестнадцатого века Луизы Лабэ?» И он прочитал начало одного из ее сонетов:

Живу и гибну и горю — дотла,
Я замерзаю, не могу иначе —
От счастья я в тоске смертельной плачу,
Легка мне жизнь, легка и тяжела,

Может быть, этими стихами лучше всего закончить рассказ об Эррио. Но чтобы вернуться к нити повествования, напомним: второго мая он говорил мне: «Скоро я чокнусь с вами, со всеми русскими друзьями за одержанную победу», — а накануне победы его посадили в самолет.

26

Я хорошо помню последние дни войны. В Берлин мне поехать не удалось из-за статьи Александрова. Я сидел у приемника и ловил Лондон, Париж, Браззавиль: ждал развязки.

Войны начинаются почти всегда внезапно, а кончаются медленно: уже ясен исход, но люди еще гибнут и гибнут.

В апреле я писал: «В Германии некому капитулировать...» Третий рейх умирал, как и жил, — бесчеловечно. Не было теперь кильских моряков, не было даже принца Макса Баденского. Не нашлось ни одного полка, ни одного города, который хотя бы в последнюю минуту восстал против нацистских главварей. Один немецкий остряк потом говорил, что красные гардины повсюду остались невредимыми, зато не было больше простынь — белые тряпки вышолзали из всех окон. Союзники теперь продвигались быстро: один немецкий город сдавался за другим. А в Берлине шли бои, и в Берлине сдавался дом за домом. Ветераны, помнившие империю Гогенцоллернов, школьники, одуроченные дешевой романтикой, эсэсовцы, боявшиеся расплаты, стреляли в советских солдат из окон, с крыш. А фашистские главари закатывали истерики в бомбоубежищах или тихонько пробирались на запад, переодевались, гримировались.

Первого мая немецкое радио сообщило, что Гитлер погиб, как герой, в Берлине. День или два спустя Лондон передал, что фюрер покончил жизнь самоубийством вместе с Геббельсом, Геринг и Гиммлер скрылись. Адмирал Дениц объявил, что возглавляет новое правительство; однако составить его было трудно — оппозиции в Германии давно не было, а люди, еще вчера поддерживавшие Гитлера, мечтали, скорее, о швейцарском паспорте, чем о министерском портфеле.

Вечером 7 мая я слушал Браззавиль: в Реймсе представители Деница и германского командования подписали акт о капитуляции; от Советского Союза документ подписал полковник...

Три раза я прослушал сообщение, но так и не разобрал, о каком полковнике идет речь, — диктор не мог выговорить русское имя (оказалось, это был полковник Суслопаров, которого я знал, — он был военным атташе во Франции). Браззавиль сообщил также, что 8 мая объявлено праздничным днем. Я взволновался, позвонил в редакцию; мне сказали, что нельзя доверять слухам, возможно, это провокация — попытка сепаратного мира, так или иначе военные действия продолжаютя.

Восьмого мая из Лондона, из Парижа передавали радостный гул толпы, песни, описания демонстраций, речь Черчилля. Вечером были два салюта — за Дрезден и несколько чехословацких городов. Однако с двух часов дня не умолкал телефон — друзья и знакомые спрашивали: «Вы ничего не слышали?» — или таинственно предупреждали: «Не выключайте радио...» А московское радио рассказывало о боях за Либаву, об успешной подписке на новый заем, о конференции в Сан-Франциско.

Поздно ночью наконец-то передали сообщение о капитуляции, подписанной в Берлине. Было, кажется, два часа. Я поглядел в окно — почти повсюду окна светились: люди не спали.

Начали выходить на лестницу, некоторые неодетые — их разбудили соседи. Обнимались. Кто-то громко плакал. В четыре часа утра на улице Горького было людно: стояли возле домов или шли вниз — к Красной площади. После дождливых дней небо очистилось от облаков, и солнце отогревало город.

Так наступил день, которого мы столько ждали. Я шел и не думал, был песчинкой, подхваченной ветром. Это был необычайный день и в своей радости, и в печали: трудно его описать — ничего не происходило, и, однако, все было полно значения — любое лицо, любое слово встречного.

Пожилая женщина показывала всем фотографию юноши в гимнастерке, говорила, что это ее сын, он погиб прошлой осенью, она плакала и улыбалась. Девушки, взявшись за руки, что-то пели. Рядом со мною шла женщина и мальчик, который все время повторял: «Вот это майор. Ура! Старший лейтенант, орден Отечественной второй степени. Ура!..» У женщины было милое изможденное лицо; вдруг я вспомнил, как в начале войны на Страстном бульваре сидела женщина с сыном, который шалил, а она плакала. Мне показалось, что это она; наверное, и сходства не было, просто два лица сливались в одно. Девочка

сунула моряку букетик подснежников, он хотел ее обнять, она фыркнула и убежала. Старик громко сказал: «Вечная память погибшим»; майор на костылях поднес руку к козырьку, а старик рассказывал: «Жена просила: «Скажи», — она простыла, лежит... Гвардии старшина Березовский. Две личные благодарности от товарища Сталина...» Кто-то сказал: «Ну, теперь скоро вернется...» Старик покачал головой: «Погиб смертью героя, восемнадцатого апреля, командир написал... Жена просила: «Ты расскажи...»

Я говорил, что было много печали: все вспоминали погибших. Я думал о Борисе Матвеевиче, и мне казалось, что в ту ночь, когда мы читали роман Хемингуэя, он хотел что-то рассказать, но мы торопились, и разговора не вышло; думал о том, что мы жили рядом, а я с ним мало разговаривал, то есть говорили мы много, но все о другом — не о главном. Я думал о добром Жене Петрове, вспоминал, как он, смеясь, говорил: «Вот кончится война, напишу классический роман в семи томах о героизме комиссара государственной безопасности третьего ранга Юстиана Иннокентьевича Прокакина-Стукала». Вспомнил, как он уговаривал меня надеть теплое белье: «Вы не пижон, и Можайск не Ницца...» Вспомнил товарищей по «Красной звезде», молодых поэтов Михаила Кульчицкого, Павла Когана, тацинцев, Черняховского, Юрия Севрука из «Знамени», ездового Мишу, который под Ржевом читал мне свои стихи. Почему-то все время перед моими глазами вставал Ржев, дождь, два дома — «полковник» и «подполковник», как будто не было потом ни Касторной, ни Вильнюса, ни Эльбинга. Все Ржев да Ржев...

Кажется, не было в нашей стране стола, где люди, собравшись вечером, не почувствовали пустого места. Об этом потом написал Твардовский:

...Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

Днем на Красной площади подростки веселились, их веселье передавалось другим. Да и можно ли было не радоваться: кончилось! Качали военных. Один офицер протестовал: «Ну меня за что?..» В ответ кричали «ура». Несколько военных узнали меня, кто-то крикнул: «Эренбург!» Начали и меня качать. Неприятно, когда тебя подкидывают вверх, а главное, неловко: я

молил «хватит», но это только подзадоривало солдат, и меня подбрасывали еще выше.

«Кончилось», — я повторял это Любе, Ирине, Савичам, знакомым, чужим. Слов нет, чтобы сказать, как я возненавидел войну. Из всех человеческих начинаний, порой жестоких и безрассудных, это самое окаянное. Нет для него оправдания, и никакие разговоры о том, что война в природе людей или что она школа мужества, никакие Кишлинги и киплингствующие, никакая романтика «мужских бесед у костра» не прикроют ужаса убийства оптом, судьбы выкорчеванных поколений.

Вечером передавали речь Сталина. Он говорил коротко, уверенно: в голосе не чувствовалось никакого волнения, и назвал он нас не как 3 июля 1941 года «братьями и сестрами», а «соотечественниками и соотечественницами». Прогремел небывалый салют — палила тысяча орудий, дрожали стекла; а я думал о речи Сталина. Отсутствие сердечности меня огорчило, но не удивило. Он — генералиссимус, победитель. Зачем ему чувства? Люди, слушавшие его речь, благоговейно восклицали: «Сталину ура!» Это тоже давно перестало меня удивлять, я привык к тому, что есть люди, их радости, горе, а где-то над ними — Сталин. Дважды в год его можно увидеть издали; он стоит на трибуне Мавзолея. Он хочет, чтобы человечество шло вперед. Он ведет людей, решает их судьбы. Я сам писал о Сталине-победителе; я думал о солдатах, веривших в этого человека, о партизанах или заложниках, о предсмертных письмах, заканчивавшихся словами: «Да здравствует Сталин!» Вспоминая вечер девятого мая, я мог бы приписать себе другие, куда более правильные мысли — ведь я помнил судьбу Горева, Штерна, Смущкевича, Павлова, знал, что они были не изменниками, а честнейшими и чистейшими людьми, что расправа с ними, с другими командирами Красной Армии, с инженерами, с интеллигенцией дорого обошлась нашему народу. Но скажу откровенно: в тот вечер я об этом не думал. В словах, произнесенных (вернее, изреченных) Сталиным, все было убедительно, а залпы тысячи пушек прозвучали, как «аминь».

Наверно, все в тот день чувствовали: вот еще один рубеж, может быть, самый важный — что-то начинается. Я знал, что новая, послевоенная жизнь будет трудной — страна разорена и бедна, на войне погибли молодые, сильные, может быть, лучшие; но я знал также, как вырос наш народ, помнил

мудрые и благородные слова о будущем, которые не раз слышал в блиндажах и землянках. И если бы кто-нибудь сказал мне в тот вечер, что впереди ленинградское дело, обвинение врачей — словом, все, что было разоблачено и осуждено десять лет спустя на XX съезде, — я считал бы его сумасшедшим. Нет, пророком я не был.

Начиная с середины апреля, я располагал досугом и много думал о будущем. Порой меня охватывала тревога. Хотя в последние недели из наших газет исчезли сообщения о расправах между союзниками, я понимал, что подлинного согласия нет и вряд ли оно будет. Меня удивляло, как снисходительно говорили американцы и англичане о Франко, о Салазаре. Я боялся, что западные союзники будут добиваться такого мира, при котором немецкая военщина сможет быстро встать на ноги. В моем блокноте записана передача французского радио — беседа с одним немецким генералом, который сдался в плен американцам. Его любезно приняли в ставку; отвечая на вопросы журналистов, он сказал: «Гитлер совершил непростительную ошибку, направив удар на Запад, мы за это расплачиваемся. Я надеюсь, что ваши правительства поступят разумнее, ведь через десять лет вам придется в войне против русских опираться на Германию». Репортер возмущенно добавлял, что такие декларации могут вызвать улыбку презрения. Я слушал и не улыбался. Радиопередачи сообщали о том, что американцы ведут переговоры с адмиралом Деницем, который наконец-то нашел министров и обосновался в небольшом городе Фленсбург возле датской границы. Все поздравляли Сталина, прославляли Красную Армию, и все-таки на душе было неспокойно.

А что будет у нас после войны? Об этом я еще больше думал. Нужны новые методы воспитания — не окрики, не зубрежка, не кампании, а вдохновение. Нужно вдохнуть в молодых начала добра, доверие, огонь, исключаящий безразличие к судьбе товарища, соседа. Главное — что теперь будет делать Сталин? По поручению «Красной звезды» Ирина в марте поехала в Одессу — оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военнопленными, среди них были убежавшие из плена, боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказала, что их встретили, как преступников, изолировали, говорят, будут отправлять в

лагеря. Минутами я спрашивал себя: не повторится ли тридцать седьмой? Но опять меня подводила логика, я говорил себе: в тридцать седьмом был страх перед фашистской Германией и открыли огонь по своим. Теперь фашизм разбит. Красная Армия показала свою силу. Народ пережил слишком много... Прошлое не может повториться. Еще раз я принимал свои желания за действительность, а логику — за обязательный предмет в школе истории.

Я говорю об этом потому, что хочу понять, почему поздно вечером того необычайного дня я написал стихотворение с заголовком «Победа». Оно недлинное, и я его приведу целиком:

О них когда-то горевал поэт;
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали —
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал — закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она,
И мы друг друга не узнали.

А. А. Фадеев как-то спросил меня, когда я написал эти стихи. Я ответил, что в День Победы. Он удивился: «Почему?» Я честно признался: «Не знаю». Да и теперь, вспоминая тот день, я не понимаю, почему именно такой увидел я долгожданную Победу. Вероятно, в природе поэзии чувствовать острее, да и глубже; в стихах я не пытался быть логичным, не утешал себя, я передавал недоумение, тревогу, которые таились где-то в глубине.

Я стараюсь как можно точнее восстановить тот далекий день. Я перечитал написанное и вдруг смутился: читатель может подумать, что я только рассуждал, тревожился. А я радовался вместе со всеми, улыбался, поздравлял. Победа! Я вспоминал ночи Мадрида, эсэсовцев на парижских улицах, Киев. Бог ты мой, какое счастье! Что там ни говори, начинается новая эпоха. Наш народ показал свою силу, — плохо подготовленный, застигнутый врасплох, он не сдался, стоял насмерть

под Москвой, у Волги, повернулся лицом к захватчику, повалил. Я вспомнил статью в «Крисчен сайенс монитор»: «Может быть, последующую эпоху окрестят русским веком»...»

Все это размышления над будущим. А хочется мне кончить рассказ о девятом мая другим: это был день необычайной близости всех, и сказывалась она не только в том, что незнакомые люди на улице целовались,— в улыбках, в глазах, в каком-то тумане сочувствия, нежности, который ночью окутал город.

Последний день войны... Никогда я не испытывал такой связи с другими, как в военные годы. Некоторые писатели тогда написали хорошие романы, повести, поэмы. А что у меня осталось от тех лет? Тысячи статей, похожих одна на другую, которые теперь сможет прочитать только чрезмерно добросовестный историк, да несколько десятков коротеньких стихотворений. Но я пуще всего дорожу теми годами: вместе со всеми я горевал, отчаивался, ненавидел, любил. Я лучше узнал людей, чем за долгие десятилетия, крепче их полюбил — столько было беды, столько душевной силы, так прощались и так держались.

Об этом тоже я думал ночью, когда погасли огни ракет, стихли песни и женщины плакали в подушку, боясь разбудить соседей,— о горе, о мужестве, о любви, о верности.

**Книга
шестая**



Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года: ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя.

А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повсюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками; прокуроры узнали страдную пору. Судили и казнили Лаваля, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас — что ни день печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена, и это было понятно — он сыграл слишком видную роль в уничтожении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсуна (автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости), хотя ему было восемьдесят пять лет и Гитлером он восхитился, скорее всего, от старческого слабоумия.

Еще юлил перепуганный Франко. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств, и вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда-то гимназистом четвертого класса: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения XIX веку, чем Хиросима, нельзя было придумать.

Люди непризывного возраста как-то сразу почувствовали, до чего они устали; пока шла война — держались, а только спало напряжение — многие слегли: инфаркты, гипертония, инсульты; зачернели некрологи.

В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в

сожженные деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа — жили трудно, многие впроголодь, работали через силу, и все же не опускали рук.

В аудиториях университетов, институтов рядом с зелеными юнцами сидели тридцатилетние ветераны, прошагавшие от Волги до Эльбы. Один мне рассказывал: «Приходится корпеть над книгой полночи — забыл, начисто забыл! А ведь проходил, сдавал на аттестат...» Я подумал, глядя на него: конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется, — у него ведь второй аттестат, вторая зрелость... Мы слишком хорошо помнили, что у нас позади, а думать старались о будущем, загадывали, мечтали — и про себя и вслух.

Было много различных драм; один рассказывал, что потерял квалификацию, другой жаловался — не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял: «Оказывается, и он Петя, как нарочно...» Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж, не писала, чтобы не огорчить, ко всему новый муж — тезка! Лейтенант чуть было не убил обоих, потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллин — там демобилизовался, а по дороге зашел ко мне «отвести душу».

Профессор сказал мне об усатых, мрачных первокурсниках: «Совершенно от рук отбились...» Я про себя усмехнулся: я ведь тоже отбился. Еще в 1944-м я начал подумывать о романе, а сел за «Бурю» только в январе 1946-го — долго не мог взглянуть на войну со стороны. Сначала я сам не понимал, что со мной происходит; потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться — мы все отравлены.

Прежде я мечтал: кончится — отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить.

В конце июня я поехал в Ленинград, я там не был с июня 1941-го. (Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает; после Москвы — а я люблю Москву, в ней прошли детство, отрочество — отдыхают глаза: улицы Ленинграда связаны с природой, небо, вода входят в городской пейзаж.) Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом — то рана или рубец. Кое-где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опа-

сно. Многие дома были в лесах; работали главным образом женщины. Люди шутя говорили о «косметическом ремонте». Однако не дома наводили грусть — люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду часами рассказывали о ее ужасах; то, что они говорили, было известно, но всякий раз сжималось горло.

Девятого июля было солнечное затмение. Люди стояли на улицах, смотрели. Вдруг потемнело, подул холодный ветер, заметались птицы. Мальчик лет десяти скептически сказал: «Это что, пустяки! Вот когда с Вороньей горы стреляли...»

В букинистических магазинах лежали груды редких книг — библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии. Я взял одну книгу в руки. Продавец сказал: «Поздравляю». Но я не мог даже порадоваться. Это был сборник стихов Блока с надписью неизвестной мне женщине. Я и теперь не знаю, случайный ли это автограф или страница из жизни Блока; не знаю, у кого была книга до войны — у старой знакомой поэта, у ее детей или у библиофила. Может быть, это фетишизм, но, взглянув на почерк Блока, я вспомнил Петроград давних лет, тени умерших, историю поколения.

Я увидел афишу: «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почетном месте сидела овчарка Дина с оторванным ухом; надпись гласила, что она обнаружила пять тысяч мин. Собака печально глядела на посетителей, видимо не понимая, почему на нее смотрят, — ведь она делала только то, что делали люди, и отделалась легко — одним ухом. Собак, переживших блокаду, было, кажется, пятнадцать — маленькие, отощавшие дворняжки; их держали хозяйки — тоже маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимцами голодным пайком.

(Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках — «барские причуды». Я вспомнил, читая его письмо, не только о Каштанке, но и о ленинградских старушках. Еще раз повторяю: моя книга — сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества; с таким же правом меня можно обвинить, что я пишу слишком много о живописи и мало о музыке; то и дело вспоминаю Париж и не упоминаю о Чикаго, говорю о евреях, а умалчиваю об исландцах.)

На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей — Урса и Куса: они принадлежали И. А. Груздеву, биографу Горького, одному из «серапионов». В начале блокады жена Груздева принесла хлеб — паек на два дня. В передней зазвонил телефон; она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну; у них оказалось больше выдержки, чем у многих людей. Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. Я никому не хочу навязывать мои вкусы. Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься.

В Пушкине на стенах разбитого дворца я увидел испанские надписи — здесь забавлялись наемники из «голубой дивизии». Вероятно, думали, что не сегодня-завтра пройдут по улицам Ленинграда... Я поймал себя на том, что все время думаю о войне. Анна Ахматова писала о Пушкине в царско-сельском парке:

Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни...

Статую Пушкина нашли в земле — ее успели закопать: нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторяю эти строки:

О, дайте вечность мне,— и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Нет, мена не может состояться, и не только потому, что у нас нет вечности, но и потому, что нельзя забыть ни годов, ни обид.

В Петергофе дворец был разрушен; говорили: «Отстроим»; я понимал, что будет копия, новое здание. Немцы вырубали три тысячи старых деревьев.

Восьмого июля в город вошли его защитники — Ленинградский гвардейский корпус. Я стоял возле Кировского завода. Старые рабочие угощали солдат стопочкой. Женщины принесли полевые цветы, расцветшие на пригородных пустырях. Все было необычайно просто и трогательно.

Вечером Л. А. Говоров пригласил меня на дачу. В чудесную белую ночь на веранде мы вспоминали военные годы.

Потом Леонид Александрович заговорил о красоте Ленинграда и вдруг стал читать:

Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Помолчав, он добавил: «Народ поумнел, это бесспорно...»

Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том, о сем. Берии присвоили маршальское звание. О. Ф. Берггольц вдруг спросила меня: «Как вы думаете: может тридцать седьмой повториться, или теперь это невозможно?» Я ответил: «Нет, по-моему не может...» Ольга Федоровна рассмеялась: «А голос у вас неуверенный...»

Ко мне пришла девушка, сказала: «Вы, наверно, будете писать про войну. Я всю блокаду здесь прожила, работала, вела дневник. Почитайте, может быть, вам пригодится. А потом отдайте мне — для меня это память...» Ночью я стал читать тетрадку. Записи были короткими: столько-то граммов хлеба, столько-то градусов мороза, умер Васильев, умерла Надя, умерла сестра... Потом мое внимание привлекли записи: «Вчера всю ночь — Анну Каренину», «Ночь напролет «Госпожа Бовари»...» Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил: «Как вы ухитрились читать ночью? Ведь света не было». — «Конечно, не было. Я по ночам вспоминала книги, которые прочитала до войны. Это мне помогло бороться со смертью...» Я знаю мало слов, которые на меня сильнее действовали, много раз я их приводил за границей, стараясь объяснить, что помогло нам выстоять. В этих словах не только признание силы искусства — в них справка о характере нашего общества. Когда-то Юрий Олеша написал пьесу; героиня вела два списка: в один заносила то, что называла «преступлениями» революции, в другой — ее «благодеяния». О первом списке в последние годы немало говорили, только преступления никак нельзя приписать революции, они совершались наперекор ее принципам. Что касается «благодеяний», то они действительно связаны с ее природой. Если память мне не изменяет, в той же пьесе героиня говорит, что революция дала в руки пастуха книгу и глобус. Девушка, которая вела дневник, родилась в 1918 году в глухой деревне Вологодской губернии, училась в педагогическом институте,

в начале войны стала санитаркой. Не только то, что в страшные ночи блокады она могла вспоминать прочитанные раньше прекрасные книги, но и то, что она удивилась моему удивлению, связано с сущностью советского общества. Сознание этого меня поддерживало потом в самые трудные минуты.

Я пошел к Лизе Полонской. Она рассказывала, как жила в эвакуации на Каме. Ее сын в армии. Мы говорили о войне, об Освенциме, о Франции, о будущем. Мне было с нею легко, как будто мы прожили вместе долгие годы. Вдруг я вспомнил парижскую улицу возле зоологического сада, ночные крики моржей, уроки поэзии и примолк. Горько встретиться со своей молодостью, особенно когда на душе нет покоя; умилишься, пробуешь подтрунить над собой, нежность мешается с горечью.

Я вернулся в Москву, и сразу же захотелось уехать. Пришел П. И. Лавут, который когда-то устраивал вечера Маяковского (в одной поэме Маяковского есть о нем: «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут...»). Павел Ильич предложил устроить вечера, спросил, куда я хочу поехать. Я почему-то выбрал Ярославль и Кострому. Пароход долго шел по ровному каналу. Люди рассказывали о невернувшихся, сравнивали рынки в различных городах, некоторые пили, пели. Я старался спать, но не спалось.

Кострома мне понравилась — большие площади, Гостиный двор. Табачные ряды. Ипатьевский монастырь. Да и встретили меня приветливо. Секретарь обкома позвал обедать. (Лавут умилился.) Молодые поэты собрались, читали свои стихи. В музее мне показали фонды. В первые годы революции из Москвы присылали в провинциальные музеи холсты молодых художников, и картины мне напомнили улицы Москвы того времени — кубисты, конструктивисты, супрематисты. Один натюрморт привлек мое внимание. Оказалось, это этюд Коровина. Я удивился, почему его нельзя повесить в зале. Директор даже руками всплеснул: «Что вы! Это влияние импрессионистов, отход от реализма».

После вечера ко мне подошел капитан в отставке, представился: «Ваш читатель». Он шагал, прихрамывая, по длинной улице. «Вот вы опишите, например, такой факт. Я, скажем, всю войну провоевал, начал во Львове, ходил в разведку, четыре ранения, последний раз под Будапештом, про меня, например, никто не говорил, что трус. А вот вчера вызывает он меня в горсовет. Начал кричать. Я-то знаю, это виноват он, он мне сам говорил, что нет толя, значит — нечего торопиться».

но что скажешь: он тебе и генерал, и маршал, и господь бог. Одним словом, дал труса. А вы опишите, почему это так. Только, пожалуйста, меня не называйте — он меня в порошок сотрет, и про Кострому лучше не пишите, просто интересный факт человеческого устройства...»

В Ипатьевском монастыре я долго стоял перед старой печью; на одном изразце под двумя деревьями было написано: «Егда одно умрет, иное родится». В то лето я написал несколько стихотворений, и все про деревья. Вспоминал молодость.

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину,
Не знаю, мало ль было сил,
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще по-прежнему стоит.

Писал о мужестве:

Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту —
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту...

Говорил о своей жизни, о том, что написал и что хотелось написать:

...Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, вязы.
То не ландшафт, не фон и не убранство,
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

Стихи я писал, наверно, потому, что еще не улеглось волнение предшествующих лет; они были напечатаны в журналах «Звезда», «Ленинград». А я снова надолго расставался с поэзией.

Не помню, что было на вечере в Ярославле, но там я увидел Ядвигу. Она ласково улыбалась, как в Коктебеле. Ничего не скажешь — моя молодость меня искала...

Ядвига работала в педагогическом институте, с нею жила дочь Тania. У Тани был жених. Мне показалось, что Ядвига мало изменилась — и голос такой же, и глаза. Дочь, жених... Я вдруг почувствовал, до чего длинна жизнь. Живешь изо дня в день и не замечаешь. Наверно, старость всех наступает врасплох.

Мы ходили по набережной, смотрели старинные церкви. Кладовщица жаловалась на судьбу: дети, муж пропал без вести, пенсии не дают. Студенты спрашивали: «Скоро ли капитулирует Япония?» «Чей будет Триест — югославский или итальянский?», «Как вы относитесь к статье Александрова?», «Почему никто из писателей не написал «Войну и мир»?» На толкучке продавали кусочки сахара и трофейные кофты. А рядом шла Ядвига, как в Москве четверть века назад.

Вернувшись в Москву, я сейчас же уехал в Киев. Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской — вот здесь стоял дом, где я родился, — груда мусора. Сидел долго у Днепра, и снова вставала война, звонок Лапина, переправа через Днепр, годы, которые сливались в один нескончаемый день. Я подумал: скоро сяду за книгу, — значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, в сердце. Побывал у Тычины, Бажана, Голованивского, А. Когана. На Подоле просидел вечер у офицера — он меня остановил на улице, сказал, что мы встречались возле Минска, позвал к себе, купил пол-литра, колбасу и долго рассказывал, как его сыновья росли, учились, ушли на войну и не вернулись. «Почему их убили, а не меня?.. Жена застряла в Киеве. В Бабьем Яру...» Я ушел от него поздно и долго бродил по горбатым улицам. Рассвело. Я задумался и вдруг понял, что стою возле каштана и разговариваю — не то с деревом, не то с самим собой. Несколько часов спустя я уехал.

В Москве ко мне пришел незнакомый человек, сказал: «Простите, что нагрязнул, — к вам трудно дозвониться. Я — болгар-

ский коммунист Коларов»... У нас не работал лифт, и первое, что я подумал: ведь ему под семьдесят, как он взбирался? А Василий Петрович улыбался, курил одну сигарету за другой. Он сказал, что просит меня поехать в Болгарию, написать об этой стране. «Вас читают и на Западе...» Я сразу согласился.

Несколько дней спустя мне позвонил Г. Ф. Александров и попросил зайти к нему. Он был очень любезен, лестно отзывался о моих статьях. «Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей...» Мне вдруг захотелось спросить, почему в апреле он не ответил на мое письмо, но я понимал, что это ни к чему, — ничего он не сможет мне объяснить. Я только сказал, что хочу после Болгарии поехать в Югославию (это тоже было продолжением войны, ведь из всех захваченных гитлеровцами стран самой неукротимой оказалась Югославия). Георгий Федорович ответил: «Разумеется». Он спросил, где я печатал в последние месяцы свои статьи, хотя, конечно, знал это не хуже меня. Он посоветовал договориться с «Известиями» и посылать регулярно очерки в эту газету: «Вы ведь старый известинец...» Я зачем-то подумал вслух: «Конечно. Но я скорее собака, чем кошка, — привыкаю не к месту, а к людям. Никого из тех, с кем я работал в «Известиях», не осталось... Впрочем, это безразлично, в «Известия», так в «Известия»...» Александров обрадовался, что не нужно ничего объяснять, и крепко пожал мне руку.

В двухместном купе на верхней полке лежала плохо одетая девушка, подложив под голову большущий мешок. Когда проводник предложил застелить, она вскрикнула: «Ни в коем случае!» Со мной она заговорила на второй день, узнав, кто я (не помню, как это вышло, кажется, офицер, ехавший в соседнем купе, назвал мою фамилию). Я услышал исповедь. В мешке, который я сразу заметил, материя. Она едет в украинский городок, где живет ее мать, продаст там материя, купит муку, сало. Она — студентка текстильного института, муж тоже студент — филолог. «Он только и может, что читать. А знаете, как мы живем? Не помню, когда ели досыта. Мне-то что — я крепкая, а у него открытый процесс, ему нужно усиленное питание. Вот вы его не знаете, а он необыкновенный...» И вдруг молоденькая спекулянтка стала Джульеттой, неуклюже заговорила о своей любви. Билет она получила по блату. Денег у нее мало — только на носильщика, могут при пересадке

украсть мешок. Я угостил ее бутербродами, она отказалась; я положил на верхнюю полку хлеб, колбасу и услышал, как она жует. Пересадка у нее была ночью; прощаясь, она сказала: «Не думайте обо мне слишком плохо, вы — писатель, должны понять... А может быть, не стоит брать носильщика?..» (Два года спустя на читательской конференции в текстильном институте ко мне подошла студентка: «Помните?..» Я сразу вспомнил. «Ну как — взяли носильщика?» Она засмеялась: «Нет, сама дотащила».)

Офицер, который ехал в соседнем купе, вез девочку лет восьми. «Мы ее подобрали возле Барановичей — родителей немцы убили. Я после ранения служил в санбате. Она ко мне привязалась. А жена пишет: «Привези». Жена у меня больная, ее четыре раза резали. Детей нет. До войны я прилично зарабатывал. Воевал в танковой бригаде, а вот после ранения попал в санбат — руку повредило. Ну, ничего — как-нибудь устроюсь. Проживем. А без детей скучно. Мне ведь сорок два... Девочка-то хорошая. Жена обрадуется... Девочка стеснялась, не раскрыла рта.

Я побродил по Одессе, она была печальной: много развалин, попадались люди босиком, в рваной одежде. Беда не к лицу Одессе, она казалась обиженной, оборванной и заплаканной модницей. На ночь меня устроили в роскошном заброшенном доме — во время оккупации там жил какой-то румынский генерал. Красивый паркет в большой комнате был обуглен: вероятно, пробовали развести костер. Над широкой хромой кроватью висела разбитая венецианская люстра.

Я лег и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Конечно, нужно было летом отдохнуть, но отдыхать я не умею. Хочется посмотреть незнакомые места. Начнутся митинги, доклады. Придется диктовать статьи по телефону. Потом сяду за роман и, наверно, снова не додумаю...

Как в 1932 году в Париже на улице Котантен, я начал судить себя. Только в Париже я сердился на раздумья, на то, что остаюсь в стороне от жизни, а теперь упрекал себя в пренебрежении к искусству, в поспешности, в нежелании додумать. Было, однако, нечто общее между старыми и новыми обвинениями. Я вспомнил стихи, написанные два месяца назад:

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом...

Вот это — правда, слишком часто говорил о другом — не о том, что для меня было самым важным. Внешне я выгляжу, скорее, мрачным, а внутри много легкомыслия. Пора бы додумать... Прежде мне казалось, что старость легка, естественна — постепенно замирают страсти, ослабевают желания. Кажется, именно в ту ночь в Одессе под разбитой люстрой я впервые понял, что все это вздор, что иссякают не страсти, а силы.

На следующий день я улетел в Бухарест, откуда рассчитывал проехать в Софию. Самолет был еще военного времени — железные скамейки. Над Черным морем болтало, а я записывал — про офицера с девочкой, про Одессу, про Пушкина, про свое треклятое легкомыслие. Вдруг самолет пошел на посадку (снова я чего-то не додумал, не дописал!). Я увидел на аэродроме огромную толпу — встречали премьера Грозу, который вместе с Татареску возвращался из Москвы.

Ко мне подошли секретарь посольства С. А. Дангулов и майор Леви из контрольной комиссии, сказали, что я должен задержаться, посмотреть Бухарест, Румынию. Уговорить меня было нетрудно. Майор повез меня в гостиницу. Было по-летнему жарко, шумно, пестро, и, забыв про ночные раздумья, я жадно вглядывался в чужие лица. Это было семнадцать лет назад, и теперь я твердо знаю, что в Одессе ругал себя за дело. Некоторые пословицы не врут, и горбатого действительно исправит только могила.

2

Я был прав в своих опасениях: замелькали лица, города, страны. Для того чтобы по-настоящему узнать страну, нужно в ней пожить, обзавестись друзьями и недругами, узнать не только радость, но и беду, даже на досуге поскучать. Мне предстояло другое, — за четыре месяца я побывал в семи странах: Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Венгрии, Чехословакии и Германии. Когда-то люди мечтали о ковре-самолете, ковры теперь летают по расписанию, и проводница с затверженной улыбкой объявляет: «Мы совершим полет на высоте девяти тысяч метров, пассажирам будет подан обед...» Но об одном атрибуте старых сказок я продолжаю мечтать — о шапке-невидимке. В Болгарии или в Югославии я иногда вымаливал

выходной день или, как школьник, убежал, шел в мастерскую художника, в темной корчме пил сливовицу с бывшими партизанами, находил полюбившегося мне писателя не на конференции, не в помещении Союза, а в укромном местечке, где можно было поговорить по душам. Это были короткие передышки. Каждый день приходилось делать доклад или выступать на митинге, давать интервью, присутствовать на официальных церемониях, осматривать бывшие или будущие дворцы, обедать с министрами, с военными, даже с монахами. Наспех в номере гостиницы я писал статьи для «Известий», как десять лет назад; но тогда все для меня было внове, а теперь я частенько поглядывал с неприязнью на клавиши пишущей машинки.

Чехов, будучи еще Антошей Чехонте, говорил, что медицина — его законная жена, а литература — любовница; медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся политикой. Потом?.. Потом настала эпоха, когда политика занялась мною, как сотнями миллионов других людей, и походило это не на упреки ревнивой жены, а на приказы повелительницы эпохи матриархата, которая требовала не любовных признаний, а шкуры убитого зверя.

Шел первый послевоенный год, и над разоренной, измученной Европой стоял предрассветный туман. По Библии, бог, приступив к сотворению мира, в первый день отделил свет от тьмы, что касается тверди и хляби, то их разделение он отложил на завтра. В 1945 году еще никто не решался рассечь антигитлеровскую коалицию ни в международных отношениях, ни внутри отдельных государств. Вероятно, одни играли в покер, другие предавались иллюзиям. Со стороны это выглядело идилично. На открытии французского Учредительного собрания на правительственной скамье сидели рядом генерал де Голль и Морис Торез. А в парке возле Бухареста я увидел молодого короля Михая, которому незадолго до того вручили советский орден «Победы».

Года два спустя все стало на свое место. В мае 1947 года из французского правительства были удалены министры-коммунисты, а в ноябре того же года из состава румынского правительства вывели либерала Татареску и правого социал-де-

мократа Петреску. В Румынии, в Болгарии, в Венгрии меня принимали, как говорил парикмахер Дома писателей, «тузы и шишки»; большинство их быстро сошло со сцены — одних посадили, другие эмигрировали, третьи получили синекуру и могли вспоминать бурное прошлое.

Я встречался не только с министрами, но и с румынскими помещиками, с болгарскими экспортерами табака, с хорватскими епископами. Расскажу коротко об одной истории. Для Болгарии экспорт табака представлял первостепенное значение. На юге страны разводят «джебел» — это самый дорогой табак; американцы его примешивают к «виргинии». Неожиданно американские табачные фирмы заявили, что не могут покупать у болгар «джебел», поскольку болгарское правительство не признано Соединенными Штатами. На Московском совещании министров иностранных дел была принята рекомендация: пополнить болгарское правительство еще двумя министрами, представляющими силы, не входящие в Отечественный фронт. Министров болгары нашли, только и они не пришлось по вкусу американцам. «Джебел» лежал непроданный.

За кулисами шли черновые репетиции 1947 года. А на сцене продолжалась пастораль. Бирнс на фотографиях обязательно держал под руку Молотова. Трумэн слал умиленные телеграммы Сталину. В Белграде на приеме английский генерал добрый час расточал комплименты овчарке маршала Тито. В Бухаресте французский посол позвал меня на обед, пригласил румын, и пили мы, разумеется, за «вечную дружбу».

Я был в румынской деревне Кошерени; разговаривал с крестьянами; они не знали, радоваться ли им аграрной реформе, боялись, что помещик Константинуску отберет землю назад, да еще выпорот за захват чужого добра. Я пошел к помещику; он принял меня любезно, угостил цуйкой. Когда я заговорил о земельной реформе, он вежливо сказал: «Это дело еще неясное...» Я попытался понять, на что он надеется. Он прямо не отвечал, но перевел разговор на ужасающую силу атомных бомб.

В Будапеште в ресторане при гостинице «Бристоль» можно было прекрасно пообедать. За обед я заплатил пятнадцать тысяч пенго, а средний заработок служащих составлял сто пятьдесят тысяч. Там я увидел американских и английских офицеров. За некоторыми столиками сидели спекулянты. Один венгр,

подвыпив, подошел к американцам, поднял стакан с вином и громко сказал: «За наше вторичное освобождение!..»

О войне трудно было забыть: она напоминала о себе на каждом шагу. При мне в Будапеште торжественно открыли первый мост, соединявший Пешт с Будой. А прекрасная Буда с ее пышным и легкомысленным барокко казалась фантастическим нагромождением развалин. Я вспоминал венгров в Воронеже, но победа позволяла многое увидеть по-другому. Особенно больно было смотреть на развалины тех городов, которые нельзя отстроить: Буды, Дрездена, Нюрнберга. Минск отстроили, а вот фрески Спаса-Нередицы в Новгороде нельзя восстановить. Конечно, для бездомного человека всего важнее крыша, но проходит год или десять лет, он живет в новом доме, забыл про голод и холод и начинает тосковать о красоте, а ее нельзя вернуть никакими планами. Я видел развалины Плоешти, Софии, Задара, Подгорицы, Фиуме, Ниша, Корчи, Брно, потом немецких городов. Бог ты мой, как разбитые дома похожи один на другой! Нужно было сосредоточиться, чтобы понять: это Подгорица, а не Ржев, София, а не Минск.

Повсюду люди оплакивали погибших, тени мертвых продолжали жить среди живых, тени убитых в Лике, в Черногории, в Словакии, в болгарской Дупнице. В Югославии женщина рассказала, что у нее было семеро детей, все погибли. В Праге я узнал подробности расстрела Ванчуры, которого хорошо помнил, увидел лагерь смерти Терезин. Черногорцев перед войной было четыреста тысяч, погибло восемьдесят пять тысяч.

Балканы, Центральная Европа были разорены. Я записал в книжечке, что можно было найти в магазинах различных стран: «Подсвечники (свечей нет), масленки (нет масла), бумажные цветы, ванильный порошок, нестораемые шкафы, люстры, красный перец, шнурки для ботинок (люди ходят в драной обуви, встречал босых)». В Будапеште продавали на улицах тоненькие ломтики тыквы. Одна сигарета стоила двести пятьдесят пенго. В Болгарии не было молока; прежде чем мне об этом сказали, я это увидел, глядя на детिशек. В Черногории люди голодали; местные власти говорили, что нет грузовиков — нельзя привезти муку. Албанские солдаты на параде маршировали босиком. Всюду шли нескончаемые разговоры о карточках, о «черном рынке», о баснословных ценах.

Самым модным предметом стали поместительные дамские сумки, в которые можно было упрятать случайную покупку — кусок мыла, баклажаны, кофе из цикория, кормовую репу. В Германии я увидел сумки (у нас их прозвали «авоськами»), кокетливо обшитые орденскими ленточками — кто-то раздобыл партию и, главное, нашел применение.

Одни жили в оцепенении, выходя на улицу — пугливо озирались, если мечтали о чем-нибудь, то только о довоенном обеде. Других била лихорадка митингов, шествий, песен. На площадях югославских городов молодые до полуночи танцевали коло.

В самом начале поездки, переправившись на пароме через Дунай, я оказался в болгарском городе Русе. Меня подняли и долго несли на руках: таков обычай. Признаться, это не легче, чем когда тебя качают. То же самое повторялось в каждом болгарском городе: для молодежи это было и выявлением чувств, и спортом, они раз десять обегали площадь, и никакие просьбы спустить меня на землю не помогали.

В один из последних вечеров в Софии меня повели в театр на «Трубадура» и в антракте объявили, что я должен выйти на сцену. Там стояли министр искусств Димо Казасов, различные официальные лица, писатели, певцы и певицы в средневековых костюмах. Министр вручил мне орден Святого Александра, который надо носить на шее, а к левому боку прикрепить дополнительно большую звезду. Зал неистовствовал, я же, как актер-дебютант, готов был от растерянности провалиться в люк. В югославском Сплите тысячи людей обязательно хотели пожать мне руку. Я думал, что не выдержу. В Тирану я приехал вечером, вышел, усталый, из машины после рытвин, ухабов — и сразу меня втокнули в театральный зал. Это было 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, театр был набит. На сцене танцевали; один из танцоров что-то сказал на непонятном мне языке, все начали аплодировать, кричать, я тоже зааплодировал, потом оказалось, что аплодируют мне, я уж не понимал, где актеры, где министры, а темперамент у албанцев южный; мне показалось, что это длится вечность. На озере Охрид албанцы торжественно передали меня македонцам, и сейчас же начался очередной митинг.

Балканы я увидел впервые. Конечно, за два месяца трудно разобраться в пестрой жизни, в незнакомых нравах, но я

старался повидать разных людей, понять характер стран, непохожих одна на другую.

Румыния меня поразила своими противоречиями. В центре Бухареста еще сохранялся былой лоск, а в двухстах километрах от столицы, в угольном бассейне Жиу, многие жили, как звери, — в пещерах. Впрочем, и в самом Бухаресте в контрастах не было недостатка: навстречу элегантной даме шла босяк крестьянка в домотканой одежде, волны задерживали министрский «кадиллак». Я видел роскошные особняки и курные избы. Меня позвал к себе меценат, изысканно накормил, говорил, что в Румынии хорошо знают Лотреамона, Бретона, Джойса. А в деревнях я видел, как крестьяне вместо подписи ставили крестик. Из семи тысяч врачей четыре тысячи работали в столице; крестьяне умирали по старинке. Румынию часто поражает засуха; 1945 год был особенно жестоким. Крестьянки плакали, вспоминая мужа или сына; они не понимали, почему была война, говорили: «Угнали в Россию, потом сказали, что убит...»

Меня привлекало добродушие, порой легкомыслие. Там, где еще были мамалыга и вино, люди умели повеселиться. Случайно я попал на деревенскую свадьбу. Молодая согласно обычаю притворно поплакала и пошла танцевать. Носили елку с подвешенным хлебом. Пили цуйку — сливовую водку, пили из плоских деревянных фляг, пестро расписанных. Скрипач играл всю ночь. Я отдохнул от светских приемов: про меня знали только, что я — русский, видели, что я не собираюсь ничего отобрать, а старый хозяин сказал: «Нежданный гость — это на счастье...»

Красная Армия освободила многие страны, советский народ показал самоотверженность, пришел на помощь вчерашним противникам. А вот навыки периода, именуемого теперь «культом личности», сбивали с толку многих. Самым крупным поэтом Румынии был Тудор Аргеши. Я прочитал его стихи в посредственном французском переводе и сразу понял, что это настоящая поэзия. Познакомился я с ним на моем докладе; потом мы встретились, поговорили. Ему тогда было шестьдесят пять лет. Большая душевная сложность не помешала ему сохранить в человеческих отношениях сердечность, простоту. В фашистское время он узнал тюрьму, концлагерь. Однако на него косились: «декадент», «западник», «индивидуалист». Он переживал незаслуженные обиды с достоинством. После

1956 года многое изменилось. Начали переиздавать и старые книги Аргези; а когда я приехал в Бухарест несколько лет назад, я услышал: «У нас такой поэт, как Аргези!..»

Я познакомился с Михаилом Садовяну, мы потом вместе поехали в Болгарию, подолгу беседовали, и я его полюбил. У него была большая голова старого льва, а сердце очень доброе, вот уж кого трудно было ожесточить. Он был на десять лет старше меня, душевно сложился в прошлом столетии. В нем было редкое сочетание подлинной народности и высокого мастерства. Его знали все, вероятно, это помогло ему в трудную пору конца сороковых годов; люди, не понимавшие искусства, да и не любившие его, робели перед кротким Садовяну — вдруг вспоминали, что он классик. А Садовяну был не свадебным генералом, но художником, любил в искусстве и то, что, казалось, ему было чуждо. Он ценил далекого ему Аргези и терпеть не мог звонких стихов, написанных на заказ для газеты; любил настоящую живопись, отворачивался от огромных полотен, якобы изображавших жизнь новой Румынии. Однажды он мне сказал: «Мы это заслужили — слишком велик был разрыв между нами и миллионами неграмотных крестьян. Конечно, у этих крестьян были хороший вкус, фантазия, любовь к прекрасному, — кажется, нигде не было такого богатого народного искусства. Но крестьянин, когда он приезжает в город, теряет эстетические нормы, которые составляли его душевное богатство. Ему нравятся пошлые статуэтки, мецанская мебель, портреты с выражением в глазах, песенка из кинофильма. А вы послушайте настоящие народные песни, не те, что обработаны для ансамблей... Вторичный расцвет искусства придет лет через двадцать — тридцать, когда вырастут другие люди, с другими нормами. Но я не ропщу — хорошо, что учат грамоте, строят для рабочих дома, начинают есть дыста. Значит, придет время и для искусства...» Садовяну был членом Комитета по премиям «За укрепление мира». Каждый год он приезжал в Москву, и хотя в те времена трудно было разговаривать по душам, мы говорили с Садовяну о том, что нам было близко и дорого. Он долго болел и умер в 1961 году, в возрасте восьмидесяти лет.

Болгария показала мне цивилизованной, грамотной, скромной и на редкость демократичной. Характер у болгар сдержанный — никакой «души нараспашку», страсть скрыта. Почти в каждом селе я видел «читалище» — библиотеку;

крестьяне читали не только газеты, но и романы, некоторые — даже стихи.

На софийском вокзале меня встретил боевой товарищ Мате Залки генерал Петров, он же помощник военного министра Фердинанд Козовский, с большой группой болгар, сражавшихся в Испании. Я сразу оказался среди старых друзей. Через несколько дней я увидел, что в Болгарии живы давние традиции революционной борьбы. Во время фашизма партизаны сражались и гибли: война началась задолго до наступления Красной Армии.

Встретил я Стоянова, которого знал по Парижскому конгрессу писателей. Подружился с председателем Союза писателей Константиновым. Несмотря на свой пост, он говорил со мною откровенно, боялся упрощения, нивелировки в искусстве. Его сестра была художницей, обожала Сезанна, рассказывала, что теперь берут верх художники академического направления. О том же говорил и Абрешков, и молодой художник Альсех — племянник Паскина. На любви к Илие Бешкову сходились все: для людей, опасавшихся искусства, он был полезен — рисовал карикатуры, содержание которых было понятно. Другие ценили в нем художника. Он хорошо рисовал; умел выпить; играл на дудочке, знал песни, обычаи, мечты народа, не приспособлялся к собеседнику, а приспособлял его к искусству.

Среди старшего поколения писателей я запомнил Елина Пелина и его чудесные слова: «Проза должна быть плотной, а многие пишут так, что идешь по болоту, и если не завязнешь, то только потому, что после первой страницы знаешь, что будет на последней, это не проза, газета...» Поэтесса Елисавета Багряна как-то на вечеру читала свои стихи, нежные и чистые. Со мною сидел рядом чиновник, приставленный к литературе, он сказал: «Хорошо, но, пожалуй, для наших дней чересчур субъективно. Вроде вашей Ахматовой...» Это было в 1945-м, а не в 1946-м, и я не стал спорить. Подружился я с молодым поэтом Младеном Исаевым.

Я поехал в Бояну — посмотреть фрески XIII века. Историки искусств долго не замечали славянского Возрождения, относили живопись Болгарии, Македонии, Сербии к византийскому искусству. А портреты Бояны или Охрида так же отличаются от отвлеченности, жесткости и логичности византийского искусства, как работы Андрея Рублева от работ его учителя Феофана Грека. Рублев видел древнегреческие вазы, знал

литературу Эллады; у южных славян перед глазами были памятники античного мира. Византия была не учителем, а, скорее, почтальоном.

(В конце сороковых годов, когда, по указанию Сталина, у нас культивировалась «самобытность», вспомнили даже князя Юрия Долгорукого, но не великого живописца начала XV века Андрея Рублева.)

Потом на берегу Охридского озера, в окрестностях Прилепа и Скопле я увидел фрески XI—XIII веков. Эта живопись на сто — двести лет предшествует фрескам Джотто в Падуе. Печально, что у славянского Возрождения было только раннее утро — в конце XIV столетия турки захватили Болгарию и Сербию.

Югославия в ту осень переживала гордость освобождения; люди были приподняты, спорили, восторгались, и нельзя было не поддаться внутреннему веселью, которое, несмотря на потери, разрушения, голод, охватывало народ. Я увидел своеобразную страну или, вернее, несколько стран в одной. Можно ли было не влюбиться в мягкую красоту Далмации, в дворцы Возрождения, в соперницу Венеции Дубровник, в вычурные бабочечные особняки Загреба на фоне охровых и бледно-лимонных холмов, в чистенькую, нарядную Любляну, эту родственницу Кракова и Праги, в трагическую Черногорию? Я вспоминаю месяц, когда я ездил по непроезжим дорогам Югославии, как месяц гордости, горя и красоты.

Естественно, что в такой стране пластические искусства должны были расцвести. Я любовался полотнами Луберды, Тарталии и других живописцев, ходил по мастерским; порой мне казалось, что я в Париже моей молодости. В Любляне я увидел работы художников-графиков; в Словении с ее высоким культурным уровнем книга была окружена заботой.

С Иво Андричем я познакомился еще в Болгарии, и мы как-то сразу поняли друг друга. Он был сдержан, молчал, когда начинались нескончаемые споры между Зоговичем и Давичо, молчал или пытался смягчить тон спора, курил сигару, чуть улыбался. Он крепко стоял на земле, может быть, и не на той, на которой что ни день происходили исторические события, а на земле искусства: не на лаве — на горе. Мы с ним погодки, и я всегда с восхищением, даже завистью думаю о моем сверстнике, который в самые шумные годы молчал и писал, писал и молчал. Когда я прочитал его романы, я

увидел того Андрича, с которым беседовал. Настали горькие годы государственной размолвки. В апреле 1949 года мы встретились с Андричем на Парижском конгрессе мира; встретились как друзья; потом много лет я его не видел, но всегда он пользовался оказией, чтобы передать привет. Весной 1965 года я поехал к нему в домик на Черногорском побережье.

Другой крупный писатель Югославии — Крлежа. Я увидел знакомое: о нем старались не упоминать. В Загребе местные руководители что-то мне нашептывали. Теперь Крлежа окружен почетом, а тогда ему было трудно.

В Дубровнике, когда я стоял на горе, ко мне подошел пожилой человек в крылатке: «Не узнаете?..» Это был друг моей молодости, польский композитор Роговский. Встречался я с ним в Париже, потом в Брюсселе. Он был романтиком, да и остался им до конца: судьба занесла его в Дубровник, он говорил о городе с восхищением, хотя жилось ему нелегко.

Роговский рассказал мне о законе, принятом правительством Дубровника в XVI веке: каждый человек, решивший вступить в брак, должен был посадить семьдесят пять оливковых деревьев, — олива живет долго, триста — четыреста лет, — и правители республики считали, что нужно работать для будущего. Потом не раз в моих мыслях я возвращался к этому закону.

Черногория поразила меня примером неуступчивости, гордости, стойкости. Люди принесли немного земли на камни, и крохотные поля походили на ящики с землей. Этот бесплодный край черногорцы отстаивали много веков. Уходя на очередную войну, они целовали дверь дома.

Ночью в темной корчме Цетинье мой попутчик читал мне стихи Петра Негоша. Я тогда записал дословно, не мудря над стилем, строки, которые меня взволновали:

Этот мир — тиран даже для тирана,
И он вдвойне тяжек для благородных сердец.
Море воюет с берегом, зной с морозом,
Ветер с ветром, зверь со зверем,
Народ с народом, человек с человеком...

Я трясся в машине и повторял горькие слова: война не хотела оставить меня в покое.

В Братиславе, потом в Праге я встретил старых друзей; многие играли видную роль в освобожденной республике. Теперь в живых остались только Мария Майерова, Гофмейстер, Лацо Новомеский и тяжело больной Ярослав Сейферт, чудесный поэт, верный друг, от которого я недавно получил письмо. А тогда мы еще беспечно вспоминали прошлое — «Девятсил» и «Дав», шутили, пили вино...

Я выступал и в Карловом университете, и на шумливых митингах. Встретил Буриана, который вернулся из концлагеря. Он меня сразу спросил: «Что с Мейерхольдом?» Я ответил: «Плохо...» Он рассказывал о гитлеровцах, о своей новой постановке «Ромео и Джульетты» — у меня в голове все путалось: пытки, победа, Шекспир, Всеволод Эмильевич. Я пошел на выставку «Народне дивадло», увидел полотна Филлы, Шпалы, Тихого, Фишарека. Некоторые говорили: «Формализм»; Незвал неистовствовал: «Это не формализм, это революция!..» Галас печально улыбался. Сейферт молчал.

В издательстве мне показали только что вышедший перевод моих рассказов «Вне перемирия». Издание было прекрасное, а иллюстрации такие «формалистические», что я удивился — отвык. Рассказали, что перевод и рисунки были выполнены во время оккупации. Книгу написали и переводчик, и художники, и рабочие типографии.

Был прием в Граде; я увидел Бенеша, он, улыбаясь, сказал мне: «Видите, мы договорились со словаками. Пожалуй, это оказалось легче многого другого...»

Видел я в Праге страшную выставку. Художника Бедржиха Фритта гитлеровцы посадили в лагерь смерти — Терезин. Он рисовал обреченных. Он погиб, а рисунки сохранились — их закопали в землю. Среди ужасных видений висела фотография четырехлетнего ребенка, сына художника, которого успели спрятать.

Мы поехали в Терезин, где погибли сто пятьдесят тысяч человек, и долго стояли под мокрым снегом. Война продолжалась...

Я не объяснил до сих пор, почему попал в Венгрию, в Чехословакию. Я собирался было вылететь из Белграда в Москву, когда пришла телеграмма от «Известий»: «Просим поехать в Нюрнберг, описать процесс военных преступников». Я сразу согласился — и потому, что хотел повидать суд, и потому, что не хотел войти в колею, сесть за рабочий стол, начать длин-

ный роман. (Мне всегда трудно начать книгу, ищу предлога, чтобы оттянуть, а тогда к этому чувству примешивалось другое — отвыв от мирной жизни, от четырех стен, от душевной сосредоточенности.)

В Белграде дули холодные ветры. Я подумал, что еду на север — декабрь, а на мне летнее пальтишко. Военные рассказывали, что в Будапеште можно купить все на доллары, а я получил от газеты немного валюты. Дело, однако, оказалось сложным. Я спрашивал владельцев магазинов, есть ли у них теплое пальто, они иронически улыбались: может быть, думали, что возьму и не заплачу. (Когда в ресторане я заказал бутылку вина, официант потребовал деньги вперед.) А может быть, и вправду пальто не было, мне ведь предлагали французские духи, эlegantные бумажники — в общем, то, без чего будапештцы могли прожить. В одной лавчонке я разговорился, сказал, кто я, объяснил, что должен ехать в Нюрнберг на процесс. Владелец магазина оказался белой вороной — уцелевшим евреем. Он сразу сказал: «Уцелели три скорняка. Если Илья Эренбург едет в Нюрнберг, то мы умрем, а достанем ему пальто...» Мы обошли мастерские, нигде ничего не было. Владелец лавочки что-то говорил другим по-венгерски; все жестикулировали, кричали. Я наконец спросил, о чем они говорят. «Очень просто: мы говорим, что Илья Эренбург едет судить кровопийц. Вот у него они убили всю семью. Можете об этом сказать на процессе. Хотя если начать читать список убитых, то на это потребуется десять лет. Он говорит, что пальто нигде нет. То есть у какого-нибудь министра, наверно, два пальто, но он вам не даст даже одного. Вот тот знает, что у одного венгра припрятаны бараньи шкурки. Ему нравился Хорти. Нас он не любит, но он любит доллары. Мы будем всю ночь работать. Завтра вы уедете в роскошном полушубке. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили. У меня, к счастью, жена умерла в первый год войны, а детей у меня не было, но они убили моего брата со всей семьей...»

Полушубок сделали. В Праге мне дали машину до Нюрнберга. Еще одна дорога войны: развалины, военные машины, часовые. Ехали мы медленно — дорога была забита: американские части уходили из Западной Чехии.

А я думал о том, что принес фашизм несчастной Европе: он не только разрушил города, убил миллионы людей, он от-

равил сознание выживших. Плевелы расизма, национализма разлетелись далеко. Я вспомнил, как дрались два старика — венгр и румын, плевали друг другу в лицо, как итальянцы в Риеке ругали словенцев, как в немецком селе неподалеку от Будапешта крестьяне клялись, что отплатят за все «проклятым венграм». В Скопле все улицы были под номерами, как будто это Нью-Йорк, а Скопле небольшой город; прежние названия сначала были сербскими, потом болгарскими, и македонцы предпочитали нейтральные цифры. В Бухаресте, в Будапеште уцелевшие евреи рассказывали, что им приходится часто слышать: «Ух, паршивые, Гитлер вас проморгал!..» Я видел на руках судетских немцев белые повязки — знак унижения, и чувствовал, как ужасно расплачиваться с фашизмом его монетой. Невеселые это были мысли. Водитель мне рассказывал, что было во время оккупации: «Плюнули в душу...»

Стемнело. Кругом были развалины немецких городов. Мы спрашивали американцев, далеко ли до Нюрнберга; никто не знал. Шофер вдруг сказал: «Кажется, мы свернули с дороги...» Поехали назад. Я задремал. Мне снилось, что я в Эльбинге. Сейчас начнут стрелять... Действительно, я проснулся от выстрела. Шофер ругался: «Дурак — стоит на дороге и стреляет...» Американский солдат весело сказал, что до Нюрнберга три мили.

Развалины — не скажешь, что город. «А куда нам ехать?..» Я задумался: ночь, никого не найдешь... Мы поехали в американскую комендатуру. Я спросил офицера, где здесь русские журналисты. Он сказал, что не знает, нужно подождать майора. «А вы русский?..» Он улыбнулся: «Вы здорово воевали», — и, подкинув на ладони пачку сигарет, дал ее мне. Приходили и уходили солдаты. Я спрашивал офицера, долго ли нам еще ждать, он улыбался и неизменно отвечал: «Майор сейчас придет...» Мы с чехом выкурили полпачки. Наконец стало невтерпеж, хотелось спать. Мы встали. Американец снова улыбнулся: «Майор немного опоздал... Но я вас сейчас устрою». Он подозвал солдата, который дремал в углу: «Отведи их в гостиницу. Только сейчас же возвращайся — майор скоро придет...» Солдат зевнул и сказал: «Пошли! А майор не придет, он в гостинице — в баре пьет виски. Я был на процессе. Геринг очень толстый, а в общем, неинтересно. Интересно другое — когда меня наконец-то отправят домой?.. Вот и гостиница. Мне сюда не полагается. Пойду ждать майора...»

В большом холле нюрнбергского «Гранд-отеля» толпились иностранные журналисты, судебные эксперты, американские офицеры. В баре подавали коктейли; певица с большим декольте пела американские песни (слышался немецкий акцент); танцевали. Бар был, а крыши не было; лестницу тоже не успели отремонтировать. Мне дали номер на третьем этаже, я взбирался вверх то по стремянке, то по доскам.

Старые кварталы Нюрнберга были почти полностью разрушены. Вечером улицы, засыпанные мусором, битой черепицей, казались мертвыми. Я встал рано, увидел школьников, женщин с кошелками; пожилой мужчина в зеленой шляпе продавал газеты, планы города, старые открытки; прошел трамвай, город жил, но какой-то ирреальной, растерянной жизнью. На уцелевшем заводе изготавливали портсигары с надписью «На память о Международном трибунале»: американские солдаты обожали сувениры.

Кажется, никогда нигде не было такого количества журналистов из всех стран; большинство жило за городом, в поместье короля карандашей Фабера. А я остался в «Гранд-отеле» и научился быстро взбираться вверх. Обедали все в столовой при суде; каждый брал поднос, и мы проходили мимо десяти американских солдат, которые, как опытные эквилибристы, наливали суп, кофе, метали картофелины и ломти хлеба.

Трибунал заседал в здании окружного суда; на стене была роспись — Адам, Ева, змий. Установили дневной свет, кабины для переводчиков и кинооператоров; но в коридорах отопление не действовало. Шел снег; все кашляли, чихали.

Я как-то стал вспоминать: что у меня связано с Нюрнбергом? Прежде всего пряники: когда мы еще жили на Хамовническом заводе, кто-то прислал отцу из Нюрнберга круглые красивые пряники, обсыпанные искрами из цветного сахара и миндалинами. В молодости я побывал в Нюрнберге; денег у меня не было, я ел раз в день две сосиски с картофельным пюре, но это мне не мешало осматривать с утра до ночи достопримечательности. Дюрер меня пугал четкостью, жесткостью, но я себя дрессировал — стоял часами, глядел, даже прочитал его книгу. Туристам показывали старую башню, «Железную

деву»; сторож методично рассказывал, как людей пытали и казнили. В ту пору я увлекался символистами и запомнил строки Сологуба:

Но путь науки строгой
Я в юности отверг
И вольною дорогой
Пришел я в Нюрнберг...
Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача,
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча...

Прошло еще двадцать пять лет. Я сидел в маленьком парижском кинотеатре. Кругом парочки усердно целовались. После сентиментальной картины показали кинохронику. Парад в Нюрнберге. Квадраты маршировали, высоко закидывая ноги: на ветру бился паук свастики; фюрер судорожно жестикулировал. Мне стало не по себе, я вышел из зала. И вот я снова в Нюрнберге...

Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку происшедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке; Гесс читал книгу; Штрейхер жевал бутерброды. А в то время читали документы: убиты в застенках триста тысяч, шестьсот тысяч, шесть миллионов...

По одежде Геринга было видно, что он похудел, и все же он выглядел тучным; в его лице было нечто бабье, наушники на нем казались платочком. Он много писал, то и дело посылал записки своему адвокату. Вдруг он внимательно посмотрел в мою сторону, пошептался с соседом — все начали смотреть на меня. Я подумал, что позади что-то происходит, оглянулся, но Кукрыниксы сидели и, как всегда, рисовали. Потом один из конвойных рассказал, что Геринг меня узнал; оказалось, что они меня разглядывали, как я их.

Пожалуй, единственный неожиданный эпизод приключился с человеком, которого гитлеровцы называли «совестью партии», с Гессом. В начале процесса он говорил, что ничего не помнит. Защитник настаивал, что у подсудимого амнезия; целое заседание было посвящено докладам врачей-экспертов. Однажды Гесс попросил слова и объявил, что по тактическим соображениям симулировал болезнь. Получилось нелепо. Впрочем, все заседания я вспоминаю как длинный кошмарный сон.

Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану — не хотел смотреть; другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел: Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было три с половиной миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось сто тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой — понял, что его ждет?

Обвинители говорили о страшных злодеяниях. Планы нападения на различные страны обозначались условными названиями: присоединение Австрии — «планом Отто», захват Чехословакии — «зеленым планом», захват Югославии — «Маритой», уничтожение Польши — «делом Гиммлера», предполагавшееся нападение на Гибралтар — «предприятием Феликс», вторжение в Советский Союз — «планом Барбароссы». Около пятидесяти миллионов убитых и двадцать заурядных злодеев — нет, это не умещалось в сознании!

Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного и у него ослабела память, но, в общем, он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона, я таких видал не раз, на все отвечал, как рядовой вермахта: «Выполнял приказ»; а когда огласили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами: «Это досадное недоразумение». Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гиммлера, говорил, что он занимался исключительно «переселением»: «Я был всего-навсего административным карликом». Я глядел на него, когда читали его донесение о ликвидации варшавского гетто. Он сообщал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом; канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затоплены водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул, что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь, — я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знаток считал себя Альфред Розенберг, он собирал редкие русские книги; был эрудитом, теоретиком нацистской

партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезгал и мелочами, отдал, например, приказ «за три часа или два до акции (так назывались массовые убийства) вырывать у евреев золотые зубы».

Ужасающие цифры неожиданно прерывались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищенных в различных странах произведениях искусства. Геринг составил прекрасную коллекцию картин старых мастеров. Не помню, почему зашла речь о том, как он торговался, уже не похищая, а покупая сервиз. Ну да, у него был прекрасный сервиз, он вообще любит красоту; перечисляя свои титулы, он не забыл упомянуть, что состоял не только начальником лесного ведомства, но и председателем объединения охотников. Убийца чехов Нейрат объяснил: «События застали меня врасплох. Гитлер меня вызвал и сказал: «Вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами...» Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обывателя. Двадцать лет назад здесь же, в Нюрнберге, его заподозрили в растлении малолетней, но он выкрутился — грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился: «Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля, я считал, что евреям нужно предоставить Палестину...»

Я глядел на них и видел одно — страх. Одно дело — убить миллион людей, — это программа, административное рвение, партийная дисциплина, азарт; другое — чувствовать, что через месяц или через полгода убьют тебя — Германа, Юлиуса, Рудольфа, Альфреда. Одни пытались спорить о судебной процедуре — Зейсс-Инкварт, истязавший Голландию, получил юридическое образование и вдруг вспомнил основы права, другие пытались понравиться судьям чувствительностью или хотя бы учтивостью, обстоятельностью показаний, третьи валили на соседа по скамье, и все — на Гитлера. Конечно, Гитлера в Нюрнберге не было, но, может быть, если бы он не покончил с собой в минуту аффекта, то и он валил бы все на других, заверял бы, что хотел благоденствия Германии и всей Европы, но его идеи искажались, от него многое скрывали, его обманывали.

«Вы человек современный, то есть хладнокровный», — сказал Гитлер Нейрату. Пожалуй, эти слова многое объясняют.

На длинных судебных заседаниях речь шла о газовых камерах, о том, что должны были предпринять немецкие администраторы в Баку после того, как захватят этот город, об использовании военно-морским ведомством женских волос, поставляемых Освенцимом. Все было вполне «современно» — и захват стран, и план уничтожения Ленинграда, и казни французских заложников, и Бабий Яр, — предприятие, если угодно, гигантский трест.

Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Я тогда еще мало его знал — мы редко встречались. Это был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил: «Как это все понять?..» Я ответил: «Не знаю». Судьям было нетрудно разобраться: состав преступления был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое: как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли.

Я вспоминал, как ходил в Полтаве в суд, слушал процессы темных, отчаявшихся крестьян, вспоминал «синюю бороду» Ландрю, сумасшедшего Горгулова — там мы видели искажение человеческого существа, а здесь, в Нюрнберге, — кровавая бухгалтерия, и только. Я взглянул на скамью и вдруг подумал: они могли бы сидеть в ресторане, праздновать серебряную свадьбу коммивояжера Риббентропа или служебный юбилей баварского чиновника Фрика, никто на них не поглядел бы. Здесь кончается «достоевщина» и начинается ужасающий мир роботов.

Полночи я проговорил с Андре Виоллис, умной и благородной женщиной. Виоллис рассказывала о печали Франции — ее не только разорили, ее духовно искалечили. Мы сидели в холле — в комнатах было очень холодно; шумел джаз. А я спрашивал: «Что стало с человечеством? Ведь Гитлер показал, на что он способен, задало до войны, а с ним разговаривали, делали вид, что не замечают...» Виоллис отвечала: «Я об этом часто думала еще до войны... Ланжевен знает куда больше, чем Аристотель, но мне кажется, что духовная структура Франка ничем не отличается от самого жестокого сатрапа древности. Только у Франка было больше возможностей — сатрап не обладал газовыми камерами».

Процесс длился долго — десять месяцев; очень скоро журналисты начали разъезжаться. Все было известно заранее — до

процесса. Из двадцати одного подсудимого десяти удалось спасти голову, но и это, пожалуй, интересовало только ограниченный круг людей. Не скрою, во мне ужас смешивался со скукой — от несоизмеримости преступлений и преступников.

Я не раз думал, сидя в нюрнбергском зале: до чего это страшно! Ведь весь мир знал: есть Геринг. А что он собой представляет? Пошлый жуир, карьерист, бесчестный делец, ничтожество, и вместе с тем он один из главных виновников убийства пятидесяти миллионов людей. Я и теперь думаю и не могу понять. Я рассказывал в этой книге о Модильяни — он был не только большим художником, но и необычайным человеком. А кто о нем знал до его смерти? Сотня чудаковатых завсегдатаев «Ротонды». Вот убийцы Десноса. Разве они способны понять его стихи, его любовь, его раздумья? Почему в центре внимания всего человечества оказались взбесившиеся обыватели: «Гитлер сказал...» «Геринг не согласен...» «Риббентроп предлагает...»? От левой ноги Гитлера зависели работы Эйнштейна, жизнь Сутина, Ванчур, Макса Жакоба, Сен-Поля де Ру, фрески Новгорода и Пизы. Ведь это постыдно не только для соотечественников Гитлера, но и для всех его современников!..

В холле «Гранд-отеля» американский журналист (забыл его фамилию) говорил мне: «Конечно, Гитлер был злодеем, но, поверьте мне, гениальным. Он заставил плясать под свою дудку большой высококультурный народ, сбил с толку половину Европы. Это злой крысолов с волшебной дудочкой, это гений злодейства...» Я не мог, да и теперь не могу с ним согласиться. Дело даже не в оценке способностей Гитлера, дело в другом. Паскаль говорил, что, будь у Клеопатры, пленившей Цезаря и Антония, другой нос, мир выглядел бы иначе. Я и в это не верю. Я не могу себе представить, что судьбы миллионов людей могут зависеть от орлиного носа или от змеиного жала одного человека. Конечно, социальные условия играют огромную роль, но можно ли события, о которых шла речь в Нюрнберге, объяснить только экономическим кризисом и конкуренцией империалистических держав? Наши современники знают точно, по какой орбите понесется спутник, запускаемый в космос. Но мы еще не знаем, по каким орбитам кружатся человеческие чувства и поступки.

Обо всем этом я думал, возвращаясь в «виллисе» домой — мимо десятков разбитых немецких городов, мимо пепелищ

Берлина. Прежде были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники, перекочевали из быта в коллекции любителей редкостей. Эти слова часто прикрывали бессовестные, бесчеловечные, злые дела, и все же порой они сдерживали. Пушкин писал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Я вспомнил статью Марины Цветаевой — рассказ о Дантесе. Вначале он не чувствовал никакого раскаяния: убил на дуэли русского камер-юнкера, вот и вся история. Но с годами росла слава убитого поэта, и Дантес начал оправдываться. Победил не Дантес и не царь — победил Пушкин, победил не только потому, что был гениальным поэтом, но и потому, что пробуждал добрые чувства, прославлял свободу, хотел милости к падшим.

Белобрысые школьники шли в рваных тулупчиках и о чем-то оживленно разговаривали; было это в разрушенной Орше. Я поглядел на них — и на душе стало как-то спокойней.

4

В Москву я вернулся в конце декабря, и Новый год мы встретили весело, с друзьями. Война не хотела меня отпускать, о ней я писал, о ней думал, но понимал, что пора войти в колею мирной жизни. К нам часто приходили гости. Я говорил о живописи с Фальком, с Кончаловским; подружился с Образцовым, ходил в его театр. Один из военных корреспондентов «Красной звезды», Гехман, позвал меня на свадьбу; собралось много народу, поужинали, выпили, раскричались, Гехман сиял от счастья. Пышно отпраздновали семидесятилетие Кончаловского; Петр Петрович танцевал с молодыми испанками, подружками своей невестки. 22 февраля, в годовщину смерти Толстого, Людмила Ильинична позвала нас в Барвиху; все вокруг

напоминало об Алексее Николаевиче, и даже горе было живым, теплым.

Кинохроника уговорила меня написать текст к документальным фильмам о Югославии и о Болгарии. Это заняло много времени. Я часто выступал с рассказами о Балканах, о Нюрнбергском процессе то в Политехническом, то на заводах, то у военных.

Однажды я пошел в Еврейский театр на пьесу «Фрейлахс». Это был веселый спектакль, построенный на фольклоре местечек. Костюмы сделал мой друг Тышлер. Михоэлс поставил пьесу, Зускин замечательно играл. Я смеялся вместе со всеми, и вдруг мне стало страшно — вспомнил о рвах и ярах, где теперь лежат персонажи «Фрейлахс», убитые гитлеровцами. Михоэлс и Зускин выходили на аплодисменты, раскланивались. Мог ли я подумать, что вскоре один будет убит на глухой окраине Минска, а другого расстреляют?..

Как-то пришел ко мне еврейский поэт А. Г. Суцкевер. (С ним я познакомился еще во время войны. Он был в гетто Вильнюса, убежал оттуда, партизанил; его вывезли на «Большую землю».) Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания. Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера о трагедии вильнюсского гетто, где погибла и семья поэта, потряс судей.

Я продолжал встречаться с иностранцами — в записной книжке пометки: завтрак у французского посла Катру, ужин у норвежского посланника Андворда и так далее. Вернувшись осенью в Москву, я не сразу понял, что все переменялось. Мне запомнился смешной и печальный эпизод. В Москву приехал поверенный в делах Колумбии, он был литератором и хотел познакомиться с советскими писателями, художниками. Он снял в гостинице «Националь» зал; там был накрыт стол для ужина — колумбиец пригласил человек тридцать. А пришли трое — Ф. Кельян, испанский писатель Арконада и я. Дипломат нервничал, глядел на дверь. Часов в десять официанты начали убирать приборы. Голос нашего хозяина дрожал от обиды. Мы старались, как могли, его утешить, произносили тосты за дружбу, но длинный пустой стол угнетал всех.

В марте напечатали изложение фултонской речи Черчилля, впервые я прочел слова «железный занавес». Черчилль предлагал американцам оборонительный военный союз против Советского Союза. Это звучало парадоксально: газеты продолжали

печатать отчеты о Нюрнбергском процессе, где английский и американский обвинители совместно с советским обличали Геринга и Кейтеля. Не знаю, что было горше: вспоминать прошедшее или думать о будущем.

Я сдал в издательство «Советский писатель» две книжицы: путевые очерки «Дороги Европы» и сборник стихов «Дерево». Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений, тем паче что они уже были напечатаны в «Правде» или в «Известиях». (Два года спустя книжку изъяли из библиотек — в ней была глава о Югославии.) А стихи смущали издательство: «Чересчур пессимистично...» (Даже в 1959 году над некоторыми стихотворениями из «Дерева», которые я включил в сборник, редактор вздыхал: «Лучше бы снять или, по крайней мере, заменить это слово — очень уж мрачно...») «Дерево» вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей, и меня оставили в покое. Словом, «Дереву» повезло.

В январе в Союзе писателей торжественно вручали медали «За доблестный труд», среди награжденных был и Б. Л. Пастернак; он сказал мне, что скоро в Политехническом должен состояться его вечер. В Ленинграде от писателей, награжденных медалями, выступал М. М. Зощенко. В начале апреля в Колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. Среди других читала свои стихи Анна Ахматова. Ее встретили восторженно. Два дня спустя Анна Андреевна была у меня, и когда я упомянул о вечере, покачала головой: «Я этого не люблю... А главное, у нас этого не любят...»

Я стал ее успокаивать — теперь не тридцать седьмой... Хотя мне незадолго до того исполнилось пятьдесят пять лет, я все еще не мог отделаться от наивной логики.

В самом начале января я сел за «Бурю» и сразу увлекся. Я думал об этой книге давно, но все не решался написать первую страницу. А писал я не отрываясь и до апреля успел написать треть романа — две первых части. Они мне кажутся наиболее удачными. Это — кануны войны; писал я о прожитом, прочувствованном. Вся романтика, которая застоялась во мне, нашла выход, когда я писал о Сергее и Мадо, о свете обреченной любви. В рассказе о встрече двух братьев — честного догматика Осипа и легкомысленного француза Лео —

было также немало от душевного опыта автора. Я попытался хотя бы вскользь сказать о несправедливости в предвоенные годы: рассказал, как исключили из комсомола студентку Зину за то, что она отказалась очертить арестованного отца.

Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы; кое-что потускнело, кое-что стало непонятным. Приведу примеры из первой части — случайно у меня сохранился оригинал рукописи. Автор рассказывает о приезде Сергея в Париж: «Он приехал из Москвы жестких скрипучих лет...» (слово «скрипучих» убрали). Лео говорит Осипу: «Вы и живете для будущего...» После шло: «Это как гонка борзых за электрическим зайцем. Зайца-то не поймать, и пускают его, чтобы борзые быстрее бежали» — это зачеркнули... В рассказе о Зине напечатано: «Вы ведь знаете — у нее были неприятности из-за отца. Все вокруг этого...», выпущена следующая фраза: «Когда его забрали, это было зимой...» О каких «неприятностях» идет речь — стало непонятным. Прерываю список «опечаток».

Я писал с раннего утра до вечера, писал и ночью. Вдруг в начале апреля меня вызвали в ЦК, сказали, что нужно поехать в Америку вместе с генералом Галактионовым и писателем Симоновым — на конференцию редакторов газет. Я сказал В. М. Молотову, что начал писать роман, частично его действие протекает во Франции и мне хотелось бы после Америки задержаться в Париже; он ответил: «Не имею возражений».

Я хочу в этой главе досказать о «Буре», и мне придется нарушить последовательность повествования. Об Америке, о Франции я расскажу дальше, а сейчас напомним о событиях лета 1946 года, связанных с работой писателей.

Это было в конце августа во французском городке Вуврэ, близ Тура. Утром мы с Любой поехали в Ля Башеллери, где долго жил Анатоль Франс; повез нас туда внук писателя, Люсьен Псишари. Дом оказался тесно связанным и с романами Франса, и с его обликом — я помнил библиофила на набережной Сены у ларьков букинистов. Танагрские статуэтки не выглядели музейными экспонатами, они сливались с предметами обихода. В столовой писателя мы пили душистое вино вуврэ. Потом я задремал в номере старой гостиницы. Меня разбудила Люба — прочитала напечатанное в парижской газете крохотное сообщение: «Из Москвы передают о новой чистке, жертвами которой стали писатели Ахматова и Зощенко».

В Париже я прежде всего побежал в посольство и попросил советские газеты. А в октябре, когда мы вернулись в Москву, узнал подробности: после доклада А. А. Жданова Анну Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей.

Мне казалось, что после победы советского народа тридцатые годы не могут повториться, а все напоминало прежнее — собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли «соучастников», каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами: обвиняли Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сельвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эйхенбаума и Берггольц, Л. И. Тимофеева и Садофьева, Межирова и А. Гладкова.

Начала выходить газета «Культура и жизнь», многие статьи выглядели как обвинительные заключения. Особенно резко писали о Зощенко и Ахматовой. В докладе Жданова и в газетных статьях впервые была провозглашена «борьба с низкопоклонством перед Западом».

А. А. Жданова я помнил по Первому съезду писателей. Сталин, видимо, считал его специалистом по литературе и искусству и еще в 1934 году поручил выступить на съезде. Снова я увидел Жданова в 1947 году — он пригласил пять или шесть литераторов, среди них и меня, мы должны были войти в редакционную коллегию журнала «Знамя». Я наотрез отказался и молча просидел до конца заседания — Жданов объяснял, какой должна быть советская литература. В начале 1948 года С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович рассказывали, что Жданов пригласил композиторов и объявил им, что в музыке самое ценное — это мелодия, которую можно напеть. Помню, как в Варшаве ночью меня разбудил телефонный звонок. А. А. Фадеев сказал: «Ужасное сообщение — умер Жданов! Сойдите вниз...»

С М. М. Зощенко я встречался очень редко; как-то вышло, что мы мало знали друг друга, однако я всегда считал его одним из лучших наших писателей. Однажды, в начале пятидесятых годов, я его встретил на Пушкинском бульваре; он был мрачен, выглядел больным. Общие друзья рассказывали, что он чрезвычайно мучительно все переживал. У Анны Андреевны я был в 1947 году. В маленькой комнате, где висел ее портрет работы Модильяни, она сидела, как всегда печальная и величественная; читала Горация. Несчастья рушились на нее, как

обвалы, и нужна была необычайная душевная сила, чтобы сохранить достоинство, внешнее спокойствие, гордость в хорошем смысле этого слова. В 1965 году, накануне смерти, наконец-то справедливость восторжествовала: Анна Андреевна ездила в Италию, чтобы получить Международную премию, и в Оксфорд, где ей дали «докторскую мантию».

Я рассказал о событиях лета 1946 года для того, чтобы стала ясна обстановка, в которой я писал «Бурю». Я вернулся к роману в октябре, и сразу отошли картины Америки, парижские встречи, тревожный треск радиопередач — меня окружили видения военных лет, я жил с персонажами романа. В «Буре», на мой взгляд, много неудачного, — вероятно, события были чересчур свежи, и я не все смог осмыслить. Однако некоторые герои романа — Мадо, ее отец Лансье, художник Самба, ученый Дюма, доктор Крылов, печальный романтик Минаев с его мамулей — мне дороги. Я кончил роман в июне 1947 года.

О книге было много споров. Некоторые читатели обижались: почему французы выглядят героичнее, чем советские люди? Может быть, это объяснялось тем, что приключения партизан всегда освещены романтикой, а у нас против немцев сражались не отдельные герои, но весь народ. А может быть, на оценки того или иного читателя оказывали влияние газетные статьи — был разгар кампании против «низкопоклонства». Приведу несколько фраз из статьи одного критика о «Буре»: «...Наш народ не столь жалок и беспомощен, как изображает его Илья Эренбург... Просто либеральные буржуа не понимают и клеветают на советский строй. Они видели в нашей стране только альперов и лабазовых, дилетантов влаховых и земских деятелей крыловых, то есть видели только то, что им было выгодно видеть... Но ведь тов. Эренбург — не либеральный буржуа... При всех сопоставлениях советских людей с людьми капиталистической Франции в романе неизменно выигрывают французы и проигрывают русские... Да и полно! Русский ли Сергей Влахов? И Советский ли Союз его родина?..»

Таких критиков сердило описание первых месяцев войны, хотя, конечно, они знали, как и все советские люди, что именно произошло в 1941 году. Критик писал: «Все было разъяснено товарищем Сталиным...» А между тем Сталин, конечно, не разъяснил, почему он истребил до войны командный состав

армии и почему, будучи всегда чрезмерно подозрительным, поверил в слово Гитлера.

Роман печатался в «Новом мире»; редактировал его тогда К. М. Симонов; он мне писал: «Тревог нет, по-моему, все в порядке». Я считал, что отделаюсь несколькими статьями наиболее иступленных обличителей «низкопоклонства».

Действительность превзошла мои ожидания. В 1948 году я записал рассказ Фадеева, который, как председатель Комитета по Сталинским премиям, докладывал в Политбюро о выдвигаемых кандидатах. «Сталин спросил, почему «Бурю» выдвинули на премию второй степени. Я объяснил, что, по мнению Комитета, в романе есть ошибки. Один из главных героев, советский человек, влюбляется во француженку, это нетипично. Потом, нет настоящих героев. Сталин возразил: «А мне эта француженка нравится. Хорошая девушка! И потом, так в жизни бывает... А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем, обыкновенные люди становятся героями...» Александр Александрович добавил: «Как вы понимаете, я не стал спорить», — и громко засмеялся.

Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю. На том же совещании он защищал от Комитета повесть В. Пановой «Кружилиха», ехидно спросил Фадеева: «А вы знаете, как разрешить все конфликты? Я — нет...» Сталин отстаивал право Сергея любить Мадо, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещающий браки между советскими гражданами и иностранцами, даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм: помню, ко мне ходил демобилизованный офицер, человек чистой души, показывал мне письма своей возлюбленной, польской гражданки, которая писала, как над нею издеваются соседки, молила, чтобы он добился разрешения вступить в брак. Я писал, просил, но безуспешно. Дела Сталина так часто расходились с его словами, что я теперь спрашиваю себя: не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона? Сказал «так бывает», подумал и решил, что так не должно быть...

Из книг, вышедших в свет с 1946-го по 1954-й, кажется, останутся те, которые посвящены войне, не только потому, что люди сражались за советскую землю без внутренней раздвоенности, без обязательных славословий, но и потому, что герои военных лет имели право на страдания, на гибель. А описывая

мирное время, автор знал, что перечень допустимых конфликтов ограничен: стихийные бедствия, вражеская разведка, отсталость тупого хозяйственника.

Кончив «Бурю», я долго не думал о новом романе, писал статьи, переводил. Те годы не были легкими для работы писателя. У нас много пишут, как неблагоприятно отразился «культ личности» на сельском хозяйстве, на промышленности, на строительстве, и мне как писателю остается добавить, что культ не способствовал расцвету литературы. Об этом писал и К. Г. Паустовский.

Что меня тогда поддерживало? Я потом об этом писал, говоря о детях условного «юга»:

Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
А только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

А «Буря» остается для меня слабым, приглушенным эхом суровых, но чистых лет.

5

Я вылетел из Москвы 12 апреля вместе с генералом Галактионовым; Симонова вызвали из Японии, и он должен был нас нагнать в Париже. Мы долетели до Смоленска и вернулись — мотор оказался неисправным, в Берлин мы попали только к вечеру, пришлось заночевать. На следующий день

нам сказали, что в Париж мы полетим в самолете американского посла Бидл Смита — «холодная война» еще не успела стать бытом.

Мы летели над Германией. Города сверху похожи на полотна кубистов, но бомбы вмещались в гармонию, и Магдебург казался холстом «ташиста» — беспорядочные мазки. М. Р. Галактионов в генеральском мундире задыхался от жары и волнения: «Сейчас налетят журналисты. Вам легко — вы привыкли, а я никогда не разговаривал с иностранцами...»

На аэродроме Орли нас встретили американцы, сотрудники нашего посольства, Арагон, Эльза Юрьевна. Был солнечный весенний день; цвели каштаны; мы ехали мимо хорошо знакомых мне мест: рабочий квартал Итали, Бельфорский лев. Вот и Монпарнас — на этом перекрестке прошла моя молодость! Я хотел загрузить, но не успел. Арагоны повели меня ужинать, пришли Муссиаки; я жадно слушал их рассказы о годах оккупации, о Сопротивлении, об общих друзьях.

Нас поместили в гостинице близ площади Этуаль. Там стояли американские военные. Все мне было чужим — и квартал, и шумливые офицеры, и американская еда. Я пошел бродить по Парижу, нашел моих старших сестер, застрявших во Франции. Они рассказывали, как прятались от немцев, как друзья им помогали. Прибежал взволнованный Фотинский, говорил, что поедет в Москву, теперь он не боится, что его снова задержат: русские — победители, они спасли мир. На Монпарнасе я увидел Цадкина, Ларионова. Смешливая Дуся смеялась, хотя, как все, пережила много совсем не смешного. Мы вспоминали прошлое; даже предвоенные годы казались древней историей. Кто-то сказал: «Неужели это было всего шесть лет назад?..»

Прилетел Симонов. Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине — до войны она держала ресторан на улице Шерш-Миди, который я описал в «Падении Парижа». Жозефина обрадовалась, сказала: «Мне говорили, что вы написали что-то про меня... А я часто думала, как вам в России?..» Когда я посвятил ее в мои планы, она всплеснула руками: «Бедный мосье Эренбург, вы не знаете, что у нас делается! Ничего нельзя найти...» Все же она приготовила чудесный ужин. Галактионов оценил петуха в вине, на устрицы он старался не глядеть, а когда Жозефина принесла различные сыры, сказал: «Я немного прогуляюсь и

вернусь через четверть часа...» Симонов ел все и закурил гавайскую сигару, привезенную из Японии.

Посол Богомолов устроил пресс-конференцию: я должен был рассказать о войне, о восстановлении, об отношении советских людей к Франции. Народу пришло много, почти всех я знал: Арагон, Эльза Триоле, Шамсон, Вильдрак, Кассу, Станислав Фюме, Полан, Рене Блек, Марсель Кашен, Эмиль Бюре.

Мы должны были уехать семнадцатого, но нас вернули с аэродрома: зарядил дождь, и полет отменили. Я обрадовался: еще один день в Париже! Генерал волновался: завтра должна начаться конференция, опаздываем.

Я пошел к Марке и долго глядел на пейзажи — вот чего мне не хватало: серой воды на холсте, толики искусства!

На следующий день мы вылетели. Гражданская авиация еще переживала молодость: мы сделали две посадки. В Северной Ирландии было зелено, нам дали ужин, я отгонял репортеров от Михаила Романовича. Потом полетели через океан. Оказалось, что лететь над водой так же просто, как над землей, и я задремал. В Ньюфаундленде все было занесено снегом. Нам подали утренний завтрак. Рядом местные жители пили пиво и зевали; я поглядел на часы в ресторане — по местному времени полночь. После европейской ночи предстояла вторая — американская.

Когда рассвело, я увидел большой город — Бостон. Небоскребы рвались к самолету; я понял, что мы действительно перелетели через океан.

Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов, имелся вопрос о расе. Я заполнял анкеты за троих (Михаил Романович знал несколько десятков французских слов, а Симонов умел восклицать «вундефул» и «ай лав Америка»). Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству: «Красные не хотят ответить, белые они или цветные...»

Поездом мы доехали до Вашингтона. Я ничего не собирал от усталости, но пришлось сразу отправиться на конференцию. В зале было человек триста — владельцы и редакторы различных газет; на каждом была бирка с фамилией и

названием газеты. М. Р. Галактионов представлял «Правду», К. М. Симонов — «Красную звезду», я — «Известия». В перерыве какой-то владделец провинциальной газеты спросил меня: «Вы арендуете газету у вашего правительства или получаете годовой оклад?»

Мы выступили, потом нам начали задавать вопросы. Один редактор сказал, что жил в Москве в тридцатые годы, тогда иностранным корреспондентам было легче, они повсюду могли ездить, за исключением Средней Азии, да и цензура была умеренной; а теперь ограничили передвижение и цензура неустойчива. Мне пришлось отвечать, я свалил все на войну, добавил, что я не цензор, а журналист. Другой редактор возмущался: почему русские долго тянут с визами? Генерал молчал, выкручиваться снова пришлось мне: «Я не выдаю виз. Я давал бы всем — мне кажется, что чем больше журналисты будут ездить, тем лучше. Может быть, поэтому мне не поручают выдавать визы». Американцы рассмеялись, лед был сломан. Галактионов ответил на вопрос о разоружении. Вдруг один толстый журналист с большой сигарой (он походил на буржуа с плаката) встал и обратился к генералу: «Скажите, можете ли вы в вашей газете потребовать отставки премьера Сталина и замены его хотя бы Молотовым или Литвиновым?» Михаил Романович повернулся ко мне; я увидел на его лице ужас: «Отвечайте! Вы привыкли...» Я спокойно ответил: «Нет, это исключено. Мне остается напомнить нашим коллегам, что в разных странах разный строй и разные порядки... Американцам понравилась прямота ответа, и на следующее утро я прочитал в газетах, что во мне «смесь цинизма и откровенности». Мы зашли перед банкетом в гостиницу. Михаил Романович несколько раз повторил: «Какой ужас!..»

Гостиница была ультрасовременной. Ночью я пришел в номер, окончательно измученный, и хотел открыть окно, но не смог; я нажимал различные кнопки — шли струи холодного воздуха, вспыхивал и гас свет, кричало радио, а окно не открывалось. Наконец, я свалился, измученный, а утром, проснувшись, кинулся к окну, ругал себя за техническую отсталость, беспомощность. Позвать горничную я не решался — подумают: ну и дикари эти русские! Секретарь посольства нашел меня в пижаме у окна. «Пора на заседание». Я ответил: «Нет, вы откройте окно...» Он попробовал и спокойно вызвал горничную, которая, улыбаясь, объяснила: «Окно не откры-

ваются — на улице пыль, чистый воздух поступает по трубе». Секретарю это понравилось: «Техника у них замечательная!..» А мне стало неудобно — даже окна нельзя открыть, наверно, таким будет новый век...

Вскоре я понял, что старому европейцу нелегко в Новом Свете. Симонов наслаждался и невиданным комфортом, и тем, что его военный роман — бестселлер, и тем, что ему тридцать лет. О том, что происходило с М. Р. Галактионовым, я расскажу дальше. Что касается меня, то я боялся оказаться в роли старого брюзги, смотрел, встречался с сотнями людей, колесил по стране, а ночью записывал впечатления, разговоры. Я писал в одной статье: «В жизни человечества Америка заняла видное место, и нельзя понять наш век, не поняв Америки. Ей посвящены сотни од и сотни памфлетов — легко ее превознести или высмеять, труднее ее понять. За сложностью техники порой скрывается душевная простота, а за этой простотой — настоящая человеческая сложность».

С некоторыми американцами мне удалось подружиться; и все же признаюсь: отдыхал я с европейцами, будь то мои старые друзья — Тувим, Шагал, Стефа, Херасси, Роман Якобсон, люди, с которыми я встречался прежде, Ле Корбюзье, де ля Пуап, или те, которых я увидел впервые, — Эйнштейн, Кусевецкий, Шолом Аш, Оскар Ланге. А когда в Нью-Орлеане я увидел старые европейские дома с балконами, я, счастливый, ваулыбался.

В Соединенных Штатах я впервые усомнился в бесспорности традиций, привычных оценок, вкусов. Пять лет спустя я поехал в Китай, потом побывал в Латинской Америке, в Индии, в Японии. Я уже знал, насколько мир многообразен, и реже прибегал к европейскому метру или аршину. А поездка в Соединенные Штаты была первой вылазкой, если угодно — начальной школой. Вот почему я хочу рассказать о ней в этой книге подробнее, чем о других моих путешествиях.

6

Прежде, когда я видел в американских фильмах неистовые ливни, они мне казались художественным приемом режиссера. Оказалось, что дождь в Америке не такой, как в Европе; все чрезмерно — зной, ураганы, наводнения. Плоды и ягоды очень

большие, красивые, но лишены привычного для нас вкуса и запаха. Бывший вице-президент США Уоллес вывез из Советского Союза кустики «русской клубники» (фрагария моската) — невзрачной, мелкой, с зелеными пятнами, удивительно ароматной. Он увлекался садоводством, и у нас нашлась общая страсть помимо политики. Он повел меня в свой огород, и я не сразу узнал мою землячку — ягоды были втрое больше, но запах исчез.

Я вспоминаю первую ночь в Нью-Йорке. Гостиницы оказались переполненными, и консул снял для меня комнату на восемнадцатом этаже узкой улицы возле Бродвея. Уснуть я не смог — рядом горланили пьяные, по комнате носились отсветы реклам. Полночи я простоял у окна; небо над Бродвеем пылало, высились макушки небоскребов, грохотал джаз, а внизу, как в горном ущелье, изнемогали человеческие отары. Это было прекрасно и невыносимо.

Я как-то обедал с Ле Корбюзье в маленьком французском ресторане Сорок второй улицы. Он расспрашивал меня о войне, о том, что стало с нашими городами, говорил об архитектуре. Он был необычайным человеком. Он тогда с усмешкой сказал: «Скоро мне стукнет шестьдесят, а я еще очень мало построил — не дают. Я — человек поражений...» Как всякий новатор, Ле Корбюзье создавал эссенцию, а люди хотят такого искусства, где эссенция разбавлена. Теперь идеи Ле Корбюзье побеждают повсюду, побеждают архитекторы, которые у него учились, ему подражали, и вместе с тем трезво подходят к делу. А Ле Корбюзье думал не о заказчиках, но о стиле эпохи. Он строил здания-манифесты — в Марселе и в Рио-де-Жанейро, в Лионе и в Боготе, в Нью-Йорке и в Пенджабе, огромные небоскребы и поселки из небольших домов, воевал с улицами, защищал деревья и человеческие нервы, требовал свободы для солнца. Он умер, узнав всеобщее признание. При первой встрече в Америке я ему сказал, что восхищен и подавлен архитектурой Нью-Йорка. Он улыбнулся: «Вы всегда были романтиком, даже когда защищали конструктивизм. Знаете, что такое Нью-Йорк? Это катастрофическая феерия».

Самое опасное — составить себе представление о человеке или о стране, которых недостаточно знаешь, а потом объяснять все намеченной заранее схемой. Я знал Америку по книгам американских писателей, по рассказам друзей, видел в Европе то, что мы называем «американизацией», и у меня было услов-

ное представление о Новом Свете. Все оказалось правильным и вместе с тем неправильным — порой поверхностным, порой односторонним и, следовательно, несправедливым. Конечно, люди торопились, но, приглядевшись, я увидел, что это, скорее, форма жизни, чем ее содержание. Я увидел вдоволь и бестолочи, и бюрократизма, и нерасчесанных человеческих страстей.

На улице толкались; журналисты садились на мою кровать; люди жестикулировали не только руками, но и ногами; когда звали в гости, я знал, что кто-нибудь сядет на пол, а девушка скинет туфли; ругались; дружески хлопали по плечу; вели себя нецеремонно, порой, на мой европейский аршин, и бесцеремонно. Я слышал рассказы, как быстро делаются карьеры, как соперники топчут друг друга, вчерашний миллионер становится бедняком, а вчерашний босяк мчится в «кадиллаке». Все это было связано не столько с корыстью или с прирожденной грубостью, сколько с молодостью общества.

В течение моей жизни я видел не раз детей, низвергавших отцов, и отцов, возмущенных неблагодарностью, невоспитанностью, невежеством детей; это, кажется, вечная история. Многие достоинства и пороки Америки связаны с ее возрастом. До чего они молоды! — говорил я себе то в умилении, то в раздражении. Люди со всего света пришли на богатые малозаселенные просторы, пришли, наверно, отчаянные головы, энергичные неудачники, неунывающие ловкачи, неисправимые фантазеры, те, что первыми вырываются из театра, охваченного пожаром, и последними покидают игорный притон. Шолом-Алейхем писал: «В Америке люди не живут, в Америке люди спасаются». Народ образовался из «спасавшихся». Приезжали англичане, итальянцы, евреи, ирландцы, поляки, украинцы, сербы, немцы, скандинавы. Все это быстро перемешалось. Люди привозили с собой смену белья и волю к жизни; что касается вековых традиций, то их не погрузишь ни на какое судно. Иммигранты начинали с азов. Так родилась нация, которой суждено в будущем выйти на авансцену истории.

В Нью-Орлеане меня повели в старый трактир — американцы его посещают как достопримечательность. Дому почти сто лет. Был знойный день с той горячей сыростью, которая изматывает европейца, да и американцы обливались потом; они пили ледяные коктейли у большого пылающего камина — камин, дрова, это ведь нечто невиданное, глубокая древность, Помпея!

С возрастом связан и полукочевой образ жизни. После Америки Европа мне показалась обжитым, непроветренным домом. Американцы часто меняют квартиру, люди среднего достатка бросают при этом мебель — дороже перевезти, чем купить новую, а европейской привязанности к старому семейному хламу нет. Переезжают из города в город, из штата в штат.

Я почти не видел малолитражек: рабочие покупали большие машины, когда-то бывшие дорогими, но прошедшие сотни тысяч миль. Нет работы? Человек грузит семью, скарб и едет за счастьем (у нас в тридцатые годы говорили: за «длинным рублем»). Один американец решил меня покатать; подошел час ленча; он остановился возле ресторана, погудел. Принесли подносики с мясом, пивом, кофе. Есть пришлось в машине, а мы никуда не спешили, просто носились по чудесным дорогам мимо одноэтажных домиков, похожих один на другой. Я видел загон: автомобили въезжали туда, а на экране показывали кинокартину. Ночью в большом парке Нью-Йорка много темных машин. Друзья мне рассказали, что для парочек автомобиль заменяет комнату гостиницы; иногда полиция устраивает облавы.

В универсальных магазинах я видел, как человек, покупая костюм, бросал старый. Мой друг Гилмор, который возил меня на Юг, чуть ли не каждый день покупал рубашку, говорил, что это проще, чем отдавать в стирку.

В Америку я приехал не из древней Эллады, не из Италии или Испании, и все же меня поразила необычайная стандартизация. Города походили один на другой. Я видел те же улицы, те же дома, те же вывески, те же галстуки в Детройте и в Джексоне. Статьека хлесткого журналиста печаталась одновременно в пятидесяти газетах; повторялись сплетни, анекдоты, проповеди.

Казалось бы, выводы напрашивались, вставал классический образ мистера Бэббита. Но я не торопился с выводами, говорил себе: все это так и не так.

Меня смешили объявления в газетах о воскресных богослужениях — зазывали, как в балаган; одна церковь обещала цветной фильм на библейскую тему, другая соблазняла хорошим буфетом. Американцам такие рекламы, видимо, не казались кощунством. В Алабаме мы заехали к профессору; нас оставили пообедать; все сели за стол; профессор встал и прочитал импровизированную молитву — просил господу о мире

между двумя великими народами; по лицам домочадцев было видно, что они действительно молятся. Я был на обеде, устроенном издателем «Нью-Йорк таймс», возле каждого прибора лежала карточка, я подумал, что это меню; оказалось — на одной стороне реклама газеты, на другой молитва, но здесь уже никто не молился...

Вскоре после нашего приезда в Америку Симонова и меня пригласили на ужин, устроенный одной из еврейских организаций. Консул сказал, что мы обязательно должны быть — эта организация собрала свыше двух миллионов долларов на детские дома в Советском Союзе. Народу пришлось много, хотели послушать «красных» — так нас называли в газетах. Мы обедали на эстраде, а гости — внизу за маленькими столиками. Профессионал по сбору денег (не раввин, а пастор) выполнял работу конферансье и ловко выкачивал доллары. Люди давали сто — двести долларов. Некоторые выписали чеки на тысячу, пастор их прочувствованно благодарил, и зал аплодировал. Мне нужно было выступить, а меня от всего подташнивало. В своей речи я напомнил, что собравшиеся в большом долгу перед советским народом и что, когда выплачивают крохотную часть задолженности, этим не гордятся, этому не аплодируют, сказал также, что у нас люди отдавали свою жизнь скромнее, чем здесь дают доллары. Один из организаторов ужина принес мне таблетки — решил, что резкость моих суждений объясняется болезненным состоянием.

Нового, конечно, Синклер Льюис ничего не выдумал, и я сам услышал в Бирмингеме комплимент: «Вы выглядите на сто тысяч долларов». Конечно, культ доллара был весьма распространен. Но я встретил в Америке немало бескорыстных идеалистов. В Нашвилле жил скромный адвокат Фармер. Он уверовал в идею «мирового правительства». Потом эта идея была использована политиками для целей отнюдь не гуманных. Но Фармер был убежден, что мировое правительство спасет человечество от войны. Он превратился в проповедника. Он повез меня на ферму к своему отцу; там мы обедали, и сын пытался обратить отца в новую веру. В Нью-Орлеане я встретил инженера, который до войны сконструировал машину для механизации уборки хлопка; ему предложили за патент крупную сумму, а он после разговора с приятелем-экономистом уничтожил свое изобретение — боялся, что машина лишит хлеба десятки тысяч сельских рабочих. Я видел белых энту-

зиастов, выступавших в Миссисипи против притеснения негров, видел первую демонстрацию против атомной бомбы. В конце сороковых годов в Движении сторонников мира работал американский пастор Джон Дарр. Он записывал в тетрадку разговоры, казавшиеся ему значительными: хотел понять все тонкости марксистского толкования событий. Делегацию сторонников мира пригласили в Китай. Пастор Дарр, разумеется, и там записывал мудрые и немудрые изречения своих собеседников. Хотя сами китайцы аккуратно записывали все, что рассказывал я и другие гости, любовь американца к записям показалась им подозрительной, и они сообщили об этом в Москву. Наивный и честнейший Дарр стал пугалом. Он это понял и вернулся в Америку и там продолжал выступать за мир, хотя это было связано для него со всяческими неприятностями. Летом 1965 года на конгрессе в Хельсинки было много американцев-пацифистов: священники, квакеры, сторонники всеобщего разоружения, женщины, возмущенные войной во Вьетнаме, люди смелые и бескорыстные.

Как все это понять? Вот над чем в 1946 году я ломал себе голову. В Париже дома примерно одного роста — шесть-семь этажей, а в американских провинциальных городах дома одноэтажные, но в центре обязательно несколько небоскребов. В Америке столько контрастов, что теряешь голову. Между двумя войнами мы восхищались американской литературой — Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, Колдуэллом. Приехав в Америку, я увидел, что вокруг них пустота. В штате Миссисипи люди интеллигентных профессий не знали даже имени Фолкнера, хотя он жил рядом — в городке Оксфорде. Поразило меня отсутствие средней литературы: Хемингуэй или «дайджест», Фолкнер или дурацкие «комиксы». Я видел прекрасные фильмы Форда, Уайлера, Уэллеса, Мамуляна, а в соседних кинотеатрах показывали плоские фарсы, свирепые мелодрамы, патаку и пакость.

Я давно хотел поглядеть на собрание членов «Клуба львов» — этот клуб имеет разветвления во всех городах. Как раз на Юге, неподалеку от города, где жил Фолкнер, я попал на обед «львов». Председатель постучал деревянным молотком по столу, и члены клуба, главным образом коммерсанты, дружно зарычали «ууу!». Это было до того нелепо, что я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Обед кончился, «львы» верну-

лись к своим делам, а я шел по длинной Мэн-стрит и думал: хорошо, но откуда у них Фолкнер?..

В Нью-Йорке я пошел к Джону Стейнбеку. Еще до войны в Париже я восхищался его повестью «Мыши и люди». Он жил в центре Нью-Йорка в одноэтажном доме — это было роскошью: в Голливуде сделали несколько фильмов по его романам; он ругал эти фильмы, ругал многое другое и пил виски со льдом. Мы сидели в большой мастерской (жена Стейнбека — художница). Он сказал мне: «Если плюнуть в пасть льва, лев станет ручным...» (Эти слова я потом не раз вспоминал — они верны по отношению ко львам различных мастей.) Несколько лет спустя Стейнбек приехал в Советский Союз. Я был с ним в Загорске, он захотел там посмотреть мастеров, которые вырезают из дерева зверушек. Прежде они работали хорошо, но под влиянием тяги к натурализму стали изготавливать соответствующий товар. Когда мастер сделал общую форму медведя, Стейнбек попросил продать ему неоконченную игрушку. Мастер обиделся: «Хочет, чтобы в Америке над нами посмеялись...» А Стейнбек восхищался: «Вот это искусство!..» И добавил: «Когда пишешь роман, тоже нужно вовремя остановиться...»

Прошло еще пятнадцать лет, и недавно я снова увидел Стейнбека. Он много с тех пор написал, узнал и годы неудач, и славу. Он сидел у меня, большой, крепкий, и я все время думал: до чего он связан с Америкой! Молодая страна, люди в ней не стареют — живут, потом падают. Не знаю, умеет ли Стейнбек вовремя остановиться, когда пишет роман; я его не стал об этом спрашивать, — кажется, нет на свете автора, который знал бы самого себя: писатели заняты своими героями, им недосуг задуматься над собой. Конечно, Стейнбек стал как-то спокойнее, я почувствовал тяжесть и снисходительность седьмого десятка, все же он остался громким, неумным, похожим на свою страну.

Теперь я несколько лучше понимаю американцев. А в 1946 году я спрашивал себя: чем живет Стейнбек? Чем живет Америка? Это были не праздные вопросы, не любопытство туриста, не работа этнографа — я видел, что после войны многое на свете изменилось. Все зависит от того, по какому пути пойдет эта богатая, чрезвычайно цивилизованная и вместе с тем полудикая страна.

Сотни американцев пытались мне доказать, что американцы самые свободные люди и что это объясняется частной инициа-

тивой, психикой пионеров, значением личности. Слушая такие разговоры, можно было подумать, что передо мной испанские анархисты и что Трумэн — ученик Мигеля Бакунина. Действительно, я побывал в городах, где частные компании отпускали не только электричество и газ, но даже воду; на дорогах несколько раз нашу машину останавливали и брали деньги за проезд, — оказывалось, дорога принадлежит бизнесмену или плантатору; мост через Миссисипи эксплуатировался акционерным обществом. В 1946 году правительство проводило кампанию против расгочительности. Я видел повсюду рекламы: «Не забывайте, что на свете пятьсот миллионов человек голодают. Гейнц — пятьдесят семь соусов». Я спросил председателя торговой палаты в городе Джексон, почему фирма Гейнца рекламирует свои соусы с помощью гуманных фраз. Председатель покачал головой: «Напротив, фирма Гейнца старается помочь правительству. Официальным декларациям не верят, а у Гейнца большой авторитет...» Вместе с тем власти преспокойно вмешивались в частную жизнь американцев. В Нью-Йорке, в гостинице на Бродвее, где я прожил неделю, ночью была облава; арестовали провинциалов-молодоженов — у них не было при себе удостоверения о браке. Имелись штаты, где венчали без волокиты, а штат Невада разбогател потому, что там легко развестись. В вагоне-ресторане официант забрал стакан с виски: «Мы проезжаем через сухой штат...»

Я был у крупного ученого Зворыкина, изобретателя иконоскопа. Он жил возле Филадельфии в чудесном доме. Он долго рассказывал, как быстро развивается в Америке наука. Я знал, что Эйнштейн и Ферми обязаны многим Соединенным Штатам. Роман Якобсон ночь напролет говорил мне о будущем новой науки — изобретены «мыслящие машины». В Принстоне я видел замечательные аудитории, лаборатории, библиотеки.

В Джексоне, в Ноксвилле я с трудом разыскал книжный магазин.

Разноречивые впечатления я изложил в очерках. Конечно, в них было много случайного, были, наверно, и ошибки — трудно за короткий срок понять чужую жизнь. Однако я не поддался соблазну отделаться памфлетом. В 1946 году «холодная война» быстро разгоралась, и те американцы, которые ее раздували, радовались некоторым статьям или фельетонам, напечатанным в наших газетах. Журнал «Харперс мэгезин», участвовавший в антисоветской кампании, опубликовал пере-

вод моих очерков, но в своих комментариях признал: «Важны не отдельные детали, а общее впечатление, которое получит от этих статей советский читатель. Трудно себе представить, что он увидит в них Америку грубым, жадным, механизированным и бездушным чудовищем, каким ее изображали в прошлом европейские спиритуалисты, например, Андре Зигфрид... Статьи мистера Эренбурга появлялись в «Известиях» с июня по сентябрь — во время ныне знаменитой «культурной чистки», от которой пострадали многие писатели и кинорежиссеры... «Известия» писали в передовой: «Чему же могут учиться лучшие люди советского общества, творцы его культуры у «модных» деятелей современного Запада и Америки, выразителей морального распада и гниения капиталистического строя?» Читая это, мы в испуге вспомнили одно место в четвертой статье мистера Эренбурга: «Мы можем многому научиться и у американских писателей, и у американских архитекторов, и даже (несмотря на потрясающую пошлость средней продукции) у американских кинорежиссеров». Возникает тревожное чувство, что благодаря этим статьям мистер Эренбург повис на суке. Мы надеемся, что он принял меры предосторожности и снял с себя галстук». (Антисоветские журналисты надеялись, что меня уничтожат, и до сих пор не могут мне простить, что я остался в живых.)

Однако мои очерки были продиктованы не только желанием погасить огонь «холодной войны». Я понимал, что европейцы начинают походить на американцев — в пристрастии к комфорту, в некотором упрощении эмоциональной жизни, в культе техники и спорта. Мне хотелось приободрить себя, и, думая о новой интеллигенции, представителей которой я встречал в Нью-Йорке, Бостоне, Нью-Орлеане, я доказывал, что многие американцы начинают походить на европейцев: «Америка не застывший мир, она все время в движении. Вчерашние пуритане становятся запойными неврастениками, героями Хемингуэя. Дети баптистов и методистов читают «Нью-йоркер», высмеивающий «американизм». Вообще, так издеваться над Америкой, как это делают сами американцы, никогда не сможет ни один европеец; и в этом тоже залог роста. Я убежден, что американцы, проклиная Америку, на самом деле страстные патриоты. Они — новые пионеры, их тоже трясет лихорадка, но не «золотая»: они ищут духовные ценности; им мало высоких домов, и если они смеются над этими домами, то не

потому, что предпочитают хижины, а потому, что хотят высоких дум и высоких чувств».

Вероятно, все это правильно, но «быстро сказка сказывается», а история петляет. Прогресс естественных наук стал повсеместным. Американцы растерялись, увидев в некоторых областях превосходство советской техники; однако это было связано, скорее, с выкладками политиков и военных, чем с поисками «высоких дум и высоких чувств».

В годы, называемые теперь годами «культа личности», кибернетику у нас называли шарлатанством. Впервые Большая советская энциклопедия заговорила о ней в дополнительном томе. Наши специалисты по кибернетике с возмущением вспоминают прошлое: один из них обиду перенес на искусство, как будто в походе на новую науку повинно «анахроничное увлечение Бахом или Блоком». Между тем люди, запрещавшие кибернетику, с опаской поглядывали на искусство. Я продолжал и продолжаю спорить не столько с Америкой, сколько с «американизмом». С увлечением я прочитал книгу Винера (хотя не все в ней понял); я слышал электронную музыку, охотно верю, что машины, сочиняющие стихи, делают это быстрее и не хуже многих членов Союза писателей. Баха или Блока машины, однако, не заменяют, да и не могут заменить.

Может быть, в недалеком будущем межпланетные ракеты будут предоставлять парочкам, лишенным свидетельства о браке, больший комфорт, чем теперешние «кадиллаки» или «бьюики»; не нужно много фантазии, чтобы это себе представить. Но я хочу думать, что люди грядущего будут обладать той культурой эмоций, которая отличает любовь героев Шекспира, Гете или Льва Толстого от случки питекантропов.

Древние изображали богиню мудрости с совой, и Гегель говорил, что сова взлетает, когда опускаются сумерки. Обидно, что о многом начинаешь задумываться к вечеру жизни.

7

Наш приезд в Америку рассматривался как «ответный визит» — в 1945 году три американских журналиста побывали в Советском Союзе. «Холодная война» только начиналась. Американцы вели переговоры с Советским правительством об увеличении тиража журнала «Америка», выходившего на русском

языке, об облегчении работы американских корреспондентов в Москве, и государственный секретарь Бирнс решил показать свою добрую волю. Все газеты сообщили: «Трое красных журналистов приглашены познакомиться с Америкой. Они будут свободно разъезжать по стране за счет правительства Соединенных Штатов». От денег мы отказались, а разрешением свободно передвигаться решили воспользоваться. Галактионов предпочитал остаться в Нью-Йорке, где было много советских работников, но, посоветовавшись с послом, решил, что поедет на несколько дней в Чикаго, и, когда нас пригласил заместитель Бирнса Бентон, Михаил Романович объяснил, что намерен познакомиться с работой крупных чикагских газет. Симонов сказал, что выбрал Западное побережье — Голливуд. Пришел мой черед: «Я хотел бы поехать в Южные штаты». Бентон попытался меня отговорить: далеко, воздушная связь плохая, да и не повсюду имеются хорошие гостиницы. Я возразил: от Москвы до Вашингтона еще дальше, я могу поехать поездом, а комфортом мы не избалованы. Бентон повторил, что мы свободны в выборе.

Один из вашингтонских комментаторов, или, как в Америке говорят, «колумнистов», статьи которых печатают одновременно на десятках газет, Марквиз Чайлдс, писал: «Совершенно ясно, почему Эренбург — самый яркий и агрессивный из трех — выбрал «Табачную дорогу». В жизни Юга он цинично ищет подходящих для него историй...» (Говоря о «Табачной дороге», журналист, конечно, имел в виду не мою страсть к куренью, а книгу Колдуэлла.)

Признаться, я меньше всего думал и о Колдуэлле, и о материале для газетных очерков; мне хотелось понять то, что с давних пор оставалось для меня загадочным: положение негров в Америке. В молодости я считал, что прогресс неминуемо освобождает людей от суеверий и нетерпимости. Я знал, что Южные штаты Америки далеко отстали от Северных, что там мало промышленности, есть неграмотные, и этим объяснял живучесть предрассудков. Только когда расизм восторжествовал не далеко за океаном, а в хорошо мне знакомой Германии, я понял, насколько был наивен. Судьба американских негров перестала быть исключительным явлением; расизм вошел в быт века. Решив поехать в Южные штаты, я думал не о газетных статьях, а только что закончившейся, еще не отошедшей

от меня войне, думал о многом темном, с чем мне пришлось в жизни столкнуться, искал разгадку, пробовал осмыслить противоречивую эпоху.

В первые же дни моего пребывания в Нью-Йорке я понял, что Новый Свет забит хламом старых предрассудков.

В киосках можно было увидеть десятки газет, выходявших в Америке на различных языках — итальянском, польском, еврейском, немецком, испанском, греческом, армянском, украинском, сербском и других. Я попал в итальянский квартал; там сушилось на веревках белье, в трактирах люди накручивали на вилку длинные макароны, кто-то пел, мне показалось, что я в Генуе или в Неаполе. В еврейском квартале торговали солеными огурцами, халвой, водкой, были вывески и русские и польские; старик, похожий на героя Бабеля, пил на улице чай и рассуждал: «Сульцбергер пишет, что он любит бога, если не еврейского, то американского, но, наверно, этот бог с таким вниманием читал «Таймс», что даже не заметил, как сожгли варшавское гетто...»

Названия городов напоминают, что люди пришли сюда отовсюду: Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Манчестер, Амстердам, Пекин, Париж, Одесса, Толедо, Франкфурт, Кантон, Кембридж, Москва, Берлин, Рим, Оксфорд, Кордова... В любой отрасли науки встречаешь имена, которые ясно говорят, что если не сам ученый, то его дед родился — кто в Ирландии, кто в Польше, кто в Германии, кто в России. Я хотел понять, почему же в стране, где перемешались все расы, все национальности, все языки, расцвели и расизм, и своеобразная национальная иерархия.

Аристократия знала родовую иерархию: потомственный дворянин глядел свысока на личного дворянина, а этот последний презирал мещанина; во Франции выше всего стояли принцы, за ними шли герцоги, потом маркизы, графы, виконты, бароны, наконец — обыкновенные дворяне, у которых перед фамилией значилось «де». Считалось, что в жилах аристократов течет «голубая кровь». Но Америка не знала ни феодализма, ни голубой крови. И вот, загадочным для меня образом, создалась своя иерархия крови: выше всего люди, происшедшие из семейств английских, шотландских, ирландских, скандинавских, голландских; несколько хуже немцы, за ними идут французы, ниже славяне, еще ниже итальянцы, почти внизу евреи, китайцы, порториканцы, и всех ниже негры. Есть

клубы, куда не принимают славян, итальянцев. Что касается евреев, то их положение хорошо мне объяснил один словоохотливый американец: «С ними обедают, но не ужинают», — обед — это деловая встреча в ресторане без жен, — с евреями можно делать дела, но не якшаться. Мне показывали гостиницы, куда не пускают евреев; обычно это на курортах, у моря или у озера.

Через несколько дней после моего приезда в Нью-Йорк друзья повезли меня в негритянский квартал Гарлем; там я познакомился с журналистами, писателями, актерами, музыкантами; с некоторыми из них я подружился.

Теоретически негры в Нью-Йорке пользовались всеми правами. Но квартир в домах, где жили белые, неграм не сдавали. Они жили в Гарлеме, и что ни говори — это гетто. Как-то я возвращался из Гарлема поздно ночью. Шофер такси довез меня до границы гетто, объяснил, что дальше ему ехать не стоит — не найдет назад пассажиров, окликнул такси с белым шофером, и я пересел. Конечно, были богатые негры, были даже занимавшие государственные посты (таких было мало, и посты были не крупными, но видимость соблюдалась); однако большинство черных выполняло черную работу: носильщики, мусорщики, сторожа, лифтеры, судомойки, прачки. В Гарлеме я видел «госпиталь рубашек» — так называлась мастерская, где на месте лагали рубашку, клиент сидел полуголый и ждал: у него была всего одна рубашка.

Если негр заходил в ресторан, который содержал американец, ему вежливо говорили, что все столики заказаны. Если он пробовал найти работу почище, ему любезно сообщали, что вакансия уже занята. Я хотел позвать к себе друзей-негров. Меня предупредили, что их не подымут наверх — я жил на шестнадцатом этаже, скажут, что лифт не работает.

Американцам нравилась негритянская музыка, черные певцы, актеры. Негритянские труппы часто играли на Бродвее. В партере сидели белые, они аплодировали. Но если актеры захотели бы после спектакля поужинать, они должны были найти французский, итальянский или еврейский ресторан — в американском им сказали бы, что все столики заняты...

Расизм заразил даже тех, которые от него терпели: я встречал негров-антисемитов. А обиженный кем-то еврей кричал: «Почему вы со мной так разговариваете? Я, кажется, еще не

негр!..» Мулат в Вашингтоне рассказывал о своей беде — его дочь влюбилась в негра.

Я начал готовиться к путешествию. Друзья сказали, что они пришлют ко мне одного прогрессивного южанина, который посоветует, куда поехать. Дэниэл Гилмор был южанином, сыном адмирала; до войны издавал левый литературный журнал «Пятница» (под таким же названием выходил еженедельник в Париже, его редактировали Жан-Ришар Блок и Шамсон). Он сказал, что повезет меня в своей машине. Это было нечаянной удачей — никогда бы я не разыскал тех захолустий, куда меня повез мой новый друг.

Госдепартамент сообщил мне, что меня будет сопровождать редактор журнала «Америка», выходящего на русском языке. Нельсон был сыном выходца из России и превосходно говорил по-русски. Он показал себя тактичным, и между нами установились добрые отношения.

Нельсон обращался к местным властям; меня приглашали на официальные обеды — то председатель торговой палаты, то издатель крупной газеты, то чиновник, занятый делами культуры. Гилмор знал многих, возил меня в редакции негритянских газет, в заштатные городки, на хлопковые плантации. Я разговаривал с сотнями разных людей — с профессорами и плантаторами, с пасторами и с профсоюзниками, с художниками и с рабочими.

Мы были в Алабаме, когда Гилмор рассказал, что «колумнист» Сэм Графтон хочет описать поездку советского писателя по Югу и просит разрешения присоединиться к нам. Дальше мы колесили уже вчетвером в утомленном, но поместительном «бьюике».

Почему-то моим спутникам понравился русский обычай называть человека по имени и отчеству. И вот со мной ездили Дэниэл Горацевич Гилмор, Билл Бенедиктович Нельсон и Сэм Нозмович Графтон. Мы подружились, и южане не раз принимали нас всех за «красных». Мы останавливались на ночь то в больших гостиницах, то в «мотелях», то в комнатах, которые жители городишек сдавали проезжим. Южане оказались гостеприимными, приглашали пообедать или поужинать с ними. Мне повезло — я ездил как американский турист.

В Нашвилле я провел день в частном негритянском университете Фиск. Там училось около семисот юношей и девушек, они готовились стать врачами, педагогами, адвокатами,

но знали, что смогут лечить, учить, защищать только «цветных». Среди профессоров был крупный химик Брэди. Он рассказал, в каких условиях ему приходится работать. В университете для белых прекрасно оборудованные лаборатории, но туда он не имеет права войти, не может он пользоваться и университетской библиотекой: когда ему нужна справка, белый юноша идет вместо него в библиотеку и выписывает. А на международные конгрессы профессора Брэди посылает: для Нашвилла — он негр, для заграницы — видный американский ученый.

(Я прочитал статью известного зоолога Лилли, профессора Чикагского университета, посвященную умершему в начале войны биологу Дзосту: «Трагизмом отмечена вся научная деятельность Дзоста — он был негром в Соединенных Штатах... В Европе его принимали дружески, и легко понять, почему он себя обрек на добровольное изгнание, но глубоко обидно, что его знания, беззаветная преданность науке не смогли найти приложения на его родине...»)

Среди студентов Нашвилла я увидел рыжеватую девушку с веснушками, она заговорила со мной по-русски. Оказалось, отец ее негр, а мать одесситка, звали ее Лилиан Вальтфильд. По виду ее никак нельзя было принять за негритянку, но в паспорте значилось: «цветная».

Мы осматривали плотину Теннесси — огромное строительство, осуществленное Рузвельтом. Электростанция изменила экономику шести южных штатов. Я восхищался дорогами, домами, парками, но повсюду я видел надписи «Для цветных» и угрюмо думал: да бог с ней, с этой диковинной техникой, если она может сочетаться с оплевыванием человека!..

Когда мы ехали на Юг, Билл Бенедиктович мне рассказывал, как хорошо поставлено в Америке народное образование и какие суммы расходуются на здравоохранение. В Миссисипи я увидел, как живут негры, арендующие клочок земли, или сельские рабочие. В темных лачугах копошились огромные семьи, спали на полу. Мы встречали много неграмотных — школ для негров не хватало, встречали людей, никогда в жизни не видавших доктора: врачу нужно заплатить столько, сколько целая семья вырабатывает в три месяца.

А радушный хозяин большой плантации, угощавший нас яствами Юга, говорил: «Неграм у меня хорошо. Я их даже в церковь отпускаю...»

Войдя в одну злосчастную хижину, Сэм Графтон вышел потрясенный — никогда прежде он не бывал на Юге. Я ему сказал: «Видите, и я пригодился — благодаря мне дядя Сэм познакомился с дядей Томом...» Нельсон тоже впервые увидел Южные штаты и был подавлен; больше он не заговаривал ни о медицинском обслуживании, ни о народном образовании.

Я вспоминаю большую ярко-желтую реку Миссисипи, старые усадьбы, где жили опозитизированные герои Митчелл, уют, комфорт, который не снился нашей Салтычихе, и темные, зловонные хижины, едкое человеческое горе — голод в краю изобилия, работу через силу и ко всему ежечасное надругательство: «Куда лезешь, грязный негр!..» (Эти слова я услышал на трамвайной остановке — вагоны, где имели право ездить только белые, проходили почти пустые, а на площадке места не было.)

Трудно видеть чужое горе, нужду, нищету, — это я не чувствовал и дома, и в Испании, и в Индии. Но только раз в жизни я очутился среди чужого унижения. Однажды в Нью-Орлеане я сидел в милом доме у хороших и просвещенных людей — знакомых Гилмора. Один из гостей, высокий, светловолосый, оказался архитектором. Мы говорили сначала об урбанизме, о Ле Корбюзье, потом о живописи. Меня мучила жажда — было нестерпимо жарко. Я предложил пойти в соседний бар и там продолжить беседу. Никто меня не поддержал. Полчаса спустя я попросил стакан воды. Архитектор встал: ему пора домой. Когда он вышел, хозяйка объяснила, что он по паспорту «цветной» и не может войти в бар — его в городе знают. Мне стало стыдно: ведь я его поставил в трудное положение. Больше не хотелось пить и, если говорить откровенно, не хотелось жить.

Другой раз я испытал нестерпимый стыд, когда очень светлая мулатка рассказала мне, как носильщик, не догадавшись, что она «цветная», посадил ее в вагон для белых; поезд тронулся, она не успела выйти. Один белый подошел проводника и сказал, чтобы он выкинул «цветную». Девушка никак не походила на мулатку; проводник оказался сердобольным и шепнул заподозренной: «Я ему объяснил, что вы еврейка, поэтому у вас черные волосы...» Девушка смеясь добавила: «А я так испугалась, что двинуться не могла...» Вот тогда впервые в жизни мне стало стыдно, что я еврей, хотелось стать черным евреем.

Сторонники «расового разделения» или, говоря проще, расисты, разговаривая со мной, пробовали обосновать южные порядки: есть естественное неравенство рас, нужны века, чтобы негры доросли до белых; теперь с ними общаться трудно, их следует учить, создавать для них сносные условия и давать ту работу, которую они в силах выполнить. Это я слышал много раз. Это сказал мне и один юрист, у которого мы ужинали. Его молодая жена добавила, что хорошо это или плохо, но каждый американец чувствует к неграм физическое отвращение. (Я почувствовал отвращение к молодой хорошенькой женщине, но, будучи гостем, промолчал.) Мы встали, и хозяйка сказала, что покажет нам своего первенца — он родился ровно месяц назад. Младенца принесла огромная толстая негритянка, сверкавшая белыми зубами, — она кормила грудью сына хояев...

В промышленном Бирмингеме много негров работало на металлургических заводах. Мы зашли к одному из них; он жил бедно, но чисто, в маленькой комнате помещались пять человек. Разговорились о работе, о квартирах. Потом я спросил, какие у него отношения с белыми товарищами. «На работе хорошие». — «Бываете вы у кого-нибудь из них?» — «Нет». — «А к вам приходят?» — «Никогда. Вы — первый белый, который зашел в этот дом...»

В Нью-Орлеане я пошел в профсоюз моряков. Секретарь показал мне клуб, сказал, что их профсоюз называют «красным»: у них негры присутствуют на общих собраниях, в других профсоюзах для «цветных» имеются особые секции. «Вот места для негров», — сказал секретарь. Скамейки были не хуже других, но негров все же сажали отдельно.

Помню долгий откровенный разговор с адвокатом Робертсоном. Он был хороший человек, которого возмущала расовая дискриминация, он старался, как мог, помочь неграм. Он рассказывал мне о чудовищных приговорах. Одна женщина увлеклась негром, которого звали Вилли Меги, он был шофером грузовика. Она затаскивала его к себе в дом. Соседки об этом судачили. Однажды муж вернулся не вовремя. Женщина закричала: «Помогите, меня насилуют!..» Все, включая судей, знали, что женщина лжет, но никто на суде об этом не сказал. Напрасно адвокат пытался спасти Вилли Меги — его приговорили к смертной казни. В городке Олбезилл шестеро белых изнасиловали негритянку; все знали, что они виновны, но их

оправдали. Робертсон вспомнил и другие судебные дела в штате Миссисипи. Я спросил его, почему расизм оказался настолько живучим. Он ответил: «Мне неприятно вам признаться, но это в нас с детства, мы все отравлены этой пакостью. У нас домашняя работница негритянка. Мы с женой к ней хорошо относимся. Недавно она рожала. Позвали врача. Я зашел поглядеть на ребенка и поймал себя на мысли — живое существо, а все-таки не белый... Я сам себе неприятен...»

Я понял, что дело не только в страшной эпопее Гитлера. Конечно, в Америке не было ни Освенцима, ни Трелинки. Случаи линчевания становились все большей редкостью. В 1946 году в Южных штатах существовали законы, весьма напоминавшие те, над которыми трудился Глобке (еще недавно он занимал в Западной Германии весьма почетное место). Но и рабовладельцы Юга не были новаторами. Семь параграфов закона, опубликованного в XIII веке испанским королем Альфонсом X, которого прозвали Мудрым и который действительно покровительствовал астрономии и другим наукам, гласили о разделении в жизни христиан и евреев и устанавливали ограничения для евреев, весьма схожие с теми, которые существовали в середине XX века в Южных штатах для негров.

Я знаю, что теперь многое изменилось. Даже американские реакционеры поняли, что Африка проснулась и что гонение на негров в Соединенных Штатах исключает возможность добрых отношений с новорожденными государствами Африки. Да и внутри самой Америки наблюдаются сдвиги сознания. Конечно, хорошо, что ровно сто лет спустя после победы Севера над рабовладельцами-расистами принят закон о предоставлении избирательных прав неграм Юга. Но это событие совпало с кровью на улицах Лос-Анжелоса, с выстрелами в Алабаме и Миссисипи, с накопившейся ненавистью угнетенных к угнетателям и с затаенной неприязнью либеральных «освободителей» к освобождаемым.

Дело не только в уничтожении отвратительных законов, дело в изменении душевного мира людей: мы слишком хорошо знали, что никакое, даже самое передовое, законодательство не может вытравить из сознания древних предрассудков; они порой прячутся, камуфлируются, ищут новых, более приспособленных к современной жизни обоснований и вдруг показываются во всей своей отвратительной нагоде.

О поездке на Юг я рассказал не для того, чтобы осудить американцев, эта книга — не сборник политических статей. Я задумываюсь над тем, что увидел и пережил, мне хочется найти выход. Кажется, я был прав в молодости, когда думал, что свет изгоняет тьму, только в те далекие годы я принимал образование за воспитание, а знания за совесть. Выход, наверно, в гармоничном развитии человека, что требует много душевных сил, много разума, да и много времени; но если люди сейчас же не возьмутся за это, то они погибнут смертью, недостойной человека, — от превосходства ядерного оружия над хрупкостью немыслящего тростника, и погибнут они независимо от цвета кожи или от формы носа.

8

Мне казалось, что я потерял возможность изумления; перелетел океан, побывал в разных странах, встречался со знаменитыми, порой великими людьми, пережил три войны, революцию, тридцать седьмой, фашизм, Победу, и вот неожиданно 14 мая 1946 года я пережил изумление подростка, который впервые видит необычайное явление природы, — меня повезли в Принстон, и я оказался перед Альбертом Эйнштейном. Я провел у него всего несколько часов, но эти часы мне запомнились лучше, чем некоторые крупные события моей жизни, — можно забыть радости, напасти, а изумление не забудешь, оно врзается в память.

Конечно, я видел фотографии Эйнштейна, кто их не видел, но выглядел он иначе, может быть, потому, что снимки были давнишними, может быть, потому, что фотообъектив не глаз. Эйнштейну, когда я его увидел, было шестьдесят семь лет; очень длинные седые волосы старили его, придавали ему что-то от музыканта прошлого века или от отшельника. Был он без пиджака, в свитере, и вечная ручка была засунута за высокий воротник, прямо под подбородком. Записную книжку он вынимал из брючного кармана. Черты лица были острыми, резко обрисованными, а глаза изумительно молодыми, то печальными, то внимательными, сосредоточенными, и вдруг они начинали задорно смеяться, скажу, не страшась слова, — по-мальчишески. В первую минуту он показался мне глубоким стариком, но стоило ему заговорить, быстро спуститься в сад,

стоило его глазам весело поиздеваться, — как это первое впечатление исчезло. Он был молод той молодостью, которую не могут погасить годы, он сам ее выразил брошенной мимоходом фразой: «Живу и недоумеваю, все время хочу понять...»

В «Хулио Хуренито», написанном в 1921 году, я рассказывал, что читаю о теории относительности в популярном изложении. Во многих областях науки я чрезвычайно невежествен (к счастью, я это понимаю) — сказывается «незаконченное среднее». Популярное изложение я одолел, но даже в нем не все понял, о некоторых вещах, скорее, догадывался. По дороге из Нью-Йорка в Принстон я волновался: о чем я смогу говорить с великим ученым — я ведь неуч?.. О своих страхах я рассказал еврейскому литератору Брайнину, который повез меня в Принстон. Он ответил, что Эйнштейн человек простой, он меня пригласил потому, что интересуется Россией, угрозой новой мировой войны. Это меня не успокоило. Но стоило Эйнштейну заговорить, как страх исчез. Конечно, я отвечал на его вопросы, что-то рассказывал, но теперь мне кажется, что говорил только он, а я слушал, и если раскрывал рот, то от изумления.

Все меня изумляло — и его внешность, и биография, и мудрость, и задор, а больше всего то, что я сижу, пью кофе, а со мной разговаривает Эйнштейн.

(Как-то я сидел рядом с Жолио-Кюри на заседании Всемирного Совета Мира. Ораторы один за другим повторяли общеизвестные истины. А Жолио, наклонившись к моему уху, говорил о судьбе физиков. (Видно, какая-то фраза навела его на эти мысли.) «Физики похожи на поэтов, они делают открытия в молодости. Это как вдохновение. Ферми в тридцать три года создал теорию бета-распада. Розерфорд проявил свой гений в тридцать два года, де Бройль и Паули сделали важные открытия в тридцать один год, Дирак — в двадцать шесть. А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформулировал частную теорию относительности? Двадцать шесть!» Глаза Жолио лукаво заблестели, вдруг он насупил: «Нужно послушать, что он говорит...» А я записал слова Жолио на проекте очередной резолюции.)

Конечно, мое волнение, когда я ехал в Принстон, было связано с масштабом человека. Я вспомнил, как в 1934 году Ланжевэн мне говорил: «Эйнштейн перевернул все естественные науки. Физикам до него казалось, что все известно, а он

доказал, что есть другое познание. С него начинается современная физика, да и не только физика — новая наука...»

Он разбивал старые представления о кабинетном ученом, замкнутом в пределах своей специальности. Я знал, что он дружил с Роменом Ролланом, в 1915 году выступал против войны, знал о его борьбе против фашизма, и человек, которого я увидел, помог мне многое понять в нашей противоречивой эпохе.

(Много позднее я прочитал его «Автобиографические наброски», воспоминания его друзей и увидел, что мое изумление было естественным. Его жизнь напоминала бурную горную реку. Начну с паспорта: он был немецким подданным, потом швейцарским гражданином и, наконец, американским. Когда он сделал свое гениальное открытие, он числился «экспертом третьего ранга в бернском бюро патентов». Три года спустя, когда об открытии Эйнштейна говорили все передовые ученые мира, он читал лекции в Бернском университете, и на этих лекциях бывали всего два студента. Вскоре о нем начали говорить не только на ученых заседаниях, но и в трамваях. Он читал курсы лекций в Цюрихе, в Праге, в Берлине, в Лейдене, в Пасадене, в Принстоне; побывал во многих странах Европы; ездил в Индию, в Палестину, в Японию. С кем только не встречался он в жизни, не вел душевных бесед! Я не говорю об ученых,— естественно, что со многими из них его связывала дружба, но перечислю некоторые неожиданные встречи, о которых он писал или упоминал в разговоре: Ромен Роллан и лорд Бертран Рассел, Кафка и Чарли Чаплин, Рабиндранат Тагор и наркоминдел Чичерин, историк хасидизма Бубер и Бернард Шоу, бельгийский король Альберт и негритянская певица Андерсон, Рузвельт и Неру. Он терпеть не мог приемов, аллодисментов, фимиама, чрезвычайно редко выступал публично, обожал играть на скрипке, увлекался садоводством, отдавался парусному спорту (даже написал статью «Вопросы управления парусной яхтой»), и вместе с тем не было события, на которое он не реагировал бы страстно, самоотверженно. В годы первой мировой войны, узнав, что Ромен Роллан выступает против националистического ослепления, он поехал к нему в Швейцарию, выступил против мировой бойни. Он мужественно приветствовал Октябрьскую революцию, клеймил немецкий милитаризм. Фашизм нашел в нем непримиримого врага. Он не был националистом — ни немецким,

ни еврейским, ни американским. Собирая деньги на устройство еврейского университета в Палестине, он говорил: «Я видел, как в Германии высмеивали евреев, и мое сердце обливалось кровью. Я видел, как были мобилизованы школа, юмористические журналы, всяческие другие способы пропаганды, чтобы подавить в моих братьях евреях веру в себя...» Он сделал все, что мог, для Испании, отстаивавшей свое достоинство. Он участвовал во многих организациях, борющихся против угрозы новой мировой войны. Он вышел из культурного отдела Лиги наций, заявив, что она потворствует сильным и поощряет агрессоров. Он публично заявил в Америке, что он — сторонник социализма и друг Советского Союза. Он писал о дискриминации негров: «Это темное пятно на совести каждого американца». В годы второй мировой войны он помогал сбору средств для помощи Советскому Союзу. Он осудил атомное оружие, предал анафеме «холодную войну», настаивал на всеобщем разоружении и за месяц до смерти сидел над текстом обращения, которое должно было быть подписано им, Бертраном Расселом и Жолио-Кюри.

У него было много врагов. Некоторые ученые долго пытались отрицать его открытия, которые, как им казалось, подрывают их небольшую, заработанную всеми правдами и неправдами, репутацию. Его ненавидели немецкие фашисты: для них он был прежде всего евреем. Была образована организация «АнтиЭйнштейн», куда входили некоторые известные физики, нобелевские лауреаты. Эта организация занялась травлей Эйнштейна — срывали лекции, печатали псевдонаучные пасквилы, листовки. В 1922 году «королевские молодчики», узнав, что Эйнштейн приезжает в Париж, устроили враждебную демонстрацию. Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн был приговорен заочно к смертной казни, за его голову обещали крупное вознаграждение. В 1933 году мракобесы требовали, чтобы Эйнштейну запретили въезд в Соединенные Штаты. В 1945 году конгрессмен Ренкин в палате представителей предложил правительству «покарать агитатора, некоего Эйнштейна», осмелившегося выступать против режима Франко. Пять лет спустя тот же Ренкин говорил: «Старый шарлатан, некий Эйнштейн, который называет себя ученым, а в действительности является участником коммунистического лагеря...» Эйнштейном занялась знаменитая Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности.)

В записной книжке я нашел некоторые фразы Эйнштейна — записал сразу, вернувшись из Принстона в Нью-Йорк. Вот что он говорил об американцах: «Это дети, иногда милые, иногда распущенные. Нехорошо, когда дети начинают играть со спичками. Лучше бы играли с кубиками... Я не думаю, что средний американец читает меньше, чем европеец, но он читает другое и, главное, читает иначе. Я спросил одного студента, читал ли он такую-то книгу, он ответил: «Кажется, да, не помню. Но ведь эта книга вышла несколько лет назад, наверное, она устарела...» Такому интересно только новое... Здесь умеют быстро забывать. В годы войны у среднего американца при слове «Сталинград» был рефлекс — снять с руки часы и послать красноармейцу. Михоэлс и Фефер это видели. Теперь при том же слове у многих совсем другой рефлекс: показать русским, что у нас атомная бомба. Конечно, это результат газетной кампании... В Центральной Африке существовало небольшое племя — говорю «существовало» потому, что читал о нем давно. Люди этого племени давали детям имена Гора, Пальма, Заря, Ястреб. Когда человек умирал, его имя становилось запретным (табу), и приходилось подыскивать новые слова для горы или ястреба. Понятно, что у этого племени не было ни истории, ни традиций, ни легенд, следовательно, оно не могло развиваться — чуть ли не каждый год приходилось начинать все сначала. Многие американцы напоминают людей этого племени... Я прочитал в журнале «Нью-Йоркер» потрясающий репортаж о Хиросиме. Я заказал по телефону сто экземпляров журнала и роздал моим студентам. Один потом поблагодарил меня, в восторге сказал: «Бомба чудесная!..» Конечно, есть и другие. Но все это очень тяжело... Я выступал осенью. Кажется, скоро снова придется...»

Он еще вернулся в разговоре к бомбе: «Видите ли, самое опасное — рассчитывать на логику. Вы убеждены, что дважды два — четыре? Я нет... Несчастье, что умер Рузвельт,— он не допустил бы...»

(Опять-таки позднее я узнал о том, что называют «драмой Эйнштейна». За месяц до начала второй мировой войны некоторые друзья Эйнштейна, физики, сообщили ему, что в Германии работают над созданием атомной бомбы. Захватив Чехословакию, гитлеровцы располагают ураном. Друзья уговорили Эйнштейна написать об этом Рузвельту. В апреле 1945 года, когда стало ясно, что гитлеровцы не успели создать атомную

бомбу, узнав, что такая бомба уже имеется у американцев, Эйнштейн вторично написал Рузвельту — умолял не прибегать к ужасающему оружию. Рузвельт умер до того, как получил письмо. А новый президент Трумэн несколько месяцев спустя отдал приказ сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки.)

Я знал, что Эйнштейн интересуется изданием «Черной книги». Я привез некоторые опубликованные материалы, фотографии. Эйнштейн внимательно глядел, потом поднял глаза, я увидел в них скорбь, его губы чуть вздрагивали. Он сказал: «Не раз в моей жизни я говорил, что возможности познания безграничны и безгранично то, что мы должны узнать. Сейчас я думаю о том, что у низости и жестокости тоже нет границ...»

Он спросил, куда я собираюсь поехать. Я ответил, что полсезавтра уезжаю на Юг — хочу поглядеть, как живут негры. Он сказал: «Живут они ужасно. Постыдно! Действия правительства Южных штатов подпадают под некоторые пункты обвинительного акта Нюрнбергского процесса...» Через несколько минут, когда мы спустились в сад и нас там мучил фотограф, он рассказал, как давно одна молодая и красивая американка, защищая расовую дискриминацию, задала ему распространенный в Америке вопрос: «Что вы сказали бы, если бы ваш сын объявил вам, что женится на негритянке?» Я ей ответил: «Не знаю.захотел бы познакомиться с невестой. А вот если бы мой сын сказал, что собирается жениться на вас, я, наверно, лишился бы сна и аппетита.» (В его глазах загорелся задорный огонек.)

Он меня расспрашивал о Советском Союзе. Потом сказал: «Я верю, что вы быстро восстановите экономику. Я вообще верю в Россию. Скажите, вы часто встречаетесь со Сталиным?» Я ответил, что ни разу с ним не разговаривал. «Жалко — мне хотелось бы узнать о нем как о человеке. Один коммунист мне говорил, что я отстал — преувеличиваю роль личности. Конечно, я не марксист, но я знаю, что мир существует вне субъективных оценок личности. И все же личность играет крупнейшую роль... Я куда лучше представляю себе Ленина — читал о нем, видел людей, которые с ним встречались. Он вызывает к себе уважение — не только как политик, но и как человек с высокими моральными критериями...»

Еще записана одна фраза — не могу вспомнить, в каком месте разговора он это сказал: «На меня очень большое впе-

чатление произвели «Братья Карамазовы». Это одна из тех книг, которые разбивают механические представления о внутреннем мире человека, о границах добра и зла...»

Прощаясь, он сказал: «Главное теперь — не допустить атомную катастрофу... Хорошо, что вы приехали в Америку, пусть побольше русских приезжают, рассказывают... Человечество должно оказаться умнее, чем Эпиметей, который раскрыв ящик Пандоры, а закрыть его не смог... До свидания! Приезжайте снова...»

Десять дней спустя я услышал по радио знакомый голос: Эйнштейн говорил о смертельной опасности, нависшей над человечеством, — необходимо договориться с русскими, отказаться от атомного оружия, не вооружаться, а разоружаться — он хотел захлопнуть ящик Пандоры.

Я слушал и вспоминал маленький серый дом с зелеными ставнями, книги, рукописи, прожженные трубки, — все казалось заброшенным, как будто хозяин уже ушел из привычного уюта в мир, который безграничен. Вспоминал я старого человека с ручкой за воротником, со светящимися глазами, с космами белых волос, которые трепал весенний ветер.

9

Это было в Нью-Йорке в начале моего знакомства с Америкой. В полутемной мастерской я примерял брюки, когда меня вдруг ослепила вспышка лампочки. Фоторепортер бубнил, что хотел снять меня на улице, а примерку снял ради шутки, мне на память, конечно, эта фотография не будет опубликована; и, конечно же, на следующий день я ее увидел в одной из вечерних газет. Журналист сообщал, что Эренбург отказался от застёжки «молния», предпочитая ей традиционные пуговицы. Вместо того чтобы посмеяться, я рассердился и, встретив редактора несколько дней спустя, спросил его, почему он напечатал столь игривую фотографию, — я ведь не кинозвезда, а пожилой мужчина. «У нас существует интерес к человеку», — объяснил мне редактор. «Но почему к его нижней половине?..» Он удивленно посмотрел, потом захохотал: «Здорово! У нас чисто американский юмор. Завтра это пойдет в номер...»

Вначале меня удивлял характер многих американских газет; потом я привык и перестал обращать внимание. Беспokoило

меня другое — первые признаки того, что год спустя было окрещено «холодной войной».

Помню, в Ноксвилле, просматривая местную газету, я вдруг остолбенел: прочитал, что в псалме сто девятнадцатом говорится о Мосохе, где живут люди, ненавидящие мир, и что рок Иезекииль указывал, что в Мешехе люди поклоняются идолу Гогу, а Мосох и Мешех не что иное, как Москва. Конечно, Ноксвилл — небольшой провинциальный город, можно было бы посмеяться над глупостью и кликушеством. Но на следующий день я разговаривал с одним фермером, очень гостеприимным, и он сказал мне: «Вот беда — только отвоевали и снова придется воевать, теперь уж не с немцами, а с русскими...» Сказал он это без задора, даже без неприязни, скорее печально. Подобные рассуждения я слышал не раз, хотя еще продолжался Нюрнбергский процесс и в первую годовщину победы над Гитлером многие вспоминали, что русские были союзниками. Людей сбивали с толку сенсационные телеграммы. Вдруг газетчики выкрикивают: «Красные танки идут на Тегеран...» Опровержений никто не помнил, помнили страх. Я спрашивал людей, разбиравшихся в иностранной политике: почему они считают третью мировую войну неизбежной? Они не ссылались на Библию, а говорили: «Русские собираются захватить Персию... Россия в ближайшие месяцы нападет на Турцию... Москва претендует на Грецию... Красные грозят начать войну, если Тито не получит Триеста...»

Мы пробыли в Америке два с половиной месяца, и за этот короткий срок многое изменилось: газеты все чаще выказывали неприязнь, люди, с которыми мы встречались, стали настороженнее. Конечно, это было самое начало «холодной войны». Еще можно было надеяться, что вчерашние союзники договорятся. Я встречался с политическими деятелями, пытавшимися отстоять линию Рузвельта, — с бывшим вице-президентом Уоллесом, с бывшим послом Дэвисом, с парламентариями Пеппером, Коффэ, Томасом. Они выступали вместе с нами на больших митингах или на встречах. В Мэдисон-сквер пришли двадцать тысяч американцев; выступали и посол Громыко, и мы трое, и Дэвис. Я видел в масляной полутьме огромного зала дружеские улыбки.

Все же настроение рядовых американцев менялось на глазах. Меня поразила фантазия журналистов из газет, принадлежавших Херсту: они писали небылицы о нас, хотя мы были

рядом. Многие газеты уверяли, что я путешествую под наблюдением сопровождающего меня агента ГПУ, и милейший Билл Бенедиктович смеялся, когда я представлял его: «Тайный агент красной полиции, сотрудник Государственного департамента мистер Нельсон». Я приехал с Симоновым в Бостон, ехали мы ночь, на вокзале нас встретил член Совета американо-советской дружбы. Накинулись репортеры; мы отвечали; наконец член Совета сказал: «Дайте им позавтракать, передохнуть»... Вечерняя газета вышла с крупным заголовком: «Русский консул запретил советским писателям разговаривать с представителями прессы». Я спросил редактора, почему он печатает в своей газете бессмыслицу — ведь в Бостоне нет советского консула. Он ответил, что произошло недоразумение: говорили «каунсел» (совет), а репортеру послышалось «кенсел» (консул). Может быть, так и было на самом деле, а может быть, и не так: я не раз замечал, что, когда в дело замешана политика, недоразумения объясняются разумением и бессмыслицы полны смысла.

Херстовские газеты меня называли «замаскированным агитатором», «товарищем циником», «Ильей из Коминтерна». Это звучало почти академично. (Два года спустя те же газеты, говоря обо мне, прибегали к более ярким определениям, помню хорошо два из них: «кремлевский недоносок» и «наемный микроцефал».)

Один из друзей Рузвельта объяснил мне новую политику Америки: «Трумэн отнюдь не думает о войне. Он считает, что коммунизм угрожает некоторым странам Западной Европы и может восторжествовать, если Советский Союз экономически встанет на ноги, шагнет вперед. Непримируемая политика Соединенных Штатов, испытания атомных бомб заставят Россию тратить все силы и все средства на модернизацию вооружения. Сторонники «твердого» курса говорят об угрозе советских танков, а в действительности они объявили войну советским кастрюлям».

Два месяца спустя после этой беседы Трумэн предложил министру торговли Уоллесу, защищавшему идею соглашения с Советским Союзом, выйти в отставку.

В Соединенных Штатах официальные лица были с нами вежливы, мы свободно разъезжали по стране, выступали на собраниях, и обижали нас только некоторые журналисты, старавшиеся обогнать время. Мы увидели самое начало первого

действия. В Канаде нам показали сцену из следующего акта. Мы хотели съездить в Мексику и на Кубу — нас туда приглашали, но из Москвы пришла телеграмма: нам советовали принять приглашение Канадско-Советского общества дружбы — выступить в Торонто и Монреале; пришлось согласиться.

Еще в Нью-Йорке ко мне пришел канадский дипломат и предложил после Монреаля посетить Оттаву, где мы будем гостями канадского правительства. Улыбаясь, как и подобает дипломату, он сказал, что в Оттаве мы сможем отдохнуть: гости правительства должны воздерживаться от публичных выступлений.

Переехав границу, мы сразу поняли, какой именно отдых нам предстоит. Как раз в те дни происходил суд над канадцами, которых обвиняли в выдаче военных тайн Советскому Союзу. Главным свидетелем обвинения был бывший сотрудник посольства Гузенко — его соблазнили деньгами, перспективой комфортабельной жизни. На процессе он был звездой, носил панцирь под пиджаком, газеты восхищались его отвагой. Поскольку шпионажем занимаются все государства, большие и малые, обычно такого рода дела разбираются без излишнего шума, газеты сообщают, что задержанные лица «работали в пользу одной иностранной державы». На этот раз канадское правительство (вряд ли по своей воле) подняло ожесточенную кампанию против Советского Союза. Газеты ежедневно писали о «красной опасности». В Оттаве вокруг посольства толпились штатные единицы или добровольцы, поносившие Москву. Атмосфера, таким образом, была не совсем подходящей для мирного знакомства со страной.

Помню первый вечер в Торонто. Нас пригласил на ужин владелец крупной газеты, сказал, что хочет побеседовать, как укрепить культурные связи, установить взаимопонимание. В тот же вечер должен был состояться ужин «Комитета помощи России в войне», и мне пришлось на него пойти. Владельцу газеты я сказал, что после ужина приеду на часок. Ужин прошел нормально — с деревянным молотком председателя, с благородными речами, с чеками и с аплодисментами. Я уже знал программу и старательно исполнял порученную мне роль. Владелец газеты жил за городом в доме, окруженном прекрасным садом. Войдя в столовую, я сразу почувствовал что-то неладное. Галактионов сидел неподвижно, поджав губы, а Симонов делал вид, будто рассматривает гравюры на

стенах. Мое появление, видимо, прервало разговор. Принесли кофе, я не успел взять чашку, как хозяин, повернувшись к Михаилу Романовичу, сказал: «Таким образом, вы должны понять, что канадцы не без основания видят в каждом советском посетителе разведчика...» Я встал, сказал, что устал, хочу спать. Хозяин понял, что хватил через край, и начал говорить, что любит Россию, рад нашему приезду. Мы постояли минут десять и ушли.

Начались пресс-конференции. Напрасно канадцы из Общества дружбы пытались унять журналистов. Напрасно мы говорили о жизни и культуре советского народа. Нам задавали вопросы о шпионаже, о военных приготовлениях Кремля, о предстоящей войне. На первой пресс-конференции я сказал: «Мне нравятся страна, народ, но меня удивляют две вещи. Почему у вас журналисты только и говорят что о новой войне? Неужели вас не интересует, как мы живем, как воевали, как восстанавливаем разрушенные города? И второй вопрос: по конституции Канада—двуязычная страна, а на границе не понимают, когда говоришь по-французски, на почте тоже, да и среди журналистов—я вижу по лицам—большинство меня не понимает».

Мои слова были медом для французской печати Монреаля и Квебека. Газеты, выходящие на французском языке, крупным шрифтом оповестили своих читателей: «Эренбург считает, что в Канаде слишком много говорят о войне и слишком мало говорят по-французски». Это предопределило относительно благожелательное отношение к нам французских газет, в своем большинстве крайне правых.

В первые дни мы не отвечали на вопросы, связанные с процессом. Некоторые газеты обвинили нас в трусости. Когда на ужине прессы Канадского легиона в десятый раз поставили тот же вопрос, я счел невозможным отмалчиваться. У меня сохранился номер «Ля патри», где напечатан мой ответ: «Советское правительство заявило, что оно думает по этому поводу. Я вам скажу, что думаю об этом я—один из советских граждан. В деле есть юридическая сторона, ее я не собираюсь касаться. Есть в нем и политическая сторона. Я видел канадские войска в годы первой мировой войны. Они находились на одном из самых опасных секторов фронта. Это было почетным местом. То же самое можно сказать о месте канадцев во второй мировой войне—на Шельде. Мне кажется, что в словесной

войне, объявленной Советскому Союзу, канадцев снова поставили на самое опасное место, но вряд ли его можно назвать почетным. Я не понимаю, почему Канада должна быть зачинщицей? Думаю, что нам лучше договориться и дружить».

Разумеется, газеты заговорили о моем вмешательстве во внутренние дела Канады. В Монреале власти нас предупредили, что лучше отменить митинг — готовятся беспорядки. М. Р. Галактионов по состоянию своего здоровья переживал происходящее особенно мучительно. Митинг все же не отменили. Я выступал по-французски, а в этом городе говорить без переводчика означало сразу подкупить собравшихся.

Я хотел поехать на один день в Квебек — посмотреть старый французский город, но представитель правительства мне сказал: «В Квебеке нет ни одной свободной комнаты, где вы могли бы переночевать»...

Самым неприятным было наше пребывание в Оттаве. Нас окружали чиновники среднего калибра. День мы провели в нашем посольстве, там немного отдохнули, да и развеселили сотрудников, которые сидели, как в бесте.

В последний день нас неожиданно пригласил к себе премьер. Мы решили, что к нему пойдут Галактионов и Симонов и скажут, что я прошу прощения — устал, плохо себя чувствую: меня ведь атаковали больше других. Премьер понял, что моя болезнь дипломатическая, и пытался снять с себя вину. Когда мы сели в самолет, я улыбался: слава богу, кончилось!.. В Олбани самолет приземлился. Нас долго держали на поле, потом сказали, что погода нелетная, пассажирам заказаны билеты в поезде.

В Олбани мы провели несколько часов — без программы, без журналистов, без друзей. Это был обыкновенный провинциальный город Соединенных Штатов. По улице ходили молодые люди в новеньких костюмах и ярких галстуках. В барах на высоких табуретах сидели крикливые и в то же время молчаливые люди — они не разговаривали друг с другом, а время от времени издавали резкие, скрипучие звуки — то заказывали «бурбон-сода», то ругались, то, осклабясь, восклицали «иесс». В витринах магазинов красотики из пластмассы, залитые синим зловещим светом, напоминали о дешевизне летних платьев и о доступности десятиминутного счастья. Мы сидели в баре, бродили по улицам, приходили на вокзал и снова уходили: ждали поезда.

Я запомнил этот вечер в Олбани потому, что там я неожиданно разговорился с одним из посетителей бара. На вид ему было под пятьдесят; его медно-красное лицо сверкало от пота — вечер был жарким. Он прожил два года в Брюсселе и говорил по-французски. Он рассказал мне свою биографию: его отец был мелким плантатором в штате Небраска, он знал в детстве не нужду, но бедность. Отец поставил его на ноги — послал в коммерческое училище. Потом он начал работать в фирме санитарных приборов, придумал новый способ рекламы, получил премиальные, бросил службу, уехал в Сан-Франциско, открыл крохотную колбасную, быстро разбогател — попался прекрасный мастер-венгр, убежавший из тюрьмы. Салами ему вскоре надоела, он перешел на страховку. Получил место в Бельгии, но европейская жизнь ему не понравилась. Он вернулся на родину и начал издавать в Канзасе финансовый листок. Его считали человеком энергичным, он шел в гору, женился. Вдруг разразился кризис, он обнищал, торговал в киоске горячими сосисками, подумывал о самоубийстве, особенно после того, как жена спуталась с начальником полиции. Но, в общем, все приходит и уходит, кризис кончился, он приободрился, нашел компаньона и открыл в Кливленде бюро частного розыска, увлекся политикой — участвовал в предвыборной кампании, правда неудачно: агитировал за республиканцев, а прошел снова Рузвельт. Он вторично женился — на вдове, получил в придачу пасынка-шалопая, но и сбережения, купил небольшой завод, там делали сейфы, и вдруг — Пирл-Харбор, завод начал работать на военное ведомство, расширился. Тут произошла крупная неприятность — забраковали поставки, газеты, подкупленные конкурентом, требовали суда, пришлось потратить уйму денег на дорогих адвокатов, все пировали, а он снова шел ко дну. Но жена вытащила сбережения, завод продали, он переехал в Олбани и занялся рекламами. Теперь дела идут хорошо, в его бюро одиннадцать служащих. Пасынок исправился, у него оказались способности — он изобрел машину для световых реклам, которые сообщают также биржевые курсы, политические новости, получил монополию на рекламы Гейнца, сигарет «кэмел», трех банков. Теперь ему предлагают стать во главе парижского отделения большой фирмы, а в бюро останется пасынок...

Я спросил, не устал ли он от такой беспокойной жизни. Он презрительно усмехнулся: «Я не бельгиец, не француз и

не русский, я настоящий американец. В мае мне исполнилось пятьдесят четыре года, для мужчины это прекрасный возраст. У меня голова набита идеями. Я еще могу взобраться на вершину». Потом он начал философствовать: «Я ничего не имею против русских. Они здорово воевали. Наверно, они хорошие бизнесмены. Но я читал в «Таймсе», что у вас нет частной инициативы, нет конкуренции, выйти в люди могут только политики и конструкторы, а остальные работают, получают жалованье. Это неслыханно скучно! Да если бы во время великой депрессии (так он называл кризис конца двадцатых годов) мне сказали: дадим тебе приличное жалованье, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию, — я покончил бы с собой. Вы этого не понимаете? Конечно! Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на черный день и вырождаются: там каждый молодой человек — духовный импотент...»

Подошел Симонов, сказал, что пора на вокзал.

В пульмановском вагоне было темно — все спали за занавесками. Я прошел в помещение возле уборной — там можно было курить, читать, пить содовую воду. Там я записал рассказ случайного собеседника.

Неделю спустя в Бостоне мы сели на французский теплоход «Иль-де-Франс». До войны он считался роскошным, но потом служил для перевозки американских частей в Европу. Солдаты повсюду солдаты, и они привели нарядные залы, каюты в состояние, соответствовавшее их душевному разору.

В Бостоне была забастовка портовых рабочих. Багаж грузили «желтые», а багажа было много: Европа возвращалась в Европу. Кого только не было на «Иль-де-Франс»! Жюль Робен (которого ждали звание академика, или, как говорят французы, «бессмертного», мундир, шпага) и румынская коммунистка, просидевшая в бухарестской тюрьме шесть лет, бельгиец, фабрикант сигар и чешский профессор. Ехали все в разоренную, голодную Европу, везли меховые манто и запасы кофе, стиральные машины и консервы. На палубе днем доносились обрывки фраз. Итальянский студент, горячась, кричал, что пора покончить с «проклятыми клерикалами». Старая аристократка из Пуатье вздыхала: «Зять написал, что во Франции пахнет революцией. Он считает, что Бидо — честнейший человек, но тряпка, допустил, что Торез теперь во дворце Матиньон. А партизаны припрятали оружие... Конечно, в Аме-

рике спокойнее, но я хочу умереть у себя дома...» Молодые спорили о книгах Сартра, о том, будет ли во Франции коммунизм, и о том, нужно ли восстанавливать разрушенные города такими, какими они были, или строить заново. Все были охвачены волнением перед встречей с родными, друзьями, с оставленной на несколько лет родиной. Не знаю, как выглядели пароходы, увозившие в Америку эмигрантов, но «Иль-де-Франс» увозил людей, не осевших в богатой и сытой Америке.

Люди волновались, а океан был спокойным. По ночам я часто сидел на верхней палубе — то записывал американские впечатления, то забирался в темноту и любовался водным простором. Я записал в одну из ночей мои мысли о путешествии и в записи вернулся к меднолицему американцу, которого встретил в Олбани: «В ранней молодости, когда я вошел в гимназическую организацию, я думал обо всем по брошюрам «Донской речи». Там было ясно сказано, что социализм прежде всего восторжествует в странах с концентрацией капитала, с передовой индустрией. Получилось наоборот: в горах Черногории люди кричат: «Белград — Москва!» — а в Америке капитализм переживает если не молодость, то «прекрасный возраст для мужчины», как говорил тот в Олбани. Он не случайный искатель приключений, а человек авантюристического мира. Все, что он ценит, для него не кончается, а начинается. С Америкой нужно договориться — революции там в ближайшие десятилетия не будет. Остановка за американцами. Они, в общем, мирные люди, но уж очень азартные...»

Я думал о том, что слышал в Канаде, думал с ужасом: тоже получилось не по программе — послевоенные годы начинают оборачиваться в предвоенные. Я хочу дописать роман о той буре, что улеглась. А люди, с которыми я спорил в Канаде, успели распрощаться с недавним прошлым — для них буря только-только начинается, ветер кружит столбы пыли...

Океан ворочался, как человек, которому снятся беспокойные сны, но для океана это было легким волнением. Конечно, шлюпку швыряло бы, а в баре «Иль-де-Франса» чуть позванивали стаканы. Ночи были по-июльски теплыми, с мотовством раскиданных на небе звезд. О чем я думал? Не помню... Наверное, о том, о чем думают все люди, оторванные на неделю от житейской лихорадки, среди воды, под звездами, — о прожитой жизни, о ненаписанных книгах, о том, что пора подводить итоги...

Помню только, что в одну из ночей ко мне подошел Галактионов. Он пожаловался на бессонницу, потом сказал, что наверху хорошо — морской воздух, звезды, и вдруг начал декламировать: «...И звезда с звездой говорит...» Он ушел, а я спустился в каюту. Мне хотелось писать стихи, но вместо этого я записал: «Мы в жизни разговаривали друг с другом очень редко, наверно, куда реже, чем звезда со звездой»...

10

Стоит мне вспомнить поездку в Америку, как я начинаю думать о судьбе Михаила Романовича Галактионова. В «Красной звезде» почти каждый вечер я встречал этого скромного, старомодно учтивого человека; мы здоровались, иногда обменивались несколькими словами, и, конечно, я не знал, что он за человек. Во время нашей поездки в Америку я порой подолгу с ним беседовал, кое-что узнал о нем и все же долго не понимал главного. Я часто упрекаю себя за невнимательность к людям, иногда мне кажется, что это не мой порок, а нравы века: мы удивительно мало знаем соседей, сослуживцев, даже приятелей, говорим о событиях короткого дня или спорим почти отвлеченно, а о том, что нас действительно волнует, молчим — старательно прячем свое и столь же старательно боимся случайно напасть на припрятанное чужое.

Американские журналисты, увидев впервые Галактионова, называли его «старым солдатом» — обманывали седые волосы, усталые глаза под очками в темной оправе, звезда на погонах. До нашей поездки я тоже думал, что Михаил Романович старше меня, а ему, когда мы были в Америке, не было и пятидесяти. Генеральская форма придавала ему некоторую сухость, казалось, что он весь накрахмален — и щеки, и слова, и мысли. А это было неправдой. О чем только мы не беседовали, оставаясь вдвоем, когда он еще мог спокойно разговаривать, — о мастерстве Чехова и о страшной судьбе наших солдат, попавших в плен, о старых постановках в Киевском театре Соловцова и об опасности механизации человека. Когда-то Галактионов учился на филологическом факультете, потом стал прапорщиком, как тогда пренебрежительно говорили, «прапором» или «фендриком». Хотя Галактионов в 1918 году пошел добровольцем в Красную Армию и почти всю свою жизнь про-

служил в ней, при разговоре я чувствовал старую интеллигентскую закваску.

В начале нашей поездки я не только ничего не знал о душевном состоянии Михаила Романовича, я и не понимал его поступков. Меня удивляло, как болезненно он реагирует на бесцеремонные вопросы журналистов, на издевательскую шутку одного из «колумнистов», на любую мелочь, которой Симонов или я даже не замечали. Потом я начал кое-что понимать, а узнал все слишком поздно.

В первый месяц нашей американской жизни я как-то зашел в номер Галактионова. Он сидел сгорбившись у стола, мне показалось, что он нездоров. Он ответил: «Все в порядке», — и поглядел на меня глазами затравленного зверя. Я сказал, что нам нужно ехать на обед Юнайтед Пресс. Он встал, причесал волосы, даже улыбнулся и вдруг тихо выговорил: «Каждый день встречаться с иностранцами... Это пытка!..»

Он честно выполнял порученную ему работу: выступал на собраниях, казался приветливым, общительным. Хотя «холодная война» усиливалась, журналисты вели себя куда почти-тельнее с генералом, чем с писателями. Однако Михаил Романович нервничал. Однажды крупный военный комментатор на приеме сказал ему: «Я слышал, что у вас готовится история войны. Мы теперь заняты тем же, стараемся разобраться в наших неудачах — на Тихом океане, в Африке, в Италии. Скажите, ваши военные историки могут проанализировать неудачные операции, например, Керченскую?» Галактионов ответил, что в первый год войны у немцев было преобладание в технике. Тогда американец, усмехаясь, сказал: «Разумеется, поскольку Красной Армией командовал генералиссимус Сталин, стратегические ошибки были исключены».

В Нью-Йорке я и Симонов весь день бродили по городу, а Михаил Романович не выходил из своего номера. Когда не было официальных обедов, он и ел у себя в комнате. Сотрудник торгпредства приносил ему из библиотеки книги. Было жарко, генерал раздевался, садился в кресло и читал Чехова, Тургенева, Лескова. Как-то я застал его за чтением Чехова. «Удивительный писатель, — сказал он, — кажется, десятый раз перечитываю и восхищаюсь. Он просвечивал насквозь человека. Вчера после того, как мы вернулись с проклятого ужина, я читал «Палату № 6». Чуть ли не наизусть знаю, но, когда дохожу до сцены, как Никита выдает доктору шутовской халат,

не могу дальше читать... Бывают модные писатели. Когда-то я зачитывался Леонидом Андреевым. А здесь принесли мне его рассказы, не могу читать — смешно, устарело. А вот до вашего прихода я читал «Человека в футляре»... Меня точность поражает — ни одного слова не прибавишь и не убавишь. Вот вы послушайте: «Постное есть вредно, а скоромное нельзя...» Или еще вот это место: «Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не смея открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться...» В дверь постучали, Михаил Романович поспешно захлопнул книгу.

На моей совести грех, — сам того не подозревая, я способствовал развитию болезни Михаила Романовича. Начиналось нестерпимо знойное нью-йоркское лето, а он ходил в военной форме и страдал от жары. Притом он привлекал к себе внимание: стоило ему выйти на улицу — как на него все глазели. Я уговорил его купить летний костюм. Он ожил, сказал, что вышел под вечер погулять, и никто на него не смотрел, даже рассмеялся: «Наверно, я похож на обыкновенного пожилого бизнесмена...» А на следующий день я нашел его в ужасном состоянии, перед ним лежала газета, и он еле вымолвил: «Можете прочитать. Вот к чему привели ваши советы!..» Нужно сказать, что «колумнисты» усиленно нами занимались: один написал, сколько долларов потратил Симонов на ужин с актрисой, другой рассказывал, что я купил ящик дорогих гаванских сигар. И вот один из «колумнистов» написал: «Зацвели сады, запели птички, и грозный генерал Галактионов сменил свое оперение. Мы видали, как вчера он выпорхнул в светло-сером костюме и направился... Мы не скажем куда». Михаил Романович был подавлен: «Вы понимаете, что это значит? А я только дошел до угла и вернулся. Да что тут говорить!..» Я все еще не понимал и наивно сказал, что жена Михаила Романовича — умная женщина, если даже газета дойдет до нее, она рассмеется. Он крикнул: «При чем тут жена?.. Я вам говорю: что там скажут?» Он показал на потолок. Я пытался его успокоить: мало ли писали вздора обо мне, Симонове, у нас знают стиль бульварных газет. Но он не успокоился: «Вам все сойдет — вы писатели. А я человек военный...» И вдруг не удержался: «Я слишком много пережил...» Сказал и быстро схватился, заговорил о другом. Потом он мне рассказывал о

своей молодости, о боях возле Самары, у Кронштадта, о встречах с Фрунзе, но никогда не возвращался к мрачным воспоминаниям.

Теперь много пишут и еще больше говорят о жертвах «культы личности», вспоминают расстрелянных, погибших в лагерях. Михаил Романович никогда не был арестован; он только ждал ареста. Семена Гудзенко спасли после тяжелого ранения, а умер он десять лет спустя от давней контузии. Михаил Романович был контужен ударной волной «ежовщины». Только недавно я узнал, что скрывалось за случайно вырвавшимися словами «я слишком много пережил». Послужной список Галактионова похож на множество других. В партию он вступил в 1917 году, ему тогда было двадцать лет, пошел на фронт, остался в армии, подымался вверх, кончил военную академию, работал в оборонной группе Совнаркома. Разразилась гроза: арестовали его сослуживцев. Дивизионного комиссара Галактионова обвинили в том, что он был связан с «вредителями». В его шкафу нашли книги «врагов народа». Партийное собрание единогласно постановило исключить его из партии. Он лишился военного звания, работы. Ему повезло: полгода спустя его восстановили в партии, потом взяли на работу в «Красную звезду». А в 1943 году кто-то наверху вспомнил, что был такой скромный и старательный человек, и Галактионову присвоили звание генерал-майора, ввели в редакционную коллегию «Красной звезды», потом перевели в «Правду», послали в Америку. Все стало на свое место. Только человек был контужен: он помнил, как на собрании его называли «трусом», «подхалимом», «лицемером», как ночью он прислушивался к шуму на лестнице.

Поездка в Америку ускорила развязку. Михаил Романович был меньше всего подготовлен к трудным и сложным разговорам с американскими журналистами, за внешней вежливостью которых чувствовал неприязнь. Особенно мучительными были дни в Канаде. Я рассказал об обстановке. Я удивлялся, как спокойно держался при чужих Галактионов. Его травили, а он помнил, что не следует подливать масла в огонь, отвечал с достоинством, но, как всегда, учтиво, доброжелательно. На пароходе я сказал Симонову, что Михаил Романович душевно болен.

Он пробыл, кажется, неделю в Париже, повеселел, ходил в книжные магазины; как-то мы просидели с ним часок в Люк-

сембургском саду возле памятника Верлену. Он говорил о священных камнях Европы, о Герцене, о парижских рабочих. Я подумал: пройдет, человек жив...

В 1947 году в «Правде» я встретил Михаила Романовича. Он плохо выглядел, был очень мрачен. Я хотел его развеселить, вспомнил, как в вашингтонской гостинице мы врывались в чужие номера — не знали, что цифры те же, но есть «W» и «E» — «запад» и «восток», это походило на водевиль. Но он не улыбнулся. 5 апреля 1948 года Михаил Романович Галактионов кончил жизнь самоубийством.

11

Я остановился в гостинице на левом берегу Сены, около бульвара Сен-Жермен; мне отвели мансардную комнату с балконом, откуда был виден Париж — черепица, трубы, старые дома, сбившиеся, как овцы, в смутное, серое стадо. Порой в сумерки я любовался знакомой мне картиной, порой ее не замечал.

Мне сказали, что Дениз приехала на несколько дней из Аннеси, где жила с сыном. Мы пошли в кафе «Фрегат» на берегу Сены, там мы иногда встречались пятнадцать лет назад. Она рассказывала про годы оккупации. Глаза ее по-прежнему казались лунатическими. Я спросил, не рассердилась ли она, что актриса Жаннет из «Падения Парижа» напоминает ее. Она ответила: «Мне об этом говорили. Я не стала читать...» В чернильной Сене бились красные и зеленые круги.

Арагон и Эльза Юрьевна позвали Симонова и меня на «Чердак» — так называлось помещение Комитета писателей. Еще жила память о годах оккупации, спайка военного времени. Я увидел много старых знакомых — Элжара, Вильдрака, Кассу, Кокто, Авелина, Мартен-Шоффье, Полана, Сартра. Молодые, с которыми я встречался, обязательно заговаривали о Сартре, — видимо, он выражал беспокойство тех лет. Париж и вправду изменился: мало кто из писателей говорил о реализме, сюрреализме, персонализме — рассказывали о Сопротивлении, о книгах, выходявших в подполье, о неразберихе — искали, где свои, вероятно, многие в громких и противоречивых событиях искали себя.

Здесь мне хочется сказать хотя бы коротко об Арагоне. Познакомился я с ним в 1928 году, когда он был молодым,

красивым сюрреалистом. На Монпарнасе много говорили и о его прекрасной книге «Парижский крестьянин», и о различных шумливых демонстрациях: задором сюрреалисты напоминали наших футуристов, Арагон был одним из самых боевых. Потом он стал сторонником реализма, коммунистом, создавал различные организации, редактировал журналы, газеты. Мы продолжали с ним встречаться и порой отчаянно спорили. В 1957 году Арагон возмутился нападением на меня одного критика в «Литературной газете» (это было после моего очерка о Стендале) и выступил в «Леттр франсез» с ответом. В статье он, между прочим, писал: «Я привык, и уже говорил об этом, спорить с Ильей Эренбургом в течение тридцати лет. Мы расходимся во всем, кроме самого существенного — мира и социализма, войны и фашизма...» Может быть, я заговорил об Арагоне именно в этой главе потому, что в 1946 году «самое существенное» поглощало всех и мы с ним даже мало спорили. А в общем, Арагон прав: порой мне бывало с ним трудно, но ни разу наши споры не переходили в размолвку.

Не стану говорить о том, что всем известно: это большой поэт и большой прозаик; одни его книги мне близки, другие нет, но я сейчас не об этом хочу сказать. Он человек очень сложный, он часто меняет свои оценки, но справедливо сердится, когда пробуют противопоставить один его период другому, — он всегда оставался Арагоном. В нем есть одержимость, даже когда он пишет классическим стихом или посвящает страницы романа описанию одежды героя. Выбрав линию жизни, с начала тридцатых годов он защищал от врагов и то, что называл «самым существенным», и то, с чем по-человечески не мог примириться, защищал искренне и неистово. К «самому существенному» нужно добавить любовь к Франции: она органична и всепоглощающа — она продиктовала и его стихи в годы Соппротивления, и роман «Страстная неделя». Мне кажется, что он преемник Гюго, только нет у него ни внуков, ни уютной бороды, ни некоторых идиллических картин, которыми утешался Олимпо, а близок ему Арагон блистательностью, красноречием, неугомонностью, ясностью, гневом, романтикой реальности и реализмом романтического. Конечно, у Арагона куда больше горечи — на дворе другое столетие...

Помню, как я пришел к нему в начале 1963 года. Он спрашивал меня о том, что тогда волновало людей, связанных

со стихией искусства. Потом мы замолкли. Я глядел на него и видел молодого сюрреалиста в баре «Куполь». Вот только волосы побелели... Он принес рукопись своей новой книги и прочитал мне испуганное стихотворение о трагедии мавра, который говорит о своей вере, о том, как много горя причинил ему Коран.

А в 1946 году Арагон был веселым — еще свежей была победа.

Приехала из Москвы Люба. Фотинский повел нас на Монпарнас. В кафе сидели незнакомые люди. Потом пришла Дуся, она, как когда-то, смеялась, но рассказывала грустное — как пряталась при оккупации, как исчезали люди. Вишников отправили в Освенцим. Замучили художника Федерера. Когда Сутин заболел, хотели вызвать врача, но он испугался, что врач выдаст его немцам, и умер без медицинской помощи.

Андре Шамсон позвал нас к себе, он был директором музея Пти Пале. Мы ходили по пустым залам — музей был закрыт, и я долго стоял перед холстом Ватто; снова думал о непонятной силе искусства. Когда Ватто было двадцать лет, он считался художником жанра, писал бедствия войны в манере фламандцев; пять лет спустя он нашел себя — вот паяц, в котором все горе художника, да и трагедия внешне легкомысленного века, профессионал-комик, забывший про свое амплуа...

Мы пошли к Марке. Он, как всегда, застенчиво улыбался, молча показывал пейзажи. Мы спорили о том, что будет с Францией; он молча глядел, может быть, на реку, а может быть, пытался разглядеть будущее.

Окна квартиры Пьера Кота тоже выходили на Сену. Вода никогда не надоедает, она течет, меняется, и, глядя на нее, можно говорить обо всем — о поэзии, о Бидо, о времени и о минуте. Пьер Кот объяснял мне, что правительственная коалиция недолговечна; предстоит междоусобица, неизвестно кто победит — Франция разорена, а деньги у Америки...

Нас позвал к себе Эффель, печально дурачился, показывал новые карикатуры.

Ланжевен плохо выглядел, постарел, его чудесные глаза стали еще умнее, еще печальнее. (Я не знал, что ему осталось жить всего несколько месяцев.) Он сказал мне: «Все было бесчеловечно, но, может быть, самое бесчеловечное впереди»...

Из Монбара приехала Шанталь. Мы попробовали вспомнить далекую молодость и сразу осеклись; говорили о холстах Боннара, о Лондоне, о мирной конференции (в Люксембургском дворце, где до войны заседали почтенные сенаторы, я увидел Вышинского — шли споры о мирном договоре с Италией). Шанталь меня спрашивала, как пишут советские художники, а я говорил про Касторное.

На набережной, как и полвека назад, на складных стульчиках сидели дряхлые букинисты. Только Вольтер исчез: немцы соблазнились — не усмешкой, а бронзой.

Я был с близкими мне людьми, с близкими и бесконечно далекими. Я знал нечто, о чем не мог им сказать, да и они пережили за шесть лет много такого, о чем не расскажешь ни за час, ни за месяц. Все меня спрашивали, изменился ли Париж, я отвечал «нет» — город тот же, но я теперь чувствовал себя чужим, прохожим, который хочет подглядеть в окно чужую жизнь. Я не мог, как прежде, принимать к сердцу то, что моим друзьям казалось близким и важным.

«Париж очень изменился,— сказал я Дениз и тотчас поправился: — Наверно, изменился я...»

Конечно, во Франции мне было куда легче, чем в Америке: французы понимали, что такое война. (В Нью-Йорке одна дама мне сказала, что американцы в годы войны тоже терпели лишения, она, например, с трудом достала белую рубашку для мужа, повсюду были только кремовые или голубые.) Во Франции было трудно с обувью; на улицах еще раздавалась чечетка деревянных подошв; в одном бретонском городе я видел, как, когда пошел дождь, девушки разулись, а туфли спрятали под плащи. Парижские модницы ходили без чулок и передвигались на велосипедах с большими авоськами, перекинутыми через плечо. В витринах дорогих магазинов были выставлены клипсы из керамики, платочки, расписанные изголодавшимися художниками, безделки из бумаги, глины, стекла. В винодельческих районах, где до войны кабатчик ополаскивал стакан вином, чтобы не идти к крану, рабочие за обедом пили воду. В фешенебельном курорте Ла-Боль развлекались богатые парижанки, американские военные, и тут же ютились жители разрушенного Сен-Назера. В Туре, пострадавшем от бомбежек, я увидел ряды унылых бараков. Говорили о том, что нет масла, нет мяса, скоро зима, а об угле нечего мечтать. Все было понятно, знакомо.

Те, что разбогатели за годы оккупации, успели отдышаться, нашли влиятельных защитников, пили аперитивы на Елисейских полях, загорали на пляжах. В Анже владелец ликерного завода мосье Куантро, показывая мне различные цеха, говорил: «Немцы очень ценили наши изделия»... Я часто слышал от богатых виноделов Анжу и Турени: «1942-й был замечательным!..» Они говорили о достоинствах вин — один год не похож на другой. Но я вспоминал Ржев, сожженную Старицу, голодных солдаток... Один критик мне рассказывал, что на премьерах немецкие офицеры восхищались остроумием Кокто, Жироду, Салакру. В доме Анатоля Франса я увидел на стене размашистую подпись: «Здесь побывал солдат Клотцке».

Всего год прошел после окончания войны, а многие о прошлом не думали. Газеты писали о различных аферах то с вином, то с карточками на текстиль. Министром продовольствия назначили Ива Фаржа. Я его встретил 14 июля во время демонстрации, он сказал: «Я тоже был в Америке. Присутствовал при испытании бомбы в Бикини, там мне сообщили о назначении. Я не мог отказаться. Бикини — это грязная история. Я попробую что-то сделать. Но и здесь много грязи, слишком много...» Фарж объявил войну крупным мародерам, богатым на вине, мясе, хлебе. На своем посту он продержался всего четыре месяца — короли «черного рынка» оказались сильнее.

Все путалось — бывшие мюнхенцы, коллаборационисты, вчерашние партизаны. На фасадах старых церквей, школ, рынков, тюрем красовались «да» или «нет», выведенные краской, дегтем, мелом, — ответы на референдум.

Передо мной фотография — президиум собрания, где я выступал, а Симонов читал стихи. За длинным столом — Эррио, премьер Бидо, Торез, Ланжевен, посол Богомолов.

Торез жил во дворце Матиньон; как-то он позвал нас ужинать. Сановитый привратник оглядел нас, и в этом взгляде сказались неприязнь: конечно, Торез был заместителем премьера, но для привратника он оставался подозрительным заговорщиком.

Я был в Париже во время очередного референдума. За два года французов в седьмой раз приглашали к урнам; многим это надоело, и процент непроголосовавших был высок. Де Голль предложил отвергнуть текст новой конституции.

Новая конституция была одобрена незначительным большинством: Пьер Кот был прав — я увидел Францию, расколовшуюся на две половины. Впрочем, это началось давно — еще в середине тридцатых годов: рабочие были недостаточно сильны, чтобы взять в свои руки власть, и достаточно сильны, чтобы правящий класс жил в постоянной тревоге. Этим неустойчивым равновесием в значительной степени объясняются события 1938—1940 годов. Скрытая гражданская война продолжалась и в то время, о котором я рассказываю.

Мы провели несколько недель в Рошфор-сюр-Луар, где нас приютил владелец аптеки поэт Жан Буйе. Я увидел, как отражаются политические события на буднях крохотного городка. Некоторые набожные католички за лекарствами ездили в Анже, чтобы не поощрять аптекаря, слывшего «красным». Я хотел зайти в кафе, но Буйе меня остановил: «Этот кабатчик «сотрудничал»...» Детям католиков родители запрещали играть с детьми безбожников. Мэром оставался тот же человек, что был мэром при немцах, — крупный землевладелец и торговец вином: большинство голосовало за правых. А меньшинство открыто обличало вчерашних коллаборационистов.

Я много бродил по окрестным холмам. Крутом были виноградники, луга, старые вязы или тополя, островки на широкой Луаре, глубокий мир августа. Впервые за много лет я отдышал, старался ни о чем не думать. Но стоило заглянуть в деревушку, посидеть в полутемном кабачке, где крестьяне рассуждали о том, о сем, как мне передавалось общее беспокойство, духота слишком долго собиравшейся, но так и не разразившейся грозы.

В другом городке, который славится вином, Вуврэ, в пещерах — погреба, там зимой не холодно, а летом не жарко. Вуврэ, как Франция, распался на две почти равные половины. Зажиточный винодел говорил: «Зачем ломать горшки? Коммунисты не крестьяне, а пришлые... Мое богатство оплачено потом трех поколений». Дочь другого винодела Бедуар была коммунисткой, кандидатом партии на выборах в Учредительное собрание. Ее муж прежде работал в Париже. Мы разговаривали с его старым отцом, он говорил: «Мой отец был коммунаром»... А двенадцатилетняя дочка Бедуаров могла побить профессиональных дегустаторов: в точности определяла год вина и откуда оно — с холма или с участка возле кладбища.

В Лимузене я познакомился со многими участниками маки. Они меня водили по лесам, рассказывали о стычках — в моей голове рождались многие герои «Бури»: Деде, Мики, Медведь. Я услышал песню: «Свисти, свисти, товарищ...»

Я побывал в Орадуре. Жителей этого городка гитлеровцы собрали в церкви, детей — в школе и сожгли. Уцелели те, что работали в поле. На обгоревших стенах еще виднелись вывески кабачков, рекламы шоколада Менье. При въезде в город плакат предупреждал: «Тише!» — развалины стали реликвиями. А рядом строили новый Орадур, и его мэр был коммунистом.

Марсель Кашен предложил мне поехать с ним в городок Эймутье — там праздновали пятидесятилетие боевой деятельности старого коммуниста Фрезье. Кашен вспоминал: «Я выступал в Эймутье сорок лет назад, помню, на собрание пришли трое. А сейчас здесь не меньше двух тысяч...» Потом обедали, сидя на длинных скамьях. Кашен мне говорил, что теперь Советский Союз — победитель, он сможет спокойно восстанавливать города; расцветет культура; никогда американцы не посмеют напасть — Западная Европа восстановит. Потом он спросил, правда ли, что в Москве закрыли Музей западной живописи: «Я там несколько раз был — чудесная коллекция. Особенно наших импрессионистов...» Я знал, как Кашен восхищается холстами своего друга Синьяка, и вместо ответа заговорил о только что открывшейся в Париже выставке картин, похищенных гитлеровцами и вернувшихся во Францию, — там были прекрасные пейзажи Синьяка.

В Дордони можно было дешево купить полуразвалившиеся усадьбы. Одну из них приобрел художник Люрса, коммунист. Он мне рассказывал, что к нему пришли крестьяне, и старик сказал: «Товарищ помещик, ты как раз вовремя приехал — мы решили создать парторганизацию...»

Отдыхать мне пришлось недолго. «Известия» горопили очерками об Америке, о Франции. Общество дружбы «Франция — Советский Союз» просило поехать по стране. Я выступал на больших собраниях в Лионе, Сен-Этьене, Лиможе. Приходилось выступать на различных приемах — в мэриях, в отделениях Общества дружбы, в союзах журналистов, говорить по радио, отвечать на сотни вопросов. В Лиможе я ночевал в префектуре в парадной комнате, где останавливались министры. В Лионе автор «Клошмерля» Шевалье хотел, чтобы

я ему объяснил, чем страшен Зоценко. Скульптор Саландр просил рассказать о наших памятниках. В Лион приехал летчик «Нормандии» Жоффр, с ним я отдохнул, он вспоминал Минск, генерала Захарова, советских механиков — все стояло на своем месте: отвага, могилы, дружба.

Хрупкая антигитлеровская коалиция официально еще держалась; я часто слышал, что она скреплена кровью и что нет цемента прочнее. Человеку всегда хочется верить в лучшее. А история зачастую пренебрегает не только логикой, но и тем, что мы называем совестью.

Несколько раз я заходил в Люксембургский дворец на мирную конференцию. Протекала она отнюдь не мирно. Недавние союзники обвиняли друг друга в коварстве. Особенно резко выступал австралиец Эванс. В глазах журналистов он вскоре стал «звездой» — знали, что стоит ему взять слово, как произойдет скандал, и в буфете для прессы оставляли недопитыми чашки кофе, когда кто-нибудь сообщал: «Сейчас выступит Эванс...»

Я на себе почувствовал, что такое «холодная война». Когда я остановился в Париже по дороге в Америку, газеты писали обо мне приветливо или по меньшей мере вежливо. Это было ранней весной. А поздним летом и осенью многие газеты начали меня ругать. Одна уверяла, что я подкуплен — у меня в Москве квартира из десяти комнат, вилла в Крыму, даже охотничий павильон в Белоруссии. Другая писала, что я злоупотребляю исконным гостеприимством Франции, хочу восстановить французоз против американцев, уверяю, будто негры в Соединенных Штатах лишены свободы, наверно, мне поставят памятник в Черной Африке, но из Франции мне лучше убраться. Третья, вдруг припомнив далекое прошлое, требовала, чтобы я вернул французским держателям царских займов «украденные у них деньги». В Лионе продавцы газет, желая сбыть местную вечерку, залихватски кричали: «Москва готовится оккупировать Францию!» В Нанте какие-то подростки разграбили дорогой ресторан; одна из местных газет уверяла, что у преступников найдены русско-французские словари; в очередном интервью меня ехидно спросили, не был ли я часом в Нанте.

Коммунистическая партия была самой сильной во Франции. Неустойчивое равновесие сохранялось: «холодная война»

пла в любом французском городе. Пьер Кот говорил: «Исход неизвестен...» Человеку не хочется огорчать себя, и мне казалось, что все так или иначе наладится. Стояла чудесная осень, в октябре цвели розы. Люди улыбались — характер у французов легкий, они способны утешиться хорошей погодой, шуткой, милостивой женщиной, прошедшей мимо.

Я зашел к Жан-Ришару Блоку в редакцию «Се суар». Он предложил пойти в соседнее кафе, выпить стаканчик вина. Излагал свои надежды: социалисты не смогут порвать с коммунистами, а за этими двумя партиями большинство — и в парламенте и в стране. Потом он заговорил о Москве и вдруг вынул записную книжку: «Переведите». Я прочитал записанную латинскими буквами русскую поговорку «перемелется — мука будет». Перевести было нелегко, но я перевел и шутя добавил: «У нас иногда говорят вместо «мука́» «му́ка»...» Он сердито посмотрел: «Му́ка — когда мелют. А когда перемелют — должна быть мука́».

12

В крохотной, хорошо мне знакомой квартире на улице Сурдьер, где жили Арагоны, я увидел чудесные рисунки Матисса. Арагон рассказал, что в 1942 году часто встречался с Матиссом — в Ницце, где художник всегда живет, а теперь он в Париже — работает над картонами для ковров. От Арагона я узнал, что в 1941 году Матисса оперировали — вырезали желудок, он вынужден работать в кровати, а когда встает на несколько часов, надевает на себя корсет.

В сентябре Арагон сказал мне, что Матисс хочет, чтобы я ему позировал. Дом, в котором он жил, находился почти напротив гостиницы «Ницца», где прошла моя молодость. На стенах обыкновенной спальни висели картоны с приколотыми кусками цветной бумаги. Я увидел лицо, хорошо мне знакомое по многим фотографиям, но, когда он снял очки, меня удивили светлые голубые глаза.

Когда я познакомился с Пикассо, Леже, Модильяни, я был зеленым юношей, да и они были всего на восемь — десять лет старше меня. В те времена я восхищенно глядел на холсты Матисса, но художника я увидел впервые, когда ему было семьдесят семь лет.

Он поздно начал. Пикассо в четырнадцать лет рисовал, как опытный мастер; а Матисс учился юриспруденции, работал в нотариальной конторе. Когда ему было двадцать лет, после операции аппендицита он со скуки начал перерисовывать картинку. Великий мастер Возрождения Мазаччо умер в возрасте двадцати семи лет, столько же было Рафаэлю, когда он закончил свои знаменитые «станцы». Пикассо успел до двадцати семи лет написать холсты «голубого периода», «розового», «Авиньонских девушек» и пришел к кубизму. А умри Матисс в двадцать семь лет, от него остались бы только ученические работы, помеченные талантом.

Я позировал Матиссу три раза. Во время первого сеанса он мне рассказал: «Когда меня понесли на операционный стол, я про себя простился с жизнью. Случилось чудо — судьба мне подарила вторую жизнь. Надбавку... И, знаете, я теперь особенно остро радуюсь всему — людям, деревьям, краскам...»

Над кроватью висели картонные диски с черным кружком, продырявленным пулей. Матисс объяснил, что иногда отправляется в тир, хотя это ему трудно: «В моем ремесле очень важно сохранить хорошее зрение и твердость руки. Проверяю...»

За три сеанса он сделал, если память мне не изменяет, около пятнадцати рисунков, два подарил мне и под лицом красивого юноши, чуть улыбаясь, надписал: «По Эренбургу». Не знаю, следует ли назвать эти рисунки портретами. Он говорил, что не может писать или рисовать иначе, чем с натуры. Я видел, что, рисуя, он всматривается в мое лицо. Во всех рисунках было нечто общее: «Таким я вас представляю... В другой раз, показав мне рисунок, Матисс сказал: «Это -- голова, глаза, рот плюс то, что я о вас знаю...» Работая, он все время разговаривал, точнее, спрашивал, хотел, чтобы я говорил: «Это мне не мешает, а помогает». (А он рассказывал многое, отдыхая между двумя рисунками.) В конце последнего сеанса он сказал, что теперь знает мое лицо, знает и меня, но тотчас поправился: «Лучше сказать: вижу и чувствую». Когда я спросил его, почему он привязан к натуре, он улыбнулся: «Я всю жизнь учился и теперь учусь расшифровывать иероглифы природы...»

Меня поразила точность линии — рука не колебалась. (Потом я увидел документальный фильм о Матиссе, там применен

способ замедленного показа, видно, как точно художник проводит линию.) Я сказал ему, что меня поражает уверенность рисунка. Он покачал головой: «Конечно, за шестьдесят лет кое-чему я научился. Далеко не всему... Помню, я читал книгу о Хокусаи, он прожил девяносто лет и незадолго до смерти признался ученикам, что продолжает учиться... Никакой уверенности у меня нет. Поэты прежде любили говорить о вдохновении. А мы говорим: «Сегодня хорошо работается». Это связано с внутренним состоянием: иногда чувствуешь — значит видишь, а иногда не выходит... Сколько в моей жизни я уничтожил рисунков, сколько раз закрашивал неудавшийся холст!..»

Во время последнего сеанса он много говорил об искусстве. Позвал молодую женщину, Л. С. Делекторскую, которая помогала ему в работе над картонами: «Принесите слона». Я увидел негритянскую скульптуру, очень выразительную, — скульптор вырезал из дерева разъяренного слона. «Вам это нравится?» — спросил Матисс. Я ответил: «Очень». — «И вам ничто не мешает?» — «Нет». — «Мне тоже. Но вот приехал европеец, миссионер, и начал учить негра: «Почему у слона подняты вверх бивни? Хобот слон может поднять, а бивни — зубы, они не двигаются». Негр послушался...» Матисс снова позвонил: «Лидия, принесите, пожалуйста, другого слона». Лукаво посмеиваясь, он показал мне статуэтку, похожую на те, что продают в универмагах Европы: «Бивни на месте. Но искусство кончилось».

Тогда же он начал говорить об истоках современной живописи: «Арагон считает, что все началось с Курбе. Может быть. Может быть, позднее — с Мане. А может быть, и куда раньше. Дело не в этом. Знаете, кому многим обязана современная живопись? Дагеру, Ньепсу. После изобретения фотографии отпала нужда в описательной живописи. Как бы ни пытался художник быть объективным, он пасует перед фотообъективом. Для того чтобы судить, каким был Энгр, я должен посмотреть его автопортрет, портреты Давида, других художников, каждый из них расходится с другими, и я не знаю, какой рот был у Энгра. А Гюго я знаю по дагерротипам, по фотографиям. Глаз и рука художника подчинены его эмоциям. Я изучал анатомию, если мне захочется узнать, каковы породы слонов, я попрошу фотографии. А мы, художники, знаем, что бивни могут подыматься...»

Он много курил, на кровати лежали пачки различных сигарет — французских, египетских, английских. «Моя жидкая пицца однообразна и ничего не говорит нёбу. Различный вкус сигарет — это то чувственное наслаждение, которое мне оставили, беру одну, потом другую. Ну и глаза... Никогда прежде я так не радовался цветку или красивой женщине...»

Я пришел к нему в последний раз 8 октября. Он вырезывал арабески для ковра. Ножницы столь же уверенно проводили линию, как уголь или карандаш. Картоны для двух ковров «Полинезия» были почти закончены. (Много позднее я увидел его картины, сделанные с помощью цветной бумаги — он не мог сидеть у мольберта, а его преследовали живописные замыслы. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет и до конца продолжал работать. Из личной беды он создал новую возможность, и, глядя на картины с наклеенными кусками бумаги, забываешь о человеке, прикованном к кровати, видишь крылья творчества.)

Матисс расспрашивал меня о Москве. «Я там был ровно тридцать пять лет назад — в октябре тысяча девятьсот одиннадцатого, — меня пригласил Щукин... Я пробыл недолго. Увидел Рублева. Это, может быть, самое значительное в мировой живописи... В Москве я кое-что понял, почувствовал... Я не разбираюсь в политике, но не скрываю моей симпатии к вашей стране. Наверно, в организации общества необходим разум, как в композиции картины. Удивительно, что русские это поняли первыми, ведь когда я был в Москве, мне казалось, что русские в будничной жизни обожают беспорядок...»

(Матисс всегда чуждался политики, однако после начала «холодной войны» он начал говорить, что некоторые люди на Западе потеряли рассудок, что необходимо спасти мир. В 1947 году я написал для «Литературной газеты» статью о борьбе за мир. В ней были такие строки: «Не случайно среди коммунистов или друзей Советского Союза мы видим крупнейших ученых Франции — покойного Ланжевена и Жюлио-Кюри, крупнейших ее художников — Пикассо и Матисса, крупнейших ее поэтов — Арагона и Элюара». Арагон получил французский перевод статьи и опубликовал его в «Леттр франсез». А несколько дней спустя в Париж пришел номер «Литературной газеты», и антисоветская печать с восторгом поместила примечание: «Редакция считает неправильным, что

тов. И. Эренбург обходит молчанием вопрос о формалистско-декадентском направлении творчества Пикассо и Матисса). Друзья мне рассказывали, что Матисс, прочитав об этой истории, рассмеялся. В 1948 году он послал приветствие Вроцлавскому конгрессу, а в 1950 году подписал Стокгольмское воззвание.)

Редко я встречал человека, который и внешне, и складом ума был бы настолько выраженным французом, как Матисс. Больше всего он любил ясность. Конечно, с точки зрения художника, стремящегося состязаться с фотографом, его творчество изобилует деформацией предметов, мне же оно кажется не только реалистическим, но и освещенным сознанием потомственного картезианца.

Он рассказывал о русских коллекционерах: «Щукин начал покупать мои вещи в тысяча девятьсот шестом году. Тогда во Франции меня мало кто знал. Гертруда Стайн, Самба, кажется, всё... Говорят, что есть художники, глаза которых никогда не ошибаются. Вот такими глазами обладал Щукин, хотя он был не художником, а купцом. Всегда он выбирал лучшее. Иногда мне было жалко расстаться с холстом, я говорил: «Это у меня не вышло, сейчас я вам покажу другие...» Он глядел и в конце концов говорил: «Беру тот, что не вышел». Морозов был куда покладистее — брал все, что художники ему предлагали. Мне рассказывали, что в Москве теперь чудесный музей новой западной живописи...»

«Лидия, принесите портрет Щукина»... Я увидел прекрасный холст раннего Матисса. Он сказал: «Его много раз хотели купить, но я не продавал. По-моему, его место в Москве, в Музее западной живописи. Если вас это не затруднит, возьмите с собой, передайте в музей, как мой дар». Я знал, что Музей западной живописи закрыт, холсты Матисса хранятся в фондах. Куда я его отвезу?.. Я сказал Матиссу, что возьму портрет в следующий раз, — наверно, скоро снова приеду в Париж. Потом я упрекал себя — нужно было взять и сохранить у себя, теперь бы он висел в Эрмитаже или в Музее Пушкина. Но такого рода мысли французы называют «сообразительностью на лестнице», а русские говорят: «Крепок задним умом».

Матисс упомянул в разговоре, что в годы оккупации делал рисунки к стихам Ронсара. Я рассказал, как нашел в Восточной Пруссии первое издание Ронсара, сказал и про то, как

тяжело было читать стихи о радости среди могил и развалин. Матисс ответил: «Я вас понимаю... Я думаю, что поэт похож на художника. А живопись живет любовью к жизни, восхищением жизнью и ничем иным. Можно обладать гением, но, если художник не в ладах с жизнью, он заставит людей спорить о нем, превозносить его, но никого не обрадует...»

Матисс родился на севере Франции, но почти сорок лет прожил и проработал в Ницце, там и умер — влюбился в цвета юга. Что он писал? Молодых женщин в ярких платьях, в пестрых шالях, пальмы, анемоны, птиц, золотых рыбок, кактусы, зеленые жалюзи, раковины, апельсины, причудливые тыквы, море, большие кувшины, небо, танцы, — он знал земное, телесное счастье и умел этим счастьем поделиться. А когда мне выпала удача и я увидел творца радостного ослепительного мира, передо мной оказался старый человек, которого страшная болезнь пыталась придавить и который продолжал работать — мудро, скажу не страшась, что слово может резнуть, — весело.

Для меня тогда только начинался вечер жизни, встреча с Матиссом была и радостью и уроком.

13

В последней части этой книги еще меньше, чем в предшествующих, я буду придерживаться хронологической последовательности. Описывать события ни к чему — они у всех в памяти. Картины Москвы моего детства, «Ротонда», кафе, где «ничевоки» провозглашали конец мира, для большинства читателей неизвестны, но вряд ли стоит перечислять все эпизоды «холодной войны» или описывать все конгрессы сторонников мира. Да и пора бы, дойдя до послевоенных лет, попытаться понять время, себя. Но объяснить все, что я видел и пережил, мне не под силу. Конечно, лестно выглядеть в глазах читателей человеком, взобравшимся на гору, откуда все как на ладони. Но я не хочу лгать. Раньше я не раз говорил о том, как ошибался, заглядывая в будущее, это не могло никого удивить: я ведь не выдавал себя ни за пророка, ни за гадалку. Теперь приходится признаться и в другом: задумываясь над прожитым, я вижу, до чего мало я знаю, а главное — из того, что знаю, далеко не все понимаю.

Чем ближе события, тем чаще я обрываю себя. Когда я писал в одной из предшествующих частей, что буду все реже и реже приподнимать занавеску исповедальни, я думал о своей частной жизни — хотел предупредить, что если я мог рассказать про первую любовь гимназиста, то не стану исповедоваться в «кружении сердца» взрослого человека. А в последней части книги то и дело опускается не только занавеска исповедальни, но и занавес театра, на сцене которого разыгрывалась трагедия моих друзей, сверстников, соотечественников. Когда-то я бывал всюду младшим; из людей, описанных мною в первых частях, мало кто остался в живых. В послевоенные годы редко где я не был старшим, и почти все люди, с которыми я встречался, живы. Скажу и о событиях. У писателя есть своя внутренняя цензура, она хватается за ножницы не только когда речь идет о людях, но и когда вспоминаются детали некоторых событий, казалось бы, давно рассекреченных историей. Я ведь не чувствую себя гражданином в отставке, отшельником или хотя бы умиротворенным пенсионером. Описывая прошлое, я защищаю мои сегодняшние идеи, пытаюсь перекинуть мостик в будущее. Есть, конечно, у меня недоброжелатели, но не так уж много я о них думаю. А вот у советского народа, у идей, которые мне близки, врагов хоть отбавляй, и на них я не могу смотреть с другой звезды или из другого века, — битва продолжается. Это тоже заставляет меня опустить некоторые детали; но, конечно, о самом главном я не хочу, да и не могу умолчать.

Наконец, меня ограничивает сознание, что где-то придется поставить черту — окончить книгу, следовательно, попытаться подвести итоги. Окончить я решил на том времени, когда писал «Оттепель». «Последнее сказанье», таким образом, написано не будет — я не старец Пимен, и эта книга меньше всего бесстрастная летопись. Как бы ни казалась лоскутной история пережитых мною послевоенных лет, как бы ни выглядели картины разрозненными, дни и мысли оборванными, я верю, что читатели почувствуют в сбивчивом рассказе не проповедь, а исповедь.

Возвратившись в Москву, я вернулся к «Буре» и окончил ее летом 1947 года. Писал я с утра до ночи, торопился, хотя знал, что именно работа над романом ограждает меня от горьких мыслей и что нескоро мне удастся снова сесть за книгу. Так и случилось. Но если я долго не решался начать роман,

то, закончив его, еще дольше не мог освободиться от героев, продолжал с ними мысленно беседовать — не только потому, что автору всегда мучительно расстаться с теми из персонажей книги, которых он полюбил, но и потому, что память о войне не позволяла мне мириться со многим происходившим вокруг.

Иногда по вечерам я слушал наше и парижское радио. За то время, когда я писал «Бюрю», мир успел измениться. Моя поездка за границу казалась давней буколичкой. Во Франции рабочие проиграли массовые забастовки, полиция стреляла в демонстрантов. В Америке крайние круги одержали верх. Я слышал новые слова: «план Маршалла», «доктрина Трумэна», «превентивная война». Это было неправдоподобно и страшно: ведь не прошло и трех лет со дня общей победы, люди еще хорошо помнили огонь минометов, бомбежки, прожитые всеми жестокие годы. Я слушал по радио псевдоученные разговоры о необходимости «отстоять западную культуру от советской экспансии», слушал и возмущался. Один видный французский писатель заявил, что существует «атлантическая культура», его выступление совпало с созданием Северо-Атлантического союза. Все это слишком напоминало рассуждения гитлеровцев о превосходстве культуры, созданной «северной расой».

В ответах на военную пропаганду Запада мне порой в газетных статьях удавалось напомнить о некоторых вдоволь азбучных истинах, в те годы часто попиравшихся. В августе 1947 года я писал: «Культуру нельзя разделять на зоны, разрезать, как пирог, на куски. Отделять западноевропейскую культуру от русской, русскую от западноевропейской попросту невежественно. Когда мы говорим о роли, которую сыграла Россия в духовной жизни Европы, то отнюдь не для того, чтобы принизить другие народы. Ходули нужны карликам, и о своем расовом, исконно национальном превосходстве обычно кричат люди, не уверенные в себе. Глубокая связь существовала с древнейших времен между мыслителями и художниками различных стран, способствовала богатству и многообразию культуры. Мы учились у других, и мы учили других. Нужно ли еще раз напоминать, что без классического русского романа нельзя себе представить современную европейскую и американскую литературу, как нельзя себе представить современную живопись без того, что создано французскими художниками прошлого века. Белинский сто лет назад писал, что

европейские народы «нещадно заимствуют друг у друга, несколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессильных и ничтожных».

Западные газеты меня называли «беспечным шулером» и «остроумным диником» (знакомые слова). А у меня на сердце скребли кошки.

К. М. Симонов, с которым в то время я часто встречался, рассказал мне, что Сталин придает большое политическое значение борьбе против низкопоклонства перед Западом. Кампания ширилась. Как это часто бывало, некоторые сами по себе разумные мысли доводились до абсурда. Преклонение перед всем заграничным высмеивал еще Фонвизин — это очень старая болезнь: восхищались немецкой техникой, уверяли, что «немец луну сделал», и одновременно залихватски повторяли: «Русский немцу задал перцу». Я с детства видел приниженность и спесь настолько породнившимися, что трудно было определить, где начинается одно и кончается другое. Часто, выслушавшая наивные восхваления наших туристов, впервые оказавшихся за границей, я вспоминал созданную Мятлевым мадам де Курдюкофф. Комплекс неполноценности порождал комплекс превосходства. В одном и том же номере газеты можно было найти высокомерное заверение, что наша агрономия первая в мире, и сообщение о том, что какому-то голландскому негоцианту понравился русский балет.

Достаточно заглянуть в Большую советскую энциклопедию, точнее, в ее тома, вышедшие до 1954 года, чтобы увидеть, к каким искажениям приводила кампания против низкопоклонства: о работах иностранных ученых говорилось бегло. Не лучше было и с историей искусства. Даже хозяйственники пытались проявить рвение, и сыр «камамбер» был переименован в «закусочный».

Некоторые люди на Западе занялись легким, зачастую невежественным зубоскальством. Один крупный романист на митинге иронически заявил, что русские говорят о каких-то заслугах никому не ведомого радиотехника Попова. (Заглянув теперь в маленькую энциклопедию Ларусса, я увидел: «Беспроволочный телеграф изобретен в 1895 году Поповым (Россия) и Маркони (Италия)».) В палате депутатов Бидо издевательски сказал: «Нам объявляют, что великие открытия сделал некто Ломоносов». Я ответил в «Правде»: «Мне отвра-

тителен национализм, я не терплю людей, которые оскорбляют культуру другого народа. Возмущаясь поведением г. Бидо, я отстаиваю шпигет не только перед Ломоносовым, но и перед Лавуазье. Великие люди остаются великими безотносительно к тому, что о них скажет некто Бидо».

Вернувшись из Америки, Симонов написал повесть «Дым отечества», в ней он хотел противопоставить сытым и самодовольным американцам душевные богатства жителей Смоленщины. На обсуждении «Дыма отечества» К. А. Федин и я говорили о достоинствах этого произведения. На Сталина, однако, повесть произвела другое впечатление. Не знаю, что его рассердило — попытка Симонова иметь собственные суждения или название повести, но только «Культура и жизнь» обругала «Дым отечества», а заодно Федина и меня.

Прочитав письмо одного из моих французских друзей, который справлялся о моем здоровье, я не сразу понял, в чем дело, а потом получил из нашего посольства кипу газетных вырезок — антисоветские газеты торжествующе сообщали о «новой расправе с советскими писателями»; одна даже спрашивала: «Интересно, отделается ли Эрэнбург Сибирью, или его ждет петля?»

Очередной жертвой стал молодой писатель Э. Г. Казакевич, только-только получивший премию за повесть «Звезда». Он написал повесть «Двое в степи», в которой рассказывал, как в страшные дни отступления юноша, впервые попавший под огонь, растерялся, не выполнил боевого задания и был приговорен к расстрелу. Его сторожил солдат-казах. Поскольку отступление продолжалось, казаху и приговоренному к смертной казни офицеру пришлось вместе пробиваться на восток. Заключенный и конвоир подружились. В повести хорошо обрисованы герои, процесс их сближения показан правдиво. Я считал (и считаю) «Двое в степи» одной из лучших книг о войне. Я об этом сказал на собрании, и у меня сохранилось письмо от Эммануила Генриховича: «Я взволнован вашим вниманием и горд вашей оценкой моей второй вещи». Казакевич стойко переживал нападки. Это был человек скромный, мягкий, но с большим мужеством, убеждения для него были выше успеха, и служение народу он никогда не менял на прислуживание.

Смерть еще меньше считается с логикой, чем история, слишком часто она замахивается косою на зеленую, невызре-

шую полосу. Казакевич вернулся с войны, хотя был разведчиком и не раз рисковал жизнью. Он был полон энергии, писал новую книгу, казался человеком крепкого здоровья и умер, не дожив до пятидесяти лет.

В 1949 году праздновали пятидесятилетие С. П. Щипачева. Я сказал, что хочу выступить на его вечере с приветствием. Мне нравились скромные короткие стихотворения поэта, особенно нравились он сам — были в нем честность, естественность, прямота. В коротком слове я сказал, что Щипачев сумел оградить свою поэзию «в эпоху инфляции слов». Это было сказано на писательском вечере, и сказано сдержанно, но многим мои слова показались вызовом, — видимо, клеймо лживой риторике отмечало немало лиц. Позднее несколько раз я беседовал со Степаном Петровичем и увидел, что не ошибся. Высокий, прямой, он похож на свои стихи, есть в нем душевное благородство. Когда мне бывало трудно, я вдруг вспоминал Щипачева и с большим доверием думал о жизни.

Пока я писал «Бурю», меня выручала работа. А потом пришлось прибегнуть к старому лекарству: поезда с их ночными пронзительными вскриками, ухабы дорог, случайные почевки, исповеди на полустанках, незаконченные беседы, падающие в тумане лица, калейдоскоп. Где я только не побывал за полтора года! Приведу список из записной книжки: Орша — Минск — Вильнюс — Каунас — Клайпеда, Шауляй — Паланга — Лиеная — Елгава — Рига — Тарту — Таллин — Нарва — Ленинград — Новгород — Валдай; Калинин — Кашин — Калязин; Варшава — Вроцлав — Лодзь; Киев — Погар — Брянск; Владимир — Суздаль — Иваново; Тула — Орел; Пенза — Белинский; Ленинград — Таллин; Варшава — Вроцлав — Кельцы — Краков; Кишинев — Бельцы — Сороки — Фалешты — Бендеры — Белград — Килия — Измаил...

Воспоминания об этих поездках напоминают случайно склеенные кадры из различных фильмов. В Иваново я поехал для того, чтобы укрепить положение освобожденного, но еще не реабилитированного Н. Н. Иванова, бывшего поверенного в делах во Франции, который работал штатным сотрудником Общества по распространению политических знаний.

В одном селе устроили доклад; я должен был рассказать о поездке в Америку; в самую патетическую минуту в сарай, куда собрались слушатели, вошла корова. В Погар меня пригласили для того, чтобы я рассказал, как изготавливают сигары

на Западе; была дегустация, я привез гаванскую сигару, но ее раскритиковали. Я увидел много интересного, хорошего и плохого — большие заводы и непроезжие дороги, богатства древней Суздали, работы эстонского художника Адамсона, развалины Новгорода, толкучки Молдавии; не стану обо всем этом рассказывать, припомню только поездку в Пензенскую область.

Праздновали столетие со дня смерти Белинского, меня включили в писательскую делегацию. Руководителем был Фадеев.

В Пензе открыли памятник Белинскому; Фадеев произнес речь. Пенза мне сразу приглянулась, хотя не было в ней никаких достопримечательностей. В старой части города облупившиеся фасады домов, где прежде проживала одна семья и где теперь был сдан и пересдан каждый угол, выглядели печально. Понравились мне люди. Они были как-то сосредоточеннее, чем в суетливой Москве, больше читали, больше и думали. Студент шел со мной по городскому парку и читал на память страницы Салтыкова-Щедрина. Молодая женщина, учившаяся в Ленинграде, провела меня в фонды музея, с жаром говорила о Коровине, о «Бубновом валете», о Сезанне, вспоминала запасник Эрмитажа. На встрече со студентами начались споры о Казакевиче, Некрасове, Пановой; кто-то декламировал стихи Пастернака. Рабочий часовой фабрики пришел ко мне в гостиницу и сразу заговорил об искусстве: «Когда я слушаю серьезную музыку, мне кажется, что время распадается, а может быть, наоборот — тысячелетие сгущается в один час, кончится — и чувствуешь, что прожил несколько жизней...»

Новое повсюду перемежалось со старым. В Лермонтове (в Тарханах) колхозники по тем временам жили сносно. В селе была десятилетка. Сидя возле пруда, я услышал, как мальчишки выкрикивали непонятные слова; разговорившись с ними, я узнал, что это они ругаются по-французски. Я захотел познакомиться с учителем французского языка, но, когда ему сказали об этом, он ушел в лес.

Учительница истории О. С. Вырыпаева, узнав, что я люблю керамику, повезла меня в соседнее село Языково: там колхозники издавна занимались гончарным промыслом. Я увидел курные избы. Почему-то ходили слухи, что в Белинский на юбилей приехал Ворошилов, и меня приняли за одного из его сопровождающих. В избу, куда я зашел, набралось много на-

роду: колхозники, перебивая друг друга, излагали свои претензии — с них берут побор за все кувшины и горшки, которые они грузят, а по пути в Чембар половина товара бьется. Я слушал, записывал, потом мне стало не по себе: хлестаковствую — ведь все говорят: «Расскажи Сталину»... Я объяснил, что я всего-навсего писатель, постараюсь помочь, но не уверен в успехе. На печи сидел демобилизованный, кашлял, глаза у него были лихорадочные. Он молчал, а тут заговорил: «Писатель... Он тебе опишет — не изба, а дворец, не горшок — ва-аза»... Он долго повторял, кашляя и ругаясь: «Ва-а-за!..» Мы вышли. Учительница, по уши влюбленная в литературу, растерянно говорила: «Представить себе, что это в 1947 году! Безобразие!»... А я подумал: пожалуй, он прав.

(Год спустя я поехал с В. Г. Лидиным в Пензенскую и Тамбовскую области и снова увидел противоречивые картины. Музей в Тамбове поражал своим богатством (там среди прочего хранилась замечательная скульптура Донателло); в городе была прекрасная библиотека. А в районном центре Кирсанове музей нас рассмешил: в одной комнате мы увидели просиженный диван, кресло, разбитую вазу — надпись объясняла: «Жизнь и быт княгини Оболенской»; в другой — стояла ничем не примечательная скульптура с ярлычком: «Произвольный бюст неизвестного мастера». Мы побывали в Пойме у писательницы А. П. Анисимовой, влюбленной в народное творчество. Она нас повезла в Невежино, где сохранились мастерицы русской вышивки. Мы увидели бедные покосившиеся избенки; школа казалась полуразвалившейся, все выглядело печально. А на следующий день нас пригласили в расположенный неподалеку колхоз имени Ленина — на открытие книжного магазина. Там были городского типа дома, библиотека, ясли. Трудно было поверить, что Невежино рядом...)

В 1947 году я впервые увидел много мест, связанных с русской литературой прошлого века. Я побывал в Ясной Поляне, где Толстой писал «Войну и мир», «Анну Каренину»; но в доме видишь Льва Николаевича, старого, душевно мечущегося и вместе с тем за чаем наставляющего «толстовцев», того Толстого, который пахал со смирением, что паче гордости, и завещал похоронить его без имени, без плиты; может быть, больше всего меня взволновала его могила — он выбрал место, где мог бы соседствовать с единственно достойным партнером — природой. Я поехал в Спасское, там под тени-

стыми кленами Тургенев писал романы, а поздней осенью отправлялся в Париж; когда однажды ему отказали в заграничном паспорте, он построил флигелек и написал Виардо, что живет как ссыльный. В Орле я видел его диван, книги с пометками; поглядел на дом Лескова. Постоял у заброшенной могилы Фета. В Чембаре ходил по школе, в которой учился Белинский. Трудно объяснить, почему в музее особенно потрясает одна картина, и я не знаю, почему больше всего мне запомнились дни в Тарханах, или, говоря по-новому, в селе Лермонтово.

Там я познакомился с молодой преподавательницей русской литературы В. А. Дарьевской. Она меня спрашивала, каким был в жизни Маяковский, нравятся ли мне стихи Багрицкого, где достать хороший перевод Гейне. А я от нее узнал про школу, про жизнь села. Это была скромная девушка, любившая свою работу и искусство; она рассказывала, что иногда ей удается съездить на воскресенье в Пензу — там ведь театр... До железной дороги больше тридцати километров, иногда приходится возвращаться пешком. Вера Анатольевна однажды зимой встретила волков, сначала приняла их за собак, а волки подошли к деревне, зарезали колхозных баранов: «Ох, как я испугалась!..»

Мы пошли в склеп. Там стоял гроб, в котором привезли тело Лермонтова из Пятигорска. Было сыро, и на гроб громко падали капли.

Музей был смешанным: отдельные вещи, связанные с этим, и различные плакаты, диаграммы, посвященные крепостному праву, революции, успехам колхозников Пензенской области. В одной комнате я увидел трубку Лермонтова и рисунок к «Демону», в другой висел большой портрет Сталина.

Ночью я написал стихотворение. Никогда я его не печатал, а теперь приведу, потому что оно — клочок обещанной исповеди.

Тарханы это не поэма —
Большое крепкое село.
Давно в музей безумный Демон
Сдал на хранение крыло.
И посетитель видит хрупкий,
Игрушечный, погасший мир,
Изгрызенную в муке трубку
И опереточный мундир.

И каждому немного лестно,
Что это — Лермонтова кресло.
На стенах множество цитат
О происшедшей перемене.
А под окном заглухший сад
И «счастье», скрытое в сирени.
Машины облегчили труд.
В селе теперь десятилетка.
Колхозники исправно чтут
Дела прославленного предка,
И каждый год в тот день июля,
Когда его сразила пуля,
В Тарханах праздник. Там с утра
Вся приедета детвора.
Уж кумачом зардели арки,
Уж сдали государству рожь,
И в старом лермонтовском парке
Танцует дружно молодежь.
Здесь нет ни топота, ни свиста...
Давно забыт далекий выстрел,
И только в склепе, весь продрог,
Стоит обшитый цинком гроб.
Мотор заглух, шофер хлопочет.
А девушка в избе бормочет
Все тот же сердцу милый стих,
И страсть в ее глазах глухих,
Приподняты углами брови.
А ночь, как некогда, темна.
Поют и пьют. Стихи читают. Сквернословят.
А сердце в цинк стучит. Все выпито — до дна.
«Люблю отчизну я, но странною любовью...»
А что тут странного? Она — одна.

Конечно, я люблю родину не только потому, что она — одна, люблю и потому, что потомок выходца из Шотландии написал «Тамань», перечитывая которую я каждый раз изумленно приоткрываю рот, как ребенок, люблю и за то, что колхозницы села Лермонтова, смелые, измученные и гордые солдатки, пахали на коровах и втихомолку плакали над треугольниками фронтовых писем, за скромность природы тех же Тархан, за все эти пригорки, перелески, прудики, за дерзкий замысел

народа, за «перемены», о которых сухо говорили диаграммы музея, за девушку Веру, которая повторяла в темной избе: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно», которая пошла на «Гамлета» и повстречала волков, за то, что в захудалом Чембаре вырос неистовый Виссарион, равно преданный справедливости и красоте, за то, что в Пензе подросток Мейерхольд мечтал о древнем балагане, за то, что в Пензенской области есть села с удивительными названиями — Волчий Враг, Соседка, Верховим, Шемышейка, за цветистость ругани и стыдливость ласки, за тысячу других вещей, больших и малых, которые, может быть, лучше всего я выразил в коротком признании: «Она — одна».

14

В октябре 1947 года Фадеев сказал мне, что нужно поехать в Польшу, туда отправляют делегацию писателей: Твардовский, Тычина, Бровка, Эренбург. Фадеев начал меня наставлять и вдруг рассмеялся: «Да вы сами знаете... Прожили полжизни за границей». Я подумал: одно дело жить — другое входить в делегацию... В купе я оказался с П. Г. Тычиной, который тогда был министром просвещения Украинской Республики. Мы долго спорили, как разместиться — каждый пытался взобраться на верхнюю полку. Мы с Павлом Григорьевичем родились не только в тот же самый год, но и в тот же самый день. Я говорил, что Тычина должен остаться внизу: он — министр. Павел Григорьевич возражал. Я вышел в коридор, разговорился с Твардовским. Тычина воспользовался этим, и, вернувшись, я увидел его лежащим на верхней полке. Мы дружески побеседовали, потом погасили свет. Я уже засыпал, когда Павел Григорьевич сказал: «Будет обязательно помылка...» Хотя я родился в Киеве, но детство и отрочество провел в Москве; многие украинские слова мне кажутся загадочными. «Помылка» — это «ошибка», потом мне объяснили, а тогда в полусне мне казалось, что нам мылят головы: это была вторая моя поездка за границу в составе делегации, и я тоже побаивался.

На вокзале улыбался Тувим, и я сразу успокоился. Поляки нас встретили радушно. Я увидел другую Польшу, не ту, что видел двадцать лет назад, в эпоху санации. Тогда ведь не

только власть; но и некоторые писатели разговаривали со мной настороженно.

Конечно, Польша стала другой, и в то же время я многое узнавал: характер народа не меняется — меняется жизнь. В 1947 году я увидел испепеленную Варшаву. Я не узнавал улиц, но людей узнавал. Из тех, кого я знал раньше, многих уже не было: погибли и всем известные, прославленные, и те, которых знали только друзья. В 1928 году я познакомился с писателем Бой-Желенским. Мы проспорили весь вечер — о Монтене, о Прусте. Он куда больше знал, чем я, и говорил страстно, порой зло, но с той любовью к искусству, которая обезоруживает. Ему было шестьдесят семь лет, когда фашистские недоросли расстреляли его во Львове. В Париже в тридцатые годы я встречал на Монпарнасе молоденького архитектора Сениора. Он мечтал что-то построить, обожал Ле Корбюзье, жил в нужде, а когда мать присылала ему из Польши посылку (он говорил «пачку»), угощал нас рябиновой водкой и полендвницей. Летом 1939 года он уехал домой, чтобы сражаться против гитлеровцев, и погиб. Я познакомился с молодыми писателями, художниками, с сотнями людей различных профессий. Год спустя я снова увидел Польшу во время Вроцлавского конгресса, а в последующие годы часто бывал в Варшаве, и хотя это всегда было связано с конгрессами, конференциями, комиссиями, резолюциями, выкраивал время для старых и новых друзей. Я все сильнее влюблялся в польский характер, и эта глава, наверно, будет скорее походить на лирическое объяснение, чем на рассказ о стране и людях.

В течение долгого времени между русскими и поляками был глубокий ров — память о нашествиях, о разделах, о крови повстанцев. Учитель истории говорил нам, что любой поляк чванлив, как шляхтич, что Польша погибла оттого, что каждый пан в сейме кричал «не позволю» и накладывал запрет на закон. Один из наставников моей молодости, Достоевский, в своих романах выводил карикатурных поляков. Я Польшу не знал, и где-то внутри таилось предубеждение. Помню, что меня поразила страсть, с которой Тувим говорил о польском характере при первой нашей встрече. Потом я услышал от Бабеля: «Это поэтический народ...» А ведь Бабель видел поляков во время войны, когда они сражались против Советской России. Я задумался и только в 1928 году, побывав в Польше, кое-что понял.

Человеческие ценности — радость труда, борьбы, любовь, искусство — осознаешь не по школьным урокам и не по книгам, а по житейскому опыту. Но есть и такие ценности, которые начинаешь понимать в недостатке, в отлучении. Что такое хлеб, я понял в Париже, когда ничего не ел несколько дней, а из булочных шел дивный аромат. В горах Арагона во время боев я понял, что такое глоток воды. Я писал, что значение родины осознаешь вдали от нее. Обостренный патриотизм поляков связан с историей: они пережили или слышали от своих родителей длинную летопись попрания национально-го достоинства.

Я рассказывал, как Тувим, бродя со мною среди развалин Варшавы, повторял: «Посмотри, какая красота!..» Может быть, не все поляки это говорили, но все это думали. Старая часть Варшавы отстроена с такой любовью к любой детали, что забываешь о реставрации. Дело не только во вкусе, дело и в страсти.

Меня притягивает к полякам страстность — она в национальном характере, она сказалась и в старой скульптуре Ствопа, и в поэзии — от Мицкевича и Словацкого до Тувима и Галчинского, страстность в народных песнях и в длинной повести о неудачных восстаниях, она в Домбровском, о котором когда-то мне рассказывал старик коммунары, и в Янеке, которого я видел возле Уэски. Стоит поглядеть в глаза старого усатого пенсионера, который ходит по чинному, но дивному Кракову, или услышать в заброшенной деревне вскрик маленькой девчонки с белой косичкой и смехом, похожим на слезы, как снова и снова видишь избыток чувств, диковинный клубок судеб.

Я читал много суровых оценок барокко — чрезмерность, неожиданность сочетаний, порой непонятность казались вычурностью, формализмом, отказом от искренности, пренебрежением простотой. А между тем барокко, родившись в эпоху заката аристократии, пришелся по душе народам. Есть нечто общее между поэзией Гонгоры, Марино или Грифиуса и теми глиняными Христами, которых лепят польские гончары, забыв о размере головы или рук, но помня о безмерности человеческого страдания. «Здесь похоронено сердце Шопена» — чужестранец дивится, а и это в характере Польши.

В 1947 году польское правительство подарило нам, четырем советским писателям, произведения народного искусства.

Мне достался ковер, сотканный из лоскутков Галковскими в Кракове. Этот ковер с тех пор радует меня в трудные часы. Я гляжу на зверей, которых нет и не было, но которые живут, резвятся, рычат и дремлют в моей комнате, на девушек, на диковинных рыцарей и вижу не только чудесное сочетание тонов, полутонов, но и силу искусства.

Польша для меня неотделима от искусства, от правды преувеличений, от силы воображения, способной превратить, казалось бы, заурядный домишко в космос. В 1947 году была трудная эпоха для поэтов или художников. Однако и тогда я увидел много холстов, показывавших, что искусство живо. Нужно ли говорить о последующем десятилетии? Некоторые польские фильмы обошли мир. Начали переводить польскую прозу. Помню, как я читал путевые заметки Казимежа Брандыса, он рассказал, что чувствовал, завтракая в приветливой чистенькой гостинице Западной Германии,— я нашел художественное выражение того, что смутно чувствовал.

Вдохновение в Польше не удел избранных, оно в гуще народа. Достаточно поглядеть на серо-черные кувшины — в них все оттенки и все благородство горя. Крестьянка, никогда не бывавшая в городе, вызывает из бумаги тропические роци. Если зайти в магазин утвари, то поражаешься не только вкусу, но и фантазии. Может быть, именно эта насыщенность искусством притягивает меня к Польше? Но ведь она связана с характером народа, и я не забываю ни батальона Домбровского в Испании, ни женщину, которая таскала камни на стройке в Варшаве.

Я говорил о Тувиме. Мне хочется теперь сказать о его друзьях из «Скамандра», с которыми я часто встречался в Варшаве. Слонимский некоторым кажется англичанином, чересчур насмешливым, даже едким, а за его иронией скрыты доброта, безрассудство польской поэзии и польской судьбы. Ирония у разных народов разная — Сервантес не похож ни на Свифта, ни на Мольера. Ирония Слонимского не раствор, а эссенция, может быть, слишком крепкая для другой страны или для другой эпохи, а если она и разбавлена, то не водой, а слезами. Ивашкевич на первый взгляд кажется баловнем судьбы, он мягок, даже благодушен, но никак душевно не благополучен. Он похож на мечтателя шляхтича, но в его книгах много современного смятения. Я вспоминаю сейчас его новеллу, написанную в тридцатые годы,— польский писатель едет во

Флоренцию на какой-то конгресс (видимо, и писатели и конгрессы всегда были — это как дождь). Новелла напоминает тургеневские «Вешние воды», но в ней воздух нашего века — любовь не та, да и не то отчаяние.

В 1947 году я еще не мог забыть о поездке в Польшу двадцать лет назад, когда мы жили в разных мирах, — старался быть особенно вежливым, обходить темы, связанные с трудностями того времени, — словом, частенько вел себя как дипломат. Расскажу о смешном и потому, что лирику мне всегда хочется перебить шуткой, и потому, что этот рассказ покажет, насколько я тогда не понимал происшедших перемен.

Я говорил, что поляки приняли нас на редкость гостеприимно. Нам поручили привезти в Москву к Октябрьским праздникам делегацию польских писателей. Я радовался, что мы сможем их принять, как они приняли нас. Поехали с нами известная писательница Налковская (ей было за шестьдесят), драматург Кручковский, который тогда был вице-министром культуры и искусства, и молодой поэт Добровольский. До Бреста мы ехали в специальном вагоне со всеми онерами, а в Бресте нас никто не встретил. (Потом я узнал, что телеграмма опоздала.) Все выглядело катастрофично: в «Интуристе» наотрез отказались продать для гостей билеты в кредит, а рублей у нас, разумеется, не было. Налковская, увидав советский состав, сказала, что устала, хотела бы прилечь. Я ответил, что посадка не началась. (На беду, в ту самую минуту в вагон вошел генерал, адъютант тащил его чемоданы.) Я позвонил секретарю обкома. Рабочий день кончился, и разыскал я его дома. Он выслушал, пособолезновал, но объяснил, что в обкоме никого нет — где же он достанет деньги? Я начал увещавать, молить, даже глухо пригрозил «дипломатическими осложнениями». Он отвечал: «Попробую, но за результаты не ручаюсь...» Прошел час, два. Налковская спрашивала, не началась ли посадка. Кручковский учтиво молчал. Добровольский что-то говорил о стихах Галчинского и Пастернака. Но мне было не до поэзии, я то и дело убегал — звонил секретарю обкома, глядел, не покажется ли машина. Наконец секретарь обкома приехал: «Достал на три спальных...» Я попросил его приветствовать гостей. Налковская наконец-то смогла прилечь. А мы собрались в купе и начали считать имевшиеся у нас рубли. Сегодня — ужин, завтра — завтрак, обед, ужин, послезавтра мы приезжаем в одиннадцать, — значит, еще один

завтрак. А денег только на ужин сегодня. Бровка сказал, что завтра утром сойдет в Минске, жалко, что до города далеко...

Я попытался попросить в вагоне-ресторане, чтобы нас кормили в кредит, в Москве на вокзале мы расплатимся, но мне ответили, что это исключено — в пути может сесть контролер. Мы пошли ужинать, заказали пол-литра. Налковская попросила маленький стакан красного вина. Подали бутылку. Добровольский снова заговорил о поэзии и вдруг сказал: «Я хотел бы увидеть поэта, который может превратить пустую бутылку в полную...» Я убежал, снова пересчитал наши капиталы и заказал еще одну бутылку. Утром мы сказали, что не завтракаем — пьем только чай. В Минске Бровка распрощался со всеми, и вдруг я увидел Петра Устиновича, который несся обратно, как чемпион по бегу: «До ЦК далеко, я добежал до дому, а жены нет, вот все, что нашел в ящике стола...» Он сунул мне в руку бумажки. На обед хватило. Мы решили сказать, что вечером не будем ужинать, но вечером в Смоленске нас ждало чудо — в вагон вошел писатель Симонов. Я тотчас отозвал его в сторону и попросил сказать гостям, что он приехал из Москвы, чтобы встретить делегацию. Потом я спросил его: «Сколько у вас денег?..» Он ответил: «Ничего нет. Я обрадовался, увидев вас, думал, поужинаем, выпьем бутылочку вина...» В одном из купе оказался знакомый Симонова. Мы были спасены.

Два года спустя, подружившись с Добровольским, я рассказал ему, что пережил, когда он заговорил о превращении пустых бутылок в полные. Он долго смеялся: «Да ведь это чисто польская история...» Смеялся потом и Кручковский.

Конечно, когда я говорю, что теперь ничего нас не отделяет от поляков, я меньше всего думаю об «Интуристе». В 1928 году поляки и мы жили в разных мирах. Даже Тувим, даже Броневский тогда многого не понимали, да и я часто судил опрометчиво. Некоторые традиционные предубеждения оказались живучими, и только приехав в Варшаву в 1947 году, я почувствовал, что ничто больше нас не разделяет. Слонимский, Ивашкевич — это давние друзья, но я познакомился с молодыми писателями и, беседуя с ними, не ощущал границ стран или границ поколений.

Ни осенью 1947 года, с которой я начал эту главу, ни впоследствии в Польше я не знал одиночества, — это сухая справка, но она говорит о многом.

Месяцы, о которых мне предстоит рассказать, может быть, самые тяжелые в моей жизни, и я надолго прервал работу: не решался начать эту главу. С какой радостью я опустил бы ее! Но жизнь не корректура, и пережитого не перечеркнешь. С тех пор прошло пятнадцать лет. Я не хочу беречь заживающие раны, не назову некоторых — меньше всего меня привлекает роль прокурора. Притом я многого не знаю, ограничусь тем, что коротко, сухо расскажу о пережитом.

Теперь я понимаю, что начало некоторых событий, о которых хочу написать, связано с трагической смертью С. М. Михоэлса, и прежде всего скажу о Соломоне Михайловиче. Познакомился я с ним давно, еще в двадцатые годы, но мало его знал; а понял и полюбил в годы войны; одно время он довольно часто приходил к нам в гостиницу «Москва», иногда горевал вслух, иногда дурачился, иногда как-то вбирал в себя руки и ноги, сжимался, молчал. Он был большим актером, и, конечно же, его стихией было искусство. Я хорошо помню его в роли короля Лира. Он казался неузнаваемым — в жизни он был небольшого роста и лицо у него было не короля, а, скорее, насмешливого интеллигента, с выпуклым лбом и выпяченной нижней губой. Но на сцене, высокий и трагичный, король Лир был невыразимо прекрасен в своем горе и гневе. Талант Михоэлса почитали актеры различных направлений; я помню, с каким восхищением говорили о нем и Качалов, и Мейерхольд, и Питоев. Никогда Михоэлс не был националистом, он любил русский язык, и его друг А. Н. Толстой иногда говорил: «Не понимаю, почему Соломон не хочет играть в русском театре...» Но у Михоэлса было любимое дитя — Еврейский театр. На спектакли этого театра приходили и зрители, не знавшие еврейского языка. Игра Михоэлса и Зускина была настолько выразительной, что все бывали захвачены похождениями местечкового Дон-Кихота или бедой Тевье-молочника.

Во время войны С. М. Михоэлс был душой Еврейского антифашистского комитета. Кто тогда мог думать об искусстве? Гитлеровцы убивали в местечках Украины и Белоруссии и старых героев Шолом-Алейхема, и девочек-пионерок. Михоэлса послали вместе с поэтом Фефером в Америку. В 1946 году американцы мне рассказывали, как в одном городе рухнула

эстрада — слишком много людей хотели подойти поближе к советским гостям. Михоэлс и Фефер собрали миллионы на советские госпитали, детские дома.

После победы к Михоэлсу обращались с просьбами тысячи людей — в их глазах он оставался мудрым ребе, защитником обиженных.

И вот Михоэлса убили...

Тогда нам сказали, что Соломон Михайлович поехал в Минск вместе с Голубовым-Потаповым по поручению Комитета, присуждавшего Сталинские премии, — он должен был дать отзыв о постановке, выставленной на премию. Ночью его позвали в гости — он шел опять-таки вместе с Голубовым-Потаповым по одной из окраинных улиц, и там не то бандиты убили обоих, не то их раздавил грузовик. Эта версия казалась убедительной весной 1948 года; полгода спустя в ней многие начали сомневаться. Когда арестовали Зускина, все задумались: а как погиб Михоэлс?.. Недавно советская газета, выходящая в Литве, рассказала, что Михоэлса убили агенты Берии. Не стану гадать, почему Берия, который мог бы преспокойно арестовать Михоэлса, прибег к злодейской маскировке; конечно, не потому, что щадил общественное мнение, скорее всего, развлекался.

Я был на панихиде по Соломону Михайловичу в помещении его театра. Изуродованное лицо загримировали. Произносили речи. Помню выступление Фадеева. На улице стояла толпа, многие плакали.

Двадцать четвертого мая был вечер памяти Михоэлса. Я выступал, не помню, что говорил. Было очень горько.

Но я еще ничего не предвидел.

В сентябре 1948 года я написал для «Правды» статью о «еврейском вопросе», о Палестине, об антисемитизме. Вот несколько цитат:

«Мракобесы издавна выдумывали небылицы, желая представить евреев какими-то особенными существами, непохожими на окружающих их людей. Мракобесы говорили, что евреи живут отдельной, обособленной жизнью, не разделяя радостей и горестей тех народов, среди которых они проживают. Мракобесы уверяли, будто евреи — это люди, лишённые чувства родины, вечные перекати-поле. Мракобесы клялись, что евреи различных стран объединены между собой какими-то таинственными связями.

...Да, евреи жили отдельно, обособленно, когда их к этому принуждали. Гетто было изобретением не еврейских мистиков, а католических изуверов. В те времена, когда глаза людей застилал религиозный туман, были среди евреев фанатики, как они были среди католиков, протестантов, православных и мусульман. И как только раскрылись ворота гетто, как только дрогнул туман средневековой ночи, евреи разных стран вошли в общую жизнь народов.

Да, многие евреи покидали свою родину, эмигрировали в Америку. Но не потому эмигрировали они, что не любили своей земли, а потому, что насилия и оскорбления лишали их этой любимой земли. Одни ли евреи искали порой спасения в других странах? Не так ли поступали итальянцы, ирландцы, славяне стран, находившихся под гнетом турок и немцев, армяне, русские сектанты?..

...Мало общего между евреем тунисцем и евреем, живущим в Чикаго, который говорит, да и думает по-американски. Если между ними действительно существует связь, то отнюдь не мистическая: эта связь рождена антисемитизмом... Невиданные зверства немецких фашистов, провозглашенное ими и во многих странах осуществленное поголовное истребление еврейского населения, расовая пропаганда, оскорбления сначала, печи Майданека потом — все это родило среди евреев различных стран ощущение глубокой связи. Это солидарность оскорбленных и возмущенных...

...Конечно, есть среди евреев и националисты и мистики. Они создали программу сионизма, но не они заселили Палестину евреями. Заселили Палестину евреями те идеологи чело-веконенавистничества, те адепты расизма, те антисемиты, которые сгоняли евреев с насиженных мест и заставляли их искать не счастья, а права на человеческое достоинство — за тридевять земель...»

В статье я приводил высказывания Горького, Ленина об антисемитизме, цитировал и Сталина: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма».

Газетная статья не исповедь, в ней многого не скажешь. Теперь, когда я дописываю книгу о моей жизни, мне хочется сказать, как я понимаю то, что часто называют «еврейским вопросом».

Ребенком я слышал разговоры о деле Дрейфуса, о еврейских погромах. Я знал, что Лев Толстой, Чехов, Горький возмущаются натравливанием русских на евреев. Несколько лет спустя я прочитал в подпольной газете статью Ленина. Мой отец говорил, что антисемитизм — пережиток, порождение фанатизма и невежества, и в этом я разделял его суждения.

Как читатель знает, я родился в Киеве, мой родной язык русский. Я не знаю ни идиш, ни древнееврейского языка. Никогда я не молился ни в синагоге, ни в православной церкви, ни в костеле. Меня восхищали и восхищают некоторые художественные памятники, которые для верующих связаны с религией, а для меня с человеческими мыслями и чувствами, — «Книга Иова», «Песнь песней», «Экклезиаст», Евангелия, в том числе «запретные», «Апокалипсис», Шартрский собор, Акрополь, иконы Андрея Рублева, живопись ф́ра Беато, индусские богини в Эллоре, фрески в древнем буддийском монастыре Аджанта. Однако все это для меня не мертвые каноны религий, а живое искусство. Детство и отрочество я провел в Москве, и мои товарищи были русскими. Когда я работал в подпольной организации, мы называли друг друга по кличкам, меня не интересовало, были ли среди моих товарищей евреи. Потом я очутился в Париже. Я встретил двух чудесных поэтов, — один из них, Аполлинер, был по происхождению поляком, другой, Макс Жакоб, евреем, но для меня оба были французами. Я полюбил итальянца Модильяни; однажды он мне рассказал, что он еврей, но для меня он оставался связанным с тревогой предвоенных лет и с искусством итальянского Возрождения, а не с древним Ягве.

Я люблю Испанию, Италию, Францию, но все мои годы неотделимы от русской жизни. Никогда я не скрывал своего происхождения. Были времена, когда я о нем редко думал, были и другие, когда я повторял всюду, где мог: «Я еврей», — мне кажется, что солидарность с теми, кого преследуют, — азбука человечности.

Я смотрел фильмы Чаплина, и мне не приходило в голову, что он еврей; об этом мне сообщили гитлеровцы. Они приво-дили черные списки. Евреями оказались композитор Дариус Мийо, философ Бергсон, люди, с которыми я встречался, не задумываясь над их происхождением, — Бенда, Анна Зегерс, писатели, которых я читал, как, например, Кафка.

Есть ли какой-то особый, присущий евреям национальный характер? Антисемиты и еврейские националисты отвечают положительно. Возможно, что века гонений и обид заострили иронию, раздували романтические надежды на лучшее будущее. Национальный характер ярче всего сказывается в художественном творчестве. Поэзия Гейне полна романтической иронии, но я не знаю, чем это объясняется — происхождением поэта или эпохой. Припоминая произведения моих современников — Модильяни, Кафки, Сутина, — я вижу прежде всего трагичность: она отражала действительность, воспоминания сочетались с предчувствием или предвидением. Математика относится к тем проявлениям человеческого разума, которые менее всего связаны с климатом, языком или традициями. Однако в Германии в начале тридцатых годов нашлись ученые, которые отвергали теорию относительности, открытую Эйнштейном, как «еврейские штучки».

В прежние времена антисемитизм был связан с религией, с идеей искупления: «Евреи распяли Христа». Власть духовенства постепенно ослабевала. Многие стали понимать, что Христос был одним из еврейских бунтовщиков и выступал против ортодоксальных священнослужителей, сотрудничавших с римскими оккупантами. Французская революция провозгласила равноправие евреев. Различные государства одно за другим отменяли существовавшие веками ограничения. Евреи начинали жить жизнью тех народов, на землю которых пришли их прадеды.

В конце прошлого века разразилось дело Дрейфуса, оно показало, что антисемитизм, прятавшийся в щели, жив. В течение нескольких лет к Дрейфусу, человеку самому по себе незначительному, исправному французскому офицеру, воспитанному на дисциплине, были обращены взоры миллионов людей. Когда Золя выступил с защитой невинно осужденного, его поддержали Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, Жорес, Анатоль Франс, Метерлинк, Энзор, Клод Моне, Жюль Ренар, Синьяк, Пегги, Мирбо, Малларме, Шарль-Луи Филипп. Кто же поддерживал обвинителей? Писатели-националисты — Баррес, Моррас, Дерулед. Антидрейфусары были не только антисемитами, но и врагами прогресса, шовинистами; в своих газетах и листовках они называли Золя «итальяшкой».

До революции русские евреи могли проживать только в черте оседлости. В городах и местечках Украины или Белоруссии

они жили обособленно, говорили на идиш. Революция все изменила; еврейская молодежь ринулась в русские школы, университеты. Еврейки выходили замуж за русских, евреи женились на русских. Обособленность евреев исчезала не только у нас, но и во Франции, даже в Германии. Тогда на помощь антисемитизму пришла «расовая теория» Гитлера.

Конечно, разговоры о существовании «низших рас» не были новыми. Рассказывая о поездке в южные штаты Америки, я хотел показать, насколько силен и живуч расизм в стране цивилизованной. Однако в двадцатые годы мы считали бывших рабовладельцев Алабамы или Миссисипи исключением. На сцене истории появился Гитлер. Он и его приверженцы начали доказывать, что существуют высшие расы, прежде всего «арийская», или «северная», и низшие, среди которых самая низшая — евреи.

В годы гражданской войны я увидел еврейский погром, организованный белыми. Несколько месяцев спустя пьяный врангелевский офицер с криком: «Бей жидов, спасай Россию!» — хотел сбросить меня с борта парохода в море. Мне казалось это естественным: призраки прошлого отстаивали власть тьмы.

В конце двадцатых годов я познакомился на Монпарнасе с еврейским писателем из Польши Варшавским, с его друзьями. Они мне рассказывали смешные истории о суевериях и хитроумии старозаветных местечковых евреев. Я прочитал сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью. Я решил написать сатирический роман. Герой его, гомельский портной Лазик Ройтшванец, горемыка, которого судьба бросает из одной страны в другую. Я описал наших нэпманов и захолустных начетчиков, польских ротмистров эпохи санации, немецких мещан, французских эстетов, лицемерных англичан. Лазик, отчаявшись, решает уехать в Палестину; однако земля, которую называли «обетованной», оказывается похожей на другие — богатым хорошо, бедным плохо. Лазик предлагает организовать «Союз возвращения на родину», говорит, что он родился не под пальмой, а в милом ему Гомеле. Его убивают еврейские фанатики. Моего героя западные критики называли «еврейским Швейком». (Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений не потому, что считаю ее слабой или отрекаюсь от нее, но после нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц мне кажется преждевременным.)

Приход Гитлера к власти меня поразил: цивилизованная страна была отброшена назад, в темноту изуверства. «Хрустальная ночь» (так называли гитлеровцы ночь грандиозных погромов) была для меня одним из проявлений ненавистного фашизма. Гитлеровцы жгли книги не только еврейских авторов, но и Энгельса, Ленина, Горького, Романа Роллана, Золя, Барбюса, Генриха Манна. Они убивали немецких коммунистов «арийского» происхождения. В Испании я увидел свирепую сущность фашизма.

Во время нашествия фашистов на нашу страну я был свидетелем множества зверств. Гитлеровцы убивали русских детей, жгли деревни Украины и Белоруссии. Об этом я писал каждый день в газете. Об этом писали и другие. Гитлеровцы в своих листовках уверяли, что они воюют только против евреев, нужно было опровергнуть эту ложь.

Идеи сионистов, связанные с древней историей, никогда меня не увлекали. Государство Израиль, однако, существует. Во времена расцвета арабской культуры евреи не знали преследований, подобных инквизиции, в различных калифатах Андалузии жили, работали такие люди, как философ Маймонида и поэт Галеви. Я хочу верить, что евреи Израиля, на себе узнавшие, что такое несправедливость, найдут путь для примирения с арабами. Каждому ясно, что миллионы евреев, живущих в разных странах Европы и Америки, не могут разместиться на территории Израиля, да они и не хотят туда уезжать — они тесно связаны с народами, среди которых живут. Негры Алабамы или Миссисипи вовсе не мечтают уехать в одно из суверенных государств Черной Африки, они требуют равноправия и борются против расовых предрассудков.

Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев, в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из расистских семян, живучесть предубеждений и предрассудков. Выступая по радио в день моего семидесятилетия, я сказал моим читателям, что буду всегда говорить, что я — еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит. Не национализм продиктовал мне эти слова, но мое понимание человеческого достоинства. Я продолжаю думать, что антисемитизм — отвратительный пережиток прошлого, что он исчезнет, как исчезнут все расовые предрассудки; только теперь, увы, я знаю, что очистить сознание от вековых предрассудков — дело очень долгое.

Вернусь ко времени, о котором рассказываю. В конце 1948 года закрыли Еврейский антифашистский комитет, газету «Эйникайт». Вскоре арестовали поэтов и прозаиков, которые писали на идиш: Переца Маркиша, Квитко, Бергельсона, Фефера и других.

В январе 1949 года газеты сообщили «о раскрытии антипатриотической группы театральных критиков». Почему кампания началась со второстепенного вопроса — с театральной критики? Не знаю. Может быть, Сталину вовремя пожаловался обиженный драматург, а может быть, случайно, — не все ли равно, в какое место пруда бросить камень — лишь бы от него пошли круги.

В первой же статье, которая открыла новую кампанию, имелась такая фраза: «Какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека?» Два дня спустя я прочитал другую статью, в ней «гурвичи и юзовские» писались со строчных букв. Круг «космополитов» ширился: к критикам присоединили некоторых поэтов и кинорежиссеров. Две недели спустя начали разоблачать «безродных космополитов», скрывавшихся за псевдонимами.

Многие мои русские друзья с возмущением относились к происходившему; помню беседы с Образцовым, Кончаловским, архитектором Рудневым, Фадеевым, Всеволодом Ивановым, скульптором С. Д. Лебедевой. Нужно ли напоминать, что всякий расизм, в том числе и антисемитизм, шел вразрез и с традициями русской интеллигенции, и с теми высокими идеями интернационализма, которые были заветом Ленина и на которых воспитывались советские люди?

Преследование «космополитов» не было обособленным явлением. Арестовывали множество людей, побывавших, конечно, не по своей вине, в фашистском плену, не успевших эвакуироваться, вернувшихся добровольно из эмиграции, репрессированных в тридцатые годы, имеющих за границей родственников; произвол, осуществляемый Берией, был воистину всеобъемлющ.

Что касается меня, то с начала февраля 1949 года меня перестали печатать. Начали вычеркивать мое имя из статей критиков. Эти приметы были хорошо знакомы, и каждую ночь я ждал звонка. Телефон замолк, только близкие друзья спрашивались о моем здоровье. Да еще «проверяли»: знакомые по-

осторожнее звонили из автомата — хотели узнать, не забрали ли меня, а когда я отвечал «слушаю», клали трубку.

В марте 1938 года я с тревогой прислушивался к лифту: мне тогда хотелось жить; как у многих других, у меня стоял наготове чемоданчик с двумя сменами белья. В марте 1949 года я не думал о белье, да и ждал развязки почти что безразлично. Может быть, потому, что мне было уже не сорок семь лет, а пятьдесят восемь — успел устать, начиналась старость. А может быть, потому, что все это было повторением, и после войны, после победы над фашизмом, происходившее было особенно нестерпимым. Мы ложились поздно — под утро: мысль о том, что придут и разбудят, была отвратительна. Как-то позвонили в два часа ночи. Люба пошла открыть дверь. Я ни слова не сказал, только поглядел на нее. Оказалось, это шофер Симонова — его прислала жена Константина Михайловича, полагая, что Симонов у меня.

В конце марта прибежал кто-то из приятелей и восторженно воскликнул: «Значит, неправда!..» Он рассказал, что накануне один достаточно ответственный в то время человек на докладе о литературе в присутствии свыше тысячи человек объявил: «Могу сообщить хорошую новость — разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Илья Эренбург».

Я написал короткое письмо Сталину: писал, что уже два месяца лишен газетной работы и что вчера такой-то объявил, будто я арестован. Я, однако, еще не арестован и прошу поручить выяснить мое положение. Я хотел одного — чтобы кончилась неизвестность. Письмо я сдал в кремлевскую будку.

На следующий день мне позвонил Маленков. Я хорошо помню разговор. «Вы писали Сталину. Он поручил вам позвонить. Скажите, откуда это пошло?..» — «Не знаю. Я хотел бы вас об этом спросить». — «Но почему вы не предупредили нас раньше?» — «Я говорил с товарищем Пospelовым, это все, что я мог сделать». — «Странно, товарищ Пospelов такой чуткий человек, а он нам ничего не сказал...» (П. Н. Пospelов несколько лет спустя говорил мне, что это неправда, он все передал, но его слова не возымели действия.)

Сразу затрещал телефон: различные редакции говорили, что «произошло недоразумение», статью напечатают, просили еще написать.

У меня в это время были А. М. Эфрос и Л. Н. Чернявский. На диване лежал Г. М. Козинцев, заболевший гриппом.

Григорий Михайлович вскочил, завернувшись в одеяло. Все взволнованно говорили.

Задним умом все крепки. Весной 1949 года я ничего не понимал. Теперь, когда мы кое-что знаем, мне кажется, что Сталин умел многое маскировать. А. А. Фадеев говорил мне, что кампания против «группы антипатриотических критиков» была начата по указанию Сталина. А месяц или полтора спустя Сталин собрал редакторов и сказал: «Товарищи, раскрытие литературных псевдонимов недопустимо — это пахнет антисемитизмом...» Молва приписывала произвол исполнителям, а Сталин будто бы его останавливал. В конце марта он, видимо, решил, что дело сделано.

От злорадства зарубежных врагов нашей страны мне было вдвойне горько. Я видел народ, который тридцать лет подряд боролся за идеи Октября, за братство против интервентов и белогвардейцев, против фашистского нашествия, против погромщиков и расистов. Народ был неповинен в тех газетных статьях, о которых я говорил, он трудно жил, работал с утра до ночи и не сворачивал с избранного им нелегкого пути.

Несколько лет спустя один журналист в Израиле выступил с сенсационными разоблачениями. Он утверждал, что, находясь в тюрьме, встретил поэта Фефера, который будто бы ему сказал, что я повинен в расправе с еврейскими писателями. Клевету подхватили некоторые газеты Запада. У них был один довод: «Выжил? Значит, предатель».

Я был в плохой форме, не мог работать. А тут мне сказали, что нужно ехать в Париж, на Конгресс сторонников мира. Защита мира казалась мне прекрасным делом, но я чувствовал, что у меня нет сил. Очутиться за границей в таком состоянии — да ведь это пытка! Меня попросили написать выступление и дать его просмотреть. Когда передо мной оказался белый лист, я начал писать о том, что меня волновало. В написанной речи были такие строки: «Нет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры — кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность». Меня вызвал Григорьян, занимавший довольно высокий пост, жал руку, благодарил. На столе у него лежало мое выступление, перепечатанное на хорошей бумаге,

и против процитированного мною места на полях значилось «Здорово!». Почерк показался мне мучительно знакомым...

Мы вылетели в Париж в середине апреля. В Москве было холодно, в лесочке возле Внукова еще белел снег. Люба говорила, что в Париже я отдохну, развлежусь; я отвечал: «Конечно».

На аэродроме в Париже я увидел Эльзу Юрьевну. Она сказала, что Арагон и она заедут за мной вечером — мы вместе поужинаем. Нас повезли в посольство, где посол объяснил политическое положение. Я старался слушать — и не мог. Вдруг я понял, что заболел — весь в поту, наверно, температура. Это уж совсем глупо!.. Потом меня повезли в гостиницу на правом берегу возле зала Плейель, где должен был проходить конгресс. Я ничего не понимал, не видел — сильный жар. Вдруг шофер, пожилой француз, сказал: «Ну и жарыща!..» Я вытаращил глаза: «Вам, значит, тоже жарко?..» Он, в свою очередь, удивился: «Да ведь тридцать градусов, все газеты пишут, что такого в апреле не было сто лет...» Я обрадовался: значит, не болен. Я увидел то, чего прежде не замечал: на верандах кафе люди без пиджаков жадно пьют пиво или лимонад. Но в голове по-прежнему было смутно.

Арагоны повели меня в ресторан «Медитерране»; там было шумно, тесно; люди рассказывали о том, как провели пасхальные каникулы. К Арагонам подходили знакомые, шутили. А Луи и Эльза меня спрашивали по-русски: «Что это значит — «космополиты»? Почему раскрывают псевдонимы?» Это были свои люди, я их знал четверть века, но ответить не мог. Подошел Кокто и завел светский разговор, я старался улыбаться. Ворочали усищами огромные лангусты. Соседи смеялись. Было нестерпимо жарко.

В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет — мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повертелся с боку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать — что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты — заболеть, объяснить, что не смогу выступить, просто сказать: «Хочу домой». Так я просидел до утра. Передо мной вставал Перец Маркиш таким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы газетных статей и тупо повторял: «Домой!»...

Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, добавлю одно — самой страшной была первая ночь в Париже, в длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он «верен людям, веку, судьбе».

16

Утром, когда я брился, в комнату вбежал Фотинский: «Я прочитал в газете, что ты приехал, а в посольстве сказали, где ты...» Фотинский не задавал мне неприятных вопросов, а начал рассказывать о забастовках, о том, что все против правительства, о Монпарнасе, о Дусе, о художниках, «Много интересных выставок. Ты сейчас свободен?..» Мы пробродили до обеда. Я глядел то на Сену, то на серые дома с зеленоватыми ставнями, то на яблоки Сезанна. Все мне казалось прекрасным и бесконечно чужим. Фотинский вдруг встревоженно спросил: «А ты здоров?» Я ответил, что здоров, но не выспался. Я ни о чем не думал, но ничего не мог забыть, мне трудно было разговаривать — отвечал невпопад.

Перед обедом мы зашли в кафе. На столике лежала оставленная кем-то газета. Я машинально развернул, мне бросилась в глаза заметка: «Преступная слабость правительства. Вчера из Москвы прилетела группа, которой поручено организовать в Париже беспорядки под вывеской «конгресса за мир». Правительство выдало визу даже хорошо известному Илье Эренбургу, который написал клеветнический «роман» «Падение Парижа» и который примечателен тем, что получил от Сталина дворец великого князя в Крыму за организацию террористической сети в странах, свободных от коммунистической тирании. Вместе с Эренбургом «защищать мир» будут уполномоченный Тореза расторопный Арагон, английский «ученый» Бернал, неизвестный в научных кругах, но слишком хорошо известный полиции, некто Цвейг, выдающий себя за писателя, разумеется, Жолио-Кюри, решивший окончательно променять профессию физика на должность главного кремлевского агитатора, и старый клоун Пикассо, изготовивший марксистскую голубку, которая загадила все стены нашего прекрасного, но, увы, беззащитного Парижа». Я засунул газету в карман и

сказал Фотинскому: «Давай выпьем за врагов». Он не понял, а я не стал объяснять.

Работая над этой книгой и вспоминая трудные годы, я часто с благодарностью думаю о врагах. Конечно, ругань вроде тех строк, которые я выписал, можно было найти только в листках будущих «ультра», «Фигаро», даже «Орор» говорили языком более сдержанным, но они также клеветали, грозили. Враги помогали мне многое преодолеть, напоминали, что, как бы ни были горьки события последних месяцев или лет, они не должны заслонить главного. Так было и в тот день — я как-то очнулся, даже повеселел.

На следующий день открылся Конгресс сторонников мира. Он заседал в большом концертном зале Плейель — в районе, где живут состоятельные люди. Однако с утра возле входа в зал толпились и студенты, и модистки, и рабочие, и случайные зеваки. Жолио-Кюри, Пикассо, Ива Фаржа, Арагона узнавали, приветствовали. Разглядывали яркие народные костюмы некоторых полек и словачек, юбочки шотландцев. Гадали, откуда приехал бородатый епископ в ослепительно белом клобуке — из Греции или из Болгарии? А это был митрополит Крутицкий Николай. (Я несколько раз летал с ним на конгрессы или сессии Всемирного Совета и всегда видел картонку для дамских шляп, в которой он вез клобук.)

Зал был набит и делегатами, а их было около двух тысяч, и гостями. Раздавались возгласы на понятных и непонятных языках. Зал был шумливым, южным — самыми многочисленными делегациями были французская и итальянская. Это был, кажется, первый международный конгресс после войны, и молодым все было внове. Речи то и дело прерывались возгласами, смехом, аплодисментами.

В 1949 году «холодная война» перешла из газетных статей не только в государственные договоры, но и в повседневный быт. Именно в том году родился Атлантический пакт. Раскол Германии принял государственные формы: в том же году в Бонне была провозглашена федеральная республика, а полгода спустя образовалась демократическая республика. На одном из заседаний конгресса огласили сообщение, что Народная армия освободила Нанкин; Китайская Народная Республика родилась в 1949 году, и в том же году Голландия вынуждена была признать независимость Индонезии. Во Вьетнаме продолжались бои. Сражались и в Греции, перед открытием

конгресса партизаны снова заняли гору Граммос, но исход гражданской войны был предрешен «доктриной Трумэна». В Италии то и дело вспыхивали забастовки, происходили бурные демонстрации, никто не знал, как повернутся события. Мне казалось, что и в самой Франции борьба разгорается; только год спустя я понял, что грандиозные забастовки 1947—1948 годов были последними валами послевоенной бури. Американцы давали деньги («план Маршалла»). Заводы начали обновлять обветшавшее оборудование. В магазинах стало больше товаров. Правда, цены росли и многие французы еще жили очень плохо. Но все понимали, что страна экономически встает на ноги.

Однако и читатели «Фигаро», и читатели «Юманите» боялись думать о будущем. В одном средней руки ресторане я услышал разговор, который мне напомнил весну 1939 года: «Мы решили провести каникулы возле Брива, там у жены тетка. Конечно, если не начнется война...» О таких же настроениях мне рассказывали англичане, итальянцы, бельгийцы. Конгресс отвечал тревоге сотен миллионов людей — слишком свежей была память о годах войны, слишком тревожными газетные сообщения. Одни опасались, что американцы начнут превентивную войну, другие считали, что не сегодня-завтра русские танки двинутся к атлантическому побережью.

Газеты, поддерживавшие политику Трумэна, хотели замолчать конгресс, но не выдержали. Передо мною заметка в «Пари-пресс»: «На пресс-конференции знаменитый советский писатель Илья Эренбург ответил на вопрос одного журналиста, не считает ли он, что Соединенные Штаты действительно хотят мира: «Нельзя делать два дела вместе — говорить о мире и при этом вытаскивать из кармана атомную бомбу». Американская реакция была молниеносной. Вчера вечером аташе государственного департамента г. Мак Дермотт заявил: «Участники Парижского конгресса сторонников мира стараются доказать, как это им предписано, что только Советский Союз хочет мира. Все это ловкая пропаганда Москвы». Французская газета «Ле монд» писала, что коммунисты «нашли лозунг, понятный всем».

Были ли конгресс коммунистическим, как утверждали газеты? По-моему, нет. Если просмотреть состав инициативного комитета, приветствия, список участников, можно увидеть ряд имен политических деятелей, писателей, художников, очень

далеких от коммунистической идеологии. Назову некоторые имена, которые имеются в маленькой энциклопедии Ларусса, следовательно — известны даже французским школьникам: бывший президент Мексики Карденас, бельгийская королева Елизавета, Генрих Манн, Матисс, Шагал, Чарли Чаплин, драматург Салакру. Среди различных организаций, поддержавших созыв конгресса, я нашел такие: Союз часовых мастеров Женева, университет Панамы, Союз художников Аргентины, Объединение мелких коммерсантов Туниса, Ассоциация норвежских домашних хозяек, Лига защиты детей в Сирии и другие, мало напоминающие компартии.

На конгрессе я слышал несколько выступлений людей, которых трудно причислить не только к коммунистам, но и к социалистам. Американского юриста Рогге я встретил впервые на Бродяцком конгрессе. Он показался мне хорошим оратором, человеком с путаными идеями, деловым и в то же время наивным — я встречал таких в Америке. Беседуя со мной, он говорил, что спасение человечества в психоанализе. Ему аплодировали, когда он осудил Атлантический пакт. Он сказал, что американцы напрасно боятся русских, а русские американцев, мир идет к войне, подгоняемый всеобщим страхом. Он сказал также, что у капитализма и у социализма есть свои слабости и свои достоинства; молодые итальянцы и французы неодобрительно зашумели. Однако проводили Рогге аплодисментами и выбрали в постоянный комитет конгресса. (На Втором конгрессе, в Варшаве, Рогге протестовал против нападков на Югославию, обвинял в корейской войне обе стороны. Его речь прерывали свистки наиболее экспансивных делегатов. Он отошел от движения.)

Английский юрист Мур с юмором, напоминающим «Пиквикский клуб», обличал некоторые, на его взгляд, чересчур воинственные речи делегатов, советовал быть осмотрительнее в выражениях, искать не односторонних осуждений, а соглашения, приемлемого для обеих сторон. «Холодная война» приучила всех к другому языку, и речь Мура многих рассердила, но ему дали договорить до конца, и часть зала ему аплодировала.

Пожалуй, наиболее возмутила молодых коммунистов речь шведской пацифистки, руководительницы религиозной организации Седергрэн. Я сейчас просмотрел стенограммы конгресса. Седергрэн сказала: «Нам угрожают два гиганта — американский

капитализм и русский большевизм». (Шум в зале.) Кончила она словами: «Попытаемся же стать мостом над бездной, разделившей мир. Человечеству нужны мир и свобода». (Шумные аплодисменты.)

На конгрессе выступили только два человека, известные всем как профессиональные политики: итальянский социалист Ненни и левый лейборист Зиллиакус. Делегаты знали, что Жолио-Кюри, Пикассо, Неруда, Амаду — коммунисты, но для всех они были большими учеными или художниками.

(Как всякое движение, Движение сторонников мира пережило и приливы и отливы, было текучим — одни уходили, приходили другие. В 1956 году от движения отошло большинство итальянских социалистов. В разное время и по разным причинам ушли писатели Фаст, Бломберг, Веркор, Мартен-Шофье, Кассу, Итало Кальвино. В 1952 году на конгрессе выступил Сартр. К движению примкнули д'Астье, шведский писатель Лундквист, депутаты индийской партии Конгресса, японский профессор Ясуэ, многие другие. Пожалуй, всего характернее для Движения сторонников мира роль людей, которых никак нельзя назвать профессиональными политиками, — ученых Жолио-Кюри, Бернала и блистательных дилетантов в различных областях, включая политику, вроде Ива Фаржа или д'Астье.)

Если в 1949 году социальная борьба в Западной Европе начала несколько утихать, то борьба против подготовки войны только начиналась. Конечно, на Парижском конгрессе было немало людей известных (перечислю хотя бы писателей: Арагон, Неруда, Элюар, Амаду, Арнольд Цвейг, Фадеев, Зегерс, Гильен, Андрич), но это был прежде всего конгресс людей, чьих газеты называют «простыми», хотя зачастую они куда сложнее многих знаменитостей.

В кулуарах я познакомился с делегаткой города Лориан, сильно разрушенного во время войны; ее фамилия была Кере. На конгрессе она не выступала, но рассказала мне, почему решила бороться за мир: «Мой Луи был матросом, он погиб в 1942 году. У него была невеста. Он был такой веселый... Мой Жозеф ушел в маки. Он партизанил недалеко от Лориана. Его послали на мотоцикле не знаю зачем, и один мерзавец его выдал, его пытали, потом убили и сожгли, это мне рассказал его товарищ. Мой Жильбер партизанил в Коррез, а потом, как Луи, возле Лориана. Он был ранен, ему ампутиро-

вали обе ноги, он умер накануне победы — седьмого мая. Мне сказали в госпитале, что перед смертью он звал маму. Мой Альберт был женат, остались две дочки. Его расстреляли возле нашего дома... Я здесь познакомилась со многими матерями, я понимаю, почему они приехали. У нас слишком короткие руки, чтобы обнять как следует в первый день войны, а потом и руки ни к чему — некого обнимать...» Я записал ее рассказ.

Я встретил на конгрессе некоторых моих старых друзей — итальянского писателя Бонтемелли, Пабло Неруду, я их не видел после войны; познакомился с людьми, с которыми потом подружился, — с Жюлио-Кюри, Фаржем, Жоржи Амаду, Монтегю (о них расскажу в следующих главах). Мои дни были полны впечатлениями — многое и для меня было внове.

На конгрессе были и югославы; но по решению Сталина их в газетах социалистических стран называли «изменниками». Милый Андрич прислал мне гаванскую сигару с записочкой: «Мы сейчас не можем встретиться, но знайте, что я остаюсь вашим другом».

На второй день конгресса французы устроили в баре зала Плейель мою пресс-конференцию. Собралось полтора ста журналистов различных стран и различных мастей. Мне пришлось ответить на девяносто два вопроса, некоторые из них были коварными. Газета «Ле монд», относившаяся к конгрессу, скорее, неприязненно, писала: «У г. Ильи Эренбурга галстук завязан наизнанку, и вид у него человека очень рассеянного, но он показал в своих ответах, что внешность обманчива». Газета «Джиорнале д'Италия» сообщала: «Удивительно спокойно Илья Эренбург отвечал на многочисленные вопросы и вышел сухим из воды». На самом деле я очень волновался, может быть, именно поэтому казался спокойным.

После пресс-конференции я пошел с Гильеном в маленький ресторан на левом берегу Сены. В феврале я перевел десяток коротких стихотворений Гильена. Он попросил меня прочесть переводы и, улыбаясь, повторял:

Ах, Куба, скажи мне, откуда
Взяла ты эту лазурь...

Мы говорили о сути поэзии — о непонятном притяжении и отталкивании слов, и я не вспоминал пресс-конференцию.

Журналисты мне, однако, не давали покоя. На следующее утро, не стучась, вошел фоторепортер и, разочарованный, сказал: «Вы уже одеты? Ничего не выйдет...» Вечером я ужинал с итальянскими писателями; пригласил меня издатель Эйнау-ди. По его просьбе я выбрал ресторан — ту «Жозефину», куда водил генерала Галактионова и Симонова. Мы оживленно беседовали в маленькой комнате, когда муж Жозефины, чрезвычайно рослый мужчина, сказал мне: «Там два журналиста, они хотят вас сфотографировать». Я поглядел в щелку и увидел того, что утром, не стучась, ворвался в мой номер. «Не хочу», — ответил я. Донесся шум — это хозяин выбросил на улицу упрямых репортеров. Я вернулся в гостиницу поздно ночью. Лифт был с решеткой. Вдруг вспыхнула лампочка, я увидел знакомое лицо, аппарат. В «Самди-суар» появилась фотография с пояснительным заголовком: «Илья Эренбург в Париже скрывается за железным занавесом». Я походил на злого старого каторжника — фоторепортер умел работать.

Если просмотреть стенограммы конгресса и припомнить климат тех лет, то можно назвать мое выступление вполне миролюбивым. Я говорил, что писал его в Москве, надеясь — не понравится и не пошлют на конгресс. Я не только отрекся от модного тогда утверждения, что приоритет почти всех открытий принадлежит русским, но и припомнил слова Герцена о «священных камнях» Европы. В конце речи я сказал: «Сохраним наш общий дом, нашу древнюю культуру! Мы обращаемся с этим призывом не только к нашим единомышленникам, но ко всем людям доброй воли, будь они марксисты или кантианцы, католики или свободомыслящие. Мы пришли сюда не для того, чтобы доказывать правоту наших идей или превосходство нашего социального строя. Мы предпочитаем это доказать трудом, творчеством, прогрессом. Мы пришли сюда, чтобы протянуть руку всем людям, которые ненавидят войну». Это понравилось залу, а говорил я искренне: считал (и теперь считаю), что только при таком объединении можно сохранить мир.

На следующий день, в воскресенье, был грандиозный митинг в южном пригороде Парижа на стадионе Буффало. Из провинции прибыли «караваны мира» — поезда, автобусы, добрались «караваны» из Италии с мэрами двадцати городов, из Бельгии, Голландии. Делегации проходили перед трибуной президнума конгресса. Стадион вмещает восемьдесят тысяч

человек, а демонстрантов было, судя по газетам, четыреста — пятьсот тысяч. Меня особенно взволновало шествие бывших узников гитлеровских концлагерей. Они шли в полосатых костюмах с номерами — сохранили их как реликвии.

К вечеру сразу после конца митинга разразилась гроза с проливным дождем. На улице предместья я забрался под навес. Рядом стояла женщина в черном суконном платье — так одеваются крестьянки, отправляясь в город; лицо у нее было румяное и морщинистое, похожее на зимнее яблоко. Она радовалась ливню — ведь дождей не было с февраля при необычно ранней и знойной весне: «Вот даже бог почувствовал!..» По улочке бежали участники демонстрации, подгоняемые дождем, и, глядя на них, женщина сказала: «Теперь они увидят, что люди не дураки...»

Меня позвал к себе в мастерскую Пикассо.

Я принес газету, в которой была напечатана заметка под заглавием «Черчилль и Пикассо». Пикассо попросил прочитать ее вслух. В заметке говорилось о завтраке, устроенном президентом Английской академии художеств Альфредом Мениннгсоном, на котором присутствовали Черчилль и маршал Монтгомери. Президент в своем тосте ополчился на современную живопись, особенно на Пикассо и Матисса: «Они не могут нарисовать дерево. Кстати, г. Уинстон Черчилль разделяет мое мнение. Недавно во время прогулки он обратился ко мне с вопросом: «Послушайте, Альфред, если мы сейчас встретим Пикассо, поможете ли вы дать ему ногой в зад?» Я ответил: «Разумеется». Пикассо сделал вид, что он испугался: «Хорошо, что я не в Лондоне! Их ведь двое. А вдруг и маршал бы присоединился...»

Элюар молчал и все время тихо улыбался. Мы побродили по большой мастерской, смотрели холсты, вдруг Элюар тихо сказал: «Это очень нужно. Не только мне или тебе — всем. Это как воздух...»

Пикассо поглядел на часы: «А ведь пора на конгресс...» Он прилежно слушал длинные речи, участвовал в комиссии, выступил ее докладчиком, — словом, вел себя как образцовый конгрессист. Только порой, когда какой-нибудь оратор, доказывая превосходство мира над войной, начинал цитировать Аристофана, Гюго, Маркса и Сталина, в глазах Пикассо вспыхивал лукавый огонек.

Меня повезли на улицу возле театра «Комеди Франсэз». В богатой квартире жил только что приехавший в Париж Пабло Неруда. Увидев его, я обомлел: никогда я не думал, что усы, даже большущие, могут настолько изменить лицо. Одни говорят, что Неруда похож на Будду, другие шутя сравнивали его с муравьем; во всяком случае, усы ему не подходят, да он их и отрастил, чтобы его не узнали. Из Чили он пробрался в Аргентину, а оттуда под чужим именем приехал в Париж. Он не мог показаться в зале Плейель до того, как власти легализируют его въезд во Францию— об этом шли переговоры.

Мы долго хлопали друг друга по спине. Потом Пабло сказал, что он голоден, и мы начали обедать. Важный лакей наливал чудесные вина. Неруда обличал чилийского диктатора Виделу, рассказывал, как его спрятали от полиции, как он перебрался через границу. Он похвалил бургундское вино, но добавил, что в Чили есть вина получше. Пообедав, он начал засыпать.

На конгрессе он появился в последний день, уже без усов. Его встретили и проводили оглушительной овацией. Не все, конечно, читали стихи Неруды, но все знали, что он — знаменитый поэт, что он выступил против диктатора, скрывался в подполье, перебрался через Анды (одни говорили — пешком, другие — на коне, третьи — на осле). Бог ты мой, как людям нужна романтика! Нужна она даже заведомым сухарям. А в зале было много молодых, они в восторге кричали — перед ними на трибуне поэт и герой, он читает стихи, это не отчет мандатной комиссии и даже не речь, посвященная Уставу ООН...

После конца конгресса мне не удалось побродить по Парижу, отдохнуть. Французские сторонники мира попросили Фадеева выступить в Лиможе, а меня в Дижоне. Я думал, что все пройдет спокойно, и утешал себя, что снова увижу город, который люблю.

В Дижоне мне сразу сказали: «Ваш приезд — бомба. Наверно, вечером будет драка». Мне дали местные газеты, и я прочитал уморительную историю. Один из членов муниципального совета, коммунист, предложил, чтобы меня приняли в мэрии. Это предложение вызвало в муниципальном совете оживленные споры. Мэром Дижона был католик, каноник Кир, который потом проявил себя смелым человеком и горячим

сторонником мира. В годы фашистской оккупации каноник вел себя как примерный патриот, был приговорен к расстрелу. В 1949 году он, однако, как очень многие, поддался антисоветской кампании и в корректной форме высказался против предложения коммунистов. Другие советники из правого лагеря повторяли доводы «Эпок» или «Орор», уверяли, что «Падение Парижа» — «грязная, клеветническая книга», что Конгресс сторонников мира устроен Москвой для того, чтобы усыпить французскую бдительность, что Советская Армия готовится к походу на Париж. В двенадцатом часу ночи приступили к голосованию. Восемнадцать советников голосовали против предложения, шесть коммунистов — за, а пять социалистов воздержались. Вот это меня и рассмешило. Можно воздержаться, когда голосуют закон, постановление, даже регламент, но вопрос шел о том, принять ли иностранного писателя в мэрии или нет, и социалисты все же воздержались. Я смеялся, а дижонские сторонники мира говорили, что им не до смеху. Воспользовавшись свободным часом, я пошел посмотреть химер на дижонском соборе Нотр-Дам.

Когда я вошел в зал, народу было столько, что люди не могли шелохнуться. Вдруг погас свет — не знаю, было ли это саботажем, как говорили дижонские друзья, или случайной аварией, но положение обострилось. На трибуну принесли несколько свечей. Зал гудел. В темноте легко начать драку, тогда всем придется уйти... Я решил прибегнуть к маневру. В самом начале речи я сказал, что приехал в Дижон, хотя во Франции останусь всего несколько дней. Я — офицер Почетного легиона, но визу мне не продлевают. А награду я получил в годы войны от генерала де Голля. В задних рядах раздали аплодисменты. Принесли еще одну свечу, и дижонец мне шепнул: «Это аплодируют голлисты, я знаю, где они сидят...» Вечер кончился благополучно.

Дижонцы решили повезти меня в винодельческий район Романэ, Вужо, Нюн. На следующий вечер я должен был выступить в Париже, и уехать туда нужно было не позднее двух часов. Мы выехали очень рано, и я раздобыл в гостинице только чашку черного кофе. Мы останавливались у виноделов, которых знали мои попутчики; принимали нас радушно, показывали виноградники, погреба, угощали вином. Я люблю красное бургундское, но его нужно пить за обедом с мясом или сыром. А мне приходилось дегустировать натошак, я боялся,

что опьянею, и все же пил: отказаться — значило обидеть людей, которые гордятся своими бутылками, как художник холстами.

В Нью меня повезли к богатой владелице виноградников. Она сначала недоверчиво на меня поглядывала, даже заметила, что предпочитает красное вино красным идеям. О конгрессе она ничего не знала: «Я не читаю газет. Там такой ужас, что теряешь голову. А мне нужно присматривать за вином... Я люблю читать романы, там, если даже герой погибает, то красиво, благородно...» Она начала приносить бутылки, к счастью, дала хлеб и сыр, обрадовалась, когда увидела, что я разбираюсь в вине, отмечаю лучшие бутылки. Один из моих попутчиков объяснил: я долго жил во Франции, написал роман «Падение Парижа». Женщина всплеснула руками: «Но я читала этот роман! Это ужасно грустная книга, я даже заплакала, когда убили бедную актрису». Она убежала и вернулась с бутылкой, покрытой густым слоем пыли: «Это самое лучшее вино в Нью. Случайно уцелела одна бутылка... Я хотела ее поднести канонику Киру. Но я уверена, что он не обидится, когда я ему расскажу, что угостила русского писателя, — он мне говорил, что русские замечательно воевали...»

Когда я доехал до Парижа, пришлось сразу отправиться в «Мютюалите» — я выступал в том самом зале, где в 1935 году заседал Антифашистский конгресс писателей. Доклад устроило Общество дружбы. Говорить мне было легко, а когда я кончил, ко мне подошел Элюар: «Знаешь, через две недели я, кажется, поеду с Фаржем в Грецию — в район, который наши удерживают. Это счастье!..»

На следующий вечер я выступал в Версале; не знал, как меня там встретят: Версаль — город чиновников, военных, рантье. Председательствовал один из вдохновителей общества «Франция — Советский Союз», почетный председатель государственного банка Франции Эмиль Лабеяри. Это был человек немолодой, с тем скрытым огнем, который отмечает людей прошлого века. В его квартире, весьма скромной, я увидел на стенах замечательные холсты и рисунки — он любил искусство. (Десять лет спустя он приехал в Москву. Я его позвал к себе, он принес рисунок Коро — драматический пейзаж. Я не хотел брать слишком ценный подарок: «Почему вы решили подарить его мне?» Он улыбнулся: «Потому что я стар

и потому что я вас люблю».) Я говорил о дружбе двух народов, о единстве культуры, о мире, и все оказалось проще, чем я думал.

В Постоянный комитет конгресса включили девять советских делегатов, в том числе и меня. Когда я прощался с Ивом Фаржем, он мне сказал: «Объясните вашим друзьям, что нужно бороться против врагов мира, а не против пацифистов или людей, которые не согласны ни с коммунистами, ни со мной, но искренне хотят мира и готовы участвовать в нашем движении...» Я ответил, что вполне с ним согласен.

В самолете я вспоминал дни конгресса. Люди, с которыми я встретился, мне понравились (некоторые из них потом стали моими близкими друзьями). Да и дело было чистым: постараться убедить всех, что третья мировая война уничтожит цивилизацию.

«Холодная война» проникала во все поры человечества. В Вашингтоне работала хорошо памятная Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, всех, кто осмелился вымолвить «мир», она осуждала за «сочувствие к коммунизму». В день отъезда из Парижа я прочитал в газете «Франс-суар» коротенькое сообщение, что полиция задержала «четырёх молодых коммунистов, которые возле здания посольства Соединенных Штатов кричали: «Мы хотим мира», и другие оскорбительные слова».

Я прочитал «Правду» от 1 мая. В статье одного литератора были суровые отзывы о писателях Запада. Синклера Льюиса называли «грязной душонкой», Хемингуэя — «потерявшим совесть снобом». Фейхтвангера — «литературным торгашом». Это было несправедливо и бессмысленно: в те годы мы как будто толкали людей к апологетам американской «комиссии». Я вспомнил слова Фаржа. Конечно, никто у нас не хочет войны; ни обыкновенные советские люди, ни Сталин. Но полагается ругать Запад, вот и стараются...

Конечно, я не мог тогда подумать, что Парижский конгресс станет началом нового тома моей жизни, что я буду отдавать различным конгрессам, конференциям, совещаниям больше времени, чем моему ремеслу. Я охотно выполнял и выполняю эту работу. Со дня Парижского конгресса прошло пятнадцать лет. Движение сторонников мира узнало и романтику и бюрократию, и победы и неудачи, и мудрые решения и грубые ошибки, но оно превратилось в подлинную силу.

Когда я пишу эти строки, весь мир занят только что подписанным соглашением о запрете ядерных взрывов. Жолио-Кюри мне однажды сказал: «Бизнесмену, богатеющему на уране, безразлично, что будет после него, но люди, которые думают о будущем, которые идут на жертвы, чтобы юноши двадцать первого века жили чисто, справедливо, по-человечески, не должны убивать или калечить правнуков...» Радуюсь вместе с миллионами людей, я думаю о скромной, но благородной роли Движения сторонников мира. В темные, глухие годы сторонники мира говорили на языке человеческой солидарности. Мне радостно, что в океане доброй воли — капля моих лет... А началось все в Париже в ослепительную, но нерадостную весну 1949 года.

17

В Париже меня позвал обедать мой старый друг, художник, писатель, а в то время посол Чехословакии Адольф Гофмейстер. Я увидел у него художника Шиму, который прожил почти всю жизнь в Париже и неожиданно стал дипломатом — культурным аташе. Говорили мы не о политике, а об искусстве, вспоминали молодость, Прагу. Гофмейстер рисовал Незвала с лирой, а меня на чемодане. Он сказал, что меня просят выступить в Праге с рассказом о конгрессе. Прямого сообщения Париж — Москва тогда не было, ночевали в Праге, и я согласился.

На пражском аэродроме молодой человек сказал мне: «Ваш доклад завтра. Министр иностранных дел товарищ Клементис просил вас прийти к нему сегодня вечером».

Я жил в эпоху, когда судьба то и дело тасовала колоду. Многие из друзей моей молодости оказывались на необычайных местах. Сидя в кабинете министра иностранных дел Чехословакии, я вспомнил, как познакомился с Владо.

Это было в Братиславе, в январе 1928 года. Молодой сотрудник местной «Правды» и вдохновитель литературно-художественного журнала «Дав», Владо Клементис повел меня «под вехи». (В Братиславе каждый винодел имел право одну неделю в год торговать своим вином распивочно. Над дверьми он вывешивал «веху» — сухую ветку.) В комнате былолюдно, шумно. Заходили музыканты, торговцы бубликами и коп-

ченным сыром. За нашим столом сидели молодые словацкие писатели. Меня расспрашивали о Маяковском, о конструктивизме, об индустриализации Советского Союза, о том, что теперь делают Эйзенштейн, Мейерхольд, Татлин. Клементис говорил о победе марксизма, а потом вдруг запел песню про разбойника Яношика, который грабил богатых и раздавал награбленное голытьбе. Все подхватили. Клементис сказал с усмешкой, за которой я почувствовал и смущение и гордость: «Вот мы, словаки, какие...»

В квартире министра иностранных дел было тесно от чужих громоздких вещей. Мы поужинали, Клементис спрашивал про конгресс, говорил о Берлине, о том, что в Америке есть люди, которые хотят начать войну. За несколько лет он изменился — потяжелел, помрачнел. Поглядев на него, я подумал: наверно, нелегко быть министром...

Лида принесла бутылку. Я пригубил рюмочку и вдруг вспомнил вслух: «У твоего отца в Тисовце была чудесная персиковая наливка и еще настойка, которую я называл «зубровкой»...» Владо оживился, повеселел. Мы начали вспоминать далекое прошлое, прекрасные пустяки, похожие на паутину осеннего леса. Мы больше не говорили о предстоящем совещании министров иностранных дел четырех держав, обходили все, что нас тревожило. Мы вспоминали друзей, бывшие споры, шутки. Только когда я уходил, Владо вдруг сказал: «А ты помнишь, как в тридцать девятом я пришел к тебе на улицу Котантен? Ты болел. Мы говорили о политике, потом ты мне прочитал твои стихи «Верность». А ведь это правильно; если нас что-то спасает, так только верность...»

Случайно у меня сохранился том «Литературной энциклопедии», выпущенной в 1930 году. Там я нашел справку: «Дав» — еженедельный литературно-общественный словацкий журнал, издаваемый в Братиславе, объединяет словацких революционных писателей, преимущественно коммунистов. Журнал редактируется коллективно. Основную работу ведет молодой талантливый журналист коммунист Владимир Клементис». Энциклопедия называет среди сотрудников «Дава» Поничана, Новомеского, Илемницкого, Даниила Окали.

В Праге мне говорили, что «Дав» — это нечто вроде словацкого варианта «Деветсила». С «деветсилцами» я познакомился еще в конце 1932 года; среди них были крупные писатели — Незвал, Ванчура, Библ, Галас, Сейферт; талантливые

художники, режиссеры, архитекторы. К концу двадцатых годов они продолжали говорить о связи конструктивизма и коммунизма, увлекались индустриальной эстетикой, фотомонтажом, ассоциациями образов, любили Маяковского, Пикассо, Ле Корбюзье, Эйзенштейна, Вертова, Арагона. Теоретиком «Деветсила» был Тайге, веселый начетчик, классный наставник со страстью Дон-Кихота; он умел найти марксистское объяснение словотворчества Хлебникова или «каллиграмм» Аполлинера. Чехия была богатой индустриальной страной, коммунисты там обладали большим влиянием. Прагу обдували различные ветры. Художники «Деветсила» ездили в Париж. Незвал влюбился в Бретона. А Словакия напоминала бедную губернию дореволюционной России. Во главе «Дава» был Владимир Клементис, сын сельского учителя, коммунист. Он не сводил глаз с Москвы — для «давопцев» любой сотрудник «Лефа» был куда авторитетнее, чем все сюрреалисты мира.

В январе 1928 года я пробыл в Словакии всего неделю. Клементис уговаривал меня приехать летом, обещал показать страну. Я сказал: «Постараюсь», — словаки мне сразу пришились по душе, в них было много бескорыстности, порой наивности, той, что связана с душевной широтой.

Вернувшись в Париж, я получил посылку и письмо от Клементиса. Он прислал мне словацкие народные трубки «запекачки» и писал: «Ту запекачку, что завернута отдельно, я получил так: я пошел к одному старику, рьяному курильщику. Услышав о том, что мне нужно, он вынул трубку изо рта и дал мне ее. Он сказал, что курит ее уже тридцать лет, но хочет ее отдать, так как любит русских (конечно, на старый лад, как любили наши отцы). Эта трубка связана для него с одним воспоминанием. Дело было двадцать семь лет тому назад. Он красил крышу, и ему хотелось курить. Запекачку не следует закуривать, как обыкновенную трубку, тогда внизу остается «мочка», то есть несгоревший слой мокрого табаку. Но на крыше костра не было, а он курил за трубкой трубку. Ночью он вдруг вспомнил, что в запекачке образовалась «мочка». Он встал и вышел во двор, чтобы отдать «мочку» работнику Юро — тот любил жевать табак. Юро не было. Он пошел в хлев. Вдруг он услышал бульканье. Он подбежал к колодцу и увидел своего сына, трехлетнего мальчика, который упал вниз и, держась за перекладину, еще бился. Он его вытащил. Теперь его сын — врач в нашем селе. Вот и вся

история. Это, конечно, не литература, но я обещал старику передать ее вам вместе с запеканкой».

Я читал письмо Клементиса друзьям, процитировал его в очерке. Запеканка давно разбилась, а рассказ о том, как старый словак отдал дорогую ему трубку потому, что «любит русских», волнует меня и теперь. Волнует и оговорка Клементиса: «конечно, на старый лад, как любили наши отцы» — в этом противопоставлении история «Дава», судьба Клементиса, Новомеского, многих моих друзей.

Летом того же 1928 года я снова приехал в Словакию. «Давовцы» мне показали страну, глухие деревушки Оравы, Татры, Прешов, Бардиев, Кошицы, венгерские монастыри барокко и горные шалаши пастухов. Клементис был прав — тогда, кажется, только в Словакии слово «русский» открывало все двери. Правда, любовь была разной. В Турчанском Мартине сидели старые правоверные славянофилы. Там я видел на кладбище могилы первых просветителей с надписями на русском языке. В «Славянской матице» висели портреты Пушкина и Лермонтова. Я бродил по улице Гоголя. При Габсбургах Чехия входила в Австрию, и австрийцы старались онемечить чехов, но в стране была интеллигенция, преданная родному языку, богатой культуре прошлого. А венгры, которые правили Словакией, не строили заводов, они пили в ресторанах Братиславы и Кошиц крепкое вино «ассу» и предпочитали школьным учителям священников и жандармов. (До первой мировой войны большинство словацких крестьян было неграмотным.) Все надежды словацких патриотов связывались с Россией. В Турчанском Мартине знали не только Пушкина, но и Хомякова, почитали не только Толстого, но и генерала Скобелева. Октябрьская революция многим деятелям «Славянской матицы» казалась загадочным и преходящим эпизодом. Помню, один седоволосый литератор жаловался мне: «Пришли стихи из Москвы. Удивительно, как такое печатают!.. Говорили, что автор покончил с собой. Может быть, у него и был талант, но он писал не по-русски. Пушкин говорил на другом языке. Сейчас я вспомню имя автора... Есенин...» (Не знаю, дожили ли эти «славянофилы» до сороковых годов и как они вели себя — пытались с помощью Гитлера «освободить русских братьев» или кое-что поняли. Может быть, некоторые помогали словацким повстанцам?..)

«Давовцы» любили Россию по-другому — любили народ Октября, читали Маяковского, Есенина, Пастернака, Багрицкого; это было двойной любовью — к близкому народу и к революции. В увлечении «давовцев» Маяковским, теориями «Лефа», современным искусством было что-то от романтического бунтарства, — кажется, нигде я не видел такой привязанности к орнаменту, к традиционным народным костюмам, как в словацкой деревне: крестьяне расписывали не только печи, но даже могильные кресты; и вот их дети увлеклись голым, рассудочным, сухим конструктивизмом.

(В 1950 году я увидел Словакию переменившейся. Народные костюмы перекочевали из быта в костюмерные ансамбли, новые дома, большие заводы, электростанции. Вместе с курными избами и нищетой исчезли пестрые «фартучки» молодых крестьян, расписные печи, картинки на стекле. Таков закон века, и, глядя на залитую светом долину Вага, я не стал вздыхать о прошлом.)

В 1928 году, когда я впервые увидел Словакию, это была страна без городов. Конечно, в Братиславе жили словацкие писатели, там выходили газеты, журналы, но среди жителей города немцев и венгров было больше, чем словаков. В Кошицах только на базаре, куда приезжали крестьяне, я услышал словацкую речь. Маленькие немецкие города Левоча или Кежмарок с ратушами и готическими церквями, с аккуратными абонентами журнала «Ди вохе» казались перенесенными из другого мира. А городки, где жили словаки, — Брезно, Зволен, Ружомберок, Мартин, — походили на большие села: несколько городских домов — и здесь же хаты, огороды, гуси. Вся словацкая интеллигенция была связана с деревней. В Ясеновой меня повели в избу, где родился один из зачинателей словацкой литературы Кукучин. В такой же избе я увидел Илемницкого — он сидел и писал роман. Как-то я попал в Словакию зимой, и поэт Лацо Новомеский повез меня на рождество в село Сеници, где жили его родители, бабушка. Приехал туда и молодой поэт-«давовец» Иван Хорват. Нас угощали традиционными рождественскими яствами. А Лацо и Хорват говорили о Маяковском, Незвале, Арагоне, Пастернаке...

Клементис возил меня в свое село Тисовец, его родители потчевали нас галушками, сливовицей, зубровкой, радушно суетились. «Давовцы» мечтали об индустриальной красоте и в то же время любили словацких крестьян, малограмотных;

но душевно благородных, не прошедших через уродующую души печь капитализма. В этом и было своеобразие «Дава», его трудности. Клементис мог петь песню о старом пастухе, который в последний раз ведет в горы отару, или о Яношике, мог восхищаться красотой старого чепрака, но не раз он говорил мне, что у меня сохранился «ряд идеалистических заблуждений», нужно к тому-то «подойти по-марксистски»...

Помню беседу в горном шалаше над Тисовцем. Владо заговорил о своей судьбе. Он тогда писал о поэзии, любил искусство, для меня он был одним из молодых писателей. Мы глядели на долину, на старые деревья, на хаты, едва заметные среди зелени садов. Клементис говорил, что главное — борьба, пока чехословаки не сбросят капитализма, не будет ни справедливой жизни, ни настоящего искусства. «Мое дело — партия...»

В 1940—1941 годах Владо сидел в английском лагере на севере Шотландии, времени у него было много, и он написал для своей жены Лиды о своем детстве и отрочестве, о родителях, о родном Тисовце. Теперь эти тетрадки издали, назвав их «Незаконченной хроникой». Книга показывает, насколько ее автор близок к стихии искусства, но для Клементиса это было только вылазкой из крепости — между винтовкой солдата и министерским портфелем.

О том, что Лацо Новомеский — поэт, можно догадаться, не зная его книг, побыв с ним четверть часа, просто взглянув на него. А если измерить его жизнь аршином, окажется, что больше всего времени он отдал политической деятельности. С 1925 года по 1939-й он редактировал партийные газеты. В годы оккупации входил в подпольный ЦК КПЧ, который готовил словацкое восстание. После победы был членом ЦК и министром народного просвещения. Однако его подлинной страстью была поэзия. Однажды он мне сказал: «Совесть подкашивает...» Совесть для него не случайный собеседник, а постоянный суфлер. Архитектор на войне может оказаться в саперной части и взрывать мосты — это его долг, но не призвание.

Клементис и Новомеский были разными людьми, но они любили друг друга, и судьба у них оказалась схожей.

В 1936 году в курортном местечке Тренчанске-Теплице по инициативе «Дава» состоялся съезд словацких писателей. Я тогда работал в секретариате Международной ассоциации антифашистских писателей и поехал на съезд, чтобы предложить словакам войти в ассоциацию. Там были писатели раз-

личных толков, некоторые из них потом пошли за сепаратистами-католиками, поставившими на победу Гитлера, другие участвовали в Сопротивлении, партизанили. Клементис и его друзья «давовцы» убедили всех участников съезда войти в антифашистскую ассоциацию. Мы попали в деревню, там нас угощали, пели песни, старик говорил, что русские побьют фашистов, и подымал кулак. Я сказал Владо: «Совсем как в Испании...»

Вскоре началась испанская война. В 1937 году в Валенсии я встретил Новомеского. Мы говорили о боях, о Комитете по невмешательству, об интербригадах, только на минуту я припомнил Владо, хаты, светлую зелень Словакии. Ладо писал стихи:

Хотел пересчитать я звездные отары:
покуда не сгорят,

Но тут — о-та-ра-ра! — забили пулеметы,
и звезды новые взлетели к старым,
отары-ра-та-та,

о господи,—

отары.

Пришел Мюнхен. Гитлеровцы заняли Прагу. Мир по-чернел.

Когда началась «странная война», я лежал больной в Париже. Мало кто приходил ко мне: одни возмущались пактом, другие побаивались шпиков. В сентябре пришли Владо и Лида, огорченные, печальные. Потом пришел снова Клементис, он был мрачен, но старался меня приободрить: никогда он не расставался со своим талисманом — верностью. В октябре французы его арестовали и отправили в концлагерь. Накануне разгрома Франции я его увидел в солдатской форме; он хотел сражаться против гитлеровцев, но Франция Петена капитулировала.

Мы снова увиделись в 1944 году в Москве. Клементис стал видным политическим деятелем. Он рассказывал мне, что англичане и американцы боятся советской победы, строят козни, но был весел, верил в торжество той идеи, которой посвятил свою жизнь. Потом мы вспомнили прошлое, и мне показалось, что я не на улице Горького, а в шалаше над Тисовцем, где старый пастух потчевал меня едкой запеканкой.

В феврале 1948 года в Клубе писателей устроили мой вечер — сорокалетие литературной работы. Чехословацкий посол Иржи Горок переслал мне телеграмму «Государственного секретаря Клементиса»: «Дорогой Илья, пьем за твое здоровье тисовскую зубровку. Владо и Лида».

О последней нашей встрече я уже рассказал. Потом я вспоминал: у Владо были очень печальные глаза. Может быть, он просто был усталым после трудного рабочего дня, а может быть, знал, что кольцо клеветы сжимается?

Приехав год спустя в Прагу, где помещался секретариат Всемирного Совета Мира, я узнал от Гофмейстера, что арестовали Лиду, Лацо Новомеского, Ивана Хорвата (он был до этого послом в Будапеште).

Лиду освободили два года спустя. Я встретил ее в Праге, на улице, хотел поговорить, но она пожала руку, сказала: «Не нужно со мной разговаривать», — и убежала.

Выпустили Новомеского, Ивана Хорвата. Лацо я видел в Праге, он работал — переводил, но его стихов не печатали. Иван Хорват умер вскоре после освобождения.

В книге стихов Новомеского, написанных в тюрьме и после, есть стихотворение «Мудрость»:

Лучше стать на колени, чем стоять на костре,
лучше спрятать правду в глубинах души,
словно в ларе,
лишь бы снова потом заявить,
что все-таки вертится...
Как, товарищ Галилей,
может быть, в этом — мудрость?

Но мудрей мудреца смелый, веселый
мальчик из сказки, кричавший тогда:
— Король голый, совершенно голый!
Так громко кричал, что просто беда!

Шли годы, многое на свете менялось. Пришла весна 1963 года, когда Лацо Новомеского восторженно встретили на съезде писателей. Окали написал мне: «Вы, наверно, знаете, что организатора и душу «Дава» товарища Владо Клементиса ложно обвинили в шпионаже и казнили. Я сам вместе с другими товарищами был освобожден после десятилетнего заклю-

чения... Теперь, после устранения несправедливостей, пересматривают значение «Дава» для нашей литературы и культуры в широком смысле слова...» Передо мною словацкий журнал, в нем фотография Владо...

Я гляжу и вспоминаю, как в 1949 году, печально улыбнувшись, он прочитал мои стихи:

...Пройдут по тебе.

Верность сердцу и верность судьбе...

Накануне казни он сказал Лиде, что умирает честным коммунистом.

Есть эпохи, когда люди могут думать о своей личной судьбе, о биографии. Мы жили в эпоху, когда лучшие думали об истории. Ложь всесуща и всеильна, но, к счастью, она не вечна. Могут погибнуть хорошие люди, жизнь многих может быть покалечена, и все же в итоге правда побеждает. Для Владо, как и для некоторых моих советских друзей, о которых я рассказал в этой книге, эпоха оказалась очень горькой; но для истории, в которую верил Клементис, она была эпохой побед.

А сейчас я думаю о далеком вечере «под вежами», когда молодые словацкие писатели пели песню о Яношике. Некоторых нет, другие хлебнули горя, до времени состарились. Вспоминаю и шалаш над Тисовцем, молодого Владо, его очень чистые, светящиеся глаза, слова о борьбе; смеркается, все голубеет, и над мягкими, округлыми горами чуть посвечивает бледная вечерняя звезда.

18

«Как вы провели последний вечер в Париже?» — спросил меня А. А. Фадеев. Я ответил, что был со старыми друзьями. Он сказал: «А меня замучил американский писатель — хотел, чтобы я ему все объяснил... Эх, Илья Григорьевич!.. — Он оборвал себя: — Давайте лучше выпьем коньяку». Я поглядел на него и увидел не те глаза, что привык видеть на собраниях и заседаниях, а мягкие, печальные.

О Фадееве говорят, что он был очень талантлив, умен, что он обладал железной волей, что его ценил Сталин. Все это правильно: но слово «талантлив» не справка в послужном

списке, оно связано с сотнями помарок на листе рукописи, с внутренними терзаниями, с душевной природой, не всегда подходившей для общественной работы, которую выполнял Фадеев, выполнял не только старательно, но и с увлечением. Все писатели, да, кажется, и все руководители Движения сторонников мира знали его глаза — ясные, холодные, его эрудицию, память, умение придать в статье или в докладе короткой фразе Сталина глубину, блеск, спорность литературного эссе и бесспорность закона. Мне хочется рассказать о другом Фадееве — менее известном.

Познакомился я с ним давно, еще в годы, когда он был одним из лидеров РАПП. Мы встречались в Москве, потом в Мадриде и Париже. «Разгром» мне понравился, но человека я не понимал, вернее, не знал; и в 1940 году, когда я беседовал с ним, он был для меня, скорее, начальником, чем писателем. Вспоминая прошлое, он, в свою очередь, как-то признался: «Я вас считал человеком издалека. В Мадриде я говорил нашим военным, — они вас защищали: «Может быть, он и готов умереть за наше дело, но жить с нами он не хочет, да и не может...»

После войны мы начали приглядываться друг к другу. В Пензе, во время юбилея Белинского, я с ним проговорил весь вечер. Потом мы встретились в Москве, говорили о книгах, о судьбах писателей. Я начал понимать, что Фадеев не такой, каким он мне казался. Но по-настоящему я его узнал в те пять-шесть лет, когда мы вместе работали в Движении сторонников мира; мы разговаривали в самолетах, в вагонах, часто — то в Осло, то в Вене, то в Праге — Александр Александрович ночью приходил в мой номер и говорил, говорил. Именно поэтому я начал писать о нем после того, как рассказал о Парижском конгрессе.

Я не скажу, чтобы мы подружились, — уж очень разными мы были; но, может быть, поэтому Фадеев порой бывал со мною откровеннее, чем со многими из своих близких друзей. Очевидно, представление о «человеке издалека» где-то в нем оставалось, и, беседуя со мной, он чувствовал себя свободнее, чем со своими друзьями. Друзей у него было немало (я говорю сейчас не о лицемерах, старавшихся угодить человеку, обладавшему властью, а о людях, искренне любивших Александра Александровича). Но мне кажется, что с друзьями он не всегда и не о всем заговаривал. Вот одно из его призна-

ний: «Уж я-то знаю, что такое одиночество!..» Со множеством людей он был на «ты», его называли Сашей; а мы величали друг друга по имени-отчеству.

Рассказать о Фадееве трудно — он был человеком очень сложным, наверно, многое от меня ускользало. Да и события слишком свежи. Мне не хочется строить догадки, и я себя ограничу, попытаюсь выписать из записной книжки, а порой восстановить по памяти некоторые его слова, показать его отношение к некоторым явлениям, рассеять миф о «железном человеке», немного помочь тому, кто через пять или десять лет сядет за книгу о человеке, сыгравшем важную роль в истории нашей литературы.

Фадеев писал в течение тридцати пяти лет, а оставил после себя два законченных романа, два незаконченных, несколько рассказов, сотню статей. Александр Александрович говорил: «Писал много, а написал мало...» Я слышал такое объяснение: «Фадееву не дают писать — Союз писателей, борьба за мир, заседания, митинги, конгрессы...» Действительно, руководство писательскими организациями и Движение сторонников мира отнимали у Александра Александровича много времени, но ведь работал он не по неволе, а по охоте, и когда в последние годы его освободили от некоторых обязанностей, почувствовал не облегчение, а досаду. В Движении за мир он был неутомим, входил во все детали. У меня случайно сохранилось несколько его записок, написанных во время заседаний. Писал он обстоятельно: то просил поговорить с Ненни, то беспокоился, что выступление одного из американцев рассчитано на полтора часа — делегаты могут начать шуметь, хорошо бы попросить укоротить речь, то излагал свои мысли о расширении Движения.

Говорили также, что Фадеев мало пишет, потому что много пьет. Однако Фолкнер пил еще больше и написал несколько десятков романов. Видимо, были у Фадеева другие тормоза.

Я как-то сказал Александру Александровичу, что из его книг мне больше всего нравится «Разгром» — первый роман, написанный двадцатипятилетним юношей. Он ответил: «Естественно: «Разгром» — пережитое. Конечно, сознание своей ответственности иногда приподымает, а иногда оно и вяжет...»

За «Последнего из удэге» он брался чуть ли не каждый год, в течение двенадцати лет: составлял планы, переделывал, считал, что романа не вышло.

Когда Фадеев сел за «Молодую гвардию», ему было уже не двадцать пять, а сорок четыре. История краснодонских подростков его взволновала — он заново пережил свою молодость. Хотя он всегда причислял себя к реалистам, в нем было много романтики.

Судьба романа «Молодая гвардия» связана с тем, что мы называем «культом личности». Роман был написан, издан, пользовался успехом, получил Сталинскую премию. Один из друзей Александра Александровича, С. А. Герасимов, сделал по роману фильм. Тут-то и разразилась гроза. Сталин не прочитал «Молодой гвардии». Фильм его возмутил: в картине показывались подростки, оставшиеся на произвол судьбы в городе, захваченном гитлеровцами. Где же организация комсомола? Где партийное руководство? Сталину объяснили, что режиссер следовал тексту романа. В газетах появились суровые статьи о «Молодой гвардии». За ними последовало письмо Фадеева, напечатанное в «Правде»: он признавал справедливость критики и обещал переделать роман. Когда мы встретились, Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы — о старых большевиках, о роли партийного руководства. Помолчав, он добавил: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот... Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной... Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами...»

Я заговорил о «Молодой гвардии» потому, что хочу показать отношение Фадеева-романиста к действительности. Задумав написать роман, он поехал в Краснодар, расспрашивал сотни людей, старался восстановить и события, и внешность героев, огорчался, что не смог найти точного описания внешности некоторых персонажей, это показывает, насколько он подчинял себя законам не поэта, а летописца. Роман Стендаля «Красное и черное» родился от газетной заметки о преступлении молодого карьериста, автор не только в толковании Жюльена Сореля не зависел от «факта», он переделал интригу. Стендаль никогда не увлекался описанием внешности своих героев, говорил, что предоставляет это фантазии читателя. Золя уверял, что «лишен воображения», изучал детали быта, который хотел изобразить, или, как говорят теперь, «сбирал материал». Работая над романом «Нана», он впервые в жизни пошел в притон с записной книжкой. Учителем Фадеева был Лев Толстой: раскрывая характер героя, он оста-

навливался на какой-либо детали его внешности. Толстой мог сделать уши Каренина настолько реальными, что по ним мы знаем его лучше, чем наших друзей. А Фадееву хотелось узнать, какие черты лица были у всех краснодонцев.

Я вспоминаю одну из наших бесед — в самолете. Александр Александрович говорил о том, что он «кончен», и рассказал трагическую историю недописанного романа «Черная металлургия». «В пятьдесят первом меня вызвал Маленков. «Изобретение в металлургии, которое перевернет все. Грандиозное открытие! Вы окажете большую помощь партии, если опишете это»... Одновременно он рассказал мне, как разоблачили группу геологов-вредителей. Я начал работать, изучал проблему, подолгу сидел на Урале. Писал медленно. Написано свыше двадцати листов. В моем представлении это должен был быть настоящий роман, единственное, за что я смогу ответить... И вот оказалось, что «изобретение» было шарлатанством, обошлось государству в сотни миллионов рублей, геологи были оклеветаны, их реабилитировали. Одним словом, роман пропал...» Я изумился: «Да что вы, Александр Александрович! Я читал отрывки в «Огоньке», это очень хорошо... Измените немного. Пусть они изобретают что-нибудь другое. Ведь вы пишете о людях, а не о металлургии...» До этого я дважды видел Фадеева в состоянии гнева: обычно сдержанный, холодный, вспыхив, он краснел и кричал очень тонким голосом. Он закричал и в самолете: «Вы судите по себе! Вы описываете влюбленного инженера, и вам все равно, что он делает на заводе. А мой роман построен на фактах...» Успокоившись, он тихо сказал: «Мне остается одно — выбросить рукопись. Да и себя — новой книги я уже не начну...»

Я рассказал об этой зависимости от действительности, конечно, не для того, чтобы поспорить с покойным Фадеевым. Он был настоящим писателем, очень взыскательным к себе. Однако длительная работа и над «Последним из удюге», и над «Черной металлургией» связана не только с писательской взыскательностью, но и со всей биографией Фадеева, с его противоречиями, в том числе противоречием между былым партизаном и дисциплинированным солдатом. Однажды Александр Александрович сказал мне: «На меня многие писатели в обиде. Я их могу понять. Но объяснить трудно...» Я ответил: «Скажите им, что больше всех вы обижали писателя Фадеева...»

В ранней молодости Фадеев был партизаном на Дальнем Востоке, позднее участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. Ему было семнадцать лет, когда он вступил в партию, и двадцать, когда читинская организация отправила его делегатом на X съезд. Для него Троцкий или «рабочая оппозиция» были не страницами «Краткого курса», а живыми воспоминаниями. В биографии некоторых писателей политическая борьба была страстью месяцев или лет. Для Фадеева политика была делом всей его жизни.

Помню небольшое совещание «актива» Всемирного Совета Мира. Происходило оно в Праге, в домике на окраине города, где остановился Жолио-Кюри. Мы обсуждали, что теперь делать: успех Стокгольмского воззвания всем вскружил голову: говорили о том, что нужно собирать подписи. Фадеев приехал с предложением: потребовать от правительств пяти великих держав заключить Пакт мира. Он выслушал различные выступления, а потом блистательно доказал, что все, о чем говорили другие, подходит под Пакт пятерых — страх перед войной, экономические трудности, ущемление национального суверенитета, одичание. Идея была не его, но говорил он настолько умно, что в маленькой комнате, где было человек десять, может быть пятнадцать, раздались громкие аплодисменты, как на многолюдном собрании. Жолио-Кюри предложил напечатать выступление Фадеева и разослать во все национальные комитеты.

Летом 1956 года я был в Париже, меня пригласил к себе Жолио-Кюри. Мы долго беседовали о XX съезде, обо всем, что тогда нас радовало и волновало. Потом Жолио-Кюри сказал: «Фадеев... И в этом сказалась его невероятная воля... Для нас это очень большая потеря. Он бывал порой резок, у меня с ним были трудные разговоры. Но я всегда восхищался его умом. Он мыслил политическими категориями, и это меня побеждало. Я, Бернал, мы рассуждаем как ученые. Вы для меня остаетесь писателем. Не только вы... Возьмите д'Астье, многие его считают политиком, а он — поэт, хотя стихов, кажется, не пишет. А разговаривая с Фадеевым, я часто думал: да, его призвание — политика...»

Конечно, в последнем я не мог и не могу согласиться с Жолио-Кюри: я знал не только книги Фадеева, я знал их автора; я понимал, что нельзя оторвать Александра Александровича от искусства. Но Жолио-Кюри был прав, говоря, что

Фадеев мыслил политическими категориями. Это потом определяло те противоречия в оценках, которые иным обиженным казались лицемерием.

Фадеев свято верил в то, что Сталин умело руководит государством, знает, что нужно делать, видит далеко вперед. Порой Александр Александрович не мог удержаться: в Пензе он заговорил со мной о судьбе Мейерхольда, потом, незадолго перед смертью Сталина, припомнил Якира, Штерна, повторял: «Его обманывают...» В конце сороковых годов многое ему претило, и опять-таки он находил объяснение: «Мутная волна... Сталин ее удерживает...» К вере примешивался страх. Раз полушутя он сказал: «Я двух людей боюсь — мою мать и Сталина. Боюсь и люблю...»

Фадеев иногда говорил о какой-либо книге: «Конечно, талантливо... Но поймите меня правильно — дело не в абсолютных оценках. Есть государственная точка зрения, и в этом плане книга вредная...»

Я говорил, что учителем Фадеева был Лев Толстой; это всем бросалось в глаза. Длиннейшие фразы с избытком придаточных были (или стали) для Фадеева естественными. Он не умел писать иначе. Иногда ему нужно было отправить телеграфный отчет о сессии Всемирного Совета или о беседе с одним из руководителей Движения. Он просил меня помочь; садился за стол — у него был разборчивый почерк: «Диктуйте — вы можете все это описать короткими фразами...»

Однако влияние Толстого было куда глубже, чем одни приемы письма. В Пензе Александр Александрович мне долго доказывал, что у Чехова можно поучиться только наблюдательности: «Как он может научить? Он и не хотел учить... Вот Толстой понимал назначение литературы, он был учителем. Конечно, мы теперь рассуждаем иначе, но я преклоняюсь перед романом, который обычно считают неудавшимся: Толстой написал «Воскресение», чтобы доброе начало победило. А Диккенс? Разве в своих лучших романах он не поддерживал добра? Конечно, если за этим не было бы взлета, то это осталось бы скучной дидактикой. Из бездарного писателя не сделаешь и сотой Толстого, но гений должен служить добру, гуманизму. А в наш век это значит подчинить себя строительству коммунизма».

Здесь был мост между писателем и руководителем Союза писателей, мост, а порой и пропасть.

Еще будучи одним из руководителей РАПП, в 1929 году Фадеев выступил со статьей: «Столбовая дорога пролетарской литературы». В этой статье он защищал подход к роману, который был ему близок. Категоричность суждений никого не могла удивить: рапповцы тогда нападали не только на «правых попутчиков», но и на Маяковского. Удивительно название «Столбовая дорога» не само по себе — романтики, реалисты, натуралисты, символисты считали свой путь новым и единственно правильным; название удивительно по своей судьбе. РАПП распустили, писали о необходимости разнообразия литературных течений, и при этом зорко следили за тем, чтобы все писатели шли по одной литературной дороге; тропинки приравнивались к тупикам. При этом шоссе, или, говоря языком Фадеева, столбовая дорога была отнюдь не прямой, она петляла в зависимости не только от крупных политических событий, но и от вкусов Сталина, от его настроения, от его отношения к различным авторам. В 1929 году Фадееву казалось, что он прокладывает дорогу. Не знаю, сколько лет в нем прожили эти иллюзии. А в 1949 году, рассердившись на одного критика, он сказал мне: «Считает, что я придираюсь, провожу свою линию, да я регулировщик, и только...»

Конечно, это было сказано в сердцах. Он не прокладывал дорогу, но и не был регулировщиком. Порой ему удавалось создать построение, выходявшее за пределы принятых формулировок. Он, например, одно время давал такое объяснение социалистическому реализму: показать людей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны быть. Правда, это куда ближе к романтизму, чем к реалистам прошлого века, но есть в такой постановке пафос, масштаб.

Вокруг Фадеева всегда имелись критики, способные повторить идеи Александра Александровича, показать их на разборе книги. Помню, как на собрании писателей Фадеев в докладе обличил одного из таких критиков в коварстве: «Есть восточная сказка о скорпионе и лягушке. Преследуемый врагами, скорпион попросил лягушку переправить его на другой берег речки. «Ты меня ужалишь», — сказала лягушка. «Зачем мне тебя убивать, — мне грозит смерть, если я не переправлюсь на тот берег». Он убедил лягушку. Они почти достигли цели, когда скорпион ужалил ее. Они пошли ко дну. «Зачем ты это сделал?» — спросила, погибая, лягушка. «Не знаю, такой у меня характер», — ответил скорпион». Критик сидел рядом со

мной, он громко сказал: «Дело не в характере. Просто шпион не доверял лягушке...»

В 1928 году Фадеев нападал на поэму «Хорошо!» Маяковского. В 1938 году он назвал эту поэму «историческим событием». Изменилась не столько оценка поэзии, сколько подход к литературе, в речах Фадеева появились новые ноты. Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом, он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего.

Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличил «отход от жизни» некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького, возле дома, где я живу. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: «Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?..» Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прерывал чтение только для того, чтобы спросить: «Хорошо?»

Он любил поэзию, но еще сильнее любил основную линию своей жизни, и не его вина, а его беда, что в течение четверти века верность идее он, как и миллионы его современников, связывали с каждым словом, справедливым или несправедливым, Сталина. Конечно, Фадеев знал, что Бабель не «шпион», что Зощенко не «враг», что неприязнь Сталина к Платонову или Гроссману необоснованна, но он знал и другое: для многих миллионов смелых и самоотверженных людей слово Сталина — закон. «В годы гражданской я был дважды ранен, — сказал мне Фадеев при нашей последней встрече, — врачи говорили, что ранения тяжелые. Но была молодость... Да и можно ли сравнить кусочек металла с тем, что пришлось пережить потом?..»

Иногда он обрывал признания шуткой. «Вы знаете, какой художник мне нравится? Ренуар. — И, увидев мое изумление, добавил: — Но я вам признаюсь — я дальтонист...» И он засмеялся своим незабываемым смехом.

Он казался суровым, но много раз я видел, как смягчались его глаза. Он пытался помочь писателям, попавшим в беду. В начале 1938 года он показал мне несколько стихотворений Мандельштама, хотел, чтобы их напечатали в одном из журналов. Ничего из этого не вышло. Десять лет спустя он сказал мне: «Помните Гарри? Он обрушился на ваш «День второй»... Так вот, он вернулся из концлагеря. Написал интересную повесть, чем-то напоминает «Смерть Ивана Ильича». Положение у него тяжелое... Попробую протолкнуть...» При следую-

щей встрече он мрачно сказал: «С Гарри ничего не вышло».

С каждым годом он мрачнел, глаза все чаще казались холодными, невидящими. Он начал чаще и больше пить; пил он главным образом с людьми, далекими от мира литературы, — хотел забыться.

В марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина, я прочитал в «Литературной газете» статью Фадеева, в которой он резко нападал на роман Гроссмана «За правое дело». Это мне показалось непонятным: Александр Александрович несколько раз с восторгом говорил мне об этом романе, ему удалось напечатать это произведение. Роман рассердил Сталина, появились резкие статьи, Фадеев продолжал отстаивать книгу. Гроссман кое-что переделал. И вдруг эта статья...

Появилось сообщение о реабилитации врачей: что-то явно менялось. Фадеев без звонка пришел ко мне, сел на мою кровать и сказал: «Вы в меня не бросите камень... Я попросту испугался». Я спросил: «Но почему после его смерти?..» Он ответил: «Я думал, что начинается самое страшное...» Он это повторил потом много раз: ему хотелось каяться. Год спустя я встретил переводчицу Л. С. Фактор, которую Фадеев всегда брал с собой для трудных политических разговоров с французами. Лидия Самойловна мне сказала: «С Александром Александровичем что-то неладное — он несколько раз приходил ко мне и убивался, что написал нехорошо о романе Гроссмана...» В конце 1954 года, на Втором съезде писателей Фадеев, говоря о романе «За правое дело» и своей статье, покался на людях: «Я очень жалею, что проявил слабость...»

Александр Александрович был человеком крепчайшим; много ел, много пил; мог пробежать десяток километров; просиживал ночи на заседаниях, и все проходило бесследно. Только в последние годы нервы его начали сдавать. В декабре 1952 года он писал мне: «...Я, увы, все еще болен и, должно быть, еще недели три пробуду в больнице. Если человек со стороны взглянет на вас и на меня, то он, конечно, скажет, что я исключительно здоров, а вы больны. На деле вы оказались человеком железного здоровья. Однако, поберегите его! Это ведь все на нервах, и все до поры до времени. Вы как-то не привыкли отдыхать, а вы попробуйте...»

При последней нашей встрече Фадеев говорил, что болен — «ноги болят, не могу ходить», «роман, как я вам рассказывал, пропал», «словом, плохо». Я пытался его ободрить, говорил, что

болезнь пройдет, он на десять лет моложе меня, еще напишет несколько романов. Он покачал головой: «Мотор отказывает...»

Через два месяца позвонили: «Фадеев покончил с собой...»

Как всегда в таких случаях, люди начали гадать, искали резонов, вспоминали хорошее и плохое. Наверно, причин было много — в жизни он не щадил себя; пока стояла суровая зима, он держался, а когда люди заулыбались, стал раздумывать над пережитым, написанным; все как-то обнажилось; тут-то начал отказывать мотор.

Оглядываясь на послевоенные годы, я неизменно вижу фигуру Фадеева. Роста он был большого, выделялся на любом собрании. Да и человеком был большим — и в беспощадности, и в нежности, и в вере, и в беде.

19

Мне позвонили под вечер и сказали, что на следующее утро мы вылетаем в Рим: сессия Постоянного комитета Парижского конгресса. Это было в нравах того времени: поздно решали, поздно запрашивали визы; то и дело мы опаздывали. Я рассказал в предшествующей части книги, как мы чуть было не задохнулись над Альпами, когда из-за грозы маленький самолет поднялся чересчур высоко. Вылетев из Праги рано утром, мы приземлились в Риме часов в десять. На аэродроме нас встретили итальянские друзья. Я мечтал выпить кофе и съесть бутерброд, но не тут-то было: оказалось, что нам всучили экземпляр какой-то кинокартины, и таможня нас продержала добрый час. Фадеев сказал, что нужно сейчас же идти на заседание — сессия уже началась. Я плохо слушал доклад д'Арбузе о борьбе за мир в Черной Африке — мне хотелось есть. Когда наконец-то объявили обеденный перерыв, сотрудник посольства сказал, что нас ждет посол.

Фадеев, Василевская и Корнейчук сели в посольскую машину, а меня предложил подвести Эмилио Серени, депутат-коммунист. Это тучный, черный и веселый человек. Он знает множество языков — французский, русский, испанский, польский, английский, древнееврейский, немецкий, китайский, арабский и еще какие-то (забыл какие). Он долго сидел в фашистской тюрьме и привык, думая, шагать из угла в угол; иногда на маленьких заседаниях он начинал ходить — придумывал

что-нибудь интересное. Если он сидел рядом со мной во время длинных выступлений, я не скучал: он на ухо рассказывал забавные анекдоты. Я попросил Серени остановиться возле какого-нибудь бара — я выпью у стойки кофе. Но Серени сказал, что посол нас сейчас накормит, и вместо кофе угостил меня стаканчиком очень горького и вкусного вермута.

Посол принял нас в кабинете; никаких признаков обеда не было. Посол долго и обстоятельно рассказывал Василевской, Фадееву, Корнейчуку и мне, что капитализм не похож на социализм и что в Риме нужно вести себя иначе, чем в Москве. Фадеев закрывал глаза и от злости краснел. Я все время глядел на часы — половина второго, через час нужно идти на заседание, если нас не накормят, я не выдержу... Вдруг Корнейчук прервал посла: «Мы, знаете, вылетели в семь утра — натошак...»

Столовая посольства помещалась в полуподвальном помещении. Пахло капустой. Свободных мест не оказалось, и нам предложили подождать во внутреннем дворике. Я сказал Корнейчуку: «Я лучше похожу по городу». — «Ты с ума сошел — ведь у тебя нет ни одной лиры...» Я понимал, что поступаю неразумно, но заупрямился — обидно было стоять и ждать.

Когда я выходил на улицу, высокий молодой человек приветливо спросил меня: «Вы Илья Эренбург?» Он представился: «Вишневский, корреспондент ТАССа», — и стал хвалить мои книги. Я взмолился: «О книгах поговорим в другой раз. Но, может быть, вы одолжите мне немного лир — столько, сколько нужно, чтобы пообедать: нам еще не выдали денег...» Вишневский из ресторана позвонил своей жене, чтобы она пришла, а я уже ел макароны и пил вино. Это был божественный обед, все мне казалось на редкость вкусным, — может быть, потому, что после вермута я обезумел от голода. Да и сотрапезник достался интересный — Вишневский знал и любил Италию, рассказывал о политическом положении, о новых фильмах, о писателях.

На заседание я, разумеется, опоздал и тихонько спросил Корнейчука, кто выступал. Он взревел от зависти: «От тебя пахнет вином!.. Ты, значит, обедал?..»

В зале можно было курить. Человека трудно удовлетворить. Я успел выкурить все, что было в моем кисете, а лир не было. Я начал «стрелять» сигареты у различных делегатов, прикидываясь любознательным: интересно, что курят в Мексике, в Ливане, в Швеции...

Я не был в Риме четверть века. Конечно, ни храм Весты, ни романские базилики, ни дворцы барокко не изменились; изменился я — впервые был подготовлен понять величие этого города, где двадцать веков мирно сосуществуют.

На второй или третий день я понял, что изменился не только я, изменился и воздух Рима. Конечно, в политическом плане не было большого отличия Италии от Франции; тот же «план Маршалла», тот же Атлантический пакт, сильные коммунистические партии, непрерывные забастовки и одновременно восстановление экономики, американские военные и надписи на стенах: «Да здравствует мир!» Но в Париже было грустно, а итальянцы выглядели веселыми. Может быть, сказывалось чувство, которое я пережил, когда меня выпустили из Бутырской тюрьмы? Двадцать пять лет Италия была подавлена фашизмом. Никакие репрессии не могли теперь обуздать народ, и поражения не вызывали разуверения. (Я написал эти строки и задумался: может быть, я несправедлив в сравнении? В Париже я долго жил, это город, который я вправе назвать своим, а в Риме я — турист, гость, паломник. Естественно, что я лучше знаю французов и замечаю больше деталей; да и грусть, наверно, охватывает меня потому, что в этом городе прошла моя молодость.)

Кажется, на второй день сессии художник Ренато Гуттузо, с которым я подружился еще во Вроцлаве, организовал ужин: мы встретились с итальянскими писателями, художниками, режиссерами. Гуттузо — страстный человек, настоящий южанин. До сегодняшнего дня он ищет себя: хочет сочетать правду с красотой, а коммунизм с тем искусством, которое любит; он восторженно расспрашивал о Москве и богомольно смотрел на Пикассо; писал большие полотна на политические темы и маленькие натюрморты (особенно его увлекала картошка в плетеной корзине).

Каждый вечер он приглашал Пикассо и меня. Мы ужинали в различных ресторанах, очень хороших, но и очень дорогих. С переводом денег произошла заминка, мы получили их дня за два до отъезда. Стесняясь, я лицемерно говорил: «Разрешите мне сегодня заплатить», даже совал руку в карман, чтобы достать бумажник: у меня билось сердце: вдруг не остановит вовремя?.. Однако Гуттузо всякий раз брал меня за руку: «Брось! Ты здесь в гостях». Люди, которые с нами ужинали, были интересными: поэты, живописцы, режиссеры; но неиз-

менно приходил кто-нибудь, представляя которого Гуттузо не указывал его профессии. А я не мог понять: откуда у Ренато столько денег? В то время он еще не был знаменитым художником, и я знал, что ему приходится туго. Только когда я уезжал, он раскрыл мне секрет: каждый вечер человек, о профессии которого он ничего не говорил, оплачивал счет, счастливым тем, что сидит за одним столом с Пикассо.

Как-то мы ужинали в ресторане в квартале бывшего гетто, там нам подали «артишоки по-еврейски» (их кипятят в оливковом масле, они раскрываются, как розы, и листики хрустят на зубах). В зале сидела красивая девушка из Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал: «Я хочу ее нарисовать». Девушка села, и Пикассо начал работать. Полчаса спустя он показал нам чудесный рисунок в манере Энгра, сделанный на оборотной стороне карточки кушаний. Девушка нам рассказала, что у нее жених, скоро они справят свадьбу. «Что же, покажи портрет жениху, ему понравится», — сказал Карло Леви. Она смутилась: «Боюсь — он у меня ревнивый». Все рассмеялись, кто-то посоветовал девушке продать рисунок: «За него дадут по меньшей мере двести тысяч — у тебя будет хорошее приданое». Она вспыхнула: «Что вы!.. Конечно, денег у нас мало, но мы оба работаем. Я лучше его повешу над кроватью...»

Один богатый меценат устроил прием, на который пригласил всех участников сессии. До приема он накормил обедом Пикассо, Гуттузо и меня. Пикассо утром побывал в Ватикане. Мы любопытствовали, как ему понравился Рафаэль. Пикассо вежливо отвечал: «Знаменитый мастер», — а потом вдруг признался: «Но вот потолок Микеланджело!.. Не понимаю, как он написал руку Сибиллы...» Хозяин жил в одном из дворцов и собирал старинные щипцы для каминов. По парадным залам с бокалами прогуливались делегаты — болгары, сенегальцы, японцы: все напоминало маскарад былых времен.

Карло Леви — писатель и художник (а теперь ко всему и сенатор). Мы как-то сразу подружились. Этот человек кажется ленивым — ходит медленно и вдруг останавливается на людной улице, увлеченный разговором. Однажды он меня вез в маленькой машине. Это было в тот день, когда Гагарин полетел в космическое пространство. Мы пересекали центральную площадь Колонна. Карло Леви говорил о понятии бесконечности и забыл про правила уличного движения. Полицейский потребовал довольно крупный штраф — нарушение было серьезным.

Я попытался вмешаться в драматический диалог: «У нас полицейские снисходительнее к писателям», — рассчитывая, что слава Карло Леви может сыграть свою роль. Полицейский недоверчиво посмотрел на меня: «Где это «у вас»?..» — «В Советском Союзе, в Москве». Полицейский восторженно схватил мою руку: «Ваш человек полетел на Луну!..» Он отпустил нас, не взяв штрафа.

Карло Леви живет возле парка Пинчио в большой захлавленной мастерской. Просыпается он не раньше десяти часов. Он написал несколько моих портретов; у мольберта он тоже кажется ленивым — кистью едва касается холста, похоже, что кошка умывается лапкой. Но, бог ты мой, сколько холстов, книг, статей написал этот мнимоленивый человек! В 1949 году я прочитал его книгу «Христос остановился в Эболи»; она автобиографична — молодого Карло, врача-антифашиста, отправили в ссылку на юг, в нищую, пустынную Калабрию, где говорят, что «Христос остановился в Эболи» — дальше этого крохотного городка даже Христос не решился пойти. Карло Леви показывает жизнь нищих, неграмотных крестьян, с любовью раскрывает их душевный мир. Есть в этой книге одна особенность — сразу чувствуешь, что она написана живописцем: читатель видит пейзажи, сцены, людей.

Человек, который кажется ленивым мечтателем, успевает многое сделать: он извездил далекие страны, участвовал в различных кампаниях, положил много времени, чтобы отстоять тишайшего бунтаря Данило Дольчи, которого сицилийские феодалы хотели уничтожить. Чем объясняется видимость лени? Вероятно, тем, что время для Карло Леви — пешеход, оно бредет, как бродил по горам Тосканы неутомимый Данте, а не ставит рекорды скорости на автомобильных гонках. Из его холстов мне больше всего нравятся пейзажи с коровами; может быть, дело не только в цвете, Карло должен любить этих животных — они ведь проводят свои дни очень сосредоточенно. Карло Леви далек от кудых истин, воистину абстрактных, и всегда найдет время, чтобы выслушать, задуматься, понять.

На следующий день после того, как я с ним познакомился, он повел меня к себе; жил он тогда на верхнем этаже старого дворца; внизу шевелился разгоряченный Рим. Я рассказал Карло, что мне нужно выступить на митинге в театре «Адриано», и я не знаю, что сказать. Карло улыбнулся: «Что сказать — вы знаете. Но я хочу вам посоветовать: го-

ворите по-итальянски». Я засмеялся: «Это почти так же трудно, как вам выступить по-русски». Он предложил перевести мою речь на итальянский, я ее прочитаю. Я решил рискнуть — когда-то я немного говорил по-итальянски, потом забыл, понимаю наполовину. Мы гуляли по старому Риму. Карло сказал: «Здесь живет один мой знакомый. Он был фашистом, но, в общем, человек неплохой, у него есть машинка, а я смогу отстучать. Вы будете говорить по-французски, а я переведу...»

Карло Леви оказался прав: когда на следующий вечер я начал свою речь по-итальянски, все было предрешено — я мог бы говорить любые плоскости, но русский, выступающий по-итальянски, — это было неслыханно, об этом написали даже антисоветские газеты.

Я познакомился с одним из лучших новеллистов Европы — с Альберто Моравиа. Очень давно, в 1939 году, я писал о его романе «Безразличные» — это была история средней буржуазной семьи в годы фашизма: безразличие, равнодушие, скука. Моравиа — писатель трудный, и не по форме, а по содержанию; вероятно, труднее всего он сам для себя. Он живет в чеховском мире без чеховского снисхождения, без жалости, да еще говорит, что его учитель — Боккаччо.

Однако Моравиа мало занимает интрига действия, своих героев он показывает как коллекцию забавных насекомых — не ярких бабочек Возрождения, а озверевших печальных тараканов. Его «Римские рассказы» чем-то напоминают один из фильмов, который меня покорило, — «Сладкую жизнь», — может быть, тем, что автор не в заговоре со своими героями. Я понимаю отношение Феллини к скучающей богатой черни Рима. Труднее понять отношение Моравиа к своим обездоленным героям. В начале 1963 года я был у Пикассо, видел у него злые рисунки, показывающие уродство и скуку сановитых особ. Два дня спустя Пикассо приехал в Ниццу, мы пообедали, а в пять часов ему вздумалось пойти в кондитерскую, где дамы пьют чай на английский лад. Он долго глядел на старых расфуфыренных женщин, у которых много бриллиантов, а лица, не смотря на косметику, голые, потом сказал: «Я люблю рисовать стариков и старух — к старости все проступает яснее, у молодых черты смазаны. Видишь ли, есть старость бедняков — я ее почитаю, и есть старость скучающих бездельников — над ней я смеюсь...» У Моравиа часто на лице скука, он машинально отвечает: «Знаю... знаю...» Но иногда его лицо светлеет —

мне кажется, от подавленной нежности; так и в его книгах, вдруг прорываются человеческие чувства, и они ослепляют, как прогалины в темном лесу.

Когда закрылась сессия, итальянцы сказали, что я должен поехать в городок Альбано неподалеку от Рима. Городком я его называю по облику, а большинство его жителей виноделы; в Риме я часто пил светлое душистое вино с окрестных гор — «фраскати», «альбано», «джензано». (Есть вина, которые, как люди, не переносят перемещения, вина окрестностей Рима, вывезенные за границу или даже на север Италии, теряют и аромат и вкус.) Митинг был в сельском театре, похожем на сарай. Широкие двери были раскрыты, и часть людей стояла на улице. Потом меня повели в мэрию, угощали вином, произносили задушевные речи.

Поздно вечером я возвращался в Рим с секретарем посольства в большой машине, которая на узких улочках казалась особенно неповоротливой. За нами в маленьком «фиате» ехали два журналиста из «Унита». Я с утра ничего не ел и спросил советского товарища, знает ли он где-нибудь поблизости ресторан попроще. Секретарь растерялся: «Может быть, в вашей гостинице?.. Я никогда не был в римском ресторане...» — «Вы что, здесь недавно?» — «Скоро год. Но мы ведь обедаем в нашей столовой». Мы остановились, и я спросил итальянских журналистов, где тут можно поужинать. Они ответили, что как раз на этой улице есть маленькая харчевня, они там несколько раз ужинали: хозяин — товарищ.

Ресторан был переполнен; посетители по виду были рабочими. Журналист сказал хозяину: «Покорми нас. Это русские товарищи...» Хозяин принес кувшин вина, маслины, помидоры, колбасу, маринованные артишоки и пошел на кухню ворожить над макаронами. Ему хотелось поговорить с русскими товарищами, но он не мог никому передоверить приготовление сложного соуса к тончайшим, как нити, спагетти. Мы съели по большой миске. На столе появился жареный барашек. Посольский шофер, до этого не обронивший ни слова, вдруг восторженно сказал: «Вот как они едят!» — и широко заулыбался. Мы одолели и барашка. Хозяина то и дело подзывали посетители. Наконец он подсел к нам и, развернув утреннюю газету, сказал мне: «Я вас сразу узнал, не говорил, чтобы вас не стеснять. Да и все вас узнали...» Он попросил меня надписать фотографию в газете. Когда мы хотели заплатить, он рассер-

дился: «Не нужно меня обижать!..» Он сказал посетителям: «Выпьем за писателя, за советский народ! Вино ставлю я». Люди подходили, чокались, рассказывали, кто о партизанском отряде, кто о митинге на площади Сан-Джованно, кто о своих дочках, и все это было просто, сердечно. Когда в полночь мы вышли из ресторана, секретарь посольства сказал: «Кажется, я за три часа узнал больше про итальянцев, чем за год...» А водитель, все еще широко улыбаясь, пожал мне руку: «Вот они какие!..»

Два дня спустя один из сотрудников «Унита» повез меня во Фраскати — винодельческий городок неподалеку от Альбано: руководители Итальянской коммунистической партии пригласили меня пообедать с ними. Обедали мы в деревянной пристройке, где обычно справляют деревенские свадьбы. Некоторых из итальянских товарищей я встречал раньше — в Москве, в Париже или в Испании, других увидел впервые. Они удивили меня своей простотой, любовью к искусству, разговором, который заставлял порой забыть, что передо мной не писатели, не художники, а члены политбюро большой партии. Тольятти рассказал, что одному из наших кинороботников не понравился фильм «Похитители велосипедов», который меня привел в восторг: «Нет конца». Тольятти усмехался: «Но если, показав мост без перил и человека, который падает в воду, заставить тонущего произнести речь о необходимости перил, то никто не поверит ни тому, что оратор тонет, ни даже тому, что он упал в реку. Очень хорошо, что фильм кончается не прописной моралью, а по-человечески...» Слушая Тольятти, я думал о том, насколько он, да и другие товарищи связаны с итальянским народом, с его характером, культурой. Мы встали из-за стола и вышли в садик, там крестьяне, много женщин с детьми, поджидали Тольятти. Одна крестьянка подвела к нему пяток малышей: «Вот погляди на моих...» Тольятти разговаривал с ними так же естественно, как со мной. В последующие годы я несколько раз беседовал с Пайетой с Аликатой, часто встречался с Донини, в Движении сторонников мира работал с покойным Негарвилле, человеком большой чистоты и душевной тонкости. Это были живые люди, и думали они не по схеме, говорили не по шпаргалке.

Я рассказал о встрече с итальянскими товарищами. Мне хочется добавить, что и люди, по своим мыслям, по складу бесконечно от меня далекие, разговаривали со мной друже-

любно, с итальянской непосредственностью. Вспоминаю, как принимал меня в старом Палаццо Веккио мэръ Флоренции, набожный католик Ля Пира. Мне сразу показалось, что мы давно знакомы. Он пригласил меня в Фьезоле, там в траггории я встретил сотрудников левой католической газеты; они спрашивали о жизни в Советском Союзе, рассказывали о тосканских крестьянах; споры походили, скорее, на поиски себя вслух, чем на словесные поединки.

Мне везло: после 1949 года я еще несколько раз побывал в Италии — то заседание бюро Всемирного Совета Мира, то ассамблея Общества европейской культуры, то приглашение выступить с докладами в различных городах, то встреча «Круглого стола». Правда, поездки были недолгими, и приходилось дни просиживать в накуренных залах, но всякий раз я что-либо для себя открывал и все острее чувствовал близость Италии. Побывал я снова и в милой мне Флоренции, и в Венеции, где на улочках кошки спокойно пожирают рыбные отбросы, зная, что их не потревожит треск мотора, и даже в чудесной Лукке, опоясанной древними крепостными стенами, — там что ни дом, то музей, а живут в музейных домах живые страстные современники.

Впервые я увидел Италию полвека назад; многое, конечно, с той поры изменилось. На севере выросли огромные заводы; построили современные рабочие поселки; а туринский музей, кажется, не имеет равного себе во всей Европе и по освещению, и по развеске картин. Поднялся уровень жизни. Возросли тиражи книг — начали читать рабочие, даже крестьяне. Мир раздвинулся: исчез былой провинциализм. По знакомству с советской литературой Италия опередила другие страны Запада, переводят много, причем не случайно, а с отбором. По дорогам, где я когда-то шагал, встречая волов и осликов, несутся вереницы маленьких «фиатов», мотоциклов. Но характер народа, который меня поразил и покори́л, когда я был зеленым юношей, остался тем же.

С некоторыми писателями я познакомился — с Витторини, Квазимодо, Павезе, Пазолини, другие, как, например, Пратолини или Кальвино, знакомы мне только по их книгам. Не знаю, на какое место нужно поставить современную итальянскую литературу, да и книга, которую я пишу, не требует отметок. Скажу одно: эта литература человечна. Один кибернетик мне говорил: «Лет через двадцать — тридцать мыслящие машины

будут исправлять ошибки в книгах, написанных людьми». Я вполне допускаю, что в недалеком будущем машины заменят не только халтурщиков, но и популяризаторов, эпигонов. Все же человеку придется исправлять проделанное самой совершенной машиной — ведь то, что машине покажется «ошибкой», может оказаться находкой, открытием, началом творчества.

Мне обидно, что только к концу моей жизни я увидел в миланской коллекции холсты замечательного художника — Моранди. Это главным образом натюрморты — бутылки, скромных три-четыре неярких тона; при всей их философской глубине, в них нет рассудочности, сухости — они взывают к миру эмоций. Моранди не только не жил в Париже, он там, кажется, ни разу не был, этим объясняется, что его холсты мало знают вне Италии. Я его никогда не видел, хотя он мой сверстник, — он жил уединенно в Болонье и писал бутылки. Летом 1964 года я поехал во Флоренцию на встречу «Круглого стола». Я надеялся: поеду потом в Болонью и увижу Моранди... А Моранди уже не было, он умер за месяц до того.

Итальянские фильмы перевернули кинематографию всего мира. Я познакомился с режиссерами; кроме Де Сика, узнал Феллини, Висконти, Де Сантиса, Антониони. Пожалуй, они все могли бы стать героями своих фильмов. Говорят, что неореализм победил правдивостью изображения, борьбой против театрализованной игры, краткостью и неожиданностью диалогов. Все это справедливо, но есть еще одно свойство — итальянские фильмы искренни; а искренность отнюдь не считается обязательной даже для весьма честных и весьма одаренных художников.

Удивительно, как быстро вошли в мою жизнь итальянские друзья! Я думаю прежде всего о Карло Леви и Ренато Гуттузо. Я ведь познакомился с ними, когда мне было под шестьдесят, в этом возрасте слишком часто теряют друзей и неохотно обзаводятся новыми. Мы видимся редко — порой несколько дней в году, порой один день за несколько лет, но всегда говорим о вещах, нам равно близких и дорогих. Хотя они живут далеко, жизнью, непохожей на мою, да и поколение другое. — Карло много моложе меня, а Ренато мог бы быть моим сыном, я их понимаю, и они понимают меня, мне кажется, что мы кружимся вокруг Земли по той же орбите.

Во время одной из моих последних поездок в Италию я оказался в городке Рокка-ди-Папа над Римом. Автобус,

взобравшись на гору, остановился на площади. Оттуда нужно было идти наверх. Узкие улицы, белье на веревках, детвора. Мы подымались медленно, то и дело глядели вниз: виноградники, долины, где-то далеко — сизоватая пустота моря. На крутых улочках шла жизнь, женщины судачили, щепля фасоль. Прощел аббат, ветер вздувал черную сутану. На домике, похожем на древний форт, висела дощечка: местный комитет Итальянской компартии. На другом таком же доме была изображена лира: музыкальное училище. Наконец мы остановились на крохотной площади, откуда была видна широкая долина. Я думал сразу о многом, о важном и о пустяках. Будь это двадцать лет назад, я взбежал бы, а сейчас сердце колотится. В этом году много винограда. Странно, что я никогда здесь не был. Почему я не был в Мексике, в Сиаме? У слонов необычайные глаза. А здесь ослики — как в Испании. Хорошо бы прожить в таком городке хотя бы неделю! Неделя — это очень много, особенно когда человеку за семьдесят. Странно — время умирать, а я об этом не думаю, на сердце совсем другое. Неделя — это вечность, если есть покой. За обрывками мыслей или, вернее, за ключьями картин во мне было глубокое ощущение спокойствия, счастья, наверно, я отдыхал, хотя Фадеев и уверял, что я не умею отдыхать. Вдруг, оглянувшись, я увидел циферблат: через пятнадцать минут уйдет последний автобус, нужно бежать вниз. Я про себя проворчал: вот только дополз, и пожалуйста — вниз!.. Слишком часто так бывало... Суеверно я повторял старым, оглохшим домам, ослику, вывескам «до свидания», коротче, как говорят итальянцы, «чау!».

Вернусь к 4 ноября 1949 года. Я должен был на следующий день поехать в Сицилию — итальянцы предложили нам остаться еще неделю, и я выбрал Сицилию потому, что там никогда не был, а Гуттузо говорил: «Значит, ты не видел Италии...» Под вечер я зашел передохнуть в гостиницу и нашел записку: «Завтра мы вылетаем в Москву — есть указания. С нами поедет Жолио, мы должны приехать до праздников. Желаю вам хорошо провести последний вечер. А. Фадеев». Я не зашел в комнату, а побрел снова по городу — на площадь Навонны. Поднялся холодный ветер, и народу было меньше, чем обычно, а длинная площадь, залитая старинным светом фонарей, походила на танцевальный зал после разъезда гостей. Я глядел на струю фонтана, она взлетала и рассыпалась — как вчера, как много веков назад.

В пражской гостинице «Алькрон» в пять часов утра затрещал телефон. Я едва успел побриться. Фадеев сказал, что мы летим на специальном самолете, в Легнице через час нам дадут чай. На аэродроме чешка приговаривала: «Да вы не улетите, ведь такой туман, что не видно самолета...» Александр Александрович повторял: «Нужно лететь — мы должны сегодня быть в Москве».

Я сел в самолете рядом с Жолио: он сказал, что хочет со мною поговорить. Он начал: «С югославами было нелегко — некоторые члены комитета возражали...» Я вдруг уснул. А проснулся оттого, что Жолио-Кюри схватил меня за руку: «Смотрите!..» В маленькое оконце я увидел купы деревьев с последними редкими листьями — они были не внизу, а выше нас. Самолет резко развернулся: «Возвращаемся в Прагу — туман»...

На пражском аэродроме мы прошли в буфет. Рядом какие-то люди пили пиво и ели сосиски. Фадеев попытался позвонить в Комитет защиты мира, но никто не отвечал — рано, еще нет девяти. Я сказал Фадееву, что нужно заказать завтрак. Он рассердился: «У нас нет крон. Понимаете?..» Жолио-Кюри шепнул мне: «Как бы раздобыть чашечку кофе? Мне что-то не по себе...» Я сейчас же заказал кофе для всех, хлеб, масло, ветчину (последнюю — для Фадеева). Александр Александрович пробовал запротестовать: «Вы с ума сошли! Вдруг мы не дозволимся до чехов?..» Я махнул рукой. Жолио-Кюри выпил две чашки, съел булочку и вдруг с легкой улыбкой спросил: «Вы думаете иногда о смерти?..»

Пришли чехи. Мы долго сидели на аэродроме: туман держался. Все же мы долетели до Москвы.

20

«Я редко думаю о смерти, но когда думаю, то настойчиво, не пытаюсь уйти от ответа», — говорил мне Жолио-Кюри на пражском аэродроме. «Для человека невыносима мысль, что он исчезнет. Это не физический страх, а нечто более серьезное — неприятие исчезновения, пустоты. Мне кажется, что идея загробного мира рождена именно этим, и пока наука была в пеленках, люди тешили себя иллюзорными надеждами. Знание требует от человека мужества... Отсутствие загробной жизни вовсе не означает отказа от продления. Есть физическая связь

поколений, она продиктована природой. Но есть и другая — работа, творчество, любовь, то, что остается, когда исчезают и человек, и его имя, и даже кости...»

Эти слова я записал, но Жолио выразил свою мысль куда лучше восемь лет спустя в эссе «Человеческие ценности науки»: «Не раз мне приводилось быть свидетелем ужасных разочарований, когда люди вдруг теряли веру. Но... Я хотел бы сказать — но, черт побери, почему загробная жизнь должна протекать в другом, потустороннем мире? Думая о смерти даже в раннем возрасте, я видел перед собой проблему глубоко человеческую и земную. Разве вечность не живая, осязаемая цепь, которая связывает нас с вещами и людьми, бывшими до нас? Если вы позволите, я поделюсь с вами одним воспоминанием. Подростком я как-то вечером сидел над уроками. Работая, я вдруг дотронулся рукой до оловянного подсвечника — очень старой семейной реликвии. Я перестал работать, охваченный волнением. Закрыв глаза, я видел картины, свидетелем которых, наверно, был старый подсвечник... Как спускались в погреб в день веселых именин, как сидели ночью у тела умершего... Мне казалось, что я чувствую тепло рук, которые в течение веков держали подсвечник, вижу лица... Конечно — это фантазия, но подсвечник помог увидеть тех, кого я не знал, увидеть их живыми, и я окончательно освободился от страха перед небытием. Каждый человек оставляет на земле неизгладимый след, будь то дерево перил или каменная ступенька лестницы. Я люблю дерево, блестящее от прикосновения множества рук, камень с выемками от шагов, люблю мой старый оловянный подсвечник. В них вечность...»

(Я начал рассказ о Жолио с разговора о смерти, а кажется, я не встречал человека более живого, чем он. Прошло немало времени с его кончины, но мне трудно себе представить, что его нет, часто я ловлю себя на мысли: жалко, что Жолио не приехал, он сказал бы, что делать...)

Разговор на пражском аэродроме имел продолжение. В 1955 году Жолио вернулся к той же теме. В Вене было расширенное заседание бюро Всемирного Совета. Жолио в своем докладе утверждал, что накопленных запасов ядерного оружия достаточно для уничтожения жизни на планете. Такая оценка некоторым показалась чересчур пессимистической («Рассуждения специалиста. С политической точки зрения это неправильно...»). Я приехал из Вены в Париж недели на две позднее,

чем Жолио: ждал визу. Сразу же ко мне пришел секретарь Жолио — Роже Мейер: «Жолио говорит, что ему придется уйти с поста президента, — он не может поступиться убеждениями ученого...» Инцидент был быстро улажен, Жолио успокоился, но, когда мы встретились, он сразу сказал: «Поймите — это дело совести! Политика — высокая человеческая функция. Но если, несмотря на здравый смысл, на советские предложения, на все, что мы делаем, разразится катастрофа, я вас уверяю — некому будет рассуждать о политической бессмысленности происшедшего... Когда мне вручали в Стокгольме Нобелевскую премию, все было празднично. Я немного нарушил всеобщее благодушие... Я еще не отдавал себе отчета в силе атомной энергии и, конечно, не мог предвидеть Хиросимы, все же я закончил речь предостережением: осторожно! Силы, освобожденные человеком, огромны. Я вспомнил о новых звездах, которые вспыхивают и гибнут, это было, скорее, образом, чем научной гипотезой... Смерть человека ужасна, но созданное им не исчезает — я убежден, что, несмотря на зигзаги истории, на провалы, несмотря на глупость, она объясняется младенчеством человечества: всего шесть тысяч лет, как оно начало думать, двести поколений, — да, несмотря на глупость, есть прогресс, движение вперед... Верующие считали, что разумные существа имеются только на Земле. Вряд ли... Но если вопреки всему произойдет атомная катастрофа... Что будет тогда? «Новая звезда»? Пустота? Одно поколение передает другому эстафету — я повторяю ваши слова. Но кому мы тогда передадим созданное в течение шести тысяч лет? Вакуум... Вы мне сами говорили, что я — оптимист. Но я повторяю: осторожно!.. Опаснее всего иллюзии. Человеку, который только что женился, нашел новую квартиру, трудно себе представить, что он не успеет расставить мебель, как от всего останется пыль... Виновата не наука, а неравномерное развитие человечества. У некоторых людей, у которых, увы, большая власть, нет ни моральных тормозов, ни элементарных познаний: они воображают, что освобождение атомной энергии — очередное изобретение, нечто вроде парового двигателя или мотора внутреннего сгорания...»

Нельзя отделить биографию Жолио-Кюри (так его называют в книгах и газетах), Жолио (так его называли люди, его знавшие), Фреда (так звали его друзья) от проблем, вставших перед нами в связи с рождением новой физики. Утро новой эры человечества я увидел в вечер моей жизни. Конечно,

открытия Эйнштейна поразили меня еще в начале двадцатых годов, хотя я их и плохо понимал. Хиросима меня потрясла размерами бедствия, но я не давал себе отчета в происшедшем. Атомная бомба меня возмутила оттого, что она была в тысячу или в десять тысяч раз сильнее обыкновенных бомб. Власть в Америке принадлежала не профессору Принстонского университета, который считался гениальным чудачком с длинными кудрями и с человеколюбием прошлого века, а вполне благообразному современному человеку, стандартному политику, случайно оказавшемуся на посту президента.

Эйнштейна я слушал с благоговением, но пробыл я с ним всего несколько часов. А с Жолио я часто встречался в течение восьми лет. Я его полюбил — его ум, чувствительность художника, интуицию, воистину женскую, смелость, чистоту. Я его не только любил, я ему признателен — он помог мне понять то, что дотоле оставалось для меня закрытым. Его слова, да и его судьба позволили мне увидеть лицо новой эпохи. Над гробом Жолио его друг Бернал сказал: «Трагедия Жолио была трагедией благородства...» Вечером Бернал добавил: «И трагедией науки...»

Иногда говорят о писателе, что он похож на свои книги. Может быть, и Жолио-Кюри походил на свои труды, не знаю — я слишком невежествен в современной физике, чтобы об этом судить. Но для меня Жолио по своей манере держаться, по разговору, по увлечениям, — словом, по душевной структуре, — никак не вязался с представлением об ученом, которое сложилось еще с детских лет: меньше всего он был узким специалистом, аскетом, рассеянным книжником. Впрочем, все рассуждения о прирожденных ученых, писателях, инженерах, музыкантах натянуты и произвольны. Жолио как-то сказал мне: «Я сам удивляюсь, почему я стал ученым? В школьные годы я мечтал стать профессиональным футболистом, мне прочили блестящее будущее. Вышло иначе... Вероятно, что-то притянуло меня к науке. Я колебался — химия или физика? Очевидно, и здесь не было простой случайности. Не знаю, хватило ли бы у меня для химии усидчивости, терпения... В моем возрасте люди не только давно придали личные черты своей работе, их черты сложились в зависимости от того, что они делали. А меня и теперь удивляет, что я — ученый. Поверьте, с рыбаками Аркуэста я чувствую себя естественнее, чем на научных заседаниях...»

Вполне возможно, что Жолио не родился ученым, но он им стал и свой дар, свою творческую инициативу, свои силы вло-

жил в науку. Он пережил счастье открытия, когда, по его словам, ему хотелось танцевать, кричать, хлопать в ладоши; он пережил и расплату. Говоря это, я думаю не о многих несправедливостях, связанных с его гражданским мужеством, а о них я все же должен упомянуть. Жолио создал атомный реактор «Зоэ», это было гордостью Франции. Год спустя глава французского правительства снял Жолио с поста верховного комиссара по атомной энергии: политики не могли простить большому ученому, что он стал коммунистом. (Расскажу об одном эпизоде, скорее смехотворном, чем трагическом. Когда шведский король в 1935 году вручил Жолио-Кюри Нобелевскую премию, все стокгольмские газеты писали о молодом французском ученом, а шведские коллеги восхищались им. Но вот Жолио снова приехал в Стокгольм в марте 1950 года — на сессию Постоянного комитета. Газеты молчали. На следующий день я увидел Жолио с чемоданом, — оказалось, его попросили освободить номер: не хотели держать в гостинице «красного».) Говоря о расплате, я думаю не об административных гонениях — они связаны не с открытием искусственной радиоактивности, а с политической ролью Жолио. Его мучило другое — он много раз повторял: «Простые люди начинают ненавидеть науку». Он понимал свою ответственность, говорил и в публичных докладах, и в частных беседах о том, что атомная энергия может принести людям величайшее счастье — освободить их от подневольного труда — и она может погубить человечество. В лаборатории он чувствовал себя хозяином. Но, помимо научных открытий, существует использование этих открытий, и не ученые, а политики решили использовать величайшие открытия Эйнштейна, Резерфорда, Жолио-Кюри, Нильса Бора, Ферми, Гана для создания оружия массового уничтожения. «Доверие к науке поколеблено, — сказал мне Жолио во время одной из наших последних встреч, — люди видят только зло — стронций, лучевую болезнь, картину всеобщей гибели...»

Меня могут упрекнуть в преувеличении роли личности, но я пишу не исторический труд, а книгу воспоминаний и решусь признаться, что Движение сторонников мира для меня неотъемлемо от личных качеств Жолио, от его сознания своей ответственности как ядерного физика, от его умения объединить людей, различно мыслящих. Он часто говорил: «Это не враг, это противник», — к врагам он причислял только людей, которые хотели войны, а противниками называл тех, кто не хотел

примкнуть к движению, считая его прокоммунистическим, но пытался отстоять мир по-своему.

В начале пятидесятых годов климат был суровым: шла корейская война, взаимная ненависть достигла апогея. Но и в те годы я помню, как Жолио пытался защитить то итальянскую католичку Пьяджио, говорившую об ответственности двух сторон, то датчанку Аппель, возражавшую против нападков на политику Запада, то американского пастора Дарра,— Жолио говорил: «С ними можно и нужно спорить, но не здесь, не в движении за мир...»

Конечно, не будь на свете Жолио, наше движение все равно возникло бы, но мне кажется, что оно было бы уже, да и суше. Всё политика — и война, и борьба против войны, но люди, для которых политика — профессия, и в движении не могли освободиться от своих навыков, от словаря, от формул (именно поэтому Жолио особенно ценил участие в движении Ива Фаржа, в котором ничего не было от профессионального политика).

Движение сторонников мира отнимало у Жолио очень много времени. Однажды он признался мне: «Минутами я сомневаюсь... Близкие мне говорят: «Ты не можешь так продолжать...» Действительно, почему я должен мирить голландских сторонников мира с индонезийскими? Почему ко мне приходят с рассказами о распрях в секретариате? Почему от меня требуют, чтобы я успокоил представителя Гондураса — на следующем конгрессе ему дадут слово не ночью, а днем... Все это могли бы сделать и другие. Мне хочется иметь время для научной работы. А вместе с тем я понимаю, что нельзя провести границу: то-то делаю я, то-то другие. Тем более что все привыкли обращаться ко мне, скажут: «Значит, движение теперь отходит на второй план». Люди, которые меня упрекают, правы — мое место в лаборатории, а не в комиссии, где люди спорят всю ночь, — сказать «потребовать» или «предложить». Там на месте политики — Лоран, Серени, Ненни... Но я хочу, чтобы наше движение расширилось, только тогда мы сможем повлиять на политику Запада. Значит, я должен сидеть в комиссиях...»

Политические проблемы пятидесятых годов остаются и ныне актуальными, живы люди, работавшие вместе с Жолио-Кюри, и мне приходится о многом промолчать. Бывали большие трудности, бессонные ночи, политические распри, а порой и личная неприязнь, не всегда Жолио удавалось примирить людей, приободрить их. Однажды он сказал мне: «Х. меня упрек-

нул в чрезмерном оптимизме... Для того чтобы быть оптимистом, стоит только призадуматься над историей. Но бывает, что и товарищи-коммунисты удивляются моему оптимизму, вероятно, это связано с характером — не только философия, — физиология...» А между тем я знаю, что Жолио порой переживал очень трудные для него недели, но он умел приободрить не только других — самого себя.

У него была внешность не кабинетного человека, а, скорее, спортсмена; он любил ходить на лыжах, был страстным рыболовом. На стенах его дома в Антони красовались препарированные головы гигантских щук, которых он выловил. 18 марта 1950 года Жолио исполнилось пятьдесят лет; было это во время сессии Постоянного комитета. Шведские друзья вспомнили дату и на митинге поднесли ему подарок. Мы сидели рядом. Жолио сразу догадался: «Спиннинг!..» На его лице была ребяческая радость и любопытство. Он не решался при всех раскрыть пакет, нагнулся, отодрал кусочек бумаги и, восхищенный, шепнул мне: «Это какой-то особенный бамбук!..»

Летом 1951 года Жолио отдыхал под Москвой; однажды он приехал ко мне в Новый Иерусалим. Он был в хорошем настроении, шутил, перед обедом признался, что у него в Советском Союзе нашелся враг — какая-то травка, которую сыплют повсюду: в суп, на картошку, на мясо (оказалось, что его враг — укроп). После обеда он спросил, нету ли у нас самовара. Таковой оказался: года три назад мне его подарили на тульском заводе. Мы его ни разу не ставили. Начали разжигать щепки, они сторали, не зажигая угля, или сразу гасли. Жолио дул в трубу изо всех сил. Наконец-то справились с самоваром. Жолио восхищался старыми ветлами, долго рассматривал скворечники и, уезжая, сказал: «Подумать, что мы даже не поговорили о бюро, о секретариате, о Рогге!.. Вот это настоящий день мира!..»

А неделю спустя мы отправились на сессию бюро в Хельсинки. Жолио предоставили вагон-салон; с ним ехала Ирэн Жолио-Кюри. В Ленинграде Жолио попросил меня отвезти его в Эрмитаж. «Мне сказали, что там часть картин, которые я видел пятнадцать лет назад в московском Музее западной живописи...» В то время импрессионисты, не говоря уже о Матиссе и Пикассо, считались противопоказанными для посетителей музея, и ценнейшая коллекция хранилась в фондах; картины висели на щитах. Жолио восхищался, особенно ему нравились

пейзажи Сислея, Моне, Писсарро. Когда мы уходили, он сказал: «Я как будто провел целое лето в деревне — другой человек...» Нагнувшись ко мне, он тихо добавил: «Нехорошо лишать такой радости советских людей...» И тотчас добавил: «Это ненадолго, я убежден».

В 1955 году Жолио серьезно заболел, его поместили в госпитале Сент-Антуан. (Он умер в том же госпитале три года спустя.) Это очень старое, мрачное здание. Жолио отвели отдельную маленькую комнату. Он рассказал, что врачи не уверены в диагнозе, но он наблюдает за собой, записывает, подружился с главным врачом. Потом, разумеется, он заговорил о разрядке — теперь как раз время попытаться расширить движение... Вдруг он взял холст, повернутый к стене, и, смущаясь, сказал: «Я здесь обречен на безделье и занялся живописью. Не судите слишком строго, я ведь никогда не учился, начинаю с азав...» На холсте был пейзаж, который он видел в окно: двор, несколько деревьев, стена дома. Я поглядел второй холст, третий... Жолио спросил: «Очень плохо?..» Я ответил ему, что в его пейзажах есть чувство света, непосредственность, даже наивность, хотя рисунок довольно уверенный. Он сказал: «Забавы пятидесятичетырехлетнего ребенка...»

Весной 1956 года умерла от лейкемии Ирэн Жолио-Кюри. Для Жолио это было тяжелым ударом: они прожили и проработали вместе тридцать лет — в 1926 году молодой лаборант, работавший в Институте радия под руководством Мари Кюри, женился на ее дочери, ассистентке того же института. Они жили дружно, хотя были очень несхожими. Ирэн была сдержанной, молчаливой, и Жолио, обычно разговорчивый, в ее присутствии часто замолкал. Помню ночь, которую мы провели в вагоне-салоне. Ирэн вскоре ушла в купе, а Жолио остался. Он начал говорить об одиночестве, о своей «плебейской природе», о том, как порой человеку хочется вырваться из своей жизни: «Мы все машины, буксующие в колее...» В 1956 году Жолио приехал в Вену. Мы его встречали на вокзале. Вечером он сказал мне: «Ирэн умерла от той болезни, которую мы зовем профессиональной. Теперь мы стали осторожнее, а в тридцатые годы...» Он помолчал и тихо добавил: «Все это нелегко...» Год спустя я был у него в Антони. Он показал мне сад, изумительную стену вьющихся роз, последние тюльпаны. «Ирэн очень хорошо подбирала цвета тюльпанов. Прошлой

весной они зацвели, а ее уже не было...» Несколькими минутами спустя он сказал: «Мною овладела торопливость — хочется успеть что-то сделать. Я не мнителен, но нельзя быть чересчур легкомысленным...»

Еще раньше — в 1956 году — он заговорил со мной о Сталине: «Многие наши интеллигенты после XX съезда заколебались. А мне кажется, что наше дело шагнуло вперед. Я никогда не обманывался так, как некоторые другие, — о Сталине говорили как о полубоге. Помню, я сказал тогда Х.: «Осторожно! Мы не должны верить в непогрешимость, оставим это католикам. Я видел в Советском Союзе много изъяснов — они первые начали, не удивительно...» Весной 1958 года, когда он меня пригласил в Антони, он сказал: «Пожалуйста, при детях расскажите о том хорошем, что у вас делается. А сейчас поговорим о прошлом... Вы все понимаете? Я много думал и все же до конца не понял...»

Коммунистом он стал в очень страшное время — в 1942 году — и до смерти сохранял верность избранному пути. В его выборе сказались не только эмоции, героизм коммунистов в Сопротивлении, борьба против фашизма советского народа, но и логика, размышления ученого. Вспоминая Фадеева, Жолио сказал: «Однажды мы поспорили — вы помните, это было в Вене, — он уговаривал меня отказаться от моих слов, когда я утверждал, что война способна уничтожить жизнь на нашей планете, он повторял: «Мы знаем вас, как верного друга». Я ему ответил, что в дружбе хороша верность, а в политике, как и в науке, нужно не только верить друзьям, но и думать...»

У Жолио было лицо француза, — с тонкими, хорошо вырисованными чертами, да и в характере его было много национальных черт: он радовался порой с легкой печалью, много говорил, но очень редко проговаривался, рассуждая, всегда был точен, логичен.

В Антони я видел, как он возился с внуками — детьми Элен, — и вспомнил стихи Гюго «Искусство быть дедом». В доме было много красивых вещей, за обедом хорошее вино, в кабинете фотографии друзей, во всем ясность, свет, радость. Я не знал, что вижу Жолио в последний раз.

На похороны я летел вместе с Д. В. Скобельцыным, который в тридцатые годы работал в лаборатории Жолио: мы знали двух разных людей, а любили одного.

После долгих переговоров между детьми Жолио и представителями правительства похороны разделили на два акта. Вернувшись в Москву, я писал: «Во дворе древней Сорбонны перед часовней XVII века, между памятниками Гюго и Пастера, был установлен катафалк... Стояли, как статуи, солдаты республиканской гвардии в архаических шлемах с конскими хвостами. Стояли министры и послы, академики и сенаторы. Стояли члены ученого совета Сорбонны в красных тогах, отороченных горностаем... А потом уехали министры, ушли гвардейцы. В предместье Парижа Со возле кладбища собрались друзья и товарищи Жолио, сторонники мира, студенты, слушавшие его лекции, рабочие, домашние хозяйки, лаборанты, служащие, простые люди Франции. День был грозовой, под ливнем шли и шли люди, многие плакали; рядом с парадными тяжелыми венками лежали скромные цветы садов и палисади-ников Франции...»

Вечером некоторые члены бюро Всемирного Совета, приехавшие на похороны, собрались: нужно было обсудить, что делать дальше. Помню Бернала, Казанову, Спано, Изабеллу Блюм. Мы не могли говорить — слишком свежим было горе. Передо мной стоял живой Фред, и я не мог представить себе, что его больше нет. Да и сейчас, много лет спустя, я вижу его живым, и снова все возмущается: умер... Он говорил, что каждый человек оставляет на земле след, а память о нем трудно назвать следом — это, скорее, рана, рана и вежа.

21

Движение за мир организовывало многолюдные конгрессы и митинги. В Риме двести тысяч человек проходили по улицам с зажженными факелами. Нас торжественно принимал президент Польши Берут, а в Дели Неру говорил нам о традиционном миролюбии Индии. Мы относили венки на могилу Ганди и в пещеры, где гестаповцы расстреливали итальянских патриотов. На Варшавском конгрессе мы увидели окровавленную рубашку парагвайского студента Алонсо, замученного полицейскими за то, что он отстаивал мир. Прилетев в Вену, один из делегатов Бразилии умер от инфаркта: не выдержал длинного перелета. На одном из конгрессов мы услышали стихи Назыма Хикмета, на другом пел Робсон, на третьем

получитал-полунапевал поэму, прославлявшую братство, старый индийский сказитель. Мы слышали речи опытных парламентских ораторов — Пьера Кота и Ненни, блистательные эссе Сартра, молитвы буддийских монахов. Порой наши собрания бывали бурными. В декабре 1956 года в Хельсинки бюро начало работать в девять часов утра, и только на следующий день в восемь часов утра мы пришли к соглашению — проспорили двадцать три часа подряд в душном, накуренном зале. Пять лет спустя мы обсуждали созыв Конгресса за разоружение; это вывело из себя китайских делегатов, и зал шведских кооператоров, привыкший к чинным обсуждениям годового оборота, превратился в поле боя.

Все же, оглядываясь назад, я с особенным волнением вспоминаю Стокгольмскую сессию в марте 1950 года. Внешне ничего примечательного не было. Приехало человек полтора. Заседали мы в подвальном зале ресторана (шутя мы говорили: «В катакомбах»). Шведские газеты не упоминали о сессии, и жители Стокгольма нами не интересовались. Да и не запомнились мне речи. Однако в истории нашего движения Стокгольмское воззвание заняло исключительное место. Мы понимали, что обращаемся к миллионам людей, что от успеха или неуспеха нашего призыва зависит многое, и когда Жолио-Кюри прочитал текст (кажется, самый короткий из всех, которые мы когда-либо принимали), нас охватило волнение. Мы первыми поставили подписи под призывом.

За несколько месяцев до Стокгольмской сессии Советское правительство заявило, что оно было вынуждено обзавестись атомным оружием. Западная печать уверяла, что в ядерном вооружении Советский Союз никогда не догонит Америку. О третьей мировой войне говорили как о событии завтрашнего дня. Одна французская газета устроила анкету: «Что вы будете делать, если русские захватят Париж?» Западная печать называла Стокгольмское воззвание «троянским конем». Журналисты спрашивали меня: не потому ли мы осудили атомную бомбу, что она тормозит захватнические планы Москвы? Перепуганным обывателям мерещились советские танки на Елисейских полях или на Пикадилли. Когда в Америке передали по радио скетч, посвященный воображаемому нападению, началась паника. Один американец рассказал нам, что в Сан-Франциско маленькая девочка, которой старший брат расписывал, как атомные бомбы уничтожат «красных», спросила: «А мы

не можем уехать куда-нибудь, где нет неба?..» Взрослые рассуждали иначе: атомная бомба многим казалась защитой, спасением.

Датский журналист, радикал прошлого века Киркеби, с которым я познакомился еще в двадцатых годах, рассказал мне, что сомневался, должен ли поставить свою подпись под Стокгольмским воззванием: он ненавидел войну, но считал, что запрет атомного оружия выгоден одной стороне: «Я спросил мою жену: не кажется ли тебе, что это воззвание косит в одну сторону?» Она ответила: «Может быть. Но атомная бомба косится на наших детей». И она подписала...» Наверно, миллионы женщин и мужчин подписывали текст с таким же чувством.

Произошло чудо: обращение, которое мы приняли в подвальном зале стокгольмского ресторана, облетело мир. Полгода спустя в Варшаве я увидел француженок, итальянок, аргентинок, гречанок, которые обошли множество домов, стучались во все двери. Помню работницу типографии, итальянку, ее звали Фирмина, она собрала восемнадцать тысяч подписей, она рассказывала, как убеждала католичек, монахинь, женщин, боявшихся коммунистов, как дьявола. Бразильцы привезли ящики с листочками — неграмотные крестьяне ставили крестики. Представители Черной Африки показывали палки с зарубками вместо подписей.

Много лет спустя один из военных комментаторов Соединенных Штатов признал, что пятьсот миллионов подписей под Стокгольмским воззванием заставили призадуматься Трумэна, когда во время корейской войны встал вопрос об использовании атомных бомб. Конечно, весной 1950 года мы не могли этого предвидеть, но мы расходились из «катакомб» взволнованные.

Мы приняли воззвание 19 марта. Вечером меня пригласил на ужин левый социал-демократ, сенатор Брантинг. Все было по-шведски — радушно и немного торжественно. Хозяин предлагал тосты, а на столе трепетали тонкие свечи. Ненни говорил о Ватикане, об Атлантическом пакте. Приятель Брантинга Ялмар Мэр с кем-то спорил о «Скандинавском союзе». Кажется, я мог бы давно привыкнуть к таким вечерам, и все же стеснялся.

Меня посадили рядом с молодой женщиной, Лизлоттой Мэр. Мы говорили по-французски. Вдруг она сказала по-

русски: «Я училась в Москве...» Оказалось, что она родилась в Германии; когда Гитлер пришел к власти, ее родители успели выбраться в Париж, а оттуда перебрались в Москву, где девочку отдали в десятилетку. Потом они уехали в Стокгольм, там Лизлотта встретила с Мэрмом. Мне сразу стало легче: училась в Москве, — значит, не чужой человек...

Брантинга я смутно помнил по Испании. В тридцатые годы о нем много писали — он обличал Геринга во время процесса Димитрова, организовывал помощь испанским республиканцам. Коллонтай мне рассказывала, что в годы войны он выступал против своих товарищей по партии, которые пытались откупиться от Гитлера уступками. Хотя я четверть века назад много ездил по Швеции, я плохо знал шведов, вернее, у меня было о них несколько абстрактное представление, наверное оставшееся еще от книг Стриндберга. Мне казалось, что чуть ли не любой швед выступает против несправедливости, пишет стихи о смерти и боится житейских пустяков. Потом я подружился с Брантингом, мы вместе работали над организацией встреч «Круглого стола». Мифический викинг был старым одиноким человеком; только в одном я оказался прав — он действительно писал стихи о смерти. А летом 1965 года он умер, и на минуту встали в памяти тридцатые годы.

Была еще по-прежнему холодная ночь. Я долго бродил по безлюдным улицам. Вместо голубей в Стокгольме — чайки. Им полагается летать над морем, но они, как голуби, предпочитают жить возле людей, в море они кружатся вокруг корабля, а в Стокгольме суетятся на набережных, беспокойные, крикливые. Ярко и холодно пылали фонари. В освещенных витринах каменели сервизы, пылесосы, рубашки, апельсины. Старик прогуливал толстую таксу. Два матроса шли, пошатываясь, и что-то выкрикивали. Влюбленные целовались, прижавшись к столбу с афишами, под злым ветром Балтики. Длинные пустые улицы. В некоторых окнах свет — там мечтают, ссорятся, плачут, танцуют... Под утро в маленькой комнате гостиницы я записал: «Все дело в людях». Не помню, почему именно тогда я написал слова, которые подходят к любому дню любой жизни.

Шведские власти оказались терпимыми и гостеприимными. Мне часто приходилось бывать в Стокгольме, и этот город вошел в мою жизнь. В Стокгольме (или в других шведских городах) происходили различные конгрессы, конференции, сессии

Верховного Совета, заседания бюро. Я выступал на митингах в Гетеборге, в Норчепинге. Шведские писатели меня пригласили в их клуб. Я делал доклады студентам Упсалы и Лунда; познакомился с некоторыми министрами, с учеными — Густавсоном и Мюрдалем, встречался с поэтами и журналистами. Швеция неизменно удивляет иностранцев. Эта страна — баловень судьбы: дважды мировые войны ее пощадили. Из сельской идиллической окраины Европы она превратилась в страну передовой промышленности и ультрасовременного комфорта. Ее новая архитектура напоминает мечты наших конструктивистов начала двадцатых годов. Все здесь разумно — и большие окна, и кресла, и яхты, и кухни. Несмотря на это, не только в книгах шведских писателей, но и в рассуждениях любого шведа, после того как он опорожнит бутылку водки, столько противоречий, столько душевного разора, что диву даешься. Видимо, комфорт одновременно восхищает и обкрадывает, засасывает и выводит из себя.

Я довольно часто встречаюсь с поэтом, романистом, эссеистом Артуром Лундквистом. Познакомились мы в 1950 году на Конгрессе Мира. Он сын батрака из Скании, и лицо у него, скорее, мягкое, лирическое. А в суждениях он непримирим и душевно сродни не букам, а шхерам. Он почти всегда путешествует, изъездил полмира, и нет ни в его книгах, ни в его жизни даже тени уюта. С ранней молодости он боролся против эпигонов, против социального консерватизма, говорил (и говорит) о торжестве будущего — это оптимист, но на редкость печальный. Я не удивился, услышав по радио, что во время страшного землетрясения в Агадире Лундквист оказался там: по-моему, земля под ним всегда трясется, но ноги у него длинные и крепкие.

Я был с академиком Д. В. Скобельцыным в Стокгольме, когда Лундквисту вручали Ленинскую премию мира. Это совпало с напряженными днями в приступе «холодной войны»: за неделю до того шведские академики присудили Нобелевскую премию Пастернаку. Церемония вручения премии Лундквисту состоялась в Малом зале Концертного дома Стокгольма. На эстраду вышел человек во фраке и уныло объявил: «Музыкальной части не будет — в связи с событиями квартет распался...» (Оказалось, один из участников знаменитого квартета, «в связи с событиями», отказался играть.) На торжественном ужине — разумеется, со свечами — Лундквист встал,

сказал: «В общем, писателям всегда плохо», — постоял, потом сел.

Почему же в Швеции много и «проклятых поэтов», и мрачных пропойц, и самоубийц? Не знаю, не хочу отделяться парадоксальными гипотезами. Верно одно: «Все дело в людях». А человеку, видимо, мало и артистически приготовленных седелок, и рая из пластмассы.

В середине пятидесятых годов, когда многое на свете оттаяло, Лизлотта рассказала мне о своих школьных годах. Это было время ежовщины. В школу порой приходил то растерянный мальчик, то заплаканная девочка. Лизлотта по-детски влюбилась в одного из учителей. Он исчез. Она увидела Москву в очень трудные годы, и, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, в ней осталась любовь к советским людям, к русской речи, к Москве.

Мне хочется прервать рассказ о Стокгольме одной историей. Я должен ее рассказать, хотя она может показаться чересчур литературной, неправдоподобной. Героя истории зовут Андре, у нас его звали Андреем, я не назову его фамилии, — может быть, огласка была бы ему неприятной. Накануне революции в Париже русский эмигрант, литератор, познакомился с молоденькой поэтессой русского происхождения. Родился Андре. Вскоре его отец уехал в Россию, а поэтесса вышла замуж за скульптора, ставшего потом знаменитым. Отчим полюбил мальчика, баловал его. Однажды Андре увидел фильм «Броненосец «Потемкин». Он знал, что его отец в Москве, и решил, что должен уехать в Советскую Россию. Мальчика вписали в паспорт советского художника Штеренберга, и он попал в Москву — к отцу и молодой мачехе. Романтики он не увидел. Мачеха посылала его в очереди. Вскоре он с нею поспорил и ушел к беспризорным. Помню, как его мать, обливаясь слезами, показала мне письмо Андре, которое он написал ночью в аптеке, где прятался от мороза.

При облаве милиция поймала Андре и отвела его в родительский дом. Он учился в школе и подговорил двух товарищей убежать в Париж. У них были велосипеды. Андре украл револьвер. Ночью произошла перестрелка на турецкой границе; пограничники задержали беглецов. Мать Андре поехала к Ромену Роллану, а от него на Капри к Горькому. Времена еще были легкими, и Андре отправили в Болшево — в образцовую колонию. В 1934 году он приехал из Болшева

в Москву, спрашивал меня про мать, про отца. Я с ним проговорил час и понял, что судьба его будет трудной. В 1937 году его отца арестовали. Андре пошел во французское посольство и потребовал, чтобы его отправили в Париж. Никаких документов, подтверждающих, что он родился во Франции, у него не было. В тот же день его задержали и направили в концлагерь. Он отсидел свое, а когда его освободили, поехал в Москву и пошел во французское посольство. Его снова отправили в лагерь.

Кажется, в 1953 году он написал мне, а я написал о нем прокурору. В итоге Андре освободили. Я увидел уже не подростка, а человека с проседью, который забыл французский язык и не научился хорошо говорить по-русски, не имел профессии, жил то у профессора, то у инженера — товарищей по лагерям. Потом ему разрешили уехать во Францию.

В Париже он пришел ко мне. Он был хорошо одет, рассказал, что вначале ему докучали журналисты, узнавшие от посольства о его необычной судьбе, он отказался отвечать на их вопросы. Получил работу, сносно зарабатывает. Живет с матерью. Помолчав, он тихо сказал: «Но жить здесь неинтересно. Меня тянет назад в Советский Союз. Теперь это уже не глупые мечтания мальчишки, а трезвый вывод человека, которому пошел пятый десяток. Там я узнал настоящих людей...» Когда я рассказал Лизлотте об Андре, она сказала: «Я его понимаю...»

Вернусь к городу, с которым связано и Движение сторонников мира, и многое в моей жизни. Это северный город — там холодно летом, а в декабре кудые дни. Хотя я прожил много лет в Париже, я человек севера. Я знаю, как трудно растопить лед человеческих отношений. На севере любят комнатные растения куда больше, чем в Париже. Да и человеческое тепло особенно ценят там, где люди много молчат и где они сжились с одиночеством.

«Все дело в людях»... В 1950 году мне было под шестьдесят. Конечно, я был много крепче, чем теперь, — мог проработать десять часов подряд, пройти, не останавливаясь, десять километров; но на душе у меня часто бывало смутно; я думал, что не живу, а доживаю, и душевную вялость приписывал возрасту. Я не мог не писать, но писать в то время было нелегко. Я говорю не о всех писателях — о себе. В писательском труде я зависел от злобы дня, от газет, от

печального письма, рассказывающего про чужое горе, которому я бессилен помочь. В 1950 году я начал «Девятый вал», писал много, но без внутреннего огня. Меня выручило Движение сторонников мира: чистое и живое дело, хорошие люди. Может быть, и успех Стокгольмского воззвания в первую очередь объясняется людьми. Жюлио-Кюри или Ива Фаржа знали миллионы. Но, вероятно, мало кому известная итальянка Фирмина обладала большим сердцем, если ей удалось убедить тысячи незнакомых людей.

Да, многое у меня связано со Стокгольмом. Именно в этом городе в тусклый зимний день, беседуя с Лизлоттой, я впервые подумал о книге, которую теперь дописываю. Не знаю, удалась она или нет, автору трудно судить о своей работе, но это действительно моя книга, я пишу ее по внутренней необходимости, пишу искренне, без давней желчи, которая не раз меня спасала, да и без пайкового меда. Я помню, как мне пришлось в голову ее написать: вдруг стало страшно, что умру и не расскажу о людях, которых знал, любил. Годы и жизнь пришли потом — оказалось невозможным рассказывать о других, умалчивая о себе. А когда я решил сесть за эту книгу, я не думал о своих надеждах и заблуждениях: передо мной встала вереница людей ушедших, но близких, теплых, живых.

В суеверном страхе я спрашивал себя: хватит ли сил, времени? В записной книжке среди пометок о заседании комиссии и черновиков резолюции я нашел стихи Тютчева о том, как в старости скудеет кровь, но не скудеют чувства.

В январе 1963 года я был у Пикассо. Пабло вдруг вздумал меня наставлять: «Ты не в том возрасте, чтобы обязательно при всяком случае отстаивать правду. Вспомни молодого человека в Палестине, ему за это пробили руки гвоздями...» Я усмехнулся — Пабло старше меня на десять лет, но в нем больше страсти, даже неистовства, чем в любом юноше, он только то и делает, что отстаивает правду...

Конечно, теперь я хорошо знаю, что такое старость: мотор износился. Я чувствую старость, но о ней почти не думаю. Дело не в возрасте: задолго до того, как приходит смерть, человек не раз душевно умирает и снова рождается, — казалось, костер догорел, под пеплом едва тлела головешка, но вот человеческое дыхание ее разожгло. Все дело в людях...

В начале 1950 года я написал заявление: для работы над романом «Девятый вал» мне необходимо поехать во Францию, расспросить о некоторых событиях послевоенных лет. Поездки мне разрешили, это было удачей; но вскоре я узнал, что французы не дают визы. Представитель министерства иностранных дел сообщил прессе: «Г-ну Эренбургу отказано в визе не потому, что он — коммунист, а потому, что есть все основания полагать, что он лично испытывает неприязнь к Франции».

Прочитав это во французской газете, я рассердился, а потом мне стало смешно. Сколько меня ругали за чрезмерную любовь к Франции! Как раз незадолго до этого я прочитал длинную статью критика, который доказывал, что в романе «Буря» я пытаюсь окружить ореолом даже «беспринципного буржуа Лансье»... И вот, извольте видеть, Бидо выдает меня за врага Франции!

Тысяча девятьсот пятидесятый год был годом, когда «холодная война» ежечасно грозила перейти в горячую. Летом загремели пушки в Корее. Правда, Сталин занялся вопросами языкознания, но обыватели закупали соль и мыло. Один старик объяснил мне: «Без соли не проживешь. А если придется умереть, нужно в чистой рубашке преставиться...» Весной и летом я побывал в Швеции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Англии — повсюду я видел иступление, ненависть, страх. События того времени еще хорошо памятливы, и я хочу рассказать о некоторых малозначительных эпизодах только для того, чтобы восстановить своеобразный климат конца сороковых — начала пятидесятых годов.

Трудно объяснить, почему я стал любимой мишенью антисоветских журналистов. Может быть, они преувеличивали мою роль, а может быть, их раздражало мое знакомство с жизнью Запада, не знаю, но писали обо мне часто и злобно. В Стокгольме один из французских делегатов дал мне газетку «Руж э нуар», в которой сообщалось, что я недавно избран в Верховный Совет, буду получать ежемесячно десять тысяч рублей и перееду в «дом в роскошном предместье Москвы, в так называемой «запретной зоне», где проживают высшие сановники». Вслед за этим французский журналист спрашивал меня об «исчезнувших»: «Исчезла Тамара Мотылева,

еще год назад вознесенная официальной критикой на небеса. Она лишилась всего, даже университетской кафедры, за то, что процитировала фразу Леона Блюма. Исчез Анатолий Софронов, на него обрушились молнии Кремля после того, как он осмелился обличить карьеризм. Исчез крупнейший романист Советского Союза Михаил Шолохов, который укрылся в деревушке на Волге...»

Во главе французской организации левых писателей тогда стоял Мартен-Шофье. Он написал письмо премьеру Бидо, которого знал по годам Сопротивления, настаивал, чтобы мне выдали визу. Бидо не ответил. Мартен-Шофье опубликовал открытое письмо «Прощайте, Бидо!». Однако на Бидо больше не действовали никакие письма — ни закрытые, ни открытые.

Я решил попытаться счастья в Бельгии и Швейцарии — туда смогут приехать некоторые французские друзья. Бельгийцы дали визу на две недели, по тем временам это было крайним либерализмом. Общество дружбы «Бельгия — СССР» устроило мои доклады в Брюсселе, в Антверпене, в Льеже. Народу повсюду было много, и аудитории были бурными: все тогда теряли спокойствие — и враги и друзья.

В Брюсселе меня пригласила к себе королева Елизавета, вдова короля Альберта, о котором много писали в годы первой мировой войны. Королева меня потрясла. Конечно, это была первая королева, с которой я разговаривал, но, будь она нетитулованной, все равно я изумился бы; ей было семьдесят четыре года, а она ходила быстро, как молоденькая девушка, водила машину, занималась скульптурой, изучала русский язык. Она поговорила со мной о «Буре», которую читала по-русски, показала свои работы, рассказывала о встречах с Роменом Ролланом, спрашивала, давно ли я был у Сталина, как поживают Оборин и Ойстрах. Насчет музыкантов я мог что-то сказать, а о Сталине промолчал: трудно было бы объяснить бельгийской королеве, что советскому писателю куда проще встретиться с нею, чем со Сталиным. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Она сказала, что текст ей кажется прекрасным. У нас нашлась общая страсть — садоводство, я сказал, что очень люблю туберозы, искал в Брюсселе луковицы, но не нашел. Месяца три спустя в Москве я получил из ВОКСа пакет с сопроводительным письмом: «Прилагаемые луковицы переданы на ваше имя в посольство СССР в Бельгии королевой Елизаветой». В конце беседы королева

сказала, что придет на мой доклад: «Я сяду в королевской ложе, обычно я сижу в партере, но газеты захотят промолчать о вашем докладе, а если я буду в королевской ложе, им придется написать...»

Королева действительно сидела в королевской ложе, и в газетах появились отчеты о моем докладе.

В Антверпене возле «Зала Рубенса» было много полицейских. Несмотря на безработицу, бастовали докеры; помимо экономических требований, они отказывались разгружать американские суда с оружием. Одному американскому судну пришлось ночью зайти в маленький порт Зее-Брюгге и там выгрузить оружие. Желая обескуражить забастовщиков, власти арестовали стачечный комитет и среди его членов депутата парламента, докера Франса ван ден Брандена. Забастовка, однако, продолжалась, а ван ден Бранден объявил голодовку, протестуя против незаконных действий полиции. Первого мая рабочие двинулись к тюрьме, требуя освобождения «нашего Франса». Мой доклад состоялся в тот самый день, когда ван ден Брандена освободили. Мы выпили в кафе за его здоровье, за мир. Кругом толпились рабочие. Ван ден Бранден, высокий, худой фламандец, говорил: «Можете быть уверены, в наш порт они не привезут оружия!..» Потом ван ден Бранден и его товарищи пошли в «Зал Рубенса» на мой доклад. Я говорил о Рублеве, о Пикассо, о единстве культуры, о Стокгольмском воззвании.

Вспоминая весну 1950 года, я думаю, что никто тогда не знал, чем все кончится. «Может быть, завтра начнется война» — это можно было услышать на любом перекрестке любого города. Пять послевоенных лет были бурными, пестрыми, противоречивыми. Германская Федеративная Республика была годовалым младенцем, да и НАТО еще барахтался в колыбели. Многим казалось, что можно изменить ход событий. В Брюссель приехал молодой француз, рабочий-металлист Раймонд Агасс: он хотел рассказать мне о драме города Ля Рошелль. Докеры Ля Рошелль отказались грузить суда с военным снаряжением, которые должны были уйти в Сайгон. Власти попытались разогнать докеров, найти «желтых». Тогда в порт двинулись рабочие. Агасса арестовали и предали суду. В день суда над зданием трибунала неожиданно взвился красный флаг. Агасс восклицал: «На войну мы не будем работать! Не выйдет!..» Рассказал он мне о событиях

в салоне гостиницы «Палас», и дамы, дремавшие в креслах, испуганно убежали.

Две недели спустя в Женеве марсельцы рассказали мне, как судно «Эмпи́р Маршалл» металось по Средиземному морю — ни в одном порту его не хотели разгрузить. Ко мне приехал товарищ из Ниццы. Там должны были погрузить установки для управляемых снарядов. Военную технику стыдливо прикрыли ветками мимозы, но кто-то обнаружил закамуфлированные установки; завывла сирена, рабочие ринулись в порт.

Бог ты мой, сколько в этом было романтики! Раймонда Дьен отпраздновала в тюрьме день рождения — ей исполнился двадцать один год. Ей слали десятки тысяч поздравительных телеграмм. Что она сделала? Легла на рельсы, задержала на час или на два воинский состав. Но ее имя повторяли сотни миллионов людей, юноши и девушки повсюду вдохновлялись ее поступком.

Тогда еще не успел сложиться быт послевоенного Запада. В Лондоне в центре города чернели развалины. Пролетая над Германией, я видел скелеты разбомбленных городов. В Англии еще существовали продовольственные карточки. Европа жила бедно, тревожно, суматошно. Битва рабочих во Франции и в Италии была проиграна еще в 1947 году, но всем казалось, что битва продолжается.

Пентагону, который вместе с некоторыми монополиями определял политику Америки, помогал всеобщий страх. Я убежден, что Сталин не хотел войны, однако его имя пугало не только буржуазию, но и крестьян, интеллигенцию, даже многих рабочих Западной Европы. Французские газеты писали, что советские танки в течение нескольких дней смогут дойти до Дюнкерка и Бреста. Симона де Бовуар в своих воспоминаниях рассказывает, как писатели, встречаясь друг с другом, спрашивали: «Что вы собираетесь делать, когда советские войска приблизятся к Парижу, — уедете или останетесь в оккупированной Франции?» Камю говорил Сартру: «Вы должны уехать — они вас не только убьют, но и обесчестят...» Трагедия коммунистов была в их изоляции, связанной с подозрительностью соседей, со страхом перед нашествием, с разговорами о «пятой колонне». Антверпенских докеров не поддерживали ни фламандские крестьяне, ни многие социалистические профсоюзы.

В Льеже мой доклад устроили в консерватории. Валлонцы — люди темпераментные, и после доклада меня не отпускали — я должен был расписываться на книгах, своих и чужих, на листочках из записных книжек, на членских билетах общества «Бельгия — СССР», на различных карточках. Вдруг чрезвычайно рослый любитель автографов, расталкивая всех, прорвался ко мне и протянул бумажку. Я чуть было не подписал ее, но человек зычно крикнул: «Ваши документы!» Оказалось, он сунул мне полицейское удостоверение: решил на всякий случай проверить, кто этот смутьян.

А в общем, бельгийские власти вели себя корректно. Правда, когда ректор Брюссельского университета попросил министра юстиции продлить мне визу на один день для того, чтобы я мог прочитать лекцию студентам о русской литературе, министр отказал. Но это было в правах времени.

Бельгия жила лучше соседней Франции: в магазинах было не только больше товаров, но и больше покупателей. Бельгийцы объясняли: «Все дело в Америке...» Директор «Атомного центра» профессор Козенс рассказал мне, что бельгийские ученые, работающие над проблемами мирного использования атомной энергии, не имеют урана. Он посоветовал мне съездить в загородный музей Конго. Там я увидел кусок темного минерала, под которым значилось: «Уран, Катанга Шинколовбе». Это было некоторым объяснением любви американцев к маленькой Бельгии.

Теперь, вспоминая музей и дощечку «Катанга», я думаю о другом: о драме, разыгравшейся десять лет спустя, о судьбе Лумумбы. Экспонаты стремились убедить посетителей музея в богатстве Конго и в духовной неполноценности его туземцев: благородные миссионеры, культурные колонизаторы и уродливые, дикие негры. Уран, золото, медь, олово, слонозная кость, каучук... Десять лет спустя к этим сокровищам можно было добавить реки человеческой крови.

Я познакомился с сенатором-социалистом Анри Ролленом. Он наговорил мне много неприятного о советской политике, а потом неожиданно сказал, что находит Стокгольмское воззвание разумным. Конечно, я тогда не мог себе представить, что Роллен станет одним из инициаторов встреч «Круглого стола», что я буду у него дома дружески разговаривать с ним о литературе, что на митинге в Брюсселе, где он будет председательствовать, после меня выступит Жюль Мок и скажет:

«Мой друг Эренбург предлагал...» Я говорил, что политика часто вмешивалась в человеческие отношения — рвались дружеские связи; бывало и наоборот — вчерашние недруги начинали благожелательно улыбаться. Я думал: такой-то очень изменился, а такой-то считал, что изменился Эренбург; паверно, мы все менялись, а больше всех менялось время.

Бельгия меня удивляла контрастами. Центр Брюсселя был освещен куда ярче Парижа, световые рекламы неистовствовали, как на Бродвее. Но стоило отойти в сторону — и в теплый вечер у старинных домов судачили старушки в чепцах. Люди читали в газетах ужасные предсказания об атомной войне, а потом работали, мирно калякали, пили пиво. В старых городах Фландрии сплетницы с помощью прикрепленных к окнам зеркалац видели, что происходит на улице, оставаясь невидимыми. Писатели, которые принимали меня в Пенклубе, сначала судорожно говорили о надвигающейся войне, спрашивали, не ждет ли их участь Ахматовой и Зощенко, а потом начинали спорить о Сартре, о Кафке, о Маяковском.

Я поехал в Остенде, чтобы повидать художника Пермеке. На побережье было много разрушенных зданий. Проезжая мимо Ля Пани, я вспомнил, как писал «Хуренито». Где же та гостиница?.. Чернел кусок обугленной стены.

В Брюсселе я пошел к Элленсу. Он говорил, что кругом бестолочь, слепота, трудно разобраться. Я его удивил, сказав: «Самое трудное, что мы противоречим самим себе...»

Действительно, было много противоречивого не только в жизни Бельгии, но и в голове человека, размышлявшего над бельгийскими противоречиями. Я сидел в Брюсселе и читал статьи финансистов о дивидендах «Верхней Катанги», о том, как американский трест «Группа А — Б» купил миллион шестьсот тысяч акций у англичан и бельгийцев: злорадия продолжала меня волновать. А попав на посмертную выставку Энзора, я погрузился в другую стихию — исчезли и уран, и Ван-Зееланд, и Ачесон. Я глядел на пустынные пейзажи, на шествие розовых масок, на одинокого извозчика, уснувшего навеки в эпоху Верлена и Малларме. Кажется, почти всю свою жизнь я жил одновременно в различных мирах, два человека сосуществовали, и порой далеко не мирно; в тот год я это чувствовал особенно остро.

Швейцарскую визу я попросил еще в Москве. В Брюсселе меня вызвали в посольство Швейцарии: визу мне дадут,

но я должен подписать заявление: «Я, нижеподписавшийся, Илья Эренбург, обязуюсь во время моего пребывания в Швейцарии воздерживаться от какой-либо политической деятельности, в частности не выступать с докладами и не появляться на собраниях, как публичных, так и частных, также не устраивать пресс-конференций».

Я исправил текст и перед словом «собраниях» вставил «политических». Дипломат сказал, что запросит по телефону Берн. Я прождал добрый час. Наконец дипломат уныло мне сообщил, что я не должен показываться на собраниях не только политических, но и культурных, религиозных или литературных. Он добавил, что я могу посещать богослужения и ходить в кино.

Когда я приехал в Швейцарию, в Сен-Галлене шла конференция швейцарских писателей. Я получил приглашение, но власти мне напомнили, что я обещал не показываться на собраниях. Я не решился даже пойти на концерт чехословацкой музыки.

Нейтральная Швейцария была вовлечена в водоворот «холодной войны». В Цюрихе мне дали циркуляр биржевого агентства «Аффида»: «...Тот факт, что Россия теперь также обладает атомной бомбой, вызовет еще более быстрый рост американского вооружения. Ввиду этого на бирже наблюдается оживление с так называемыми «младенцами войны», то есть с акциями предприятий, которые во время второй мировой войны благодаря военным заказам шли на повышение. Мы прилагаем краткое описание «Локхид эйркрафт корпорейшн», акции которого приносят проценты, превышающие обычные, а именно 6,7 процента...»

Я ознакомился также с размышлениями педагога, продиктованными ученикам старшего класса сионской гимназии для упражнений в переводе с французского языка на немецкий: «...Пусть русские придут, они узнают нашу храбрость. Мы отомстим этим медведям за наших задуманных друзей, за наших похищенных жен. Эти разбойники хотят похитить у нас нашу отчизну, они уже собрали солдат и подошли к предгорьям наших Альп...»

Разумеется, я встречал швейцарцев, равнодушных к акциям и ненавидевших ненависть: в Женеве — дирижера Ансерме, в Базеле — теолога Барта, в Люцерне — художника Эрни. Мне хочется сейчас рассказать о замечательном эллинисте

Андре Боннаре. С ним я познакомился на Парижском конгрессе. Теперь он пригласил меня к себе в Лозанну. Мы говорили о Микенах, о советской поэзии, о мире. Потом я прочитал его книги, и они помогли мне понять многое в культуре Эллады. Я встречал Боннара и позднее — побывал еще раз у него в Лозанне, беседовал с ним на различных конгрессах мира. Я пишу о нем в этой главе потому, что вечер его жизни тесно связан с «холодной войной». Он был на три года старше меня и принадлежал к последним гуманистам Запада. Никогда не занимавшийся политикой, он одним из первых примкнул к Движению сторонников мира. В 1952 году, когда он ехал на сессию Всемирного Совета, его задержали в Цюрихе и предъявили нелепейшее обвинение в разглашении государственной тайны. Судили его полтора года спустя и приговорили условно к пятнадцати дням тюремного заключения; приговор достаточно показывает вздорность обвинения — оправдать его судьи Берна все же не решились: боялись тем самым обвинить швейцарскую полицию.

Редко можно встретить такого бескорыстного, честнейшего и чистейшего человека, каким был Боннар. Он любил поэзию Древней Греции, ее памятники, жизненность ее искусства, любил студентов, которым читал лекции, любил мир. На суде он сказал: «Вы теперь должны вынести приговор. Это вопрос вашей совести. Моя совесть чиста... Здесь говорили о моем гуманизме, но гуманизм для меня не наука кабинетного ученого, а нечто другое — законы, определяющие жизнь. Я также хочу сказать, что неправильно пытались доказывать, что во мне гуманист подозрительно сосуществует с другой половиной — с тем, кого слишком обобщенно называли «коммунистом». В действительности эллинизм для меня был долгой всепоглощающей школой. Пытаются отрезать переводчика «Антигоны» от сторонника мира, а на самом деле это тот же человек. Нет, господа судьи, я не существо с двойной жизнью, каким меня здесь изображали... Не думайте, что литература лишь для того, чтобы ее читали, она создается для того, чтобы ее воплощали в жизнь. Если бы она не учила искусству жить, она была бы только игрой и я никогда не посвятил бы ей свою жизнь...»

Страшная была эпоха, когда к книгам относились, как к бомбам, когда мирная и нейтральная Швейцария могла судить свою гордость, Андре Боннара, и попытаться его замарать.

А он после суда мягко улыбался и с надеждой глядел на детей: «Им будет легче...»

Я прибыл в Швейцарии десять дней: приезжали друзья из Парижа, Гренобля, Марселя, Лиона, Ниццы; я слушал, записывал, а вечерами сидел на террасе кафе, озеро мне казалось то притихшим на минуту морем, то искусственным бассейном, устроенным для почтенных англичанок или туристов из Оклахомы. Глядя на воду, я в тысячный раз думал о том, что жизнь — это очень странная пьеса — трагедия, которая сбивается на фарс, один актер плачет, другой почему-то смеется, и для того, чтобы принять происходящее на сцене, нужно, видимо, быть очень мудрым или круглым дураком. А обыкновенному человеку остается работать, читать газеты, смотреть на озеро, если таковое имеется, и не пытаться разгадать замысел чересчур сложного автора.

Приехала на несколько часов Дениз. Мы долго глядели друг на друга, — может быть, снова захотели понять, что с нами случилось. Потом я вдруг сказал: «Это было в другой жизни...» Она ответила «да» и улыбнулась смутной улыбкой — как когда-то.

Виза истекла. Я поехал в Берлин. Там «холодная война» была бытом. В Восточном Берлине на троицу проходила «встреча молодежи». Юноши и девушки в синих рубашках или блузках маршировали, пели песни, слушали речи ораторов. Все это происходило среди развалин. Одна сторона Потсдамерплаца принадлежала демократической республике, на другой стояли американские солдаты. Парни в синих рубашках запускали пачки листовок, на них была воспроизведена пикассовская голубка. В ответ летели апельсины, и какой-то бурш в клетчатой рубашке вопил: «Апельсинов-то у вас нет...»

Границу все время переходили люди — шли на работу, повидать родственников, купить что-либо. Я несколько раз отправлялся в Западный Берлин. Напротив «Романишес кафе», где я когда-то сживал с Моголи Надь, Маяковским, Вальтером Мерингом, Тувимом, была биржа — меняли «восточные» марки на «западные». Тем же занимались сотни менял в бараках или в отремонтированных нижних этажах разрушенных домов. Курс в то время был фантастическим — за одну «западную марку» требовали семь «восточных». Побриться стоило одну марку в обеих частях города. Экономные бюргеры западных секторов брились в восточном — у них оставалось

после этого шесть марок. Хозяйки западных секторов покупали в восточном овощи, хозяйки восточного сектора несли домой в кошелках кофе, апельсины, бананы. Магазины на Потсдамштрассе бойко торговали английской материей; в витринах красовались надписи: «Принимаем восточные марки»; а расчетливые бюргеры Шарлоттенбурга несли шевиот портным на Александерплац — костюм обойдется втрое дешевле. На Курфюрстендаме танцевали самбу, пили рейнвейн, разглядывали полуголых визгливых певчечек. А в Восточный Берлин любители отправлялись смотреть пьесу Брехта. В Западном Берлине было довольно много безработных, но американцы не жалели денег — перед ними был не город, а выставка капиталистического рая, безработным давали пособие — сто марок в месяц, и безработные говорили своим родственникам или друзьям, проживавшим в Восточном Берлине: «Мы ничего не делаем и получаем семьсот ваших марок».

В восточном секторе было много книжных магазинов. На столбах красовались политические плакаты или афиши — «Разбойники» Шиллера, диспут «Нужно ли нам искусство». В Западном Берлине пестрели рекламы; маленькие магазины выставляли предметы роскоши. На Курфюрстендаме были переполнены рестораны, кафе, кабаре. Вывески напоминали о далеком прошлом: «Ликеры Маппе», «Ресторан Кемпинского». Мне было десять лет, когда я впервые ел у Ашингера сосиски. Все рухнуло: империя Вильгельма, Веймарская республика, третий рейх — и вот передо мной сосиски Ашингера. Правда, помещение не то — закусовая в полуобвалившемся доме, но бюргеры довольны: жизнь восстанавливается, старая, надыханная, хорошо знакомая.

Громкоговорители двух Берлинов с утра до ночи обличали друг друга. Это, как и многое другое, напоминало фронт. Печать Западного Берлина уверяла, будто «красные» устраивают «встречу молодежи», чтобы захватить весь город. Американцы, англичане, французы выставили орудия, танки. Но не было ни снарядов, ни пуль, только много листовок и немного апельсинов.

У войны свои законы, она неизменно обкрадывает духовный мир человека, упрощает его суждения, превращает своего в святого, а врага в плакатное чудовище. В этом «холодная война» напоминала все войны. Если Москва или Нью-Йорк были тылом, то берлинцы жили на переднем крае.

А писателю трудно ограничиться короткими лозунгами, иконописью или карикатурами.

В Восточном Берлине я встретился с Брехтом, с Анной Зегерс, с Арнольдом Цвейгом. Газеты Западного Берлина на них нападали, называли «продавшимися Москве», «карьеристами», «приспособленцами». Это было глупо — ведь любой житель Восточного Берлина мог перейти Потсдамерплац и оказаться в том мире, который на Западе, именовался «свободным», а подкупить было куда легче на «западные марки», чем на «восточные». Анна Зегерс приехала в демократическую республику из Мексики, Брехт из Соединенных Штатов, Цвейг из Палестины. Но и в Восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зегерс. Помню долгий спор с одним из людей, которым чуждо, а может быть, и враждебно искусство. Мой собеседник уверял, что в романе Зегерс «Мертвые остаются молодыми» чувствуется симпатия к гитлеровцам, есть там даже антисемитские ноты; Цвейг — «полусионист-полумистик», который смотрит одним глазом на Израиль, другим на Запад; что касается Брехта, то это «неисправимый формалист», упрямец, выступающий против реалистического изображения действительности, в его пьесах «нарочитая фантастика». Я возражал, говорил, что Цвейга никто не тащил из Палестины в Берлин, что Анна Зегерс не может быть антисемиткой — она еврейка, ее мать гитлеровцы убили в Освенциме, а насчет избытка нарочитой фантастики в Берлине лучше промолчать — этот город превосходит фантазию и Брехта, и По, и Гойи. Горячился, конечно, зря: есть люди, которые умеют говорить, но не слушать.

Брехта я знал давно; беседовать с ним было нелегко: часто он казался отсутствующим, такое впечатление обманывало — он слушал, многое подмечал, порой усмехался. Однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил, — не Парижа или Берлина, а некоей страны, которую я про себя называл «Брехтией». Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приемом, а природой: он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и, несмотря на все это, многие, как я, в его присутствии испытывали беспокойство.

Думаю, что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось рассеянного человека.

Вспоминаю последнюю встречу у Анны Зегерс. Это было осенью 1955 года, за несколько месяцев до его смерти. Анна спрашивала: «Кого из писателей реабилитировали после Бабеля?..» Я ей привез старый лубок: Бова-королевич вызвал на поединок Смерть. Брехт попросил перевести текст и настояжился, я почувствовал знакомое мне беспокойство.

Один автор Западной Германии в книге, посвященной Брехту, говорит, будто поэт «хитрил», был «расчетлив» в своих решениях. А хитрость Брехта была хитростью ребенка и все его «расчеты» — просчетами поэта.

В Москву я вернулся в начале июня, рассказывал о поездке, о Берлине. Савич меня спросил: «Ну как, по-твоему, будет война?..» Я ответил: «Ни в коем случае». Еще раз я оказался плохим пророком: две недели спустя началась война в Корее, которая долго угрожала стать мировой.

23

Мы жили на даче возле Нового Иерусалима. Лето было на редкость дождливым, и я почти весь день писал газетные очерки, а по вечерам слушал радио. Хотел сесть за роман, когда позвонили: нужно ехать в Лондон на конференцию мира — вопреки ожиданиям, англичане дали визу.

На аэродроме меня встретили английские сторонники мира и секретарь нашего посольства, который отвез меня в гостиницу. Номер был роскошный, с ванной, и я думал, что смогу как следует выспаться. В «Ивнинг ньюс» на первой странице я увидел статейку с заголовком «Почему впустили Илью?». Я считал, что англичане, скорее, чопорны, чем фамильярны, и заметка меня озадачила. Ночью меня то и дело будили какие-то крики; в полусне я смутно думал: почему англичане кричат ночью на улице? Раньше такого не было... Утром я узнал от директора гостиницы, что был невольной причиной шума. Один из участников фашистской организации Мосли принес портативную трибуну и начал меня проклинать: я организовал войну в Корее, приехал в Англию для подрывной работы и так далее. Поскольку Хартия вольностей гарантирует свободу слова, полицейские ограждали оратора. Директор

гостиницы сказал, что многие постояльцы жаловались, и он вынужден попросить меня переехать в другую гостиницу.

В посольстве мне сказали, что летом в Лондоне вообще трудно найти комнату, а теперь какой-то конгресс да еще большой футбольный матч. Просидев полдня на заседании и выступив (то есть убедив убежденных в том, что мир лучше войны), я отправился по указанному адресу. Это была третьеклассная грязная гостиница, меня провели в крохотную чердачную комнату. Я помылся и не успел даже опомниться, как за мною пришли — в Вестминстерском дворце меня ждут депутаты-лейбористы.

Корейская война взволновала всех — люди боялись, что она может перейти в третью мировую войну. Английские газеты уверяли, что военные действия начала Северная Корея. До Кореи далеко, и лейбористы так же мало знали о том, что произошло 25 июня на 38-й параллели, как я, но считали, что коммунисты — зачинщики. Правда, среди лейбористов не было единомыслия, и некоторые депутаты говорили, что если военные операции и начали войска Северной Кореи, то Ли Сын Ман все же не заслуживает ни уважения, ни поддержки. Однако таких было мало (помню двоих — Э. Хьюза и С. О. Дэвиса). Большинство возмущалось «корейскими сателлитами Москвы». Напоминало все это, скорее, допрос, чем беседу и продолжалось до девяти часов вечера.

В Лондоне ужинают рано, и депутаты поели до встречи. Э. Хьюз провел меня в ресторан парламента, угостил пивом. Когда мы вышли, все рестораны уже были закрыты. Я позвонил в посольство и сказал, что я и английский коммунист, любезно согласившийся быть моим переводчиком, испытываем нестерпимый голод. Мы поехали в посольство, нас угостили рижскими шпротами и крабами «чатка»; это был настоящий пир. Расплата последовала быстро. Когда в час ночи я в такси добрался до гостиницы, мне сказали, что номер мне сдали по ошибке. Туалетные вещи положили без меня в чемодан, который и красовался у швейцара. Я возмущался, но швейцару хотелось спать, и он ничего не отвечал. Пришлось вернуться в посольство, там все спали; дежурный сказал, что я могу лечь на диван, где обычно ожидают приема посетители, но ни постельного белья, ни подушки у него нет.

Утром за мной приехал Айвор Монтэгю, повез на собрание и вдруг неожиданно объявил, что нам пора ехать: наз-

начена моя пресс-конференция. Я ответил, что не могу показаться перед журналистами в измятой рубашке, придется захватить в посольство. Лондон очень большой город, и Монтэгу ответил: «Это невозможно. Лучше купить рубашку». — «Но где я могу ее надеть?» — «В уборной». Когда мы подъехали к помещению, оказалось, что полтораста журналистов уже ждут меня. Монтэгу показал себя умелым полководцем: вместе с двумя сторонниками мира он закрыл путь в уборную и дал мне возможность переодеться.

Должен признаться, что после пресс-конференции мне снова пришлось переменить рубашку: зал был набит журналистами, и вели они себя настолько вызывающе, что меня бросало в пот. Я понимал, что должен быть спокойным для тех немногих, которые действительно интересовались моими ответами, однако это внешнее спокойствие стоило сил. Я бывал на сотнях пресс-конференций, но ничего подобного не видел. Все время меня прерывали. Один журналист подбежал и крикнул: «Нечего выворачиваться. Отвечайте прямо — «да» или «нет»?»

На Трафальгар-сквер устроили митинг. Народу пришло много. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что присутствовало десять тысяч, ТАСС назвал цифру «двадцать», наверно, было тысяч пятнадцать. Я оглядел площадь, памятник адмиралу Нельсону, смутился, но быстро взял себя в руки и произнес речь. Сразу после этого пошел сильный дождь, толпа начала редеть. Когда митинг кончился, я закурил, у меня в кармане был советский коробок спичек с фабричной маркой — серп и молот. Незнакомый журналист попросил подарить ему коробочку. На следующий день отчет о моем выступлении был снабжен фотографией: «Спички, которыми Илья собирается поджечь Англию». В другой газете я прочитал: «Илья Эренбург хочет написать новый роман «Падение Лондона».

Монтэгу нашел комнату в гостинице, где меня не беспокоили, — это было великим делом. Вообще Монтэгу много раз меня выручал. Познакомился я с ним в 1948 году на Вроцлавском конгрессе. С тех пор в течение пятнадцати лет я неизменно видел его на всех заседаниях и совещаниях сторонников мира; он не выступал с речами, но работал изо всех сил. Внешне он напоминает не благопристойного джентльмена, а одного из посетителей той «Ротонды», куда я ходил юношей; на нем множество пестрых свитеров и жилетов, которые

на заседаниях он постепенно снимает. Биография его еще экзотичнее. Он рос в богатой семье. Его отец был лордом, либералом. Айвор в ранней молодости увлекся Октябрьской революцией, побывал в Москве; потом стал коммунистом. Я как-то с ним бродил по восточным, рабочим кварталам Лондона. Прохожие его узнавали, некоторые начинали беседу — он не раз поддерживал кандидатуру коммунистов в этом районе. В молодости он занимался зоологией и обогатил зоопарк Лондона различными зверьями. Из Ленинграда он повез в Лондон на советском пароходе медвежонка. На третий день медведь лег в каюте Монтэгу и проспал до Лондона. Команда призналась, что медвежонок всем надоел, бродил по судну, гадил, и матросы решили его напоить — отдали ему свою водку. Потом Айвор Монтэгу занялся кино; помогал Эйзенштейну в Мексике. Он продолжал работать над проблемами кинематографии и телевидения. Есть у него еще одно увлечение, о котором нельзя промолчать, — пинг-понг, он председатель всемирного объединения ревнителю этого спорта. Айвор любит искусство; он очень доверчив и вместе с тем упрям; словом, это человек, который мне всегда казался понятным, хотя рассуждает он путано, а по-французски говорит настолько своеобразно, что французские слова порой кажутся английскими. В 1950 году, когда положение коммунистов в Англии было очень трудным, Монтэгу спокойно беседовал с политическими противниками: его необычность, очевидно, многих обезоруживала.

Один известный английский писатель, который на пресс-конференции не присутствовал, но был в то время настроен против Советского Союза, сравнил меня с «большой немецкой овчаркой» и посоветовал поскорее убраться в Москву. Я не называю этого писателя — мы познакомились с ним позднее, а лет шесть или семь спустя он изменил свое отношение к сторонникам мира, а заодно и ко мне.

Хуже было с выступлением в английском парламенте одного из лейбористов. (Имени его я тоже не называю, я его потом не встречал, не знаю, что он теперь думает, и отношу инцидент, о котором хочу рассказать, к климату «холодной войны».) Сотрудники журнала «Нью стейтсмен» пригласили меня на ленч; там я с ним познакомился. Разговаривали мы долго — три часа, переводил с французского на английский Монтэгу. Разговор шел, разумеется, о мире и войне. Я рас-

сказал об интересной статье во французской газете «Ле монд» и сказал, что ни французский народ, ни английский, видимо, не хотят воевать, настроения простых людей сильно отличаются от речей политиков, да и от того, что пишут в газетах. После этого депутат выступил с речью в палате общин. Он сказал, что недавно обедал со мной. Один консерватор его прервал: как может английский депутат сесть за стол с Ильей Эренбургом? Депутат-лейборист ответил, что хотел узнать врага. После чего он заявил, будто я говорил ему, что англичане, как и французы, не способны воевать ни морально, ни физически. Он сравнил меня с Риббентропом, который докладывал Гитлеру, что англичане не окажут никакого сопротивления. Прочитав это, я написал письмо в «Таймс». Написал письмо и Монтэгю. Но всякие такого рода опровержения мало кого интересуют, дело было сделано: Эренбург — это Риббентроп, немецкая овчарка, человек, который подготавливает нападение «красных» на Великобританию.

За полгода до этого правая французская газета писала: «Было бы глупым впустить к нам снова Илью Эренбурга. Мы слишком хорошо знаем этого молодчика. В красной России он играет ту же роль, что играл Фридрих Зибург в нацистской Германии, который, объясняясь в любви к Франции, был квартирмейстером вермахта. Автор «Бури» прокладывает дорогу сталинским легионам. Эренбург во Франции был бы еще одним агентом ГПУ. И каким! Он хорошо знает джунгли Парижа, вхож в различные круги общества, это любимчик эстетов и снобов, он стал бы главным звеном бесконечной цепи шпионажа».

Меня пригласил Английский совет мира — эта организация объединяла дюжину пацифистских движений, лиг, обществ: и квакеров, и толстовцев, и противников воинской повинности. Среди моих собеседников я увидел Зиллиакуса, человека, с которым десять лет спустя подружился. Я сразу почувствовал недоверие, даже подозрительность — такое уж было время. Мы обсуждали возможность совместных действий для прекращения войны в Корее. Постепенно мне удалось смягчить неприязнь, разговор начинал принимать благоприятный характер. Испортила дело секретарша английского Комитета сторонников мира. Она подошла ко мне и шепотом спросила: «Может быть, вы устали? Я могу попросить, чтобы вам дали чашку чая...» Настроение собеседников изменилось; они не знали, что

речь шла о чашке чая, и начали шептаться между собой: овчарка обернулась волком, на котором чепчик бабушки...

В субботу часов в пять, то есть именно в то время, когда все англичане, богатые и бедные, правые и левые, пьют чай, я подошел к зданию нашего посольства и увидел странную картину: толпа молодых людей, кинооператоры, полиция. Оказалось, за пять минут до того молодые приверженцы Мосли начали швырять камни в посольские окна; полиции тогда не было, но кинооператоры были своевременно предупреждены и засняли демонстрацию народного протеста против «красных», продолжающих агрессию в Корею. Посол Зарубин показал мне камни. Комнату подмели, убрали осколки стекла. Посол при мне позвонил министру иностранных дел Бевину, который уже отдыхал на даче, попросил о срочном приеме. Потом посол стал диктовать ноту протеста. Все это я видел впервые, и Зарубин, заметив, что я увлечен происшедшим, предложил мне остаться, подождать его возвращения. После беседы с Бевином он сказал, что министр мялся, разумеется, осудил хулиганов, обещал принять меры и так далее...

Я побывал в Кембридже: Монтэгу повез меня к одному из крупнейших физиков — Дираку. Приняли нас хорошо. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Дирак сказал, что считает атомную бомбу преступлением, но политикой не занимается. Пришел его сын, подросток, учившийся в колледже, и попросил меня надписать «Падение Парижа». Дирак сказал: «Вот это — новое поколение, он у меня красный...» Я ответил, что для «Дейли мейл» и сам Дирак «красный» — ведь ему не нравится «холодная война» и он с уважением говорит о Жолио-Кюри. Дирак рассмеялся. (Жолио-Кюри мне как-то рассказывал, что Дирак сделал важное открытие в квантовой механике, когда ему еще не было тридцати лет.) На два или три часа я забыл о «холодной войне», слушая интересного, своеобразного человека. После обеда Дирак осторожно спросил меня, что случилось с его другом Капицей, в газетах сообщали, будто он арестован. Как раз перед моим отъездом мне рассказали, что Капица (чем-то рассердивший Сталина) продолжает работать, и я ответил Дираку, что Капица на свободе, у него лаборатория. Я почувствовал, что Дирак и его жена хотят мне верить, но не решаются. Госпожа Дирак спросила, могу ли я взять несколько мотков шерсти для жены Капицы — она любит вязать. В меня впились четыре глаза. Я ответил, что

охотно передам подарок. Сразу всем нам стало легче. Таково было время, и таковы были человеческие отношения...

В Лондоне я впервые по душам поговорил с Берналом. Он был и во Вроцлаве и в Париже, но там я встречал его только на заседаниях, а в Лондоне он позвал меня к себе. Впоследствии мы часто встречались, порой подолгу беседовали, и я его полюбил. Он с виду похож на классического ученого — все забывает, все теряет, торчат непокорные волосы. На самом деле он все помнит и очень многое его волнует. Черчилль не раз прибегал к его советам во время войны, ему даже специально заказали военную фуражку — у него чересчур большая голова. Однажды он мне рассказал, как ему пришлось в голову открытие, которое он сделал. Это было в тридцатые годы; делегация научных работников Англии приехала в Москву. Уезжали они с Центрального аэродрома. Отлет задерживался из-за погоды, лил дождь. Зала для пассажиров не было. Бернал стоял под навесом, и здесь ему пришла в голову идея структуры воды. Он поделился об этом со своим попутчиком физиком Р. Фоулером. В самолете они рассказали об этом друзьям-коллегам. Те выслушали и сказали Берналу: «Сейчас же, когда прилетим, запишите это...»

Бернал тратил много времени, сил на движение за мир.

Я приведу отрывок из письма, написанного профессором Берналом в сентябре 1954 года (как автор письма указывает — в четыре часа утра): «Меня поместили в гостинице излишне роскошной. Мне дали апартаменты, щедро украшенные в хорошем академическом вкусе, с картинами, написанными настоящим маслом, я знаю, что они могли быть еще хуже этого. Чтобы помочь мне уснуть, напротив окна моей комнаты сверкает ярчайший фонарь, а под окном стоянка машин, и водители то заводят моторы, то громко беседуют: если бы я понимал язык, наверно, их разговор развлек бы меня. Для немногих дней, которые я смогу провести в Москве, выработана программа: турне по метро, улица Горького и в воскресенье осмотр архитектуры на Сельскохозяйственной выставке... Я в Москве в восьмой раз, в этом городе я знаю десяток умных, интересных людей, и вместо того, чтобы дать мне возможность поговорить с ними, когда на свете столько интересных событий, меня превращают в священную корову...»

Он очень живой человек: все его интересует. В письме, которое я процитировал, он вспоминает строчку Вийона:

«От жажды умираю над ручьем». Однажды он мне расказал о замечательном английском поэте начала XVII века Джоне Доне, стихи которого Хемингуэй взял эпиграфом для романа «По ком звонит колокол». В другой раз мы беседовали о Пикассо.

Как-то он приехал ко мне в Новый Иерусалим, мы пошли гулять, Бернал увидел возле одного домика груды камней, начал их разглядывать, некоторые клал в карман. Люба сказала: «Но это ведь кто-то привез — хотят, наверно, вымостить дорогу»... Бернал выбросил камни, потом снова начал их разглядывать и, виновато озираясь, три или четыре сунул в карман. Когда мы вернулись, он начал разбивать камни, показал мне один с отпечатком морской ракушки и сказал, что возьмет его в Лондон.

Я привез его в окрестности Волоколамска, где на берегу озера сохранился прекрасный монастырь XVI века. Хотя над воротами надпись, что здание находится под охраной государства, никто его не охраняет. В башне, где был заточен Василий Шуйский, мы увидели свинью; в храме с осыпающейся росписью сушилось белье. Был холодный, осенний день; машина забуксовала, нам пришлось пройти километр по вязкой глине, обувь то и дело застревала, и Бернал вытаскивал туфлю, поджав одну ногу, как аист. Потом он говорил, что это был чудесный день.

Я старался уйти от убийственного климата «холодной войны», то беседуя с Берналом, то бродя по набережным Темзы и вбирая в себя унылую красоту огромного живого города, то глядя в картинной галерее на пейзажи Тернера, который за полвека до французских импрессионистов начал современную живопись.

В вечерней газете я увидел статью «Когда же Илья уберется восвояси?». Это было в день моего отлета.

Я глядел в оконце самолета — мы летели низко над Лондоном: игрушечные кубики домов, красные точки автобусов, спортивные площадки, парки, машины — макет огромного города. Я вспомнил людей на митинге, улыбку Бернала, который в разговоре то и дело вздыбливает свои и без того вздыбленные волосы, вспомнил и крикуна под окном, журналистов, осколки оконных стекол...

Эта глава вышла чересчур длинной и пестрой, но я хотел рассказать о несуразности «холодной войны» и припомнил некоторых людей, которые тогда меня поразили человечностью,

спокойствием, сопротивлением мнениям и настроениям, окружавшим их. Десять лет спустя в одной из комнат Вестминстерского дворца собралась конференция «Круглого стола»; не только лейбористы, но и консерваторы любезно беседовали с советскими делегатами. Да и многое другое, описанное в этой главе, мне самому теперь кажется далеким прошлым, хотя с тех пор прошло всего пятнадцать лет... Конечно, с нашей стороны тоже было много ненужного, чересчур резкого, несправедливого по отношению к тому или иному человеку. Но хорошо будет, если некоторые люди Запада задумаются и над своей ответственностью. Мою повесть я назвал «Оттепелью», я начал ее писать в конце 1953 года. Западным газетчикам название понравилось, они умиленно его повторяли, но в 1950 году они делали все, что могли, для усиления крепчайших морозов, и об этом также не стоит забывать.

24

Я рассказал о том иступлении, которое охватило мир в 1950 году. Мне хочется проверить свою собственную ответственность. Конечно, я не мог быть ни спокойным, ни сдержанным в суждениях: я не наблюдал со стороны за «холодной войной», я в ней жил. Что я мог чувствовать, разглядывая номер «Кольерс», посвященный будущей войне против Советского Союза? Описав разрушение советских городов, «Кольерс» рисовал идиллические картины Москвы, оккупированной американцами: заводы будут проданы или сданы в аренду иностранным предпринимателям, театр Красной Армии переименуют в театр Нового Света, в нем будет идти модная американская комедия «Бездельники и женщины», крупная московская газета начнет печатать на первой полосе мемуары кинозвезды Дженни Джемс «Как я любила и разлюбила в Сараваке». Я отвечал резко, и поступать иначе не мог.

Это было в 1949 году, я тогда еще не понимал смятения, которое охватило интеллигенцию Запада, и порой бывал несправедлив. Я прочитал книгу английского философа Бертрана Рассела, в которой он отстаивал создание «всемирного правительства». Эта идея мне и теперь кажется неприемлемой: она

привела бы к мировому господству капитализма, но глупо было представлять Рассела как апологета господствующего класса.

Жалею я и о статье, в которой, защищая Фолкнера, нападал на Сартра, называл его «хлестким, рассудочным, салонным». Я прочитал перед этим его пьесу «Грязные руки» — талантливый памфлет, который показался мне направленным против коммунистов. Почему я назвал Сартра «салонным»? Я тогда его плохо знал, две встречи — перед войной и в 1946 году — носили случайный характер. Во Франции, да и в других странах Запада все повторяли имя Сартра, говорили о нем не только студенты, но и дамы без профессии, без возраста, щебетавшие в различных гостиных и на приемах: «О, Сартр!..» Познакомившись с Сартром, я увидел человека умного, скромного, который тяготился своей славой, называл ее «дурацкой», — он хорошо знал, что многие, говорившие о нем с благоговением или возмущением, не прочитали ни одной из его книг.

В нашу эпоху политика не удел специалистов, а нечто обязательное — редко кто может от нее укрыться. Политическая линия Сартра может показаться необъяснимой — столько в ней петель. В 1948 году он считал себя представителем «третьей силы», думал, что находится где-то между пролетариатом и буржуазией, между Советским Союзом и Америкой. Однако «ничьей земли» не оказалось, и «Грязные руки» обернулись в оружие Америки и буржуазии.

В Вене Сартр был звездой: его выпустили на первом заседании, а когда он кончил речь, все встали и долго аплодировали.

С 1952 года по 1956-й Сартр защищал Советский Союз от нападок французских газет, приезжал к нам, давал восторженные интервью, участвовал во Всемирной ассамблее в Хельсинки.

После венгерских событий он публично заявил, что порывает со своими друзьями — советскими писателями, а год спустя мирно беседовал со мной и скорее защищался, чем нападал.

Все это может озадачить, особенно если вспомнить, каким был декабрь 1952 года, когда Сартр решительно отбросил мнимый нейтралитет и повернулся лицом к Советскому Союзу. В объяснение хочу сказать о некоторых свойствах Сартра, — подружившись с ним и с Симоной де Бовуар, я многое понял.

Сартр по любви, да и по таланту — писатель, но его творчество и восприятие жизни зачастую зависят от другой стороны

его деятельности — от философии. На Венском конгрессе Сартр говорил: «Мысль и политика нашего времени ведут нас к бойне, потому что они абстрактны. Мир рассекли на две половины, и одна страшится другой. Каждый действует, не зная ни намерений, ни воли соседа, строят предположения, не веря тому, что «другой» говорит, толкуют его слова и занимают позиции, исходя от предположения — так-то поступит одна позиция, исходя от предположения — так-то поступит противник. Тогда становится возможной только одна позиция, выраженная в тысячелетней глупости «хочешь мира — готовься к войне», а это — триумф абстракции. Люди становятся абстрактными. Каждый — это «другой», то есть воображаемый враг, которого следует опасаться. В моей стране редко встретишь человека — преобладают наименования, этикетки...»

Наряду со стремлением осмыслить происходящее в Сартре много обостренной чувствительности. Менее всего он наблюдает, он думает, делает выводы, а потом эмоционально воспринимает то, что видит или слышит. Как-то мне привелось быть переводчиком: я его повел к знакомому агроному, человеку одаренному, но любящему пустить пыль в глаза. Я предупредил Сартра: «Это наш Тартарен...» Приведу диалог. Агроном спрашивает: «Интересно от них узнать, сколько дает молока французская корова?» — «Боюсь ответить — я не специалист». — «Это мы понимаем, что они пишут книги. Но, скажем, пятьдесят литров в день дает?» — «Кажется, таких коров выставляют на выставках». — «А я им покажу людей, которые никогда в жизни не были на выставке, но коровы у них дают по пятидесяти литров в день». Сартр, хоть я его и предупреждал, поверил. Агроном потом говорил мне: «Хороший этот француз, такой простой человек!..» В Париже я рассказал Сартру и Симоне о похвалах подмосковного Тартарена. Симона засмеялась: «В общем, он прав — Сартр действительно наивен...» А Сартр стесненно улыбался.

Рассудочность, в которой я пятнадцать лет назад упрекнул Сартра, связана не с отсутствием сердца, напротив, обостренной совестью он напоминает русских второй половины прошлого века, но, будучи философом, он порой думает общими категориями и, ненавидя абстракцию, становится абстрактным. Что касается неожиданности его политических поворотов, то они диктуются его характером: то, что у других может быть названо внутренним монологом, сомнениями, днями или годами

молчания, у Сартра сопровождается декларациями, заявлениями в различных интервью — словом, действиями. Когда я это понял, я пожалел о моей статье 1949 года.

Поездки на Запад, о которых я рассказал, помогли мне лучше понять климат «холодной войны»; я увидел, как легко увеличить число врагов, и тон моих статей стал мягче. «Нет на свете вопросов, которые нельзя разрешить соглашением,— писал я в «Правде»,— мы никогда не думали и не думаем доказывать силой оружия правоту наших идей... Мы дорожим ценностями любой цивилизации — «восточной» и «западной», «северной» и «южной». Мы предлагаем мир не только нашим друзьям, но и людям, которые нас не любят,— для всех найдется место под солнцем, а кто прав — рассудит будущее». В ноябре 1950 года на Втором конгрессе сторонников мира я говорил: «Я стою за мир — за мир не только с Америкой Робсона и Фаста, но и за мир с Америкой господина Трумэна и господина Ачесона... Планета одна, однако она довольно вместительная, и на ней могут поместиться сторонники различных социальных систем. Они могут договориться, чтобы никто не ломал двери в чужом доме, ссылаясь на антипатию к идеям хозяина этого дома, и чтобы никто не пшвырял камни в окна соседа только потому, что сосед думает иначе, разговаривает иначе, живет иначе... Мы должны позаботиться не только о запрете военной пропаганды, но и о создании моральных условий, которые необходимы для мирного сосуществования. Нужно отказаться от развития в подрастающем поколении неуважения и вражды к другим народам, нужно бороться со всеми проявлениями национальной и расовой спеси. Развитие культуры человечества невозможно при изоляции, при искусственных стенах, при несправедливых нападках на культуру и на жизнь других народов... Необходимо изменить климат мира, рассеять взаимное недоверие».

Теперь такие рассуждения — азбучная истина, а в 1950 году наши газеты выбросили из моей речи слова о губительности для культуры барьеров, о необходимости рассеять взаимное недоверие. Мне оставалось повторять их на различных конференциях, встречах с читателями. (Несколько лет спустя положение изменилось. В «Литературной газете» была напечатана статья одного бывшего монархиста, вернувшегося из Америки. В запале (психологически понятном) он написал, что никакой американской культуры не существует. Я послал в газету пись-

мо — говорил, что в Америке есть своя — и значительная — культура, крупные ученые, замечательные писатели. Хотя редакция и указала, что не согласна со мною, письмо она все же напечатала. Но это было в 1955 году, а не в 1950-м...)

В то время, о котором я рассказываю, я много ездил за границу. В 1950-м после Лондона побывал в Праге, в Копенгагене, Осло, Стокгольме; потом на конгрессе в Варшаве; в 1951-м — сессия Всемирного Совета в Берлине, бюро в Копенгагене и в Хельсинки, снова Скандинавия, сессия в Вене. В воспоминаниях проходят пестрой и вместе с тем монотонной лентой комиссии и подкомиссии, вопросы, которые, увы, все еще не стали историей, — гонка вооружений, рождение бундесвера, растущие преграды в экономическом и культурном обмене, ночные заседания, митинги в Копенгагене в парке весной с датчанками в старинных народных костюмах, в Хельсинки на Вокзальной площади, в Вене возле здания парламента. Секретариат Всемирного Совета помещался в Праге; там перед очередным конгрессом мне приходилось оставаться по несколько недель.

Я пытался привлечь к движению различных политических и культурных деятелей; порой бывали удачи, но чаще мне отвечали вежливым отказом. В Копенгагене я познакомился с депутаткой от либеральной партии Элин Аппель. Она возмущалась подготовкой мировой войны, но многое у нас ей было не по душе, кое-что несправедливо, а кое-что справедливо. Я долго с нею беседовал и убедил ее приехать на конгресс в Варшаву. (После этого были выборы, и ее не переизбрали в парламент.) Выступая в Варшаве, Элин Аппель сказала, что с некоторыми предложениями согласна, с другими нет, и просила «представителей стран Востока задуматься над своими ошибками, как я думаю над своими заблуждениями». Два года спустя она выступила на конгрессе в Вене; сказала, что я ей «открыл на многое глаза», но со многим в моей речи не согласилась: «Скажите, вы уверены, Илья Эренбург, что вы и ваши единомышленники не несете на себе хотя бы частицы ответственности за наш страх?..»

В Норвегии группа левых социалистов назначила мне свидание за городом. Денег на такси у меня не было, и я поехал в машине посольства. Шофер не знал окрестностей города. Я вылезал и спрашивал, но никто не понимал ни по-французски, ни по-немецки. Я приехал с двухчасовым опозданием.

Однако разговор был благоприятным. (Я рассказал об этой встрече, потому что несколько лет назад ее участники откололись от правящей партии и образовали новую.)

Бывали положения, когда мне приходилось краснеть. В Стокгольме секретарь Шведского Комитета мира Ценнстрем, автор превосходной книги о Пикассо, повел меня к одному из крупнейших врачей — я должен был убедить его подписать Стокгольмское воззвание. Нарядная горничная провела нас в гостиную, где ждали приема пациенты. Почему-то мне пришло в голову спросить Ценнстрема, знает ли профессор, о чем я собираюсь с ним беседовать. Ценнстрем ответил, что он просто назвал мою фамилию, вероятно, профессор назначил мне час как пациенту. Я бросился к выходу. Горничная пыталась меня остановить: «До вас только двое...» Я постыдно убежал.

Меня попросили показать один документ знаменитому датскому микробиологу Т. Мадсену. Ему тогда было восемьдесят два года. Он меня любезно принял, угостил хересом, потом начал читать доклад, переведенный с корейского языка на китайский, с китайского на русский, а с русского на английский. Прочитав первую страницу, он отдал мне рукопись: «Спрячьте это, молодой человек, и никому не показывайте — это может рас смешить студента-первокурсника...» Он сказал, что сочувствует нашим стремлениям установить мир, был ласков. А я сидел как на иголках и только ночью улыбнулся, вспомнив слова «молодой человек», — мне тогда пошел седьмой десяток и давненько никто меня так не называл.

Генеральным секретарем Всемирного Совета был Жан Лаффит — человек добродушный, который умел помирить спорщиков. Лаффит казался флегматичным, даже ленивым, но на деле был работягой. Его помощниками были китайский поэт Эми Сяо, американский пастор Дарр, бразилец Борсари, итальянский социалист Феноалтеа и П. Р. Гуляев. Гуляев, присмотревшись к делу, показал себя тактичным и умным человеком; он сохранил лучшие черты поколения, которое вошло в жизнь в начале тридцатых годов, не обюрократился, да и не был напуган до смерти, хотя положение его было трудным. Когда Гуляев умер, все поняли, какую роль он играл в движении.

Секретариат помещался в большом доме на берегу Влтавы. Когда я приезжал, мне отводили комнату, и я сидел над папками; работа была кропотливой. Прага в то время выглядела

уныло. Иногда меня звал к себе Лаффи, угощал достопримечательным ужином: он родом из Дордони, где люди знают толк в паштетах, козьем сыре и красном вине. В ранней молодости он был кондитером, а жена его, Жоржетт, может потягаться с премированными поварами. Мы не говорили ни о борьбе за мир, ни о литературе, а ели, пили и дурачились.

Иногда в воскресенье я ездил в Добриш — там в Доме писателей жил Жоржи Амаду с женой Зелией и маленьким сынишкой. Жоржи — живой, порывистый человек, такими мы представляем себе людей юга, а в Зелии мягкость и женственность уживаются с подлинным мужеством. Я с ними подружился. Жоржи и сживал в тюрьмах, и дважды был в эмиграции, он легко приспособлялся к трудностям быта. В Добрише он весь день писал, а по вечерам играл в карты с чешским писателем Дрдой. Амаду, худой, подвижный, черноволосый, мог сойти за одесского или марсельского жулика, а грузный, веселый, порой с лукавством Дрда напоминал Швейка. За игрой они ругались по-чешски и по-португальски: «Шулер!», «Мошенник!», «Конокрад!»...

Амаду — коммунист и в течение двадцати лет занимался будничной политической работой. Он участвовал и в нашем движении. Нет в нем ни крупицы честолюбия. На Венский конгресс ему удалось привезти несколько бразильцев различных направлений, и он не захотел выступить: «Пусть говорят они...»

Он начал писать рано, первый его роман вышел в свет, когда автору было двадцать два года. Он прекрасно знает жизнь того края, где вырос — Северной Бразилии, края какао и голода. Я люблю его романы — в них сочетание жестокой правды с поэзией; это не литературная манера, а сущность Амаду — любовь к людям, участливость, человечность. Никогда я не забуду, как в одном из старых романов он описал исход голодающих крестьян и смерть осла Жеремиаса, кормильца семьи. Осел знал, что трава пустыни ядовита, он глодал кору деревьев, колючие кактусы, а потом не выдержал — съел ядовитую траву и печально закричал, прощаясь с жизнью.

Амаду лучше знали за границей, чем у него на родине. В 1954 году на аэродроме в Ресифе, где было невыносимо жарко, слонялся бродячий фотограф в поисках знатных путешественников. Кто-то посоветовал ему снять меня. Он рассказал мне: «Я три раза фотографировал Жоржи Амаду, но только

один раз одна газета взяла у меня фото...» Слава пришла к Жоржи после романа «Габриэлла». Флобер говорил о госпоже Бовари: «Эмма — это я». Некоторые удивлялись — уж очень не похож был холостой скептик с его иронией на ветреную, влюбчивую провинциалку. А Габриэлла — это воистину Амаду, все люди, знающие автора, почувствовали родство между доброй, душевно свободной, послушной и вместе с тем мятежной женщиной и автором.

Из друзей моей молодости мало кто остался — одних убили, другие умерли в своей кровати. Амаду мог бы быть моим сыном, а стал близким другом, я знаю, что на другом конце света есть человек, который не усомнится, не забудет, а это очень много.

Вспоминаю день, когда в Добрише праздновали рождение дочери Жоржи и Зелии; ее назвали, как дочь Пикассо, Паломма (Голубка). Николасу Гильену прислали с Кубы бутылку белого рома. Пабло Неруда унес бутылку и приготовил коктейль. Гильен обиделся, как ребенок: он ведь хотел всех угостить достопримечательностью Кубы. В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали; слава для него — елка с блестящими звездами и хлопушками. Он долго пробыл в изгнании и неизменно тосковал по Кубе. Как-то мы шли в Париже по бульвару Сен-Мишель. Николас жаловался на свое одиночество. Вдруг две девушки остановились, пристально посмотрели на нас, одна из них попросила Гильена надписать книгу его стихов. Он сразу повеселел и, когда мы расставались, сказал: «Вот у меня оказались читательницы и в Париже!..»

Его стихи необыкновенно музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов. Он их замечательно читает; может, ударяя пальцем по крупным ярко-белым зубам, выстукивать мелодии. Революционную борьбу он начал давно, хотя личная судьба его к этому не принуждала — он был сыном сенатора, одаренным поэтом, первую книгу которого похвалил взыскательный Унамуно. Во время гражданской войны Гильен был в Испании. Потом узнал тюрьмы Батисты. Он писал короткие стихи о милой ему родине:

Птица прилетела неживая,
прилетела с песенкой печальной.
Ах, Куба, тебя я знаю!
На крови растут твои пальмы,
слезы — вода голубая.

«Холодная война» была в разгаре, и это порой придавало нашей работе романтический характер. Второй конгресс должен был состояться в Шеффилде; однако за два месяца до назначенного срока мы получили из Англии неутешительные вести: по всей видимости, правительство сорвет нашу затею. Мы попросили поляков подготовить помещение; забронировали места в самолетах. Настала хорошо мне памятная ночь: Жолио-Кюри с группой делегатов выехал из Парижа в Лондон, ехал он поездом, а через Ла-Манш на пароходе. Ночью в Прагу позвонили из Лондона: «Жолио не впустили»... На рассвете мы начали его разыскивать по телефону. Портов много — где же Жолио: в Кале, в Булоне, в Гавре?.. Мадемуазель Булонь (так называют телефонисток) была чрезвычайно любезна, сказала, что постарается найти Жолио-Кюри, и вскоре сообщила, что Жолио в Дюнкерке. Мадемуазель Дюнкерк оказалась не менее приветливой и соединила нас с Жолио — он завтракал в маленьком кафе возле порта. С ним говорил Фарж, потом я. Это было своеобразное заседание — по телефону. Час спустя мы дали в печать сообщение: конгресс переносится в Варшаву.

Сессии Всемирного Совета в те годы собирались часто. Когда выступали Жолио, Фарж, Ненни, Донини, Фадеев, зал бывал переполнен. Бывали и скучные заседания. Хотелось выступить всем, устраивали ночные заседания, под утро председатель боролся со сном, а оратор патетически восклицал перед пустым залом: «Мы не ослабим нашей бдительности!..»

Участие в Движении сторонников мира многим обошлось дорого: аббаты Булье и Гаджеро лишились духовного звания, некоторые профессора — кафедр, а Изабелла Блюм — места в парламенте: бельгийские социалисты ее исключили из партии. Все свои силы она отдает борьбе за мир. Редко кто из молодых способен, как она, слетать на несколько дней в Мексику, потом сразу отправиться в Индонезию, просидеть неделю на конгрессе, перебегая из одной комиссии в другую, кого-то уговаривая или успокаивая, выполняя любую неприметную работу, чтобы две недели спустя уехать в Японию.

Пьера Кота я знал давно, мы познакомились в Париже в годы Народного фронта, встречались в Москве, вместе ездили в Тулу к летчикам «Нормандии», и все же присмотрелся я к нему только в то время, о котором рассказываю. Юрист, крупный политический деятель, который десятки лет просидел в

парламенте, бывал министром, он по своей формации для меня человек другой стихии — птица для рыбы или рыба для птицы. Однако с ним я чувствовал себя легко, вероятно, потому, что он никогда не был ни охотником, ни рыболовом, любит искусство и, кроме политических установок, знает, что даже единомышленники не похожи друг на друга. Часто мы просиживали ночи над текстом заявления или рекомендации (мало кто потом вспоминал об этих текстах, но, бывало, люди часами спорили о прилагательном, как будто от одного слова зависела судьба человечества. В классических резолюциях часто попадаются слова «принимая во внимание»). Пьер Кот умеет принять во внимание особенности того или иного человека; эта черта не так уж распространена среди политических деятелей. Он прекрасный оратор, но в его речах никогда нет того, что мы называем красноречьем — он точен, логичен, старается убедить того, с кем спорит. Много лет он был одним из руководителей радикал-социалистической партии, самой пестрой в мире, объединявшей людей различных взглядов, и вместе с тем я редко встречал на Западе настолько дисциплинированного политика. Он спорил, а потом, видя, что не смог убедить других, садился и писал резолюцию, выражавшую точку зрения большинства, причем выражал мнение тех, с кем спорил, убедительнее, чем это сделали бы они сами.

У д'Астье очень длинное имя: Эммануэль д'Астье де ля Вижери. Сам он еще длиннее своего имени, — входя в любой зал, я его сразу вижу. Наружность у него старого французского аристократа, вместе с тем он похож на классического Дон-Кихота. Он образцовый дилетант — и в политике и в литературе. Он написал несколько хороших книг — это наполовину воспоминания, наполовину размышления; его книги нравятся, но писатели, хваля их, не забывают, что д'Астье — дилетант. О политиках и говорить нечего: Дон-Кихот в парламенте или в редакции политической газеты — это не просто дилетант, а опасный путаник, за которым не уследишь. Может быть, поэтому в Движении сторонников мира первого периода, где встречались люди разных толков и где энтузиазм перемежался рассуждениями о смысле жизни, а организационная работа самодеятельной дипломатией, д'Астье оказался на своем месте. В кабинете д'Астье я видел портреты его предков; по иронии судьбы все они были министрами внутренних дел различных режимов. Эммануэль не миновал наследственной болезни —

его назначили министром внутренних дел в первом правительстве Свободной Франции. Во Франции еще находились немцы, и д'Астье правил только Корсикой. Вряд ли он был хорошим министром, но несколько лет спустя он показал себя хорошим сторонником мира. На каждом заседании бюро или президиума, на каждой сессии Всемирного Совета он говорил мне, что с него хватит бессмысленных дискуссий и ночных заседаний, все мы — догматики, а он не научился думать, никто из нас его больше не увидит ни в Праге, ни в Вене. Говорил он это почему-то мне, как будто я его завербовал и не отпускаю; подымался в свой номер гостиницы, прочитывал две страницы Монтеня или раскладывал два пасьянса, после чего возвращался на заседание успокоенный и садился за проект очередной резолюции. Он обидчив, как некоторые женщины, однако верен и своим идеям, и друзьям. Характер у него нелегкий, но я дорожу его дружбой — что ни говори, донкихотство в наше время дефицитный товар.

Я не могу сейчас говорить о Движении сторонников мира, как о прошлом: оно продолжается, и я в нем по-прежнему участвую. Я говорю о тех годах, когда оно было наиболее бурным, потому что тогда наиболее ощутимой была угроза атомной войны. Конечно, от Кореи далеко и до Лондона и до Нью-Йорка, но военные действия в Корее тревожили весь мир. Эта злосчастная страна была сожжена. Горели города и села, подожженные напалмом. Сначала войска Севера заняли почти всю Корею. Вмешалась Америка, ее солдаты подошли к границе Китая. Тогда вступили в бой китайские дивизии. Многие политические деятели и военные Соединенных Штатов настаивали на применении атомного оружия. Некоторые сенаторы требовали, чтобы атомные бомбы были сброшены на Москву. Любой француз или итальянец знал, что Советский Союз уже обладает ядерным оружием и что его дом, его семья тоже могут быть уничтожены. Борьба за мир становилась делом всех.

Конечно, Движение сторонников мира знало и удачи и неудачи. Стокгольмское воззвание подписывали самые различные люди — Томас Манн и неграмотные жители Гвинеи, бразильские министры и шейхи мусульманских стран, Анри Матисс и квакеры. Окрыленные успехом, мы предложили подписываться под обращением пяти великим державам: Соединенным Штатам, Советскому Союзу, Китаю, Великобритании и Франции — пусть они заключат Пакт мира. Однако для простых

людей это было абстрактной формулой — все помнили, сколько пактов о ненападении подписал Гитлер. А людям, разбиравшимся в международном положении, Пакт мира казался утопией — в 1951 году трудно было себе представить Трумэна и Мао Цзэ-дуна за круглым столом. При этом подписи дают один раз — это не ежегодное занятие; лучше не быть эпигонами ни в романах, ни в общественной деятельности. Напротив, требование прекращения военных действий в Корею нашло отклик повсюду.

Почему я отдавал (и отдаю) столько времени работе, которая не диктовалась ни призванием, ни ремеслом? Никто меня не заставлял взяться за это дело, никто не уговаривал его продолжать. Я сам назвался груздем, и ответить почему — трудно. Когда друзья меня спрашивали, будет ли война, я отвечал «нет», такой ответ объяснялся не столько трезвой оценкой происходившего, сколько желанием. Однако часто, проходя по улицам разных городов, я испытывал тревогу. Однажды в Вене мне показалось, что война идет рядом со мной, как я, заглядывает в освещенные окна. Порой я проклинал душевные комнаты, где шли нескончаемые споры о третьей фразе седьмого абзаца; причем было некому было поплакаться в жилетку, приходилось самому справляться с собой. Спор шел между груздем и кузовом, и ясно было, что победит кузов.

Оглядываясь назад, я об этом не жалею: что-то мы делали, что-то сделали. Через тридцать — сорок лет историк, который теперь учится читать, посвятит Движению сторонников мира, может быть, главу своей книги, а может быть, всего несколько строк. Не мне судить — я в этом человек пристрастный, следовательно, слепой.

25

Мы шумно отпраздновали семидесятипятилетие художника П. П. Кончаловского. Петр Петрович пел испанские песни, танцевал, все это как-то не вязалось с цифрой «75». Мне тогда только что исполнилось шестьдесят, и я часто думал о старости. Конечно, у природы свои законы, тело изнашивается, ветшает; но я встречал не раз молодых стариков и знавал старых людей, веселых, дерзких, не растерявших смелости своего утра. Таким был Кончаловский, он меня научил спокойно

читать письма молодых читателей, где я часто находил слова «в вашем преклонном возрасте...».

Познакомился я с Кончаловским в двадцатые годы, но настоящему его узнал и полюбил много позднее. В годы войны, в послевоенные годы мы часто встречались. Петр Петрович удивительно крепко стоял на земле, это меня притягивало к нему. Я заметил, что устойчивость присуща либо фанатикам, либо подлинным жизнелюбцам. Воздух эпохи был перенасыщен фанатизмом, а душевного веселья не хватало.

Петр Петрович был человеком богатырского телосложения, и все у него было крупным — движения, чувства, мазки на холсте. Я сказал о его душевном веселье, эти слова могут сбить с толку — он не был ни обязательным шутником, ни тем плакатным бодрячком, который долго считался у нас примером гражданской добродетели. Мне часто приводилось слышать, что он писал, не задумываясь, как светит солнце или как цветет его любимица сирень. А это неверно: Кончаловский был человеком глубокой мысли, он не только работал, он и шутил умно; в жизни он знал не один мед, приспособился и к полыни. Конечно, его было нетрудно огорчить — он обладал чувствительностью художника, но повалить его не удалось, хотя были люди, которые об этом мечтали.

Мы часто с ним говорили о Париже. Петр Петрович там прожил много лет, именно там впервые нашел себя как художника. Когда ему было восемнадцать или девятнадцать лет, он поехал в Париж учиться живописи. Академия Жюльена была чем-то вроде московской гимназии Креймана — ее выбирали молодые художники потому, что там не было муштры, которая изводила всех в Государственной художественной школе; а профессора там, как и повсюду, были эфемерными знаменитостями академического направления. Вспоминая академию Жюльена, Кончаловский смеялся: «Знаете, кто там учился? До меня Боннар, Вийяр, Матисс. Рядом со мной сидел Глез, он был еще мальчиком. А потом там учились Леже, Дерен. Матисс мне рассказывал, что его учитель, кажется, он назвал Бугеро, в свое время знаменитость, сказал ученику: «Это хуже всего, что я видел. Вы никогда не научитесь рисовать. Лучше выберите другую профессию». Меня учил Лоранс, его картины висели в Люксембурге — огромные батальные сцены, у нас он был бы трижды сталинским лауреатом. Однажды он меня

похвалил. Я встревожился и понял, что делаю дрянь. Впрочем, потом, в петербургской школе, я жалел даже о Лорансе...»

Я не чувствовал, что Кончаловский много старше меня, порой даже завидовал его молодости. Однажды он рассказал мне, как увидел впервые современную живопись: «Это были восхижительные «Стога» Клода Моне. В Москве была выставка французской техники, и там почему-то выставили сотню картин, среди них Моне. Я обомлел. Сейчас скажу, когда это было... В 1891-м...» Вот тогда-то я про себя усмехнулся: в тот самый год, когда я родился. А молодым он оставался до конца. Когда ему было под восемьдесят, он не только просиживал над холстом с раннего утра до сумерек, но и проказничал с внуками.

Кончаловский долго не мог найти себя. Он видел холсты своего тестя Сурикова, художественных опекунов своей молодости Серова, Коровина, относился к ним с глубоким уважением, но считал, что эпоха изменилась, изменилось и зрение, он искал свой путь или, как он любил говорить, «метод». Он увидел Ван-Гога и пришел в такое восхищение, что совершил паломничество в Арль, был счастлив, что может купить краски в лавочке, куда приходил Ван-Гог. Казалось, ничего не могло быть общего между трагическим, иступленным Ван-Гогом и веселым, здоровым, крепким Кончаловским; но до конца своей жизни он любил повторять слова Ван-Гога: «Я постоянно питаюсь природой. Иногда преувеличиваю, изменяю все данные, но никогда не выдумываю картину. Наоборот, я нахожу ее в природе уже готовой, хотя и требующей раскрытия».

Последующим и самым важным для него открытием была живопись Сезанна. Кончаловский настолько был потрясен, что сел за работу, которой никогда ни до того, ни после не занимался: перевел с французского книгу Эмиля Бернара, записавшего высказывания Сезанна о живописи.

Кончаловскому было тридцать четыре года, когда на первой выставке «Бубнового валета» его работы вызвали одобрение одних, издевку других.

Я заглянул в том Большой советской энциклопедии, изданный в 1951 году, и нашел там строки, посвященные «бубнововалетцам»: «Типичное проявление крайнего упадка буржуазного искусства эпохи империализма. Выступая врагами идейности и реализма, порывая с высокими традициями искусства прошлого (отсюда вызывающее, крикливое название

объединения), «бубнововалетцы» маскировали свои реакционные позиции требованием «новой» формы. Однако их космополитическое «новаторство» сводилось к подражанию П. Сезанну и А. Матиссу).

Я вспоминаю холсты Кончаловского эпохи «Бубнового валета» — натюрморты, мост через Нару, портрет художника Якулова. При чем тут «эпоха империализма»? (Можно, кстати, добавить, что французские империалисты никогда не вдохновлялись живописью Матисса и что Матисс ненавидел французский империализм.) Художники, входившие в группу «Бубновый валет», — Кончаловский, Лентулов, Машков, Рождественский, Куприн, Фальк, — не уехали после революции за границу, любили народ и для народа работали. Официальная Россия встретила первые выставки «бубнововалетцев» издевками, улюлюканием, а благожелательно к ним относились А. В. Луначарский и молодой Маяковский. Конечно, название «Бубновый валет» довольно бессмысленно, но в те времена были в ходу нелепые наименования. («Дикие» тоже звучит не очень убедительно, что не помешало Матиссу, Марке, Дюфи, Фриезу не только стать большими мастерами, но, объединившись, обновить живопись эпохи.)

Я рассказывал, как, вернувшись в Москву вскоре после революции, пошел на выставку, где увидел холсты «бубнововалетцев» и обрадовался. В Париже я знал о новой русской живописи только по статьям «Утра России» или «Русского слова» и думал, что «бубнововалетцы» слепо подражают французам. Я сразу увидел, что это вздор.

Конечно, Кончаловский, как все «бубнововалетцы», многому научился у Сезанна, но может ли художник XX века пройти мимо живописных открытий этого мастера? Пикассо изумительно выразил национальный испанский гений, но вряд ли он сумел бы это сделать, не будь до него Сезанна. Андрей Рублев первый показал в живописи лирические черты, светлость, глубину русского характера, а учился Рублев у византийца Феофана Грека. Кончаловский, Лентулов, Машков учились не только у Сезанна, но и у мастеров русского народного искусства. Я хорошо помню вывески в наших до-революционных городах: парикмахер мылит щеки клиента, турок курит трубку, разрезанные арбузы окружены гроздьями винограда. Кончаловский вспоминал, что натюрморт 1912 года «Хлебы» он написал после того, как увидел вывеску с

головами сахара. Он рассказывал также, что, когда после поездки в Испанию стал писать бой быков, думал о старых троюцких игрушках.

Кончаловский почитал Сезанна, любил французскую живопись, но творчество его было русским. Когда его холсты выставили в Париже, некоторые критики говорили о «грубости», «стихийности»: они не поняли, что перед ними — выражение иного характера, иной природы, иных традиций.

Петр Петрович не раз с восхищением говорил мне о реализме больших французских мастеров; это может удивить — ведь люди, которые в течение десятилетий его «прорабатывали», делали это во имя реализма. Кончаловский делил живопись на близкую к природе, реальную, и на другую — иллюзорную, где нет органической связи с природой и где часто «фотография служит подспорьем». Он вспоминал, как любители пришли покупать его натюрморт «Хлебы» в 1912 году: «Я подвесил шутки ради настоящий калач на нитке, под цвет фона, долго все смотрели, не замечая, что один калач живой, пока я не толкнул его и не раскачал на нитке. Доказательство близости к реальности». Остается добавить, что для ревнителей иллюзорного реализма этот натюрморт эпохи «Бубнового валета» (конечно, без подвешенного калача) остается воплощением «антиреализма».

Говорят, что Кончаловский прожил на редкость счастливую жизнь; это так и не так. Он был удивительно крепким, здоровым, веселым; много ездил по свету, много работал — нарисовал тысячу семьсот холстов; всем интересовался, говорил свободно по-французски, по-итальянски, по-испански, изучил английский язык, чтобы прочесть Шекспира в подлиннике; был у него дом в Буграх, сад с сиренью, гости — он был большим хлебосолом; с женой Ольгой Васильевой жил душа в душу, обожал детей, внучат; ходил на охоту, читал Декарта, дружил с большими художниками — с А. Толстым, с С. Прокофьевым, с Пикассо, с Мейерхольдом; умер в восемьдесят лет и почти до самого конца сохранял бодрость; любил родину, видел, как она растет и духовно мужает. Рассказанная так, жизнь Петра Петровича кажется неправдоподобно идиллической. Все в этой идиллии верно, и все же она, скорее, иллюзорна, нежели реалистична.

Для Кончаловского жизнь была прежде всего искусством; об этом он часто говорил. Когда он поехал в 1925 году в Па-

риж и продал там несколько работ, он накупил красок весом семьдесят килограммов: не мог представить себе дня без палитры и кистей. Вечером, когда нельзя было писать, он рисовал. Вот почему в его биографии самое важное — холсты, путь живописца.

Можно сказать, что и в этом Кончаловскому повезло, — достаточно вспомнить мытарства Лентулова, Фалька, Татлина, Древина, Удальцовой. Кончаловский стал академиком; периодически устраивались его персональные выставки. Опять скажу: все это так и не так.

Среда, естественно, влияет на художника или писателя; нужно обладать фанатичным упорством, чтобы не поддаваться похвалам и хулам, премиям и проработкам. Я по себе знаю, как порой не осознаешь, что в том-то сдал, тем-то поступился. Бывали периоды, когда Петр Петрович признавался: «Работаю, но прежнего полного удовлетворения нет»...

Он на редкость глубоко понимал живопись. Уж на что был ему далек Пикассо, а Петр Петрович говорил: «Пикассо выше всех», — и мудро объяснял другим, почему Пикассо — великий реалист нашего века.

Вот слова из записной книжки Кончаловского: «Пушкин в письме к брату, Льву Сергеевичу, писал 14 марта 1825 года: «У нас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос «Один сажу в компании»...» И у нас ересь! Говорят, в живописи живопись не главное! Что же главное? Поэтому мне не раз приходилось слышать, что мой главный недостаток — живопись, увлечение живописью, хотя тут же указывалось на жизнеутверждение и на качества, связанные с этим жизнеутверждением. Не ересь ли это? Главное в живописи — живопись, ибо только тогда идея, мысль, сюжет могут воздействовать на зрителя. Только через живопись художник может сообщить свои мысли и чувства зрителю. Такова природа искусства.

Вдохновение часто освобождало Кончаловского от чуждого ему «иллюзорного сходства» (так он говорил). Это видишь и в портрете Мейерхольда, и в некоторых семейных портретах, и во многих натюрмортах, и в удивительно молодом «Полотере», которого Петр Петрович написал в 1946 году. Он оставил много прекрасных холстов, и все же, думая о судьбе большого живописца, я неизменно вспоминаю «еретиков», которых он обличал.

Характер у Петра Петровича был чудесный; он очень редко жаловался, даже с теми, кто ему мешал работать, поддерживал если не добрые, то добропорядочные отношения. Ольга Васильевна держалась с противниками мужа куда откровеннее, говорила: «Я — сибирячка, нужно бы стамеской, а я топором...»

Помню большую юбилейную выставку. Петр Петрович стоял, как всегда, веселый, жал руки, улыбался. Отведя меня в сторону, он рассказал об одном из тогдашних руководителей Союза художников: «Он ведь был за границей — приехал — снял лучшие работы — и «Полотера», и «Буйвола», и ранние «испанские» холсты. А сейчас будет выступать — приветствовать...» Говоря это, Петр Петрович продолжал улыбаться, но я понял, что улыбка порой давалась ему нелегко.

В 1949 году я был в Тамбове; сотрудница музея рассказала мне, что приключилось с натюрмортом Кончаловского, который висел в столовой одного из крупных заводов области. Директор решил, что «безыдейная» сирень недостойна передовиков производства. Прислали большой холст, изображающий сцену из заводской жизни. Неожиданно рабочие запротестовали: «Оставьте нам нашу сирень!...»

Вернувшись в Москву, я рассказал об этом Петру Петровичу и увидел в его глазах слезы. Он тихо сказал: «Вот это — награда...»

Можно поставить точку — рассудит история.

26

В 1951 году мне исполнилось шестьдесят лет. Устроили юбилейный вечер в том самом зале Дома литераторов, где писателей прорабатывали, чествовали и хоронили. Воспоминаний было достаточно.

На вечере председательствовал А. А. Фадеев, с докладом выступил К. А. Федин. Представители различных издательств, журналов, газет, театров читали поздравительные адреса, похожие один на другой: «пламенный трибун», «отточенное перо», «неутомимый борец за мир», «книжки, вошедшие в золотой фонд советской литературы»... На хорах толпилась молодежь. Было очень жарко, и дерматиновые папки, которые висели предо мной, скверно пахли. Потом прочитали телеграммы от Всемирного Совета Мира, от Тувима, Незвала, Неруды,

Амаду. В короткой речи, кроме обязательных благодарностей, которые тогда полагались на любом торжестве, я сказал про то, что меня волновало: «Как каждый писатель, я знавал минуты растерянности, сомнений, молчания. Меня поддерживала русская литература, наши великие и глубоко человеческие предшественники. Можно писать хуже, чем они,— таланты не распределяются ни в каком распределителе,— можно писать хуже, чем они, но нельзя думать, чувствовать, терзаться, радоваться хуже, чем они... Я вспоминаю прекрасные слова Белинского о поэте: «Ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы, так же как ему же принадлежит по праву преследование ложных неразумных основ общественности, искажающей человека». Бороться против тех ложных основ, о которых говорит Белинский, во имя человеческого достоинства — таков долг писателя, таково его назначение. Он не подбирает протоколы событий, не пишет переложение, не составляет опись существующего, он открывает сокровища человеческого сердца... Мне, как и многим моим современникам, не сразу открылась преемственность и универсальность человеческой культуры. Мы часто читаем историю по главам, не связывая этих глав, а порой география мешает нам как следует присмотреться к истории. Между тем бег эстафетой продолжается, и огонь Прометея переходит из рук в руки... Человек стареет, быстрее устает, реже загорается. Но для писателя нет старости: он живет неоткрытыми страстями, ненаписанными книгами, он молод до той минуты, когда его оторвет — на этот раз навсегда — от листа бумаги уже не люди, а смерть. Я сказал об этом потому, что мне хочется писать».

Секретариат Союза писателей решил по случаю юбилея издать пять томов моих сочинений. С этим изданием я намучился: почти на каждой странице произведений, много раз до того изданных, искали недозволенное. Случайно у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 года, — я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях «День второй» и «Не переводя дыхания»: «В обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит заводы и преобразует Север, непомерно много фамилий лиц не коренных национальностей». Следовал список семнадцати фамилий (из двухсот семидесяти шести) в повести «День второй» и девяти фамилий (из ста семидесяти

четырёх) в «Не переводя дыхания». Я подумал: а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе?

На полученный гонорар мы купили сруб в дачном кооперативе «НИЛ», что означает «наука, искусство, литература». Места не похоже на окрестности Москвы: мой домик расположен на холме с крутым склоном, внизу течет Малая Истра. Это ручеек, но в апреле, когда тают снега, она настолько разливается, что, обладая фантазией, можно назвать ее Нилом, тем паче что наша станция называется Ново-Иерусалим. Звенигородский уезд москвичи когда-то шутили называли «московской Швейцарией». Поселок получил имя от Ново-Иерусалимского монастыря, построенного по указу Никона в XVII веке. Немцы, уходя, взорвали колокольню и сильно разрушили собор; в 1950 году еще валялись на земле цветные изразцы — сплав Флоренции с Персией. Чехов жил в городишке Воскресенске (ныне, Истра), работал в земской больнице, писал рассказы и отдыхал под старыми монастырскими деревьями. Я посадил сирень, жасмин, розы. Зимой позвонили из Истринского горсовета: «Ваша дача сгорела».

Получив деньги за следующие тома, мы начали ставить новый дом — кирпичный фундамент уцелел. В тесной московской квартире былолюдно, беспокойно, и начиная с 1952 года мы большую часть времени проводили в Ново-Иерусалиме. Маленькие липы, которые я раздобыл на лесной даче Тимирязевки у профессора В. П. Тимофеева, повзростели. Эту книгу я писал у окна; зимою все вокруг бело, а в августе лихорадочно горят цветы короткого северного лета.

Я был правдив, когда на юбилейном вечере сказал, что мне хочется писать. Мне хотелось рассказать о том, что я видел и чувствовал, — о горе, сомнениях, надежде. Конец сороковых и начало пятидесятых годов были, кажется, самым трудным временем и для нашей литературы, и для всего советского народа. Люди продолжали ожесточенно работать, отстраивали разрушенные города, строили заводы, прорывали каналы. Никогда народ слабый духом или отчаявшийся не смог бы сделать того, что было сделано после войны. Жилось плохо. Москва или Ленинград казались саратовцам раем, а в Энгельсе с завистью рассказывали о магазинах Саратова. Однако, когда я говорю о том, что время было трудным, я думаю не только, да и не столько о материальных лишениях. Люди, прошедшие от Волги до Шпрее, душевно не мирились с чиновничьей ту-

постью, иллюзорностью многозначных цифр, знакомыми словами «давайте не будем». Для стороннего наблюдателя казалось, что инициатива, творческая мысль, человеческие отношения скованы льдом, но под этим льдом текла живая вода глубоких чувств, несказанных слов, совести, сознания. Об этой реке мне и хотелось рассказать. А я сидел над романом об американском сенаторе, об интригах газетного агентства «Трансок», о старости профессора Дюма, о том, как глухой портняжка Маккорн пел:

Говорит она ему:
Ты целуешь почему?
Ты не тот, и я не та,
Тру-ту-ту и тра-та-та.

Я упоминал, что в 1917—1918 годы писал скверные стихи; мне тогда не было и тридцати. А «Девятый вал» написан шестидесятилетним человеком. Конечно, я мог бы сослаться на некоторых моих товарищей, которые тоже в те годы написали слабые книги, но писатель отвечает прежде всего за самого себя. Почему я жалею о том, что написал «Девятый вал»? Не потому, что некоторые исторические события описаны неправильно — я судил по тем данным, которые у меня тогда были, это — детали, и не в них дело. Начиная с двадцатых годов критики меня упрекали за то, что мои романы насыщены публицистикой. Они меня не убедили: я искал новую форму романа — не мог отделить судьбу человека от событий, которыми дышал эфемерный газетный лист. Никогда я не призывал других следовать моему примеру: писатели, как и все люди, бывают разными. Я принадлежу к авторам, которые тесно связаны с тем, что мы порой в сердцах называем «зlobой дня» и что десять лет спустя иногда оказывается главой истории. «Хулио Хуренито», «День второй», «Падение Парижа», «Буря» рождены событиями, которые можно было в свое время назвать злободневными. Автор не судья своих книг — он часто добавляет к тому, что написано, то, что он хотел написать, и, может быть, упомянутые мною книги слабые, но они были рождены внутренней необходимостью. А почему я в 1950 году сел за «Девятый вал»? Я мог бы ответить: не ради денег, но это было бы отговоркой. Во время войны я не думал написать роман о войне: знал, что это невозможно. В 1950 году «холодная война» была ожесточенной, оставалось прославлять

ее или проклинать, разжигать огонь или попытаться его погасить, но осмыслить происходящее, заглянуть в душу противника не мог никто. Статьи, которые я писал, могли быть удачными или плохими, справедливыми или несправедливыми, но я от них не отрекаюсь. А писать роман, да еще толстейший, было глупо. Я это смутно чувствовал, но меня соблазняло другое — показать наших людей. Я утешал себя надеждой, что смогу сказать толику правды.

Помню, я как-то сидел с Савичем, который прочитал написанные главы, и мы, то усмехаясь, то угрюмо, обсуждали, что делать автору с советскими героями. Если учителя Сомова оклеветали, заклевали, то его сослуживица добьется правды у секретаря обкома. Если Осип столкнулся в Киеве с жестокой действительностью, то его должны тотчас душевно выручить фронтовые друзья. Если Валя наконец поняла, что у нее нет таланта и что в театре ставят скучные, бездушные пьесы, если она дошла до отчаяния, то неизвестный зритель вовремя сердечно поблагодарит ее. Если директор завода бюрократ и не хочет пустить в производство молотилку, сконструированную молодым инженером, то Москва одобрит новатора. Если случаются стихийные бедствия, то люди с ними быстро справляются, а если находит тоска, то ее прогоняет любящая жена или проникательный друг. Действие моего романа протекает в десяти странах, а советским людям отведено меньше четверти текста, и главы, посвященные им, подслащены. Один из героев «Бури», перешедший в «Девятый вал», Минаев, мечтает написать правдивый роман о войне; в книге приведены короткие записи к задуманной книге, например: «Очень голая у нас любовь,— сказала Вера,— если убьют — ничего, а если выживем — нужно будет что-нибудь придумать»; другие записи о работе, товариществе, жизни. Однако Минаев не смог бы написать в 1951 году задуманную им книгу. А я написал плохой роман.

Весной 1951 года я встретился со студентами Литинститута. Я рассказал им о своем понимании природы творчества. («Литературная газета» опубликовала несколько приглаженный текст.) Я припомнил, что Лев Толстой советовал начинающему автору Леониду Андрееву: если писатель задумал книгу, но может ее не написать, то он и не должен ее писать. Эти слова — суровый приговор «Девятому валу»: я мог бы его не написать.

А. А. Фадеев в январе 1953 года прислал мне из больницы длинное письмо о «Девятом вале»; он кое-что критиковал, по говорил, что в целом роман «мощен, гуманистичен, в нем клототание народных сил, людской потоп». В то же самое время Арагон поставил «Девятый вал» рядом с «Падением Парижа» и «Бурей». Я все же не поверил добрым отзывам — я уже твердо знал, что совершил одну из самых крупных ошибок писателя. Я взял сейчас книгу в руки, полистал, и мне захотелось промурлыкать песенку американского портного:

Ты не тот, и я не та,
Тру-ту-ту и тра-та-та.

Я недавно проглядел подшивки «Литературной газеты» за 1951—1952 годы. В передовых статьях неизменно повторялось «о невиданном расцвете творчества». Пестрели фотографии многочисленных лауреатов. Но нельзя было предвидеть, на кого обрушится очередная беда. В течение целого месяца ругали украинских писателей: Корнейчук и Василевская провинились, написав либретто к опере, Сосюра опубликовал стихотворение, которое кому-то не понравилось, вспомнили, что в 1945 году у Рыльского были «вредные стихи», вернулись снова к Первомайскому — оказалось, что он одновременно и «космополит», и «буржуазный националист». Другой месяц был посвящен критике Гурвичу, написавшему статью о романе «Далеко от Москвы». А. А. Фадеев и А. А. Сурков признались, что рекомендовали опубликовать статью, которую «Правда» назвала «рецидивом антипатриотических взглядов». Редактор «Нового мира» «полностью признал свою вину». Некоторые статьи напоминали отчеты о судебных разбирательствах; только трудно теперь понять, в чем был состав преступления.

«Литературная газета» печатала некрологи: умерли Вишневский, А. Платонов, Павленко. Потом подоспели юбилеи — Гюго, Гоголя.

Замечательный памятник Гоголю перенесли с бульвара сначала в Донской монастырь, а потом во двор дома, где он умер. Гоголь сидел печальный, а писателю полагалось быть неизменно бодрым.

Конечно, были и в те неурожайные годы читательские радости: Гроссман написал роман о войне, в котором были прекрасные главы. Вера Панова опубликовала отрывки из новой книги «Времена года», впервые я увидел в литературе после-

военных подростков. Я прочитал «Районные будни» Овечкина, повесть молодого Гранина. Наверно, я пропускаю многое — трудно припомнить, когда попала в руки та или иная книга.

В то время ко мне часто приходил Мартынов. Он разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже — косноязычным. Порой он не замечал людей. Однажды я его познакомил с Пабло Нерудой. Мартынова чилийский поэт изумил как явление природы, а ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи о Неруде и показал его таким, каким он изображался в газетных статьях, — богатырем, мифическим баяном. А Неруда понял Мартынова: «Настоящий поэт — перед его глазами второй мир — искусства...» Мартынова после 1946 года не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимал из карманов смятые листочки, читал мне, и каждый раз я дивился его поэтической силе: метеорология становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал невпопад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось пятьдесят лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступили представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась: несколько месяцев спустя вышла его книга.

Читали мне стихи и молодые — Винокуров, Межиров, Урин. Я написал в «Смене» о Винокурове — он тогда еще был зеленым юнцом, но в его скромных стихах проступали хорошие, умные строки.

Приходил студент Литинститута Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя. Переписанные стихи попали не туда, куда должны попадать стихи. Манделя вызвали. Он напал на порядочного человека, который посоветовал больше не писать стихов, ни на что не похожих. Вскоре его все же арестовали, но ему снова повезло: его сослали на три года в дальнее сибирское село. Отец Манделя — переплетчик, мать — врач, они посылали сыну толику денег. Поэт читал, думал, писал. Я его увидел возмужавшим; он рассказал, что решил уехать в Караганду, не дожидаясь, что его туда направят, поступил в горный техникум, стихи он продолжает писать, но не

хочет зависеть от вкусов редакций; он прочитал мне вступление к поэме — писал, что легких эпох никогда не было, все зависит от человека. Недавно я получил от него первую книгу стихов.

В Москве устроили совещание молодых писателей, мне поручили принять участие в одном из семинаров. Я прочитал десяток рукописей — повести, романы. Почти во всех были удачные страницы, но чувствовалась скованность. Разговаривая с молодыми прозаиками, я увидел, что они знают жизнь, понимают людей; один признался: «Я сам знаю, что плохо... Но что тут делать — трудно писать роман в стол...»

Меня тянуло к новому поколению. В течение двух лет я руководил литературным кружком при Тимирязевской академии. Почти все участники кружка писали стихи. Я не рассчитывал сделать из них поэтов, да это, по-моему, и невозможно. Но можно научить читать стихи, поднять эстетическую культуру, и я старался это выполнить. Мне было интересно разговаривать с двадцатилетними, почти все они были детьми колхозников или районных агрономов. Однажды меня провожал молоденький студент. Он вдруг спросил: «Почему в журналах не печатают стихов о любви? Мы читаем Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака. А кто теперь пишет так?..» В конце разговора он сказал: «Вот кончу академию, стихи, может быть, и научусь писать, а может быть, нет, но читать стихи буду всегда. Наверно, через пять лет начнут печатать и про любовь...» Год спустя Володя Кокляев утонул в пруду.

В 1950 году ко мне пришел поэт Борис Слуцкий. Я с ним познакомился накануне войны, но потом мы не встречались. Когда я начал писать «Бурю», кто-то принес мне толстую рукопись — заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных «Кельнская яма». Я решил, что это фольклор, и включил в роман. Автором рукописи оказался Слуцкий. Он прочитал мне стихи о лошадях на военном транспорте, потопленном миной:

Кони шли ко дну и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.

Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия. Потом я попытался ее определить, говорил о народности, ссылаясь на Некрасова. За статью меня отругали. Может быть, я и не сумел выразить того, что хотел. Слуцкий никогда не писал ни о своей любви к женщине, ни о природе — его муза была связисткой на фронте, пахала на корове, таскала камни на стройке. Вскоре после смерти Сталина он прочитал мне:

Эпоха зрелищ кончена,
Идет эпоха хлеба,
И перекур объявлен
Всем штурмовавшим небо...

Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со своим сверстником; оказалось, что это возможно. Помогло, наверно, и то, что я подружился со Слуцким еще до «перекура».

Чужие стихи помогали мне — поэзия жила (порой, как некогда, устная). Однако та незримая река, о которой я говорил, была куда полноводнее в жизни.

В начале 1950 года меня выбрали депутатом в Совет Национальностей от одного из округов Риги. На предвыборных собраниях говорили по-латышски; девушки подносили мне цветы — белые каллы, будто сделанные из материи, и делали при этом книксен. Избиратели ко мне обращались редко: они жили в столице республики и с претензиями или жалобами шли к местным депутатам. Год спустя меня выбрали в Верховный Совет РСФСР от города Энгельса и прилегающих к нему районов. Тут-то я понял, что пост депутата не синекура.

До войны Энгельс был столицей Автономной Республики немцев Поволжья. В городе, в деревнях жили почти исключительно новоселы. Люди не успели приспособиться к новой обстановке: украинцы мерзли зимой, русские проклинали суховей. Я уже говорил, что в те годы страна, за исключением промышленных центров и некоторых областей с техническими культурами, жила, подтянув кушак. Саратов снабжался лучше Энгельса, но проехать туда поездом было нелегко: зимой дорога шла через Волгу, летом ходили пароходики, а весной и осенью жители Энгельса с тоской глядели на огни Саратова. Местные власти просили меня добиться перевода Энгельса в лучшую категорию по снабжению. Я пытался, но ничего не

вышло. Зато я достал санитарные машины; министр меня принял, может быть из любопытства, — как-никак писатель, он говорил о литературе, а я твердо решил не уходить, пока не получу машин. Энгельс — длинный город, тротуаров местами не было, улицы плохо освещались. Я помог раздобыть автобусы. Все это требовало хождения по мукам, то есть по различным министерствам, долгих бесед, терпения. Помог я и библиотеке; в ней оказалось много редких немецких изданий, а русских книг было мало. Я устроил обмен книгами, это тоже было не просто: требовались разрешения различных центров, подписи людей, к которым трудно было прорваться.

Счастливые не ходят ни к врачам, ни к депутатам. В воскресенье ко мне на прием записывались сотни обездоленных — один доказывал, что он с семьей не может больше жить на восьми квадратных метрах; другой жаловался, что его отца неправильно осудили; третьему не давали работы по специальности. Я добился у прокурора пересмотра одного дела (десятки других моих просьб лежали без движения), раздобыл протез для военного инвалида, купил в Стокгольме лекарство для женщины, которое, по ее словам, спасло ее сынишку, добывал книги, семена. Все это было «малыми делами», но на час мне становилось легче, да и чувствовал я себя связанным с будничной жизнью тысяч людей.

Принимал я в горисполкоме, и приходившие говорили шепотом, часто просили не называть своих обидчиков: «Вы-то уедете, а они на мне выместят»... Несколько лет спустя жизнь изменилась. Я стал депутатом Даугавпилса, по-русски Двинска, города, разрушенного во время войны, где ютились люди различных национальностей, где тысячи женщин мечтали о трудоустройстве, где построили пединститут с чрезмерно роскошной лестницей, но предоставить жилплощадь профессорам не смогли. Там избиратели, приходя ко мне, бурно протестовали, не впускали в мою комнату сотрудников горсовета, говорили все и во весь голос. Но это было в 1955-м, а я рассказываю про 1952-й...

Я ездил по степи Заволжья, в селах меня засыпали просьбами, претензиями. В одном колхозе говорили, что им вырыли артезианские колодцы, деньги взяли, а воды нет; в другом жаловались — не могут достать строительный материал, а школа помещается в хате, где живут люди; в третьем молодежь возмущалась: «Из Энгельса обещали, что пришлют театр, а

приехали три актера, исполняли отрывки из пьесы, да и пьеса скучная — звеньевая знает, как сеять, а председатель упирается. Это мы сами понимаем. Мы хотим, чтобы приехал настоящий театр». Один добавил: «Пусть привезут «Гамлета». Я в Саратове глядел, это такая диалектика, что целый месяц думал...»

В одном колхозе меня оставили ужинать, дали глазунью, брагу. Председательница сказала: «Вот вы помогите нам решить, мы с нею несколько вечеров проспорили...» «Она» оказалась бухгалтером, и она говорила: «По-моему, Сергей правильно поступил, что не взял в Москву Мадо. Я сюда приехала из-под Гжатска. Кажется, чего тут — страна та же, язык понятный, и то не могу себя унять, ночью вспомню избу — немец сжег — и реву, как дура... А привези французенку — ей и поговорить не с кем, иссохнет...» Председательница, энергичная женщина с властным лицом, возражала: «Человеку нужно помечтать. Иногда проснешься — что-то приснилось хорошее, и злоба берет: почему нельзя сон с собой взять, с ним и в поле легче...»

Росло сознание людей. В степи в сельской школе малыши читали:

А он, мятежный, просит бури...

Они входили в жизнь с мечтой. Теперь им по двадцати лет, и, глядя на нашу думающую, требовательную, порой шумливую молодежь, я вспоминаю русого первоклассника, который декламировал Лермонтова. Наверно, у него спина чесалась — прорастали крылья. Школьницы седьмого класса ездили в Саратов, ходили в музей, думали о судьбе Чернышевского; одна рассказала мне: «Я в Саратове познакомилась с девочкой, она мне дала переписать стихи Есенина. Жеребенка жалко...»

Однажды в Энгельсе ко мне пришел человек лет пятидесяти, весь воскресный день он просидел в приемной, дожидаясь, когда придет его черед. Я попросил его сесть, но он стоя кричал: «Подумайте — на такой город, как Энгельс, всего пятнадцать!..» Я успел одуреть от сотни посетителей, спрашивал «чего», гадал — коек в одной из больниц, торговых точек? Наконец он объяснил. В связи с юбилеем Гюго Гослит объявил подписку на собрание его сочинений. Великий французский писатель не отличался лаконизмом, жил долго и написал много. Кому в Энгельсе может понадобится собрание его.

сочинений? Да их и не поместишь в комнате. А посетитель негодовал: «Люди собрались с вечера, и вот, извольте видеть, пятнадцать на весь город!..» Я обрадовался, что сразу могу удовлетворить просьбу хотя бы одного избирателя — как член Юбилейного комитета, я имею право подписаться, буду посылать книги ему... Он покачал головой: «Мне не нужно — я был третьим, подписался. Я вам про город говорю. Обидно: Энгельс, большой город — и вдруг пятнадцать!..»

В другой раз пришел молодой рабочий, лицо у него было еще по-детски припухшее, он стеснялся, сбивчиво рассказал, что его послали на ремонт в Дом инвалидов, там при нем старая женщина жаловалась, что ей прописали специальные очки, а ей говорят: «Ничего, без очков обойдешься», она сорок два года проработала учительницей: «Вы подумайте, товарищ писатель, скольким она глаза открыла, а теперь и почитать не может. Я так считаю, что это безусловная несправедливость». В руках у него была книга, я спросил, что он читает; он еще больше застеснялся: «Я знал, что вас долго придется ждать...» Оказалось — учебник алгебры.

Нет, не зря сорок два года проработала учительница, не зря трудились и преподаватели, и библиотекари, и работники музеев, и актеры, и лекторы, и писатели. Народ думал, учился, рос. Маленький провинциальный город, бараки, деревни, занесенные снегом, покосившиеся домишки — все это казалось обездоленным и спящим, а жизнь бурлила, и если «Литературная газета» приукрашивала эту жизнь, одновременно обедняя ее, то в действительности люди жили хуже, но были крепче, духовно богаче, чем герои пьес, награждаемых премиями всех трех степеней.

Я увлекался садоводством, огородничеством. Посадил два конских каштана — один погиб, другой вырос и теперь весной цветет, как будто он в Киеве или в Париже. Я много сеял, это хорошее занятие: с книгой все неясно, а здесь посеешь мельчайшие семена, покроешь ящик стеклом — и две недели спустя покажутся зеленые точки, потом их нужно распикировать, это кропотливое занятие, и оно успокаивает, нельзя при этом думать об очередных неприятностях, нужно быть очень внимательным, оберегать сеянцы от болезней, от паразитов, и тогда они обязательно зацветут.

Иной читатель удивится: почему я после рассказа о людях Энгельса вдруг перешел на чудачества пожилого любителя

растений? Не случайно. Многие за границей, да и некоторые юноши у нас не понимают, что жизнь народа продолжалась, не могла прерваться. Народ пережил много дурного, но он бодрствовал, чувствовал, строил. Подмосковный сад зимой кажется умершим, но в стволах или только в корнях происходят незримые процессы, подготавливающие весеннее цветение. Все это легко понять потом, а в 1951 году я часто доходил до отчаяния.

27

В 1950 году был образован Комитет для присуждения Сталинских премий «За укрепление мира», в него вошли Арагон, Го Мо-жо, Андерсен-Нексе, Келлерман, Бернал, Дембовский, Садовяну, Неруда, Фадеев и я; председателем Комитета стал Д. В. Скобельцын.

Среди награжденных в первый же год рядом с Жюлио-Кюри была вдова Сун Ят-сена, госпожа Сун Цин-лин. В сентябре 1951 года я поехал в Китай вместе с Пабло Нерудой, чтобы вручить ей премию. С нами поехали жена Пабло, Делия, и Люба. До Иркутска мы ехали поездом — Пабло хотел хотя бы из окна вагона увидеть Сибирь. Мы остановились в Иркутске, встретились там с писателями. Неруде захотелось поглядеть на Байкал — он говорил, что мечтал об этом еще в молодости. Мы поехали на ихтиологическую станцию; нам показывали диковинных глубоководных рыб. Пабло потребовал, чтоб ему дали их попробовать. К счастью, в зажаренном виде трудно отличить виды рыб, и Неруда ел с аппетитом, конечно, не те диковины, которые плавали в аквариуме.

Вразрез с выбранным мною правилом я хочу написать о Пабло Неруде и о некоторых моих похождениях, связанных с ним; кроме Пикассо, среди людей, которым я посвятил отдельные главы этой книги, никого нет в живых: я боялся обидеть или причинить неприятности. Однако Пабло Неруда стал легендарной фигурой, о нем написаны десятки романтических книг. Я хочу рассказать о другом Пабло, которого видел не на сцене истории, а в обыкновенных комнатах: в Мадриде, в Париже, в Праге, в Москве, в Пекине, в Вене, в Сант-Яго, в Исла-Негра.

Последняя часть этой книги может показаться чрезмерно печальной: старость, как издавна говорят, не радость, да и

время — с 1945-го по 1953-й — вряд ли кто-нибудь назовет веселым. Я больше буду говорить о причудах Неруды, нежели о его замечательной поэзии, — мне хочется улыбнуться, вспоминая дни, проведенные с Пабло, может быть, со мною улыбнется и читатель.

Познакомился я с Нерудой в 1936 году в Мадриде. Обычно то время называют переломом в жизни и в творчестве поэта. Мне кажется, что «переломы» редкая вещь. Неруде тогда было тридцать два года, характер его успел сложиться, писать стихи он начал рано и в одной из первых книг «Двадцать стихотворений о любви и одно об отчаянии» не только нашел себя, но и показал высокое мастерство; он писал тогда:

Облака, как белые платочки расставания,
ими размахивает путник-ветер,
и сердце ветра колотится
над нашим молчаньем любви.

Неруда и тридцать лет спустя писал о ветре, о любви, о разлуке. В 1936 году поэзия Неруды расширилась. Он был тогда чилийским консулом в Мадриде; к нему приходили друзья — Гарсиа Лорка, Альберти, Эрнандес. Вдруг на город начали падать фашистские бомбы.

И по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей.

Он написал тогда книгу стихов «Испания в сердце», я ее перевел на русский язык. Мы подружились, а вскоре расстались на десять лет.

В годы войны Неруда был консулом в Мехико. Я прочитал его стихи, посвященные Сталинграду. Потом мне прислали сборник моих военных статей, который вышел в Мексике с предисловием Неруды: Пабло проклинал эстетов и прославлял Советский Союз. Тогда-то Неруда стал коммунистом. Вернувшись в Чили, он писал стихи, выступал на собраниях; о нем узнали рабочие Сант-Яго и Вальпараисо.

Предстояли выборы президента. Коммунисты поддерживали кандидатуру Гонсалеса Виделы, который клялся, что проведет аграрную реформу и защитит права рабочих. Неруда уговаривал избирателей голосовать за Виделу. Новый президент

вскоре забыл свои обещания. Здесь-то началась эпопея Неруды, которая, наверно, известна всем читателям: он был обвинен в государственной измене и после этого, в начале 1948 года, явился на заседание сената, где публично обвинил в измене президента республики. Поэту пришлось скрываться. Он продолжал писать — работал над книгой «Всеобщая песнь». Я рассказывал, как он появился на Парижском конгрессе.

Неруда любит Уитмена не только потому, что многому у него научился, но и по внутреннему родству — это поэты одного континента. О столь распространенной теме, как мир, Неруда писал иначе, чем европейские поэты:

Мир наступающему вечеру,
мир переправе, и мир вину,
мир словам, которые меня ищут
и которые в моей крови,
как очень старая песня.
Мир городу рано утром,
когда просыпается хлеб,
мир рубашке моего брата.

С тех пор Неруда написал десятки книг, изездил десятки стран, узнал подлинную славу, однако он не изменился. Когда я его встречаю после нескольких лет разлуки, мы сразу начинаем говорить о сегодняшнем дне.

Я согласен с теми, которые говорят, что Неруда внешнею напоминает статую Будды, если бы ее высек из камня древний инка. (Боги инков, однако, сердитые, а Пабло благодушен.) Хотя его биография изобилует бурными событиями, он любит, да и всегда любил, покойфовать, побеседовать о пустяках или подумать о серьезном. Он производит впечатление Будды флегматичного, даже ленивого, а написал столько, что диву даешься. Многие его стихи очень громкие, но разговаривает он тихо, и голос у него не трибуна, а, скорее, обиженного ребенка. Его друг, чилийский депутат Балтасар Кастро, хорошо показывает Пабло. Он рассказал мне, как в начале их знакомства Неруда позвонил, чтобы сообщить о счастливом разрешении какого-то спорного дела; будто издалека раздался голос, полный скорби: «Балтасар, победа!..»

Неруда — страстный коллекционер, собирает он различные вещи, но главным образом — огромные деревянные статуи,

украшавшие носы парусных кораблей, и крохотные морские ракушки. В его доме в Исла-Негра на берегу Тихого океана — старинные компасы, песочные часы, морские карты. Китайский поэт Ай Цин, побывавший в этом доме, спросил Пабло, кем он себя считает — матросом или капитаном. Пабло ответил: «Я — капитан, но мое судно затонуло». Это было поэтической фантазией: никогда я не видел корабль Неруды не только тонущим, но потерявшим управление. В одном из музеев Китая Пабло увидел ракушку, которой у него не было. Он столько о ней говорил, что радушные хозяева подарили ему редкий экспонат. Пабло голосом, полным прискорбия, однако счастливо улыбаясь, часа два рассказывал мне о ценности полученной им ракушки. В Китае он покупал в игрушечных лавках тигров из папье-маше. Тигры были неопишимо свирепыми, и вместе с тем на них нельзя было глядеть без улыбки. (Мы тогда не знали, что десять лет спустя китайцы будут называть американский империализм «бумажным тигром».)

Неруда — человек чрезвычайно общительный. В Праге, когда бы я ни пришел к нему, в его комнате сидели или стояли люди: чилийские коммунисты, чешские поэты, разноязычные журналисты. В Сант-Яго я и Люба жили в доме Пабло, и нам казалось, что мы живем на площади. Как-то я захотел днем переодеться, но от этой затеи пришлось отказаться: все время в комнату заглядывали почитательницы поэзии Неруды. Обедало у него ежедневно человек пятнадцать — двадцать. Однажды он тихо спросил меня: «Ты не знаешь, кто это — последний налево от тебя?..»

В Чили я поехал по просьбе Неруды летом 1954 года: я должен был вручить ему премию мира. Я радовался, что увижу Латинскую Америку. Дипломатических отношений у нас с Чили не было, но визы дали мне и Любе. Я думал, что поездка будет идиллической. В то лето чилийцы праздновали пятидесятилетие Неруды. Да и «холодная война» шла на убыль. За два месяца до того в Париже я вручил премию Пьеру Коту, все было торжественно, пришли депутаты различных партий.

Я забывал, что до Чили далеко — мы летели из Стокгольма сорок восемь часов; это было в августе, а там была зима. В Чили еще стояла «холодная война». На аэродроме Сант-Яго полицейские с любопытством, но вежливо повертели наши паспорта, таможенники взглянули на раскрытые чемоданы, и мы

уже шли в зал, где нас ожидали Пабло, Делия и Жоржи Амаду, приехавший на юбилей, когда неожиданно появились настроенные воинственно чины особой полиции, почему-то именованной «международной». Они начали яростно выбрасывать наши вещи из чемоданов. Из моего портфеля забрали все; я попытался отстоять диплом, который должен был вручить Неруде, но один из полицейских, обладавших мускулатурой боксера, так стиснул мои руки, что я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Золотой медали, к счастью, не нашли — она была в сумке Любы; попади она в руки начальника полиции, он ни за что не вернул бы ее: это был человек нечистый на руку, вскоре его арестовали за махинации с каракулевыми шкурками.

На аэродром приехал председатель парламента Балтасар Кастро, но перед «международной полицией» и он оказался бессильным. Неруда повез нас к себе, затопил камин, что делал редко, и начал рассказывать, какие чудесные вещи мы увидим в Чили.

На следующий день все газеты были заполнены моими фотографиями. Полиция сообщила, что я пытался провезти грампластинки с секретными инструкциями компартиям Чили и других стран Латинской Америки, шифрованные обозначения ячеек и пять миллионов песо. Последнее министерство юстиции тотчас опровергло, испугавшись, что ему придется вернуть деньги, которых полицейские не могли отобрать — их у меня не было. Не было и грампластинок ни с тайными инструкциями, ни с народными песнями. Шифрованными документами были объявлены записка с латинскими названиями некоторых растений — я надеялся раздобыть семена на их родине, и французские кроссворды, которые я решал в самолете.

Началось нечто невообразимое. Однажды ночью дом Неруды закидали петардами, пожар быстро погасили. В другую ночь мы проснулись от криков. «Здесь даже выспаться не дадут», — сказала Люба и тотчас заснула. Утром мы узнали, что к дому подъехала установка с громкоговорителем, разбудившим всю улицу. Садовник Неруды увещевал: «Как вам не стыдно народ будить?..» Один из крикунов, говоривший по-испански, ответил: «Мы через пять минут кончим и уедем». В газетах я прочитал, что русские, специально прилетевшие из Нью-Йорка, предлагали мне «выбрать свободу» и улететь с ними в Соединенные Штаты, ибо «красные» не простят мне «Оттепе-

ли», что они взывали к Любе: «Спаси Илью и себя!»; что Люба хотела якобы спрыгнуть со второго этажа, но ее удержали «два гиганта-чекиста». Газеты напечатали все это, хотя Сантьяго небольшой город и дом Неруды известен всем, а он одноэтажный.

Стены города покрылись надписями: «Эренбург, убирайся домой!», «Чили — да, Россия — нет». Газеты сообщали, что я в Москве повесил много неповинных. «С Эренбургом приехала опытная чекистка, ее кличка «Люба». Наверно, большое впечатление на читателей произвело сообщение, что Неруду русские называют «Епида» — так журналисты прочитали фамилию, напечатанную в дипломе и по-русски.

На неделю я стал самым популярным человеком в Сантьяго. Друзья советовали мне сидеть в бесте — фашисты хотели меня избить. Все же я уезжал в город (дом Неруды на окраине) иногда с Пабло, иногда с кем-нибудь из его приятелей. С Пабло я пошел в рабочий квартал. Охранял меня шофер, который час спустя взмолился: «Если мы пойдем дальше, у меня будет разрыв сердца...» Рабочие меня узнавали и кидались меня обнять, а шофер каждый раз пугался — уж не фашисты ли?..

Казалось, все потеряли голову. Только Пабло сохранял полное спокойствие, писал стихи, после обеда спал, рассказывал забавные истории. Он говорил, что, конечно, не ждал таких событий, однако ничего удивительного нет — янки распоряжаются тут, как у себя дома, вскоре это кончится, тогда я смогу снова приехать, он мне покажет Вальпараисо, юг Чили, и я пойму, что нет страны прекраснее.

Я связался по телефону с нашим послом в Аргентине и попросил его передать в Москву о моем положении. Дня три спустя Юнайтед Пресс сообщило, что московские газеты пишут о «самоуправстве чилийских властей». Чилийское правительство поняло, что переусердствовало. Кроме того, я с Нерудой отправился к послу Аргентины, которому после разрыва дипломатических отношений между Чили и Советским Союзом было поручено защищать интересы советских граждан. Мы были первыми, потревожившими посла; он признался, что запросит Буэнос-Айрес, сказал, что он поклонник поэзии Неруды, а на меня глядел с интересом, но и с опаской. Потом он сообщил Пабло, что был у престарелого президента Чили, который заинтересовался тем, что я хотел купить семена некоторых сортов

бегонии, и сказал, что это может стать началом торговых отношений между двумя государствами.

Однажды в дом Неруды пришли двое посетителей. Пабло не было, а друзья, проводившие все время у Неруды, приняли их за незнакомых почитателей. Тогда пришедшие сказали, что хотят поговорить со мной, и показали полицейские удостоверения. Оказалось, они принесли мне диплом. Папка была в ужасном виде — газеты писали, что ее подвергали различным химическим анализам. Когда Пабло вернулся, я показал ему диплом. Он улыбнулся и грустно сказал: «Я тебе говорил, что мы победим...»

Нужно было организовать церемонию вручения премии. Это было нелегко — фашисты грозились, что примут меры. Мы собрали военный совет — пришли и коммунисты, и Балтасар Кастро, и чилийские писатели, и, конечно же, Жоржи Амаду. Зал мы сняли в большой гостинице, но как обеспечить порядок? Мы решили, что центр города на один вечер оккупируют студенты. Однако коммунисты, подумав, решили, что этого мало, и к студентам добавили несколько тысяч рабочих.

Все прошло спокойно. Зал был набит. Выступали и писатели, и политические деятели разных партий. Один старый писатель, забыв, что чествуют Неруду, а не меня, начал медленно по-русски считать: «Один... Два... Три... Четыре...» Он хотел этим высказать свое уважение к русским. Я увидел, что Жоржи корчится, сдерживая смех, а Пабло слушал вполне серьезно. Потом он произнес вдохновенную речь. Известный актер продекламировал монолог Чехова «О вреде табака».

Накануне нашего отъезда я устроил ужин в честь лауреата. Среди приглашенных оказались два министра — юстиции и информации, первый за пять дней до того объявил, что меня будет судить чилийский суд, второй ежедневно снабжал прессу фантастическими историями. Было много вина, и министр юстиции, развеселившись, произнес тост — просил меня не смешивать правительство Чили с международной полицией.

(Посол Аргентины дал нам визы, и мы провели несколько дней в Буэнос-Айресе, где жили в то время наши давние друзья — Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон. Нас пригласили аргентинские писатели. Мы разговаривали стоя: нам объяснили, что сидеть нельзя — тогда прием может быть причислен к собраниям, а таковые строго запрещены. В последний день мы возвращались с прогулки, вместе с нами был

секретарь посольства. Аргентинские друзья нам показали красивые окрестности города, и мы запоздали, а я обещал рассказать сотрудникам посольства о живописной истории, происшедшей со мной в Чили. Мы выскочили из машины, когда раздался грохот: напротив посольства — крутая улица, оттуда двое исчезнувших людей спустились на нашу машину «пикап». Посольскую машину исковеркали, а мы остались невредимыми только потому, что, торопясь, действительно не вышли, а выскочили.)

Все это относится к 1954 году, но если откинуть некоторые живописные подробности, то это — картины «холодной войны», о которой я рассказывал в предшествующих главах. С тех пор прошло больше десяти лет, многое изменилось и в мире, и на родине Неруды. Недавно в Чили ездили советские писатели, и М. И. Алигер рассказывала, как их там радушно принимали.

Пабло Неруде в 1964 году исполнилось шестьдесят лет. Одно из его стихотворений называется «Прошу тишины», в нем он просит:

А теперь оставьте меня в покое.

А теперь обойдитесь-ка без меня...

Однако неделю или месяц спустя он снова кидается в море жизни. Он объясняет, почему смог выдержать горечь некоторых разуверений: когда тонули корабли, он снова брался за топор — он ведь кораблестроитель:

Моей религией те были корабли.

Нет выхода иного у меня, чем жить.

Я столько писал в этой книге о трагических судьбах писателей и художников, что должен был рассказать, хотя бы коротко и шутливо, о большом поэте, который счастлив. Конечно, Неруда знал и часы отчаяния и разочарования, и горести любви, и многое другое, без чего не обойтись, но никогда он не отрекался от жизни и жизнь не отрекалась от него. Он пошел против сильных мира, стал коммунистом, нашел друзей, следовательно — нашел и врагов, но ругали его только враги, никогда он не знал, что значит терпеть кровные обиды от своих. Он писал, о чем хотел и как хотел. Когда я переводил главу его книги, я наткнулся на один образ, которого не понял. Я спросил: «Пабло, почему индейцы голубые?»... Он долго мне объяснял, что как-то увидел индейцев под вечер

на берегу озера, и они казались голубоватыми. «Но в поэме этого нет...» Он ответил: «Ты прав... Но пусть они останутся голубыми». Прав, конечно, был он.

Могут сказать: человеку везло и везет. Это ничего не объясняет. Неруда никогда не выбирал легкого пути, но на тяжелой дороге, когда вокруг него люди падали, плакали, проклинали свою судьбу, он видел не низость, а благородство, не лопухи, а розы — так устроены его глаза, такое у него сердце.

Вот он загрустил; он пишет не о борьбе народа, не об Андах или вулканах, он разрешает себе пожаловаться:

Я очень устал от куриц: мы не знаем, что они думают,
они смотрят сухими глазами, не придают нам значенья...
Давай уставать хотя бы раз или два в неделю,
оттого что дни зовутся всегда одинаково,
как блюдо на столе...

Это не брюзжание старика, а шалости ребенка, и кончает Неруда стихотворение тем, что придут молодые, откроют зарю или окрестят заново поцелуи. Если ему и повезло, то в ту самую минуту, когда он появился на свет — дело не в благоприятных обстоятельствах, не в оптимистической философии, не в эгоизме, а в чудесной природе этого человека.

28

Мы пробыли в Китае немного больше месяца; кроме Пекина, побывали в Шанхае и в Ханчжоу, ездили в деревни, смотрели Великую стену, могилы династии Мин.

Для меня все было внове: я впервые увидел Азию. Правда, радушные хозяева порой нас чересчур опекали — говорили, что время еще беспокойное, повсюду со мной ходили переводчики. (Только раз в Ханчжоу мне удалось их перехитрить и одному побродить по городу.) Много времени отнимали различные приемы, банкеты, совещания, митинги. Впечатлений все же было немало. Однако я не решился ничего написать о Китае. Я увидел слишком мало для того, чтобы понять страну с древнейшей культурой, где только что победила революция, где новое переплеталось со старым; и вместе с тем я

увидел достаточно, чтобы понять, что я ничего не понимаю,— это меня удержало от поверхностных суждений.

В книге воспоминаний я рассказываю не о различных странах, а о своей жизни. Поездка в Китай была для меня школой: на старости лет я начал освобождаться от шор европейского воспитания. Теперь я не боюсь сбивчиво, да и, наверно, наивно рассказать о своих впечатлениях — никто их не примет за попытку дать картину Китая.

В Северной Америке, где я побывал до Китая, потом в Латинской Америке, в Индии, в Японии и, конечно же, в Китае многое меня удивляло. Путешественник прежде всего замечает то, что ему непонятно; так бывало и со мной.

В первый же день ко мне пришли китайские писатели. Они называли меня «Эйленбо», и я долго не мог догадаться, что это загадочное слово означает «Эренбург». В китайском языке почти все слова состоят из одного слога, собственные имена — это два или три слова. Иностранные имена могут быть выражены словами лестными или обидными — в зависимости от отношения к человеку. «Эйленбо» свидетельствует о добрых чувствах, это значит «крепость любви». Фадеев по-китайски Фадеефу, и Александр Александрович с гордостью мне говорил, что это означает «строгий закон». Некоторые звуки европейских языков, как, например, «р», в китайском отсутствуют. Мне много говорили о знаменитом французском писателе Бальбо, удивлялись, что я его не знаю, пока наконец я не догадался, что речь идет о Барбюсе.

Грамота в Китае — сложная наука: для того чтобы читать газеты или книги с несложным словарем, нужно знать несколько тысяч иероглифов. Го Мо-жо знает десять тысяч, он может написать все, но прочитать это «все» смогут далеко не все. В Шанхае нас повели в большую типографию. На стене были тысячи ящиков с иероглифами, и наборщики ловко взбирались по лесенкам, чтобы взять нужный иероглиф. После того как лист напечатан, значки плавают, отливают новые — раскладывать их по ящикам чересчур трудно. Наборщики — люди очень образованные, они знают больше иероглифов, чем средний читатель, а знание иероглифов — это знание понятий. Я удивлялся, что китайцы не переходят на звуковое письмо, как это сделали вьетнамцы и частично японцы. Мне объясняли, что тогда житель Кантона не сможет читать пекинские газеты или журналы. На севере чай — «ча», на юге — «тэ»,

а иероглиф, конечно, тот же. На заседаниях Всемирного Совета Мира я несколько раз видел, как пожилые вьетнамцы переписывались с китайцами и корейцами — разговаривать они не могли, но иероглифы понимали.

На следующий день после приезда нас пригласили в Комитет защиты мира, там мне показали чертежи, изображавшие различные фазы церемонии вручения премии. «Одно нам не ясно, — сказали китайские друзья, — как вы вручите медаль госпоже Сун Цин-лин — двумя руками или одной?» Я ответил, что это не имеет значения — могу одной, могу двумя. «Это имеет очень большое значение — нужно, чтобы вы поступили так, как это делается в Москве». Хотя Д. В. Скобельцын несколько раз при мне вручал премию, я не мог вспомнить, держал ли он диплом и медаль в одной руке или в двух. Обсуждение длилось долго. Китайцы куда серьезнее относятся к любой церемонии, чем европейцы, и существует множество правил приличия, которыми нельзя пренебрегать.

Две недели спустя мы были на приеме в честь второй годовщины провозглашения Народной Республики. Нас выстроили в шеренгу и объяснили: «Вы подойдете к товарищу Мао Цзэ-дуну и поздравите его с праздником». Первой в шеренге оказалась Люба. Выйдя в зал, она направилась к президиуму, где сидели члены правительства. Китайцы вовремя ее остановили — нужно было описать полукруг.

На первом же банкете я обомлел — нам подавали различные блюда часа три, а блюд было не менее тридцати; их порядок для европейца загадочен, — когда подали сладкое, я облегченно вздохнул, решив, что обеду приходит конец, но вслед за этим принесли рыбу, а в конце дали бульон и сухой рис. Еда в Китае изысканная, редко понимаешь, что ты ешь. Однажды нас угощала писательница Дин Лин. Одно блюдо мне особенно понравилось, и я спросил, что мы едим. Хозяйка не знала, позвала повара, который сделал небольшой доклад; переводчик, однако, не знал ни анатомии курицы, ни русских названий растений, и блюдо осталось для меня загадочным.

Один писатель сказал мне, что не мог встретиться со мной — его жена была тяжело больна, три дня назад она умерла; говоря это, он смеялся. У меня мурашки пошли по коже; потом я вспомнил, что Эми Сяо мне говорил: «Когда у нас рассказывают о печальном событии, то улыбаются — это значит, что тот, кто слушает, не должен огорчаться».

В Китае я впервые задумался об условностях, обычаях, правилах поведения. Почему европейцев изумляют нравы Азии? Мало ли у нас условностей? Европейцы, здороваясь, протягивают руку, и китаец, японец или индеец вынуждены пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «целую руку», не задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомившись с дамой, машинально целует ее руку. Англичанин, возмущившись проделками своего конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы мошенник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или кирку, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, покрывает голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура черный, а в Китае белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя зайти в дом, не сняв обуви; в ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату традиционно китайским — ширма не позволяла войти прямо; это связано с преданием о том, что черт идет напрямик; а по нашим представлениям черт хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Если к европейцу приходит гость и восхищается картиной на стене, вазой или другой безделкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет — того требует вежливость. Мать меня учила, что в гостях нельзя ничего оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто не дотрагивается — нужно показать, что ты сыт. Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или иным обычаем: если есть чужие монастыри, то, следовательно, есть и чужие уставы.

В 1951 году в Китае было много советских специалистов — инженеров, агрономов, врачей; они работали самоотверженно и вели себя скромно. Китайцы тогда ценили помощь, оказываемую им Советским Союзом, и принимали русских как желанных гостей. Однако различия в условностях порой и в те времена вмешивались в дружбу. Советские инженеры начали устанавливать оборудование одного из новых заводов; станки

были рассчитаны на рост русских, которые несколько выше китайцев. Инженеры сказали, что дело легко исправить — они поставят перед станками подмости. Китайцы заулыбались, а потом заявили, что станки они установят сами. Они проделали тяжелейшую работу — вкопали машины в землю. Очевидно, в подмостках было нечто для них оскорбительное. Вспоминая этот случай, я часто думаю: сколько размолвок и обид рождается от случайностей, от того, что люди, которые чувствуют, переживают, да и думают сходно, привыкли к разным выражениям чувств, к веренице различных образов.

После церемонии вручения премии артисты пекинской классической оперы исполнили несколько сцен. Я впервые услышал китайскую музыку, она меня поразила; удивили и приемы актерской игры, содержание пьесы. Я сидел рядом с китайскими министрами, они наслаждались игрой, переживали происходящее на сцене. Потом я несколько раз был в театрах Пекина и Шанхая, начал понимать прелесть китайского спектакля. Его часто противопоставляют реализму — он сложен, как иероглифы, насыщен условными понятиями, но искусство немислимо без условностей: те, которые нам известны с детства, нас не удивляют. Нам кажется естественным, что Борис Годунов, умный и не ронявший зря слова, — на сцене все время поет; что Ромео и Джульетта, умирая, танцуют; что колокольчик — это «дар Валдая», а бессонница — «парки бабье лепетанье». Я рассказывал, как меня когда-то рассмешил французский трагик Муне-Сюлли, который патетически завывал, играя Эдипа, — я тогда знал только такой театр, где все «всамделишное». А некоторых москвичей смешили постановки Мейерхольда: зеленый парик на одном из актеров в пьесе «Лес» был непривычной для них условностью. Когда я увидел Муне-Сюлли, мне было восемнадцать лет, а Мэй Лань-фана я впервые увидел в шестьдесят. Знаменитый актер исполнял роль влюбленной девушки, его сын — служанки: все актеры были мужчины. В опере Шанхая играли только женщины, они исполняли роли полководцев и бородатых мандаринов. Условности китайского театра меня удивляли потому, что я их не знал. Потом мне объяснили, что если актер трясет руками над головой, — значит, он испытывает страх; флажки на спине полководца обозначают, сколькими полками он командует; если он делает вид, что пьет чай, — значит, он начал переговоры с противником; красное лицо свидетельствует о по-

рядочности персонажа, а белое — о его бесчестности и так далее. Каждый китаец, даже неграмотный, разбирается в иероглифах театра.

Мне во многом помог Н. Т. Федоренко — он был тогда советником нашего посольства. Он знает китайский язык, старую и новую литературу, его рассказы мне часто открывали глаза.

Китайские поэты мне говорили, что стихи нельзя слушать, их нужно читать — иероглиф рождает образ. Гийом Аполлинер одно время писал «каллиграммы»: стихотворение было чашей, крестом, башней; он обладал скудным материалом — латинским алфавитом, а стремился к тому, о чем говорили китайские поэты.

На одном из обедов мне подарили стихотворение. Я долго любовался красиво вычерченными иероглифами. Я думал, что автор — поэт, но он оказался директором Народного банка. В свое оправдание он сказал, что он — человек пожилой, а в старое время все должны были владеть версификацией. По содержанию его стихотворение было традиционно условным, но зрительно оно мне показалось куда выразительнее, чем «каллиграммы» одного из крупнейших поэтов XX века. Очевидно, мастерство связано с веками. Тютчев для меня великий поэт, но стихи, которые он писал по-французски, могли бы быть написаны любым французским студентом.

Я видел в Пекине произведения старого художника Ци Бай-ши; ему тогда было восемьдесят лет. Он рисовал в традиционной манере, но был талантливым художником — его лошади или белки мне показались очаровательными. Некоторые китайцы пожимали плечами: стоит ли повторять то, что было сделано много веков назад?.. Действительно, Ци Бай-ши не внес в живопись ничего нового, лошади или белки не изменились. А гениальный пейзажист XI века Го Си был не эпигоном, но новатором. Все же мне хочется взять под защиту доброго мастера Ци Бай-ши. Когда некоторые китайцы начали писать огромные полотна, то эти художники выглядели не новаторами и не эпигонами, а неумелыми копиистами. (В Индии я увидел современную живопись, которая, не будучи подражанием французским мастерам и сохраняя национальный характер, показывала мир по-другому, чем древние фрески Аджанты. Вероятно, нечто подобное произойдет когда-нибудь и в Китае.)

В старом китайском искусстве поражают не фантазия, не причуды, да и не дерзость художника, а необыкновенное тер-

пение и безупречное мастерство. Это в характере народа. Я любовался в парках «деревьями любви» или «деревьями дружбы» — два дерева или пять срастаются в одно: для того чтобы подчинить человеку рост дерева, нужны и знание ботаники, и огромная настойчивость. В Китае я не нашел того, что в Европе мы называем народным искусством. В Пекине были сотни улиц, где ремесленники жили, работали и продавали свои изделия, — улица корзин, улица щеток, улица чайников для лечебных трав, улица театральных бород, улица игрушек — бумажных тигров, змеев, крохотных птиц и так далее. Все предметы обихода, привычные для китайцев, отличались красотой пропорций, пониманием материала, а подражания европейской утвари мне показались уродливыми.

Я увидел Китай, когда Народной республике было всего два года. В Шанхае еще имелись рикши, модницы прогуливались в парижских платьях, старики не расставались с традиционными длинными халатами. А в Пекине все мужчины и женщины были одеты в одинаковые синие костюмы — куртка, штаны. Многие закрывали рот и нос белыми повязками — эту моду принесели японцы, которые хотели оградить себя от мельчайших песчинок, приносимых ветрами из пустыни Гоби. Торговали повсюду и всем — музейными древностями, конфетами, шелком, женьшенем.

Меня поражала дисциплинированность народа. Молодые китайцы обзавелись вечным пером. Когда я бывал на собраниях или митингах, все сидели, внимательно слушали и записывали. Мне пришлось не раз выступать, иногда я шутил (боялся, что слушатели устали), записывали и шутки. Доклады китайцев повсюду были длинными — четыре часа, пять. (Спектакли тоже для европейца непомерно длинны, иногда пьеса идет два вечера — начало и конец истории.)

В саду возле школы, в деревне под деревом, в бараче я видел небольшие собрания — двадцать — тридцать человек; там тоже слушали и записывали. Переводчик мне объяснил: «Это критика и самокритика». Вряд ли содержание таких собраний было традиционным: обсуждали, что студент скрыл свое социальное происхождение, что незамужняя работница забеременела, что слесарь опоздал в мастерскую, но форма была китайской — один длительно каялся, другие слушали и записывали.

Возле города Ханчжоу в идиллическом пейзаже я увидел могилу знаменитого полководца XII века Ио Фэя. Он отразил

атаки племени чжурчжэней, потом был отозван в столицу Ханчжоу и казнен. Около его могилы на коленях стоят бронзовый человек, предавший героя, и его жена. Школьная экскурсия осматривала достопримечательности. Один подросток плюнул в лицо предателя, тотчас его товарищи сделали то же самое. Китаец, который показал нам могилу полководца, не очень разбирался в древней истории и не знал, кем были названные им чжурчжэни, но поведение школьников он одобрил и добавил: «Он предал восемьсот десять лет тому назад»... Китайцы, с которыми мне привелось встречаться, уделяли внимание датам, годовщинам, а доказывая что-либо, говорили «в-пятых», «в-шестых», «в-седьмых»...

В Китае буддизм, да и другие религии играли, скорее, второстепенную роль. Я заходил в пагоды, там блистали статуи толстого золоченого Будды, а вокруг суетились, продавая какие-то листочки, отнюдь не толстые монахи; верующие пили чай, некоторые спали. Место религий занимала упрощенная мораль конфуцианства: будь честным, уважай начальство и чти предков. Кладбищ в деревнях, однако, не было, и крестьяне, обладавшие крохотным полем, похожим на пригородный садик, должны были уделять там место для могил дедов и прадедов.

В деревне неподалеку от Пекина мне рассказали, как один безземельный крестьянин не знал, где ему похоронить отца. Он молил на коленях помещика разрешить похоронить отца на помещичьей земле. Помещик продиктовал условия: за могилу бедняк должен будет проработать столько-то месяцев.

Народная республика первым делом провела аграрную реформу — покончила с феодализмом. Конечно, были среди помещиков люди богатые, но я побывал в некоторых помещичьих домах, по сравнению с которыми дом среднего датского крестьянина следует назвать дворцом.

Раздел помещичьих земель уничтожил несправедливость — это было первым шагом. Один юноша в Пекине мне говорил: «Скоро мы обгоним старшего брата в построении коммунистического общества» («старшим братом» китайцы тогда называли советский народ). А в деревнях я еще видел древнюю соху. Домики крестьян были крохотными; на низкой печи спала вся семья. Ели скудно — чашка риса, иногда сладковатая редька или листик капусты. Женщины в деревнях еще держались приниженно. Я видел босых крестьян, видел детей

с язвами на голове. Пять лет спустя в Индии я понял, что все относительно — отощавшие крестьяне, падающие голодные коровы, на улицах Калькутты бездомные, умирающие, прокаженные. Таких ужасов в Китае не было, но уровень жизни большинства китайцев в 1951 году был куда ниже, чем в самых бедных районах Европы. Друзья, побывавшие в Китае несколько лет спустя, рассказывали, что многое изменилось: построили тысячи школ, больниц, родильных домов, яслей. Я видел раннее утро нового Китая: прививали всем оспу, учили грамоте детей и взрослых, сносили трущобы Шанхая. Многие страны Азии тогда глядели на Китай как на чудотворного пророка. Когда я был в Дели в 1956 году, туда приехала китайская делегация, трудно рассказать, с каким восторгом индийцы ее встретили.

Исторические пути Индии и Китая различны, и вместе с тем есть между ними много сходства. За триста лет до нашей эры города Индии были снабжены канализацией. В третьем веке до нашей эры китайцы построили Великую стену, чтобы защитить страну от кочевников. Производство шелка китайцы начали за две тысячи лет до нашей эры; в пятом веке до нашей эры вырыли оросительные каналы, потом начали изготавливать бумагу. Китайцам принадлежит изобретение компаса, сейсмографа, фарфора, книгопечатания подвижным шрифтом (за четыреста лет до Гутенберга). Они изобрели порох и многое другое, о чем европейцы узнавали с большим запозданием от арабов. Правитель Индии Ашока в третьем веке до нашей эры сформулировал принципы мира, согласно которым он решил никогда не начинать войн. Когда мы защищали в Движении сторонников мира те же принципы, на нас многие нападали. Феодалные распри, вторжения, навязанные войны истощили два великих государства Азии как раз в то время, когда страны Западной Европы освоили порох, обзавелись артиллерией и военным флотом. Индию начали разбирать по кускам, львиную долю получили англичане. Китай продолжал существовать как государство, но ему предъявили ультиматумы, посылали на его территорию карательные экспедиции, навязывали кабальные договоры. Индия добилась независимости в 1950 году, причем осталась членом Великобританского содружества. Китай стал Народной республикой за год до того. Американцы создали «второй Китай» на острове Тайвань.

Каждый китаец помнит былые обиды. Стоит вспомнить хотя бы «опиумные войны», когда англичане, возмущившись запретом ввоза опиума в Китай, силой оружия добились продления права отравлять китайцев; это было в эпоху чартизма, роста тред-юнионов, в эпоху Диккенса, Теккерея, Тернера. Об этом я думал в Китае, потом в Индии. У народов Азии есть свои счеы с обидчиками, есть счеы, которые нелегко погасить.

Вернусь к 1951 году. Немного осмотревшись, я понял, что форма жизни куда отличное от привычной мне, чем ее содержание. Неруда и я поехали на кладбище — положили цветы на могилу Лу Синя. Там мы встретили знакомую китаянку: открыли братскую могилу жертв чанкайшистов, и она думала, что найдет останки своего мужа. Она пробовала улыбаться, как того требовала вежливость, и не выдержала — расплакалась. Мне рассказали историю несчастной любви. Поэт Ай Цин говорил мне о том, как трудно быть поэтом, и его слова напомнили мне некоторые страницы моей биографии. Я встретил читателей моих романов. Все было проще и сложнее, чем это кажется туристу, который ищет экзотики.

Я любилась в Индии, там было много людей, разговаривая с которыми я забывал, что это дети «страны чудес».

Год спустя в Японии я увидел, что та архитектура, о которой я мечтал в начале двадцатых годов, принадлежит японскому быту.

Эта глава моей книги может показаться статьей, вставленной в автобиографию, но я рассказываю о том, что меня волновало и волнует. Моя жизнь прошла на рубеже двух эпох. Октябрьская революция, революция в естественных науках, пробуждение народов Азии и Африки открывают новую эру. Многие я понял в конце моей жизни. Теперь часто говорят о предстоящем освоении космоса, а я только к концу жизненного пути начал осваивать нашу планету.

В гимназии меня учили латыни, я знал ссоры удельных князей, проказы богов и богинь Древней Греции. Потом я хаотично прочитал много книг, бродил по музеям, понял величие Эллады, разгадал средневековое искусство, восхищался Возрождением. Но о странах Азии я в молодости судил по книгам европейцев да по некоторым произведениям древнего искусства. Книги, которые я брал, часто были случайными: Блаватская рассказывала о таинственной Индии, Киплинг

писал о джунглях и об отважных белых, автор истории буддизма (книгу мне дал Волошин) восхищался нирваной. Потом я увидел Хокусаи и Утамаро, мастеров XVIII века, но ничего не знал о портретах Сессю, который жил в XV веке. О современной Японии я судил по книге Пильняка, по модному в то время сатирическому роману посредственного французского автора да по безделкам, выставленным в витринах антикваров, — чайникам, веерам, ширмам. Я прочитал книгу Ромена Роллана о Ганди и его последователях, стихи Рабиндраната Тагора, две или три книги, в которых рассказывалось о зверствах англичан, о кастах, о голоде, о йогах. Когда в 1917 году я увидел «Сакунталу», которую играли в Камерном театре, я восхитился — я ничего не знал о Калидасе, и пьеса, написанная пятнадцать веков назад, показалась мне современной. В двадцатые годы журналы и газеты много писали о революционном Китае. Я знал про события в Кантоне, прочитал роман Мальро «Условия человеческого существования», французскую книгу о Конфуции. Я рассказываю о своем невежестве потому, что незнание Азии было общим грехом европейцев, и оно позволяло образованному индийцу или китайцу относиться к интеллигенции Запада с некоторым презрением.

Два мира сосуществовали отнюдь не мирно, между ними была стена.

Киплинг писал, что Восток и Запад никогда не встретятся. Он родился в Бомбее, молодость провел в Азии, был хорошим поэтом, но, видя Индию, он ее не видел: на его глазах была повязка — идея превосходства Запада над Востоком.

Афоризм Киплинга мне кажется не только неверным, но и опасным — он нашел отклики повсюду. Теперь иные начинают поговаривать о превосходстве Востока над Западом. А Восток и Запад встречались, встречаются, и, надеюсь, будут встречаться. Увидев японских художников XVIII века, я понял, чему у них научились мастера французского импрессионизма. Французские энциклопедисты изучали философов старого Китая. Английские филологи в середине XIX века многое почерпали из древнейшей индийской грамматики. Современный китайский театр произвел огромное впечатление в Париже и обогатил французских режиссеров.

У Востока и Запада общие истоки, и как бы ни были разнообразны рукава реки, которые то разъединяются, то сливаются, река течет дальше.

Идеи, основанные на единстве культуры, на солидарности людей и народов, могут стать универсальными, а расизм или национализм (безразлично, от кого он исходит), с его утверждением приоритета и превосходства, неизбежно порождает вражду, разобщает народы, принижает культуру и в итоге становится всеобщим бедствием. Об этом я часто думал в годы, когда писал эту книгу, думаю и теперь, слушая по радио поучения некоторых китайских догматиков. Вряд ли заря новой эры будет идиллической, но мне не верится, что люди, уверенные в превосходстве своей крови, своей религии или в абсолютной правоте своего толкования того или иного учения, осмелятся от словесного расщепления своих спорных истин и чужих, столь же спорных заблуждений перейти к оружию, способному уничтожить не только все заблуждения, но и все истины.

29

В 1949 году я кончил одну из моих статей строками: «Думая о судьбе века, я вспоминаю стихи турецкого поэта Назыма Хикмета, озаглавленные «XX век».

— Нет, не страшит меня мой век,
мой жалкий,

мой великий век,

нет,

я не дезертир.

Я не жалею, что пришел
так рано в этот мир,
и века моего

я не стыжусь

и не страшусь,

я — сын его,

и этим я горжусь!

Это написал коммунист после двенадцати лет тюрьмы, зная, что его приговорили к двадцати восьми годам заключения и что у него болезнь сердца... Когда читаешь эти строки, что-то подступает к горлу, хочется пожать далекую руку, сказать: «Никогда они не победят жизни, если есть у нас столько друзей, чистых, честных, смелых!..»

701

Назым Хикмет тогда еще сидел в турецкой тюрьме. Два года спустя я пожал его руку. В осенний вечер он позвал Любу и меня к себе. Жил он напротив «Правды», в квартире, которую ему отвели как гостю. Мы почти не знали друг друга, но Назым чуть ли не сразу заговорил о том, что его волновало. (Он слишком часто говорил то, что думал; некоторых это злило, но в конце концов обезоруживало. Один товарищ как-то сказал мне: «Но ведь это сказал Назым Хикмет, а с него взятки гладки...») В тот первый вечер, который мы провели вместе, Назым признался, что многого не понимает. Началось со статуэтки: «Вы знаете, я не могу глядеть на нее. Это уродство, настоящее мещанство! Но ничего не поделаешь — квартира казенная, я здесь гость...» Он рассказал, что ему предоставили машину: «Утром выхожу, шофер спрашивает: «Куда поедем, начальник?» Я отвечаю: «Какой я начальник? Я — поэт, коммунист, сидел в турецкой тюрьме...» Он говорит: «Ну не начальник — хозяин»... «Маяковский — гений», а я посмотрел стихи в журналах — при чем тут Маяковский?.. Меня повели в театр. Как будто не было ни Мейерхольда, ни Таирова, ни Вахтангова...»

Это старая трагедия — человек на десятилетия выпадает из жизни и, возвратившись, многого не может понять. Есть старинные французские песни о солдате или матросе, который, приехав после долгой войны, не узнает своей жены, а жена принимает его за чужого. Можно заморозить сердца, как ягоды клубники, это вопрос сроков... Назыма арестовали в 1937 году, но не в Москве, а в Турции. Он не знал о гибели Мейерхольда, которого обожал, не знал, что поют вместо «ни царь, ни бог и не герой» «нас вырастил Сталин», не знал, что картины, которыми он восхищался в музеях, спрятаны, он очень многого не знал.

В тюрьме он писал стихи о Сталине как о старшем товарище. Он говорил в 1951 году: «Я очень уважаю товарища Сталина, но я не могу читать, как его сравнивают с солнцем, это не только плохие стихи, это плохие чувства...» А в 1962 году Назым Хикмет написал:

Он был из камня, из бронзы, из гипса и бумаги,
от двух сантиметров до нескольких метров.
На всех площадях мы были под его сапогами,
под сапогами из камня, бронзы, гипса и бумаги...

Повсюду его встречали овациями — большой поэт, герой, просидевший тринадцать лет в тюрьме. Он говорил, отвечал на вопросы и восхищал молодежь своей прямоотой, искренностью. Порой наивность помогала ему быть мудрым. Впервые он приехал в Москву в 1921 году — ему тогда не было двадцати лет, а Советской республике четыре года. То была эпоха «памятника Третьему Интернационалу» Татлина, споров между футуристами и имажинистами, мейерхольдовского «Великодушного рогоносца», эпоха голода и уличных карнавалов. Назым прожил у нас восемь лет, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока, писал стихи и пьесы, уверовал, понял, закалился. Это был на редкость цельный человек. В своей поэтической автобиографии он говорил: «Одним знакомы виды трав, другим — виды рыб, а мне — виды разлуки. Одни знают наизусть имена звезд, а я — имена расставаний». (О том же когда-то говорил Осип Мандельштам: «Я изучил науку расставаний...») Жизнь Назыма была бурной и трудной, но если он знал все виды разлук, все имена расставаний, то никогда не изведал горечи разрыва: до конца жизни сохранил идеи, вкусы, привязанности юношеских лет.

Конечно, он повзрослел (слово «постарел» к нему не подходит), многое понял и за год до смерти писал: «Я разучился верить, я учусь понимать...» Но, учась понимать, он убеждался в правоте того, во что раньше верил. Еще при жизни Сталина мы как-то сидели вечером в пражской гостинице. Назым говорил: «Когда я спросил в Румынии, жив ли Мейерхольд, мне сказал один товарищ, что, кажется, умер, а другой, которого я спросил, сказал, что Мейерхольд живет на юге, кажется, в Крыму или возле Сочи, там климат лучше... Я никогда не отступлюсь от коммунизма — для меня это правда. Но зачем обманывать товарищей?»

В 1956-м, а может быть, в 1957-м Назым мне рассказал, что при «культе личности», незадолго до смерти Сталина, арестовали старого турецкого коммуниста, ветеринара, которому было под семьдесят, он умер в концлагере, а теперь посмертно реабилитирован. Назым говорил: «Я часто думаю о судьбе Н... Мне повезло — конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги, я знал, что я в аду. Куда хуже было другим»...

Назым гордился, что однажды выступал вместе с Маяковским: «Это было, конечно, в Политехническом. Я очень боялся,

а Маяковский мне сказал: «Ты, брат, не бойся, читай по-турецки, никто не поймет, и все будут аплодировать...» Он вспоминал выставки, театры и все удивлялся. «На улице Воровского,— рассказывал он,— я разговаривал с двумя молоденькими поэтами. Я им говорю, что Элюар — замечательный поэт, а они улыбаются. Я их спрашиваю, что они думают о стихах Пабло Неруды, по-моему, это очень большое явление. Опять улыбаются. Потом один говорит, что они против низкопоклонства. Я очень рассердился, говорю: «Элюар — коммунист, Неруда — коммунист». Это им безразлично. По-моему, они совсем не коммунисты».

Дед Назыма Хикмета был пашой, губернатором. Внук стал в молодости коммунистом и коммунистом умер. После XX съезда, когда некоторыми овладели недоумение, даже сомнения, он говорил: «По-моему, у всех сняли с сердца камень...» Вернувшись из поездки в Париж, он рассказывал: «Есть удивительные люди. Когда у людей язык отнимался, они верили, а когда сказали правду, заколебались. Коммунизм — это страсть, жизнь, но для таких людей он был минутным увлечением или привычной службой».

О том, что Назым был убежденным коммунистом и большим поэтом, известно всем, но люди, встречавшиеся с ним, знают также, что он был на редкость добрым, хорошим человеком. Однажды я ему рассказал, что Элюар, узнав об Орадуре, в первую минуту усомнился, действительно ли гитлеровцы собрали детей в школу и там их сожгли. Назым сказал: «Я его понимаю. У нас в Турции очень много диких людей, бывала страшная резня, кто-то рассказывал, что резали даже детей, и всегда мне казалось — может быть, выдумка, то есть преувеличивают...»

В Риме я разглядывал два тома его произведений: один иллюстрировал Гуттузо, другой — друг Назыма, турецкий художник Абидин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абидином, и Назым просиял: он не хотел говорить о своих стихах, хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах: Пабло Неруда, Арагон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Амаду — всех не перечтешь. Об Элюаре он однажды мне сказал: «Удивительно, когда я читаю некоторые его стихи, мне кажется, что именно об этом, именно так я хотел написать...»

Почему-то все считают, что учителем Назыма Хикмета был Маяковский, а сам Назым не раз говорил, что Маяковский для него пример смелости, человеческого подвига, но поэтически он пошел по другой дороге. Он распрощался с рифмами, говорил, что поэзия отличается от музыки, сродни ей, но вместе с тем жаждет, скорее, звуков, чем звучания. От стремления продлить народную песню он перешел к созданию своей формы, к простоте и прозрачности. Я слышал, как он читал поэтушки, я читал французские и русские переводы; конечно, этого мало, чтобы судить о поэте, и все же мне кажется, как казалось самому Назыму, что ближе всего ему был Элюар.

Его любовь к искусству двадцатых годов связана с его природой, с его эстетикой. В поэзии он освободился от всех литературных школ, а в пьесах есть что-то архаическое — приемы театра, который исчез. Он очень любил живопись, говорил, что она — труднейшее для восприятия искусство, что нелегко разгадать «сладость яблок Сезанна»: для этого необходима большая живописная культура. Бунтарь двадцатых годов в пятидесятые годы готов был яростно защищать любого советского художника, в котором чувствовал желание расстаться с академическим письмом.

Мы встретились в Риме; я пошел на вечер, где он читал свои стихи. В Риме он долго мне доказывал, что нельзя требовать от искусства доходчивости; иногда его стихи понятны каждому, иногда только людям, разбирающимся в поэзии, и он протестует, когда одних ставят выше других. «Нельзя доверять уход за всеми розами директору завода, изготовляющего розовое масло. Ведь каждый год выводят новые сорта, дело не только в масле, у розы цвет, запах. Некоторые люди — эстеты — хотят, чтобы розу поставили выше пшеницы или кукурузы, а для других розы — это крохотная цифра в большом бюджете...» Он вдруг остановился у окна цветочного магазина: «Посмотрите, пожалуйста, какие здесь розы!»...

Я знаю, как легко приходит к заключенному отчаяние. А Назым Хикмет просидел тринадцать лет в каменной клетке вдвоем с надеждой. В тюрьме он написал «Человеческую панораму» — эпопею турецкого народа. Дважды Назым объявлял голодовку, — связанный, продолжал бороться за человеческое достоинство.

Внешне он походил, скорее, на человека с севера, чем на турка, — очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он

чувствовал себя свободно — в Москве и в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции он тосковал. Он покрыл диван турецкой материей; повел меня в ресторан «Баку»: «Здесь еда немножко похожа на нашу»; встречаясь на сессии Всемирного Совета Мира с турком, он не мог от него оторваться. Раз он сказал мне: «Прислали мои стихи на исландском языке. Удивительно!.. А в Турции меня не печатают. Да и печатали бы, те, для кого я пишу, не смогли бы все равно прочитать — неграмотные...» В стихотворении «Завещание» он писал:

Если я умру на чужбине, товарищи,
похороните меня на деревенском кладбище Анатолии
рядом с батраком Османом, которого убил Хасан-бей..
Хорошо, если вырастет чинара,
а без камня и надписи я обойдусь...

В 1952 году мы все с тревогой спрашивали: «Как Назым?..» Он сам потом писал: «С разорванным сердцем четыре месяца, лежа на спине, я ждал смерти». У него был сильный инфаркт. Его спасли, но с тех пор он жил в постоянном соседстве со смертью. Он весело разговаривал у меня на даче — он был прекрасным рассказчиком, — и вдруг его лицо покрылось крупной росой пота. В стихах он часто возвращался к мыслям о смерти:

Под дождем по московскому асфальту
идет весна,
на своих тонких зеленых ногах,
стиснутая шинами, моторами, кожей, тканями
и камнями.

Сегодня утром
моя кардиограмма была плохая.
Та, которую ждут, придет неожиданно,
придет одна,
не принеся с собой то, что ушло.
Концерт Чайковского играют под дождем.
Ты будешь подниматься без меня
по лестнице...

С одной стороны — строчи стихи
один другого светлее,
с другой — беседуй со смертью,
что рядом с тобой стоит.

Когда праздновали его шестидесятилетие, был вечер для писателей в Доме литераторов и другой для читателей — в Политехническом; на последнем я председательствовал. Зал был переполнен, стояли, сидели на полу в проходах, и все глаза светились любовью к Назыму. Я тихо спросил его: «Устали?» Он виновато ответил: «Немножко... Но я очень счастливый...»

Он страстно любил жизнь, детей, стихи, птиц. Незадолго до смерти он писал:

Дадим шар земной детям, дадим хоть на день,
дадим, как раскрашенный шарик, пусть с ним играют.

Он продолжал радоваться, любить, полетел в далекую Танганьiku и оттуда писал письма в стихах — о Черной Африке, о звездах, о борьбе, о своей любви.

В 1962 году он писал стихи своей любимой:

Я снял с себя идею смерти,
надел на себя
июньские листья бульваров...

Он умер ровно через год, в раннее утро раннего лета. Проснулся, пошел в переднюю за газетой и не вернулся — сел и умер.

Он лежал в гробу добрый и прекрасный. Старушка, всхлипывая, говорила девочке: «От разрыва сердца» — так в моей молодости называли инфаркт. А мы стояли у гроба, и кажется, у всех готово было разорваться сердце от короткой ужасающей мысли: нет больше Назыма!

30

Тысяча девятьсот пятьдесят второй год для меня начался с похорон. В последний день старого года умер М. М. Литвинов.

Максима Максимовича я встречал в разные годы и при различных обстоятельствах, бывал у него в Москве, когда он был наркомом и жил во флигеле парадного дома на Спиридоновке, встречал его в Париже, ужинал с ним в Женеве, где он выступал на заседании Лиги наций, видел его в опале, провел у него вечер накануне его отъезда в Вашингтон, несколько раз

разговаривал с ним в послевоенные годы. Я не могу сказать, что я его хорошо знал,— он был человеком скорее молчаливым. Он сидел, слушал, порой усмехался — то с легкой иронией, то благодушно, изредка подавал реплику, но ничего в нем не было от угрюмого молчальника, он любил посмеяться. Есть унылые оптимисты, а Литвинов был человеком веселым, но зачастую, особенно к концу своей жизни, с весьма мрачными мыслями.

Некоторые слова Максима Максимовича я запомнил, некоторые черты его разглядел и о них коротко расскажу. Он был крупным человеком, об этом можно судить хотя бы по тому, что во времена Сталина, когда любая инициатива вызывала подозрения, существовало понятие «дипломатов литвиновской школы».

Почти всех дипломатов этой «школы» я знал — одних лучше, других хуже. Они работали в трудное время, когда западные державы еще рассчитывали уничтожить молодую Советскую республику: угрозы, полицейские налеты на посольства, фальшивки были бытом. Я видел, как наши дипломаты убеждали, когда это было нужно, умело ссорили врагов или мирили колебавшихся сторонников мира, привлекали на нашу сторону дельцов и ученых, крупных промышленников и авторитетных писателей. Эта работа оставалась для рядовых советских людей неизвестной, а дипломаты отнюдь не были баловнями судьбы. Некоторые умерли до начала произвола: Красин, Довгалевский, Кобецкий, Дивильковский. Другим повезло — Коллонтай, Суриц, Штейн умерли в своих кроватях. Воровского и Войкова убили антисоветские террористы. Майский, Рубинин, Гнедин, претерпев мытарства, вернулись из тюрьмы или лагеря живыми. А многие погибли. Антонов-Овсеенко, Крестинский, Розенберг, Гайкис, Марченко, Арнс, Гиршфельд, Аросев, Членов стали жертвами клеветы и беззакония (я назвал только некоторых).

Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Н. И. Вавилова и пощадил П. Л. Капицу? Почему, убив почти всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивого Максима Максимовича? Все это остается для меня загадочным. Да и сам Литвинов ждал другой развязки. Начиная с

1937 года и до своей последней болезни он клал на ночной столик револьвер — если позвонят ночью, не станет дожидаться последующего...

У Максима Максимовича была вполне миролюбивая внешность: толстый, добродушный, хороший семьянин. Да и досуги его были заполнены невинными развлечениями — за границей, когда выпадали два-три свободных часа, шел в кино, глядел мелодраматические фильмы, «страсти-мордасти». Он любил хорошо покушать, и приятно было на него глядеть, когда он ел — так восхищенно он макал молодой лучок в сметану, с таким вкусом жевал. Любил разглядывать большой атлас, — наверно, колесил по далеким незнакомым странам. Он любил жить. Однако этот добродушный человек умел полемизировать, и западные дипломаты поглядывали на него с опаской. Некоторые из его выступлений в Лиге наций облетели мир. Жолио мне рассказывал, что выступление Литвинова, сказавшего, что нельзя договариваться с бандитами о том, в каком квартале города они могут безнаказанно разбойничать, помогло ему понять не только безравенственность, но глупость западной политики — за несколько лет до Мюнхена. А слова Литвинова о «неделимости мира» я слышал и после смерти Максима Максимовича на различных конгрессах и конференциях.

Литвинов с благоговением говорил о Ленине: «Такого не было и не будет». Ленин послал Максима Максимовича в Стокгольм в очень трудное время — в 1919 году, в разгар интервенции, говорил ему, что нужно попытаться найти на Западе разумных людей, учесть разногласия в лагере победителей, возмущение побежденных, рабочее движение, аппетиты возможных концессионеров, авторитет ученых, писателей. Литвинов хорошо знал Запад, он прожил много лет в эмиграции, женился на англичанке. Он говорил о Ленине: «Это был человек, который понимал не только претензии русского крестьянина, но и психологию Ллойд-Джорджа или Вильсона...»

Литвинов был на три года старше Сталина. Максим Максимович о Сталине отзывался сдержанно, ценил его ум и только один раз, говоря о внешней политике, вздохнул: «Не знает Запада... Будь нашими противниками несколько шахов или шейхов, он бы их перехитрил...»

Характер у Литвинова был далеко не мягкий. Я. З. Суриц рассказал мне о сцене, свидетелем которой был. В 1936 году Сурица вызвали в Москву. На совещании Литвинов изложил

свою точку зрения, Сталин с ним согласился, подошел и, положив руку на плечо Литвинова, сказал: «Видите, мы можем прийти к соглашению». Максим Максимович снял руку Сталина со своего плеча: «Ненадолго...»

В старой записной книжке я нашел слова Литвинова: «Тит славился жестокостью. Захватив власть, он казался римлянам великодушным, подхалимы его называли «преlestью рода человеческого». В тот самый год Везувий уничтожил Помпею и Геркуланум. Вполне возможно, что вулкан выполнял директивы нового императора: в Помпее было много влиятельных людей, а Геркуланум славился философами и художниками». Прочитав запись, я вспомнил, как, выйдя из дома, где тогда помещался Литературный музей, я увидел Литвинова и пошел проводить его. День был весенний. Максим Максимович говорил о том, что Трумэн умом не отличается, вспоминал Рузвельта. Я спросил, кого он считает самым крупным политиком, он ответил: «Конечно, Сталина». Потом он почему-то заговорил об истории Древнего Рима, написанной английским автором, и, посмеиваясь, сказал об императоре Тите. Вечером я записал его слова.

На заседании, когда Литвинова поносили и вывели из ЦК, он возмущенно спросил Сталина: «Что же, вы считаете меня врагом народа?» Выходя из зала, Сталин вынул трубку изо рта и ответил: «Не считаем».

Литвинова не арестовали, но Сталин отстранил его от работы, хотел уничтожить измором. Однако в то время это не удалось. После нападения Гитлера на Советский Союз Сталин вызвал Литвинова, дружески протянул руку и предложил поехать в Вашингтон. Еще в 1933 году Максим Максимович встретился с новым президентом Соединенных Штатов Рузвельтом, опять наладил дипломатические отношения. Когда я был в Америке, политические друзья Рузвельта мне рассказывали, что президент уважал Литвинова, часто приглашал его, чтобы посоветоваться по тому или иному вопросу.

В 1943 году, после Сталинградской победы, Литвинова отозвали в Москву. Он продолжал числиться заместителем министра иностранных дел, но вел незначительную работу. В 1947 году он стал пенсионером — не по своему желанию. Сталин, однако, распорядился, чтобы ему оставили квартиру и другие жизненные блага. Максиму Максимовичу пошел тогда восьмой десяток; он мог бы разглядывать атлас и вспоминать

прошлое, но всю свою жизнь он проработал и не знал, как жить без дела, а жить он хотел и понимал, что, если он будет обречен на безделье, мотор заглохнет. Он написал Сталину, благодарил за внимание и просил дать ему работу. Жданов вызвал Максима Максимовича: «Вы писали товарищу Сталину. Мы хотим поставить вас во главе Комитета по делам искусств». Максим Максимович возмутился: «Я ничего в этом не понимаю. Да я и не думаю, что искусство можно декретировать...» Жданов рассердился: «Какую же работу вы имели в виду?» — «Чисто хозяйственную». Никакой работы ему не дали. Он начал составлять словарь синонимов, каждое утро ходил в Ленинскую библиотеку и все же томился от безделья. В кремлевской столовой почти каждый день он встречал Сурица, они отводили душу.

За несколько дней до смерти он лежал днем с закрытыми глазами; жена тихо спросила его: дремлет он или задумался? Он ответил: «Я вижу карту мира», — то, что называется «дипломатией», было для него творчеством, он мечтал, как предотвратить войну, сблизить народы и континенты, карта для него была тем, чем служат художнику тюбики с красками. Пенсионер поневоле умирал, как художник, полный творческих замыслов, без палитры, без кисти и без света.

В одной из комнат Министерства иностранных дел была гражданская панихида. Кто-то по бумажке прочитал речь. На Максиме Максимовиче был не парадный мундир, а обыкновенный костюм. Лицо его казалось непроницаемо спокойным, даже благодушным. Ко мне подошла дочь Сурица, Лиля: «Папа сегодня скончался...»

Якова Захаровича два дня спустя привезли в тот же зал. Было несколько сотрудников министерства; кто-то прочитал речь. На Немецком кладбище были снова мундиры мидовцев, снова речь по бумажке и венки из бумажных цветов.

С Сурицем я познакомился в Берлине в 1922 году на выставке советского искусства. Суриц внимательно глядел, иногда сердился, иногда любовался. Он приглашал меня приехать к нему в Осло, говорил, что там есть хорошие художники. Искусство он обожал, собирал картины, рисунки; у него были самые различные вещи — Роден и Левитан, Матисс и Коровин, Марке и Бенуа. Он их охотно показывал, кричал на меня, что я не понимаю значения «Мира искусства», недооцениваю Левитана, не хочу признать Грабаря.

Я мало знаю о прошлом Сурица. Однажды, рассказывая о гитлеровцах, он сказал: «Подумать, что я учился в Гейдельбергском университете! Да если бы мне тогда сказали, я не поверил бы... Мы часто говорим абстрактно. А может быть, слова меняют значение. «Одичание». Ну, что это для меня означало в те годы? Политический просчет. Или успех «Санина», оргии, «кошкодавы». А в Берлине я видел, как студенты тащили за бороду старика, он был в крови, а они пели...»

Он был, кажется, первым советским послом: Ленин отправил его в Кабул в 1919 году, когда новый эмир Амануллахан прислал своих представителей в Москву с письмом к Ленину. Это было до рождения советской дипломатии, и Яков Захарович рылся в архивах, чтобы составить проект верительной грамоты. Владимир Ильич сказал, что нужно написать иначе, сам составил текст с упоминанием о признании полной независимости и суверенитета Афганистана. В Кабуле Суриц пробыл недолго, его назначили послом в Норвегию, а в Афганистан прибыл Раскольников.

История судит дипломатов, как полководцев, — по выигрышам или проигрышам. А у каждого даже самого одаренного дипломата бывают свои Аустерлицы и свои Ватерлоо — многое зависит от ситуации. Когда Сурица послали в Анкару, новая Турция с надеждой глядела на Москву. Яков Захарович понимал свое дело. Обыватели думают, что искусные дипломаты умеют молчать, а нужно уметь и говорить, из хорошего сделать лучшее, если не предотвратить, то хотя бы затормозить и смягчить, плохое. Суриц завоевал доверие Кемалея, укрепил дружбу между двумя государствами. О Кемале Яков Захарович говорил с восхищением: «Большой ум! По сравнению с ним Даладьё — невежественный провинциальный политик...»

Что мог делать Суриц в гитлеровском Берлине? Да только наблюдать и сообщать в Москву. Американский посол Додд, друг Рузвельта, в своем дневнике не раз отмечал дружеские беседы с Сурицем, а дочь Додда, Марта, говорила мне, что Яков Захарович был единственным дипломатом в Берлине, которому ее отец доверял.

Летом 1937 года, приехав из Испании в Париж, я в посольстве увидел Сурица. Он расспрашивал, есть ли надежда на перелом после Уэски; сказал: «Здесь все разворачивается отвратительно»... Потом он признался, что после Берлина наслаждается «воздухом Парижа». В свободное время он ходил

на выставки, рылся в лавках букинистов, завел знакомства с художниками.

(Его всегда тянуло к людям искусства. В Москве я встречал у него А. Н. Толстого, И. Э. Грабаря, А. Я. Таирова, А. Г. Коонен, В. Г. Дулову, многих других.)

Обстановка во Франции была неблагоприятной: Блюма сменил Шотан, мелкий политический комбинатор, которому казалось высотами искусства раздобыть в парламентском буфете несколько голосов для правительственного большинства. Народный фронт трещал. Буржуа, перепуганные забастовками, начали поглядывать на Гитлера с уважением, а то и с надеждой. Франция катилась к разгрому. Суриц пытался отсрочить развязку, он беседовал с Эррио, встречался с французским националистом, ненавидевшим третий рейх, Кериллисом, с журналистом Бюрэ, но у событий своя логика. Началась война, и малодушные правители Франции, не решавшиеся открыть огонь по противнику, потребовали отъезда Сурица из Парижа.

Я рассказал в предшествовавшей части книги, как в Куйбышев в номере «Гранд-отеля» Суриц хотел, чтобы я восхищался рисунком Родена. Он приютил меня на ночь и перед тем, как показать рисунок, три часа, задыхаясь от волнения, говорил о наших неудачах: «Конечно, пакт с Германией был необходимостью. Виноваты французы, англичане и, конечно, Бек. Но как Сталин использовал два года? Ужасно это выговорить — он верил в подпись Риббентропа. Он подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил!..» Сурицу казалось, что он говорит шепотом, но он кричал и успокоился, только когда вытащил из чемодана рисунок.

После войны его хотели послать в Японию; запротестовали врачи — не выдержит климата. Тогда нашли страну с климатом не более благоприятным, — Бразилию. Он пробыл там недолго — под давлением Вашингтона Бразилия порвала отношения с Советским Союзом.

Суриц вернулся в Москву. Он смотрел на холсты, читал, думал. Однажды он сказал мне строго: «Вы моложе меня на десять лет, но не мешает и вам о многом задуматься...»

У него были тонкие черты лица, борода клином, большие усы, которые он, волнуясь, пожевывал, косматые брови. В последние годы он страдал гипертонией и порой выходил из себя — говорил то, что думал. Приходил он неожиданно, рассеянно пил чай, молчал, а потом прорывалось — он мог говорить

два часа подряд, не останавливаясь, что-то в нем клокотало. Начиналось почти всегда со слов: «Вчера мы с Максимом Максимовичем говорили...» Следовал негодующий монолог. Иногда Яков Захарович объяснял поступки Сталина «патологическим раздвоением личности». Старый революционер, интeрeнционалист, типичный интеллигент, он не мог принять ни толкования «низкопоклонства» и «космополитизма», ни многих других событий конца сороковых годов. Я не пересказываю его историй о Сталине — они могут показаться разоблачениями, внешне расширить, а по существу сузить характер этой книги. Суриц многое объяснял характером Сталина, расхождением в нем самом теории и практики; может быть, он был прав; но сейчас мне хочется передать терзания старого, больного, душевно чистого человека, проработавшего всю свою жизнь для торжества идеи, в которую продолжал верить, и видящего то, чего он не мог принять. Раз он тихо выговорил: «Беда даже не в том, что он не знает, как живет народ, он не хочет этого знать — народ для него понятие, и только...»

Он уходил, а месяц или два спустя приходил — не мог дольше молчать — и начинал: «Вечером мы с Максимом Максимовичем вспомнили Лозовского...»

Было только одно средство успокоить Якова Захаровича — повести его в комнату, где висели рисунки Матисса, пейзажи Фалька, холсты Шагала. Лицо его менялось, он чуть заметно улыбался. Я больше с ним не спорил — не потому, что боялся взволновать его, нет, он меня обезоруживал своей любовью к искусству. Однажды, глядя на рисунок Матисса, он тихо сказал: «Жизнь — это тоже линия...» Когда Якова Захаровича хоронили, я вспомнил эти слова. До чего человеческая линия!.. Рисунки остаются, внуки их легко расшифруют, может быть, заглянут и в старые книги. А кто в огромном клубке истории разыщет тонкую оборвавшуюся нить, дела и страсти исчезнувшего со сцены актера?

В конце февраля 1952 года праздновали юбилей Гюго. В Москву пригласили Поля Элюара и внука Виктора Гюго, художника Жана Юго. (Придется объяснить читателям, почему великий поэт не оставил детям в наследство буквы «г», — это

относится к русской транскрипции. В прошлом столетии французские имена, начинавшиеся с немой согласной «h», снабжались «г» — Гюго, скульптор Гудон, город — Гавр; потом стали писать правильнее — поэт Эредиа, композитор Оннегер, Эррио.)

Жан Юго — прелестный художник. Он иллюстрировал книгу Элюара «Париж еще дышал» прозрачными пейзажами города, мастерскими и в то же время простодушными. Юго привез в подарок нашим библиотекам редкие издания своего деда и, выступая на различных собраниях, говорил, что счастливи провести знаменательные дни в столице Советского Союза.

Хотя приглашения были посланы поздно, Жан Юго прибыл вовремя и присутствовал на научной сессии Института мировой литературы, с которой начались празднества. А Элюара не было. Я пошел на заседание, выслушал доклады и, вернувшись домой, увидел Элюара. Люба рассказала, что позвонили с аэродрома: «Прилетел француз, фамилия Элюар. Никто его не встретил. По-русски он не говорит, но называет фамилию товарища Эренбурга...» Люба попросила посадить его в такси, шофер должен довести его до квартиры. Элюар пришел за десять минут до меня. Он рассказал, что его хотели отправить во французское посольство, тут он запротестовал, из всех его слов поняли только «Эренбург». Жена приедет через два дня — когда пришло приглашение, ее не было в Париже. Я сердился: почему никто не сообщил о его приезде? Он смеялся: «А зачем сообщать? Я и так добрался...»

Элюар был очень скромным. Один из участников Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что однажды к нему пришел высокий человек, сказал пароль и дал пакет с листовками. День был холодный, он предложил пришедшему посидеть возле печурки. «Вдруг я понял, что видел это лицо в довоенном журнале. Я робко спросил: «Вы поэт?» — «Да». Это был Элюар. Я не мог удержаться: «Вы не должны зря рисковать... Мог бы принести другой». Он удивился: «Почему «другой»? Все мы рискуем. А товарищи устали, набегались за день...» Ив Фарж ездил с Элюаром в партизанский район Греции летом 1949 года — за несколько месяцев до конца Сопротивления. Шли жестокие бои: люди уже защищали не гору Граммос, а человеческое достоинство. Фарж мне рассказывал, что иногда приходилось часами идти в гору. Ни разу Элюар не пожаловался, не попросил передохнуть, а когда Фарж ему говорил: «Посидим часок», — он возражал: «Пойдем с бойцами — зачем

их задерживать?..» Однажды он выхватил у двух девушек тяжелый мешок, потащил его, не хотел отдавать. Я записал слова Фаржа: «Он, кажется, никогда не думал о том, что он большой поэт. Может быть, потому другие не могли об этом забыть».

Он выступил в Колонном зале, потом в клубе автомобильного завода. Мне он признался: «Самое трудное выйти на сцену, когда все на тебя смотрят...» Не успел кончиться юбилей Гюго, как начался юбилей Гоголя. Элюар выступил в Большом театре, еще где-то. Потом чествовали Федина, и Элюар его приветствовал. Потом он рассказывал в Доме литераторов о современной французской поэзии. Потом его пригласили студенты. Потом была пресс-конференция. Доминика говорила мне: «Поль очень волнуется, когда выступает...» Я просил уменьшить программу, но такие уж нравы: если юбилей — двадцать пять речей, если банкет — пятьдесят тостов, страна большая, людей много...

В одно утро Элюар пришел ко мне расстроенный, сказал, что с Жаном Юго приключилась неприятность: он стоял на Софийской набережной, неподалеку от дома английского посольства, и писал акварелью пейзаж Кремля. Подошел милиционер и отобрал альбом. «Жан никогда не занимался политикой, но к вам он чувствует симпатию. Он — председатель Французского юбилейного комитета, и вот уехал со мной в Москву. Досадно!.. Может быть, ему вернут альбом?..»

Я позвонил Григорьяну, он мне ответил, что француз рисовал не только Кремль, но и здание Министерства обороны: «Это совершенно недопустимо...» Часа два или три спустя мне принесли из гостиницы книгу Элюара с иллюстрациями Юго, художник на первой странице акварелью нарисовал Кремль, я увидел «недопустимую» верхушку здания Министерства обороны. Юго писал, что уезжает, посылает Любе и мне эту книжку на память о наших встречах. Акварель напоминала другие работы Юго — нежные и наивные: стены, купола, снег. Да из окна английского посольства можно все это сфотографировать, и, конечно, куда точнее! Я рассердился, снова позвонил Григорьяну, сказал все, что думал. Вечером Григорьян сообщил мне, что альбом решили вернуть Юго: «А к вам просьба — постарайтесь его успокоить». Скрепя сердце я пошел к Юго, долго мялся и наконец начал: «Произошло недоразумение...» Юго увел меня в ванную и там сказал: «Можете быть

уверены, что во Франции я не скажу об этом ни слова...» В Париже в интервью он говорил, что очень доволен своей поездкой, его чудесно принимали и он увидел, как в Советском Союзе любят Гюго. Осенью 1954 года он написал мне, что работает над иллюстрациями к «Оттепели», которую публикует французский журнал «В защиту мира». Рисунки были лирическими: лесок, прогалины, влюбленные... Гюго скорее почувствовал, чем понял, что многое в наших нравах изменилось.

Вернусь к Элюару. Мне хочется передать образ большого поэта, которого я встретил впервые сорок лет назад, но узнал и полюбил много позднее. Смутно помню молодого сюрреалиста, высокого, худого, с привлекательным лицом, с удивительно красивым голосом. Он ругал одного писателя, в те времена весьма почитаемого: «Это не человек, это хорек, который уверяет кур, что он их спасет от куриных хлопот...» Когда он негодовал, он густо краснел. В те годы я его плохо знал, и только недавно, прочитав его юношеские письма, понял, что у нас было много общих увлечений и сомнений, хотя он был на пять лет моложе меня. В ранней молодости он болел легкими, его послали в Швейцарию в санаторий. Там он познакомился с русской девушкой Галей и влюбился в нее. Началась война. Галя уехала в Москву. Поль служил в полевом госпитале, был отравлен газами. Он слал письма Гале, и в 1916 году она приехала в Париж, вскоре они поженились. С помощью Гали он перевел «Балаганчик» Блока. В одном из писем с фронта он просил мать послать его первую книжку стихов знакомой Гали — «известной русской поэтессе Марине Цветаевой».

Тысяча девятьсот тридцатый год мы с Любой встречали в Берлине у художника Георга Гросса. Среди приглашенных был Элюар. В то время в среде сюрреалистов шли горячие споры — прав или не прав Арагон. Элюар оставался с непримиримыми, но по природе он был мягким, шутил, смеялся, хотя в те годы ему было очень трудно.

Четыре года спустя я написал статью о журнале «Сюрреализм на службе революции». Статья была поверхностной, хлесткой. Меня разозлило, что сюрреалисты устраивают дискуссии о поле, характере и возможном поведении стеклянного шарика или лоскута бархата. А фашисты за Рейном жгут книги, убивают людей. Когда Элюар пришел на Антифашистский

конгресс писателей, чтобы прочитать речь, написанную Бретоном, он со мной не поздоровался.

Летом 1937 года у книжного магазина на бульваре Сен-Жермен я разглядывал новинки. Кто-то стоял рядом, я поглядел — Элюар. Мы оба смутились. Он первый сказал: «Здравствуйте!.. А Пикассо говорил мне, что вы в Испании...» Я ответил, что неделю назад был на Арагонском фронте. Он спросил, как там теперь. Я рассказывал, должно быть, нехотя, потому что он вдруг остановился: «Мне нужно в другую сторону...» Вспоминая эту неудавшуюся встречу, я думаю, как часто бывал глухим и слепым.

В годы войны я прочитал во французском журнале, выходявшем в Лондоне, несколько стихотворений, которые меня потрясли человечностью и красотой. Подпись — Жан дю О — явно была псевдонимом. Мелькнула мысль: может быть, Элюар?.. Вскоре после этого один из летчиков «Нормандии» прочитал мне те же стихи и еще другие: «Это Поля Элюара...»

Мы встретились летом 1946 года в Париже и обнялись друг друга. Я знал по рассказам общих друзей, что в начале тридцатых годов в личной жизни Элюара произошли перемены: он женился на Нуш. Пикассо показывал мне ее портрет, она казалась красивой. Стихи Элюара стали менее мрачными. И вот я увидел Нуш, она оказалась не только красивой, но обаятельной, нежной, хрупкой и в то же время смелой. Мы просидели в темном кафе вечер. Поль и Нуш рассказывали о годах оккупации. Мы смеялись, шутили. Бог ты мой, каким светлым казалось нам тогда будущее!..

Приехала из Москвы Люба. Элюар нас позвал к себе. Мы добрый час разыскивали дом, где он жил. Он записал адрес в мою книжицу, а такого номера не оказалось. Мы ходили взад и вперед по длинной улице де ля Шапелль. Если мы нашли наконец дом, мрачный, темный, то только потому, что один из прохожих, которых мы спрашивали, догадался: «Наверно, у вас старый адрес — часть улицы переименовали, поищите на улице Макс-Дормуа». Я ругал Элюара: почему он записал не ту улицу? Нуш смеялась: «Поль против нового названия. Он говорит, что мы жили и живем на улице де ля Шапелль. Вы понимаете — это ведь целый мир. Даже говорят так: «Человек — с улицы де ля Шапелль...»

Мы встретились с Элюаром два года спустя во Вроцлаве, по ночам разговаривали. Потом мы бродили по развалинам

Варшавы. Иногда с нами был Пикассо, иногда мы беседовали вдвоем. Он изменился — сказалося пережитое: в конце 1946 года, когда он уехал на несколько дней в Швейцарию, скоропостижно скончалась Нуш. Друзья рассказывали мне, как тяжело он пережил потерю; а мне он сказал в одну из вrocławских ночей: «Я стоял одной ногой в могиле...»

Потом был Парижский конгресс и снова длинные беседы. В Москве в феврале—марте 1952 года я видел его в последний раз. Если сложить все часы, проведенные с ним, получится мало, очень мало, но, видимо, у сердца свой хронометр; я потерял не только большого поэта — близкого друга, простого и необычайного, мягкого и мужественного, поэта любви, считавшегося малопонятным и ставшего своим для миллионов читателей.

Неужели никогда не перестанут взрослые, серьезные люди противопоставлять один период творчества поэта другому, рубить человека на куски, превращать его жизнь с поисками, потерями, надеждами, с ее неперемной трагедией в шутовской экзамен, где экзаменатор бубнит: «Это было ошибкой... Теперь правильно... Опять неверно... Хорошо, что поняли... Пожалуй, дадим вам диплом...» Что за напасть и что за ограниченность! В 1925 году Элюару было тридцать лет, а в 1945-м пятьдесят. Дело не только в том, что поседели виски, руки начали дрожать, но разве человек, перед которым в тумане раскрывается даль, может понять, почувствовать то, что станет для него в конце жизненного пути не азбучными истинами, а своим опытом, слезами, потом, потерями? Да одни ли поэты меняются? Разве не меняется сама жизнь? Долгие годы сюрреализма для Элюара были не ошибкой, которую ему следует простить за последующее, они были годами его жизни, его поэзии, и, наверно, без них он не стал бы автором последних книг.

Юношей на фронте он начал стихотворение словами:

Меня покинула лазурь, и я развел огонь...

О том же он писал и в годы Сопротивления, и перед смертью: о ночи и огне. Он всегда писал о любви. Перед молодым фронтовиком была Галя, перед зрелым поэтом — Нуш, в последние годы — Доминика; но стихи Элюара не летопись сердечных событий, не прославление петрарковской Лауры или другой женщины — это стихи о любви, и любой любящий

может их принять за выражение своих чувств. Поэтический гений — это не только исключительная сила слов, это исключительная глубина, острота чувствований, она позволяет «самовыражению» стать выражением современников, а порой и правителей.

Однажды во Вроцлаве Элюар рассказал мне историю стихотворения «Свобода». Это стихотворение состоит из ряда четверостиший, каждое кончается словами «я пишу твоё имя»:

На моих разбитых укрытиях,
На моих рухнувших маяках,
На стене моего уныния
Я пишу твоё имя...

Элюар сказал, что писал эти стихи о Нуш, и кончал стихотворение словами:

Я родился для того, чтобы тебя узнать,
Чтобы назвать тебя по имени.

У него было поразительное свойство: этот якобы замкнутый, даже «герметический» поэт не только понимал всех, он чувствовал за всех. «Вдруг я понял, — рассказывал он, — что я должен кончить именем, и после слов «назвать тебя по имени» дописал «Свобода». Это было в 1942 году, тогда у всех была одна возлюбленная.

Поэзия Элюара неизменно считалась трудной, о нем говорили как о «поэте для немногих». Но стихи Элюара летчики сбрасывали на города оккупированной Франции — стихи оказались убедительнее листовок, хотя Элюар ни в чем не поступился, ни к чему не приспособился — стихи военных лет так же «трудны», как написанные раньше или позднее. Еще раз было доказано, что понятие «доходчивости» условно, часто стихи подлинного поэта куда понятнее миллионам читателей, чем трезвые наставления литературного критика.

Сложность поэзии Элюара в ее сжатости, трудность в простоте. Его стихи почти непереводимы — они слишком зависят от облика слова, его звучания, связанных с ним ассоциаций. (Незвал, Альберти, Тувим, Назым Хикмет, Неруда читали его стихи в подлиннике, их любовь к человеку была связана с осязаемостью, реальностью его поэзии.) Трудно объяснить, в чем сила стихов Элюара, — внешние приметы поэзии отсутствуют: нет ни рифмы, ни размера, ни редкостных эпитетов,

ни пышности образа. В стихотворении «Габриэль Пери» он говорил:

Есть слова, которые помогают жить,
И это простые слова:
Слово «тепло» и слово «доверие»,
Слова «любовь», «справедливость» и слово «свобода»,
Слово «ребенок» и слово «доброта»,
И некоторые названия фруктов и цветов,
Слово «мужество» и слово «открытие»,
Слово «брат» и слово «товарищ»,
И некоторые названия стран и деревень,
И некоторые имена друзей и женщин...

Стихи его кажутся зыбкими, невесомыми, как тень листвы или утренняя роса, и, однако, они остаются в памяти, стоят вдоль дороги жизни, как старые чинары или как каменные статуи.

Элюар очень любил живопись. Его книги, кроме Пикассо, иллюстрировали многие художники, непохожие один на другого — Макс Эрнст и Валентина Юго, Леже и Сальвадор Дали, Шагал и Кирико. Многие из художников, которые ему нравились, мне далеки, но я понимаю, что он видел в их работах: чертежи поэм, зримый мир своих сновидений. В стихах, однако, он не пытался словами вылепить форму или передать цвет — верил в магию слов и от нее не уклонялся ни к пластике, ни к красноречию.

Больше всего, больше всех Элюар любил Пикассо. Их дружба длилась четверть века, и ничто не могло ее подорвать или хотя бы остудить. Под «Герникой» Пикассо — стихи Элюара. Поль собрал свои стихи о великом художнике и назвал книгу «Пабло Пикассо». Внешне они казались людьми двух полюсов — чертом и младенцем, но это относится к характеристике экзаменаторов или классификаторов, которым чужда стихия искусства. Черт может быть добрым, даже простодушным, а младенец побывал в аду и многое узнал. Наперекор видимости, наперекор законам возраста и ремесла, они были близкими феноменами, и когда Пикассо вспоминает: «Это Поль мне сказал», — его лицо становится таким нежным, что сжимается сердце.

Он был настолько хорошим и скромным человеком, что, кажется, личных врагов у него не было. В 1942 году он вошел

во Французскую коммунистическую партию, остался верен ей до конца. Умер он еще в эпоху предельного ожесточения, и вот что поразительно — сила его поэзии, ее человечность, великодушные обезоруживали политических противников. Правда, правительство пыталось запретить похоронное шествие, но это было механическим актом «холодной войны», поступком не живых людей, а электронной машины. Со дня смерти Элюара прошло много времени, а его влияние продолжает расти, о нем уже никто не спорит — его поэзия переросла и биографию и события.

Я все-таки не сказал, что всего удивительнее в его поэзии. Доброта. Можно быть большим поэтом, уметь страдать и уметь рассказывать о муках или о радости — глубоко, точно, но без доброты. Это уж не столь частое свойство и вообще людей, и в частности поэтов. Элюар не мог быть счастливым рядом с чужим несчастьем, и происходило это не от размышлений, а от природы человека. Когда он говорил о своем личном счастье, он говорил о счастье всех:

Мы идем вдвоем, взявшись за руки.
Нам кажется, что мы повсюду дома —
Под ласковым деревом, под черным небом,
Под всеми крышами, у всех каминов,
На пустой улице, на ярком солнце,
В смутных взглядах толпы,
Среди мудрых и безумных,
Среди детей и среди взрослых.
В любви нет ничего таинственного,
Мы здесь, все нас видят,
И влюбленным кажется,
Что они у нас в гостях.

Это написано незадолго до смерти. Он шел с Доминикой, может быть, по холмам Дордони или в Москве по Пушкинской площади. Он хотел всех одарить. Он боролся, рисковал не раз жизнью — не оттого, что решил так поступать, а потому, что не мог иначе.

В один из последних московских вечеров Поль сидел у нас. Его руки дрожали больше обычного, но он шутил, потом замолк. Люба говорила с Доминикой. Вдруг он сказал мне: «Я вспоминаю молодого рабочего. Помните — он прорвался после

вечера в комнату за сценой?.. Он сказал: «Мне тоже хочется писать стихи, но я боюсь, что не выйдет. Голова все время набита словами, гудит, а писать боюсь...» Горько то, что задуманное всегда лучше, чем выполнение. Не только в поэзии — в жизни...»

Эти слова я записал. Прощаясь, мы думали, что встретимся в декабре в Вене. Я радовался, видя рядом с ним крепкую, милую, заботливую Доминику. Восемь месяцев спустя в холодное туманное утро я услышал по радио: «Вчера скончался французский поэт Поль Элюар...» Доминика потом мне рассказала, что утром он прочитал газеты: Розенбергам, несправедливо осужденным в Америке, отказано в пересмотре дела. Поль сказал: «Только бы их спасли!..» Четверть часа спустя он позвал Доминику: сердце перестало биться. Ему должно было исполниться пятьдесят семь лет. Я пишу, и мне кажется, что это случилось вчера. Ничего нет сильнее, чем то, что связывает людей, когда перевал позади и они спускаются вечером по темной крутой тропинке.

32

Когда я оглядываюсь назад, 1952 год мне кажется очень длинным и в то же время тусклым; вероятно, это связано с тем, как я тогда жил. В журнале печатался «Девятый вал», критики его хвалили; но я чувствовал, что книга не вышла, и ничего больше не писал. Перерывы между поездками, связанными с борьбой за мир и с работой депутата, оставляли достаточно времени, чтобы задуматься над своим писательским путем. В один из осенних дней я записал в книжечку: «Видимо, разумнее всего оставить работу писателя. Через три месяца мне будет шестьдесят два года, это не тот возраст, когда можно сидеть у моря и ждать погоды. Движение за мир — хоть здесь я могу что-нибудь сделать».

В октябре собрался XIX съезд партии. Сталин произнес в конце короткую яркую речь. О литературе упомянул в своем докладе Маленков; он жалел, что у нас нет Гоголей и Щедриных, и сказал, что идейные позиции писателя определяются тем, типичны его герои или нет. Один ленинградский писатель мне говорил: «Управдомов можно было высмеивать и до того, как вспомнили про Гоголя и Щедрина. А подымешься

723

на ступеньку выше — скажут: «Нетипично». Интересно, каким путем будут устанавливать «типичность», — может быть, статистикой?»

Я просмотрел подшивку «Литературной газеты»; все выглядит идиллией. Газета отмечала, что в «Новом мире» напечатан роман Гроссмана «За правое дело», но критики о нем молчали. Они хвалили новый вариант «Молодой гвардии» Фадеева, одобрительно писали о романе Кочетова «Журбины». Газета сокрушалась, что недостаточно учтен «гениальный труд Сталина, произведший переворот в языкознании». Разоблачали «лженауку» кибернетику. Писателей ругали мягко, почти по-отечески. Праздновали юбилеи: Паустовскому и Федину исполнилось шестьдесят лет, Назыму Хикмету и Каверину пятьдесят. Устраивали вечера, подносили папки, обнимали и, разумеется, желали «новых творческих успехов». Вышла книга Винокурова, ее скромно похвалили. В одном из толстых журналов напечатали стихотворение Мартынова, редакцию за это поругали. Под тусклыми, похожими одно на другое стихотворениями пестрели незнакомые имена молодых; теперь я заметил под одним из них подпись Е. Евтушенко. Когда перелистываешь еще не успевшие пожелтеть листы, кажется, что редакция не знала, чем их заполнить. Кончились радищевские дни, отмечали пятидесятилетие со дня смерти Золя, по том столетие со дня рождения Мамина-Сибиряка.

В апреле в Москве состоялось Международное экономическое совещание. Я познакомился с лордом Бойд-Орром, старым английским пацифистом, человеком большой культуры и чистых мыслей. Он мечтал о сотрудничестве двух миров, с восхищением говорил о Ганди, об Эйнштейне.

На совещание приехали, помимо экономистов, несколько крупных предпринимателей и довольно много средних или мелких, надеявшихся на советские заказы. Вспоминаю смешной эпизод. Из секретариата совещания мне позвонили. «Что значит французское сокращение АПТ?» Я не мог расшифровать, ломал себе голову. Потом мне переслали письмо: Апт оказался городом в Провансе, а письмо написал фабрикант охры Шовен. До войны, по словам Шовена, французские фабриканты продавали России ежегодно восемь тысяч тонн охры, и он решил приехать на экономическое совещание с надеждой возобновить экспорт охры. Шовен оказался живым симпатичным южанином, участником французского Движения сто-

ронников мира и неисправимым фантазером. Его принимали в Комитете защиты мира на Кропоткинской. Он восхищался людьми, но, глядя на облупившийся фасад особняка, повторял: «Вам совершенно необходима охра!» В Москву он привез образцы промышленности Апта — глазированные фрукты и лавандовую туалетную воду. Фрукты были вкусными, лаванда чудесно пахла, но ни эти товары, ни охра не соблазнили Министерство внешней торговли. У одного бельгийца купили партию дамских комбинаций, и он ликовал, а Шовен уехал с пустыми руками, но с сердцем, полным любви к нашему народу, писал мне письма, хотел, чтобы советские актеры приняли участие в карнавале Апта, — словом, оставался наивным мечтателем.

Жизнь шла своим ходом. Народ трудился. Строили новые заводы. Учителя учили грамоте малышей, которые теперь стали юношами, работают или учатся, думают, спорят. Подростки читали Толстого, Чехова, Горького. На сцене тысячи театров ежевечерне Гамлет говорил о флейте и лжи, герои Чехова тосковали, а бессмертный Хлестаков врал, не зная передышки. В музеях всегда толпились посетители. Разговаривая с незнакомыми людьми, я видел, как выросло сознание так называемого «среднего человека».

В Праге осенью происходил процесс группы видных коммунистов. В «Литературной газете» их назвали «жабами у чистого родника», которые «мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрита, где властвовали бы американские монополии, буржуазные националисты, сионисты вместе со всяким сбродом, погрязшим в преступлениях». (Весной 1963 года Верховный суд Чехословацкой Республики отменил приговор и реабилитировал осужденных.) Конечно, я не предвидел последующего, но пражский процесс заставил меня снова насторожиться.

Переговоры о перемирии в Корее начались еще весной 1951 года. После длительных споров стороны пришли к соглашению о шестидесяти пунктах договора. Спор продолжался об одном вопросе — порядке репатриации военнопленных. На Генеральной Ассамблее ООН Вышинский и Ачесон произносили длинные речи. Все понимали, что разрешить конфликт силой оружия невозможно, однако бои продолжались, причем они шли в районе, который, согласно одному из шестидесяти одобренных пунктов, должен был стать нейтральной зоной.

Шли бои и в Индокитае. «Холодная война» не затихала. Некоторые американские сенаторы называли операции в Корею «началом третьей мировой войны», говорили, что эта война будет длительной и должна кончиться «полным уничтожением коммунизма». Во Франции то и дело менялись правительства, вспыхивали забастовки, арестовывали коммунистов и профсоюзников. В Греции продолжались расправы. Я долго глядел на фотографию казненного Белоянниса; он держал в руке гвоздику и улыбался.

Год казался тихим и душным. Многие события последующих лет медленно созревали, но даже завязтые оптимисты предпочитали помалкивать.

Я был занят подготовкой Конгресса народов; дважды побывал в странах Скандинавии, ездил в Берлин, присидел несколько недель в Вене.

Жолио-Кюри и другие руководители движения хотели, чтобы Конгресс народов был шире и представительнее конгрессов сторонников мира. В письме к итальянскому либералу Нитти Жолио дал гарантии, что участники конгресса смогут свободно изложить свою точку зрения. Недоверие все же помешало многим колебавшимся приехать в Вену. Но если вспомнить обстановку конца 1952 года, то можно сказать, что конгресс удался. На нем выступили бывший канцлер Вирт, депутат католической партии Италии Терранова, итальянский депутат-республиканец Нитти, приверженцы Варгаса в Бразилии и Перрона в Аргентине, члены индийской партии Конгресса, представитель партии большинства иранского парламента, некоторые английские тред-юнионисты, националисты из Марокко, тунисские друзья Бургибы, писатель Сартр, наблюдатель от организации сторонников «всемирного правительства» и пацифисты различных толков.

В отличие от Парижского и Варшавского конгрессов, ораторов, критиковавших политику Советского Союза, выслушали спокойно, многие даже аплодировали; в некоторых из таких речей говорилось о чрезмерно воинственном тоне Вышинского, об отказе от поисков компромисса, о подтексте пражского процесса. Мне запомнились выступления Элин Аппель, итальянской католички Пиаджио и шведского писателя Бломберга.

Конечно, как и в Варшаве, приветствуя некоторых ораторов, все вставали, на заключительном заседании пели, махали

платочками и закрыли конгресс в три часа утра. Все же атмосфера была более деловой да и более миролюбивой, чем на Варшавском конгрессе. Вступительную речь произнес Жолио, он как бы дал тон ораторам. Впервые много говорилось о мирном сосуществовании, о культурных связях. Фадеев болел, и советской делегацией руководил Корнейчук, который непрестанно улыбался.

В тексте обращения к народам не было резких обвинений; он заключал требование немедленного прекращения военных действий, признания за всеми народами права на независимость, необходимость всеобщего разоружения — словом, напоминал некоторые резолюции, единогласно одобренные Ассамблеей Объединенных Наций семь или восемь лет спустя.

После окончания конгресса был устроен ужин в большом зале, где смогли уместиться две тысячи человек. Было мало речей и много австрийского вина, легкого, но коварного. Все развеселились. Под утро кто-то прочитал, вернее, прокричал, только что полученный из Москвы список новых лауреатов премий «За укрепление мира»: «Ив Фарж, Китчлу, Поль Робсон...» Я аплодировал и вдруг услышал: «Илья Эренбург». Я, скорее, растерялся, чем обрадовался. Никогда мы не присуждали премий нашим. Да и почему мне, а не Фадееву или Корнейчуку?.. Ко мне подходили, чокались, обнимали. Серени сказал мне на ухо: «Хорошо, что он вам дал премию. Именно сейчас...» Я спросил, что значат его слова, но он не ответил.

Два дня спустя мы поехали поездом в Москву. Один вагон отвели Сун Цин-лин и китайским делегатам, в двух других разместились советская делегация и наши гости — Китчлу, Амаду, Эндикотт, Саломеа. Поезда в то время шли медленно. Выехав утром, мы только под вечер добрались до Будапешта. Денег у нас не было, а на дорогу нам ничего не дали, кроме цветов. Корнейчук, сидевший в соседнем купе, то говорил, что готов съесть своего соседа, то мечтал, как нас накормят в Будапеште, где поезд должен был простоять два часа. На вокзальном перроне мы увидели Ракоши и других важных товарищей, нас повели в правительственный зал. Корнейчук шептал: «Сейчас дадут гуляш...» Однако нам дали черный кофе и печенье. Корнейчук помялся, потом сказал: «Мы весь день ничего не ели»... Венгры засуетились: ресторана на вокзале не оказалось, полчаса спустя принесли сосиски, очень

вкусные, но очень маленькие. Поели мы на следующее утро — на советской границе, где простояли часов пять. Два дня спустя я приехал в Москву. В дороге я несколько раз пытался расшифровать слова Серени,— может быть, он знает что-то?.. Но чем больше я думал, тем меньше понимал и только нервно попевывал.

Пять дней спустя мы встречали Новый год с Ириной, Лениными, Савичами. Я успел повидать некоторых друзей, спрашивал, какие новости. Рассказывали пустяки. На сердце у меня было смутно, я сам не знал почему.

Тридцатого января газеты привезли в полдень. Я нехотя развернул «Правду». «К новому подъему нефтяной промышленности». «Упадок внешней торговли Франции». Вдруг на последней странице я увидел: «Арест группы врачей-вредителей». ТАСС сообщал, что арестована группа врачей, которые повинны в смерти Жданова и Щербакова. Они сознались, что собирались убить маршалов Василевского, Говорова, Конева и других. В газете было сказано, что большинство арестованных — агенты «международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», которые получали указания через врача Шимелиовича и «еврейского буржуазного националиста Михоэлса». В списке арестованных были известные медики — трое русских, шесть евреев.

Я пытался узнать, что приключилось. Одни говорили, что врачей начали арестовывать два месяца назад; другие, напротив, рассказывали, что был консилиум, пригласили врачей, лечивших Сталина, и потом арестовали. Все повторяли, что в больницах ад, многие больные смотрят на врачей, как на коварных злодеев, отказываются принимать лекарства. Агроном, тот, что беседовал с Сартром, проводил отпуск в Ялте. Он приехал до срока, рассказал мне, что его жена перепугалась: «Сегодня же уедем из санатория — нас здесь отравят»... Женщина-врач говорила: «Вчера пришлось весь день глотать пилюли, порошки, десять лекарств от десяти болезней — больные боялись, что я «заговорщица»...» На Тишинском рынке подвыпивший горлодер кричал: «Евреи хотели отравить Сталина!..»

Я говорил, что наш народ духовно вырос; но и мыслящий тростник порой перестает мыслить; можно быть философом и все же огорчиться, если кошка перебежит дорогу. Я никак не хочу всем приписывать того страха, о котором говорил.

Последний холерный бунт был в 1893 году. Да и погромы исчезли с концом гражданской войны. Но если забраться в душевные дебри многих вполне разумных людей, то можно найти смутное недоверие, подозрительность. Конечно, такие не станут прислушиваться к разговорам молочниц на рынке. Однако о врачах-убийцах сообщили следственные органы. Вспомнили процесс в 1938-м; тогда выяснилось, что врачи убили Горького. Теперь они стали еще хитрее — ставят неправильный диагноз и лечением доводят больного до смерти. Я часто замечал у людей вместе с преклонением перед медициной страх перед медиками — перед тем врачом, который их лечит: может ошибиться, недосмотреть... Если его завербовали враги, может убить и безнаказанно, Григорьян пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии — церемония была назначена на 27 января: «Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках...» Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду. Мой собеседник начал меня успокаивать: «Это не директива, просто я хотел вам подсказать...»

Двадцать первого января, в день годовщины смерти В. И. Ленина, под его портретом в газетах был опубликован указ о награждении орденом Ленина женщины-врача «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

На вручении мне премии выступали с приветственными речами Тихонов, Сурков, Арагон, Анна Зегерс, колумбийский писатель Саломеа. Потом полагалось выступить мне. Речь была короткой. Я сказал: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства, бесстрашный защитник мира». Эти слова были продиктованы событиями, и я снова вернулся к тому, что меня мучило: «На этом торжестве в белом парадном зале Кремля я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих...» В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что, когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной — к словам о преследовании вставили «силы реакции»:

боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии.

Появилась статья о том, какие восторженные письма получает женщина-врач, разоблачившая «убийц в белых халатах». Во многих письмах говорилось: «русская женщина», «русская душа».

Однако самые неистовые толкования я прочитал во французской газете «Се суар», которую долго редактировал Жан-Ришар Блок. Эти статьи принадлежали перу видного журналиста Пьера Эрве, бывшего тогда коммунистом. Я понимаю, что французский коммунист мог поверить органам советского следствия и защищать их от политических врагов. Однако Эрве превзошел все и всех: его статьи напоминали фальшивку, изготовленную в годы второй империи, «Протоколы сионских мудрецов»; он доказывал, что козни «Джойнта» и арестованных врачей не локальное явление, а результат давнего заговора. Даже в те дни эти статьи меня удивили. А говорю я о них потому, что два года спустя, когда законность в нашей стране была восстановлена, Эрве порвал с коммунистической партией, выпустил книжку и даже прислал ее мне с трогательной надписью. В книжке среди прочего Эрве возмущался «делом врачей», не упоминая о своем личном вкладе.

В «Правде» появилась резкая статья о романе Гроссмана. Тотчас и другие газеты обрушились на роман.

События продолжали разворачиваться. Февраль оказался для меня очень трудным, о пережитом мною я считаю преждевременным рассказывать. В глазах миллионов читателей я был писателем, который мог пойти к Сталину, сказать ему, что я в том-то с ним не согласен. На самом деле я был таким же «колесиком» и «винтиком», как мои читатели. Я попробовал запротестовать. Решило дело не мое письмо, а судьба.

Был холодный день. Чтобы занять себя и отогнать хотя бы на несколько часов черные мысли, я сидел — переводил Вийона. Вдруг пришел сторож Иван Иванович: «По радио, значит, передавали, что Сталин заболел, паралич, положение тяжелое...»

Помню, как ехал в Москву. Было много снега. В сугробах тонули детишки. Я хотел задуматься: что теперь будет со всеми нами? Но думать я не мог. Я испытывал то, что тогда, наверное, переживали многие мои соотечественники: оцепенение,

«В девять часов пятьдесят минут вечера...»

Медицинское заключение говорило о лейкоцитах, о коллапсе, о мерцательной аритмии. А мы давно забыли, что Сталин — человек. Он превратился во всемогущего и таинственного бога. И вот бог умер от кровоизлияния в мозг. Это казалось невероятным.

Дом, в котором я живу, находится в переулке между улицами Горького и Пушкина. Для того чтобы пройти на одну из этих улиц, нужно было разрешение офицера милиции, долгие объяснения, документы. Огромные грузовики преграждали путь, и, если офицер разрешал, я взбирался на грузовик, спрыгивал с него, а через пятьдесят шагов меня останавливали, и все начиналось сначала.

Траурный митинг писателей состоялся в Театре киноактера на улице Воровского. Все были подавлены, растерянны, говорили сбивчиво, как будто это не опытные литераторы, а математики или землекопы, впервые выступающие на собрании. Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню что, наверно, то, что и другие.

На следующий день нас повезли в Колонный зал. Я стоял с писателями в почетном карауле. Сталин лежал набальзамированный, торжественный — без следов того, о чем говорили медики, а с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины подымали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями.

Плачущих я видел и на улицах. Порой раздавались крики: люди рвались к Колонному залу. Рассказывали о задавленных на Трубной площади. Привезли отряды милиции из Ленинграда. Не думаю, чтобы история знала такие похороны.

Мне не было жалко бога, который скончался от инсульта в возрасте семидесяти трех лет, как будто он не бог, а обыкновенный смертный; но я испытывал страх: что теперь будет?.. Я боялся худшего. Я много говорил в этой книге о мыслящем тростнике. Теперь я вижу, что сохранить ясность мыслей очень трудно. Культ личности не сделал из меня верующего, но он повлиял на мои оценки: я связывал будущее страны с тем, что ежедневно в течение двадцати лет именовалось «мудростью гениального вождя».

Я никогда не разговаривал со Сталиным (кроме телефонного разговора накануне войны, о котором писал). Я видел его издали на торжественных заседаниях, приемах или на сессиях Верховного Совета. Однажды я оказался рядом с ним, случилось это на приеме, когда в Москву приехал Мао Цзэдун. Меня удивило, что при входе контроль был строжайшим, как будто это не ресторан «Метрополь», а Кремль. Войдя в зал, я увидел, что народу очень много, и не стал пробиваться вперед. Зал оживленно гудел. Вдруг наступила тишина. Оглянувшись, я увидел Сталина. Он был не таким, как на портретах, старый человек небольшого роста с лицом как бы исколотым годами; низкий лоб, живые, острые глаза. Он с любопытством разглядывал зал, где, наверно, не был четверть века. Потом началась овация, и Сталина увели налево, где находились китайцы. Все произошло настолько быстро, что мне не удалось как следует его разглядеть.

Я не любил Сталина, но долго верил в него, и я его боялся. Разговаривая о нем с друзьями, я, как и все, называл его «хозяином». Древние евреи тоже не произносили имени бога. Вряд ли они любили Иегову: он был не только всемогущ, он был безжалостен и несправедлив, он наслал на праведного Иова все беды, убил его жену, детей, поразил его самого проказой, и все это только для того, чтобы показать, как заживо гниющий, брошенный всеми невинный человек будет на пепелище прославлять мудрость Иеговы. Бог бился об заклад с сатаной, и бог выиграл. Проиграл Иов.

В четвертой части этой книги я обещал читателям вернуться к Сталину, попытаться подвести итоги и найти причины наших заблуждений. Как многие поступки в моей жизни, это обещание было легкомысленным. Я не раз садился за эту лагу, черкал, рвал написанное и наконец понял, что не смогу выполнить обещанное: конечно, теперь я знаю куда больше, чем в марте 1953 года, но я вижу, что знаю слишком мало для итогов и выводов, да и то, что мне известно, я зачастую не понимаю. Я не могу дать портрет Сталина — я его лично не знал; видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому. Напрасно я обещал выйти из рамок воспоминаний, заняться историей или философией. Ограничусь тем, что поделюсь с читателями своими мыслями и чувствами в марте 1953 года, а если и выскажу некоторые размышления, то они будут связаны

с характером работы писателя, которого больше всего волнуют судьбы человеческого сознания и совести.

Обожествление Сталина не произошло внезапно, оно не было взрывом народных чувств. Сталин долго и планомерно его организовывал: по его указанию создавалась легендарная история, в которой Сталин играл роль, не соответствующую действительности; художники писали огромные полотна, посвященные канунам революции, Октябрю, первым годам Советской республики, и на каждой из таких картин Сталин был рядом с Лениным; в газетах чернили других большевиков, которые при жизни Ленина были его ближайшими помощниками. Признание Сталина «гениальным» и «мудрейшим» предшествовало массовым расправам. Я рассказал, как меня смущали в 1935 году аплодисменты и истерические вскрики при появлении Сталина на совещании стахановцев. Тогда я долго убеждал себя, что не понимаю чувств народа, что я — интеллигент, к тому же оторвавшийся от русской жизни. Потом я привык и к овациям, и к литургийным эпитетам, перестал их замечать.

Святой Петр для католиков — камень, на котором зиждется церковь, ключарь рая, для меня он — герой поэтической легенды, который трижды отрекся от своего учителя, а потом мученичеством искупил свою слабость. Однако, когда я увидел бронзовую статую в римском соборе, я забыл про все легенды: я глядел на ногу Петра — от поцелуев бронза стерлась. Вера, как страх, как многие другие чувства, заразительна. Хотя я воспитывался на вольнодумстве XIX века и написал «Хулио Хуренито», в котором высмеивал все догмы, я оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина. Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим. В 1957 году, вспоминая прошлое, я писал:

Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы,
Я — человек, не гора.
Вера мне не сестра.
Видел я камень серый,
Стертый трепетом губ.
Мертвого будит вера.
Я — человек, не труп.

Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля,
Видел я небо в пещле,
Вере не верю я.

Я был в андалузском отряде, где люди сражались насмерть, они назвали свою часть «Батальоном Сталина». В годы войны я много раз слышал возгласы «За Родину, за Сталина!». Сколько писем итальянских и французских героев Сопротивления, написанных перед казнью, кончались словами: «Да здравствует Сталин!» К семидесятилетию Сталина одна французская прислала ему шапочку своей дочери, замученной в гестапо. Поэты, в честности которых трудно усомниться, — Элюар, Жан-Ришар Блок, Эрнандес, Незвал, — прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым апостолом, божеством.

Шла борьба, и места «над схваткой» не было. Для наших врагов Сталин тоже перестал быть человеком; говоря о нем, Гитлер или Геббельс, Форрестол или Маккарти кликушествовали, как на черной мессе.

В тридцатые годы я увидел, что такое фашизм. Сопротивление испанского народа было сломлено: фашистские диктаторы помогли Франко, западные демократии лицемерно провозгласили «невмешательство», и только горсточка советских военных сражалась на стороне республиканцев. Мюнхен был попыткой сколотить антисоветскую коалицию: Чемберлен и Даладье надеялись, что Гитлер повернет на восток. Когда началась «странная война», правители Франции воевали не столько против рейхсвера, сколько против своих коммунистов. За несколько месяцев до разгрома Франции ее полководцы занялись подготовкой экспедиционного корпуса, который должен был сражаться против Красной Армии в Финляндии. После нападения Гитлера на Советский Союз некоторые политики Америки и Англии радовались не только потому, что «красные» ослабят рейхсвер, но и потому, что Гитлер в итоге уничтожит «красных». Не успела кончиться вторая мировая война, как начали поговаривать о третьей. Фанатики капитализма, бизнесмены, выдававшие себя за крестоносцев, военные, у которых неизменно чешутся руки, хотели они того или нет, способствовали укреплению культа Сталина.

Я не сразу разгадал роль «мудрейшего». Если и теперь я недостаточно осведомлен, то в 1937 году я знал только об отдельных злодеяниях. Как многие другие, я пытался обелить перед собой Сталина, приписывал массовые расправы внутрипартийной борьбе, садизму Ежова, дезинформации, правам.

Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Он много раз выступал как поборник справедливости, который хочет положить конец произволу. Помню его слова и о «головокружении от успехов», и о том, что «сын не отвечает за отца». После разгула «ежовщины» он публично сокрушался: в таком-то городе исключили из партии несколько честных коммунистов, в другом даже арестовали неповинного человека. Десять лет спустя, в разгар кампании против «космополитов», он осудил раскрытие литературных псевдонимов. Неизменно он напоминал о необходимости беречь людей. М. С. Сарьян рассказывал мне, как, принимая армянскую делегацию, Сталин спрашивал о поэте Чаренце, говорил, что его не нужно трогать, а несколько месяцев спустя Чаренца арестовали и убили.

Сталин, видимо, умел обворожить собеседника. Барбюс писал: «Можно сказать, что ни в ком так не воплощены мысль и слова Ленина, как в Сталине». Ромен Роллан после встречи со Сталиным говорил: «Он удивительно человечен!..» Фейхтвангер считал себя скептиком, стреляным воробьем. Сталин, наверно, про себя посмеивался, говоря Фейхтвангеру, как ему неприятно, что повсюду красуются его портреты. А стреляный воробей поверил...

Суриц, потом Литвинов и Майский говорили мне, что пакт с Гитлером был необходим: Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза. Однако Сталин не использовал два года передышки для укрепления обороны — об этом мне говорили и военные и дипломаты. Я писал, что Сталин, чрезвычайно подозрительный, видевший в своих ближайших сотрудниках потенциальных «врагов народа», почему-то поверил в подпись Риббентропа. Гитлеровцы напали на нас врасплох. Сталин вначале растерялся — не осмелился сам сказать о нападении, поручил это Молотову; потом, видя, что, несмотря на героизм советских солдат, фашисты быстро продвигаются к Москве, Сталин обратился к народу, мы были произведены в «братьев и сестер» бога. Однако он быстро собрался с духом,

поразил Гопкинса своим спокойствием, остался в опустевшей Москве, а в трудное лето 1942 года старался держаться в тени — в газетах редко встречалось его имя. Култ был восстановлен сразу же после разгрома немцев на Волге. Победил народ, тот, что воевал, строил заводы, копал каналы, прокладывал дороги, жил впроголодь, но не падал духом. А газеты писали о победе «гениального стратега».

Послевоенные годы были тяжелыми, и жил я не в Париже, а в Москве. Я успел многое узнать. В марте 1953 года я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского Возрождения. Я помнил большевиков, окружавших в Париже Ленина, из них разве только Луначарскому и Коллонтай посчастливилось умереть в своих постелях. Среди погибших были мои близкие друзья, и никто никогда не мог бы меня убедить, что Всеволод Эмильевич, Семен Борисович, Николай Иванович или Исаак Эммануилович предатели. С. М. Эйзенштейн рассказывал о своей встрече со Сталиным, который, говоря, что необходимо возвеличить в глазах народа Ивана Грозного, добавил: «Петруха недорубил...» Я сейчас не пишу историю Ивана Грозного или Петра, я просто хочу объяснить читателям, почему я не любил Сталина.

Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью, и, рассказывая в этой книге о себе, о моих друзьях, я признался, как трудно нам было порой молчать.

Приехав из Испании в Москву в конце 1937 года, я увидел, что делалось в домах и в умах. Я пытался утешить себя: Сталин о многом не знает. Действительно, я не думаю, чтобы Сталин знал о молодой Наташе Столяровой, жене художника Шухаева, или о Семене Ляндресе, — если бы он читал списки всех жертв, то не смог бы делать ничего другого. Но я и тогда понимал, что приказы об уничтожении старых большевиков или крупных командиров Красной Армии, которых я встречал в Испании, могли исходить только от Сталина. Полгода спустя, вернувшись в Барселону, я не мог никому рассказать о том, что видел и слышал в Москве.

Почему я не написал в Париже «Не могу молчать»? Ведь «Последние новости» или «Ган» охотно опубликовали бы такую статью, даже если бы в ней я говорил о своей вере в будущее коммунизма. Лев Толстой не верил, что революция устранил зло, но он и не думал о защите царской России, — напротив,

он хотел обличить ее злодеяния перед всем миром. Другим было мое отношение к Советскому Союзу. Я знал, что наш народ в нужде и беде продолжает идти по трудному пути Октябрьской революции. Молчание для меня было не культом, а проклятием, и в книге о прожитой жизни я не мог об этом умолчать.

Один из участников французского Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что партизанским отрядом, в котором он сражался, командовал жестокий и несправедливый человек, который расстреливал товарищей, жег крестьянские дома, подозревал всех в измене или малодушии. «Я не мог об этом рассказать никому,— говорил он,— это значило бы нанести удар всему Сопротивлению, петеновцы за это ухватились бы...»

Да, я знал о многих преступлениях, но пресечь их было не в моих силах. Да о чем тут говорить: пресечь преступления не могли и люди куда более влиятельные, куда более осведомленные. 30 июня 1956 года было опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»; в нем были такие строки: «...Ленинское ядро Центрального Комитета сразу же после смерти Сталина стало на путь решительной борьбы с культом личности и его тяжелыми последствиями. Может возникнуть вопрос: почему же эти люди не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства? В сложившихся условиях этого нельзя было сделать». Далее документ говорит, что «Сталин повинен во многих беззакониях», но его авторитет был таков, что «всякое выступление против него в этих условиях было бы не понято народом, и дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества».

Вероятно, Сталин до конца своей жизни считал себя коммунистом, учеником и продолжателем Ленина, не только говорил, но и думал, что ведет народ к высокой цели и что для этого не нужно брезговать никакими средствами. Я не случайно вспомнил времена итальянского Возрождения. Макнавелли писал, что для создания сильного государства любые средства хороши — яд, доносы, убийства из-за угла; он предлагал правителю сочетать в себе храбрость льва с хитростью лисицы, быть мудрым, как человек, и хищным, как зверь. Для Медичи или Борджии такие советы были, наверно, полезны, но для коммуниста они неприемлемы.

Старый спор о том, оправдывает ли цель средства, мне кажется абстрактным. Цель не указатель на дороге, а нечто

вполне реальное, это действительность, не картины завтрашнего дня, а поступки сегодняшнего; цель предопределяет не только политическую стратегию, но и мораль. Нельзя установить справедливость, совершая заведомо несправедливые действия, нельзя бороться за равенство, превратив народ в «колесики и винтики», а себя в мифическое божество. Средства всегда отражаются на цели, возвышают или деформируют ее. Мне кажется, что после XX и XXII съездов это стало ясным всем, кроме разве некоторых зарубежных догматиков, которые, говоря о чистоте своих риз, рядом с именем Ленина кощунственно ставят имя Сталина.

Как миллионы моих соотечественников, прочитав материалы XX съезда, я почувствовал, что с моего сердца сняли камень. Хотя методы Сталина были оставлены сразу же после его смерти, наш народ, да и все человечество должны были узнать горькую правду — того требовали и разум и совесть. Мы узнали о заблуждениях прошлого. В этом прошлом много подвигов и побед советского народа, но, говоря о них, может быть, правильнее сказать не «благодаря Сталину», а «несмотря на Сталина» — уж слишком часто он направлял свой государственный ум, свою редкостную волю на дела, которые противоречили тем идеям, на которые он ссылается, ранили совесть любого честного человека.

Вернусь к мартовским дням. На Мавзолее Ленина ночью приписали имя Сталина. На похоронах выступили Маленков, Берия и Молотов. Речи были похожи одна на другую, но Маленков напомнил о бдительности «в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами», а Берия, имя которого пугало всех, обещал советским гражданам «охранять их права, записанные в Сталинской Конституции».

На следующий день Москва вернулась к обычной жизни. Я видел, как дворники усердно подметали улицу Горького, как шли люди на работу, как выгружали во дворе ящики, как мальчишки озорничали. Все было знакомым, и я говорил себе: как неделю назад... Вот это и было неправдоподобным: Сталин умер, а жизнь продолжается.

Днем я дошел до Красной площади. Она была завалена венками: люди стояли, пытались прочитать надписи на лентах, потом молча уходили.

Я поехал с Фадеевым в «Советскую» гостиницу — там оставились друзья из Всемирного Совета, приехавшие на похороны. Глаза у Фаржа были печальные, но он сразу стал нас приободрять, говорил: «Все образуется», — таков был его характер: он должен был утешать других. Ненни меня обнял и в тревоге спросил: «Что же теперь будет? Это ужасно!..» В его глазах были слезы. Я сам не знал, что будет дальше, но пример Фаржа оказался заразительным, и я ответил: «Через неделю мы увидимся в Вене. Не нужно отчаиваться — все образуется...»

Я шел по улице Горького. Было холодно: зимний вечер, Вдруг я остановился — простая мысль пришла в голову: не знаю, будет хуже или лучше, но будет другое...

34

Венский конгресс выбрал комиссию, которая должна была передать пяти великим державам предложение вступить в переговоры о Пакте мира. В комиссию вошли Жолио-Кюри, Фарж, Ненни, Изабелла Блюм, японский сенатор Горо Хани, бразильский генерал Буксман, Тихонов, другие; включили и меня. Заседание комиссии было назначено на 16 марта.

Заседали мы два дня, решили отправить текст всем правительствам мира и приняли обращение к общественному мнению. Работали мы в павильоне парка, который сдавался для различных торжеств. Во время перерывов друзья уводили меня по дорожке куда-нибудь подальше и спрашивали: «Как у вас?..» Всех волновало, что будет теперь, когда нет Сталина. С Альп порой дул ледяной ветер, но кое-где уже зацветали подснежники и лиловые крокусы. Прошло десять дней, я успел о многом подумать и понял, что хуже, чем было, не будет, может быть, станет лучше. Из Москвы я уехал накануне сессии Верховного Совета, но в посольстве мне дали короткую речь Маленкова, я ее переводил друзьям; в речи не было ничего нового, однако я всех обнадеживал и хоть раз в жизни оказался хорошим пророком.

Самолет вылетал из Праги 20 марта, и мы вместе с Фаржами должны были добраться 19-го до Праги. Посол мне сказал, что даст машину до границы, а в другой поедет охрана: «Фаржу должны вручить Сталинскую премию, мы не можем

его отпустить без охраны...» Мне сказали, что чешская машина будет нас ждать на границе. Рано утром мы двинулись в путь. Увидав машину с военными, Фарж удивился. «Ничего не поделаешь — вы теперь лауреат Сталинской премии...» Он засмеялся: «Но я не диктатор Никарагуа или Гондураса...»

Военная машина неслась впереди. Меня тревожило, что я не узнавал хорошо мне знакомого пейзажа. Я сказал водителю, чтобы он остановился, — очевидно, мы поехали не по той дороге. Водитель гудел, но военная машина не останавливалась. Шофер меня успокаивал: «Как-нибудь доедем...» Конечно, мы доехали, но не к тому пограничному пункту, где нас ожидала чешская машина. Советские товарищи сказали, что они спешат в Вену, и укатили. А мы остались в домике чешских пограничников, которые громко вздыхали. У них есть автомобиль, говорили они, но сегодня похороны Готвальда, и начальник уехал в Прагу. Я умолял достать машину. Пограничники куда-то звонили и продолжали вздыхать.

Часа два спустя приковыляла престарелая малолитражка, которая с великим трудом довезла нас до города Чешске Будейовице. Мы трижды меняли машины и наконец добрались до Праги. Во всех городах и селах у зажженных огней стояли в почетном карауле солдаты и местные жители. В Праге мы миновали южные кварталы, потом пошли пешком. Нас провели к Национальному музею. Похоронное шествие еще продолжалось. Вацлавская площадь была заполнена людьми. Все было, как в Москве, — саркофаг, венки, Булганин в мундире, Чжоу Энь-лай, артиллерийские залпы. Люди стояли молча. Не было ни давки, ни плача.

Шесть дней спустя Иву Фаржу вручили в Кремле премию. Церемония успела сложиться, и речи присутствующих напоминали те, что я слышал не раз. В очень коротком приветствии я сказал о большом сердце Фаржа. Он меня обнял и шепнул: «Спасибо за Прованс»... (Он родился, учился, провел молодость в Провансе, там у него был домик «Ле Туретт».)

На следующий день Ив и его жена Фаржетт приехали к нам в Ново-Иерусалим. Они уже знали наш дом, но впервые увидели его в зимнее время: Фарж восхищался снегом, голубыми елями и пельменями с уксусом. Он был веселый, счастливый. Увидев краски и кисти Любы, попросил холст, засучил рукава и начал писать портрет. На следующий день они должны были вылететь в Тбилиси. Я ему рассказывал про древнюю

архитектуру, про картины Пирсманншвили, про грузинские вина. Он радовался: «Отдохнем — год был нелегким...»

Это было в пятницу, а в понедельник утром мне позвонили из Москвы: «Высылаем машину — с Фаржем несчастье...» Я вошел в кабинет Григорьяна и увидел Фадеева; обычно он сидел выпрямившись, а теперь сторбился. Григорьян сказал: «Пишите некролог». Завонил телефон, он взял трубку: «Еще жив?.. Хорошо... Понятно...» Он снова повернулся к нам: «Пишите некролог». Я возмущился: «О живом?..» Фадеев увел меня в соседнюю комнату, рассказал, что Фаржа повезли в Гори, устроили пышный ужин с тостами, а когда машина возвращалась в Тбилиси, она врезалась в грузовик, стоявший на дороге. Фарж сидел рядом с шофером, у него разбит череп. Другие невредимы, только жене Фаржа осколки чуть поранили лицо. «Нужно писать, Илья Григорьевич. Я вас понимаю, но ничего не поделаешь...» Я не ответил: думал о Фарже. Замолк и Александр Александрович. Часа два спустя кто-то вошел в комнату и тихо сказал: «Скончался...»

Помню страшное утро на Центральном аэродроме. Было холодно. Едва светало. В сером неровном свете я видел гроб, венки, глаза Фаржетт. Говорили речи: Лоран Казанова, Скобельцын, Тихонов. Когда настал мой черед, я с трудом выговорил несколько фраз: меня душили слезы.

Фаржу было всего пятьдесят два года, но не в этом дело. Да и не в том, что без него наше движение как-то сразу стало суше.

Никогда не принимаешь смерть друга. Дело даже не в этом. Дружба наша была короткой. Я познакомился с ним ранней весной 1936 года в Гренобле. Мне говорили шахтеры Мюра: «Фарж напишет в газете...» Студенты повторяли: «Фарж-художник... Фарж-писатель...» Товарищ, который возил меня в Мюр, советовал: «Обязательно поговорите с Фаржем, таких, как он, мало...» Беседа не вышла; он все время зажигал гаснущую трубку, спрашивал, а я торопился: скоро поезд. Мы снова встретились летом 1946 года. Он с возмущением говорил о продажности, о нищете, о спекуляции — его тогда назначили министром продовольствия, и он негодовал: «Люди гибли в маки, в гестапо, и это для того, чтобы создать республику черного рынка и сделать Гуэна президентом!»... Я понял, что он смелый человек, но разговор был коротким. Два года спустя я увидел его на Вроцлавском конгрессе. Мне понравилось его

выступление: он говорил не так, как другие. Мы побеседовали, согласились друг с другом и ушли — каждый в свои житейские дэбри. Только летом 1950 года в Праге, где мы готовили конгресс, мы провели вместе несколько дней, ходили в музей, вспоминали различные книги, рассказали один другому многое из того, что держишь про запас, а порой уносишь в могилу, — словом, подружились. И вот весной 1953 года Фарж бессмысленно погиб. Но и не в этом дело.

Дело в том, что в мире, где я встречал людей гениальных и бездарных, ярких и бледных, Фарж мне казался необычным. Киплинг говорил о коте, который ходит сам по себе. Я знавал немало людей, жаждавших стать именно такими — независимыми, оригинальными котами. А Фарж, наоборот, хотел быть как все. Еще до войны он написал книгу о Джотто, в ней он говорил, что великий живописец XIV века считал себя не гением, а рядовым мастером, и выразил при этом мысли, чувства всех своих современников. Фарж говорил, что его дом — улица в любой стране, в любом городе, в любой деревне. У него было множество друзей. И вот при всем этом он был уникальным — котом, который действительно ходил сам по себе. В 1950 году, когда люди повсюду были выстроены — взводы, полки, армии, когда специализация стала законом — рабочий повторял годами один и тот же жест, ученый ничего не знал, кроме своей узкой области, когда любое слово воспринималось одними как канон, другими как ересь, когда даже завзятый оригинал боялся не попасть в тон моде, — Ив Фарж не входил ни в какую партию, подчас критиковал своих друзей и защищал своих противников, дружил с сотнями людей, различных по своему положению, враждовавших между собой, жил интересами и чаяниями всех, сохраняя при этом свой облик, делая то, что ему казалось правильным, увлекаясь тем, что его увлекало. Серьезные люди, слыша о нем, пожимали плечами, но, встретив его, пробыв с ним несколько часов, неожиданно для самих себя говорили: «Вот это человек!»...

Чего только он не делал! Еще школьником он увлекался живописью. У него было двадцать профессий. В Марокко он, служащий коммерческой фирмы, устраивал выставки своих холстов. Его судили: он организовал демонстрацию, когда казнили Сакко и Ванцетти. Он писал статьи против колониализма. Фаржетт мне рассказывала, как он написал портрет одного бербера, и тот, желая отблагодарить художника, застрелил

орла, вынул еще горячее сердце и заставил Ива и Фаржетт съесть его сырым. Он вернулся во Францию, писал статьи для журнала Барбюса, потом уехал в Гренобль, стал сотрудником провинциальной газеты, писал рассказы, восхищался выступлениями Литвинова, перебрался в Лион, заботился об испанских детях, выступал на социалистических конгрессах (тогда он еще был социалистом), требовал борьбы против фашизма и продолжал заниматься живописью.

Когда немцы оккупировали Францию, он один из первых стал организовывать Сопротивление. Итальянцы разыскивали «террориста Бонавантура» — Фарж сбрил усы, лохматые брови и обзавелся другим именем. Фаржетт арестовали, он делал все, что мог, чтобы ее спасти, и одновременно организовывал маки в горах Веркора, переправлял туда людей, оружие. Его разыскивало гестапо. Он работал с коммунистами и с голлистами, с Пьером Вийоном и с Омоном, с Бидо и с Ролем. Родился Национальный фронт, и Грегуар, заменивший Бонавантура, ездил из южной зоны в Париж, возвращался в Лион. Ранней весной сорок четвертого года Дебре передал Фаржу указ, которым он назначался комиссаром республики в районе Рона-Альпы. Он остался на своем посту и после освобождения Лиона, первое обращение к гражданам комиссара республики подписано: «Ив Фарж (Грегуар)».

Фарж мне рассказал, как в освобожденный Лион прилетел генерал де Голль: «Я ему сказал, что ужинать он будет с участниками Сопротивления. Он меня прервал: «Где местные власти?» Я ответил: «В тюрьме». Это ему, видимо, не понравилось... Помолчав, он добавил: — А мне не понравился его тон...»

Год спустя Фарж попросил освободить его от обязанностей комиссара: война кончилась, а работа администратора была ему не по душе. Бидо отправил его в Бикини — представлять Францию на первом испытании атомной бомбы. Фарж поехал и возмутился. В Америку пришла телеграмма из Парижа: Фаржу предлагают стать министром продовольствия. Разоренная Франция жила впроголодь. Фарж объявил войну черному рынку. Он явился на заседание национальной ассамблеи, и депутаты услышали нечто невероятное: Ив Фарж, министр продовольствия, обвинил вице-преьера Гуэна в том, что тот покровительствует крупным спекулянтам. На своем посту Фарж пробыл недолго. Он написал книгу «Хлеб коррупции». Гуэн

возбудил судебное дело против бывшего министра. Одновременно один из парижских театров поставил пьесу Фаржа. Он продолжал писать пейзажи, организовал общество «Защитники свободы» — черновик Движения сторонников мира. Вместе с Элюаром он отправился в Грецию. Писал рассказы. Выступал на собраниях, посвященных защите мира. В книге «Кровь коррупции» разоблачил организаторов войны в Индокитае. Поехал с Клодом Руа в Корею. С Жюлио он познакомился еще в 1936 году в Гренобле, и они хорошо понимали друг друга. Фарж стал душой Всемирного Совета Мира.

Такой послужной список или, если угодно, такую трудовую книжку увидишь не часто. Но дело, пожалуй, не в этом, да и не в изумительной бескорыстности, которой отличался Фарж: ему были безразличны и титулы, и деньги, и слава. Дело в другом: у kota, которой ходил сам по себе, были свои понятия о том, чем ему стоит заниматься и чем не стоит. В отличие от многих людей, с которыми меня сводила жизнь, Фарж не знал, что такое иерархия горя. В годы Сопrotивления он рисковал своей жизнью, спасая неизвестного человека на дороге, старуху крестьянку, брошенную в разбомбленной деревне, еврейских детей, и когда ему говорили, что нужно быть осмотpительнее, что ему доверены важные задания, он отвечал: «А для меня это важно...» После освобождения он спас жизнь многих стрелочников Виши, хотя знал, что этим восстанавливает против себя некоторых товарищей; он говорил: «Правительство покрывает знатных мерзавцев и хочет отыгpаться на судьбе ничтожных людшек». Рассказывая об этом, он говорил: «Тащили девушку, о которой говорили, что она спала с немецким солдатом, обрили ей голову, хотели раздеть. Я прибежал вовремя... Потом меня наставляли: «Конечно, вы правы, но это мелкое происшествие, а вы — комиссар республики...» У них все по графам. Вот если бы я вздумал отстаивать Петена — это показалось бы соответствующим моему положению...»

Я был переводчиком при одном тяжелом разговоре Фаржа с Фадеевым: Ив возмущался — на заседании бюро публично оскорбляли секретаря Совета Мира Дарра. (Я рассказывал, что американского пастора заподозрили в шпионаже, слухи пошли из Китая и дошли до Сталина.) Фарж говорил: «Я уйду из движения. Если у вас есть факты, расскажите мне. Но нельзя говорить о защите гуманизма и одновременно обижать ничего не понимающего человека...» Потом я сказал Фаржу:

«Напрасно вы накинулись на Фадеева...» Он не дал мне договорить: «Вы думаете, что я этого не понимаю? Я поддерживаю мирные предложения Сталина — я с ними согласен. Я возражаю на антисоветские статьи о вашей внутренней политике, — я не знаю, что у вас делается, но я знаю авторов статей — это растленные перья. Но с Дарром дело другое — я его знаю, и пока не докажут, что он в чем-либо виноват, я буду его защищать...»

Да, второго такого кота я не встречал.

Была в нем еще черта, которая меня всегда восхищала. Мы часто проводили вечера в Праге, и вот раз он мне начал рассказывать о Распае. Моя ранняя молодость прошла на бульваре Распай, но я не знал в точности, кем он был, — Герцен о нем упоминал как об одном из революционеров сорок восьмого года, а кто-то мне сказал, что Распай был ученым, химиком. Фарж обожал Прованс и знал историю множества провансальцев. Он начал мне рассказывать о Распае, который родился в городке Карпенврас. Ему было восемнадцать лет, когда его приговорили к смерти, — это были месяцы белого террора. Ему удалось скрыться. Он работал как ученый — без лаборатории, без инструментов; он открыл роль сахара в организме за сорок лет до Клода Бернара, значение микробов задолго до Пастера, но никто не хотел слушать о его открытиях: он слыл чудачком. В 1830 году он сражался на баррикадах за свободу. Новый король предложил ему службу. Распай отказался. Тогда король приказал его арестовать. В тюрьме он работал над книгой о химии. В мае 1848 года он вел рабочих, которые ворвались в зал, где заседало Учредительное собрание. Рабочие требовали права на труд. Распай приговорили к шести годам тюремного заключения. Он работал в тюрьме над книгой о биологии. Когда он вышел на свободу, ему пришлось эмигрировать в Бельгию. Он вернулся во Францию накануне франко-прусской войны, ткачи Лиона его выбрали в парламент. В 1874 году ему был восемьдесят один год, и его присудили к двум годам заключения за прославление Парижской коммуны. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет. Фарж мне рассказывал о нем с восхищением, — наверно, он чувствовал свое душевное родство с вечным мятежником, с социалистом утопического толка, с ученым, открытия которого проходили бесследно. Он повторял: «Это душевная щедрость Прованса!..»

Позднее, уже после смерти Фаржа, я нашел у Ламартина, который был умеренным либералом и противником Распая, такие слова о нем: «Он заражал народ своим фанатизмом надежды, не примешивая к нему ненависти»... Вот почему я вспомнил сейчас рассказ Фаржа о Распае. Фанатизм Фаржу был чужд, но в одном его можно было назвать фанатиком — в надежде. Как бы ни была горька действительность, Фарж всегда надеялся, что правда восторжествует, и своей надеждой заражал других.

Шестого февраля 1934 года фашисты в Париже вышли на улицы. 9 февраля Фарж создал в Гренобле Комитет бдительности — с ним были два его друга. Трое... Комитет призвал жителей Гренобля прийти на демонстрацию. 11 февраля тридцать тысяч гренобльцев вышли защищать республику. В 1948 году Фарж пригласил бывших участников Сопротивления собраться и создать организацию, способную отстоять свободу и мир. Пришло очень мало людей. Фарж говорил, что у них нет денег на газету, даже на листовки, каждый должен говорить всюду, где может, и Фарж вложил столько надежды в свои слова, что вскоре маленькая группа людей превратилась в мощную силу — французских сторонников мира.

Говорят, что заразительны суеверия, страх, недоверие, злоба; это правда; но надежда тоже может стать заразительной. В те годы я не раз бывал подавлен, мрачен, опускались руки, и Фарж неизменно заражал меня своей надеждой. Я говорил, что в Вене обнадеживал других. Может быть, помогли мне не только мои размышления и подснежники, но также близость Фаржа, его слова, улыбка. Он был слишком добрым, чистым, душевно веселым, чтобы допустить победу низости и зла.

Даже в политических выступлениях он говорил не на газетном языке, а на человеческом. Это нравилось обыкновенным людям и зачастую сердило профессиональных политиков. Помню, в Праге летом 1951 года мы обсуждали, каким должно быть короткое воззвание в поддержку Конгресса народов. Предлагались фразы, тысячи раз встречавшиеся во всех газетах мира. Фарж вынул изо рта трубку и ошарашил всех: «Нужно начать с самого простого: «Так дольше не может продолжаться...» Некоторые запротестовали: «Мы обращаемся к взрослым, а не к детям...» После долгих споров приняли текст Фаржа, и обращение, расклеенное на стенах различных городов, останавливало прохожих, заставляло их задуматься.

Поразительно, что его любили самые разные люди, даже политические противники: жители городков и деревень в округе Апта (фабрикант охры Шовен не без помощи Фаржа стал сторонником мира), почтальоны, виноделы, учителя, рабочие, лавочники, министры бывшие, настоящие и будущие, художники, захолустные Демосфены и новые Распай, Фадеев и аббат Бюлье, Элюар и марсельские авантюристы,— у Ива были клбчи ко всем сердцам.

Он недаром прозвал свою жену Фаржетт. Когда они поже- нились, Фаржетт была подростком. Он зарядил ее своей энер- гией, привил ей свою широту, заразил надеждой. Когда окку- панты посадили Фаржетт в тюрьму, Ив ей писал: «Я убежден, что мы сильны, потому что даже в разлуке опираемся друг на друга... Ни в коем случае не нужно отчаиваться, ничего еще не потеряно. И потом, то, что осталось, то, что останется наве- гда,— это наша гордость: мы знаем, что мы оба выше стра- ха»...

Нельзя сказать, что он любил искусство, как нельзя ска- зать, что люди любят воздух. Мы в Праге пошли с ним в музей; тогда в фондах, точнее, в подвальной помещении были свалены полотна французских импрессионистов, Сезанна, Бон- нара, Пикассо и заодно многие картины чешского художника XIX века Пуркине. Мы провели в подвале несколько часов. Когда мы вернулись в гостиницу, Фарж начал говорить о живописи. Он любил пейзажи импрессионистов и одновремен- но говорил: «Сезанн напомнил о значении формы...» Вдруг другим голосом он сказал: «Обидно!.. Я убежден, что, если бы рабочим показать сад Боннара или семейный портрет Пур- кине, они не дали бы вернуть их в подвал, абсолютно убежден. Послушайте, Илья, вы увидите, что очень скоро все эти хол- сты вернутся на свое место...» Так и в Москве перед огромной картиной, где был изображен Сталин в поле, он сказал мне: «Я держу пари, что через год или два это уберут,— это обидно и для Сталина, и для русского поля, и для искусства...»

После смерти Фаржа я получил из Парижа пакет с семе- нами, на конверте было написано: «По поручению г. Ива Фаржа». Я посеял их поздно, в апреле, и вот перед самыми осенними заморозками зацвели красные мимюлюсы, звезды гаярдии, голубая ипомея, темная, как запекшаяся кровь, па- стурция. Они продержались неделю и почернели после мороз- ного рассвета. Я глядел на них, когда писал первые страницы

«Оттепели». Я видел улыбку Фаржа, слышал его слова: «Все образуется...»

Я разговариваю с ним и теперь. Для старости мало одних утешений, да и надежда у человека, которому за семьдесят, уже не на свою удачу, а такая, какая была у Фаржа,— он мне однажды сказал: «При нас или после — в общем, это не так уж существенно...»

Я задумался: что осталось от Фаржа? Он никогда не отдавал достаточно времени ни живописи, ни литературе; его картины не повесят в музеях, его книги не станут переиздавать, историк упомянет о нем мимоходом: в серьезных трудах нет места для котов, которые ходили сами по себе. Через десять или двадцать лет умрут люди, которые с ним работали и сражались. Но, кажется, продление человека в другом — не в имени, а в тех изменениях, которые он произвел. Фарж что-то заронил в миллионы людей. Они могут забыть его имя, но они восприняли его урок, иначе разговаривали со своими детьми, и Фарж, может быть, сделал больше для роста сознания, совести, человечности, чем крупные политические деятели, большие ученые, прославленные художники.

Все это — рассуждения. Лучше закончить рассказ о Фарже скромным личным признанием: он помог мне освободиться от многого дурного, помог надеяться, любить, жить.

35

Четвертого апреля рано утром меня разбудил телефонный звонок. Савич голосом, который срывался от волнения, сказал: «Возьми «Правду» — сообщение о врачах...» Не знаю, сколько раз я перечитал короткое сообщение, напечатанное на второй странице. Я не знал никого из пятнадцати врачей, о которых шла речь, но я понимал, что случилось нечто необычайное. В сообщении говорилось, что врачей незаконно обвинили, что они ни в чем не повинны и что их признания получены «путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Это было напечатано в «Правде», передавалось по радио, это было сказано прямо, громко на весь мир.

Под сообщением о врачах была помещена статья, посвященная плодовым садам. Час спустя я увидел маленькую

заметку под этой статьей: у женщины-врача, которую недавно наградили орденом Ленина за то, что она помогла разоблачить «убийц в белых халатах», орден отобрали.

Еще накануне мы позвали на дачу приехавшего из Киева С. Е. Головановского, обещали заехать за ним в гостиницу. Оказалось, он не видел газеты. Я начал рассказывать; кажется, я знал сообщение наизусть. Он не верил ни мне, ни Любе. Мы увидели наклонную на стене газету. Головановский попросил: «Остановимся! Я должен сам прочитать...» Читал он долго. Читали и другие прохожие. Я вышел из машины. Пожилой человек громко сказал: «Вот оно как», — и улыбнулся.

Два дня спустя в той же «Правде» была напечатана передовая; в ней рассказывалось, что следствием по делу врачей руководил Рюмин, ныне арестованный. «Правда» писала о том, что меня тревожило и раньше: «Презренные авантюристы типа Рюмина сфабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в советском обществе, спящем морально-политическим единством, идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды. В этих провокационных целях они не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, например, что таким образом был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс». Газета писала: «Только люди, потерявшие советский облик и человеческое достоинство, могли дойти до незаконных арестов советских граждан...» Первой моей мыслью было: удивительно — Берия выдает своих!.. Я понял, что история начинает распутывать клубок, где чистое перепутано с нечистым, что дело не ограничится Рюминым. Прошел всего месяц со дня смерти Сталина, но что-то на свете переменялось.

Я хочу еще раз сказать молодым читателям моей книги, что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство, построил Магнитку и Кузнецк, рыл каналы, прокладывал дороги, разбил армии Гитлера, победившие всю Европу, учился, читал, духовно рос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем XX века. Все это памятно любому советскому человеку, который жил и работал в то время. Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни

восхищались душевной силой, одаренностью народа, как бы тогда ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать. Мы знали, что одновременно с большими делами, о которых сообщали газеты, делаются несправедливые, злые дела — о них люди говорили шепотом, и только с близкими друзьями. Говоря «мы», я имею в виду людей, с которыми дружил, — писателей, художников, некоторых старых большевиков, некоторых военных — может быть, сотню, может быть, две сотни; но мне думается, что такие же чувства испытывали очень многие советские люди. Почти у каждого был друг или товарищ, сослуживец или сосед, арестованный и пропавший без вести, в вину которого ему трудно было поверить. Люди молчали или шептались, и вдруг они заговорили — не озираясь испуганно по сторонам, не глядя на телефон, как на опасного врага, заговорили просто, по-человечески, с той добротой и совестью, которые всегда лежали в характере нашего народа. Это казалось чудом, и не раз в те апрельские дни я вспоминал Ленина, его благородство и душевную чистоту.

Я прерву размышления: просятся на бумагу неожиданные признания о прелести, о волшебстве апреля в наших местах, не избалованных теплом юга. Еще кое-где сереет снег, а видишь — начинается праздник: прорезают землю травинки, нежные звезды будущих одуванчиков, зацветают вербы, стрекочут налетевшие отовсюду птицы; шумливо, беспокойно и радостно — после долгих месяцев молчания, после холода, который сродни одиночеству, после искуса зимы. Может быть, я так чувствую потому, что в старости осень, а за нею зима мучительны, слишком они похожи на свое собственное увядание, на все то, что знакомо любому человеку, перевалившему за шестьдесят. А весна — это мир молодости, и есть ли что-нибудь слаще для старого человека, чем глядеть на ребятшек, которые ломают лед подмерзшей за ночь лужицы, чем слушать их крики, нестройные и милые, как птичья болтовня, чем увидеть под вечер робких влюбленных, которые как будто стыдятся своего счастья и держатся за руки, а еще холодно по вечерам, пальцы зябнут. Все это происходит именно в самом начале апреля, в дни перелома, когда на одной стороне улицы холодно и пусто, сосульки не двигаются с места, а на другой стороне солнце, гам, весна. Мой дом на северном склоне холма, и в начале апреля у нас горы снега, и все-таки он

поддается, оседает, я его раскидываю, сбрасываю и всем своим существом чувствую, что жизнь побеждает. Если даже подумаешь на минуту, что у тебя все позади, остались считанные весны, все равно берет верх веселье, хочется смеяться, делать глупости, мечтать о будущем — не о кучем своем, а о будущем мира. Так переживаю я апрель в Подмоскowie.

А тот апрель, о котором я рассказываю, был особенным. Он отогревал стариков, озорничал, как мальчишка, плакал первыми дождями и смеялся, когда снова показывалось солнце. Вероятно, я думал об этом апреле, когда осенью решил написать маленькую повесть и на листе бумаги сразу же поставил заглавие «Оттепель». Это слово, должно быть, многих ввело в заблуждение; некоторые критики говорили или писали, что мне нравится гниль, сырость. В толковом словаре Ушакова сказано так: «Оттепель — теплая погода во время зимы или при наступлении весны, вызывающая таяние снега, льда». Я думал не об оттепелях среди зимы, а о первой апрельской оттепели, после которой бывают и легкий мороз, и ненастье, и яркое солнце, — о начале той весны, что должна была прийти.

Второго мая мы с Корнейчуком отправились в Стокгольм на бюро Всемирного Совета. У меня в кармане был первомайский номер «Правды» с моей статьей «Надежда»; в ней я писал: «Надежда этой весны связана не только с возобновлением переговоров в Паньмыньчжоне... Советское правительство ясно сказало, что готово сотрудничать с правительствами других стран для того, чтобы обеспечить всеобщий мир... Все понимают, что пора монологов миновала, настает время диалога». Бюро собралось за полтора месяца до сессии. Все говорили о будущем бодро: идея переговоров, еще недавно считавшаяся утопией, теперь повторялась в речах государственных деятелей всех стран.

Помню, Лизлотта сказала мне, что я помолодел, вероятно, оттого, что многое в жизни начинало меняться; весна отогрела человека, слывшего неисправимым скептиком. Мы говорили о многом, и я сказал Лизлотте, что поговорка, существующая у многих народов об одной ласточке, которая не делает весны, попросту неумна. Конечно, если ласточка прилетит слишком рано, то она может испытать холод, голод, даже погибнуть, но все же прилетит она не осенью или зимой, а в самом начале замешкавшейся весны. Ласточки не делают времен года, но осенью они нас покидают, а весной возвращаются.

Сессия Всемирного Совета собралась в Будапеште в середине июня. Мы были полны надежд, но события в Берлине и казнь Розенбергов напомнили, что история не мчится по автостраде, а петляет по путаным тропинкам. Я не стану сейчас писать о немецких делах: не хочу переходить от воспоминаний к тому, что остается злобой сегодняшнего дня. Вспомню о казни Розенбергов. Она показалась всем не только постыдным поступком, но и политической бессмысленностью. За два месяца до этого Эйзенхауэр выступил с речью, в которой говорил, что атомная война была бы всеобщей катастрофой и что Америка хочет мира. Эта речь была напечатана в «Правде», и рядом помещен советский ответ. Казалось, что эпоха истерической нетерпимости Маккарти кончена. Дело Джилиуса и Этель Розенбергов длилось долго. Они жили в камерах, ожидая смерти, переписывались друг с другом, писали об их малейших детях. Эти письма были опубликованы, и теперь я нашел вырезку из газеты «Фигаро», которая обычно восхищалась Америкой. «Так могут говорить только люди с большим и чистым сердцем». Кардиналы и президент Франции, Томас Манн и Мартен дю Гар, Эррио и Мориак — все они просили Эйзенхауэра не казнить Розенбергов. Жизнь двух невинных людей оборвал вздорный политический акт, уступка крайним кругам, раздражение против европейских союзников, которые настаивали на переговорах с СССР. Жолио мне сказал: «Это ужасно, но не нужно падать духом. Сторонники политики силы могут затянуть дело, могут совершить еще много злого, но теперь ясно, что идея переговоров проникла во все слои общества, даже в южные штаты...»

(Жолио был прав: месяц спустя кончилась война в Корее, а в следующем году был подписан государственный договор с Австрией и договор об окончании военных действий в Индокитае.)

В Ново-Иерусалиме я вернулся к статье, которую начал еще весной, «О работе писателя». В ней я отвечал на письмо одного читателя, молодого ленинградского инженера, который писал мне: «...Разве можно сравнить наше советское общество с царской Россией? А классики писали лучше. Конечно, некоторые произведения читаешь с интересом, но много и таких, что спрашиваешь — зачем это написано? Как будто все есть, а чего-то не хватает, книга не берет за сердце, а люди показаны не такими, как на самом деле...»

Моя статья была попыткой разобраться в психологии художественного творчества. (потом я вернулся к тем же проблемам в очерках о Стендале и о Чехове). Я хотел объяснить глубокие причины, мешающие развитию нашей литературы; я упоминал о них не раз в этой книге и не стану к ним возвращаться. Приведу только короткий отрывок, чтобы показать некоторые мои мысли в лето 1953 года: «...Почему у нас в изобилии печатаются романы, повести, рассказы, показывающие современников душевно обкорнанными? Мне кажется, что часть вины ложится на некоторых (увы, многочисленных) критиков, рецензентов, редакторов, которые до сих пор принимают упрощение образа героя за его возвышение, а углубление и расширение темы за ее принижение. Много лет подряд наши журналы почти не печатали стихов о любви... Мне могут сказать, что героинка реконструкции не допускала других тем. Но Маяковский написал поэму «Про это» тоже не в заурядное время... Я могу продолжить вопросы. Почему так редко в рассказах можно найти упоминание о любовном или семейном конфликте, о болезнях, о смерти близких, даже о дурной погоде? (Обычно действие происходит в «погожий летний день», или в «душистый майский вечер», или в «ясное, бодрящее осеннее утро».) Некоторые критики еще придерживаются наивного мнения, будто наш философский оптимизм, изображение подвигов наших людей несовместимы с описанием неразделенной любви или потери близкого человека».

Я сидел почти все время на даче. Как-то мы приехали в Москву в первых числах июля. Пришла Ирина и сразу спросила: «Вы уже знаете?..» Она рассказала, что видала на улицах много войск, а на кинохронике ей вчера сказали, что Берия арестован. Неделью спустя я прочитал об этом в газете. Сообщение было сенсационным, но, признаться, оно меня не удивило. Еще в апреле, когда впервые были разоблачены незаконные действия органов безопасности, я спрашивал себя: неужели все ограничится каким-то Рюминым? Берия продолжал входить в правительство, обладал огромной властью. Я не видел человека, который хотя бы на мгновение усомнился в его вине, все радовались. Миллионы граждан еще верили в непричастность Сталина к злодеяниям, но Берию все ненавидели, рассказывали о нем как о человеке, развращенном властью, жестоком и низком.

Группу писателей пригласили в ЦК, где один из секретарей объяснял нам причины ареста Берии. Впервые нам,

беспартийным писателям, рассказывали о том, что не попало в печать, — это тоже показалось мне хорошим признаком. Товарищ, который с нами разговаривал, сказал: «К сожалению, в последние годы своей жизни товарищ Сталин находился под сильным влиянием Берии». Думая потом об этих словах, я вспомнил 1937 год. Скажет ли кто-нибудь, что тогда на Сталина влиял Ежов? Каждому ясно, что такие незначительные люди не могли подсказывать Сталину его государственный курс. Я снова перечитал передовую «Правды», посвященную аресту Берии: «Из неприязни ко всякому культу личности, — писал Маркс, — я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран, — я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и мое в тайное общество коммунистов произошло под тем условием, что из устава будет выброшено все, что содействует суеверному преклонению перед авторитетом». Ясно было, что «культ личности» или «суеверное преклонение перед авторитетом» относились не к Берии, а к Сталину. Конечно, я не мог предвидеть XX съезда, но я понимал, что не только убран преступник, палач — начинается отречение от методов, навыков и произвола сталинских лет.

Я видел, как меняются человеческие отношения, как люди начинают свободно разговаривать друг с другом. «Нормализация рабочего дня» была мерой, не носившей прямого политического характера, но она вернула миллионам людей человеческое существование. Все мы знали, что Сталин поздно вставал и поздно ложился, любил работать ночью. У каждого человека могут быть свои привычки и свои странности. Но Сталин был не человеком, а богом, и любая его мания отражалась на повседневной жизни множества людей. Министры боялись до двух-трех часов уйти с работы: Сталин может позвонить по вертушке. Министры задерживали начальников отделов, начальники — секретарей, секретари — машинисток. Многие мужья видали своих жен только по воскресеньям: он уходил на работу в двенадцать часов дня, возвращался в два часа ночи. Когда он бывал дома, жена была на службе или спала. Понятие «дня» и «ночи» исчезали, и вот в конце лета этому был положен конец.

В сентябре был Пленум ЦК. При Сталине мы слушали или читали неизменно одно: все идет как по маслу, все проблемы разрешены или близки к разрешению. В Энгельсе я видел нищий рынок, где продавали продукты, привезенные из Москвы, недоступные среднему служащему; а говорили и писали о всеобщем благоденствии. И вот на Пленуме подвергли резкой критике сельскохозяйственную политику, рассказали о тяжелом положении в животноводстве, о том, что в Советском Союзе коров теперь меньше, чем было в 1916 году в царской России. Я знал и до того, что в стране мало молока, но было внове, что об этом можно прочесть в газете. Тому, что люди называли «показухой», был нанесен удар, и это очень многих обрадовало.

Я сел за «Оттепель» — мне хотелось показать, как огромные исторические события отражаются на жизни людей в небольшом городе, передать мое ощущение оттаивания, мои надежды. Об «Оттепели» много писали. Время было переходным, некоторым людям трудно было отказаться от недавнего прошлого, их сердили и упоминание о деле врачей, и осторожная ссылка на тридцатые годы, и особенно название повести. В печати «Оттепель» неизменно ругали, а на Втором съезде писателей в конце 1954 года она служила примером того, как не надлежит показывать действительность. В «Литературной газете» цитировали письма читателей, поносившие повесть. Я, однако, получил много тысяч писем в защиту «Оттепели».

Теперь я перечитал эту книгу. (Я говорю о первой части, написанной в конце 1953 года. В 1955-м я совершил еще одну ошибку — написал вторую часть, бледную, а главное, художественно ненужную, которую теперь выключил из собрания сочинений.) Мне кажется, что в повести я передал душевный климат того памятного года. Сюжет, герои, в отличие от обычного, пришли как иллюстрации лирической темы. Есть герои, которые мне нравятся: пожилой инженер Соколовский, захолустный бюрократ Журавлев, честный художник Сабуров и халтурщик Володя. Упоминаний о событиях 1953 года мало. Журавлев сказал своей жене о Вере Шерер: «Ничего я против не имею, говорят, она хороший врач. А чересчур доверять нельзя, это бесспорно». Несколько времени спустя, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Журавлев, зевая, сказал жене: «Оказывается, они ни в чем не виноваты. Так что твоя Шерер зря расстраивалась...» Инженер Коротеев упрекает себя в двурушничестве: «Я часто думаю: «Это хорошо в книге, а не

в жизни»... Но я ведь не хочу лгать. Почему так получается?.. Савченко куда цельнее, он не пережил ни тридцатых годов, ни войны, он большего требует — это его право. Мы, кажется, подходим к тому, о чем только смутно мечтали...» В повести много разговоров об искусстве. В Сабурова я вложил страстную любовь к живописи, подвижническую жизнь, даже некоторые мысли Р. Р. Фалька. Я прочитал эту главу Роберту Рафаиловичу до того, как отдал рукопись в журнал, и он ее одобрил. Не знаю, удалась или нет «Оттепель», но она написана с любовью к героям, с желанием показать, почему некоторые из них ведут себя плохо. Халтурщик Володя чувствителен к искусству: увидев работы Сабурова, он понимает, что именно он променял на деньги и похвалы. Ему холодно, и в этом, может быть, залог его спасения. А два немолодых человека, знавшие много обид, одинокие, замерзавшие, находят друг друга, и Соколовский, глядя в окно на ранний весенний день, усмехается: «Смешно, сейчас Вера придет, и я даже не думаю, что я ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу: «Вера, вот и оттепель...» Я доволен, что написал эту маленькую книгу, хотя пережил из-за нее немало горьких часов.

Пять лет назад, когда я начал писать мои воспоминания, я сразу решил, что кончу их на том дне, когда сел за «Оттепель». Дойдя до этой главы, я убедился, что был прав: мне было труднее говорить о месяцах, породивших «Оттепель», о судьбе этой повести, чем о различных, куда более драматичных событиях предшествовавших лет. 1953 год — первая страница новой части не только моей жизни, но и жизни нашего народа. За ним последовали годы, богатые событиями, но они настолько близки, даже злободневны, что не вмещаются в историю прожитой жизни. (О некоторых из этих событий, а также о людях живых или умерших после 1953 года я все же написал.)

Пять лет я просидел над этой книгой. Было много радостного для меня в течение этих лет, были и тяжелые месяцы. К моему собственному удивлению, я переживал и счастье и горе еще острее, чем в молодости, но силы уменьшались, и если не скудела нежность, то в отвердевших сосудах текла старческая кровь. Я мог бы здесь написать слово «конец», но мне хочется еще раз оглянуться назад, попытаться осмыслить длинную жизнь обычного человека в необычное время и если не подвести итоги, то сделать некоторые частные выводы, поделиться с читателями моими сомнениями и моей надеждой.

Год назад один товарищ, работавший в архиве, переслал мне копию документа царской охранки: «Выписка из полученного агентурным путем письма без подписи из Москвы от 17 ноября 1908 года к Сергею Николаевичу Шестакову в Киев». «...Из Полтавы я поехал через Смоленск в Москву. Здесь внешне прескверно: приходится таскаться по ночевкам, несмотря на множество знакомых, найти ночлег довольно трудно. Что касается до впечатлений, произведенных московскими делами вообще и нашими знакомыми в частности, то, как ни печальны дела, после юга они отрадны. Трудно сказать, лучше ли теперь положение, чем было весной, но, во всяком случае, не хуже. Многие убеждены, что партийный кризис подходит к концу. На состоявшейся на днях областной конференции было констатировано некоторое оживление работы, в особенности в Иваново-Вознесенске, Сормове и в Московском округе. На днях, как вы знаете из газет, Московский окружной комитет был арестован. Что касается тактических взглядов, то раньше всего рассказу о резолюции Московского комитета, принятой с некоторыми поправками на областной конференции. Основные ее положения таковы: общее международное осложнение классовых противоречий, конец некоторого оживления в российском капитализме, убудочное социал-реформаторство буржуазии, гнусность аграрной «реформы» правительства, невозможность успешной экономической борьбы — выход в политическое брожение, неизбежность революционного подъема, более пролетарский и более международный характер его. В качестве практических задач партия отмечает необходимость установления более тесных связей с пролетариатом Запада, создания крепкой нелегальной организации, желательность более строгого социалистического характера работы, а также необходимость воздействовать в более строгом стиле на фракцию. Эта последняя стала держать себя приличнее: приняла резолюцию о подчинении ЦК, и депутат Белоусов даже произнес речь по аграрному вопросу, написанную Лениным. Кроме того, она официально выступила с заявлением о своем несогласии с отклонившимися большевиками. Эти последние встретили сочувствие у Плеханова, Мартова и Дана, которые заявили, что нелегальная работа теперь не только не полезна, но и вредна. Редакция «Голос социал-демократа», то есть кавказские

меньшевики во главе с Костровым, с ними не согласны. Вот и все о партийных делах. 8—9 номера «Голоса с.-д.» в Москве нет, зато получили № 30 «Пролетария»...»

Читая, я не сразу понял, кто автор письма, — может быть, старый большевик, мой товарищ давних лет? А дойдя до адреса, вдруг вспомнил. В конце письма приписка: «По мнению ДП, автор настоящего письма поднадзорный Илья Григорьевич Эренбург». Департамент полиции не ошибся — это копия моего письма Вале Неймарку. Я перечитываю текст и дивлюсь не столько содержанию, сколько языку. Так иногда с трудом узнаешь себя на старой фотографии.

Давно уже нет в живых ни Вали Неймарка, ни социал-демократических депутатов Государственной думы, ни Х., который возмутил меня своими сентенциями об утилитарной сущности искусства. Жизнь прожита, и я могу только добавить, что есть линия, связующая письмо подростка с книгой старого писателя. Я не жалею ни о том, что в возрасте пятнадцати лет начал работать в подпольной большевистской организации, ни о том, что три года спустя, фанатично полюбив поэзию, перестал ходить на собрания, посещал еще несколько месяцев Школу социальных наук, но и это забросил, читал с утра до ночи стихи старых и новых поэтов, глядел холсты, слушал споры о кубизме и о «научной поэзии».

Однако даже в те годы я не мог забыть о том, что мне показалось в пятнадцать лет простой и единственной правдой, с волнением слушал рассказы людей, приехавших из России, ходил в мае к Стене коммунаров, ненавидел мишуру и ложь мира денег. Читатель этой книги знает, что всю мою жизнь я только и делал, что пытался связать для себя справедливость с красотой, а новый социальный строй с искусством. Существовали два Эренбурга, они редко жили в мире, часто один ущемлял, даже топтал другого, это было не двуличием, а трудной судьбой человека, который слишком часто ошибался, но страстно ненавидел идею предательства.

Критики редко стремятся понять писателя, у них другие задания — изредка (главным образом в юбилейные даты) они прославляют автора, а чаще его поносят. Западные журналисты осуждали и осуждают меня за тенденциозность, политическое пристрастие, подчинение правды узкой идеологии, а то и административным директивам. Некоторые советские журналисты, напротив, утверждали и утверждают, что я страдаю

избытком субъективизма и в то же время объективизма, не умею отделить новое сознание от хлама обветшалых чувств, вывожу нетипичных героев, покрываю формализм.

Я не стану защищать написанные мною произведения, о некоторых из них я отозвался в этой книге достаточно сурово; но сейчас я говорю не о моих литературных недостатках, а о прожитой жизни. «Люди, годы, жизнь» не роман, и я не мог переделать фэбулу или изменить характер героя. Если я умолчал о некоторых событиях моей жизни, то о своих заблуждениях, о своем легкомыслии я говорил откровенно. В свое оправдание добавлю, что внутренние блуждания и противоречия пережили многие из моих современников; видимо, это было связано с эпохой.

Я сформировался на традициях, на идеях, на моральных нормах XIX века. Теперь многое мне самому кажется древней историей, а в 1909 году, когда я исписывал тетрадки скверными стихами, еще жили Толстой, Короленко, Франс, Стриндберг, Марк Твен, Джек Лондон, Блуа, Брандес, Синг, Жорес, Кропоткин, Бебель, Лафарг, Пеги, Верхарн, Роден, Дега, Мечников, Кох... Я не отрекаюсь ни от подростка, стриженного ежиком, который осуждал «отклонистов» и посмеивался над Надей Львовой за ее увлечение поэзией, ни от зеленого юноши, который, открыв существование Блока, Тютчева, Бодлера, возмущился разговорами о второстепенном и сугубо подсобном назначении искусства; теперь я понимаю обоих.

Увлечение революционной борьбой, работа в подпольной большевистской организации не были для меня случайными, они многое предопределили в моей жизни, и если они мешали мне получить среднее образование — вместо гимназии я проводил дни на явках, на собраниях, в рабочих общежитиях или в чайных, а потом в тюремной камере, — то многому они меня научили. Конечно, начать жизнь именно так мне помогли и события 1905 года, и старшие товарищи, прежде всего мой друг Николай, ученик Первой гимназии, и книги; но в выборе прежде всего сказались черты моего характера.

В 1917 году я не узнал того, за что боролся десять лет назад: в эмиграции я успел оторваться от жизни России и пережить увлечения различными ценностями, действительными и мнимыми, которые показались мне попираемыми. Два года спустя я понял свою ошибку. Некоторые друзья меня звали в Париж, но я поехал в Москву. Я сам привязал себя к той идее, которая казалась мне в начале крылатой гоголевской

тройкой, а потом государственной колесницей, танком, спутником, — в 1957 году я писал:

...В глухую осень из российской пущи,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей...
Не знаю, догадаются, поймут ли...
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.

Я вложил в уста, вернее, в дневник одного из героев повести «День второй» многие из моих сомнений. Володя Сафонов повесился — это я пытался повесить самого себя. Я заставил себя о многом молчать: то были годы свастики, испанской войны, борьбы не на жизнь, а на смерть. Эпоха, которую теперь называют «культом личности», к добровольному молчанию примешивала и вынужденное.

Меня могли бы арестовать в годы произвола, как арестовали многих моих друзей. Я не знаю, с какими мыслями умер Бабель, он был одним из тех, молчание которых было связано не только с осторожностью, но и с верностью. Я мог бы умереть в послевоенные годы, до XX съезда, как умерли Таиров, Суриц, Тувим. Их тоже мучили злодеяния, совершаемые якобы в защиту идей, которые они разделяли и за которые чувствовали свою ответственность. Я счастлив, что дожил до того дня, когда меня вызвали в Союз писателей и дали прочитать доклад Хрущева о культе личности.

Легче переменить политику, экономику, чем человеческое сознание. Я часто встречаю людей, которые не смогли освободиться от душевной скованности, страха, казуистики, оставшихся в них от предшествовавших лет. Однако растет поколение, не знавшее ни «бурных аплодисментов, переходящих в овацию», ни ночей, когда мы прислушивались к шуму на лестнице. Переход людей от религии к научному сознанию длился очень долго, а подростков, родившихся в начале сороковых годов, за один день перевели от слепой веры к критическому мышлению. Остается еще раз поблагодарить людей, нашедших в себе достаточно силы и понявших, что разоблачить произвол — это значит укрепить идеи Октября. А для меня нет большей радости, чем слушать порой незрелые, но искренние

и задорные высказывания наших юношей, едва вступающих в жизнь.

С годами я понял, что и моя любовь к искусству, и моя верность идее социализма связаны с одним — с судьбой культуры. Когда я начинал жить, культура была творчеством и достоянием немногих. У нас теперь в той или иной форме, в той или иной степени культура дошла почти до всех. В течение сорока лет люди читали, думали, и они духовно выросли. В годы, когда «Новый мир» печатал мои воспоминания, я получал множество писем: мои сверстники вспоминали свое прошлое, делились тревогами и надеждами, а молодые ставили вопросы, которые когда-то зря называли «проклятыми»; такие письма меня учили и вдохновляли.

В этой книге я часто писал о своих ошибках. Были ошибки и у других, были ошибки и у общества, их список длинен, о нем часто вспоминают не только наши противники, но и мои соотечественники.

В послевоенные годы я много бывал на Западе. Уровень жизни вырос по сравнению с довоенным, победил новый индустриальный стиль в архитектуре, в утвари, жизнь стала комфортнее и спокойнее. Однако спокойствие исчезло не только из-за роста механизации, но также из-за неуверенности в завтрашнем дне. Я видел, как рухнула Четвертая республика, как развалилась Британская империя. Только в Соединенных Штатах можно еще услышать апологию капитализма, а политики Западной Европы разговорами о плановой экономике, о частичной национализации, о повышении подоходных налогов пытаются уверить, что, даже стоя на месте, можно шагать в ногу с веком.

Я думаю, что наши ошибки, и материальные и духовные, связаны с тем, что раннее утро не полдень и что, как уверяет французская поговорка, старость многого не может, а молодость многого не знает. По дорогам прошлого легко мчаться в превосходном и вполне современном «бьюике». А к будущему пробираешься с трудом, часто блуждаешь, и спросить, как лучше пройти, некого.

Мир очень изменился. Когда я начинал сознательную жизнь, самодурам или реакционерам ставили в вину отсутствие логики — картезианство еще было живым. Полвека истории, опыт каждого показали, что старая логика обанкротилась; безупречные гипотезы опровергались событиями; жизнь разво-

рачивалась не по законам Декарта, а зачастую наперекор им. С помощью диалектики легко объяснить происшедшее. Но я сейчас думаю о другом: как должен поступить человек в своей личной жизни, если перед ним то, что не предвидели ни любимые им авторы, ни различные конференции или дискуссии?

Когда я был мальчиком, в русских, немецких или итальянских школах детей учили, что грех убивать, красть, оскорблять родителей, завидовать чужому счастью; школьники знали на память десять заповедей. Во французских школах после отделения церкви от государства ввели новый предмет — «мораль»: десять заповедей были обновлены с помощью басен Лафонтена, а статьи уголовного кодекса украшены цитатами из Гюго. Дом строят не с крыши, и потомки будут говорить о середине XX века как об эпохе больших научных, социальных и технических открытий, но не как о времени гармоничного расцвета человека: в наши дни образование повсюду опережает воспитание, физика оставляет позади себя искусство, и люди, приближаясь к радиоактивным двигателям, не снабжены тормозами подлинной морали. Совесть — понятие отнюдь не религиозное, и Чехов, не будучи верующим, обладал (как и другие представители русской литературы XIX века) обостренной совестью. Иногда мне кажется, что необходимо восстановить понятие совести; однако я выхожу за пределы и этой главы, и всей моей книги.

Я помню одного нашего лектора, который в 1932 году уверял, будто открытия Эйнштейна — попытка воскресить идеализм, даже мистику. Новая наука встретила много неожиданных препятствий: роды всегда трудны. За тридцать лет успехи ученых стали настолько очевидными, что изменилось сознание любого среднего человека. Наука XIX века теперь кажется тесной уютной квартирой. Вероятно, нечто подобное, хотя и в меньшей степени, переживали люди позднего Возрождения, поняв, что Земля не центр вселенной. По-новому встало перед нами понятие бесконечности. То, что казалось абсолютно реальным, превращается в абстракцию, а вчерашняя абстракция становится реальностью.

Когда развитие физики и ее роль в создании ядерного оружия дошли до сознания политиков, военных, да и простых людей, все начали задумываться над возможностью уничтожения жизни на нашей планете. Есть два выхода — накапливать ядерное оружие или согласиться на всеобщее разоружение. Я продолжаю ездить на различные совещания или конферен-

ции сторонников мира, на встречи «Круглого стола». Скептики порой мне напоминают прошлое — и Гаагскую конференцию, и конгресс в Амстердаме, организованный перед второй мировой войной, — говорят о моей наивности. Наивны, пожалуй, скептики. Прежде разоружение было утопией идеалистов или лицемерием грабителей. Когда один тигр говорил другому, что нужно вырвать клыки и обстричь когти, они надеялись этим успокоить многомиллионные стады овец. Теперь тигры поняли, что атомная война не стратегические планы, не вопрос о том, у кого больше нефти, стали или даже урана, а мгновенное и всеобщее истребление. Разоружение стало реальной потребностью всех, и если продолжают споры о его осуществлении, то только потому, что традиции в международной политике куда крепче, чем в естествознании. Вопрос в одном: обгонят ли предостережения физиков рутину дипломатов и осознают ли различные правительства необходимость перейти от разговоров к делу до того, как вздорный случай вызовет катастрофу.

Жизнь полна противоречий. Есть люди, которые говорят о совместном освоении космоса, о полетах на Луну и одновременно готовы (к счастью, на словах) взорвать бедную передовую планету потому, что не могут договориться с другими людьми о статусе нескольких кварталов одного города. Тысячелетние навыки решать спор силой побуждают теперь различные государства обзавестись ядерным оружием. Если в моей молодости писали, что нельзя жить возле бочки пороха, то теперь мы живем возле бочек куда более опасных. Знание опередило сознание.

Во второй половине XX века искусству пришлось повсюду потесниться. Внешне оно распространилось: тиражи романов почти повсюду повысились, увеличилось число посетителей музеев и выставок, окрепло кино, родилось телевидение. Однако в частной жизни множества людей роль искусства уменьшилась. Может быть, это произошло оттого, что язык искусства оказался опереженным резкими поворотами и в науке, и в социальной жизни. А может быть, эти повороты и привели к некоторому охлаждению к искусству — люди потеряли душевное спокойствие, восхищались искусственными спутниками, боялись ядерных бомб, тешились изобретениями, неистовствовали на спортивных состязаниях и мечтали о машинах, способных превращать полуфабрикаты в трапезы Лукулла.

Некоторые замечательные изобретения, как, например, телевидение, ежедневно поставляют эрзацы искусства. Люди

реже идут в театр и вместо того, чтобы раскрыть книгу, садятся у телевизора. На экране мелькают бои в Конго и олимпиады, свадьбы королевы и похороны президента, балерины в пачках и дрессированные кошки, Гамлет и боксеры, концерт и светские скандалы. Все это рябит, дребезжит, грохочет, мяукает, стихи смешиваются с рекламами, а музыка с прогнозами погоды. Люди смотрят, тут же закусывают, сплетничают, спорятся, восприятие постепенно притупляется.

Я помню, как в моем детстве все благоговейно говорили о Толстом, глядели на него, как на пророка. Когда Золя осудили за защиту Дрейфуса, взволновался весь мир. В годы первой мировой войны люди, которые продолжали думать, прислушивались к голосу Ромена Роллана. В парижском театре зрители дрались из-за музыки Стравинского или декораций Пикассо. Теперь порой дерутся болельщики на футбольном матче.

Лет пять назад по моей вине в «Комсомольской правде» началась дискуссия: обречено ли искусство на смерть в «атомном веке». Один из наших кибернетиков высмеял молодых людей, которые продолжают восхищаться искусством и, по его словам, вздыхают: «Ах, Блок! Ах, Бах!» Я прочитал тысячи писем, адресованных мне и газете. Почти все юноши и девушки испугались идеи отмирания искусства; но у кибернетика нашлась сотня сторонников, которые противопоставляли музыке или поэзии величие естествознания; их доводы были смесью идеи технократии с утилитаризмом тургеневского Базарова.

Если бы эти люди оказались правы в своих прогнозах, то освоением космоса занялись бы неполноценные существа, обладающие нужными знаниями, но лишенные культуры чувств, которые, наверно, мало чем отличались бы от мыслящих машин XXI века. Открытие огня, то есть способ его добывания, относится к началу каменного века. Десятки тысячелетий спустя Эсхил написал «Прикованного Прометея». Эта трагедия жива и теперь, она вдохновляет миллионы людей, усиливает в человеке чувство достоинства. Половое влечение свойственно даже мухам, но для того, чтобы оно стало любовью, потребовались тысячелетия искусства — от древних критян и Калидасы до Гете, Стендаля, Толстого и дальше — до Аполлинера, Блока, Маяковского, Хемингуэя, Элюара, Пастернака.

Я думаю, что новое сознание, новые чувствования требуют искусства нового языка. Людям, привыкшим к живописи Джотто, к стихам Рютбефа, Вийон, Рабле или Учелло показались па-

днем искусства, а четыреста лет спустя для французов Второй империи, воспитанных на классицизме и романтизме, Мане, Дега, Бодлер, Флобер были варварами, попирающими красоту.

На ленинградском симпозиуме писателей, в котором участвовали литераторы из различных стран, кто-то сказал, что лучше быть продолжателями Толстого, Диккенса и Стендаля, чем Пруста, Кафки или Джойса. Я не думаю, что наше время оставляет художнику единственный выбор — чьим эпигоном он предпочитает быть.

Читателя не удивит, что столько места в книге вспоминавший я уделял искусству: это связано не только с моим ремеслом, но и с моим мироощущением, — я убежден, что нельзя идти вперед, шагая только одной ногой, и что без духовной красоты человека никакие социальные изменения, никакие научные открытия не принесут людям подлинного счастья. Ссылки на то, что и содержание и форма искусства диктуются обществом, при всей их правильности кажутся мне чересчур формальными. Конечно, Леонардо да Винчи или Микеланджело знали больше, чувствовали острее и глубже, чем их современники, и, конечно же, им приходилось считаться с меценатами, кардиналами, принцами, даже с наемными убийцами эпохи. Но, прославляемые или преследуемые, они были философами, открывателями, прокладывали путь в будущее. Их произведения нас потрясают и теперь, а история итальянских городов конца XV — начала XVI века нам кажется бурной, кровавой, но давно отшумевшей, да и мало привлекательной. Не был ли Стендаль пронизательнее, глубже своих современников — подданных «добротого короля с зонтиком»? При жизни «Красное и черное» прочитали несколько тысяч человек, из которых, может быть, только сотня-другая разгадала значение этой книги. Вот уж кто не был эпигоном! Стендаль вырос из своего века, но он его перерос. Его романы многих отталкивали, они порой сердили даже Бальзака и Гете, которые смутно чувствовали силу Стендаля. А разве стихи Пушкина, «Герой нашего времени», «Мертвые души» — это только гениальное отображение России Николая Первого, концентрат идей и чувствований передовых дворян той эпохи?

Книга Винера о кибернетике показалась мне увлекательной, но я не начал отпевать искусство. Напротив, я понял, что в нашу эпоху все очень быстро меняется. Изменится, наверно, и литература или живопись. Хуже всего начать по-стариковски

брюзжать, осуждать время и молодых — они, дескать, не могут ни мечтать, ни страдать, как их деды. Я во многом повинен, но только не в этом.

Повествование о своей жизни я оборвал на первой главе той части, которая для меня должна быть последней и о которой слишком трудно писать, — это сегодняшний день. С начала 1954 года, когда я дописал «Оттепель», прошло больше десяти лет. Я продолжал колесить по миру, читал книги новых авторов, встречался с друзьями, любил, терзался, надеялся.

Я жил, кажется, гуще, порой и острее, чем в молодости. Оказалось, что я не знал ни глубины некоторых чувств, ни голоса тишины, ни всей ценности последних солнечных дней поздней осени.

В начале 1963 года я провел два дня с Пикассо. Я глядел на его новые полотна «Похищение сабинянок». На композицию его толкнула картина Давида. Согласно древней легенде, римляне в поисках жен похитили сабинянок, а когда сабины пошли войной на Рим, женщины, успевшие обзавестись детьми, остановили кровопролитие. Пикассо, однако, создал не трогательное примирение, а апокалиптическое видение войны, новые «Герники», причем каждый вершок холстов глубоко живописен. В мастерской я стоял замороженный и только ночью подумал: удивительно — ведь ему за восемьдесят!..

Я увидел много новых для меня стран — Индию, Японию, Чили, Аргентину, мир для меня стал шире: ведь в молодости я знал только Европу да понаслышке Соединенные Штаты — полторы части света вместо пяти. Я познакомился с некоторыми людьми, которые показались мне значительными. Упомяну о беседе в Дели с Джавахарлалом Неру, который был для меня в политике тем, чем холсты Амриты Шер-Гил в живописи, — органическим сплавом индийской национальной глубины с передовой мыслью Запада.

Впервые я побывал в Армении и влюбился в нее; своей розовой сухостью она напомнила мне Кастилию, понравились люди, страстно любящие свою землю и вместе с тем не ограниченные провинциалы, а подлинные граждане мира. М. С. Сарьян писал мой портрет, вспоминал прошлое, яростно проклинал людей, безразличных к искусству, и я видел не старого мастера, а юношу, который впервые восхищается охрой и кобальтом. В 1965 году Мартиросу Сергеевичу исполнилось восемьдесят пять лет, и его старые полотна, спрятанные в фон-

дах музеев, были показаны на выставке — константинопольские собаки, пальмы Египта, персианки. Сделали фильм, посвященный Сарьяну. Я написал текст. Я рассказал, как мешали живописцу делать живопись, как в 1948 году он снял свои лучшие холсты со стен — начал их резать.

Искусство продолжало меня радовать, открывало на многое глаза. Изобретение кинематографии — заслуга техники, но когда я увидел последние фильмы Феллини, Алена Рене, я понял, что кино начинает находить свой язык, что оно способно не только передать игру гениального мима Чаплина, реальность зримого, динамику событий, но и осветить духоту, темноту душевного мира человека не так, как это делали сцена, книга или холст.

Меня обрадовала своей точностью повесть Сэлинджера о подростке, да и многие другие книги, рассказы наших молодых — Казакова, Аксенова. Прочитав короткий и на первый взгляд традиционный рассказ Солженицына, я почувствовал себя богаче: автор иначе, чем Чехов, но с чеховской глубиной ввел в мой мир прекрасную русскую женщину, прожившую трудную жизнь.

За последние годы умерли Фальк, Незвал, Жолио, Ривера, Кончаловский, Пастернак, Леже, Заболоцкий, Хемингуэй, Назым Хикмет. Я чувствую, до чего поредел лес моей жизни, нежно и суеверно гляжу на живых друзей, а вечером утешаюсь тенями подростков.

Я узнал К. Г. Паустовского, — прежде я очень редко встречался с ним, знал большого мастера, а увидел благородного, доброго и смелого человека. Мы подружились на старости. Меня поддерживает сознание, что Константин Георгиевич жив, что завтра он, наверно, еще что-то скажет, что он мой ровесник и пережил многое из того, что написано в этой книге, что он не только высокий мастер и человек встревоженной совести, что весной 1963 года он пришел ко мне и поддержал меня в трудные дни.

Я полюбил Виктора Некрасова, смелого и умного писателя, оказалось, что возраст не стена: есть и у старости свои окна и двери.

Я не разучился ни любить, ни надеяться, да уж теперь, видно, не разучусь. Конечно, старость вяжет человека — иссякают силы. Зато теперь у меня не только больше опыта, но и больше внутренней свободы.

Мне нелегко было написать эту книгу. Сколько бы я ни говорил о взлете науки или о борьбе за мир, все равно я знал,

что исповедуюсь на площади. Помогало мне сознание, что, рассказывая об умерших друзьях, о себе, порой вставляя дорогое имя, я борюсь против забвения, пустоты, небытия, которые, по хорошим словам Жюлио, противны человеческой природе.

Я знал, начиная эту книгу, что меня будут критиковать: одним покажется, что я слишком о многом умалчиваю, другие скажут, что я про слишком многое говорю. В предисловии ко второму тому, написанному осенью 1963 года, я повторил: «Моя книга «Люди, годы, жизнь» вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что моя книга — рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никогда не претендую дать историю эпохи...»

Критиковали, да и будут критиковать не столько мою книгу, сколько мою жизнь. Но начать жизнь сызнова я не могу. Я не собирался никого поучать, не ставил себя в пример. Я слишком часто говорил о своем легкомыслии, признавался в своих ошибках, чтобы взяться за ампулу старого резонера. Притом я сам с охотой послушал бы мудреца, способного дать ответ на многие вопросы, которые продолжают меня мучить. Мне хотелось рассказать о прожитой жизни, о людях, которых я встретил: это может помочь некоторым читателям кое над чем задуматься, кое-что понять.

Сейчас у меня слишком много желаний и, боюсь, недостаточно сил. Кончу признанием: я ненавижу равнодушие, занавески на окнах, жесткость и жестокость отъединения. Когда я писал о друзьях, которых нет, порой я отрывался от работы, подходил к окну, стоял, как стоят на собраниях, желая почтить усопшего; я не глядел ни на листву, ни на сугробы, я видел милое мне лицо. Многие страницы этой книги продиктованы любовью. Я люблю жизнь, не каюсь, не жалею о прожитом и пережитом, мне только обидно, что я многого не сделал, не написал, не догоревал, не долюбил. Но таковы законы природы: зрители уже торопятся к вешалке, а на сцене герой еще восклицает: «Завтра я...» А что будет завтра? Другая пьеса и другие герои.

**Из новых
стихов**



Над рукописью

Если слово в строке перечеркнуто,
А поверх уж другое топорщится,
Значит, эти слова — заменители,
Невесомы они, приблизительны,
Значит, каждое слово уж выпалось,
Значит, это — слова, а не исповедь,
Значит, все раздобыто, не добыто,
Продиктовано роботом роботу.



Пять лет описывал не пестрядь быта,
Не короля, что неизменно гол,
Не слезы у разбитого корыта,
Не ловкачей, что забивают гол.
Нет, вспоминая прошлое, хотел постичь я
Ходы еще не конченной игры.
Хоть Янус и двулик, в нем нет двуличья,
Он видит в гору путь и путь с горы.
Меня корили — я не знаю правил,
Болтлив, труслив — про многое молчу...

Костра я не разжег, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу.
На кладбище друзей, на свалке века
Я понял: пусть принижен и поник,
Он все ж оправдывает человека,
Истоптанный, но мыслящий тростник.

Сонет

Давно то было. Смутно помню лето,
Каналов высохших бродивший сок
И бархата спадающий кусок —
Разодранное мясо Тинторетто.
С кого спадал? Не помню я сюжета.
Багров и ржав, как сгусток всех тревог
И всех страстей, валялся он у ног.
Я все забыл, но не забуду это.
Искусство тем и живо на века —
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны — в этот век ракет
И непреложны — ими светел свет.
Все нарушал, искусства не нарушу.

Над стихами Вийона

«От жажды умираю над ручьем».
Водоснабженцы чертыхались:
«Поклеп! Тут воды ни при чем!
Докажем — сделаем анализ».
Вердикт геологов, врачей:
«Вода есть окись водорода,
И не опасен для народа
Сей оклеветанный ручей».
А человек, пустивший слухи,
Не умер вовсе над ручьем, —
Для пресечения разрухи
Он был в темницу заточен.
Поэт, ты лучше спичкой чиркай
Иль бабу снежную лепи,
Не то придет судья с пробиркой, —
И ты завоешь на цепи.
Хотя — и это знает каждый —
Не каждого и не всегда
Освободит от вещей жажды
Наичистейшая вода.

Надежда

Любой сутяга или скаред
Чтоб научился тарабарить,
Попы, ораторы, шаманы,
Пророки, доки, шарлатаны,
Наимоднейшие поэты,
Будь разодеты иль раздеты,
Предатели и преподобья —
Всучают тухлые снадобья.
И надувают все лекарства,
Оказывалось хлебом царство,
Бежит нежнейшая Лаура,
И смертнику за час до смерти
Приятель говорит «поверьте»,
Когда он все помои вылил,
Когда веревку он намылил.
Но есть одна — она не кинет,
Каким бы жалким ни был финиш,
Она растерянных и наглых,
Без посторонних, с глазу на глаз,
Готова не судить, не вешать,
Всему наперекор утешить.
О чем печалилась Пандора?
Не стало славы и позора,
Убрались ангелы и черти,
Никто не говорит «поверьте»,
Но где-то в темном закоулке,
На самом дне пустой шкатулки,
Хоть все доказано, хоть режь ты,
Чуть трепыхает тень надежды.

В костеле

Не говори о маловерах,
Но те, что в сушь, в обрез, в огрыз
Не жили — прятались в пещерах,
В грязи, в крови, средь склизких крыс,
Задрипанные львы их драли,
Лупили все, кому не лень,
И на худом пайке печали
Они шептали всякий день,
Пусты, обобранные, раздеты,
Пытаясь провести конвой,
Что к ним придет из Назарета
Хоть и распятый, но живой.
Пришли в рождественской сусали,
Рубинами усыпан крест,
Тут кардинал на кардинале
И разругались из-за мест,
Кадили, мазали елеем,
Трясли божественной мошной,
А ликовавшим дуралеям
Тем всыпали не по одной.
Так притча превратилась в басню:
Коль петь не можешь, молча пей.
Конечно, можно быть несчастней,
Но не придумаете ли глупей.

Сем Тоб и король Педро Жестокий

То было время раннее,
И не было в Испании
Ни золота, ни пороха,
Ни флота Христофорова.
Тогда еще горшечники
Не рвались к бесконечности,
Не ведали святители,
Что значит относительность.
Король тягался с грандами,
Корпел он над финансами,
Слал против мавров конницу
И заболел бессонницей.
Все медики с примочками
Не знали, как помочь ему.
Коль спишь, так спишь, а иначе
Лежишь один среді ночи.
Сем Тоб, бедняк, юродствовал,
Мудрил и стихоплетствовал,
Ходил с большими пейсами —
Был рода иудейского.
А все ж король попробовал
И приказал Сем Тобу он:
«Ты знаешь все нечистое,
Раскрой такую истину,
Чтоб я уж не тревожился,
А спал, как спать положено». —
Забыв про трон и титулы,
Сем Тоб приказ тот выполнил:
«На свете все случается,
На свете все кончается.
Луна бывает месяцем,
Потом растет и светится,
Она такая полная,
Такая безусловная,

Что не убавят толики
Ни мавры, ни католики.
Но вот луна уж нервная,
Как говорят, ущербная,
Отгрызена, отъедена —
На свете так заведено».
Король взревел неистово:
«Ты не поэт, а выскочка! —
И застучал он по столу: —
Читаешь Аристотеля?
Ах, морда ты жидовская,
Не били уж давно тебя.
Луна луной останется,
А вот тебе достанется...»
Сем Тобу крепко всыпали,
Но он, как встарь, пописывал.
А короля Кастилии
Ближайший родич вылечил:
Рубать умея смолоду,
Отсек больную голову.
Не мучаясь вопросами,
Король заснул без просыпу.

В Римском музее

В музеях Рима много статуй,
Нерон, Тиберий, Клавдий, Тит,
Любой разбойный император
Классический имеет вид.
Любой из них, твердя о правде,
Был жаждой крови обаян,
Выкуривал британцев Клавдий,
Армению терзал Троян.
Не помня давнего разгула,
На мрамор римляне глядят
И только тощим Калигулой
Пугают маленьких ребят.
Лихой кавалерист пред Римом
И перед миром виноват:
Как он посмел конем любимым
Пополнить барственный сенат?
Оклеветали Калигулу —
Когда он свой декрет изрек,
Лошадка даже не лягнула
Своих испуганных коллег.
Простят тому, кто мягко стелет,
На розги розы класть готов,
Но никогда не стерпит челядь,
Чтоб высекли без громких слов.



Когда зима, берясь за дело,
Земли увечья, рвань и гной
Вдруг прикрывает очень белой
Непогрешимой пеленой,
Мы радуемся, как обновке,
Нам, простофилям, невдомек,
Что это старые уловки,
Что снег на боковую лег,
Что спишут первые метели
Не только упраздненный лист,
Но все, чем жили мы в апреле,
Чему восторженно клялись.
Хитро придумано, признаться,
Чтоб хорошо сучилась нить,
Поспешной сменой декораций
Глаза от мыслей отучить.

Последняя любовь

Календарей для сердца нет,
Все отдано судьбе на милость.
Так с Тютчевым на склоне лет
То необычное случилось,
О чем писал он наугад,
Когда был влюбчив, легкомыслен,
Когда, исправный дипломат,
Был к хаоса жрецам причислен.
Он знал и молодым, что страсть
Не треск, не звезды фейерверка,
А молчаливая напасть,
Что жаждет сердце исковеркать,
Но лишь поздней, устав искать,
На хаос наглядевшись вдосталь,
Узнал, что значит умирать
Не поэтически, а просто.
Его последняя любовь
Была единственной, быть может.
Уже скудела в жилах кровь
И день положенный был прожит.
Впервые он узнал разор,
И нежность оказалась внове...
И самый важный разговор
Вдруг оборвался на полслове.

Старость

1

Все призрачно, и свет ее неярок.
Идти мне некуда. Молчит беда.
Чужих небес нечаянный подарок,
Любовь моя, вечерняя звезда!
Бесцельная и увести не может.
Я знаю все, я ничего не жду.
Но долгий день был не напрасно прожит —
Я разглядел вечернюю звезду.

2

Молодому кажется, что к старости
Расступаются густые заросли,
Все измерено, давно погашено,
Не пойти ни вброд, ни врукопашную,
Любит поворчать, и тем не менее
Он дошел до точки примирения.

Все не так. В моем проклятом возрасте
Карты розданы, но нет уж козыря,
Страсть грызет и требует по-прежнему,
Подгоняет сердце, будто не жил я,
И хотя уже готовы вынести,
Хватит на двоих непримиримости,
Бьешься, и не только с истуканами,
Сам с собой.
Еще удар — под занавес.

...И уж не золотом по черни,
 А пальцем слабым на песке
 Короче, суше, суеверней
 Он пишет о своей тоске.
 Душистый разворочен ворох,
 Теперь не годы, только дни,
 И каждый пуще прежних дорог:
 Перешагни, перегони,
 Перелети, хоть ты объедок,
 Лоскут, который съела моль,
 Не жизнь прожить, а напоследок
 Додумать, доглядеть позволь.

Устала и рука. Я перешел то поле.
 Есть мўка и мукá, но я писал о соли.
 Соль истребляли все. Ракеты рвутся в небо.
 Идут по полосе и думают о хлебе.
 Вот он, клубок судеб. И тишина средь песен.
 Даст бог, родится хлеб. Но до чего он пресен!

Позабыть на одну минуту,
 Может быть, написать кому-то,
 Может, что-то убрать, передвинуть,
 Посмотреть на полет снежинок,
 Погадать — додержусь, дотяну ли,
 Почитать о лихом Калигуле.
 Были силы, но как-то не вышло,
 А теперь уже скоро крышка.

Не додумать, быть очень твердым,
Просидеть над дурацким кроссвордом,
Что от правды и что от кривды,
Не помогут ни мысли, ни рифмы.
Это дальше теперь или ближе?
Нужно выбраться, вытянуть, выжить.
Время мешкает, топчется глухо,
Не взлетает, как поздняя муха.
Есть черед, а хотелось бы через.
Нужно жить, а уж нет суеверий,
Если держит еще — не надежда,
А густая и цепкая нежность,
Что из сердца не уберется,
Если сердце все еще бьется.

6

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи,
Не то что плохо — а иначе, —
Не так, как люди или куклы,
Иль Человек с заглавной буквы,
Таскал не доски, только в доску
Свою дурацкую поноску,
Не за награду — за побои
Стерег закрытые покои,
Когда луна бывала злая,
Я подвывал и даже лаял
Не потому, что был я зверем,
А потому, что был я верен —
Не конуре, да и не палке,
Не драчунам в горячей свалке,
Не дракам, не красивым врачам,
Не злым сторожевым собакам,
А только плачу в темном доме
И теплой, как беда, соломе.

Из-за деревьев и леса не видно.
 Осенью видишь, и вот что обидно:
 Как было многое видно, но мнимо,
 Сколько бродил я случайно и мимо,
 Видеть не видел того, что случилось,
 Не догадался, какая есть милость —
 В голый, пустой, развороченный вечер
 Радость простой человеческой встречи.

Не время года эта осень,
 А время жизни. Голизна,
 Навязанный покой несносен:
 Примерка призрачного сна.
 Хоть присказки, заботы те же,
 Они порой не по плечу.
 Все меньше слов, и встречи реже.
 И вдруг себе я бормочу
 Про осень, про тоску. О боже,
 Дойти бы, да не хватит сил.
 Я сколько жил, а все не дожил,
 Не доглядел, не долюбил.

Свет погас.
 Говорят — через час
 Свет дадут
 Или нет.
 Слишком много мне лет,
 Чтобы ждать и гадать —
 Будет шторм или гладь.

Далеко далека
Та живая рука.
А включат или нет,
Будут врать или драть —
Больше нет тех монет,
Чтоб в орлянку играть.

10

Мое уходит поколение,
А те, кто выжил, — что тут ныть, —
Уж не людьми, а просто временем,
Лежалые, уценены.
Исхода нет, есть только выходы,
Одни, хоть им уйти пора,
Куда придется понатыканы,
Пришамкивают «чур-чура».
Не к спеху им, а коль заведено,
И старость чем не хороша,
По дворику ступают медленно
И умирают не спеша.
Хоть мне осточертели горести
И хоть такими пруд пруди,
Я с теми, кто дурацки борется,
Прет на рожон, да впереди,
Кто не забыл, как свищет молодость,
Кто жизнь продрог, а не продрых,
И хоть хлебал да все не солоно,
Кто так не вышел из игры.



Морили прежде в розницу,
Но развивались знания.
Мы, может, очень поздние,
А может, слишком ранние.
Сидел писец в Освенциме,
Считал не хуже робота —
От матерей с младенцами
Волос на сколько добыто.

Уж сожжены все родичи,
Канаты все проверены,
И вдруг пустая лодочка
Оторвалась от берега,
Без виз, да и без физики,
Пренебрегая воздухом,
Она к тому приблизилась,
Что называла звездами.

Когда была искомая
И был искомый около,
Когда еще весомая
Ему дарила локоны.
Одна звезда мне нравится.
Давно такое видано,
Она и не красавица,
Но очень безобидная.

Там не снует история,
Там мысль еще не роздана,
И видят инфузории
То, что зовем мы звездами.

Лети, моя любимая!
Так вот оно, бессмертие, —
Не высчитать, не вымолвить,
Само собою вертится.

В самолете

Носил учебники я в ранце,
Зубрил латынь, над аргонавтами
Зевал и, прочитав «Каштанку»,
Задумался об авторе.
Передовые критики
Поругивали Чехова:
Он холоден к политике
И пишет вяло, нехотя,
Он отстаёт от века
И говорит, как малOVER,
Зауважают человека,
Но после дождика в четверг;
Он в «Чайке» вычурен, нелеп,
Вздыхает над убитой птичкой,
Крестьян, которым нужен хлеб,
Лекарствами он пичкает.

Я жизнь свою прожить успел,
И, тридцать стран объехав,
Вдруг в самолете поглядел
И вижу — рядом Чехов.
Его борода и пенсне
И говорит приглушенно.
Он обращается ко мне:
«Вы из Москвы? Послушайте,
Скажите, как вы там живете?
Меня ведь долго не было.
Я оказался в самолете,
Хоть ничего не требовал.
Подумать только — среди небес
Закусками нас потчуют!
Недаром верил я в прогресс,
Когда нырял в обочину...»
Волнуясь, я сказал в ответ
Про множество успехов,
Сказал о том, чего уж нет.

И молча слушал Чехов,
«Уж больше нет лабазников,
Сиятельных проказников,
Помещиков, заводчиков,
И остряков находчивых,
Уж нет его величества,
Повсюду перемены,
Метро и электричество,
Над срубами антенны,
Сидят у телевизора,
А космонавты кружатся —
Земля оттуда мизерна,
А океаны — лужица,
И ваша медицина
На выдумки богата —
Глощают витамины,
Есть пицеконцентраты.
Живу я возле Вознесенска,
Ваш дом — кругом слонялись куры —
Сожгли при отступлении немцы.
Построили Дворец культуры.
Как мирно воевали прадеды!
Теперь оружие стало ядерным...»
Молчу. Нам до посадки полчаса.
«Вы многое предугадали:
Мы видели в алмазах небеса,
Но дяди Вани отдыха не знали...»

Сосед смеется, фыркает,
Побрился, снял пенсне.
Что видели во сне?
Сон прямо богатырский.
Лечу я в Лондон — лес и лен,
Я из торговой сети,
Лес до небес и лен, как клен,
Все здорово на свете!»

Коровы в Калькутте

Как давно сказано,
Не все коровы одним миром мазаны,
Есть дельные и стельные.
Есть комолые и бодливые,
Веселые и ленивые,
Печальные и серьезные,
Индивидуальные и колхозные,
Дойные и убойные,
Одни в тепле, другие на стуже,
Одним лучше, другим хуже.
Но хуже всего калькуттским коровам:
Они бродят по улицам,
Мычат, сутулятся —
Нет у них крова,
Свободные и пленные,
Голодные и почтенные,
Никто не скажет им злого слова —
Они священные.

Есть такие писатели —
Пишут старательно,
Лаврами их украсили,
Произвели в классики,
Их не ругают, их не читают,
Их почитают.
Было в моей жизни много дурного,
Частенько били — за перегибы,
За недогибы, изгибы,
Говорили, что меня нет — «выбыл»,
Но никогда я не был священной коровой,
И на том спасибо.

В театре

Хоть славен автор, он перестарался:
Сложна интрига, нитки теребя,
Крушит героев. Зрителю не жалко —
Пусть умирает. Жаль ему себя.
Герой кричал, что правду он раскроет,
Сразит злодея. Вот он сам — злодей.
Другой кричит. У нового героя
Есть тоже меч.

Нет одного — людей.

Хоть бы скорей антракт! Пить чай в буфете.
Забыть, как ловко валят хитреца.
А там и вешалка.

Беда в билете:

Раз заплатил — досмотришь до конца.

Алфавитный указатель

произведений, вошедших в 1—9 тома
Собрания сочинений Ильи Эренбурга

- Автомобиль — т. 7, стр. 20.
Актерка — т. 4, стр. 24.
Англия — т. 7, стр. 444.
- Бабий Яр — т. 3, стр. 455.
«Батаркою скрывали оливы...» — т. 3, стр. 395.
«Белесая, как марля, мгла...» — т. 3, стр. 437.
«Белеют мазанки. Хотели сжечь их...» — т. 3, стр. 446.
Бензин — т. 7, стр. 70.
Биржевая мелодрама — т. 7, стр. 91.
«Бои забудутся, и вечер щедрый...» — т. 3, стр. 405.
Бой быков — т. 3, стр. 390.
«Бродят Рахили, Хаймы, Лиш...» — т. 3, стр. 435.
Буря — т. 5, стр. 7.
«Бывала в доме, где лежал усопший...» — т. 3, стр. 444.
«Был пятый час среди январских сумерек...» — т. 3, стр. 482.
«Был тихий день обычной осени...» — т. 3, стр. 474.
«Был час один — душа ослабла...» — т. 3, стр. 447.
«Была трава, как раб, распластана...» — т. 3, стр. 461.
«Были липы, люди, купола...» — т. 3, стр. 453.
«Было в жизни мало резеды...» — т. 3, стр. 449.
- В августе 1914 года — т. 3, стр. 363.
В Барселоне — т. 3, стр. 392.
В Белоруссии — т. 3, стр. 448.
В вагоне — т. 3, стр. 371.
«В городе брошенных душ и обид...» — т. 3, стр. 398.
В Греции — т. 3, стр. 488.
- В детской — т. 3, стр. 367.
«В кастильском нищенском селенье...» — т. 3, стр. 396.
В Копенгагене — т. 9, стр. 790.
В костеле — т. 9, стр. 776.
«В лесу деревьев корни сплетены...» — т. 3, стр. 436.
В пивной — т. 3, стр. 364.
В Проточном переулке — т. 2, стр. 465.
В Римском музее — т. 9, стр. 779.
В самолете — т. 9, стр. 788.
В суровой час — т. 7, стр. 657.
В театре — т. 9, стр. 792.
В феврале 1945 (1—2) — т. 3, стр. 464.
В центре Франции — т. 7, стр. 358.
«В это гетто люди не придут...» — т. 3, стр. 456.
В январе 1939 — т. 3, стр. 403.
Верность («Верность — прямо до рога без петель...») — т. 3, стр. 419.
Верность («Жизнь широка и пестра...») — т. 3, стр. 483.
Весна в октябре — т. 7, стр. 701.
Весна в январе — т. 7, стр. 662.
Виза времени — т. 7, стр. 283.
«Во Францию два гренадера...» — т. 3, стр. 472.
Воздушная тревога — т. 3, стр. 425.
Возле Фонтенбло — т. 3, стр. 432.
«Все за беспамятство отдать готов...» — т. 3, стр. 459.
«Все прозрачно, и свет ее неярк...» — т. 9, стр. 782.
«Все простота: стекольные осколки...» — т. 3, стр. 423.
«Вчера казалась высохшей река...» — т. 3, стр. 485.
Выступление на IX Пленуме ССП — т. 6, стр. 544.

- «Где играли тихие дельфины...» — т. 3, стр. 433.
- Где-то в Польше — т. 3, стр. 368.
- Германия — т. 7, стр. 337.
- «Глаза погасли, и холод губ...» — т. 3, стр. 428.
- «Гляжу на снег, а в голове одно...» — т. 3, стр. 451.
- Гоголь — т. 3, стр. 374.
- Гончар в Хазне — т. 3, стр. 402.
- Гордость — т. 4, стр. 61.
- «Города горят. У тех обид...» — т. 3, стр. 439.
- «Горят померанцы, и горы горят...» — т. 3, стр. 393.
- Гражданская война в Австрии — т. 7, стр. 601.
- «Да разве могут дети юга...» — т. 3, стр. 487.
- Двойная жизнь — т. 7, стр. 330.
- 9 мая 1945 (1—3) — т. 3, стр. 465.
- День второй — т. 3, стр. 151.
- «День придет, и славок громкий хор...» — т. 3, стр. 464.
- 10 л. с. — т. 7, стр. 7.
- Джо — т. 4, стр. 42.
- «Додумать не дай, оборви, молку, этот голос...» — т. 3, стр. 418.
- Дождь в Нагасаки — т. 3, стр. 478.
- Душа России — т. 7, стр. 677.
- Дыхание — т. 3, стр. 420.
- Европа — т. 3, стр. 452.
- «Есть время камни собирать...» — т. 3, стр. 450.
- «Есть в севере чрезмерность, человеку...» — т. 3, стр. 486.
- «Есть надоедливая вдоволь повесть...» — т. 3, стр. 476.
- «Есть перед боем час — все выжидает...» — т. 3, стр. 406.
- «Жилье в горах, как всякое жилье...» — т. 3, стр. 414.
- Жоржи Амаду — т. 6, стр. 626.
- За наш стиль — т. 6, стр. 528.
- «За что он погиб? Он тебе не ответит...» — т. 3, стр. 460.
- Заговор равных — т. 3, стр. 7.
- «...И уж не золотом по черни...» — т. 9, стр. 783.
- Из книги «Вне перемирия...» — т. 4, стр. 7.
- Из книги «Всеобщая песнь» — т. 6, стр. 642.
- Из книги «Испания в сердце» — т. 6, стр. 654.
- Из книги «Рассказы этих лет» — т. 4, стр. 24.
- Из Николааса Гильена — т. 6, стр. 617.
- «Из-за деревьев и леса не видно...» — т. 9, стр. 785.
- Импрессионисты — т. 6, стр. 464.
- Индийские впечатления — т. 6, стр. 203.
- Индия. Япония. Греция — т. 6, стр. 197.
- Искусство — т. 4, стр. 52.
- Испания — т. 7, стр. 481.
- Испания. 1931—1932 — т. 7, стр. 481.
- Испания. Весна 1936 — т. 7, стр. 580.
- Испания. 1937 — т. 7, стр. 587.
- Испытание — т. 7, стр. 659.
- «Как восковые, отекли камельи...» — т. 3, стр. 422.
- «Как дерево в большие холода...» — т. 3, стр. 430.
- Как умру — т. 3, стр. 376.
- «Как эти сосны и строенья...» — т. 3, стр. 438.
- «К вечеру улегся ветер резкий...» — т. 3, стр. 473.
- Кино — т. 7, стр. 111.
- Киноаппараты — т. 7, стр. 179.
- Кинолента — т. 7, стр. 195.
- «Когда зима, берясь за дело...» — т. 9, стр. 780.
- «Когда я был молод, была уж война...» — т. 3, стр. 462.
- Коровы в Калькутте — т. 9, стр. 791.
- Кутна Гора — т. 7, стр. 368.
- Летним вечером — т. 3, стр. 373.
- Лето 1925 года — т. 2, стр. 357.
- Лондон — т. 3, стр. 434.

Люди, годы, жизнь, кн. 1—3 — т. 8, стр. 7.

Люди, годы, жизнь, кн. 4—6 — т. 9, стр. 7.

Люди хотят жить — т. 7, стр. 708.

Марго — т. 4, стр. 56.

«Мир велик, а перед самой смертью...» — т. 3, стр. 454.

«Мне было многое знакомо...» — т. 3, стр. 463.

«Мне снился мир, и я не мог понять...» — т. 3, стр. 464.

«Мое уходит поколение...» — т. 9, стр. 786.

«Мои стихи не исповедь певца...» — т. 3, стр. 383.

«Молодому кажется, что к старости...» — т. 9, стр. 782.

Монруж — т. 3, стр. 413.

«Морили прежде в розницу...» — т. 9, стр. 787.

«Мы говорим, когда нам плохо...» — т. 3, стр. 492.

На закате — т. 3, стр. 366.

«На ладони — карта, с малолетства...» — т. 3, стр. 409.

На митинге — т. 3, стр. 410.

«Над Парижем грусть. Вечер долгий...» — т. 3, стр. 430.

Над рукописью — т. 9, стр. 771.

Над стихами Вийона — т. 9, стр. 774.

Надежда — т. 9, стр. 775.

Натюрморт — т. 3, стр. 372.

«Наши внуки будут удивляться...» — т. 3, стр. 379.

«Не время года эта осень...» — т. 9, стр. 785.

«Не для того писал Бальзак...» — т. 3, стр. 427.

«Не здесь, на обломках, в походе, в окопе...» — т. 3, стр. 415.

«Не раз в те грозные, большие годы...» — т. 3, стр. 426.

«Не торопясь, внимательный биолог...» — т. 3, стр. 407.

Неистовый Сарьян — т. 6, стр. 596.

Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников — т. 1, стр. 9.

«Нет, не забыть тебя, Мадрид...» — т. 3, стр. 397.

«Ни к богатым, ни к косматым...» — т. 3, стр. 375.

Николас Гильен — т. 6, стр. 614.

«Номера домов, имена улиц...» — т. 3, стр. 429.

О некоторых испанских писателях — т. 6, стр. 661.

О некоторых чертах французской культуры — т. 6, стр. 323.

«О них когда-то горевал поэт...» — т. 3, стр. 465.

О поэзии Поля Элюара — т. 6, стр. 505.

О работе писателя — т. 6, стр. 555.

О стихах Бориса Слуцкого — т. 6, стр. 588.

«О той надежде, что зову я вещей...» — т. 3, стр. 408.

Обувь — т. 7, стр. 225.

«Она была в линиялой гимнастерке...» — т. 3, стр. 465.

«Они накинудись, неистовы...» — т. 3, стр. 442.

«Остановка. Несколько примет...» — т. 3, стр. 386.

Откровенный разговор — т. 7, стр. 639.

Открытое письмо писателям Запада — т. 7, стр. 714.

Отрывки из «Большого завещания» и баллады Франсуа Вийона — т. 6, стр. 384.

Отстаивать человеческие ценности — т. 6, стр. 602.

Оттепель — т. 6, стр. 7.

Очищение — т. 7, стр. 691.

«Ошибся — нужно повторить...» — т. 3, стр. 475.

Пабло Неруда — т. 6, стр. 631.

Пабло Пикассо — т. 6, стр. 493.

Падение Парижа — т. 4, стр. 69.

Париж, 1940 (1—8) — т. 3, стр. 427.

«Парча румяных жадных богородиц...» — т. 3, стр. 389.

- Перечитывая Чехова — т. 6, стр. 131.
- Песни XV—XVIII веков — т. 6, стр. 403.
- Письма другу — т. 7, стр. 283.
- Пляска смерти — т. 7, стр. 648.
- «Позабыть на одну минуту...» — т. 9, стр. 783.
- «Пора признать — хоть вой, хоть плачь я...» — т. 9, стр. 784.
- После... — т. 3, стр. 404.
- После смерти Шарля Пеги — т. 3, стр. 365.
- Последняя любовь — т. 9, стр. 781.
- «По тихим плитам крепостного плаца...» — т. 3, стр. 417.
- Поэзия Исааха Дю Белле — т. 6, стр. 413.
- Поэзия Франсуа Вийона — т. 6, стр. 374.
- Предисловие к книге «Сквозь время» — т. 6, стр. 600.
- «Привели и застрелили у Днепра...» — т. 3, стр. 441.
- Прогулка — т. 3, стр. 369.
- «Прошу не для себя, для тех...» — т. 3, стр. 466.
- Пугачья кровь — т. 3, стр. 377.
- «Пять лет описывал не пестрядь быта...» — т. 9, стр. 772.
- Пять лет спустя — т. 7, стр. 303.
- «Разведка боем» — два коротких слова... — т. 3, стр. 394.
- Раздумья о безумии — т. 7, стр. 727.
- Размышления в Греции — т. 6, стр. 287.
- «Ракеты салютов. Чем небо черней...» — т. 3, стр. 458.
- Рвач — т. 2, стр. 9.
- Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей — т. 6, стр. 517.
- «Римские рассказы» Альберто Моравиа — т. 6, стр. 608.
- Рождение автомобиля — т. 7, стр. 7.
- России — т. 3, стр. 382.
- Русский в Андалузии — т. 3, стр. 401.
- «Самоубийцею в ущелье...» — т. 3, стр. 421.
- Самый верный — т. 3, стр. 484.
- Свет в блиндаже — т. 7, стр. 671.
- «Свет погас...» — т. 9, стр. 785.
- Свобода или смерть! — т. 7, стр. 655.
- Север — т. 7, стр. 390.
- Сем Тоб и король Педро Жестокый — т. 9, стр. 777.
- Сердце солдата — т. 3, стр. 489.
- Сердце человека — т. 7, стр. 667.
- «Сердце, это ли твой разгон?...» — т. 3, стр. 388.
- Сила слова — т. 7, стр. 697.
- Слава — т. 4, стр. 47.
- «Слов мы боимся, и все же прощай...» — т. 3, стр. 457.
- Совесть народов — т. 7, стр. 721.
- Сонет — т. 9, стр. 773.
- Советы Дю Белле — т. 6, стр. 424.
- Сосед — т. 3, стр. 490.
- «Сочится зной сквозь крохотные ставни...» — т. 3, стр. 416.
- Спички — т. 7, стр. 207.
- Спутник — т. 3, стр. 480.
- Старая французская песня — т. 6, стр. 395.
- Старость (1—10) — т. 9, стр. 782.
- Статуя Афродиты — т. 3, стр. 468.
- Судьба поколений — т. 7, стр. 685.
- Счастье — т. 4, стр. 29.
- «Так ждать, чтоб даже память вымерла...» — т. 3, стр. 445.
- «Так умирать, чтоб бил озноб огни...» — т. 3, стр. 387.
- Товарищам — т. 3, стр. 479.
- «Тогда восстал горная порода...» — т. 3, стр. 391.
- Тоска — т. 4, стр. 38.
- Традиции Маяковского — т. 6, стр. 537.
- Трест Д. Е. История гибели Европы — т. 1, стр. 235.
- Тринадцать трубок — т. 1, стр. 387.
- «Ты говоришь, что я замолк...» — т. 3, стр. 469.
- «Ты сидел на низенькой лестнице...» — т. 3, стр. 370.

«Ты тронул ветку, ветка зашумела...» — т. 3, стр. 411.
1928 в Словакии — т. 7, стр. 373.
1941 — т. 3, стр. 440.

У Брунете — т. 3, стр. 399.
У приемника — т. 3, стр. 412.
У Эбро — т. 3, стр. 400.
Удел капитана Волкова — т. 4, стр. 34.
«Умереть и то казалось легче...» — т. 3, стр. 427.
«Умру — вы вспомните газеты шорох...» — т. 3, стр. 471.
«Упали окон вековые веки...» — т. 3, стр. 428.
Уроки Стендаля — т. 6, стр. 431.
«Устала и рука. Я перешел то поле...» — т. 9, стр. 783.
«Уходят улицы, узлы, базары...» — т. 3, стр. 429.

Фабрика снов — т. 7, стр. 111.
Французские тетради — т. 6, стр. 323.

Хлеб наш насущный — т. 7, стр. 233.
Хроника наших дней — т. 7, стр. 7.

«Что седина? Я знаю полдень смерти...» — т. 3, стр. 385.
«Чужое горе — оно как овод...» — т. 3, стр. 470.

Шины — т. 7, стр. 51.

«Я должен вспомнить — это было...» — т. 3, стр. 424.
«Я не знаю грядущего мира...» — т. 3, стр. 381.
«Я не трубач — труба. Дуй Время!» — т. 3, стр. 384.
«Я помню — был Париж. Краснели розы...» — т. 3, стр. 443.
«Я слышу все — и горестные шепоты...» — т. 3, стр. 491.
«Я смутно жил и неуверенно...» — т. 3, стр. 467.
«Я смутно помню шумный перекресток...» — т. 3, стр. 477.
Японские заметки — т. 6, стр. 252.

Содержание

люди, годы, жизнь

Книга четвертая	7
Книга пятая	271
Книга шестая	459

из новых стихов

Над рукописью	771
«Пять лет описывал не пестрядь быта...» . . .	772
Сонет	773
Над стихами Вийона	774
Надежда	775
В костеле	776
Сем Тоб и король Педро Жестокий	777
В Римском музее ,	779
«Когда зима, берясь за дело...»	780
Последняя любовь	781

Старость

1. «Все призрачно, и свет ее неярок...» . . .	782
2. «Молодому кажется, что к старости...» . .	782
3. «...И уж не золотом по черни...»	783
4. «Устала и рука. Я перешел то поле...»	783
5. «Позабыть на одну минуту...»	783
6. «Пора признать — хоть вой, хоть плачь я...»	784
7. «Из-за деревьев и леса не видно...» . . .	785
8. «Не время года эта осень...»	785
9. «Свет погас...»	785
10. «Мое уходит поколение...»	786
«Морили прежде в розницу...»	787
В самолете	788
В Копенгагене	790
Коровы в Калькутте	791
В театре	792

Алфавитный указатель произведе- ний, вошедших в 1—9 тома Собрания со- чинений Ильи Эренбурга	793
--	-----

Илья Григорьевич

Э Р Е Н Б У Р Г

Т о м 9

Редактор

И. Чеховская

Художественный редактор

Ю. Васильев

Технический редактор

Ж. Примак

Корректор

М. Доценко

Сдано в набор 7/X 1966 г.
Подписано в печать 16/I 1967 г.
A10146. Бум. 60×84¹/₁₆. 50 печ. л. =
46,5 усл. печ. л. 46,65 уч.-изд.
л. 43,94.

Зак. 904. Тираж 200 000 экз.

Цена 1 р. 25 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного
Знамени Первая Образцовая
типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете
Министров СССР
Москва, Ж-54, Валуев, 28

